ЭССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ЭЦИАЦИЯ ИСТОРИКОВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Пролог XX века

Ответственный редактор В. Л. МАЛЬКОВ

МОСКВА
«НАУКА»
1998

УДК 94/99
ББК 63.3(0)53
П 26

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 97-01-16292

Редакционная коллегия

Ю.В. КУДРИНА (зам. ответственного редактора),
П.В. ВОЛОБУЕВ, В.Н. ВИНОГРАДОВ, А.В. РЕВЯКИН,
О.А. РЖЕШЕВСКИЙ, С.В. ТЮТЮКИН, А.О. ЧУБАРЬЯН,
Г.Д. ШКУНДИН (отв. секретарь)

Рецензенты

доктор исторических наук Р.П. ГРИШИНА,
доктор исторических наук О.В. СЕРОВА

ТП-98-I- №31
ISBN 5-02-010057-9

© Коллектив авторов, 1998
© Издательство "Наука", художественное оформление, 1998
© Российская академия наук, 1998

Пролог XX века – пороховой завод.
Эпилог – барак Красного Креста

В.О. Ключевский

ВВЕДЕНИЕ

В 1918 г. в стихотворении "Солнце осьмнадцатого года..." русский поэт Николай Клюев писал:

Солнце Пламенеющего лета,
Не забудь наши раны и угли-кровинки,
Как старого мира скрипучая карета
Увязла по дышло в могильном суглинке!

Ощущение поэта было безошибочным. Под грохот артиллерийских канонад Великой войны, в ее окопном кровавом месиве захлебнулась и безвозвратно исчезла, как казалось абсолютно всем, старая эпоха с ее надеждами, страстями, свершениями и ценностями. Рождался новый мир, новый международный порядок, о котором по-настоящему никто не имел представления, хотя у идеологов уже были наготове картины будущего – плод мучительных раздумий. Одни из них воплощены были в мрачных прогнозах и прорицаниях, другие – в оптимистических параграфах амбициозных партийных программ, лозунгах харизматических лидеров и не в последнюю очередь в образах художественной культуры, которая еще в годы войны во многих странах утратила свой элитарный характер и обрела огромное влияние на массы. Именно художественная культура первой по свежим следам в содружестве с научной мыслью истолковала суть постигшей цивилизацию катастрофы в понятиях и знаковой системе поствоенной эпохи. И во многих случаях даже спустя десятилетия сделанный тогда анамнез событий, как оказалось, сохранил убедительность, хотя и был связан с определенным идеологическим контекстом, в котором концепции империалистического соперничества принадлежало центральное место.

Однако осознать вполне значение для судеб человечества поистине роковых 1914–1918 гг. удалось только гораздо позднее, отдалившись от Великой войны на много десятков лет и пережив ее второе пришествие в 1939–1945 гг. Если быть еще более точным, это стало возможным лишь на исходе XX столетия, когда вся цепь событий и их причинно-следственные связи обнажились до конца. Можно даже сказать, что именно последнее десятилетие XX в., отмеченное качественными переменами в социально-экономическом, политическом и духовном развитии большинства стран и народов, вынудило по-новому взглянуть на истоки многообразных процессов, увидеть их проекцию на все последующее,

вплоть до нашего времени. Трудно не согласиться с известным современным философом и литератором Элиасом Канетти, когда он говорит, что первая мировая война стала, не считаясь с хронологией, подлинным началом XX в. – столетия масс, их выхода на авансцену истории в качестве ее субъекта, их стихийных или управляемых порывов, созидательных или разрушительных деяний, побед и поражений[1].

В плоскости же цивилизационного развития, пользуясь терминологией Арнольда Тойнби, можно сказать, что первая мировая война вызвала общий глубинный надлом и переход к новому циклу. Вопрос – имеет ли история смысл – возник вместе с ним. Но оставив сознательно в стороне социокультурный и социопсихологический аспекты, отметим здесь лишь метаморфозу, которую претерпела мировая политика. Главное состояло в том, что произошла (или завершилась) смена мировых систем, и на десятки лет вперед определились доминанты в международных отношениях. Они приобрели предельно идеологизированный характер с выдвижением в центр глобальных процессов открытой и циничной борьбы уже не за влияние и не за "место под солнцем", а за мировое лидерство, за гегемонию, за безоговорочную победу "своей" социально-экономической системы, "своей" модели развития над всеми остальными идеологическими парадигмами. Качественно другим предстал и весь арсенал средств ведения мировых дел, включая правовое и организационное обеспечение нового миропорядка. Мировое сообщество в предчувствии нового витка в конфликте экономических и идеологических интересов сделало первую (пусть непоследовательную и неудачную) попытку создать международную организацию безопасности и разрешения споров.

Увы, миротворчество долго носило скорее ритуально-пропагандистский характер. Это становилось особенно заметным на фоне той роли, которую как бы сами собой обрели военные машины и прочие силовые структуры больших и малых стран, отождествляемых уже с понятием "национальная безопасность" и выступающих в качестве непременного атрибута высокого статуса государства в сообществе наций. Бремя военных расходов неудержимо стало увеличиваться. Они напрямую были увязаны с доктринами избранного народа и нового порядка, включающих в себя культ силы и военной готовности. Все это переплеталось с процессами развала старых, просуществовавших десятки лет государственных структур, образования новых государств, перекраивания границ, территориальными захватами, появлением такого феномена, как "третий мир". В фазу обострения вступили межнациональные и межрасовые отношения, создав множество неразрешимых коллизий, задрапированных высокопарной фразеологией демократических деклараций и международных договоров.

Великая война, которую едва ли не все сначала восприняли чуть ли не как справедливый акт, а затем как безумное деяние, возникла не в силу злокозненности, несогласованности или преступной халатности монархов, президентов или парламентов противостоящих друг другу блоков, и даже не из-за военного соперничества между грандами

мировой политики. Причины кризиса и катастрофы в цивилизационном развитии были более глубокими и неустранимыми, их не следует искать в чьих-то амбициях, обидах, притязаниях и ошибочных расчетах. Не случайно с конца XIX в. ощущение надвигавшейся вселенской катастрофы не покидало лучшие умы мировой интеллектуальной элиты, многих видных писателей, ученых, политиков и государственных деятелей. Тема эта звучала и у Ф. Достоевского, и у Ф. Ницше, и у Ж. Жореса, и у многих других. Один из представителей российской демократической мысли А.А. Богданов писал в очерке "Время великих перемен" накануне войны: "Никогда еще на памяти истории жизнь человечества не достигала такой запутанной пестроты, такой неожиданности превращений, такого безумия контрастов, как в наше время; никогда еще она не становилась до такой степени похожа на фантастическое сновидение, полное кошмарного безобразия и неопределенно-радостных ожиданий"[2]. Увы, предчувствие не обмануло автора этих вещих слов.

Августовские пушки 1914 г. взорвали мирную жизнь не только гибелью людей, разрушениями и страшными эпидемиями ("испанка" унесла 20 млн жизней), в их гуле причудливо сливались погребальный звон по старому миру и первые возгласы надежды на избавление от гнета олигархического порядка, хриплые стоны умирающих "за царя и отечество" в окопах солдат и ликование революционных толп, в экстазе приветствовавших зарю радикального обновления. С каждым годом войны усиливались смятение, антагонизм низов и верхов, конфликт сторонников мира и войны до победы. Идеи возмездия, погромного бунта соседствовали со стремлением к новому справедливому миропорядку, который бы раз и навсегда исключил войны как средство политики, объявил их вне закона, причислив к разряду преступных, бесчеловечных деяний. Перспектива прекращения мировой бойни революционным насилием (превращение войны "империалистической" в войну "гражданскую") многих не только не отпугивала, но и представлялась справедливой платой за бессмысленные жертвы, понесенные народами, и людские страдания.

Русский кризис сливался с мировым, однако применительно к России все процессы и явления выступили в предельно концентрированном виде. Замечательный русский философ Г.П. Федотов, переживший великое лихолетье, в своем эссе "Трагедия интеллигенции" так выразил его метущийся дух: «Я не пишу историю революции и не стану останавливаться на социальных основах классовой ненависти (ясно, что они восходят к неизжитому в России крепостному строю). Здесь меня интересует только народное сознание. К 1917 г. народ в массе своей срывается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравственные устои. Интеллигенция может считать его своим по недоразумению. Ее "идеи", т.е. положительное содержание ее евангелия, для народа пустой звук. Более того, предмет ненависти, как книга, шляпа (бей шляпу!), иностранная речь, как все, что разделяет, подчеркивает классовое расстояние; все атрибуты барства. В 1917 году народ максимально беспочвен, но и максимально безыдеен. Отсюда

разинский разгул его стихии, особенно жестокий там, где он не сдерживается революционной диктатурой – в сибирской партизанщине»[3].

На Западе, где "разинщина" сравнительно легко была заблокирована репрессивным аппаратом устоявшего на ногах в перипетиях борьбы государства и поглощена национально-патриотической волной в сочетании с гибкой политикой социального реформаторства, эти процессы протекали (за некоторыми исключениями) в иной, более спокойной, не столь бравурно-необратимой и разрушительной по отношению к традиционным институтам форме. Относительно устойчивая ситуация в большинстве западных стран (и прежде всего благодаря сохранению в них основ конституционного строя и правопорядка наряду с властными структурами на местах), однако, не могла никого лишить ощущения переломного характера происходившей с массами людей перемены. И снова первое, что бросалось в глаза, был своеобразный спазм в мироощущении людей, в общественных настроениях, переход их в некую перманентно кризисную стадию, развитие которой способно было порождать со временем самые опасные отклонения и психозы.

Основоположник аналитической психологии швейцарский ученый Карл Густав Юнг, живой свидетель событий военных и послевоенных лет, следующим образом в 1946 г. оценил стресс, постигший западное общество в результате первой мировой войны и вызвавший мутации его поведенческих реакций. "Еще в 1918 году, – говорил он, – я приметил характерные нарушения в бессознательном моих немецких пациентов, расстройства не могли быть описаны исходя из личной психологии... Налицо было расстройство коллективного бессознательного в каждом простом немецком случае. Конечно, можно объяснить нарушения ближайшей причиной, но такое объяснение склоняется к неадекватности, потому что естественнее понять архетипы через их цели, чем через их причины. Те архетипы, что наблюдал я, выражали первобытность, насилие, жестокость. Когда я достаточно насмотрелся на эти случаи, я обратил внимание на характерное умонастроение, которое стало преобладать в Германии. Всего я не видел, лишь определенную депрессию и беспокойство, но и видимое не противоречило подозрениям. В статье, в то время опубликованной, я предположил, что в беспокойной дремоте зашевелилась "белокурая бестия" и не исключен взрыв.

Такое состояние дел не было каким-нибудь там тевтонским феноменом, что и стало понятным в последующие годы. Атака первобытных сил стала более или менее всеобща"[4].

Патологическая жестокость, попрание всех цивилизованных норм в обращении сильного со слабым, возведение в ранг государственной политики идеи превосходства одних народов над другими, этнических чисток и массового геноцида – все это было прямым следствием вызванных тотальной войной подвижек, "лежащих в бессознательном сил", неприемлющих никакого морального контроля. Важно отметить вместе с тем, что культ насилия одерживал верх не обязательно у наций, утративших психическое равновесие из-за поражения и неудач.

Сказался родившийся в ходе всеобщей бойни синдром безнаказанности и вседозволенности. Геноцид армян в Османской империи в 1915 и 1916 гг. (он унес жизни примерно 2 млн мирных жителей – женщин, стариков, детей), погромы и массовые депортации мирных граждан и в странах Центрального блока, и в странах Антанты стали трагическим провозвестником тех страшных преступлений перед человечеством, которые совершались в последовавшие за Версальским миром десятилетия государствами и режимами разной ориентации и по самым разным мотивам – идеологическим, политическим, религиозным и военным. Известный русский историк А.А. Кизеветтер писал из Праги своему другу по эмиграции в феврале 1924 г.: "...не только Россия, но и остальная Европа входит в полосу культа права силы и пренебрежения к учению о силе права. Словно какой-то антиправовой циклон – если так можно выразиться – охватывает современный культурный мир"[5].

Война как бы выдала индульгенцию революционному насилию. Она стала прелюдией революции в России, правящий режим которой, самодержавие, по словам П.Н. Милюкова, длительное время пребывающий в состоянии неустойчивого равновесия, поддерживаемого политикой репрессий, не способен был вынести никакого внешнего толчка или внутреннего потрясения. "И вот она наступила, – писал он далее, – эта война: наступила в форме громадного мирового конфликта. В ряду факторов, определивших собой *особую физиономию* второй революции, войне 1914–1918 гг. принадлежит, конечно, первое место. Многие и многие из явлений, которые принято считать специфически революционными, фактически предшествовали революции и созданы были именно обстоятельствами революционного времени"[6]. Для России, по авторитетному свидетельству другого современника тех событий В.А. Маклакова, такими явлениями были падение влияния либеральной идеи, требование раздела земли и имущества и мечтания о "поравнении"[7]. Россия дала толчок, а вслед за тем началась цепная реакция в международном масштабе, хотя западный мир удержался от того, чтобы следовать примеру России именно из-за фанатично-бескомпромиссного характера избранного ею пути. Сопутствовавшие русскому эксперименту террор и лишения охладили пыл многих его сторонников, и вскоре вызванные этим колебания постепенно и почти повсеместно стали ослабевать. Однако было бы антиисторично искать в этом подтверждение бессмысленности проделанной историей в 1917 г. работы. Ее прямые и опосредованные результаты не ограничивались только разрушениями. Тот же Тойнби утверждал, что большевизм является западным, а отнюдь не чужеродным фактом: это критика Запада в адрес временного и шаткого социального устройства, установившегося в XIX в.

Идеологическое размежевание, столь резко проявившееся в годы войны и ставшее знаменем целой эпохи (демократия – диктатура, красные – белые, пацифисты – милитаристы, либерализм – социализм), просуществовало в максимально обнаженном виде до конца века, став органичной чертой неоднозначной по своему характеру универсализации общественно-политических процессов и межгосударственных отноше-

ний. Все попытки приглушить его в мировой политике и в сфере социальных отношений долгое время не приносили ощутимых результатов. В прямой связи с этой, как казалось, глобальной идеологической конфронтационностью можно говорить (с учетом всех различий) и об общих корнях обеих мировых войн (первой и второй), а также "холодной войны". Лишь последние десятилетия XX в. позволили некоторым исследователям сказать (и не без оснований) о перемене вектора в цивилизационном развитии, о новой культурной ситуации, коренной смене ценностных ориентаций, нарастании всеобщей интеграции и т.д.[8] Столько выражено надежд, что XXI век не будет повторением двадцатого с его азартной военно-блоковой политикой великих держав, абсолютизацией насилия ("повивальная бабка истории"), растерянностью человеческого духа, геростратовой славой пестрого сонма сменяющих друг друга выдающихся властолюбцев, способных отдать приказ сровнять с землей целые города с многовековой историей. Не счесть призывов отказаться от возведения в ранг единственных, исключительных "своей" этничности, "своего" национализма, "своей" веры. Однако оптимизм отступает перед упрямой мыслью о циклической природе человеческой истории, самовоспроизводящей конфликты и узлы противоречий, единожды не только разыгранные и развязанные, но и формально в международно-правовом отношении урегулированные священнодействием по типу того, что имело место на Парижской мирной конференции в 1919–1920 гг. Разве случайным являются участившееся в наши дни употребление таких знаковых понятий, как "Сараево", "Балканский узел", "Версальская система", "санитарный кордон"?

Знаменателен и новый рост в последнее время интереса историков к проблематике первой мировой войны. Кому-то это может показаться даже удивительным, ведь отечественная и зарубежная историография насчитывает сотни, если не тысячи, добротных документальных и монографических исследований, бесчисленное количество статей и диссертационных работ, авторами которых, образно говоря, все поле поиска "перепахано" на большую глубину. Существовали и существуют национальные школы (о некоторых из них пойдет речь в настоящем труде), опубликованы горы мемуаров, созданы мемориалы и музейные комплексы, десятилетиями проводившие скрупулезную и весьма полезную поисковую работу. Плодотворную деятельность осуществляют объединения историков первой мировой войны во многих странах. В Соединенных Штатах, например, с самой положительной стороны заявили о себе Общество истории Великой войны и Ассоциация историков Западного фронта. Нельзя не упомянуть здесь их совместный проект – проведение ежегодных семинаров по истории первой мировой войны с последующей публикацией материалов[9].

Существенные достижения имеет и наша отечественная историография. Известно немало первоклассных работ по проблемам истории первой мировой войны. Имена таких исследователей, как Ф.И. Нотович, Ю.А. Писарев, А.М. Зайончковский, П.В. Волобуев, В.С. Васюков, В.Н. Виноградов, К.Б. Виноградов, В.А. Емец, Т.М. Исламов, К.Ф. Шацилло и др. являются авторитетными во многих странах. Однако следует признать, что, в отличие от ситуации в зарубежной историографии, за исключением, может быть, первого десятилетия после войны 1914–1918 гг., до самого последнего времени изучение истории Великой войны в нашей стране не носило систематического характера и даже негласно считалось утратившим актуальность. В результате такой неоправданной и труднообъяснимой установки целые сегменты исследовательской "зоны", относящейся к данной проблематике, оказались, так сказать, невостребованными или полузабытыми. Между тем возникновение особой познавательной ситуации, вызванной обнаружением новых архивных материалов (в России и за рубежом), смещением фокуса внимания с макропроцессов на микроуровень, требует не только существенной корректировки общих подходов, но и в ряде случаев "перлюстрации" ставших давно хрестоматийными многих страниц и даже некоторых "центральных глав" предыстории и истории первой мировой войны, ее непосредственных и более отдаленных последствий на протяжении всего XX в.

Предлагаемый вниманию читателя труд органически входит в серию исследований по истории первой мировой войны, проводимых под эгидой созданной в 1992 г. Ассоциации российских историков первой мировой войны[10]. В него включены оригинальные статьи и выступления видных ученых, как отечественных, так и зарубежных, на различных научных форумах, организованных и проведенных Ассоциацией в 1993–1997 гг. Редколлегия считает своим приятным долгом поблагодарить наших зарубежных коллег из США, Италии, Германии, Дании – профессоров Б. Виджецци, Л. Гарднера, У. Кимболла, Д. Фоглесонга, Р. Бендика, М. Росси, Б. Енсена за согласие принять участие в подготовке настоящего издания. Несомненно, что уже только это свидетельствует о многом и прежде всего о преодолении изолированности отечественной исторической науки от исследовательской практики за рубежом и о международном признании проекта.

[1] *Канетти Э.* Масса и власть. М., 1997. С. 196 и др.

[2] Неизвестный Богданов. В 3-х кн. / Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 1995. Кн. I. С. 75.

[3] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья / Отв. ред. Е.М. Чехарин. М., 1990. С. 440, 441.

[4] Цит. по: *Одайник В.* Психология политики. Политические и социальные идеи Карла Густава Юнга. СПб., 1996. С. 267.

[5] Источник. 1996. № 2. С. 16.

[6] Цит. по: Российские либералы: кадеты и октябристы. Документы, воспоминания, публицистика. М., 1996. С. 281.

[7] Там же. С. 246.

[8] См., например: *Дьяконов И.М.* Пути истории. М., 1994.

[9] A Weekend with the Great War. Proceedings of the Fourth Great War Interconference Seminar 16–18 Sept. 1994. Shippensburg (PA), 1996.

[10] См., например: Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории / Отв. ред.: Ю.А. Писарев, В.Л. Мальков. М., 1994.

I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛО

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(Материалы "круглого стола", 28–29 сентября 1993 года)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

П.В. Волобуев

Заканчивающийся XX век по количеству мировых катастроф и их последствиям, вероятно, превзошел все предшествующие. Первая мировая война, бесспорно, стоит у их истоков, ее история давно привлекает внимание историков всего мира. К сожалению, как в силу объективных, так и субъективных причин, в советской историографии оно было недостаточным.

Не ставя целью определить направление работы сегодняшнего "круглого стола", считаю все же полезным очертить круг проблем, которые заслуживают первоочередного обсуждения и исследования. На первый план выдвигается, естественно, проблема происхождения первой мировой войны – истоков, предпосылок, причин. Историческая дистанция позволяет ученым быть объективными.

Как мне представляется, надо различать коренные и сопутствующие причины, всевозможные обстоятельства, а также учитывать роль исторических случайностей. Вместе с тем вряд ли самым важным сейчас является вопрос о непосредственных виновниках войны, об ответственности тех или иных государств и их политиков за ее развязывание, хотя, повторяю, его нельзя обходить. В связи с этим хотел бы сказать, что общий марксистский вывод об империализме, об империалистической политике великих держав того времени как главном виновнике войны остается верным и в наши дни. Но он носит слишком общий характер, ибо давно известно, что не одни только империалистические противоречия привели к этой войне. Серьезную роль сыграли и динамические процессы в самых различных сферах мирового сообщества. Поэтому, на мой взгляд, следует учитывать и другие факторы, если мы хотим всесторонне раскрыть проблему происхождения мировой бойни 1914–1918 гг.

© П.В. Волобуев, В.Л. Мальков, З.П. Яхимович, В.П. Булдаков, В.С. Васюков, В.Н. Виноградов, Я.С. Драбкин, В.А. Емец, Т.М. Исламов, Б.М. Туполев, Л.Г. Истягин, В.И. Миллер, А.М. Петушев, А.В. Ревякин, Ю.В. Кудрина, Э. Урибес Санчес.

Разумеется, прежде всего обращает на себя внимание вековое соперничество великих держав за господство в Европе и мире, усилившееся в 80-х годах прошлого века. В связи со сдвигами в капиталистическом хозяйстве оно приобрело новое качественное содержание. Отсюда складывание новых блоков и блоковая политика как определяющая черта мировой действительности (образование Тройственного союза 1882 г., русско-французский союз – 1893 г., англо-французский союз и создание Антанты).

На второе место я бы поставил тайную дипломатию и ее творцов. Она сыграла зловещую роль в подготовке и развязывании войны.

Далее. Началу войны предшествовала беспрецедентная милитаризация европейских держав и Японии и соответственно гонка вооружений. Какова тут роль военщины? Может быть, и корни военно-промышленного комплекса восходят к началу XX в.? Установлено, что Германии принадлежало бесспорное лидерство в гонке вооружений. Но и ослабленная русско-японской войной и первой русской революцией Россия втянулась в эту гонку, взвалив на себя непосильное бремя милитаризации.

Мы не поймем причин первой мировой войны, если не выйдем за пределы политики, экономики и дипломатии. Дело в том, что сама духовная ситуация эпохи (в этом числе и в силу милитаризации) предрасполагала к войне. Повсеместно отмечался рост национализма, подогреваемый правящими кругами, шовинистическое опьянение охватывало широкие круги общественности Европы, национально-освободительное движение малых народов приобрело масштабный характер (на Балканах, в Австро-Венгрии и т.п.). Известно, что пропаганда пангерманизма достигла в предвоенные годы невиданного размаха и интенсивности. Разумеется, нельзя забывать и об идее "славянской солидарности", проповедовавшейся в России, в частности, в связи с отношением к Сербии и Черногории. Здесь бы я особо выделил роль прессы в идеологическом подготовлении войны. Практически во всех странах Европы она сыграла провокационную роль, стимулирующую раздувание националистических и шовинистических взглядов и настроений.

Следует также конкретизировать содержание понятия "соперничество" крупнейших государств в конце XIX – начале XX в. В основе его лежало стремление перекроить карту Европы и мира в соответствии с новым соотношением сил. Это вполне в духе дипломатии и внешней политики всех великих держав того времени. Но политика Германии выделяется среди них выросшим до мирового масштаба экспансионизмом, так же как и ее союзницы Австро-Венгрии на Балканах. В мировой историографии давно показана роль англо-германского соперничества как главной предпосылки первой мировой войны. Но пружины ее могут и должны быть исследованы глубже и полнее.

В связи с проблемой соперничества, вероятно, новые подходы могут быть найдены и в определении места и роли колониального вопроса в ряду причин войны. Именно он стимулировал развитие национального эгоизма у новых колониальных держав и в не меньшей мере у старых.

Малым народам Европы традиционно в нашей историографии отводилась роль жертв великих держав. Такой подход вряд ли полностью верен. Во-первых, нельзя умалять значения их национально-освободительной борьбы (сербов, чехов, ирландцев и др.) как позитивного, но вместе с тем и дестабилизирующего фактора и в без того взрывоопасной обстановке в Европе. А Балканские войны 1912–1913 гг.? Не зря же они стали зарницами Великой войны. Следовательно, правомерен вопрос: не послужили ли малые народы, особенно имевшие государственность, детонаторами мирового военного конфликта?

В нашей историографии всегда отмечалось, что в ряду причин, толкнувших правящие круги Европы на военное решение своих подспудно развивающихся противоречий, было стремление расколоть, ослабить или, говоря словами В.И. Ленина, пресечь международное рабочее движение. Но с учетом распада II Интернационала и перехода рабочего движения большинства стран Европы под националистические знамена следовало бы задуматься: а не преувеличили ли правящие круги Запада революционность и опасность "своего" рабочего движения?

И, наконец, хотя вот уже почти 80 лет, как первая мировая война стала реальным и трагическим фактом истории человечества, у исследователей не ослабевает интерес к вопросу, а была ли альтернатива войне. Или иначе, можно ли было ее избежать? Существовали ли общественные силы, способные помешать роковому ходу событий?

Особого внимания заслуживает роль России накануне и в ходе войны. У нее были свои внешнеполитические цели, их П.Н. Милюков называл "вековыми задачами". А между тем надо признать, что и правящие круги, и буржуазная общественность страны не понимали, что России эта война сулила мало хорошего, если вообще можно говорить о хорошем применительно к войнам. Но осознано ими это, да и то не до конца, было слишком поздно.

И последнее. Надо признать, что правящими кругами при поддержке широкой, в том числе демократической, общественности были выдвинуты мобилизующие лозунги, оказавшиеся привлекательными для масс, особенно на Западе. Это – защита демократии, освобождение угнетенных народов, разгром германского милитаризма или деспотической самодержавной России, справедливое послевоенное устройство и т.п. Не в последнюю очередь такие лозунги создали временную популярность войне в Европе (среди народных масс России – наименьшую). Тем горше было разочарование после короткого периода послевоенной эйфории.

Хотя подчас и кажется безнадежным делом извлекать уроки из истории, но все же это надо делать, в том числе и применительно к первой мировой войне. Ведь не случайно ее итогом было одновременно складывание предпосылок новой еще более кровавой и разрушительной драмы – второй мировой войны.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

В.Л. Мальков

Известно, что мировая научная мысль и гуманистика в целом многократно предпринимали недюжинные усилия к тому, чтобы найти ответ на вопрос о причинах, вызвавших первую мировую войну. Были достижения и разочарования, были и попытки атаковать проблему с узкоклассовых позиций или в духе так называемого веления времени. Кто-то сознательно выбирает агностицизм. Вспомните хотя бы Б.Л. Пастернака. Его любимый герой, участник Великой войны, произносит в заснеженной и холодной Москве 1918 г. монолог, говоря: "Мелко копаться в причинах циклопических событий. Они их не имеют. Это у домашних ссор есть свой генезис, и после того как оттаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не приложат, кто начал первый. Все же истинно великое безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось"[1].

Наверное, многие согласятся с этим изысканным по форме суждением, безупречным с точки зрения космополитического мышления великого писателя, обладавшего к тому же незаурядной чувствительностью к истории благодаря Шекспиру. Таков уж духовный мир художника, который не терпит никакой формализации, никаких канонов. Однако историки, которым свойственна рассудочность или, лучше сказать, главным образом рассудочность, никогда не удовлетворялись поэтическими образами. Люсьен Февр, остроумно заметив, что "немало давнишних войн было, если докопаться до сути вещей, войнами за соль, перец или селедку"[2], резюмировал: "Несомненно... что именно проблемами полезных ископаемых, горючего сырья, рынков сбыта и промышленных кредитов определялись действия людей и стран, вступивших в войну в 1914 г."[3] А. Тойнби в русле той же рациональной рассудочности увидел в ней результат развития двух определивших вектор истории в конце XIX в. действующих сил – индустриализма и национализма, изначально гармонично взаимодействовавших. Увы, затем гармония, по Тойнби, была взорвана демоном национализма, как более активным началом[4]. Школа Ренувена–Дюрозеля подкрепила эти соображения, выделив из иерархии равноценных факторов национальное самосознание, помноженное на "игру страстей". Обоснованность такого вывода подтверждает следующий пример: самая демократическая страна в мире – Америка – "плавильный котел" этносов, на удивление всем одной из первых "оседлала" идею воинствующего государственного национализма. На ней пытались строить в широком смысле культурную политику образцового общества эпохи всеобщей индустриализации.

Я не говорю о зарубежных исторических школах, где это явление вполне обычно, но для нас сегодня очевидно, что и в нашей отечественной науке возникла совершенно новая познавательная ситуация.

Это связано, прежде всего, с возрождением внешнеполитической и военной истории на новом методологическом уровне, расширением источниковой базы и тематического диапазона, а также появлением исследований, междисциплинарных по своему характеру. Каким будет результат адаптации к этой ситуации нового поколения отечественных историков – едва ли кто-либо возьмется сказать сегодня, работа по переосмыслению только-только началась, и требуется время, чтобы "определиться". Но так или иначе первым шагом, который уже сделан, является отказ от морализирующей истории, заранее предрасположенной к тем или иным выводам, к тем или иным оценочным суждениям. Уместно будет здесь напомнить о важном замечании, сделанном Сиднеем Феем во введении к работе "Происхождение мировой войны", изданной в США в 1931 г. Напомню, что в первой же фразе введения Фей солидаризировался с правилом Фукидида, проводившего "различие между отдаленными, или глубокими, и ближайшими причинами войны". Безотносительно к тому, какие выводы сделал Фей из этого правила для самого себя, как методологический принцип оно действительно имеет универсальное значение, предупреждая от соблазна скоропалительных приговоров, партийной предвзятости и желания поучать. Мне представляется, что в нашем положении этот совет весьма кстати.

[1] *Пастернак Б.* Доктор Живаго. М., 1991. С. 174.
[2] *Февр Л.* Бои за историю. М., 1991. С. 54.
[3] Там же. С. 55.
[4] *Тойнби А.* Постижение истории. М., 1991. С. 19.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

З.П. Яхимович

В наше время крутой ломки методологических и ценностных ориентиров обществоведения и критического переосмысления отечественной и всемирной истории естественно задаться вопросом, в какой мере подобный пересмотр правомерен применительно к такому удаленному от нас во времени событию, как первая мировая война и ее предыстория. Может ли современный исследователь ограничиться выделением и изучением "белых пятен", каковые несомненно существуют и требуют внимания, либо предстоит, не довольствуясь прежним концептуальным видением узловых вопросов войны, переписать ее историю заново? То явно, то скрыто оба эти подхода присутствовали в ходе данного научного обсуждения вопроса о происхождении первой мировой войны, и это побуждает обратиться к далеко не простому и

однозначно не решаемому вопросу о соотношении традиционализма и новаторства в процессе исторического познания вообще и применительно к данному историческому объекту в частности.

Как представляется, большая степень разработанности проблем предыстории первой мировой войны и изученность причин, приведших к ее возникновению, исключает возможность неких сенсационных архивных или иных открытий, способных перевернуть наши прежние исторические представления о происхождении войны. Данному сюжету посвящены в разных странах, в том числе и в России, сотни и тысячи научных работ. Исследователи, профессионально занимающиеся этой темой, превосходно знают, какое обилие первоклассных документальных источников опубликовано и стало достоянием научной и гражданской общественности (многотомные серии дипломатических документов, стенографические отчеты парламентских дебатов, материалы правительственных заседаний и решений и ставшие доступными некоторые материалы генеральных штабов воюющих стран, мемуары, дневники и переписка активных творцов политики тех лет – монархов, министров, профессиональных дипломатов, представителей генералитета, а также "рядовых" современников и очевидцев событий и т.п.), а соответственно по мере их публикации вовлечено в научный оборот. Было бы неразумно игнорировать труд предшественников по изучению и систематизации этого гигантского материала, равно как и наличествующие исследования собственно историографического характера, дающие представление об эволюции исторической мысли.

Трудно согласиться с наметившейся тенденцией к умалению вклада отечественной историографии в разработку проблем предыстории и истории войны, тем более что этой тематике отдали дань многие крупные ученые, признанные и за рубежом. Спору нет, современный исследователь не может не отметить явного влияния идеологических стереотипов советского времени в трудах, вышедших в СССР, в том числе гипертрофированного "классового подхода" и ритуального социологизирования в духе "исторического материализма" времен "Краткого курса". Однако было бы неправомерно за этим не заметить серьезной научной разработки истории международных отношений и крупных международных кризисов, подготовивших возникновение первой мировой войны, анализа внешней политики больших и малых стран, внесших свою лепту в приближение мирового конфликта, а также роли в этом экономических и социально-политических факторов, классов, партий и т.п. Следует констатировать достаточную изученность роли военно-политических блоков, процесса формирования империалистической идеологии. Оригинален и заметен вклад отечественной историографии в изучение отношения рабочего и социалистического движения в различных странах к назревавшей войне, хотя и здесь проявились с особой силой идеологические штампы и "табу".

Вполне закономерен характерный для наших дней повышенный интерес к работам зарубежных исследователей о первой мировой войне, хотя уместно оговориться, что после второй мировой войны они в лучших своих образцах были доступны отечественным историкам в

меру их знания иностранных языков и любознательности. Но, как представляется, не следует питать ложные надежды на то, что таким путем можно обрести своего рода эталон научной объективности и беспристрастности. *Нельзя не учитывать того, что война 1914–1918 гг.* слишком глубоко затрагивала судьбы государств, народов, целых регионов, и ее изучение профессиональными историками никогда не было свободно от политических страстей и предпочтений, от прагматических соображений об объективных либо ложно понятых государственных и национальных интересах "собственных" стран и соответствующих блоков и пристрастного отношения к вчерашним противникам либо неверным союзникам. Достаточно напомнить о том, что первая научная "атака" на проблему происхождения войны и поиск ее виновников развернулись сразу по ее окончании в связи с подготовкой Парижской мирной конференции (это не считая пропагандистской обработки общественного мнения с первых же дней войны). Она вылилась в многолетнюю дискуссию об "исторической ответственности" Германии и ее союзниц и встречных обвинений со стороны германских государственных деятелей и ученых. Характерно, что видный российский дипломат С.Д. Сазонов в своих мемуарах, завершенных в 1927 г., сетовал на невозможность научно-исторического рассмотрения событий 1914–1918 гг., поскольку мировая борьба, вызвавшая их к жизни, все еще продолжалась, "хотя и в иной форме и на иной почве"[1].

С новой силой дискуссии об истоках мировой войны вспыхнули с началом второй мировой войны и по ее завершении, когда в повестке дня оказались территориальные вопросы и судьбы послевоенного мира, и уроки первого мирового конфликта вызывали далеко не академический интерес. Наконец, коллизии "холодной войны" и процесс ее преодоления неизбежно привносили и привносят в научные дебаты привкус и дыхание большой политики. Вместе с тем опыт драматического XX столетия заставляет современных исследователей задаться следующими вопросами: по силам ли человечеству предотвратить локальные и глобальные войны, грозящие в современных технологических условиях ядерным Апокалипсисом? Каковы мера и возможности регулирования мирового порядка, особенно в пору жесточайшего кризиса всей системы международных отношений, складывавшейся и поддерживавшейся на протяжении многих десятилетий? В какой мере в решении вопросов о войне и мире способны сказать свое слово профессиональные политики и целые народы? Способно ли человечество, подверженное страстям этнонациональных конфликтов, религиозным, культурным, национальным и социальным предпочтениям, скованное в своих действиях геополитическими и экономическими условиями, различиями исторических судеб и уровней общественного развития народов и стран, способно ли оно разумно решать свою судьбу, или, как это произошло в 1914 г., фатальный бег событий *может его вновь ввергнуть в военную катастрофу?*

Чтобы ответить на них, современный исследователь предыстории первой мировой войны неизбежно обращается к ракурсам событий, которым либо не придавали значения прежние поколения историков,

либо в свое время находившимся как бы на периферии общественного сознания. Такое "осовременивание" претерпевают с ходом времени все крупные исторические события. Оно не имеет ничего общего с конъюнктурными поисками в прошлом только тех процессов, тенденций, событий, которые призваны придать историческую достоверность и обоснованность тем или иным современным политическим постулатам и предпочтениям.

Одним из принципиально важных вопросов, который заслуживает сегодня пристального внимания и к которому правомерно обратился ранее В.Л. Мальков, является, на наш взгляд, соотнесение и выявление взаимозависимости долгосрочных процессов, в ходе которых вызревали предпосылки первой мировой войны, и тех непосредственных событий, которые сделали ситуацию необратимой. Июльский кризис 1914 г. стал, как известно, последним звеном в цепи кризисов, которые, *начиная с русско-японской войны и особенно с боснийского кризиса* 1908–1909 гг., опрокинули систему международных отношений, сложившуюся в Европе после франко-прусской войны и просуществовавшую с определенными модификациями на протяжении почти полувека. На это разграничение долгосрочных факторов и непосредственных причин, ускоривших начало войны, обращали внимание и современники событий, и представители различных исторических школ и течений.

Процесс вызревания войны был весьма продолжительным, равно как и складывание враждующих блоков. Длительное время великие державы – вершители судеб мира – отдавали предпочтение поддержанию "европейского равновесия", хотя и стремились изменить в свою *пользу соотношение сил на путях гонки вооружений, территориального* раздела сфер влияния и колониальных захватов, обретения новых союзников и удержания прежних. Германская дипломатия проявляла поистине титанические усилия, примиряя в рамках Тройственного союза Италию и Австро-Венгрию, а позднее, в годы войны, – Болгарию и Турцию, несмотря на их вековые распри. Блоки, даже после их оформления, не были отгорожены друг от друга "китайской стеной", о чем свидетельствует история англо-германских, русско-германских, русско-итальянских отношений (встреча в Бьорке, конференция в Гааге, "свидание в Раккониджи" и др.). Вплоть до начала войны, а для ряда стран и позднее шел мучительный процесс самоопределения позиций в случае "большой" войны (мыслившейся как общеевропейская). Так, Италия в 1912 г. пошла на пятое по счету продление Тройственного союза, а затем и на подписание новой военной конвенции и выработку военно-морской программы сотрудничества в случае войны *с тем, чтобы в 1914–1915 гг. перейти на сторону Антанты*[2]. Согласно военной конвенции марта 1914 г. предусматривалась отправка итальянских войск на Рейн, поскольку возобладало в тот момент мнение Генерального штаба, что "исход войны будет решаться на полях франко-германских битв", и Италии "надлежит повлиять на их результат"[3]. Позднее же возобладало иное суждение – опасение перед чрезмерным укреплением Австро-Венгрии на Балканах в ущерб итальянским интересам и искус получить щедрые компенсации от Антанты за

переход на ее сторону. Известно также, с какими колебаниями был сопряжен выбор союзников Болгарией, Румынией, какие большие надежды возлагали в Берлине на нейтралитет Великобритании. Неизбежность войны в начале века осознавалась все яснее, поскольку с политической арены ушло целое поколение политиков – творцов системы "европейского равновесия".

Европейский континент был главной ареной событий, подготовивших мировой конфликт, а позднее и главным театром военных действий, хотя по мере втягивания в первую мировую войну США, Японии, Турции, колоний и доминионов она приобрела глобальные масштабы. Это обусловило взаимодействие различных факторов, усложнивших до крайности характер войны, – имперских и национальных, геополитических, военно-стратегических и сугубо меркантильных, социальных и династических. Вместе с тем война, ставшая подлинно мировой, была инициирована крайне узким кругом лиц, причастных к ее официальному объявлению, что позднее служило весомым доказательством порочности "тайной", сугубо элитарной дипломатии. К тому же следует признать, что понятие национальных интересов, широко использованное для оправдания войны правящими кругами, было далеко не однозначным, порождая немалые дискуссии по внешнеполитическим вопросам как внутри господствующих классов, так и в массах населения, не говоря уже о том, что определенные категории населения были по ряду причин как бы вне политики.

Исследование политических битв вокруг вопросов внешней политики больших и малых стран имеет богатые традиции. Однако в последние десятилетия в связи с развитием социологии, политологии, "новой социальной истории" повышенный интерес вызывают вопросы как массового сознания, так и реакции индивидов на мировые процессы и явления. Благодаря современным достижениям западной общественной мысли открываются целые пласты социальной и духовной жизни в различных странах и в мире в целом, которые прежде не привлекали должного внимания отечественных историков. Нельзя сказать, чтобы марксистская традиция игнорировала исследование социальной психологии как таковой. Достаточно без предубеждения прочитать работы В.И. Ленина 1914–1917 гг., посвященные анализу вовлечения масс в войну, повороту от "империалистической войны" к "империалистическому миру", социальному кризису, вызванному войной, чтобы убедиться в этом. Вместе с тем именно в силу "классовых" ориентиров радикальной ветви марксизма и его теоретиков традиционной была определенная переоценка степени иммунитета трудящихся масс к империалистической идеологии, а все факты, шедшие вразрез с этим убеждением, списывались за счет злокозненности социал-шовинизма и реформизма правооппортунистических течений в рабочем и социалистическом движении. Поэтому оправданным является стремление ряда историков вновь вернуться к этим непростым сюжетам отечественной и всемирной истории.

Как представляется, история втягивания государств и народов в войну не может быть понята без анализа глубокого духовного кризиса,

возникавшего как реакция на реалии предвоенного мира. Он, как известно, был отягчен многочисленными колониальными войнами, ростом милитаризма и непрерывным бряцанием оружием, беспощадными репрессиями по отношению ко всем проявлениям социального протеста, подавлением движений национальных меньшинств, расправой с населением колоний. В сопоставлении с таким миром война, истинных масштабов которой не были в состоянии предугадать ее "творцы", казалась необходимым этапом, способным устранить опасность государственным интересам и перспективам развития. Если верно, что война вырастала на почве коллизий мировой экономики и политики и была прямым следствием усилившихся империалистических тенденций, то не менее верно и другое – поворот в общественном сознании, происходивший под воздействием национальных и мировых реалий, открывал дорогу войне. Последняя стала весомым выражением цивилизационного кризиса, выпустив, подобно Пандоре, на человечество многие беды и болезни, которыми оно еще до сих пор не переболело.

[1] См.: *Сазонов С.Д.* Воспоминания. Берлин, 1927. С. 3.

[2] См.: *Яхимович З.П.* О досрочном продлении Тройственного союза в 1912 году // Проблемы истории и историографии международных отношений в XIX–XX вв. Л., 1979. С. 86–99; *Любин В.П.* Италия накануне вступления в первую мировую войну. М., 1982, и др.

[3] Archivio centrale dello stato. Carte Giolitti. Busta II, San Giuliano – Giolitti. 2. XI. 1913.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ИМПЕРСТВО

В.П. Булдаков

Среди исследователей складывается твердое убеждение: для понимания всей истории уходящего XX в. необходимо переосмыслить вопросы об истоках и характере первой мировой войны[1]. Становится очевидным, что причины войны не стоит механически выводить из геополитического наследия XIX в. Безусловно, к началу XX в. старые межгосударственные противоречия обострились. Но теперь они стали приобретать некое новое качество.

К концу нынешнего столетия появилась возможность утверждать, что XX век (особенно первая его половина) явился начальным и весьма неожиданным этапом глобализации человечества. Этот процесс протекал под влиянием и в условиях действия ряда разнородных новых факторов: всепроникающая роль неуправляемого индустриализма, невиданное развитие средств коммуникаций, скачкообразный рост народонаселения, лавинообразное становление гражданского общества через "восстание масс" и т.д. Но эти "объективные" интегрирующие факторы оказались в противоречии с людской психологией: прежде всего с воинственностью национального эгоизма. И если объективные условия подсказывали идею создания относительно гомогенного –

"неконфликтного" – человеческого пространства, то сила традиции тянула к психологии имперства. Как следствие, "империалистический передел мира" принял форму всеохватывающей битвы за ресурсы и коммуникации. Причем речь даже шла не столько о непосредственных территориальных захватах, сколько о стремлении не дать сопернику осуществить их.

Реанимация идеи имперства стала знамением времени: путь к глобализму стал пониматься как движение через гегемонизм, а последний предполагал блоковую систему с активным использованием этнонационального фактора.

Формально эпицентр войны возник в связи с противостоянием европейских империй разных типов – "индустриально-колониальных" (Великобритания, Франция), "традиционных" (Австро-Венгрия, Турция, Россия) и "переходных" (Германия, пытавшаяся использовать инерцию объединительного процесса для прыжка к новейшему империализму). *Главным содержательным итогом войны стало не то, что одержала* верх Антанта, а то, что проиграли все "традиционные" империи независимо от блоковой принадлежности. В начале XX в. победить в битве за гегемонию смогли державы, наиболее подготовленные к тотальной войне. "Традиционные" империи, не изжившие сословности, этноиерархичности и не создавшие мощного ядра гражданского общества, оказались обречены на поражение и распад.

В связи с этим "вечный" вопрос об ответственности за развязывание войны надо ставить по-новому. Можно, конечно, продолжать сваливать вину за войну на "сумасбродного" кайзера, престарелого Франца Иосифа или безвольного Николая II, но между тем один лишь ряд этих имен наталкивает на новые, далеко идущие выводы. Личные прегрешения этих монархов против европейского мира оказались в значительной степени объективно спровоцированными. Не последнюю роль при этом сыграли малые страны и народы Европы, преимущественно по инициативе которых неотъемлемым в перечне новых правил межимпериалистической борьбы стал лозунг "защиты прав угнетенных наций".

В том факте, что война началась с выстрелов в Сараево, возможно, уже содержится важнейший "намек Клио". Но и помимо него существует достаточно факторов заинтересованности националистических лидеров малых народов в столкновении империй. Классическим примером позиции такого рода можно считать точку зрения лидера польских эндеков Р. Дмовского. Еще в 1909 г. он сделал устрашающий своим безжалостным прагматизмом вывод: поскольку столкновение между Германией и Россией неизбежно, то в будущей войне поляки должны стать на сторону слабейшей из держав, дабы изменить баланс сил в ее пользу с целью максимальной будущей выгоды для себя[2]. Разумеется, это не исключало появления в других частях Польши иных ориентаций. Как бы то ни было, указанная тенденция обнаружилась весьма явственно. Другой пример. Т. Масарик в начале войны даже опасался, что Антанта победит слишком быстро и идея независимой Чехословакии не успеет утвердиться[3].

Известно, что державы Антанты почти сразу после оформления альянса заговорили об угнетении славянских народов Австро-Венгрией, поляков – Германией, армян – Турцией. Еще в 1911 г. был создан так называемый Союз национальностей из либеральных деятелей франкофильской ориентации[4]. По аналогичному рецепту в Германии в 1916 г. была сколочена Лига нерусских народов России, деятели которой заявляли, что поражение России послужит интересам угнетенных ею народов и пойдет на пользу всему человечеству[5].

Не отставала от демократий Запада и самодержавная Россия. Объективно, она вступала в войну в невыгодной для себя межэтнической ситуации внутри страны. В этих условиях "освободительная" миссия могла сакрализовать имперское единство. Пропагандистская кампания началась, однако, поздно. Тем не менее уже в течение первого полугода войны в России было выпущено до 600 различных печатных изданий общим тиражом до 11 млн экз., пронизанных шовинистическими и неоимперскими идеями[6]. *Были среди них и те, которые* адресовались непосредственно малым народам, в первую очередь "братьям-славянам".

Царизм обнаружил известную пропагандистскую изобретательность. Появившееся 1 августа 1914 г. воззвание Верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича к полякам (составленное в российском МИД) напоминало о том, что "не заржавел меч, разивший врага при Грюнвальде", и обещало восстановление единой Польши под "скипетром русского царя". Вскоре последовало обращение того же Н.Н. Романова к народам Австро-Венгрии, распространенное на девяти языках. В нем заявлялось о стремлении к тому, чтобы каждый из народов империи Габсбургов мог свободно развиваться, сохраняя язык и веру в единении с мировым центром славянства. Оценивая возможность появления ряда марионеточных государств в Восточной и Юго-Восточной Европе, Николай II 4 сентября принял депутацию чехословацких национал-монархистов и одобрил их предложение о формировании на территории России чехословацких частей[7]. В середине декабря 1914 г. Николай II подписал проект воззвания к чешскому народу, обещавшего после свержения "немецкого ига" создание "могучего славянского государства"[8]. Позднее была предпринята попытка сформировать югославянские воинские соединения. В целом царизм склонялся к идее образования федерации славянских монархий в качестве преемницы в военно-политическом смысле "единой и неделимой". Эти планы получали весьма активную поддержку в известных националистических кругах , и особенно среди военных.

Временное правительство России в целом приняло геополитические установки царизма. Это не осталось незамеченным. Существует любопытный и курьезный документ. 30 марта 1917 г. к "господину министру иностранных дел свободной России" П.Н. Милюкову, известному своими геополитическими амбициями, письменно обратился один из сионистов, проживавший до Февральской революции в Палестине. Он предложил правительству организовать планомерное переселение евреев в "землю обетованную". Аргументация была следующая: после

войны в силу разорения еврейского населения эмиграция "все равно будет сильная", надо избежать того, чтобы она направилась в Америку и "человеческий капитал" при этом "безвозвратно погиб для России". Выгоды очевидны: с помощью еврейских капиталов российский империализм сможет закрепиться на Средиземном море. "Об интересах Франции, Англии, святых мест можно столковаться", уверял автор, деньги сионисты найдут, сила русского оружия и дипломатическая сноровка должны соединиться с "еврейскими промышленными связями и торговым влиянием". Ко всему этому прилагалась "Докладная записка по поводу ближневосточной политики" – вполне фантастичная. В частности, автор, не ставя под сомнение успех завоевательных планов России в Персии, даже предлагал прорыть канал из Каспийского моря в Персидский залив. Заканчивался документ примечательной сентенцией: "Израиль стремится в Сион, пусть Россия даст ему руку в своем пути на Восток, для общего блага, прогресса, цивилизации и братства народов"[9].

Разумеется, не стоит относить этот документ к разряду программных положений сионизма. Его значение скорее в другом: идея использования имперства малыми народами уже спустилась на "бытовой" уровень, овладевала сознанием многих их представителей. Несомненно, говоря о происхождении и итогах первой мировой войны, надо иметь в виду и этот немаловажный момент.

Итоги первой мировой войны имели абсолютно неординарное значение "на все времена". В целом их можно свести к феномену кризиса имперства. Это означало, с одной стороны, что "индустриально-колониальные" империи, несмотря на демократизацию метрополий, отнюдь не отказались от гегемонистских устремлений. С другой стороны, такие "традиционные" империи, как Австро-Венгрия и Турция, развалились, причем этот факт был чреват новым обострением борьбы за передел мира. Наконец, Германия, как империя "переходного" типа, в очередной раз попыталась осуществить заявку на гегемонию на мировой арене, используя на этот раз не пангерманизм, а нацизм, т.е. мощную подпитку шовинизмом сознания масс, не желающих ощущать себя "жертвой Версаля".

Наиболее показательна ситуация в России того времени. Она оказалась единственной крупной державой, вышедшей из войны до формального своего поражения. Но здесь в связи с Октябрьской революцией подспудная идея восстановления геополитического равновесия выступила в форме коммунистического мессианизма. Теперь "Страна Советов" могла либо пассивно ждать, когда "империалисты" уничтожат друг друга ввиду неизбежного торжества мировой революции, либо подключиться к одной из противоборствующих сторон, дабы ускорить этот процесс. Как известно, было перепробовано и то, и другое; в конечном счете СССР оказался союзником тех же имперских сил, что и царская Россия. Еще более показательно то, что геополитические цели самодержавия в большей или меньшей степени вновь были востребованы их политическими противниками – большевиками.

Первая мировая война стала трагическим уроком имперству, не желающему избавиться от примитивно-разрушительного наследия национального эгоизма. Но по своим далеко идущим последствиям ее итоги (их развитие обернулось катастрофой второй мировой войны) поистине ужасающи. Причины этого – в неспособности людей осознать, что глобализация человечества требует совершенно нового подхода к сохранению баланса сил на международной арене.

[1] The Journal of Modern History. Vol. 64. N 3. Sept. 1992. P. 532.

[2] См.: *Дмовский Р.* Германия, Россия и польский вопрос. СПб., 1909.

[3] *Масарик Т.* Мировая революция. Прага, 1927. С. 140.

[4] *Ferro M.* La politique des nationalities du Gouvernement Provisoire (fevr.–oct. 1917) // Cahiers du monde Russe et Sovietique. Vol. II, avril–juin 1961. P. 133.

[5] *Zetterberg S.* Die Liga der Fremdvölker Russlands 1916–1918. Ein Beitrag zu Deutschlands antirussichen Propagandakrieg unter den Frendvölkern Russlands im Ersten Weltkrieg. Helsinki, 1978.

[6] См.: *Владиславлев И.В.* Русская литература о войне 1914 года. (Библиографический указатель). М., 1915. С. 5.

[7] Международные отношения в эпоху империализма. М.; Л., 1934. Сер. III. Т. 6. Ч. I. С. 249; *Лазаревский В.* Россия и чехословацкое возрождение. Париж, 1927. С. 20–21.

[8] *Попов А.* Чехословацкий вопрос и царская дипломатия в 1914–1917 гг. // Красный архив. 1929. Т. 2(33). С. 10.

[9] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 579. Оп. 1. Д. 5151. Л. 1–2 об.

МИР НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ

В.С. Васюков

Вопрос, который мы обсуждаем, на первый взгляд, может показаться достаточно простым и давно решенным. На самом деле это далеко не так; он и по сей день остается одним из сложнейших в историографии новейшего времени. Возможно, еще и потому, что он является одновременно конкретно-историческим и в то же время методологическим. Ибо, не выяснив его, невозможно объективно осветить многие другие аспекты четырехлетней кровавой бойни. Подчеркну и другой момент: всестороннее изучение истоков первой мировой войны позволяет полнее и глубже понять природу второй мировой войны, как, впрочем, и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Столь ожесточенная и гигантская по масштабам война не возникла, конечно, случайно. Это бесспорно. Вряд ли, однако, правомерно утверждать, что она была абсолютно неизбежной. Между тем в историографии преобладает, если не господствует, именно такая точка зрения. Но если с этим безоговорочно согласиться, то как в таком случае согласовать ее с признанием многовариантности исторического развития? Во-вторых, если война была неизбежной и неотвратимой словно стихия, то можно ли обвинять кого-либо в связи с ее возник-

новением? На кого возлагать ответственность за нее, коль скоро она надвигалась с неодолимой силой? Тем не менее вопрос об ответственности за развязывание войны не может быть исключен из серьезного *исторического анализа*.

Проще всего, конечно, сказать: да, неизбежна, коль скоро она произошла. Гораздо сложнее выяснить, существовала ли возможность избежать этого кровопролития и почему она (эта возможность) была упущена? Сознательно или бессознательно? Из-за отсутствия реализма политиков или в силу отсутствия механизма международно-правового регулирования? Ведь в исторической перспективе человечество издавна стремится избавиться от убийственных кошмаров.

Точно так же проще всего заявить, что виновны все, причем в равной степени. Как, собственно, и утверждалось длительное время в нашей историографии. Правда, *победители с таким утверждением* обычно не соглашаются. Да и побежденные не слишком склонны к этому. Попробуй разберись! Но разбираться тем не менее приходится. Вспомним Нюрнбергский процесс. Поднимался в свое время вопрос и о суде над Вильгельмом II. И кто знает, миновал бы он этой участи, не произойди столь крутых изломов истории, как это произошло в 1917–1918 гг.

Итак, первая мировая война – острейший кризис в международной ситуации, прежде всего в отношениях великих держав Англии, Германии, Франции, России и Австро-Венгрии, достигший стадии вооруженного столкновения многих народов Европы и мира и вылившийся в кровавую четырехлетнюю трагедию. На протяжении этих, казалось, бесконечных лет люди разных стран истребляли друг друга с помощью штыка, сабли и новейших смертоносных военно-технических средств. Величайшая катастрофа. Именно она, в первую очередь, привела человечество к другой еще более ужасной трагедии – мировой войне 1939–1945 гг.

Этот кризис назревал на протяжении нескольких десятилетий. Его истоки восходят к 70-м годам прошлого столетия, а отправным моментом можно считать франко-прусскую войну 1870–1871 гг. и образование в Центральной Европе империи Гогенцоллернов. Как известно, вслед за разгромом Франции Пруссия, одержавшая перед тем верх еще в двух войнах (в 1864 г. – против Дании и в 1866 г. – против Австрии), провозгласила образование Германской империи, объединив разрозненные германские земли. Это произошло в Версале в январе 1871 г., где был обнародован Манифест Вильгельма I. С этого момента Германская империя стремится не просто к упрочению своего положения в Европе, но и к постепенному завоеванию доминирующих позиций на континенте, к быстрому наращиванию военно-экономической мощи.

Любопытно познакомиться с некоторыми выдержками из упомянутого манифеста: "Отныне, – заявлялось в нем, – прусский король становится императором, а Германия воссозданной империей, значение которой было утрачено ею 60 лет назад". "Германской нации предстоит благодатное будущее в духе древнего величия немецкого отечества", – обещал император. Принимая этот титул, Вильгельм I объявил о своем

долге "с подлинно немецкой верностью защищать права империи и ее членов, оберегать мир и независимость Германии, опираясь на объединенные силы ее народа". "В награду за тяжелую мужественную борьбу" Вильгельм сулил этому народу *длительный мир и безопасность* "от новой агрессии со стороны Франции, безопасность, которой он в течение столетий был лишен". Манифест был пронизан воинственным духом, хотя в нем и утверждалось, что "величие Германской империи" должно покоиться "не на победоносных завоеваниях, а на благах и деяниях, приносимых миром".

С момента рождения новой империи особенно напряженными становятся франко-германские отношения. Во Франции быстро нарастают и распространяются реваншистские настроения. Из войны с Пруссией Франция, по выражению будущего ее премьера А. Тардье, вышла "с *одним подбитым глазом*", *лишившись весьма важных для ее экономического развития провинций* – Эльзаса и Лотарингии.

Со своей стороны, в росте реваншизма в соседней державе Берлин видит серьезную для себя угрозу, о чем с подчеркнутой прямолинейностью было сказано уже в названном манифесте Вильгельма I. И надо заметить, что молодая империя выжидала случая и подходящего повода повторить схватку с обиженной соседкой и еще сильнее потрепать ее, выбить из числа великих держав, низвести до положения второразрядного государства, а при удаче – как пугали своих соотечественников некоторые французские политики и публицисты – превратить в нечто *вроде германской провинции*. В духовной жизни двух соседних народов сказывалась взаимная отчужденность: в Германии, например, распространялась мысль о том, что французы – неполноценная и вырождающаяся нация, с которой не стоит особенно церемониться. Во Франции же все чаще называют немцев презрительной кличкой "боши". На этой почве в обеих странах пышным цветом расцветает милитаризм, особенно в Германии.

Несколько позже у Германии стали нарастать противоречия с Англией и Россией. Уже с 70-х годов распространяется взгляд, что ей рано или поздно придется воевать на два фронта и что она способна вести такую борьбу. К началу общеевропейской войны Германия считала себя сильнейшей сухопутной державой Европы. Необходимо помнить в связи с этим, что эта страна первой приступила к созданию так называемого оборонительного союза. Разгромив Австрию в войне 1866 г., Германия заключает в 1879 г. с Австро-Венгрией военно-политический союз, который имел и антироссийскую направленность. Немного спустя, в 1882 г., он становится Тройственным союзом с участием в нем Италии. Годом позже к нему примыкает королевская Румыния.

Сознавая растущую опасность, нащупывает почву для союза с Россией и Франция. (Замечу, что она начала зондаж уже вскоре после Крымской кампании. Потом эти попытки приостановились, хотя идея союза не покидала стены французского МИД.) Более заметно она оживилась в 80-е годы. В 1891–1893 гг. франко-русское сближение оформляется союзным договором (в форме военной конвенции). Этот союз считался вполне естественным с географической, политической и

иных точек зрения: давние культурные связи, отсутствие сколько-нибудь серьезных, неразрешимых противоречий и т.д.

В свою очередь Англия бдительно наблюдает за бурным взлетом молодой Германской империи. Между старой и новой империями обостряется конкуренция на почве торгово-промышленной экспансии, а затем и военно-морское соперничество. Позже Ленин подчеркнет, что к концу XIX–началу XX в. молодой германский империализм побивал англичан по всем статьям. Пристально следят английские государственные мужи за тем, как бы не нарушилось европейское "равновесие", составлявшее основу британской политики в Старом Свете и позволявшее Лондону играть дирижерскую роль в общеевропейских делах, как и в других регионах активной мировой политики.

С Россией Германская империя стремится вначале поддерживать добрососедские отношения, которые с годами все более омрачаются германскими претензиями на статус мировой державы, равной Британской и Российской империям. Заключение франко-русского союза свидетельствовало об общем понимании в Париже и Петербурге складывающейся расстановки сил на Европейском континенте и долгосрочных тенденций в развитии международных отношений, хотя отношения между "родственными монархиями" (российской и прусской) еще не вступили в опасную стадию.

Уже с 90-х годов XIX в. Германия прибегает к политике лавирования между Англией и Россией, пытаясь столкнуть их между собой, обострить существовавшие между ними противоречия. Но при этом в Берлине тайно надеялись, что удастся привлечь на свою сторону Россию в борьбе против Англии. Предпринимались настойчивые попытки создания даже континентального блока, куда вошли бы Россия, Франция и Германия, и который был бы направлен своим острием против "коварного Альбиона". В то же время, играя в нем ведущую роль, Германия могла бы влиять на политику Франции и России в благоприятном для себя направлении. Блок этот не состоялся. И в Париже, и в Петербурге замыслы кайзеровской дипломатии не нашли поддержки.

Одновременно германская дипломатия и сам Вильгельм II как до русско-японской войны 1904–1905 гг., так и позже всячески стремились переключить внимание России на Дальний Восток. Известно, например, как Вильгельм II в 1910 г. старательно внушал новому царскому министру иностранных дел С.Д. Сазонову мысль о "целесообразности" вооружения Китая против Японии, дабы "обезопасить" таким путем интересы России в данном регионе. На это Сазонов резонно заметил, что такая акция создала бы для России дополнительные проблемы, поскольку она имеет границу с Китаем в 7 тыс. верст. В Петербурге хорошо понимали, в какие ловушки пытался заманить Россию кайзер.

Приближение общеевропейского кризиса стало особенно заметным после русско-японской войны и революции 1905–1907 гг., приведших к значительному ослаблению России. Германия не преминула воспользоваться этим, демонстрируя все большую кичливость и жесткость в европейских конфликтах, на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке. Вместе с тем она все более болезненно реагировала на

дальнейшее сближение России, Франции и Англии. В 1904 г., разумеется не в один день, Франция склоняет на свою сторону Великобританию – возникает англо-французская Антанта. Лондон обещал Парижу поддержку в случае военного столкновения с Германией. Тремя годами позже, в 1907 г., двойственная Антанта становится тройственной – Тройственным согласием: России и Англии удалось урегулировать свои отношения в Средней Азии, заключив соответствующие соглашения по Афганистану, Персии, Тибету.

Русская дипломатия пытается добиться формального присоединения Великобритании к франко-русскому союзу. Однако последняя предпочитает ограничиться "Сердечным согласием", объясняя, что такие союзы заключаются лишь во время войны. Заранее же Англия не соглашалась связывать себе руки и принимать какие-либо обязательства. Это было проявлением все той же политики лавирования, к которой прибегали ранее и Германия, и Англия и которая в немалой степени способствовала возникновению мировой войны. Некоторые трезвые политики и наблюдатели отмечали позже, что если бы Англия своевременно и открыто заявила, что в случае вооруженного конфликта Франции и России с Центральными державами она выступит на стороне двух первых, Германия не осмелилась бы развязать войну. Возможно, традиционная антирусская политика английского правительства, проводившаяся на протяжении всего XIX в. и еще ранее, помешала сделать это Британской империи, хотя именно Англия проявила инициативу в деле урегулирования своих отношений с Россией и заключения соглашения 1907 г. Правда, она поступила так при встречной инициативе русской дипломатии. Немалая заслуга в урегулировании русско-английских отношений принадлежала царскому послу в Лондоне графу А.К. Бенкендорфу, назначенному туда в 1902 г. К этому Англию побудили также великодержавные амбиции кайзеровского военно-политического руководства, все более утверждавшегося в мысли, что Германия располагает сильнейшими вооруженными силами перед лицом своих противников.

Коротко говоря, в результате последовавших один за другим кризисов: русско-японской войны, марокканского кризиса 1905 г., повторившегося в 1911 г., Боснийского (1908–1909 гг.) кризиса, итало-турецкой войны 1911 г., двух Балканских войн 1912 и 1913 гг., целого ряда других международных осложнений – общеевропейская война вплотную подступила к границам европейских государств. После известных событий: убийства наследника австрийского престола Франца Фердинанда и возникшего затем июльского кризиса 1914 г., всячески раздувавшегося Веной и особенно Берлином, – Великая война стала неотвратимой.

* * *

Несколько замечаний относительно тех положений, из которых мы еще недавно исходили в объяснении происхождения первой мировой войны.

1) "Война порождена империалистическими отношениями между великими державами, т.е. борьбой за раздел добычи". А объектами этого дележа являлись, по Ленину, "колонии и мелкие государства". Однако мы видели, что противоречия, приведшие к войне, возникли не вдруг, а накапливались с середины XIX в., с домонополистической стадии, и вряд ли существенно изменили свой характер только в связи или по причине вступления капитализма в монополистическую стадию. Выше уже отмечалось, что Франция очень хотела вернуть себе Эльзас и Лотарингию в начале XX в. ничуть не меньше, чем в 80-е и 90-е годы XIX в. Поэтому объяснять войну только экономическими и политическими причинами – это известное упрощение. Тут сказывались и уязвленное национальное чувство, давняя неприязнь, ставшая элементом общенациональной психологии, и вековые традиции, и сугубо национальные аспекты, и забота о соотечественниках.

2) Устоявшимся в литературе является и другой постулат, а именно: "...на первом месте стоят в этой войне два столкновения. Первое – между Англией и Германией. Второе – между Германией и Россией". Во-первых, здесь налицо явная недооценка франко-германских противоречий, острота которых была нисколько не меньше, если не больше, противоречий англо-германских и русско-германских. Ведь для Франции к началу первой мировой войны Германия была куда более опасным противником, чем для могущественной Британской империи. Особенно если помнить, что после франко-прусской войны Германия не раз порывалась нанести своей соседке еще более сокрушительный удар, чем в 1870 г., разгромить и низвести ее до положения второразрядной державы (об этом уже говорилось). И только предостережения со стороны России удерживали кайзеровскую Германию от реализации ее военных планов.

Хорошо известно также, и об этом я тоже упоминал, что после Франкфуртского мира Франция не расставалась с идеей реванша, не желая оставаться "с подбитым глазом", стремясь к возвращению Эльзаса и Лотарингии. Ясно, что это не давало покоя и Германии, которая не только готовилась сорвать контрдействия Франции, но и стремилась упредить их, вынашивая идею превентивной войны.

3) И если, по распространенному мнению, яблоком раздора явились "колонии", то это опять-таки относится к разряду противоречий, в значительной мере коренящихся в стадии раннего капитализма. А между тем война между Германией и Францией, способная втянуть в свою орбиту другие европейские государства, могла вспыхнуть, скажем, в 1885 г. и позже, в последнем десятилетии XIX столетия. Следовательно, причины войны 1914–1918 гг. оказались гораздо сложнее и многообразнее, чем принято было считать, и их надо основательно изучать, выходя при этом далеко за пределы XX в.

Еще в 80-х годах прошлого столетия Ф. Энгельс, обращая внимание на бешеную гонку вооружений и жесткое противостояние великих держав, предрекал не только вероятность, но и приближение мировой войны. Если такая война случится, писал он, то это будет "всемирная

война невиданного раньше размера, невиданной силы. От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиста, как никогда еще не объедали тучи саранчи. Опустошение, причиненное Тридцатилетней войной, – сжатое на протяжении трех-четырех лет и распространенное на весь континент, голод, эпидемии... все это кончается всеобщим банкротством... абсолютная невозможность предусмотреть, как это все кончится и кто выйдет победителем из борьбы". Как видим, к неизбежным итогам такой войны Энгельс относил всеобщее истощение[1], а следовательно, и социальные потрясения. Разумеется, и другие наблюдатели тогда предвидели подобное развитие событий. Не случайно некоторые германские стратеги все настойчивее твердили о возможности и вероятности для них войны на два фронта. Причем проводились и соответствующие военные приготовления и учения.

Таким образом, война планировалась прежде всего как борьба за абсолютное господство на Европейском континенте, за территориальный передел мира.

4) Критически следует отнестись и к такому утверждению: наряду с двумя названными столкновениями (англо-германским и русско-германским), подчеркивал Ленин, "существует не менее – если не более – глубокое столкновение между Россией и Англией", порожденное "вековым соперничеством и объективным международным соотношением великих держав..." Как видите, и здесь не может не возникнуть вопроса. Коль скоро англо-русские противоречия на тот момент и в самом деле были еще более глубокими, чем англо-германские, то почему же Россия и Англия оказались в одной и достаточно прочной антигерманской коалиции?

5) Остается в тени и еще один важный вопрос, хотя он вроде бы напрашивается сам собой. Если центральным антагонизмом на европейском театре, да и в мире, был англо-германский, то почему первым объектом нападения со стороны Германии оказались Россия и Франция, а не главный ее враг – Великобритания? Более того, какое-то время, в самом начале, Германия, как известно, питала надежду, что Англия может воздержаться от вмешательства в конфликт, сохранить нейтралитет. Правда, подобные надежды быстро рассеялись. Германские политики и стратеги, германская дипломатия просчитались, хотя они и не слишком полагались, судя по их действиям, на такой вариант. Всему этому есть, конечно, объяснения. Я позволю себе здесь сделать только следующее замечание.

Для того, чтобы скрестить шпаги с Англией, Германии предстояло прежде устранить основное препятствие на пути к установлению своей гегемонии на Европейском континенте – разгромить франко-русский союз. Военную мощь Германии и блока Центральных империй в целом составляли наземные силы. Им-то и предстояло столкнуться с мощными сухопутными армиями франко-русского союза. Представляется, что Лондон, считая свое столкновение с Германией неизбежным, занимал какое-то время весьма двусмысленную позицию, имевшую целью позволить Германии сильнее увязнуть в конфликте, из которого она

уже не смогла бы выбраться, после чего с помощью России и Франции разгромить своего главного соперника и конкурента. Исход борьбы решался на сухопутных театрах войны, а не на море. Сухопутной же армией, сколько-нибудь значительной, Англия к тому времени не располагала и создала таковую лишь к середине 1916 г. Да и царская дипломатия, стремясь привлечь Англию на сторону франко-русского союза, видела в ней прежде всего "фактор морской силы", как подчеркивал царский министр С.Д. Сазонов. Увы, углубленный анализ военных аспектов названных проблем давно у нас не проводился и нуждается в возобновлении.

Отмечу в заключение, что главной причиной первой мировой войны явилось стремление Германской империи силой оружия установить свое господствующее положение в Европе и мире и готовность Тройственного согласия не допустить подобного исхода. Ныне бо́льшая часть немецких историков согласна с этим общим выводом, что нашло наиболее четкое отражение в книге Ф. Фишера "Рывок к мировому господству", изданной еще в 60-е годы.

Высказывается мнение, что и дипломатически Германия была достаточно подготовлена к войне, как, собственно, и в военно-техническом отношении. Однако, такую точку зрения скорее всего можно отнести к недоразумению. Дипломатический аспект военных планов Германии оказался менее всего разработанным. Ибо уже в самом начале войны от Центральных держав отпали их давние партнеры по блоку Италия и Румыния, заявившие о своем нейтралитете, а впоследствии выступившие на стороне антигерманской коалиции. Довольно образно выразился по этому поводу сам кайзер Вильгельм II: "Союзники, – написал он на одной из страниц дипломатического донесения из Бухареста, – отпадают от нас уже до войны подобно гнилым яблокам! Полный провал германской, а также австрийской дипломатии. Этого должно было и можно было избегнуть". О том же свидетельствуют признания ряда видных германских военных и политических деятелей той поры, указывавших не только на зияющие бреши собственно дипломатии (дипломатической службы), но и провалы общей политической стратегии Германии.

[1] *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 361.

"ВКЛАД" МАЛЫХ СТРАН В РАЗВЯЗЫВАНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В.П. Виноградов

Балканы в начале XX в. прочно обрели мрачную славу "порохового погреба Европы": 1897 г. – греко-турецкая война, 1896–1897 гг. – Критское, 1903 г. – Илинденское восстание, 1908 г. – Боснийский кризис, 1912–1913 гг. – две Балканские войны... Груз нерешенных национальных проблем довлел над полуостровом, а на них накладывалось стремление к перекройке его карты.

Две Балканские войны соседствуют в военной хронике, но какая между ними разница! Первая кардинально решала остававшиеся еще задачи освобождения македонских земель. Союзу балканских стран впервые без участия России удалось одержать верх над Турцией. А вторая, иначе именуемая межсоюзнической, завязывала новые узлы противоречий, на этот раз между самими балканскими государствами. Бухарестский мирный договор 1913 г., продиктованный Сербией, Румынией, Черногорией и Грецией побежденной Болгарии, посеял зерна новых конфликтов. Образовались узлы противоречий: румыно-болгарских – из-за Южной Добруджи, сербо-греко-болгарских – из-за Македонии, раздела ее земель. Острота противоречий подчеркивалась тем обстоятельством, что болгарские дипломаты, подписав договор, присоединили к нему декларацию, протестуя против его условий.

Балканы поэтому являлись ближайшим резервом для вовлечения в мировую войну расположенных здесь государств. Но непосредственно летом 1914 г. ни одно из них к этому не было готово. Разбитая и истощенная Болгария нуждалась в передышке. Сербии и Греции требовалось время для освоения приобретенных территорий и для органического включения их населения в общественную, экономическую и культурную жизнь новой родины. Румыния превратилась в крупнейшее государство Юго-Восточной Европы и стремилась к сохранению этого статуса. Внимание и правительства, и общественности страны было устремлено не на Балканы, а к Карпатам; в повестке дня стояло объединение с соотечественниками, проживавшими в Австро-Венгрии.

Но, если не летом 1914 г., то в более протяженных временных рамках Балканский полуостров представлялся зоной потенциальных конфликтов. Жесткий курс Австро-Венгрии, непримиримость занятой ею позиции были построены не на песке ошибочных расчетов и не были продиктованы агрессивностью в чистом виде. "Балканский Пьемонт", Сербия, являлась центром притяжения югославян, и венское руководство избрало вариант превентивного удара, сочтя убийство эрцгерцога Франца Фердинанда достаточно солидным поводом для того, чтобы ликвидировать южнославянский объединительный очаг в Сербии, подчинив себе это государство.

Специфика роли балканских стран в развязывании первой мировой войны заключалась в том, что ни одна из них в самый момент ее возникновения не была в ней заинтересована, но каждая стремилась воспользоваться конфликтом для территориального расширения, причем все без исключения подобные планы выходили за пределы оправдываемой национальным объединением акции. Существовали великосербская, великогреческая, великорумынская, великоболгарская программы. Поэтому шансы на отказ государств региона от участия в войне практически равнялись нулю, и Балканы с осени 1914 г. превратились в заповедное поле охоты за союзниками для обеих группировок держав. С другой стороны, межбалканские противоречия

были столь остры и запутанны, что если не полюбовное, то хотя бы удовлетворяющее две страны территориальное размежевание представлялось недостижимым. Поэтому попытки и Антанты, и Тройственного союза заручиться поддержкой блока балканских государств были заранее обречены на провал. Их вовлечение происходило поодиночке и, как правило, после длительного торга.

Балканские страны нельзя рассматривать как клиентов или сателлитов той или иной державы. Румыния традиционно считалась находящейся в орбите германского капитала, а выступила на стороне Антанты. В Греции сильными экономическими позициями обладала Великобритания, тем не менее в стране существовала сильная пронемецкая партия. Болгария, даже подписав договор с Центральными державами, медлила больше года, выжидая благоприятный момент для выступления. Переговоры Румынии с Антантой продолжались два года, и премьер-министру Ионелу Брэтиану удалось выговорить многочисленные уступки в территориальном вопросе. Младотурки вступили в войну поспешно и необдуманно, но происходило это под воздействием паносманских экспансионистских миражей, а не в результате немецкого давления. Мрачный юмор ситуации заключался в том, что германский посол в Стамбуле вообще был против вовлечения Турции в войну, полагая, что ей не выдержать напор англичан в Аравии и русских в Закавказье; кайзеру Вильгельму II пришлось "поправлять" своего дипломата – не мешать же младотуркам воевать в германском блоке! Все это показывает, что вступление балканских государств в первую мировую войну произошло прежде всего и главным образом в соответствии с планами и расчетами их правящих сфер.

Признавая решающий голос ведущих держав Антанты в мирном урегулировании, говорить об их диктате все же нельзя. Ко времени открытия Версальской конференции национальные процессы (и эксцессы) зашли далеко. Возродилась Польша; Сербия объединилась с Хорватией и Словенией в единое государство; возникла Чехословакия; вдвое расширилась Румыния. Повернуть историю (с ее правдами и неправдами) вспять было превыше сил и возможностей любых "троек" и "четверок", даже самых больших и могущественных. Лозунг президента США Вудро Вильсона – "Мир без победителей" – остался за порогом конференции. Победители, как "великие", так и "малые", не собирались отказываться от плодов победы. Ни разу "вершители судеб" Европы из представителей ведущих держав не "прирезывали" по своей инициативе какие-либо территории к балканским государствам. В иных случаях (например, с Румынией) они несколько умеряли претензии "малых". Относительно Греции этого не было сделано, последовала греко-турецкая война, разгром греческого экспедиционного корпуса и, как итог, – отказ Греции от воплощения в жизнь Великой (Мегали) идеи. Так что корни всех конфликтов, происходивших в межвоенные и военные годы и после второй мировой войны, а частично и ныне затуманивающих балканский горизонт (Босния и Герцеговина, Сербская Крайна, Косово, Добруджа, венгеро-румынские отношения, Македония), обнаруживаются в мирном урегулировании 1919–1920 гг.

Искать выход путем перекройки границ бесполезно и опасно; при существующей этнической чересполосице провести безупречную с этнической точки зрения границу просто невозможно даже теоретически. Плодотворными поиски могут оказаться в ином – в торжестве прав человеческой личности, в полном национальном равноправии, в свободе языкового и культурного развития каждой этнической общности, в "прозрачности" границ.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ

Я.С. Драбкин

Размышлять ныне о происхождении первой мировой войны и не уделить серьезного внимания вопросу о роли в предвоенные и военные годы международного рабочего движения, интернациональной социал-демократии, значило бы упустить нечто очень важное, возможно, определяющее. Нельзя счесть убедительным довод, что об этом нами наговорено и написано слишком уж много и что мы вряд ли можем сказать что-либо новое, пока не разроем новые груды архивных материалов. Полезность освоения новых пластов источников несомненна, но и до того или вместе с тем уже теперь существуют достаточные основания обратиться к более или менее известному и снова рассмотреть нечто забытое или прежде недооцененное.

Международная социал-демократия родилась и выросла как организация, поставившая своей главной целью национальное и социальное освобождение трудящихся масс. Она первая решительно заявила об опасности, грозящей мировому сообществу из-за того, что господствующие классы великих держав привержены милитаризму и, не скрывая того, готовят новые войны между народами. Еще на рубеже веков прозвучало громогласное предупреждение о надвигающейся угрозе небывалой дотоле по масштабам и жестокости мировой войны.

Чтобы не быть голословным, один только пример. На Парижском международном социалистическом конгрессе в сентябре 1900 г. с речью о милитаризме и мировой политике выступила Роза Люксембург. "Милитаризм и колониальная политика, – говорила она, – в настоящее время всего лишь две стороны одного явления – мировой политики. На международных конгрессах протест против милитаризма ничего нового собой не представляет. Своим верным инстинктом пролетариат давно ощутил, что в милитаризме следует видеть смертельного врага всякой культуры. Уже старый Интернационал многократно формулировал такие протесты". Однако появилось, считала она, нечто качественно новое: до сих пор интернациональный пролетариат практически действовал солидарно только в области экономической, но настала пора совместных международных политических выступлений: "Альянсу империалистической реакции пролетариат должен противопоставить

интернациональное движение протеста". Резолюция, принятая единодушно, предусматривала голосование социалистов повсюду против любых ассигнований на милитаризм и маринизм, создание международной комиссии и другие меры. Подчеркивая первоочередность именно этих задач Социалистического Интернационала, Роза Люксембург выдвинула лозунг: "Пролетарии всех стран, в ожидании общей решительной борьбы против капиталистического строя, соединяйтесь для совместной борьбы против милитаристской, всемирно-политической реакции"[1].

Известно, что на последующих конгрессах Социнтерна, особенно убедительно на Штутгартском (1907 г.), затем также на Копенгагенском (1910 г.), на Базельском (1912 г.) принимались антивоенные резолюции, в которых подчеркивалось, что, если мировую войну все же не удастся предотвратить, долг пролетариата – выступать не только за ее скорейшее окончание, но и "всеми силами стремиться использовать вызванный войной экономический и политический кризис для политического пробуждения народа и для ускорения свержения капиталистического классового господства". Крупнейшие социал-демократические теоретики в предвоенные годы приложили немало усилий для осмысления ситуации, созданной вступлением капитализма в империалистическую стадию, чреватую вооруженными мировыми конфликтами. Однако столь же хорошо известно и то, что произошло 4 августа 1914 г., когда мировая война стала реальностью.

У историков нет сомнения, что тогда случилось нечто неожиданное для рабочего движения, что произошло обвальное крушение прежних представлений, заверений и решений, что война разрушила само здание Социалистического Интернационала и входивших в него партий. Однако относительно причин этого краха мнения в двух частях расколовшегося рабочего движения разошлись диаметрально. Ныне, после коллапса коммунистической идеологии, настало время кардинально переосмыслить и это событие.

Здесь нет сейчас возможности серьезно заняться этой сложнейшей проблематикой, требующей учета многих исторических обстоятельств. Мне хотелось лишь поставить вопрос и привлечь внимание к одному из объяснений этого феномена. Оно выдвигает на первый план не "предательство лидеров социал-демократии", хотя и не отрицает факта отхода их от прежних позиций, смены парадигм. Оно подчеркивает то обстоятельство, что многие марксистские теоретики, особенно Каутский и левые, в довоенное время существенно недооценивали значение национального вопроса, а правые, реформистские круги все дальше отходили от поддержки активной массовой борьбы за радикальные социальные преобразования. Между тем в момент международного политического кризиса, резко обострившего все противоречия в вовлеченных в него странах, именно национальный вопрос оказался способным оттеснить на задний план едва ли не все интересы и устремления к демократическим преобразованиям и социальному освобождению. Последующая история не устает подбрасывать нам многочисленные примеры подобных сдвигов в разных странах и на различных континентах, так что не считаться с такими фактами просто нельзя.

В этой связи мне хочется обратить внимание исследователей на одно лишь обстоятельство, связанное с первой мировой войной и с деятельностью Розы Люксембург. Участвуя с детства в польском революционном рабочем движении, она еще в конце прошлого века вступила в теоретический спор с Каутским по вопросу о независимости Польши. С присущей ей страстью спорщицы она доказывала, что идея воссоздания независимой Польши на руку только самым отъявленным реакционерам и националистам. Интересы же революционного пролетариата требуют не поддержки лозунга о праве наций на самоопределение, не воссоздания "исторической Польши", а, напротив, совместной революционной борьбы русских, немцев, австрийцев и поляков против капитала, за общее для всех социальное освобождение. Вскоре Роза Люксембург и ее друзья включили эти соображения в свои программные документы. А в 1903 г. при создании РСДРП разногласия по вопросу о праве наций на самоопределение стали едва ли не главной причиной того, что социал-демократия Польши и Литвы не вошла в Российскую партию.

В последующие годы, особенно накануне и в начале войны, дискуссии по этому вопросу играли важную роль в отношениях между Лениным и Розой Люксембург, с которой во многом были согласны российские левые большевики Бухарин и Пятаков. Ленин никак не мог понять, почему поляки и молодые большевики не признают необходимости выдвижения этого демократического требования. Роза Люксембург, в свою очередь, недоумевала, как это большевики не видят, что этот лозунг на руку национальной буржуазии, а вовсе не интернациональному пролетариату; она слишком хорошо знала "своих поляков", чтобы ни минуты не сомневаться в том, что для них символика национальной независимости была превыше их стремлений к социальной революции.

Ирония истории проявилась в том, что во время первой мировой войны, когда национализм распространился повсеместно, приняв формы самого разнузданного шовинизма, в том числе и социал-шовинизма, большевики и президент Вильсон в одном вопросе "сошлись", а именно в выдвижении лозунга о праве наций на самоопределение, хотя, конечно, понимали его по-разному.

Разумеется, Роза Люксембург в своей тюремной "Рукописи о русской революции" не преминула обратить внимание на то, что большевики сами в немалой степени "обострили объективные трудности положения своим лозунгом, который поставили во главу угла своей политики, так называемым правом наций на самоопределение или тем, что в действительности скрывалось за этой фразой, – государственным развалом России". По ее мнению, пагубной была сама формула о праве различных национальностей Российской империи самостоятельно определять свои судьбы, "вплоть до государственного отделения от России", которую большевики провозглашали, как она считала, "с доктринерским упорством". Далее, не без сарказма, она писала: «Поражают прежде всего упорство и жесткая последовательность, с которой Ленин и его товарищи держались за тот лозунг, который резко противоречит и

их обычно ярко выраженному централизму политики, и их отношению к прочим демократическим принципам. В то время как они проявили весьма холодное пренебрежение к Учредительному собранию, всеобщему избирательному праву, свободе печати и собраний, короче, ко всему арсалу основных демократических свобод для народных масс, образующих в совокупности "право на самоопределение" для самой России, они обращались с правом наций на самоопределение как с сокровищем демократической политики, перед которым должны умолкнуть все практические возражения реальной критики»[2].

И еще один отрывок, в котором Роза Люксембург констатировала: увы, не оправдались надежды Ленина и его товарищей, несомненно ожидавших, что Финляндия, Украина, Польша, Балтийские страны, кавказцы станут верными союзниками русской революции. Они же, напротив, "использовали только что дарованную им свободу для того, чтобы в качестве смертельного врага русской революции вступить в союз с германским империализмом и под его защитой понести знамя контрреволюции в саму Россию"[3]. И все же при всей справедливости этой критики в ней не было ответа на коренной вопрос: а могла ли новая власть. взявшая в свои руки решение судеб бывшей Российской империи, обойтись без лозунга о праве наций на самоопределение? Это вопрос для дальнейших размышлений современных историков, которым известно несравненно больше того, что видели и знали участники событий первой мировой войны и последовавших за ней революций, а именно то, что произошло позже.

Справедливости ради надо заметить, что еще перед войной была не только высказана, но и теоретически обоснована также третья, как бы промежуточная точка зрения, отвергавшаяся и Лениным и Розой Люксембург, – концепция австро-марксистов К. Реннера и О. Бауэра о решении национальных вопросов на основе культурно-национальной автономии этнических групп. Впрочем, и она не выдержала испытания историей, не смогла спасти Австро-Венгерскую империю от крушения и распада. А ныне мы наглядно видим, что тенденцию к распаду проявляют не только империи, но и другие многонациональные государственные образования.

Итак, одно несомненно важно в опыте предыстории и истории первой мировой войны, равно как и послевоенных десятилетий: национальные интересы, укорененные в глубинах человеческого сознания, никак нельзя недооценивать. Интернациональная солидарность, даже самым лучшим образом обоснованная, воспитанная в человеке с самого его рождения, впитанная с молоком матери, сопряженная с осознанием (классовых или иных) интересов социальной справедливости и необходимости социального освобождения, оказывается в критических ситуациях все же слабее национальных интересов, привязанностей, привычек, предпочтений, даже предрассудков. До подлинного, действенного интернационализма человечеству, видимо, еще предстоит дорасти, как, впрочем, и до глубокого понимания сущности и путей достижения социальной справедливости. Очевидно, однако, – и в этом заключается

едва ли не самый значимый урок истории, – что всякое насильственное "внедрение" даже самых благородных идей и учений не только препятствует их успеху, но и ведет к крушению как идеалов, так и пытающихся осуществить их режимов.

[1] *Люксембург Р.* О социализме и русской революции. М., 1991. С. 238–239.
[2] Там же. С. 317.
[3] Там же. С. 318.

"НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ" ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В.А. Емец

В историографии происхождения первой мировой войны 1914–1918 гг. проблема "национальных интересов" участвовавших в ней государств занимает одно из центральных мест. Однако в историко-социологическом понимании содержания этого термина много неясного, неопределенного, дискуссионного. Причем не только в наших научных и общественно-политических кругах, где он после Октября 1917 г. фактически исчез из лексикона и был заменен понятиями "пролетарский интернационализм", "интересы рабочего класса и трудящихся" или просто "государственные интересы". В зарубежном обществоведении также нет адекватного представления об объективных критериях в его понимании, сосуществуют самые различные, порою полярные представления о национальных интересах страны или вовсе отрицается сама возможность определить, сформулировать их, учитывая политическую, экономическую, социальную, религиозную и иную дифференциацию общества, а часто и его многонациональный состав. В мононациональном и монорелигиозном государстве, со стабильными социально-экономическими структурами и политическим строем определение таковых менее затруднительно (хотя не всегда), чем в многонациональном, мультирелигиозном, многоукладном, в особенности если господствующее коренное население не составляет большинства (как это было, например, в Австро-Венгрии или Османской империи в начале XX в.).

Вместе с тем можно выделить некоторые очевидные общие положения, которые разделяются большинством ученых. Прежде всего, понятие национальных интересов гораздо шире понятия внешнеполитических интересов, охватывая весь комплекс проблем, связанных с жизнедеятельностью нации и государства: начиная с идеологических представлений о них, концепций путей развития общества и государства и кончая конкретными целями внутренней и внешней политики. Во-вторых, национальные интересы обычно связываются, а часто и отождествляются с государственными интересами, поскольку государство с незапамятных времен является господствующей формой

организации жизнедеятельности народов. Тем не менее, национальные и государственные интересы далеко не всегда совпадают. В-третьих, понятие национальных интересов или национально-государственных интересов не означает, что они всегда отвечают интересам большинства населения страны.

Национальные интересы – категория историческая. Представления о национальных, в том числе внешнеполитических, интересах трансформируются в связи с определенными этапами развития общества и государства и их идеологии, изменениями географического и геополитического положения страны, его места и роли в окружающем мире и т.п. Они достаточно объективны в абстрактном представлении (национальная независимость и безопасность, государственный суверенитет и т.д.), определение же их конкретного содержания – субъективно. Оно проявляется в формулировании той или иной внешнеполитической концепции, которая является (во всяком случае должна быть таковой) частью общеполитической доктрины. В конечном итоге декларированные во внешнеполитической концепции национальные интересы и задачи приобретают конкретное выражение во внешнеполитических программах и целевых установках правящих кругов, политических партий, общественных и прочих организаций.

Особенности исторического развития России накладывали печать на эволюцию национальных интересов государства во внешней политике. Прежде всего, географическое положение России на стыке Восточной Европы и Азиатского континента давало возможность расширения государственной территории на Восток, Север и Юг и ее геополитического пространства.

Во-вторых, особенности демографического положения состояли в численном, а также экономическом, политическом и культурном преобладании в многонациональном Российском государстве русских, украинцев и белорусов, составлявших господствующее большинство населения страны (в отличие от Австро-Венгерской, Османской и других империй). Генетически они восходили к древнерусской народности, сложившейся на восточнославянской основе в эпоху Древней Руси. Этническая общность и многовековая борьба за существование и выживание способствовали формированию национально-государственного самосознания большинства населения России.

В-третьих, экстенсивный тип исторического развития страны, связанный с географическим положением и особым типом российского феодализма, обусловил замедленный темп исторического развития России, привел к гораздо более длительному, чем на Западе, господству феодальных отношений и абсолютистского режима (к началу XX в. он существовал в Европе еще только в Черногории и Османской империи), создавая вплоть до Крымской войны 1853–1856 гг. относительно прочную базу для активной внешней политики.

В-четвертых, внешние условия становления Российского государства с конца XV в. – борьба воссозданного государства за национальное выживание, затем за воссоединение трех славянских народов – русских, украинцев и белорусов, за выход к открытым морям и возможность

свободного экономического, политического и культурного общения с европейскими и азиатскими цивилизациями. Об объективности насущных национальных интересов Российского государства свидетельствовала последовательная многовековая преемственность внешней политики российских монархов и правящей бюрократии, в которой личностный фактор оказывал либо ускоряющее, либо замедляющее воздействие. Интересы династической политики русских царей или удовлетворения исключительно социальных задач дворянства не являлись превалирующим фактором. Эти национальные и национально-государственные задачи были завершены в основном в начале XIX в. (а окончательное воссоединение украинских, русских и белорусских земель произошло только в 1945 г.).

И, наконец, в-пятых, подчинение национальных задач государственной идее – вначале борьбе за воссоздание национального государства и его выживание, а затем за утверждение национально-государственных интересов и, в конце концов, за статус великой державы и соперничество с конкурентами на мировой арене – способствовало формированию особого менталитета правящих кругов и господствующей нации и привело к тому, что их национальное самосознание ассоциировалось с интересами государства. В этом направлении действовали постоянные внешнеполитические успехи Российской империи (до Крымской войны 1853–1856 гг.), расширение ее геополитического пространства в Азии и Восточной Европе, за чем в свою очередь стояли самая большая по численности в мире армия и сильный флот. Недаром Николай II в январе 1904 г. предостерегал японского посла в Петербурге от войны с Россией советом не забывать, что "Россия не только большое государство, оно почти что часть Света".

К началу XX в. правящая бюрократия России пришла к единодушному мнению (оно формировалось главами военного, внешнеполитического и финансового ведомств, принимавших непосредственное участие в принятии решений по принципиальным вопросам внешней политики) о том, что национальным интересам страны отвечают сложившиеся к этому времени границы империи, территориальное пространство и что задача состоит в "сохранении уже достигнутых Россией пределов, без расширения таковых". Военный министр генерал А.Н. Куропаткин во всеподданнейшем докладе Николаю II, подводившем итоги военных и внешнеполитических успехов Российской империи за последние два века и намечавшем перспективы в XX в., представленном в начале 1900 г., констатировал, что Россия достигла "своих естественных границ" и не нуждается в новых приращениях территории и населения, которые могут только ослабить ее. Он отрицательно относился даже к присоединению к России Галиции, Прикарпатья и части Польши с украинским, белорусским и русским населением, которое, по его мнению, "вовсе не рвется в подданство России".

Характерно изменение самого менталитета царского военного министра, видевшего движущие силы международных отношений и внешней политики России в XX столетии в успехах ее экономики, создании необходимых условий для роста ее конкурентоспособности "на

рынках всего Света". В целях обеспечения благоприятных условий для российского промышленного экспорта он считал необходимым обеспечить России свободный выход на океанские просторы через черноморские проливы (т.е. овладеть Босфором), закрепить ее положение на Тихом океане и добиться (мирными средствами) выхода через Персию к Индийскому океану. "Без выполнения этих задач, – полагал Куропаткин, – *не может* обойтись держава такой мощи, как Россия, готовящаяся в XX столетии приблизиться населением к 400 млн человек".

Вместе с тем на рубеже веков представления о национальных интересах и внешнеполитических задачах Российского государства, как и о методах их осуществления, пересматривались. В начавшейся борьбе за рынки сбыта и раздел сфер влияния Россия была вынуждена принять "правила игры", навязанные промышленно развитыми странами Запада в экономическом соперничестве за раздел мира. Ввиду слабости национального капитализма, отсутствия свободных капиталов и необходимого опыта именно российское государство в лице бюрократического аппарата царского правительства взяло на себя выполнение тех задач, которые были присущи монополистическому капиталу западных стран, финансируя преимущественно за счет иностранных займов формально частные, а фактически государственные предприятия и банки в сопредельных с Россией странах – Иране, Китае, Корее, Монголии (КВЖД, Русско-Китайский и Учетно-ссудный банки, акционерные горнодобывающие, дорожные и т.п. компании). Можно сказать, что завоеванные Россией сферы влияния в сопредельных азиатских государствах удерживались не столько экономическими, сколько военно-политическими средствами.

Бурные темпы индустриализации и социально-экономической модернизации, в начале XX в. приведшие к социальной напряженности и революции и в то же время к росту экономической мощи российской буржуазии и усилению национализма, выразились в изменении представлений о национальных интересах страны и самой идеологии внешней политики России. Впервые в истории российское общество широко и активно включилось в обсуждение вопросов о будущем России, путях ее развития, ее месте в мировом сообществе.

Участие России в соперничестве великих держав и реальные перспективы возможной общеевропейской войны не могли не отразиться на расширении территориальных притязаний как со стороны правительственных кругов, так и созданных в период первой российской революции политических партий (за исключением крайне правой и левой ориентации) и общества в целом. Провозглашенный П.А. Столыпиным после революции лозунг "Великой России" был расценен либеральными и проправительственными кругами как конструктивная основа общенациональной внешнеполитической программы. Он наполнялся самым различным содержанием, отвечая представлениям и вкусам соответствующих социальных и политических слоев российского общества. Если кадеты видели будущее России в бассейне Черного моря и в обладании Босфором и Дарданеллами, а националисты и неослависты –

в присоединении к России всех русских, украинских и белорусских земель и превращении ее в лидера и верховного арбитра всех славянских стран и народов, то октябристы и прогрессисты связывали интересы "Великой России" с преобладанием в обширном пространстве восточноевропейского и азиатского регионов, в орбиту которого должны были войти соседние с ней страны и народы. В прессе обсуждались и программные требования присоединения к России Восточной Пруссии, черноморских проливов, турецкой Армении, значительной территории Польши и т.д. Примечательно, что почти все эти пожелания были учтены царским правительством в начале первой мировой войны, составляя содержание ноты министра иностранных дел С.Д. Сазонова, направленной союзникам для выработки условий будущего мира.

Однако в России национализм не приобрел такого масштабного и агрессивного характера, как, например, в Германии. Бурные темпы модернизации страны, которые привели к дестабилизации социальных и политических структур российского общества, выдвинули на первый план революционную альтернативу общественного развития. Национальный момент играл второстепенную роль, за исключением западных окраин страны – Польши и Финляндии. По существу, условия вхождения в состав России многих народов Северного Кавказа, Закавказья, Сибири, Средней Азии (добровольно-вынужденное вхождение), их уровень исторического развития – вступление в начальный этап формирования современных наций, достаточно гибкая национальная (вернее, наднациональная) политика царского правительства, длительное хозяйственное и культурное взаимодействие с русским и другими народами страны не создавали необходимых условий для развития буржуазного национализма в этих регионах.

Давно вошедшие в состав России народы стремились не к восстановлению своей независимости, а к сохранению гарантированных им Россией прав и привилегий, поскольку с конца XIX в. процесс модернизации страны вызывал изменения в национальной политике царского правительства в сторону ее гомогенизации. Очевидно не случайно, что с 1864 до 1905 г. в империи не произошло ни одного сколько-нибудь значительного восстания нерусских народов. Только после первой российской революции началась социальная и национальная мобилизация нерусских этносов, которая впоследствии стала одной из важнейших предпосылок национальных движений революционного времени. Таким образом, можно утверждать, что в России, в отличие от Австро-Венгрии и Турции, национальные противоречия внутри империи не сказывались на вовлечении России в мировую войну. Исторически сложившееся и на протяжении длительного времени существовавшее многонациональное государство воспитало в великорусском народе этнотерпимость, он не был заражен национализмом и шовинизмом, как это наблюдалось в некоторых западноевропейских странах и что с особой силой проявилось в период кануна и первой мировой войны.

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ФАКТОР В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Т.М. Исламов

Для того, чтобы даже приблизительно, в общих чертах, определить направление научного поиска в исследовании проблемы происхождения первой мировой войны, ее природы и характера, а также исторических последствий, необходимо составить представление о состоянии разработки проблемы в конце XX в. на разных уровнях: национальном, региональном и мировом. Задача эта предварительная, предшествующая основной работе (как здесь уже говорилось), и прежде всего историографическая, и далеко не простая. Тем более, что общей теорией (концепцией) происхождения войны, для всех приемлемой, мировая наука пока не располагает. Но к этому она идет, и идет довольно успешно, если судить по германской историографии. Созрела для этого и отечественная историческая наука. Особенно после того, как отпало принудительное приспособление исторической истины к идеологическим догмам и "высшим интересам партии, государства, народа". Отсюда вытекает вторая, более локальная задача на уровне нашей национальной историографии – задача объективной оценки того, что было сделано в этой области советской исторической наукой, марксистской общественной мыслью. Перефразируя известное изречение, можно эту задачу сформулировать следующим образом: "от какого наследства (наследия?) мы отказываемся" и какую его часть мы можем использовать с пользой для дела. И третья задача – определить те участки, аспекты, отдельные вопросы, по которым необходимы новые либо дополнительные исследования на базе первоисточников.

В связи с вышесказанным и с учетом нарастающих среди части историков радикально-ликвидаторских настроений в отношении отечественного историографического наследства, накопленного за весь XX в., представляется целесообразным остановиться на некоторых актуальных вопросах развития нашей науки, занимающейся историей конца XIX в. и всего XX в. Разумеется, кратко, без развернутой аргументации и в порядке обсуждения.

1) **Об империализме, эпохе империализма, империалистическом характере войны.** Ленинская теория империализма и эпохи империализма, безусловно, нуждается в серьезном критическом анализе, отчасти и в пересмотре отдельных ее положений в свете исторического опыта XX в. Она, как и теория формаций, не всегда "работала" и применительно к рубежу двух веков, а последующее развитие исторического процесса убедительно продемонстрировало несостоятельность некоторых ее фундаментальных положений ("империализм как высшая стадия капитализма", "загнивающий капитализм", "канун социалистических революций", "монополии, заменяющие конкуренцию" и др.). Следовательно, нет оснований принимать за истину в конечной инстанции теорию империализма в ее ленинской трактовке, но еще меньше у нас оснований отбрасывать ее целиком, с легкостью необыкновенной предавая анафеме само понятие "империализм", "империалистическая экспансия", "империалистическая политика" как злонамеренную выдумку коварных большевиков.

Между тем целый ряд процессов в мировой экономике (концентрация производства и капиталов, образование финансового капитала и др.) и в мировой политике (кризис всей системы международных отношений), новые колониальные захваты, совершенные Германией, Японией, США, локальные войны (англо-бурская, японо-китайская, русско-японская, триполитанская), острейшие международные конфликты (Боснийский кризис, Агадир, Цаберн), 2-я Балканская война (империалистическая война без участия ведущих империалистических держав) нельзя ни понять, ни осмыслить вне общей теории империализма, ибо, возникая на разных уровнях, в различных регионах, отдаленных друг от друга и от Европы, главного центра международной напряженности на протяжении по крайней мере трех последних столетий, они происходили тем не менее на общей почве, имели общий знаменатель.

Характер и природа начавшейся в августе 1914 г. всесветной бойни определялись не защитой "родной земли, священных рубежей отечества", не заботой о спасении культурных ценностей и цивилизации от варваров – тевтоно-германских либо русско-славянских, – а интересами империалистической экспансии в форме захвата, раздела, передела чужой земли либо установления сфер влияний и т.п. Анализ происхождения войны и ее характера не будет полным без органического включения в него главных исторических последствий конфликта, каковыми были: большевизм, фашизм, т.е. тоталитаризм обоих толков плюс японский милитаризм с его особой, азиатской спецификой, и вторая мировая война. В сущности, она была в полном смысле слова продолжением первой; отличались они друг от друга скорее количественно – благодаря технологическому прогрессу, – чем качественно, а промежуток между ними был, с точки зрения исторической перспективы, столь невелик, что не дает оснований говорить о какой-то мирной, межвоенной эпохе. Период от советско-польской войны 1920 г. до абиссинской кампании и нападения Японии на Китай в 1931 г. вполне подходит под определение "перемирие", а не мир. В этом смысле война, начавшаяся в 1914 г., закончилась в 1945 г., такое суждение, высказываемое некоторыми учеными, не столь уж экстравагантно, если рассматривать указанные события в контексте истории человечества в XX в. в целом.

2) В целом теория империализма не может быть отброшена, но **настоятельно необходима ее коррекция и дальнейшая разработка.** В теперешнем ее виде она не в состоянии объяснить суть всех основных процессов и явлений, порожденных империализмом или сопутствовавших самой войне, как-то: сравнительно легкая, безболезненная мобилизация десятков миллионов не помышлявших о войне "мирных"

граждан, массовый военный психоз на начальном этапе, утеря международным социалистическим движением его мощного антивоенного потенциала и крах идеи пролетарского интернационализма и ряд других явлений социального и идеологического характера.

Необходимым представляется расширение и уточнение родовых (видовых) признаков империализма и эпохи империализма. Особого к себе внимания требуют три из них – индустриализм, экспансионизм и национализм.

Несколько слов о **национализме**, недооцененном не только политикой, но и наукой. Являясь порождением самого капитализма, свой огромный разрушительный потенциал он обнаружил именно с наступлением империализма и в связи с мировой катастрофой 1914–1918 гг. Получив "мандат" от Великой французской революции в конце XVIII в., национализм шествует по планете вот уже двести лет, поражая живучестью (если этот термин здесь употребим) и эффективностью и превосходя любую другую придуманную человеческим сознанием идеологию. Сначала его взяли на вооружение великие нации и державы, затем с не меньшим успехом освоили малые страны и нации, или, используя советско-русско-марксистскую фразеологию, "проснувшиеся к самостоятельной национальной жизни народы"! Одна из особенностей национализма состояла и состоит в том, что им не только легко и удобно прикрывались как лозунгом и как ширмой, но и руководствовались, пользуясь при этом всей полнотой государственной власти, всеми ресурсами нации. Нужно помнить, что в августе 1914 г. мир взорвали не только межимпериалистические противоречия. Особо зловещую роль сыграл и нетерпимый, агрессивный, всепоглощающий национализм всех: и тех, кто играл главные роли, и тех, кто мог лишь подписать. Здесь, однако, требуются некоторые дополнительные разъяснения, ибо роль малых стран и наций и их национализма в великой трагедии не оценена до сих пор по достоинству историографией; ее анализ еще не вошел органической составной частью в концепцию происхождения первой мировой войны.

3) **О роли малых наций.** Сначала напомним некоторые факты.

При всей непримиримости и остроте противоречий между великими мира сего: Германией и Англией, Германией и Францией, Россией и Австро-Венгрией и т.д., война началась не между ними, а между монархией Габсбургов (не самой, кстати, первоклассной к этому времени великой европейской державой) и микроскопических размеров страной, Сербией, отнюдь не безгрешной в том, что случилось в июле 1914 г. Попутно заметим, что нуждается в уточнении "железная" ленинская формулировка: "империалистическая для всех ее участников, за исключением Бельгии и Сербии". Мало кто задумывался над тем, насколько безупречна эта формулировка и насколько равноценны оба исключния из общего правила.

Справедливо ли считать Сербию такой же жертвой **неспровоцированной** агрессии, как и Бельгию? Едва ли. У Бельгии не было ни территориальных претензий к Германии, ни стремления оттяпать какой-нибудь жирный кусочек германской территории. О Сербии этого, к сожалению, не скажешь. Достаточно перечислить лишь некоторые области монархии Габсбургов, на которые простирались притязания сербов: Босния-Герцеговина, южные области Венгрии, населенные сербами, но не одними сербами. Получить все это и многое другое (все населенные югославянами земли Венгрии и Австрии) она не могла без большой драки, такой, в которой непременно должна была участвовать и Россия. Этим я не хочу сказать, что только благодаря сербским интригам Россия оказалась втянутой в войну, которая отнюдь не диктовалась правильно понятыми национальными интересами Российской империи. И не геополитические интересы России требовали разрушения Австро-Венгрии, а интересы создания "Великой Сербии" того требовали. Среди немногих в России, кто понял и оценил ситуацию, созданную покушением в боснийской столице, был П.Н. Милюков, ученый-историк и политик. В двух статьях, опубликованных в "Речи" 13 и 14 июля 1914 г., он ратовал **за локализацию** конфликта, "что бы это ни стоило Сербии!".

Во всяком случае не всегда великие были ведущими, а малые ведомыми, зачастую инициатива исходила от последних, они же создавали нередко конфликтные ситуации, усиливая общую напряженность в континентальном и глобальном масштабах. Классический тому пример – Балканы, которые были превращены в "пороховой погреб" Европы дружными, иногда и согласованными усилиями и европейских дворов и самих балканских правителей. Целиком на их совести 2-я Балканская война, и здесь нечего кивать на Петербург или Вену. Со стороны исторической науки, в частности, отечественной, было бы более уместно дать дифференцированную характеристику этих двух войн, ставших прологом к большой войне. Говоря словами того же Милюкова, на Балканах "освободительная война превратилась в войну завоевательную". Продолжая эту мысль, можно оценить 2-ю Балканскую войну как типично империалистическую, как войну "за передел уже поделенного мира". Между двумя этими балканскими войнами целая пропасть. Первая – аккорд "Восточного кризиса", вековой борьбы за ликвидацию османского владычества в Европе. Вторая же вполне укладывается в общую схему империалистических по характеру войн и непосредственно примыкает к первой мировой войне отнюдь не только по времени, хронологически, а по природе своей и характеру своему. Этим, конечно же, нисколько не снимается с великих держав доля ответственности за развязывание мирового пожара.

4) **Вопрос о виновниках войны.** Похоже на то, что пришел к благополучному концу некогда сотрясавший мировую историографию пресловутый и порядком наскучивший всем вопрос об ответственности за войну "Kriegsschuldfrage" / "War Guilty", породивший гору литературы на всех европейских языках.

К 1960-м годам страсти вроде бы улеглись, и историки наконец-то могли перевести проблему происхождения первой мировой войны в более спокойное русло строго научных конструктивных дискуссий.

Барьер "патриотического" подхода первыми и, как уже отмечалось здесь В.С. Васюковым, весьма успешно преодолели немцы. Работы Фрица Фишера, его учеников и единомышленников, в частности, Иммануила Гайса, имеют ценность модели современной в лучшем смысле слова историографии, свободной от националистической узости, могут служить образцом для других национальных исторических школ. И российской, в частности, хотя в результате длительной и разрушительной гегемонии в довоенной советской исторической науке "покровщины" ситуация в ней несколько иная. Но, по-видимому, предстоит также известная работа по избавлению наших представлений о происхождении войны от сталинских (и постсталинских) установок относительно того, как надо изучать и, главное, объяснять внешнюю политику России. Но это сугубо "домашнее" дело наших специалистов по отечественной истории.

Вернемся, однако, к западноевропейской исторической науке. В западной историографии к началу 1980-х годов созрела мысль о необходимости отхода, как пишет бременский историк И. Гайсс, от "политически эмоциональных и стерильно бесплодных для науки дебатов о "war Guilty" (*Geiss I.* The First World War as a World War // The Mirror of History. Essays in Honor of Fritz Fellner / Ed. by S. Wank and oth. Santa Barbara, 1988. P. 33). Германскую инициативу поддержали англосаксы Дж.Джолл, Ричард Лэнгорн (*Joll J.* The Origins of the First World War. L., 1984; *Langhorne R.* The Collapse of the Concert of Europe: International Politics, 1890–1914. L., 1981: *Steiner Zara S.* Britain and the Origins of the First World War. L., 1977; *Williamson S.R.* The Politics of Grand Strategy: Britain and France Prepare for War 1904–1914. Cambridge, 1969). Обозначился разрыв с прежней антантофильской концепцией истории войны. Правда, несколько шокирует книга С.Уильямсона. В своей последней монографии "Австро-Венгрия и происхождение мировой войны" (Лондон, 1991) он утверждает, что войну вызвало противостояние России и Австро-Венгрии на Балканах, что есть явное преувеличение роли двух восточноевропейских империй. Но это все же частность.

5) **Наднациональная историческая мысль обращена сегодня на постижение смысла катаклизма 1914–1918 гг. во всемирно-историческом контексте.** В нем видят сегодня главное событие, определившее лицо второго тысячелетия. Его ставят в ряд таких явлений, как Великая французская революция, промышленный переворот, великие географические открытия и заокеанская экспансия европейских держав и др. Рассмотрение этой войны с более широкой, "глобальной" перспективы, важно не только как наиболее эффективное противоядие против "патриотизма" в историографии, но и для осмысления происхождения первой мировой войны и ее всемирно-исторических последствий в единстве и целостности. Наши западные коллеги не без основания полагают, что применение к изучению первой мировой войны метода "глобальной истории" позволит поднять историографию на качественно новый уровень, создать адекватную, свободную от прежних односторонностей общую концепцию истории Великой войны.

РОССИЯ В ВОЕННЫХ ПЛАНАХ ГЕРМАНИИ

Б.М. Туполев

Закономерное оживление в наши дни интереса к первой мировой войне вновь побуждает исследователей вернуться к вопросам о причинах войны, степени готовности к ней ее участников, их ответственности за ее развязывание и преследовавшихся ими военных целях.

Как известно, в течение десятилетия, с 1897 по 1907 г., когда Германия развернула в глобальном масштабе свою экспансию с целью превращения из великой европейской державы, чего достиг Бисмарк (а до него еще Фридрих Великий в отношении Пруссии), в мировую державу, она оказалась окруженной "железным кольцом" своих соперников и потенциальных противников. С этого времени подрыв Антанты стал важнейшей внешнеполитической задачей кайзеровской Германии. Расположение Германии в центре континента между Россией и Францией, укрепление русско-французского союза, увеличение численности населения России и ее экономический рост для многих в Германии служили обоснованием неизбежности войны с восточным соседом.

В свое время М.Н. Покровский, всеми силами стремившийся доказать, что "царская Россия есть главная виновница войны"[1], признавал, что в основе международных противоречий, вызвавших империалистическую войну, лежал англо-германский конфликт, за которым (по значению) следовал германо-французский. И, "наконец, самым слабым из всех конфликтов был конфликт, по существу, не русско-германский, а русско-турецкий из-за проливов". Однако при этом за спиной Турции стояла Германия. Покровский отмечал вместе с тем неуклонно возраставшее значение Черноморского побережья для хлебного экспорта России. Так, если в 1875–1879 гг. через балтийские порты ежегодно вывозилось 54% всего русского хлеба, а через черноморские – только 46%, то в 1907 г. через балтийские порты экспортировалось уже только 11% русского хлеба, а 89% – через Босфор и Дарданеллы. Признавая, что для промежутка времени после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и до 1 августа 1914 г. "воинственные настроения не только Австрии, но и Германии вне всяких сомнений"[2], Покровский в то же время утверждал, что до гибели австрийского престолонаследника мечты Вильгельма II якобы не шли дальше аннексии Сербии хотя бы даже путем войны с Россией и Францией. Однако он-де испытывал ужас от самой мысли о мировой войне с участием Англии. Соперники же Германии уже готовили, по его словам, "именно мировую войну, с широтою целей и энергией средств поистине беспримерных"[3].

Причины первой мировой войны нередко весьма упрощенно, а еще чаще неверно трактуются в художественной литературе. Так, Марк Алданов в романе "Самоубийство", недавно опубликованном в России, утверждает, что "по случайности в 1914-м году судьбы мира были в руках двух неврастеников" – министра иностранных дел Австро-Венгрии

графа Берхтольда и германского императора Вильгельма II. "По всем глубоким социологическим теориям, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда было лишь поводом для мировой войны... – писал Алданов. – Однако при чтении почти простодушной переписки государственных людей того времени просто напрашивается другой вывод: сараевское убийство было не поводом, а именно причиной катастрофы", ибо о "борьбе за рынки" они не писали, а о "внутренних противоречиях капиталистического строя" ничего не слышали.

Представляется, что степень готовности той или иной державы к вступлению в войну имеет непосредственное отношение к вопросу об ответственности за ее развязывание. В противоположность мнению, высказанному в 1-м томе "Истории первой мировой войны" (М., 1975), что в кругах политического и военного руководства Германии в 1905 г. "укоренилось ошибочное мнение", что российские вооруженные силы серьезно ослаблены в войне с Японией и не смогут оказать поддержку Франции, если Германия начнет против нее войну (с. 188), генерал А.И. Деникин в своих воспоминаниях свидетельствует, что "положение русских армий и флота после японской войны, истощившей материальные запасы, обнаружившей недочеты в организации, обучении и управлении, было поистине угрожающим". По признанию военных специалистов, российская армия до 1910 г. оставалась совершенно беспомощной и только в предвоенные годы (1910–1914 гг.) восстановление и реорганизация вооруженных сил России подняли их уровень значительно, "но в техническом и материальном отношении совершенно недостаточно"[4]. Закон о строительстве российского военно-морского флота прошел только в 1912 г., а "Большая программа" развития сухопутных сил была принята лишь в марте 1914 г. В итоге российские корпуса начали боевые действия, имея от 108 до 124 артиллерийских орудий против 160 германских, почти не располагая тяжелой артиллерией и запасом винтовок. Была восстановлена лишь старая норма снабжения патронами в одну тысячу против трех тысяч у немцев и т.д.[5]

Считая, что "бесспорная вина за первую мировую войну лежит на центральноевропейских державах", и признавая существование других точек зрения на этот счет, Деникин приводит в качестве доказательства своей правоты «бурный подъем германского "промышленного империализма", находившегося в прямой связи с особым духовным складом немцев», выступавших за "обновление дряхлой Европы". Отмечает он и широкое распространение в Германии идеи "превосходства высшей расы" над всеми остальными, причем немцы (пангерманцы! – *Б.Т.*) без стеснения высказывали свой давний взгляд на славянские народы как на "этнический материал" или, еще проще, как на... навоз для произрастания германской культуры. «"Мы организуем великое насильственное выселение низших народов" – это старый лейтмотив пангерманизма. Достойно удивления, с какой откровенностью, смелостью и ...безнаказанностью немецкая пресса намечала пути этой экспансии», – писал Деникин. Однако "поперек австро-германских путей стояла Россия с ее вековой традицией покровительства балканским славянам, с ясным сознанием опасности, грозящей ей самой от воинствующего пангерманизма, от приближения враждебных сил к морям Эгейскому и Мраморному, к полуоткрытым воротам Босфора. Поперек этих путей стояли идея национального возрождения южных славян и весьма серьезные политические и экономические интересы Англии и Франции"[6].

Мысли о неизбежности войны Германии с Россией распространялись прежде всего прибалтийскими немцами-эмигрантами, прибывавшими в Германию с 70–80-х годов XIX в. Наряду со своей публицистической деятельностью они посредством личных контактов с ведущими политическими и военными деятелями влияли на формирование государственной политики и общественного мнения в Германии. Страх перед русским колоссом увязывался с презрением к так называемому полуазиатскому варварству русских и убежденностью в их экономической, военной и культурной отсталости. Немецкие публицисты балтийского происхождения изображали прибалтийские провинции России как "германскую вахту на границе славянства", как "крайние форпосты германского народа" в "старой борьбе между славянством и германством". Исходившей из России "угрозе германской культуре", по мнению этих публицистов, следовало своевременно противодействовать путем превентивной войны, которую они рассматривали как решающий момент борьбы между высокой и отсталой культурами.

Идеи балтийских немцев-эмигрантов, направленные на ослабление Российского государства, встречали понимание в правящих кругах Германии, многие видные представители которых вынашивали аналогичные замыслы. Так, еще в 1887 г. Бернхард фон Бюлов, являвшийся тогда первым секретарем германского посольства в Петербурге, писал советнику ведомства иностранных дел Гольштейну: "Мы должны пустить русскому при случае столько крови, чтобы тот не почувствовал облегчения, а 25 лет был не в состоянии стоять на ногах. Нам следовало бы надолго перекрыть экономические ресурсы России путем опустошения ее черноземных губерний, бомбардировки ее приморских городов, возможно большим разрушением ее промышленности и ее торговли. Наконец, мы должны были бы оттеснить Россию от тех двух морей, Балтийского и Черного, на которых основывается ее положение в мире. Однако я могу себе представить Россию действительно и надолго ослабленной только после отторжения тех частей ее территории, которые расположены западнее линии Онежская губа – Валдайская возвышенность – Днепр..."[7]

Наиболее известные сочинения балтийских немцев, обычно выступавших анонимно, публиковались в "Пройссише Ярбюхер", самом значительном историко-политическом журнале в Германии. Прибывший в 1887 г. из Ревеля в Германию Теодор Шиман вскоре стал преподавать в военной академии, почти ежедневно встречаясь с офицерами Большого Генерального штаба. Среди его знакомых были генерал-фельдмаршал граф Вальдерзее, начальник Генштаба в 1888–1891 гг., его преемник граф Шлиффен и др., в том числе и кавалерийский генерал Фридрих фон Бернхарди, Фридрих фон Гольштейн

1909 г. и вплоть до первой мировой войны Шиман, в частности, занимался переводом переписки, ведшейся между российским МИД и посольством России в Великобритании, которая доставлялась секретарем российского посольства – немецким агентом, балтийским немцем. С пренебрежением относясь к России, единство которой, по его мнению, сохранялось только благодаря суровому царскому правлению, Шиман во время революции 1905–1907 гг. выступал за вмешательство германских войск с целью аннексии прибалтийских провинций России. Кайзер заверил его, что не бросит прибалтийские провинции на произвол судьбы и в случае необходимости придет им на помощь, после чего они будут присоединены к Германской империи[8].

Наряду с Шиманом решающее влияние на формирование образа России в Германии оказывал другой прибалтийский немец, Пауль Рорбах. Он родился в Курляндии, с 1887 г. изучал теологию в Дерпте, а в 1890 г. эмигрировал в Германию. В 1913 г. Рорбах утверждал, что военная и финансовая мощь России почти повсюду переоценивается, предсказывая крах российской экономики. Как и Шиман, он требовал "освобождения" балтийских провинций от российского господства и их включения в состав Германии[9].

В 1912 г. произвела сенсацию книга генерала Фридриха фон Бернхарди "Германия и ближайшая война", выдержавшая шесть изданий. Между прочим, его родители прибыли когда-то в Германию из Эстонии. Бернхарди призывал активнее осуществлять вооружение германской армии, чтобы, нанеся поражение Франции и навсегда лишив ее статуса великой державы, бросить все силы немецкого народа против России, на борьбу со славянством, этим "историческим врагом" германцев.

Уже в ходе военных действий, после начала войны 1914–1918 гг., руководители Пангерманского союза настаивали на колонизации и онемечивании захваченных российских территорий. Его председатель Г. Класс считал, что Россию нужно лишить выходов к Балтийскому и Черному морям, отобрать у нее Кавказ и азиатские провинции. Украина должна была стать формально "самостоятельным" государством, полностью зависящим от Германии.

Во время войны значительное влияние на образованные слои германского общества и лично на Вильгельма II оказывал третий представитель балтийских немцев в Германии, тюбингенский историк Иоханнес Халлер. Он родился на эстонском о. Даго, изучал историю в Дерпте и в 1890 г. приехал в Берлин. Халлер выступал за подрыв мощи Российского государства путем захвата его прибалтийских провинций, а также отделения Украины, т.е. по существу – за резкое ограничение или лишение России доступа к Балтийскому и Черному морям.

Идеологией "окончательной борьбы" между славянами и германцами была воодушевлена вся германская правящая верхушка: кайзер, начальник Генерального штаба Мольтке, рейхсканцлер Бетман-Гольвег, руководители имперских ведомств. Имперское руководство стремилось добиться долгосрочного ослабления Российского государства посредством отторжения его западных пограничных территорий. В "сентябрьской программе" Бетман-Гольвега говорилось о том, что

"Россия по возможности должна быть оттеснена от германской границы, а ее господство над нерусскими вассальными народами сломлено"[10]. Основные политические принципы и направления ударов во время войны были теми же, что и перед войной.

В сентябре 1914 г. в "Зюддойче Монатсхефте" в соответствии с пожеланием правительства были опубликованы материалы "национальной манифестации германских и австрийских историков" и среди них – статья Иоханнеса Халлера "Мысли балтийца", в которой были изложены идеи Вильгельма II и Бетман-Гольвега. "Россия должна стать безопасной, – говорилось в статье, – и для того, чтобы так было, у нее должны быть отобраны западные пограничные области, земля "чужих народов", завоевания, благодаря которым она участвует в жизни Европы, и прежде всего ее морские берега". Благодаря отторжению "Финляндии, Литвы, Польши, Малороссии, Бессарабии и Черноморского побережья она перестанет быть великой европейской державой, она снова станет тем, чем была до Петра Великого, когда Лейбниц мог поставить ее на одну доску с Персией и Абиссинией".

В этой связи хочется процитировать из "Мыслей и воспоминаний" Отто фон Бисмарка его оценку постановлений Парижского трактата (1856 г.). Он писал о них как о "политически неразумных и поэтому на длительный срок невозможных постановлениях, которые ограничивали Российскую империю в отношении независимости принадлежащего ей побережья Черного моря... Стомиллионному народу нельзя надолго запретить осуществлять естественные права суверенитета над принадлежащим ему побережьем. Длительный сервитут такого рода, какой был предоставлен иностранным государствам на территории России, являлся для великой державы невыносимым унижением"[11]. Эти слова были как бы обращены к правонаследникам "железного канцлера", но остались неуслышанными.

Подтверждая осуществлявшуюся правящими кругами Германии на Востоке "политику освобождения и создания буферных государств", 5 апреля 1916 г. Бетман-Гольвег заявил, что "Германия никогда добровольно не передаст вновь под власть реакционной России освобожденные ею и ее союзниками народы, расположенные между Балтийским морем и волынскими болотами, будь то поляки, литовцы, балты или латыши". Эта "восточная" политика, подтвержденная рейхсканцлером весной 1917 г., до его отставки, нашла свое осуществление в мирных договорах 1918 г., подписанных в Брест-Литовске и в Бухаресте. Финляндия, Курляндия, Литва, остальная Балтика, Польша, Украина и значительные территории в Закавказье были отторгнуты от России. Правящие круги Германии рассчитывали по меньшей мере поставить в экономическую зависимость оставшуюся (и все еще немалую, хоть и лишенную своих исконных земель) часть России. Это подтверждает существование летом 1918 г. обширных планов "освоения" территории России германскими промышленными монополиями.

[1] *Покровский М.Н.* Империалистская война. Сб. статей. М., 1934. С. 407.
[2] Там же. С. 154.
[3] Там же. С. 155.
[4] *Деникин А.И.* Путь русского офицера // Октябрь. 1991. № 3. С. 111.
[5] Там же.
[6] Там же. С. 110, 111.
[7] Die Geheimen Papiere Friedrich von Holsteins. Bd. 1–4. Gottingen.., 1956–1963. Bd. 3. N 241.
[8] *Fischer F.* Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914. Düsseldorf, 1978. S. 79–81.
[9] Ibid. S. 82–83.
[10] Weltherrschaft im Visier. Dokumente zu den Europa- und Weltherrschaftsplänen des deutschen Imperialismus von der Jahrhundertwende bis Mai 1945. B., 1975. S. 87.
[11] *Бисмарк О.* Мысли и воспоминания. М., 1940. Т. II. С. 99.

ДИАЛЕКТИКА ФАКТОРОВ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ

Л.Г. Истягин

В своем вступительном слове Павел Васильевич Волобуев призвал к комплексному анализу событий и процессов, приведших к первой мировой войне. Представляется, что это единственно правильный подход. Общественные явления, особенно таких грандиозных масштабов и следствий, почти никогда не вызываются действием только одной какой-либо причины. Российский философ С. Франк даже считал, что понятие причины вообще "неадекватно спонтанно-внутренней природе истории", ввиду чего он полагал, что "лучше говорить о движущих силах и определяющих тенденциях исторического процесса"[1]. Вероятно, что применительно к первой мировой войне, как и к русской революции, которую в первую очередь имел в виду Франк в целом, вопрос о причинах ставить в научном плане правомерно, но при этом необходимо учитывать всю полноту и своеобразие взаимодействующих факторов.

Между тем исторически так сложилось, что историография, и наша, и зарубежная, десятилетиями концентрировалась на вопросе о непосредственных виновниках войны. Этот своего рода прокурорский, отдающий несостоявшимся аналогом Нюрнбергского трибунала подход, конечно, имел свой смысл и оправдание. Но он достаточно убедительно решен уже в Версальском договоре, статья 231 которого зафиксировала ответственность Германии и Австро-Венгрии, развязавших войну своим нападением на Сербию. Сегодня против этого мало кто спорит. В целом и современная германская историография стоит на почве признания вины Германии за развязывание первой и второй мировых войн. В немалой степени это позволяет исторической науке

наших дней сделать шаг вперед по пути раскрытия глубинных истоков войны.

Однако едва ли продуктивно сосредоточивать усилия на попытках объяснить происхождение войны исключительно исходя из разногласий между державами. Это, в сущности, иновариант все той же концепции виновности. Характерен пример американского историка Сиднея Фея, (о нем говорил В.Л. Мальков), который выстраивал иерархию побудительных мотивов к войне на основе частоты повторяемости тем в дипломатической переписке. Здесь Фей упускал из виду тот факт, что какая-то важная причина войны может оказаться вообще незафиксированной или лишь слабо замеченной всей системой политических отношений.

Частный случай обозначенного феномена составляет империалистический редукционизм, сведение (этим особенно грешила советская историография) всех или почти всех конфликтообразующих компонентов к империалистическим противоречиям. Слов нет, последние сыграли весьма серьезную роль и подлежат дальнейшему изучению, по возможности с привлечением новых материалов из архивов, которые теперь у нас, вроде бы, шире открываются. Но есть уже и накопленный запас эмпирических наблюдений, в том числе и современными отечественными историками (труды А.В. Игнатьева, П.В. Волобуева, В.И. Бовыкина, В.С. Васюкова, К.Ф. Шацилло, И.В. Бестужева, Б.М. Туполева, Э.А. Розенталя, В.А. Емца, А.С. Силина, К.Б. Виноградова, А.С. Аветяна, И.И. Астафьева, И.И. Кублашвили и др.), опора на которые позволяет в значительной мере избавиться от неправомерной абсолютизации фактора империалистических противоречий. В сущности, проделанные исследования показывают, что в большинстве случаев противоречия на империалистической почве, в том числе колониальные, отнюдь не были такими уж абсолютно стопроцентно антагонистическими, непримиримыми. Потому-то, в частности, резонно было бы смелее ставить вопрос о субъективных факторах, а следовательно, об элементах случайности, обусловивших конфликтное развитие.

Некоторые узлы империалистических противоречий, по инерции до сих пор относимые к "важным факторам" возникновения войны (ряд материалов в журнале "Новая и новейшая история"), вообще, пожалуй, не выдерживают достаточно строгой современной проверки. Взять хотя бы русско-германские противоречия. Их и теперь едва ли не во всех учебниках, начиная с обоих изданий "Истории дипломатии", относят к числу главнейших причин войны, иной раз с оговоркой, что этот узел должен был окончательно завязаться через несколько лет. Но в своем интересном и важном выступлении Б.М. Туполев совсем не упомянул российско-германские торгово-тарифные разногласия. И правильно сделал. Ибо весь вопрос был обеими сторонами – российской больше – пропагандистски раздут. Возможность договоренности имелась самая реальная, и, вероятно, не случись войны, С. Витте, если бы, как ожидалось, ему было поручено вести переговоры, добился бы на них вполне удовлетворительного результата. А кроме экономических,

какие еще у России с Германией (не Австро-Венгрией) были такие уж острые разногласия, чтобы из-за них хвататься за оружие? По существу, никаких.

В свете уже достигнутых исследователями результатов, а главное, с учетом позднейшего опыта, налицо, нам представляется, потребность в существенной переоценке многочисленных предвоенных дипломатических кризисов. Они все еще повсеместно преподносятся (и западными историками тоже – см., например, работы Л. Альбертини) как этапы на пути к войне. Это, конечно, правда. Но, по нынешним меркам, все же лишь часть правды. Другая ее часть в том, что в их исходе все-таки были выработаны компромиссные решения, позволившие оттянуть столкновения. Так что это были и "этапы на пути от войны". Как таковые, они подлежали бы сегодня особому вниманию: почему в 1898, 1905, 1908 и 1911–1912 гг. войну предотвратить удалось, а в 1914 г. – нет?

К сожалению, историография идет по оценочным стопам тогдашних комментаторов и интерпретаторов событий. Едва ли не во всех советских работах исход Боснийского кризиса (1908–1909 гг.), начиная с хвостовского изложения в "Истории дипломатии", называют поражением России и даже "дипломатической Цусимой" (исключение составляет более взвешенная трактовка в монографии К.Б. Виноградова). Но позвольте, что пошло в данном случае ко дну? Россия, конечно, потерпела урон в престиже, но разве он сопоставим с достижением – удалось сохранить мир на целых шесть лет. А при известном обороте пауза могла бы быть и большей, после чего сторона, развязавшая войну, едва ли решилась бы на агрессию.

Если учесть опыт последующих десятилетий, нередко весьма горький, и данные, которыми нас способна оснастить нынешняя наука о мире, комплекс дисциплин, изучающих условия предотвращения и недопущения войн, то, по-видимому, на первый план надо поставить не империалистические противоречия и вообще не большинство проблем, составивших основные объекты политических обсуждений. Имеем в виду, что первоплановым тогда станет прежде всего трудно поддававшийся точному определению, но оттого не менее основательно действовавший фактор резкого ускорения промышленного развития с приоритетным охватом области военного дела. Это то, что в дальнейшем получило название гонки вооружений. Именно стремительная милитаризация (о ней сказал П.В. Волобуев) промышленности сделала крайне опасным для европейских соседей возвышение объединенной в 1870 г. Германии. Что касается германо-английского антагонизма, который обычно ставят на первое место в перечне причин, вызвавших войну, то он был, собственно, производным от стартовавшей гонки вооружений.

Иными словами, следовало бы признать, что главный корень войны уходит в толщу кризиса самой современной цивилизации, которая не сумела перекрыть один из опаснейших каналов технического прогресса. Сюда надо бы повернуть внимание исследователей, представляющих различные научные дисциплины. Осознание возникшей угрозы отставало от роста самой угрозы, причем чем выше политический уровень, тем в большей степени: в общественной сфере, среди пацифистских кругов предостерегающие голоса звучали довольно четко уже с конца 80-х – начала 90-х годов. Принимающие решения властные структуры проявили к ним глухоту. Но все же отдельные прорывы к идее ограничения, сковывания военных приготовлений имели место и наверху. К такой мысли, в немалой степени под косвенным влиянием труда пацифиста-статистика И.С. Блиоха, пришел в начале своего царствования Николай II. Результатом этого и стал созыв знаменитой Гаагской мирной конференции в 1899 г. Аналогичные идеи тогда же и позже выдвигали английские политики, а также деятели других стран.

Слабость и непоследовательность попыток положить предел разраставшейся опухоли милитаризма и были, с нашей точки зрения, важнейшей причиной мировой войны, ибо обогнавшая других в вооружениях Германия боялась, и не без основания, что на следующих витках ее обгонят другие, в том числе Россия, принявшая именно в 1914 г. Большую программу перевооружения. Данную тему, повторяю, и следовало бы сделать одной из приоритетных в работах историков с уделением особого внимания роли общественности, средств массовой информации, уже тогда, без радио и телевидения, поднаторевших в конструировании и во внедрении в народное сознание "образа врага".

Специального пристального разбора заслуживали бы общественные силы, выступавшие с антивоенных и пацифистских позиций. Надо снова подойти к вопросу о том, что помешало им приобрести большее влияние, чем то скромное, которое они имели, – по-настоящему мы этого еще не знаем. Гораздо более видное место в указанной иерархии факторов должен занять и национальный вопрос. В конце концов именно он, а не империалистически-колониальный "передел мира" непосредственно вызвал июльский кризис.

Существенным тормозом для объективного исследования здесь до сих пор служат некоторые интерпретации принципа права наций на самоопределение. Не только, например, консервативный западногерманский историк Людвиг Дехио, прямо заявлявший, что "молодая нация" вправе прибегнуть к войне для отстаивания своих интересов, но и очень многие отечественные историки, придерживаясь официальной линии, традиционно считали (а то и до сих пор считают) более или менее законным для малых наций прибегать к вооруженному насилию для своего освобождения от "ига" крупных государств, в составе которых они оказались (так, допустим, трактуются обстоятельства развязывания 1-й Балканской войны в 1912 г.). И хотя в последнее время в области конкретных исследований – применительно к предвоенной ситуации на Балканах должны быть названы прежде всего труды Ю.А. Писарева – налицо серьезные достижения, наша историография все еще далека от способности адекватно переосмыслить и оценить разрушительное воздействие "восстаний национальных меньшинств" на стабильность как отдельных государств, так и всей системы международных отношений. Хотелось бы надеяться, что, может быть, печаль-

ная нынешняя политическая реальность нашей страны побудит исследовательскую мысль к более свободному от шор идеализации восприятию национального фактора в контексте истории первой мировой войны.

И, наконец, последнее замечание хотелось бы посвятить теме "Война и революция" в рассматриваемом контексте. До недавних пор звучала бы сугубо кощунственно сама мысль о революционном движении как факторе, способствовавшем назреванию и развязыванию войны. Но времена изменились, и сегодня, вероятно, нельзя более накладывать табу и на такое направление исследовательского поиска. Тут многое изучать придется заново. Известно, что революционное движение, в том числе социалистическое, в значительной своей части выступало, пусть не дружно и недостаточно последовательно, против милитаризма. Но оно же внесло совсем не малый вклад в формирование того или иного "образа врага", что затем помогло подвести народы к роковому рубежу.

Вероятно, особый предмет анализа должно бы составить российское революционное движение, включая социал-демократию. Выступая накануне войны против войны, оно одновременно сделало акцент на насилии, как "повивальной бабке" внутри страны, а затем выдвинуло лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую, еще более жестокую. Революционные события 1905–1906 гг. ослабили Россию скорее всего (разумеется, это также должно стать объектом специального изучения) не менее, а более чем военные неудачи на полях сражений с японцами. Именно это ослабление парализовало Россию на ряд лет в международном плане и не позволило ей выступить с продолжением мирных инициатив, выдвинутых или намеченных в первый период царствования последнего Романова.

Накануне войны Россия действительно оказалась в положении "слабого звена" в европейском балансе, что провоцировало противостоящий блок к военной развязке. Но разве "революционные потрясения" не были в этом по меньшей мере повинны?

Разумеется, мы не претендуем на то, чтобы считать свои выводы окончательными. Но есть резон для постановки вопроса о новых подходах и о новых сферах исследований. Каждая эпоха бывает вынуждена переписывать предшествующую историю. Близящаяся годовщина окончания первой мировой – не просто формальный повод. Чем глубже будут выявлены ее истоки, тем больше надежд на предотвращение всяких других войн, а следовательно, на обеспечение выживания человечества.

[1]См.: Начала. М., 1991. № 3. С. 56.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: К АНАЛИЗУ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В.И. Миллер

Вопрос о более пристальном внимании к проблематике первой мировой войны не только назрел, но и (если так позволительно сказать) перезрел. Внимательное изучение имеющейся литературы по этой важнейшей теме позволяет сделать несколько выводов.

Первое. По существу, историей войны у нас в стране серьезно занимались лишь в 20-е годы: она еще присутствовала в народной памяти, и в общественном сознании существовало достаточно острое желание разобраться в том, что происходило еще совсем недавно и что сделало ее возможной. Новый прилив интереса к проблеме наблюдался в первой половине 30-х годов в связи с отмечавшимся в 1934 г. 20-летием начала войны. Тогда вышло из печати большое число книг, на дату отозвались многие журналы, в том числе и литературно-художественные. Но с середины 30-х годов тема первой мировой войны стала не то чтобы уходить из общественного сознания, но все больше рассматривалась под углом назревания второй мировой войны. Естественно, на первый план стали выступать сюжеты, в чем-то сходные, но все же присутствовавшие и проявлявшиеся в достаточно различных ситуациях. В результате, *специфика* первой мировой войны стала отходить на второй план. В годы Великой Отечественной войны сюжеты, связанные с первой мировой войной, вновь стали разрабатываться с точки зрения эффективности совместных действий стран Антанты против австро-германской коалиции. Этот перечень "поворотов" в разработке темы можно было бы продолжить, но уже само их перечисление показывает, что феномен первой мировой войны "в чистом виде" у нас практически не изучался.

Второе. В советской историографии тема первой мировой войны оказалась намертво связанной с некоторыми близкими, но все же самостоятельными сюжетами. Один из них – история российских революций 1917 г., и в этой связи война рассматривалась многими исследователями только как их ближайший пролог. Второй – размежевание в международном социалистическом движении в годы войны, "крах II Интернационала"; отсюда и война рассматривалась как стимулятор создания коммунистических партий и, в конечном счете, III (Коммунистического) Интернационала.

Я, естественно, оставляю в стороне исследования военных историков, которые, как мы знаем, велись, но в силу известной специфики оставались вне поля зрения основной массы читателей. Кстати, видимо, настало время "пошарить по сусекам" и попытаться выяснить, что из того, что некогда имело грифы "секретно" или "для служебного пользования", сегодня может быть рассекречено и с пользой для нашего общего дела введено в научный оборот. Еще одним исключением,

пожалуй, является проблематика, связанная с международными отношениями этого периода, но и это лишь одна из сторон войны, весьма важная, но не исчерпывающая тему.

Анализируя современную историографическую ситуацию, можно получить впечатление, будто интерес к истории первой мировой войны вновь вырос. На мой взгляд, такой вывод был бы, по меньшей мере, преждевременным. Скорее всего, мы имеем дело с очередным "поворотом" в общественном сознании, связанным с идеологической атакой на большевизм, ведущейся под разными флагами.

С одной стороны, ясно видно стремление части политиков и публицистов "раздслаться" с идеей интернационализма, воодушевлявшей многих борцов против войны, и возродить национализм в его наиболее радикальном, шовинистическом варианте. В этой связи вновь, как и в те далекие годы, противники войны трактуются как изменники, а генералы, офицеры и солдаты русской армии той поры, сражавшиеся и погибавшие на полях сражений, напротив рассматриваются как патриоты. С одной стороны, характерное для последних лет восхваление Романовых и их ближайшего окружения (генералов, министров и др.) привело к республикации исторических трудов и мемуаров, вышедших из-под пера людей этого круга. А для них война была последней героической эпохой императорской России. В результате в научный оборот вновь вошли материалы, которые позволяют нарисовать достаточно живую картину событий той поры. Вместе с тем на страницы трудов историков и публицистов вернулись и утверждения, давно отвергнутые (после тщательного анализа) исторической наукой. Так что уповать на "благоприятную" для исследователей историографическую ситуацию, на мой взгляд, не следует. И сегодня есть немало тех, кому будет неприятна правда о той далекой, первой мировой войне, и к этому нужно быть готовым.

Одна из иллюстраций сказанного – вопрос о "виновниках войны". В условиях, когда развертывается идеализация императорской России, вновь предлагается простенькое решение о Германии и Австро-Венгрии как о виновниках войны. Одновременно игнорируется вывод, уже давно ставший достоянием международной историографии, о мировой войне как результате длительного процесса накопления межимпериалистических, межгосударственных и иных противоречий. При этом вопрос о лицах, непосредственно участвовавших в развязывании войны, естественно, не исключается из рассмотрения, но ставится на подобающее ему второе (а может быть, и более отдаленное) место.

Теперь о сюжетах, которые обычно не находят отражения в трудах о войне. На первое место в их ряду я бы поставил *духовную атмосферу* предвоенных лет и ее изменения в годы войны. Нельзя сказать, что эти аспекты жизни общества того времени совершенно не изучались. Есть много работ, в которых рассматривалась шовинистическая пропаганда, получившая распространение и в Германии, и во Франции, да и в России накануне и в начале войны. Но существовала в духовной жизни европейских стран и контрсила, противостоявшая этой пропаганде. Я имею в виду не только антивоенные документы II Интернационала, о

которых говорили чаще всего. Был и пацифизм различных видов, а главное, не следует забывать, что начало XX в. было одним из периодов расцвета духовной культуры и в России, и в Германии, и во Франции. В последнее время у нас нередко говорят о Серебряном веке русской культуры, который приходится на эти годы. Но полагаю, что не следует отрывать его от иных по формам выражения, но близких по духу явлений в других европейских странах. Да и многие антивоенные движения периода войны вряд ли можно рассматривать вне влияния идей и предвоенных выступлений Ж. Жореса, Р. Роллана и др. Все эти движения были очень различны по содержанию, по идейным мотивировкам, но давно пора сделать предметом изучения все их национальные и политические модификации, ибо исключение хотя бы одного из них не только существенно обеднит, но и исказит реальную картину богатой духовной жизни Европы. В качестве примера мне бы хотелось привести имена З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского, которые не поддались "моровой язве" упоения войной, поразившей в 1914 г. и А.А. Блока, и В.В. Маяковского, и многих прославляемых ныне философов-идеалистов (Вяч. И. Иванова, В.Ф. Эрна, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Е.Н. Трубецкого и др.).

Вторая проблема, которая также заслуживает изучения, это – *война и общественная мораль*. Давно известно, что война нередко развращает людей, приучает их убивать, не испытывая при этом нравственных страданий, что за войнами следует нарастающий вал преступности, возникающий после возвращения демобилизуемых солдат к родным очагам. А в основе всего этого лежит особая военная мораль, которая не только оправдывает аморальные (с точки зрения общечеловеческих ценностей) действия, но подчас прямо вынуждает делать то, что в иных, мирных условиях человек никогда бы не сделал. О поведении человека на войне (в конкретных условиях 1914–1918 гг.) написано много, но все эти материалы нуждаются в современном прочтении и в соответствующем анализе. Внешне сегодня мы дальше от новой мировой войны, чем когда-либо. Но революционная эпоха, которую мы вновь переживаем, имеет своими спутниками гражданские войны, последствия которых не менее страшны и непредсказуемы. Поэтому вторая проблема имеет не только научное, но, к сожалению, и практическое значение. Я имею в виду, прежде всего, поиск путей преодоления нравственного кризиса, который предшествует войне и который переходит в свою новую ипостась в результате войны.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: К ВОПРОСУ О РОЛИ КОЛОНИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

А.М. Петушев

Исследователи разных национальных исторических школ и историографических направлений едины в том, что одной из главных причин первой мировой войны было колониальное соперничество между капиталистическими державами. В отечественной историографии причины первой мировой войны до недавнего времени напрямую выводились из известной ленинской концепции империализма, его тезисов о борьбе за передел мира между "старыми" и "новыми" колониальными державами, за расширение сфер влияния, за подчинение так называемых полуколоний – Турции, Ирана, Китая и др. За этими тезисами – как бы скептически не относиться к ленинской концепции империализма – стоят определенные исторические реалии.

Колониальные противоречия действительно во многом предопределили первую мировую войну. Ее грозными репетициями были русско-японская и англо-бурская войны, марокканские кризисы, другие проявления колониального соперничества в последней четверти XIX – начале XX в. в разных частях мира (в Африке, вокруг Багдадской железной дороги, в Китае, в бассейне Тихого океана и т.д.). Можно, наконец, и вспомнить, что само понятие "империализм" первоначально имело узкополитический смысл и появилось в связи с распространением в Англии в XIX в. идеи создания Британской колониальной империи, т.е. было неразрывно связано с колониальными проблемами.

И все же тезис о роли колониальных противоречий как важной причины первой мировой войны нуждается в уточнениях. *Во-первых*, необходимо подчеркнуть, что колониальное соперничество было сложным и длительным историческим явлением, формы и интенсивность которого в разные временные периоды были различными. Многое определялось общим направлением внутри- и внешнеполитических курсов соперничающих стран, позицией их правительств в вопросе о колониях. А эти взгляды часто менялись, иногда кардинально. Например, кабинет Гладстона в Англии проводил "сдержанную" колониальную политику, избегал новых колониальных приобретений, а политика кабинета Дизраэли была активной, если не агрессивной. Между тем принято считать, что перед первой мировой войной колониальные противоречия постоянно нарастали, многие считают это аксиомой. В действительности все было сложнее. В последней четверти XIX – начале XX в. не только обострилось соперничество между "старыми" и "новыми" колониальными державами, но и предпринимались серьезные и зачастую успешные попытки устранить колониальные противоречия мирным путем (Берлинская международная конференция 1884–1885 гг., многочисленные переговоры и соглашения между европейскими державами по колониальным вопросам и т.д.).

Во-вторых, понятие "колониальное соперничество" имеет несколько составляющих, оно не является чем-то одномерным. Определить роль и место каждого из этих компонентов в развязывании первой мировой войны сложно, но, очевидно, необходимо. В противном случае картина будет односторонней, неточной. Ведь колониальные противоречия проявлялись не только на "верхнем" межправительственном, межгосударственном уровне. В той или иной мере они затрагивали все общественные классы, слои и группы в противоборствующих странах. Вопрос в том – как именно и насколько глубоко, хотя понятно, что степень вовлеченности каждого общественного класса и слоя в это противостояние не была одинаковой.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что при анализе колониальных противоречий конца XIX – начала XX в. часто принижается или даже забывается роль, которую играли в их обострении или, наоборот, сдерживании белые общины в самих колониях: в Индии, на Севере и Юге Африки и т.д. Менталитет этих экономических и политически сложившихся групп белого населения отличался от образа мыслей жителей метрополий, а их влияние на формирование колониальной политики европейских держав иногда было достаточно велико.

Следует, очевидно, вновь вернуться к оценке роли экономического аспекта колониальных противоречий как одной из причин первой мировой войны. Как отмечалось, эта оценка базируется на ленинской концепции империализма. Между тем в отечественной историографии имеются и другие, на мой взгляд, глубокие исследования империализма, в частности полузабытая, по понятным причинам, работа Н.И. Бухарина "Мировое хозяйство и империализм. 1915 г."[1], которую, кстати, высоко ценил В.И. Ленин. Бухарин рассматривает империализм как совокупность новых тенденций мирового хозяйства. Ключевыми в его работе являются положения об интернализации мирового хозяйства и интернализации капитала при одновременных активных процессах "национального связывания" капитала, его национализации[2]. Иными словами, речь идет о развитии как центробежных, так и центростремительных тенденций в мировом хозяйстве, в том числе и на его колониальной периферии, о его начинающейся структурной перестройке, а не только о росте экономического соперничества между капиталистическими державами. При этом Бухарин подчеркивал, что "национальное *связывание*" и "национализация" капитала "чреваты крупнейшими последствиями"[3].

В каких же сферах колониальной периферии накануне первой мировой войны действительно велась острая борьба между соперничающими державами? Очевидно, это была прежде всего борьба за контроль над морскими коммуникациями и за стратегически важные и относительно развитые в экономическом отношении районы колониального мира.

Что же касается борьбы за новые территории как таковые и стремления к колониальным захватам любой ценой, то, на наш взгляд, ее масштабы и значение в общем спектре колониальных противоречий преувеличиваются. Действительно, некоторые государственные деяте-

ли, политические, общественные и другие группировки в Европе вынашивали планы территориальной экспансии. Действительно, в результате первой мировой войны был осуществлен передел колониальных владений побежденных, и победители, прежде всего Англия и Франция, расширили свои империи за счет колоний. Но даже тогда власть метрополий на огромных колониальных пространствах зачастую оставалась еще в значительной степени условной. Население ряда обширных районов Африки в конце XIX – начале XX в. еще в полной мере не ощущало на себе пресс колониального правления, европейская администрация во многих странах колониального мира (за исключением Индии, некоторых стран Северной, Западной и Южной Африки и ряда др.) была малочисленной, а колониальные границы, как правило, условными. Не случайно в этот период был распространен термин "сферы влияния", более точно, нежели понятие "колониальное владение", отражающий характер взаимоотношений между соперничающими державами. Территориальные захваты требовали значительных материальных средств, а их часто просто не было. Наконец, сама идея таких захватов воспринималась в метрополиях далеко не однозначно. Например, когда в конце XIX в. между Англией и Германией обострилось соперничество из-за колоний в Восточной Африке, в частности, борьба за обладание Угандой*, влиятельные британские и немецкие группировки выступали против присоединения Уганды на том основании, что новое владение будет "нерентабельным". В то время они были недалеки от истины.

Реальная жизнь нередко резко расходится с нашими абстрактными представлениями о ней. Известны случаи, когда, казалось бы, непримиримые колониальные соперники действовали сообща в критических ситуациях или перед лицом общей угрозы. "Классический" пример такого сотрудничества соперников – совместное подавление восстания ихэтуаней в Китае в 1899–1901 гг. Менее известный факт – помощь британских колониальных властей в Восточной Африке колониальной администрации бывшей Германской восточной Африки[2*] в подавлении антиколониального вооруженного восстания 1905–1907 гг. (восстание Маджи-Маджи). Этот перечень можно продолжить.

Вопрос о роли колониального фактора в возникновении первой мировой войны содержит еще один аспект. Усиливающиеся контакты с колониальной периферией в большой мере способствовали складыванию в метрополиях накануне и особенно во время войны новой социально-психологической ситуации, отличительными чертами которой был рост шовинизма и расизма. Наиболее отчетливо эта тенденция прослеживалась в Германии, где шовинизм и расизм исходили не только "сверху", но и подпитывались "снизу". Именно в этой стране, в силу ряда конкретно-исторических, социально-психологических и других причин нашла свою почву идеология первого крупного теоретика расизма графа Жозефа де Гобино[4]; в конце XIX в. развиваемые им идеи о превосходстве "арийской" или "тевтонской" расы "превратились в настоящий религиозный культ"[5], в городах Германии появились "общества Гобино". Перед первой мировой войной по приказу Вильгельма II было даже начато составление расовой карты Германии с целью выявления "истинных арийских элементов"[6], однако в силу абсурдности этого замысла (в некоторых районах и областях не было обнаружено ни одного человека "арийского типа") он так и не был осуществлен.

Накануне Великой войны новая социально-психологическая ситуация сложилась и в других странах, в частности в Турции, бывшей союзницей Германии. Здесь рост массового шовинизма, также подпитывающий официальный правительственный курс, тесно переплетался с ростом панисламистских настроений. Религиозный шовинизм пронизывал военно-политические планы правящих кругов Турции. Они были более чем масштабны: разгром Англии в районе Суэца и России на Кавказе, объявление джихада всем "неверным" врагам Турции и в перспективе – объединение с Ираном и Афганистаном, захват Западной Индии, выход на Волгу и Урал в районы с исламизированным населением. К чему могли привести эти планы в случае их осуществления, можно судить по трагическим событиям 1915 г. в Восточной Анатолии и Армении.

*Нынешнее название этой страны, а в то время – нескольких враждующих между собой раннеклассовых образований.

2*Ныне Танзания.

[1] См.: *Бухарин Н.И.* Проблемы теории и практики социализма. М., 1989.

[2] Там же. С. 57.

[3] Там же.

[4] *Gobineau J.A.* Essai sur linégoilité des races humdines. P., 1853–1855. Vol. I–IV.

[5] *Комас Х.* Расовые мифы // Расовая проблема и общество. Пер. с франц. М., 1957. С. 243.

[6] Там же.

ПРОБЛЕМА ВИНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

А.В. Ревякин

Говоря о причинах первой мировой войны, важно не впасть в фатализм, т.е. не представлять себе дело так, что те или иные противоречия в международной жизни или развитии отдельных стран, рассматриваемые в качестве причин войны, с неизбежностью вели к трагической развязке. История предвоенных лет дает немало примеров того, как конфликты между соперничающими державами, вплотную подводившие их к вооруженному столкновению, заканчивались компромиссом, который устраивал обе стороны (по крайней мере в том смысле, что был предпочтительнее войны). Если проанализировать многообразные причины первой мировой войны в отдельности, то окажется, что ни одна из них не была настолько важной, чтобы оправдать риск

общеевропейского конфликта (хотя бы и кратковременного, каким его замышляли стратеги генеральных штабов).

По большому счету у ведущих мировых держав не было достаточных оснований стремиться к войне. Для старых колониальных и многонациональных государств – Великобритания, Франция, Россия и Австро-Венгрия – в ней заключался непомерный риск "великих потрясений", о чем напоминал опыт франко-прусской и русско-японской войн. От статус-кво особенно не страдали и молодые индустриальные державы, такие, как Германия и США, лидировавшие в мирном экономическом соревновании. Поэтому, выясняя причины первой мировой войны, важно не только указать на те общественные (международные, династические, экономические, социальные, национальные и пр.) противоречия, попытку разрешить которые и представляла собой война, но и объяснить мотивы того, почему именно военный способ разрешения этих противоречий избрали основные мировые державы.

Ход международных кризисов начала XX в., не исключая и июльского 1914 г., свидетельствует, что, прежде чем "перейти Рубикон" и сделать войну неотвратимой, каждая из конфликтующих сторон располагала временем на раздумья, отвлекающие маневры и в крайнем случае на дипломатическое отступление (в расчете на реванш при более благоприятных обстоятельствах). Ни одна из европейских стран, за исключением Бельгии и Люксембурга, не подверглась внезапной агрессии типа той, которую в начале второй мировой войны Гитлер обрушил на Польшу, Данию, Норвегию и т.д. И если после длительных раздумий правительства основных держав Европы все же предпочли военный способ разрешения своих противоречий, то это безусловно говорит о решающей ответственности, по крайней мере, некоторых из них.

Вопрос об ответственности заставляет нас взглянуть на причины первой мировой войны и с правовой точки зрения. Долгое время последняя была у нас не в чести. Что неудивительно: марксистско-ленинская историография объясняла первую мировую войну действием обезличенных социально-экономических сил – борьбой монополий, империалистической буржуазии за раздел и передел мира и т.д., об ответственности которых можно было говорить разве что в историческом, но никак не в юридическом плане. Правящие круги стран, вступивших в нее, равно как политические и общественные организации, поддержавшие эти правительства, все вкупе объявлялись виновными в одинаковой мере за развязывание войны. И в данном случае ответственность была размытой: если виновны все, значит, – никто.

Между тем в правовом отношении вопрос об ответственности совсем не прост. К началу XX в. сложилась достаточно разветвленная система международного и национального права, регламентировавшая отношения между гражданами и правительствами разных стран. Напомним в этой связи о Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг. о мирном разрешении международных споров, о законах и обычаях войны, об учреждении международного суда и др. Все это в совокупности представляло пусть несовершенную, но при наличии доброй воли доста-

точную основу для поиска путей справедливого (т.е. не нарушающего законных прав ни одной из сторон) разрешения международных споров. Следовательно, вопрос заключается в том, какая из воюющих стран и в какой мере нарушила в 1914 г. общепризнанные нормы права.

Уместно сослаться на один любопытный документ, который мы обнаружили в Центре хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК, ранее – Особый архив). Это – машинописная рукопись объемом свыше 150 листов, помещенная в самодельную обложку, на которой чернилами выведено: "Юридическое досье войны. Конфиденциально. Экземпляр, переданный на хранение в библиотеку Лиги прав человека 28 мая 1917 г." Она представляет собой доклад, с которым 9 июля 1916 г. на заседании Общества документальных и критических исследований о войне выступил Матиас Морхардт, многолетний председатель известной и влиятельной во Франции правозащитной организации – Лиги прав человека. Его выступление было посвящено анализу причин первой мировой войны. Морхардт подходит к этому вопросу как юрист, оценивая действия воюющих держав в зависимости от их соответствия нормам права. В центре его внимания находится событие, ставшее отправным пунктом международного кризиса, приведшего к войне, – сараевское убийство эрцгерцога Фердинанда. Анализируя доступные ему документы, прежде всего ультиматум Австрии и ответ на него Сербии, автор приходит к выводу, что "в правовом отношении у Австрии были основания требовать полного и немедленного удовлетворения за кровное оскорбление, которое ей было нанесено, и что в юридическом смысле поведение Сербии после сараевского покушения не может быть оправдано"[1].

Морхардт далек от намерения "валить" всю ответственность на маленькую Сербию. Он считает, что позиция великих держав по отношению к сараевскому убийству также не свидетельствовала о стремлении к торжеству справедливости. "Если бы Германия и Австрия, – пишет он, – настояли на обсуждении этой главной причины конфликта... то дело мира, несомненно, выиграло бы". С другой стороны, страны Антанты, видя, что "Сербия не думает оправдываться ни по одному из пунктов обвинения", также не посчитали нужным "убедить ее выступать в свою защиту"[2].

Словно предвидя возражения, что-де неуступчивость Сербии исторически оправдана и объясняется ее борьбой за освобождение южных славян, угнетенных Австро-Венгрией, Морхардт замечает: "Я охотно допускаю, что Австрия навязала своему южнославянскому населению порядки, которые нельзя признать справедливыми... Но, принимая это во внимание, мы не должны забывать, что, согласно той точке зрения, которую мы здесь отстаиваем, право австрийских сербов на освобождение ни в коей мере не отменяет права самой Австрии на существование и защиту от посягательств на него, откуда бы они ни исходили – со стороны соседа или ее собственной территории"[3].

Мы не станем оценивать выводы Морхардта по существу – в данном случае для нас интерес представляет его постановка вопроса. Но с мыслью, высказанной им в заключение своего труда, мы не можем

в душе не согласиться. Он пишет: "Мы хотели показать... что даже в той атмосфере подозрительности, лжи и ненависти, в которой разразилась война 1914 г., Европа еще могла с почетом вернуться к исходному рубежу, если бы наши руководители не проявили склонность к авантюризму. Не бывает безнадежных ситуаций, из которых нельзя найти выход на пути мира, при условии действительного стремления к миру"[4].

Несомненно, к военному способу разрешения противоречий, накопившихся в отношениях между странами в начале XX в., подталкивало правительства и общественное мнение европейских держав представление об оправданности и правомерности насилия во имя общественного (национального, классового, государственного) блага. Это представление во многом сформировалось под влиянием опыта революций, революционных и национальных войн конца XVIII–XIX в. и к началу XX в. вошло в плоть и кровь культуры и менталитета народов Европы. Нельзя сказать, что оно в корне противоречило идее права; напротив, оно исходило чаще всего из стремления к защите, восстановлению права. Но беда в том, что само право при этом получало слишком узкое или однобокое истолкование (как приоритет национальных, классовых, государственных и т.п.) императивов. Характерно, что в 1914–1918 гг. все страны воевали под лозунгами защиты отечества и национального освобождения. Ни одна из них прямо не называла свои цели войны захватническими, шла ли речь о "жизненном пространстве", "исконных землях" или о чем-либо подобном. И ради удовлетворения собственных притязаний никто из них не считался с правами противника. Такого рода "правовой нигилизм" дорого обошелся самим победителям: "Версальское перемирие" посеяло в Европе зерна еще более жестокого и опасного конфликта.

Представление о хрупкости наступившего мира распространилось в Европе уже в первые послевоенные годы. В нашу задачу не входит обсуждение проблемы послевоенного мирного урегулирования. Мы коснемся лишь одного из ее аспектов, и то лишь потому, что он имеет прямое отношение к вопросу о причинах первой мировой войны, в частности экономических. Мы разделяем мнение тех участников нынешней дискуссии, кто считает, что в прошлом наша историография преувеличивала значение экономических противоречий между державами в начале XX в. Не вдаваясь в подробную аргументацию этого тезиса, заметим лишь, что нормальный, здоровый рынок экономически не разделяет, а объединяет народы. И если в начале XX в. он порой давал повод для недоразумений и споров между ними, то он же их и мирил, все теснее связывая узами общих экономических интересов. Об этом свидетельствуют активные интеграционные процессы, наблюдавшиеся в предвоенные годы.

Пропагандистами свободного экономического сближения между народами были в те годы фритредеры. Их деятельность в начале XX в. слабо освещена в научной литературе. О них не упоминает ни один учебник истории, что создает впечатление, будто они сошли с исторической сцены после того, как добились либерализации международной

торговли в середине XIX в. Это неверно, и хотя в конце XIX в. начался откат к протекционизму, фритредеры мужественно пытались ему противодействовать, разъясняя издержки этого пути[5].

В ЦХИДК нами обнаружено досье, которое в порядке надзора французская полиция завела на организацию французских фритредеров – Лигу свободы торговли. Из него явствует, что эта ассоциация была образована 5 ноября 1910 г., вскоре после международного конгресса фритредеров в Антверпене. В качестве ее уставных задач назывались пропаганда принципов свободы торговли и борьбы за их применение на практике. "Во имя основных принципов свободы торговли, – говорилось в полицейском рапорте, – каковыми являются индивидуальная свобода и собственность, эта ассоциация ведет борьбу против протекционизма, который, как она считает, приводит к расхищению (национального достояния. – *А.Р.*) с выгодой для немногих торговцев и промышленников и в ущерб интересам всего народа". Первым президентом Лиги был избран Ив Гюйо, бывший министр общественных работ. Штабквартира ассоциации размещалась в редакции "Журналь дез экономист", известного органа либеральных экономистов[6].

В досье имеются образцы пропагандистской литературы, которую издавала Лига в начале 20-х годов, – номера ежемесячного "Бюллетеня", брошюра с протоколом общего собрания 20 июня 1923 г. Они свидетельствуют о том, какое большое внимание французские фритредеры уделяли задаче укрепления мира, прямо связывая ее решение с либерализацией международной торговли. Логика их рассуждений была проста: протекционизм разделяет страны и народы, провоцируя таможенные войны и усиливая угрозу вооруженных конфликтов, тогда как свободная торговля сближает народы, открывая им доступ к преимуществам разделения труда, достижениям техники и промышленности. Выступая на общем собрании Лиги, И. Гюйо заявил: "Несомненно, события, происшедшие после 1914 г., доказали, что самой важной и неотложной из реформ является предотвращение войны. Чтобы еще раз привлечь ваше внимание к тому, как необходима либерализация торговли с точки зрения борьбы за мир, я захватил с собой брошюру нашего друга Анри Ламбера[7], которая представляет собой отдельный оттиск его статьи, опубликованной в "Журналь дез экономист" 15 октября 1919 г. и озаглавленной: "Сторонники мира! Протекционизм – вот враг!"... Нам говорили, что целью войны союзников является то, чтобы эта война стала последней: однако государственные мужи и дипломаты всех стран далеко еще не осознали ту истину, что только цивилизация, основанная на торговле, окончательно заменит цивилизацию, основанную на войнах"[8].

Мысль о том, что торговля может и должна победить войну, проясняет взгляды фритредеров на причины первой мировой войны, хотя, разумеется, не исчерпывает их. Думается, либеральные экономисты начала XX в., столь долго остававшиеся в тени их коллег-теоретиков и пропагандистов различных форм государственного вмешательства в экономику – от марксистов до кейнсианцев – заслуживают того, чтобы их взгляды были оценены непредвзято и по достоинству.

[1] Центр хранения историко-документальных коллекций (далее – ЦХИДК). Ф. 9. Оп. 2. Д. 880. Л. 93 (*M. Morhardt.* Dossier juridique de la guerre).
[2] Там же. Л. 18.
[3] Там же. Л. 117.
[4] Там же. Л. 133.
[5] *Guyot Y.* La comédie protectionniste. P., 1905; *Schelle G.* Le bilan du protectionnisme en France. P., 1912.
[6] ЦХИДК. Ф. 1. Оп. 27. Д. 3537. Л. 13-14.
[7] Французский экономист и публицист. См.: *Lambert H.* Pax economica. La liberté des échanges internationaux fondement nécéssaire et suffisant de la paix universelle. P., 1920.
[8] ЦХИДК. Ф. 1. Оп. 27. Д. 3537. Л. 28.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И НЕЙТРАЛЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Ю.В. Кудрина

Первая мировая война, начавшаяся между восемью европейскими государствами с населением 732 млн человек (что составляло 44,2% всего населения Земного шара), к своему концу охватила 33 государства с населением 1,5 млрд человек (т.е. 87% населения планеты). Лишь небольшому числу европейских стран, так называемым нейтралам, удалось все-таки остаться вне ее. Каковы были исторические корни нейтралитета северных стран? Как внешняя политика влияла на внутреннюю политику?

Известно, что в конце XVI в. Скандинавские страны (Дания, Швеция, Норвегия) были объединены в одно государство под главенством Дании так называемой Кальмарской унией (1397 г.). Датское могущество (страна обладала в этот период шестимиллионным населением) покоилось на стратегически ключевом положении у входа в Балтийские проливы. С перемещением европейских торговых путей в Атлантику, приведшим к потере Зундской пошлины как главного источника пополнения казны в XVII в., Дания уступила первенствующее положение главной балтийской державе – Швеции.

Несоответствие реальных возможностей великодержавным замыслам привело Швецию в XVIII в., как и ранее Данию, к утрате господства на Балтике. Дания в этот период также переживала военные и территориальные потрясения (уничтожение Англией военного флота, наложение огромной контрибуции, сокращение населения страны до 1,5 млн человек). В 1857 г. была отменена упоминавшаяся Зундская пошлина, в 1863–1864 гг. Пруссия захватила Шлезвиг–Гольштейн.

После Венского конгресса роль Швеции, как и Дании, в европейских делах стала менее существенной, чем прежде. Приоритетными в политике государственного руководства этих стран теперь оказались не внешнеполитические вопросы, а поиски решения внутриполитических, прежде всего хозяйственных задач. Переход к политике изоляционизма

(именно ее вела Дания в период франко-прусской войны 1870–1871 гг.) был ответной, вынужденной реакцией на неудачи и поражения в войнах[1].

К концу XIX в. о Скандинавии говорили как о "захолустье Европы". Подобный "статус" был следствием продолжительных войн, требовавших значительных материальных и людских ресурсов и отвлекавших население этих стран от созидательного труда. По минимальным подсчетам, только в войнах XVIII–XIX вв. Дания и Швеция потеряли свыше 300 тыс. человек убитыми. Это были серьезные потери, учитывая, что население обеих стран в начале XVIII в. составляло 2,5 млн человек[2]. На демографическую ситуацию большое влияние оказывали также эпидемии чумы и холеры в этом регионе в XVIII в. Эмиграция населения в США и Канаду, особенно владельцев разорившихся крестьянских хозяйств, принявшая значительные размеры в конце XIX в. и накануне первой мировой войны, была вызвана лишениями, которые они терпели из-за трудностей социального и экономического развития северных стран.

Стремление к изоляционизму шло параллельно с нарастанием "идеи скандинавизма", в основе которых лежала тяга нарождающейся буржуазии объединить ресурсы северного региона и сформировать единый рынок. Однако несмотря на то, что в 1873 г. возник Скандинавский монетный союз, попытки создать локальный изолированный рынок не привели к желаемым результатам. Между тем развитие международных отношений в Европе в конце XIX – начале XX в., оказывая влияние на все государства Европейского континента, весьма ощутимо затронуло и Скандинавские страны. Проникновение иностранного капитала в начале XX в. в экономику этих стран привело к определенному расколу в регионе. Налицо были раздел его на сферы влияния и различная внешнеторговая ориентация его государств. Швеция оказалась больше ориентированной на Германию, Норвегия – на Англию, в Дании возрастало германское давление в области внешней торговли.

Осознание этой опасности заставило правящие круги Скандинавских стран активно заняться утверждением нейтралистского курса во внешней политике[3]. Международное право XIX столетия допускало только "абсолютный" или "полный" нейтралитет, который означал «обязательства государств и в мирное время не принимать участие в военных коалициях других стран, а в военное – обязательства не оказывать военной помощи воюющим сторонам. Сохранение "постоянного нейтралитета" должно было обеспечиваться гарантией других держав».

Итак, на рубеже XIX–XX столетий Скандинавские страны, в первую очередь Швеция и Дания, стали предпринимать активные попытки для того, чтобы добиться международного признания статуса "постоянного нейтралитета". На конференции в Гааге (1899 г.) они выступили за кодификацию международного права, за третейское разбирательство международных конфликтов, уточнение прав и обязанностей нейтральных стран. В целях обеспечения независимости и нейтралитета в случае войны и безопасности своей торговли с начала века они делали шаги к

заключению различных конвенций, в частности так называемых "третейских конвенций" с рядом стран Европы, прежде всего с великими европейскими державами и США. Так, до 1906 г. одна только Дания подписала арбитражные конвенции с иностранными государствами: Францией, Россией, Англией, Испанией, Италией, Голландией, Бельгией. Однако полностью дистанцироваться от конфликтов на Европейском континенте не удавалось.

Англо-германское соперничество, составлявшее один из центральных пунктов международных отношений в преддверии первой мировой войны, оказывало влияние и на другие районы континента, в том числе и на страны Балтии. Берлин проявлял повышенную активность.

В планах Германии в начале XX в. постоянно росло значение Северной Европы как рынка сбыта и поставщика сырья, сферы вложения капиталов. Правительство кайзера Вильгельма стремилось политически и военно-стратегически привязать Северную Европу к своей "мировой политике"[4]. При этом оно было особенно заинтересовано не только в сохранении на Балтийском море статус-кво, но и в гарантиях поддержки со стороны североевропейских государств в случае войны.

Осознание опасности быть втянутыми в надвигавшийся мировой конфликт заставило руководителей трех северных стран торжественно заявить о нейтралитете как единственно возможном для региона направлении внешней политики. 3 декабря 1912 г. в связи с Балканскими войнами было объявлено о подписании Швецией, Норвегией и Данией совместной декларации относительно прав и обязанностей нейтральных стран во время морской войны. В декларации, в частности, говорилось, что правительства трех стран – Дании, Швеции, Норвегии едины в принципиальных вопросах относительно правил нейтралитета и не предпримут никаких изменений без предварительного совместного согласования. Следует оговориться, что эти правила охватывали исключительно вопросы нейтралитета в морской войне. В них перечислялись различные ограничения и запреты для пребывания военных судов воюющих стран в территориальных и внутренних водах Скандинавских государств. Правила предусматривали свободный проход военных кораблей воюющих стран через Зунд и Бельт, что было невыгодно для Германии.

Первая мировая война подвергла нейтралитет стран Северной Европы серьезному испытанию. Торжественно признанные великими державами права нейтралов нарушались и чаще всего именно на море из-за блокады союзников Германии и подводной войны со стороны немцев. Однако главным фактором, обусловившим в целом сохранение нейтралитета этих стран, оказались военно-политические расчеты и действия прежде всего самих великих держав. Как Германия, так и Англия, рассматривавшие до войны Скандинавские страны в качестве потенциальных союзников для подготовки большой войны, оказались заинтересованы в их нейтралитете. Коротко это объясняется следующим.

Для России как великой морской державы было, конечно, важным, чтобы выход русского флота из Балтийского моря и вход в него были всегда свободными и открытыми для его судов. Опасения российского руководства, что все три Скандинавские страны могут создать так называемый Панскандинавский союз (под влиянием более сильной Швеции) заставили царскую дипломатию особенно внимательно следить за развитием дипломатических и международных отношений в районе Балтийского моря. Россия вела здесь весьма осторожную политику, но направленную на поддержание нейтралитета Скандинавских стран.

Германия пыталась поддерживать с нейтральными странами и торговлю, чтобы разрушить блокаду и через них осуществлять импорт заокеанского сырья и продовольствия. Англичане, применяя запрет вывоза, контроль и захват судов и грузов на море, стремились воспрепятствовать прорыву блокады, хотя международные правила *торговли и давали нейтралам право беспрепятственной торговли* и судоходства. Нейтральные страны через свой экспорт и реэкспорт в Германию делали попытки обойти блокаду.

[1] *Шлоссер Ф.* Всемирная история. СПб., 1877. Т. VIII, ч. II.

[2] См.: *Урланис Б.Ц.* Войны и народонаселение Европы. М., 1960. С. 63, 91, 92, 98, 340, 351–354.

[3] См.: *Кудрина Ю.В.* Нейтралитет или Союзы? Внешняя политика Дании накануне первой мировой войны // Северная Европа. М., 1983. С. 15–33.

[4] *Fischer F.* Deutsche Kriegziele Revolutioniesierung und Separatfrieden im Osten, 1914–1918 // Historische Zeitschrift. 1959. Bd. 188. H. 2; *Naumann F.* Mitteleuropa. B., 1917. S. 4; *Delbrück H.* Krieg und Politik 1914–1916. B., 1918. S. 60; *Onken H.* Das alte und das neue Mitteleuropa. B., 1917. S. 90, 91, 112, 113, 118.

СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Э. Урибес Санчес

Обозначенная в заголовке проблема вот уже восемь десятилетий привлекает пристальное внимание французских ученых. Устойчивый интерес к истории первой мировой войны объясняется не только ее значением как величайшей трагедии человечества и тем влиянием, которое она оказала на весь XX век, но и осознанием ее как глобального социального и политического феномена, изучение которого предопределяло выход на крупнейшие теоретико-методологические проблемы осмысления исторического процесса.

Выдающийся французский ученый Пьер Ренувен – крупнейший историограф войны 1914–1918 гг., стоявший у истоков изучения ее, – в

начале 50-х годов предложил свою теорию международных отношений, в основу которой был заложен многофакторный анализ и широкий комплексный подход к явлениям внешней и внутренней политики и всей системы отношений между странами мира. Ренувен отвергал принцип монизма в интерпретации истории и априорную иерархию различных факторов исторического процесса. Вместе с тем он выделял основополагающие, объективные так называемые "глубинные силы" ("les forces profondes"), оказывающие постоянное, длительное влияние на внешнюю политику государств и международные отношения.

В теории "глубинных сил" внешнеполитического процесса Ренувеном выделены две категории факторов – материальные и духовные. К первым он относил географический, демографический, экономический факторы, ко вторым – национальное самосознание, психологию, менталитет социальных слоев и населения в целом, а также отдельных руководящих личностей, устойчивые течения общественно-политической мысли. Важнейшее звено теории П. Ренувена, в разработке которой в дальнейшем принял участие и его ученик – Ж.Б. Дюрозель, составлял теоретический анализ диалектического взаимодействия "глубинных сил" и деятельности человека во внешнеполитическом процессе. Главными проблемами здесь являются: определение типа давления "глубинных сил" на правящие круги и отдельных государственных деятелей, принимающих ответственные внешнеполитические решения (прямое, косвенное, ситуационное, социальное), обратное воздействие человеческой деятельности (субъективного фактора) на социально-экономические и политические структуры, наконец, изучение самого механизма принятия решений в области внешней политики.

П. Ренувен и его последователи рассматривали период 1890–1914 гг. как этап формирования глубинных причин первой мировой войны, проявления новых качественных черт в экономике и политике великих держав, связанных с вступлением капиталистических стран в новую полосу своего развития, которая отмечена глобализацией их внешней политики, активизацией колониальной экспансии, стремлением к экономическому разделу и переделу мира, подчинению слаборазвитых стран. Империализм интерпретируется ими только как политика внешней экспансии. Вместе с тем Ренувен был одним из первых западных исследователей, кто обратил внимание на важность экономических факторов в возникновении первой мировой войны. Они проявились в неравномерности экономического развития передовых капиталистических стран, быстро прогрессировавших стран Восточной (Россия) и Юго-Восточной Европы, во "внезапном" превращении Японии в самостоятельный фактор международной политики на Дальнем Востоке и т.д. Ренувен признавал, что экономическая конкуренция великих держав способствовала ухудшению международной атмосферы, формированию враждебных стереотипов коллективного сознания и усилению недоверия между правительствами и народами противоборствующих стран, усиливая риск войны. И все же он не усматривал прямой взаимозависимости между экономическими факторами и империалистической политикой великих держав. Более того, Ренувен

подчеркивал присущую капитализму тенденцию к экономическому сотрудничеству и взаимодействию промышленных и банковских предприятий (об этом говорил А.В. Ревякин) и учреждений противостоящих друг другу стран во имя созидательных задач бизнеса и избежания риска разрушительного европейского конфликта.

В созданной Ренувеном и его учениками масштабной панораме взаимодействия разнообразных формально равноправных по своей значимости факторов внешнеполитического процесса были выделены и в известной мере определяющие в данной конкретной ситуации, которые привели в июле 1914 г. к драматической развязке, – национальные и политические. Европейский конфликт произошел между государствами и народами на почве столкновения "национальных интересов", воплощенных в политические цели: прежде всего, стремление Германии к достижению гегемонии в Европе, сплотившее против нее Францию, Россию и Англию; борьба за государственное выживание Австро-Венгрии и Турции; осуществление вековых чаяний народов Балканского полуострова в достижении своего национального и государственного суверенитета и т.д. Ренувен различал "длительный" и "короткий" периоды в происхождении войны. Развязывание войны в июле 1914 г. он связывал не с размахом "национальных страстей", а с политическими, точнее, политико-дипломатическими факторами, с "логикой" политики противостоявших блоков держав и отсутствием адекватного механизма для выхода из острых внешнеполитических кризисов.

Теоретическое наследие П. Ренувена и его концепция происхождения первой мировой войны оказали большое влияние не только на французскую, но и на европейскую и мировую историографию, определили проблематику научных исследований, дали толчок формированию современного направления в исследовании внешнеполитической истории, известного в разных странах под названием "Nouvelle Histoire", "Modern History", "Neue Geschichte".

Методология современных исследований основывается на системном подходе к изучению рассматриваемого периода, многофакторном анализе основных явлений внутренней жизни государства, их внешней политики и международных отношений, междисциплинарном подходе. Немало места отводится изучению правительственных структур, участвовавших в выработке и принятии внешнеполитических решений, а также общественно-политических структур – политических партий, прессы, массовых общественных организаций и прочих "групп давления" на правящие круги. В центре внимания также находится личностно-субъективный фактор, которому придается огромное значение: в первую очередь речь идет о профессионализме, менталитете, психологии ответственных деятелей, участвующих в процессе принятия решений.

Признание системного кризиса, переживаемого развитыми европейскими державами и охватившего международные отношения в глобальном масштабе, связывается с определенным этапом, стадией, "возрастом" в эволюции индустриального капиталистического общества, формировавшегося в последние десятилетия XIX в. Теоретические дискуссии, посвященные поискам определения характера эпохи, с

середины 70-х годов вновь развернулись вокруг представлений об империализме и его сущности. Значительная группа учеников Ренувена, составившая ядро современной французской школы историков-международников, – Р. Жиро, Ж. Бувье, Ж. Тоби, Ж. Марсейл, К. Кокери-Видрович – придерживается широкой экономической интерпретации империализма: становлению индустриального капитализма соответствовал определенный образ жизни и поведения общества. Два основных, "глубинных" фактора влияли на обстановку в Европе и в мире – экономический и национальный. Стремительные темпы промышленного развития капиталистических государств, особенно таких стран "молодого" капитализма, как Германия и Россия, вели к крутой ломке традиционных социальных и политических структур и дестабилизации внутренней общественно-политической жизни. Появляются новые социальные слои, выступающие против правящих классов и тех привилегированных группировок, которые долгое время находились у власти. Различные радикальные слои формируют левое крыло в политической жизни европейских стран, растет число социалистических партий, объединившихся в Интернационал. «Социалистическая "угроза", – пишет Р. Жиро, – кажется, распространилась по всей Европе». Правящие силы отвечали на нее пропагандой национализма, представлявшего, с их точки зрения, действенный способ национального объединения, приглушения классового конфликта.

Национализм, как считают французские ученые, являлся идеологической основой завершавшегося в Европе процесса самоорганизации государств-наций и становления раннего индустриального общества. Национальными интересами освещались требования финансово-промышленных кругов, торгового капитала, ограждение высокими таможенными тарифами внутреннего рынка (из-за чего вспыхивали "таможенные войны" между государствами), а также экономическая и политическая экспансия на международной арене, будь то германские притязания на "жизненное пространство" в Европе и "место под солнцем" в мире, английские претензии на морскую и колониальную гегемонию, российские – на азиатские рынки и выходы к открытым морям и океанам и т.д. Империалистическая внешняя политика и шовинистическая пропаганда создавали образ "внешнего врага", породив накануне первой мировой войны в ряде стран националистические "патриотические" союзы, шумная деятельность которых способствовала обострению не только международной, но и внутренней ситуации. В этих условиях формировались менталитет широких слоев населения, моральные и психологические предпосылки для постепенного восприятия правящей элитой и простыми людьми будущей "большой войны" как реального средства для решения национальных задач.

Националистическая идеология накладывала печать на так называемый национальный вопрос в Европе, оказывавший дестабилизирующее влияние на обстановку на континенте и за его пределами. Он переплетался с интересами великих держав, их внутренними проблемами (особенно находящихся на грани государственного распада Австро-Венгрии и Османской империи), блоковой политикой Тройственного союза и Антанты, империалистическими аппетитами правящих кругов, боровшихся за национальное освобождение стран и народов.

Стремление к возможно более широкому, "глобальному" охвату различных факторов и явлений и в то же время к созданию целостной картины рассматриваемой эпохи затрудняет попытки французских ученых договориться об общем понимании термина "империализм". Некоторые из них призывают даже не пытаться сформулировать общую характеристику империализма, а констатировать наличие самых различных "империализмов", которые охватывали все сферы экономики, политики, социальных отношений и даже культуры эпохи конца XIX – начала XX в. в планетарных масштабах.

На общем фоне экономических, национальных, социальных процессов, определявших историческое развитие и взаимоотношения европейских держав на пути к всеобщему вооруженному конфликту, политические и дипломатические причины возникновения войны не кажутся превалирующими, как это выглядело в концепции П. Ренувена. В конечном итоге, они вытекают из них и в то же время вписываются в общий процесс. Как пишет Р. Жиро, развитие политических и дипломатических отношений "представляется подчиненным мощной фатальности". Агадирский кризис 1911 г. и его прямые последствия рассматриваются как тот крайний рубеж, когда окончательно определяются союзы и их стратегия. Достаточно было возникновения нового инцидента – покушения в Сараево, чтобы сработали "логика" и механизм блоковой политики.

Обобщенное представление о современном уровне французской историографии проблемы происхождения первой мировой войны дают две синтетические по своему уровню работы – "Европейская дипломатия и империализм. 1871–1914" Рене Жиро (Париж, 1979) и "Бурлящая Европа и новые времена. 1914–1941" Рене Жиро и Роберта Франка (Париж, 1988)[1]. Эти труды подводят итоги исследований французских ученых в 70–80-х годах, с учетом достижений мировой историографии, и отражают дальнейшее развитие методологии внешней политики представителями школы П. Ренувена.

[1] *Girauet R.* Diplomatic européenna et impérialisme (1871–1914). P., 1979; *Girauet R., Franc R.* Turbulente Europe et nouveaux mondes. 1914–1941. P., 1988.

ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ "КОРОТКОГО" И "ДЛИТЕЛЬНОГО" ПЕРИОДОВ

Брунелло Виджецци

(Италия)

Начать свою статью мне хотелось бы с самого простого и необходимого, а именно с объяснения ее названия и некоторых особенностей.

По словам историка Джеймса Джолла, июльский кризис 1914 г., приведший к первой мировой войне, оказался в итоге "наиболее полно документированным в современной истории"[1]. Тем не менее исследования, посвященные причинам войны, продолжают интенсивно и почти беспрерывно публиковаться. Во введении к весьма ценному сборнику лекций "Начало первой мировой войны", прочитанных в Оксфорде по случаю 70-летней годовщины начала войны, Ивэнс и Пог фон Штрандман утверждают, что непосредственные ее причины и причины более общего характера "изучались десятилетиями, но конца дискуссии до сих пор еще не видно"[2].

Литература по данной теме, таким образом, достаточно обширна, хотя и продолжают появляться, как говорилось выше, все новые и новые книги. Интерес к ней высок. Существует немало обзорных работ[3]. Что действительно упущено и что, собственно, и послужило причиной написания настоящей статьи, так это недостаточная изученность исходных мотивов, критериев и направлений, которые объединяют или, наоборот, разъединяют уже проделанные и ныне осуществляемые исследования.

Обзоры и очерки, обычно сопровождающие публикации документов, появляются лишь весьма спорадически, а авторы их нередко идут на поводу внешней занимательности и грешат порой вводящим в заблуждение эклектизмом. Но однажды, потратив весь свой энтузиазм (а также злость) на дискуссии, вызванные работой Фишера о так называемой "ответственности" Германии, специалисты, похоже, выдохлись. Во всяком случае, что-то не чувствуется новизны современной историографии, посвященной первой мировой войне. Она остается в долгу при ответе на вопрос: каковы категории, которые годились бы для интерпретации и увязывания "событий", приведших к войне, и которые позволили бы согласовать между собой различные аспекты политической, экономической истории и социальной психологии?

В любом случае я в своей статье ставлю перед собой достаточно ограниченную цель. Я также буду вынужден остановиться лишь на работах нескольких авторов, но надеюсь, что высказанная мною точка зрения поможет получить общее представление о проблеме.

© Брунелло Виджецци

До сих пор исследования по истории первой мировой войны вызывали двойной интерес (и представляли собой двойную трудность). Во-первых, они фокусировались на острейшем июльском кризисе 1914 г., пройдя через который европейские державы (за исключением Италии – ее можно назвать могущественным государством только с определенной оговоркой) оказались в состоянии войны друг с другом. Во-вторых, они фокусировались на предшествующем периоде – причинах, уходящих корнями в прошлое, или "факторах", как они стали называться почти с самого начала, которые и привели к войне.

Кроются ли предпосылки возникновения войны в кризисе июля 1914 г., в том невероятном клубке ситуаций, событий, сил, решений, который не мог быть распутан иначе как посредством вооруженного конфликта? Или политические, экономические, военные, социальные и культурные причины войны вызревали в течение длительного периода; и был ли июль 1914 г. безумным, но вполне предсказуемым концом болезни, в тот момент уже неизлечимой, которая стала очевидной после медленного, обманчивого, даже скрытого инкубационного периода? Именно этот вопрос продолжает волновать исследователей. Более того, при рассмотрении работ по данной проблематике обнаруживается формирование двух "моделей" (этот термин должен использоваться с осторожностью) в зависимости от того, относится ли воссоздаваемая историческая ситуация к "короткому" или "длительному" периоду. Несмотря ни на что, эти две модели существуют до сих пор и заслуживают более внимательного анализа, чем это было сделано ранее.

Интерес к одной или другой стороне вопроса – и я тут хотел бы избежать недопонимания – естествен и имеет под собой достаточно оснований. Историки, но раньше них политики и граждане из всех практически стран рассматривали тот легендарный месяц далеко не безучастно и с особым волнением, как если бы они могли в событиях июля 1914 г. найти разгадку кончины "либеральной" Европы и рождения нового исторического периода. Но и последствия конфликта оказались столь необычайными и несоразмерными, что большое число людей пришло к выводу о недостаточности рассмотрения только "решений" и действий, принятых и совершенных в ходе короткого периода, и стали искать корни этого чрезвычайного события в более отдаленном прошлом (иногда – весьма отдаленном).

Результаты, полученные в процессе изучения по этим двум направлениям, – и тут я опять хотел бы быть правильно понятым – оказались достойными признания и значительными. Такое суждение тем не менее не выделяет аспект, который я считаю достаточно важным и приобретающим при этом по прошествии времени все большее значение. При рассмотрении многих работ и по отдельности, и в целом становится очевидным наличие постоянного и достаточно серьезного затруднения, заключающегося в согласовании друг с другом "короткого" и "длительного" периодов убедительным и эффективным образом. Должен отметить, что авторы, склоняющиеся либо к одному, либо к другому подходу, рискуют потеряться в лабиринте "событий" июля 1914 г. или слишком поспешно соединить несоизмеримые по значению тенденции

"длительного" периода, которые могли бы объяснить причины войны и установить разного рода связи между основными действующими лицами и событиями июля 1914 г.: Сараево, встреча в Потсдаме, переговоры между Пуанкаре и царем, усилия Грея, давление генеральных штабов и системы союзов, гонка вооружений, империалистическое соперничество, экономические изменения или социальный дарвинизм.

Тем не менее многие авторы ощущали необходимость заново и с особым вниманием, используя силу воображения, рассмотреть взаимосвязь между "коротким" и "длительным" периодами. "Таким образом, ни одно исследование, посвященное причинам войны, не может обойти вниманием июльский кризис. Но кризис разразился не в вакууме", – отмечал Ливен в своей книге "Россия и причины войны", стремясь установить очевидную взаимосвязь между решениями правительства, дипломатической деятельностью, переговорами между великими державами в июле 1914 г. и превратностями судьбы России, ее правящего класса с 1870 или 1900 г.[4] Существует множество общих рассуждений и конкретных исследований, предпринятых в этом направлении во многих странах. Эта тенденция мне представляется плодотворной и многообещающей, но было бы полезно обсудить причины, вызвавшие ее к жизни, ее критерии и рассмотреть то общее, что объединяет различные работы и их авторов. Надеюсь, эта статья внесет свою лепту в обсуждение данной проблемы.

Мне представляется, что выявление глубокой взаимосвязи между "коротким" и "длительным" периодами будет иметь и другой положительный результат. Кроме всего прочего, в работах, посвященных началу войны, все еще сохраняется разрыв между временем, предшествующим войне, решениями о вступлении в войну и собственно "военным периодом". Длительность конфликта, ужасы "окопной войны" превзошли все ожидания и всюду привели к более или менее широкому, более или менее опасному размежеванию на "внутренний фронт" и "театр военных действий", на "политиков", "гражданских лиц" и "солдат". Тем не менее, обращаясь к довоенному периоду, анализируя конкретный опыт лета 1914 г. и многообразие его связей с предшествующими годами, различные исследования позволяют обнаружить более четкую взаимосвязь и между всеми отдельно взятыми годами войны, избегая сведения (как это часто бывает) событий августа 1914 г. к истории, состоящей из отдельных частей – политической, военной, экономической истории масс или истории общественного сознания.

Как уже отмечалось выше, исследования, посвященные причинам войны 1914–1918 гг., представляют собой весьма характерный и существенный раздел исторической науки нашего времени. Но, безусловно, при этом они являются частью историографии всеобщей истории. Данному аспекту не уделялось достаточного внимания до настоящего времени. В подтверждение этого я всегда в качестве аргумента указываю, что дискуссии о "коротком" и "длительном" периодах применительно к событиям июля 1914 г. и "предшествующему" их развитию весьма напоминают собой диспут, инициированный Броделем, в

связи с концепцией "длительного периода", в ходе которого открылись новые перспективы, включая попытки "реконструкции истории событий"[5].

* * *

Прежде чем перейти непосредственно к июльскому кризису 1914 г. и его возможным связям с общими историческими тенденциями, мне кажется, было бы уместно продолжить рассуждения о "коротком" и "длительном" периодах, которые будут носить несколько более теоретический характер. Эти рассуждения обусловлены продолжительной работой историков, сталкивающихся с трудностями воссоздания рассматриваемого нами здесь в достаточной степени сложного события.

Я придерживаюсь того мнения, что исследователи, изучающие причины войны 1914–1918 гг., нередко используют категории "короткий" и "длительный" периоды или выбирают одну из них как альтернативу другой, или смешивают их, не проводя при этом глубокого анализа той взаимосвязи, которая может существовать между ними.

Примеры были бы здесь, безусловно, уместны, но, исходя из задачи моей статьи, я упомяну только некоторые работы. "Les origines immédiates de la guerre, 25 juin – 4 août 1914" Пьера Ренувена и "Le origini della guerra del 1914" Луиджи Альбертини могут служить классическим образцом концепции "короткого" периода. Работа Ленина "Империализм как высшая стадия капитализма" или исследования Хальгартена, посвященные европейскому "империализму" и первой мировой войне, могут быть отнесены к концепции "длительного" периода. В первых двух внимание авторов сконцентрировано на кризисе июля 1914 г., который они анализируют во всех его аспектах. Ренувен, бесспорно, слишком опытный историк, чтобы воздержаться от более общих рассуждений, но бóльшая часть его книги посвящена рассмотрению событий начиная с Сараево до объявления войны. Альбертини в своей работе несколько расширил рамки исследования, начав его с 1867 г. и доведя до Ансглейхо, но затем сосредоточил свое основное внимание на июле 1914 г., события которого он подвергает самому исчерпывающему из всех предпринятых ранее анализу. В свою очередь хотя для Ленина и Хальгартена характерны достаточно разные подходы, тем не менее оба они определенно отдавали предпочтение "длительному" периоду и при рассмотрении причин возникновения Великой войны недооценивали и даже игнорировали (как это сделал Ленин) кризис июля 1914 г.[6]

Мой выбор авторов может показаться спорным, но возражения, которые могут быть предъявлены, не представляются мне достаточно обоснованными, а список авторов, придерживающихся того или иного подхода, можно было бы без труда пополнить. Однако именно Ренувен и Альбертини, Ленин и Хальгартен выдвинули ясную и плодотворную идею о различии между двумя категориями, и, в дополнение к этому, их работы позволяют сразу же выяснить и другие аспекты проблемы, которые я нахожу весьма важными.

Часто, говоря о "коротком" и "длительном" периодах, особенно когда это касается причин войны 1914–1918 гг., мы понимаем под этими двумя категориями количество явлений и событий, порой весьма различных и второстепенных. Например, различия между Ренувеном и Альбертини, с одной стороны, Лениным и Хальгартеном – с другой, относятся к выбору ими "короткого" или "длительного" периода, но в конечном счете это различие двух разновидностей исторического описания, и когда одни говорят о "коротком" периоде, то имеют в виду дипломатов, канцлеров, главных действующих лиц, лидирующие группы. Когда же другие говорят о "длительном" периоде, то предметом их рассмотрения становится еще экономическая и социальная история. Такое соотношение двух подходов не является обязательным, но иногда оно возникает само собой.

Объяснения подобного рода могут быть подтверждены и более широкими тенденциями. Достаточно упомянуть лишь дискуссию по "длительному" периоду в духе Броделя, о котором я уже говорил выше. Она велась, кажется, только для того, чтобы подчеркнуть различия обоих подходов и привлечь к ним внимание. С одной стороны, была представлена традиционная историография, "уделяющая внимание ограниченному отрезку времени, индивидуальному, отдельному событию", целиком стремящаяся к тому, чтобы "позволить себе следовать за документами, читаемыми один за другим, т.е. для того, чтобы в результате почти автоматически реконструировать всю цепочку фактов" (что выглядит невольной пародией на многие работы, посвященные 1914 г.). С другой стороны, мы имеем дело с обращением к большим отрезкам времени, глубинным силам, незаметным изменениям, которыми характеризуются социальная история и развитие общественного сознания[7].

Авторы, упорно пытающиеся распутать клубок событий 1914 г., более или менее открыто ставят себе в заслугу воссоздание "подлинной исторической ткани, проблем личности в истории и личного выбора"[8]. Разумеется, они не сбрасывают со счетов значение исторического контекста или гораздо более широкие связи, но основное внимание уделяется ими клубку сложных процессов, начавшихся с убийства в Сараево. Итоги подобных работ, возражают им оппоненты, не могут считаться удовлетворительными, если не отважиться переступить через "Геркулесовы столпы" июля-августа 1914 г.

Кризис, приведший к первой мировой войне (принимая во внимание его грандиозные последствия), был настолько насыщен крупными событиями, что сам по себе являлся ярчайшим подтверждением тенденции последних десятилетий по-новому взглянуть и оценить "событие", решение, то, что является более или менее политическим "фактом"[9]. Это стремление получило поддержку политологии, поскольку многие ученые стали изучать июль 1914 г. как важный "казус", который сам по себе мог вести к конфликту. "Угроза 1914: как было решено начать войну"[10] – так называется хорошо известная книга итальянского историка Рускони. В то же время набирает силу тенденция, в русле которой исследователи оставляют в стороне коллизии

кануна войны и целиком сосредоточивают свои усилия на "истории войны", реальном опыте жизни солдат, быта на фронте, на том влиянии, пусть опосредованном, которое этот опыт оказал на жизнь европейского (и не только!) общества. Не говоря уж о получившей распространение практике включать первую мировую войну – июль 1914-го и последующие годы – в общую историю XX столетия, которое и без того было отмечено такими серьезными потрясениями, что это событие как бы и не заслуживает специального изучения и остается просто "первой мировой войной".

Тенденции и дискуссии, упомянутые выше, проявляют себя по-разному. Любой может включить их в свое исследование, чем-то дополнить, обогатить ссылками на различные книги и авторов. Очевидно, что они являются свидетельствами того, как по-разному и более или менее обоснованно можно ссылаться и на "короткий", и на "длительный" периоды. Они также показывают, как непросто убедительно и наиболее адекватным образом связать эти две категории на практике.

С течением времени исследования по первой мировой войне преодолевают все эти трудности. Все чаще встречаются работы, сочетающие два подхода, в которых главы, рассматривающие июль 1914 г., открывают исследование или завершают его. В этой связи книга Д. Джолла "Причины первой мировой войны", которая до сих пор является наиболее весомым и сбалансированным анализом проблем и тенденций, рассматриваемых мною, представляется исключительно важной. Первая ее глава посвящена июльскому кризису, а далее в ней естественным образом открывается возможность поиска связей этого события с другими, с более отдаленными причинами и предпосылками. Вот названия ее разделов: "Система союзов и старая дипломатия", "Милитаризм, вооружение и стратегия", "Лидирующая роль внутренней политики", "Международная экономика", "Имперские соперники", "Настроения 1914 г." Как с некоторым скептицизмом подчеркивает Джолл, суть дела заключается в том, что выявить связь или связи становится все проще, но в то же время с ростом количества исследований и все труднее[11].

Решение этой проблемы или, лучше сказать, возможность прийти к вполне удовлетворительному результату заключается прежде всего в осознании, что "короткий" и "длительный" периоды могут быть представлены с использованием самых разных критериев и различных реалий, если мы говорим о причинах войны 1914 г. Как подчеркивает Джолл, наиболее тонкой и важной работой становится выявление самых живых и устойчивых связей (подробнее об этом я еще скажу в заключительной части настоящей статьи). Здесь же я хотел бы закончить свои "теоретические" рассуждения следующим замечанием.

Я полагаю, что в исследованиях последнего времени все возрастающее, по сравнению с прошлым, внимание уделяется "короткому" периоду – июлю 1914 г. Как никогда ранее исследования "короткого" периода буквально взорвали ситуацию по всем направлениям, заставляя явственно ощутить тесные, многочисленные, устойчивые и неожи-

данные связи с предшествующей эпохой и с последующим военным временем. Пристальное изучение этих трудов и того, что их связывает между собой, привело к мысли, что нет необходимости сводить "короткий" период только к истории дипломатии, действиям зачинщиков, правительств или политической истории. Конечно, у политической истории есть свое собственное место. Но что важнее и что все более привлекает внимание исследователей, так это поиск ответа на вопросы, как и почему политическая история стала абсолютно неотъемлемой частью исследований и что означает это на историческом уровне.

В работах, опубликованных в разных странах, утверждалось, что важнейшие "решения" в июле 1914 г. принимались довольно узким кругом лиц, но одновременно отмечались и десятки причин, приведших к кризисной ситуации. Социальная и экономическая история, история общественной мысли, элит и масс, партий и менталитета также начинают находить свое место в контексте "короткого" периода.

Таким образом, существуют два пути: можно проанализировать работы нескольких или даже одного автора (здесь я имею в виду прежде всего Ренувена) на предмет выяснения изучения ими связей июля 1914 г. с предшествующими и последующими периодами[12]. Или можно обратиться к отдельным страницам, посвященным ситуации 1914 г., и посмотреть, как автор переходит от нее к более широким временным рамкам, для того чтобы выявить наличие гораздо более общих тенденций. Можно было бы также попытаться – и это было бы наилучшим решением – написать общий очерк, передающий основной смысл июля 1914 г. и намечающий вкратце подходы к "длительному" периоду в свете тех новых исследований и направлений, о которых я говорил выше.

Существует действительно достаточное количество заслуживающих внимания исследований, но в данной статье я, о чем уже говорил, вынужден ограничиться лишь несколькими примерами, наиболее соответствующими предмету моего рассмотрения. Речь пойдет о таких, в которых сама логика исследования толкает авторов к рассмотрению более широких перспектив в контексте общеевропейского и мирового развития до и после 1914 г.

* * *

1) Историография и прежде уделяла большое внимание "началу" истории первой мировой войны, прибытию Франца Фердинанда в Боснию и покушению в Сараево. Последовательно была рассмотрена вся цепь событий, причем были использованы самые разные методы.

Однако на примере даже этого многократно описываемого события видно, как трудно найти баланс между "коротким" и "длительным" периодами. С одной стороны, исследование тонет в сотне рассуждений о так называемой австрийской или сербской "ответственности", начиная с невероятной беспечности австрийской полиции до довольно двусмысленных контактов между сербским правительством, тайными сектами и

молодыми заговорщиками, до взаимоотношений между Сербией и Россией или Австрией и Германией. Границы исследования все более расширялись, пока не достигли критической точки, после чего оно резко изменило направление в сторону изучения некоторых базисных исторических причин, наглядно демонстрируя наличие существенных противоречий между многонациональной империей и мононациональными по своему составу сербским и югославским восстаниями. Проведенные исследования воссоздавали порой критическую, порой ностальгическую картину прогнившей структуры Австро-Венгерской империи, в них обстоятельно проанализированы старый и новый силовой антагонизм на Балканах, который уже сам по себе мог бы объяснить глубину противоречий. И наконец, изучение данной проблемы перешло от периферийных тем к анализу политической ситуации в сердце Европы: от Сараево на Берлин (или Петербург). После всего случившегося разве не обращался Франц Иосиф к Вильгельму II, разве Сербия не пыталась выяснить, на какую поддержку она может рассчитывать со стороны Николая II? Внимательное изучение кризиса привело ученых к рассмотрению взаимоотношений между великими державами, к освещению ситуации в Европе и во всем мире, к рассмотрению наиболее традиционно существовавших противоречий (таких, как Эльзас-Лотарингия), к соперничеству, вызванному нарождавшимся империализмом. При этом исследователи снова рисковали столкнуться с той же, пусть и в более завуалированной форме, проблемой: соотношение "короткого" и "длительного" периодов.

Повторяю, что результаты, полученные в ходе подобных изысканий, весьма полезны; затронутые проблемы многочисленны, но остается место и для дальнейших исследований, и для критики (даже если есть только что-нибудь одно). В ряде работ, которые я нахожу очень интересными, подверглась пересмотру ситуация (и связанные с нею проблемы), сложившаяся после Сараево. "Короткий" период, если присмотреться повнимательнее, дает ключ к другой истории. Как недавно отметил к своей работе "Балканы и начало войны" З.А.Б. Земан: "В случае с Балканской головоломкой... были и другие долговременные и менее заметные факторы. Они выходили за рамки политических соображений и дипломатических маневров, которые привели сначала Сербию, а затем и Австрию с Россией к войне"[13].

Эта связь с предшествующим периодом проступает немедленно. "Я сын кмета..." Так сказал о себе на суде Гаврила Принцип, убийца Франца Фердинанда, чем неожиданно вывел на сцену другую Европу, где в 1914 г. еще существовали сервы, как это было в Боснии, а с другой стороны, происходила глубокая трансформация общества: приход капитализма, нарождение предпринимательской буржуазии (притом что она в значительной своей части состояла из иностранцев), начало новой политической активности, развитие сектантских организаций, формирование тонкого слоя национальной интеллигенции. После того как в 1916 г. доктор Папенхайм взял интервью у Принципа в тюрьме в Терезине, мир сараевских заговорщиков занял свое место в исследованиях, авторы которых стремятся восстановить всю канву событий,

приведших к кризису. Это характерно для книги Дедиера, очерков Ремака или рассуждений Земана[14].

Если брать "короткий" период, то эпизод в Сараево имеет непосредственное отношение к экономической, политической истории, а также к истории общественной мысли, затрагивающих отдаленное прошлое и годы войны. Ведь для посещения Сараево Франц Фердинанд выбрал 19 июня, день святого Вида, день скорбной годовщины покорения Сербии Турцией почти шесть веков назад. Таким образом, совершенное в Сараево покушение переплеталось с отдаленным прошлым, которое тяжелым грузом давило на сознание и провоцировало молодых революционеров Сербии, Крайны и Боснии.

Ирония и парадокс заключаются в том, что Ремак оказывается в оппозиции к традиционному анализу "длительного" периода, который, по его мнению, слишком поспешно включает Сараево и австро-сербские конфликты в глобальный конфликт держав. Он пишет: "Мы остановились в слишком длительном поиске основополагающих причин войны"[15]. Для Ремака война 1914 г. – это прежде всего еще и 3-я Балканская война. Конечно, это явное преувеличение, но такой подход позволяет понять и заново рассмотреть все детали процесса, который может ускользнуть от нашего внимания, а ведь он повлиял на форму и смысл всего конфликта.

Близок к Ремаку Ивэнс, который полагает, что историки часто забывают, что война 1914 г. родилась на Востоке Европы. По его мнению, именно это наложило на нее определенный отпечаток. "Мы, в конечном счете, – пишет он, – имеем дело не просто с европейской войной, которая, как полагают многие, была неизбежной, а с европейской войной, являющейся прямым следствием убийства наследника престола Габсбургов"[16].

Ивэнс, может быть, придает слишком большое значение данному обстоятельству, но он пытается таким образом восстановить несомненно существующую связь между событиями 1914 г. и их специфическими предпосылками. Франц Иосиф действительно обратился к Вильгельму за помощью, и Австрия ринулась вперед только потому, что Германия дала ей карт-бланш в обмен на развязывание войны. Но немецкий план столкнулся с реальностью, типичной для Австрии. В соответствии с планом германское руководство рассчитывало на немедленное проведение Австро-Венгрией карательной экспедиции против Сербии, на то, что Европа, повергнутая в шок убийством в Сараево, поймет эти действия. На практике Германия выказала себя как бы сыгравшей на опережение "замешкавшейся" Австрии, что определяло ситуацию почти месяц. Промедление нашло свое отражение в историографии, но понять подоплеку этих действий можно, лишь связав "короткий" период с традиционной политикой Австро-Венгрии, с личностью Тисы, который делал упор на ситуации в его Венгрии, неохотно соглашаясь с прогнозами относительно войны. Он возражал против каких-либо притязаний на территорию Сербии (Австрия имеет-де и так уже слишком много славян на своей земле). Следует принять во внимание другие уступки и компромиссы, сложные политические расчеты, а также

фигуру генерала Конрада (он тогда возглавлял австрийский генеральный штаб), который поддерживал политику "линейного фронта" и хотел действовать, но затем санкционировал дальнейшее откладывание мобилизации, объясняя это тем, что надо дать возможность крестьянам собрать урожай. Все эти обстоятельства не должны выпасть из поля зрения. Они связывают кризис 1914 г. с реальной ситуацией в Европе, сохранявшей еще в значительной мере "аграрный" характер своей социально-экономической структуры[17].

* * *

2) Перемещение кризиса из Сараево в Берлин и анализ немецкой "политики рассчитанного риска" оставались наиболее дискуссионными моментами в исследованиях последних десятилетий, начиная с 'дебатов по Фишеру". Но в то же время этот значительный (и до сих пор до конца не изученный) эпизод тесно связан с проблемой "короткого" и "длительного" периодов, даже если этот аспект глубоко в них не затрагивался.

Основные доводы Фишера хорошо известны, и нет необходимости на них останавливаться. Но об одном следует сказать, а именно, что, согласно Фишеру, июль 1914 г., "короткий" период, является очевидным и существенным доказательством германской агрессивности, "Weltpolitik". Он, этот июльский кризис 1914 г., четко выявляет связь между предшествующим периодом – с 1870 г. (и даже еще более ранним) – и экспансионистской политикой 1914 г., а также межвоенными десятилетиями, Гитлером и второй мировой войной. Фишер слишком проницательный историк, чтобы не видеть этого, и в своей работе он уделяет огромное внимание кризису 1914 г. Он пишет: "Так называемый июльский кризис, с точки зрения Германии, был не чем иным, как механизмом, приведшим в движение машину дипломатии с целью получения наиболее благоприятного и беспроигрышного положения для великих держав ввиду перспективы войны на континенте – войны, которую правящие круги Германии считали необходимой и к которой народ был уже подготовлен..."[18].

Фишер и его сторонники убедительно показали непредвиденное и все возраставшее распространение милитаристских устремлений и фантазий в немецком обществе накануне войны, слияние внутренней и внешней политики в едином военном порыве, формирование мощного социального и политического течения, чуть ли не фронта, частью националистического, частью консервативного толка, нацеленного на войну. Но тенденция рассматривать июль 1914 г., исходя из исторического развития предшествующих десятилетий или даже целого столетия, на протяжении которых вызревали эти наиболее агрессивные цели, остается слишком уязвимой. «И всякий раз, когда историк бросает "длинный взгляд", он и сам видит слабость такого подхода»[19].

Анализ Фишера и его приверженцев оказал благотворное, хотя до некоторой степени парадоксальное воздействие и на других исследователей, обратив, в частности, внимание на то, что выпадало до этого из

поля зрения очень многих авторов. Это хорошо видно на примере таких различных, но весьма характерных работ В.Р. Бергхана и У. Моммзена.

Книга Бергхана "Германия в предвоенный период" может в некоторых своих аспектах показаться близкой взглядам Фишера. Но его подход обнаруживает альтернативный выбор, существовавший для германского общества, в котором уживались невыявленные, проблематичные тенденции. Бергхан, в частности, показывает, что круг лиц, принимавших принципиальные решения, которые привели в конечном итоге к войне, был чрезвычайно узким. Он рассматривает внутренние разногласия, последовавшие за этим (резкая критика канцлером Бетман-Гольвегом кайзера, партий консервативного толка, оказавшихся неспособными на сколько-нибудь широкий и целостный анализ ситуации и на общую ее убедительную оценку), критикуя ухудшение связей правительства с общественным мнением и отмечая более или менее явные разногласия между военными и политиками[20]. На то же указывает и Моммзен, который под другим углом зрения рассматривает те же пессимистические размышления Бетмана-Гольвега. Однако он использовал их более широко для подтверждения отрыва государственных институтов Германии от немецкого общества. Он пишет: "Противоречия, которые можно обнаружить в расчетах Германии в июле 1914 г., являются достаточно точным отражением антагонизма, существовавшего внутри правящей элиты. Тем не менее необходимо заявить, что этот антагонизм возник только потому, что группы, входящие в элиту общества (т.е. верхний слой правительственной бюрократии, Генеральный штаб и стоящий за ним офицерский корпус и императорское окружение), обладали политическим весом, непропорционально бо́льшим, чем их реальное влияние на немецкое общество в целом"[21].

Хотелось бы подчеркнуть, что метод, выработанный в ходе дискуссий в связи с выводами Фишера, используется учеными и других стран в исследованиях, посвященных другим "великим державам", втянутым в войну 1914–1918 гг. Примером являются работы Ливена и Спринга, Штейнера и Брока. Эти авторы чрезвычайно внимательно относятся к специфике изучаемых ими стран. Им удалось обнаружить связь между "решениями" 1914 г. и определенным состоянием "общественного мнения", правящими кругами (или классами), государственными институтами, традициями, социальной ситуацией согласно тому, как виделись события из Петербурга или Лондона[22].

Штейнер вполне убежден в самобытном пути Великобритании, которой, несмотря на всевозраставшие трудности, удалось разграничить "внешнюю" и "внутреннюю" политику, чтобы гарантировать более взвешенный и основательный процесс выработки решений. Однако вовсе не исключалось, что эмоции и колебания при этом играли достаточно важную роль, о чем свидетельствуют ситуации, связанные с решением министра иностранных дел Грея или с нотой премьер-министра Асквита, как это видно из работы Брока. «До сих пор необычайно трудно анализировать отрезок в двенадцать дней, за который Асквита убедили, что Британия не может оставаться "сторонним наблюдателем" в начавшейся войне...»[23] – пишет он.

Но так или иначе, в работах Ливена и Спринга, Штейнера и Брока, а также других авторов присутствует момент, показывающий, что анализ июльского кризиса 1914 г. заставил их посмотреть на события более широко и обратить внимание на структуры, амбиции, правила и даже наиболее употребимый вокабулярий, на напряженность и глубокую обеспокоенность, неуверенность, фантазии, мисперцепции, характерные для всех "великих держав". "Ответственность" Германии (если позволительно употреблять этот термин, который в настоящее время неточно истолковывается и должен быть приведен в соответствие с историческими реалиями) остается по-прежнему не опровергнутой. Что действительно вызывает удивление, так это наличие общих черт в поведении великих держав в 1914 г. Спустя почти сто лет мы только начинаем их осознавать[24].

* * *

3) Иногда может показаться, что история "короткого" периода является несерьезной и излишне фрагментарной, демонстрируя слабости или же полное отсутствие реального смысла там, где необходим поиск убедительных взаимосвязей. Наиболее наглядным примером может служить изучение позиции деловых кругов в вопросах войны и мира. Исследования по этой теме, как правило, сохраняют приблизительный и поверхностный характер. Их авторы утверждают, например, что Сити или его влиятельные представители, группы делового мира различных стран, несомненно, склонялись к нейтралитету или миру или стояли в стороне и занимали пассивную позицию. Недоставало проницательности? Корпоративная глупость? Символ уходящей эры? Такое суждение представляется сомнительным и недостаточно глубоким, если не учесть, что бросающийся в глаза фактор "присутствия–отсутствия" определенных фигур может иной раз очень ярко высветить определенную ситуацию и открыть дополнительные возможности изучения важных для истории страны связей.

С одной стороны, изучение документов, поэтапная реконструкция поведения промышленно-финансового сообщества подталкивает нас к выводу, что в Европе того времени разрыв между мировой "экономикой" и "политикой" был гораздо бо́льшим, чем представлялось вначале, что и вынуждает историков искать новый подход к исследованию. Джолл, например, отмечает: "Мы сталкиваемся не только с трудностью в определении моментов, когда эти группы действительно оказывали влияние на правительство, но также с противоречивостью и расхождениями во взглядах внутри самого клана капиталистов, расхождениями, которые никоим образом не совпадают с разногласиями между государствами"[25].

Бергхан в свою очередь почти не сомневается в отсутствии каких-либо внешних влияний на принятие Вильгельмом решений по вопросам войны и мира. "Ни партийные лидеры, – пишет он, – ни представители

экономических групп давления не были посвящены в секреты двора, Министерства иностранных дел и Генерального штаба". Настаивая на этом, он приходит и к другому выводу, а именно: все группы, занимавшие традиционно лидирующее положение в экономике, все еще связанные с интересами и обычаями "доиндустриальной эры", были лишь в малой степени способны на давление, которое обычно оказывают деловые круги на правительство. Они руководствовались тогда главным образом теми же ценностями, что и узкая правящая верхушка: общей национальной идеей и иерархическими принципами, господствующими в обществе[26].

Вышесказанное вполне соотносится с той картиной, которую нарисовал Спринг, описывая заседания русского кабинета министров 24 июля 1914 г., где на проявлении "твердости" (как на способе по возможности сохранить мир) больше всего настаивал министр земледелия А.В. Кривошеин. Министр излагал свои взгляды с особым упором на традиции "русского народа". Высказанные им мысли далеко выходили за рамки чисто военной стратегии. "Необходимо больше верить в русский народ, – говорил он, – и его пронесенную через века любовь к Родине, которая всегда обладает приоритетом по отношению к соображениям о степени готовности и неготовности к войне"[27].

Эти слова – пример того, как автор, занимавшийся "коротким" периодом 1914 г., обращается к предшествующей многовековой истории "аграрной" Европы с ее порядками и традициями, с ее аристократией и крестьянством. Таким образом, связи между "коротким" и "длительным" периодами возникают естественным путем в процессе исторического исследования, но они требуют разных форм своего выявления, подсказывают различные опосредования. Так, например, теме "поколения 1914 г." принадлежит особое место в исследованиях, рассматривающих "короткий" период. Роберт Воул берет ее за отправную точку своей интересной книги, в которой анализ "лихорадочного энтузиазма" широких слоев европейской образованной молодежи в начале войны[28] потребовал от него обратиться к предшествующему историческому периоду. Это было необходимо для того, чтобы объяснить само происхождение мифа о "поколении" во всех его взаимосвязях с социальной историей, историей общественной мысли и нравов, со всеми его порывами, страстностью, его лозунгами, иллюзиями, которые, как правило, не были чем-то новым, но в 1914 г. казались таковыми и становились неотъемлемой составляющей войны и послевоенной жизни. Примерно то же следует сказать об интеллигенции в целом[29].

Если мы снова обратимся к урокам июля 1914 г., когда Европа действительно находилась на грани войны и мира и испытывала на себе всю тяжесть этого выбора, пугаемая его неизвестностью и сомнительными соблазнами, мы сможем лучше понять историю великого конфликта и его место в событиях нашей эпохи.

[1] *Joll J.* 1914: The Unspoken Assumptions: (An Inaugural Lecture in the Stevenson Chair of International History in the University of London). L., 1968. P. 4.

[2] The Coming of the First World War / Ed. R.S.W. Evans, H. Pogge Von Strandmann. Oxford, 1991. Preface. P. V.

[3] См., например, из числа опубликованных в последнее время: *Strachan H.* The First World War: Causes and Course // The Historical Journal. 1986. Mar. P. 227–255; *Williamson S.R.* The Origins of World War I // Journal of Interdisciplinary History. 1988. Apr. P. 795–818; *Perguson N.* Germany and the Origins of the First World War: New Perspectives // The Historical Journal. 1992. Sept. P. 725–772.

[4] *Lieven D.C.B.* Russia and the Origins of the First World War. L., 1983. Introduction. P. 1.

[5] См.: *Braudel F.* Histoire et sciences sociales: la longue durée // Annales, Economies, Sociétés, Civilisations. 1958. N 4. P. 725–753; *Vovelle M.* L'histoire et la longe durée // La nouvelle histoire / Ed. J. Le Goffe. P., 1978. P. 316–343.

[6] См.: *Renouvin P.* Les origines immédiates de la guerre, 25 juin – 4 août 1914. P., 1927; *Albertini L.* Le origini della guera del 1914. Milano, 1941–1943. Ссылку на эту книгу см. также: *Turner L.C.F.* Origins of the First World War. L., 1976. P. 116; *Ленин В.И.* Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч. Т. 27. С. 299–426; *Hallgarten G.W.* Imperialismus vor 1914. München, 1951; *Idem.* Le choc des impérialismes in l'Europe du XIX^e^ et du XX^e^ ciècle (1870–1914). Milano; Paris, 1964. T. 1. P. 1095–1192.

[7] См.: *Braudel F.* Op. cit.

[8] См.: *Joll J.* War Guilt 1914: A Continuing Controversy // Aspekte der deutsch-britischen Beziehungen im Laufe der Janrhunderte / Ed. P.Kluth, P. Alter. Stuttgart, 1978. P. 60–80.

[9] См.: *Nora F.* Le retour de l'événement, en Faire de l'histoire. P., 1974. T. 1. P. 210, 228.

[10] *Ruskoni G.E.* Rischio 1914: Come si decide una guerra. Bologna, 1987.

[11] *Joll J.* The Origins of the First World War. L., 1984.

[12] *Renouvin P.* Les origines immédiates de la guerre, 25 juin – 4 août 1914. P., 1927; *Idem.* Histoire des relations internationales: Le XIX^e^ siecle. P., 1958.

[13] *Zeman Z.A.B.* The Balkans and the Coming of War // The Coming of the First World War. P. 29.

[14] *Dedijer V.* The Road to Sarajevo. 1st Amer. ed., 1966; *Remak J.* 1914: The Third Balkan War: Origins Reconsidered // The Journal of Modern History. 1971. Sept. P. 353–366; *Zeman Z.A.B.* Op. cit.

[15] *Remak J.* Op. cit. P. 353–366.

[16] *Evans R.A.* The Habsburg Monarchy and the Coming of the War // The Coming of the First World War. P. 34.

[17] См.: *Williamson S.R.* Op. cit. P. 808.

[18] *Fischer F.* Weltmacht oder Niedergang: Deutschland im ersten Weltkrieg. Frankfurt a/M., 1965. S. 35.

[9] *Strachan H.* Op. cit. P. 242.

[20] *Berghahn V.R.* Germany and the Approach of War in 1914. L., 1982. P. 187.

[21] *Mommsen W.* Domestic Factors in German Foreign Policy before 1914 // Central European History. 1973. Mar.

[22] См.: *Lieven D.C.B.* Op. cit.; *Spring D.W.* Russia and the Coming of War // The Coming of the First World War. P. 57–86; *Steiner Z.* Britain and the Origins of the First World War. L., 1977; *Brock M.* Britain Enters the War // The Coming of the First World War. P. 145–178.

[23] *Brock M.* Op. cit. P. 174.

[24] См.: *Vigezzi B.* Estate 1914 // La Belle Epogue. Milano, etc., 1977. P. 271–290.

[25] *Joll J.* The Origins... P. 204.

[26] *Berghahn V.R.* Op. cit. P. 187. 211.

[7] *Spring D.W.* Op. cit. P. 66.

[28] *Wohl R.* 1914: Storia di una generazione. Milano, 1983. P. 356.

[29] См.: *Vigezzi B.* Op. cit. P. 287–289.

РОССИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

А.В. Игнатьев

Правомерно ли ставить вопрос о роли отдельных держав в происхождении "Великой войны", коль скоро международные отношения в конце XIX – начале XX в. развивались в рамках мировой системы? Нам представляется, что да, если, конечно, не преследовать политизированную цель разделить государства на виновных и невиновных. Война была, как известно, вызвана сложным комплексом причин, охватывавших едва ли не все стороны общественной жизни – от экономики до психологии. Эти причины или факторы по-своему преломлялись в истории каждой страны. Специфика такого преломления и может, по-видимому, служить предметом исследования. В данном случае речь пойдет о России – великой державе мирового значения, развитие которой существенно отличалось от западноевропейских и центральноевропейских государств. Естественно, что в рамках небольшой по объему статьи предлагаемую тему нельзя раскрыть иначе как кратко и суммарно.

Положение облегчается наличием обширной литературы о происхождении мировой войны, на которую предстоит ссылаться[1]. Относительно историографии сделаем пока лишь два предварительных замечания. Во-первых, различные аспекты темы освещены в ней весьма неравномерно, и в статье, естественно, придется больше говорить о менее разработанных сторонах вопроса. Во-вторых, не только на отечественную, но и зарубежную историографию значительное влияние оказывали в свое время априорные идеологические установки. Задача, следовательно, состоит в приближении к возможно более объективному анализу. Хорошую услугу здесь может оказать статистика.

Первая мировая война была связана с новой исторической эпохой. Эта эпоха, как известно, характеризовалась в области экономики процессами монополизации, ведущей ролью финансового капитала, ужесточением конкурентной борьбы за рынки и источники сырья, территориально-политическим разделом мира и началом его экономического раздела транснациональными монополиями. На этой основе в международных отношениях проявлялись две тенденции: преобладавшие на начальном этапе обострение противоречий держав, рост конфликтности и противоположный процесс – развития экономических взаимосвязей и сотрудничества, медленно прокладывавший путь к более цивилизованному политическому урегулированию противоречий. В политико-идеологической сфере своеобразным отражением упомянутых тенденций служили, с одной стороны, рост воинствующего национализма, а с другой – усиление интернационалистских, а также пацифистских течений.

© А.В. Игнатьев

Место России в экономическом разделе мира было в то время довольно скромным. В нашей исторической литературе уже утвердилась точка зрения о необходимости при выяснении ее роли основываться как на абсолютных, так и соотносительных показателях и, несмотря на известную условность, проводить различие между российской "метрополией" и "колониями"[2]. Мы и будем ей следовать.

Россия обладала значительным национальным богатством, превышавшим соответствующие абсолютные показатели Германии и Франции, не говоря уже об Австро-Венгрии, Италии и Японии. Но бо́льшую часть его составляли природные ресурсы. В расчете же национального богатства на душу населения Россия принадлежала уже только к группе среднебогатых стран (Италия, Австро-Венгрия), опережая Японию, но серьезно уступая США, Англии, Франции и Германии[3]. Национальное богатство характеризуют скорее экономические возможности, некий базисный потенциал. Реализация же этих возможностей выражается в иных показателях, как традиционных (национальный доход, промышленное производство, объем внешней торговли, протяженность железных дорог, тоннаж торгового флота), так и характерных лишь для новой эпохи (финансовый капитал, экспорт капитала). По большинству традиционных показателей Россия занимала четвертое–пятое место в абсолютном выражении и шестое–седьмое в соотношении с численностью населения. Наиболее важными представляются, пожалуй, масштабы промышленного производства и объем внешней торговли.

По промышленному производству Россия стояла, как известно, на пятом месте в мире. Но по производству на душу населения уступала еще и Австро-Венгрии, превосходя только Италию и Японию и уступая ведущим промышленным державам в пять–десять раз, т.е. на целый порядок[4]. Русское промышленное да и сельскохозяйственное производство было более чем на 90% ориентировано на внутренний рынок[5].

Оборот внешней торговли России с 90-х годов XIX в. до мировой войны почти удвоился, однако удельный вес ее в мировой торговле вырос очень незначительно (с 3,2% до 3,4%). В экспорте он был, правда, несколько выше, чем в импорте[6]. По внешнеторговому обороту Россия занимала пятое место в мире, но значительно отставала от Германии, Америки и Франции, не говоря уже об Англии. В расчете на душу населения этот разрыв был еще более внушительным. По последнему показателю Россия заметно уступала всем другим великим державам, включая Японию[7]. Показательно, что вывозила она преимущественно продукцию сельского хозяйства и сырье. Устойчивые позиции по сбыту промышленных товаров у России были лишь в Персии и Китае. В других местах успехи ее экспортной торговли носили спорадический, нестабильный характер, отражая сравнительную слабость российских монополий и компаний, даже имеющих государственную поддержку. Балканско-ближневосточная торговля страны до войны так и не приобрела значительного размаха.

Возможности русской внешней торговли ограничивало относительно слабое развитие морского грузового флота, да и железнодорожного транспорта, если иметь в виду не абсолютную протяженность железно-

дорожной сети, а соотношение ее с территорией и населением. Весьма серьезной проблемой стала в конце XIX – начале XX в. зависимость России как в экспорте, так и особенно в импорте от Германии, далеко оттеснившей второго по значению российского торгового партнера – Англию. В случае с Германией обширные торговые связи начинали уже играть роль не столько объединителя, сколько дезинтегратора, стимулируя таможенную конкуренцию и взаимное недовольство.

Переходя теперь к экономическим явлениям, характерным для новой эпохи, констатируем, что по мощи финансового капитала Россия занимала перед войной пятую позицию, превосходя Австро-Венгрию, Италию и Японию, но далеко уступая "большой четверке", т.е. Англии, Соединенным Штатам, Франции и Германии. Особенно велик был разрыв в показателях на душу населения. Здесь она уступала Австро-Венгрии, Италии и даже Испании, немного опережая только Японию[8].

Экспорт капитала осуществлялся Россией в сравнительно малых размерах – страна в гораздо большей мере представляла собой рынок для иностранных инвестиций. Да и вывозились зачастую не собственно российские, а мобилизованные государством в других странах средства. Следует, правда, отметить высокую централизацию экспорта капиталов, которые направлялись почти исключительно в Северный Китай и Персию, где они играли весомую роль[9]. А для такого важного с точки зрения интересов России региона, как Балканы, средств явно не хватало. Короче говоря, Российская империя не принадлежала к числу инвесторов капитала мирового значения[10]. Итак, с чисто экономической точки зрения Россия не относилась к числу тех финансовых и промышленных гигантов, противоречия между которыми вели к мировому столкновению. По-видимому, однако, данный аспект был не решающим или, во всяком случае, далеко не единственным.

Участие России в территориально-политическом разделе мира выглядело по-иному – на порядок выше ее места в международных экономических связях. Она делила второе–третье места с Францией, уступая Англии, но далеко опережая другие великие державы с их колониями. Здесь, правда следует сделать довольно существенные оговорки. Во-первых, около 80% российской территории приходилось на малопригодные для жизни и интенсивной экономической деятельности тундру, тайгу, пустыни, горы и болота. Во-вторых, по плотности населения страна стояла на одном из последних мест в мире, опережая разве только Французскую империю с ее африканскими колониями[11].

Тем не менее отмеченный разрыв между экономической мощью и территориально-политическими достижениями существовал и нуждается в объяснении. Его причины приходится искать в истории и геополитике, имея в виду также военную мощь, высокую централизацию власти и характер внешней политики. Симптоматично, однако, что в переходный к новой эпохе период (1876–1914 гг.), когда колониальные владения шести великих держав суммарно выросли более чем в полтора раза, прирост российских владений оказался совершенно незначительным[12], т.е. основные территориальные приобретения были сделаны еще в

дореформенный и раннекапиталистический периоды. Перед мировой войной Россия располагала обширными "внутренними колониями", к которым обычно относят национальные районы азиатской части страны, а также значительными "сферами влияния" вовне (северная Персия, Бухара, Хива, северная Маньчжурия, Внешняя Монголия). Российскими "сферами влияния" они стали главным образом в новую эпоху. Были у страны и свои области внешнеполитических интересов – прежде всего балканско-ближневосточный регион, а также Северный Китай.

Положение и цели России ставили ее в один ряд с двумя другими гигантами территориально-политического раздела мира – Англией и Францией и существенно отличались от позиции более молодой и агрессивной Германии. Последняя, вырвавшись вперед в своем экономическом и военном развитии, запоздала к дележу колоний и "сфер влияния" и выступала инициатором кардинального передела мира, включая Европейский континент. Главная союзница Германии – Австро-Венгрия искала выход из острых внутренних национальных проблем в утверждении своего преобладающего влияния на Балканах. В противоположность Германии государства Тройственного согласия, включая Россию, были в первую очередь заинтересованы в сохранении за собой уже захваченных позиций, а не в переделе мира. Это не мешало им, конечно, в случае общеевропейской войны преследовать задачи дальнейшего укрепления своего положения на международной арене.

В конце XIX – начале XX в. мир между соперничавшими державами поддерживался преимущественно посредством взаимного устрашения, т.е. путем гонки вооружений и формирования военно-политических блоков. Россия принимала в этом энергичное участие. Она располагала самой крупной по численности армией мирного времени и большими людскими ресурсами. Потребность в такой армии отчасти объяснялась невыгодами геостратегического положения страны и внутренними потребностями самодержавного режима. Военная мощь должна была также компенсировать отмечавшееся сравнительное экономическое отставание.

Силу "русского парового катка" не следует преувеличивать. По количеству солдат в строю на одну тысячу жителей Россия стояла на одном уровне с Австро-Венгрией, уступала Франции, Италии и Германии и превосходила только морские державы. По абсолютной численности обученных резервов страна занимала первое место в мире, но отрыв ее от главного соперника – Германии – был не столь значительным (5,6 млн против 4,9 млн человек). По отношению же количества находящихся в запасе к численности населения страна имела показатели в 2–3 раза меньшие, чем другие сухопутные европейские державы[13].

У русской армии были как свои сильные стороны (опыт недавней большой войны с Японией, стойкость личного состава), так и слабости. Речь идет о медлительности сосредоточения армии, заметном военно-техническом отставании и невысоком образовательном уровне солдат. Если у противников России и у Франции стратегическое развертывание занимало в среднем 15 дней, то русская армия за тот же срок могла

сосредоточить только 1/3 своих сил. Ее развертывание требовало 40 дней[14]. По обеспеченности войск артиллерией русская армия уступала армиям главных противников, особенно германской. Крайне недостаточным в ней было оснащение пулеметами, аэропланами, практически отсутствовали автомобили. По уровню грамотности населения, а следовательно и солдатской массы Россия отставала от всех других держав. Выправить положение в военно-технической области правительство рассчитывало с помощью "малой" и "большой" программ усиления армии, принятых в 1913–1914 гг. и рассчитанных на пять лет, т.е. до конца 1917 г. Еще больше времени требовало преодоление других недостатков.

С 80-х годов XIX в. в России в широких масштабах осуществлялось военно-морское строительство. В начале нового столетия русский флот по численности и тоннажу вышел на третье место в мире после английского и французского. Но Черноморский флот был заперт по условиям международной конвенции о проливах, а свободные силы приходилось дробить между Балтикой, Тихим океаном и Средиземным морем. Сокрушительные потери в русско-японской войне и новый виток в гонке морских вооружений, связанный с появлением дредноутов и превращением Германии в великую морскую державу, отбросили Россию в военно-морском отношении назад.

Как только финансовые условия позволили, правительство Николая II приступило к восстановлению мощи военно-морского флота, хотя это шло в ущерб укреплению армии[15]. Перед войной флот России находился примерно на уровне итальянского, немного опережая показатели Австро-Венгрии и Японии, но уступая Франции, не говоря уже о США, Германии и Англии, от которых он отставал по тоннажу соответственно в 2, 4 и 5 раз[16]. На Черном море возникла реальная угроза турецкого превосходства. Предвоенные программы морского строительства должны были по осуществлении вновь вывести русский флот на третье место в мире, но завершение их предполагалось лишь в 1917–1919 гг.

Усилия царского правительства в области гонки вооружений нельзя не признать исключительными. В самом деле, по ассигнованиям на вооруженные силы в мирное время Россия перед войной уступала только Германии[17]. И это в условиях финансовых трудностей и нищеты большинства населения. Правда, и страна в целом находилась в исключительной ситуации: в результате проигранной войны она фактически лишилась флота и вынуждена была реорганизовывать армию. Прилагаемые усилия оправдались лишь отчасти. России, как будто, удалось сохранить имидж великой державы, способной подавить противника массой своих воинов. Но эта внешняя мощь не подкреплялась ни адекватным экономическим развитием, ни внутренней социальной стабильностью. Задача одновременного развития армии и воссоздания флота вообще была едва ли посильна ей в то время. Недостаточное развитие железнодорожного транспорта подрывало возможности армии на начальном этапе войны, как тогда считалось – решающем. Во всяком случае, для России предпочтительно было оттянуть большую войну на несколько лет, до осуществления принятых программ усиления

вооруженных сил. Ее главный противник – Германия, в основном завершившая в 1913–1914 гг. свои военные приготовления, находилась в значительно более выгодном положении.

Инициатива раскола Европы на противостоящие группировки в преддверии мировой войны принадлежала Германии. В 1879 г. она заключила союз с Австро-Венгрией, а в 1882 г. и с Италией, ограничившись в отношении России соглашением о нейтралитете. Экономическая и военная мощь Германии обеспечивала ее лидирующее положение в Тройственном союзе, который способствовал усилению немецкого влияния на континенте, грозившего перерасти в гегемонию. В начале 90-х годов в противовес этому блоку сложился русско-французский союз, преследовавший цель восстановить политическое равновесие и не допустить преобладания Германии в Европе.

В новой группировке баланс военных и финансовых возможностей партнеров сначала предопределил их равенство: бóльшая заинтересованность Франции в поддержке русской армии уравновешивалась интересами России на парижском денежном рынке. Ситуация изменилась к невыгоде восточной союзницы в результате русско-японской войны и революции 1905–1907 гг. Ее военная мощь была подорвана, а зависимость от иностранной финансовой поддержки возросла. Накануне мировой войны произошло некоторое выравнивание, связанное с возрождением русской военной мощи и быстрым промышленным подъемом в России. Но в это время приходится говорить уже о месте ее не столько в союзе, сколько в Тройственном согласии[18].

Последняя группировка выросла из нескольких образований: англо-французской Антанты, русско-французского союза и англо-русской конвенции 1907 г. Соглашение России с традиционным соперником в Азии имело сначала преимущественно региональное значение, хотя довольно быстро стало перерастать эти рамки. Союз с Францией сохранялся, но в формировавшемся Тройственном согласии проявилась тенденция к блокированию западных держав и их совместному воздействию на Россию в вопросах внешней политики. Преодолеть ее царской дипломатии не удалось, так что говорить о ведущей роли России ни в союзе, ни тем более в Антанте не приходится. Это не исключало самостоятельности русской политики как в определении целей, так и блоковой ориентации. Некоторое время российское правительство рассчитывало остаться в стороне от назревавшего между Германией и Англией конфликта и вело политику лавирования между ними. Только в 1912 г. оно целеустремленно становится на путь упрочения Тройственного согласия, а перед самой войной даже пытается превратить его в открытый оборонительный союз, что, однако, не было поддержано западными партнерами, прежде всего Англией.

Параллельно со старыми методами взаимного устрашения на рубеже веков делались первые шаги на пути поиска новых более цивилизованных средств разрешения международных споров. Россия проявила себя на этой стезе самым активным образом. Дважды, в 1899 и 1907 гг., она выступала инициатором проведения международных Гаагских конференций мира[19]. Было бы неверно объяснять позицию

российского правительства только или главным образом тем, что ему трудно было состязаться в гонке вооружений с более богатыми державами, хотя это соображение играло свою роль. Нужно принять во внимание и другие мотивы – традиционное стремление российской дипломатии к правовому регулированию международных отношений и желание продемонстрировать миролюбие. Последнее было важно как в конъюнктурном плане[20], так и в целях борьбы с международным социалистическим пацифизмом и, наконец, для личного престижа Николая II, желавшего, подобно отцу, прослыть в Европе миротворцем[21].

В области ограничения вооружений Гаагские конференции оказались едва ли не вовсе бесплодными. Зато был достигнут определенный прогресс в плане регулирования международных конфликтов – принята конвенция о мирном разрешении международных споров (путем добровольного арбитража). Наконец, последовало заключение ряда конвенций, определявших законы и обычаи сухопутной и морской войны. Они несколько ограничивали жестокий и разрушительный характер военных действий, но не могли серьезно повлиять на общий характер международных отношений того времени. Великие державы предпочитали решать свои проблемы с помощью силы. Достаточно напомнить, что предложение России в июле 1914 г. применить к австро-сербскому конфликту гаагскую мирную процедуру не нашло отклика ни в Вене, ни в Берлине.

Как уже отмечалось, 1914 год мало благоприятствовал России с точки зрения подготовленности к войне. Дело было не только в незавершенности преобразования вооруженных сил и стратегического железнодорожного строительства. Серьезные опасения вызывало нарастание с 1912 г. внутренних неурядиц, прежде всего забастовочного движения. Становилось ясно, что ни репрессии, ни прогресс реформ, видимо, слишком медленный, не умиротворили страну. А непопулярная тяжелая война, как свидетельствовал опыт 1905 г., могла обернуться революцией. Об этом предупреждали в своих записках такие представители правых кругов, как П.Н. Дурново и Р.Р. Розен. Видели опасность более ответственные министры, не чужд был колебаний сам царь. И все-таки вызов Центральных империй Петербург принял.

Объяснение кроется прежде всего в имперском менталитете российских правящих кругов. Он был свойствен даже самым дальновидным государственным деятелям России конца XIX – начала XX в. Сторонником воздержания от участия в "военных компликациях" не без основания считался С.Ю. Витте. Но и он в 1895 г. не исключал возможности войны с Японией, лишь бы не допустить ее утверждения на Ляодунском полуострове, угрожавшего великодержавным позициям России на Дальнем Востоке. После поражения царизма в русско-японской войне Витте говорил о необходимости для России на 20–25 лет полного спокойствия во внешних делах, хотя бы и ценой временного отказа от великодержавных притязаний[22]. Неизвестно, однако, смог ли бы он удержаться на этой позиции, если бы остался у власти.

П.А. Столыпин сходился с Витте во мнении о приоритете внутреннего "успокоения" над всеми другими задачами, в том числе внешнеполитическими. В одном из писем 1911 г. к А.П. Извольскому он так формулировал свой подход: "Вы знаете мой взгляд – нам нужен мир: война в ближайшие годы, особенно по непонятному для народа поводу, будет гибельна для России и династии. Напротив того, каждый год мира укрепляет Россию не только с военной и морской точки зрения, но с финансовой и экономической. Но кроме того и главное, это то, что Россия с каждым годом зреет..."[23] Однако Столыпин не готов был хотя бы временно примириться с отказом от мировой роли России. Он признавал необходимость на известное время перейти к оборонительной политике, не более того. Об этом недвусмысленно свидетельствует его позиция на совещании правительства в январе 1908 г. по вопросу о положении в Малоазиатской Турции и на Балканском полуострове. Подход Столыпина соответствовал его основополагающим идейным установкам служения "великой России" и русского национализма.

Министр иностранных дел Извольский был единомышленником Столыпина и много сделал для упрочения международного положения Российского государства после русско-японской войны и революции. Но тот же Извольский считал, что есть вопросы, от решения которых оно не может остаться в стороне, дабы не сделаться "второстепенной, если не хуже" державой – это Восточный вопрос и проблема австрийского наследства. Делом чести могло стать также выполнение союзных обязательств перед Францией[24]. Издателю "Нового времени" А.С. Суворину Извольский говорил, что Россия поднимется "только удачной войной с кем-нибудь, все равно с кем"[25]. Имперский менталитет Николая II прекрасно отражен в дневнике А.Н. Куропаткина. Царь был уверен, что хотя министры по ведомственным соображениям сдерживают осуществление его грандиозных планов (речь шла о Маньчжурии, Корее, Тибете, Персии, проливах), он лучше их "понимает вопросы славы и пользы России"[26]. У военных и морских деятелей страны великодержавное мышление было как бы профессиональной чертой. Правда, некоторое время после русско-японской войны они были деморализованы жестоким поражением, но уже с 1912 г. стали оправляться от шока. В апреле этого года товарищ военного министра А.А. Поливанов заявил на закрытом заседании Государственной Думы, что "дело сдвинулось, и кошмарное впечатление от той необеспеченности армии средствами, в которой она оставалась в первые годы после войны, этот кошмар, слава Богу, остается позади"[27]. В феврале же 1914 г. из высших военных сфер последовало оптимистическое публичное утверждение: "Россия готова"[28].

Международные отношения новой исторической эпохи характеризовались, как отмечалось, возросшей конфликтностью, целой серией острых столкновений интересов держав, могущих перерасти в вооруженную борьбу, а порой и заканчивавшихся войнами. Особую опасность приобрели эти кризисы после того, как в Европе возникли две противостоящие группировки – Тройственный союз и Антанта. Любой конфликт между ними грозил уже не локальной, а общей войной. В ходе этих кризисов царское правительство, сознавая свою неготовность к схватке, предпочитало компромиссное урегулирование и шло на

уступки. Так было в решающий момент Боснийского кризиса, когда, по признанию Николая II, пришлось поступиться самолюбием. Так было и позднее, в конфликтных ситуациях 1912–1913 гг. Подобный опыт ободрял Центральные империи, позволяя им и в 1914 г. надеяться на очередной бескровный успех. Но тот же груз предшествовавших "отступлений" затруднял для русского правительства возможность дальнейших компромиссов ввиду недовольства как партнеров по Антанте, так и общественного мнения.

Последнее со времени окончания революции стало все чаще проявлять себя во внешней политике, выступая с позиций защиты великодержавного престижа, критикуя национальную дипломатию за инертность и "уступчивость"[29]. Буржуазно-помещичья печать окрестила компромисс весны 1909 г. "дипломатической Цусимой" и продолжала ту же крикливо-патриотическую линию в других коллизиях предвоенных лет. В 1914 г. она подняла перчатку, брошенную немецкой прессой, вступив с последней в "газетную войну". Лишь немногим более сдержанные речи звучали в Государственной Думе в ответ на "разъяснения" министров иностранных дел по вопросам внешней политики. Разумеется, нет оснований преувеличивать влияние общественного мнения на курс царского правительства. Определение внешнеполитической линии оставалось прерогативой царя, но российский МИД использовал "патриотизм" печати и Думы в своей международной игре. В новых условиях он нуждался во взаимодействии с "общественностью", и серьезный разлад с ней мог ослабить позиции дипломатии.

Еще большее значение, чем позиция общественных кругов, имела для официального Петербурга реакция партнеров по Согласию. Западные державы неодобрительно отнеслись к поспешному и несогласованному с ними "отступлению" царской дипломатии весной 1909 г. Их не удовлетворила недостаточно решительная позиция России в период Агадирского кризиса. С конца 1912 г., заключив между собой секретное военно-политическое соглашение, Франция и Англия чувствовали себя достаточно уверенно. Поэтому "уступки" царской дипломатии в кризисах 1912–1913 гг. вызывали у них разочарование. Большое впечатление на западные державы произвела нерешительность, проявленная царским правительством в ходе борьбы вокруг миссии Лимана фон Сандерса.

Их настроения в тот момент хорошо уловил министр иностранных дел Сазонов. 23 ноября (6 декабря) 1913 г. он обратился к царю со знаменательным докладом. Сазонов предлагал, в случае согласия военного и морского министров, договориться с Францией и Англией и занять, наконец, твердую позицию. Примирение с успехом Германии было бы, по его мнению, равносильно крупному политическому поражению и могло иметь самые тяжелые последствия. Оно не предохранит Россию "от возрастающих притязаний Германии и ее союзников, начинающих усваивать все более и более неуступчивый и непримиримый тон во всех вопросах, затрагивающих их интересы. С другой стороны, во Франции и Англии укрепится опасное убеждение, что Россия готова на какие угодно уступки ради сохранения мира. Раз такое

убеждение укрепится в наших друзьях и союзниках, без того не очень сплоченное единство держав Тройственного Согласия может быть окончательно расшатано, и каждая из них будет стараться искать обеспечения своих интересов в соглашениях с державами противоположного лагеря"[30].

До этого случая Сазонов вместе с председателем Совета министров Коковцовым неизменно выступал в пользу осторожной политики против более решительно настроенных глав военных ведомств и влиятельного А.В. Кривошеина. 31 декабря 1913 г. (по старому стилю) предложения Сазонова рассматривались совещанием министров. Хотя все его участники сошлись во мнении о нежелательности и даже опасности вовлечения России в большую войну, представители военных ведомств считали "вполне допустимым" пойти на риск. Сам Сазонов тоже склонялся к возможности рискнуть, если будет уверенность, что в случае конфликта Англия выступит на стороне России и Франции. Совещание наметило ряд последовательных санкций против Турции вплоть до мер силового давления, если поддержка партнеров по Антанте окажется обеспеченной[31].

Замысел этот не был приведен в исполнение, так как удалось достигнуть формального компромисса с Германией. Но вскоре Коковцов получил отставку, так как, по мнению царя, проявлял излишнюю активность и самостоятельность суждений о внешней политике. Заколебалась почва и под ногами Сазонова, которого националистические круги обвиняли в робости, предлагая заменить деятелем более авторитетным и смелым. Сазонову пришлось перестраиваться, к чему он, впрочем, был уже подготовлен. Новый председатель Совета министров И.Л. Горемыкин в дела внешней политики не вмешивался, а министр внутренних дел Н.А. Маклаков не имел мужества идти против течения. Так в правительстве возобладали сторонники более твердой линии в международных делах и, в частности, А.В. Кривошеин.

Это проявилось на заседаниях Совета министров России 11–12/24–25 июля 1914 г. Выразителем общих настроений выступил все тот же Кривошеин. Он констатировал, что после несчастий 1905 г. революция была преодолена, а последующая программа преобразований в значительной мере выполнена. Даже если Россия не так хорошо подготовлена в военном отношении, как ее противники, общественность и представительные учреждения "не смогут понять, почему в этот критический момент, затрагивающий жизненные интересы России, императорское правительство не пожелало действовать смело". Сазонов заявил, что, если Россия откажется от выполнения своей исторической миссии, она лишится всякого авторитета и будет рассматриваться как пришедшая в упадок второразрядная держава[32]. Несколько позднее, убеждая царя согласиться на общую мобилизацию, он прибег к династическим и националистическим аргументам: «...Россия никогда не простила бы Государю "капитуляции", которая покрыла бы срамом доброе имя русского народа"[33].

Еще один вопрос, на котором хотелось бы остановиться, это балканский вариант развязывания войны 1914 г.[34] В зарубежной

историографии его нередко используют для подкрепления сомнительного тезиса о России как едва ли не главном виновнике мирового конфликта. Она-де больше других была заинтересована в балканских делах, а Франция и Англия пошли на поводу у Петербурга. При этом умышленно забывают о других корнях (скажем, франко-германском антагонизме из-за Эльзаса и Лотарингии, колониальных противоречиях западных держав, англо-германском морском соперничестве) и международных кризисах иного географического и сущностного характера, каждый из которых мог привести к большой войне.

Если проследить цепь международных конфликтов, предшествовавших первой мировой войне и способствовавших ее назреванию, станет очевидным, что, хотя роль балканско-ближневосточного региона была велика (Боснийский кризис, Балканские войны, миссия Лимана фон Сандерса), он все же не являлся единственным или главным источником разногласий великих держав. В самом деле, даже абстрагируясь от тихоокеанских коллизий, временно отступивших после русско-японской войны на второй план, мы наблюдаем целую серию международных кризисов, происходивших на почве колониальной политики: Фашодский инцидент, три марокканских конфликта (1905, 1908 и 1911 гг.), Триполитанскую войну и др.

Коль скоро непосредственным поводом к мировой войне послужили все же балканские дела, возникает вопрос о предпосылках этого варианта развязывания войны. Видимо, нет нужды доказывать важность балканско-ближневосточного региона, как обширного рынка, стратегического плацдарма и источника пополнения рядов противостоявших коалиций. Не случайно Балканы и Турция стали ареной острой борьбы за влияние *всех* великих держав – не только соседних (России, Австро-Венгрии, Италии), но также Германии, Франции, Англии.

Налицо были и причины внутриблокового свойства. Германия могла легче поощрить к войне австрийского союзника из-за первостепенных для него балканских дел. Сходное положение наблюдалось и в Антанте, где западным партнерам приходилось преодолевать сомнения и колебания России. Одно дело – столкновение из-за малозначащих для русских интересов африканских проблем, а другое – из-за волновавших правительство и общественное мнение Российской империи вопросов славянской политики. Об этом свидетельствовал опыт предвоенных международных отношений, который Франция и Англия с успехом использовали в июле 1914 г.

Германская и "ревизионистская" историография нередко использовала в своих доказательствах особой вины России в развязывании войны утверждение, будто русское правительство "первым" объявило мобилизацию и тем инициировало ответные шаги Берлина. В действительности первой приступила к такой мобилизации и частичным военным действиям (против Сербии) Австро-Венгрия, сделав это вопреки предупреждениям из Петербурга. Российское правительство не могло без серьезного риска откладывать начало мобилизации вследствие отмечавшейся выше большой разницы в сроках стратегического развертывания в России и у ее потенциального противника. Наконец,

общая мобилизация здесь не означала одновременного открытия военных действий, о чем Германия и Австро-Венгрия были уведомлены. Такой порядок был принят русскими властями еще в 1913 г. Поэтому нет оснований рассматривать слова Николая II, заверяющего кайзера Вильгельма в том, что при продолжении усилий к предотвращению конфликта русская армия не начнет военных операций, как уловку с целью выиграть время. Другое дело, что договариваться о сохранении мира в условиях сосредоточения войск обеими сторонами было гораздо труднее, но не Россия положила начало этому опасному процессу.

* * *

Суммируя, можно сказать, что Россия – одна из великих мировых держав того времени – сыграла свою заметную роль в происхождении мировой войны, но ее значение в глубинных процессах вызревания этого катаклизма определялись факторами скорее политического, чем экономического свойства. Народнохозяйственный потенциал страны, особенно в соотношении с населением и территорией, был сравнительно невелик и сориентирован на внутренний рынок. В территориально-политическом разделе мира Россия заняла первостепенные позиции в эпоху, предшествовавшую переходу к монополистическому капитализму. Она принадлежала к числу держав, больше заинтересованных в сохранении уже произведенного раздела мира, чем в его переделе.

Несмотря на низкий уровень жизни населения, Россия играла одну из первых скрипок в концерте предвоенной гонки вооружений. Это объяснялось не только имперскими амбициями ее правящих кругов, но и другими причинами: геостратегическим положением, фактической утратой во время русско-японской войны флота, выявившимися в ходе той же войны и революции изъянами армии, очевидным назреванием общеевропейского столкновения держав. Вместе с тем России принадлежала инициатива в зарождавшемся процессе цивилизованного регулирования международных споров и ограничении разрушительного характера войн, что соответствовало русской исторической традиции.

Россия, как почти все другие великие державы, выступала на международной арене не изолированно, а в составе группировки – Тройственного согласия, в которой представляла собой самостоятельную, но не ведущую силу. Одно время ее правительство рассчитывало даже остаться в стороне от вероятного англо-германского конфликта, но затем обострение собственных противоречий с Германией и консолидация германо-австрийского союза заставили отказаться от лавирования и стать на путь укрепления Антанты.

В целом политика России в Европе и на Ближнем Востоке не отличалась в рассматриваемое время воинственностью. Недостаточная подготовленность к тотальной схватке и внутренняя нестабильность побуждали к осторожности и поискам компромиссов. Вместе с тем имперский менталитет правящей бюрократии не допускал мысли о хотя бы временном отказе от великодержавной роли, по крайней мере в

традиционных Восточном и славянском вопросах. Определенное значение имел также великодержавно-националистический настрой общественности, проявлявшийся в печати и Думе. На рубеже 1913–1914 гг. в сознании правящих кругов произошел психологический перелом, выразившийся в решимости впредь не отступать перед вызовом со стороны Германии и Австро-Венгрии. Этот новый настрой сыграл свою роль в дни рокового июльского кризиса 1914 г.

[1] Историографический обзор послереволюционной литературы по проблеме см.: Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография / Под ред. А.Н. Нарочницкого. М., 1981. Гл. IV; см. также: соответствующий раздел в кн.: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1985. Т. V. Подробная библиография зарубежной и отечественной литературы содержится в следующих работах: *Geyer D.* Russian Imperialism: The Interaction of Domestic and Foreign Policy, 1860–1914 / Trans. from German. New Haven, 1987; *Lieven D.* Russia and the Origins of the First World War. N.Y., 1983.

[2] См.: *Минц И.И.* История Великого Октября. Т. 1. Свержение самодержавия. М., 1967. С. 40–42; *Бовыкин В.И.* Россия накануне великих свершений. К изучению социально-экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1988. С. 120–121; *Степанов А.* Россия перед Красным Октябрем // Россия. XXI. 1993. № 11–12. С. 128–130.

[3] *Степанов А.* Указ. соч. С. 140–141.

[4] *Степанов А.* Указ. соч. С. 140.

[5] *Бовыкин В.И.* Указ. соч. С. 125, 128.

[6] Там же. С. 128.

[7] *Степанов А.* Указ. соч. С. 140–143.

[8] *Степанов А.* Указ. соч. С. 141; *Ленин В.И.* Империализм, как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 358.

[9] *Вайнштейн А.Л.* Народное богатство и народнохозяйственное накопление в предреволюционной России. М., 1960. С. 428–433.

[10] *Girolt R.* Diplomatie européenne et impérialisme, 1871–1914. Masson, 1979. T. 1. P. 41–42.

[11] *Степанов А.* Указ. соч. С. 135.

[12] *Ленин В.И.* Указ. соч. С. 377.

[13] *Степанов А.* Указ. соч. С. 147.

[14] Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. М., 1922. Ч. 1. С. 12.

[15] См.: *Шацилло К.Ф.* Русский империализм и развитие флота накануне первой мировой войны (1906–1914 гг.). М., 1968.

[16] *Степанов А.* Указ. соч. С. 149.

[17] СИЭ. М., 1967. Т. 10. С. 971.

[18] *Бовыкин В.И.* Из истории возникновения первой мировой войны. Отношения России и Франции в 1912–1914 гг. М., 1961; *Игнатьев А.В.* Русско-английские отношения накануне Первой мировой войны (1908–1914 гг.). М., 1962; *Остальцева А.Ф.* Англо-русское соглашение 1907 года. Влияние русско-японской войны и революции 1905–1907 годов на внешнюю политику царизма и перегруппировку европейских держав. Саратов, 1977; *Розенталь Э.М.* Дипломатическая история франко-русского союза в начале XX в., М., 1960; *Рыбаченок И.С.* Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX века. М., 1993; *Kennan G.F.* The Fateful Alliance: France, Russia and the Coming of the First World War. N.Y., 1984; *Koch H.W.* The Origins of the First World War: Great Power Rivalry and German War Aims. 2-d ed. L., 1984.

[19] Предполагалось проведение и третьей конференции, чему помешала начавшаяся мировая война.

[20] В первом случае – после утверждения в Порт-Артуре, а во втором – в момент потребности консолидировать международное положение страны после русско-японской войны и революции.

[2] Это сочеталось у него в молодости с размашистыми аннексионистскими замыслами в Азии, но азиатские народы не принадлежали в сознании политиков того времени к "цивилизованным".

[22] Красный архив. 1926. Т. 6(19). С. 8.

[23] Архив внешней политики Российской империи. Ф. Личный архив Извольского. Д. 43. Л. 26 с об.

[24] Там же. Л. 10–15.

[25] *Суворин А.* Дневник. М., 1992. С. 456.

[26] Красный архив. 1922. Т. 2. С. 31–32.

[27] *Игнатьев А.В.* Русско-английские отношения... С. 31–32.

[28] Биржевые ведомости. 1914. 27 февр.

[29] *Бестужев И.В.* Борьба в России по вопросам внешней политики. 1906–1910. М., 1961; *Он же.* Борьба в России по вопросам внешней политики накануне первой мировой войны (1910–1914) // Исторические записки. 1965. Т. 75; *Гришина М.И.* Империалистические планы кадетской партии по вопросам внешней политики России (1907–1914 гг.) // Учен. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1967, № 286; *Ferenzi C.* Aussenpolitik und Offentlichkeit in Russland, 1906–1912. Husum, 1982; *Hosking G.* The Russian Constitutional Experiment: Government and Duma, 1907–1914. Cambridge, 1973; *Jablonowski H.* Die Stellungsnahme der russischen Parteien zur Assenpolitik der Regierung von der russischenglischen Verstandigung bis zum ersten Weltkrieg // Forschungen zur osteuropaischen Geschichte, 1957. № 5; *Lieven D.* Op. cit.

[30] Европейские державы и Турция во время мировой войны. Константинополь и проливы. М., 1925. Т. 1. С. 63.

[31] Вестник НКИД. 1919. № 1. С. 30–32.

[32] *McDonald D.M.* A lever without a fulcrum: domestic factors and Russian foreign policy, 1905–1914 // Imperial Russian Foreign Policy. Cambridge, 1993. P. 306.

[33] *Сазонов С.Д.* Воспоминания. М., 1991. С. 247.

[34] См.: Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX в. М., 1978; *Писарев Ю.А.* Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. М., 1985; *Jelavich B.* Russia's Balkan Entanglements, 1806–1914. Cambridge, 1991; *Rossos A.* Russia and the Balkans: Inter-Balkan Rivalries and the Russian Foreign Policy, 1908–1914. Toronto, 1981; *Thaden E.* Russia and the Balkan Alliance. University Park, 1965 и др.

"СРЕДИННАЯ ЕВРОПА" В ЭКСПАНСИОНИСТСКИХ ПЛАНАХ ГЕРМАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Б.М. Туполев

Проекты создания "Срединной Европы", занявшей центральное место в военных планах правящих кругов империи Гогенцоллернов в годы первой мировой войны, и связанные с ними переговоры между Германией и Австро-Венгрией об образовании единого замкнутого среднеевропейского экономического региона представляют большой исторический и политический интерес. Превращение имевших длительную историю замыслов о "Срединной Европе" в практическую цель германской военной политики и конкретные переговоры по этой проблеме между Берлином и Веной свидетельствовали о переходе в новую фазу давних устремлений, направленных на установление германской гегемонии над обширной областью, охватывающей прежде всего территории в Центральной и Юго-Восточной Европе. Это должно было оказать решающее влияние на все дальнейшее развитие ситуации в Европе и на мировой арене в целом. Практически хозяйственная актуальность переговоров Германии и Австро-Венгрии определялась тем обстоятельством, что сходные планы таможенных объединений возникли после окончания первой мировой войны в отношении вновь образовавшихся государств не только в Европе, но и в других частях света. Разработка форм и методов объединения обеих центральноевропейских империй в единую экономическую зону при соблюдении их хозяйственной самостоятельности внутри нее и вовне и сохранении определенных взаимных таможенных ограничений привлекает к себе внимание и с точки зрения осмысления хода и перспектив интеграционных процессов не только в современном западном мире, но и, в известной мере, в странах СНГ.

С конца XIX – начала XX в. стремление к господству над "Срединной Европой" и желание превратить Германию в мировую державу – это две тесно взаимосвязанные цели, вокруг которых вращались внешнеполитические амбиции господствующих классов Германской империи. Однако в заинтересованных кругах проявлялись значительные расхождения во мнениях при конкретной постановке вопроса, в какой форме должна быть установлена германская гегемония над "Срединной Европой" и какие страны или территории эта область должна охватывать.

В ходе дискуссии о "Срединной Европе" одновременно обсуждались несколько концепций, отчасти дополнявших одна другую: предложенное

© Б.М. Туполев

К. Дилем "малое" решение – "экономическая великая Германия", затем идея среднеевропейского экономического союза и, наконец, в качестве "максимального" решения проект европейской таможенной унии. Она должна была состоять из Германии, Австро-Венгрии, Нидерландов, трех скандинавских стран, Швейцарии, Италии, стран Балканского полуострова, включая европейскую Турцию, а также Франции. Идея таможенной унии приобрела затем форму политического варианта – среднеевропейского союза государств[1].

В служебной записке германского ведомства иностранных дел, направленной 25 сентября 1903 г. в имперскую канцелярию, сообщалось о многочисленных предложениях создать таможенный и экономический союз (европейскую или среднеевропейскую таможенную унию) в качестве равноценного противовеса трем другим крупным экономическим регионам – Российской империи, Соединенным Штатам Америки и Великобритании вместе с их колониями и владениями. Идея эта весьма соблазнительна, говорилось в записке, но в настоящее время и в обозримом будущем "совершенно неосуществима", так как противоположные политические и экономические интересы, национальные особенности и различия в формах правления создают для этого "непреодолимые трудности"[2].

Основной организацией, добивавшейся хозяйственного единства Германии и Австро-Венгрии, а по существу, установления германского контроля над экономикой монархии Габсбургов, стал Среднеевропейский экономический союз. Его идеологом и создателем был профессор из Бреслау Юлиус Вольф, выступавший против "американской опасности" под лозунгами "Соединенных Штатов Европы" и "европейского таможенного союза"[3]. Он считал, что не следует даже помышлять о таможенной унии, так как подобная идея является чистой утопией. Однако совершенно закономерно, когда такие государства, как Германия, Австро-Венгрия, Швейцария, впоследствии, вероятно, Нидерланды, балканские государства, стремятся в экономическом отношении сблизиться друг с другом[4].

На учредительном собрании, состоявшемся 21 января 1904 г. в Берлине, Ю. Вольф заявил, что союз будет, "держась в стороне от каких бы то ни было политических задач, обращать внимание общества и правительства на те хозяйственные явления, по отношению к которым интересы среднеевропейских государств не противоречат друг другу, а совпадают". Важнейшую задачу он усматривал в "образовании торгово-политических союзов между государствами с одинаковыми интересами". Это должно было привести к созданию обширной хозяйственной области, способной противостоять внешней конкуренции[5]. Двадцать лет спустя Ю. Вольф признавал, что конечной целью союза являлось образование таможенной унии Германии и Австро-Венгрии[6]. Он выражал уверенность, что развитие экономических связей между странами Центральной Европы должно привести к укреплению Тройственного союза. В 1903 г. в статье "Среднеевропейский экономический союз" Вольф писал: "Если здание Тройственного союза должно нести в себе гарантию длительного существования, то наряду с

политическими устоями, только на которых он покоился до сих пор и которые со временем могут стать достаточно непрочными, должны возникнуть и экономические устои"[7].

Несмотря на предостережение ведомства иностранных дел, что, если во главе такой организации встанет немецкий князь, находящийся в близких отношениях с кайзером, это вызовет беспокойство за границей, президентом Среднеевропейского экономического союза по просьбе Ю. Вольфа стал герцог Эрнст Гюнтер Шлезвиг-Гольштейнский. Корпоративными членами союза являлись Союз промышленников, Центральный союз германских промышленников, Юго-Западная группа Союза германских промышленников железа и стали и другие крупные предпринимательские объединения[8].

Вскоре отделения Среднеевропейского экономического союза возникли в Австрии (3 апреля 1905 г.), Венгрии (20 декабря 1904 г.), позднее в Бельгии (1909 г.). Эти союзы занимались пропагандистской деятельностью, а также добились некоторых таможенно-почтовых облегчений во взаимоотношениях между странами Центральной Европы. Австрийский политический деятель Эрнст фон Пленер, основатель австрийского Среднеевропейского экономического союза, писал в своих воспоминаниях, что в союз входили крупные промышленники и целые промышленные объединения[9]. Идеи Юлиуса Вольфа оказали существенное влияние на дальнейшее развитие планов "Срединной Европы".

Статс-секретарь ведомства иностранных дел В. фон Шён в докладной записке канцлеру Б. фон Бюлову от 1 июля 1908 г. писал, что Среднеевропейский экономический союз стремится подготовить экономическое объединение Германии и Австро-Венгрии, а также ряда других европейских стран, чтобы противостоять экономической экспансии Соединенных Штатов Америки. Думается, однако, что в этой организации до сих пор нет ясного представления о том, как такое объединение можно осуществить, и "поэтому устремления союза пока носят несколько утопический характер". Это не исключает, писал Шён, что союз в более узких областях может содействовать развитию экономических отношений между европейскими государствами, особенно между Германией и землями Дунайской монархии[10].

Когда стал приближаться к концу срок действия торгового договора между Германией и монархией Габсбургов, 12 сентября 1913 г. в Лейпциге был основан Германо-австро-венгерский экономический союз, который ставил перед собой исключительно практические цели.

Член Прогрессивной народной партии Курт фон Мангольдт, тесно связанный с Союзом промышленников, писал в январе 1912 г. в "Berliner Börsen-Courier", что таможенная уния Германии с Австро-Венгрией сделала бы союз между обеими странами неразрывным. В результате была бы образована область с высокой внутренней покупательной способностью и такой мощью (при торгово-политических соглашениях с другими государствами), у которой, как утверждал автор, едва ли в настоящее время могли бы найтись аналоги. К этой объединенной территории следует по возможности присоединить

балканские государства посредством прочных политических союзов, а также с помощью таможенной унии. Однако наиболее значительное расширение создаваемой области произойдет за счет присоединения Турции, хотя существуют перспективы и на других направлениях. Автор статьи не исключал того, что к центральноевропейскому таможенному союзу примкнет Дания, а также, возможно, Швеция, Норвегия, Голландия и Швейцария. "Из созданной таким образом общности экономических интересов и союзов, – писал он, – вытекает общая или, по меньшей мере, одинаково направленная внешняя политика"[11].

Осуществлению подобных замыслов благоприятствуют уже сложившиеся в Европе реалии, такие, как союз между Германией и Австро-Венгрией, его "политическая дружба" с Румынией и Турцией, система торговых договоров Германии с другими странами, планомерная, направленная прежде всего на сближение между Германией и Австро-Венгрией деятельность Среднеевропейского экономического союза. По естественным причинам на Германию и ее внешнюю политику выпадает в деле объединения соответствующих европейских стран руководящая роль со всеми ее огромными преимуществами, что открывает перед ней величайшую перспективу всемирно-исторического значения[12].

12 февраля 1914 г. с посланием к имперскому канцлеру Теобальду фон Бетман-Гольвегу обратился граф Альбрехт цу Штольберг-Вернигероде, поставив перед ним вопрос о том, не будет ли уместно при продлении или отказе от торгового договора с Австро-Венгрией создать таможенное объединение Германии и монархии Габсбургов с последующим присоединением к нему Румынии, Албании и, возможно, Турции. Как Германский таможенный союз 1834 г. заложил основу для последующего создания Германской империи, так и предлагаемое таможенное сообщество может стать опорой для образования Великогерманской империи. Путь к этой цели должен быть проложен посредством экономического сближения. Главным при этом является основание таможенного союза. Во вторую очередь нужно стремиться к единству в отношении транспортных средств, сначала железнодорожных, а затем и судоходных. Если удастся решить эти три проблемы, это послужит надежной основой для политического сплочения немцев. "Нам нужно, – писал граф, – ...объединение всех немецких и неславянских элементов как оплот против продвижения славян, против нового переселения народов"[13].

Таким образом, в зависимости от аппетита того или иного "теоретика" и требований момента главная – европейская – арена германских притязаний именовалась "великогерманской империей" или "Срединной Европой", "Соединенными Штатами Европы" или "увеличенной Срединной Европой". Военные цели пангерманцев, проблема "Берлин–Багдад" и ее балканские аспекты, нацеленность Среднеевропейского экономического союза на борьбу с американской конкуренцией были очень близки друг другу. Все эти среднеевропейские проекты в той или иной мере опирались на реальные результаты германской экономической и политической экспансии на континенте[14].

Среднеевропейские планы длительное время составлялись исклю-

чительно или преимущественно с экономической точки зрения. Однако во время первой мировой войны проблематика "Срединной Европы" охватывала уже гораздо более обширную сферу, прежде всего – экспансионистские цели и действия в политической и военной области, связь которых с экономическими целями и действиями до сих пор еще исследована недостаточно. Стремления германских правящих кругов, направленные на укрепление союзной системы стран Центральной Европы, на создание среднеевропейского союза государств под германской эгидой, на установление контроля над железнодорожными путями и заключение военных конвенций с соответствующими государствами, с одной стороны, и проекты таможенных союзов, таможенных уний, экономических сообществ и иных форм торгово-политических соглашений – с другой, являлись различными, но связанными между собой аспектами одной и той же проблемы. Все эти разнообразные варианты планов, устремленных на "Срединную Европу", призванную стать зоной безраздельного господства германского империализма, охватывают понятие "политики Срединной Европы" и поэтому должны анализироваться в их взаимообусловленности и взаимовлиянии. Германские правящие круги исходили из того, что если экономическая зависимость тех или иных стран от Германии должна быть позднее обеспечена политическими методами, то и политические союзы и соглашения, в свою очередь, могут быть использованы для установления экономической зависимости[15].

Перед июльским кризисом 1914 г. германская правящая верхушка еще не имела конкретной концепции того, что должна представлять собой находящаяся под германским господством "Срединная Европа", какие страны она будет охватывать и как должна быть организована. Однако уже накануне войны имперское руководство во все возраставшей степени усматривало в установлении косвенной формы контроля основное средство осуществления своих гегемонистских замыслов в Европе, считая "Срединную Европу" базой для достижения Германией мирового господства.

Сколь бы разнообразными ни были среднеевропейские планы, что объяснялось прежде всего весьма существенными различиями экономических интересов монополистических объединений промышленников и банкиров, общим для них было стремление обеспечить расширение сферы власти германских монополий, приобретение для них новых рынков сбыта, источников сырья и сфер приложения капитала.

В развязанной германским империализмом первой мировой войне правящие круги страны рассчитывали путем установления гегемонии Германии в Европе создать предпосылки для образования огромной германской колониальной империи в Африке, так называемой "Срединной Африки", и завоевать господствующие позиции на мировом рынке[16]. В первые же недели войны влиятельные представители немецкого финансового капитала, и среди них Вальтер Ратенау и Артур фон Гвиннер, направили имперскому правительству свои предложения относительно военных целей Германии, среди которых главное место занимала "Срединная Европа".

В. Ратенау, являвшийся наряду с Карлом Фюрстенбергом владельцем одного из крупных берлинских банков, "Берлинер Хандельсгезельшафт", и фактически главой "Альгемайне Электрицитетс-Гезельшафт" (АЭГ), в своей обширной докладной записке энергично выступил за реализацию среднеевропейской идеи. По его мнению, расположенная между мировыми державами – Великобританией и США, с одной стороны, и Россией – с другой, Германия могла утвердиться на мировой арене, только опираясь на "Срединную Европу". Осуществление плана ее создания Ратенау считал возможным посредством компромисса с Францией и "неограниченного" таможенного объединения Австро-Венгрии с Германией. Ратенау рассматривал войну как единственную возможность достижения этой "безусловной цели". Среди соображений Ратенау, которые произвели на Бетман-Гольвега глубокое впечатление, центральное место занимало таможенное и экономическое сообщество между Германией и Австро-Венгрией, как ядро экономически объединенной "Срединной Европы". Германский канцлер был убежден, что среднеевропейский план может быть реализован только в том случае, если Германия бросит "на чашу весов" всю свою военно-политическую мощь[17].

Находившийся с Бетман-Гольвегом в дружественных отношениях Артур фон Гвиннер, первый директор "Дойче банк", 2 сентября 1914 г. на собрании видных деятелей политики, экономики и культуры в Берлине решительно выступил против того, чтобы "слепо проводить политику аннексий"". Он высказался за более скромный, но зато и более действенный метод – "установить экономическое господство Германии (в Европе)". Мысли Гвиннера показались заместителю статс-секретаря ведомства иностранных дел Артуру Циммерману столь важными, что запись его выступления он немедленно отправил имперскому канцлеру Бетман-Гольвегу и статс-секретарю ведомства иностранных дел Г. фон Ягову в Главную штаб-квартиру, куда она поступила как раз во время подготовки программы военных целей Германии. Идеи Гвиннера нашли свое отражение в сентябрьской программе Бетман-Гольвега[18].

Считая, что Фриц Фишер в своей книге "Рывок к мировому господству" неоправданно отводил роль инициаторов идеи среднеевропейского "экономического союза", содержащейся в программе военных целей Бетман-Гольвега, Вальтеру Ратенау и Артуру фон Гвиннеру, Герхард Риттер отмечал, что этому противоречит следующая фраза из сопроводительного письма Бетман-Гольвега, отправленного статс-секретарю внутренних дел Клеменсу фон Дельбрюку из Кобленца вместе с текстом сентябрьской программы: "Об экономической программе среднеевропейского таможенного союза мы устно беседовали вскорс после начала войны и можем констатировать согласие в основных чертах". Т.е. это произошло еще до отъезда Бетман-Гольвега 16 августа в Кобленц. Далее Риттер приводит и некоторые другие факты, позволяющие ему утверждать, что, "таким образом, вопрос о первой инициативе остается открытым"[19].

Представляется, однако, что содержащийся в книгах Ф. Фишера

обширный материал о развитии идей "Срединной Европы" в предвоенные годы и в начале войны, данные об их обсуждении имперским правительством – все эти факты в свое время не могли не привлечь к себе внимания Бетман-Гольвега, занявшего пост имперского канцлера в 1909 г. К тому же известно, что Бетман-Гольвег беседовал с Ратенау о проекте среднеевропейского экономического союза еще в 1912 г. В таком союзе канцлер, как и Ратенау, видел решающее средство для того, чтобы без крупных территориальных аннексий, которые в связи со сложившимся соотношением сил великих держав он считал едва ли возможными, добиться германской гегемонии в Европе косвенными методами. Кроме трезвой оценки внешнеполитической ситуации, его побуждали к этому и соображения внутриполитического плана. Так как создания "Срединной Европы" под германским руководством требовали все политические течения господствующих классов страны, Бетман-Гольвег рассчитывал привести в этом пункте к "общему знаменателю" их экспансионистские вожделения, нередко расходившиеся в частностях, но весьма существенных. Имперский канцлер также опасался обострения внутриполитических противоречий в Германии из-за значительного прироста населения иных национальностей в случае крупных территориальных аннексий, о чем свидетельствовал опыт с Эльзас-Лотарингией, а также с территориями, население которых составляли поляки и датчане[20].

Ближайший помощник имперского канцлера Курт Рицлер записал в дневнике, что вечером 18 августа Бетман-Гольвег имел длительную беседу со своими сотрудниками в Кобленце о "Польше и возможности более свободного присоединения других государств к империи" посредством среднеевропейской системы дифференцированных пошлин. При этом он представлял себе "Срединную Европу" как Великую Германию, оказывающую покровительство Бельгии, Голландии, Польше и в меньшей мере Австрии. Хотя "Австрия слишком слаба, чтобы создавать нам трудности", – писал Рицлер, – однако с ней возможны осложнения из-за ее позиции в отношении Польши (на чьи территории Вена стала претендовать). Рамки среднеевропейской системы, намеченные Рицлером, отнюдь не совпадали с предложениями Вальтера Ратенау, который думал об объединении Германии, Франции, Австро-Венгрии, Балкан и Бельгии. Ратенау и Бетман-Гольвег, как позднее и сам Рицлер в отличие от своей дневниковой записи, принимали в расчет особенно тесные связи между Германией и Австро-Венгрией внутри среднеевропейского союза государств[21].

Область германского господства – "Срединная Европа" прочно занимала центральное место в подготовке программы военных целей Бетман-Гольвега. 3 сентября он ознакомился со второй докладной запиской Ратенау, в которой тот отстаивал свой план создания среднеевропейского экономического союза. На следующий день германский канцлер через двоюродного брата Ратенау, Герхарда фон Мутиуса, обратился к нему с просьбой дать более подробные разъяснения по этому вопросу. 5 сентября Бетман-Гольвег получил обширную докладную записку депутата рейхстага от партии Центра Маттиаса Эрцбергера, по мнению которого распространение германского могущества в Европе должно было происходить с помощью таможенной унии, в форме "независимых" буферных государств и частично путем прямых аннексий, например французского побережья до Булони и, прежде всего, в Прибалтике. Самым лучшим решением Эрцбергер считал создание Германией союза государств, который навечно гарантирует военный "суверенитет" кайзера, и образование единой экономической области в форме таможенной унии. В докладной записке Эрцбергера наибольший интерес Бетман-Гольвега вызвали идеи объединенной "Срединной Европы"[22].

В ответ на просьбу Бетман-Гольвега Вальтер Ратенау пояснил свою позицию в отношении "Срединной Европы", направив канцлеру 7 сентября 1914 г. новую докладную записку. В ней он рекомендовал побудить Францию к добровольному заключению мира, что резко осложнило бы положение Великобритании. Конечной целью Германии должна быть "Срединная Европа", объединенная под германским руководством, укрепленная политически и экономически против Англии и Америки, с одной стороны, против России – с другой. "Жертва, которую мы должны были бы принести, – писал Ратенау, – состояла бы в отказе от приобретения французских земель и в уменьшении контрибуции". Важнейшим орудием в борьбе с истинным врагом Германии, Англией, является "прежде всего экономическое объединение и эмансипация Срединной Европы. В этой связи вперед выступает значение континентального таможенного союза". В случае его возникновения, очевидно, будет создана межгосударственная организация, в которой Германия сможет претендовать на более сильную позицию, чем то место, которое Пруссия занимает в бундесрате. Вполне возможно, что на определенное время придется установить таможенную диктатуру Германии в соответствии с немецким таможенным тарифом. В политическом отношении она необходима потому, что такая стремящаяся к возвышению центральноевропейская держава, как Германия, станет объектом постоянной ревности соседей, "поскольку у нее нет силы органически присоединить этих соседей". Однако опасность германской изоляции исчезнет, как только комплекс стран, объединенных общей цивилизацией, будет слит воедино "совместными трудовыми интересами"[23].

Между 6 и 8 сентября 1914 г. Бетман-Гольвег при помощи Курта Рицлера сформулировал свою первую программу военных целей. Она была задумана как основа для заключения мира с западными державами, особенно с Францией, в расчете на ее военное поражение в обозримом будущем. Поэтому она носила название "Предварительные директивы для германской политики при заключении мира" и подробно не освещала военных целей на востоке Европы и в Африке. 9 сентября 1914 г., в разгар битвы на Марне, когда военное поражение Франции казалось неизбежным, имперский канцлер отправил из Кобленца эту программу своему заместителю в Берлине, статс-секретарю ведомства внутренних дел Клемensу фон Дельбрюку. Тогда в Главной штабквартире вместе с Г. фон Яговым находился в качестве финансового

эксперта и ближайшего советника Бетман-Гольвега директор "Дойче банк" Карл Гельфферих, в присутствии которого и были сформулированы экономические и финансовые установки программы [24].

В сентябрьской программе Бетман-Гольвега в отношении Франции говорилось о территориальных аннексиях и контрибуции, а также о торговом договоре, который ставил ее в экономическую зависимость от Германии, превращал в зону германского экспорта с перспективой полного вытеснения им английской торговли из этой страны. Торговый договор должен был предоставить немцам "свободу финансового и промышленного маневрирования во Франции, чтобы с германскими предприятиями больше нельзя было обращаться иначе, чем с французскими". В соответствии с программой наряду с некоторыми территориальными аннексиями Бельгия продолжала сохранять видимость самостоятельного государственного существования, но фактически превращалась в вассала Германии, признавала за ней право на оккупацию важных в военном отношении портов, становилась экономически немецкой провинцией. Было намечено присоединение к этой "измененной" Бельгии части французского побережья с Дюнкерком, Кале и Булонью со значительным фламандским населением[25].

Однако ядро сентябрьской программы составляло "образование среднеевропейского экономического союза посредством совместных таможенных соглашений при включении [в него] Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Австро-Венгрии, Польши и, возможно, Италии, Швеции и Норвегии. Этот союз, вероятно без общего конституционного руководства, при внешнем равноправии своих членов, но фактически под германским руководством, должен стабилизировать экономическое господство Германии над Срединной Европой"[26].

Особое внимание было обращено на изыскание возможностей для установления более тесных отношений Голландии с Германской империей, которые "при своеобразии голландцев были бы для них свободны от любого чувства принуждения". Таким образом, оставаясь внешне независимой, Голландия, по существу, становилась зависимым от Германии государством. Намечалось заключение с этой страной оборонительного и наступательного союза, установление тесного таможенного единства, не исключалась передача Голландии Антверпена взамен на уступку Германии права на его оккупацию вместе с устьем Шельды[27].

В сентябрьской программе Бетман-Гольвега учитывался весь спектр экспансионистских устремлений традиционной прусско-консервативной силовой политики; аннексионистских притязаний пангерманцев и связанных с ними кругов тяжелой индустрии, заинтересованных в источниках сырья; требований банковского и торгового капитала и промышленности готовых изделий, направленных на приобретение новых областей сбыта, установление германского господства на мировом рынке и расширение возможностей массированного экспорта капитала, а также предложений военного руководства по овладению теми или иными стратегическими позициями.

Характерно, однако, что в сопроводительном письме Дельбрюку,

которому Бетман-Гольвег дал указание детально разработать представленный проект "Срединной Европы", имперский канцлер рекомендовал "как можно меньше и как можно позже" привлекать к этому делу заинтересованные круги. При грандиозности намеченных целей, как и секретности подготовительных работ, считал Бетман-Гольвег, придется в общих интересах в тех или иных случаях не реагировать на вполне обоснованные особые требования[28].

В своем послании имперскому канцлеру от 13 сентября 1914 г. К. Дельбрюк писал, что судьба таможенного союза в желаемом или даже меньшем объеме "зависит от окончательных успехов нашего оружия и прежде всего наших союзников и от исхода нашей экономической войны с Англией". Но предстоит также преодолевать и серьезные внутриполитические трудности. «Таможенный союз, который охватывает большую часть Европы, означает разрыв с нашей экономической политикой и вводит снижение наших пошлин, – говорилось в письме. – ...В то время как до сих пор мы старались защищать "национальный труд" с помощью высоких пошлин и тарифных договоров со всеми европейскими государствами, в будущем на большой территории от Пиренеев до Мемеля, от Черного моря до Северного, от Средиземного моря до Балтийского должна в основном править свободная игра сил». Трудность состоит в том, что немцы борются теперь "не за господство на внутреннем рынке, а за господство на мировом рынке, и могущественным производственным возможностям трансатлантического мира может с необходимой силой противостоять только Европа, объединенная в таможенном отношении"[29].

В связи с замыслами хозяйственно-политического объединения "Срединной Европы" Бетман-Гольвег в своем очередном письме Клемансу Дельбрюку от 16 сентября 1914 г. отмечал первостепенное значение таможенного сближения между Германией и Австро-Венгрией. Следует, однако, проверить, писал он, нужно ли при возникновении такого среднеевропейского союза добиваться из экономических соображений особенно тесных связей обеих союзных империй. Объединения "Срединной Европы" можно достигнуть не на базе соглашения о совместных интересах, а только под давлением политического превосходства при заключении мира, продиктованного Германией. Возможно, что ее политическое превосходство может быть использовано при известных обстоятельствах и в отношении Австро-Венгрии[30].

Программа военных целей Бетман-Гольвега в ряде важных пунктов перекликалась с пангерманской программой, которая в основных чертах была изложена на заседании руководящего комитета Пангерманского союза 28 августа 1914 г., а в начале сентября опубликована его председателем Генрихом Классом под названием "Меморандум о германских военных целях". Об идее "Срединной Европы" при доминирующей роли Германии у Класса говорилось следующее: "То, что Средняя Европа... вместе с частями суши, которые Германская империя и Австро-Венгрия приобретают в качестве цены победы, образует большую, единую экономическую область, прямо-таки витает в воздухе как властное требование. К

этому ядру, без хотя бы только попытки центральных государств оказать давление, постепенно и с прямо-таки закономерной определенностью присоединятся Нидерланды и Швейцария, три скандинавских государства и Финляндия, Италия, Румыния и Болгария. Если прибавить соседние страны и колонии этих государств, то возникнет мощная экономическая область, которая легко сможет защитить и отстоять свою хозяйственно-политическую независимость в отношении любого другого [государства]". Следует отметить, что эта пангерманская программа еще не была известна Бетман-Гольвегу[31].

При обсуждении вопроса о форме среднеевропейского экономического союза разгорелись жаркие споры о том, как лучше его организовать. Так, имперское ведомство внутренних дел разделяло мнение гамбургских судовладельцев и торговцев, что полная таможенная уния с Австро-Венгрией может ограничить торгово-политическую деятельность Германии и тем самым удержать другие страны от вступления в нее. Вместо таможенной унии, являвшейся самой тесной формой экономического объединения государств с единым внешним тарифом и беспошлинной торговлей внутри, Дельбрюк предлагал создание таможенного союза со взаимными низкими пошлинами и преимущественными правами при сохранении самостоятельных внешних пошлин и заключении оборонительного и наступательного союза. Вместе с тем Дельбрюк считал, что этой цели можно достигнуть только в случае победы Германии над своими противниками, что заставило бы их признать такую систему таможенного благоприятствования. Он опасался также, что задуманный таможенный союз ограничится Германией, Австро-Венгрией и Бельгией, а в таком виде он не сможет сыграть решающую роль в борьбе за мировой рынок[32].

Дискуссия вокруг организационных форм "Срединной Европы" продолжалась, что вызвало целый поток специальных исследований и популярных изданий, среди которых особое место заняла книга Фридриха Наумана "Срединная Европа", вышедшая в свет в 1915 г.

"Наши глаза устремлены... на среднеевропейскую землю, – писал Науман, – которая простирается от Северного и Балтийского морей вплоть до Альп, Адриатического моря и южного края Дунайской равнины. Возьмите карту в руки и посмотрите, что лежит между Вислой и Вогезами, что расположено между Галицией и Боденским озером. Эту поверхность вы должны представлять себе как единство, как многократно расчлененную братскую страну, как оборонительный союз, как экономическую область!"[33] Несмотря на свой пафос, Науман выступал против безбрежных планов слияния. "...Под названием Срединной Европы не создается новое государство, а заключается союз существующих государств... – писал он. – Решающими, ответственными носителями развития были и остаются заключающие договор современные суверенные государства. Они делают друг другу взаимные уступки, однако... не прекращают быть субъектами будущих совместных действий. Если хотят называть новое [образование] союзом государств, то это будет соответствовать его характеру, однако он не должен стать союзным государством. Хотя второе стало бы объективно

гораздо большим, чем первое, но оно не могло бы быть осуществлено"[34].

Академическая элита неизменно оказывала поддержку среднеевропейским проектам, активно участвовала в их разработке. В своей речи, произнесенной в Гейдельбергском университете 10 мая 1915 г., известный историк Г. Онкен заявил, что во время войны хозяйственная автаркия Германии, которой она обязана экономической политике Бисмарка, себя оправдала и задача заключается в том, чтобы органически расширить базис этой автаркии на обе союзные державы. Речь идет не о слиянии обоих государств, не об обновлении старых, отживших великогерманских идеалов, а о новых формах и возможностях совместной жизни этих стран и их народов. Объединению всех противников Центральной Европы мы противопоставляем тесное экономическое и военно-политическое объединение Срединной Европы, единство действий двух самостоятельных великих держав, которых побуждают к новым формам политического существования и сообщества сложившаяся военная ситуация и ненависть врагов, их прошлое и стоящие перед ними задачи будущего[35].

Экономическое сближение может осуществляться до той грани, которую выдержит самостоятельность обоих государств и их экономика. Дело не в названии объединения, звучит ли оно как таможенная уния или значительно скромнее – торгово-политический союз со взаимными таможенными привилегиями, сказал Онкен. Таможенному объединению еще долго будут противостоять почти непреодолимые трудности. Сомнения отнюдь не исчерпываются озабоченностью германских аграриев перед безусловным открытием границ и страхом австрийских промышленников перед превосходящей мощью германских конкурентов. Целый ряд принципиально важных моментов отметил авторитетный фрайбургский экономист Карл Диль: разница валют, различия во всей системе финансов, таможни и косвенных налогов, в транспортной политике и прежде всего в состоянии охраны труда в обеих странах. Все эти проблемы могут быть решены только политическим разумом, не сразу, а постепенно. При этом речь не идет о том, могут ли быть эти трудности преодолены. Они должны быть преодолены[36].

Несмотря на осложнение военной ситуации, германская правящая верхушка продолжала активно обсуждать среднеевропейскую идею. Находясь весной 1915 г. в Шарлевиле, во Франции, недалеко от бельгийской границы, Рицлер, которому суждено было сыграть значительную роль в теоретическом освещении этой проблемы, записал в своем дневнике 18 апреля, что "эта Срединная Европа является экономически и политически всемирно-исторической задачей"[37]. "Вчера долго сидел вместе с канцлером, чтобы разъяснить ему мою новую Европу, т.е. европейское обрамление нашей воли к власти. Среднеевропейская империя германской нации... Германская империя – акционерное общество с прусским большинством акций, любое включение новых акционеров разрушило бы это большинство, на котором, как на прусской гегемонии, стоит империя. Отсюда вокруг германской империи – союз государств, в котором империя точно так же имеет

большинство, как Пруссия в империи. Поэтому же Пруссия и в этом союзе государств имеет фактическое руководство". Бельгийский вопрос нужно решить так, чтобы он не только не стоял на пути этого будущего развития, а, напротив, сам помогал осуществлять его. Что касается Австрии, то с ней надо обращаться так, чтобы она сама "врастала" в это объединение, что она должна и будет делать. Рицлер считал, что европейскую идею необходимо также укреплять в Скандинавии и Голландии[38].

Вскоре после этого, 28 апреля 1915 г.. Рицлер в своей дневниковой записи отмечал неопределенность, царящую в Берлине, и недостаточную веру людей "в силу канцлера". "Недоверие к канцлеру вполне естественно. В такое время человек должен действовать, как брошенная в мир граната. Он должен наносить удары, и если он дважды промахнулся и один раз ударил правильно, тогда дело все же идет вперед"[39].

"Вчера в салон-вагоне, – писал далее Рицлер, – долго обсуждал с Гельфферихом и канцлером вопрос о таможенной унии с Австрией. Согласие в том, что все это политический вопрос, не вызывающий сомнений в двух случаях: 1) если Австрия победоносно выходит из войны, 2) если [выходит из нее] совершенно разбитой и лишенной своих внешних позиций, так что в будущем, кроме чешского вопроса, не может иметь особых противоречий с Россией и никаких собственных честолюбивых [замыслов] на Балканах". Второе произойдет только в случае выступления Италии и должно тогда привести к присоединению остатков монархии Габсбургов к Германии "в известной свободной форме". "Все, что говорили канцлер и Гельфферих, – констатировал Рицлер, – было хорошо, точно и до конца продумано". Однако он продолжал испытывать страх "перед безумным политическим безрассудством господства слепых аффектов. Бедная Германия, – писал он. – Наивная страна. Идеологи силы и идеологи умеренности. Какой спектакль..."[40].

С весны 1915 г. вопрос о более тесном экономическом объединении Германии и Австро-Венгрии не сходил с повестки дня экономических обществ и союзов, как и политических партий. Между сторонниками и противниками планов экономического союза обеих держав и его вариантов развернулась оживленная полемика, которая нашла свое продолжение на конференциях с участием многочисленных представителей из Германии, Австрии и Венгрии и прекратилась лишь с окончанием войны. Во всех этих обсуждениях преобладающую роль играли экономические соображения[41].

Начало официальных переговоров о создании единой экономической области, охватывающей Германию и Австро-Венгрию, открыла "Промемория" германского ведомства иностранных дел, направленная австро-венгерскому министерству иностранных дел 13 ноября 1915 г. В этой памятной записке была выдвинута идея унификации экономики обоих государств как составной части концепции углубления военно-политического союза между Германией и Австро-Венгрией. В качестве конечной цели предусматривалось слияние экономики обеих империй,

однако в предварительном порядке Берлин выдвинул предложение о заключении таможенного союза со взаимными льготными пошлинами сроком на 30 лет и ревизией его условий через каждые 10 лет[42].

Среднеевропейские планы продолжали вращаться вокруг проблем Бельгии, Польши, Прибалтики, Румынии. Герхард Риттер считал, что роковую роль в их судьбе сыграли противоречия между Германией и Австро-Венгрией по вопросу о будущем Польши, оказавшиеся непреодолимыми, и что на переговорах между Бетман-Гольвегом и министром иностранных дел Дунайской монархии Бурианом в апреле 1916 г., приведших к острым разногласиям между ними, "идея Срединной Европы была окончательно похоронена"[43].

Этому утверждению Г. Риттера противоречит хотя бы то обстоятельство, что еще до завершения совместной разработки единой схемы таможенных тарифов с 21 по 26 июля 1916 г. в Вене состоялись переговоры обеих сторон по некоторым общим вопросам, которые подлежали урегулированию в рамках экономического союза, таким, как приобретение движимого имущества, положение торговых и акционерных обществ, пограничное сообщение и др.[44]

В действительности германское правительство придерживалось своей линии на создание среднеевропейского таможенного союза до конца войны. Так, с 9 июля по 11 октября 1918 г. в Зальцбурге проходили переговоры о характере будущих экономических отношений между Германией и Австро-Венгрией, прежде всего о системе льготных пошлин, с чем правительство Вены в конце концов согласилось, несмотря на значительное сопротивление, особенно с венгерской стороны. Германия "со всей силой" преследовала при этом конечную цель – создание таможенной унии. Экономическое проникновение в оккупированные области Бельгии, Франции, Польши, Румынии, России и Сербии, как и условия, навязанные Германией в 1918 г. Финляндии, Украине, Советской России и Румынии, свидетельствует о твердой приверженности германских правящих кругов этой экспансионистской цели[45].

[1] *Fischer F.* Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914. Düsseldorf, 1978. S. 32.

[2] Weltherrschaft im Visier. Dokumente zu den Europa- und Weltherrschaftsplänen des deutschen Imperialismus von der Jahrhundertwende bis Mai 1945 / Hrsg. von W. Schumann und L. Nestler. Berlin, 1975. Dok. 4. S. 57–58 (Äusserung des Auswärtigen Amtes an die Reichskanzlei vom 25. September 1903 über die Ziele des geplanten Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereins).

[3] Probleme der Ökonomie und Politik in den Beziehungen zwischen Ost- und Westeuropa vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Berlin, 1960. S. 158; *Battaglia R.* Ein Zoll- und Wirtschaftsbündnis zwischen Österreich-Ungarn und Deutschland (Geschichte, Konstruktion, Einwendungen). Wien; Leipzig, 1917. S. 26.

[4] *Wolf J.* Das Deutsche Reich und der Weltmarkt. Jena, 1901. S. 48.

[5] Вестник финансов, промышленности и торговли. 1904. № 3. С. 109; *Pajewski J.* "Mitteleuropa". Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej. Poznań, 1959. S. 21.

[6] Probleme der Ökonomie und Politik... S. 159.

[7] *Wolf J.* Ein mitteleuropäischer Wirtschaftsverein // Zeitschrift fur Socialwissenschaft. Berlin, 1903. S. 237.

[8] Weltherrschaft im Visier. Dok. 4. S. 58.

[9] *Виноградов К.Б.* Некоторые особенности экономического развития Австро-Венгрии накануне первой мировой войны // Учен. зап. ЛГУ. Сер. ист. наук. 1955. № 194. Вып. 23. С. 87.

[10] Weltherrschaft im Visier. Dok. 10. S. 65–66 (Aufzeichnung von Wilhelm Freiherr von Schoen, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, an den Reichskanzler Bernhard Fürst von Bülow vom 1. Juli 1908 über den Mitteleuropäischen Wirtschaftsverein).

[11] Weltherrschaft im Visier. Dok. 14. S. 72 (Artikel von Kurt von Mangoldt, Mitglied der Fortschrittlichen Volkspartei, "Wo hinaus? Eine Betrachtung über deutsche Ausswärtige Politik" im "Berliner Börsen-Courier" vom 9. Januar 1912 über einen mitteleuropäischen Wirtschaftsverband).

[12] Ibid. S. 73.

[13] Herrschaftsmethoden des deutschen Imperialismus 1897/98 bis 1917. Dokumente zur innen- und aussenpolitischen Strategie und Taktik der herrschenden Klassen des Deutschen Reiches / Hrsg. von W. Gutsche. Berlin, 1977. Dok. 84. S. 178–179 (Schreiben des Grafen Albrecht zu Stolberg-Wernigerode an den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg vom 12. Februar 1914 über die Schaffung eines Grossdeutschen Reiches).

[14] См.: *Туполев Б.М.* Экспансия германского империализма в Юго-Восточной Европе в конце XIX – начале XX в. М., 1970. С. 105–128.

[15] *Gutsche W.* Zur Mitteleuropapolitik der deutschen Reichsleitung von der Jahrhundertwende bis zum Ende des ersten Weltkrieges // Jahrbuch für Geschichte. Bd. 15. Studien zur Geschichte des deutschen Imperialismus von der Jahrhundertwende bis 1917. Berlin, 1977. S. 86–87.

[16] *Tupolev B.M.* "Mitteleuropa" und die "Weltpolitik" des deutschen Imperialismus am Vorabend des ersten Weltkrieges // Jahrbuch für Geschichte. Bd. 15. S. 217–225.

[17] *Fischer F.* Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18. Düsseldorf, 1962. S. 108.

[18] Ibid. S. 109.

[19] *Ritter G.* Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des 'Militarismus' in Deutschland. 3. Bd: Die Tragödie der Staatskunst. Bethmann Hollweg als Kriegskanzler (1914–1917). München, 1964. S. 594.

[20] *Gutsche W.* Aufstieg und Fall eines kaiserlichen Reichskanzlers. Theobald von Bethmann Hollweg 1856–1921. Ein politisches Lebensbild. Berlin, 1973. S. 142–143.

[21] *Riezler K.* Tagebücher, Aufsätze, Dokumente / Eingeleitet und hrsg. von K.D. Erdmann. Göttingen, 1972. Dok. 550. S. 198–199 (Tagebücher 1910–1918. Coblenz, 19.8. [1914]).

[22] *Gutsche W.* Aufstieg und Fall eines kaiserlichen Reichskanzlers... S. 148–149.

[23] Weltherrschaft im Visier. Dok. 25. S. 83–86 (Kriegszieldenkschrift von Walther Rathenau an Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg vom 7. September 1914 über die Errichtung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes).

[24] *Fischer F.* Griff nach der Weltmacht. S. 107.

[25] Weltherrschaft im Visier. Dok. 26. S. 87–88 (Aufzeichnung des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg über die Richtlinien der Politik beim Friedensschluss mit Begleitschreiben an Clemens Delbrück, Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, vom 9. September 1914).

[26] Ibid. S. 88.

[27] Ibid.

[28] Ibid. S. 87.

[29] Herrschaftsmethoden des deutschen Imperialismus... Dok. 100. S. 199 (Schreiben des Staatssekretärs des Reichsamtes des Unnern Clemens Delbrück an Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg vom 13. September 1914 über die äusseren und inneren Kriegsziele).

[30] Weltherrschaft im Visier. Dok. 28. S. 91–92 (Schreiben des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg an Clemens Delbrück vom 16. September 1914 über einen mitteleuropäischen Wirtschaftsbund).

[31] *Fischer F.* Griff nach der Weltmacht. S. 114.

[32] *Gutsche W.* Zur Mitteleuropapolitik der deutschen Reichsleitung... S. 99.

[33] *Naumann F.* Mitteleuropa. Berlin, 1915. S. 2–3.

[34] Ibid. S. 233.

[35] *Oncken H.* Bismarck und die Zukunft Mitteleuropas. Rede, bei der Feier der Universität Heidelberg zum Gedächtnis des 100jährigen Geburtstages Bismarcks, am 10. Mai 1915. Heidelberg, 1915. S. 14–16.

[36] Ibid. S. 13–14; *Diehl K.* Zur Frage eines Zollbündnisses zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn. 2. Aufl. Jena, 1915. S. 35–42.

[37] *Riezler K.* Op. cit. Dok. 604. S. 269 (Tagebucher 1910–1918. Charleville, 18/4 [1915]).

[38] Ibid. S. 268 (Tagebücher 1910–1918. Charleville. 18/4 [1915]).

[39] Ibid. Dok. 605. S. 269 (Tagebücher 1910–1918. Charleville, 18/4 [1915]).

[40] Ibid. Dok. 605. S. 269–270.

[41] *Gratz G., Schuller R.* Die äussere Wirtschaftspolitik Österreich-Ungarns. Mitteleuropäische Pläne. Wien, 1925. S. 7.

[42] *Gratz G., Schüller R.* Op. cit. S. 9–10.

[43] *Ritter G.* Op. cit. 3. Bd. S. 139.

[44] *Gratz G., Schuller R.* Op. cit. S. 49.

[45] *Gutsche W.* Zur Mitteleuropapolitik der deutschen Reichsleitung... S. 103–104; по проблематике "Срединной Европы" см.: *Meyer H.C.* Mitteleuropa in German Thought and Action 1815–1945. Den Haag, 1955; *Droz J.* L'Europe centrale. Evolution historique de l'idée de "Mitteleuropa". Paris, 1959; *Riemeck R.* Mitteleuropa. Bilanz eines Jahrhunderts. Frankfurt/M., 1986.

II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ОТ ПЕРЕДЕЛА МИРА К НОВОМУ МИРОПОРЯДКУ

КРИЗИСНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

К.Б. Виноградов

Первые годы XX в. были насыщены крупными историческими событиями: русско-японская война и первая революция в России; череда национально-освободительных выступлений народов Азии; ряд конфликтов между европейскими державами из-за начавшегося передела только что поделенного мира; несколько локальных войн в регионе Средиземного моря и Балкан; экспансия США в странах Карибского моря и Центральной Америки. Это важнейшие из событий. В то же время завершается перегруппировка политических сил на международной арене: наблюдается сближение Франции и Великобритании; заключается англо-русское соглашение о сферах влияния в Центральной Азии (1907 г.); происходит Ревельское свидание британских и российских государственных деятелей (1908 г.), которое знаменует начало новой фазы в отношениях Лондона и Петербурга.

Две "конференции мира" 1899 и 1907 гг., созывавшиеся (в Гааге) по инициативе России, принимают пространные рекомендации, призванные, казалось, обуздать военную угрозу, учредить третейское разбирательство любых межгосударственных споров, регламентировать, "цивилизовать" саму войну, если она все же возникнет. В августе 1913 г. в Гааге в торжественной обстановке королева Нидерландов открыла "Дворец мира". Отныне в этом просторном здании, возведенном на средства американского миллионера Карнеги, будет заседать международный третейский суд, здесь в 1915 г. состоится еще одна конференция по разоружению и укреплению мира.

В официальных декларациях тех лет неизменно подчеркивалось, что правительства всех великих держав считают поддержание мира своей главной задачей. Часто говорилось и о неких благах, которые сулит человечеству противостояние двух блоков – Тройственного союза и Антанты. Так, в коммюнике по поводу русско-германской встречи на высшем уровне летом 1912 г. утверждалось, что "польза существующих группировок с точки зрения сохранения равновесия и мира уже доказана". Весной 1914 г. авторитетная лондонская газета "Таймс"[1]

© К.Б. Виноградов

писала о преимуществах раскола Европы на два лагеря и выгодах сложившегося "баланса сил". С системой двух блоков, как писала газета, связаны "лучшие надежды на сохранение мира в будущем". Немало пацифистов, искренне обеспокоенных надвигавшимся призраком разрушительной войны, давали себя убаюкивать подобными, нередко лицемерными, разглагольствованиями ведущих политиков и близких к руководящим сферам органов печати. Тогдашние пацифисты, довольно пестрые по составу, представляли как будто бы внушительную силу, но их вожди, как правило, предпочитали робко убеждать власть имущих в выгодах проведения миролюбивого курса. На сентябрь 1914 г. в Вене намечался очередной "Всеобщий конгресс мира", его любезно согласился открыть сам министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Берхтольд.

События показали, что наличие блоков отнюдь не способствует обеспечению прочного мира. Осенью 1912 г. член Государственного совета, бывший дипломат Р.Р. Розен в специальной записке, переданной Николаю II, подчеркивал, что "сторонники союзов", восхваляющие "равновесие сил", нарочито игнорируют "факт постоянного возрастания вооружений"[2]. Действительно, державы – участницы коалиций лихорадочно вооружались, все более интенсивно готовились к войне, рассчитывая, в частности, на ресурсы и потенциал своих партнеров по данному союзу. Гонка вооружений на суше и на море при явном или более завуалированном пренебрежении упомянутыми решениями Гаагских конференций – вот характерная черта мировой политики начала XX в.

В такой взрывоопасной обстановке в руководящих кругах Германии, Британии, других великих держав кристаллизуются внешнеполитические замыслы, осуществление которых большинство лидеров связывало с предстоящей войной. Наиболее последовательную и широкоформатную программу экспансии выдвинули немецкие военно-политические круги. Это не было какой-то исторической случайностью или результатом врожденной агрессивности германского народа. Готовность Берлина опереться на силу оружия, употребить его в наступательных целях во многом определялась известным отставанием Германии в прямой эксплуатации богатств и подневольного населения земного шара. Широкие массы немецкого общества были не удовлетворены тем, что Англия, Франция и Россия контролируют гигантские территории колоний и зависимых стран в Азии и Африке, а Германия обладает "бедными" колониями "третьего сорта". Непомерные аппетиты по части овладения далекими и более близкими землями проявляли видные деятели немецкой индустрии финансов (по выражению канцлера Бетман-Гольвега, они "жаждут полмира"!). Ухудшение международных позиций страны после создания Антанты и постепенного отхода Италии и Румынии от ориентации на Германию стимулировало намерение берлинского руководства развязать войну – ведь она все равно неизбежна?! Также сказывались обострение соперничества с США и крах попыток приобрести базы и опорные пункты в Западном полушарии.

Одной из целей руководителей рейха было создание "Срединной Африки" от Индийского океана до Атлантики при поглощении бель-

гийских, португальских и других колоний; на Ближнем Востоке в фокусе их внимания находились Османская империя и смежные с ней территории. Главным соперником Германии являлась Британия, к сражениям с которой готовился "флот Открытого моря". Но в канун мировой войны в Берлине крепло влияние тех военных и политиков, кто доказывал необходимость сначала нанести удар по соперникам на континенте. Ведь даже для прочного обоснования в Турции, несмотря на завоеванные уже там позиции, требовался мощный и обеспеченный европейский плацдарм. И в популярной шовинистической песне объекты экспансии были определены достаточно четко – "сначала Европа, а потом – весь мир!".

Давно уже вынашивались в Германии и обширные замыслы экспансии на Востоке. Еще в конце 1887 г. один из немецких дипломатов формулировал их так: «Мы должны пустить русским так много крови, чтобы и 25 лет спустя им нелегко было встать на ноги... Нам следует предать опустошению экономические ресурсы России уничтожением ее черноморских провинций, бомбардировкой ее портовых городов, разрушением ее индустрии и торговли; надо "оттеснить" Россию от Балтийского и Черного морей, отторгнуть от нее все области вплоть до линии Онежское озеро – Валдайская возвышенность – Днепр...»[3] Автором этого текста был Бернард Бюлов, в то время советник посольства в Петербурге. В 1900 г. он стал канцлером Германской империи! При Бюлове, пользуясь тяжелым положением России, Германия в 1904 г. навязала ей выгодный для себя торговый договор. После начала "большой" войны в августе–сентябре 1914 г. всякие стеснения относительно генеральных целей империи были отброшены, канцлера Бетман-Гольвега промышленники засыпали требованиями аннексий на Западе и Востоке. Например, Тиссен добивался захватов во Франции и Бельгии, овладения украинскими землями, "Донской областью с Одессой"...

События предвоенных лет, такие, как поражение немецкой дипломатии в борьбе за раздел Марокко, убедили ряд ответственных руководителей Германии в необходимости форсировать начало войны. На узком "военном совете" 8 декабря 1912 г. начальник Генерального штаба Мольтке выразил это мнение предельно четко: "Я считаю войну для нас неминуемой и чем скорее, тем лучше!"[4] Тогда же было решено употребить все средства для воздействия на общественное мнение в целях подготовки его к предстоящей общеевропейской войне и разжигания антирусских настроений. В 1913 г. рейхстаг принял программу нового гигантского увеличения сухопутных сил Германии. Сменивший Бюлова на посту канцлера Бетман-Гольвег и кайзер Вильгельм II стали все более склоняться к военному решению: пока не рассыпалась трещавшая по всем швам Австро-Венгрия, пока есть надежды на приемлемую позицию Италии и Британии, пока имеется значительное превосходство в тяжелой артиллерии над французами и еще далек 1917 г. – год завершения русской военной программы.

Младший партнер Германии – Габсбургская монархия, несмотря на растущие внутренние трудности, а отчасти благодаря им, также преследовала далеко идущие внешнеполитические цели и интенсивно во-

оружалась. Важную роль в определении государственного курса играл начальник Генерального штаба Франц Конрад. Он непрестанно подчеркивал, что только с помощью агрессии "вовне", лишь после уничтожения "югославянской опасности" можно обеспечить само существование "лоскутной империи". Генерал учитывал экономические обстоятельства, потребности буржуазных кругов. "Захват балканских земель нужен для хозяйственного развития страны", – утверждал он. В документе 1907 г. Конрад писал, что Габсбургская монархия претендует на "Адриатическое море, Балканский полуостров, восточное побережье Средиземного моря, часть Северной Африки (! – *К.В.*)"[5]. Многие австрийские и венгерские ведущие деятели с боязнью рассматривали перспективы фронтального столкновения с Россией. Так, эрцгерцог Франц Фердинанд полагал, что война с ней может обернуться падением династий Романовых и Габсбургов; он предпочел бы локальную войну на Балканах или даже превентивный удар по собственному, скорее всего вероломному, союзнику и сопернику – Италии, отношения с которой стремительно портились. Однако все же на случай вероятной войны на Востоке тоже строились различные программы, такие, как, скажем, образование польского марионеточного государства под эгидой Австро-Венгрии с включением в него "Королевства Польского" и прямая аннексия смежных украинских земель.

Со своей стороны некоторые ответственные военно-политические лидеры Антанты не считали целесообразным ускорять сроки европейского конфликта. Было бы, однако, ошибочным делать отсюда вывод, что завладевшие многочисленными колониями державы Антанты руководствовались только оборонительными побуждениями. Антанта была готова "ответить на вызов". В Великобритании, Франции и России изучались и шлифовались собственные экспансионистские замыслы. Англия намеревалась прежде всего решительно потеснить Германию в мировой торговле в колониях, ликвидировать ее военно-морской флот. Одновременно англичане рассчитывали укрепить и расширить свою колониальную империю. Еще "алмазный король" Сесил Родс помышлял о сколачивании широкого пояса земель под флагом британского льва от Кейптауна до Каира, а оттуда до Калькутты–Сингапура–Сиднея. Эти идеи подхватили политики следующих поколений: Керзон, Черчилль, Эмери и др. Все большее значение придавалось в Лондоне борьбе на Ближнем и Среднем Востоке. Если Керзон долгое время упорно видел здесь главного врага в лице России, то другой торийский деятель, Бальфур, министр иностранных дел либерального кабинета Грей, ряд колониальных администраторов и офицеров штаба приходят к заключению, что куда опаснее немецкий "дранг". В меморандуме Генерального штаба Великобритании в 1906 г. говорилось: «"Цели и амбиции" Германии "рано или поздно приведут ее к вооруженному столкновению с нами"; немцы собираются достигнуть Персидского залива, если они его достигнут, это будет куда менее желательно, чем даже присутствие там России...»[6] Эта исходная установка была подтверждена в секретном докладе Комитета имперской обороны в начале 1913 г.[7] На правительственном или династическом

уровне англо-германские отношения оставались вполне благопристойными. Если сегодня король Георг V при встрече с кайзером-кузеном Вильгельмом мило лобызается с ним, то завтра, беседуя с русским министром Сазоновым, он дает волю своим подлинным чувствам – предвидит в недалеком будущем большую войну на суше и на море и злорадно рассуждает о том, как доблестные британские моряки будут отправлять на дно торговые суда немцев![8]

В большей мере, чем на заморские территории, взоры Франции обращались к соседним землям в самой Европе: Эльзасу, отторгнутой Германией части Лотарингии, Саарской области. Хорошо бы не просто вернуть потерянные в 1871 г. провинции, овладеть угольными копями Саарского бассейна, но и поставить под контроль весь Рейнско-Вестфальский промышленный комплекс и таким путем подвести материальную базу под притязания на преобладание в Европе! Ориентация Парижа на европейские дела объяснялась и наличием значительных французских капиталовложений в Россию и страны Юго-Восточной Европы. Намеченное ослабление, а быть может, и раздробление Германии прикрывалось сентиментальными призывами вернуть к родным очагам братьев, стонущих в Эльзасе и Лотарингии под игом кайзера; у кого из французов не сжималось сердце, когда гремел "Лотарингский марш". Разумеется, влиятельные финансово-промышленные группировки Франции были заинтересованы и в расширении своих владений в Африке и Азии. Парижские банки опередили всех в финансовом закрепощении Османской империи, теперь Франция нацелилась на участие в разделе "малоазиатского пирога", собираясь "прыгнуть" в Сирию, Ливан, Палестину.

За пределами старой Европы изрядные притязания имелись у Японии и США. На имперской конференции 1911 г. представители британских доминионов (Австралии, Новой Зеландии) с опаской указывали на демографическую и экономическую активность японцев в бассейне Тихого океана. Тем не менее было решено продлить заключенный в 1902 г. договор Англии с Японией. Иначе последняя могла переметнуться к Германии! В 1910 г. Япония аннексировала Корею. Согласие на это дали Британия и США. Но японская экспансия в Маньчжурии и Северном Китае также не могла не вызвать их опасения. Несколько соглашений, заключенных Токио с Петербургом после 1905 г. по проблемам координации курсов в Китае и Монголии, встретили весьма неприязненные отклики как в Вашингтоне, так и в Берлине. Убедившись, что вбить еще один клин в русско-японские отношения не удастся, немецкие дипломаты стали зондировать почву о возможных совместных действиях с японцами в Мексике (против США), но успеха не добились. К 1914 г. японский фактор оставался для всех загадкой. Впрочем, ясно было одно – в европейскую войну японцы не вмешаются, но максимально используют ее для усиления позиций на Дальнем Востоке и на Тихом океане.

К началу XX в. Соединенные Штаты Америки достигли экономического могущества. Защищенные от других великих держав двумя океанами, они могли чувствовать себя в относительной безопасности,

строили мощный флот, но сохраняли малочисленную армию. Вступление самих Штатов на путь широкомасштабной экспансии, аналогичные агрессивные поползновения Германии, Японии, Англии вели все же к осложнениям в позициях этого государства на международной арене. Быстро ухудшались отношения с Японией. И американские штабисты вырабатывают "Оранжевый план" на случай возможной войны с ней. Экономическая, демографическая, военно-политическая активность Германии в Латинской Америке (в том числе и в соседней Мексике) стимулировала назревание еще одного конфликта. В США, как и в Германии, создаются детально продуманные планы будущей морской войны друг с другом (в американском "Черном плане" предусматривалось продвижение германского флота в регион Карибского моря для создания здесь базы наступательных операций непосредственно против Северной Америки)[9]. Любые трения и споры между европейскими державами в таких условиях вполне устраивали вашингтонских руководителей. Прибыв в Берлин в мае 1914 г., полковник Хауз, доверенное лицо и личный друг президента В. Вильсона, с удовлетворением выслушивал и поддакивал, когда его высокопоставленные немецкие собеседники витиевато рассуждали о "русской угрозе" и необходимости для Германии новых вооружений в целях обеспечения своего положения в условиях русско-французской враждебности. Да, война в Европе, если она разразится, для таких людей, как Хауз, представлялась делом небезвыгодным для Америки. И в августе 1914 г., когда она действительно вспыхнула, американский посол в Лондоне Пейдж почти с ликованием предрекает в письме президенту, что "вся Европа (в той мере, в какой выживет) обанкротится", а "мы станем безмерно сильнее финансово и политически"[10].

Поражение в войне с Японией и тяжелые для царизма испытания революции 1905–1907 гг. обязывали правительство России к соблюдению предельной осторожности в делах внешней политики, хотя уже в 1908 г. министр иностранных дел Извольский решил проявить неуместную в тех условиях активность, пренебрегая советом главы правительства Столыпина ("В ваших руках рычаг без точки опоры", – будто бы говорил назидательно тот). В ходе разразившегося тогда Боснийского кризиса резко ухудшились отношения с Австро-Венгрией, замаячил и призрак близкой войны с Германией, предъявившей в Петербурге ультимативные требования в поддержку своего младшего партнера. Царскому правительству пришлось признать аннексию двух населенных южными славянами провинций (Боснии и Герцеговины), совершенную Габсбургской монархией. Инициаторами этого агрессивного шага были генерал Конрад и министр иностранных дел Австро-Венгрии Эренталь, который ранее являлся австрийским послом на берегах Невы. "Я знаю Россию как свой собственный карман, она безусловно не пойдет на войну", – похвалялся он[11]. Его расчет как будто бы оправдался. Эренталь торжествовал победу (позже ее назовут пирровой!), барона сделали графом. Тяжелое унижение пережила Сербия, союзник России. А Петербург ничего для себя не получил,

задуманное Извольским открытие Босфора и Дарданелл для свободного прохода русских военных судов не состоялось.

Еще до Боснийского кризиса царь изменил свое отношение к западным державам. И в самом деле, именно из Парижа и даже из недавно враждебного Лондона его казна получила крупные денежные вливания! Годится и на экстренные меры против ненавистных демократов, и на восстановление вооруженных сил! А вот немцы применяют "силовое давление". После вмешательства германской дипломатии (весной 1909 г.) Николай II распорядился капитулировать, а в письме к своей матери М.Ф. Романовой мрачно изрек: "Раз вопрос был поставлен ребром – пришлось отложить самолюбие и согласиться..."[12] Но грубый демарш Берлина больно задел его. По вполне правдоподобной версии, тогда же он возгласил: "Мы больше не можем позволять этим сволочам наступать на ноги"[13].

Во время последующих встреч с Вильгельмом II, проявляя прежнюю родственную любезность, Николай II уже бдительно воспринимает различные посулы кайзера. Так, в канун одной из них в 1913 г. в откровенной беседе с Бьюкененом царь высказал предположение, что германский император, как обычно, опять будет делать какие-то предложения; он же "будет терпеливо слушать то, что император говорит, и будет заботиться, чтобы не связать себя"; не это ли "надежнейший курс"[14]. В тот же период воинственность Австро-Венгрии, ее стремление унизить союзника России Сербию тоже привлекли пристальное внимание Николая II. И в данном случае он счел себя кровно обиженным, что и зафиксировал в одной из пометок на дипломатической депеше: "Австрийцам ничего спускать не следует, и всякое лыко в строку"[15].

Отдельные трезвые суждения по вопросам международных отношений совмещались у Николая II со многими заблуждениями. Опасаясь войны, он преувеличивал свои возможности предотвратить ее начало, верил, что и монархи соседних империй из аналогичной боязни за судьбу своих режимов и династий тоже выскажутся за мир. Царь так до конца и не осознал как "непредсказуемости" кайзера, так и того, что от его "кузена" ход событий зависел в еще меньшей мере, чем от российского самодержца; кроме того, он не ко времени, 24 июля 1914 г., вспомнил о "лояльности" Вильгельма II в период войны с Японией. Ведь тогда Германии было бы легко нанести удар на Восток, неужели Берлин развяжет войну с Россией теперь, когда сокрушить Россию будет куда труднее?![16]

Еще один вопрос постоянно с конца XIX в. присутствовал в помыслах царя – Константинополь и проливы. Сохраняя недоверие к позиции Британии в вопросах о судьбах этого региона, Николай II все с большей подозрительностью приглядывался к развертывавшейся там немецкой экспансии. Его тревога возросла в связи с попытками германского правительства в конце 1913 г. установить прямой контроль над войсками в зоне турецкой столицы ("Миссия генерала Лимана фон Сандерса"), а также с отказом Вильгельма II дать гарантии о незаинтересованности своей страны в этих делах. В апреле 1914 г. царь

склоняется уже к тому, чтобы не пустить Германию в Константинополь даже с помощью войны[17]. Ставший в 1910 г. министром иностранных дел России С.Д. Сазонов стремился между тем к смягчению русско-германских противоречий, и Бетман-Гольвег за спиной собственного союзника дал ему обещание не поддерживать новые акты австрийской экспансии на Балканах. Было также решено согласовать позиции двух держав по спорным проблемам экономической экспансии в Иране и Турции. Именно этому вопросу российская дипломатия придавала особенное значение. И после длительных переговоров летом 1911 г. Германия и Россия подписали соглашение о железнодорожном строительстве и специальных интересах двух государств в указанном регионе. Россия окончательно отказывалась препятствовать постройке Багдадской железной дороги, соглашалась на строительство (в будущем) ее ответвления до Тегерана. Она получила от Германии обещание не преследовать в Иране политических целей и признание своих "особых интересов" в северной части этой страны.

Противники Сазонова, его критики из числа газетных репортеров продолжали упрекать министра за "чрезмерные" уступки немцам. Лишь немногие российские газеты признали, что достигнутое соглашение свидетельствует о целенаправленном, самостоятельном курсе политики Петербурга. Его подписание совпало по времени с очередным острейшим конфликтом между Францией и Германией (Второй Марокканский кризис). Нетрудно понять, почему парижская пресса в довольно грубой форме стала критиковать позицию России и даже обвинять ее в "нелояльности". И французские политики и дипломаты едва скрывали свое недовольство. Извольский (тогда посол России во Франции) не без тайного удовлетворения напоминал им о том, что в предшествующем Боснийском кризисе Франция не проявила никакого рвения и солидарности с Россией, Сербией и Черногорией. Извольский и Нератов, замещавший в Петербурге больного министра, заверяли союзника в готовности оказать самую широкую дипломатическую поддержку, но недвусмысленно давали понять, что из-за африканских "объектов" Россия воевать не намерена.

В 1910–1911 гг. Сазонов и его помощники с полного согласия Столыпина и Коковцова активно добивались сколачивания внушительного блока стран на Балканах и Ближнем Востоке. Ставилась задача помешать продвижению Австро-Венгрии (и Германии!) к Эгейскому морю и проливам, переориентировать Турцию, "дрейфовавшую" к немецкому лагерю. Чарыков, назначенный послом России в Турции, приложил немало усилий, вернувшись к идее "открытия проливов" для русского флота. Больше того, возник даже замысел восстановления "особых отношений" России и Османской империи в духе заключенного еще при Николае I договора в Ункяр-Искелеси (1833 г.!), предоставлявшего первой из них значительные права в зоне Константинополя. Чарыков действовал при осторожной поддержке Сазонова, который не сразу разобрался в нереальности подобного плана, в частности из-за антагонистических противоречий Турции с балканскими странами, добивавшимися ликвидации османского гнета в Юго-Восточной Европе.

Даже после провала "демарша Чарыкова" Сазонов и Коковцов продолжали зимой 1911/12 г. придерживаться прежнего сдержанного курса на Балканах, не считая целесообразным форсировать здесь какие-либо кардинальные перемены. Но сдвиги исторического значения уже назревали. Созданный при активном участии российских дипломатов Балканский союз (Сербия–Болгария–Греция–Черногория), который в Петербурге предпочли бы превратить в послушный инструмент против Австро-Венгрии, быстро "вышел из-под контроля". 1-я Балканская война, разразившаяся осенью 1912 г., смела остатки средневековья в Юго-Восточной Европе, оказав большое влияние и на позицию великих держав. Снова резко ухудшились русско-австрийские отношения, бряцала оружием Германия, генштабисты Франции и Британии принялись подсчитывать возможные последствия немедленного столкновения двух европейских группировок. В России военный министр Сухомлинов и группа генералов, ссылаясь на принимаемые в Габсбургской монархии мобилизационные меры (не только против Сербии и Черногории, но и поблизости от границы с Россией), требовали своевременного принятия "ответных мер". Приступ неожиданной боевитости на короткое время обуял и Николая II. Однако председатель Совета Министров и министр иностранных дел сохраняли хладнокровие[18]. Французский посол в Петербурге Ж. Луи 10 декабря отмечал нежелание России нагнетать напряженность в надежде на политическое урегулирование всех возникших проблем.

Западные державы также занимали, казалось, примирительную позицию, выступая с посредническими предложениями. Грей даже нажил себе определенный политический капитал, организовав в Лондоне переговоры между Турцией и ее противниками. Но за кулисами, по крайней мере, парижские руководители проявляли нетерпение, склоняясь к деятельности, которую трудно назвать иначе, чем подстрекательской. Пуанкаре несколько раз настоятельно советовал через Извольского Петербургу действовать активно и оперативно. Он неизменно подчеркивал, что на Балканах и в назревшем австро-сербском конфликте Россия – наиболее заинтересованная сторона. Но Франция вполне лояльна и готова оказать союзнику самую широкую помощь (при условии, что инициатива будет у России!). Поскольку русское правительство ограничивалось незначительными приготовлениями, недовольство такой "пассивностью" заметно росло. Помимо давления по дипломатическим каналам, Париж попробовал использовать и иные приемы, такие, как, скажем, запросы французского военного атташе в Генеральный штаб России. Негодование ведущих деятелей Франции, вызванное нежеланием партнера идти на обострение, наглядно выплеснулось во время беседы военного министра Мильерана с российским агентом в Париже графом А. Игнатьевым, когда первый из них, переходя на крик, грубо попрекал русского офицера, участника войны с Японией, в трусости его начальников[19].

Наступил 1913 год. Несмотря на "толчки в спину", петербургскому руководству удалось избежать соскальзывания в пучину прямой конфронтации с Центральными державами. Но, пожалуй, именно в этот

период положение России заметно ухудшается, значительно сократились ее возможности маневрирования и принятия самостоятельных решений. До 1912–1913 гг. несомненное стремление российского правительства сохранить нормальные отношения со всеми другими великими державами являлось одним из постоянно действующих факторов мировой политики. С ним считались возможные противники и государства-союзники. Во время Марокканского кризиса 1911 г. англичанам, главным образом в целях предотвращения поворота Парижа к гибкой политике сговора с Берлином (в обход Лондона!), пришлось выйти на авансцену и сделать несколько угрожающих Германии заявлений и соответствующих приготовлений. Преследуя свои цели, Лондон время от времени прельщает царизм согласием на прыжок в зону проливов. Больше того, Петербургу дают понять, что при случае готовы превратить довольно аморфные соглашения 1907–1908 гг. в прямой военно-политический союз.

Сазонов встречал эти обещания спокойно и шел в 1912 г. только на некоторое углубление и расширение военно-политических соглашений с основным союзником – Францией (была заключена военно-морская конвенция двух держав, Министерство иностранных дел России не возражало против более интенсивных штабных переговоров и т.п.). В целом осмотрительный курс России в самом начале Балканских войн привел в конце концов к тому, что в Лондоне и Париже независимо друг от друга делают важнейший вывод: если (когда?) придется приложить руки к организации "большой войны", то ее первоначальным очагом должны стать Балканы и Ближний Восток – регион, где "жизненные интересы" России заставят ее руководителей безоговорочно выполнить свой "долг" союзника Запада.

В Париже, сообщал Извольский еще в сентябре 1912 г., критическое положение на Балканах тщательно изучается. Пуанкаре и его министры знали о наличии здесь Балканского союза, располагавшего немалым военным потенциалом. Если он отвлечет на себя значительную часть австрийской армии, то России проще будет осуществить главную, с точки зрения Парижа, задачу – предпринять скорейшее наступление на Германию, как только начнется европейская война. Вообще "сведущие и ответственные лица", доносил русский посол, "весьма оптимистически смотрят на шансы России–Франции в случае общего столкновения"[20]. Когда войска балканских стран устремились совсем в другом направлении, иные из этих "ответственных персон" засомневались в выгодности данного момента, но не французские генералы типа Кастельно, которые, по мнению Игнатьева, хотели бы такой войны, при которой Россия вызвала бы на себя удар Германии, а Франция осталась в удобной позиции в немецком тылу[21]. В начале 1913 г., когда Россия все-таки приняла некие "ответные меры" военного характера, да и в политическом плане оказалась в эпицентре событий, один из французских генералов четко обрисовал суть вопроса своему британскому коллеге Генри Уилсону: сейчас, если начнется европейская война, можно с уверенностью сказать, что Россия будет в ней участвовать на нашей стороне. Если же теперь она не состоится, а

потом возникнет еще один кризис во франко-германских отношениях, но на колониальной почве, то, увы, поддержки с Востока можно и не дождаться. Прочитав о столь откровенном высказывании, Эдуард Грей брезгливо поморщился – сразу видно, что этот француз не джентльмен, что за цинизм. Не будем, однако, забывать, что иногда и лондонские лицедеи позволяли себе сквозь зубы кое-что выбалтывать. Так, заместитель министра Гардинг однажды простодушно заметил: враждебность Германии и России "очень и очень нам выгодна"[22].

Несколько раз в течение 1913 г. Сербия и Черногория оказывались на грани нападения со стороны Австро-Венгрии и вынуждены были идти на уступки по спорным вопросам; тяжелейшим ударом для Петербурга стали раскол Балканского союза и 2-я Балканская война, в которую вступила и до той поры нейтральная Румыния. Этот трагический для народов Юго-Восточной Европы и необычайно сложный для российской дипломатии год завершился еще одним кризисом – упоминавшейся раньше "миссией генерала Лимана фон Сандерса" в Константинополь. Итог для России был весьма неблагоприятен: она прочно "завязла" в делах данного региона, продолжали осложняться ее отношения с Габсбургской монархией и Германией. В конце 1913 г. Грей уже полагал, что "Россия выражает готовность к войне"[23]. Мы едва ли ошибемся, предположив, что такой ход событий вполне устраивал определенную группу политиков и профессионалов-военных во Франции и Великобритании: им удалось выдвинуть (или вытолкнуть?!) восточного партнера на линию огня, обеспечив себе большую, чем раньше, свободу маневра. Последнее, разумеется, прежде всего касалось Англии, находившейся вне зоны прямого нападения германской военной машины. К тому же лондонские дипломаты предприняли серию переговоров с немцами по африканским и ближневосточным вопросам, несколько смягчая свои противоречия с главным противником.

Конечно, источником напряжения оставалось намерение Берлина утвердить свое преобладание на Юго-Востоке Европы, подчинив себе и османскую армию. Гигантские ассигнования на сухопутные силы, предусмотренные в том же 1913 г. в Германии, создавали впечатление, что верх здесь берут сторонники континентального варианта развития экспансии. Это означало, что опасность непосредственного конфликта именно с Германией, как представлялось многим в Петербурге, явно росла и требовала контрдействий, включая последовательную защиту тех рубежей и позиций на Балканах и в Турции, какие имелись в распоряжении Петербурга.

Было бы нелепо приписывать "поворот" России к более активному курсу и проявленную ею "твердость" летом 1914 г. только интригам союзников или даже агрессивным акциям Германии и Австро-Венгрии. Российский империализм, оправившись от последствий событий 1904–1907 гг., сам представлял к 1914 г. достаточно внушительную силу, никак не способствовавшую мирному урегулированию назревавших споров с соседями. За решительность в сфере внешней политики, за отказ от беспрерывных компромиссов выступали влиятельные слои общества, многие органы печати, ряд думских ораторов и т.п. Среди

дипломатов маневры Сазонова далеко не всегда одобрял и посланник России в Белграде Гартвиг, полагавший более перспективной энергичную поддержку Сербии, даже ценой риска войны. Как говорилось выше, военные руководители в конце 1912 г. разошлись во мнениях с Сазоновым. Но ни одна из ответственных российских инстанций не делала ставку на скорейшее развязывание "большой войны". По вопросу о перспективах фронтальной схватки с Германией среди военных существовали большие разногласия. В марте 1914 г. по прямому указанию военного министра Сухомлинова и, как он утверждает, с санкции царя в петербургских газетах появились статьи о полной готовности армии и страны к войне. Эта шумиха объяснялась во многом конъюнктурными обстоятельствами, отчасти проистекавшими из-за аналогичной антирусской кампании тех дней в немецкой прессе. В конечном счете всплеск взаимных нападок и воинственных заявлений в Берлине и Петербурге отражал рост напряженности в экономических и политических отношениях двух держав. Но даже сторонники решительных действий среди высшего военного руководства России подчас обнаруживали известную внутреннюю неуверенность. Большинство из них сознавало недостаточный уровень военной подготовки России и полагало желательным избежать вооруженного столкновения на Западе, по крайней мере до 1917 г.

В свое время ряд зарубежных историков, а также М.Н. Покровский подчеркивали исключительную роль двух "особых совещаний" начала 1914 г. в Петербурге, будто бы свидетельствовавших о росте провоенных настроений в правительстве России. В самом деле, со стороны военного руководства следовали заверения, согласно которым Россия полностью готова "к единоборству с Германией, не говоря уже о столкновении один на один с Австрией". Но тогда же обнаружилось, что на самом деле даже к операции по овладению Босфором флот и армия должным образом не были подготовлены. Конкретные вопросы и соображения Сазонова на втором из этих совещаний, его предложения ускорить заблаговременную мобилизацию специального десантного корпуса встретили фактическое несогласие военных. Генерал Ю.Н. Данилов и другие участники дискуссии ссылались при этом на невозможность отрядить сколько-нибудь крупные силы к Босфору в условиях, когда почти неизбежна война с Германией и Австро-Венгрией, когда судьба России будет решаться на ее Западном фронте.

Еще раз подчеркнем, что среди высшего российского военного руководства не было полного единства мнений относительно текущих и более отдаленных задач государственного курса. Если вел. кн. Николай Николаевич и близкий к нему новый начальник Генерального штаба Янушкевич подчас легковесно склонялись к "твердости", если и Сухомлинов, опасаясь, что его враг – великий князь прочно захватит позиции лидера "военной партии", тоже иногда демонстрировал "решительность", то генерал-квартирмейстер Ю.Н. Данилов, начальник штаба Киевского военного округа М.В. Алексеев, многие морские начальники и планировщики настаивали на максимальной осторожности. Морской министр писал Сазонову, что "сильный флот" может быть

создан на Черном море лишь "в ближайшее пятилетие", а "пока эта сила на Черном море не будет нами создана, нам нужно, чтобы вопрос о проливах не был поставлен вовсе". Ю.Н. Данилов в марте 1914 г. высказывал сходные мысли: не только нет смысла ускорять конфронтацию с Османской империей, но куда целесообразнее будет добиваться улучшения отношений с ней[24].

Важнейшее для нас обстоятельство заключалось в том, что, несмотря на созыв специальных совещаний, другие довольно интенсивные контакты с военным и морским ведомствами, Сазонов и его помощники по-прежнему нередко предпринимали какие-то меры, не имея должного представления о господствующих концепциях и настроениях военной элиты, о степени подлинной готовности вооруженных сил страны и механике осуществления военно-мобилизационных мер. Царь все так же игнорировал необходимость повседневной координации соответствующей деятельности. Все это отражалось на дипломатии последних мирных месяцев и недель. В марте 1914 г. Бьюкенен, английский посол в Петербурге, подчеркивал: Сазонов тщательно избегает вовлечения страны в какие-либо осложнения; если возникает перспектива – риск войны или отступление, "он в конечном счете избирает вторую альтернативу". "Создается впечатление, – заключал посол, – что сохранение мира в настоящее время главная забота России"[25].

Как раз в эти недели российский министр вынужден был заняться пересмотром своих установок, тем более что лишился поддержки такого же, как он сам, осторожного политика Коковцова, замененного "извлеченным из нафталина" Горемыкиным. "Дело Лимана фон Сандерса" обнаружило зыбкость мира в Европе и наглядно показало ухудшение международного положения России. Перед лицом бесспорной германской экспансии на Ближнем Востоке Франция и Британия старались уклониться от принятия на себя равных обязательств в организации отпора ей. Тот же Бьюкенен писал: "Сазонов был убежден, что Германия и Турция уступят, если три державы займут действительно решительную позицию... и выразил сильнейшее разочарование, когда этого не произошло"[26]. Увертки лондонских партнеров выглядели из Петербурга особенно неприглядными, поскольку англичане, используя все способы, по-прежнему претендовали на контроль над турецким флотом, а на верфях Англии строилось несколько крупных военных судов для Турции. Соответствующие демарши русских дипломатов Лондон оставлял без внимания или отделывался смехотворными отговорками. Великобритания (как и Франция) не оказывала существенной помощи России, добивавшейся улучшения положения армян, проживавших в Османской империи.

В 1913-м – начале 1914 г. продолжали обостряться англо-русские отношения на почве соперничества в Иране. Одним из спорных вопросов являлся проект Трансперсидской железной дороги. В Петербурге предполагали сделать конечным пунктом какой-либо порт в Юго-Восточной Персии. Не помышляя о торговой экспансии в Индии, российская буржуазия намеревалась на персидских землях остановить натиск Германии, ослабить коммерческую экспансию Британии. В феврале 1914 г. Сазонов переслал в Лондон "памятную записку", в которой заявлял: строительство линии – дело безотлагательное. Особенно в свете "несомненных успехов... в постройке Багдадской железной дороги"[27]. Британский кабинет предлагал совсем иной вариант трассы (подальше от Индии!), а фактически тормозил ее осуществление даже в Северном Иране.

Замыслы английских политиков отличались масштабностью и амбициозностью. В официальных декларациях в парламенте Грей не раз заверял в нежелании вести завоевательную политику в Иране и смежных землях. На самом же деле в Иране британские нефтяные и другие дельцы, поддержанные дипломатами, вознамерились "освоить" горнорудные богатства его центральной и северной частей. "В отношении Персии, – инструктировал Грей Бьюкенена, – мы желаем получить практически всю нейтральную зону и не можем ничего уступить там России". Притязания касались также Афганистана и Тибета, где, признавал британский министр, Англия тоже собиралась только брать, не давая ничего взамен. А раз так, откровенно констатировал глава Форин оффис, путь к "добропорядочной сделке" найти будет нелегко[28]. Добавим, что еще с 1912 г. английская дипломатия не уставала указывать Петербургу на намерение отстаивать свои интересы "в Китае в целом и в бассейне Янцзы в особенности"[29].

Сазонов и его помощники имели и иные основания для беспокойства. В Петербург поступала информация о ведущихся между Англией и Германией переговорах по весьма широкому кругу вопросов: о судьбе португальских колоний в Африке, о Багдадской железной дороге, о добыче нефти на Среднем Востоке... По двум последним вопросам стороны даже достигли весной 1914 г. договоренности. Что, если эти две державы пойдут на сделки по другим проблемам? Не случайно же ряд немецких и британских газет призывают забыть былые разногласия, а кайзер Вильгельм помышляет даже о некоем общем фронте против славян, галлов и янки!

Требовалось тщательно разобраться и взвесить создавшуюся обстановку, наметить новые шаги и маневры. Советники Сазонова приступают к изучению вопроса о возможности в будущем уступить все-таки кое-что в Иране в обмен на активную поддержку планов России в отношении проливов. Вероятно, еще до лета 1914 г. у Сазонова возник и замысел предложить "гарантию" британских владений в Индии (соответствующий проект с возможным участием Японии он выдвинет только в июле 1914 г., чем очень обрадует Грея)[30]. Внимательно прислушивается министр и к рекомендациям многоопытного посла России в Лондоне Бенкендорфа. А тот советует не терять головы и терпеливо воспринимать неожиданные и нередко неприятные повороты в ходе событий. Бенкендорф уверен в дальнейшем углублении англо-германских противоречий и в наличии предпосылок укрепления Антанты. Руководители иностранной политики Англии, полагал он, исходят именно из этих обстоятельств. Это относилось и к Грею, в установках которого сомневался Сазонов. Грея, писал посол, "постоянно беспокоит вопреки всем видимостям именно угроза герман-

ской гегемонии, он с тревогой следит за некоторыми ее успехами"; с Антантой "связаны вся его политика и все его будущее". Бенкендорф задумывался и о тактике английской дипломатии: еще в феврале 1914 г. у него мелькнуло предположение, что лондонские хитрецы не только выжидают ошибок противника, но и хотели бы подтолкнуть его к непоправимым промахам: хорошо бы поставить Тройственный союз "в положение явно виновного". Грей "уже близок к тому, чтобы поставить ловушку Тройственному союзу"[31]. Однако Петербургу надо действовать весьма осмотрительно и не допускать, чтобы все еще влиятельные противники сближения с Россией в Англии получили какие-то аргументы в свою пользу.

Сазонов осознал, что свобода маневра ускользает из его рук. Он принужден был в этой связи санкционировать более твердую позицию в очередных столкновениях с Австро-Венгрией и Германией. Изменились и роли внутри Антанты. Теперь уже не Британия, а Россия добивается превращения ее (и в первую очередь англо-русских отношений) в прочный военно-политический союз.

Охватывая весь комплекс сложнейших сдвигов на международной арене в канун первой мировой войны, историку нетрудно сделать вывод, что происходившая консолидация Антанты диктовалась долговременными тенденциями. При всем значении противоречий в лагере Антанты они не приобрели антагонистического характера; даже англо-русский конфликт в Иране выглядел в какой-то мере периферийным по сравнению с фронтальным и всеобъемлющим антагонизмом Германии с Англией, острейшими противоречиями рейха с Францией и Россией. Перед лицом опаснейшего конкурента государства Антанты старались свести свои разногласия к минимуму и достичь действенной координации. Напомним, что важным шагом в согласовании планов Британии и Франции стал обмен письмами между Греем и послом Франции в Лондоне Камбоном (ноябрь 1912 г.); в этих идентичных документах отмечалась вероятность "нападения со стороны третьей державы" и необходимость оперативного принятия контрмер, включая и совместное "военное выступление". В феврале 1913 г. состоялось подписание англо-французской военно-морской конвенции. К тому моменту главные силы британского флота уже были сосредоточены в отечественных водах, в то время как боевые корабли Франции сконцентрировались в Средиземном море. Англия брала на себя обязательство охранять северное побережье союзной державы, обеспечивать прикрытие намечавшейся переброски экспедиционного корпуса на материк. К 1914 г. план высадки и дислокации британских войск на территории Франции разработали самым детальным образом, вплоть до выкладок о пунктах их питания и ночлега. В апреле 1914 г. впервые за много лет Грей покинул Британские острова, он сопровождал короля Георга V, совершавшего государственный визит в Париж. Подводя итоги проходивших там переговоров, министр говорил российскому дипломату: "Англия вступает в фазу еще более реального сближения с Францией"[32].

А еще раньше, в 1912 г., военно-морскую конвенцию подписали Франция и Россия. Сазонова известили об устном обязательстве

Британии помочь французам "в случае нападения на нее Германии"; в мае 1914 г. Бенкендорфу официально передали тексты вышеупомянутых писем Грея и Камбона. Еще раньше английскому правительству сообщили содержание секретных договоров, оформивших русско-французский военно-политический союз.

С февраля 1914 г. Сазонов взялся за осуществление своего плана – придать "нашим отношениям с Лондоном более широкий размах и более твердое основание". Давая соответствующие поручения послам в Англии и Франции, министр писал, что пока реальность Тройственного союза "столь же мало доказана, что и существование морского змия"[33]. Между тем нужен "оборонительный союз без всяких секретных пунктов, обнародованный во всех газетах мира". Если это будет достигнуто, "опасность германской гегемонии будет окончательно устранена и каждый из нас может спокойно заняться своими делами: англичане – поисками разрешения поглощающих их социальных проблем, французы – обогащением... мы – сплочением наших сил и работой над нашей экономической реорганизацией". Трудно сказать, в какой степени русский политик верил в реальность столь прекрасных замыслов. Но в течение нескольких месяцев он не уставал беседовать об этом с Бьюкененом и не раз возвращался к ним в инструкциях к Бенкендорфу и Извольскому. Министр попробовал подключить к инициативе Николая II. Царь, в частности, просил посла Франции в Санкт-Петербурге Палеолога передать президенту, что был бы признателен, если бы тот "в своих беседах с королем Георгом" высказался в пользу потребности "в более тесном англо-русском сближении".

Усилия Сазонова, поддержанные президентом Франции Пуанкаре, не привели к выработке и подписанию каких-либо новых политических документов. Грей ссылался на соответствующие традиции и настроения общественности. Британское руководство не желало упускать выгод, какие имелись у Британии в силу ее особого положения, формально близкого позиции "неприсоединившегося государства" (по позднейшей терминологии). К тому же открытое сближение с континентальными партнерами могло бы "вспугнуть" Берлин (вспомним о "западне", которую – как не без оснований полагал Бенкендорф – готовили в Лондоне для рвавшихся к военной развязке германских правителей). Однако весьма существенным результатом русской инициативы можно считать начало архисекретных переговоров английских и русских уполномоченных о подписании военно-морской конвенции.

Переговоры по координации военно-морских проблем велись главным образом в Лондоне. Чтобы не привлечь внимание немцев, в Петербурге решили не посылать в Англию кого-либо из высших русских морских чинов, поручив дело морскому атташе капитану Волкову. В Германии через агента при российском посольстве в Англии Зиберта соответствующую информацию все же получили, и во влиятельной берлинской газете появилось сенсационное сообщение. Отвечая на парламентский запрос, Грей отрицал факт ведения русско-английских переговоров, однако они продолжались, и к 20-м числам июля проект англо-русского соглашения был подготовлен.

Еще большее значение имели взаимные усилия по сглаживанию трений из-за Ирана. В ответственных британских кругах "русская угроза" не рассматривалась уже в качестве серьезного фактора. Относительно Трансперсидской железной дороги и ситуации в Афганистане англо-индийские колониальные власти заняли более приемлемую, чем раньше, для России позицию. Гардинг, ставший вице-королем Индии, и его помощники полагали необходимым поддерживать дружественные отношения с Россией и видели не в ней, а в Германии главного соперника Великобритании. 26 июня, т.е. еще до начала "июльского кризиса", последовавшего за убийством эрцгерцога Франца Фердинанда, Грей заверил Бенкендорфа, что англо-персидская компания будет вести добычу нефти лишь на юге Ирана, отказавшись от внедрения на север этой страны. Рекомендуя Сазонову пойти навстречу другим пожеланиям британцев, Бенкендорф 28 июня писал: "Главная достигнутая нами гарантия направлена против англо-германского соглашения"[34].

Таким образом, в рамках треугольника Париж–Петербург–Лондон оказалось возможным, хотя бы временно, укрепить англо-русское звено. Общие итоги развития международных отношений к лету 1914 г. выглядели для Германии не слишком благоприятно. За пределами Европы она не приобрела союзников и надежных опорных пунктов; напротив, не только Япония, но и США склонялись к ориентации на Антанту. Перестала приносить немцам успехи "мирная экспансия" – даже на Балканах и Ближнем Востоке их соперники развертывали финансовое и торговое контрнаступление. Ослабли позиции Германии в Османской империи. Если весной 1914 г. британский генерал Китченер и российский военный агент Леонтьев (независимо друг от друга) все еще полагали, что немцы на пути полного подчинения вооруженных сил Турции, то в Берлине приходили к иным выводам. 18 мая генерал Мольтке записывал: "Совершенно неправильно было бы в обозримое время рассчитывать на Турцию как на фактор в пользу... Германии". Через несколько дней Вильгельм II оценивал ситуацию еще более пессимистически: немецкое влияние в этой стране "равно нулю по сравнению с прошлым"[35].

Такой страшивший кайзера и его министров поворот на главном направлении экспансии вместе с опасениями надвигавшегося краха многонациональной Австро-Венгрии (о ее вероятном развале в мае 1914 г. пространно и в панических тонах писал в Берлин посол в Вене Чиршки) явился, видимо, важнейшей предпосылкой нервозной психологической атмосферы, воцарившейся в германской столице. И когда грянули выстрелы в Сараево, в ней возобладало мнение ястребов, стремившихся окончательно не потерять "инициативу".

Еще 30 июля в Берлине приняли принципиальное решение о всеобщей мобилизации, приступили к перевозкам войск. Но Бетман-Гольвег уломал генералов отложить официальное сообщение о введении чрезвычайного военного положения до полудня следующего дня. Канцлер полагал необходимым дождаться известий о мобилизации в России, представив дело так, будто военные меры Германии вызваны угрозой вторжения варваров с Востока.

И вот около полудня 31 июля из Петербурга поступили в Берлин желанные телеграммы о принятых царским правительством решениях. Через час Германия была объявлена на чрезвычайном положении. В этот же день германское правительство предъявило России ультиматум, требуя прекратить мобилизацию. Разумеется, в Берлине не ожидали получить удовлетворительный ответ – и не получили. 1 августа Германия объявляет России войну. Через два дня она вступила в войну с Францией, а 4 августа Великобритания со своей стороны объявила Германии войну.

[1] Times. 1914. Apr. 8.
[2] *Розен Р.* Европейская политика России. Пг., 1917; Источник. 1997. № 6. С. 43.
[3] Die Geheimen Papiere Friedrich von Holstein. Bd. 3. Göttingen, 1961. N 241.
[4] Eine Dokumentation. Militarwissen schaftliche. Mitteilungen, 1977. N 4.
[5] Feldmarschall Conrad. Aus meiner Dienstzeit. Bd. 1. Wien, 1921. S. 536.
[6] *Monger G.* The end of isolation. L., 1963. P. 282.
[7] *Wormer K.* Grossbritanien. Russland und Deutschland. München, 1980. S. 221.
[8] Красный архив. 1923. Т. 3. С. 19.
[9] The War plans of the Great powers. 1880–1914 / Ed. by P.M. Kennedy. L., 1979. P. 60–62.
[10] The Life and Letters of Walter H. Page. Garden City, 1927. Vol. 1. P. 310.
[11] Österreich-Ungarns Aussenpolitik... Bd. 1. Wien, 1930. N 990.
[12] Красный архив. 1932. Т. 1/2. С. 188.
[13] *Писарев Ю.А.* Рукопись кн. Г.Н. Трубецкого о начале первой мировой войны // Новая и новейшая история. 1990. № 5. С. 137.
[14] British Documents on Foreign Affairs. Scr. A. Pt. 1. Russia / Ed. by E.L. Woodward, R. Butler. L., 1956 (далее – BD Russia). Vol. 6. Doc. 145.
[15] Архив внешней политики Российской империи. Ф. Канцелярия. 1913. Оп. 470. Д. 7. Л. 18.
[16] *Lieven D.* Russia and the Origins of the First World War. L., 1984. P. 66.
[17] Ibid. P. 69.
[18] BD Russia. Vol. 6. Doc. 171.
[19] Кто должник? М., 1926. С. 63–64.
[20] Материалы по истории франко-русских отношений. 1910–1914 гг. М., 1922. С. 275.
[21] *Бовыкин В.И.* Русско-французские противоречия // Исторические записки. 1957. Т. 59. С. 103.
[22] *Wilson K.M.* The Policy of the Entante. Cambridge, 1985. P. 113.
[23] British Documents on the Origins of the War. 1898–1914. L., 1938. Vol. 10. Pt. 1. P. 452.
[24] *Писарев Ю.А.* Великие державы и Балканы. М., 1985. С. 218, 219.
[25] BD Russia. Vol. 6. Doc. 171.
[26] Ibid.
[27] Международные отношения в эпоху империализма (далее – МОЭИ). Сер. III. Т. 1. № 319.
[28] British Documents on the Origins... Vol. 10. Pt. 2. N 535.
[29] BD Russia. Vol. 6. Doc. 171.
[30] *Wormer K.* Grossbritanien, Russland und Deutschland. München, 1980. S. 257, 262.
[31] МОЭИ. Сер. III. Т. 1. № 328.
[32] Там же. Т. 2. № 389.
[33] Там же. Т. 5. № 290.
[34] Там же. Т. 3. № 365; Т. 4. № 2.
[35] *Fischer F.* Krieg der Illusionen. Düsseldorf, 1969. S. 440.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СБЛИЖЕНИЕ: США И РОССИЯ В 1914–1917 ГОДАХ

Б.Д. Козенко

История отношений США и России в годы первой мировой войны и Февральской революции – сюжет популярный в историографии обеих стран. Ему посвящено немало книг и статей. Бо́льшая часть их создавалась в 50–70-е годы и несет на себе отпечаток господствовавших тогда в исторической литературе политизации, тенденциозности, взаимного недоверия. Отечественные историки "разоблачали" тайные замыслы Уолл-стрит и Белого дома "ограбить", "подчинить" и даже "захватить" Россию. Преобладали концепции, содержание которых удачно выразил заголовок одной из книг – "Тень доллара над Россией". Но и американская историография проблемы тоже страдала тенденциозностью. Распространенные в ней настроения отразились также в названии одного из трудов Дж.Ф. Кеннана – "Россия выходит из войны". Почти все американцы, писавшие по данной теме, искали причины, по которым Россия, совершив демократический переворот, все же вышла из мировой войны. Многие авторы усматривали эти причины в "германском золоте", ошибках американских лидеров и т.п.

Но и в те годы появлялись глубокие интересные исследования, среди которых в первую очередь назовем книгу Р.Ш. Ганелина, специально посвященную рассматриваемой проблематике, труды А.В. Игнатьева, В.В. Лебедева, интересную главу в монографии В.С. Васюкова, и ряд других статей[1]. В американской историографии выделяются серьезные исследования того же Дж.Ф. Кеннана, У.Э. Уильямса, Дж. Гэддиса, Д. Фоглесонга и др.[2]

В целом историю отношений США и России в период с августа 1914 г. по октябрь 1917 г. можно считать достаточно изученной. И все же мы вновь обращаемся к ней. Побуждают к этому перемены в отечественной исторической науке, позволяющие взглянуть на события без предвзятости и идеологических шор прошлых лет. Появились новые публикации источников, среди них такая фундаментальная, как многотомное издание "Бумаг" 28-го президента США Вудро Вильсона под редакцией А.С. Линка[3]. Наконец, просто назрела необходимость учесть введенный за последнее время в научный оборот документальный материал, новые литературу и точки зрения и еще раз рассмотреть причины и факторы, которые помешали сближению США и России в период, по-видимому наиболее для этого благоприятный.

США и Российская империя являлись близкими соседями, но вряд ли их отношения к лету 1914 г. можно было назвать добрососедскими. Экономика России ориентировалась главным образом на Западную Европу[4]. В свою очередь, США направляли капиталы и товары в

© Б.Д. Козенко

регионы, не менее России богатые сырьем, дешевой рабочей силой и свободными рынками, но менее отдаленные, более доступные и стабильные – в Центральную и Южную Америку, Китай, Канаду. Русские и американские предприниматели сталкивались в Европе, Китае и других регионах Азии, конкурируя на рынках зерна, нефти и нефтепродуктов, тканей[5].

Существовали и политические разногласия. Лишенные антагонизма и остроты, они были все же достаточно серьезны, чтобы мешать сближению двух стран. Русский император Николай II недоверчиво относился к американским идеалам и республиканским институтам. Как удачно выразился В.С. Васюков, царь "сторонился демократии бизнеса"[6], русская аристократия, двор и высшая бюрократия не знали Америку, не симпатизировали ей и осуждали, как это видно из нелестных характеристик российского посла в Вашингтоне Ю.П. Бахметева, политические нравы американской демократии.

Российская империя, занимавшая важное, а в чем-то и определяющее место в "концерте европейских держав", настороженно относилась к активизации дипломатии янки, особенно к попыткам США уйти с обочины мировой политики, нацеливаясь на место в ее центре. Эпизодические "появления" американцев в Европе, в том числе на Балканах, в Турции, Персии, большого значения не имели, но тепла американо-русским отношениям не прибавляли.

В Азии США и Россия сталкивались почти открыто, особенно в Китае. Разделяло их отношение к Японии, самому динамичному государству на Дальнем Востоке. После 1904–1905 гг. Россия сближалась со своим бывшим противником[7]. Для американцев же Япония становилась "ночным кошмаром", противником номер один, войну с которым предрекала тогда вся мировая печать.

Двусторонние отношения России и США длительное время развивались нормально, но перед мировой войной неожиданно обострились. Открытая поддержка Японии президентом США Т. Рузвельтом ухудшила американо-русские отношения. Сменивший Рузвельта осторожный и трезвый политик, президент-республиканец У.Г. Тафт выступил против союза с Токио и предпринял ряд шагов для улучшения контактов с Россией. Было подписано в 1911 г. соглашение о совместной охране котиков в Охотском море[8], и в том же году состоялся визит броненосной эскадры США в Балтийское море. Американские корабли, намеревавшиеся сначала зайти лишь в Ревель, были приглашены на главную базу русского флота, Кронштадт, а офицеров сверх ожидания принял "сам" император Николай II[9]. Тафт предложил продлить торговый договор двух стран от 1832 г., срок действия которого заканчивался 31 декабря 1913 г., и начал соответствующие переговоры[10].

Но наметившееся было потепление американо-русских отношений не отвечало интересам определенных антирусских кругов в США. Недовольство проявляли и демократические силы, и представители недавней иммиграции из России. Лидеры оппозиционной демократической партии США, борясь за возвращение к власти, решили

использовать это недовольство и разыграть на предстоящих в ноябре 1912 г. президентских выборах русскую, а точнее, русско-еврейскую "карту". Они подняли давний вопрос о том, что царские власти ограничивали или изгоняли евреев, приезжавших в Россию с американскими паспортами. Подобные действия подавались теперь как оскорбление граждан США и престижа заокеанской республики. Этим демократы хотели привлечь избирателей из большой и влиятельной в штатах Северо-Востока еврейской общины. Демократы добились в декабре 1911 г. резолюции Конгресса об отказе от договора 1832 г.[11] Началась не очень широкая, но шумная кампания, как "изящно" выразился русский посол, "жидов и журналистов". В разгар этой кампании в прессу просочились сведения о переговорах с Россией. Испугавшись, Тафт прекратил переговоры[12]. Они были сорваны и уже никогда не возобновлялись вопреки утверждениям некоторых историков о том, что переговоры шли весь 1913 г.

В антирусской кампании принял участие, правда весьма умеренное и сдержанное, кандидат в президенты от демократической партии В. Вильсон[13], победивший на выборах 1912 г.

Еще в разгар предвыборной кампании русские дипломаты сообщали, что демократы не страдают какой-то особой русофобией и в случае победы их правительство пойдет на заключение с Россией соглашения о паспортах и торговле, так как эта партия против политики республиканцев. "Им и в голову не придет принимать вызывающие действия к России"[14]. Действительно, придя к власти, Вильсон дал понять, что хочет вернуться к "прежним дружеским сношениям", ищет кандидатуру нового посла в Петербурге и с его назначением возобновятся переговоры о торговом договоре[15]. Но поиски посла вдруг затянулись, и он был назначен лишь 1 июля 1914 г., а прибыл в Россию еще через три месяца. Им стал малоизвестный финансист, видимо, "инвестор" в кампанию демократов Дж. Мэри[16]. Затянулось, естественно, и начало переговоров. От этих странных маневров отношения России и США не улучшились и, более того, появилась тенденция к некоторой напряженности, вызванная первыми же шагами новой американской администрации. Сначала Вильсон рекомендовал американским банкам выйти из консорциума держав по обеспечению китайского займа. США первыми, неожиданно и отдельно от других, признали республику Юань Шикая, что вызвало в Петербурге, мягко выражаясь, "недоумение"[17]. Вильсон провел новый тариф, ущемлявший интересы почти 30 государств (России в том числе), оставив протесты без ответа[18]. Даже в далекой Мексике США сумели задеть Россию, добившись свержения президента Уэрты, только что признанного всеми дворами Европы, в том числе и петербургским. В итоге русская пресса, приветствовавшая в 1912 г. избрание "либерала Вильсона", осуждала теперь его "коварную и двоедушную политику"[19]. В таком более чем прохладном состоянии находились американо-русские отношения, когда началась первая мировая война.

На протяжении нескольких десятилетий одной из основ внешней политики США, предпосылкой для их экономического роста являлись

мир и баланс сил в Европе. Теперь они были разрушены. В Вашингтоне восприняли распространенную европейской прессой версию, будто войну готовили и развязали Германия и Россия[20]. Естественно, что нарушители мира и баланса сил были в Америке осуждены. Участие России в войне на стороне Антанты не улучшило ее образ за океаном. Более того, Вильсон и его советник Э. Хауз оказались в плену дилеммы. С одной стороны, победа России в войне, полагали в Вашингтоне, окажется опасной для интересов США и мировой цивилизации, ибо приведет к утверждению на Европейском континенте вооруженной до зубов реакционной державы, верного союзника Японии, и к организации союза трех монархий, направленного против Америки. Если же Россия потерпит поражение, тогда победоносная Германия еще быстрее организует этот зловещий союз трех империй[21]. Выхода, казалось, не было. Вильсон надеялся лишь на истощение европейских гигантов в случае затягивания военного конфликта[22].

Война действительно затянулась. Воюющие державы, истощив первоначальные денежные и материальные ресурсы, обратились к США. Россия стала получать из Америки боеприпасы, частные займы, на сумму, впрочем, небольшую, не более $^1/_8$ всех американских займов и кредитов за 1914–1916 гг.[23] Несколько улучшился образ России в американской печати[24]. Но это, пожалуй, было и все. Царь не забыл и не мог простить, с его точки зрения, незаслуженного разрыва договора 1832 г. Не изменилась европоцентристская ориентация Российской империи. Ее руководящие круги были недовольны Америкой, в частности объявлением ею нейтралитета, который истолковывался в Петрограде как желание нажиться на войне и как "скрытое германофильство", поскольку США отказались хотя бы морально осудить "чудовищный прусский милитаризм". Эти подозрения подкреплялись согласием США защищать интересы Германии и Австро-Венгрии в России, в частности заниматься проблемой военнопленных из этих стран[25]. Вильсон даже обращался в марте 1915 г. по этому вопросу к Николаю II, получив 15 апреля весьма невразумительный ответ с весьма сдержанным обращением: "Мистер президент"[26]. Особое неудовольствие вызвали в русской, да и других союзных столицах попытки Вильсона выступить в качестве примирителя и арбитра[27]. Первое же предложение Вильсона о посредничестве было отвергнуто царем, как явно преждевременное[28]. Дальнейшие попытки посредничества США, тщательно скрываемые от русского правительства, вызывали открытое недовольство и усиливали подозрения в германофильстве Вашингтона, которым объясняли даже кадровые перемещения в американском посольстве[29]. Подозрения и раздражение переросли в плохо скрываемую враждебность к США, когда весной 1916 г. Вильсон начал свое дипломатическое "мирное наступление", предлагая воюющим сторонам, союзникам в том числе, "несвоевременный мир", ставивший под угрозу всю внешнеполитическую программу царизма. В итоге в обеих столицах не чувствовали друг к другу доверия, тем более симпатий. Однако с конца 1914 г., когда стало ясно, что борьба затягивается, превращаясь в войну на истощение, возникла и другая тенденция.

Значение США в военных поставках резко возросло, чего не могли не заметить в Петрограде, тем более "что дружеские узы" англо-французов становились все тяжелее. В сторону Америки стали посматривать некоторые высшие чиновники, например министр финансов П.Л. Барк[30].

Но и в Вашингтоне приходили к пониманию, что обладающая поистине неисчерпаемым материальным и людским потенциалом Россия становится с точки зрения американских интересов более близкой. И если в начале войны Хауз утомлял себя поисками средства "обуздать Россию"[31], то уже в декабре 1914 г. он наводит справки у британского посла в Вашингтоне о надежности России и боеспособности ее армии[32]. В январе 1915 г., отправляясь с посреднической миссией в Европу, Э.М. Хауз спросил президента, не хочет ли тот, чтобы полковник поехал и в Петроград и там подписал (но в качестве кого? – ведь он был частным лицом!) американо-русский договор? Вильсон ответил, что ему неловко просить Хауза поехать в Россию зимой (полковник был слаб здоровьем), но такая поездка принесла бы пользу[33]. Тогда же президент заговорил о необходимости заменить Мэри в Петрограде. Хауз находился еще в Европе, когда ситуация на Восточном фронте изменилась, вызвав у союзников если не шок, то серьезную панику: немцы прорвали русский фронт (горлицкий прорыв весной–летом 1915 г.). К тому же обнаружилась вопиющая слабость военно-хозяйственного и социального механизма царской России.

Забеспокоились и американцы. Будучи в Лондоне, Хауз начал собирать информацию о России и несколько раз писал президенту США о плохом состоянии транспорта и снабжения русских армий[34]. До полковника дошли слухи о возможности сепаратного мира России и Германии[35]. Тревожные телеграммы Хауза подкрепили депеши американских послов – У. Джерарда из Берлина и (особо панические) У.Х. Пейджа из Лондона[36]. А консул в Москве Дж. Снодграсс так сгустил краски в своем донесении, что вынудил Вильсона саркастически заметить: "...правительство бежит в Сибирь! ...Паника и громадное преувеличение"[37]. Становилось ясным, что "Восточный колосс" не только не представляет угрозу для интересов США, но сам нуждается с точки зрения этих интересов в усиленной поддержке. Пришло время изменить американскую политику в отношении России, вдохнуть в нее новую жизнь. Надо было "помочь" Петрограду заметить новую динамичную роль США в мире и их желание "бескорыстно" поддержать Россию.

Найденный с таким трудом посол Дж. Мэри не соответствовал новым задачам. Вялый, безынициативный, лишенный способности понять маневры и неожиданные зигзаги политики своего начальства, он отождествлял интересы США и Англии, превратился в завзятого антантофила. Французский посол в Петрограде М. Палеолог называл его "симпатичный Мари"[38], Николай II и его окружение выражали ему свою благосклонность и даже открыто жалели об отзыве посла[39].

Вильсон и Хауз уже в январе 1915 г. выражали недовольство донесениями Мэри. Было решено искать для этой "важной работы"

"хорошего человека"[40]. Одновременно укреплялся аппарат посольства в России. Консул-паникер Снодграсс был заменен М. Саммерсом, имевшим связи в русских буржуазных кругах. Специальным помощником посла был назначен Б. Майлз, который служил в России в 1905–1910 гг.[41] Искали и подходящего посла. Президент отверг кандидатуры, предлагавшиеся ему Ч. Крейном и другими "старыми экспертами" по России. Каким видел Вильсон нового посла в Петрограде, говорит его собственный выбор – Брэнд Уайтлок, посланник США в оккупированной немцами Бельгии. Он проявил на этом посту такие качества, как смелость, решительность, энергия и умение твердо отстаивать американские интересы. Но Уайтлок отказался покинуть Брюссель[42].

Тогда президент остановился на кандидатуре отставного бизнесмена и политика из Миссури 65-летнего Дэвида Роулэнда Фрэнсиса[43]. Он был назначен 8(9) марта 1916 г. послом в Петроград. Фрэнсис не был гением дипломатии, и его имя ушло бы, судя по всему, в небытие, не получи он важный пост в момент исторической грозы – Октябрьской революции в России. Именно это обстоятельство заставляет историков и ныне писать и спорить о Фрэнсисе. Большинство американских авторов дают послу негативную оценку, делая козлом отпущения за ошибки начальства. Его изображают в качестве "пожилого джентльмена со странностями", не отвечавшего требованиям "такого посла в такое время"[44].

В нашей литературе Фрэнсиса также критикуют, но уже с другой точки зрения, как "посла-дельца", "посла-жандарма", в лучшем случае как недалекого купца из штатов Среднего Запада, хотя Фрэнсис занимал ряд важных постов, в том числе и на федеральном уровне. Конечно, он имел недостатки, действительно был простоват и провинциален, наделен умом средним и неглубоким, лишен всякого лоска и политической тонкости ("милейший Фрэнсис, но никакой не дипломат", – обронил о нем П.Н. Милюков)[45]. Он не знал дипломатического искусства, как не знал и Россию, в чем искренне признавался[46]. Думается, однако, что Вильсон видел многие из этих недостатков. Но он заметил и большой жизненный и политический опыт, сохранившуюся энергию и хватку цепкого бизнесмена, босвитость и настойчивость, т.е. те качества, которых не хватало его предшественнику. А главное – Фрэнсис твердо верил в святость курса "своего президента" и решительно отделял интересы США от интересов Антанты. Возможно, Вильсону импонировала даже явная самоуверенность, а также примитивный оптимизм[47] всегда бодрого "янки" – качества, которые могли бы оживить американо-русские отношения.

Трудно сказать точно, какие именно задачи поставили перед новым послом президент и госдепартамент. Если верить Фрэнсису, то единственное, что ему поручили, – это добиваться начала переговоров о новом торговом соглашении двух стран. Во всяком случае, так заявил он на первой встрече с русским министром иностранных дел С. Сазоновым в мае 1916 г.[48] На первый взгляд США не нуждались в таком договоре. Экономические и торговые русско-американские отношения успешно развивались (особенно быстро рос американский

экспорт в Россию). Создается впечатление, что не экономические, а скорее политические причины толкали Вашингтон на эти переговоры. В преддверии начавшейся на всех фронтах весенне-летней кампании 1916 г., которая, как предполагали, могла решить исход войны, было желательно приблизить к себе Россию, хотя бы с помощью торгового соглашения, активизировать ее военные усилия и, возможно, использовать в случае начала мирных переговоров. Но Россия чувствовала себя еще достаточно сильной и сохраняла по отношению к США прежнюю независимую и настороженую позицию. Долгие переговоры Мэри в Петрограде не дали никакого практического результата, а Фрэнсис на первом же свидании с Сазоновым в мае получил ясный и твердый отказ. Министр сослался на экономическую конференцию союзников в Париже, состоявшуюся в июне 1916 г. Решения этой конференции оказались ударом по интересам американцев, поскольку были нацелены против Германии "сегодня" и против США "завтра", т.е. после войны. Ее итоги вызвали негодование в американском Конгрессе и в прессе[49], однако при этом "русские мотивы" звучали в протестующем "хоре" слабо. Еще более вызывающим и тревожным с точки зрения США оказался следующий шаг русского правительства: заключение 5 июля 1916 г. договора с Японией, явно направленного против американских интересов в Азии, особенно в Китае[50]. Фрэнсис в Петрограде и государственный департамент в Вашингтоне получили успокоительные ответы на свои запросы. Однако всем было ясно, что речь идет о "водворении в Китае господствующего влияния России и Японии"[51].

В США началась резкая, но не масштабная антияпонская и антирусская кампания в ряде органов печати[52]. Но и на этот раз не без удивления Бахметев доносил, что шовинистам не удалось поднять общую тревогу и возбудить против России общественное мнение[53]. Причину этой сдержанности надо искать в войне – от России ждали мощных ударов по германскому блоку. Однако летняя кампания 1916 г. не дала ожидавшегося результата. Брусиловский прорыв общего положения не изменил. Зато все более очевидным становилось нарастание в России острого экономического и социально-политического кризиса.

Между тем в американской прессе все чаще стали появляться статьи об "оживлении русского народа" и о разложении верхов, о том, что "тупой консерватизм и бюрократические методы" доведут русский народ до переворота, а то и до революции[54]. На стол президента США ложились донесения, предсказывавшие или подтверждавшие возможность сепаратного мира с Германией[55]. Писали в них, что этот мир станет непоправимым несчастьем для Америки, тогда уже решившей (в принципе) воевать с Германией, будучи к войне неготовой. В этих обстоятельствах Россия становилась еще нужнее США. Там понимали, что, вступив в войну с немцами без большой армии, они будут вынуждены "подлаживаться" к англо-французам. Россия могла бы стать серьезным противовесом. А главное, продолжая воевать, она дала бы возможность американцам без спешки и ненужных потерь (на Западе) подготовить большую армию и выставить ее как "козырную карту" на финише сражений. Вот почему с осени 1916 г. положение России –

источник тревог и страха и еще одного "ночного кошмара" в американских финансовых и политических кругах[56]. Небольшим утешением для Вашингтона мог быть возросший в руководящих сферах Петрограда к концу 1916 г. интерес к сношениям с США, главным образом (и даже подчеркнуто) экономическим[57]. Обратили внимание на записку И.Я. Коростовца о необходимости ориентироваться на Америку ввиду роста ее экономической мощи[58]. Министр финансов П.Л. Барк представил царю (тот одобрил) план расширения финансовых контактов с США[59]. В МИД начали собирать миссию экспертов для поездки за океан в целях упорядочения, в первую голову, опять же финансовых вопросов. Все это способствовало успехам Фрэнсиса в обеих русских столицах. Общее состояние американо-русских отношений стало медленно изменяться к лучшему.

В марте 1917 г. в России победила буржуазная революция. Она сняла многие барьеры, главным образом политико-идеологического характера, на путях сближения России и США. Наступил новый этап в отношениях двух стран. Ход событий в первые месяцы революции давал основание для оптимистических прогнозов. В Америке отметили, конечно, что к власти в России пришли новые люди, более отзывчивые на запросы США, понимавшие их роль в войне и мировой политике, стремившиеся ослабить гнет англо-французской "дружбы" и так холодно относившиеся к Японии, что одна из американских газет даже объявила Февраль "похоронным звоном по русско-германо-японскому союзу"[60]. Вдохновляла американцев и объявленная решимость нового русского государства вести войну до победы над Германией. Вот почему начало революции вызвало в США восторженный отклик. Ее приветствовали, прославляли, называли великой, сравнивали с "Французской революцией 1792 г."[61]

В свою очередь и в Петрограде облегченно вздохнули со вступлением США в войну: заокеанский Шейлок превращался в боевого, бодрого "дядю Сэма", наконец-то вступившего в общие ряды. С обеих сторон раздались голоса в пользу скорейшего политического, финансового и экономического сближения. Первоначальный энтузиазм получил немедленное подтверждение: 22 марта 1917 г. США первыми из великих держав признали Временное правительство новой России. Росла взаимная торговля. Временное правительство получило из Америки займов и кредитов втрое больше, чем царское правительство, хотя всего $^{1}/_{10}$ американских выдач союзникам[62]. США согласились помочь улучшению работы русского железнодорожного транспорта, направив особую миссию известного инженера-строителя Дж. Стивенса.

Взаимные восторги и приветствия не заставили Вашингтон отказаться от главного условия добрых отношений двух стран – участия России в войне с Германией. Неготовность армии США, неудачи союзников ("бойня Нивелля" и поражения итальянцев) увеличили в глазах американцев значение Восточного фронта. Печатный орган американских финансистов писал не без раздражения в мае 1917 г.: "Россия – вот что написано на политическом и финансовом горизонте в эти недели. Россия – ключ ко всей военной ситуации. Поэтому все дав-

ление, которое может быть оказано на правительство (России. – *Б.К.*), если его можно назвать правительством, должно быть использовано, чтобы заставить эту страну стать активным и агрессивным врагом Германии". И в качестве резюме: "...преуспеем в этом – война закончится раньше, а груз Америки значительно уменьшится"[63].

Россия могла быть союзником и после войны. Не случайно близкий к Вильсону журнал "Нью Рипаблик" писал о том, что поддержка России, верящей в Америку Вильсона, есть дело стратегической важности, ибо связано с новой ролью Штатов в Европе[64]. Таким образом, складывалась объективная основа для сближения двух государств. Но действовали и менее объективные факторы против этого, например психологические и политические противоречия и разногласия, унаследованные от прошлого или возникшие уже после революции. Русская буржуазия, несмотря на всю сложность и зыбкость своего внутриполитического положения, ощущала себя на мировой арене наследницей многовековой мощи великой державы, занимавшей важное и почетное место рядом с другими "вершителями судеб мира". Дипломатия Временного правительства приняла от своей монархической предшественницы эстафету в деле защиты извечных геополитических, военно-стратегических и иных интересов бывшей империи, стремилась сохранить целостность государства, неприкосновенность его границ, поддержать достоинство державы и ощущала известное превосходство над США – государством, обогатившимся на военных заказах, недавно усилившимся и вошедшим в число ведущих стран мира. Перемещение США с обочины мировой политики в ее центр считалось необоснованным и случайным, а сами "янки" представлялись нежданными и незванными пришельцами. В них видели неуклюжего новичка, не имевшего никакого политического опыта и потому нуждавшегося в опеке и руководстве со стороны. Таким руководителем (мнилось кое-кому в русском МИД) могла стать демократическая Россия. С этой точки зрения характерен известный историкам меморандум самого заметного из новобранцев послефевральской русской дипломатии, посла в США Б.А. Бахметьева, в котором он предлагал Временному правительству занять позицию ментора при неопытных и провинциальных американцах и ввести их под своим руководством в европейскую политику[65]. И хотя министр М.И. Терещенко остудил пыл подчиненного[66], подобные настроения были распространены в российском МИД.

Русские дипломаты не забывали подчеркивать величие России, старались поддерживать ее высокую репутацию и нередко обижались на бесцеремонных американцев. Вильсон 8 мая 1917 г. писал дочери: "...русские в настоящее время не только весьма чувствительны к каким-либо попыткам политического руководства с нашей стороны, но и будут сопротивляться и реагировать способом, который вреден для русско-американских отношений"[67].

Позиция России относительно Америки определялась еще и тем, что стратеги ее внешней политики и до и после революции находились в плену европоцентризма и не уяснили себе всей сущности изменения роли США в мировых делах, их возросшего (и не только финансового)

могущества. Отсюда проистекали явная недооценка и уклонение от политического сближения с этой страной и желание использовать Америку только как денежный "резервуар". К тому же русская буржуазия не хотела заменять в экономике довоенное "германское иго" на новое, американское. Борьба на рынках нефти, керосина, текстиля и др. продолжалась, особенно остро – в Китае.

Но не способствовала сближению и позиция США. Их руководство с началом войны отождествило Россию с Восточным фронтом и рассматривало ее только как военный фактор. Поэтому в Вашингтоне крушение русской монархии не вызвало особого беспокойства, оно было использовано для облегчения вступления США в войну. Временное правительство получило поддержку только потому, что обещало твердо вести войну до конца. Как только возникли сомнения в этом, политика Вашингтона стала меняться, а поддержка, особенно финансовая, уменьшаться. Прогрессирующее ослабление Временного правительства в США истолковали как падение России в качестве великой державы, что вызвало всплеск негативизма к России. Особенно характерной в этом отношении явилась история приглашения в США в апреле 1917 г. военно-политических миссий Англии, Франции, Бельгии и Италии. Миссии последних трех были чисто декоративными[68]. С английской делегацией Вильсон и Хауз вели откровенные переговоры о будущем мире. Обсуждались и вопросы, касавшиеся России[69], представителей которой на встрече не было. Русское правительство не было поставлено в известность об этих встречах и узнало о происходившем из американских газет. На свой запрос оно получило от Лансинга ноту, которая уверяла русских в "ошибке", "ошибочной позиции". Вильсон назвал эту ноту "превосходной"[70]. Недаром русская печать писала, что с Россией демократической говорят так, как не осмеливались говорить с Россией царской[71]. Явно антирусский оттенок прослеживается и в том, что, вступив в войну с Германией в апреле, США объявили войну Австро-Венгрии лишь 7 декабря 1917 г., а Турции и вовсе не объявляли войну, хотя с обеими странами Россия воевала.

США соглашались помогать России лишь на условиях ее участия в войне. Это сказалось особенно заметно на финансовых переговорах. Американцы постоянно подчеркивали, что деньги даются только на войну, и выдавали великой державе мелкие целевые кредиты и займы[72].

Та же позиция, а также откровенная скаредность проявились при решении одной из ключевых проблем – восстановления русского железнодорожного транспорта. Член миссии Рута генерал Х. Скотт полагал, что для спасения Восточного фронта надо дать России 1 млрд долларов и все имеющиеся локомотивы и вагоны[73]. Деловой человек и специалист, чуждый искусству дипломатии, Дж. Стивенс, к ужасу Вильсона и находившегося тогда в России Рута, опубликовал 4 июля 1917 г. "Послание железнодорожной миссии США к русскому народу", где обещал ему 750 млн долларов кредитов и необходимое количество паровозов и вагонов[74]. Вильсон "очень дружески" напомнил Стивенсу, что тот не представляет правительство США, и "выдал" России всего

165 млн долларов и часть техники, помянув Стивенса еще раз "недобрым словом"[75].

США, не обремененные конкретными задачами в войне, с легкостью относились к вопросам, которые для других представляли кровный интерес. Так появились расхождения Временного правительства и США в определении целей войны и позиций на будущей мирной конференции. Американцы, по выражению Милюкова, "неосторожно" обсуждали с англичанами проблему проливов уже с 1916 г., причем всякий раз за спиной России[76]. Острыми оказались разногласия сторон в польском вопросе. Временное правительство соглашалось лишь на автономию Польши в составе "целокупной России". Американцы думали о независимой Польше и уже в 1917 г. вели переписку о создании большой самостоятельной польской армии[77]. Петроград тревожили также активные контакты Вильсона с представителями финнов, прибалтов и других "инородцев", обращавшихся "за спасением" к "господину Вудрову Вилсону"[78].

Сохранялись американо-российские противоречия в Азии, которые искусно подогревались Японией. Американская дипломатия открыто подыгрывала японцам, что нашло выражение в тайных, за спиной России переговорах с японской миссией и подписании соглашения Иссии–Лансинга[79]. В отношении же России Вашингтон ограничивался в Азии лишь "церемонными" жестами.

Февральская революция добавила разногласий между двумя странами. В своих предвоенных (до апреля 1917 г.) речах президент США выдвигал программу демократического мира, явно претендуя на роль знаменосца либерализма и демократии. Петроградский Совет провозгласил лозунг мира без аннексий и контрибуций, самый демократический для того времени, в Америке названный "русской формулой мира"[80]. Старания П.Н. Милюкова отгородиться от этого лозунга, не принеся результатов, стоили ему министерского поста. Сменивший его М.И. Терещенко понял, что спекуляция на этих призывах поможет нажить определенный политический капитал. Так появилось два знаменосца демократического мира, возникло их соперничество. Оно особенно ярко проявилось в дни подготовки ответа союзников на "мирную ноту" папы римского. Правительство Российской республики хотело подготовить совместный антантовский ответ или свой и американский одновременно ("независимо, но сходно")[81]. Вильсон обошел всех и выступил с отдельным американским текстом 29 августа 1917 г. Узнав об этом, Хауз забеспокоился прежде всего о реакции России[82]. Соперничество продолжалось и позже. Российская дипломатия, всячески подчеркивая "совпадение" или близость принципов двух правительств, не торопилась уступать американцам знамя "защитников новых взглядов"[83].

Наконец, против сближения "сработала" неверная оценка в США внутриполитических процессов, протекавших в России с весны 1917 г. Сказались усвоенные еще до войны представления "ушедших времен" о России как стране "расы крестьян" и "расы дворян"[84], темной, невежественной и отсталой. И не заметили другой России, страны бурного революционного кипения, свели все к одному – к угрозе ее выхода из

войны под влиянием германской пропаганды и "золота кайзера". Удивления достойно, что при наличии огромного объема различной информации о событиях в России Вашингтон проглядел или недооценил важнейший факт: страна смертельно устала от войны, ее народ, дойдя до крайней нужды и отчаяния, не только не хотел, но и не мог продолжать войну. США решили, что смогут вернуть Россию на фронт методами пропаганды и воспитания, при поддержке тайных сил и небольшой финансовой помощи. В этой связи в несколько ином свете представляются результаты американской миссии во главе с сенатором И. Рутом. О ней писали все изучавшие рассматриваемую проблему, есть и специальная статья, правда давних лет[85].

Напомним, однако, что вопрос о посылке миссии в Россию возник в апреле 1917 г., когда зародились серьезные сомнения в прочности нового режима в этой стране. Появилась необходимость как-то скорректировать русскую политику США. Для этого требовалась достоверная и объективная информация о русских делах. Никак нельзя сказать, что Вильсон был слабо информирован о ситуации в России. Напротив, он буквально тонул в разноречивых сведениях, поступавших оттуда от многочисленных официальных и добровольных информаторов. Бодрым донесениям Фрэнсиса президент уже не верил и даже подумывал о замене посла на более вдумчивого и трезвого человека[86]. Собирался Вильсон направить в Россию в качестве высокопоставленного информатора бывшего госсекретаря Ф. Нокса, но тот не ответил президенту[87]. Тем временем Вильсону отовсюду шли предложения послать в эту страну представительную миссию. После долгих переговоров, переписки и обсуждений миссия была собрана. Ее возглавил 72-летний сенатор, бывший министр и госсекретарь Илайхью Рут. Опытный государственный деятель, видный юрист-международник, он был известен своими консервативными взглядами. Рут возглавлял правое крыло республиканской партии. Едва было объявлено о его назначении, как возник, по выражению Хауза, "шторм критики", особенно со стороны радикалов и социалистов[88]. Даже "Нью Рипаблик" заметил, что "флаг свободы вручен Руту явно по ошибке"[89]. Вильсон же посчитал Рута "настоящим другом революции"[90] и в этом качестве отправил в Россию. Видимо, в Белом доме не представляли себе, как бурлит революционная страна, какие слова и каких людей она ждет и будет слушать.

Официально миссия Рута направлялась, чтобы приветствовать революционную Россию, сообщить ей о демократических идеалах Америки и ее президента и обсудить пути и средства сотрудничества двух стран в войне[91]. Фактически ставилась задача рассмотреть ситуацию на месте, определить прочность нового режима и выработать методы его поддержки (если он ее заслуживает) и сохранения как участника войны. Характерно, что членам миссии не рекомендовалось обсуждать цели войны, давать советы и руководящие указания русским и тем более говорить о конкретных формах американской помощи[92].

Пробыв в России 19 дней (с 13 июня по 1 июля), миссия благополучно вернулась на родину и представила отчет президенту, а также особый дополнительный доклад для госсекретаря[93]. Отчет миссии Рута

был выдержан в оптимистическом тоне: "Россия – здорова, просто ее демократия еще молода". Сквозила уверенность, что кризис первых месяцев революции миновал и что Керенский способен объединить страну и продолжить войну. Рут не скрывал негативные моменты ситуации, но верил, что они будут преодолены. Одна из речей Рута по возвращении так и называлась: "Вера в Россию"[94].

Президент разделил веру И. Рута в Россию. Принял он и выводы миссии, состоявшие из двух пунктов: 1) Россия страдает от плохого состояния железнодорожного транспорта, особенно Сибирской магистрали, и 2) низкого духа народа, или, как выразился генерал Скотт, "плохого умственного и морального состояния армии и народа в связи с революцией"[95]. Обе проблемы показались Вильсону вполне разрешимыми.

Глава госдепартамента Р. Лансинг принял членов миссии радушно, но своего пессимистического взгляда на положение в России не изменил. Он считал, что развитие идет по схеме Французской революции XVIII в. и русская якобинская диктатура еще впереди[96]. Поэтому он выступил против "особо внимательного отношения" к России[97]. Действительно, едва миссия Рута вернулась в Америку, как ход событий в России повернул к худшему: наступление Юго-Западного фронта сорвалось, а хаос и разруха в тылу увеличились. Надежды на русскую демократию не оправдывались. Многие в США полагали, что Россия хотя и не сдаст фронта, но наступать уже не сможет. В американской печати появились ноты сомнения в "верности России", а затем – и откровенного неверия в ее возможность воевать и вернуть прежнюю репутацию[98]. 14 июля 1917 г. печатный орган биржевиков "Файненшл Эйдж" сообщил о предчувствиях делового мира в отношении того, что "Россия вышла из войны и ее груз падает на Америку"[99]. Пресса США, к досаде русских дипломатов, писала об анархии, волнениях, демонстрациях в их стране и ничего не сообщала о "созидательной деятельности" Временного правительства[100].

В руководящих кругах Америки стали распространяться те же настроения, и Вильсон без особой уверенности уже выражал надежду, что Россия осознает свой долг перед человечеством и "сохранит внутреннюю гармонию"[101]. Взгляды на Россию менялись. Президент оказался в затруднительном положении, он неустанно искал способы спасения Восточного фронта. Предложений было много. Вильсон отбросил пришедшую из Лондона идею усилить этот фронт с помощью японских войск. Предполагая, что американский президент будет против появления японцев в Сибири, Англия предложила заменить их американцами[102]. Белому дому советовали послать в Россию одну-две американские дивизии, которые промчались бы от Владивостока до Питера, разъясняя на ходу цели Америки и идеалы Вильсона. О чем-то подобном думал и Хауз[103]. Опять же Лондон предложил заслать в Россию тайные группы разведчиков-пропагандистов, составленные из живущих в США иммигрантов: анархистов, социалистов, представителей разных национальностей, живших в бывшей Российской империи, с добавлением чехов, словаков, мадьяр и др.[104]

В принципе одобряя эту меру, тем более что англичане, правда не

сразу, согласились ее финансировать, Вильсон отверг этот план. Президент хорошо помнил опыт Мексики, где потерпели поражение и военно-карательные экспедиции, и деятельность разведчиков-информаторов из числа "друзей президента" США.

В итоге Вильсон остановился на популярной в его окружении идее, которая содержалась в докладе миссии Рута, озаглавленном "План сотрудничества по сохранению и укреплению морального состояния армии и гражданского населения России". Президент прочел этот доклад с "величайшим интересом"[105].

Многие отечественные историки в свое время решительно осудили этот план, обвинив его авторов чуть ли не в "людоедстве", поскольку, как казалось, речь шла о покупке всего за 5,5 млн долларов миллионов русских солдат.

На деле все обстояло сложнее. Рут и Вильсон, не зная России, обнаружили в русском народе качества, позволявшие, по их мнению, обучить его ценностям демократии[106]. Эта идея выросла вместе с гипертрофированным представлением американцев о силе германской пропаганды. Рут уверял, что германские агенты тысячами бродят по России и тратят миллионы, "льют их как воду", склоняя русских к сепаратному миру. Так думали многие влиятельные лица в Вашингтоне и сам президент. Вильсон, вообще склонный к миссионерству и "социальной педагогике" масс, поверил, что русский народ и его армия стали жертвой немецкой пропаганды, "германского золота" и что все можно поправить с помощью не менее мощной американской пропаганды[107]. Так сложился план перевоспитания целого народа, чтобы удержать его в войне.

Вильсон взялся за выполнение этой задачи старательно и методично. Он отверг предложение Фрэнсиса организовать контрпропаганду силами специального бюро при посольстве США в Петрограде[108]. Был одобрен план промышленника У. Томпсона и его помощника Р. Робинса, возглавлявших тогда миссию Американского Красного Креста в России, вести пропагандистскую работу ее силами и на деньги самого Томпсона. Но когда тот предложил более обширный план работы за счет федеральной казны (по 3 млн долларов ежемесячно), Вильсон отклонил его, поинтересовавшись, не "рехнулся ли полковник Томпсон"[109]. В результате переписки, переговоров и раздумий президент согласился с планом руководителя Комитета общественной информации (КОИ) Дж. Крила послать в Россию для работы независимо от посольства его лучших пропагандистов, журналистов Э. Сиссона и А. Булларда[110].

Тем временем Крил критически изучил план миссии Рута, выявил его недостатки и внес свои предложения, которые вскоре оформил в виде детального проекта с описанием всех видов пропагандистской деятельности и указанием необходимых штатов и денежных средств[111]. Вильсону понравилась такая обстоятельность, он одобрил план и суммы расходов[112]. Крил начал действовать. В России появились американские фильмы, листовки, брошюры с текстами выступлений Вильсона и т.п. Помимо прямой и главной задачи – убедить Россию в необходимости защищать вновь обретенную демократию, американцы решали и другую – познакомить русских с Америкой.

Но Вильсон и Крил опоздали. В России произошла Октябрьская революция. Известие о ней вызвало шок в американской столице. Но "хорошая идея" не давала покоя президенту. Он обсуждал с Крилом и др. план продолжения пропаганды и в "трудных условиях" новой России искал иные средства и способы[113]. Точку в этой деятельности, достаточно активной и энергичной, поставил лишь IV съезд Советов.

"Фестиваль" американской пропаганды в России не состоялся. Но если бы он и удался, то вряд ли дал хорошие результаты. Русская политика США потерпела крах – Россия вышла из войны, совершив еще одну, социальную, революцию.

А.В. Игнатьев считает, что сближение США и России в рассматриваемые годы происходило, но медленнее, чем это ожидалось[114]. Представляется, однако, что сближение все же не состоялось. Война и Февральская революция, казалось бы, создали предпосылки к взаимному сотрудничеству, вызвав к жизни объединяющий всех дух либерализма и свободы, общность демократических идеалов и институтов, сходность (в рамках единой антигерманской коалиции) подходов к решению важнейших проблем.

Но ни война, ни революция не могли изменить сущность строя в обеих странах и уничтожить различие коренных экономических, политических и военно-стратегических интересов. Наоборот, противоречия и разногласия глубинного свойства остались и в ряде случаев даже обострились. На их основе родилась политика, которая не способствовала сближению, поскольку была пронизана эгоизмом правящих кругов и узко понятым утилитаризмом. Руководство России, используя Америку только как кредитора и заимодавца, упустило, фактически сознательно, возможность политического сотрудничества. Рассматривая Россию только как военный фактор, руководители США промахнулись, пытаясь "канализировать" в угоднос им русло русское освободительное движение.

Узость и эгоизм подходов, непонимание условий развития другой страны, отсутствие должного уважения друг к другу, а главное, общих целей препятствовали сближению двух стран.

Только тогда, когда не только оба народа вдохновились идеей борьбы за свободу, но и их руководители смогли подчинить национальную политику своих государств общему интересу, в котором совместились и частные и общие цели и задачи, когда национальные интересы совпали с общечеловеческими, – только тогда, хотя бы на время, произошло сближение США и новой державы – Советского Союза в совместной борьбе против фашизма.

[1] *Ганелин Р.Ш.* Россия и США. 1914–1917: Очерки истории русско-американских отношений. Л., 1969; *Игнатьев А.В.* Внешняя политика Временного правительства. М., 1974; *Лебедев В.В.* Русско-американские экономические отношения (1900–1917 гг.). М., 1964; *Васюков В.С.* Внешняя политика России накануне Февральской революции. 1916– февраль 1917 г. М., 1989; История дипломатии. 2-е изд. Т. I–V. М., 1965. Т. III, гл. V.

[2] *Kennan G.F.* Soviet-American Relations 1917–1920 Russia Leaves the War. Princeton, 1989 (First Ed. 1956); *Williams W.A.* American-Russian Relations 1784–1947. N.Y., 1952; *Gaddis J.R.* Russia, The Soviet Union and the United States. N.Y., 1978; см. также специальное, но малоизвестное у нас исследование темы: *Greyson B.L.* Russian-American Relations in World War I. N.Y., 1979.

[3] The Papers of Woodrow Wilson (далее – PWW) / Ed. by Link A.S. a.o. Princeton, 1966–1985. Vol. I–LXVI.

[4] См.: *Сидоров А.Л.* Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М., 1973.

[5] См.: История США: В 4-х т. М., 1985. Т. II. С. 313–317; *Лебедев В.В.* Русско-американские экономические отношения (1900–1917 гг.). С. 123, 142; *Бродский Р.М.* Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны. М., 1968.

[6] *Мэсси Р.К.* Николай и Александра. М., 1992. С. 282; *Васюков В.С.* Указ. соч. С. 159.

[7] См.: История дипломатии. М., 1965. Т. II. С. 724–726, 733.

[8] Российский государственный архив Военно-Морского Флота (далее – РГА ВМФ). Ф. 417. Д. 4101. Л. 45–47.

[9] Там же. Д. 4161. Л. 3–4, 10–11; Д. 4259. Л. 3; Д. 4404. Л. 2.

[10] См.: Исторический архив. 1956. № 6. С. 93–99.

[11] The National Party Platforms / Compl. by Porter K.H. N.Y., 1927. P. 333; *Kennan G.* Op. cit. P. 33. Тогда же ушел в отставку Г. Гилд, республиканец, занимавший пост посла в С.-Петербурге.

[12] Исторический архив. 1956. № 6. С. 98–99.

[13] A Crossroads of Freedom. The 1912 Campaign Speeches of Woodrow Wilson / Ed. by Davidson I.W. New Haven, 1956.

[14] ЦГА ВМФ. Ф. 417. Д. 4004. Л. 7.

[15] Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. Канцелярия. 1914. Оп. 470. Д. 307. Л. 3.; PWW. Vol. 28. P. 178–181, 236–238.

[16] Фамилию посла пишут у нас по-разному: Мари, Мери, Мэри, Марей и т.п. Он оставил после себя малоинтересные воспоминания (*Marye G.T.* Nearing the End in Imperial Russia. Philadelphia, 1929; Ed. 2. N.Y., 1970).

[17] См.: *Бродский Р.М.* Указ. соч. С. 211–212, 232–233.

[18] См.: АВПРИ. Ф. II департамент. П. 1–5. Оп. 112. Д. 732[а]. Л. 4, 9–12, 14, 17.

[19] Там же. Ф. 2-я газетная экспедиция. 1914. Оп. 476. Д. 587. Л. 241, 242.

[20] PWW. Vol. 30. P. 324–328, 330.

[21] PWW. Vol. 30. P. 432, 371; Vol. 31. P. 89, 95; The Intimate Papers of Colonel House. Vol. I–IV. N.Y., 1926. Vol. I. P. 318.

[22] См.: Архив полковника Хауза. Т. I–IV. М., 1937. Т. I. С. 93.

[23] *Андреев Г.* Экспорт американского капитала. М., 1957. С. 81.

[24] АВПРИ. Ф. Канцелярия. 1915. Оп. 470. Д. 60. Л. 62.

[25] См.: PWW. Vol. 32. P. 458, 462; *Ганелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 72.

[26] PWW. Vol. 32. P. 525–526.

[27] Ibid. Vol. 32. P. 396–397, 458, 462, 525–526; см. также: *Игнатьев А.В.* Указ. соч. С. 61, 64.

[28] Международные отношения эпохи империализма (далее – МОЭИ). М., 1934. Сер. III. Т. 6, ч. 1. С. 151.

[29] См.: *Ганелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 72.

[30] История дипломатии. Т. III. С. 27.

[31] PWW. Vol. 31. P. 95.

[32] Ibid. P. 459.

[33] Ibid. Vol. 32. P. 67, 442.

[34] Ibid. P. 204; Vol. 33. P. 12–13, 403, 406, 123; Архив полковника Хауза. Т. I. С. 141.

[35] The Intimate Paper of Colonel House. Vol. I. P. 126, 157, 154; Архив полковника Хауза. М. 1937. Т. II. С. 133–134.

[36] PWW. Vol. 32. P. 81, 255; Vol. 33. P. 483, 582.

[37] Ibid. Vol. 33, P. 306.

[38] *Палеолог М.* Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 81.

[39] *Marye G.T.* Op. cit. P. 469; *Kennan G.* Op. cit. P. 33–34.
[40] PWW. Vol. 32. P. 67, 442; Vol. 33. P. 511.
[41] Ibid. Vol. 44. P. 143; *Ганелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 164.
[42] PWW. Vol. 36. P. 138, 188. 192–193, 202.
[43] Фрэнсис оставил книгу воспоминаний весьма скромную по содержанию (*Francis D.R.* Russia form the American Embassy (April 1916–November 1918). N.Y., 1921). Гораздо интереснее его переписка, часть которой опубликована (см. Dollars and Diplomacy. Ambassador D.R. Francis and the Fall of Tsarism / Ed. by Cockfield C.H. Durham, 1971).
[44] См.: *Kennan G.* Op. cit. P. 35–41; *Foglesong D.S.* America's Secret War Against Bolshevism. U.S. Intervention in the Russian Civil War, 1917–1920. Chapell Hill, 1995.
[45] *Милюков П.Н.* Воспоминания. Т. I–II. М., 1990. Т. II. С. 301–302.
[46] *Francais D.R.* Op. cit. P. 3.
[47] На эти качества посла обратил прежде всего внимание Ю.П. Бахметев, рекомендуя Фрэнсиса своему руководству (АВПРИ. Ф. Посольство в Вашингтоне. 1915/16. Оп. Д. 30. Л. 244). Русский военный агент информировал и о "германофильских связях" нового посла (АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 53. Л. 66), что обеспечило сразу же холодный прием Фрэнсиса при дворе, в свете и у союзных дипломатов (см.: *Палеолог М.* Указ. соч. С. 81).
[48] *Francis D.R.* Op. cit. P. 8–9; *Ганелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 92–93.
[49] См.: *Васюков В.С.* Указ. соч. С. 177–178; *Козенко Б.Д.* "Новая демократия" и война. Внутренняя политика США (1913–1917). Саратов, 1980. С. 167–168.
[50] *Васюков В.С.* Указ. соч. С. 118–119, 121.
[51] АВПРИ. Ф. Канцелярия. 1916. Оп. 470. Д. 53. Л. 294.
[52] Там же. Ф. Отдел печати. 1915. Оп. 477. Д. 612. Л. 36; *Григорцевич С.С.* Дальневосточная политика империалистических держав в 1906–1917. Томск, 1965. С. 527.
[53] АВПРИ. Ф. Канцелярия. 1916. Оп. 470. Д. 53. Л. 284.
[54] The New Republik. 1916. Dec. 2. P. 107–109.
[55] PWW. Vol. 40. P. 39, 160, 239, 388.
[56] The Financial Age. 1917. Mar. 24. P. 434.
[57] Известия Министерства иностранных дел. 1916. Пг., 1916. Кн. I. С. 39.
[58] АВПРИ. Ф. Канцелярия. 1916. Оп. 477. Д. 147. Л. 5–7. Записка члена Совета МИД И.Я. Коростовца министру... 12.X 1916.
[59] *Ганелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 76–77, 78.
[60] Цит. по: *Ганелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 162. Этого союза в Вашингтоне опасались тогда всерьез (см.: The Cabinet Diaries of J. Daniels. 1917–1921 / Ed. by Cronon E.D. Lincoln, 1963. P. 113).
[61] The New Republic. 1917. Mar. 19. P. 212; June 2. P. 121–122; The Commercial and Financial Chronicle. 1917. May 26. P. 2050.
[62] АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 62. Л. 573; *Лебедев В.В.* Указ. соч. С. 295–296.
[63] The Financial Age. 1917. May 5.
[64] The New Republik. 1917. May 26. P. 90–91, 94–98.
[65] Константинополь и проливы. Т. I–II. М., 1925. Т. I. С. 400–402.
[66] Министр посоветовал послу решать финансовые вопросы, а в политических "не спешить" (Там же. С. 403).
[67] PWW. Vol. 42. P. 241.
[68] Архив полковника Хауза. М., 1939. Т. III. С. 30, 32.
[69] Там же. С. 34–36.
[70] PWW. Vol. 42. P. 165, 177–178.
[71] *Милюков П.Н.* Воспоминания. Т. II. С. 325. Россия, Италия, Япония выброшены из расчетов Америки, Англии, Франции, записал Хауз в те дни (Архив полковника Хауза. Т. III. С. 41).
[72] АВПРИ. Ф. Канцелярия. 1917. Оп. 470. Д. 69. Л. 573; такова была и позиция Вильсона (PWW. Vol. 42. P. 67); *Игнатьев А.В.* Указ. соч. С. 295; *Лебедев В.В.* Указ. соч. С. 295–296.

[73] PWW. Vol. 42. P. 238–239.
[74] Ibid. Vol. 43. P. 439–441.
[75] Ibid. P. 389, 460; Vol. 44. P. 281.
[76] См.: Архив полковника Хауза. Т. II. С. 130, 316; PWW. Vol. 44. P. 379.
[77] PWW. Vol. 42. P. 11–13, 82, 104, 157, 492–494.
[78] АВПРИ. Ф. Канцелярия. 1916. Оп. 470. Ф. 149. Л. 1–5.
[79] Там же. 1917. Оп. 470. Д. 93. Л. 19; Д. 100. Л. 227а, 283; *Григорцевич С.С.* Указ. соч. С. 578–580.
[80] The New Republic. 1917. June 9. P. 191–192; June 23. P. 136–138.
[81] PWW. Vol. 44. P. 22.
[82] Архив полковника Хауза. Т. III. С. 109–110, 120.
[83] Константинополь и проливы. Т. I–II. М., 1925. Т. I. С. 403, 404.
[84] *Wilson W.* When Man Comes to Himself. N.Y., 1915. P. 26–27.
[85] *Иоффе А.Е.* Миссия Рута в Россию // Вопросы истории. 1958. № 9.
[86] PWW. Vol. 44. P. 298.
[87] Ibid. P. 67.
[88] Ibid. Vol. 42. P. 152–154.
[89] The New Republic. 1917. June 23. P. 136–138.
[90] PWW. Vol. 43. P. 95.
[91] Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Russia (далее – FRUS). Wash., 1931.P. 108; PWW. Vol. 42. P. 141.
[92] FRUS. 1918. Russia. Vol. I. P. 127; PWW. Vol. 43. P. 15.
[93] FRUS. 1918. Russia. Vol. I. P. 131–158.
[94] *Root E.* The United States and the War. The Mission to Russia. Political Addresses / Ed. by Bacon R. and Scott J.P. Cambridge (Mass.), 1918. P. 162–167.
[95] FRUS. 1918. Russia. Vol. I. P. 131–153.
[96] *Sansing R.* War Memoirs N.Y., 1935. P. 238–239.
[97] См.: *Игнатьев А.В.* Указ. соч. С. 287.
[98] The North American Review. 1917. July. P. 167.
[99] The Financial Age. 1917. July 14.
[100] АВПРИ. Ф. Канцелярия. 1917. Оп. 470. Д. 62. Л. 71.
[101] FRUS. 1918. Russia. Vol. I. P. 20–21.
[102] PWW. Vol. 44. P. 496–497.
[103] Ibid. Vol. 43. P. 289.
[104] Ibid. Vol. 42. P. 463–465; 527–530; Vol. 43. P. 20. Позже англичане сообщили Вильсону о существовании в России тайной армии добровольцев в 400 тыс. человек, снабжаемых "земствами". Президент увидел в ней "спасение России и всей ситуации" и заинтересовался этим вопросом (Ibid. Vol. 44. P. 497).
[105] FRUS. 1918. Russia. Vol. I. P. 147–153; PWW. Vol. 43. P. 416.
[106] И. Рут увидел у русских терпение, доверчивость, открытую душу. "Мы нашли здесь детский сад в 170 миллионов человек, – сообщал Рут в Вашингтон. – Они в смятении и ошеломлены, нуждаются в оснащении для детского сада" (PRFRUS. 1918. Russia. Vol. I. P. 122).
[107] *Root E.* Op. cit. P. 47–50, 114, 151–153; PWW. Vol. 42. P. 462–463, 503; Vol. 44. P. 65–66, 94.
[108] PWW. Vol. 42. P. 253, 258.
[109] Ibid. Vol. 44. P. 367, 424, 434–435, *Ганелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 360.
[110] PWW. Vol. 42. P. 267, 284–285, 397–399; Vol. 44. P. 436–438; *Мальков В.Л.* Большевики и "германское золото". Находки в архивах США // Новая и новейшая история. 1993. № 5. С. 46–47.
[111] PWW. Vol. 43. P. 526–530.
[112] Ibid. P. 521–530.
[113] Ibid. Vol. 44. P. 94, 143, 271, 557–558.
[114] *Игнатьев А.В.* Указ. соч. С. 236–238.

ИТАЛЬЯНСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИЛИ ТАКТИЧЕСКИЙ МАНЕВР

Н.Д. Смирнова

Один из крупнейших российских историков прошлого В.О. Ключевский, известный афористичностью своих высказываний и характеристик, писал: "Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий"[1]. 80 лет минуло с окончания Великой войны, а неизжитые ее последствия ощущаются в наши дни и будут еще влиять на развитие внутренних и внешних процессов в мире в XXI в.

Феномен итальянского нейтралитета в годы первой мировой войны – как много говорилось о нем и в общих, и в специальных трудах! Однако в советской и российской историографии он изучен слабо. Из специальных работ, посвященных непосредственно дипломатической борьбе вокруг нейтралитета, следует упомянуть исследования Ф.И. Нотовича и А.С. Корнеева[2]. О политических и экономических предпосылках, о сложных процессах внутри итальянского общества писали К.Э. Кирова, В.П. Любин, О.В. Серова, З.П. Яхимович. Итальянская историография изобилует документальными публикациями и монографическими исследованиями (Л. Альбертини, М. Тоскано, Р. Моска, Б. Виджеци, П. Пасторелли, Э. Серра, А. Монтиконе, Л. Сальваторелли, А. Торре, С. Романо, Дж. Петракки и др.).

Многие исследователи акцентировали внимание на широко известных фактах в истории Италии: всякий раз, когда острый политический кризис в Европе перерастал в вооруженный конфликт, правительство провозглашало нейтралитет. Так было в 1870-м, 1914-м и 1939 г. Профессор Б. Виджеци добавляет и 1948 г. – невовлеченность Италии в "холодную войну". Во всех вышеупомянутых случаях состояние нейтралитета прерывалось через какое-то время, и Италия вступала в войну, принимая сторону своего союзника (1940 г.) или недавнего оппонента (1915 г.). Чисто внешняя схожесть поведения правящих кругов Италии в критический момент не в состоянии объяснить истинные политические причины принятия того или иного решения, которое в каждом случае являлось итогом сложной политической борьбы.

В 1939 г. невступление фашистской Италии в войну на стороне нацистской Германии объяснялось тем, что она не была готова к "большой войне", начало которой в скоординированных планах "оси" предусматривалось только в 1942 г. Все попытки объяснить позицию Муссолини его колебаниями в выборе союзника не выдерживают критики. Дело в том, что заключенные (первый – в 1936 г.) союзные

© Н.Д. Смирнова

договоры Италии с Германией ознаменовали начало необратимого процесса. Партнерство в общей борьбе за перекраивание карты Европы предполагало все более тесное сотрудничество двух идеологических близнецов. Итальянские правящие круги в определенные периоды, например во время "странной войны", рассчитывали на достижение договоренности с западными державами по отдельным вопросам, и в первую очередь с Англией, но при одном обязательном условии – согласии последней на сохранение итало-германского союза. Поэтому заявление тогдашнего министра иностранных дел Г. Чиано французскому послу в Риме А. Франсуа-Понсе: "Не утруждайте себя пропагандой! Одержите победу, и мы будем с вами! В противном случае мы будем против вас"[3], – которое довольно часто приводится в качестве доказательства возможного перехода Италии в антигитлеровский лагерь зимой и весной 1940 г., было лишено серьезных оснований. Это подтверждает и академик В.Г. Трухановский, один из наиболее известных исследователей внешней политики Великобритании. Совершенно справедливо не без иронии он замечал, что лондонские политики не только надеялись удержать Италию от выступления на стороне Германии, но некоторые из них, отличавшиеся наибольшим оптимизмом, рассчитывали перетянуть ее на свою сторону[4].

Фашистские политики никогда не называли позицию, занятую Италией в 1939 г., нейтралитетом, придумав особый термин. И действительно, "нон-беллиджеранца", т.е. состояние невовлеченности в войну, даже формально не соответствовало ни одному из определений нейтралитета, так как предусматривало ведение Италией локальных войн[5]. Что касается статуса так называемого "эвентуального нейтралитета", объявленного Италией в первой мировой войне, то он давал ей возможность пересмотреть основные направления своей внешней политики, необходимость чего назрела еще до вспышки конфликта. Война стала катализатором процесса ревизии. Поэтому нередко встречающаяся в обобщающих работах о первой мировой войне интерпретация итальянской политики как маневрирования между блоками ради получения наибольшей для себя выгоды, страдает упрощенчеством. Сложнейший процесс сводится к простой сделке: Италия присоединится к стороне, которая более полно сможет удовлетворить ее территориальные претензии.

В годы первой мировой войны Италии не пришлось выбирать между двумя группировками. Речь шла о нейтралитете или о вступлении в войну на стороне Антанты. Стратегические позиции Италии в Восточном Средиземноморье делали ее весьма привлекательной союзницей для стран Антанты и в особенности для Великобритании. Еще задолго до начала войны, в июне 1912 г., в памятной записке, направленной адмиралтейством в Форин оффис, говорилось о том, что "находящиеся в итальянском владении военно-морские базы в Эгейском море будут угрожать нашим позициям в Египте, могут привести к потере нашего контроля над черноморской и левантийской торговлей, а в случае войны наш путь на Восток через Суэцкий канал будет зависеть от военных операций Италии и ее союзников". И далее прямо

утверждалось, что Родос более важен в стратегическом отношении, чем Ливия[6].

По условиям Тройственного союза Италия не была обязана выступить на стороне своих союзников автоматически. Более того, на ранних стадиях функционирования союза оговаривалось ее право соблюдать нейтралитет в случае нападения Великобритании или Франции на Германию или Австро-Венгрию. Что же касалось двусторонних итало-австрийских отношений, то они предусматривали в случае эвентуальной дестабилизации зыбкого равновесия на Балканах по вине той или другой стороны предварительную договоренность о том, что если один из партнеров получит территориальное приращение, то другой должен был бы получить соответствующую компенсацию. В статье VII союзного договора в редакции от 5 декабря 1912 г. говорилось, что "если в результате событий сохранение статус-кво в балканских местностях или на оттоманском побережье и островах в Адриатике и в Эгейском море оказалось бы невозможно и если бы... Австро-Венгрия или Италия оказались вынужденными заменить этот статус-кво временной или постоянной с их стороны оккупацией, то оккупация эта последует лишь после предварительного соглашения между названными обеими державами, основанного на принципе взаимной компенсации за всякое территориальное или иное приобретение, сделанное названными державами сверх нынешнего статус-кво"[7]. Поэтому с момента предъявления австрийского ультиматума Сербии и едва ли не до дня вступления Италии в войну шла интенсивная переписка по мотивам статьи VII. И когда министр иностранных дел Италии С. Соннино 23 мая 1915 г. обосновывал причины вступления своей страны в войну, то он в качестве основного довода выдвигал неуступчивость Австро-Венгрии в балканских делах[8].

Ни у одной из воюющих группировок не было иллюзий насчет возможного выступления Италии в войне на стороне Тройственного союза. В этой связи симптоматично то, что уже в самом начале войны, 14 сентября 1914 г., С.Д. Сазонов, излагая М. Палеологу и Дж. Бьюкенену российское ви́дение военно-политических целей Антанты в войне, учитывал Италию как партнера в дележе добычи[9]. Что касается английского правительства, то оно, развивая и корректируя программу совместных действий, предусматривало возможно полное удовлетворение территориальных претензий Италии, а заодно и Румынии. Таким образом, отношение к Италии двух воюющих группировок после начала войны было следующим: Центральные державы пытались удержать ее на позициях нейтралитета, а Антанту могло удовлетворить только вооруженное выступление.

Согласно классической схеме, предложенной в свое время одним из известных исследователей истории первой мировой войны профессором Родольфо Моска, итальянская политика периода нейтралитета прошла три стадии:

Первая (август–октябрь 1914 г.) – определение интересов и приоритетов Италии в войне, поиск альтернативных решений. Тогда имел место первый, окончившийся безрезультатно зондаж со стороны Антанты относительно возможного вступления Италии в войну. Успехи германской армии на Западном фронте в немалой степени способствовали укреплению нейтралистской позиции Италии.

Вторая (ноябрь 1914 – март 1915 г.) – постепенный отказ от идеи "вооруженного нейтралитета", благожелательного в отношении союзников, и принятие решения о возобновлении переговоров с Антантой; выдвижение на первый план адриатической проблемы. Нейтральная Италия получает от каждой из воюющих группировок согласие на временную оккупацию части территории нейтральной Албании, чтобы предотвратить захват нейтральной Грецией всей Южной Албании.

Третья (март–май 1915 г.) – лондонские переговоры о вступлении Италии в войну. Секретный Лондонский договор 26 апреля 1915 г. как декларация об обязательствах стран Антанты удовлетворить территориальные претензии своего нового союзника в ходе послевоенного мирного урегулирования[10].

Главным содержанием политики Италии периода нейтралитета явилось обеспечение коренного перелома во внешнеполитической ориентации страны, что и было определено незадолго до ее вступления в войну. Из всего обширного комплекса вопросов, решавшихся итальянской дипломатией, хотелось бы выделить восточную политику, т.е. развитие отношений с Россией и выработку подходов к развязыванию балкано-адриатического узла. То, что закладывалось в схему Лондонского договора, должно было определять долгосрочные цели и союзников Италии.

Первые наметки целей Антанты в первой мировой войне (российская точка зрения) формулировались в уже упоминавшихся предложениях Сазонова от 14 сентября 1914 г., переданных через французского и британского послов в Петрограде их правительствам. Балканских дел касались два пункта: 5-й – присоединение Боснии, Герцеговины, Далмации и Северной Албании к Сербии; 7-й – передача Болгарии (с целью привлечь ее в лагерь Антанты) почти всей Вардарской (сербской) Македонии, Греции – Южной Албании, Италии – Валоны (совр. Влёра) с обширным хинтерландом.

Чисто российские проблемы концентрировались на судьбе проливов. В другой записке Сазонова, от 26 сентября, уточнялось, что "турки должны остаться в Константинополе и его окрестностях", но Россия получит гарантии свободного прохода через проливы. Прямых притязаний на турецкую территорию тогда еще не было. Они возникли в полном объеме после выступления Турции на стороне Германии. Правда, М. Палеолог отметил в своих воспоминаниях весьма важную деталь. В беседе посла с Николаем II 21 ноября 1914 г. последний высказался в том плане, что турки должны быть изгнаны из Европы, в этом случае Константинополь автоматически становился нейтральным городом под международным управлением, а его окрестности вплоть до линии Энос–Мидия переходили к России[11].

Сазонов назвал свой проект весьма изящно – "эскизом картины, полотно которой должно быть еще выткано". И действительно, проект, одобренный союзниками почти без замечаний в сентябре 1914 г.,

в дальнейшем подвергся существенным изменениям. Вступление же в Антанту четвертого "ткача" – Италии – еще больше усилило пестроту картины.

Секретное российско-итальянское соглашение в Раккониджи в 1909 г. о сохранении статус-кво на Балканах, о необходимости придерживаться "принципа национальности" при возникновении территориальных споров, о благожелательном отношении к обоюдным интересам в Восточном Средиземноморье и т.п. исчерпало себя к моменту возникновения мировой войны в той части, которая касалась конкретных вопросов. Но и обязательство более общего характера – поддержание баланса интересов наиболее ангажированных на Балканах государств – оказалось под ударом в результате австрийских действий против Сербии. Наконец, в Раккониджи ничего не говорилось о проливах в то время, как с началом войны эта проблема стала постепенно выдвигаться на первый план в балканской политике России[12].

Ориентация правительства А. Саландры на Антанту как на эвентуальную победительницу в войне предполагала сотрудничество в средиземноморском регионе с Великобританией, а в балканском – с Россией. В представлениях итальянских политиков созревала идея создания нового баланса сил в Восточном Средиземноморье в послевоенный период, опирающегося на треугольник Италия – Великобритания – Россия.

Нейтральный статус позволял Италии наиболее рационально использовать состояние войны в Европе для решения своих проблем чисто дипломатическим путем. Правда, в одной из бесед итальянского посла в Вене герцога Дж. Аварна с бароном И. Бурианом о получении Италией территориальных компенсаций на Балканах в соответствии с условиями статьи VII союзного договора австрийский министр иностранных дел заметил, что прежде чем говорить о компенсациях, нужно было бы иметь в руках то, за счет чего компенсировать. Однако, как показало дальнейшее развитие переговоров, достаточно было иметь чистые листы бумаги: Лондонский договор исходил не из реальной действительности, а из того, чем могла бы располагать Антанта в случае победы над Центральными державами.

В инструкциях, которые направлял министр С. Соннино итальянским послам в Лондоне (Г. Империали), Париже (Т. Титтони) и Петрограде (А. Карлотти) после возобновления переговоров с Антантой в марте 1915 г., говорилось: "Нашим главным побуждением для вступления в войну на стороне Антанты является желание освободиться от невыносимого в сложившейся в настоящее время в Адриатике обстановке комплекса неполноценности перед лицом Австрии". Говоря о большой уязвимости с военной точки зрения адриатического побережья Италии и более выгодного в этом отношении далматинского (т.е. австрийского) в условиях ведения войны, он ставил задачу защиты "от австрийского господства и возрастающей угрозы создания лиги молодых и амбициозных южнославянских государств"[13].

Видный итальянский политический деятель Г. Сальвемини, вскрывая подноготную итальянских планов в Адриатике, писал в 1916 г., что

они преднамеренно маскировались необходимостью защиты восточных границ государства. Достижения этой цели предполагалось добиться путем создания одного оборонительного и одного стратегического центров. Первым являлась Венеция, а вторым – находившаяся тогда под австрийским господством Пула, которая при условии владения албанским портом Валона ставила адриатический бассейн под абсолютный итальянский контроль, а на континенте полностью блокировала главного в тот период соперника Италии на Балканах[14]. Вместе с тем Италия шла на риск, соглашаясь на передачу Греции албанского побережья Ионического моря, признавая тем самым право контроля последней над Корфуским проливом. Однако осуществление завстных чаяний руководителей итальянской внешней политики от Криспи до Сан Джулиано, а именно овладение проливом Отранто, что превращало Адриатическое море во "внутреннее итальянское озеро", представлялось несомненным успехом. Ограничение сферы деятельности реального на тот момент соперника – Австро-Венгрии и эвентуального – "Великой Сербии" было достигнуто.

При выработке новой восточной политики Италия была вынуждена считаться с тем, что требование провести государственную границу на востоке по ту сторону буферной зоны, каковой была Австро-Венгрия, наталкивалось на противодействие со стороны южных славян, опиравшихся на поддержку России. И при всей сердечности отношений, неизменно демонстрировавшихся при встречах российских и итальянских дипломатов, оставались неурегулированными два вопроса: Албания и Далмация. Обладание Албанией было для Италии conditio sine qua non. От сазоновского "эскиза картины" и до апробации соответствующих статей Лондонского договора подход к разрешению этих двух проблем претерпел существенные изменения, прежде чем закрепиться в окончательном виде.

Пользуясь нестабильностью, создавшейся в Албании после отъезда из страны принца Вида[15], когда чуть ли не в каждом городе утвердился независимый правитель, великие державы и балканские соседи стали выдвигать самые разнообразные проекты. Конечная цель каждого – раздел Албании. Самым щадящим был для Албании болгарский: установить албано-болгарскую границу по Охридскому озеру. Однако для его осуществления нужно было совсем немного – передать Болгарии бóльшую часть Вардарской Македонии... Одновременно возник план, разработанный в Петрограде, устанавливавший общую сербо-греческую границу по центральной Албании. Другие проекты предусматривали раздел страны между Грецией, Сербией и Италией при сохранении небольшого мусульманского государства с центром в Дураццо (совр. Дуррес), зависевшего от Италии.

Но наибольшие сложности вызвала далматинская проблема. "Сегодня является неоспоримым фактом то, – писал С. Соннино 20 марта 1915 г. итальянскому послу в Лондоне Г. Империали, – что наши притязания исходят из очевидных исторических и национальных прав, основывающихся в свою очередь на желании обеспечить со стороны моря безопасность адриатического побережья, которое до сих пор

абсолютно беззащитно"[16]. Признавая, что большинство населения составляют славяне (600 тыс. против 60 тыс. итальянцев), он весьма своеобразно толковал понятие "национальное право". Считая Далмацию органической частью итальянского культурного ареала со времен Венецианской республики, Соннино именно этим обосновывал "законность" вхождения Далмации в состав Италии.

Позиция С. Соннино противоречила взглядам его предшественника маркиза Сан Джулиано. Тот считал, что национальное воссоединение Италии должно идти за счет территорий с преобладающим итальянским населением[17]. Однако римские политики, прибегая к надуманным обоснованиям "исторических прав", преследовали в первую очередь стратегические интересы Италии. Они же заключались в том, что планировалось не только обладание далматинским побережьем и прилегающими к нему островами, но и нейтрализация черногорского побережья, получение гарантий против объединения южных славян, ибо, как писал премьер-министр А. Саландра министру иностранных дел С. Соннино, "мы не хотим менять соперничество в Адриатике с Австро-Венгрией на соперничество с Сербией"[18].

Российская дипломатия признавала на словах справедливость итальянских притязаний. Однажды Сазонов, как бы подыгрывая своему итальянскому коллеге, назвал Адриатическое море озером. Однако на практике в ходе рассмотрения условий договора дело доходило до весьма серьезных баталий. Так, вскоре после возобновления переговоров Италии с Антантой в ответ на отказ российских дипломатов согласиться с очередным требованием Империали последний заявил в ультимативном тоне о том, что неприятие их приведет к прекращению переговоров и к отказу от выступления в войне на стороне Антанты[19].

Идеальным выходом для Сазонова стало достижение равновесия в удовлетворении как итальянских, так и сербских амбиций. С одной стороны, дать Италии материальные подтверждения своих к ней симпатий, а с другой – оказать моральную поддержку Сербии[20]. В итоге, и это нашло отражение в Лондонском договоре, наиболее полно были учтены итальянские территориальные притязания, что вызвало негодование сербов и антиитальянскую кампанию в их печати. Итальянский посланник в Нише, носивший громкий титул барона Скуити ди Палермити-и-Гварна, писал в одной из статей в мае 1915 г. в газете "Новости", что сербы страдают несомненной манией величия, непониманием сложившейся в Европе обстановки и отсутствием чувства реальности, предсказывая, что они столкнутся с горьким разочарованием.

4 мая 1915 г. Италия направила Австро-Венгрии ноту о своем выходе из Тройственного союза, 23 мая объявила ей войну, а днем позже разорвала дипломатические отношения с Германией, оставаясь с ней в мире до 28 августа 1916 г.

Так окончился девятимесячный период итальянского нейтралитета, создавший условия для вступления Италии в войну. Документы свидетельствуют о том, что июльский кризис 1915 г. исключал для Италии

иную альтернативу. Началась борьба за удовлетворение стратегических интересов в Европе и в Восточном Средиземноморье, обеспечение которых было заложено в статьях Лондонского договора 1915 г.

[1] *Ключевский В.О.* Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993. С. 6.

[2] *Нотович Ф.И.* Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны. Т. I. Потеря союзниками Балканского полуострова. М.; Л., 1947; *Корнеев А.С.* Мнимые и действительные причины нейтралитета Италии в начале I мировой войны // Вестник ЛГУ. 1959. № 8.

[3] См. предисловие А. Франсуа-Понсе к сборнику документов: Les lettres secrètes échangées par Hitler et Mussolini. Paris, 1946. P. 39.

[4] *Трухановский В.Г.* Внешняя политика Англии в период второй мировой войны. М., 1965. С. 63.

[5] См. подробнее: *Смирнова Н.Д.* Балканская политика фашистской Италии. М., 1969. С. 140–155.

[6] Цит. по: *Bosworth R.* Britain and Italy's acquisition of the Dodecanese, 1912–1915 // The Historical Journal. London, 1970. N 4. P. 689.

[7] Цит. по: *Нотович Ф.И.* Указ. соч. С. 24.

[8] I documenti diplomatici italiani (далее – DDI). Quinta ser. 1914–1918. Vol. III (3 marzo – 24 maggio 1915). Roma, 1985. N 769. P. 603–608.

[9] Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и Временного правительства 1878–1917 гг. М.; Л., 1938. Сер. III. Т. 6. Ч. 1. № 256.

[10] С формальной точки зрения Лондонский договор представлял собой меморандум, подготовленный итальянским правительством. В нем постатейно раскрывалось содержание мер, предлагавшихся итальянской стороной странам Антанты по согласованию военных операций на суше и на море. Наряду с этим перечислялись территориальные претензии Италии в Европе и Африке. Это была декларация о намерениях, скрепленная подписями четырех послов в Лондоне. В качестве приложения к ней фигурировал акт о присоединении Италии к заявлению стран Антанты от 5 сентября 1914 г. и об обязательствах всех четырех держав не подписывать сепаратного мира (DDI. Vol. III. N 470. P. 369–374).

[11] *Нотович Ф.И.* Указ. соч. С. 206–207.

[12] Проблема Константинополя и проливов – этот особый и чрезвычайно сложный вопрос, выходящий за рамки настоящей статьи. Хотелось лишь привлечь внимание к одному весьма оригинальному решению, предложенному румынским посланником в Париже в феврале 1915 г., – отдать проливы под контроль Бельгии, что послужит гарантией против получения Россией слишком больших преимуществ в Средиземноморье (DDI. Vol. II. N 881. P. 755).

[13] DDI. Vol. III. N 164. P. 134.

[14] *Salvemini G.* Dalla guerra mondiale alla dittatura (1916–1922). Scritti di politica estera. Milano, 1973. Vol. 2. P. 372.

[15] Лондонская конференция послов определила статус Албании как суверенного и нейтрального княжества 29 июля 1913 г. В ноябре того же года капитан прусской службы принц Вильгельм Вид был избран главой албанского княжества, которым "правил" с 7 марта по 3 сентября 1914 г.

[16] *Tambora A.* L'idea di nazionalitá e la guerra 1914–1918 // Atti del XLI Congresso di storia del Risorgimento italiano. Trento 9–13 ottobre 1963. P. 73.

[17] Ibid. P. 74.

[18] DDI. Vol. III. N 257. P. 211.

[19] Ibid. N 200. P. 167.

[20] Подробнее о сербском вопросе на Лондонской конференции послов см.: *Toscano M.* La Serbia e l'intervento in guerra dell'Italia. Milano, 1939.

БОЛГАРСКАЯ ДИЛЕММА В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ АНТАНТЫ (октябрь 1915 года)

Г.Д. Шкундин

С самого начала первой мировой войны обе противоборствующие группировки – Антанта и Центральные державы – продолжили начатую еще в предвоенные годы дипломатическую борьбу за привлечение Болгарии на свою сторону в качестве союзника[1]. Эта страна занимала ключевую позицию на Балканском полуострове, и ее чрезвычайно важное геополитическое и военно-стратегическое значение осознавалось руководителями всех великих держав. Кульминация борьбы пришлась на лето 1915 г., которое так и вошло в историю международных отношений под названием "болгарское лето". В конечном итоге германская коалиция перетянула болгарский канат на свою сторону, посулив царю Фердинанду Кобургскому и главе правительства "либеральной концентрации" д-ру В. Радославову принадлежавшую Сербии Вардарскую Македонию, которая была conditio sine qua non участия Болгарии в военных действиях на стороне какой бы то ни было группировки, ибо представляла собой ядро болгарских военно-политических целей на всем протяжении войны[2]. 6 сентября это было закреплено de jure в союзном договоре и в тайном соглашении между Германией и Болгарией, а также в трехсторонней военной конвенции, заключенной этими государствами и Австро-Венгрией[3]. Таким образом, Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Турции с присоединением Болгарии превратился в Четверной союз. Дипломатия Антанты потерпела поражение в переговорах с Болгарией в 1915 г. из-за совокупности нескольких причин. Среди них необходимо отметить прежде всего военные неудачи, главным образом на Восточном фронте; отсутствие единого руководства и общей целеустремленности, наличие противоречий между самими союзниками по балканским вопросам; непродуманность и путаницу, которую создавали как представители держав Антанты в Болгарии, так и руководители внешнеполитических ведомств в Петрограде, Лондоне, Париже и Риме; неуступчивость со стороны правительств Сербии и Греции и их нежелание пойти навстречу болгарским территориальным претензиям в Македонии даже под давлением великих держав. Но главная причина, которая предопределила дипломатическое фиаско Антанты в Софии, заключалась в ее ошибочной политике и стратегии в регионе, в недооценке значения Балканского полуострова для скорейшего и успешного завершения войны в целом.

В соответствии с подписанной военной конвенцией 22 сентября 1915 г. царь Болгарии Фердинанд объявил всеобщую мобилизацию. В

© Г.Д. Шкундин

декларации правительства, опубликованной по этому поводу, заявлялось, что страна лишь "вступает в фазу вооруженного нейтралитета, который не следует трактовать как приготовление к войне", ибо Болгария якобы "не имеет агрессивных намерений против своих соседей"[4]. Тем не менее антисербская направленность этого шага была очевидной для всех, и нападение болгарской армии на Сербию, "малого" союзника держав Антанты, становилось теперь вопросом лишь нескольких недель.

2 октября российский министр иностранных дел С.Д. Сазонов приказал посланнику в Софии А.А. Савинскому предъявить Болгарии ультиматум с требованием порвать в 24 часа отношения с Германией и прекратить военные приготовления против Сербии[5]. Савинский не пользовался репутацией серьезного дипломата, который мог бы в такой архисложной ситуации повернуть ход событий в Софии в нужное для Антанты русло; кроме того, у него тогда случился приступ аппендицита. Болезнь посланника задержала выполнение инструкции на два дня. 4 октября в 4 часа пополудни управлявший российской миссией советник Ю.В. Саблер вручил Радославову ультиматум.

Сазонов оценивал сербско-болгарский конфликт в контексте роли России как общего защитника и арбитра всех славянских государств и считал тогда совершенно недопустимым превентивное нападение Сербии на Болгарию. Конечно, помимо этого, Сазонов, по свидетельствам некоторых его сотрудников, просто не верил в возможность вступления Болгарии в войну против России. Такая мысль казалась ему настолько чудовищной, что вплоть до самого последнего момента он никак не мог ее допустить и не принимал в расчет сербские свидетельства насчет вероломства Фердинанда. Когда он через Саблера решительно заявлял болгарскому правительству, что выступление Болгарии против Сербии вызовет объявление войны Болгарии со стороны России, он совершенно искренне считал, что такая перспектива остановит Кобурга и Радославова[6].

Между тем безответный и боязливый Саблер был совсем не тем человеком, который сумел бы выполнить это выпавшее на его долю задание, рассчитанное на устрашение. Русский дипломат, юрист-международник Г.Н. Михайловский, сын известного писателя Н.Г. Гарина-Михайловского, в своих мемуарах дал Саблеру такую характеристику: "Могу сказать, что из всего состава нашего ведомства это был самый забитый и запуганный чиновник. Достаточно было провести с ним 10 минут, чтобы понять, что такой человек физически не мог управлять русской миссией в Болгарии в такой момент. Все, что он мог делать, – это передавать тусклым канцелярским языком то, что ему говорили его болгарские собеседники"[7]. Поэтому, хотя демарш Саблера был поддержан британским и французским посланниками в Софии, желаемого эффекта он не произвел. Болгарское правительство ответило через сутки дерзкой нотой, в которой самым энергичным образом протестовало против предъявленного ему обвинения в том, "что оно предало судьбы страны в германские руки", и решительно отрицало все указанные в ультиматуме факты. Всю вину за предстоящий разрыв

болгарско-российских отношений документ возлагал на правительство Российской империи[8].

5 октября державы Антанты разорвали дипломатические отношения с Болгарией, и их представители, за исключением больного Савинского, покинули страну[9]. Но даже и после разрыва отношений в столицах государств Антанты еще продолжали надеяться на чудо. Так, в России по поводу разрыва с Болгарией были опубликованы два правительственных сообщения, достаточно сдержанные по содержанию и по тону. Но, самое главное, в столь острый момент в них публично осуждались межгосударственные границы, установленные после Балканских войн Бухарестским мирным договором 1913 г., и признавалась справедливость их пересмотра в пользу Болгарии, без чего невозможно было бы воссоздание балканского Союза и немыслимо установление прочного мира на полуострове[10].

Довольно осторожной позиции придерживалась в эти дни и французская пресса. Несмотря на требования своих коллег по кабинету, глава Кэ д'Орсе Т. Делькассе упорно отказывался разрешить допуск на страницы печати антиболгарских статей[11]. Наиболее показательна в этом смысле газета "Тан", которая, будучи самой влиятельной во Франции, в области внешней политики задавала тон всей прессе страны. С начала октября в материалах "Тан", посвященных Болгарии, уже не выражалось никакого сомнения в том, что страна присоединилась к австро-германскому блоку. Тем не менее впечатляют весьма положительные оценки, которые газета дала болгарской, т.е. фактически уже враждебной, армии, в частности уровню подготовки солдат и офицеров, их боевому духу и др.[12] В Великобритании общественность продолжала оживленно обсуждать заявление главы Форин оффис Э. Грея, сделанное им в палате общин за несколько дней до разрыва, о том, что "в стране не только нет враждебности к Болгарии, но существует традиционное чувство симпатии к болгарскому народу"[13].

Подобного рода иллюзии, что военных действий с Болгарией все-таки, может быть, удастся избежать даже после разрыва дипломатических отношений с ней, питали не только дипломаты и общественность, но и некоторые представители высшего военного командования стран Антанты. Так, генерал М.В. Алексеев, начальник штаба Ставки, а фактически главнокомандующий российской армии, еще до разрыва дипломатических отношений высказывался против такового, даже если Болгария нападет на Сербию. Свою точку зрения он аргументировал тяжелым военным положением России: "Мы Болгарии ничем не можем пригрозить, открытый же разрыв с нею даст неприятельским подводным лодкам опасную для нас базу в болгарских портах и лишит нас возможности пользоваться Дунаем для сообщения с Сербией". Соответственно с этим Алексеев предписал командующему Черноморским флотом адмиралу А.А. Эбергарду и начальнику Дунайской флотилии капитану 1-го ранга М.М. Веселкину соблюдать крайнюю осторожность по отношению к болгарам[14]. Что касается Эбергарда, то, на наш взгляд, его призывать к осторожности было излишне, ибо в оперативном руководстве флотом он с самого начала войны

проявлял такую осторожность и такую осмотрительность, которые привели к необходимости его замены более решительным и энергичным А.В. Колчаком.

Веселкин представлял собой натуру совершенно другого рода. Дело в том, что он был внебрачным сыном императора Александра III. Николай II питал слабость к Веселкину и очень часто прислушивался к его рекомендациям не только чисто военно-морского характера, но и политико-дипломатического свойства. Это вызывало недовольство у представителей официальной российской дипломатии, с которыми Веселкин, по его же собственным словам, был "на ножах". Изучение интереснейшего комплекса документов Веселкина в РГА ВМФ позволяет утверждать, что в 1915 г., в связи со вступлением в войну Болгарии, бравый флигель-адъютант постоянно держал в поле зрения внутриполитическую ситуацию в ней. Этому способствовала довольно разветвленная сеть агентов, которые действовали как на болгарской, так и на румынской территории, но поставляли Веселкину далеко не всегда проверенную информацию. В промежутке между разрывом с Болгарией и началом войны с нею вся его горячая и импульсивная натура резко протестовала против исходивших от Алексеева и Сазонова призывов к осторожности. 9 октября, т.е. за пять дней до вступления Болгарии в войну, он телеграфировал из Рени, где находилась база Дунайской флотилии, в Морской Генеральный штаб: "Прибывшие сегодня из Софии заслуживающие полного доверия наши соотечественники, хорошо знающие как болгар, так и настоящее настроение армии и страны, единогласно удостоверяют и ручаются, что Болгария в лице армии и страны не только не пойдет против нас, но всегда пойдет с нами. В настоящее время только благодаря Фердинанду и упорной работе австро-германских посольств в Болгарии поддерживается русофобский элемент, и отъезд как нашего посланника, так и наших подданных из Болгарии несколько усилил этот элемент. Но стоит только в данную минуту ослабить Болгарию и высадить там хотя бы две дивизии наших войск, как настроение, придавленное теперь Фердинандом, моментально и в армии и в народе выскажется в нашу пользу, если во главе будет чин русский и с тактом"[15].

Но самой интересной является резолюция на этом документе, наложенная, судя по всему, 11 октября: "Государь император вполне разделяет изложенное здесь, и на основании как сказанного здесь, а также вследствие бывшего вчера разговора с французским послом (М. Палеологом. – *Г.Ш.*) Его Величество будет иметь завтра разговор с министром иностранных дел о Балканах"[16].

Теперь сопоставим этот документ с записью Палеолога в своем дневнике от 10 октября о беседе с Николаем II в Царском Селе. Признавая, что высадка российских войск в Бургасе и Варне почти невозможна, французский посол просил императора отдать приказ о бомбардировке этих городов, на что последний ответил: "Да... Но чтобы оправдать в глазах русского народа эту операцию, я должен подождать, пока болгарская армия начнет неприязненные действия против сербов". Палеолог поблагодарил царя за это обещание[17].

Сопоставление этих двух документов дает нам представление о том, как в те предгрозовые дни в России функционировал механизм принятия важнейших внешнеполитических решений, касавшихся Болгарии. Налицо два совета, полученные Николаем II от разных лиц, и на обе рекомендации он отвечает согласием еще до беседы с министром иностранных дел, проявляя при этом столь характерные для него нерешительность и колебание.

Помимо Веселкина, некоторые другие российские военные специалисты и дипломаты (например, посланник в Стокгольме А.В. Неклюдов, военный агент в Греции П.П. Гудим-Левкович и др.) предлагали пойти на эту крайнюю меру – спешную высадку десантов в Варне и Бургасе, которая могла бы, на их взгляд, удержать Кобурга от рокового и для Болгарии и для Антанты шага[18]. По понятным причинам весьма нервно обсуждала эту возможность и румынская печать. И здесь, конечно, при принятии окончательного решения Николаем II определяющее значение имела полная и достоверная информированность российского военно-политического руководства о внутренней обстановке в Болгарии. Мы уже видели, как упрощенно смотрел на этот вопрос Веселкин. Но помимо Веселкина, разведданные шли в царскую Ставку и через В.В. Яковлева. Вплоть до самого разрыва отношений с Болгарией он находился в Софии в качестве российского военно-морского агента, имел достаточно разветвленную сеть осведомителей, в том числе в Варненском и Бургасском укрепленных районах, а затем перебрался в Бухарест, где, находясь под формальным начальством своего коллеги капитана 1-го ранга Н.А. Щеглова, фактически продолжал самостоятельно вести разведку в отношении Болгарии. 13 октября, т.е. всего лишь за сутки до вступления Болгарии в войну, он, не выступая прямо против осуществления подобного десанта, предупреждал, что таковой отнюдь не будет легкой прогулкой, ибо болгарская армия уже завершила свое сосредоточение, в стране введено осадное положение, в береговые войска привлечено много мусульман, т.е. значителен русофобский элемент. "На береговых батареях мы встретим немецких офицеров, у берега – подводные лодки. Поэтому наш десант встретит сопротивление, на которое должно отвечать самым действенным и даже безжалостным образом, ибо только при этом условии можно ожидать, что солдаты перебьют фердинандовских людей и перейдут к нам". Придавая чрезвычайное значение воззванию к болгарскому народу о том, что Россия идет только против его правителей, Яковлев предлагал свои услуги в распространении его с помощью агентов, в том числе членов религиозной секты скопцов, а также представителей армянского населения Болгарии, которое после геноцида армян в Турции, осуществленного весной 1915 г. с молчаливого благословения Германии, целиком и полностью сочувствовало Антанте[19].

Выдвигались в те дни и совсем уж химерические проекты. Так, 10 октября военного министра А.А. Поливанова посетили представитель Общества Одесского болгарского настоятельства И.Д. Рашеев и выходец из Охрида поручик российской армии Г.И. Капчев. Во время

беседы они вручили министру докладную записку, в которой предлагали обратиться к болгарам, проживавшим в южнороссийских губерниях, – таковых, вполне годных для строевой службы, насчитывалось, по их данным, около 40 тыс. человек, "из которых в силу уже неоднократно выраженного ими желания от 20 до 30 тысяч могли бы быть сформированы в болгарский отряд. Назначением же такового с высочайшего соизволения государя императора может осуществиться движение к Царьграду (т.е. Константинополю. – *Г.Ш.*) для оказания содействия великому историческому делу – водрузить всеславянское знамя на развалинах турецко-тевтонского господства"[20].

Далее, явно выдавая желаемое за действительное, авторы записки утверждали, что такое наступление на Константинополь "вызовет необычайный патриотический подъем среди болгарского населения, из коего даже теперь уже бегут из пределов Болгарии тысячи не желающих быть участниками преступной войны против России и ее союзников". Заканчивалась записка просьбой к военному министру передать ее содержание Николаю II, дабы тот позволил сформировать болгарский воинский отряд в Одессе[21].

Эта записка, судя по всему, была оставлена без последствий, но Капчев продолжал "бомбардировать" Генштаб российской армии своими записками сходного содержания вплоть до Октябрьской революции[22].

Сазонов позднее в мемуарах признавал, что план высадки превентивного десанта на Черноморском побережье Болгарии не был лишен основания, но решать вопрос о его выполнимости пришлось не ему, а военному руководству, у которого данная мысль не встретила сочувствия. В письме, полученном Сазоновым от генерала Алексеева по этому поводу в октябре, последний сообщал, что высадка войск в Варне или Бургасе была бы выполнима только в том случае, если бы русский флот располагал Констанцей как операционной базой. Транспортная способность всех судов, находившихся в тот момент в Одессе и Севастополе, не позволяла взять на борт более 20 тыс. человек единовременно. Таким образом, по мнению генерала, первые десантные отряды подверглись бы серьезной опасности до высадки всего экспедиционного корпуса[23]. Итак, Болгария пока осталась вне сферы российского военного воздействия.

Интересно, что и в самой Болгарии некоторые политические деятели вплоть до последнего момента надеялись, что непосредственных военных действий между их родиной и великими державами Антанты удастся избежать. К их числу относился лидер народно-либеральной (стамболовистской) партии, бывший министр иностранных дел Н. Генадиев – интеллигентный, но коррумпированный политик, в прошлом русофоб, а с начала 1915 г. ревностный сторонник антантофильской ориентации[24]. Уже после объявления Болгарией мобилизации он заявил полномочному представителю французских банков Ф. де Клозьеру, что, по его мнению, страны Антанты не должны разрывать свои связи с Радославовым даже в случае войны между Болгарией и Сербией. Когда Сазонов узнал об этих откровениях Генадиева, он заявил, что полностью разделяет его взгляды[25].

Но чуда не произошло. 14 октября Болгария объявила войну Сербии, а ее армия вторглась на сербскую территорию. Для держав Антанты это был casus belli. Но формальное объявление состояния войны с Болгарией с их стороны растянулось на несколько дней, ибо потребовалось время на раскачку довольно громоздкого механизма согласования внешнеполитических решений между союзниками. Грей предложил, чтобы все четыре союзных правительства объявили войну Болгарии одновременно[26]. 15 октября Сазонов испросил у Николая II разрешение принять предложение Грея[27]. Император в это время находился в Ставке в Могилеве. Пока из Петрограда шли соответствующие телеграммы в Париж и Могилев, британское правительство, не дождавшись ответа, само отказалось от предложенного им же принципа одновременности и в 14 часов 15 минут 15 октября объявило войну Болгарии начиная с 10 часов вечера того же дня[28]. Эта поспешность была вызвана следующими событиями. Болгарский посланник в Афинах Г. Пасаров, очевидно желая предостеречь Грецию от оказания помощи Сербии в силу casus foederis, информировал кабинет А. Заимиса о том, что Болгария вступила в войну именно как союзница Германии, Австро-Венгрии и Турции[29]. Создалась угроза использования порта Дедеагач на болгарском побережье Эгейского моря против Антанты. Британский адмирал потребовал дать ему немедленно возможность блокировать Дедеагач[30], что заставило правительство Великобритании поторопиться с формальным объявлением войны. Информируя в тот же день, 15 октября, своих союзников об этом, Форин оффис уведомлял, что блокированный Дедеагач будет подвергнут бомбардировке сразу же после того, как российский флот начнет боевые действия против Бургаса и Варны[31].

Французская позиция имела свои нюансы. На протяжении всего дня 16 октября на Кэ д'Орсе специалисты по международному праву занимались юридической эквилибристикой. В конечном итоге политический директор МИД П. де Маржери направил премьер-министру Р. Вивиани пространный документ, суть которого заключалась в следующем: Франция не объявляет войну Болгарии, а констатирует, что, совершив нападение на одного из французских союзников, Болгария тем самым фактически уже создала состояние войны между собой и Францией. Для того чтобы лишний раз не будоражить парламент и обойтись без его формального согласия на ведение войны против Болгарии, де Маржери предлагал сослаться на следующие слова из декларации Вивиани, произнесенные в палате депутатов в самом начале войны, 4 августа 1914 г.: "Франция, несправедливо спровоцированная, не желала войны. Она сделала все для того, чтобы ее предотвратить. Но, поскольку ей навязали эту войну, она будет защищаться против Германии и против любой державы, которая, независимо по каким побудительным мотивам, примет сторону последней в конфликте между двумя странами". Ссылаясь на прецеденты, имевшие место в отношении Австро-Венгрии и Турции, когда решение французского правительства было окончательным, де Маржери предлагал применить аналогичную процедуру и для Болгарии[32]. На следующее

утро, 17 октября, совет министров принял соответствующее решение, констатируя состояние войны с Болгарией начиная с 6 часов утра 16 октября, вызванное последней[33].

В эти же дни французское правительство настоятельно потребовало, чтобы итальянский флот также принял участие в блокаде болгарского побережья, хотя бы силами нескольких кораблей[34]. На Кэ д'Орсе придавали большое значение проявлению союзнической солидарности в этом вопросе. Как известно, итальянское правительство неохотно разорвало дипломатические отношения с Болгарией. 7 октября министр иностранных дел барон С. Соннино высказал болгарскому посланнику Д. Станчову свое искреннее сожаление по поводу разрыва[35]. Однако под нажимом из Парижа 19 октября Италия объявила войну Болгарии. Интересный комментарий этому факту дала румынская пресса. Как известно, с самого начала войны две "латинские сестры", родственные и близкие по духу проводимой ими политики, стремились координировать свои действия на международной арене. Теперь же, отмечала в передовице газета "Епока" 22 октября, "объявление войны Италией имеет скорее платонический характер. ...Италия не собирается еще начать враждебные действия против Болгарии. Про Италию можно с уверенностью сказать, что она не пошлет ни одного солдата в Болгарию, ибо ее интересы слишком тесно связаны с балканским вопросом, чтобы она могла легкомысленно решиться на такой шаг"[36].

Румынский посланник Д. Гика, давая в своей депеше из Рима от 26 октября обзор итальянской прессы, отметил вежливый и любезный тон печати в отношении Болгарии. По его наблюдениям, "царь Фердинанд служит громоотводом для молний здешних газет: болгарский народ представляется как жертва своего суверена, брошенная в схватку вопреки интересам Болгарии". Констатируя, что характерной чертой итальянской прессы в общем является скрытность, Гика отмечал, что в данном конкретном случае она тем не менее открыто выражала свое сожаление по поводу разрыва "сердечных" отношений с Болгарией и без обиняков писала, что Болгария все же остается инструментом, которым в недалеком будущем можно будет воспользоваться против Греции и Сербии[37].

Неповоротливей всех оказалась российская государственно-бюрократическая машина. Лишь 18 октября подготовленный текст царского манифеста об объявлении войны Болгарии был направлен на подпись Николаю II в Могилев[38]. Для того чтобы как-то оправдаться перед союзниками за собственную нерасторопность и создать хоть какую-то видимость синхронности в действиях держав Антанты, председатель Совета министров престарелый И.Л. Горемыкин, телеграфируя царю текст манифеста, просил разрешения на его опубликование с пометкой *от 18 октября. Оригинал же документа отправлялся почтой.* Царь одобрил содержание манифеста, о чем и телеграфировал Горемыкину вечером того же дня. 19 октября в "Собрании узаконений и распоряжений правительства" он был опубликован, а фактически подписан только 20-го[39]. Такая затяжка вызвала ненужную нервозность у

союзников, причем нервничавшему Палеологу в ведомстве на Певческом мосту солгали, сказав, что манифест якобы отправлен в Ставку еще 17-го, и эту неверную информацию он поспешил передать в Париж в 1 час 55 минут ночи на 18 октября для того, чтобы успокоить свое правительство[40]. В нижней палате французского парламента депутат Виолетт даже сделал запрос Вивиани, почему Россия до сих пор не объявила войну Болгарии[41].

В манифесте была заклеймена "измена Болгарии славянскому делу" и не совсем правдиво, на наш взгляд, указывалось, что якобы союзные великие державы обеспечили Болгарии "исполнение давних стремлений болгарского народа – присоединение Македонии". Далее говорилось, что "русский народ с тяжким сердцем обнажает против Болгарии меч, предоставляя судьбу изменников славянства справедливой каре Божией"[42]. В правительственном сообщении, которым сопровождался манифест, собирались сказать много нелестного по адресу "поработившего" Болгарию "немецкого принца", который "30 лет стоял между Россией и Болгарией". Но, как записал в своем дневнике Поливанов, «у читателя, не лишенного чувства справедливости, впечатление от этих слов невольно создавалось иное, и притом нелестное по отношению к творчеству нашей собственной политики... А потому и конец "сообщения", гласивший: "И ныне, когда Болгария приносится в жертву германскому коварству, Россия все еще не утратила надежды, что рука верных своим историческим заветам болгар не поднимется на сыновей русских воинов, легших костьми за Болгарию", – этот патетический конец, – продолжал Поливанов, – был лишь фразой без практического содержания, ибо болгарское войско и бо́льшая часть народа останутся верны тем заветам, которые внедрялись в них настойчиво в течение последних 30 лет»[43].

С точки же зрения чисто юридической данная форма объявления войны – царским манифестом, без использования традиционных в такого рода случаях дипломатических нот – была небезупречной и поставила Россию в несколько двусмысленное положение. Может быть, это было обусловлено тем, что Франция и Великобритания официально известили Болгарию о своем решении через нейтралов – через Нидерланды и Швецию соответственно – и телеграммы об этом были получены в Софии 18 октября. В России же ни одна миссия какого-либо нейтрального государства не была уполномочена принять на себя защиту болгарских интересов[44]. Так или иначе, даже 25 октября, т.е. неделю спустя после опубликования манифеста, генеральный директор МИД Греции запросил посланника Е.П. Демидова, находится ли все-таки Россия в войне с Болгарией, ибо, за исключением последнего, все посланники держав Антанты в Афинах сразу же сделали официальные заявления о состоянии войны между их странами и Болгарией. Демидов же, монархист до мозга костей, из верноподданнической робости даже не просил свое начальство прояснить двусмысленность этой ситуации, а лишь констатировал ее[45].

Итак, рассмотрев непосредственные международно-правовые последствия вступления Болгарии в войну, проследим теперь, как реагировала общественность в странах антантовской коалиции на это событие. Первую реакцию можно охарактеризовать двумя словами: шок и растерянность. Хотя вроде бы предстоящее вступление Болгарии в войну на стороне германского блока для всех на протяжении нескольких недель уже было делом решенным и вопрос стоял лишь о его дате, тем не менее в дипломатических канцеляриях, в прессе, в политических клубах это произвело эффект разорвавшейся бомбы. В России, по словам Сазонова, эта новая "измена" Фердинанда, вторая с 1913 г., вызвала всеобщее негодование[46]. Сам же Сазонов, как вспоминает Михайловский, был искренне удивлен, что Болгария не испугалась угрозы войны с Россией и все-таки напала на Сербию[47].

Пресса всех великих держав Антанты пыталась объяснить "измену" Болгарии доводами морально-этического порядка. Помимо трафаретных выражений о "вероломстве" и "германофильстве" самого Фердинанда, зачастую выводы политических обозревателей граничили с расизмом, ибо причина нередко виделась ими в особенностях этногенеза болгарского народа и его менталитета, социально-психологического облика, в котором татаро-монгольские черты якобы подавили первичное положительное славянское начало и превратили его в форпост азиатского варварства в цивилизованной Европе. Кроме этого, трубила антантовская печать всех мастей, тевтоны умело использовали такие общие для них и для болгар качества, как хитрость, алчность и безмерная грандомания[48]. Таким образом, началась "газетная война" между Болгарией и странами Антанты, которая, то затухая, то разгораясь вновь в зависимости от обстоятельств, продолжалась вплоть до завершения мирового конфликта. В таких странах, как Великобритания, Франция, в меньшей степени Италия, где пресса была не только рупором общественного мнения, но и в значительной степени способствовала его формированию, где были развиты традиции парламентской демократии и общественность оказывала немалое влияние на определение и реализацию внешнеполитического курса соответствующих правительств, такой негативный имидж болгар держался до самого конца войны и даже после нее.

Хотя в России, имевшей к тому времени лишь весьма краткую парламентарную традицию, общественное мнение такой значимости не достигло, но по причинам историческим (многовековые контакты русского и болгарского народов, их этническая, культурная, языковая и религиозная близость, роль России в освобождении Болгарии от турецкого ига и т.д.) возмущение и негодование общественности здесь получило не меньший, а даже больший резонанс, чем в других союзных странах. С этого момента и вплоть до Октябрьской революции 1917 г. в России именно эмоционально-психологический фактор в ущерб трезвому расчету оказывал гораздо большее влияние на процесс принятия важнейших внешнеполитических решений, связанных с Болгарией, чем в какой-либо другой стране Четверного согласия.

Наряду с болгарами объектом упреков стали дипломатия союзников в каждой стране в целом и ее ответственные руководители в частности. Первой жертвой стал Делькассе, подавший в отставку еще 13 октября.

Хотя в значительной степени его уход был вызван пережитой личной трагедией – смертью сына, главной причиной тем не менее был болгарский "прокол" дипломатии Кэ д'Орсе[49]. Его атаковали со всех сторон такие несхожие друг с другом политики, как коллеги по кабинету Р. Вивиани и А. Бриан, а также парламентский ниспровергатель всех кабинетов "Тигр" и будущий "отец победы" Ж. Клемансо. 13 октября проходило одно из самых бурных заседаний французской палаты депутатов за всю ее историю. Оправдания Вивиани сводились к констатации обреченности союзнической дипломатии в переговорах с болгарами, ибо Болгария предъявляла территориальные претензии на всех четырех границах за счет всех четырех своих соседей. Тем не менее одним из ключевых моментов речи французского премьера была данная им Сербии, Греции и Румынии гарантия сохранения в силе Бухарестского договора 1913 г. Данной аргументацией первоклассный оратор Вивиани стремился доказать невозможность развязывания гордиева узла межбалканских противоречий дипломатическим путем, а также убедить всех в необходимости и неизбежности разрубить его посылкой французских войск в Салоники для оказания помощи Сербии[50]. После отставки Делькассе Вивиани сохранил за собой портфель министра иностранных дел, но удержаться в обоих креслах ему удалось на протяжении чуть более двух недель. Если Делькассе "угробила" болгарская неудача, то Вивиани был "придавлен" ее эхом.

После вступления Болгарии в войну от Фердинанда отвернулись представители французской аристократии, с которой он до этого поддерживал прочные и регулярные связи. Показателен в этом смысле пример с графом Р.де Бурбулоном, с 1887 по 1904 г. являвшимся личным секретарем Кобурга, затем церемониймейстером и маршалом двора. В сентябре 1915 г., в последний момент, под занавес завершавшейся борьбы между двумя воюющими блоками за Болгарию, де Бурбулон пытался с ведома Делькассе и родственника Фердинанда бельгийского короля Альберта организовать поездку в Болгарию другого его родственника, герцога де Вандома. Последний должен был сделать Болгарии новые предложения от имени Антанты. Присоединение страны к Центральной коалиции сделало подготовку этой поездки бессмысленной, а со вступлением Болгарии в войну рухнули последние надежды де Бурбулона. Он был глубоко разочарован безрезультатностью своих многолетних усилий по сближению Франции и Болгарии. Впрочем, задолго до наступления неожиданной для него развязки он констатировал постепенное нарастание германско-австрийского антуража в окружении болгарского суверена, а также и резкое ослабление "французской линии" при болгарском дворе после смерти в 1907 г. матери Фердинанда, Клементины Орлеанской, дочери последнего французского короля Луи-Филиппа[51].

В эти тяжелые для его родины времена испытаний де Бурбулон остался прежде всего французом, патриотом. Поэтому он и решил публично объявить о своем разрыве с болгарским царем. В ряде писем, отправленных им видным представителям Бурбонско-Орлеанской династии, де Бурбулон заявлял, что поведение Болгарии и ее монарха

вынуждает его, как бы ни было ему тяжело, порвать все связи с Кобургом, который со своей стороны тоже окончательно распрощался с ним 8 октября через французского посланника А. Панафье, покидавшего Болгарию. Де Бурбулон писал: "Несмотря на боль, которая разрывает мое сердце, я решил расстаться с государем, которому был счастлив посвятить на протяжении 28 лет свою глубокую признательность"[52]. Те же мысли и настроения граф выразил в интервью газете "Фигаро" 28 октября. Оно заканчивалось такими словами: "Сохраняя с настоящего момента только воспоминания о своих связях с царем, мне не остается ничего другого, кроме как держаться в стороне и беспомощно наблюдать моральное, а может быть, даже и материальное разрушение того дела, которому я посвятил бо́льшую часть своей жизни"[53]. Как свидетельствует генеалогическое древо Фердинанда, кровно он был связан с Францией не меньше, чем с Германией[54]. Во время прощальной аудиенции Панафье Фердинанд, сентиментальность которого была хорошо известна всем, кто его близко знал, заявил: "Я не могу забыть, что в моих жилах течет французская кровь, и Вы мне поверите, когда я высказываю свое сожаление по поводу того, что дела между мной и Францией зашли так далеко. Как француз (! – *Г.Ш.*), я очень сожалею об этой войне, которая очень дорого обойдется Франции. ...Когда приедете в Париж, посоветуйте там быть благоразумными"[55].

Что касается Бельгии, правящая династия которой тоже была связана с Кобургом тесными родственными узами, то она разорвала дипломатические отношения с Болгарией еще 6 октября, причем в официальном сообщении правительства, находившегося тогда в эмиграции на французской территории, в Гавре, подчеркивалось, что этот разрыв не означает состояния войны[56].

В Лондоне также не обошлось без парламентской бури. Грей, который в решающие моменты "болгарского лета" пытался, к неудовольствию Сазонова, взять ход переговоров с Болгарией и Сербией в свои руки, теперь, отбиваясь от нападок, всю вину за их провал возлагал на Россию и Сербию. Это обвинение поддержал глава кабинета Г. Асквит, который без обиняков так и написал в своем докладе королю Георгу V[57]. В отделе печати и осведомления российского МИД нападки на Грея квалифицировали как "небывалую в истории английской журналистики травлю"[58].

Как явствует из дневника лорда Ф. Берти, британского посла в Париже, он тоже во всем обвинял российскую дипломатию и ее руководителя, а также своих коллег из Форин оффис, которые якобы пошли у него на поводу. "Очень больно, что мы оказались такими идиотами и были так одурачены", – написал Берти; при этом он самодовольно добавил: "Я не принадлежал к числу верующих в успех такой политики"[59].

Сам же Сазонов, судя по его мемуарам, тоже переживал тогда далеко не лучшие свои дни[60]. Его атаковали со всех сторон. Императрица Александра Федоровна, никогда особенно не отличавшаяся взвешенностью оценок, в письме своему августейшему супругу назвала

министра "мокрой курицей", настаивая на его увольнении и чистке ведомства на Певческом мосту. "Мое мнение: наших дипломатов следовало бы повесить", – писала она с раздражением[61]. Правда, досталось от Александры Федоровны не только Сазонову, но и "подлой", как она изволила выразиться, Болгарии: "Черт побери эти балканские государства! Россия всегда была для них любящей матерью, а они изменили ей и сражаются с ней"[62].

С резкими нападками обрушилась на Сазонова правая пресса во главе с полуофициозным "Новым временем", где выделялись зубодробительные статьи профессора международного права А.А. Пиленко. Он требовал отставки министра[63]. Но наиболее обескураживало Сазонова то, что, по его словам, даже "те общественные круги, где к вопросам внешней политики относились вообще более объективно и спокойно, порицали недостаток бдительности, проявленный... к такому, первостепенной важности, фактору, как Болгария, в европейской войне, разгоревшейся на почве балканского вопроса"[64]. Имелись в виду кадеты и их газета "Речь", на страницах которой на протяжении всего болгарского "кризиса" и признанный руководитель партии П.Н. Милюков, и лидер ее правого крыла П.Б. Струве оказывали Сазонову моральную поддержку, признавая, что его положение в болгаро-сербском вопросе было "не только трудным, но и безысходным"[65]. По признанию министра, упреки с их стороны были для него тем более чувствительны.

Ситуация осложнялась тем, что дипломатическое поражение Сазонова в болгарском вопросе по времени совпало с пиком той длительной борьбы, которую он вкупе с другими либеральными членами кабинета вел в правительстве против "ихтиозавров"-реакционеров во главе с Горемыкиным. Еще 28 сентября, через два дня после роспуска Государственной думы, шесть министров обратились к Николаю II с коллективным письмом, умоляя его изменить направление внутренней политики; министры также заявляли, что для них невозможно впредь работать вместе с Горемыкиным. Всех их царь вызвал в Ставку, где им было сказано, что он не может позволить своим министрам вмешиваться в дело выбора председателя Совета министров. Так как адрес на конверте письма был написан Сазоновым, императрица именно его считала главой заговора[66]. Теперь же у посвященных складывалось впечатление о как будто бы правоте Александры Федоровны: Сазонов слишком увлекался внутренней политикой, или, по ее словам, "постоянно совал свой длинный нос не в свое дело", а во внешней совершил такую оплошность, допустив выступление Болгарии. Этой болгарской ошибки ему при дворе не простили и, связав его настойчивость в еврейском и польском вопросах с невниманием в болгарском, пришли к заключению, что Сазонов любит вмешиваться в чужие дела, а свои собственные ведет неважно. Его положение становилось шатким. Со второй половины октября усилились слухи о предстоящей отставке министра иностранных дел и замене его бывшим послом в Вене Н.Н. Шебеко (креатурой великого князя Николая Николаевича) или Н.В. Чарыковым[67].

Сазонов был вынужден подать царю прошение об отставке,

обосновывая ее расхождениями с Горемыкиным по вопросам внутренней политики. И в этот решающий момент на выручку своему испытанному стороннику пришла британская дипломатия в лице посла в Петрограде Дж. Бьюкенена. Последний учтиво намекнул Николаю II, что в глазах Лондона Сазонов остается самой прочной гарантией сплоченности союза между Россией и Великобританией. Этого было достаточно. Император не принял отставку, а Бьюкенену заявил, что якобы даже и не имел намерений производить какие-либо перемены в составе правительства[68].

Сазонову же, хотя он пока и удержался в своем кресле, все-таки пришлось произвести некоторые передвижки в ведомстве на Певческом мосту. Сделать это было для него непросто, ибо по всему складу своего характера Сергей Дмитриевич был человеком, для которого личные отношения играли огромную роль в его правительственной деятельности. Несмотря на то что некоторые его подчиненные считали, что их принципал сам был во многом виноват, министр во всем обвинил членов российской миссии в Софии. "Козлом отпущения" стал Саблер, неудачливый вручитель российского ультиматума, который был засажен в самый скучный отдел II (консульского) департамента и не смел появляться на глаза начальству[69].

Несколько иначе решился вопрос с К.Н. Гулькевичем, занимавшим пост начальника Ближневосточного отдела МИД – один из важнейших в министерстве. Гулькевич, несший свою долю вины за болгарскую неудачу, но сумевший убедить Сазонова, что во всем виновата российская миссия в Софии, ушел из своего департамента с повышением, получив пост посланника в Христиании. По мнению Михайловского, "Сазонов не мог иначе поступить, ибо... он сам своей идеологической позицией в вопросе о допущении превентивного нападения Сербии на Болгарию всецело поддержал Гулькевича своим авторитетом, и Гулькевич виноват только в том что, как исполнительный чиновник и карьерист, делал угодное начальству, не заботясь о последствиях для России"[70].

Все-таки некоторые уроки из болгарского поражения Сазонов извлек для себя. На всем протяжении болгарского кризиса, не желая испортить отношений с Гулькевичем, он, имея под рукой такого знатока балканских хитросплетений, и в частности сербско-болгарских отношений, как А.М. Петряев (в течение ряда лет консул в Македонии и проводник там европейских реформ, он знал отлично всю этнографическую подноготную македонского вопроса), ни разу не обратился к нему за советом[71]. Теперь же, когда болгарский "поезд" безнадежно ушел, Петряев был назначен начальником Ближневосточного отдела. Надо было случиться такой катастрофе, как русско-болгарская война, чтобы это давно необходимое назначение наконец состоялось. Для Сазонова и его преемников на министерском посту оно оказалось исключительно важным, ибо повышалось качество предварительной экспертизы в процессе разработки внешнеполитических решений, касавшихся Балкан. Так же как и его товарищ по "болгарскому" несчастью Грей, Сазонов не был достаточно просвещен в балканских

вопросах; обоих эти проблемы раздражали, ибо, по их представлениям, отвлекали от более важных дел и несли с собой только неприятности. Поэтому каждый из них после неудачи с Болгарией осознал необходимость для себя хотя бы вполуха прислушиваться к мнению специалистов.

Такими "сотрясениями" отозвалось вступление Болгарии в войну за толстыми стенами роскошного министерского особняка на Английской набережной в Петрограде. Что же касается настроений в широких кругах российского общества, то, может быть, наиболее ярко, хотя и несколько упрощенно их обрисовал человек "с другой стороны". Управляющий болгарским консульством в Одессе Д. Янакиев, готовившийся к отъезду на родину, в те дни записал: «Гром среди ясного неба! Болгария вступила в войну против России! Все бранные слова и обвинения на Болгарию до сих пор сыпались за то, что она не пошла спасать Сербию и помогать России, а теперь – о небо! – она осмелилась идти против России... Сейчас уже вся Россия оскаливалась и грозила кулаком Болгарии – частное должно быть принесено в жертву общему. Как это болгары могут иметь свои цели вне славянства? Они должны быть наказаны и будут наказаны. И офицеры и солдаты уже шли на "болгарский фронт". Такового еще нигде не было, но они были уверены, что он есть, – так им было сказано. А идти воевать на "болгарский фронт" считалось уже геройством, подвигом.

Но еще не все потеряно, болгарский народ не послушает свое правительство, не пойдет. Таковы последние сведения из Болгарии, ведь именно это стремились подчеркнуть правительственные коммюнике, которые по своей наивности и бессмысленности не имеют себе равных ни в одном дипломатическом архиве. В Болгарии будет революция – в это верят и об этом говорят даже серьезные люди, но вместо революции они видят разгром сербской армии, падение Венизелоса, пассивное поведение Румынии и окончание Дарданелльской операции»[72].

По иронии судьбы эта заметка Янакиева о всеобщем смятении умов в России была опубликована спустя три года, когда Болгария переживала собственную национальную катастрофу и бесславное окончание так удачно, казалось бы, начатой войны. Но в октябре 1915 г. в София об этом еще никто не подозревал. Резолюция Фердинанда на официальной телеграмме об объявлении Великобританией войны Болгарии была лаконичной, но весьма выразительной: "Amen!"[73] Все тогда представлялось ему в розовом свете – так он был уверен в окончательной победе Центральных держав и примкнувшей к ним Болгарии. Но жизнь перечеркнула все расчеты Кобурга и Радославова. Став членом германской коалиции, Болгария оказалась участницей трехлетней ожесточенной борьбы с державами Антанты, которая рано или поздно, но неминуемо должна была одержать победу. Вступив в лагерь обреченных, через три года Болгария испила до дна горькую чашу поражения.

[1] См. подробнее: *Нотович Ф.И.* Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны. Т. I. Потеря союзниками Балканского полуострова. М., 1947; *Илчев И.* България и Антантата през Първата световна война. София, 1990; *Влахов Т.* Отношения между България и Централните сили по време на войните (1912–1918). София, 1957; *Лалков М.* Балканската политика на Австро-Унгария (1914–1917). София, 1983; *Марков Г.* Голямата война и българският ключ за европейския погреб 1914–1916. София, 1995.

[2] См.: *Шкундин Г.Д.* Динамика болгарских военно-политических целей в ходе первой мировой войны // Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1991. С. 5–42.

[3] Дипломатически документи по намесата на България в Европейската война (далее – ДД). Т. I–II. София, 1920. Т. I. С. 680–700; *Кесяков Б.Д.* Принос към дипломатическата история на България. 1878–1925. София, 1925. С. 71–74.

[4] ДД. Т. I. № 1096. С. 614.

[5] Международные отношения в эпоху империализма (далее – МОЭИ). Сер. III. Т. 8. Ч. 2. № 831; Царская Россия в мировой войне. Л., 1926. Т. I. С. 140.

[6] *Михайловский Г.Н.* Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914–1920. Кн. 1. Август 1914 – октябрь 1917. М., 1993. С. 129; *Палеолог М.* Царская Россия во время мировой войны. М., 1991. С. 217.

[7] *Михайловский Г.Н.* Указ. соч. С. 128.

[8] МОЭИ. Сер. III. Т. 8. Ч. 2. № 855; Царская Россия... С. 141–142.

[9] МОЭИ. Сер. III. Т. 8. Ч. 2. № 854, 855.

[10] Русские ведомости. 1915. 24 сент. (7 окт.) и 25 сент. (8 окт.).

[11] *Porter Ch.* The Career of Théophile Delcassé. Westport (Connec.), 1975. P. 333–334.

[12] *Вачков Д.* Българската политика на страниците на парижкия всекидневник "Тан" (август 1914 – октомври 1915 г.) // Исторически преглед. 1994–1995. № 1. С. 160.

[13] Цит. по: *Илчев И.* Указ. соч. С. 208.

[14] МОЭИ. Сер. III. Т. 8. Ч. 2. № 750; Царская Россия... С. 140.

[15] Российский государственный архив Военно-Морского Флота (далее – РГА ВМФ). Ф. 418. Оп. 1. Д. 3493. Л. 100.

[16] Там же.

[17] *Палеолог М.* Указ. соч. С. 220.

[18] Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 3779. Л. 145; *Сазонов С.Д.* Воспоминания. М., 1991. С. 287.

[19] РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3493. Л. 113.

[20] Российский государственный исторический архив. Ф. 909. Оп. 1. Д. 423. Л. 3.

[21] Там же.

[22] См. подробнее: *Шкундин Г.Д.* Антанта и проблема сепаратного мира с Болгарией летом и осенью 1917 г. // Болгарский ежегодник. Харьков–София, 1996. Т. II. С. 167–169.

[23] *Сазонов С.Д.* Указ. соч. С. 287.

[24] Об эволюции внешнеполитических взглядов Генадиева и ее весьма прозаических причинах см.: *Генадиев И.* Доклад до Министерския съвет по мисията ми в странство през 1915 г. София, 1929; *Илчев И.* Указ. соч. С. 145–147; *Нотович Ф.И.* Указ. соч. С. 685–688; *Дамянов С.* Деклозиеровата афера // Вскове. 1972. № 6. С. 28–40.

[25] *Дамянов С.* Съглашенската дипломация и проблемът за сепаративен мир с България през Първата световна война (1915–1918) // Юбилеен сборник в чест на академик Димитър Косев. София, 1985. С. 309.

[26] Научен архив на Института по история при БАН, Les Archives de Ministère des affaires etrangères, France (далее – НАИИ, AMAEF). Europe 1914–1918. Sér. A. Car. 381. Dos. 3. P. 241.

[27] МОЭИ. Сер. III. Т. 8. Ч. 2. № 915; НАИИ, AMAEF. Europe 1914–1918. Sér. A. Car. 381. Dos. 3. P. 238.

[28] Централен Държавен архив (далее – ЦДА). Ф. 176. Оп. 3. А.е. 228. Л. 5.

[29] МОЭИ. Сер. III. Т. 8. Ч. 2. С. 492. Примеч. 2; НАИИ. AMAEF. Europe 1914–1918. Sér. A. Car. 381. Dos. 3. P. 239.

[30] МОЭИ. Сер. III. Т. 7. Ч. 2. № 923.

[31] НАИИ, AMAEF, Europe 1914–1918. Sér. A. Car. 381. Dos. 3. P. 240.
[32] Ibid. P. 251–252.
[33] МОЭИ. Сер. III. Т. 8. Ч. 2. С. 498. Примеч. 2; *Радославов В.* Дневни бележки. 1914–1916. София, 1993. С. 166.
[34] НАИИ, AMAEF. Europe 1914–1918. Sér. A. Car. 381. Dos. 3. P. 250.
[35] ЦДА. Ф. 176. Оп. 3. А.е. 449. Л. 121; *Матеева М.* Дипломатически отношения на България. 1879–1944. С., 1976. Т. 1. С. 169.
[36] Epoca. 1915. 9(22) oct.
[37] Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României (далее – AMAER). F. 71/1914. E. 2. P. II-a. Vol. 21. P. 12–13; Giornale d'Italia. 1915. 20 oct; Idea Nazionale. 1915. 20 oct.
[38] *Лемке М.* 250 дней в царской Ставке. Пг., 1920. С. 139.
[39] Там же; *Палеолог М.* Указ. соч. С. 223.
[40] НАИИ, AMAEF. Europe. 1914–1918. Sér. A. Car. 369. Dos. 4D. P. 103.
[41] Ibid. P. 183–184.
[42] Русские ведомости. 1915. 7(20) окт.
[43] *Поливанов А.А.* Девять месяцев во главе Военного министерства (13 июня 1915 г. – 13 марта 1916 г.) // Вопросы истории. 1994. № 5. С. 127.
[44] ЦДА. Ф. 176. Оп. 3. А.е. 228. Л. 10; А.е. Л. 192.
[45] РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3493. Л. 146.
[46] *Сазонов С.Д.* Указ. соч. С. 281.
[47] *Михайловский Г.Н.* Указ. соч. С. 130.
[48] *Илчев И.* Указ. соч. С. 210.
[49] МОЭИ. Сер. III. Т. 9. № 74; *Becker J.-J., Bernstein S.* Victoire et frustrations 1914–1929. P., 1990. P. 56.
[50] ДД. София, 1921. Т. II. № 7, 29.
[51] *Бурбулон, граф Робер дьо.* Български дневници. София, 1995. С. 11–12.
[52] Там же. С. 13.
[53] Le Figaro. 1915. 28 oct.
[54] См.: *Константин С.* Фердинанд лисицата. София, 1992. С. 11.
[55] *Дюнан М.* Българското лято. София, 1993. С. 354–355; *Мадол Х.* Фердинанд, цар на българите. София, 1932. С. 137; *Savinsky A.* Reflections of a Russian Diplomat. L., 1927. P. 303.
[56] AMAER. F. 71/1914. E. 2. P. II-a. Vol. 5. P. 239.
[57] *Илчев И.* Указ. соч. С. 212.
[58] *Емец В.А.* Очерки внешней политики России. 1914–1917. М., 1977. С. 248.
[59] *Берти Ф.* За кулисами Антанты. М.; Л., 1927. С. 74, 91–92.
[60] *Сазонов С.Д.* Указ. соч. С. 285.
[61] *Мельгунов С.П.* Легенда о сепаратном мире. Париж, 1957. С. 208.
[62] Цит. по: *Писарев Ю.А.* Сербия на Голгофе и политика великих держав. 1916 г. М., 1993. С. 58; см. также: Письма императрицы Александры Федоровны к Николаю II. Т. I–II. Берлин, 1922. Т. I. № 119.
[63] *Сазонов С.Д.* Указ. соч. С. 285; ДД. Т. II. № 34.
[64] *Сазонов С.Д.* Указ. соч. С. 285.
[65] См., например: Речь. 1915. 9, 14 и 24 сент.; см. также статью П.Б. Струве в "Биржевых ведомостях" за 28 сентября 1915 г.
[66] *Бьюкенен Дж.* Мемуары дипломата. М., 1991. С. 160.
[67] МОЭИ. Сер. III. Т. 9. № 139. С. 135. Примеч. 1; *Михайловский Г.Н.* Указ соч. С. 147.
[68] Дневник МИД за 1915–1916 гг. // Красный архив. Т. 31. М., 1928. № 6 (20. X. 1915, 22. X. 1915).
[69] *Михайловский Г.Н.* Указ. соч. С. 46, 130–131.
[70] Там же. С. 132, 144.
[71] Там же. С. 131.
[72] Народни права. 1918. 25 септ. № 216.
[73] ЦДА. Ф. 176. Оп. 3. А.е. 228. Л. 5.

"ЧУДО-ОРУЖИЕ" И БОРЬБА ЗА МОРЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В.К. Шацилло

Война 1914–1918 гг. вполне обоснованно называется мировой. И не только потому, что в ней так или иначе участвовало большинство государств, но и из-за того, что боевые действия проходили в самых различных регионах Земного шара – от Фолклендских островов на южной оконечности Атлантического океана до полярных широт. Разумеется, что такой глобальный характер война не могла получить без участия в ней флотов противоборствующих стран.

Одной из главных причин, вызвавшей первую мировую войну, послужила борьба великих держав за колонии и сферы влияния. Соперники стремились устранить друг друга с международных рынков и еще больше расширить свое влияние в мире – на самые отдаленные регионы Земли. Такая задача не могла быть решена без сильного флота и, это хорошо понимали в столицах европейских государств. Начало нынешнего столетия оказалось временем форсированного строительства военно-морских сил в Англии, Германии, России, Франции, да и в Соединенных Штатах.

Подобное отношение к флоту объяснялось все растущей зависимостью экономики ряда стран от внешней торговли. С каждым днем увеличивались масштабы морских перевозок европейских государств, и океанские пути приобрели для многих из них жизненно важное значение как транспортные артерии, по которым осуществлялся не только сбыт готовой продукции, но что еще более важно, поставки стратегического сырья. Особенно велико было значение внешней торговли для двух основных соперников в войне – Англии и Германии. Вся структура британской промышленности была ориентирована на внешний рынок, на разбросанные по всему миру колонии и доминионы, разрыв этих связей означал бы неизбежный и быстрый крах для Лондона. Нормальное функционирование всех хозяйственных структур этой страны было немыслимо без сильного торгового и военно-морского флота.

Не в меньшей степени в надежных внешнеэкономических связях нуждалась и Германия, которая в начале XX в. по уровню промышленного производства обошла Англию и заняла второе, после США, место в мире. Стремительно росла зависимость немецкой экономики от внешних рынков, так что перед первой мировой войной на них реализовывалось около четверти всей промышленной продукции рейха.

Еще более Берлин нуждался в поставках сырья из различных стран мира. В самой Германии в достаточном количестве добывались лишь каменный уголь и калийные соли, в то время как черная металлургия на 66% зависела от импорта железной руды, цветная – на 90% от ввоза меди и на 50% свинца и цинка. Рейх практически полностью зависел от

© В.К. Шацилло

импорта таких стратегических товаров, как нефть, каучук, олово, вольфрам, молибден. Более того, имея современное высокоразвитое сельское хозяйство, Германия импортировала до одной трети необходимой ей пшеницы, свыше половины потребляемых ею жиров, мяса, рыбы и других продуктов первой необходимости[1]. Все это показывает, насколько важной для обоих государств была задача обеспечения надежности и безопасности морских транспортных связей.

Не случайно, что именно конец прошлого века был периодом необычайной популярности среди правящих политических и военных кругов мировых держав теории "морской мощи", авторами которой были американец А. Мэхэн и англичанин Ф. Коломб.

Согласно ей, военно-морскому флоту принадлежала решающая роль в любой войне, а завоевание господства на море рассматривалось как единственная цель, достижение которой означало не только победу над противником, но и приобретение победителем статуса мирового лидера. Из этой теории делался и практический вывод: дабы не допустить разрыва связей по линии метрополия – колонии, нужны большие линейные (артиллерийские) корабли. Эту точку зрения, казалось, подтверждал и предшествующий опыт ведения боевых действий на море. Например, потерпев поражение в битве при Цусиме и потеряв там практически весь флот, Россия проиграла и всю войну с Японией. То же самое можно сказать и об испано-американской войне 1898 г., в ходе которой американцы имели подавляющее преимущество на море.

Однако на использование флотов в разных странах смотрели по-разному. Извлекая выгоды из своего островного географического положения и превосходства в военно-морском вооружении, англичане традиционно делали ставку на подрыв экономики противника при помощи блокады.

Задачу же по уничтожению своих врагов на суше Лондон возлагал на своих европейских союзников, которые и несли на своих плечах основную тяжесть войны. Так было во время наполеоновских войн, так случилось и столетие спустя. В соответствии с этой военной доктриной и строились вооруженные силы Великобритании, в которых ВМС предписывалась роль основы могущества государства.

Военная доктрина германского рейха существенно отличалась от английской. Германия ставила перед собой в качестве основной задачи разгром своих врагов на суше, причем, по мнению немецких стратегов, таким сильным противникам, как Россия и Франция, могла противостоять только мощная и хорошо вооруженная сухопутная армия. Сознавая, что в ближайшее время Германия не сможет догнать Англию по количеству военных судов, что будет еще достаточно долго уступать и в качественных характеристиках флота, в Берлине делали ставку на молниеносную войну.

Говоря о подготовке мировых держав к войне на море, нельзя умолчать о перевороте в судостроении в 1906–1907 гг., имевшем серьезные последствия. Он был ознаменован спуском на воду в Англии линейного корабля нового типа – "Дредноута", намного превосходившего по всем параметрам свои аналоги. Дредноуты фактически обес-

ценили весь прежний флот, сведя к нулю не только значение эскадренных миноносцев, но и броненосных крейсеров. Таким образом, создание линейных кораблей – дредноутов имело огромное военно-стратегическое значение, ибо дало старт гонке военно-морских вооружений с новой точки отсчета и тем самым вселило надежду в руководство не только Германии, но даже России и других стран в попытках догнать Великобританию.

Накануне первой мировой войны Великобритания располагала 20 дредноутами (причем еще 12 находились в постройке), 9 линейными крейсерами (в постройке был один), 40 линкорами додредноутского типа, 98 эскадренными миноносцами, в то время как Германия имела 14 дредноутов (5 строились), четыре линейных крейсера (строились три), 20 старых линкоров и 97 эскадренных миноносцев. ВМС России, Франции, Италии, Австро-Венгрии и Японии значительно уступали силам этих двух стран[2]. Таким образом, численный состав флотов противоборствующих группировок был явно в пользу Антанты.

Исходя из численности военно-морских сил и географического положения той или иной страны, различались и планы ведения боевых действий, разработанные штабами европейских государств. Так, в одобренных еще накануне первой мировой войны планах британского адмиралтейства предусматривалась в качестве основной задачи не борьба за полное уничтожение германского флота, а экономическая блокада рейха и обеспечение безопасности морских транспортных путей Британии и ее союзников[3].

Суть же немецкого оперативного плана в том виде, в каком он оформился к августу 1914 г., состояла в следующем: нанесение потерь английскому флоту, несущему дозор или осуществлявшему блокаду в Северном море, наступательные минные операции, а при возможности, и активные действия подводных лодок. После того, как подобным образом удастся достичь равновесия сил флотов двух стран – вступление в бой с противником и, наконец, ведение торговой войны в соответствии с призовым правом[4].

Что же касается флотов других воюющих стран, то в силу прежде всего географических причин их задачи носили локальный характер. Так, флот России, хотя ему и предписывалось ведение активных боевых действий, с первых же дней войны оказался фактически закупоренным в Черном море и на востоке Балтийского и вынужден был выполнять лишь вспомогательные функции по охране побережья.

Перед французскими ВМС стояла задача защиты побережья и сообщений в Средиземном море, недопущения выхода австро-венгерского флота из Адриатического моря, а также блокирования итальянского флота в случае участия Рима в войне на стороне Центральных держав. При этом на помощь французам должны были прийти и англичане.

Основной задачей главного противника Антанты в районе Средиземного моря – Австро-Венгрии – считалась оборона побережья империи от угрозы вторжения сил противника и блокада Черногории[5].

Что до подводных лодок, то их строительство стало включаться с

конца XIX в. в военно-морские программы всех крупнейших государств, хотя они были новым видом оружия и мало что было известно об их потенциальной силе. У Германии, например, вообще не было четких идей относительно их использования. Какая сила находится в их руках, в немецком адмиралтействе по-настоящему поняли лишь 2 сентября 1914 г., когда командир подводной лодки "U-9" О. Веддиген за полчаса потопил три английских крейсера: "Абукир", "Хог" и "Кресси". По сути, это было второе рождение самого мощного и по сей день вида оружия в истории человечества – подводного флота.

Впечатляющий успех действий немецких подводных лодок в первые же дни войны, как уже отмечалось, оказался полной неожиданностью для немцев. К 1914 г. Германия обладала лишь 20 субмаринами, в то время как Англия – 47, Франция – 35[6]. Это было крайне недостаточно для ведения эффективной подводной войны.

Первый конкретный план участия немецких подводных лодок в войне на море, в том числе и торговой войне, в начале октября 1914 г. представил командир имперского подводного флота корвет-капитан Х. Бауэр[7]. Однако тогда он был отклонен шефом адмиралтейства адмиралом Г. фон Полем из-за боязни обвинений со стороны нейтралов в нарушении международного права на море[8]. Ситуация в этом смысле изменилась после 2 ноября 1914 г., когда Англия, презрев существовавшие международные нормы, объявила все Северное море районом боевых действий. Фактически это означало блокаду Центральных держав. Действия Великобритании по блокаде побережья Германии однозначно нарушали Лондонскую декларацию 1909 г., которая предусматривала право для нейтральных государств вести торговлю с воюющими странами лишь с небольшими ограничениями.

Следует особо подчеркнуть, что, сделав ставку на блицкриг, немцы явно недооценили возможных последствий экономической блокады для своей страны и не подготовили никаких эффективных мер против действий английского флота. В стране не были разработаны планы мобилизации сельского хозяйства и промышленности на случай войны, не имелось стратегических резервов. Все это создавало хорошие условия для успеха блокады Центральных держав.

В 1915 г., когда центр тяжести военных действий переместился на восток Европейского континента, создались еще более благоприятные предпосылки для усиления блокады Германии, причем теперь в Лондоне сделали упор на сокращение перевозок из нейтральных стран в рейх. Сначала Голландия, а затем и другие европейские нейтральные страны под сильным давлением Англии заключили с Лондоном соглашения о сокращении своих внешнеторговых операций до объема внутренних потребностей. Эти меры Великобритании дали о себе знать достаточно быстро: уже 1 февраля 1915 г. германское правительство решило реквизировать у крестьян все запасы зерновых продуктов и установило нормы выдачи хлеба своим гражданам.

С другой стороны, крейсерская война, на которую вначале сделали ставку в Берлине, провалилась довольно скоро. Так, к началу 1915 г. англичанам удалось фактически ликвидировать все немецкие крейсера,

находившиеся в мировом океане: в декабре 1914 г. была разгромлена в бою у Фолклендских островов эскадра Шпее – самое крупное соединение немцев в зарубежных водах, еще раньше были потоплены крейсера "Карлсруэ", "Кайзер Вильгельм дер Гроссе", "Эмден" и др., действовавшие в одиночку на морских просторах и доставлявшие немало хлопот союзникам. Последним в августе 1915 г. на Мадагаскаре был уничтожен крейсер "Кенигсберг", который, правда, уже больше года был заперт в устье одной из рек на этом острове. Последующее появление в океане немецких крейсеров носило эпизодический характер и было, по существу, пропагандистской авантюристической операцией, которая не могла нанести ущерба для морской торговли союзников.

Успехи Англии в ведении войны на море заставили немецких моряков вспомнить об успешных действиях своих субмарин. Теперь уже шеф Адмиралтейства рейха решительно потребовал объявления неограниченной подводной войны, однако на сей раз возражения поступили со стороны канцлера Бетман-Гольвега и немецкого МИД. Они посчитали, что хотя торговая война при помощи субмарин в принципе приемлема, в данной политической ситуации она может привести к осложнениям в отношениях с нейтральными державами, прежде всего с США и Италией. В итоге 9 января 1915 г. кайзер решил временно отложить начало подводной войны[9].

Говоря о германо-английской борьбе на море в годы первой мировой войны необходимо подчеркнуть, что все ссылки обеих сторон на международное право или ущемление интересов нейтралов были чистейшей воды лицемерием. И Англией, и Германией война велась теми способами, какие им были удобней, и с использованием тех видов вооружения, в которых они имели преимущество, будь то подводные лодки или дредноуты. Все прочие соображения начисто отвергались.

Уже с конца января 1915 г. соотношение сил в военной верхушке Германии стало меняться в пользу сторонников решительных действий. Важным фактором в перемене позиции Адмиралтейства относительно подводной войны стало мнение о том, что нараставшие с каждым днем поставки зерна из Аргентины в Англию существенно укрепляли жизнеспособность последней. При этом реакция нейтралов уже не принималась в расчет. Более того, по мнению высокопоставленных флотских офицеров, решительные действия Германии непременно оттолкнут их от попыток любой торговли с Лондоном[10].

К этому времени военные уже окончательно осознали, насколько мощным оружием оказались подводные лодки. Создатель немецкого флота А. фон Тирпиц, делавший ранее ставку на строительство крупных надводных кораблей, теперь повел активную пропаганду в пользу беспощадной подводной войны. Его поддержала и значительная часть общественности Германии, возмущенной блокадой страны англичанами, от которой в большой степени страдало гражданское население.

Результатом подобного развития событий стала декларация кайзера Вильгельма от 4 февраля 1915 г., согласно которой все воды вокруг Британских островов объявлялись зоной войны, где через две недели будут уничтожаться все вражеские торговые суда без гарантий

спасения их экипажей и пассажиров. В связи с тем, что английские суда часто использовали флаги других государств, нейтральные страны были предупреждены об опасности плавания в этих водах. Вильгельм, впрочем, заявил о готовности снять блокаду сразу же после того, как так же поступит Лондон в отношении Германии.

Решение о начале "ограниченной" подводной войны базировалось на неверной информации, представленной канцлеру относительно реакции на этот шаг немцев со стороны нейтральных стран. Она содержала данные о том, что нейтралы молча проглотят пилюлю и сильного противодействия с их стороны опасаться не следует, осложнений с Вашингтоном не будет, а на уступки можно пойти после вступления плана в силу[11].

Реакция же американцев долго себя ждать не заставила. Уже 12 февраля, т.е. до начала блокады, посол в Берлине Дж. Джерард передал министру иностранных дел Германии фон Ягову ноту своего правительства, в которой создавшаяся ситуация была оценена как "прискорбная", и было подчеркнуто, что "правительство Соединенных Штатов будет вынуждено призвать имперское германское правительство к строгой ответственности за подобные акты своих военно-морских властей и предпримет любые необходимые шаги для защиты жизни американцев, их собственности и обеспечения американским гражданам полного удовлетворения их признанных прав на морях"[12]. Через неделю об опасности ухудшения германо-американских отношений из-за подводной войны предупредил также и посол Германии в Вашингтоне граф Бернсторф, заявивший, что "уничтожение американских судов может привести к чрезвычайно рискованному возбуждению, которое будет иметь самые тяжелые последствия"[13].

Негативная позиция нейтральных держав в вопросе о подводной войне оказалась неожиданностью для Берлина. Крайне неблагожелательная реакция США, в частности, показывала, что в защите своих прав на морскую торговлю с Европой они готовы пойти весьма далеко. И это неудивительно – постоянный рост поставок вооружения Лондону делал обеспечение безопасного судоходства в Европу одной из основных задач американского правительства, подводная же блокада могла нанести серьезнейший удар по экономическим интересам крупных промышленных и сельскохозяйственных кругов Америки.

Но в самой Германии подводную войну единодушно рассматривали как естественную ответную меру на политику "удушения голодом" со стороны Англии и одностороннего нейтралитета Вашингтона. В связи с этим Берлину было трудно отказаться от своей политики даже несмотря на возможность ухудшения американо-германских отношений.

16 февраля послу США в Берлине Джерарду была передана ответная нота имперского правительства. Нота была составлена под диктовку адмиралтейства. Берлин весьма настойчиво подчеркивал свое фундаментальное право на ведение торговой войны при помощи подводных лодок в ответ на блокаду Германии английским флотом[14]. Одновременно, правда, канцлер Бетман-Гольвег издал 14 февраля приказ, существенно ограничивающий свободу действий в отношении

торговых судов нейтральных стран со стороны капитанов субмарин. Осторожность, проявляемая к американским торговым судам, несколько улучшила находившиеся в весьма напряженной ситуации после объявления Берлином подводной войны германо-американские контакты. "Наше нынешнее дипломатическое положение в последнее время значительно улучшилось", – сообщал из Вашингтона 11 марта граф Бернсторф[15].

Германо-американские противоречия, вызванные подводной войной, обрели новый ракурс с 28 марта 1915 г., когда немцами был потоплен британский пароход "Фалаба", на борту которого находился один американский гражданин – некто Фрезер. В правящих кругах Вашингтона после этого инцидента развернулась острая политическая борьба по поводу возможной формы реагирования между государственным секретарем У. Брайаном и советником государственного департамента Р. Лансингом. По сути, они олицетворяли два различных подхода не только к перспективам развития германо-американских отношений, но и к стратегии США в европейском конфликте вообще[16].

Линия Брайана на сохранение строгого нейтралитета долгое время вполне устраивала американского президента, особенно в конце 1914 – начале 1915 г., когда он активно выступал с предложениями воюющим державам о посредничестве. И хотя с начала весны 1915 г. Вильсон перешел на более жесткие позиции в мировом конфликте, случай с "Фалабой" было решено свести к единичному инциденту и оставить без последствий. Впрочем, Джерард отправил немцам по этому поводу ноту протеста.

Однако в мае 1915 г. произошло событие, не только значительно обострившее американо-германские отношения, но и впервые за время войны поставившее в реальную плоскость вопрос о присоединении США к Антанте: 7 мая немецкой подводной лодкой было потоплено британское пассажирское судно "Лузитания", на борту которого находились 1200 человек, 128 из них – американские подданные. Объективности ради надо отметить, что "Лузитания" была до предела напичкана боеприпасами, а потому сразу же после попадания торпеды взорвалась и быстро пошла ко дну.

Гибель "Лузитании" вызвала бурю негодования в Соединенных Штатах. Практически все средства массовой информации развернули мощную антигерманскую кампанию[17]. «Дело "Лузитании" вызвало здесь, бесспорно, неслыханное возбуждение и развязало чрезвычайно враждебные Германии настроения. Это возбуждение распространяется не только на биржевые круги, которые вследствие этого случая потеряли деньги, но особенно на часть публики», – сообщал немецкий консул в Нью-Йорке[18].

Май 1915 г. был крайне неблагоприятным для Германии периодом в ее конфликте с нейтральными странами. Вступление в войну на стороне Антанты 23 мая Италии хотя и не внесло стратегических изменений в расклад сил, заставило Берлин и Вену уделять особое внимание ситуации на Балканах с тем, чтобы заполучить в союзники Болгарию и предотвратить присоединение к Антанте Румынии. При участии в

войне США и то, и другое сделать было практически невозможно. Именно реальность подобного развития ситуации имел в виду шеф Генерального штаба Э. Фалькенхайн, когда стал настаивать на удовлетворении претензий Америки в связи с делом "Лузитании"[19].

В Вашингтоне тем временем почти всю неделю после потопления британского пассажирского судна велись интенсивные совещания о перспективах дальнейших отношений с Германией и форме протеста против действий ее подводного флота. Их итогом стала нота, которая была подготовлена лично Вильсоном. Государственный департамент направил эту ноту германскому посольству 13 мая. В ней США решительно потребовали прекращения нападений подводных лодок на все пассажирские пароходы под флагами Антанты и гарантии безопасного мореплавания для всех нейтральных судов. Вильсон в ноте намекнул на вероятность коренного поворота в американской внешней политике, однако непосредственным вступлением в войну не угрожал[20].

Именно в последний день мая в ставке Верховного главнокомандования в замке Плес на совещании под председательством германского кайзера состоялось генеральное обсуждение вопроса о целесообразности дальнейшего продолжения подводной войны. К единому мнению на нем прийти не удалось. Канцлер, а также начальник Генштаба Фалькенхайн и посланник фон Трейтлер придерживались той точки зрения, что подводную войну можно вести лишь в форме, которая не вызовет политических конфликтов. Начальник же Морского Генерального штаба Бахман и адмирал Тирпиц настаивали на самых решительных действиях. В итоге результатом совещания стал приказ командирам подводных лодок, предписывающий щадить нейтралов, но зато топить все без исключения суда англичан[21].

Казалось, дипломатическая конфронтация между Германией и США по поводу "Лузитании" была улажена, однако 21 июля Вильсон отправил немцам еще одну, третью по счету, ноту. Некоторые места в ней вновь были выдержаны в жестком тоне, что опять позволило крайне воинственным кругам в Германии обвинить президента в проанглийской политике. Однако на сей раз в ноте речь шла о другом. Вильсон приглашал немцев к "практическому сотрудничеству" в деле восстановления и защиты принципа "свободы морей"[22].

Новый дипломатический демарш американского президента в Берлине был принят неоднозначно. Если одни усматривали в ноте только угрозу, то министр финансов рейха К. Гельфферих призвал канцлера поддержать политику, предложенную Бернсторфом, и позитивно ответить на предложение американцев. Идею сотрудничества с Вашингтоном в деле "нейтрализации морей" поддержал и ряд других видных деятелей Германии, в частности, государственный министр по делам колоний Б. Дельбрюк. Аргументы этих наиболее дальновидных представителей правящей элиты неустанно поддерживал посол Бернсторф, сообщавший, что "достижение свободы морей как прежде, так и сейчас остается основной задачей президента Вильсона"[23].

Таким образом, в вопросе о целесообразности дальнейшего продолжения активной подводной войны в конце лета 1915 г. в руководящих

кругах Берлина отнюдь не было единства. Адмиралам Тирпицу, Бахману и их сторонникам из Генерального штаба, ратующим за продолжение прежнего курса, противостояли представители МИД, министерств финансов и по делам колоний. Они считали, что у Германии на данный момент нет достаточного количества субмарин, чтобы осуществить эффективную блокаду Британских островов. По их мнению, американский принцип "открытых морей", предусматривающий отказ Германии от продолжения подводной войны при одновременном снятии Англией блокады рейха, соответствует его интересам, сулит экономические выгоды и не только полностью ликвидирует угрозу военного конфликта с крупнейшей державой мира, но и закладывает прочный фундамент для тесного сотрудничества Берлина и Вашингтона в их противостоянии Лондону, не желающему и слышать о принципе "свободы морей". К началу августа 1915 г. под влиянием противников жесткой линии и поддерживающего их канцлера Вильгельм все больше стал склоняться в пользу временного прекращения подводной войны и начала переговоров с Америкой о "свободе морей". Точку в этой затянувшейся дискуссии поставил случай с "Арабиком".

Британский пассажирский пароход "Арабик", на борту которого находилось трое американцев, был потоплен немецкой торпедой 19 августа. Эта подводная атака произошла в нарушение приказа кайзера командирам субмарин от 6 июля, запрещавшего торпедировать пассажирские суда. Однако приказ этот был секретным, и в Вашингтоне о нем не знали. Реакция на произошедшее в Соединенных Штатах была весьма бурной. «В первые 48 часов после получения сообщения о случае с "Арабиком" настроения здесь такие же плохие, как и в день гибели "Лузитании". Я чувствую, что вновь нахожусь во враждебной стране», – сообщал Бернсторф[24].

Крайне негативная реакция со стороны США была для Берлина предсказуемой, и уже 26 августа, еще до возвращения на базу подводной лодки U-24, отправившей на дно "Арабик", в замке Плес состоялось совещание ведущих политических, военных и морских лидеров Германии. В ходе его рейхсканцлер, который, по словам Тирпица, "не желал больше жить на вулкане", посчитал необходимым дать указание командирам подлодок ни в коем случае не топить пассажирские суда, не предупредив их и не дав команде и пассажирам возможности спастись. Бетман-Гольвег также предложил попросить Соединенные Штаты убедить Англию в необходимости возвращения к принципам Лондонской декларации, запрещающей морскую блокаду противников в войне[25]. Против такой позиции активно выступило военно-морское лобби – Тирпиц и начальник Морского Генерального штаба Г. Бахман.

Обсуждение вопроса в Плесе не привело ни к какому результату, а на состоявшейся в тот же день встрече канцлера с Вильгельмом кайзер дал указание, дождавшись прибытия на базу злополучной субмарины, подготовить совместно с военно-морскими специалистами декларацию, которая в случае необходимости могла бы быть направлена американскому правительству. Однако тревожные сообщения из Вашингтона

заставили Вильгельма уже на следующий день прийти к принципиальному решению о прекращении подводной войны в прежних формах. 28 августа были посланы инструкции Бернсторфу, в которых тот уполномочивался передать это сообщение правительству США. Фактически в инструкциях пересказывалась упоминавшаяся выше позиция канцлера[26].

Но к началу 1916 г. серьезно изменилась стратегическая ситуация на европейских фронтах. Одной из основных причин, почему несколько высокопоставленных немецких военных в конце лета 1915 г. выступили за ограничение подводной войны, была неопределенность обстановки на Балканах. Однако на исходе года положение здесь прояснилось. Присоединение к Центральным державам Болгарии позволило германскому Генеральному штабу провести успешную кампанию по разгрому Сербии и обеспечению, таким образом, надежной непосредственной связи с Турцией. Благоприятно для Германии складывалась обстановка и на других фронтах. Именно эти обстоятельства способствовали тому, что и шеф Генерального штаба Фалькенхайн и новый руководитель Адмиралтейства Гольцендорф осенью 1915 г. начали пересматривать свое в недалеком прошлом негативное отношение к беспощадной подводной войне. Уже 27 октября Гольцендорф в своем письме на имя Ягова рекомендовал как можно быстрее возобновить подводную войну на прежних условиях[27].

Стратегическая переоценка ситуации произошла и в руководстве Генерального штаба. Его шеф Фалькенхайн пришел, в частности, к выводу о том, что в условиях затягивания войны и угрозы полного экономического истощения Германии курс на дипломатическое маневрирование и заигрывание с Америкой не оправдывает себя. Экономические трудности и возможность проявления массового недовольства, по мнению Фалькенхайна, не оставляют его стране другого выхода, кроме как достижения военной победы в 1916 г. при использовании всех возможных средств.

Впервые эта точка зрения была обнародована на совещаниях 30 декабря 1915 г. и 5 января 1916 г. в военно-морском министерстве по вопросу о подводной войне[28]. На совещаниях царило полное единодушие, их результатом стала докладная записка Адмиралтейства от 7 января, в которой утверждалось, что в случае отмены ограничений на ведение неограниченной подводной войны Англия не сможет продержаться и полгода.

Борьба между различными группировками в Берлине по поводу возобновления подводной войны в начале 1916 г. была крайне острой и привела к большим кадровым изменениям. Как бы то ни было, правительство Германии 11 февраля официально заявило о начинающейся с 1 марта так называемой "обостренной" подводной войне, когда немецкие субмарины получат приказ без предупреждения торпедировать все вооруженные торговые суда Антанты. Это не была "неограниченная", "беспощадная" подводная война, за которую ратовали крайние милитаристы, но и она могла привести к далеко идущим последствиям. Однако следует сказать, что при принятии решения об "обо-

стренной" подводной войне опять, на наш взгляд, была вновь неправильно спрогнозирована реакция на это событие со стороны Соединенных Штатов. Совершенно очевидно, что в Берлине переоценили американо-английские противоречия по поводу вооружения торговых судов и стремление Вашингтона прийти к соглашению по поводу "свободы морей".

"Обостренная" подводная война рано или поздно обязательно должна была привести к новому американо-германскому конфликту. Так оно и произошло 24 марта 1916 г., когда французский пассажирский пароход "Сассекс" был без предупреждения атакован в Ламанше немецкой подводной лодкой UB-29. И хотя судно не было потоплено, в инциденте погибло и было ранено 80 человек, из них несколько американцев. Белый дом отреагировал на случившееся достаточно резко. Еще больше ситуацию усугубила неуклюжая нота Берлина от 10 апреля, в которой вопреки фактам отрицалось, что 'Сассекс" был атакован немецкой субмариной[29].

Президент США, однако, медлил. Лишь после долгих размышлений он 16 апреля составил текст ноты, которая и была передана Ягову через три дня. 19 апреля Вильсон зачитал ноту на объединенной сессии Конгресса. Это был, фактически, ультиматум. В нем говорилось, что использование подводных лодок "несовместимо с принципами гуманности" и "правами нейтралов", и заявлялось в категорической форме, что в том случае, если Германия будет продолжать свою порочную практику, у Соединенных Штатов не останется иной альтернативы, кроме разрыва дипломатических отношений[30].

С первых же дней кризиса посол Бернсторф приложил все усилия, чтобы свести к минимуму его последствия. 8 апреля состоялись его конфиденциальные встречи с Хаузом, однако все попытки графа урегулировать за кулисами вопрос о "Сассексе" потерпели неудачу после подлившей масло в огонь немецкой ноты. В дальнейшем основной целью дипломатической активности посла стало стремление избежать обмена нотами между правительствами, что могло лишь усугубить ситуацию, и начать переговоры по спорным вопросам с государственным департаментом и, в особенности, с полковником Хаузом[31].

На многих немцев, в том числе и военно-политическую верхушку, резкая американская нота подействовала как холодный душ. В "глубокой депрессии" находился начальник морского императорского кабинета адмирал Мюллер, "крайне удрученным" был канцлер, спокойным оставался лишь Вильгельм. Имеются свидетельства, что министр иностранных дел Ягов после получения ноты из Вашингтона посчитал неизбежным разрыв с США и хотел лишь оттянуть его на какое-нибудь время. Только через несколько дней он стал смотреть на вещи несколько оптимистичней и заговорил о возможности предотвратить конфликт[32].

И вновь в Берлине в апреле 1916 г. разгорелись острые дискуссии по поводу перспектив подводной войны. Милитаристы, воспользовавшись случаем, усилили давление на правительство и кайзера с тем, чтобы они интенсифицировали войну на море, полагая, что конфликта с

Америкой теперь не избежать. Особенно усердствовал Тирпиц, который по обнародовании американской ноты 24 апреля отправил Вильгельму пространную докладную записку "с настойчивой просьбой не уступать Вильсону"[33].

Оппозиция этой линии на конфронтацию, как и прежде, исходила из ведомства канцлера и МИД. "Насколько я могу понять, наш ответ должен быть нацелен на то, чтобы мы, как уже в прошлые годы, вели бы подводную войну в соответствии с Лондонской декларацией, если Антанта предложила бы соответствующие встречные меры. На этой позиции мы стоим сегодня", – писал 21 апреля канцлер Ягову[34]. В дискуссиях апреля 1916 г. о целесообразности и формах подводной войны в роли главных "ястребов" выступили, в отличие от прошлого, сухопутные генералы, в частности, начальник имперского Генерального штаба Фалькенхайн. Это во многом объясняется сложившейся к тому времени военно-стратегической ситуацией на фронтах. А она принесла немцам Брусиловский прорыв и кровопролитные бои под Верденом. Даже человеку, не сведущему в военной стратегии, становилась все более очевидной невозможность для Германии выиграть войну, принявшую характер изнурительной борьбы за выживание в условиях практически полной блокады. Снятие ее любыми средствами давало хотя бы шанс избежать поражения.

Вопрос о способах *и* формах ведения подводной войны был поднят 26 апреля на встрече канцлера с руководством Адмиралтейства и Генерального штаба. Несмотря на существенное различие в подходах, Бетман-Гольвегу удалось привлечь на свою сторону Гольцендорфа, который заявил, что ведение подводной войны по правилам крейсерской при определенных условиях может привести к благоприятным для Германии результатам. И хотя на своей непримиримой позиции остался Фалькенхайн, итоги конференции в Шарлевиле были благоприятными для умеренных во главе с канцлером.

Пока наверху шли острые дискуссии, Гольцендорф 24 апреля отдал приказ морякам в Вильгельмсхафене прекратить все военные действия против торговых судов вокруг Британских островов и вести все операции по правилам крейсерской войны. В свою очередь, командование подводного флота отказалось от ее ведения, сославшись на малую ее эффективность и большой риск для субмарин и членов их экипажей. К концу апреля и сам Вильгельм все больше стал склоняться в пользу компромисса с Америкой. 26 апреля, уступив давлению Бетман-Гольвега, он принял в своей штаб-квартире американского посла Джерарда, с которым подробно обсудил пути выхода из кризиса[35]. В конечном итоге кайзер отказался далее поддерживать взгляды Фалькенхайна, упорно утверждавшего, что в случае начала неограниченной подводной войны Англия будет блокирована и не способна оказать действенную помощь Франции, на территории которой велась кровопролитная Верденская битва. На него большее впечатление произвели аргументы Гольцендорфа, заявившего: да, Англия при помощи неограниченной подводной войны может за шесть месяцев быть поставлена на

колени, но только при одном условии – если не приобретет новых союзников[36].

Итак, к маю 1916 г. вопрос о целесообразности начала неограниченной подводной войны был фактически предрешен. 1 мая Вильгельм подчинился ноте американского президента. А еще через три дня, 4 мая, американскому послу Джерарду была вручена нота германского правительства, в которой признавалась "несдержанность" командиров подводных лодок и содержалось обещание впредь не атаковать суда без учета возможной гибели их пассажиров и экипажа, а также проводить перед торпедной атакой инспекцию судов. В Берлине, таким образом, трезво оценили угрозу со стороны США и пошли на удовлетворение практически всех их требований[37]. Тирпиц вспоминал: «Нота по поводу "Сассекса" явилась поворотным пунктом в ходе войны, она знаменует собой начало нашей капитуляции. Весь мир увидел, что Америка сломила нас. Со времени этого решения мы пошли назад»[38]. И он был не одинок в своих суждениях.

Но в начале лета 1916 г. произошли события, которые еще больше усилили значение подводных лодок в борьбе на море. В результате Ютландского боя в конце мая – начале июня 1916 г. оказались окончательно дискредитированы все прежние стратегические идеи морской войны. То было фактически единственное сражение флотов Англии и Германии на протяжении всей кампании 1914–1918 гг. Во время Ютландского сражения со всей очевидностью обнаружилась ограниченность и нежизнеспособность как стратегии "генерального сражения" для укрепления господства на море английского адмиралтейства, так и теории "уравнивания сил", проповедуемой кайзеровскими адмиралами[39].

Фактическая сторона Ютландского сражения хорошо известна: англичане потеряли 14 судов общим тоннажем 113 570 т, при этом 6097 человек погибли, 510 ранены и 177 взяты в плен. Немцы потеряли 11 судов общим тоннажем 60 250 т при 2551 погибших и 507 раненых[40]. Таким образом, "по очкам" победа, вроде бы, досталась немцам, однако все было не так-то просто.

На самом деле крупнейшая битва на море за всю историю человечества так и не решила ни одной из поставленных задач как для одних, так и для других: английский флот не был разгромлен и соотношение сил на море кардинальным образом не изменилось. С другой стороны, немцам также удалось сохранить весь свой флот и не допустить его уничтожения, каковое неизбежно сказалось бы и на действиях подводного флота рейха. В конечном итоге, расстановка сил на море и после Ютландского боя продолжала оставаться неустойчивой, и с этой точки зрения сражение оказалось безрезультатным.

9 июня шеф Адмиралтейства Гольцендорф уведомил канцлера о том, что в условиях изменившейся ситуации на море после Ютландского боя он попросит аудиенции у Вильгельма с тем, чтобы убедить того возобновить с 1 июля 1916 г. в ограниченных масштабах подводную войну[41]. Канцлер отнесся к этому известию однозначно негативно.

Наступление русских войск в Галиции, опасность вступления в войну Румынии, отрицательное отношение к подводной войне со стороны нейтралов, прежде всего, Голландии и Швеции, – все это могло в случае возобновления акций немецких субмарин привести к нежелательным для Германии последствиям. Однако, несмотря на эту реакцию канцлера, видимо, по соображениям необходимости удовлетворения общественного мнения, германский МИД стал разрабатывать варианты возможного возобновления подводной войны.

В июне 1916 г. крайним милитаристам так и не удалось столкнуть Германию в пропасть – было решено подождать окончания выборов президента США и вполне вероятного тогда начала американо-мексиканской войны. Именно эта грядущая война должна была, по замыслу немцев, отвлечь внимание Белого дома от европейских дел. 2 июля Бернсторф был проинформирован о том, что Германия не отступает от своих обещаний, данных ею правительству США[42].

Однако в конце августа в военной верхушке Германии произошли серьезные перестановки, которые существенно сказались и на точке зрения в подводной войне. К руководству армией пришли генералы П. Гинденбург и Э. Людендорф, сторонники победы любой ценой. И хотя они не вполне разбирались в специфике военных действий на море, но активно поддерживали и здесь самые решительные действия[43]. Генерал Людендорф, например, считал, что "неограниченная подводная война является последним средством закончить войну победоносно, не затягивая ее до бесконечности. Если подводная война в такой форме могла стать решающей, – а флот надеялся на это, – то она при нашем военном положении становилась долгом по отношению к германскому народу"[44]. Именно Гинденбург и Людендорф дали толчок к возобновлению дискуссии о подводной войне, когда 31 августа на совещании в Плесе заявили о необходимости пересмотра мнения об отказе от ее ведения. И вновь их оппонентами стали те в правящих кругах Берлина, кто хотел добиться заключения мира путем сепаратных переговоров с воюющими странами при посредничестве США. Возобновление подводной войны ставило крест на всех попытках достижения сепаратного мира с Лондоном.

Тем не менее в начале осени 1916 г. в двух германских ведомствах, имевших непосредственное отношение к военно-морскому флоту – Адмиралтействе и командовании океанического флота, началась интенсивная разработка новых планов возобновления неограниченной подводной войны. По существу, однако, ни Гольцендорф, ни командующий флотом адмирал Шеер и его помощники не предложили никаких новых идей. При полном игнорировании опасности вступления Соединенных Штатов в войну на стороне Антанты, они потребовали скорейшего возобновления акций субмарин в самых жестких формах.

Подобный план был представлен Верховному главнокомандованию молодыми морскими офицерами Тротой и Бюловым. Причем они особо подчеркивали неспособность Соединенных Штатов организовать в прошлом эффективные действия против Мексики и Испании, что должно было подвести к выводу о невозможности создания Вашингтоном современной армии[45].

1 октября военные проинформировали канцлера о том, что с середины начавшегося месяца они возобновляют подводную войну в полном объеме, однако Вильгельм и на этот раз пошел навстречу Бетман-Гольвегу, утверждавшему, что эффект от подобных мер трудно правильно оценить. Он полагал, что Германии на данном этапе куда целесообразней следить за развитием событий в России и терпеливо ждать новых мирных инициатив от Соединенных Штатов. Итак, 4 октября высочайшим решением начало неограниченной подводной войны вновь было отложено на неопределенное время.

Прошло, однако, всего лишь два дня после решения Вильгельма, как 6 октября адмирал Гольцендорф объявил приказ о возобновлении подводной войны против торговых судов на принципах крейсерской войны. Само по себе это решение не противоречило американо-германским соглашениям, но таило в себе одну опасность – большинство торговых судов противника были вооружены, а стало быть, согласно немецкой точке зрения, автоматически становились военными судами и могли быть атакованы без предупреждения. Это создавало благоприятные потенциальные возможности для новых конфликтов между Берлином и Вашингтоном на почве спорности вопроса о применении подводных лодок. Так оно и случилось 28 октября, когда английское вооруженное торговое судно "Марина" было торпедировано к западу от Ирландии. И опять при этом погибли и были ранены 15 американских граждан. Еще через несколько дней, 6 ноября, в Средиземном море немцы также без предупреждения потопили вооруженный английский пароход "Арабия", правда, из многих находившихся на борту американцев никто не пострадал.

В те дни Бернсторф сообщал: «Если Его Величество все еще хочет посредничества Вильсона, то совершенно необходимо немедленно устранить без дальнейших споров проблемы с "Мариной" и "Арабией" и не дать позволить возникнуть новым проблемам». По словам посла, американский президент воспринял известия об этих случаях "трагически"[46].

Эти тревожные сообщения никоим образом не оказали влияния на мышление германских военных стратегов. Опьяненный успехами в Румынии, 8 декабря Гинденбург представил меморандум, в одном из разделов которого заявил, что немецкие войска на этом фронте будут продвигаться лишь до реки Серет, а затем их перебросят на Запад для ведения войны против Дании и Голландии. Одновременно в конце января 1917 г. он обещал начать неограниченную подводную войну[47]. Таким образом, впервые из уст военных прозвучала конкретная дата интенсификации войны на море.

Гольцендорф и иже с ним полагали, что в случае внезапного объявления неограниченной подводной войны и быстрого введения ее в действие связь США с Европой окажется полностью прерванной, а потому и вступление в войну Вашингтона не следует воспринимать

серьезно. 24 декабря с мнением шефа Адмиралтейства полностью солидаризировался и Гинденбург. И хотя, как и прежде, канцлер возражал против требований генералов и адмиралов, его аргументы в условиях категорического отказа Антанты пойти на какие-либо переговоры о мире с Берлином звучали все менее и менее убедительно.

Во многих кругах в Берлине восторжествовала другая точка зрения на события: войну можно выиграть только при коренном повороте в свою пользу, введя в дело своего рода чудо-оружие. Не случайно, что вопрос о подводной войне столь остро возник после Брусиловского прорыва и боев за Верден, показавших, что и на Востоке, и на Западе Антанта имеет достаточные резервы для окончательного перелома хода военных действий в свою пользу. Эта тенденция ярко проявилась во время совместного совещания Верховного главнокомандования Германии и ее политических лидеров в Плесс 29 декабря. И хотя на нем не было сделано никаких официальных заявлений относительно способов ведения войны на море, по сути оно означало поворотный пункт в этой столь затянувшейся дискуссии. 29 декабря 1916 г. было днем окончательной капитуляции перед Верховным главнокомандованием Бетман-Гольвега и министра внутренних дел К. Гельфериха, оттягивающих до последнего момента принятие фатального для Германии решения.

Последний раз вопрос о подводной войне обсуждался между канцлером и членами Верховного главнокомандования 9 января 1917 г. Тогда окончательно и было одобрено судьбоносное для Германии решение о начале с 1 февраля неограниченной и беспощадной подводной войны[48]. Ослепленные самообманом генералы и адмиралы пошли ва-банк. Напрасно Бернсторф призывал американское правительство понять ситуацию, которая вынудила Германию использовать "грубые методы войны", и не доводить дело до полного разрыва[49]. 3 февраля государственный секретарь США Лансинг передал Бернсторфу ноту о разрыве дипломатических отношений между двумя странами[50]. Война на море вступила в последнюю стадию.

Обстоятельства, связанные с подводной войной, являются одним из наиболее ярких свидетельств недальновидности и порочности германской внешней политики в исследуемый период, сделавшей ставку исключительно на силу. Краеугольный камень этой политики – уверенность, что супер-оружие может поставить на колени за пять месяцев Англию, решительно ни на чем не основывалось: к началу войны Германия имела всего лишь 20 подводных лодок и уступала по их количеству Англии (76), Франции (55), США (39) и России (28). И явно кривил душой Тирпиц, когда, отвечая в декабре 1924 г. на упреки Бюлова в недостаточном внимании, уделяемом подводному флоту Германии, утверждал, что "именно вопрос о подводных лодках был приведен нами с чрезвычайными усилиями в действие таким образом, что уже к началу войны, что касается подводных лодок, мы были сильнее, чем все флоты мира вместе взятые"[51].

Каковы же были основные итоги войны на море и какие потери

понесли союзники из-за действий субмарин в годы первой мировой войны?

К началу 1915 г. имперскому флоту удалось увеличить число подводных лодок до 27. Но чтобы понять, много это или мало, надо учесть, что определенный срок боевого дежурства на лодках требовал точно такого же срока для того, чтобы дойти до необходимого места, а затем возвратиться на базу. После этого столько же времени требовалось на ремонт боевого судна и его техническое обслуживание. Таким образом, на боевом дежурстве могла оставаться максимум треть от находящихся в распоряжении рейха субмарин. Т.е. в начале 1915 г. эта цифра составляла не более 8 боевых единиц.

Но даже при таком небольшом количестве эффективность субмарин была весьма существенной. Если в ноябре 1914 г. англичане потеряли на море торговых судов общим водоизмещением в 8,8 т (включая потопленные немецкими крейсерами), в апреле 1915 г. – 22,4 т, то уже в августе 1915 г., т.е. в самый разгар объявленной кайзером подводной войны, потери только одних британских торговых судов достигли цифры в 148,4 т, но уже к октябрю они снизились почти в три раза[52].

Прекращение на время активных военных действий подводного флота рейха в августе 1915 г. вовсе не означало утрату интереса Берлина к этому виду оружия. В Германии резко наращивали производство субмарин, и к середине 1917 г. титаническими усилиями рейху удалось производить в среднем по 8 подводных лодок в месяц. Приобретали опыт военных действий и их командиры. Результат не замедлил сказаться: осенью 1916 г. начался быстрый рост потерь флота союзников. В сентябре 1916 г. они составили 230,4 т (из них только Англия лишилась судов общим водоизмещением 104,5 т), а к декабрю этого же года цифры увеличились соответственно до 355,1 и 182,2 т[53]. Таким образом, осенью 1916 г., когда рейх вел подводную войну в ограниченных масштабах, все еще оглядываясь на реакцию Соединенных Штатов, Англия и ее союзники потеряли больше судов, чем во время разгара подводных действий немецкого флота летом 1915 г.

Новый и последний этап борьбы за моря в годы первой мировой войны начался в феврале 1917 г., когда кайзер Вильгельм принял решение о развертывании неограниченной и беспощадной подводной войны. Первое время после ее начала, казалось, подтвердились надежды Генштаба о том, что Англия не сможет ничего противопоставить суровой блокаде и за считанные месяцы будет поставлена на колени. Уже в феврале 1917 г. союзники утратили 540,0 т общего торгового тоннажа (одна лишь Англия потеряла 313,0 т), а в апреле эти цифры достигли соответственно 881,0 и 545,2 т. Это были весьма значительные потери.

Но развить успех дальше немцам не удалось. Уже через месяц, в мае 1917 г., трофеи немцев достигали лишь 596,6 т (англичане потеряли 352,2 т), в сентябре 1917 г. эти цифры составляли 351,7 и 196,2 т, а в первой половине 1918 г. общие потери союзников лишь

иногда едва превышали 300,0 т. И это в то время, когда из месяца в месяц наращивалась транспортировка живой силы и вооружения из Соединенных Штатов в Европу. Таким образом, как и следовало ожидать, чудо-оружие немцев оказалось блефом. Резкое сокращение потерь торгового и военного флота Антанты стало результатом серьезных комплексных мер, предпринятых союзниками в борьбе на море: это и создание эффективного противолодочного оружия – глубинных мин и судов-ловушек, и организация системы оповещения и наблюдения за передвижением субмарин и целый ряд других мер. Но особенно действенным оказалось внедрение системы охраняемых караванов на транспортных артериях, соединяющих Америку с Европой[54].

Итоги войны на море в годы первой мировой войны самым непосредственным образом сказались и на стратегии противников во второй мировой войне. Было решено окончательно отказаться от использования крупных надводных кораблей, и война за моря по сути превратилась в борьбу с торговыми судами противников. С 1939 по 1945 гг. не произошло ни одного более или менее крупного сражения между флотами противников, а подводные лодки проявили себя как самое эффективное боевое средство.

Нельзя также умолчать еще об одном аспекте рассматриваемой проблемы. Думается, многим бросается в глаза, насколько "прогрессировало" человечество за какие-нибудь 20 лет, прошедших между первой и второй мировыми войнами. Вопросы международного права, правила ведения войны на море и гибель мирных граждан уже никого не интересовали после сентября 1939 г. Все стороны вели военные действия в соответствии с принципом "Топи их всех!" и даже не пытались осуждать за это своих противников. Да и трудно было говорить всерьез о каких-либо правилах войны на море на фоне массового уничтожения десятков миллионов мирных жителей везде и повсюду, где только заставало их смертоносное оружие военных противников, каким бы оно ни было – традиционным или нетрадиционным, таким, например, как атомная бомба.

[1] Международная торговля. М., 1954. С. 513–514.
[2] *Вильсон Х.* Морские операции в первой мировой войне. М., 1935. С. 16.
[3] *Каверин И.Н.* За кулисами английской блокады. М., 1955. С. 34–35.
[4] *Алафузов В.А.* Доктрины германского флота. М., 1956. С. 22–23.
[5] Флот в первой мировой войне. М., 1964. Т. 2. С. 16.
[6] *Вильсон Х.* Указ. соч. С. 16.
[7] *Bauer H.* Als Führer der U-Boote im Weltkriege. Leipzig, 1943. S. 145.
[8] *Christof H.* Deutsch-amerikanische Entfremdung. Studien zu den deutsch-amerikanischen Beziehungen von 1913 bis zum Mai 1916. Würzburg, 1975. S. 125.
[9] *Spindler A.* Der Handelskrieg mit U-Booten. B. 1. B., 1932. S. 29.
[10] *Birnbaum K.* Peace moves and U-Boat warfare. A Study of imperial Germany's policy toward the United States. April 18, 1916 – January 9, 1917. Stockholm, 1958. P. 24.
[11] *Spindler A.* Op. cit. P. 83, 145; *Birnbaum K.* Op. cit. P. 25.
[12] Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Bonn (далее – PAAA). Grosses Hauptquartier. Akten des Auswärtigen Amts im Grossen Hauptquartier. Amerika. R22426. Jerard to Jagow, 12.2.1915.
[13] PAAA. Wk 2 geh., Vermittlungsaktionen, R20449, Bernstorf an AA, 19.2.1915.
[14] Frankfurter Zeitung. 1915. Februar 18.
[15] PAAA. VSA 16. Beziehungen der Vereinigen Staaten zu Deutschland. R17356. Bernstorf an AA, 18.2.1915.
[16] *Möckelmann J.* Das Deutschlandbild in den VSA 1914–1918 und die Kreigszielpolitik Wilsons Hamburg, 1965. S. 103–111.
[17] *Möckelmann J.* Deutsch-amerikanische Beziehungen in Krise. Studien zur amerikanischen Politik im Ersten Weltkrieg. Frankfurt-am-Main, 1967. S. 16–17.
[18] PAAA, VSA 16, R17356. Hossenfelder an Bethman-Hollweg, 10.6.1915.
[19] Ibid. WK 18 geh. Unterseebootkreeg gegen England und andere feindliche Staaten. R21455. Treuthler and AA, 31.5.1915.
[20] Papers Relating to the Foreign Relations of the United States (далее – FRUS) 1915 Supplement. Wash. (D.C.), 1927. P. 393–396.
[21] *Тирпиц А.* Воспоминания. М., 1957. С. 408.
[22] PAAA. Ibid. Jerard to J.agow, 23.7.1915; FRUS. 1915. P. 480.
[23] PAAA. WK 18a. R21546. Bernstorf an Bethman-Hollweg, 19.8.1915.
[24] Ibid. VSA 16. R17358. Bernstorf an Bethman-Hollweg, 25.8.1915.
[25] *Тирпиц* А. Указ. соч. С. 412.
[26] PAAA. WK 18 geh. R21458, Jagow an Bernstorf, 28.8.1915.
[27] Ibid. R21457. Holzendorf an Jagow, 27.10.1915.
[28] *Тирпиц А.* Указ. соч. С. 428.
[29] FRUS. 1916. Wash. (D.C.), 1917. P. 227.
[30] Ibid. P. 232–234.
[31] PAAA. VSA 16 geh. R17381. Bernstorf an AA, 23.4.1916.
[32] *Birnbaum K.* Op. cit. P. 75–76.
[33] *Тирпиц А.* Указ. соч. С. 422.
[34] PAAA. GHQu 31. R22436. Bethman-Hollweg an J.agow, 21.4.1916.
[35] Ibid. WK 18 geh. R21467. Bethman-Hollweg an AA, 27.4.1916.
[36] *Birnbaum K.* Op. cit. P. 86.
[37] PAAA. CHQu 31. R22427. Nota der deutsche Regierung 2.5.1916.
[38] *Тирпиц А.* Указ. соч. С. 423.
[39] Флот в первой мировой войне. Т. 2. С. 118.
[40] *Вильсон Х.* Указ. соч. С. 182.
[41] PAAA. WK 18 geh. R21470. Holzendorf an Bethman-Hollweg, 9.6.1916.
[42] Ibid. R21471. J.agow an Bernstorf, 2.7.1916.
[43] *Jonas M.* The United States and Germany. A Diplomatic History. Ithaca–London, 1984. P. 116.
[44] *Людендорф Э.* Мои воспоминания о войне. 1914–1918 гг. М., 1923. Т. 1. С. 249.
[45] *Herwig H.* Politics of Frustration. Boston, 1976. P. 120.
[46] PAAA. WK 2 geh. R20472. Bernstorf an AA, 21.11.1916.
[47] *Birnbaum K.* Op. cit. P. 238.
[48] PAAA. Botschaft Washington. Friedensinitiative des U.S. Prasidents Wilson vom 21.12.1916, Washington 802, Меморандум о начале неограниченной подводной войны, 9.1.1917.
[49] Ibid. Bernstorf to House, 31.1.1917.
[50] Ibid. Lansing to Bernstorf. The nota of the American goverment, 3.2.1917.
[51] Bundesarchiv, KobLenz, NL 16/126, Tirpitz an Bülow, 19.12.1924.
[52] *Вильсон Х.* Указ. соч. С. 109.
[53] Там же. С. 213.
[54] Флот в первой мировой войне. Т. 2. С. 352–354.

ВЕРСАЛЬ И ЕГО УРОКИ. РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯД

В.Л. Мальков

Без особого риска ошибиться можно, пожалуй, сказать, что даже у многих чиновников дипломатических служб конца XX в. слово "Версаль" ассоциируется главным образом с красотами парижского предместья. Между тем для специалистов совершенно ясно: каким-то магическим образом идеи Версаля, стратегия Версаля, надежды Версаля, пройдя замкнутый цикл от расцвета до краха и снова к рекуперации, воплотились в нестабильной и взрывоопасной геополитической ситуации на рубеже веков. К нему человечество приближается с опаской, с внутренним трепетом, интуитивно сознавая, что на новом витке истории все может повториться заново. 80 лет назад в Версале было торжественно заявлено о прекращении главного международного конфликта, унесшего миллионы жизней, но не успели просохнуть чернила под договорами, как возник новый кризис в отношениях великих держав. Ликование по поводу создания международной организации безопасности было недолгим и разделялось не всеми. Возникающие повсеместно территориальные споры малых стран на почве агрессивного роста национализма превратили ее в собрание плакальщиков, бессильных что-либо сделать. Воздание почестей пацифизму и гуманизму и циничное попрание общечеловеческих ценностей, "умиротворение" самых жестоких агрессоров, совершающих одно за другим преступления против человечности, шли рука об руку, "в связке", наполняя всю атмосферу общественной жизни недоверием и предчувствием беды.

Кажется, благодаря своей природе человечество ни в чем не способно изменить себе. Двойные стандарты и искушение главных триумфаторов раз и навсегда разрешить собственные проблемы за счет побежденных, попутчиков и изгоев преследовало Версальскую систему с момента ее возникновения и до насильственной смерти. Простой перечень ключевых эпизодов на этом пути к бесславному концу способен насторожить, невольно вызывая ошеломляющие параллели с событиями "текущей политики", с эпилогом истории XX в. Исключение России из числа стран, принимающих решения по вопросам мирного урегулирования на Парижской конференции, мотивированное идеологическими и формальными причинами, принесло горькие плоды. Попытка увековечить диктат победителей, вызвавшая подъем реваншистских настроений, и демонстративное сближение Советской России с веймарской Германией (с моральной точки зрения абсолютно неприемлемое для либеральной демократии США, Англии и Франции) немедленно вызвало появление призрака нового мощного военно-политического блока в Европе. Следующий шаг закреплял раздел Европы. Великие державы Запада поторопились с созданием буферной зоны из коалиции

© В.Л. Мальков

малых стран-сателлитов (Малая Антанта), ставших очень скоро обузой и для Франции и для Англии. Стремясь использовать эти страны в качестве "санитарного кордона" по отношению к угрозе большевизма, они превратили их в своих вечных неплатежеспособных, драчливых и крикливых клиентов, живущих в постоянном страхе оказаться между молотом и наковальней. Обострение междоусобных конфликтов волей-неволей заставляло сменяющие друг друга правительства малых стран занимать по всем вопросам европейской безопасности непоследовательную, двойственную, а порой и авантюристическую позицию – то идти на сближение с СССР, то заигрывать с Германией, и всего больше бояться стать разменной монетой в большой игре великих держав.

Очень часто непомерные претензии малых стран проистекали из их стремления к самоутверждению, что ставило творцов Версальской системы в затруднительное положение. Кстати, заметим, что внешнеполитические эксперты Соединенных Штатов одними из первых прореагировали на вызывающую манеру, усвоенную пограничными с Советской Россией "независимыми" государствами, способную повредить и им самим, и (это главное!) делу моральной и дипломатической изоляции большевизма, вызвав сочувствие к Советам со стороны мирового общественного мнения. Примечательна в этом отношении статья главы Русского отдела госдепартамента США Роберта Келли, направленная им в 1929 г. в журнал "Славоник Ревью". Один из главных архитекторов доктрины непризнания СССР предостерегал излишне запальчивых деятелей приграничных с Советским Союзом государств от опрометчивых шагов в духе польской авантюры 1920 г. Келли ссылался при этом на ноту госсекретаря США Б. Колби министерству иностранных дел Польши, в которой осуждалось "принятие наступательной военной программы против России"[1].

Большевистская Россия, грозившая разогнать и обрушить "красное колесо" на государства Запада, на практике, в ходе стремительно менявшейся обстановки мало-помалу превращалась в стабилизирующий фактор в Европе и Азии. Первыми это осознали во Франции. Французы, вскоре после Версаля обнаружив, как ускользает у них на глазах победа, оказавшись без своего естественного союзника на Востоке – России, вычеркнутой из геостратегического уравнения сил в Европе, – вынуждены были поначалу довольствоваться эрзац-гарантиями своей безопасности в виде вербальных заверений Англии и США сохранить с ними союзнические отношения и после войны. Однако, "как выяснилось, – пишет известный английский историк Джон Гренвилл, – с Клемансо расплатились чеком, который не подлежал покрытию..."[2] Опасения Клемансо подтвердило сначала соглашение в Рапалло, резкое ухудшение внешнеполитического положения Франции в 20-х годах, а затем в еще большей мере европейский кризис 1938–1939 гг., когда западные демократии погрузились в трясину дипломатических интриг с целью спасения мира любой ценой, закончившихся сделкой с Гитлером в Мюнхене и катастрофой июня 1940 г.

Сохранившие чувство реальности французские политики уяснили для себя, что выталкивание России из числа субъектов Версальской

системы международных отношений и ее принудительная изоляция (дань идеологическим императивам антибольшевизма) вносили опасную разбалансировку в соотношение сил на Европейском континенте, да и повсюду в мире. Большевизм с его проповедью классовой борьбы и апелляцией к колониальным народам не внушал симпатий. Но Э. Эррио, Л. Барту, Ж. Поль-Бонкур, П. Кот и другие видные французские государственные и общественные деятели со смешанным чувством удивления, тревоги и тайной надежды наблюдали, как на Востоке Европы поднимается новый индустриальный и военно-политический гигант – Советский Союз, заинтересованность которого в поддержании равновесия в мире не уменьшалась, а росла. Рано или поздно, несмотря на всю риторику о мировой революции, он должен был, по их убеждению, сыграть роль клина у основания просевшей Версальской системы, о ревизии которой открыто заговорили даже на родине Вудро Вильсона, а раньше всего в духе требования "слома до основания" в Германии и Италии. Германия, Италия и Япония морально порвали с Версальской системой раньше, чем они сделали это формально. Напротив, в глазах мирового сообщества, включая Соединенные Штаты (по крайней мере в лице общественного мнения), Советский Союз не имел иного выхода кроме как добиваться сотрудничества с Западом. После прихода к власти в Германии Гитлера президент США Рузвельт поторопился восстановить отношения с Москвой, прерванные в 1917 г. Н. Чемберлен в разгар советско-германских контактов в 1939 г. также полагал, что СССР остается резервом западных демократий.

Вторая половина XX в. показала, что французская дипломатия извлекла для себя максимум полезного из опыта Версаля, в том числе и негативного. Франция не участвовала ни в Ялтинской, ни в Потсдамской конференциях и, возможно, это обстоятельство содействовало выработке адекватного взгляда Парижа на европейскую безопасность. В любом случае в межгосударственных отношениях между Францией и Россией французская дипломатия взяла за правило избегать реанимации заложенного в Версале принципа "свой–чужой", исключившего Россию полностью из числа равноправных субъектов международного права по чисто идеологическому признаку. Не сразу, но со временем весьма основательно, в Париже (в большей степени, чем в столицах других великих держав) усвоили, что синдром "осажденной крепости", возникший во многом из-за высокомерно-демонстративного отлучения Советской России от решения важнейших проблем мировой политики, бумерангом ударит прежде всего по Франции и ее открытым для всех внешних угроз союзникам. "Мир неделим", говорил М.М. Литвинов, обосновывая уже в начале 30-х годов попытки Советского Союза войти в мировое сообщество, обеспечив себе место в Лиге Наций. Однако обоюдно гротескное представление Москвы о Западе и Запада о Москве сохранило надолго роковую отчужденность, заложенную в Версале и нараставшую с каждым новым публичным присяганием Кремля "делу мировой революции", параллельно с попытками Запада организовать единый фронт против него.

И в дни Версаля среди "версальцев" существовало мнение, что

превращение Советской России в устойчивое понятие "Антиевропа" контрпродуктивно[3], но неприятие большевизма либеральным сознанием Запада делало его долгое время расхожей идеологемой. Прямую аналогию этого можно наблюдать в наше время в связи с принятием уже новой "постперестроечной" России в европейские структуры. Особого энтузиазма не видно. Характерно, однако, что для дипломатии западных стран "русский вопрос" никогда не переставал быть (хотя и с большими оговорками) частью общеевропейского, что признавали и В. Ратенау, и Д. Ллойд Джордж, и У. Черчилль, и Л. Барту, и Ш. де Голль, и В. Брандт. Оселком всегда оставались вопросы о правах человека, "прозрачности" границ для идей и товаров, а также о безопасности малых стран Восточной и Северной Европы, Балкан. Озабоченность соседством малых государств этого региона с Россией, выступавшей под флагом всеобщей эмансипации и классовой солидарности трудящихся, сплачивала победителей и побежденных, заставляла их искать компромиссы, сглаживать противоречия, вступать в тайные союзы. Самый первый самостоятельный шаг Советской России на арене мировой политики – договор с Германией в Рапалло – подтвердил прежде всего именно эти опасения. "Он создавал угрозу для Польши, – писала известный американский специалист Кэрол Финк, – и всего восточноевропейского региона"[4]. Таким образом, если в сиюминутном, тактическом плане Рапалло представляло собой несомненный успех дипломатии Советов, то в морально-политическом (в контексте европейской идеи) – скорее поражение. Оно как будто бы подтверждало правоту сторонников жесткой линии, победившей в Версале: Россия – главная угроза едва оперившимся суверенным восточноевропейским государствам, может быть, даже большая, чем германский реваншизм.

Пожалуй, болезненнее всего восприняли Рапалло в Лондоне. У английской дипломатии было свое собственное видение сложившейся принципиально новой ситуации в мире и Европе, раздробившейся на множество мелких и конфликтующих между собой государств. Все еще проникнутая имперским духом, не расставшаяся с верой, что она может и должна "организовать мировое сообщество"[5], Англия настороженно наблюдала за успехами советской дипломатии и укреплением ее влияния на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах, где для британских интересов создавались реальные угрозы.

Не желая превращения Германии в союзницу СССР, с самого начала английская дипломатия не связывала себя признанием территориального деления, произведенного в Версале, окончательным и не подлежащим изменениям в рамках нового генерального соглашения, либо каким-нибудь иным мирным путем. Расходясь с Францией в определении характера внешних угроз и с раздражением взирая на ее попытки разного рода комбинациями создать контригру на востоке Европейского континента, в Лондоне в большей мере были склонны считать вопрос о восточных границах Германии открытым. Это отчетливо проявилось и в Локарно, и в более доверительных отношениях английской дипломатии с веймарской Германией, нежели с Францией, и в особенности в ходе встречи Д. Ллойд Джорджа и Гитлера 4 и

5 сентября 1936 г. Один из столпов Версальской системы оказался удивительно расположен рассматривать притязания фюрера на ее пересмотр за счет малых стран на Востоке и Юго-Востоке Европы, а также французских интересов в этом регионе[6]. Именно из-за "гибкой" политики Лондона, а не из-за угроз Москвы к середине 30-х годов стало ясно, что существование малых стран Европы – детища Версаля – вне прочной, включающей все без исключения европейские страны, построенной на доверии и закрепленной международными соглашениями (включая военные) системы коллективной безопасности с обязательным участием в ней России становится в высшей степени проблематичным. Однако признать это открыто никто не хотел.

Тема "Версаль и малые страны" имеет еще одну острую, как бритва, и, как показало время, отнюдь не постороннюю современному человеку грань. Она ясно обозначилась еще в ходе боевых действий, особенно с весны 1918 г., а затем благодаря решительному вмешательству США и лично президента Вильсона в проблему определения целей Антанты в войне с Центральными державами и формулы послевоенного урегулирования превратилась в контрапункт мировой политики. Речь идет об идее этнической идентификации и создания суверенных государств с выделением титульной нации. Свою лепту в ее оформление внесли также большевики, пытаясь (и не без успеха) использовать стремление этносов иметь собственные, суверенные государства в интересах русской революции. Изначально в повестку дня ее поставили национальные движения XIX века и балканские кризисы. Оставалось лишь вопросом времени, когда она выйдет на поверхность в полном объеме. Собственно жертвой этой идеи и стали империи Габсбургов, Романовых и Османов, дав повод великим политикам Вильсону и Ленину обрушиться на "империализм" с сокрушительной критикой и провозгласить здравицу в честь права наций на самоопределение, самоосвобождение народов от гнета имперской власти и суверенизацию в пределах "исторических" границ (кто и когда мог их установить?) расселения этносов.

Ленин, именем революции круша имперство и проповедуя самоопределение народов (вплоть до отделения), одновременно весьма изобретательно, постоянно варьируя акценты, продвигал идею создания мирового царства труда, всеобщего братства, единого социалистического континента. Рядом с этим соседствовала мысль о целесообразности сохранения большого государства[7]. Неудача в войне с Польшей вызвала первый серьезный надлом внутри[8], заставила задуматься над сокровенной сутью теоретически в рамках доктрины как будто бы уже решенного вопроса, в житейской же практике обернувшегося неожиданной головоломной неподатливостью: нетленность нации, органичность этноса как будто бы должны были противоречить движению к единому целому, через большое унитарное государство к родине без границ. Здесь мысль Ленина взяла передышку, признаваясь тем самым в исторической неизбежности... Версальской системы, правда, как переходного состояния к грядущей (когда?) добровольной и солидарной целостности людей, народов, стран.

Свою роль в этом процессе призван был сыграть и буржуазный пацифизм и его худосочное творение – Лига наций[9]. Молчаливое признание Лениным реальностей Версальской системы следовало также из выдвинутых им постулатов о приоритете экономики над политикой. Протеже Ленина нарком финансов России Григорий Сокольников ретранслировал его в тезисе "Спасение Европы лежит в России"[10], т.е. в экономическом сотрудничестве с Россией.

Вильсон в отличие от комбинационного, девиантного мышления Ленина жестко сконцентрировался на идее этнической реструктуризации политической карты Европы, в которую он уверовал окончательно, черпая эту уверенность в своем личном опыте и традициях стран Американского континента. Для американского президента она стала неотъемлемой частью его либерального мировидения, поскольку вытекала из естественного права народа распоряжаться своей судьбой и появления в мировой политике конца XIX – начала XX в. такой важнейшей социальной и культурно-психологической общности, как нация. Побуждаемый новой волной национализма, поднятой мировой войной, Вильсон приписал ей самодовлеющее, почти абсолютное значение, воплотив ее в конечном счете в идеальную модель современного территориального государства, "государства-нации". Упав на благоприятную почву, она моментально завоевала на свою сторону многочисленых влиятельных приверженцев повсюду, поощряя их к поиску исторического обоснования на территориальные притязания и ослабляя одновременно способность различать контуры будущего развития, на удалении двух-трех шагов сулящего уже немалые осложнения и конфликты, людские жертвы и разрушения.

Вильсоновская формула нового международного порядка, во главу угла ставящая право малых народов на "свободное развитие", суверенитет, не будучи охотно принятой союзниками США, за глаза воспринимаемая ими как идеалистические фантазии, восторжествовала. Пройдет какое-то время, прежде чем проницательный Г. Никольсон в книге "Как делался мир в 1919 г." напишет: "Если бы вильсонизм действительно мог быть применен полностью и повсеместно и если бы Европа действительно могла положиться на силы Америки для его проведения, тогда несомненно возникла бы альтернатива, бесконечно более предпочтительная по сравнению с опасным и вызывающим равновесием европейской системы... Поддерживаемые уверенностью в немедленной и бесспорной американской помощи государственные деятели Европы могли бы отказаться от своей старой системы безопасности в пользу той более широкой системы безопасности, которую обещали теории Вудро Вильсона. Но были ли они уверены, что Америка будет настолько альтруистичной, настолько донкихотской, чтобы обеспечить вильсонизм Европе?"[11].

Цель и результат обычно не совпадают, так можно было бы в двух словах выразить эту мысль Никольсона. "Четырнадцать пунктов" Вильсона своим условием sine qua non имели признание "свободы морей" и права народов на территориально-государственное размежевание на основе ясно различимых национальных признаков при условии соблю-

дения принципов свободного волеизъявления народов в отношении конституционных основ их государственности[12]. Однако появление десятка новых мелких государственных образований на территории Европы, узаконеннос вильсоновской программой мирного урегулирования, было омрачено с самого начала рядом обстоятельств. *Во-первых*, фактом одностороннего решения их судьбы победителями. *Во-вторых*, насильственным устранением двух великих европейских держав (Россия, Германия) от решения всех территориальных вопросов. *В-третьих*, сохранением острейших разногласий в понимании "этнографического принципа" как доминирующего критерия. *В-четвертых*, колебаниями гарантов этой системы – держав-победителей и прежде всего Соединенных Штатов – в отношении окончательности (и отчасти даже справедливости) возникшей лоскутной карты Центральной и Восточной Европы, открыто называемой продуктом "балканизации". *В-пятых*, конфликтным характером возникших между новыми государствами отношений, несмотря на то, что все они положили в основу своей государственности единый идеологический дизайн – американскую либо западноевропейскую модель. *В-шестых*, исторически сложившейся несовместимостью многих (не всех) устойчивых экономических и геополитических связей с этнографическими и культурными признаками государственной общности, национально-территориальной автономии[13].

О злополучной судьбе малых стран Европы в силу непрерывно происходившей драматической перегруппировки сил в "концерте" великих держав после 1918 г., когда победители и побежденные не раз менялись местами, а также о новой роли их самих как субъектов мировой политики, сказано в работе известного специалиста по истории и теории международных отношений профессора тель-авивского университета Дэвида Витала. Он говорит: "В целом роль малых стран на мировой арене в период до второй мировой войны в основном являлась вспомогательной по отношению к великим державам не только в практическом смысле, в аспекте реальной политики, но и в теоретическом плане тоже... Главный двигатель международных отношений всецело был представлен великими державами. Если уже говорить о малых странах, то только как о смазочном материале или о жертве системы баланса сил, созданного великими державами, или как о независимых государствах, которые в случае конфликта с большими государствами были обречены на поражение..."[14]

Именно эта картина послевоенного мира вынудила Гарольда Никольсона заявить, не утаивая уныния, что в Версале были приняты такие решения, которые европеизировали Балканы и одновременно балканизировали Европу. Справедливо видеть в агрессивности фашизма и его конфликте с Версальской системой главный источник военной опасности, взорвавшей мир в 1939 г., но заложенные в самой системе противоречия, возведение ею в абсолют принципа этнокультурной идентичности при неопределенности самого этого понятия и нерешенности других вопросов дали одновременно в руки агрессоров дополнительный повод в пользу перекройки границ, с чем (как бы вопреки самим себе) гаранты Версаля без серьезных возражений

посчитали нужным согласиться. Впрочем, некоторые известные аналитики заявляют, что это не дает оснований считать творцов системы утопистами или наивными людьми. Возможно, это и так, возможно, Ллойд Джордж и Клемансо согласились на далеко не идеальную программу Вильсона с дальним прицелом, в расчете на создание в будущем совершенной системы коллективной безопасности (зародыш ее можно видеть в Лиге наций) при условии обязательного подключения США к европейским делам, но в конкретно-исторических условиях наспех организованного мира она оказалась невыполнимой, как и расчеты видеть США главным гарантом безопасности в Европе.

Судьба творца этой программы, Вудро Вильсона, отвергнутого своей собственной страной, символизировала ее нежизнеспособность еще задолго до роковой капитуляции версальцев перед притязаниями стран-агрессоров. Короткая разрядка в отношениях между странами-победительницами и странами-побежденными в рамках плана Дауэса и Локарнской системы преследовала политические цели и не вела к прочной стабилизации, поскольку сама целиком зиждилась на концепции "разделяй и властвуй", на идее изоляции Советского Союза и умиротворения реваншизма в побежденных странах и всех недовольных версальским переделом. Догадывался ли кто-нибудь из творцов Локарно, что тем самым германский реваншизм получал основательный аргумент в пользу своей темной игры с далеко идущими целями на реанимацию недоверия между вчерашними союзниками и стремлением придать легальный вид "коррекции" Версаля за счет прямого и открытого подключения Германии к объединенному фронту "цивилизованных стран" против большевизма?[15] Если да, то кого следует винить в политике европейского суицида, ставшего уже безоговорочно реальностью с приходом Гитлера к власти?

Парадоксально, но Версаль как некое воплощение идеи гармонизации международных отношений смог на относительно короткий период восстановить свой имидж только после силового решения глобального кризиса системы в 1939–1945 гг. и благодаря осуществлению de facto договоренности великих держав о поддержании стабильности и безопасности в Европе в фиксированных границах, во многих случаях совпадающих с версальским делением. Сначала это касалось тех из них, кто вынес на своих плечах основную тяжесть борьбы с фашизмом, а затем путем постепенного подключения к этому процессу (Хельсинкский акт 1975 г.) на равноправной основе стран-побежденных и "маргиналов". Развал Советского Союза разрушил это хрупкое равновесие в форме согласия Запада и Востока и признания de jure неприкосновенности границ, создав благоприятные возможности для амбициозных устремлений националистических лидеров, религиозных фанатиков и сепаратистских движений. Круг замкнулся, призрак Версаля явился вновь в разнонаправленных тенденциях десятков этногосударств, возвращении к формуле "границы – по договоренности", дискриминации по идеологическим критериям в решении важнейших вопросов территориального, экономического и правового характера.

Исторические параллели всегда рискованны, однако необходимость

их проведения существует и заключается хотя бы в том, чтобы побуждать к бдительности в отношении грядущих опасностей. Вспоминаются слова, недавно сказанные Г. Киссинджером, историком и дипломатом. Для существования мирового порядка, имеющего целью устранение всех распрей, говорил он, "необходимо прежде всего желание основных участников его поддерживать. Так, когда после Версальского договора Германия и Россия не приняли новый мировой порядок, он разрушился"[16]. Киссинджер был бы еще ближе к истине, если бы добавил, что вплоть до самого последнего момента мировой порядок, созданный в Версале, предусматривал губительный двойной стандарт в подходах к безопасности, когда, проводя неформальные различия между полноценными и неполноценными членами сообщества, не думают о последствиях.

[1] Georgetown University Library (Wash. D.C.) Robert F. Kelley Papers. Box 2. "Policy of the US towards Soviet Russia".

[2] *Grenville J.A.S.* The Collins History of the World in the XX-th Century. L., 1994. P. 126.

[3] Важно отметить, что и в период работы Парижской конференции различными аналитиками разных стран было подготовлено много предложений и проектов, предназначенных снять, преодолеть навязчивый антироссийский комплекс, руководствуясь которым Запад, как считали авторы этих проектов, только усугубляет противостояние, не достигая искомых результатов. Так, недавно И.А. Дьяконовой был обнаружен и опубликован интереснейший документ, написанный рукой много лет проработавшего с С.Ю. Витте швейцарского предпринимателя и подготовленный для политического руководства и деловых кругов Швейцарии, в котором эта мысль была высказана категорично. Документ датирован маем 1919 г. и, бесспорно, отражал точку зрения многих критически мыслящих людей из политико-экономического истеблишмента на Западе в критический момент перехода от войны к миру. (Россия на переломе глазами швейцарского предпринимателя // Россия. XXI. 1995. № 9–10. С. 159).

[4] *Финк К.* НЭП во внешней политике: Генуэзская конференция и Рапалльский договор // Советская внешняя политика в ретроспективе, 1917–1991. М., 1993. С. 64.

[5] *Parker R.A.C.* Chamberlain and Appeasement. British Policy and the Coming of the Second World War. L., 1993. P. 25.

[6] Ibid. P. 316, 317, 318.

[7] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 34. С. 379.

[8] *Сироткин В.Г.* Рижский мир // Международная жизнь. 1988. № 8. С. 131–143.

[9] *Гефтер М.* Несостоявшийся диалог // Ожог родного очага / Общ. ред. Г. Гусейнова и Д. Драгунского. М., 1990. С. 236.

[10] См.: *Fink C.* The Genoa Conference. European Diplomacy, 1921–1922. Chapel Hill and London, 1984. P. 6–10, 197, 253–255.

[11] *Никольсон Г.* Как делался мир в 1919 г. М., 1945. С. 158.

[12] См.: Архив полковника Хауза / Отв. ред. Ч. Сеймур. Т. I–IV. М., 1944. Т. IV. С. 155–157.

[13] См.: *Seton-Watson Ch.* 1919 and the Persistance of Nationalistic Aspirations // Review of International Studies. 1989. N 15. P. 309–318.

[14] *Vital D.* Towards a Fresh Approach to a Theory of Minor Power – Major Rower Relations // Paper Delivered at the International Conference at Tübingen. 1991. Apr. 11–13.

[15] *Jacobson J.* Locarno Diplomacy: Germany and the West, 1925–1929. Princeton (N.J.), 1972. P. 369.

[16] Цит. по: Литературная газета. 1996. 4 дек. С. 14.

ВЕРСАЛЬ И ЯЛТА: ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?[1] АМЕРИКАНСКИЙ ВЗГЛЯД

Уоррен Ф. Кимболл
(США)

Версальский договор 1919 г. и вся система соглашений, тесно связанных с ним (такое как, например, Сен-Жерменский договор), почти повсеместно осуждаются за создание обстановки и даже за провоцирование реакций, сделавших возникновение второй мировой войны практически неизбежным. В Соединенных Штатах, как всем казалось, несправедливый характер Версальского договора породил (этого требовал от американцев здравый смысл) взрыв явления, впоследствии названного "изоляционизмом". Как образно выразился позже Уинстон Черчилль, Новый Свет пришел, чтобы спасти Старый Свет, но затем, когда Европа оказалась неспособной прислушаться к его советам, американцы в ответ отвернулись от нее. Мало кто в США не разделяет эту точку зрения, особенно после появления работ такого историка, как Сидней Бредшоу Фей, доказавшего, что причины первой мировой войны были гораздо более сложными и корыстными, чем просто проявление немецкой агрессивности или негибкости русских. Если все так или иначе виновны в возникновении войны, заключили американцы, тогда надо и осудить за это всю Европу.

Этот вывод, опирающийся на соображения здравого смысла, был в значительной степени унаследован Франклином Рузвельтом после избрания его президентом Соединенных Штатов Америки. Но в 1942 г., когда Гитлер и Япония бросили вызов жизненным интересам Америки, слово "изоляционист" стали употреблять уже в качестве грязного ругательства. Настоящие изоляционисты, сторонники невмешательства, республиканцы и вообще все несогласные с внешней политикой Рузвельта огульно удостоились этого ярлыка. 40 лет спустя, в 70–80-е годы, в такой же малосодержательной форме неоконсерваторы вновь использовали этот ярлык, чтобы дискредитировать тех, кто критиковал американскую внешнюю политику за чрезмерное вмешательство в дела остального мира. Через десять лет, в середине 90-х, когда неоконсерваторы и республиканцы попытались сократить помощь иностранным государствам, чтобы ограничить возможности президента Билла Клинтона в выполнении обязательств США по поддержке миротворческих операций Объединенных Наций, его помощник по национальной безопасности Тони Лейк использовал точно такую же тактику: те, кто выступает против "нашей политики все более широкого вмешательства в мировые дела", – заявил он, – являются "скрытыми изоляционистами и примитивно мыслящими людьми", "сторонниками американского отступления", желающими иметь американское лидерство в мире "задаром"[2].

© Уоррен Ф. Кимболл

Европейцы содействовали укреплению мифа об американском изоляционизме, используя это слово в качестве эпитета, характеризующего провал той политики США, которая когда-то посчитала Европу центром геополитики. Очень многие исследователи межвоенного периода называют американскую внешнюю политику запоздавшей, а затем с помощью кратких невнятных объяснений оставляют у читателей ощущение вины США за то, что произошло впоследствии[3]. Какие же ожидания связывались с американской внешней политикой? Должны ли были США обеспечить лидерство и стать "костяком" (по выражению Рузвельта) для Европы, травмированной памятью об ужасах первой мировой войны? Стала ли Лига наций беспомощной из-за невмешательства Соединенных Штатов, или участие США в европейских делах, которое могло стать реальным только при выполнении длинного списка условий и оговорок (например, доктрины Монро), сделало бы Лигу еще менее эффективной?[4]

А как насчет сферы идей, прежде всего идеологии современного национального государства? Не была ли надвигавшаяся вторая мировая война (еще вопрос, было ли это крушением или наоборот восстановлением порядка, разрушенного Версалем) просто геополитической саморегуляцией, сродни такому "техническому регулированию", о котором ведут речь биржевые маклеры перед тем, как ваши акции вот-вот обесценятся? "Произвольные европейские границы, – утверждает историк Норман Гребнер, – не менее чем европейский мир, опирались на силу оружия". Но разве не стоит принимать в расчет капитализм, фашизм, нацизм и коммунизм? В договорах межвоенного периода слово "демократия" почти всегда выступало собирательным понятием, обозначавшим Британию, Францию, а иногда и Соединенные Штаты. Но в таком случае, где попытка разрешить проблему, связанную с ролью идеологического конфликта, революционного по своему реальному смыслу? Представлять фигуру Гитлера как простой геополитический вызов – значит обходить стороной неудобный вопрос о том, каким образом его оппоненты выбирали между двумя ипостасями фюрера – революционной и консервативной. Режим Гитлера, угрожая социальному порядку в Европе, в то же время своей внешней политикой взывал к совместной обороне против большевизма[5]. Вопросы о границах и национализме таким образом являлись мощным побудительным мотивом, но вторая мировая война – это гораздо больше, чем просто выражение стремления к объединению наций вооруженной силой.

Возможно верно, что Британия и Франция больше старались сохранить разрушавшийся Версальский статус-кво вместо того, чтобы работать над созданием основ новой международно-правовой системы, хотя я полагаю, что никто не пытался более настойчиво, чем Невилл Чемберлен, реструктурировать Центральную Европу мирными средствами. Но к 1937 г. Гитлер не был умиротворен. Любой новый порядок должен был отвечать его представлениям. Таким образом Гитлер поставил либеральные, демократические государства перед окончательным выбором. Так как он отверг саму идею общих ценностей (как

это сделали и большевики), демократиям остался один путь – к вмешательству, и мы знаем, чем это кончилось.

Гребнер и другие, по-видимому, правы в оценке ситуации 30-х годов, доказывая, как это сделал Ян Кларк, "...что мифология интернационализма, мира и гармонии должна быть дополнена более реалистичными и практичными мерами"[6], хотя этот так называемый реализм был неприятным в своих крайних формах. Что осталось выяснить, так это, какая разновидность работающей и развивающейся в условиях мира системы была возможна в рамках взаимодействия *всех* держав, а не только тех, которые обычно осуждают или восхваляют. В этом смысле мы возвращаемся к стародавним спорам о природе человека, или по крайне мере природе тех структур, которые человек создает. Если борьба за власть и конфликты неизбежны, тогда готовься к войне, причем если звездные войны против большевиков уже не нужны, то они пригодятся против новой Германии или против желтой опасности. Но если войны можно избежать, встает вопрос – как? Этот вопрос останется проблемным на длительную перспективу, как и проблема современного национального государства с его идеологией собственной непогрешимости, с которой мы сталкиваемся постоянно.

Конечно, это не значит, что "самоопределение есть источник самой большой опасности для дела мира во всем мире", как утверждала Маргарет Тэтчер, британский премьер-министр в 80-х годах. Для нее Вильсон – тот человек, который в конечном счете несет ответственность за вредоносный миф об этно-государстве, государстве одной нации. Такие государства не могут существовать, говорит Тэтчер, Вильсон все переиначил. Он является деятелем, который останется на задворках истории[7]. Тэтчер мечтает о федерациях и империях, о воссоздании политических порядков XIX в. К сожалению, в результате влияния современного национализма мирный возврат к предположительно благотворному империализму является нереальным. Таково мнение современников о Версале.

Оценки Ялтинской конференции (февраль 1945 г.), сделанные американцами с позиции "холодной войны", являются еще более двусмысленными. Кое-кто в Соединенных Штатах доказывал, что для Запада Ялта была предательством его интересов, совершенным Рузвельтом, – аргумент, который все более выдвигался на первый план по мере разрастания "холодной войны", пока едва не превратился в основной. Такая критика опиралась на представления о правах человека, но в чем подобная аргументация должна быть признана верной, так это в том, что "новый курс" и демократы проявляли "мягкость по отношению к коммунизму", и эта мягкость доказывала, что они в чем-то отошли от национальных традиций, как и коммунисты, защищая ответственность правительства за социальное обеспечение в собственном значении этого слова (благополучие для всех).

Другие объяснения сводятся к доводу о недостатке реализма у ФДР (Ф. Рузвельта): Рузвельт-де был прекраснодушным идеалистом. Один исследователь ссылается даже на то, что "вильсоновская любовь к празднествам была воплощена ФДР" в Ялте. Рузвельт будто бы

примерял на себя мантию Вильсона с 20-х годов, что стало особенно заметным в 1944 г. К началу Крымской конференции, по мнению этого автора, Рузвельт, как "фокусник-неудачник, подорвался на вильсоновской петарде"[8]. Но едва ли правильно изображать ФДР непрактичным вильсонианцем. Факты говорят о другом. В частности, весьма удачным оказалось, что накануне Ялтинской конференции в ответ на его просьбу дать ему почитать что-то об СССР, Рузвельту принесли труд Уильяма Чемберлена "Русская загадка: исследование". В ней Чемберлен решительно отказывался от своих ранних идеализированных представлений о большевистской революции, но, рисуя СССР тоталитарным государством, продолжал тем не менее утверждать, что существуют довольно неплохие шансы на возможность сотрудничества с Советским Союзом в послевоенный период[9]. Это только один пример, показывающий прагматизм Рузвельта. Есть и другие.

В конце 1942 г. Рузвельт послал своему другу Томасу Ламонту несколько заметок по поводу советско-американских отношений. Осенью 1933 г., вспоминал президент, он сказал Максиму Литвинову по поводу условий дипломатического признания Соединенными Штатами советского режима следующее: "Ваш народ и мой народ так далеки друг от друга, как полюса Земли". Литвинов ответил: "В 1920 мы действительно были так далеки, как Вы сказали... За эти тринадцать лет мы поднялись по шкале, позвольте так сказать, до отметки двадцать. Вы американцы... подошли к черте в восемьдесят... В следующие двадцать лет мы дойдем до сорока, вы опуститесь до шестидесяти. Не думаю, что взаимное сближение будет более тесным, чем этот уровень". Затем Рузвельт заметил, что, "возможно, мысли Литвинова девятилетней давности становятся реальностью". И еще. Как-то в 1943 г. он сказал Гарриману о своих "надеждах на постепенное стирание различий между двумя системами", а Самнеру Уэллесу о том, что СССР развивается в направлении "модифицированной формы государственного социализма", в то время как Соединенные Штаты движутся к "настоящей политической и социальной справедливости" (т.е. следуют "новым курсом"). Два общества никогда не встретятся на полпути, подытожил он, но они могут, возможно, достигнуть отношений на уровне 60 : 40. Этот тезис о "конвергенции", как отметил Гарриман, был определяющим для видения Рузвельтом послевоенного мира[10]. Британского премьер-министра Уинстона Черчилля он не смог убедить. Последний никогда не верил, что революционеры-большевики когда-нибудь отдадут предпочтение статус-кво, и к весне 1945 г. утратил доверие к великой стратегии Рузвельта. Но ФДР никогда не изменял своему курсу.

Либерализм – средний путь, золотая середина – оказался сконцентрированным (по крайней мере, по мнению ФДР) в Соединенных Штатах[11]. Как и Вильсон, Рузвельт рассматривал войну как возможность для осуществления изменений; как и Вильсон, Рузвельт верил, что гармоничные отношения между великими державами существенно важны для того, чтобы избежать войны; в отличие от Вильсона, Рузвельт решил обращаться с Советским Союзом как с великой

державой. Эти три принципа были очевидны для чиновников госдепартамента в 1945 г. В материалах, подготовленных для ФДР к Ялтинской конференции, проблемы восстановления политического устройства в Европе рассматривались как процесс решения дилеммы по нахождению среднего пути между реакцией и революцией. Профессор Л. Гарднер так резюмирует их содержание: "Эти правительства (в странах послевоенной Европы. – *У.К.*) должны быть достаточно левыми, чтобы удовлетворять господствующим настроениям в Европе и успокоить советские подозрения. С другой стороны, они в достаточной степени должны представлять центр политического спектра и *мелкобуржуазные* элементы населения так, чтобы их нельзя было считать простой прелюдией перед установлением коммунистической диктатуры"[12].

Ялтинская конференция получила искаженное отображение в послевоенной европейской и американской политической культуре, она искусственно преувеличивает ее значение, отрывая от других событий военного времени, которые подготовили условия для крымской встречи. Этим Ялта отличалась от Версаля.

Ошибочно думая, что история повторяет саму себя, Рузвельт всегда полагал, что вопросы послевоенного мирного урегулирования будут решаться во время большой конференции, которая состоится по окончании войны и на которой, как и в Париже после первой мировой войны, великие державы решат основные вопросы. Но в 1945 г., в отличие от 1919 г., единственным нерешенным вопросом европейского политического устройства была германская проблема. Один нерешенный аспект касался экономического будущего страны – реконструкция, реинтеграция в европейскую экономику и репарации; другие касались политической судьбы Германии – останется ли она унитарным государством или будет расчленена (сверх территорий, уже отошедших к Польше, Советскому Союзу, Франции и другим странам).

Хотя в значительной мере обсуждение проблемы будущего Германии в Ялте проходило между тремя министрами иностранных дел – Молотовым, Иденом и Стеттиниусом – рамочное отношение "Большой тройки" к этому вопросу уже определилось. Безоговорочная капитуляция Германии, о которой условились с самого начала, оставалась общей тройственной политикой. Все согласились, что нацизм должен быть искоренен, что Германия никогда не должна вновь угрожать миру в Европе. Но у каждого был собственный рецепт. Подход Сталина предполагал существование слабой Германии, не способной угрожать Советскому Союзу. Рузвельт был за реформированную Германию, незаинтересованную в подрыве мира. Черчилль считал нацизм наносным явлением, навязанным стране влиятельным меньшинством. Опасаясь изменения баланса сил в Европе, он противился любому постоянному расчленению, заигрывая с планом, согласно которому Германия вновь оказывалась в положении Пруссии XVIII–XIX вв., выполняя роль финансируемого Британией барьера против любого сильного соперника. В 1945 г. таким соперником была советская экспансия.

Сталин оставался непоколебимо убежденным в том, что Германия никогда не должна быть способна угрожать России, но, столкнувшись с трудновыполнимой задачей восстановления разоренной страны, в основном вел разговоры о репарациях, предлагая десятилетний срок взимания репараций и обширный план вывоза немецкого промышленного оборудования. Черчилль решительно отверг этот проект как неразумный и непрактичный. Рузвельт, неуверенный в том, какой политики придерживаться, уклонялся от определенных ответов. Помня об американском опыте после первой мировой войны, он не соглашался с любым мнением, предполагавшим, что Соединенные Штаты могут или должны обеспечить помощь для поддержки Германии в удовлетворении репарационных претензий или для предотвращения коллапса германской экономики. Он никогда не поднимал вопрос о помощи Советскому Союзу в послевоенной реконструкции, хотя Гарриман доказывал, что обещания займов могут быть использованы для получения уступок со стороны Сталина. Затем президент в типично рузвельтовской противоречивой манере одобрил обширный план краткосрочных репараций в размере 20 млрд долларов, взимаемых с Германии, из которых половина предназначалась Советскому Союзу. Но даже это соглашение было расплывчато обозначено как "база для обсуждения" на репарационной комиссии. Крутые меры по расчленению Германии и ее экономики были отложены[13].

Что касается остальной Европы, сталинская аксиома – "как только оккупировал территорию, насаждай на ней свою социальную систему" – последовательно выполнялась всей "Большой тройкой"[14]. Оккупация Красной Армией Восточной Европы и англо-американское освобождение Западной и Южной Европы произошло перед ялтинскими переговорами. Осуществление этой аксиомы было более либеральным и определенно менее грубым в таких странах, как Италия и Бельгия, чем в случае с Польшей и Венгрией, но такой исход не мог быть изменен в Ялте.

Рузвельт (так же, как и Черчилль) старался во время и после крымских переговоров вынудить Сталина сделать уступки в Восточной Европе, которые бы больше улучшали фасад, чем изменяли сущность; этот подход использовался обоими западными лидерами с осени 1944 г. Советский лидер, либо враждебно настроенный, либо неверящий в их искреннюю озабоченность внутриполитическим устройством европейских стран, уступил в отношении формулировок, но ни капли реального контроля так и не отдал. Смутное обещание разрешить "всем демократическим и антинацистским партиям" участвовать в "свободных выборах" не могло послужить гарантией для лондонского польского правительства, ибо такие выборы должны были проходить под наблюдением советских официальных лиц. Из трехсторонней комиссии по Польше были исключены англо-американцы точно так же, как это случилось ранее с советскими представителями в Италии. Сталин не был бы Сталиным, если бы не учился всему с такой быстротой. Он не проявил особого беспокойства, и союзники понимали, что выполнение ялтинских соглашений зависит от его, Сталина, доброй воли[15].

Единственным "новым" соглашением, достигнутым в Ялте, стала "Декларация об Освобожденной Европе", и оно оказалось наиболее разочаровывающим соглашением из всех. Подписанное "Большой тройкой", оно призывало к свободным выборам. Но даже и это соглашение не было вполне новым, являясь повтором принципов, изложенных в Атлантической хартии: "Право всех народов избирать форму правления, при которой они будут жить". Но настойчивое советское требование иметь "дружественное правительство" в Варшаве показывало, что никто из антисоветски настроенных лондонских поляков, избранный или нет, не будет приемлем для СССР в новом польском правительстве. Между тем британское поведение в Греции и американская политика в Италии демонстрировали в свою очередь "сталинскую аксиому" в действии. Декларация была подготовлена совместными усилиями за минимальный срок и без больших споров. Все три лидера полностью отдавали себе отчет, что все это значит. "Это было максимальным, чего я мог добиться", – сказал Рузвельт одному из своих советников[16].

"Декларация об Освобожденной Европе", как и Организация Объединенных Наций, казалось, отвечала внутренней потребности Рузвельта в "высоких моральных целях и провозглашении американских либеральных политических идеалов"; особенно заметно подчеркивание им этих принципов в надежде сохранить гармонию в отношениях великих держав. Возможно, общественное мнение в Соединенных Штатах разделяло его одобрение Декларации. Но ни он, ни Черчилль не могли в реальной жизни рассчитывать, что эти идеалы будут немедленно воплощены где-нибудь в Европе, особенно в тех районах, которые оккупировал Советский Союз. Рузвельт определенно не верил, что эти принципы могут быть осуществлены в послевоенной Франции. Даже Черчилль отступился от положений Декларации, призывавших союзников "создать механизм", который обеспечил бы рычаги для вмешательства в колониях Британской империи или в таких странах, как Греция. Вместо этого он и Иден изменили формулировку на беззубый призыв к союзникам к "совместным консультациям". Рузвельт, возможно, искренне хотел обеспечить для Польши "демократические гарантии" через обещание проведения выборов. Но, как и большая часть его идей о послевоенной политике, либеральные цели могли осуществиться только в длительной перспективе. Уинстон Черчилль как-то назвал Атлантическую хартию "не законом, а путеводной звездой"[17]. Он и Рузвельт могли сказать то же самое о "Декларации об Освобожденной Европе" и большинстве ялтинских соглашений.

Распад колониальных империй не явился следствием Ялты. Не было им также ни разделение Европы, ни советско-американское урегулирование на Дальнем Востоке, даже если некоторые его детали там и разрабатывались. Не были этим следствием и Бреттон-Вудские соглашения, которые в значительной мере явились признанием реальной экономической силы США. Не была им и Организация Объединенных Наций – структура, ставшая гораздо более важным фактором, чем

даже мог вообразить это себе Рузвельт. Ялта была, главным образом, осуществлением того, что уже было выработано и достигнуто.

Но "миф" Ялты стал, как и Версальский договор, вводящим в заблуждение символом того, что могло быть, или, точнее сказать, что его критики хотели бы в нем видеть. Оба, и Уинстон Черчилль, и Франклин Рузвельт, вернулись из Ялты, прокричав в темноту и возвестив в духе оптимистического прогноза, что конференция знаменует собой наступление новой эры. "Бедный Невилл Чемберлен верил в то, что он может доверять Гитлеру. Он ошибся, – сказал Черчилль. – Но я не думаю, что ошибся в Сталине". Президент, каковы бы ни были его личные сомнения, сообщил Конгрессу, что "соглашения должны положить конец системе односторонних акций, замкнутых союзов, сферам влияния, балансам силы и всем прочим приемам, которые использовались на протяжении столетий – и всегда терпели провал", и выразил уверенность, что "Конгресс и американский народ одобрят результаты этой конференции, как начало создания постоянной структуры мира"[18].

Кроме того, конструкция, которую Черчилль и Рузвельт помогли создать в Европе и на Дальнем Востоке, – даже, если это было не совсем то, что каждый из них имел в виду, – структура, которую историки назовут "ялтинской системой", находилась в развитии почти пятьдесят лет. За это время распались старые колониальные системы, их сменили менее формальные образования, национализм изменил политическую карту мира вновь, а великие державы – англо-американцы и Советы – оказались в противоборстве друг с другом, хотя ни разу не вступили в прямое военное столкновение. И Европа, постоянная арена для войн в первой половине XX в., избежала повторения военных ужасов. В определенном смысле Ялта упрочила такое устройство, которое вместе с достигнутым на Венском конгрессе создало для Европы эру мира, или более точно, эру без войны.

Но такой вывод игнорирует бесконечные столкновения и войны "по доверенности" в период между 1946 г. и началом 90-х годов, имевшие место в регионах, которые европейцы и американцы небрежно обозначают, как "третий мир". В действительности в XX в. было три "мировые войны". Определение "мировая" формально относится к войнам 1914–1918 и 1939–1945 гг. Но во множестве горячих точек во время "холодной войны" – в таких местах, как Корея, Вьетнам и Афганистан, Советский Союз и Запад близко подходили к тому, чтобы начать прямое военное столкновение. В Германии, Венгрии, Польше, на Кубе и в такой крохотной точке на карте мира, как карибский остров Гренада, обе стороны бросали серьезнейшие вызовы друг другу, которые ставили мир на грань всеобщей войны. В то же время страны "третьего мира" сражались с "чужеземцами", пытавшимися установить контроль над их политическим устройством, экономикой и мировоззрением. Вчерашние реформы всегда становятся сегодняшними проблемами – теми самыми, которым Рузвельт пытался противодействовать, которые Черчилль пытался игнорировать, и которых оба, Сталин и Вудро Вильсон, кажется, не поняли.

Бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, создавая свои мемуары в начале 90-х годов, отмечал, что "хотя мы прожили 45 лет без войны, война в действительности продолжалась – именно из-за порядка, установившегося в Европе после 1945 г."[19] Только одно ему надо было добавить – распространить этот вывод на остальной мир.

Но рассмотрение истории с точки зрения эпохи "холодной войны" искажает реальное прошлое. Охваченные праздничной атмосферой 90-х годов, англичане и американцы сосредоточили свое внимание на всех издержках, связанных с результатами второй мировой войны, они забыли, что лишь малая толика их или вообще ни одна из этих "ошибок" не были бы сделаны, если бы гитлеровская Германия или милитаристская Япония одержали победу или просто уцелели во время войны. Победа во второй мировой войне была условием всех провалов и всех успехов, которые последовали за ней. Если бы Черчилль и Рузвельт решили вести войну только ради получения послевоенного преимущества над Россией, коммунизмом и "левыми", они не победили бы в этой борьбе. То же самое относится и к Сталину. Почти всегда, оказавшись перед драматическим выбором между победой и получением политических преимуществ после войны, Рузвельт, Черчилль и Сталин принимали решение о необходимости совместно сохранить Большой союз и нанести поражение державам "оси". Они не смогли найти ответ на все политические, социальные и экономические проблемы мира, но они сумели привести свои народы к победе и предотвратить появление гораздо худших проблем. Возможно, как и Вудро Вильсону в 1919 г., им и в самом деле удалось сделать только это.

Версаль не привел ко второй мировой войне, так же как Ялта не привела к третьей мировой войне в XX в.

[1] Часть этого эссе заимствована из книги автора: *Kimball Warren F.* Forged in War: Roosevelt, Churchill and the Second World War. N.Y.; L. 1977.

[2] New York Times. 1995. 28 Apr. По поводу изоляционизма как мифа см.: *Johnson P.* The Myth of American Isolationism: Reinterpreting the Past // Foreign Affairs, 74: 3, 1995. May–June. P. 159–164.

[3] Два типичных примера: советская книга по проблемам предвоенных международных отношений, опубликованная в эпоху "гласности", доказывает, что "только после второй мировой войны предательство западных держав полностью стало очевидным. Они использовали переговоры в Москве как средство давления на Германию в своих интересах и вели переговоры с нацистами за спиной Советского Союза с мая до конца августа 1939 г." (*Rzheshevsky O.* Europe in 1939: Was War Inevitable? M., 1989. P. 152). Автор утверждает, что "значительная часть вины за сложившуюся ситуацию... лежит на руководстве США. 16 августа (1939 г.) Франклин Рузвельт направил советскому правительству послание, в котором советовал ему стремиться к "удовлетворительному соглашению" с Британией и Францией. Однако Соединенные Штаты не связали себя никакими обязательствами, не предоставили никаких гарантий, касающихся позиции Лондона и Парижа. Есть основание полагать, что Вашингтон был убежден, что переговоры потерпят провал" (Ibid. P. 156). Британский исследователь Дональд Уотт тоже останавливается на влиянии Америки, посвятив две главы (из 32) своей книги роли США, и все только с целью доказать, что именно малодушие Рузвельта привело к тому, что политика США не помогла помешать агрессии Гитлера. См.: *Watt D.* How War Came: The Immediate Origins of the Second World War, 1938–1939. N.Y., 1989.

[4] См., например: *Clark I.* The Hierarchy of States: Reform and Resistance in the International Order. Cambridge, 1989. P. 153.

[5] См.: *Clark I.* Op. cit. P. 163–164. Доводы Гребнера приведены в неопубликованной работе.

[6] *Clark I.* Op. cit. P. 160.

[7] Цит. по: *Urban G.* Diplomacy and Disillusion at the Court of Margaret Thatcher / I.B. Taurus, ed. L., 1996; фрагменты см.: The Times (London). 1996. Sept. 24.

[8] *Harper J.L.* American Visions of Europe: Franklin D. Roosevelt, George F. Kennan and Dean G. Acheson. N.Y., 1994. P. 125–126. Если так, то связь подразумевается, хотя ФДР редко сравнивал себя с Вильсоном, который в конце концов потерпел поражение в своих усилиях убедить американцев принять его международную политику.

[9] *Mark E.* October or Thermidor? Interpretations of Stalinism and the Perception of Soviet Foreign Policy in the United States, 1927–1947 // American Historical Review, N 94, October 1989. P. 948.

[10] FDR to Thomas W. Lamont, 12 Nov. 1942 // FDR: His Personal Letters, 1928–1945 / E. Roosevelt (ed.). N.Y., 1948. P. 1365–1366; W. Averell Harriman and Elie Abel. Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941–1946. N.Y., 1975. P. 169–170.

[11] См.: *Kimball W.F.* The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman. Princeton, 1991. Ch. 9.

[12] Цит. по: *Gardner L.C.* Spheres of Influence: The Great Powers Partition of Europe, from Munich to Yalta. Chicago, 1993. P. 222.

[13] *Gardner L.C.* Op. cit. P. 223–227; Foreign Relations of the United States (далее – FRUS). Washington, 1962. Yalta Conference. P. 620–622, 970–971, 982–983.

[14] Цитируется Милован Джилас в: *Schild G.* Bretton Woods and Dumbarton Oaks: American Economic and Political Postwar Planning in the Summer of 1944. N.Y., 1995.

[15] См.: *Kimball W.F.* Op. cit. P. 159–183.

[16] Цит. по: *MacGregor B.J.* Roosevelt: Soldier of Freedom. N.Y., 1970. P. 580.

[17] FRUS. Yalta Conference. P. 977–978; *Churchill W.S.* The Second World War. Vol. I–VI. Boston, 1948–1953. Vol. VI. P. 393.

[18] The Second World War Diary of Hugh Dalton, 1940–1945 / Ed. Ben Pimlott. L., 1986. P. 836n; *Kimball W.F.* The Mythical Yalta Myth // Society for Historians of American Foreign Relations Newsletter. 1982. June.

[19] Цит. по: *Dashichev V.* On the Road to German Reunification // Soviet Foreign Policy, 1917–91: A Retrospective / G. Gorodetsky, ed. L., 1994. P. 171.

III. ТОТАЛИТАРИЗМ ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ

1914–1918 ГОДЫ: У ИСТОКОВ ТОТАЛИТАРИЗМА И "МАССОВОЙ ДЕМОКРАТИИ"

З.П. Яхимович

Во всемирной истории не так уж много событий, которые могут сравниться с первой мировой войной по силе их воздействия на судьбы народов и государств, регионов и континентов, по многообразию и остроте оказавшихся на поверхности и многократно умноженных войной проблем – международных и национальных, социальных и экономических, политических и духовных, личностных и цивилизационных. Четыре с лишним года "кровавой тарантеллы народов", как назвал войну Д. Ллойд Джордж, стали своеобразным финалом довоенного мира, более того – тем водоразделом, который отделил новейшую эпоху мировой истории от предшествующей, сложившейся в XVIII–XIX вв. и сохранявшей свои характерные черты, хотя и в видоизмененном виде, и в начале XX столетия. В кровавых военных сражениях и страданиях народов в тылу, в воинственной риторике генералов и политиков и встречном стремлении широких общественных кругов к "вечному миру", в приговорах военно-полевых судов и в пробуждении демократического социального и национального самосознания прежде инертных масс, в интеллектуальном потрясении, пережитом в связи с жестокостями войны лучшими умами человечества, и в трудном духовном возрождении гуманистических принципов по ее завершении впервые зримо обозначились причудливые контуры и мучительные дилеммы XX в., одного из самых драматических, динамичных и противоречивых в мировой истории.

Не случайно к событиям первой мировой войны и по сей день обращаются в своем стремлении постичь связь времен, смысл истории, предназначение человека и возможности мировой цивилизации историки и философы, социологи и политологи, культурологи и психологи. Традиционные подходы к изучению первой мировой войны в контексте страноведческих исследований через призму политической, дипломатической и военной истории дополняются обращением к новым аспектам – выявлению взаимосвязи войны с крупными трансформационными процессами новейшего времени, в частности с индустриализацией и модернизацией, воздействию мировой трагедии на массовое сознание и историческую память народов, на механизмы и формы

© З.П. Яхимович

общественного развития, на ценностные ориентиры и т.п. Без учета трагического опыта и весьма неоднозначных последствий войны не могут быть в полной мере осмыслены многие политические процессы XX столетия, в том числе такие, как феномен тоталитаризма, кризис "классических" форм либерализма и консерватизма, обретение новых качеств демократией, резкое усиление антикапиталистических и антиимпериалистических настроений и движений в различных странах и регионах, и среди них – грандиозный социальный эксперимент в России, начатый в условиях мировой схватки.

В ходе войны с особой силой выявилась глубокая противоречивость и сложность структуры человеческого сообщества, все многообразие исторического опыта и социокультурных черт и особенностей народов и государств, втянутых в военное противоборство. С войной и ее многогранными военно-стратегическими, политическими и социальными последствиями связано усложнение структуры международных отношений и появление новых субъектов международного права, возникновение, наряду с прежними формами межгосударственных конфликтов и противоречий, новых форм антагонизмов (капитализма–социализма, Запада – Востока, Севера – Юга), а вместе с тем дальнейшая универсализация и глобализация мировых процессов.

Период от начала до завершения первой поистине мировой войны при всей краткости этого отрезка в историческом измерении вместил в себя такие болезненные и сложные процессы, как переход от мира к войне, когда в одночасье рухнула столь тщательно возводимая в течение полувека (со времен франко-прусской войны) система европейского и мирового "равновесия", подточенная присущими ей внутренними противоречиями, и – после нескольких лет кровопролитных сражений – не менее мучительный и трудный переход от войны к миру, к новой системе международных отношений, закреплявшей итоги военного конфликта. Совмещение в сжатые сроки этих разнонаправленных процессов взрывало довоенную политическую и международную стабильность (при всей ее относительности), способствовало ломке стереотипов поведения и реакции на общественные перемены "верхов" и "низов", предъявляло новые требования к властным структурам, государственным институтам и общественным организмам. Резко возрос удельный вес внешней политики и международных вопросов в политической жизни всех стран – больших и малых, метрополий и колоний, монархий и республик, усложнилась взаимосвязь внутренней и внешней политики.

Конечно, все эти процессы отличались немалой специфичностью в различных странах и соответственно получили далеко не однозначное продолжение в межвоенный период. Тем важнее, на наш взгляд, задаться вопросом, какими своими гранями и свойствами первая мировая война породила такой феномен XX столетия, как тоталитаризм, хотя, что общеизвестно, и само явление и понятие, его характеризующее, сложились позднее? В какой мере война повлияла на судьбы и перспективы демократии, на появление новых ее критериев и

ценностных ориентиров? Какие факторы обусловили трудности упрочения демократических и гуманистических принципов по окончании войны в международных отношениях и подготовили возникновение еще более разрушительной и кровавой второй мировой войны? Как представляется, обращение к этим волнующим отечественную и мировую научную общественность вопросам позволит полнее раскрыть взаимосвязь войны и политики, войны и общества как таковых.

Еще задолго до начала первой мировой войны у ряда наиболее прозорливых политиков зрело предчувствие, что европейская война, если таковая возникнет, приобретет небывалые формы и будет иметь труднопрогнозируемые последствия. Уже в конце XIX в., учитывая опыт австро-прусской и франко-прусской войн, германский военачальник и военный теоретик (с 1911 г. – фельдмаршал) К. фон дер Гольц заговорил о тотальном характере будущих войн в Европе. При этом он имел в виду, что их исход будет решаться не только армиями, но и целыми народами, вот почему он придавал большое значение воспитанию германской нации в милитаристском духе[1]. С иных, антимилитаристских и антивоенных позиций об опасности для судеб Европы и ее народов общеевропейской войны предупреждал тогда же один из теоретиков марксизма Ф. Энгельс. Он полагал, что ввиду создания массовых армий и непрерывного революционизирования технической основы военного дела будущая война примет особо разрушительный характер, станет затяжной и мучительной, поскольку вовлечет в свою орбиту многие европейские страны. В ходе ее могут вступить в силу не поддающиеся учету осложнения и последствия[2]. Он призывал к разоружению Европы и к благоразумию правящие круги стран, вершивших европейскую политику, а трудящиеся массы – к решительной борьбе против милитаризма и военных конфликтов.

Вопреки подобным прогнозам и предостережениям в конце XIX – начале XX в. стал складываться своеобразный культ войны как всесильного средства решения сложных международных, государственных, национальных проблем, обеспечения безопасности и процветания стран и народов. Более того, война объявлялась радикальным средством оздоровления жизни наций и создания для них оптимальных условий развития, мощным импульсом обновления мира и проявления жизненной энергии отдельных индивидов и целых общностей, способом сбросить обветшалые догмы, якобы сковывавшие волю людей и их стремление к действию. Среди откровенных сторонников милитаризма, шовинизма, военных методов решения международных вопросов преобладали представители консервативного крыла политического спектра и реакционной части генералитета государств Европы; во многих странах на рубеже XIX–XX столетий сложились организации и идейные течения откровенно империалистического, милитаристского характера, видевшие свою задачу в подготовке к войне за великодержавные цели, за колонии и сферы влияния. К их числу можно отнести Пангерманский союз в Германии, Националистическую ассоциацию в Италии, аналогичные течения в Англии, Франции и других странах[3]. В России, особенно после поражения империи в русско-японской войне, с при-

зывом к российской общественности и правительственным кругам возродить "Великую Россию" и "здоровый милитаризм" обращались представители консервативных и либеральных партий и течений[4].

Вместе с тем, чем ближе надвигалась военная буря, тем активнее в пользу войны как "естественного" явления общественного развития высказывались левоэкстремистские теоретики и идеологи (представители "империалистического" синдикализма, некоторые анархисты и т.п.), рассчитывавшие чисто военным путем подготовить почву для радикального обновления мира. Свою лепту в восхваление войны, насилия, "активизма" вносили философские течения иррационального, модернистского толка, объявлявшие, подобно Ф. Ницше, бой добру, восхвалявшие борьбу и неравенство, войну за могущество и всемогущество[5]. К войне готовились генеральные штабы и дипломаты, монархи и главы правительств государств, входивших в военно-политические союзы либо помышлявших о вступлении в них. И никто из современников не оказался способен предугадать подлинные размеры разразившейся в 1914 г. катастрофы. Обладая собственной логикой развития, война обрела как бы самодовлеющие свойства, навязывая свои законы и требования государственным институтам, политическим партиям, хозяйственным структурам, не говоря уже об общественном сознании и духовном климате, социальном поведении, условиях жизни миллионных масс.

По многим своим параметрам война 1914–1918 гг. явила собой особый тип "тотальной войны", предвосхитив ряд важных черт тоталитаризма как специфической формы организации государства, общества, духовной жизни. Немаловажное значение в подчинении интересам войны всех уровней жизнедеятельности воюющих (а в определенной мере и нейтральных) государств и народов сыграли масштабы войны, ее продолжительность, особо разрушительный характер. В ней приняли участие 33 государства, на долю которых вместе с колониями, пришлось 1,5 млрд человек, т.е. 87% населения Земного шара. Главными по количеству задействованных в них вооруженных сил и военной техники и потерям стали наступательные, оборонительные и затяжные позиционные сражения на европейских фронтах, на Ближнем Востоке, а также в Африке и на Азиатском континенте. Они сочетались с напряженной борьбой за морские коммуникации в Северном и Средиземном морях, в Атлантике, а также с воздушными сражениями. В общей сложности за годы войны было призвано под ружье около 70 млн человек, из них погибло около десяти и было ранено и искалечено свыше двадцати млн человек. Через испытания войной прошла значительная часть взрослого мужского трудоспособного населения воюющих стран: в качестве военнослужащих, а также работавших на военные нужды по различным видам "трудовой мобилизации". В общей сложности в ходе войны было мобилизовано: в Германии 13,2 млн человек (т.е. 19,7% населения), во Франции 6,8 млн (17,2%), в Австро-Венгрии 9 млн (17,3%), в Италии 5,6 млн (15,5%) и России 19 млн человек (10,5% населения). Огромные людские массы в тылу оказались вовлечены в военное производство: в Германии в нем было занято

58,3% фабрично-заводского пролетариата, в России – 76%, во Франции – 57%, в Англии – 46%, в Италии – 64,2%, в США – 31,6%[6]. По мере роста потерь в людях и напряжения финансово-экономических ресурсов такие крупные колониальные державы, как Англия и Франция, все более активно прибегали к использованию потенциала колоний в виде туземных войск, принудительного изъятия сырья, продовольствия, налоговых и иных поборов. Общие расходы на ведение войны, по примерным подсчетам, составили (в ценах 1913 г.) 134 111 млн долларов[7].

Война сопровождалась попранием норм международного права, отступлением от конституционных принципов и гражданских и политических свобод, завоеванных в ряде стран в упорных политических битвах XIX – начала XX в., появлением различных разновидностей военных, диктаторских и авторитарных режимов. Определенным исключением на безотрадном фоне торжества милитаризма, шовинизма и реакции в воюющих странах были США, вступившие в войну только в апреле 1917 г., и Англия, сумевшая сохранить, правда, с существенными ограничениями военного времени и во многом формально, устои парламентского, конституционного государственного устройства. Сложнее обстояло дело во Франции, где из-за боевых операций в непосредственной близости к жизненным центрам страны повсеместно действовали законы военного времени, а сохранение парламентского фасада не исключило возникновения после министерской чехарды первых лет войны личной диктатуры Ж. Клемансо. В большинстве стран, особенно в первые годы войны, была свернута деятельность представительных институтов, введены строгие меры против оппозиционной прессы и партий, ликвидированы права профсоюзов и важнейшие социальные завоевания трудящихся прежних лет. Рабочие многих предприятий, выполнявших военные заказы, переводились зачастую на казарменное положение. Именно во время первой мировой войны впервые в истории стало практиковаться в массовом масштабе содержание в специальных лагерях интернированных граждан неприятельских стран; в крайне тяжелых условиях содержались миллионы военнопленных в странах Антанты, а также Четверного союза. Участилось применение мер полицейско-репрессивного свойства, функционировали военно-полевые суды. Наряду с резким расширением роли и функций исполнительных органов власти повсеместно все большим политическим влиянием пользовались руководящие военные структуры – военные ставки, генеральные штабы, командующие фронтами, военными округами и крупными воинскими подразделениями. Вместе с тем возросло влияние истинных хозяев экономики – видных финансистов, промышленников, земельных магнатов. К их помощи активно прибегали правительственные структуры для решения весьма сложных в условиях крупномасштабной войны задач экономического обеспечения военных нужд и – по мере возможности – поддержания на минимальном уровне системы жизнеобеспечения в собственных странах.

Антигуманный, жестокий облик войны с особой силой проявлялся в зонах активных военных действий и в прифронтовых районах, а также

на оккупированных неприятельскими войсками территориях, хотя из-за широкого применения дальнобойной артиллерии и авиации уже в ходе первой мировой войны проявилась характерная черта войн XX в. – стирание грани между фронтом и тылом. Но именно в вышеназванных областях ежеминутный риск для жизни военнослужащих и мирных жителей осложнялся тяготами военных реквизиций, многочисленными фактами мародерства и насилия. Зыбкость грани между жизнью и смертью, которую остро чувствовали в этих условиях миллионные массы людей, взрывала наработанные в мирное время нравственные нормы и запреты, стимулировала разнообразные формы асоциального поведения, прививала пренебрежительное отношение к собственной жизни, не говоря уже о судьбах окружающих.

Первая мировая война как специфический этап мировой истории дала мощный импульс применению насильственных методов решения межгосударственных, национальных и социальных проблем на протяжении всего XX столетия в виде крупномасштабных и локальных войн, революционных и освободительных движений, терроризма, различных типов реакции и авторитаризма. Без учета опыта и последствий исторической драмы 1914–1918 гг. не могут быть в полной мере поняты перипетии революционного процесса в России, обострившегося вследствие тягот войны, а также тоталитарные черты коммунистического режима, перечеркнувшие освободительные интенции и широковещательные программы обновления мира большевиков и масс, пошедших за ними[8]. Не менее роковую роль сыграли война и ее последствия для оформления такой опасной разновидности тоталитаризма, как фашизм, выступавший под знаменами реванша, расизма, борьбы за мировое господство, культа сильной власти и национальной дисциплины, крестового похода против демократии и социализма. Проблемы влияния войны и ее последствий на генезис фашизма, его идеологию, организационные структуры, а также на особенности фашистских режимов в Италии, Германии и других странах получили глубокое освещение в работах видных отечественных историков, таких, как А.А. Галкин, Б.Р. Лопухов, Г.С. Филатов и др.[9] В последнее время активизировалось также внимание к проблеме тоталитаризма как специфического общественного феномена XX столетия[10]; важные аспекты вызревания конфликта тоталитаризма и демократии в межвоенный период и в годы второй мировой войны стали объектом дискуссий в связи с анализом событий второй мировой войны и ее итогов и уроков[11].

В свете осуществленных исследований о политических процессах в XX столетии, в частности, о сущности и эволюции тоталитаризма и демократии, следует признать, что в годы первой мировой войны не приходится говорить ни о "зрелых" формах тоталитаризма и демократии, ни об определяющем политическую расстановку сил конфликте двух принципиально отличающихся методов и систем организации общественных и государственных структур и социумов, равно как и вариантов решения международных вопросов. Демократическая альтернатива войне и военно-силовым методам решения международных, государственных, национальных и социальных проблем (своего

рода "военному тоталитаризму") вызревала крайне мучительно и трудно под воздействием революционных потрясений в России и осознания разрушительных последствий провозглашенного в начале войны призыва к борьбе с неприятельскими армадами "до победного конца", до полного военного разгрома.

Война соединила в смертельной схватке монархии и республики, индустриальные гиганты и отсталые, по преимуществу аграрные, страны, прогрессивные в гражданско-правовом отношении общества и традиционалистские социумы, продолжавшие функционировать по средневековым иерархическим и сословным канонам. Она выявила противоречивость европейской цивилизации и глубокие различия в цивилизационном уровне стран с наиболее развитой капиталистической и индустриальной структурой и огромной периферийной зоны, включая южные и восточные регионы Европы, Евразию, страны Востока и далекой Океании. Такой же неоднородностью характеризовались обе военно-политические коалиции. Так, в Четверном союзе ведущей силой являлась весьма продвинутая в индустриальном отношении Германия, где, однако, прочные позиции занимали монархические и милитаристские круги, а ее союзницами были две империи и монархическая Болгария – страны с относительно слабым военно-экономическим потенциалом и наличием серьезных пережитков средневековья. В свою очередь Антанта объединяла наравне с наиболее развитыми в политическом и цивилизационном плане странами-лидерами – Англией, Францией, а с 1917 г. и США, государства с авторитарными режимами: Российская империя, балканские монархии – Сербия, Греция, Румыния и др. И тот, и другой блок вынашивали широкие экспансионистские планы, и на всем протяжении войны между союзниками шли тайные дипломатические переговоры и острые дискуссии о переделе сфер влияния, колоний и территориальных "компенсациях" за участие в войне за счет побежденных стран противоположной коалиции. В этом смысле не приходится, на наш взгляд, корректировать возобладавшую в ходе войны ее оценку как империалистической, хотя это не исключало надежд ряда стран, например Италии, Сербии и др., решить в итоге войны собственные национальные задачи, равно как расчетов угнетенных наций и народностей на обретение государственной независимости.

Это не мешало однако в ходе развернутой с самого начала "психологической" и "информационной" войны всем воюющим странам прибегать к тезису о "защите отечества", обвинять противников в варварских методах ведения войны, убеждать соотечественников и союзников в том, что в случае поражения под угрозой окажутся судьбы как государств, так и народов, более того – судьбы цивилизации и прогресса. И страны Антанты и Центральные державы стремились снять с себя вину за жестокие методы ведения войны и возложить всю ответственность за пренебрежение нормами гуманности и морали на неприятеля. В Германии и Австро-Венгрии подобные обвинения адресовались российским солдатам, особенно казакам, населению Бельгии, не прекращавшему сопротивление оккупантам, Англии – за политику экономической блокады, препятствовавшей жизненно важным для

Германии поставкам продовольствия, сырья, горючего. В странах Антанты важным аргументом для обвинения Центральных держав, в особенности Германии, в агрессивности и варварстве было нарушение нейтралитета Бельгии и Люксембурга, судьба Сербии и Греции, политика Германии и ее союзниц в оккупированных странах и регионах – в восточных департаментах Франции, на Балканах, в западных областях России и т.п. По мере расширения Германией "подводной войны" ей было вменено, особенно правительством и дипломатией США, нарушение прав свободы торговли и мореплавания, интересов нейтральных стран и т.п.

За этими взаимными обвинениями вставала трагедия целых народов, раздавленных безжалостным катком войны, разрушенных войной экономических и торговых связей, расчлененной фронтами и информационной блокадой Европы, вызванного войной общецивилизационного кризиса и утраты гуманистических ценностей. Мемуары современников и участников войны, а также отчеты созданных повсеместно специальных комиссий, занимавшихся сбором данных о злодеяниях противника (такая комиссия была создана и в России), изобилуют фактами расправы с ранеными и пленными, издевательств над ними, преступлений против мирных жителей, грабежей, разрушения культурных ценностей и религиозных святынь, бесчинств по отношению к священнослужителям, медикам, старикам, женщинам, детям и т.п.[12]

С помощью репрессивных мер и манипулирования общественным сознанием, эксплуатируя чувства патриотизма, беспокойства за собственную судьбу и будущее страны, за условия и характер послевоенного мира правящим кругам воюющих стран удалось на протяжении 1914–1916 гг. обеспечить поддержание вплоть до конца 1916 г. более или менее стабильного национального консенсуса по вопросам ведения войны. Для Германии и других стран Четверного союза немаловажную роль в этом играли весьма значительные военные успехи германской армии, которая не только спасала своих союзниц от риска военного поражения, но и сумела захватить обширные территории и вести боевые действия за пределами собственной страны. Для правящих кругов Австро-Венгрии и Турции положение осложнялось усиливавшимся движением за автономию и независимость национальных меньшинств и опасениями, что в случае сепаратного мира или поражения станет реальной перспектива распада империй и радикальных политических перемен. Не меньшее значение имел исход войны и для правящих кругов Болгарии, особенно если иметь в виду ее военный разгром во 2-й Балканской войне в 1913 г. В своем неистовом стремлении к победе милитаристские и реакционные круги Центральных держав загнали себя в политическую ловушку, и это в то время как после вступления в войну на стороне Антанты США все более весомым становилось военно-экономическое превосходство этого союза.

Следствием военного разгрома Германии и ее союзниц стало крушение трех империй и глубокий политический кризис в Болгарии, ультимативные условия капитуляции и мирных договоров. Роковую

ошибочность ориентации на войну "до победного конца" признали после завершения войны видные деятели Германии и Австро-Венгрии. "Положение было все время таково, – говорил в конце 1918 г. граф Чернин, – что мы могли бы предложить мир, связанный с крупными потерями, в особенно выгодный момент войны, и тогда могли бы иметь, может быть, надежду, что противник на него пойдет. Но чем блестящее были военные успехи, тем требовательнее становились германские военные, и менее всего было возможно после крупной победы склонить их к политике отречения"[13]. В свою очередь Людендорф, игравший в качестве начальника генерального штаба роль одной из первых скрипок в германском генералитете, признавал по завершении войны: "Конечно, мы в любой момент могли бы заключить такой мир, какой нам пришлось заключить теперь. Но какой имперский канцлер, какой государственный человек, какой по-немецки мыслящий деятель остановил бы на нем свой выбор? Возможности другого мира не представлялось, это должны были твердо знать, и раз война уже началась, мы должны были бороться до победного конца"[14]. Свидетельством политического банкротства правящих кругов Центральных держав, помимо военного поражения, стали пережитые этими странами события-потрясения – революция 1918–1919 гг. в Германии и становление Веймарской республики, социальные и национальные революции в Австро-Венгрии и рождение республик Австрии, Чехословакии, независимых государств Венгрии и Югославии, распад Османской империи.

Несравненно большей свободой политического маневра обладали правящие круги ведущих стран Антанты – Англии, Франции и США, которые сумели с самого начала апеллировать к национальным и демократическим ценностям, доказывали неотвратимость борьбы против "прусского милитаризма и тевтонского варварства", а позднее – перехватили у своих политических оппонентов идеи демократического мира, придав им, в противовес большевистской концепции мира через революцию, свою интерпретацию. Во Франции немаловажным фактором поддержания высокого гражданского настроя в стране была историческая память о драматических взаимоотношениях Франции и Германии в период франко-прусской войны и тяжелых условиях Франкфуртского мира, судьба оккупированных и разоренных войной восточных департаментов. Призыв к спасению родины, исходивший от государственных деятелей, политиков, военных, подкреплялся обещаниями радикально улучшить международное положение Франции и оздоровить ситуацию в Европе. Так, известный историк А. Олар в работе "Современная война в свете исторического опыта", опубликованной в 1916 г., обратил внимание на двойственную природу войны – жестокость и кровавый характер сражений и одновременно ее способность дать мощный импульс эмансипации: сломить германский милитаризм и вернуть утраченные Францией в 1871 г. Эльзас и Лотарингию, отстоять родину, упрочив присущие ей ценности свободы, справедливости, братства, организовать Европу на началах мира, соблюдения прав человека, дружбы народов[15]. В унисон Олару известный ученый-физик А. Бергсон, увидевший в войне симптомы

общецивилизационного кризиза и антигуманности индустриальной цивилизации, утверждал, что смертельная угроза Франции и Европе исходит от кайзеровской Германии, поскольку в ней совместились и переплелись традиции прусского милитаризма, мощь индустриализма и современные претензии на гегемонию[16].

В призыве к защите демократии и цивилизации против "тевтонского варварства" с французскими сторонниками войны до победного конца были солидарны представители двух главных фракций правящего политического класса Англии – консерваторы и либералы, позиции которых заметно сблизились в условиях войны. Их крупным успехом в борьбе за национальный консенсус стало одобрение парламентом решения об объявлении войны Германии, принятие "Закона о защите королевства" и других законодательных актов, расширявших полномочия исполнительной власти и ограничивавших политические и гражданские свободы. Благодаря соглашению с тред-юнионами последние отказались от права на забастовки в условиях войны ("перемирие в промышленности"). Бывший поборник курса социальных реформ Д. Ллойд Джордж активно включился в кампанию по мобилизации населения страны на войну до победного конца, стал инициатором создания в 1916 г. коалиционного правительства из консерваторов и представителей поддержавшей Ллойд Джорджа фракции либералов. В многочисленных выступлениях перед массовыми аудиториями, в особенности среди рабочих, он не жалел красок для развенчания Германии, олицетворяющей собой угрозу европейской цивилизации, поскольку-де при несомненных достоинствах германского народа и созданной им культуры последняя отличается жестокостью и бездуховностью. Признавая все ужасы, которые несет война, поколебавшая устои Европы, Ллойд Джордж призывал англичан принять брошенный Германией вызов и довести битву до победного конца, иначе, в случае победы Германии, она "фактически станет диктатором мировой международной политики"[17].

Иначе воспринимали цели войны представленные в блоке Антанты монархии, руководствовавшиеся в первую очередь династическими соображениями и консервативными убеждениями, неколебимые в своем стремлении единолично решать вопросы войны и мира. Любопытные свидетельства различных суждений о целях войны и представлений о будущем Европы содержатся в дневнике английского посла в Париже лорда Берти. Хотя он был опубликован в 1927 г. и уже поэтому не мог не подвергнуться серьезному редактированию, но основные моменты восприятия его автором реальностей войны он, несомненно, отразил. Так, посол весьма откровенно формулировал цели войны со стороны Англии и Антанты в целом, как борьбы не на жизнь, а на смерть с германским могуществом и выражал уверенность в военном разгроме Германии и Австро-Венгрии при участии Франции, России, Италии, балканских стран. Вместе с тем ввиду успешных операций российских войск против Австро-Венгрии осенью 1914 г. лорд Берти иронически замечал: "Какой будет парадокс, если цивилизация будет спасена российским самодержцем?"[18] При всем своем консерватизме он уповал

на то, что в результате войны в России появятся "учреждения более современного типа, чем нынешние"[19]. Уже с 1915 г. на страницах дневника все чаще возникает мысль о возможных революционных потрясениях в России, о гибельности политики Николая II, которая может обернуться военным крушением империи, – обо всем этом наряду с неослабевающими опасениями перед чрезмерным усилением позиций России в мире в случае, если она окажется в числе победительниц. Не менее критичен Берти и к балканским союзникам по Антанте: "Балканские монархи с их тщеславием, честолюбием, интригами и симпатиями и антипатиями – сущий ад. Они ставят свои личные интересы выше интересов своих стран"[20].

Неудивительно, что государственные деятели, политики и представители деловых кругов Англии и Франции, а после вступления в войну этой страны и США охотно шли помимо официальных инстанций на контакты с либеральными силами в союзных странах, но сохраняли враждебность по отношению к антивоенно настроенным радикально-демократическим и социалистическим партиям и движениям, все более активно выступавшим с программой демократического мира и скорейшего прекращения войны. Однако с конца 1916 и особенно с 1917 г. в развитие событий вмешались новые факторы. Они придали особую актуальность изменению планов завершения империалистической по своим целям и методам войны империалистическим же миром и поискам демократической альтернативы большевистской леворадикальной программе выхода из войны на путях революции и ликвидации капиталистического строя.

Немалую роль в этом сыграло гигантское ускорение процесса социализации широких масс и их превращение из пассивных исполнителей навязанной им "верхами" и чрезвычайными обстоятельствами 1914–1918 гг. социальной роли в активных участников общественных событий мировой значимости. Современные исследования в области культурологии, этнопсихологии, социальной антропологии, изучение феномена конфликтности и модернизации позволяют несравненно глубже понять травматическое воздействие первой мировой войны на мироощущение и мировосприятие вовлеченных в водоворот событий гигантских масс и различных социокультурных общностей. Речь идет о переосмыслении ими системы ценностей и норм, способа мышления и действий, типа познания и восприятия себя как личности, равно как своей роли в окружающем его социуме, отношения к государству и миру в целом[21].

Виды социализации в условиях первой мировой войны были достаточно многообразны. Частью они как бы воспроизводили и интенсифицировали процессы и тенденции довоенного бытия, частью существенно отличались от них, порождая конфликт между преемственностью и обновлением в общественном развитии. Так, в ходе войны ввиду массового призыва в армию трудоспособного мужского населения и расширявшегося промышленного производства на нужды войны усиленными темпами осуществлялось втягивание в производственные процессы женщин, подростков, представителей национальных мень-

шинств, средних слоев и выходцев из сельской местности. Вчерашние домохозяйки, крестьянки, зачастую с весьма ограниченным кругозором и по преимуществу с религиозным мировоззрением, включались в жизнь трудового коллектива, соприкасались с такими организациями, как партии и профсоюзы (там, где они функционировали), что само по себе ускоряло усвоение более рациональных представлений об окружающем мире, выводило их за рамки узкого круга семейных интересов. Именно с первой мировой войны ускоренными шагами происходил процесс включения женской части населения в политику, продолжавшийся, не без трудностей и попятных процессов, на всем протяжении XX столетия. Война стимулировала также процессы индустриализации и урбанизации во многих странах, усложняя систему международного разделения труда и предвосхищая новое обострение конкурентной борьбы за рынки сбыта и источники сырья, заранее обрекая на немалые экономические трудности наиболее разоренные в ходе военных действий страны, а также побежденные государства[22].

Специфическим и антигуманным по своей сути методом социализации масс, прежде всего крестьянства, было их участие в военных действиях в составе многомиллионных армий. Вчерашний крестьянин, зачастую неграмотный или полуграмотный, никогда до этого не покидавший родного селения, а теперь оторванный от родной и привычной среды, оказывался в пучине превратностей фронтовой жизни, постигал азы дисциплины и коллективных действий, сталкивался с широким кругом лиц с разным жизненным опытом – вчерашним рабочим, учителем, "господами"-офицерами. Заметим, что и для выходцев из высших слоев общества и особенно для интеллигенции немалым открытием явилось соприкосновение в тяготах окопной жизни с солдатской средой, с неизвестным им и столь не похожим на их собственный внутренним миром представителей народа, с их чаяниями, надеждами, тревогами. Серьезному испытанию на войне подвергались религиозные убеждения, верноподданнические настроения "стихийных" монархистов. Повсеместно война способствовала секуляризации общества, снижению авторитета церкви, освящавшей массовую бойню; возрастало критическое отношение к политике властей, к командованию (прежде всего при неблагоприятном развитии военных действий), но особенно быстро нарастало, по мере продолжения мировой схватки, утомление от бесконечных страданий, лишений, крови и насилия.

Мощным фактором роста антивоенных настроений, стремления положить конец безумию массового истребления человеческих жизней и наказать виновников войны стал коллективный опыт тягот фронтовой жизни, лишений и нужды близких в тылу, возросших к концу войны повсеместно продовольственных нехваток, болезней, ухудшения быта – и все это на фоне обогащения на войне фабрикантов и банкиров, поставщиков зачастую некачественных боеприпасов и военного снаряжения, спекулянтов, наживавшихся на черном рынке, уклонения от пребывания на фронте, а то и от военной службы вообще сыновей богачей и знати, бросавшейся в глаза дискриминации в условиях службы офицерства и рядового состава.

На этой почве возникло ожидание радикальных социальных перемен, то, что видный итальянский марксист А. Грамши назвал "социализмом военного времени" и что несомненно отражало стихийное отторжение многомиллионными массами строя, порождавшего войну, и тех политических порядков и институтов, в основе которых было недопущение широких масс к политике как таковой, к решению вопросов войны и мира – в первую очередь. С наибольшей силой эти настроения проявились в тех странах, где население в силу относительной неразвитости капитализма и гражданских структур с большим трудом справлялось с тяготами войны, испытывало последствия некомпетентности архаичных бюрократических учреждений, вопиющего пренебрежения к своим судьбам и бедам, включая армию и военнослужащих. Леворадикальные течения, прежде всего в рабочем и социалистическом движении, не столько инициировали проявления социального и антивоенного протеста, сколько озвучивали их, а то обстоятельство, что в противовес традиционным "буржуазным" партиям и реформистским силам в социалистическом движении они не скомпрометировали себя поддержкой "грабительской" войны, придавало им немалую популярность в массах и притягательность их революционным программам.

Тотальные методы ведения войны и вызванный ею общецивилизационный кризис сыграли значительную роль в восприятии идеологами левореволюционных течений мирового развития и его перспектив, породив убежденность в истощении созидательных потенций капитализма, в необратимом реакционном перерождении буржуазного строя и неспособности правящих кругов воюющих стран руководствоваться демократическими ценностями. Отсюда ленинская концепция "общего кризиса капитализма", которая на десятилетия предопределила методологические шоры коммунистических партий и коммунистических режимов, провозглашение формального характера буржуазной демократии и обоснование – в противовес правовым нормам и институтам – диктаторско-революционных методов становления социалистического строя и новой социалистической демократии. С этим было теснейшим образом связано убеждение, что без перемены общественного строя и уничтожения частной собственности невозможен подлинно демократический мир, ценность которого В.И. Ленин и другие теоретики революционного социализма отнюдь не игнорировали[23].

Не приходится недооценивать и то революционизирующее влияние, которое имели Февраль и Октябрь 1917 г. в России на активизацию массовых выступлений в воюющих, а отчасти и в нейтральных странах в последние годы войны и особенно по ее окончании. Факт вторжения широких масс в политику, породив феномен "массовой демократии" и демократии прямого действия, заставил существенно пересмотреть критерии и ценностные ориентиры демократии и определить новые перспективы ее эволюции и реализации в новейшее время. Прежде всего были дискредитированы умеренно либеральные ориентиры элитарной демократии, унаследованные от XIX – начала XX в., и получили массовое признание такие демократические принципы,

как идея народовластия и суверенитета народа, всеобщее избирательное право, ликвидация сословных перегородок и привилегий; под влиянием революционных потрясений в России, Германии и других странах была поставлена в повестку дня задача сочетания демократии политической и социальной, призванного обеспечить достойные условия существования людей труда (она была решена в развитых странах Запада в основном во второй половине XX столетия). Коллизии противостояния социализма – капитализма, революционаризма – реформизма, буржуазной и социалистической демократии во многом объяснялись не только особенностями предпринятого в России социального эксперимента (создания общества без инструментов частной собственности, без использования рыночных и товарно-денежных отношений, без буржуазии и капитала), но и серьезными противоречиями в интерпретации демократии как формы организации государственной и общественной жизни России и стран Запада, масс и правящих кругов последних и невключенностью в демократические процессы народов колониальной и полуколониальной периферии.

Не меньшие сложности представляла перестройка международных отношений на демократической основе – задача, которая была сформулирована на правительственном уровне в Декрете о мире большевиками в октябре 1917 г. и расценивалась как настоятельная задача активизировавшимися в конце войны социалистическими партиями и демократическими течениями воюющих стран и, что особенно знаменательно, провозглашенная президентом США В. Вильсоном в его знаменитых "Четырнадцати пунктах" программы мира. Особенностью мирной платформы В. Вильсона, как известно, была идея торжества мирового либерализма путем устранения всех политических и экономических преград свободной торговле, свободе мореплавания, означавшая посягательства на колониальные империи, на существовавший в мире раздел сфер влияния, а также признание принципа права наций на самоопределение, создававшее объективно возможности образования новых независимых государств.

Однако Версальско-Вашингтонская система так и не стала воплощением столь далеко идущих идей и планов. С одной стороны, была создана Лига наций, на которую были возложены гигантские задачи мирного арбитража и противодействия актам агрессии и войнам, признавался факт конституирования независимых государств. С другой – сохранялись старые и создавались новые узлы международных противоречий, не в последнюю очередь из-за попрания интересов побежденных стран, малых государств и колониальных народов. Уже со времени первой мировой войны и особенно после драматического опыта борьбы с фашизмом, колониализмом и различными формами гегемонизма стало очевидно, сколь опасно применение двойных стандартов в интерпретации демократии и прав человека при молчаливом делении мира на цивилизованные и нецивилизованные регионы, равно как осуществление за фасадом демократии политики гегемонизма и силового диктата.

[1] О воззрениях фон дер Гольца см.: *Строков А.А.* Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне. М., 1979. С. 63–64.

[2] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 387, 393, 394.

[3] См.: *Кин Ц.И.* Италия на рубеже веков. Из истории общественно-политической мысли. М., 1980; *Рахшмир П.Ю.* Происхождение фашизма. М., 1981; *Хальгартен Г.* Империализм до 1914 года. / Пер. с нем. М., 1961, и др.

[4] Великая Россия: Сб. ст. по военным и общественным вопросам. М., 1911. Кн. 2. С. 5.

[5] См.: *Ницше Ф.* Так говорил Заратустра. СПб., 1990. С. 88.

[6] См.: Мировая война в цифрах. М; Л., 1934. С. 14, 55 и др.

[7] Там же. С. 63.

[8] В современных дискуссиях об истоках и природе социальных катаклизмов в России, начавшихся свержением монархии в феврале 1917 г., отечественными и зарубежными исследователями все чаще фиксируется прямая взаимосвязь между непомерными испытаниями, выпавшими на долю России – ее армии, экономики, общества, государственных структур и институтов, – и крушением империи (см.: Октябрьская революция. Народ: ее творец или заложник. М., 1992; 1917 год в исторических судьбах России. Научная конференция: Материалы второй сессии. Проблемы истории Октябрьской революции. М., 1993, и др.).

[9] *Галкин А.А.* Германский фашизм. М., 1967; *Мельников Д.Е., Черная Л.Б.* Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии 1933–1945. М., 1989; *Лопухов Б.Р.* Эволюция буржуазной власти в Италии. М., 1986; *Филатов Г.С.* Крах итальянского фашизма. М., 1973 и др.

[10] См. весьма содержательный, насыщенный богатым фактическим материалом и теоретическими размышлениями коллективный труд "Тоталитаризм в Европе XX века: Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления" (М., 1996); см. также: Демократия и тоталитаризм: европейский опыт XX века. Тезисы научного семинара. 28–29 января 1993 г. Екатеринбург, 1993.

[11] См.: Движение Сопротивления в Западной Европе. М., 1990. Т. I; Европа на пути демократии. М., 1993, гл. 10 и 11 (авторы – Н.Н. Комолова и М.Б. Корчагина); об антифашизме см.: Тоталитаризм в Европе XX века...; *Яхимович З.П.* Об опыте антифашизма: социокультурные измерения // Политическая культура и общественные сдвиги. М., 1996 и др.

[12] См.: Россия. Чрезвычайная следственная комиссия. Наши враги. Обзор действий Чрезвычайной следственной комиссии. Т. I–II. Пг., 1916, *Фалькенгайн Э.* Верховное командование 1914–1916 гг. в его важнейших решениях. М., 1923. С. 72, The Belgian people's war: A violation of international law/Transl. from the official German white book. N.Y., 1915, etc.

[13] Цит.: *Людендорф Э.* Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. М., 1923. С. 15.

[14] Там же.

[15] *Aulard A.* La guèrre actuelle commentée par l'histoire. P., 1916. P. 52–53, 131, 148, 162.

[16] См.: Две культуры. О философии нынешней войны. Пг., 1916. С. 69.

[17] *Ллойд Джордж Д.* Через ужасы к победе. Пг., 1916. С. 14, 19, 24, 100.

[18] *Лорд Бертти.* За кулисами Антанты. М.–Л., 1927. С. 29.

[19] Там же. С. 30.

[20] Там же. С. 73.

[21] О роли этих компонентов в культуре и процессах социализации см.: Problèmes politiques et sociaux. Dossiers d' actualité mondiale. 29 mai 1992. N 681. P. 22–27.

[22] О воздействии войны 1914–1918 гг. на трансформационные процессы см.: Total war and social change / Ed. by A. Marwick. L., 1988.

[23] Как представляется, разногласия большевиков и меньшевиков в России по вопросам мира были связаны с различным представлением о путях движения к нему, а не с отношением к самому миру как цели борьбы, как это интерпретируется в интересной работе "Европейское социалистическое движение 1914–1917. Разрубить или развязать узлы?" (М., 1994).

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ
(Роль национально-патриотического фактора)

С.В. Тютюкин

Первая мировая война, открывшая новейший период всемирной истории, глубоко потрясла все российское общество. Она буквально взорвала его экономику, политическую структуру, социальную психологию масс. Война эта, которую часто называют Великой, как бы подвела черту под одной эпохой в жизни людей и открыла совершенно новую ее страницу, заполненную бурными, кровавыми потрясениями, следовавшими друг за другом в таком темпе, с таким накалом страстей и в таких необычных комбинациях, каких еще не знало человечество. Поэтому любой серьезный разговор о первой мировой войне, ее значении и последствиях просто невозможен без такой темы, как война и революция: ведь мы никуда не уйдем от того, что события 1 августа 1914 г. напрямую связаны с февралем и октябрем 1917 г. в России, ноябрем 1918 г. в Германии, мартом 1919 г. в Венгрии и многими другими революционными взрывами.

Новая и новейшая история знает немало примеров диалектической связи между войнами, революционными и реформационными ситуациями и революциями, причем исторический процесс может идти в обоих направлениях – и от войны к революции и от революции к войне, как это случилось, например, во Франции в период Великой французской революции и наполеоновских войн. Особенно чреваты разного рода потрясениями неудачные для данной страны войны, хотя какой-то железной закономерности здесь нет, ибо механизм вызревания революции в условиях войны крайне сложен и зависит от целого ряда факторов – социально-экономического "запаса прочности" существующего режима, созданного еще в предвоенный период; гибкости и дальновидности правительственной политики; силы патриотических чувств народа; позиции либеральных и революционных партий и т.д.

В настоящей статье нам хотелось бы более подробно остановиться лишь на одном аспекте этой большой и сложной проблемы – вопросе о соотношении патриотических и революционных настроений масс в России на различных этапах первой мировой войны и о роли данного фактора в вызревании того острейшего политического кризиса, который привел к краху самодержавного режима, Октябрьской революции 1917 г. и досрочному выходу нашей страны из войны на унизительных условиях Брестского договора, продиктованных Германией в марте 1918 г. В самом деле, почему патриотические чувства – а война, несомненно, вначале вызвала их бурный подъем – не смогли сцементировать российское общество, создать атмосферу вакуума вокруг любых "пораженцев" и помочь народу стойко переносить тяготы военного времени? Почему в России и в условиях войны продолжались внутренние раздоры и смута? И чем было продиктовано при этом поведение российских революционеров-пораженцев и прежде всего самого Ленина?

© С.В. Тютюкин

Начнем с того, что первая мировая война отнюдь не была неожиданностью не только для профессиональных политиков, но и для довольно широких общественных кругов во всех цивилизованных странах. Призрак новой крупномасштабной войны витал над Европой с конца XIX в., а две Балканские войны 1912–1913 гг. стали ее прямым прологом. Беспощадная борьба за передел колоний и сфер влияния, небывалая гонка сухопутных и морских вооружений, наличие запутанных межэтнических конфликтов и территориальных споров, законное стремление ряда народов к национальному воссоединению и обретению собственной государственности, состязание политических и династических амбиций – все это рано или поздно должно было привести к грандиозному военному конфликту с поистине непредсказуемыми, фатальными для целого ряда правящих режимов последствиями.

При этом революционеры никогда не скрывали, что постараются использовать созданную войной кризисную ситуацию в своих собственных, сугубо деструктивных целях и покончить с капитализмом, в котором они видели источник всех бед человечества. Об этом не раз предупреждали, довольно точно прогнозируя будущие революционные потрясения в Европе и во всем мире, Ф. Энгельс, К. Каутский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий и др. Так, крупнейший теоретик германской социал-демократии и всего II Интернационала К. Каутский в 1911 г. в статье "Война и мир" писал, что если в Европе разразится война, то вслед за ней с неотвратимой необходимостью последует социальная революция. Возможно, добавлял он, что она явится также результатом реакции трудящихся масс на гонку вооружений или произойдет в силу каких-либо других причин. Но в любом случае такая революция станет международным явлением. И если даже вначале она ограничится пределами одного государства, то при современных условиях такое положение не сможет продолжаться долго: революция перебросится на другие страны, возникнут Соединенные Штаты Европы, а затем и Соединенные Штаты всего цивилизованного мира[1] (заметим, что в 1914–1915 гг. эта убежденность Каутского передалась Ленину и Троцкому). Весьма радикальным было и решение Штутгартского (1907 г.) конгресса Интернационала, подтвержденное затем в 1910 г. в Копенгагене и в 1912 г. в Базеле, согласно которому в случае войны социалисты всех стран должны были принять все зависящие от них меры, чтобы использовать созданную ею критическую ситуацию для ускорения падения капиталистического строя революционным путем. Характерно, что инициатива такой постановки вопроса принадлежала представителям России – большевику В.И. Ленину, меньшевику Ю.О. Мартову и Розе Люксембург, представлявшей польских социал-демократов, работавших на территории Царства Польского (части тогдашней Российской империи) и входивших с 1906 г. в состав РСДРП.

При этом революционеры могли оперировать не только чисто теоретическими выкладками, но и конкретными историческими примерами: так, за франко-прусской войной 1870–1871 гг. последовала Парижская коммуна, а поражение русского царизма в войне с Японией ускорило начало революции 1905–1907 гг.

Понимали это и политические деятели консервативного и либерального лагерей. Наиболее дальновидные политики в Петербурге также отдавали себе отчет в том, что новая неудачная война (а на удачу в большой войне после печального опыта 1904–1905 гг. на Дальнем Востоке рассчитывать было трудно) чревата для России новой революцией. Особого внимания заслуживает здесь позиция П.А. Столыпина. Незадолго до своей трагической гибели, летом 1911 г., он писал министру иностранных дел А.П. Извольскому, что России нужен мир для проведения реформ, которые с каждым годом будут укреплять страну в военном и экономическом отношении, сплачивать народ вокруг царя, создавать благоприятный политический климат, необходимый для общенационального отпора врагу. И наоборот, преждевременная, легкомысленно затеянная война, особенно если ее цели будут непонятны народу, "станет роковой для России и для династии"[2]. По свидетельству дочери Столыпина, М.П. фон Бок, он говорил, что, пока находится у власти, сделает все, что в силах человеческих, чтобы не допустить Россию до войны впредь до завершения программы реформ[3].

Страх перед революцией заставлял держать в узде свои внешнеполитические амбиции и лидеров партии кадетов, которые выступали за помощь России славянским народам Балканского полуострова, мечтали о Проливах и вообще стояли за укрепление российской великодержавности, но категорически возражали против безрассудного втягивания страны в рискованные военные авантюры. Так, на заседании ЦК кадетской партии 17 февраля 1914 г. звучала мысль о том, что война могла бы привести Россию к революции, причем на гребне волны оказались бы в этом случае не либералы и даже не меньшевики, а "крайние левые". 6 марта кадетские руководители констатировали, что "при современном состоянии страны, при полной подавленности ее духа вследствие репрессий и эксцессов реакции война явилась бы в высшей степени рискованным шагом не только с внешней стороны, но и со стороны возможных внутренних осложнений". Поэтому "к попыткам агрессивной политики надо относиться с большим вниманием и осторожностью; вовлекать страну в авантюры без достаточных оснований было бы преступно". Подчеркивалось также, что никакие военные приготовления не достигнут цели, если в России не будет "необходимого воодушевления" и политических реформ, которые "спаяли бы страну и сделали ее единодушной и солидарной с правительством"[4].

В этой связи становится понятным, почему 10 июня 1914 г. кадеты, в отличие от октябристов и прогрессистов, проголосовали в Государственной думе против предоставления правительству новых кредитов на вооружение, а в последние мирные дни июля 1914 г. кадетская

"Речь" занимала пацифистскую позицию и в момент объявления войны была даже на короткое время закрыта властями.

Но, пожалуй, особенно четко мысль о том, что новая большая война чревата для России страшными потрясениями, прозвучала в записке, поданной царю бывшим министром внутренних дел, а затем видным членом Государственного Совета П.Н. Дурново в феврале 1914 г. Он со всей откровенностью предупреждал Николая II, что Российская империя вряд ли переживет последствия неудачного военного столкновения с Германией и ее союзниками. "Начнется с того, – писал Дурново, – что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, в результате которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, которые смогут поднять и сгруппировать широкие слои населения: сначала черный передел, а за сим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается предвидению". Дурново предсказывал, что европейская война неминуемо вызовет европейскую революцию, причем особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет именно Россия, где народные массы "исповедывают принцип бессознательного социализма"[5]. Как показали последующие события, прогнозы Дурново во многом подтвердились.

И все же в роковые июльские дни 1914 г. все эти предупреждения не остановили Николая II и его ближайшее окружение. Наглый напор Германии, твердо решившей воевать, был настолько силен, что царь после мучительных колебаний, не без влияния военных, решил проявить твердость, ответом на которую стало объявление кайзеровским правительством войны России. При этом большинство историков сходятся на том, что в сложившейся ситуации избежать столкновения Николай II все равно бы не смог.

Лидеры обеих столкнувшихся в войне группировок возлагали большие надежды на подъем национальных чувств и сплочение всех слоев общества вокруг правительства. Призывы к национальному единению звучали и в манифесте Николая II, обнародованном на следующий день после объявления войны. "В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага", – говорилось в этом программном правительственном документе[6].

Ответ на этот призыв со стороны уже давно расколотого на враждующие между собой политические лагеря российского общества,

естественно, не мог быть однозначным. В сознании его значительной части понятия "власть" и "отечество" в большей или меньшей степени уже были дистанцированы друг от друга и отнюдь не сливались в некое гармоничное целое, хотя отделить защиту России от защиты самодержавного режима на практике было довольно трудно, в чем очень скоро убедились большевики-ленинцы, столкнувшиеся с явным отказом широких народных масс принять их тактику "революционного пораженчества", построенную как раз на противопоставлении двух России – официальной и народной. Начало спровоцированной Германией войны затронуло такие струны национального сознания и пробудило такие надежды на возможность либерализации правительственной политики во имя внутреннего мира в стране, что хотя бы на время императорская власть, несомненно, получила новый кредит доверия со стороны общества, тем более что только она и могла организовать в сложившейся ситуации отпор врагу. Объявление войны сопровождалось лишь единичными минипротестами со стороны членов революционных партий и рабочих-интернационалистов, масштабы которых были сильно преувеличены в советской историографии, а разного рода эксцессы во время мобилизации чаще всего носили характер пьяных бунтов или были связаны с требованием выдачи пособий солдатским семьям[7]. При этом угрюмое молчание народа красноречиво контрастировало с патриотической эйфорией, охватившей господствующие классы, часть интеллигенции, студенчества, городского мещанства, казачества. Основная же масса крестьян и рабочих восприняла войну как страшное стихийное бедствие, бороться с которым она была бессильна. И это чувство страха, отчаяния, безнадежности еще долго владело десятками миллионов людей, парализуя их волю к активному протесту против военной катастрофы.

Имели место и достаточно многочисленные, хотя и гораздо менее экзальтированные и людные, чем во Франции или Германии, проявления патриотических чувств (разного рода шествия, молебны и т.д.), затронувшие и "низы" общества, включая рабочих[8]. Подверглось, например, нападению толпы здание германского посольства в Петербурге. А на площади Зимнего дворца 20 июля 1914 г. тысячи людей, пришедших в состояние патриотического экстаза, опустились на колени перед вышедшими на балкон царем и царицей. Не только официальные, безусловно тенденциозные документы первых месяцев войны, но и многочисленные воспоминания современников, в том числе и революционеров, говорят о том, что перед лицом германской агрессии народные массы России готовы были отложить на время выяснение своих отношений с властью и имущими классами.

Вместе с тем можно смело утверждать, что летом 1914 г. в России не было того массового шовинистического психоза, который наблюдался на Западе. Здесь не было слепой ненависти ко всему немецкому и тем более стремления к захвату германских территорий. Преобладавшее в массах настроение хорошо передают две родившиеся в народной среде формулы: "Ежели немец прет, то как же не защищаться?" и "Нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим".

Довольно гладко для правительства прошло и экстренное заседание Государственной думы 26 июля (8 августа) 1914 г. Лидер партии кадетов П.Н. Милюков прямо заявил на нем: "В этой борьбе мы все заодно, мы не ставим условий и требований правительству, мы просто кладем на весы борьбы нашу твердую волю одолеть насильника... Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике правительства, наш первый долг – сохранить нашу страну единой и нераздельной. Отложим же внутренние споры, не дадим врагу ни малейшего повода надеяться на разделяющие нас разногласия"[9]. Не забудем, что за кадетами стояла тогда значительная часть отечественной интеллигенции, которая всегда представляла потенциальную опасность для правящего режима, и в этом контексте выступление Милюкова выглядело в глазах правительства весьма обнадеживающим.

Достаточно красноречивым было и заявление А.Ф. Керенского – лидера трудовиков, представлявших в Думе крестьянскую Россию: "Мы непоколебимо уверены, что великая стихия российской демократии вместе со всеми другими силами дадут решительный отпор нападающему врагу... и защитят свои родные земли и культуру, созданные потом и кровью поколений!"[10] И лишь меньшевик В.И. Хаустов, огласивший совместную декларацию большевистской и меньшевистской социал-демократических фракций Думы, внес диссонанс в царившую в тот день в Таврическом дворце атмосферу единения и примирения, заявив, что РСДРП и идущие за ней рабочие на перемирие с властью не пойдут, поскольку война носит с обеих сторон несправедливый характер. Однако и в социал-демократическую декларацию по настоянию меньшевиков был включен патриотический пассаж о необходимости "защищать культурные блага народа от всяких посягательств... извне или изнутри"[11]. И хотя социал-демократы демонстративно не участвовали в думском голосовании за военные кредиты, их позиция не была подкреплена в тот момент какими-либо массовыми антивоенными акциями, что в какой-то мере успокаивало правительство.

Было бы преувеличением считать, что в канун войны, летом 1914 г., Россия вновь стояла на пороге революции. Правда, общие показатели забастовочного движения (до 2 млн стачечников за предвоенные месяцы этого года) были действительно впечатляющими, а июльские события в столице империи, где дело даже дошло до сооружения рабочими нескольких баррикад, а также мощная стачка на бакинских нефтепромыслах, продолжавшаяся с конца мая до конца июля 1914 г., свидетельствовали о боевом настроении значительной части рабочих – этой самой взрывоопасной части населения империи. Однако настроение общества в целом было гораздо более спокойным, чем накануне 1905 г., деревня явно не собиралась пока опять браться за вилы и топоры, а в армии и на флоте в предвоенные годы не было ни одного крупного восстания.

Начавшаяся война резко изменила ситуацию в рабочем движении. Стачки стали редчайшим явлением, а количество их участников по сравнению с предвоенным периодом сократилось в несколько десятков

раз. В советской историографии это объяснялось главным образом усилением репрессивной политики правительства, уходом на фронт наиболее беспокойной части рабочих, нежеланием оставшихся портить отношения с заводской администрацией и властями в преддверии новых мобилизаций с целью получения отсрочки от призыва и т.д. Кроме того, рост дороговизны вынуждал рабочих больше думать о заработке и крепче держаться за свое предприятие. Нельзя сбрасывать со счетов и ослабление революционной агитации левых партий, переживавших период бурных идеологических дискуссий и разногласий в связи с различной оценкой текущих событий. Вдобавок с началом войны на них обрушилась новая волна арестов, что еще более затрудняло их работу. Все это так. Однако мы погрешили бы против истины, если бы не упомянули о том, что тревога за судьбу родной страны, чувство товарищеской солидарности с солдатами-фронтовиками, остро нуждавшимися в оружии и боеприпасах, а также явное общественное осуждение стачек, подрывающих обороноспособность страны, несомненно, служили дополнительным сдерживающим фактором для развития забастовочного движения. Об этом чаще всего не говорилось прямо, но мысль о несвоевременности открытого социального протеста, бесспорно, укрепилась в то время в сознании многих рабочих и крестьян. Надолго ли, – это зависело от ситуации на фронте, экономического положения в стране, политики властей и предпринимателей, позиции революционных партий и организаций и т.д., но сам факт некоторой передышки, которую получило правительство на внутреннем фронте, не подлежит сомнению.

От царизма в сложившейся ситуации требовалось как будто не так уж много: сделать несколько шагов в направлении либерализации общественно-политического строя России, подключить либеральную оппозицию к управлению страной, принять меры по социальной защите трудящегося населения, более равномерно распределять материальные и физические нагрузки военного времени, падавшие на различные слои общества, ограничить хищнические аппетиты буржуазии и произвол чиновников, отменить хотя бы некоторые, наиболее вопиющие дискриминационные законы в отношении национальных меньшинств. Опыт западных стран, участвовавших в войне, показывал, что все это можно было сделать, не выходя за рамки существующего строя, не нарушая принципа централизации управления и постепенно налаживая механизм государственного регулирования экономики, транспорта и рынка труда. Однако для самодержавной России эта программа оказалась, увы, невыполнимой, причем главная ответственность за это падает, несомненно, на само царское правительство и лично на царя.

В целом курс правительственной политики в период первой мировой войны можно охарактеризовать как политику политического маневрирования между различными социальными силами с явным, однако, креном вправо. Понимая, что Государственную думу и общественные организации во время войны "трогать нельзя", Николай II не отваживался ни на реформы, ни на контрреформы, к проведению которых его подталкивали соответственно либералы и правые круги.

При этом он не скрывал, что хочет выиграть время, добиться победоносного окончания войны, заставить умолкнуть оппозицию, а потом уже думать о преобразованиях. В январе 1917 г., примерно за месяц до начала второй демократической революции в России, царь говорил недавно ушедшему в отставку премьеру Александру Трепову, что не будет проводить никаких реформ до окончания войны. При этом он полагал, что "русский народ по своему патриотизму понимает это и терпеливо подождет" и что "только отдельные группы населения обеих столиц жаждут волнений" в своих корыстных целях. Николай II был уверен, что подстрекателей к беспорядкам "заставят успокоиться, хотя бы пришлось прибегнуть к репрессиям". По окончании же войны он готов был согласиться на проведение реформ, которые "удовлетворят интересы подлинного народа"[12].

Этот курс оказался для царского правительства роковым. С осени 1915 г., после сокрушительных поражений русской армии в Польше и стремительного продвижения немцев на восток, на фоне нарастающих экономических трудностей в России стал складываться новый общенациональный кризис, значительно превзошедший по своим масштабам и остроте кризисные явления в других воюющих странах. Налицо было ослабление всех структур государственной власти, отсутствие продуманного военно-политического курса, падение престижа династии Романовых, министерская "чехарда". Это открыло последние шлюзы, сдерживавшие недовольство народа существующим положением вещей.

В итоге патриотическое оживление, сопровождавшее начальный этап войны, стало сменяться, с одной стороны, апатией, усталостью, разочарованием в способности царизма защитить честь и национальное достоинство России, а с другой – ростом оппозиционно-патриотических и даже революционно-патриотических (революция во имя спасения страны от грозящего ей разгрома) настроений, стремлением к скорейшему заключению мира и даже более терпимым отношением к "пораженчеству". При этом наблюдаются все бо́льшие расхождения между официальным, правительственным пониманием патриотизма и гражданского долга в период войны и трактовкой этих понятий леволиберальными и тем более революционными кругами, которые не связывали будущее России, ее национальное достоинство и честь с самодержавием и искали вход из сложившейся ситуации в демократическом обновлении страны.

По масштабам массовых социальных движений (стачки рабочих, различные формы крестьянских антипомещичьих выступлений, волнения на продовольственной почве, солдатские бунты, национальные восстания) Россия в период войны стояла на первом месте в мире. Статистика забастовочного движения в 1915–1917 гг. выглядит более чем внушительно: 1,3 млн стачечников в 1915 г.; 2,2 млн – в 1916 г. и около 0,8 млн – за первые два месяца 1917 г. до начала февральских волнений в Петрограде, вылившихся в революцию[13]. По сравнению с революционным 1905 г., когда в России в общей сложности бастовало более 5 млн рабочих, эти цифры, конечно, не ослепляют, но не будем

забывать, что во Франции в 1915 г. бастовали всего 9 тыс. рабочих, а в 1916 г. – 41 тыс., в Германии соответственно 2 и 124 тыс. и лишь в Англии эти показатели были выше – 448 и 276 тыс. человек[14].

Приведенные цифры говорят о том, что в участвовавших в войне странах Запада степень национального единения и интеграции трудящихся слоев в жизнь общества были неизмеримо выше, чем в России, где социокультурный раскол, отсутствие элементарной грамотности и гражданских свобод заметно приглушали патриотические чувства рабочих, вспыхивавшие, как правило, лишь в экстремальных ситуациях, тогда как социальная обида и озлобление, наоборот, были постоянно действующими психологическими факторами в рабочей и крестьянской среде.

Массовые стачки объективно, конечно же, подрывали экономический и военный потенциал страны. Но будем помнить, что у быстро нищавших рабочих (рост их заработной платы резко отставал от роста цен на предметы первой необходимости) просто не оставалось другого выхода, чтобы защитить себя и свои семьи от угрозы голода и вымирания. Резкое ухудшение снабжения промышленных центров, очереди у магазинов и заводских лавок за хлебом и самыми необходимыми продуктами, их плохое качество и непомерные цены действовали на рабочих сильнее любых революционных прокламаций. Мощным фактором социального возбуждения становились и растущие прибыли предпринимателей, та вызывающая порой роскошь, в которой жили и во время войны имущие классы, их безразличие, а нередко и презрение к бедам простых людей.

Однако в забастовочном движении постоянно усиливалась и чисто политическая струя. Этому способствовали осознание бездарности и коррумпированности правящих кругов, поражения на фронтах, ссылка депутатов-большевиков IV Государственной думы в Сибирь в 1915 г., расстрелы рабочих демонстраций в Костроме и Иваново-Вознесенске (июнь, август), роспуск Думы в сентябре 1915 г., распутинщина и т.д. В этом процессе большую роль, несомненно, играли революционные партии, а косвенно – и либеральные организации, разжигавшие в народе недовольство существующим строем. Особенно чувствовалось это в столице страны – Петрограде. Тем не менее большинство стачек в масштабах всей страны носили экономический характер. Так, в Центральном промышленном районе из 1,25 млн стачечников в годы войны три четверти бастовали по экономическим мотивам, примерно 20% – по политическим и около 5% – по патриотическим (выступления против мастеров и инженеров иностранного происхождения, прекращение работ в связи с редкими победами русской армии, а также с антинемецким погромом в Москве 27–29 мая 1915 г.)[15].

Эксцессы типа московского погрома 1915 г., к организации которого была причастна и полиция, были в России редкостью, хотя сам по себе этот погром был поистине ужасен и сопровождался человеческими жертвами. В погроме немецких магазинов и некоторых предприятий, хозяевами которых были немцы, принимали участие люмпенизированные элементы, хулиганствующие черносотенцы, часть городского

мещанства и рабочих. Погром происходил в обстановке отступления русской армии, появления слухов о близком сепаратном мире с Германией и преследовал цель разжечь националистические настроения и отвлечь население от поисков истинных причин и виновников поражения русских войск.

Характерно, что на оборонных предприятиях стачки происходили реже, чем на фабриках и заводах, работавших на гражданские нужды. Интересная деталь: во время полуторамесячной забастовки рабочих судостроительного завода Наваль в Николаеве в январе–феврале 1916 г. рабочие сами постановили, чтобы снарядное отделение продолжало работу. Тем самым они хотели отвести от себя возможное обвинение в подрыве обороны страны. А когда некоторые рабочие снарядной мастерской стали настаивать на присоединении к забастовке, товарищи пригрозили "молотками загнать их на работу"[16].

Обстановка в деревне оставалась в целом более спокойной. Уход на фронт наиболее активной части мужского населения, относительно хорошие урожаи и рост цен на сельскохозяйственную продукцию, приостановка в 1915 г. будоражившей деревню операции по проведению столыпинской аграрной реформы – все это вместе взятое привело к тому, что масштабы крестьянских выступлений во время войны были сравнительно невелики (до марта 1917 г. их насчитывалось около 800)[17]. Однако запасы горючего материала, накопившегося в деревне со времен крепостного права и после реформы 1861 г., были так значительны, что было ясно: стоит подняться городу, – и крестьянство не останется в стороне от борьбы.

Напряженной становилась и обстановка в армии. Вначале солдаты, в большей своей части бывшие крестьяне или крестьяне-рабочие, привыкшие в силу деревенского уклада русской жизни слушаться старших, готовы были в массе своей беспрекословно повиноваться армейским командирам. Этому помогала и строгая военная дисциплина, которой и держался порядок в вооруженных силах России. Однако довольно быстро – и свидетельством тому стали дезертирство, "самострелы", сдача в плен – ситуация начала меняться в худшую сторону. Тяготы фронтовой жизни, большие человеческие потери, трудности со снабжением, падение авторитета боевых командиров и снижение уровня подготовки офицерского корпуса, пацифистская и пораженческая пропаганда, которую осторожно, но настойчиво вели в войсках представители революционно-интернационалистических течений, наконец, обстановка вялой позиционной войны, воцарившаяся на большинстве участков фронта в 1916–1917 гг., не могли не действовать разлагающе на солдат и часть младших офицеров, подрывая тем самым главную опору самодержавного строя. Солдатами овладевали настроения безнадежности, желание кончить войну на любых условиях, рассчитаться с "господами" за все свои унижения и страдания, а главное – поскорее дорваться до их земли. Резкое падение армейской дисциплины к концу 1916 г. еще более накаляло обстановку. А если учесть, что к февралю 1917 г. в действующей армии находилось более 7 млн военнослужащих, а в тыловых гарнизонах – еще около 2,3 млн

солдат[18], то станет ясно, какого грозного потенциального противника создал себе правящий режим в лице собственных вооруженных сил, готовых при благоприятных условиях повернуть штыки против внутреннего, классового врага. Очагами нестабильности были и национальные районы Российской империи, свидетельством чему стало известное восстание конца 1916 – начала 1917 г. в Средней Азии и Казахстане, в котором наблюдалась и ярко выраженная антирусская струя, и стихийное социальное движение против местных феодалов, купцов и ростовщиков, и стремление к национальной самостоятельности.

Мы не ставим своей задачей подробно говорить здесь о деятельности революционных партий в годы войны. Это большая и совершенно особая тема. Подчеркнем лишь, что после глубокого кризиса, который пережили и социал-демократы, и эсеры в первые месяцы войны, в 1915–1916 гг. начался процесс их регенерации и консолидации. Большевики и левые эсеры-интернационалисты восстанавливали и укрепляли прежде всего свои нелегальные подпольные организации, а основная масса меньшевиков и эсеров, стоявших на умеренно интернационалистских, полуоборонческих и откровенно социал-патриотических позициях, стремилась использовать в качестве прикрытия для своей агитационно-пропагандистской и организационной работы в массах военно-промышленные комитеты, кооперативы, немногочисленные уцелевшие профсоюзы, больничные кассы, культурно-просветительные организации, земства и т.д.

Совершенно очевидно, что масштабы деятельности революционных партий в годы войны значительно сократились, а количество их членов резко уменьшилось. Было бы неверно приписывать им решающую роль в "раскачивании" огромной многонациональной страны накануне Февральской революции и в разложении армии, хотя определенную (но не поддающуюся точному измерению) роль в этих процессах указанные партии и прежде всего большевики-ленинцы, конечно, сыграли. Революционизирование России было достаточно длительным и многомерным процессом, в котором объективные факторы, на наш взгляд, все же превалировали над субъективными. Что касается последних, то они складывались из трех основных элементов: бездарности правительства, оппозиционной деятельности либералов и подпольной работы революционеров.

Сейчас стало очень модно отводить чуть ли не решающую роль в революционизировании России в 1915–1917 гг. "немецкому золоту", на которое большевики и другие революционные партии будто бы издавали и распространяли агитационно-пропагандистскую литературу, содержали свой аппарат и даже платили участникам антиправительственных демонстраций и стачек. Расплатой за эти субсидии стал якобы сепаратный Брестский мирный договор между Советской Россией, Германией и ее союзниками, являющийся синонимом национального унижения нашей страны и беззастенчивого грабежа ее богатств германскими империалистами. Таким образом сторонники данной "теории" логически завершают выдуманную ими прирожденную неприязнь Ленина к России и русским, его национальный нигилизм и

"пораженчество" в войне актом государственной измены и превращения вождя большевиков в платного агента Германии.

Само возникновение в 1915 г. у немецкого социал-демократа Парвуса плана революционизирования и разложения России изнутри с помощью ультрарадикальных элементов РСДРП, эсеров и некоторых национальных социалистических и леволиберальных партий, которые вели работу в Украине, Закавказье и Прибалтике, выглядит вполне логичным, поскольку и правящие круги Германии, и российские революционеры направляли свои удары в 1914–1917 гг. против царизма. Напомним, что в 1904–1905 гг. аналогичный опыт, хотя и без особого успеха, проделала во время русско-японской войны Япония[19]. Поэтому не приходится удивляться тому, что МИД, Генштаб и разведывательные органы Германии так быстро и охотно откликнулись на предложение Парвуса и выделили на реализацию его плана значительные средства.

Однако успех здесь зависел от многих условий: масштабов субсидирования подрывных действий против России, искренности партнеров и наличия хорошо отлаженного механизма рационального и эффективного использования немецких "вливаний" в антиправительственное движение в России. Но именно здесь Германии очень скоро пришлось столкнуться с большими трудностями.

Поскольку данный вопрос выходит за рамки настоящей статьи, мы коснемся лишь одного аспекта, связанного с Лениным и большевиками. Но вначале заметим, что "пораженчество" в России появилось еще до возникновения большевизма, во время Крымской войны 1853–1856 гг., а в 1904–1905 гг. "пораженческие" взгляды нередко высказывались (разумеется, в форме чисто платонических пожеланий) в леволиберальных кругах, близких к журналу "Освобождение" и его редактору П.Б. Струве. Однако во весь рост эта проблема встала лишь в период первой мировой войны, когда В.И. Ленин призвал большевиков "содействовать" поражению царизма в столкновении с Германией. Вполне допустимо предположение, что он считал возможным использовать одних империалистов для борьбы с другими империалистами и империализмом вообще, закрывая при этом глаза на сомнительность некоторых источников пополнения большевистской партийной кассы. Но это еще не дает оснований заподозрить его в предательстве национальных интересов своей страны, шпионаже в пользу Германии и т.п. Интернационализм Ленина и его ставка на мировую пролетарскую революцию отнюдь не исключали искреннего и глубокого патриотизма большевиков, которые ненавидели царизм, но не мыслили себя без России. Что же касается "пораженчества" Ленина, то оно не имело ничего общего с организацией саботажа, диверсий, террористических актов или с "распродажей" территории своей страны западным державам в обмен на финансовую помощь в борьбе с самодержавным режимом. Вот почему Ленин и большевики были для правящих кругов Германии весьма неудобными и ненадежными политическими партнерами, причем, по мнению ряда западных и отечественных историков, Ленин в конечном счете переиграл в 1917–1918 гг. своих "меценатов"[20].

Кроме того, не стоит забывать, что у "немецкого золота" было несколько адресатов, помимо большевиков (украинские националисты, грузинские социалисты-федералисты и т.д.), а эффективность его использования в такой стране, как Россия, была крайне низкой. Не исключено также, что Парвус, никогда не отличавшийся большой щепетильностью, часть выделенных на "революционизирование" России средств присваивал себе. Вот почему в любом случае "немецкое золото" могло сыграть лишь роль дополнительного фактора в подготовке революционных событий 1917 г., да и вся эта история, по признанию даже самого беспощадного и притом хорошо информированного критика Ленина, Д.А. Волкогонова, во многом и сегодня остается тайной[21].

Судьбу династии Романовых решил социальный взрыв в Петрограде в конце февраля–начале марта 1917 г. Он не был подготовлен какой-либо заговорщической организацией (будь то большевики или масоны) и не имел определенного сценария. Стихийный элемент явно преобладал в событиях 23–28 февраля 1917 г. в Петрограде, хотя нельзя не признать, что революционные организации, несмотря на свою слабость и взаимную вражду, быстро включились в политический процесс и попытались взять его в свои руки. Лозунги вышедшего на улицы столицы пролетариата, к которому присоединились солдаты столичного гарнизона и значительная часть демократических слоев населения Петрограда, подсказала сама жизнь. Люди требовали мира, хлеба, свободы и в считанные дни без большого кровопролития и гражданской войны опрокинули самодержавие.

Затем революционный процесс в ускоренном темпе пошел дальше. Полоса "революционного оборончества", создание Советов и коалиционного Временного правительства, неудачный корниловский мятеж, новый взрыв социальных антагонизмов в городе и особенно в деревне, усиление влияния большевиков и левых эсеров и разочарование масс в меньшевиках и правых эсерах – таковы главные этапы на пути к известным октябрьским событиям, круто изменившим судьбы России и предопределившим ее выход из войны. Во многом сходные процессы происходили позже в Германии и Австро-Венгрии. Что касается Англии, Франции, Италии и США, то там социально-политическое развитие пошло более цивилизованным, реформистским путем. Однако возврата к старой, довоенной модели мира уже не было.

Таким образом, национально-патриотический фактор никогда, в том числе и в 1914–1918 гг., не терял своего значения в истории России, но в годы войны происходило своего рода отчуждение национальной идеи от правящих "верхов" и династии Романовых (и это несмотря на их клятвы в верности Родине). Лозунг спасения страны от национальной катастрофы был перехвачен у них в 1917 г. большевиками, превратившими затем "социалистический патриотизм" в мощный рычаг укрепления своей власти и великодержавного могущества СССР.

[1] См.: Die Neue Zeit. 1911. Jg. 29. Bd. II. H. 30. S. 106–107.

[2] Цит. по кн.: *Зырянов П.Н.* Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1922. С. 115–116.

[3] См.: *Бок М.П.* П.А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. М., 1992. С. 299–300.

[4] Цит. по кн.: *Шелохаев В.В.* Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии. 1907–1914 гг. М., 1991. С. 187–188.

[5] См.: Красная новь. 1922. № 6(10). С. 182–199.

[6] Цит. по кн.: *Ольденбург С.С.* Царствование императора Николая II. Нью-Йорк, 1961. С. 519.

[7] См.: *Кирьянов Ю.И.* Были ли антивоенные стачки в России в 1914 году? // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 43–52.

[8] См.: *Сидоров К.Ф.* Рабочее движение в России в годы империалистической войны // Очерки по истории Октябрьской революции. М., 1927. Т. I. С. 200–201; *Тютюкин С.В.* Война, мир, революция. М., 1972. С. 78–81.

[9] Государственная дума. Четвертый созыв: Стенографические отчеты, заседание 26 июля 1914 г. СПб., 1914. Стб. 25.

[10] Там же. Стб. 18.

[11] Там же. Стб. 20.

[12] Цит. по кн.: *Иоффе Г.З.* Революция и судьбы Романовых. М., 1992. С. 14.

[13] Strikes, social conflict and the First world war: an international perspective. Milano, 1992. P. 381 (подсчеты Ю.И. Кирьянова).

[14] См.: Международное рабочее движение. Вопросы истории и теории. М., 1968. Т. 3. С. 572, 576, 584, 586, 589.

[15] См.: *Лекомцев М.Г.* Формы борьбы рабочих Центрального промышленного района в годы первой мировой войны. М., 1992. С. 12.

[16] См.: Рабочий класс России. 1907–февраль 1917 г. М., 1982. С. 321.

[17] См.: Крестьянское движение в России в годы первой мировой войны. Сб. док. М., 1965. С. 466–514.

[18] См.: История СССР. 1972. № 3. С. 202.

[19] См.: *Павлов Д.Б., Петров С.А.* Японские деньги и русская революция // Тайны русско-японской войны. М., 1993. С. 7–93.

[20] См.: *Мальков В.Л.* Большевики и "германское золото". Находки в архивах США // Новая и новейшая история. 1993. № 5.

[21] См.: *Волкогонов Д.* Ленин. Политический портрет. М., 1994. Кн. I. С. 200. Документов, которые прямо говорили бы о передаче большевикам немецких денег, в распоряжении историков нет, хотя вполне очевидно, что многое в архивах (как отечественных, так и зарубежных) было сознательно уничтожено или погибло в годы второй мировой войны. Так, сначала Д.А. Волкогонов, а потом А.Г. Латышев в книге "Рассекреченный Ленин" (М., 1996) обнародовали очень важный документ, подтверждающий факт чистки наших архивов, которая началась сразу же после прихода большевиков к власти. 16 ноября 1917 г. Ленину сообщили: "Согласно резолюции, принятой на совещании народных комиссаров товарищей Ленина, Троцкого, Подвойского, Дыбенко и Володарского, мы произвели следующее:

1) В архиве министерства юстиции из дела об "измене" товарища Ленина, Зиновьева, Козловского, Коллонтай и др. мы изъяли приказ германского имперского банка № 7433 от второго марта 1917 г. с разрешением платить деньги тт. Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суменсон, Козловскому и др. за пропаганду мира в России.

2) Были просмотрены все книги банка Ниа в Стокгольме, заключающие счета тт. Ленина, Троцкого, Зиновьева и др., открытые по приказу германского имперского банка за № 2754. Книги эти переданы Мюллеру, командированному из Берлина. Уполномоченные НКИД Е. Поливанов, Г. Залкинд" (*Латышев А.Г.* Указ. соч. С. 95). Следует также учитывать, что многие договоренности между большевиками и теми, кто представлял немецкую сторону, могли носить устный характер и не документироваться. Личная причастность Ленина к подобным операциям исключается, хотя не знать (или не догадываться) о них он не мог. Таким образом, проблема требует дальнейшего изучения, причем особенно сомнительны те колоссальные суммы немецких "вливаний" (многие миллионы рублей), которые фигурируют в ряде новейших зарубежных и отечественных публикаций.

ВОЙНА, РЕВОЛЮЦИЯ И НОВАЯ КАРТИНА МИРА В ИДЕОЛОГИИ ГЕРМАНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

Л.Н. Бровко

Извечный вопрос – как соединить национальное с интернациональным, интересы своей страны с интересами мирового сообщества, как сделать так, чтобы, оставаясь патриотом, быть одновременно и интернационалистом, не ущемляя нисколько национальных чувств своего и других народов, а тем более не прибегая к методам насилия? Ответ на него и до сих пор пытаются найти политики, философы, историки, международные организации и движения. Похоже, что их поиски до сих пор не увенчались успехом, хотя человечество уже успело пережить ряд глобальных катастроф – две страшные мировые войны, не говоря уже о бесчисленных региональных и межэтнических конфликтах, которые продолжаются и по сей день.

Первая мировая война сполна предоставила свой опыт для осмысления современникам и потомкам. Уже в ее ходе появилась масса данных, а также информационных возможностей для серьезных исторических и философских обобщений. Работа по теоретическому осмыслению опыта первой мировой войны и последовавших за ней революций продолжалась и после войны, продолжается она и по сей день[1].

Как известно, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), наряду с другими партиями Социалистического рабочего Интернационала, с начала первой мировой войны занимала национал-патриотические позиции, не раз (с момента парламентских заседаний 4 августа 1914 г.) голосуя за предоставление военных кредитов своему правительству. При этом соблюдалась вся необходимая антивоенная риторика, а при голосованиях в рейхстаге неоднократно подчеркивалась приверженность социал-демократии к миру, желание покончить с войной и т.д. Однако уже здесь имели место определенные тонкости. Социал-демократия, как правило, приписывая агрессивные намерения стороне, враждебной своему фатерланду, выставляя последний в качестве жертвы, соответственно этому определяла цели в войне и условия мира. Вот образчик такого заявления, сделанного социал-демократической фракцией 4 августа, а затем дословно повторенного 2 декабря 1914 г. на заседании того же рейхстага: "Мы требуем, чтобы войне был положен конец, как только цели безопасности будут достигнуты, и как только противник будет склонен к миру, который сделает возможным дружбу с другими народами"[2].

Не хотелось бы упрекать основное течение в социал-демократии и конкретно его лидеров, как это делали левые в ее рядах, в сугубо проимпериалистических позициях[3]. Но вот война разразилась – и парадокс: практически большинство социал-демократов мира вдруг заявили

© Л.Н. Бровко

о том, что их национальные правительства ведут исключительно освободительную борьбу. Шла мировая война, лилась кровь – и все, оказывается, боролись за свободу и независимость – немцы, французы, русские... Уже одно только это бросающееся в глаза совпадение в оценке внешней угрозы говорило о том, что международная социал-демократия переживает кризис. Лучшие ее умы сосредоточились на поисках выхода из него, обнаружении истины. Увы, истина для всех звучала по-разному. С нетерпением ждали слово патриархов движения, и уже в конце 1914 г. появилась большая статья Э. Бернштейна, написанная для журнала "Архив социальной науки и социальной политики", позднее в России изданная в виде отдельной брошюры: "Рабочий Интернационал и европейская война".

В основе этой брошюры, получившей распространение среди "социалистов большинства" (так называли голосующих за военные кредиты) Европы, лежала концепция, утверждающая, что в условиях войн принцип интернационализма не работает: в силу вступают иные законы, прежде всего закон о безусловном праве и необходимости защиты своего отечества. Этот тезис теоретически подкреплялся известным марксистским принципом о праве наций на самоопределение. Фракция СДПГ в рейхстаге, объясняя свое очередное голосование за военные кредиты 2 декабря, прямо заявляла, например: "Каждый народ имеет право на национальную самостоятельность. Мы убеждены, что дальнейшее успешное развитие народов возможно только тогда, когда каждая нация откажется от посягательств на целостность и независимость других наций, чтобы не дать повод для новых войн"[4].

Бернштейн утверждал, что Германия якобы была поставлена перед фактом развязывания войны – враг, подчеркивал он, вторгся на ее территорию. Это, мягко говоря, не соответствовало действительности. Вообще же концепция внезапности возникновения войны имела широкое хождение в кругах социал-демократии Европы, что противоречило реальным фактам и анализу процессов в предвоенный период, зафиксированным тогда в неоднократных заявлениях, документах и теоретических трудах лидеров европейской социал-демократии, в том числе и немецкой. Было очевидно, что с помощью этой концепции Бернштейн пытался скрыть растерянность и отчасти неспособность (впрочем, вполне понятную психологически в катастрофической обстановке того времени) осмыслить происходящее.

Основной же лейтмотив работы Бернштейна состоял в том, чтобы доказать ответственность и вину России за развязывание войны. Характерно, что представление о виновности России получает в это время широкое распространение в Германии. Россия объявляется монстром, которому генетически присущи воинственность и агрессивность. Бернштейн повторяет эту версию, утверждая, что не Германия, которую, по его мнению, боялись совершенно напрасно и которая призвана быть оплотом европейской демократии и культуры, а именно Россия в силу своей военизированной государственной организации и абсолютистского деспотизма является угрозой миру. Отсюда вытекал и тезис о том, что Германия вступила в войну не только для защиты

собственных интересов, но и для защиты культуры всей Европы (знакомый мотив!) против агрессивного, угнетающего другие народы российского деспотизма. Россия, утверждал Бернштейн, должна "быть наказана" и погибнуть вместе со своим государственным режимом[5].

Работа Бернштейна о войне, пожалуй, была одной из самых противоречивых его работ. Это и понятно. Многие данные еще не были доступны, многому нужно было буквально на ходу подыскивать соответствующие объяснения, которые могли бы, пусть приблизительно, ответить на запросы думающего человека. Автор понимал уязвимость своего основного тезиса о вине России в развязывании войны, отсюда в работе масса оговорок, призванных смягчить прямолинейность выводов. Так, он признавал, что партии не удалось убедить мировую и социалистическую общественность в том, что поспешное объявление Германией войны России и Франции, как и быстрое продвижение по территории Бельгии, сопровождаемое недостойными действиями со стороны оккупационных немецких войск, было столь уж необходимо. В этом уже скрывалось косвенное признание и двойственности позиции социал-демократии, и неоднозначности трактовки ею причин военного конфликта уже в самой первой его фазе. Далее, хотя Бернштейн в основном в этот период исходил из правомерности действий германского кайзера и правительства (в целом миролюбиво настроенных, как он считает), он, однако, подчеркивал давление, оказываемое на них со стороны военных кругов, замечая, что их курс на войну в принципе преступен и антинароден[6]. В другом месте работы Бернштейн отмечал, что война была спровоцирована Австро-Венгрией при негласной поддержке германского правительства, прежде всего из-за отказа временно приостановить военные действия, и поэтому-де на нем лежит страшная ответственность "перед собственной страной, перед иностранными державами, перед форумом мировой истории"[7].

Итак, Бернштейн и другие представители правого крыла социал-демократии на первых порах руководствовались соображениями чисто конъюнктурного характера. Совершенно в духе лассальянской традиции, многого ожидали в обмен за поддержку правительства. Не случайны были слова, содержащиеся в обращении СДПГ от 4 августа и 2 декабря 1914 г.: "Мы ожидаем от имперского правительства доверия к нашему народу, единодушно борющемуся за свое отечество"[8]. Ожидали отмены цензуры и осадного положения, ожидали введения в Пруссии всеобщего и равного избирательного права, ожидали общей демократизации режима. Кроме того, силясь попасть в ритм шовинистических настроений, хотели добиться усиления популярности партии, роста ее сторонников. Социалистами большинства, по крайней мере до октября-ноября 1918 г., даже не ставился вопрос о ликвидации кайзеровского режима. Лишь к моменту начала Ноябрьской революции 1918 г., отчаявшись чего-либо добиться с помощью личных инициатив и дипломатии, социалисты потребовали отречения кайзера и установления республиканского строя. Существенную роль при этом сыграли, конечно, и заявления правительств западных стран, прежде всего

президента Вильсона, о том, что разговоры о мире будут вестись только с демократическим немецким правительством.

Сам Бернштейн совместно с К. Каутским, Р. Брайтшайдом, Г. Гаазе, осознав, что упорные попытки приспособиться к ситуации могут быть чреваты непредвиденными последствиями, а то и могут вызвать обратный эффект тому, на что надеялись, т.е. привести к падению влияния социал-демократов по мере того, как будут накапливаться всеобщая усталость и озлобление, – летом 1915 г. объединяются в так называемое Рабочее содружество, на основе которого в апреле 1917 г. была образована Независимая социал-демократическая рабочая партия. Это направление социал-демократии объявляет о своей особой, непримиримой антивоенной позиции. В известном воззвании "Веление времени", опубликованном 15 июня 1915 г. в "Ляйпцигер Фольксцайтунг" Бернштейном, Гаазе, Каутским, выражался протест против военной политики правительства, предлагалось немедленное заключение перемирия, предварительным условием которого должно было стать выявление и четкая формулировка целей, преследуемых в этой войне воюющими сторонами. Таким образом, со временем выявился и конструктивный подход к решению наболевших проблем. Более того, воззвание трех говорит уже об аннексионистских планах крупных немецких промышленников и латифундистов в отношении воюющих с Германией стран и даже нейтральной Бельгии.

Особой была позиция Каутского в военном вопросе. Известно, что он был одним из создателей антивоенных документов предвоенных конгрессов Социалистического Интернационала. Он одним из первых предсказал вероятность новой мировой (причем впервые употребив этот термин – "мировой") войны и даже возможность ее революционного исхода. В работе "Путь к власти", опубликованной в 1908 г., Каутский в связи с таким предположением даже предупреждал социал-демократию о необходимости подготовки борьбы за политическую власть. Подчеркивая преступность войны, он особенно акцентировал ту мысль, что в ходе войны страдают все участвующие в ней стороны, что в этом смысле нет справедливых и захватнических войн, оборонительных и наступательных.

Именно эти постулаты легли в основу первоначальной реакции Каутского на мировую войну. Позднее, в работе "Социализм и война", увидевшей свет в 1937 г., он писал, что начало войны было для него временем мучительных раздумий, поскольку он понимал, что одобрение военных кредитов негативно скажется на престиже германской социал-демократии. Однако следовало учитывать политические реалии – ослепление масс пропагандой патриотизма, ограничение демократических прав и свобод и т.д. Никогда еще, писал Каутский, правительство не было так сильно, а партии так слабы, как в начале войны. В этих обстоятельствах, когда, по его мнению, политическая борьба не могла привести к успеху, необходимо было беречь силы и выжидать. Он уже не говорил о революции, в условиях войны считая ее невозможной, поскольку для социальной революции требовалось здоровое, развитое, не разрушенное войной хозяйство, а для этого

прежде всего предстояло восстановить капиталистическую экономику. В самом начале войны Каутский даже придерживался той точки зрения, что для достижения мира нужно защищать свое отечество. Интернационализм во время войны он видел в том, что, защищая свою страну, социал-демократия признает такое же право за своими европейскими товарищами по ту сторону линии фронта[9].

За годы войны позиция Каутского, как и Бернштейна, менялась и приобретала все более антиимпериалистический характер[10]. После 1918 г. Каутский подготовил немецкое издание документов о происхождении и начале войны, результатом анализа которых стала опубликованная в 1919 г. его брошюра "Как возникла мировая война". Виновником войны Каутский теперь прямо называл германскую милитаристскую монархию, действовавшую в интересах промышленников и землевладельцев.

В общем, эволюция во взглядах "социалистов большинства" шла в направлении критики отдельных представителей политического режима, а затем самой политической системы. Поднимались и экономические вопросы. Однако до больших обобщений дело не доходило. Согласно теории Бернштейна, было принято считать, что кризисные явления преодолимы в рамках все еще не растратившего свой потенциал капиталистического способа производства. В чем социал-демократы все же оказались единодушными, так это в признании, что современная война ("страшная мировая война", как отмечал Бернштейн[11]) унизительна для цивилизации, что "этот величайший культурный позор грозит "ужаснейшим исходом", грозит "человечности и культуре", и, в конечном счете, может привести к гибели всей цивилизации.

Об опасности подобной катастрофы говорили идеологи и левого крыла социал-демократии, прежде всего Роза Люксембург, которая в 1915 г. опубликовала работу "Кризис социал-демократии", посвященную проблемам, связанным с первой мировой войной. Однако в отличие от "социалистов большинства" Р. Люксембург прямо связывала возникновение войны с капиталистическим способом производства, давшим миру "подобное чудовище" – империализм с его жаждой колониальных захватов, накопительства и мирового господства. Война не возникла внезапно, подчеркивала она, а подготавливалась в течение десятилетий ведущими европейскими державами, заинтересованными в осуществлении собственных империалистических целей. По мнению Люксембург, сама логика развития капитализма, который приобретал все более интернациональный характер (разветвленная система финансовых связей и интересов, колониальные претензии и т.д.), с естественной необходимостью рано или поздно привела бы к военному столкновению. Война, следовательно, имеет ярко выраженный империалистический характер, причем, по мнению автора, это касается (за исключением Сербии и Бельгии) практически всех основных стран – участниц конфликта.

Р. Люксембург решительно отвергла в своей работе тезис об освободительном характере войны, в частности, со стороны Германии.

Более того, она обращала внимание на особую вину и ответственность именно германских правящих кругов, германского империализма, молодого хищника с чудовищным аппетитом, вышедшего "на мировую арену, когда весь мир уже был почти разделен"[12]. Доказывая бесспорную причастность кайзеровского режима к развязыванию войны, Люксембург ссылалась на "Белую книгу" (послание кайзера и правительства германскому рейхстагу) от 4 августа 1914 г., в которой предельно откровенно сообщалось, что германское правительство было в курсе всех акций, затеваемых австрийской стороной, и в силу различных соображений (в первую очередь династического характера) одобряло и даже стимулировало открыто агрессивные действия Австрии, хотя совершенно определенно знало, что это приведет к войне с Россией. Таким образом, подчеркивала Р. Люксембург, мир стал жертвой грандиозной провокации[13].

Она полемизировала с тезисом, выдвинутым идеологами большинства о том, что в этой войне решался вопрос о существовании Германии, об угрозе ее интересам со стороны России. Во-первых, утверждала лидер левых, это не соответствовало реальной действительности – никто Германии непосредственно не угрожал и не пытался это делать; если и можно говорить применительно к этой войне о такой угрозе, то это касается только Сербии и Бельгии, на территорию которой бесцеремонно вклинилась сапогом все та же Германия, безумно "опасаясь" нарушения собственного суверенитета[14]. Во-вторых, убеждала Люксембург, чистейшей спекуляцией являются ссылки на Маркса и Энгельса, на их требования борьбы с русским царизмом, относящиеся к совершенно другой эпохе, когда царизм действительно являлся жандармом Европы, душителем революции. К несчастью, писала она, вспомнили про завещание Маркса именно для того, чтобы украсить прусский милитаризм, для борьбы с которым сам Маркс готов был отдать "все до последнего издыхания". В представлении лидеров большинства, констатировала Люксембург, "Гинденбург стал исполнителем завещания Маркса и Энгельса"[15]. С середины XIX столетия, доказывала она, ситуация изменилась, изменился и сам царизм, постепенно обретя новое качество и разрешив "плохонькую конституцию". К тому же со времен первой русской революции именно Запад (прежде всего прусский юнкерский режим) оказывал материальную и моральную поддержку царизму в его борьбе с революционизировавшейся Россией. Почему же, напоминала Люксембург, социал-демократия молчала в 1910 г., когда в Потсдаме чествовали русского царя вскоре после подавления революции? По ее мнению, мировая война только помогла царизму перевести вновь назревавший в России революционный взрыв в русло патриотических призывов.

Впрочем, Люксембург отмечала тот факт, что *догоняющий* русский капитализм, выросший в атмосфере революции и предчувствующий новые грозовые удары, "с особой резкостью поддерживает традиционную внешнюю политику царизма"[16]. А правящие круги в России точно так же, как и в Германии, и других участвующих в конфликте странах, всегда использовали в качестве внешнего раздражителя (для

отвлечения населения от внутренних проблем) "излюбленное средство" в государственной политике – легенду о защите своего отечества. "Защита славянских братьев и христиан от турок сыграла для русских... роль такой же легенды, какую играет сейчас в немецкой социал-демократии защита немецкой культуры и свободы от русского насилия"[17].

Люксембург была весьма категорична в своих выводах. Так, она полагала, что в эпоху империализма не может быть национальных войн (этот ее тезис всегда оспаривал В.И. Ленин). Существует лишь спекуляция на патриотизме, заявляла она, ссылки же на лозунг "права наций на самоопределение" безосновательны, так как в классовом государстве никакая нация, никакой народ не могут самостоятельно определять свою судьбу, свое общественное и политическое устройство. Тем более, бросала Люксембург упрек правым, забавно это слышать в Германии, на независимость которой никто не посягал. Голосовать же за субсидии и вовсе не требовалось по одной простой причине – социал-демократическая фракция представляла в парламенте меньшинство, и мало что зависело от ее решения: она лишь взвалила на себя ответственность за эту войну, скомпрометировав тем самым социал-демократическое движение.

Лозунг "победа или поражение", считала Люксембург, также был не оправдан, поскольку вспыхнувшая мировая война в силу развитости военной техники настолько разрушительна, что победивший в ней будет такой же жертвой, как и проигравший. Эта война особенная, писала она, ибо является порождением технической цивилизации и благодаря технической изощренности вооружений и относительного равновесия в этой области между странами-участницами она может оказаться бесконечной и приносить все новые и новые жертвы. Мир после этой войны, по убеждению Люксембург, не может длиться долго, так как в результате неразрешенных и вновь созданных противоречий возникнут новые проблемы – победители будут пытаться укрепить свое положение, побежденные будут стремиться к реваншу, что особенно касалось Германии, где реакция в любом случае должна была сохранить свои позиции.

Ведущий теоретик левого движения, она полагала, что мировая война отражала кризис всего старого мира, старой культуры. От ужасов загнивающего старого строя человечество, была она уверена, могло спасти только наступление новой эры – эры социализма. Или социализм, или гибель – такова дилемма мировой истории. Люксембург подчеркивала в совершенном согласии с марксистской теорией, что социализм, как и капитализм в свое время, является исторической необходимостью, что и выявила эта страшная война, показавшая глобальный кризис капитализма, его историческую исчерпанность. И тем не менее, Люксембург не выдвигала лозунга о необходимости превращения войны империалистической в войну гражданскую. Вообще она была весьма осторожна в оценке перспектив пролетарской революции. Основная мысль ее теоретических рассуждений по этому поводу сводилась прежде всего к утверждению, что никакие революции

не делаются сверху, с помощью декретирования, партийных решений и т.д. Все революционные действия, как впрочем и все массовые акции, должны зародиться снизу, в массах, а задачей рабочих партий является лишь отслеживание и разъяснение целей и ситуации. Конечно, подобная точка зрения расходилась с позицией большевиков, отводивших исключительную роль партии как организатору крупных политических выступлений. Для совершения революции, считала Р. Люксембург, необходим был определенный уровень культуры страны и масс, образованности и зрелости пролетариата. Поведение же немецкой социал-демократии показало, по ее мнению, что требуемой зрелости еще нет.

Февральская революция 1917 г. в России, происшедшая в ходе войны, оказалась в целом совершенно неожиданной для германских социал-демократов. Уставшие от войны народные массы, доведенные до крайности голодом и неразберихой, анархией и бездеятельностью властей, раздраженные твердолобой политикой царского правительства, восстали. Революция свершилась в несколько дней; так же быстро Николай II отрекся от престола[18].

События в России вызвали крайнюю сумятицу в рядах международной и, в частности, немецкой социал-демократии, прежде всего в кругах большинства. Неуместным стал лозунг борьбы с русским абсолютизмом. Февральская революция выбила старые аргументы в пользу ведения войны с германской стороны, однако тотчас же появились новые. Газета СДПГ "Форвертс" в качестве органа государственной, национальной партии 18 марта 1917 г. все также упрямо выражала доверие немецкому правительству, правда, на этот раз высказывая недоверие русской революции. Немецкие социал-демократы теперь утверждали, что, в отличие от немецкого народа, вполне благонамеренного в отношении своего правительства и государства, русский народ оказался политически незрелым. "Гражданская война, – писала газета, – это роскошь, которую не позволит себе во время войны политически зрелый народ". Это означало, по мнению редакции газеты, что "он будет искать свободы не путем гражданской войны, а путем благожелательного отношения к собственному правительству"[19]. На этом основании правая социал-демократия по-прежнему давала свое "добро" на продолжение военных действий теперь уже против новой и демократической революционной России.

Однако представители Рабочего содружества с апреля 1917 г., не без влияния февральских событий, заняли особую, в целом антивоенную, позицию, настаивая (с учетом национальных интересов стран – участниц конфликта) на проведении переговоров о заключении мира. Ярким представителем этого направления был К. Каутский, опубликовавший сразу же по следам событий брошюру "Русская революция 1917 г. и немецкая социал-демократия", в которой признавал, что в России произошло "событие колоссального значения"[20], поставившее много новых проблем, требующих принципиально новых подходов.

Прежде всего автор брошюры утверждал, что Февральская рево-

люция, будучи социальной, является новой ступенью и в "истории этой войны"[21]. Она, по его мнению, должна была повлечь за собой изменение характера войны и способствовать ее прекращению. Произойти это, по мнению Каутского, должно было в силу того, что к власти пришла партия мира, которая "будет скорее, чем в других странах, руководствоваться интернационализмом, а не национализмом"[22], и что на сцену, помимо всего прочего, вышел "новый фактор военной политики..., революционный пролетариат и социализм"[23]. Важное значение имели также рассуждения автора по поводу того, что война и революция связаны друг с другом, что война усиливает социальную напряженность, и об этом прекрасно знают правительства – иначе "война разразилась бы раньше"[24]. Кроме того, становилось очевидным, что революция в России не была столь уж неожиданной для Каутского: он считал, что она была вызвана военным фактором в сочетании с революционной инициативой масс, которые, по его словам, "применили рекомендуемые Энгельсом средства давления на правительство или его замены с целью обеспечить свое национальное существование"[25].

Единственное, пожалуй, что вызывало его удивление в февральских событиях, так это то, что они произошли не в начале или конце войны (что соответствовало бы, как считает Каутский, законам мировой истории), а в ее середине, так сказать, в процессе. Этот факт должен был дать пищу для размышлений над проблемами социальных революций, чтобы в будущем, подобно немецкой социал-демократии, не делал скороспелых выводов. Ведь СДПГ на основании того, что в начале войны не проявила себя революционная инициатива масс, сделала ложный вывод о том, что "революция вообще невозможна"[26]. Из своих теоретических рассуждений Каутский делал важный практический вывод о необходимости поддержки нового правительства в России и заключения "не угрожающего никакому народу" мира, тем более, что "цель войны для социал-демократической фракции... – падение самодержавия... теперь достигнута"[27]. Однако надеждам Каутского не было суждено сбыться – новое правительство в России отнюдь не оказалось партией мира.

Существенно изменившая свои взгляды в ходе войны Р. Люксембург в уже упомянутой работе, а также в статьях "Русские проблемы", "Русская трагедия" и др. постоянно выделяла одну и ту же мысль: мира в каждой стране и во всем мире можно добиться только одним путем – с помощью революционной классовой борьбы против собственной буржуазии. Неоднократно подчеркивая ошибки русской революции, как Февральской, так и последующей, Октябрьской, автор статей не забывала отмечать, что эти ошибки были неизбежны и "любая социалистическая партия в России должна следовать ложной тактике"[28], так как брошена на произвол судьбы европейским пролетариатом. В них вина за эти ошибки возлагалась на международную, прежде всего германскую социал-демократию. Нанося удар в спину русской революции (немецкие войска воюют против революционной России), она обрекала ее на голодную смерть. Единственный выход из создавшейся ситуации виделся в восстании немецкого народа, которое

должно было стать как бы сигналом к международной революции с целью окончательного освобождения от империализма.

Война продолжалась, проблемы оставались прежними, и как следствие – октябрьские события в России. К власти пришли большевики. Для левых социалистов очередная революция в России была явлением вполне закономерным, хотя, в отличие, например, от Каутского, они не придавали столь серьезного значения фактору войны в ее происхождении. По мнению их лидера, война лишь затормозила назревание революции, так как уже к 1914 г. в России вполне сложилась революционная ситуация. Люксембург считала, что и Февраль, и Октябрь являлись этапами одной русской революции, начатой в 1905 г. и развивавшейся по восходящей линии, высшей ступенью которой и явилась Октябрьская революция. По ее убеждению, Октябрь не только спас завоевания Февральской революции, но и позволил теперь уже вплотную заняться вопросами мира.

Надежды на то, что приход большевиков к власти сможет сразу же покончить с войной, оказались преувеличенными. Война не была остановлена, ситуация осложнилась – Брестский мир еще более ее запутал. В статье "Русская трагедия" Люксембург осудила его как капитуляцию русской революции перед германским империализмом. Этот мир, считала она, лишь способствует усилению контрреволюции и сужению круга сторонников социалистических реформ[29]. Та же мысль повторялась в ее знаменитой "Рукописи о русской революции"[30]. Люксембург полагала, что, вопреки замыслам Ленина, Брестский мир не только не способствовал прекращению войны, но и вызвал дальнейшую ее эскалацию. Германские войска продолжали продвигаться в глубь российской территории, что, в свою очередь, вызывало растущую тревогу Антанты, не собиравшейся складывать оружие перед лицом обнаглевшей немецкой военщины, хозяйничавшей в России.

Люксембург была уверена, что большевики совершили ряд серьезных ошибок и в своей внутриполитической деятельности, что, как ей казалось, могло повлечь за собой необратимые последствия. Именно этой проблеме посвящалась упомянутая выше "Рукопись о русской революции". В ней она прежде всего отмечала, что действия большевиков по разгону Учредительного собрания только усугубили кризис. Доводы большевиков, в первую очередь Троцкого, в пользу роспуска только что избранного парламента (Троцкий утверждал, что представительные учреждения слишком неповоротливы и не поспевают за стремительным ходом революции, тормозят ее) Люксембург считала неубедительными и противоречащими историческому опыту. Она утверждала, что революция, называвшая себя социалистической, должна опираться на широкое демократическое движение масс, иметь демократический стержень, что находит свое выражение в деятельности представительных учреждений. "Живые флюиды настроения народа постоянно омывают представительные учреждения, проникают в них, управляют ими"[31]. Только тогда, была убеждена Люксембург, когда возникнут демократические институты, смогут сложиться условия для победы социалистических принципов. Демократические права и

свободы, всеобщее избирательное право она называла правом на "самоопределение для самой России"[32].

Что же касается лозунга "право наций на самоопределение", выдвинутого Лениным, то Люксембург видела в нем знамя "для собирания контрреволюции"[33]. Этим лозунгом, заявляла она, большевики сами подготовили распад России, сами вложили в руку ее врагов нож, которые вонзили его в сердце русской революции"[34]. В представлении Люксембург логика событий могла развиваться в направлении, противоположном тому, которое прогнозировал Ленин. Рассчитывая привязать лозунгом о самоопределении перусские народы к революции, большевики получили обратный эффект – на дрожжах национализма существенно умножились силы контрреволюции: национальная буржуазия превратила этот лозунг в "инструмент своей контрреволюционной классовой политики"[35]. По ее мнению, любой национализм представлял собой величайшую опасность для международного социализма, он должен был быть подавлен в зародыше железной рукой[36].

Однако в целом у Люксембург не было сомнений в необходимости и закономерности свершения Октябрьской революции, что вытекало из ее глобальной концепции смены цивилизаций. Видный теоретик левых, она полемизировала с социалистами вроде Каутского, которые, ссылаясь на Введение Ф. Энгельса к работе К. Маркса "Классовая борьба во Франции", написанное в 1895 г., утверждали, что рабочий класс недостаточно созрел для взятия власти, что у капитализма есть еще потенции к дальнейшему развитию, что поэтому необходимо активнее использовать парламентские средства борьбы и т.д. Люксембург заявляла, что Энгельс, высказывая подобные мысли, не мог учесть последующего развития событий: уже в начале XX столетия, утверждала она, ситуация изменилась, капитализм исчерпал свои возможности к саморазвитию, его ресурс был полностью израсходован, свидетельством чему и являлась мировая война. Для лидера левых не было двух мнений: социал-демократия должна вернуться к лозунгам, зафиксированным в Коммунистическом манифесте 1848 г. Социализм и только он может спасти мир от глобальной катастрофы, от гибели цивилизации.

В отличие от Люксембург, Бернштейн и Каутский не задавались вопросом о том, быть или не быть капиталистической цивилизации. Вопрос в такой плоскости ими даже не ставился. Необходимость революции, по большому счету, Бернштейном, например, отрицалась. Бернштейн и Каутский были убеждены, что революции и в Германии, и в России были спровоцированы в основном бездарной политикой национальных политических элит, проводимой во время войны, или самой войной. Что касается России, то оба они единодушно считали, что страна просто не была готова к социалистической революции в силу ее отсталости и аграрного характера.

Бернштейна отличало его резко негативное отношение к Октябрьской революции. В силу своей концепции эволюционного развития общества он отрицал возможность скачкообразного перехода из одной формации в другую и осуждал деятельность большевиков, которые, не

считаясь с законами общественного развития, задумали перевести отсталую страну, только вступившую в стадию бурного развития капитализма, в новое социальное измерение. Социализм, считал Бернштейн, нельзя насадить путем переворота, а в том, что Октябрьская революция была переворотом чисто бланкистского толка, он не сомневался[37]. "Практически... большевистское предприятие, писал он, – является попыткой перескочить через значительную фазу необходимого социального развития посредством актов произвола"[38]. Проблемы особых условий России, ее внутреннего и внешнего положения накануне Октября 1917 г. Бернштейна практически не занимали.

Он придерживался мнения, что в России диктатура пролетариата была подменена диктатурой партии, которая, используя благоприятный момент, опираясь на часть пролетариата и "завербованных сторонников", с помощью террористических методов разогнала все другие партии и захватила государственную власть. Как это часто бывало в истории, утверждал Бернштейн, контрреволюция и помощь ей со стороны Запада лишь укрепили позиции большевиков – все другие партии, критиковавшие политику большевиков, на фоне агрессии выглядели пособниками врага и контрреволюции[39]. Продолжение мировой войны, утверждал теоретик правого крыла социал-демократии, объективно также было на руку большевикам, так как на ее счет можно было списать все провалы в социально-экономической политике, голод и нищету. Более того, по Бернштейну, и продолжение состояния войны после войны являлось прямой заслугой большевиков, разогнавших Учредительное собрание, вызвавших тем самым гражданский конфликт и давших повод и основание "иностранным государствам... отказать их правительству в признании"[40].

Мы уже видели, что позиция Каутского представляла собой нечто среднее между точками зрения Люксембург и Бернштейна. В ней не было той антибольшевистской ярости, которая переполняла работы Бернштейна. Напротив, в начале революции Каутский даже приветствовал победу большевиков как победу демократических сил. Однако он сразу же подчеркнул, что не согласен с антидемократическими методами сторонников Ленина, которые, по его мнению, ничего, кроме вреда, не могли принести и лишь компрометируют социалистическое движение. Развивая мысли Бернштейна, он в свойственной ему ненавязчивой манере в порядке теоретических размышлений о диктатуре и демократии подводил читателя своей очередной работы к совершенно определенному выводу о неготовности и России, и большевиков к установлению истинно народной власти и введению социализма[41].

Рассуждая на тему о том, какой должна быть подлинная социалистическая революция, особую роль Каутский отводил избирательному праву и парламенту как главным предпосылкам реальной демократии, несмотря на то, что это не всегда сулит успех социалистическим партиям. "...Мы при всех обстоятельствах, – писал он, – стремимся подчинить правительство парламенту, даже тогда, когда последний заключает в себе реакционное большинство... Само собой

разумеется, мы хотим достигнуть этим не всемогущества парламента, а его зависимости от народа, каковая тем значительней, чем шире избирательное право и короче тот срок, на который избираются члены парламента..."[42]. Если, подчеркивал Каутский, находящееся у власти правительство не считается с результатами выборов и по собственному произволу их изменяет, то можно говорить о гибели демократии. По его мнению, это не исключает и того "случая, когда правительство настроено более радикально, чем парламент, и нарушает неприкосновенность этого последнего в интересах прогресса"[43]. Более того, любой насильственный акт нового правительства по отношению к демократии может привести к тому, что и реакция будет пользоваться "такими же методами, какие применяются социалистами для спасения революции"[44].

Если, резюмировал Каутский, страна экономически отстала, демократически не развита и нет условий для участия в самоуправлении большинства народа, то идея пролетарской диктатуры должна отступить перед идеей демократии[45]. Единственное, что может спасти ситуацию, – заключить союз с другими демократическими слоями, оказывать поддержку другим демократическим силам, "имеющим за собой народные массы, и по отношению к этому демократическому режиму взять на себя роль силы, толкающей его вперед и стоящей на страже достигнутых завоеваний"[46].

Проблемы демократии и диктатуры, избирательного права и парламентаризма, формы государственного правления поднимались теоретиками немецкой социал-демократии и в период революции в Германии 1918–1919 гг. Роза Люксембург считала, что она началась как революция политическая и была результатом краха германского империализма, а не попыткой воплощения новых социальных идей[47]. Кроме того, она началась как революция городская – крестьянство, которое представляло большинство населения и являлось, по теории Люксембург, реакционной массой, в революции практически не участвовало. Однако очень скоро германская революция предстала своей новой гранью, разбудив у лидера и у всего левого крыла социал-демократии надежды на то, что она будет иметь поступательный характер, перерастая в революцию социальную, несмотря на все усилия социал-демократического правительства Эберта–Шейдемана превратить ее в чисто политическую и под видом борьбы против любой угрозы "порядку и спокойствию" учредить "гармонию классов"[48]. В декабре 1918 г. Люксембург уже говорила о том, что Германия находится в центре мировой пролетарской революции. На поверхность выходят новые социальные явления, отмечала она. Это прежде всего забастовки, которые являются воплощением социальной активности масс, их стремления к коренному изменению социальных условий. Они – "начало генерального спора между капиталом и трудом", начало мощного перелома в классовой борьбе, "исход которой не может быть не чем иным, как ликвидацией системы продажи рабочей силы и установлением социалистической экономики"[49]. Этот вывод знаменовал собой перемену в мироощущении Люксембург.

Более жесткой стала оценка ею парламентаризма и избирательного права. В отличие от крайне радикальных элементов Союза Спартака, а затем Коммунистической партии Германии (образовалась в конце декабря 1918–начале января 1919 г.) она не призывала к бойкоту Национального собрания, считая, что тактика в революции не должна быть нацелена только на одну альтернативу, а должна иметь в виду разные возможности. Кроме того, Люксембург предлагала использовать парламент как школу воспитания рабочего класса и трибуну для разоблачения контрреволюции[50]. Тем не менее она считала (вслед за Лениным), что основной формой государственной власти в новом обществе должны быть Советы, которые будут лишены всех изъянов буржуазного парламента – пустопорожней говорильни, разделения властей, формального равенства. При этом сами Советы должны оставаться постоянно под контролем народных масс, они будут иметь право отозвать своих представителей в любой момент и обладать правом назначения, контроля и смещения правительства[51].

Люксембург подчеркивала, что осуществить социалистические преобразования парламентским путем невозможно (это "прекраснодушные иллюзии"[52]), ибо это не согласуется с опытом буржуазных революций. Она напоминала, в частности, о том, что английская революция, несмотря на двухсотлетний опыт парламентаризма и большинство представителей буржуазии в парламенте, победила, в конечном счете, на полях сражений благодаря "железнобоким" Кромвеля, пройдя и через чистки, разгон парламента и террор. То же самое можно было бы сказать и в отношении французской революции. А в революциях после первой мировой войны речь шла, по мнению Р. Люксембург, не просто о смене одного эксплуататорского строя на другой, или смене формы правления, "речь идет о том, быть или не быть эксплуатации, о повороте во всей истории человечества"[53]. Поскольку пролетарская революция возвещает о гибели всего угнетающего, то против нее поднимутся не на жизнь, а на смерть все, как один, паразиты, все, кто извлекает выгоды из классового господства, и было бы бредом верить, "будто капиталисты добровольно подчинятся социалистическому вердикту парламента... будто они спокойно откажутся от своей собственности, прибыли, привилегии на эксплуатацию"[54]. Подчеркивалось, что класс капиталистов "по жестокости, подлости и цинизму превосходит всех предшественников"[55], а потому охотней превратит страну в груду дымящихся развалин, чем добровольно откажется от наемного рабства.

В теоретических построениях Р. Люксембург явно ощущалось присутствие идеального начала. Все, скорее, сводилось к благим пожеланиям, чем к трезвому учету действительности: "Высший идеализм в интересах всего общества, строжайшая самодисциплина, подлинный гражданский разум являются для социалистического общества такой же моральной основой, какой для капиталистического общества служит тупоумие, эгоизм и коррупция"[56]. А все положительные качества, которые являются условием строительства социализма, массы должны вырабатывать сами, через собственный опыт и собственную деятельность – чувство ответственности за все общество, и усердие

без кнута, наивысшую производительность без надсмотрщиков, дисциплину и порядок без ярма[57]. Первые тревожные нотки зазвучали в последней статье Люксембург от 14 января 1919 г., которая называлась "Порядок царит в Берлине"[58]. Выступление рабочего класса в Берлине в январе она считала ответом на провокацию властей, подчеркивая, что время для спланированных подобных действий еще не пришло, что революция не перешла еще из стадии политической в стадию экономическую. Вопрос о готовности к социальной революции оставался для нее открытым. Все решало время, а его для последующего осмысления ею дальнейшей логики событий, как оказалось, и не было отпущено судьбой.

Проблемы хода революции в Германии волновали и Бернштейна. Он, как мы знаем, считал, что сама революция в основном вышла из войны, т.е. была обусловлена преступной и бездарной политикой кайзеровского правительства. Ноябрьская революция, по его мнению, была революцией политической; основными задачами, успешно ею выполненными, было установление республики и завоевание всеобщего избирательного права, права "всего народа распоряжаться своей судьбой"[59]. Диапазон революции был ограничен, чего, как полагал Бернштейн, не поняла Роза Люксембург (человек "высокоодаренный... который мог бы оказать неоценимую услугу республике")[60], заблуждавшаяся именно в оценке перспектив революции, ("ложная оценка возможностей, открывающихся перед революцией... увлекла ее в лагерь фантастов насильственной политики")[61]. Люксембург как теоретика погубила революционная романтика и иллюзорное представление о пролетариате, сплетенное "из абстракций и совершенно не соответствующее реальному пролетариату"[62], явно не поднявшемуся на тот уровень развития, который необходим для осуществления поставленных перед ним задач.

Таким образом, Германия, утверждал Бернштейн, еще не созрела для глубоких преобразований: Ноябрьская революция призвана была лишь снести остатки феодализма, феодальных привилегий и абсолютизма с тем, чтобы потом началась конструктивная работа с целью постепенного социального реформирования общества исключительно посредством демократических институтов и парламентаризма. Непосредственный переход к новому социальному строю был трудноосуществим потому, главным образом, что без существенного риска невозможна ломка всей социально-экономической структуры в такой достаточно развитой стране, как Германия. Чем многограннее внутреннее расчленение социального организма, чем яснее выражено разделение труда и взаимозависимость его составных частей, тем более существует опасность "в смысле тяжкого повреждения их жизнеспособности при попытках подвергнуть их коренному преобразованию в короткий срок, путем применения насильственных мер"[63]. Помимо всего, необходим был переходный период для восстановления разрушенного войной хозяйства, и никто, кроме самих рабочих, этого сделать не мог бы. Никакое правительство, писал Бернштейн, не сможет изменить того обстоятельства, что "рабочие должны будут создать новые

ценности, прежде чем смогут достичь благосостояния"[64]. В принципиальном несогласии с Люксембург Бернштейн выступал против забастовок, расшатывающих и без того пострадавшую экономику, подчеркивая, что "каждая забастовка обращает свое острие против самих же рабочих"[65].

Как и Каутский, особое значение Бернштейн уделял проблеме демократии, этому необходимому условию для продвижения к социализму, которая способна надолго обеспечить влияние пролетариата на судьбу республики и "несет в себе в зародыше и социализм"[66]. Необычен взгляд Бернштейна на Советы в той форме, в какой они сложились в Германии. Советы, по его мнению, могли бы существовать параллельно с парламентом и выполнять полезную, пусть и временную работу, ибо ход событий доказал, что они в общем, несмотря на ошибки и промахи, "принесли исключительно больше выгоды, чем причинили расходов"[67] (прежде всего это касалось состояния дел в местном самоуправлении). Кроме того, ошибки Советов часто раздувались противниками революции "и преподносились публике в совершенно несправедливо обобщенной форме"[68].

Крайне негативно относясь к левым радикалам в лице "Спартака", а затем Коммунистической партии Германии, считая их действия типичным большевизмом и бланкизмом, Бернштейн подчеркивал, что именно они своим выступлением в январе 1919 г. спровоцировали правительство на крайне жестокие меры, необходимые для обеспечения порядка, однако сделавшие положение правительства и республики весьма уязвимым, чем не преминули воспользоваться западные державы при проведении мирных переговоров с Германией и заключении мира. Вообще всю тяжесть вины за кровавые инциденты и неровный ход германской революции Бернштейн возлагал на русских большевиков и их агентов в Германии, которые, по его мнению, всеми силами пытались помешать спокойной трансформации Германии в демократическое государство. При этом он, правда, не скрывал склонности правых социалистов, находившихся на руководящих постах в республике, идти на уступки консервативным, прежде всего военным, кругам, более того, подчас опираться на них[69], что существенно укрепляло позиции милитаризма и контрреволюции и могло оказаться "глубоко гибельным" для дальнейшего развития республики[70].

Каутский был во многом солидарен с Бернштейном в своей трактовке событий в Германии после ноября 1918 г. Революцию он понимал как процесс, в ходе которого должна быть осуществлена последовательная демократизация, а уж позднее социализация общества. Он отмечал сложность переходного периода, когда соблазн провести преобразования одним махом может в силу сложных структурных особенностей экономики и управления вызвать паралич в обществе и государстве. В то же время попытки сохранить статус-кво, и, тем самым, основы старого режима, чреваты непредсказуемыми последствиями для республики и революции. Он подчеркивал, что в первый период революции роль стабилизирующего фактора сыграли Советы, "которые своим контролем сделали возможным дальнейшее

существование старого государственного аппарата без опасности вызвать контрреволюцию"[71]. Однако он тут же пояснил, что это возможно только в самом начале революции и это совсем не значит, что Советы должны подчинить своему контролю всю общественную и государственную жизнь[72]. Основой жизнедеятельности и стабильности республики и гарантией дальнейших социальных преобразований Каутский считал Национальное собрание, обеспечивающее представительство от всех слоев населения. И не забастовки и другие анархические выступления, не насильственное ниспровержение демократического правительства, а лишь укрепление демократии и поддержка такого правительства могут дать эффективные результаты и вывести страну из кризиса.

Что же касается социализации, т.е. проведения социальных реформ, то эта задача, в понимании Каутского, "гораздо более существенна и трудна, чем первая, демократическая задача"[73], и на ее осуществление потребуется много десятков лет, ибо в отличие от того, что об этом думали спартаковцы, социализм нельзя внедрить простым ниспровержением капитализма подобно тому, как это было в случае с монархией. "Если государство, – писал Каутский, – похоже на механизм, то общество подобно организму. Этот последний несравненно более сложен, не столь легко подвержен реформам и не столь быстро видоизменяем"[74].

Полемизируя со спартаковцами, Каутский подчеркивал, что аналогии левых, проводимые между революциями прошлого, в частности французской, и революцией в Германии, неправомерны, так как если в прежних революциях инициатива последовательно переходила от менее революционных к более революционным элементам и в смысле протяженности имела время для такой последовательной передачи инициатив и полномочий, то Ноябрьская революция ни пространства, ни времени для этого не имеет. Каутский считал, что германская революция началась как революция пролетарская, поэтому стремление ее углубить, как предлагают левые, установить на ее якобы высшем этапе власть Советов, ни к чему другому, как к контрреволюции, не приведет. Углубить революцию значит, по мнению Каутского, просто вызвать бесконечную борьбу внутри самого класса, между отдельными его частями: ведь более прогрессивного, чем пролетариат, класса, который принял бы эстафету в революции, просто не существует. Поэтому необходимо зафиксировать те завоевания, какие уже достигнуты, и гарантом этого должны быть не разногласия, а единство рабочего класса. Это позволит предотвратить и наступление контрреволюции, хотя с ее возможностью, подчеркивал Каутский, следует считаться всегда. Он отмечал необходимость противостояния нетерпению и экстремизму (в частности, в январе 1919 г. именно спартаковцы существенно усилили контрреволюцию, выступив, как ни парадоксально, против ее опасности)[75], ибо они провоцировали правых на контрдействия. Он винил и социал-демократическое правительство, которое логикой событий смещалось вправо и часто предпочитало мирному соглашению кровавое подавление.

Главным условием для нормального развития страны являлись мир и спокойствие: мир необходим и для осуществления социализма. Более того, по мнению Каутского, новый пролетарский режим в Германии должен оказать благотворное влияние на весь основной культурный мир, приведя ко всемирной социальной революции и не создавая при этом состояния войны между Германией и другими государствами. В этом и состоит, по Каутскому, углубление революции[76]. Впрочем, все теоретики немецкой социал-демократии подчеркивали необходимость мира, однако каждый понимал пути его достижения по-разному.

* * *

Мы не можем знать, как изменились бы взгляды Розы Люксембург после войны, как оценивала бы она перспективы будущего устройства мира. Ее настигла смерть от руки прямых предшественников нацистов в 1919 г. Что же касается Эдуарда Бернштейна и Карла Каутского, то вся их последующая теоретическая деятельность так или иначе была связана с осмыслением опыта мировой войны и революций 1917–1919 гг. и их влияния на дальнейший ход цивилизационного развития. Их теоретические построения были весьма противоречивы, что отражало реальные противоречия в послевоенном мире. С одной стороны, происходила некоторая стабилизация в экономической и политической жизни, с другой – имели место кризисные тенденции, нарастание новой катастрофы.

Характерна в этом смысле концепция Каутского. Так, он утверждал, что капитализм вступил в полосу долговременного кризиса и мир вступает в эпоху перехода к социализму. Одновременно он уверял, что капитализм себя не исчерпал, более того, на основе использования современных достижений науки и техники начинается неограниченное поступательное развитие производительных сил капитализма, что приведет к росту общественного богатства, повышению культурного уровня общества, претворению в жизнь серьезных социальных программ. Известно, что еще ранее Каутский выдвинул теорию о так называемом ультраимпериализме как магистральном пути развития современной цивилизации[77]. В формировавшихся на базе межнациональных и межгосударственных отношений торговых, промышленных и финансовых союзах Каутский видел залог будущего устройства мира без войн и гонки вооружений, без насилия и диктата. Он даже предполагал образование Соединенных Штатов Европы, к которым позднее присоединятся США и к тому времени уже демократическая Россия[78].

Вместе с тем Каутский, как и Бернштейн, был озабочен тем, как избежать в будущем очередной мировой катастрофы. Предупреждая о подобной возможности, Карл Каутский, в полном противоречии с выше сказанным, утверждал, что первая мировая война нанесла существенный удар по мировой цивилизации, способствовала глобальному ее кризису, не говоря уж о хозяйственной разрухе, кризисе производства, массовой безработице и т.д. В найденной в Российском центре хранения

и изучения документов новейшей истории рукописи Каутского "Изменения в рабочем движении после первой мировой войны"[79], написанной им в конце жизни, говорится о том, что война привела к господству монополий, диктующих свои условия экономике и вызывающих кризисные явления в обществе, к милитаризации массового сознания, к всплеску национализма и шовинизма, ко всеобщему ожесточению в отношениях между народами и государствами.

Оба теоретика германской социал-демократии подчеркивали необходимость демократизации внешнеполитической деятельности, демократизации дипломатии, подчеркивали роль парламента в решении сложных межгосударственных проблем. Существенное внимание этим проблемам в послевоенный период уделял Э. Бернштейн. Основное содержание его рассуждений по этому поводу сводилось к тому, что война, помимо прочих факторов, была вызвана тем обстоятельством, что народы мира оказались юридически отстраненными от решения спорных международных проблем, в то время как именно народы, а не государства должны стать субъектом международных отношений[80]. Приветствуя создание Лиги наций, Бернштейн при этом возражал против создания ее как союза государств, а не союза народов. Он даже предлагал соответствующее название – "Союз народов". Бернштейн весьма настороженно относился к любого рода гегемонистским притязаниям, особенно отмечая при этом политику Соединенных Штатов Америки. Считая, что именно такого рода притязания, а не приверженность к демократии, обусловили насильственную по отношению к Германии (в 20-е годы уже демократической стране) политику, Бернштейн предсказал неспособность Лиги Наций позитивно повлиять на развитие международных отношений в будущем, а тем самым и ее крах.

Следует отметить, что еще до наступления мирового экономического кризиса и прихода к власти фашизма в Германии, которые существенным образом могли повлиять на позицию германских теоретиков в отношении оценки ими современного капитализма и его перспектив на будущее, Каутский и в 20-е годы нередко подчеркивал классовый характер происходивших в мире событий и негативную роль империализма с его бесконечной жаждой наживы и гонкой вооружений. Интересно, что в Гейдельбергской программе СДПГ 1925 г., основным автором которой являлся Каутский, отмечалось, что сохранение мировой цивилизации зависит от интернационалистской позиции пролетариата, от его способности бороться с милитаризмом и войной[81].

Война, по представлению Каутского, вызвав активность широких народных масс и прежде всего пролетариата, перевернула мир настолько, что поставила его перед проблемой непосредственного осуществления социализма. Наибольшие перспективы на успешные революционные преобразования Каутский усматривал в Соединенных Штатах Америки, в победивших странах. Перед побежденными странами стояла другая задача – прежде всего восстановить экономику, разрушенное войной хозяйство, без чего, как уже давно полагал Каутский, невозможны никакие социалистические преобразования[82].

Теоретические позиции Каутского выглядели более радикальными,

чем у Бернштейна. Он употреблял такие понятия, как "классовая борьба", "революция", "социализм", что дает основание некоторым историкам и по сей день относить его к ортодоксальным марксистам. Думается, что такая оценка несколько преувеличена. Единственно, что, пожалуй, в теории резко отличает его от Бернштейна, так это гораздо чаще звучавшие заявления о необходимости совершения революции в смысле коренного преобразования общества. Бернштейн же не ставил вопрос о кардинальных переменах, он всегда говорил об эволюционном изменении общества через реформы, т.е. о медленной трансформации буржуазного общества в социалистическое, рассматривая социализм как нравственный идеал. Но ведь и Каутский, когда говорил о революции и социализме, тоже не имел в виду конкретных сроков, чаще рассуждая о неопределенном будущем, о неизбежном и автоматическом крахе капитализма и столь же необходимом и неизбежном наступлении социализма. Более того, классовую борьбу он понимал в духе Бернштейна – как политическую борьбу в парламенте. Через парламент и хозяйственную демократию – к социализму, таков путь, предлагаемый Каутским. Через парламент и строй кооператоров – к будущему цивилизованному обществу, утверждал Бернштейн. Социализм нельзя декретировать, писал Каутский, это процесс, который имеет свои законы, но принимает разнообразные формы и способы реализации, и конца этому предусмотреть невозможно: "социализм не представляет собой готовой, на века данной формулы, а только создает новую форму общественного движения и развития"[83]. В этом смысле становится понятным тот факт, что примерно с 1925 г. Каутский называет Бернштейна своим учителем, теоретиком, внесшим существенный вклад в развитие теории социализма[84].

Известно, что, расходясь с Бернштейном, Каутский всегда настаивал на завоевании политической власти, однако никогда не связывал это с политическим переворотом, имея в виду длительный процесс овладения сознательным пролетариатом государственной системой через парламент и избирательное право. Свою роль при этом должна была сыграть, по мысли Каутского, демократическая конституция Веймарской республики.

Путч Каппа 1920 г. убедил его в необходимости защиты демократии, которую он, как и Бернштейн, считал идеалом, целью и средством социалистического движения. В работе "Пролетарская революция и ее программа" Каутский подчеркивал, что в отличие от буржуазных революций, осуществлявшихся столь кроваво именно потому, что они впервые в истории боролись с деспотизмом за демократию, социалистические революции, уже опираясь на достижения демократии, и имея ее своей основой, должны совершаться мирным, демократическим путем[85]. Поскольку, по мнению Каутского, в России преобладал террор, он в конечном счете стал оценивать русскую революцию не как социалистическую, а как буржуазную с попыткой проведения социалистических преобразований[86].

Процессам, происходившим в Советском Союзе, и Бернштейн, и Каутский уделяли после первой мировой войны особое внимание.

Вышло много их публикаций, посвященных именно этой проблеме. И это не случайно. Опыт мировой войны и революций убедил теоретиков германской социал-демократии в чрезвычайной опасности левого радикализма. Они считали, что это течение, так ярко представленное в России, отбрасывает общество вспять, дискредитирует самое идею социализма, наконец, просто не соответствует кардинальным положениям марксизма.

Бернштейн в своей последней теоретической работе "Социализм вчера и сегодня. Спорные вопросы социализма в прошлом и настоящем" подчеркивал, что большевики создали свой марксизм в угоду собственным конъюнктурным соображениям, механически позаимствовав из марксистской теории самое для них необходимое: насилие и экспроприацию экспроприаторов. Он утверждал, что большевики рассматривали насилие в качестве единственного пути преобразования общества и высшей творческой силы. Учитывая то обстоятельство, что история большевизма имела разные периоды, а сам большевизм имел разные течения, думается, что столь категорическое утверждение не вполне обосновано. Э. Бернштейну не суждено было стать свидетелем ужасов германского фашизма: он умер в 1932 г.

Особенно много внимания российской революции и ходу строительства социализма в России уделял в послевоенное время К. Каутский. Позиция Каутского в этом вопросе в 20–30-е годы существенно ужесточилась и стала откровенно враждебной. Раньше он еще рассматривал большевиков как социалистическую партию, совершающую ошибки, естественные, впрочем, при сложившихся обстоятельствах, и подчеркивал, что есть надежда на изменение их политики. Теперь он уже классифицирует большевистское течение как антимарксистское, антидемократическое, антисоциалистическое. Подобные мысли он высказывал в работах "Социалистический Интернационал и Советская Россия", "Большевизм в тупике" и др. В работе "Как возникла мировая война" Каутский, подчеркивая особое влияние факторов войны на события в России, писал, что там не было объективных предпосылок для совершения революции, кроме чисто психологической потребности в ней у русского пролетариата (о чем он заявлял еще в ходе революционных событий 1917–1918 гг.). На развитие событий в России существенно повлияли деятельность большевиков с их русской версией марксизма и работа германского Генштаба по стимулированию революционных элементов во враждебных странах[87].

Каутский особо указывал на появление под воздействием войны своего рода казарменного мышления в гражданском обществе, милитаризованного сознания, культа силы как панацеи при разрешении всех сложных общественно-политических вопросов. Их проявления Каутский подмечал у многих европейских деятелей и партий, в частности, у социал-демократического правительства в Германии[88]. Война, разрушившая представление Каутского об "идеальной революции" (совершающейся постепенно, мирным путем) и породившая "реальные" (спонтанные) революции в ряде стран, в конечном счете способствовала, по мнению Каутского, наступлению реакции и их поражению. Впрочем, он

считал также, что наступление реакции вполне вписывается в схему всех революций, происходивших в истории, в том числе и германской, ибо в стране уже наступила реакция, только в более мягких, ненасильственных формах.

В России реакция приобрела ярко выраженный насильственный характер: при Сталине утвердилась диктатура бонапартистского типа. Большевики предпочли террор, полагал Каутский, когда встал вопрос о власти – мелкобуржуазная стихия захлестнула страну. Помимо того, что произошла дискредитация идей марксизма, марксизму не соответствовала и практика большевиков, их конкретные социально-экономические мероприятия. Так, Каутский считал, что сама экспроприация капитала еще не уничтожает эксплуатацию, что в России место эксплуататоров заняло само чиновничье-бюрократическое государство, а компартия, сросшаяся с этим огромным аппаратом, образовала правящую касту, не подвластную никаким законам. В работе "От демократии к государственному рабству. Разногласия с Троцким" он даже подчеркивал, что новая экономическая политика большевиков также является реакционной, поскольку означает возврат к капитализму в уродливой форме и совместную с иностранным капиталом эксплуатацию русских рабочих[89]. Такую ультралевую позицию Каутского невозможно объяснить ничем, кроме как, пожалуй, полемической запальчивостью.

Свое негативное воздействие война, как считал Каутский, оказала и на Германию, что привело в конечном счете к победе реакции. С середины 20-х годов он больше не называет революцию в Германии пролетарской. Послевоенная разруха и необходимость восстанавливать народное хозяйство, по его мнению, не позволили социал-демократическому правительству вовремя перейти к социальным преобразованиям. Было потеряно время, а с ним и политическая власть. Тем не менее вины за своей партией он не чувствовал, считая, что негативный исход революции, помимо фактора войны, определили и психологическая неготовность, и незрелость рабочего класса. Однако идеализация парламентаризма и веймарской демократии привела Каутского к недооценке угрозы фашизма[90]. Тем не менее в целом – что касается XX в. – идеологи СДПГ во многом оказались дальновиднее своих оппонентов как слева, так и справа. Так, например, в размышлениях того же Каутского о переплетении реакционных и прогрессивных тенденций наиболее точно отразилась картина первой половины XX в.

Порождением межвоенного цикла стал не только фашизм, но и обнадеживающие ростки принципиально нового. Капитализм, пережив сильнейший кризис, вышел на временной отрезок относительно спокойного, эволюционного развития с явной печатью социального реформизма, социальной направленности, что давно уже предвидел Эдуард Бернштейн. Наконец, все трое (в том числе и Р. Люксембург с ее особым пониманием вопроса) всегда подчеркивали значение и неуклонное расширение демократии в будущем, ее качественно новый уровень, ее исключительное воздействие на развитие социально ориентированного общества.

[1] Историографию проблемы см.: *Агаев С.А.* Движение и цель (О "формуле" Бернштейна и не только о ней) // Полис. 1991. № 2; *Брайович С.М.* Карл Каутский – эволюция его воззрений. М., 1982; *Драбкин Я.С.* Ноябрьская революция в Германии. М., 1967; *Он же.* Четверо стойких. М., 1982; *Евзеров Р.Я.* Современная историография II Интернационала. Переосмысление прошлого // Новая и новейшая история. 1993. № 1; *Кретинин С.В.* Карл Каутский (1854–1938): опыт переосмысления // Новая и новейшая история. 1995. № 1, 2; *Овчаренко Н.Е.* Две жизни Эдуарда Бернштейна // Новая и новейшая история. 1994. № 3, 4–5; *Петренко Е.Л.* Карл Каутский: очерк социалистических воззрений. М., 1991; *Она же.* Социалистическая доктрина Эдуарда Бернштейна. М., 1990; Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории / Отв. ред. Ю.А. Писарев и В.Л. Мальков. М., 1994.

[2] *Бернштейн Э.* Рабочий Интернационал и европейская война. Екатеринослав, 1919. С. 59.

[3] Предвоенная позиция международной социал-демократии, проявившая антиимпериалистическую, антивоенную направленность, нашла отражение в известных решениях Парижского (1900 г.), Штутгартского (1907 г.), Копенгагенского (1910 г.) конгрессов II Интернационала, а также в трудах лидеров социал-демократии, в том числе германской: Каутского, Бебеля, Люксембург.

[4] *Бернштейн Э.* Указ. соч. С. 53.

[5] Там же. С. 18.

[6] Там же. С. 13.

[7] Там же. С. 18.

[8] Там же. С. 54.

[9] *Кретинин С.В.* Указ. соч. // Новая и новейшая история. 1995. № 2. С. 163.

[10] *Петренко Е.Л.* Карл Каутский: очерк социалистических воззрений. С. 162.

[11] *Бернштейн Э.* Указ. соч. С. 39.

[12] *Люксембург Р.* Кризис социал-демократии. М., 1924. С. 24.

[13] Там же. С. 18–20.

[14] Там же. С. 41.

[15] Там же. С. 57.

[16] Там же. С. 43.

[17] Там же.

[18] *Люксембург Р.* Февральская революция в России // Люксембург Р. О социализме и русской революции. Избранные статьи, речи, письма / Сост. и авт. предисл. Я.С. Драбкин. Пер. с нем. Г.Я. Рудого. М., 1991. С. 296.

[19] Vorwärts. 1917. März.

[20] *Каутский К.* Русская революция 1917 г. и немецкая социал-демократия. М., 1917. С. 15.

[21] Там же. С. 21

[22] Там же.

[23] Там же. С. 10.

[24] Там же. С. 6.

[25] Там же. С. 10.

[26] Там же. С. 8.

[27] Там же. С. 12, 13.

[28] *Люксембург Р.* Русская трагедия // Люксембург Р. О социализме и русской революции. С. 306.

[29] Там же. С. 301, 303.

[30] См.: *Люксембург Р.* О социализме и русской революции. С. 306–333.

[31] Там же. С. 323.

[32] Там же. С. 317.

[33] Там же. С. 320.

[34] Там же.

[35] Там же. С. 319.

[36] Там же. С. 322.

[37] *Бернштейн Э.* Германская революция. Берлин; Дрезден. 1922. С. 26.

[38] Nachwort zur: *Bernstein E.* Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart, 1920. S. 265.

[39] Ibid. S. 266.

[40] Ibid. S. 267.

[41] *Каутский К.* Демократия и диктатура. Харьков, 1918.

[42] Там же. С. 9.

[43] Там же.

[44] Там же. С. 11.

[45] Там же. С. 14.

[46] Там же. С. 8.

[47] *Люксембург Р.* Ахерон пришел в движение // Люксембург Р. О социализме и русской революции. С. 341.

[48] Там же. С. 340.

[49] Там же. С. 341.

[50] Там же. С. 372; *Люксембург Р.* Выборы в Национальное собрание // Люксембург Р. О социализме и русской революции. С. 356.

[51] *Люксембург Р.* Чего хочет Союз Спартака? // Люксембург Р. О социализме и русской революции. С. 349.

[52] *Люксембург Р.* Национальное собрание или правительство Советов? // Там же. С. 352.

[53] Там же.

[54] *Люксембург Р.* Чего хочет Союз Спартака? С. 347.

[55] Там же. С. 348.

[56] Там же. С. 347.

[57] Там же.

[58] *Люксембург Р.* Порядок царит в Берлине // Люксембург Р. О социализме и русской революции.

[59] *Бернштейн Э.* Германская революция. С. 179.

[60] Там же. С. 280.

[61] Там же.

[62] Там же.

[63] Там же. С. 280–281.

[64] Там же. С. 143.

[65] Там же.

[66] Там же. С. 281.

[67] Там же. С. 234.

[68] Там же.

[69] Как в случае подавления "январского мятежа" рабочих, выступавших против контрреволюционных тенденций в деятельности правительства, или в позорном деле о сокрытии обстоятельств и виновников убийства Люксембург и Либкнехта.

[70] *Бернштейн Э.* Германская революция. С. 231, 232.

[71] *Каутский К.* Углубление революции. Баку, 1919. С. 10.

[72] *Каутский К.* Проблемы пролетарской революции. Петроград, 1919. С. 29.

[73] *Каутский К.* Углубление революции. С. 12.

[74] Там же. С. 122.

[75] *Каутский К.* Второй период революции // Каутский К. Проблемы пролетарской революции.

[76] Там же. С. 28.

[77] *Каутский К.* Империализм. М., 1917; *Он же.* Национальное государство, империалистическое государство и союз государств. М., 1917; *Он же.* Империализм и война. М., 1917.

[78] *Петренко Е.Л.* Указ. соч. С. 37–40.

[79] *Кукушкина И.А.* Карл Каутский о влиянии первой мировой войны на рабочее движение (см. настоящий сборник. С. 644–657).
[80] *Овчаренко Н.Е.* Указ. соч. // Новая и новейшая история. № 4–5. С. 235–236.
[81] Das Heidelberger Programm. Grundlage und Forderungen der Sozialdemokratie. Berlin, 1925. S. 17.
[82] *Петренко Е.Л.* Указ. соч. С. 40.
[83] *Каутский К.* Терроризм и коммунизм. Берлин, 1919. С. 227.
[84] *Кретинин С.В.* Указ. соч. // Новая и новейшая история. 1995. № 2. С. 179.
[85] *Каутский К.* Пролетарская революция и ее программа. Берлин, 1922. С. 108.
[86] *Каутский К.* Терроризм и коммунизм. С. 158.
[87] *Каутский К.* Как возникла мировая война. М., 1924. С. 216.
[88] *Каутский К.* Терроризм и коммунизм. С. 158.
[89] См.: *Кретинин С.В.* Указ. соч. С. 176.
[90] См.: *Бровко Л.Н.* Германская социал-демократия в годы фашистской диктатуры 1933–1945. М., 1988.

АВГУСТ 1914 ГОДА И СОЦИАЛИСТЫ АДРИАТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Марина Росси

(Италия)

Известие о покушении в Сараево не вызвало заметной реакции лидеров австромарксизма Адриатического побережья; они явно недооценили значение этого события, чреватого серьезнейшими последствиями в будущем. "Иль Лавораторе", ведущий и авторитетный печатный орган итальянских социалистов в Австрии, совсем не упоминал о покушении, словно желая таким образом подчеркнуть его малозначительный для политической жизни характер. Итак, в Триесте и других провинциях Побережья последний мирный месяц был отмечен отсутствием каких-либо достойных внимания политических инициатив, продолжалось летнее затишье. Традиционные рабочие группы ограничились организацией ряда отраслевых собраний, не считая уместным проведение митингов или созыв массовых партийных съездов с целью выработки новых директив, отвечающих исключительности момента.

Подобная линия поведения не была случайной, более того, она явилась следствием практики целого ряда лет легальной деятельности, в ходе которой рабочие организации во все большей степени ассимилировались буржуазными институтами. Этот процесс достаточно рельефно обозначился после 1907 г., когда на практике была одержана победа в борьбе за всеобщее избирательное право и в теоретическом плане наметилась эрозия марксистской концепции государства. Австро-

© Марина Росси

марксисты теперь были склонны рассматривать его как некий нейтральный феномен, индифферентный к своему классовому содержанию, и соответственно иное толкование получил сам капитализм и его коренные противоречия.

Теория ультраимпериализма Карла Каутского и, в особенности, его точка зрения о международных картелях, которые по мере своего развития и в силу совпадения интересов могут превратиться в миротворческую силу, оказали значительное влияние на руководство адриатических социалистов, усвоивших эту теорию, постепенно ставшую органической частью их политической идеологии.

В одном из самых значительных своих выступлений на партийном съезде в декабре 1913 г. один из видных лидеров социалистов Валентино Питтони заявил, что не верит в реальность военной угрозы и неизбежность военного конфликта, и даже, напротив, уповает на возникновение новой и плодотворной капиталистической солидарности, поскольку экономический кризис в каждом отдельно взятом буржуазном государстве неизбежно отразится на всех прочих индустриально развитых странах, вовлеченных в процесс интернационализации капитала. Именно исходя из такой трактовки общей расстановки сил делался вывод, что любой конфликт между европейскими странами можно будет сразу же локализовать и разрешить дипломатическим путем. Питтони, в частности, говорил: "Во время недавних балканских войн мы дважды оказывались на грани общеевропейского военного пожара: однако в последний момент страх перед ужасным бедствием останавливал тех, кто уже был готов обнажить меч. Постепенно становится все очевиднее, что все государства, все нации нуждаются друг в друге: взаимный обмен рабочей силой, товарами, капиталами достиг такой интенсивности, что можно сказать, боль, причиняющая страдания одной стране, отзывается во всех других, и интересы всех наций обнаруживают все большую общность и взаимосвязанность в рамках единого капиталистического строя"[1].

В соответствии с подобным анализом общей ситуации, открывавшим перспективу становления немонополистического и неаннексионистского капитализма, Питтони развивал идею Соединенных Штатов Европы как некоей миротворческой силы, рассматривая их создание не в качестве туманной, расплывчатой перспективы, но как конкретную, реальную цель, вполне достижимую – постепенно, шаг за шагом – в рамках сложившегося буржуазного общества. Вот как были сформулированы эти постулаты: "... А теперь несколько слов о Соединенных Штатах Европы. Если местные националистические газеты позволяют себе высмеивать надежды на возникновение Соединенных Штатов Европы, о которых мечтали Мадзини, Гарибальди и Виктор Гюго, то я считаю своим долгом засвидетельствовать, что именно в эти дни руководящий орган Интернационала, собравшийся в Лондоне для выработки программы ближайшего международного конгресса социалистов, который состоится в Вене в 1914 г., счел необходимым включить в повестку дня вопрос о Соединенных Штатах Европы. Естественно, этого далеко недостаточно для того, чтобы они возникли

со дня на день, однако последние события мне кажутся обнадеживающими"[2].

Обращаясь затем к специфическим реалиям Австро-Венгрии, Питтони заявил, что никогда не принимал всерьез возможность непосредственного участия Дунайской монархии в европейском военном конфликте именно потому, что война, коль скоро она была бы развязана, "в сочетании с и без того критической ситуацией в экономике", означала бы с неизбежностью полный экономический и финансовый крах страны. Таким образом, по Питтони, стремление избежать столь тяжкого и непосильного для страны испытания было бы в интересах не только правящей верхушки, но и самых широких социальных слоев. И здесь уместно напомнить, что социалисты Побережья, подобно венским австромарксистам, рассматривали монополии как одну из форм, причем вовсе не обязательную, капиталистического развития, а в империализме видели особую, всего лишь частную политическую тенденцию, принимаемую в расчет ограниченным числом собственников, крупными банками и финансовыми кругами, а также военным истеблишментом и отвечающую нуждам индустриального капитализма, но противоречащую интересам буржуазии в целом. По их мнению, экспансия и насильственное насаждение современной индустрии как часть процесса концентрации и аккумуляции богатства в руках все более узких слоев изначально поставили под удар в Австрии, как, впрочем, и в других европейских странах, социальную устойчивость отдельных отраслей и целых секторов производства.

В миротворческой стратегии, выработанной австромарксистами, социализму была уготована роль преимущественно фактора давления: защита общих интересов неимущих классов внутри страны; работа, направленная на ослабление националистических тенденций и улучшение внешнеполитических отношений между Италией и двуединой монархией. На практике такие ориентиры отражали верность решениям, принятым на Международном конгрессе II Интернационала в Базеле, в которых означенные цели и задачи рассматривались как существенный вклад в дело разрядки международной напряженности в Европе. В январе 1914 г. Питтони установил контакты с Оддино Моргари с целью созыва в Триесте очередного съезда итальянских и австро-венгерских социалистов для обсуждения проблем текущего момента и определения соответствующих ему принципов сотрудничества. Такая работа по организации мощного массового интернационального движения явилась бы серьезным предупреждением правящим классам, способным удержать их от новых опасных авантюр.

На этот раз, однако, осуществление задачи, возлагаемой на социал-демократию Триеста, столкнулось со значительными трудностями и не только из-за противоречий, возникших между итальянскими и австрийскими социалистами по вопросу о всеобщей забастовке, но и в силу глубинных изменений на международной арене, которые полностью лишали эффективности заранее намеченные схемы действий, чья сомнительность обнаружилась еще ранее, причем в условиях более

благоприятных. Ограниченность подобной превентивной стратегии с большой ясностью была показана историком Георгом Хауптом. Он писал: "Для руководства Интернационала не существовало ни тождества война-революция, ни альтернативы война или революция... многие социалистические лидеры были убеждены, что буржуазия, чувствуя для себя угрозу в нарастающем рабочем движении, испытывает столь сильный страх перед революцией, что страх этот становится важным фактором равновесия"[3].

Внутри Австро-Венгрии развернулась тем временем не менее ответственная битва за немедленное восстановление упраздненных демократических институтов и представительных органов. Лидеры австромарксизма подлинной все еще считали революцию экономическую, т.е. такую, которая происходит путем постепенной трансформации социальных отношений, сопровождающейся возрастанием роли классовой организации, организационных структур рабочего класса в общественной жизни. Поэтому социал-демократическая партия продолжала рассматривать институциональную реформу как выражение воли народных масс и, следовательно, как главную задачу момента, цель, к которой следовало стремиться ради сохранения мира. Еще в марте 1914 г. "наиглавнейшей задачей", которую ставили перед собой социалисты Побережья и ради решения которой они были готовы мобилизовать все имеющиеся силы своих организаций, считался немедленный созыв нового парламента и реформа избирательной системы, регулирующей парламентскую жизнь.

Приняв парламентскую деятельность в качестве главного и единственного инструмента политической борьбы, социал-демократы Австро-Венгрии с неизбежностью должны были отказаться от прежних классовых предубеждений и преодолеть дискриминационный принцип жесткого размежевания с буржуазными политическими силами, до сих пор соблюдавшийся достаточно строго. Новые установки были уступкой по сравнению с исходными позициями и свидетельствовали о деградации социал-демократии как Австрии, так и Триеста. Это со всей очевидностью продемонстрировали события августа 1914 г. и те, что случились после мая 1915 г., когда социал-демократы проявили свою склонность к коллаборационизму и пошли на сговор с правящей верхушкой и политическими партиями национальной буржуазии. В самый канун мировой катастрофы, в месяцы, предшествующие началу первой мировой войны, в новых и наиболее компромиссных направлениях деятельности австромарксистов можно заметить первые симптомы политики классового примирения, в полной мере заявившей о себе позже. В апреле 1914 г. Питтони вместе с рядом депутатов парламента от наиболее крупных социалистических организаций империи (Адлер, Пернерсторфер, Зайц, Дашиньский) выступил со специфической инициативой, истолкование смысла которой руководителям партийных фракций он также взял на себя. Инициатива была направлена на интенсификацию контактов между всеми конституционными силами общества и достижение действенного сотрудничества во имя скорейшей реактивации демократических институтов. В документе, опубликованном в

"Иль Лавораторе", своевременность такого шага обосновывалась ссылкой на исключительно тяжелую ситуацию в Австрии, из-за чего резолюции общего характера, вроде тех, которые принимались на предшествующих партийных съездах, оказывались безнадежно устаревшими. В нем говорилось:

"В наше время долг всех депутатов вне зависимости от их партийной принадлежности – защищать общественное достояние, конституционные права народного представительства от посягательств властей ... Как бы ни были остры разногласия, мы все же убеждены, что сегодня, когда конституция попрана, когда будущее парламентаризма в Австрии под угрозой, все партии должны объединиться ради защиты конституционных прав народа и народного представительства"[4].

В конечном итоге это была последняя попытка гармонизировать и примирить экономические, социальные и национальные интересы различных общественных групп, составлявших весь политический спектр монархии, и именно на такой основе Питтони и триестские социалисты, как представляется, были намерены вести агитацию спустя чуть больше месяца после начала войны. Мера запоздалая и потому обреченная на провал еще до того, как она была подавлена стремительным и непредсказуемым развитием событий[5].

Однако не все соглашались с австромарксистами в оценке ситуации и их выводами. И, в самом деле, молодежь, критикуя слабость антимилитаристского духа социал-демократического партийного руководства, пришла к прямо противоположным выводам, чем Питтони, а именно, к утверждению, что империализм вовсе не является частной и легко обратимой политической тенденцией, получившей развитие в современных государствах. Она видела в нем тип экономического строя, к которому капитализм пришел через подавление свободной конкуренции и для которого характерно все более тесное сращивание и взаимопроникновение финансового и промышленного капитала. Капиталистическое государство, для того чтобы выдержать конкурентное соревнование с другими странами, писала "Социалистическая молодежь", не может осуществлять накопление доходов лишь путем эксплуатации рабочего класса. В стремлении разрешить собственные внутренние противоречия оно вынуждено прибегать к насилию, которое позволяет ему "завоевывать новые рынки" и "сохранять те, которыми оно уже завладело". Военная агрессия, логически вытекающая из политики современного банковского капитала, есть не что иное, как "частный аспект" классовой борьбы в современном обществе, т.е. это социальный акт, заключающий в себе "все, что есть враждебного и ненавистного пролетариату". Ему, как утверждалось, суждено в скором времени встретиться на конкретной почве классовой борьбы с "яростным, решительным и непримиримым отпором"[6].

Рассуждения подобного рода были результатом осмысления идей Джузеппины Мартинуцци, самой выдающейся представительницы левых сил Триеста, пропагандировавшихся ею в лекционном курсе в Обществе социальных исследований. В тезисах доклада, посвященного

Оттоне Лантьери, лидеру молодежного движения Поберджья, Мартинуцци, рассматривая процесс концентрации капитала в формах треста и картеля, отмечала: "Период, в который мы живем, тяжел, конвульсивен, тревожен, отличается полным расстройством экономики; производство неупорядочено, произвольно, потребление угнетено нашей экономической слабостью, конкуренция жестока и безжалостна... Кто владеет ситуацией, так это крупный капитал... его свобода беспредельна: правительства неспособны его ограничить, более того, нередко именно капитал оказывает давление на правительственные органы в качестве кредитора... Кто смог бы принять и утвердить закон, ограничивающий эту свободу, кто смог бы заставить этот закон соблюдать? Он необходим, но невозможен... Концентрация капитала, предсказанная Марксом, идет полным ходом в Америке. Тресты, или компании капиталистов, стали всесильными. Законы для них? Но ведь именно они-то и диктуют законы"[7].

С не меньшей определенностью выражалось неприятие реформизма в австромарксистской теории государства: в очередной раз высказавшись в защиту приоритета политической революции перед экономической, преподавательница из Альбоны решительно отрицала, что в современном обществе государство способно занять нейтральную позицию и стать посредником в деле согласования антагонистических интересов. Мартинуцци писала: "Переживаемый нами исторический момент подтверждает то, о чем я говорю и на чем продолжаю настаивать: поскольку дальнейшее существование нынешней системы, принуждающей пролетариат служить буржуазии, больше невозможно, возникает социализм как демонстрация того, что классовая борьба, чьи корни уходят в первобытность, ныне достигла стадии обострения и является выражением столкновения совершенно несовместимых интересов ... так как мировоззрением нашей эпохи является отнюдь не принцип равновесия и идея солидарности классов, а стремление к деспотической власти, ненасытный эгоизм, жестокая эксплуатация – вот что характерно для буржуазии, впавшей ныне в старческий маразм"[8].

Сходные мысли высказывались и в газете "Социалистическая История" – органе рабочего движения Пулы. В статье, редакционный комментарий к которой содержал несогласие с позицией ее автора, Мартинуцци, обращаясь к коммунару-анархисту Амилькаре Чиприани, шла в решительную атаку на уклончивую политику пораженчества "аристократов итальянского социализма", всегда готовых прибежать по первому "зову короля". Ясно, что сближение двух потоков движения (итальянского и австрийского) было не случайно, и критика в адрес определенной части итальянских социалистов имела своим предметом прежде всего политиканскую тактику австрийских социал-демократов[9].

И в постоянных апелляциях к опыту Парижской коммуны следует видеть не столько отражение экстремистских настроений, сколько стремление к социализму без компромиссов, желание идти революционным путем. Немало выступлений Мартинуцци этого периода

завершалось призывом к классовой борьбе, которая выдавалась за незаменимое орудие построения иного, лучшего, общества, не основанного на эксплуатации человека человеком. Мартинуцци писала: "Все классы деморализованы и чтобы оздоровить ситуацию, сочетающую в себе гниение, развал и разложение, недостаточно припарок из реформ и реформочек, к которым призывает в своих требованиях усмиренный и приученный социализм. При гангрене требуется ампутация, а не медикаментозное лечение, однако у нас нет хирургов, зато много сиделок... Следовательно, от пресловутого сотрудничества классов ожидать нечего: пролетариат, как было сказано в первой главе интернационала, должен действовать самостоятельно. Классовая борьба, товарищи, а не сотрудничество. Стройте свою социальную деятельность по этому принципу... Классовая борьба, а не классовое сотрудничество, революция, а не реформизм"[10].

Борьба, которую вела Мартинуцци с реформизмом, встретила понимание и поддержку не только в молодежных кругах – самом передовом крыле движения, но также и у некоторых партийных и профсоюзных руководителей. В июле 1913 г. они, отвергнув линию, выработанную социал-демократами Триеста, объявили в связи с выборами в горицийский сейм свою собственную, выступив как поборники жесткой классовой политической линии, исключающей какой бы то ни было компромисс с буржуазными партиями, будь они даже радикальными демократами. Это вызвало прямое осуждение со стороны самого Питтони. В статье, появившейся в "Иль Лавораторе", лидер австромарксистов Побережья, опровергая теорию единой реакционной буржуазной массы, воспользовался этой ситуацией как предлогом, чтобы подвергнуть принципиальной критике позиции левых, обвиняя их в "упрощенчестве" и "теоретическом догматизме"[11].

Как бы то ни было, возникшие разногласия стали непримиримыми лишь во время войны, когда жизнь показала, что в своих попытках предотвратить ее и остановить военные действия социал-демократия потерпела провал. Накануне войны левые и реформисты все еще поддерживали отношения пусть даже и в форме острой и яростной полемики, в которой однако всегда соблюдались принципы внутрипартийного диалога и организационного единства. Это объясняется тем, что лидеры австромарксизма, несмотря на их инволюцию, никогда не отрекались, по крайней мере, в теории, от главных постулатов интернационализма и от тезиса о революционной роли пролетариата в истории. Даже в своих последних публичных выступлениях накануне войны Питтони вновь и вновь заявлял (хотя и в весьма завуалированной форме) о неизменности конечной цели движения – обобществление средств производства. Так он писал в октябре 1913 г.: "Конечной целью нашей политики является именно экспроприация буржуазии и утверждение коллективной собственности, и наша убежденность, что в будущем мы придем к этому, имеет под собой научные основания... Может прийти день, когда депутаты-социалисты покинут парламентский зал заседаний, но этот день должен быть кануном революции; государство движется к краху... Австрия находится в такой опасности,

что все возможно, даже внезапная боевая атака депутатов-социалистов; и если это произойдет, мы, безусловно, не станем обременять себя рассуждениями о социальном законодательстве"[12].

Хотя Питтони и склонялся к тому, чтобы идти на соглашение с буржуазными партиями ради быстрейшего излечения конституционного паралича, он стремился свести подобные соглашения до минимума, подчеркивая их временный, обусловленный кризисом характер. Одновременно он продолжал отрицать возможность любой формы контактов, даже чисто тактических, с либерально-националистической партией адриатических провинций, являвшейся политическим объединением наиболее отсталой части буржуазии – паразитической, отвергавшей самые элементарные права пролетариата и этнических групп населения: "Мы не можем примыкать ни к национализму, ни к ирредентизму, – писал он. – Более того, мы должны бороться и с тем, и с другим, поскольку оба течения – иллюзия, ложь, они не только бесплодны, но и губительны для наших пролетарских и национальных интересов... Я думаю, что там, где национализм особенно силен, социалистическая партия должна демонстрировать наиболее убежденный интернационализм"[13].

Питтони достаточно недвусмысленно высказывался о том, к каким средствам следует прибегнуть в случае, если военный конфликт разразится, расходясь в этом плане с венскими социал-демократами. Последние были против того, чтобы загодя делать подобный выбор, который мог бы, став предубеждением, ограничить свободу действий. Напротив, отношение Питтони к всеобщей забастовке почти совпадало с позицией, высказанной в поправке Арди–Вайана, внесенной левыми на Международном конгрессе в Копенгагене в 1910 г., в работе которого Питтони участвовал в составе делегации социалистов империи. В выступлениях на митингах и собраниях в защиту мира, проходивших в Триесте, он очертил последовательность предполагаемой мобилизации пролетариата: забастовка на предприятиях, поставляющих вооружение, и блокирование отправлявшегося на фронт транспорта. Он писал: "Социалистическая партия не хочет, чтобы безоружные рабочие дали убивать себя другим пролетариям, одетым в военную форму, которые к сожалению и не по своей вине все еще находятся на службе у буржуазии. Сознавая собственную силу, которая в любой момент позволит нам остановить всякое передвижение транспорта, воспрепятствовать пришвартовке и отплытию судов, движению поездов, заставить прекратить работу на стройках и заводах, мы должны сохранять энергию до тех пор, когда нужно будет действовать вместе с пролетариатом всех стран и земель Австрии"[14].

В конечном итоге подобные заявления создавали иллюзию не только легкости овладения ситуацией в военное время, но и возможности ее превращения в революционную и социальную войну, которая увенчалась бы разрушением капиталистического государства и ненавистной буржуазной системы экономических отношений. При этом более чем вероятно, что Питтони стремился тем самым устранить одно из главнейших разногласий между итальянскими социалистами, также

склоняющимися к всеобщей забастовке, и венским партийным руководством, которое было настроено более соглашательски.

Впрочем социал-демократия Триеста была целиком поглощена подготовкой конгресса Социалистического Интернационала, который должен был состояться в Вене как раз в августе 1914 г. До этого конгресса была отложена дискуссия по некоторым наиболее важным спорным вопросам момента, таким, как империализм, безработица, рост дороговизны, а также решение их, поднятых в очередной раз ввиду необходимости выработки единой социалистической стратегии защиты мира. В качестве материала для ознакомления и изучения "Иль Лавораторе" опубликовал полный текст доклада, с которым Отто Бауэру предстояло выступить на этом конгрессе. В докладе указывалось на возможность преодоления экономического кризиса, восстановления и нового подъема капиталистической экономики, о чем свидетельствовало улучшение условий жизни рабочих. Ничто, казалось, не предвещало неизбежной катастрофы[15].

Однако в конце июля события стали сменять друг друга стремительно и драматично: 23 июля Австро-Венгрия предъявляет ультиматум Сербии; 26-го объявляется частичная мобилизация; 28-го – война и общая мобилизация. По всей видимости, именно 28 июля в Триесте состоялся митинг в защиту мира, организованный социал-демократической партией. Малочисленность участников митинга обеспечивала ее лидерам алиби, позволяя оправдать их инертность и бездействие. Спустя несколько лет газета социалистов "Иль Лавораторе", давая утвердительный ответ на вопрос, сделали ли социалисты все необходимое для предотвращения войны, обвинила, напротив, пролетариат Триеста в том, что он не смог преодолеть общего распада и выказал недостаточную сознательность и слабость воли к борьбе в момент опасности. Задним числом оправдывая поведение руководства партии, газета заявляла: "Мы не должны бояться признать, что рабочий класс большинства воюющих стран оказался под влиянием той самой идеологии, над которой во времена нашего гордого становления и в нормальных условиях нам удалось одержать победу, полностью ее искоренив в наших рядах... Никто не может отрицать, что социалисты приложили все усилия к тому, чтобы предотвратить ужасную бойню, и если они в этом и не преуспели, то причину следует искать в недостаточной сознательности масс, в апатии, равнодушии народа. В последнем антивоенном митинге в Триесте, организованном по инициативе нашей партии, приняло участие всего 400–500 человек, и буржуазная пресса радовалась этому провалу"[16].

Однако целый ряд данных говорит о высокой мобилизованности рабочих при одновременно практически полном отсутствии представителей тех социальных групп общества, которых социал-демократы намеревались привлечь к борьбе за мир, а именно, средних слоев и мелкой городской буржуазии. По окончании митинга рабочие разошлись по домам и на заводы, не получив никаких четких указаний или политической директивы. Таким образом, очевидно, что речь должна идти не об "апатии" или "несознательности" пролетариата, а о провале

стратегии его реформистского руководства. В июле 1914 г. партия и социал-демократические организации оказались изолированными более чем когда-либо, потерпевшими поражение, еще даже не успев вступить в борьбу. Заняв оборонительную позицию, они выключили себя из числа активных субъектов истории. И это прекрасно сознавали власти предержащие: "Судя по полицейским архивам, – пишет историк Хопт, – ...власти уже давно не верили в реальность угрозы, исходящей от социалистов... Многое свидетельствует о том, что к концу июля 1914 г. власти уже прекрасно поняли недостатки и внутренние разногласия Интернационала и социалистических партий соответствующих стран, слабые места пацифистской стратегии... они имели исчерпывающую информацию о состоянии духа, настроениях, спорах, решениях, принимавшихся на всех уровнях рабочих организаций... И прежде всего они знали по опыту 1911–1912 гг., что при переходе от слов к действиям пацифисты Интернационала неизбежно должны были считаться с главным фактором – временем. Чтобы мобилизовать пролетарское воинство, чтобы перевести индивидуальную сознательность на более высокий уровень коллективной психологии, главному штабу социализма требовалось время для подготовки, и такая подготовка могла длиться неделями прежде чем дать достаточно эффективный результат... Подобное замешательство не могло ускользнуть от внимания властей, и они им воспользовались в своих интересах"[17].

28 июля в Австрии был запущен в ход репрессивный механизм буржуазного государства: всеобщая мобилизация в армию, милитаризация заводов и железных дорог, подавление свободы печати, аресты наиболее политически грамотных активистов и профсоюзных деятелей. Бездействие социал-демократов и шоковый эффект, вызванный мгновенностью и неожиданностью произошедшего в среде, в которой социалистическая пропаганда вскармливала чувства спокойствия и уверенности, позволили правительственным органам без особого труда добиться консенсуса относительно целей империалистической войны; демонстрации под лозунгом лояльности к Габсбургам, более или менее запланированные и организованные заранее, проходят во всех крупнейших городах империи, от Загреба, где они выливаются в погромы сербского меньшинства, до столицы, где сам рабочий класс оказывается в плену откровенной милитаристской истерии и воинственных настроений.

В Триесте эти шествия по большей части состояли из настроенного проавстрийски пролетариата и мелкой городской буржуазии; то, что либерал-националистическая историография назовет впоследствии мгновенным помрачением сознания, было обязано тому факту, что многие ирредентисты оставались убежденными в скорейшем вступлении в войну Италии вместе с Германией и Австро-Венгрией; таким образом, война с Сербией была для них прекрасным предлогом для организации шовинистических шествий, на этот раз дозволенных, и открытого проявления своей нетерпимости к словенцам. Что касается одобрения этих демонстраций пролетариатом, то оно объясняется рядом специфических причин, таких как сохранение традиционного

менталитета и образа мыслей, связанное с тем, что процесс урбанизации находился в самом начале. Словенский социалист Иван Регент заметит с тревогой и обеспокоенностью: "В момент нападения Австро-Венгрии на Сербию в Триесте можно было наблюдать крайне гнусные картины. Вплоть до этого момента я не думал, да и не мог думать, что в мире существуют люди – к счастью, единицы – в которых ненависть к другим народам, вызванная патриотическими чувствами, может принимать такие нечеловеческие, звериные формы. В начале войны с Сербией с изумлением и ужасом слушал я некоторых триестских австрофилов, среди которых, к сожалению, были и рабочие, которые признавались, что идут воевать с сербами добровольно, и добавляли, что обещали принести жене в подарок отрезанное ухо какого-нибудь серба. Эти австрофильские настроения, перемешанные с итальянским национализмом, взаправду принесли дурные плоды..."[18]

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что ряд социал-демократических организаций Побережья, в противовес нескольким руководящим представителям словенских социал-демократов, не поддался националистическим настроениям. Боевой авангард социалистической партии Сербии газета "Заря" вынуждена была приостановить свой выход; печатный орган транспортников "Аванти!" и "Иль Лавораторе" особенно пострадали от цензуры. Наиболее единодушно и решительно выступили с осуждением войны итальянские секции Побережья. Как вспоминает адвокат Пуэкер, у итальянских социалистов Австрии не существовало больших сомнений насчет того, как ответить на вопрос, который тогда мучил и тревожил социалистов всей Европы. Один из печатных органов социалистов писал, например:

"... Австро-Венгрия была именно тем государством, которое разожгло войну, предъявив ультиматум Сербии. В Австрии, особенно среди австрийских итальянцев, социализм патриотического толка был бы такой бессмыслицей, таким безумием, таким противоестественным извращением, которому не было бы никакого разумного оправдания и который обесчестил бы нас и как социалистов, и как итальянцев. И потому позиция итальянцев была такой, какой она только и могла быть: безоговорочное осуждение и бескомпромиссная оппозиция как войне, так и государству"[19].

Однако единство, достигнутое на уровне теоретических принципов, рушилось, как только вставал вопрос об их практическом применении. Иван Регент описывал в своих воспоминаниях атмосферу профсоюзных комитетов, переполненных рабочими, требующими конкретных указаний о выступлениях, акциях и т.д. Многие из них пребывали в состоянии чуть ли не мессианского ожидания неизбежного революционного взрыва в Германии, самой передовой индустриальной стране. В свидетельствах кормонского социалиста Луиджи Тинунина чувствуется отзвук подобных же широко распространенных в массах настроений. "Наш комитет, – рассказывает он, – помещался на нынешней улице Удине, прямо напротив жандармского управления. Нам удалось достать граммофон, который был тогда такой же большой редкостью, как самолет сегодня, и собравшись в комнате при

открытых окнах мы с утра до вечера заводили Интернационал в ожидании революционной забастовки в Германии, стране, где социализм в те времена достиг наивысшего развития. Самым необъяснимым образом со стороны жандармерии нам не чинили никаких препятствий; но, спустя несколько месяцев, мы все оказались на полях Галиции, воюя за дело, которое уж наверняка никоим образом не было нашим делом"[20].

Однако первые же заявления венского руководства социалистов посеяли в рабочих рядах "неуверенность" и "смущение". Активисты и молодые социалисты, настроенные наиболее решительно, распространяли в городе и на предприятиях листовки, в которых призывали и требовали соблюдать антивоенные резолюции, принятые на конгрессах Интернационала. Руководство, принадлежавшее к старой гвардии, стояло, по всей видимости, на более осторожных и умеренных позициях. Убежденное в локальности военного конфликта, оно не желало резкими и опрометчивыми действиями предвосхищать события и тем самым помешать естественному процессу организационного объединения. Начало войны проложило четкий водораздел между лидерами социал-демократов и рядовыми членами партии. Первые предпочли сохранить национальный консенсус, вторые как бы замерли в ожидании сигнала. Но его не последовало.

С этого момента Интернационал практически прекращает свое существование в качестве особого института. Начиная с 1 августа война ширится, превращаясь в мировую; отдельные же национальные отряды социалистов, не располагая объединяющими установками, получают полную свободу действовать по собственному усмотрению в соответствии с решениями своего руководства. Новизна ситуации заключалась в том, что многие видные социал-демократы заявили об одобрении целей войны, развязанной буржуазными государствами. 4 августа вразрез с формальными обязательствами и решениями, принятыми на международных конгрессах Интернационала, германские социал-демократы проголосовали в рейхстаге за предоставление военных кредитов.

Паралич конституционных органов позволил австрийским социал-демократам избежать испытания на доверие правительству, которое могло бы поставить их в чрезвычайно затруднительное положение. Но позиция, высказанная в этих щекотливых обстоятельствах газетой "Арбайтер Цайтунг", которая, односторонне рассматривая причины военного конфликта, винила во всем экспансионистскую политику Сербии, равно как и знаменитая статья от 5 августа "День немецкой нации" с пожеланиями победы оружию немецкого народа, позволяют предположить, что возможный выбор в австрийском парламенте не слишком сильно отличался бы от решения, принятого германской социал-демократией.

Подобный тип поведения, известный под именем "Union sacrée", или "Burgfriede", т.е. коллаборационизм, классовое сотрудничество во имя защиты национальных интересов, в марксистской историографии объясняется целым комплексом самых разнообразных и взаимопере-

плетающихся факторов, обусловленных все более участившимся и все более глубоким внедрением государственной машины в общественную жизнь, в результате чего рабочие, в том числе и члены социалистических профсоюзов, оказались повязанными путами тех самых институтов, которые они отвергали. Историки других направлений, напротив, усматривают причину "débâcle" ("краха") в бюрократизации аппаратных структур партий и в кадровой вербовке активистов. Действительно, в среде германской и австрийской социал-демократии власть и право принимать решения принадлежали, конечно же, не массам, составлявшим основу движения, но армии партийных чиновников, состоявшей в большинстве своем из политических и профсоюзных функционеров, а также деятелей кооперативного движения[21].

Несмотря на все это, в ситуации всеобщего развала одним из немногих исключений, примером верности принципам и воплощенным укором всевозможным священным союзам являлись итальянские социалисты из адриатических секций. Они мгновенно преодолели состояние дезориентированности, охватившее их в первый момент, и заняли твердую позицию сурового политического осуждения венских австромарксистов, изобличая их попытку превратить рабочий класс в придаток националистической буржуазии. Разногласия вышли на поверхность в связи с рядом важных начинаний, предпринятых руководящими органами социал-демократии Триеста в лихорадочные и конвульсивные дни августа 1914 г. В самом деле, исключительность происходящего потребовала не только критического пересмотра собственных установок, но и выработки единой политической линии перед лицом войны и возникших с ее началом новых проблем. С этими целями было решено созвать в Триесте во вторую неделю августа партийный съезд. Для участия в нем были приглашены также руководители социалистических секций Истрии и Фриули. Вопреки всем ожиданиям, на съезде возобладало бескомпромиссное радикальное направление – безусловный и безоговорочный отказ от той умеренной линии, которой придерживались до сих пор, сопровождавшийся недвусмысленно выраженным желанием прессчь все существующие контакты с венским социалистическим движением.

В конце прений была представлена и одобрена подавляющим большинством голосов программа работы съезда, в которой делалось заявление о размежевании секций Побережья с социал-демократической партией Австрии. Об этом суровом решении тут же была проинформирована Социалистическая партия Италии (СПИ), поскольку последняя рассматривалась как одна из немногих организаций, по-прежнему верных принципам пролетарского интернационализма. Эта программа, запрещенная австрийской цензурой, была опубликована на страницах "Аванти!", авторитетного издания итальянских социалистов[22].

Тем не менее, исходя из дальнейших событий, можно утверждать, что Питтони и значительная часть партийного руководства из старой гвардии не разделяла такого взгляда. Вполне возможно, что они полностью утратили контроль над партией и окончательно выпустили бразды правления из своих рук в тот самый момент, когда в среде

рабочих Триеста осуждение политики венских австромарксистов стало практически единодушным.

С течением времени это противостояние не только сохранило свою первоначальную остроту, но даже обрело еще более жесткий и непримиримый характер. В первых рядах борцов с реформизмом оказался официальный орган партии "Иль Лавораторе", главным редактором которого в то время являлся Анджело Ланца. В статьях "Московское иго" в номере от 15 августа и "Народы, войны и нравственное совершенствование человечества" от 19 августа были подвергнуты критике типичные для социалистических партий ведущих капиталистических стран аргументы в оправдание войны, гласившие, что война ведется во имя защиты высшей цивилизации, которой угрожает царистский экспансионизм. В свою очередь, в номере от 26 августа иронически комментировалось то, что в "Арбайтер Цайтунг" было названо "ультима маньера", т.е. новая и более осторожная линия венской ежедневной газеты, характеризующаяся нежеланием выяснять причины и истоки войны и снисходительным отношением к проявлениям шовинизма у социалистических партий других воюющих стран. В частности, в статье говорилось: «Интересы Франции и Англии столь же святы, как и интересы Германии и Австрии. В трактовке "Арбайтер Цайтунг" социалистическое право в ситуации войны становится равным для всех, тогда как прежде оно представлялось исключительным правом немцев. Таким образом мы приходим к открытию, что являемся участниками войны, в которой все правы»[23].

Подавление конституционных свобод и распространение воинской повинности на мужчин до сорока двух лет, не встретившее никакого сопротивления, полностью расстроило классовое движение в Триесте и нанесло удар по его лучшим кадрам. Действительно, в первый же месяц войны оказались призванными две тысячи активистов, большинство из которых были рабочие и в высшей степени политизированные рядовые партийцы. Отправка новобранцев на фронт, как вспоминал Регент, происходила в атмосфере отчаяния и безнадежности. Между тем речь шла о том самом 97-м полке, который в 1902 г. присоединился к забастовке и прошествовал по городским улицам под красным знаменем. Но на этот раз ситуация была совершенно иная. Вот так описывает картину И. Регент: "Огромное большинство триестцев... желало остаться подальше от фронта, где тогда решалась судьба малых и больших народов... Поэтому батальоны, отправлявшиеся из Триеста на фронт и марширующие с оркестром во главе, являли печальное зрелище. Эти так называемые "марш-батальоны", состоящие из молодых, сильных и красивых ребят и зрелых мужчин в новенькой военной форме, казались призраками, людьми, которые идут на войну не для того, чтобы вернуться с нее гордыми победителями, но чтобы быть там убитыми. Они были безвинно приговорены к смерти, и у меня создалось впечатление, что они сами это понимали"[24].

В этой ситуации унижения и всеобщей дезориентации реформистскому руководству не составляло большого труда вернуть себе утраченные позиции и навязать партии иную, более умеренную линию,

которая и оставалась руководящей вплоть до конца войны. Это подтверждается характером собраний, имевших место в конце августа. О первом существует интересное свидетельство Регента. По его воспоминаниям, на этом заседании, состоявшемся по инициативе итальянского руководства, в центре дискуссии было два предложения Питтони: одно касалось возможности преобразования "Иль Лавораторе", выходящего раз в три недели, в ежедневную газету; во втором предлагалось дать утвердительный ответ на предложение властей, обращенное среди прочих и к социалистам, принять участие наряду с другими политическими силами города в работе Комиссий по снабжению. Регент утверждает, что сам он высказался отрицательно по обоим пунктам. Заявив о своем полном равнодушии к проблеме "Иль Лавораторе", поскольку "так или иначе эта газета все равно будет проходить военную цензуру", словенский партийный руководитель сосредоточился на втором предложении, встав в энергичную оппозицию планам возможного участия социалистов в снабженческих комиссиях прежде всего потому, что оно предполагало бы целую серию контактов, если не компромиссов, с либерал-национальной партией, хорошо известной своей шовинистической и антирабочей политикой. Заседание закончилось после того, как большинством голосов была принята повестка дня, предложенная Питтони, а содержащиеся в ней положения взяты на вооружение[25].

Следующая встреча состоялась в Делавском доме (Дом рабочих) в Триесте. На ней, несмотря на протест Голоуха, было решено сузить круг участников до высших партийных исполнительных органов. По указанию Виктора Адлера в административный центр Адриатики прибыл в качестве наблюдателя такой крупный деятель как Элленбоген, имевший четкую цель восстановить резко прерванные отношения. И на этот раз левые вновь потерпели поражение: предложение осудить "Арбайтер Цайтунг", внесенное Тунтаром и Голоухом, столкнулось с противоположным мнением не только Питтони и Оливы, но и самого Пуэкера, лидера италофильского и антипиттониевского крыла в партии. "Я выразил энергичный протест, – вспоминает Голоух, – но ничего не добился; еще меньше шансов было добиться осуждения политики партии и статьи в "Арбайтер Цайтунг". Все было окутано густым туманом. Возможно, все были твердо убеждены, что все в порядке. И хотя я не достиг никакого результата, мой протест, я думаю, был, по крайней мере, знаком того, что в рядах словенского социалистического движения нет полного единодушия"[26].

В ситуации, когда в результате объединения разных умеренных элементов триестского социализма политическая инициатива левых оказалась парализованной, австромарксистское руководство получило возможность восстановить в партии строгую дисциплину и жесткий внутрипартийный контроль, что обеспечило значительное усиление их влияния. Руководство газетой "Иль Лавораторе" взял на себя Питтони, который постарался положить конец всяческим протестам, несогласиям и критике. Тем не менее разногласия не были устранены окончательно. Об этом свидетельствует венский социалист Элленбоген. Годы спустя, описывая свою поездку в Триест, он замечал: "Триестские товарищи встретили нас холодно. Они принадлежали к той части социал-демократии, которая была фанатическим противником войны. Они выросли в традиции антивоенной идеологии. В течение десятилетий они смело и успешно боролись с итальянским ирредентизмом и получили в ответ клеймо проавстрийцев... Война как таковая была для них худшим из зол, и никакие соображения жизненных интересов Триеста не могли их заставить отказаться от страстного осуждения преступления, совершенного венскими властями. Только благодаря тесным личным дружеским отношениям, которые меня связывали с Питтони и Оливой, мне удалось восстановить прежние сердечные отношения с пролетариатом Триеста, хотя в них все равно оставался заметный холодок"[27].

В конце августа Питтони в сопровождении Оливы и Элленбогена отправляется в Милан с намерением установить через СПИ целый ряд контактов с социалистическими секциями других стран, непосредственно вовлеченных в войну, – Бельгии, Франции, Англии. В реальности этому лидеру австромарксизма всегда недоставало понимания, что II Интернационал и входившие в него партии загнали сами себя в тупик. Кроме того, он решительно недооценивал серьезности раскола, проложившего пропасть между старыми партийными организациями и рабочим классом, подвергавшимся в ходе войны все более тяжким испытаниям и разочарованным несостоятельностью ориентации партийного руководства на легальные формы деятельности.

Именно под влиянием этого тяжелого кризиса многие рабочие, в конечном итоге, постепенно обрастают новое мировоззрение, начинают ориентироваться на более радикальные и действенные методы борьбы. На этой почве зарождается новое политическое течение как форма преодоления традиционных установок австромарксизма. Это течение вскоре порвет с реформизмом, расценив его как буржуазное отложение в недрах рабочего движения, и противопоставит ему самостоятельное мировоззрение, в котором идеология и классовая борьба будут выступать как отражение духовных и материальных интересов самых низших слоев общества, наиболее сильно пострадавших от войны.

[1] *Pittoni V.* La politica nazionale dei socialisti italiani in Austria // Il Lavoratore. 1913. 31 dic.
[2] *Pittoni V.* Op. cit. // Il Lavoratore. 1913. 31 dic.
[3] *Haupt G.* L'Internazionale Socialista dalla Comune a Lenin. Torino, 1978. P. 265–267.
[4] Per i diritti della rappresentanza popolare e contro il paragrafo 14. Un'iniziativa socialista // Il Lavoratore. 1914. 25 apr.
[5] См.: *Pittoni V.* I rapporti austro-italiani e la politica interna dell'Austria in un discorso di Valentino Pittoni a Budapest, 27 maggio 1914.
[6] Convegno regionale dei giovani socialisti // La Gioventu Socialista. 1911. 2 dic.
[7] *Martinuzzi G.* Abbozzo di conferenza. Perchè la produzione agricola ed industriale dovrebbe essere regolata da leggi. Trieste, 1909. P. 11–13. Рукопись доклада хранится в Институте истории движения Сопротивления г. Триеста.
[8] *Martinuzzi G.* Op. cit. P. 12–13.
[9] *Martinuzzi G.* Sta come torre fermo // L'Istria Socialista. 1911. 13 maggio.

[10] *Cetina M.* Giuseppina Martinussi. Documenti del periodo rivoluzionario 1896–1926. Pola, 1970. P. 120–152.
[11] Sogno liberale di una sera di giugno // Il Lavoratore. 1913. 16 luglio.
[12] L'assemblea di partito // Il Lavoratore. 1913. 22 ottob.
[13] *Pittoni V.* Op. cit. // Il Lavoratore. 1913. 22 ottob.
[14] L'agitazione contro il rincaro della vita // Il Lavoratore. 1911. 23 settem.
[15] Il caroviveri, le cause, i suoi effetti, i mezzi per combatterlo // Il Lavoratore, 1914. 4. 8 e 11 luglio.
[16] Da Basilea a Stoccolma // Il Lavoratore. 1917. 20 maggio.
[17] *Haupt G.* Op. cit. P. 283.
[18] *Regent I.* Spomini. Cankarjeva založba. Ljubljana. 1967. P. 84.
[19] *Puecher E.* Un documento sulla vita del Partito Socialista a Trieste durante la guerra // La Lega delle Nazioni. 1918. 24 dicem. N 4. P. 243–244.
[20] *Panzera G.B.* Cormons. Immagini e cronache dal vecchio confine. Mariano del Friuli, 1985. P. 167.
[21] *Cetina M.* Op. cit. P. 194.
[22] Pronta risposta // Il Lavoratore Socialista. 1919. 26 luglio; nonchè art. Il convegno dei socialisti friulani // Il Lavoratore Socialista. 1920. 16 novem.
[23] I socialisti tedeschi in Austria e la guerra europea // Il Lavoratore. 1914. 26 agosto.
[24] *Regent I.* Op. cit. P. 84.
[25] См.: *Regent I.* Op. cit. P. 67.
[26] *Golouh R.* Pol stoletja spominov. Ljubljana, 1966. P. 73.
[27] *Ellenbogen W., Raglonieri L. Valiani E.* Il mio ultimo incontro con Mussolini // Studi Storici. 1961. N 1. P. 110–111.

ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОГО РАДИКАЛИЗМА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

А.Ю. Прокопов

Первый в мировой истории вооруженный конфликт глобального уровня оказал значительное воздействие на все английское общество 20–30-х годов и в немалой степени повлиял на становление и формирование крупнейшей в межвоенный период праворадикальной организации Британского союза фашистов (БСФ). Это объединение, основанное в 1932 г. английским аристократом Освальдом Мосли, явилось фактически единственной праворадикальной организацией, которая, сумев в 30-е годы обратить на себя внимание всего общества, ставила непосредственной своей целью приход к власти и формирование правительства. Чтобы проанализировать воздействие первой мировой войны на БСФ, следует в первую очередь рассмотреть значительные изменения, привнесенные ею в общественно-политическую и социально-экономическую жизнь страны.

Война потребовала максимального напряжения вооруженных сил

© А.Ю. Прокопов

Британии, мобилизации всех экономических и финансовых ресурсов страны. Обострился ирландский вопрос. В политической сфере насущная потребность военного времени в быстрых и энергичных действиях вызвала основательное перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти. Дэвид Ллойд Джордж, ставший в 1916 г. премьер-министром, как ни один другой премьер вынужден был произвести весьма ощутимые изменения в управлении страной. По словам известного английского историка А. Тейлора, Ллойд Джордж получил для этого полномочия, поистине диктаторские[1]. Возглавляемый им военный кабинет, состоявший из пяти человек, члены которого были назначены премьером, фактически, не консультируясь уже ни с кем, принимал решения по всем важнейшим вопросам управления страной, а также имел право законодательной инициативы. Ллойд Джордж активно привлекал к руководству национальной экономикой частных предпринимателей. Ряд министерств в военные годы возглавляли не профессиональные политики, а представители бизнеса, при этом некоторые из них даже не были членами парламента[2].

Одновременно с усилением позиций исполнительной власти во время войны заметно уменьшилась роль парламента в жизни общества. Многие важнейшие проблемы, в том числе выделение займов союзникам, принимались без парламентской санкции[3]. Такие существенные вопросы, как рекрутирование в вооруженные силы, военное снабжение и др., решались за закрытыми дверями без участия общественности[4]. Кроме этого, с целью консолидации всех общественных сил фактически прекратила свою деятельность партийная оппозиция в парламенте, а многие члены палаты общин не участвовали в его работе, так как оказались на фронте[5]. Все эти факторы, а также введение цензуры, существование завесы секретности и, как следствие, неинформированность не только общественности, но и парламентариев, заметно снизили роль и значение представительного органа в политической структуре страны.

Военные годы в Британии характеризовались невиданным до того вмешательством государства в сферу экономики. К концу войны государственный контроль в самых различных формах распространился на ведущие отрасли экономики страны: промышленность, морской и железнодорожный транспорт, внешнюю и значительную часть внутренней торговли[6]. Уайтхолл сосредоточил в своих руках почти все сырьевое снабжение промышленности и, таким образом, имел в своем распоряжении важнейшие рычаги управления экономикой[7]. Государство превратилось в почти монопольного импортера, контролируя бóльшую часть ввозимого продовольствия и его распределение, а также уровень заработной платы и цен, включая оплату сдаваемого в наем жилья; в отраслях, связанных с производством вооружений, были запрещены забастовки и локауты[8]. Кроме того, ряд законов военного времени давал право правительству принуждать промышленников выполнять государственные заказы и даже частично вторгаться в права собственности, разрешая распределять необрабатываемые земли под огороды без согласия владельцев земли[9].

По окончании войны многие институты государственного регулирования были демонтированы, а авторитарные методы управления страной перестали применяться. Тем не менее прецедент отступления от обычного механизма политического руководства страной и энергичное вмешательство государства в экономическую сферу оказали определенное моральное и интеллектуальное воздействие на некоторых британцев, в том числе на будущего лидера британских фашистов Освальда Мосли.

Война стала тем событием, которое сыграло наиболее значительную роль в становлении Мосли как личности, в формировании его взглядов на общество и на методы управления страной. Он, как и некоторые лидеры фашистских движений континентальной Европы, был непосредственным участником боевых сражений на фронтах первой мировой войны. Осенью 1914 г. в 18-летнем возрасте после непродолжительной учебы в военном колледже Сандхерст Мосли направляется на Западный фронт во Францию. Он участвует в военных действиях как кавалерийский и пехотный офицер, служит летчиком-наблюдателем в Королевских военно-воздушных силах. После ранения в ходе тренировочного полета и последовавшего за этим продолжительного лечения он служил в министерствах вооружения и иностранных дел, что позволило ему самым непосредственным образом увидеть и оценить, как управлялась страна в сложных условиях военного времени.

По окончании войны Мосли, как и многие его сверстники-ветераны, активно занялся политикой. Некоторое время он находился в рядах консерваторов, а в 1924 г. вступил в лейбористскую партию Великобритании (ЛПВ) и вплоть до 1931 г. весьма инициативно участвовал в ее деятельности. Он был членом парламента от ЛПВ и входил в состав второго правительства Г. Макдональда.

В период мирового экономического кризиса (1929–1933) будущий вождь английских фашистов не раз обращался к опыту управления Британией в военные годы, призывая частично его использовать и в мирное время. Так, в 1931 г., в условиях углубления кризиса, Мосли выдвинул идею создать кабинет из пяти министров, наделенных самыми широкими полномочиями, уменьшить контроль над правительством со стороны парламента, а функции последнего сократить[10]. В воспоминаниях Мосли откровенно писал, что тогда он предлагал организовать "небольшой кабинет действия, как во время войны"[11]. Эффективность жесткого централизованного руководства Британией в экстремальной обстановке войны, а также та готовность, с которой английское общество в годы опасности отступило (хотя и временно) от ряда традиционных демократических принципов, убедили Мосли, с одной стороны, в действенности подобных методов, а с другой – в "недогматичности" британцев, способных при определенных обстоятельствах поступиться своими правами и традиционными институтами.

Немногим более чем через год после выдвижения упомянутых выше проектов, в октябре 1932 г., Мосли организовал Союз фашистов. В первые годы существования БСФ стремительно развивался, отделения Союза появились почти во всех крупных городах страны, его численность быстро увеличивалась и к лету 1934 г. достигла 40–50 тыс. человек[12]. Союз фашистов имел жесткую иерархическую структуру полувоенного типа, в которой выделялись своей активностью штурмовые отряды БСФ – так называемые Силы обороны. К началу 1934 г. БСФ стал заметным явлением в общественно-политической жизни страны, смог заявить о себе как о динамичной, набирающей силу организации, что оказалось возможным благодаря значительной финансовой поддержке Союза со стороны некоторых состоятельных британцев, а также помощи из-за рубежа, в первую очередь из фашистской Италии[13].

Основные программные установки БСФ были изложены в книге Мосли "Более Великая Британия", вышедшей в 1932 г. и ставшей своего рода манифестом британских фашистов. В ней их лидер писал: "Мы полагаем, что политические партии старой демократии потерпели крах... обструкционистский парламент не может решить существующие проблемы"[14]. Исходя из этого руководство БСФ планировало упразднить партийную систему в стране, а также фактически и законодательный орган, деятельность которого предполагалось ограничить лишь совещательными функциями. Кроме этого, фашисты намеревались ликвидировать местное самоуправление, ограничить свободу слова и ввести цензуру[15]. Руководитель страны, которым должен был стать вождь БСФ, наделялся в проектах фашистов неограниченной властью. В брошюре "Чернорубашечная политика" Мосли не оставлял никаких сомнений в будущем политическом устройстве Великобритании, заявляя, что после прихода БСФ к власти в стране будет установлена диктатура[16].

Думается, не случайно предложения Мосли по изменению системы управления страной по образцу военного времени непосредственно предшествовали программе БСФ. Рассматривая проекты руководителя Союза 1931 и 1932 гг., касающиеся реформирования политического устройства страны, можно обнаружить четко обозначенные исходный пункт и направленность эволюции установок Мосли: от мало чем ограниченной власти кабинета министров во главе с премьером в военные годы до проектов установления диктатуры; от планов ограничения функций и снижения роли законодательного органа страны по примеру практики периода войны до превращения парламента в чисто декоративный орган.

Проекты реформирования экономики занимали важное место в планах Мосли и сторонников. После окончания войны вмешательство государства в экономическую область значительно сократилось, тем не менее его существенное воздействие на общественную жизнь и эффективность такого вмешательства сохранились в сознании британцев. В 1927 г. молодые политики консервативной ориентации Р. Бутби, Г. Макмилан, Дж. де Лодер и О. Стенли следующим образом характеризовали влияние войны на британское общество: "Война разбила вдребезги предвзятые экономические представления, доказала возможность того, что теоретически считалось невозможным, разрушила,

казалось, незыблемые барьеры, создала новые небывалые ситуации"[17].

В проектах БСФ, касающихся сферы экономики, нашли отражение различные явления, однако среди них наиболее отчетливо выделяется воздействие опыта вмешательства государства в экономику страны в период войны, что отмечали и сами руководители Союза. Мосли в своих воспоминаниях подчеркивал, что участие в работе министерства вооружений (бывшего одним из важнейших инструментов в системе государственного регулирования экономики) оказалось весьма полезным для его будущей политической деятельности[18]. В 1935 г. один из идеологов Союза фашистов У. Липер заявлял на страницах теоретического журнала БСФ "Фэшист Куотерли", что после прихода к власти "...необходимо создать министерство промышленности по образу и подобию министерства вооружений для того, чтобы и в условиях мира планировать производство и регулировать распределение"[19]. Хотя лидеры БСФ не имели детально разработанной экономической программы, тем не менее можно выделить один общий для большинства конкретных предложений фашистов в экономической области компонент – активное государственное вмешательство.

Руководители Союза фашистов после прихода к власти планировали осуществлять государственный контроль за внешней торговлей и импортом, определять характер и объем производимой предприятиями продукции. Как отмечал Мосли в книге "Болес Великая Британия", фашисты ставили цель создать централизованный механизм управления экономической жизнью страны[20]. В частности лидеры БСФ намеревались регулировать уровень цен и заработной платы, а также запретить забастовки и локауты. Кроме того, Мосли считал возможным вмешательство в права собственности на землю, заявляя, что тот, кто живет на земле и не служит нации, будет лишаться права обладать ею[21]. Многие из этих предложений схожи или совпадают с упомянутыми выше социально-экономическими мероприятиями, осуществлявшимися английским правительством в 1914–1918 гг.

В период войны и в первые годы после установления мира большое влияние на Мосли оказывала деятельность Ллойд Джорджа на посту премьер-министра. Касаясь своих политических симпатий в 1918 г., он в одной из статей признавался, что восхищался Ллойд Джорджем и считал себя его последователем[22]. "Ни один человек ни ранее, ни впоследствии, – писал Мосли в 1929 г., – не захватывал так вооружения молодой Британии... Мы чувствовали необходимость построить новый и более благородный мир на пепелище старого"[23]. В выходивших позднее изданиях биографического характера, написанных или самим Мосли, или под его непосредственным влиянием, неизменно упоминалось немалое воздействие политики Ллойд Джорджа на будущего вождя фашистов[24].

Мосли явно импонировало, что осуществлявшееся Ллойд Джорджем в годы войны руководство страной было отмечено не только уже упоминавшимися изменениями системы управления и наделением правительства почти диктаторскими полномочиями, но и новыми

подходами к механизму отношений государственной власти с широкими массами. В условиях тотальной войны, когда борьба шла не только за территории, но и за умы людей, за их волевой настрой как на фронте, так и в тылу, важную роль играла способность лидеров государства поддерживать моральный дух нации, воздействовать на сознание граждан своей страны. Помимо законодательных мер по сохранению стабильности в обществе, Ллойд Джордж придавал большое значение овладению сознанием и умению влиять на определенные чувства масс. Посредством этого он стремился добиться максимальной мобилизации усилий и воли широких слоев населения для организации защиты страны на фронте и производства всего необходимого для военных нужд в тылу.

Обладая даром красноречия, Ллойд Джордж в публичных выступлениях активно эксплуатировал тему "единой нации", подчеркивал, что он является "лидером всего народа", а не только верхов, представлял себя "человеком из народа"[25]. С целью достичь максимальной эффективности своих выступлений Ллойд Джордж, один из немногих высших должностных лиц страны, осуществлял прямые контакты с массами – посещал предприятия в тылу и солдат на передовой[26]. В речах премьера, помимо высказываний, нацеленных на поддержание морального духа британцев, нередко звучали популистские обещания и откровенная социальная демагогия, что порождало получившие затем определенное распространение среди масс надежды и ожидания лучшего устройства мира после войны. Весьма точно подобного рода ораторские приемы охарактеризовал в 1916 г. И.М. Майский, российский социал-демократ, тогда политический эмигрант, живший в Англии, а впоследствии посол СССР в Британии. Отмечая склонность английского премьер-министра к демагогии он писал: "...Слова Ллойд Джорджа всегда радикальнее его дел"[27].

Социальная риторика премьер-министра и национально-патриотическая пропаганда стали в годы войны важными составными элементами государственной политики, которая в условиях быстрого развития средств массовой информации оперативно доводилась до сознания широких слоев населения почти независимо от географии проживания. Подобная практика, фактически впервые проводившаяся на самом высоком государственном уровне, в масштабах целой страны и в течение продолжительного времени, в полной мере показала свою эффективность в деле мобилизации масс на конкретные действия.

Такое эффективное комплексное воздействие на население Британии обратило на себя внимание не только в стране, но и далеко за ее пределами. Речи Ллойд Джорджа, переведенные на немецкий язык, произвели неизгладимое впечатление на ефрейтора кайзеровской армии Адольфа Шикльгрубера, будущего вождя национал-социализма. По прошествии ряда лет после окончания первой мировой войны будущий германский фюрер не забыл эти выступления, что отразилось в его книге "Моя борьба". На ее страницах А. Гитлер характеризовал Ллойд Джорджа как "великого английского демагога", подчеркивал его "изумительное умение воздействовать на психологию массы", его

способность "понимания души народа" и, как следствие, "огромное влияние на английскую толпу"[28]. Как показала последующая деятельность Гитлера в роли главы нацистской партии и третьего рейха, он постоянно использовал приемы и методы, апробированные Ллойд Джорджем в период войны.

Искусство Ллойд Джорджа манипулировать сознанием широких слоев населения привлекло внимание на другом конце Европы – в России. Лидер местных левых радикалов Владимир Ульянов-Ленин также пристально следил за деятельностью Ллойд Джорджа, в которой проявились способности премьера внушать определенные установки большим массам населения. В 1916 г. вождь большевиков убеждал своих соратников в том, что в новейшее время "без масс не обойтись, а массы в эпоху книгопечатания и парламентаризма нельзя вести за собой без широко разветвленной, систематически проведенной, прочно оборудованной системы лести, лжи, мошенничества, жонглерства лозунгами и популярными словечками, обещаниями направо и налево любых реформ и любых благ рабочим...". Ленин увидел в этом целую систему воздействия на массы и прямо связал ее с именем Ллойд Джорджа[29]. Несмотря на негативную характеристику, данную Ульяновым-Лениным "системе ллойд-джорджизма", руководители партии большевиков на протяжении всей истории ее существования активно использовали приемы и методы этой системы для систематического и целенаправленного воздействия на население своей собственной страны.

Возвращаясь к рассмотрению взглядов Мосли, отметим, что, хотя в его выступлениях в печати не было развернутой оценки социальной философии Ллойд Джорджа, он усвоил его уроки основательно. Активное использование в 30-е годы лидером БСФ социальной демагогии и популистских лозунгов, разжигание национальных чувств британцев[30] можно с полным основанием отнести на счет влияния не только континентальных фашистских движений, но и в первую очередь и главным образом политики Ллойд Джорджа в части, касающейся взаимоотношений власти с широкими массами населения в период войны.

Война способствовала определенной консолидации британского общества, одним из проявлений которой явилось снижение уровня трудовых конфликтов в стране. Как отмечал английский историк А. Тэйлор, в военные годы не происходило серьезных забастовок, а количество часов, потерянных в ходе производственных конфликтов, в этот период составило четвертую часть от аналогичного показателя довоенного времени и одну десятую в сравнении с соответственным послевоенным периодом[31]. Свидетельством широкого распространения патриотических настроений среди самых различных слоев населения явилось также и то, что в целом в стране лишь крайне незначительное число британцев выступало против ведения войны и отказалось от службы в армии[32].

Мосли, принимавший участие в 1914–1918 гг. в военных действиях и в качестве государственного служащего в работе двух министерств,

чутко уловил отмеченные настроения британцев в период войны. "Сможем ли мы возродить то единение 1914 года и ту восхитительную преданность индивида делу, которая переходила границы личного и группового интереса...", – писал с явной ностальгией по военному времени вождь БСФ в середине 30-х годов, отмеченных значительным уровнем безработицы и глубоким социальным расслоением[33]. Состояние британского общества в годы войны явилось для руководителей БСФ наглядным примером того, что консолидация нации вполне достижима. Именно этот эталон определил бы одно из направлений деятельности будущего фашистского правительства. "Власть должна быть использована для восстановления национального единства", – писал один из идеологов БСФ А.Р. Томсон[34].

"Возродить единение", "восстановить национальное единство", – эти высказывания весьма откровенно свидетельствовали об ориентации лидеров БСФ в своих планах на определенный образец – его они видели в британском обществе военной поры.

Достаточно высокая степень консолидации общества тех лет была не просто следствием внешней угрозы; в немалой степени она явилась результатом целенаправленных, скоординированных государством усилий по оказанию воздействия на сознание и настроение масс. В период войны был создан специальный государственный орган – Национальный комитет по целям войны, в задачу которого входило руководство пропагандой внутри страны[35]. Наряду с ним появился особый департамент информации с совещательным комитетом, состоящим из владельцев ведущих газет. Задачей департамента было осуществление всестороннего контроля за всеми появлявшимися в Британии информационными сообщениями[36]. Создание этих организаций свидетельствовало о том, что регулирующая роль государства в годы войны охватывала самые различные сферы жизни общества, в том числе и информационное пространство. Основной целью подобной политики было стремление правящей элиты Британии максимально воздействовать на сознание масс, целенаправленно формировать общественное мнение. В военное время одним из наиболее эффективных инструментов овладения сознанием британцев и мобилизации их усилий для отпора врагу являлась широкомасштабная и интенсивная национально-патриотическая пропаганда. Она тогда достигла качественно нового уровня благодаря использованию всех современных средств массовой информации и агитации. С целью поддержания морального духа и патриотических настроений населения выпускались фильмы, издавались плакаты и листовки, публиковалось много газетных и журнальных статей, организовывались выступления ораторов. Нельзя не отметить, что в ходе этой пропагандистской кампании в средствах информации получили определенное распространение шовинистические воззрения, порой появлялись утверждения и о национальном превосходстве британцев над немцами[37]. Кроме этого, ряд периодических изданий стремились не только укрепить моральный дух граждан страны, но и разжечь антигерманские настроения в обществе, причем для достижения этой цели использовались любые, даже сомнительные

средства. Так, на страницах некоторых из них немцы изображались в виде чудовищ, которые распинают солдат противника, можно было встретить утверждения, что германские власти используют тела убитых английских солдат для производства смазочных материалов и в качестве корма свиньям[38]. Сообщения подобного рода способствовали созданию в Британии атмосферы антигерманской истерии, проявлявшейся в избиении выходцев из Германии на улицах английских городов, в предложениях интернировать всех иностранцев, в призывах "повесить Кайзера"[39]. Разжигание таких настроений происходило не без ведома государства, которое, как уже отмечалось, ввело цензуру и дозировало поступление в периодические издания любых сведений из зоны военных действий.

Пропаганда этого рода, активно проводившаяся в течение целого ряда лет, не могла не оказать определенного влияния на всю общественную жизнь страны и в послевоенные годы. Эффективность отмеченного выше метода комплексного воздействия на массы породила среди некоторых слоев английского общества представление о возможности, несколько видоизменив, использовать этот опыт и в мирное время для достижения определенных политических целей. Не случайным является тот факт, что в конце войны и сразу после ее завершения в Британии возникло несколько ультраконсервативных организаций националистического, антисоциалистического, антисемитского толка, в пропагандистской деятельности которых немалая роль отводилась попыткам овладеть сознанием масс, используя националистические идеи и культивируя образ врага нации. Среди подобных организаций назовем Британский имперский союз и Союз национальной безопасности, объединения Британцы и Британские фашисты, а также Национальную партию[40]. В составе последних двух были созданы специальные полувоенные формирования для возможного применения силы на случай чрезвычайных обстоятельств. Названные выше объединения подготовили почву для появления БСФ, некоторые из них стали непосредственными организационными и идейными предшественниками Союза фашистов.

БСФ активно исповедовал националистические идеи. "Мы исключительно национальное движение, – писал Мосли, – наша политика может быть выражена в следующих словах: "Британия прежде всего"[41]. По мнению лидеров БСФ, все граждане страны, так же как и различные организации, должны были в той или иной форме служить нации, которая объявлялась общностью высшего порядка[42]. Кроме этого, непременным и постоянным элементом пропагандистской деятельности БСФ являлось также настойчивое культивирование образа врага – он олицетворялся коммунистами, евреями, и представителями традиционных политических партий, ирландскими националистами. "Сегодняшний враг – это старая банда существующего парламентаризма, завтрашний враг... это коммунистическая партия", – писал Мосли в книге "Более Великая Британия", "старой бандой" именуя как раз традиционные английские партии[43].

Создание гиперболизированного образа врага служило не только цели мобилизовать и сплотить массы на основе противодействия тем,

кого лидер БСФ провозглашал врагами нации, но и являлось обоснованием для другого не менее важного направления пропагандистской деятельности Союза. Лидеры фашистской организации на протяжении практически всего времени существования БСФ (особенно в условиях экономического кризиса и первых лет выхода страны из него) упорно пытались внедрить в сознание британцев, что страна находится на грани краха. "Британию не может не постичь катастрофа или потеря всех ее позиций в мире", – утверждал Мосли на страницах книги "Более Великая Британия"[44]. "Крах всей системы", "провал демократии", "гибель старой цивилизации", – так вождь БСФ характеризовал в различных изданиях Союза состояние как Британии, так и всего западного общества[45]. Выступая с подобными оценками, руководство фашистов фактически стремилось возродить и использовать в своих целях один из существенных элементов эмоционально-психологического состояния индивида в условиях войны – ощущение серьезной угрозы, беспокойства и страха. Напряженная атмосфера неуверенности создавала бы благоприятную психологическую основу для ведения фашистской пропаганды, овладения сознанием населения и в конечном итоге подчинения британцев своему влиянию.

Нетрудно увидеть, что пропагандистская деятельность БСФ при всей ее специфике и характерных особенностях по своей общей направленности имела много схожего с агитационно-пропагандистской практикой, имевшей место в Британии в годы войны: это и экзальтация национальных чувств, и использование популистских лозунгов, и культивирование образа врага[46]. С последним из отмеченных направлений пропаганды БСФ тесно было связано перманентное применение фашистами в своей политической практике насилия. Несмотря на то, что на страницах пропагандистских изданий БСФ, как правило, не велось открытой проповеди культа грубой силы, фашисты постоянно применяли методы откровенного запугивания в отношении политических оппонентов и некоторых этнических групп, провозглашавшихся лидерами Союза врагами Британии. Боевики фашистов провоцировали столкновения на своих митингах, терроризировали и преследовали евреев, порой срывали собрания и другие мероприятия своих политических оппонентов. Наибольшую известность получили события лета 1934 г. на митинге БСФ в лондонском зале "Олимпия", где фашисты устроили избиение тех, кто выражал несогласие с политикой БСФ или перебивал вопросами выступавшего с речью Мосли. Широкий резонанс в английском обществе вызвали также многочисленные случаи запугивания и преследования евреев членами БСФ в Восточном Лондоне летом и осенью 1936 г. Кроме этого, следует отметить, что фашисты не исключали возможность применения силы для прихода к власти, о чем в 1934 г. представители специального отделения полиции, следившие за деятельностью БСФ, информировали руководство Британии[47].

Использование фашистами тактики террора и соответствующих методов в стране с давними демократическими традициями и терпимостью к различным взглядам стало возможным и даже получило поддержку некоторой, хотя и незначительной, части населения не

только и не столько вследствие имевшего место определенного влияния континентальных фашистских движений на руководство БСФ, но и в значительной степени явилось отголоском мировой войны.

Первый глобальный военный конфликт, повлекший невиданное до того количество жертв и разрушений, вызвал изменения не только в материальной сфере, но и в общественном сознании народов воюющих стран. В Британии его воздействие было многопланово и неоднозначно по своим последствиям. Война, с одной стороны, привела к росту антивоенных и пацифистских настроений в стране, вызвала стремление многих англичан не допустить повторения кровопролития 1914–1918 гг. Отмеченные настроения наиболее ярко проявили себя в конце 1934 г. в ходе "плебисцита мира", когда из 11,5 млн опрошенных британцев подавляющее большинство высказалось за коллективную безопасность и разоружение[48].

Вместе с тем первая мировая война, продемонстрировав кажущуюся простоту и эффективность методов принуждения и директивных мер для решения различных социальных проблем, породила среди некоторых британцев веру в универсальный характер принуждения и насилия и возможность их применения в различных областях общественной жизни. Именно этим в первую очередь объясняется тот факт, что в Британии – стране с глубокими демократическими традициями – сразу после войны возник, как уже отмечалось, ряд общественно-политических организаций, готовых использовать в своей деятельности методы насилия и принуждения. В значительной мере эти же факторы в комплексе с влиянием континентальных фашистских движений обусловили повсеместное и демонстративное применение руководством БСФ террора и насилия в своей политической деятельности.

В связи с рассматриваемой проблемой показательны рассуждения одного из идеологов Союза фашистов В. Аллена, в которых методы БСФ косвенным образом соотносятся с массовым применением насилия в годы войны. «Либеральная демократия швырнула мужчин Европы в бойню 1914–1918 гг., и они добились "демократического" решения с помощью насилия, – писал В. Аллен. – Демократические теоретики смогли принять массовое насилие войны для достижения целей государства, а теперь выражают ужас и отчаяние, когда насилие распространяется на улицах как каждодневная политическая техника...»[49]. В этом отрывке несложно увидеть, что попытка "уличить" сторонников демократии в якобы непоследовательности в основном имела целью объяснить и оправдать применение фашистами террора с помощью такого аргумента, как массовое насилие, использовавшееся государством в период войны.

Лексика программных документов Союза выдавала приверженность его руководства тому наследию, от которого фашисты не хотели отказываться. При рассмотрении лидерами БСФ политической и социально-экономической ситуации в стране в 30-е годы они прибегали к рассуждениям о "врагах", "предательстве", о "необходимости сражаться за каждый дюйм", организовать "фронт продовольствия", вести "битву против сокращения заработной платы", "объявить войну" той

или иной социальной проблеме[50]. Дополняет картину влияния войны на мировоззрение руководства фашистов и тот факт, что тема борьбы и готовности членов БСФ использовать насилие получила заметное отражение в песнях БСФ. "Мы гордо отправляемся на битву... Мосли ведет нас на бой", "мы поднимаемся, чтобы бороться или умереть", "собирайся, молодая Британия, и маршируй с батальонами чернорубашечников" – эти и другие призывы, присущие скорее военным маршам, звучали в фашистских песнях и, как свидетельствовала конкретная деятельность членов БСФ, такие понятия, как "битва" и "бой" имели в устах фашистов отнюдь не метафорическое значение[51]. Война жила в образах и сознании руководителей Союза, лидеры фашистов мыслили в основном категориями военного времени. Это и неудивительно, так как немало членов БСФ, особенно среди руководства, были так же, как и его лидер, ветеранами войны[52].

Весной 1940 г., когда Британия уже была в состоянии войны с Германией, Освальд Мосли вместе с значительной частью руководства, а также наиболее активные члены БСФ были интернированы, что фактически ознаменовало прекращение деятельности Союза фашистов. Однако уже в 1943 г. Мосли был освобожден и вскоре после окончания второй мировой войны вернулся к активной политической деятельности. В 1948 г. он основал Юнионистское движение (ЮД), объединившее в своих рядах 51 организацию и группу праворадикального толка[53]. На протяжении последующих 14 лет Мосли был одним из признанных лидеров крайне правых сил Британии и Западной Европы. Его послевоенные взгляды в основном развивались в русле тех идей и представлений, которые он отстаивал в 30-е годы. Мосли был сторонником сильной власти и жесткой иерархической структуры управления, отстаивал идею активного государственного вмешательства в экономику страны, энергично выступал против притока в страну цветных иммигрантов[54]. Последняя позиция стала (как в 30-е годы антисемитизм) одной из центральных в программных установках ЮД. В 1962 г. Мосли предпринял попытку создать так называемую Национальную партию Европы, объединив в ее рядах праворадикальные силы нескольких западноевропейских стран, в том числе Германии, Британии, Бельгии и некоторых других[55]. Однако данное начинание не получило развития и вскоре после этого основатель Юнионистского движения отошел от политической деятельности.

Мосли был не единственным из бывших лидеров БСФ, кто после второй мировой войны, принимая участие в политической жизни страны, стал своего рода связующим звеном между правыми радикалами до- и послевоенного времени. А.К. Честертон, один из руководителей и постоянный публицист БСФ, в 1954 г. основал объединение крайне правой ориентации – Лигу имперских лоялистов, а в 1967 г. участвовал в создании самой влиятельной и крупной в послевоенный период праворадикальной организации в Британии Национального фронта (НФ), который вплоть до конца 80-х годов был заметным явлением в политической жизни Британии[56]. Руководство НФ отстаивало националистические и расистские идеи, использовало в своей

пропаганде популистские лозунги и обещания, энергично выступало против цветной иммиграции и порой применяло насилие и тактику запугивания в отношении некоренных британцев[57].

Как свидетельствуют факты, с окончанием второй мировой войны праворадикальные силы не только не исчезли с политической сцены Британии, но стали постоянным фактором общественной жизни страны. Представители этих сил, сумев модернизировать и приспособить к послевоенным реалиям многие идеи БСФ, фактически стали преемниками Союза фашистов, чьи программные установки и политическая практика в значительной степени сформировались под разносторонним и многоплановым влиянием первого глобального конфликта начала века. Таким образом, тот импульс, который был дан первой мировой войной развитию правого радикализма в Британии, явственно ощущался на протяжении практически всех последующих десятилетий XX в.

[1] *Taylor A.J.P.* English History. 1914–1918. Oxford, 1992. P. 73.
[2] *Morgan K.O.* Lloyd George. L., 1974. P. 103; *Соловьев С.А.* Развитие государственно-монополистического капитализма в Англии в годы первой мировой войны. М., 1985. С. 53.
[3] *Taylor A.J.P.* Op. cit. P. 42; *Fraser P.* The Impact of the War 1914–1918 on the British Political System // War and Society. L., 1973. P. 124.
[4] *Fraser P.* Op. cit. P. 125.
[5] Ibid.
[6] *Соловьев С.А.* Указ. соч. С. 65.
[7] Там же. С. 60.
[8] *Woodward L.* Great Britain and the War of 1914–1918. L., 1967. P. 458; *Соловьев С.А.* Указ. соч. С. 61, 67.
[9] *Woodward L.* Op. cit. P. 464; *Соловьев С.А.* Указ. соч. С. 69.
[10] *Mosley O.* National Policy. L., 1930. P. 23–35, 45–50.
[11] *Mosley O.* My Life. L., 1972. P. 264.
[12] *Webber G.C.* Patterns of Membership and Support for the British Union of Fascists // Journal of Contemporary History. 1984. № 4. P. 577.
[13] *Hansard.* House of Commons. Parliamentary Debates. Vol. 423. Col. 2140–2141; *Mosley N.* Beyond the Pale. L., 1983. P. 31–32.
[14] *Mosley O.* The Greater Britain. L., 1934. P. 24, 86.
[15] *Mosley O.* The Blackshirt Policy. L., 1933. P. 44; *Chesterton A.K.* Oswald Mosley. Portrait of the Leader. n.d. P. 154.
[16] *Mosley O.* The Blackshirt Policy. P. 71.
[17] *Marwick A.* The Deluge. British Society and the First World War. L., 1965. P. 332.
[18] *Mosley O.* My Life. P. 88.
[19] *Leaper W.J.* The Causes of Breakdown // Fascist Quarterly. 1935. № 2. P. 194.
[20] *Mosley O.* The Greater Britain. P. 26.
[21] Ibid. P. 92; *Moslye O.* Tomorrow We Live, (First Published in 1938) // *Mosley O.* My Answer. L., 1946. P. 104.
[22] The Labour Magazine. 1929. May. P. 6.
[23] Ibid.
[24] *Chesterton A.K.* The Corporate State. P. 23–24; *Mosley O.* My Life. P. 101, 172.
[25] *Morgan K.O.* Op. cit. P. 128; *Taylor A.J.P.* Op. cit. P. 28.
[26] *Morgan K.O.* Op. cit. P. 117.
[27] *Майский В.* [*Майский И.М.*] Ллоид Джордж. Пг., 1916. С. 30.
[28] *Гитлер А.* Моя борьба. М., 1992. С. 400.

[29] *Ленин В.И.* Империализм и раскол социализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 176.
[30] *Mosley O.* Fascism in Britain. P. 7; *Мэллали Ф.* Фашизм в Англии. М., 1947. С. 43.
[31] *Taylor A.J.P.* Op. cit. P. 40.
[32] Первая мировая война и ее воздействие на историю XX века // Новая и новейшая история. 1994. № 4–5. С. 127.
[33] *Mosley O.* Tomorrow We Live. P. 119.
[34] *Thomson A.R.* Why Fascism? Fascist Quarterly. 1935. № 2.
[35] *Bourne J.M.* Britain and the Great War. 1914–1918. L., 1989. P. 203.
[36] *Marwick A.* The Deluge. P. 212.
[37] *Bourne J.M.* Op. cit. P. 210, 233.
[38] *Marwick A.* The Impact of the First World War on British Society // Journal of Contemporary History. 1968. № 1.
[39] *Bourne J.M.* Op. cit. P. 232.
[40] *Webber G.C.* The Ideology of the British Right. 1918–1939. L., 1986. P. 145, 154–161; *Benevick R.* The Fascist Movement in Britain. L., 1972. P. 39; *Rubinstain W.D.* Henry Page Croft and the National Party. 1917–1922 // Journal of Contemporary History. 1974. № 1; *Cross C.* Fascism in Britain. L., 1961. P. 58.
[41] *Mosley O.* The Greater Britain. P. 13.
[42] Ibid. P. 155; *Mosley O.* Fascism: 100 Questions Asked and Answered. L., 1936. № 8; *Idem.* Fascist Philosophy // Fascist Quarterly. 1935. № 1. P. 39.
[43] *Mosley O.* The Greater Britain. P. 157.
[44] Ibid.
[45] *Mosley O.* Fascism in Britain. P. 2–4; *Idem.* The Blackshirt Policy. P. 59.
[46] Следует отметить, что пропагандистская практика периода первой мировой войны оказала немалое влияние не только на лидеров британских фашистов, но и на нацистское руководство. Гитлер писал: "...только во время войны стало ясно, какие гигантские результаты может дать правильно поставленная пропаганда". Один из руководителей НСДАП Й. Геббельс специально изучал опыт пропагандистской деятельности времен первой мировой войны с целью его использования для овладения умами населения Германии (см.: *Гитлер А.* Указ. соч. С. 147; *Герштейн Р.* Война, которую выиграл Гитлер. Смоленск, 1996. С. 91).
[47] Blackshirt. 1934. Jan. 19; May. 4, 11, 18; Public Record Office. Series Home Office 144. Box 20141. P. 307 – Special Branch Report 1.05.1934.
[48] *Трухановский В.Г.* Новейшая история Англии. М., 1958. С. 258–259.
[49] В. Аллен написал книгу под псевдонимом Дренан, см.: *Drenan J.* B.U.F. L., 1934. P. 210–211.
[50] *Mosley O.* The Blackshirt Policy. P. 7, 13, 17, 18; *Idem.* Tomorrow We Live. P. 10, 15; *Idem* The Greater Britain. P. 147; *Drenan J.* Op. cit. P. 265; Fascism for Million. L., 1936. P. 32–39; Blackshirt. 1933. March 18.
[51] Fascist Songs. n.d.; R.R. Bellamy. We Marched with Mosley P. 93.
[52] *Mosley O.* Fascism: 100 Questions Asked and Answered. P. VII; *Mandle W.F.* The Leadership of the British Union of Fascists // Australian Journal of Politics and History. 1966. № 3. P. 360–369.
[53] *Mosley O.* My Life. P. 432.
[54] *Mosley O.* The Alternative. L., 1947. P. 169–172, 176; *Idem.* My Life. P. 448–449.
[55] *Mosley O.* My Life. P. 434, 458.
[56] *Walker M.* The National Front. L., 1978. P. 61–67.
[57] *Жигалов И.И.* Неофашизм в Великобритании: истоки, цели, особенности // Вопросы истории. 1980. № 7. С. 67–68, 70.

КОНЕЦ САМОДЕРЖАВИЯ И ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПУТИ

(Русская пресса 1917 года об американском опыте)

С.В. Листиков

Начальная стадия постсоветского периода существования российского общества отмечена бурными дискуссиями о путях его развития. Для определенных социальных сил особо притягательной представляется западная (прежде всего американская) модель, приветствуется всеобъемлющее сотрудничество со странами Западной Европы и США по самым различным направлениям – от внешнеполитического и военного до экономического, заимствование их опыта государственного строительства и правового нормотворчества. В истории эти силы не раз вступали в оживленную полемику с оппонентами, настаивавшими на "особности" пути России, его своеобразии и неподражаемости, делающими бесплодными любые попытки трансплантировать западный опыт на русскую почву[1].

Новый всплеск дискуссии не случайно пришелся на тот критический для судеб России 1917 год, когда участие в мировой войне слилось с революционными потрясениями, спутавшими все первоначальные прогнозы и планы общественного переустройства[2]. После Февраля размышления по поводу обустройства российского общества с учетом западного опыта захватили прежде всего интеллигенцию и образованные предпринимательские круги. И не только в силу их более близкого, чем у других социальных слоев, знакомства с культурой стран Европы и Америки. В результате стихийного народного возмущения политическая власть оказалась в руках буржуазии, застигнутой событиями врасплох и не имевшей готовых рецептов для решения вставших перед нацией сложнейших общественных проблем. Вот почему дискуссия о совместимости российского пути с намеченными западными демократиями и США социально-экономическими и политическими ориентирами развития выплеснулась прежде всего на страницы таких газет и журналов, как "Речь" – центральный орган партии кадетов и "Русская мысль", отражавшая взгляды правого крыла этой партии; прогрессистское "Утро России", издававшееся крупным промышленником и банкиром П.П. Рябушинским и говорившее от имени московских деловых кругов; либеральное "Русское слово"; суворинское консервативное "Новое время".

Оказавшееся для многих неожиданным свержение царизма в России и очевидное сползание США к вступлению в войну на стороне держав Согласия совпали по времени. И как одна из наиболее ярких моделей западных демократий, и перспективный союзник, США привлекли пристальное внимание и симпатии российской либерально-демократической прессы. Она предрекла неизбежное сближение между великой

© С.В. Листиков

демократией Нового Света и обновленной Россией, утверждая, что свержение царизма устранило моральные преграды, препятствовавшие участию США в войне в рядах антигерманской коалиции[3]. Со своей стороны политическая элита и бизнесмены США приветствовали внутриполитические изменения в России. И, как иронизировал в своей корреспонденции наблюдавший за этой реакцией в США русский политэмигрант В. Керженцев, начали "создавать практические планы экономического использования происшедших (в России. – *С.Л.*) политических перемен"[4].

В России идею широких подходов к экономическому сотрудничеству с США активно отстаивал вернувшийся незадолго до Февраля на родину уполномоченный Центрального военно-промышленного комитета (ЦВПК) в Америке профессор Б.А. Бахметьев, выдвигавший тезис об "аполитичности" американского (в отличие от европейского) капитала. У него нашлось немало сторонников, утверждавших, что в России американский доллар может выполнить "цивилизаторскую" миссию – в противном случае в поисках возможностей более благоприятных он "утечет" в другие страны. В опубликованной в "Новом времени" статье "Откровение из Америки" обозреватель газеты М.М. Меньшиков уподоблял Россию "беспечному и малосведущему барину, ниценствующему в большом имении", а американского бизнесмена сравнивал с энергичным и культурным арендатором, способным привести чужое хозяйство в цветущее состояние[5].

Однако в предпринимательских кругах России проекты Бахметева были встречены настороженно, если не сказать враждебно. Мнение многих деловых людей выразило "Новое время", подвергшее их весьма аргументированной критике. "Оказывается, что, по мнению некоторых специалистов, американский капитал – это особенная безобидная разновидность", – язвил по поводу заявлений Бахметева дававший комментарий к ним В.Г. Кривенко[6]. Газета широко использовала идею патриотизма, увязывая защиту отечественного предпринимательства от посягательств иностранного капитала с национальными интересами державы. Общая идея многих выступлений – не успели мы избавиться от засилья немецкого капитала, как снова в кабалу лезем, на этот раз американскую. Привлечение иностранных капиталов, утверждалось в ряде статей, не оправданно в первую очередь потому, что доходы российских предпринимателей в годы войны резко возросли и наблюдается избыток собственных ("Неужели мы в таком безвыходном экономическом турецком тупике? А еще кричат об изобилии денег на рынке"[7], – вопрошало "Новое время"). Во-вторых, потому, что в России утвердилась порочная практика их использования: "Мы занимали за границей деньги или привлекали искусственный капитал в нашу промышленность исключительно с целью оплаты наших старых заграничных военных займов, а взамен полученной таким путем необходимой нам заграничной валюты выдавали иностранным предпринимателям русскую валюту из наших внутренних ресурсов, за счет которых иностранцы и создавали в России новые промышленные предприятия. Таким образом, привлекался не иностранный капитал, а иностранные предприниматели"[8].

Тезис об "аполитичности" американского капитала "Новое время" считало по меньшей мере несерьезным. Полемизируя с Б. Бахметьевым, В.С. Кривенко отмечал: «"Политическими целями они не занимаются", – скажут нам. Да где же точная грань иностранной политики от защиты экономических интересов иностранных подданных, оперирующих на территории другого. не своего государства?»[9].

Практика американского капитала в России убедила многих в том, что его помощь оборачивается делом исключительно прибыльным не для тех, кому она предназначена, а для самих зарубежных "благодетелей". На заседании экономического клуба в феврале 1917 г. крупный финансист и промышленник А.И. Путилов вызвал сенсацию вопросом: "Была ли Америка готова принять и выполнить в срок наши заказы 1915 г.?" Он обрисовал и "авансы американцам, и их неподготовленность к выполнению заказов и вообще те ошибки, которые имели результатом запоздание доставок для нас и обучение американцев за наш счет. Таким образом мы – славу Богу! – получили необходимое не из Америки, а Америка зато приобрела опыт, знание и оборудованные заводы"[10].

Стремление возможно более ограничить вторжение американцев в высокодоходные сферы российской экономики и сохранить в ней командные высоты за отечественными предпринимателями было выражено весьма определенно в печати и на форумах предпринимателей. Эта тенденция наглядно проявилась при обсуждении в феврале 1917 г. вопроса об американской концессии на распоряжение дорогой от Москвы к Донецкому каменноугольному бассейну[11]. На заседании 1(14) февраля 1917 г. под председательством члена Государственной Думы А.А. Бубликова в присутствии членов перевозочного отдела ЦВПК, представителей различных железнодорожных обществ было заявлено, что "министерство путей сообщения и министерство финансов предлагают предоставить концессию на постройку магистрали в Донецкий бассейн группе крупных русско-американских капиталистов". С американской стороны назывался "Нэшил сити банк". Его русских партнеров представлял член Совета Сибирского банка Ф.А. Линский, сообщивший, что предложение американцев стало результатом проведенного ими летом 1916 г. изучения перспектив экономического развития южного района России и состояния его железных дорог[12].

В общем, иронизировало "Новое время", "милые американские капиталисты, понятно, изъявили готовность выложить более полумиллиарда рублей не с благотворительной целью, а пожелают извлечь возможно более дохода"[13]. За предоставление концессии выступил Б.А. Бахметев. Тональность совещания определяли, однако, ее противники. "Представители некоторых железных дорог", и среди них М.П. Федоров, Е.А. Могилянский, выразили сомнения в доходности столь дорогостоящей железнодорожной магистрали. Представитель Всероссийского городского союза А.Н. Фролов призывал к осторожности, поскольку перспективы российско-американских отношений не ясны и после войны "может измениться экономическая и политическая ситуация"[14].

Еще более жесткую критику встретил проект на "многолюдном" совещании под председательством влиятельного предпринимателя, товарища председателя Московского биржевого комитета Н.С. Третьякова на Московской бирже. В телеграмме, которую собрание московских промышленников и банкиров уполномочило Н.С. Третьякова направить председателю Совета Министров, министру торговли и промышленности, отмечалось, что строительство магистрали "представляется по государственным соображениям более предпочтительным на русские деньги". Раскрывая опасения московских деловых кругов, резолюция гласила: "Война наглядно показала, как легко при свободном обращении акций даже чисто русские предприятия превращаются в действительности в иностранные, причем во главе управления оказываются капиталисты и банки враждебных нам стран"[15].

Иными словами, в документе усматривалась прямая зависимость между медленной, ползучей, защищенной соответствующими правовыми нормами экономической экспансией в России и подготовкой прямой агрессии против нее. Извлекая печальные уроки из истории русско-германских отношений, московские деловые круги предупреждали против повторения ее в будущем, на этот раз в отношениях с США. А в том, что вслед за железными дорогами американцы попытаются прибрать к рукам и другие отрасли промышленности, русские предприниматели не сомневаются.

Следует считать, что их настороженный подход к перспективам делового сотрудничества с США стал одной из важнейших причин более замедленного, чем того можно было ожидать, его развития после Февраля 1917 г. Вместе с тем либеральная интеллигенция, деловые люди России внимательно анализировали опыт развития США в поисках рецептов решения собственных проблем. В связи с этим одним из главных стал вопрос о целесообразности и мере государственного вмешательства в экономическую жизнь страны.

Выступавший на страницах "Нового времени" под псевдонимом "Финансист" автор отмечал, что созданные в странах Запада государственным невмешательством в экономическую жизнь общества исключительно благоприятные условия для "организаторской промышленной деятельности и торговых частных операций" давно стали предметом зависти русской либеральной буржуазии. Ссылаясь, в частности, на американский опыт, "Финансист" полагал справедливым ограничивать прерогативы работодателя там, где того требовали общественные интересы, – в сфере охраны труда, трудовых отношений[16]. Выступая на Втором Всероссийском торгово-промышленном съезде в Москве 5 августа, П.П. Рябушинский говорил: "...не нужно придумывать ничего нового. А нужно идти к достижению определенной цели тем путем, который давно признан и применяется, как в Западной Европе, так и в Америке"[17]. Та же мысль содержалась в обращении "Ко всему крестьянству!" от Главного комитета Всероссийского крестьянского союза: во Франции, США "фабрично-заводская и сельскохозяйственная промышленность и торговля свободны от вмешательства государства и достигли колоссальных размеров"[18].

По мысли "Финансиста" в "Новом времени", в отличие от заокеанской республики предпринимательская деятельность в России не столько разумно регулировалась, сколько душилась бюрократическим контролем, "неумелым и произвольным" вмешательством правительства в промышленную жизнь страны[19]. Ту же идею высказывал на страницах этой газеты и экономист, профессор И. Озеров. Он полагал, что неоправданные государственные ограничения искусственно сдерживали развитие крупных промышленных объединений по типу действовавших в США в отраслях так называемого массового производства высокопродуктивных современных фирм[20]. Проблему регулирования трестов и синдикатов в России "Финансист" предлагал решать с учетом американского опыта. Там, где они душили конкуренцию и предпринимательскую инициативу, где происходило формирование частной монополии "с умышленным сжатием производства", порочную практику трестов следовало решительно пресекать. Там, где шел процесс естественного роста крупных высокоэффективных фирм, его следовало всемерно поощрять[21].

Сложности, однако, начинались там, где решался главный вопрос: как использовать американский опыт в условиях России? Как убрать неразумные бюрократические ограничения, налагаемые на действия промышленников, и перейти к их разумному регулированию, преобразовать вчерашнего закостенелого бюрократа в требовательного, но здравомыслящего администратора? Как реорганизовать громоздкий аппарат управления экономикой, сложившийся при царском режиме, в эффективный, лишенный коррупции, целиком подчиненный задачам победы в войне? Как определить долю и меру государственного регулирования в весьма специфических условиях войны? Опыт США убеждал российских политиков и экономистов, что они должны быть существенно расширены. "Америка, не успевши выслать на фронт ни одного солдата, уже начала вмешиваться в дело продовольствия. Это есть неизбежные последствия мировой войны", – признавал министр финансов кадет А.И. Шингарев, выступая на Всероссийском съезде по хлебному делу[22].

В целом же эти вопросы оставались без ответа. Тем более, что в условиях нараставшего кризиса, специфической обстановки двоевластия, нараставшего движения снизу за рабочий контроль над производством давать какие-либо рецепты их решения было крайне трудно. Профессор И. Озеров опасался, что советы начнут плодить бюрократию почище той, которая существовала при царском режиме. Они будут, писал он, назначать "для направления якобы деятельностью трестов и синдикатов" своих представителей, как правило, людей малосведущих, что в конечном счете сведется к "убиению промышленности"[23].

Те же мысли о желательности, но, в силу специфики сложившейся в стране общественно-политической ситуации, невозможности использования американского опыта посещали И. Озерова при анализе положения в сельском хозяйстве России. Он признавал, что в условиях обострявшегося в стране кризиса реализация требований о наделении

крестьян землей неизбежна и соответствует широко распространенным в народе представлениям о справедливости. С другой стороны, ссылаясь на успехи американского сельского хозяйства, Озеров утверждал, что, с научной точки зрения, процесс дробления земельной собственности едва ли оправдан. Он полагал, что современные методы хозяйствования с применением машин и новейших достижений науки предполагают наличие в руках землевладельцев обширных площадей. Отсюда следовал вывод: наиболее целесообразной была бы эволюция крупных земельных владений в высокопродуктивные хозяйства американского фермерского типа. Заглядывая в будущее, И. Озеров считал возможным последующее кооперирование в России мелких крестьянских хозяйств "в целях применения в них сельскохозяйственных машин"[24].

Обращение к политическому опыту передовой американской демократии видевших в ней образец для России многих политиков, ученых, предпринимателей в послефевральской России было естественным. В июне 1917 г. профессор Н.Н. Алексеев торопил лидеров новой России с выбором приемлемой модели "политического обустройства" общества. И не случайно, поскольку возникшее после Февраля в стране "коллегиальное устройство" – Временное правительство – весьма напоминало Н.Н. Алексеву директорию во Франции (4 ноября 1795 г. – 11 ноября 1799 г.). Профессор считал его "анонимным, безответственным, слабым", не способным обеспечить стабильность в стране, что приведет ее к диктатуре или "комитетов", или "отдельных лиц"[25].

Либеральная пресса убеждала публику, что идея республиканского образа правления по типу США находит в России самую широкую поддержку, став естественной реакцией народа на свержение опостылевшей за многие поколения тирании. "Русское слово" ссылалось, в частности, на сообщение из Иркутска от 14 марта 1917 г. о приговоре волостного съезда крестьян и инородцев Кузьминской волости, передававшем настроения русской глубинки: "Конституционный образ правления теперь является запоздалым и отсталым, и народ жаждет народного правления. Солдатам нашим дорогим шлем поклон земной... При этом был бы желателен республиканский образ правления, с избранием президента по образу Америки и Франции"[26].

Принимая систему политических институтов США в целом, многие представители демократии в России были тем не менее склонны воспринимать различные ее элементы и стороны весьма критически. События февраля 1917 г., когда попытка президента при поддержке большинства Конгресса и, как полагала либеральная пресса, большинства народа вооружить торговые суда против немецких подводных лодок была блокирована дюжиной сенаторов-"заговорщиков" во главе с Лафоллетом, а свобода слова "обратилась теперь в орудие тирании этого меньшинства над всей великой нацией"[27], породили в России сомнения в наличии в США механизма руководства страной в кризисной ситуации.

Видимо, события, подобные этому, заставили приват-доцента В. Вышеславцева, ведшего в "Утре России" специальный раздел "Вопросы государственного строительства", анализировать проблему отно-

шений исполнительной и законодательной властей в США и Франции с прицелом на использование их опыта в России. Он утверждал, что сильная президентская власть является характерной чертой передовых демократий и, наоборот, американцы более опасаются "тирании" наделенного слишком широкими полномочиями парламента[28]. А вот один из лидеров кадетской партии юрист-государствовед Ф.Ф. Кокошкин придерживался иной точки зрения, предостерегая россиян от сильной президентской власти как первого шага к диктатуре. "Опасно по примеру Северо-Американских Штатов выбирать президента всем народом, – писал он. – Для президента-честолюбца это путь к абсолютизму. Необходимо оградить народ от таких экспериментов, а оградить можно только путем представления права избрания президента исключительно органам народного представительства"[29]. Профессор Н.Н. Алексеев не разделял этих опасений. По его мнению, достигнутое в США разумное разделение полномочий между федеральными и штатными структурами, органами исполнительной и законодательной власти, широкие права конгресса, ограничившие своеволие президента, надежно гарантировали стабильность и господство демократических порядков в американском обществе. Впрочем, колебания своих коллег Н.Н. Алексеев считал естественными, типичными для последовавшего за революцией переходного периода и характерными для страны, вышедшей из борьбы с "царизмом и самодержавием"[30].

Возможность использования американского опыта в России, с присущими только ей политическим своеобразием и традициями, в условиях поразившего страну социально-политического кризиса многим казалась спорной. Об этом писал историк, профессор Московского университета Р. Виппер, размышлявший о перспективах реализации в России "англосаксонской затеи" – созыве Учредительного собрания. Ученый считал неуместной аналогию между этой формой перехода к российской демократии и американским Конституционным конвентом 1787 г. прежде всего в силу совершенно разных условий, в которых находились обе страны в период революционного кризиса. В США уже в конце XVIII в. наблюдались зрелость экономических форм, социальных структур, юридических установлений на уровне штатов, по существу готовое, совершенное государственное устройство, над которым оставалось воздвигнуть "крышу" в виде федеральной конституции. В России 1917 г. перед обществом стоят задачи иного порядка: отражение внешней агрессии, решение острейших социально-экономических проблем (продовольственная, земельная), постепенная подготовка условий для создания стабильной системы политических институтов. Так что скорее, утверждал Виппер, напрашивается аналогия между будущим Учредительным собранием в России и Конвентом 1793 г. во Франции. Конвент, с одной стороны, подготовил демократическую конституцию, но проявил большую "сдержку и осторожность" в вопросе ее провозглашения – ввиду иноземного нашествия, а также внутренних смут. С другой – Конвент "сумел сплотить патриотические группы общества, дать отпор внешнему врагу и подавить внутреннюю анархию", "спас страну в самый тяжелый момент ее существования"[31].

Анализ происходивших в американском обществе процессов нередко использовался либерально-демократической печатью для более углубленного анализа общественно-политического кризиса в России, предвещавшего новую революционную бурю, причин усиления влияния социалистических и радикальных сил в низших слоях общества. Охвативший массу граждан США дух наживы, жажда обогащения на войне симпатий не вызывали; процветание Америки в 1914–1917 гг. считалось нестабильным, вызванным благоприятными, но временными обстоятельствами войны. "Золотое ожирение" нередко рисовалось источником болезней американского общества, увеличивающим его имущественное и социальное расслоение, создающим социальную напряженность (русские наблюдатели в США не прошли мимо такого явления, как стихийные выступления иммигрантских масс в крупных городах США ("голодные бунты") весной 1917 г.)[32]. Однако, как справедливо отмечал на страницах "Нового времени" некто Е. Егоров, острота социально-политического противостояния в США и отдаленно не напоминала российскую, где в сознании определенных радикальных сил целые социальные группы ассоциировались с крайней реакцией и подвергались сознательной травле. "Разве во Франции или Соединенных Штатах Северной Америки нет генералов, адмиралов, финансистов, землевладельцев, заводчиков? Разве они мечтают учредить в своих странах неограниченную монархию?" – недоумевала газета[33], полагая, что перечисленные категории граждан и в России выполняют конструктивную роль, работают на благо отечества.

Русским либералам оставалось только горько сожалеть, что в отечественном рабочем движении не сложилось мощного консервативного профцентра по типу Американской федерации труда (АФТ). В годы войны верхушка его стояла на позициях гражданского мира, безоговорочно одобряя внешнеполитический курс В. Вильсона, поддерживая движение предпринимателей за эффективность производства (на эту сторону деятельности американских тред-юнионов обратил внимание П.П. Рябушинский, выступая на Втором Всероссийском торгово-промышленном съезде в Москве) и ограничивая свои задачи борьбой за улучшение материального положения рабочих правовыми средствами (коллективный договор, арбитраж). Сколь контрастно смотрелись они на фоне массовых, нередко насильственных действий захваченных социалистическими идеями, исповедовавших идею классового противоборства российских рабочих? Профессор И. Кулишер писал в "Утре России", что англосаксонские страны изжили их еще в конце XVIII – начале XIX в., когда ушли в прошлое "разрушители машин"[34].

В поисках силы, способной остановить надвигающуюся анархию, "Новое время" задавалось вопросом: может ли национальная буржуазия взять на себя бремя ответственности за судьбы общества? И, отвечая на него, газета приходила к печальному выводу, что, в отличие от цивилизованных стран, где она играет роль лидера, для русской буржуазии эта ноша непосильна. "Русские капиталисты – народ в высшей степени инертный", предпочитающий вкладывать деньги в недвижимость, в банки, на вклады в государственные фонды, готовый

не только служить делу народного просвещения, но и подстроиться под "скудность народную" во имя получения прибылей. Если брать организаторов производства, организаторов труда, т.е. предпринимателей, то "в этом смысле буржуазии у нас почти нет", – такие жесткие характеристики содержались в статьях "Организация труда", "Машина и книга", опубликованных в "Новом времени"[35]. В сочетании с политической пассивностью возникал весьма неприглядный образ, не вселявший никаких надежд на успешное и долговременное пребывание русской буржуазии у власти и, наоборот, позволявший строить более чем пессимистические прогнозы на будущее. Не скрывая своего скептицизма, "Новое время" стремилось говорить всю правду – даже самую горькую, пыталось дать анализ происходящего, лишенный односторонности.

На страницах той же газеты предрекал близкую трагедию "Финансист", утверждая, что приход к власти социалистов, поддержанных серой, озверевшей от тягот и потерь войны народной массой, смена общественно-политических устоев и форм собственности лишь усугубит кризис в стране. В условиях враждебного капиталистического окружения социалистический эксперимент в России неизбежно обречен на поражение. "Мы понимаем точку зрения нашей либеральной буржуазии. Она совпадает с такой же точкой зрения буржуазии западноевропейской и американской. Раз мы живем не на изолированном от внешнего мира острове и связаны тысячами деловых нитей с другими государствами, мы не можем заводить свой экономический строй, – перейти от капитализма к социализму, – считал этот автор. – Иначе мы окажемся в полной невозможности конкурировать с более нас просвещенными и богатыми странами, и наша молодая, не окрепшая и находящаяся в полной зависимости от иностранного капитала и иностранной предприимчивости промышленность должна неминуемо погибнуть"[36].

Ту же эволюцию – от эйфории к черному пессимизму – претерпели взгляды либеральной печати по вопросу об участии России в войне и внешнеполитическом сотрудничестве с западными демократиями. После Февраля весьма распространенным было мнение о том, что присоединение США к антигерманскому блоку обеспечит ему победу[37]. Некоторое время газеты либерального направления писали о надежде на благоприятный для России исход мировой войны. Казалось, еще немного терпения – и перед страной откроются самые широкие перспективы: достойное партнерство с союзниками по Антанте, участие в качестве великой державы на мирной конференции, где Россия будет вознаграждена за понесенные ею громадные потери и жертвы и где будут учтены ее внешнеполитические интересы.

Вот почему в России с таким напряженным вниманием следили за действиями известного своими миротворческими усилиями президента США, сумевшего еще недавно – в январе 1917 г. – вызвать бурную полемику в мировом общественном мнении речью "О мире без победы"[38]. Тогда, однако, российские либералы были единодушны в осуждении лейтмотива речи – призыва к восстановлению status quo ante

bellum. В сочетании с ним, утверждало "Новое время", самые привлекательные глобальные планы вроде создания Лиги для поддержания мира, равенства народов, свободы морей и торговли, мира без аннексий и контрибуций превращаются в бесплодную фантазию[39]. Гибкое маневрирование политического руководства США на протяжении последующих месяцев, когда оно круто повернуло к войне с учетом динамики военно-политической ситуации в Европе, ухудшения германо-американских отношений, развития движения "готовности", было с энтузиазмом встречено либералами в России.

Однако в самой России весной позиции открытых сторонников продолжения войны, включая либералов, оказались существенно подорванными. Вместе с тем они не приняли вызванного ростом антивоенных настроений в стране маневрирования эсеро-меньшевистского руководства Петроградского Совета, с марта развивавшего политику "революционного оборончества". В ней идея защиты завоеваний свободы от посягательства внешнего врага увязывалась с активной деятельностью, нацеленной на скорейшее заключение всеобщего мира на основе принципов "мира без аннексий и контрибуций" и права наций на самоопределение. Западные союзники приглашались к диалогу о путях его достижения, к выработке единой демократической программы войны; идея сепаратного мира отвергалась[40]. Что касается либералов, то они воспринимали мирные формулы петроградских социал-реформистов как прямую угрозу перспективе победоносного завершения войны; в худшем случае, как результат германской интриги, в лучшем – как безответственное политическое мечтательство, фантазерство наивных пацифистов[41].

Лозунги российских оборонцев во многом напоминали январскую декларацию президента США, на чью поддержку в своих миротворческих усилиях русские социалисты, видимо, весьма рассчитывали. Однако лидер вступившей в войну нации Вильсон в апреле–мае 1917 г. весьма отличался от Вильсона январского образца. Его послание Временному правительству от 9(22) мая, ставшее своего рода ответом на инициативы Петросовета, было выдержано в духе "войны до победного конца" и вызвало восторг у открытых сторонников войны в России[42]. Социалистов же, по замечанию П.Н. Милюкова, оно привело в "смущение, которое сменилось раздражением и негодованием"[43], надежды на поддержку их мирных лозунгов президентом США оказались напрасными.

Тактически Вильсон поступил весьма гибко, не отвергнув лозунгов российских социал-демократов. Но он снабдил их такими оговорками, что ни у кого не оставалось и тени сомнения в намерении президента вести войну до победы, согласовав конкретные вопросы территориальных изменений и репараций с требованиями союзников по антигерманской коалиции. Передавая смысл речи президента, "Новое время" отмечало, что он выступил против всех насильственных аннексий, но вполне допускал передачу территорий "из рук в руки" с целью "доставления тем, кто ее населяет, справедливой возможности жизни и свободы"; ратовал против контрибуций, но высказывался за

вознаграждение пострадавших от агрессии народов, "уплату за явно причиненный вред". «Что касается формулы "мир без аннексий и контрибуций", то важна не сама формула, а то, что мы понимаем под ней. Мы, американцы, готовы согласиться со всеми толкованиями этой формулы, так как мы от войны не ищем ни аннексий, ни вознаграждений или контрибуций», – так разъяснял позицию Вильсона общественности России находившийся в этой стране во главе специальной миссии Э. Рут[44].

Воодушевленные российские либералы справедливо считали, что ответ Вильсона стал сильнейшим ударом по пацифистам в Петрограде. "Речь" имела все основания противопоставить "простоте и здоровой откровенности" президента США воздушные замки петроградских социалистов. Газета сожалела, что ответ не прозвучал месяцем раньше: многие лидеры Петроградского Совета могли бы за это время одуматься и занять более четкую провоенную позицию[45]. Теперь сторонники скорейшего мира на основе принципов "мира без аннексий и контрибуций" потеряли чувство реальности и не осознают, что не располагают средствами для осуществления своей мирной затеи, комментировала "Речь" поведение социалистов. Уговорить поддержать ее союзников и США, решивших сражаться до полной победы, не удастся. Сильный же ход в диалоге с ними – опубликование тайных договоров царского правительства – будет воспринято членами антигерманского блока как прямое предательство. Газета полностью солидаризовалась с заявлением Милюкова о том, что в Вашингтоне, Париже, Лондоне едва ли примут изобретенное новыми революционными властями в Петрограде деление российской дипломатии последних лет на "царскую" и "Временного правительства": там признают только "общую союзническую"...[46]

Не находя практических средств воздействия на правительства Антанты, язвило "Новое время", Совет рабочих и солдатских депутатов полагается главным образом на декларации, надеясь «сочинить такое воззвание, перед которым не в состоянии будет устоять ни одно "капиталистическое" правительство наших союзников»[47]. Нереалистичность позиции петроградских социалистов либеральная пресса объясняла именно неверной оценкой ими политической ситуации в странах Запада, ложными надеждами на близость революционного взрыва там. Милюков с большим скепсисом воспринимал рассуждения о возможности скорой революции на Западе, "которая рассеет войну" и сигнал к которой даст Россия[48]. Для многих в интеллигентской и предпринимательской среде казались вполне убедительными размышления полемизировавшего с социалистами на страницах "Утра России" Н. Никольского. Он ставил перспективы революции в странах Запада в прямую зависимость от зрелости их социально-экономического и политического развития. "Нет, скажут мне, Германия накануне пролетарской революции. Это страна-то с полуфеодальным режимом, с пролетариатом, численно гораздо более слабым, чем в Англии, где не только нет признаков социальной революции, но мало признаков даже и социал-демократии? Я думаю, что социальная революция произойдет

ранее там, где раньше созреют для этого общественно-политические условия; если в Англии и Соединенных Штатах или во Франции таковых еще нет налицо, то тем паче – в Германии", – считал автор[49].

Поэтому и те декларации Вильсона, в которых звучала надежда на свержение Гогенцоллернов народом Германии, воспринимались либералами весьма скептически. В позиции Вашингтона им, однако, импонировало то, что возможная революция в Германии рассматривалась как подчиненное средство для устранения авторитарного режима в этой стране; в основном американцы полагались на силу оружия. Русские же социалисты якобы готовы были идти на мировую именно с правительством Германии.

Подытоживая свои размышления, "Новое время" с горечью признавало: видные американские политики лучше многих социалистических лидеров в России понимают сущность ее национальных интересов. "Но если мы сами перестали сознавать самих себя, – писала газета, – то, естественно, приходится другим давать нам элементарные уроки государственной мудрости". "Новое время" цитировало послание русскому народу, подписанное среди прочих Ч. Хьюзом, Т. Рузвельтом, Т. Эдисоном, Дж. Кеннаном, доказывавшими необходимость участия России в войне и получения ею проливов. Ведь в случае победы стран германского блока образование "великой европейской автократии" заглушит развитие России, перекрыв ей единственный выход к южному морю[50].

Выступая 10 сентября 1917 г. в Петрограде на встрече с русской общественностью, глава американской миссии Красного Креста У.Б. Томпсон высказывал мысль о необходимости принятия решительных мер по реорганизации русской армии – для борьбы как против врагов внешних, как и внутренних, не исключая и националистические сепаратистские силы. При этом он ссылался на примеры американской истории: Вашингтон "также рыдал по поводу дезертирства в рядах революционной американской армии", однако вслед за Велли-Фордж был Йорктаун. "Не новость попытки отпадения окраин, – говорил Томпсон. – Америка так недавно пережила великую гражданскую войну. Но в ней нашлись люди с твердой волей и национальным одушевлением, и Америка ценой сотен тысяч жизней лучших своих сынов осталась единой"[51].

По мнению "Речи", "Нового времени", негативные последствия пацифистской агитации русских социалистов легко просчитывались. Газеты солидаризовались в том, что она с неизбежностью толкала Россию к нарушению обязательств перед союзниками и фактическому разрыву с ними, к дрейфу в одном возможном направлении – к сепаратному миру с Германией[52]. Такая позиция не могла быть воспринята другими членами Антанты иначе, как предательство, вызвать иные чувства, кроме "омерзения и презрения"[53]. Союзники после вступления в нее США были обречены на победу, но выход из войны России был чреват ее затяжкой: "погибнет лишняя сотня тысяч человек с обеих сторон", считало "Новое время". Как полагала газета, Антанта могла легко восполнить потерю России за счет США,

располагавших неисчислимыми материальными и людскими ресурсами. Сообщалось и о возможном появлении на германском фронте японских частей[54].

Расставшись с Россией, другие члены антигерманской коалиции перестанут считаться с ее интересами, писало "Новое время", между тем как "до сих пор союзники не оспаривали наших притязаний и защищали их". Газета вспоминала неудачную операцию в проливах, высадку в Солуни, усилия Англии оттянуть турецкие войска от русских границ в Месопотамии[55]. Сегодня Россия столкнулась с угрозой политической и экономической изоляции от победителей. "Речь" цитировала резонную оценку событий Кливанским из правого "Дня": "С демократической Россией заговорили так, как не осмеливались говорить с царской Россией"[56]. На мирной конференции голос России не будет принят во внимание. "...Легко себе представить, с каким багажом мы предстанем на будущем всемирном конгрессе мира, какой вес там будут иметь наши требования...", – писал в "Утре России" в ноябре 1917 г.[57] автор под псевдонимом "ВН". Подобное развитие событий в глазах либералов было оскорблением для России: понесенные ею ради общесоюзнических целей в войне громадные жертвы оказались напрасными.

Весной 1917 г. либеральная пресса заговорила о возможных санкциях союзников против России. На страницах "Утра России" прорицанием звучали слова профессора Н.Н. Алексеева, давшего следующий прогноз: "Мы останемся (вскоре. – *С.Л.*) без денег, без оружия, без друзей. Восток наш открыт для Японии. Присоединение Америки создаст для наших восточноазиатских владений еще большую угрозу. Наш Север с Мурманом и Архангельском совершенно беззащитен"[58]. Бывшие союзники – "...накануне состояния войны с нами", констатировал тот же печатный орган в ноябре 1917 г., размышляя о возможных агрессивных акциях против России со стороны Японии и Румынии[59]. По мнению В.В. Шульгина, сознательно подогреваемое социалистами среди россиян враждебное отношение к странам Антанты во сто крат увеличивало риск столкновения с ними. "Началась агитация против союзников. Франция и Америка были объявлены буржуазными странами, с которыми нам надо бороться, как с русской буржуазией... Посев дал всходы, но плоды он даст еще в будущем", – пророчествовал Шульгин еще в мае 1917 г.[60].

Осенью 1917 г. в либеральных кругах нарастали настроения обреченности, осознания краха надежд на победоносное завершение войны и ожидания грядущей национальной катастрофы. Внешнеполитического сотрудничества со странами Антанты на основе "войны до победного конца" не получилось. Попытки открытых сторонников войны убедить русское общество сохранить верность союзническим обязательствам во имя будущих широких перспектив разбились о нежелание большинства народа и дальше нести тяготы войны. Либеральная пресса злорадствовала по поводу неудач мирных маневров петроградских социал-демократов. Последние же уперлись в глухую стену непонимания со стороны политиков Антанты, не посчитавшихся с тем, что их

жесткая политика давления на Россию во имя продолжения ею участия в войне может подтолкнуть ее к новым потрясениям – революции, гражданской войне и диктатуре. Опыт политики США и союзников по отношению к России между Февралем и Октябрем 1917 г. был печален. Необходимая гибкость отсутствовала, тенденция к сотрудничеству заглушалась эгоистическим стремлением использовать Россию, невзирая на тяжелейшие внутренние пертурбации, в войне, а в перспективе воспользоваться ее ослаблением при определении послевоенного мирового устройства (что предвидела часть русской прессы).

Два общества двигались как бы в противоположных направлениях. Американское – путем сплочения, погружения в войну не без умысла обрести в ходе ее новую роль для себя в международных делах. В русском – увеличилась внутренняя конфронтация, страна теряла способность к сопротивлению врагу, падал ее авторитет на международной арене. В критический момент выбора пути в России не нашлось много сторонников следовать примеру Запада. И не только в силу поразившего страну острейшего социально-политического кризиса. Против этого работали разные исторические традиции, политические культуры обоих народов. Перспективы русско-американского сближения оценивались осторожно еще и потому, что русский предприниматель, оберегая собственные позиции на внутреннем рынке, с опаской смотрел на перспективы широкого проникновения на него американского капитала и, испытывая инстинктивный страх перед надвигающейся революционной бурей, все же надеялся, что тучи пройдут стороной. В целом критический для России период от Февраля к Октябрю 1917 г. дал больше аргументов сторонникам вывода о невозможности заимствования западных моделей для нужд России, чем их противникам.

[1] *Качановский И.* Будущее либеральной демократии в России // Общественные науки и современность. 1995. № 2. С. 52–57; *Согрин В.В.* Взлет и падение российских утопий // Там же. № 3. С. 5–16; *Воронцова Л., Филатов С.* "Русский путь" и гражданское общество // Свободная мысль. 1995. № 5. С. 58–68. и др.

[2] Этот период под разными углами зрения исследован отечественными специалистами. В частности, русско-американские отношения в период от Февраля к Октябрю 1917 г. рассмотрены в следующих работах: *Васюков В.С.* Внешняя политика Временного правительства. М., 1966; *Игнатьев А.В.* Внешняя политика Временного правительства. М., 1974. Особенно хотелось бы отметить книгу Р.Ш. Ганелина (см.: *Ганелин Р.Ш.* Россия и США. 1914–1917: Очерки истории русско-американских отношений. Л., 1969), давшего глубокий анализ развития двусторонних связей в этот период. Нас же интересует весьма слабо освещенная тема восприятия в этот переломный момент печатными органами предпринимательских кругов и интеллигенции американского опыта, а также перспектив более тесного, всестороннего сотрудничества с США в условиях нараставшего в России кризиса.

Не обращались к этой теме специально и американские исследователи, посвятившие свои работы проблемам отношений России с союзниками и США в 1917 г. Среди них наиболее значимыми представляются труды: *Kettle M.* The Allies and the Russian Collapse. Minn, 1981; *Wade R.* The Russian Search for Peace. February–October 1917. Stanford, 1969; *Warth R.D.* The Allies and the Russian Revolution: from the Fall of the Monarchy to the Peace of Brest-Litovsk. Durham, 1954.

[3] Утро России. 1917. 7 марта; 10 марта.

[4] *Керженцев В.* Русская революция и Америка // Летопись. 1917. № 7–8. С. 255.
[5] Новое время. 1917. 11(24) февр.
[6] Там же. 1917. 3(16) февр.
[7] Там же.
[8] Там же. 1917. 17(30) мая.
[9] Там же. 1917. 3(16) февр.
[10] Там же. 1917. 4(17) февр.
[11] См. более подробно: *Гинелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 130–139. Газета "Утро России" так передавала суть американского предложения: "Протяжение дороги Москва–Луганск (двухпутная) и далее от Луганска до Мариуполя (однопутная) свыше 1000 верст. Стоимость сооружения – 550 000 000 руб. Американцы берутся строить на безгарантийном акционерном капитале в половине стоимости и в остальной половине стоимости облигационным капиталом. Срок концессии – 81 год. Право выкупа не ранее, чем через 25 лет, по выпускной цене большой доходности. Во время эксплуатации казна получает половину чистой прибыли сверх 12% на акционерный капитал" (Утро России. 1917. 4 февр.).
[12] Утро России. 1917. 4 февр.; Новое время. 1917. 3(16) февр.
[13] Новое время. 1917. 3(16) февр.
[14] Утро России. 1917. 4 февр.; Новое время. 1917. 3(16) февр.
[15] Русское слово. 1917. 25 февр. (10 марта).
[16] Новое время. 1917. 17(30) июня.
[17] Утро России. 1917. 6 авг.
[18] Там же. 1917. 12 марта.
[19] Новое время. 1917. 17(30) июня.
[20] Новое время. 1917. 23 июля (5 авг.).
[21] Новое время. 1917. 17(30) июня.
[22] Утро России. 1917. 11 мая.
[23] Новое время. 1917. 23 июля (5 авг.).
[24] Там же. 1917. 15(28) июля.
[25] Утро России. 1917. 4 июня.
[26] Русское слово. 1917. 15(28) марта.
[27] Новое время. 1917. 22 февр. (7 марта).
[28] Утро России. 1917. 14 июня.
[29] Русское слово. 1917. 25 марта.
[30] Утро России. 1917. 4 июня.
[31] *Виппер Р.* Политические мечты и действительность // Утро России. 18 окт. 1917.
[32] Утро России. 1917. 5 янв.
[33] Новое время. 1917. 10(23) марта.
[34] Утро России. 1917. 4 авг.; Утро России. 1917. 19 авг.
[35] Новое время. 1917. 23 февр. (8 марта); 1917. 17(30) мая.
[36] Там же. 1917. 17(30) июня.
[37] Русское слово. 1917. 23 марта (5 апр.); 24 марта (6 апр.).
[38] The Papers of Woodrow Wilson (далее – PWW) / Arthur S. Link, ed. Vol. 40. Nov. 20, 1916 – Jan. 23, 1917. Princeton, 1982. P. 533–539.
[39] Новое время. 1917. 12(25) янв.
[40] *Wade R.* Op. cit.
[41] Утро России. 1917. 22 апр.; Новое время. 1917. 28 апр. (11 мая).
[42] См.: PWW. Vol. 42. April 7 – June 23, 1917. Princeton, 1992. P. 365–367. To the Provisional Government of Russia. 1917. May 22.
[43] Утро России. 1917. 4 июня.
[44] Там же. 1917. 10 июня.
[45] Речь. 1917. 30 мая.
[46] Новое время. 1917. 31 мая (13 июня); Утро России. 1917. 23 апр., 15 мая; Речь. 1917. 5(18) мая.

[47] Новое время. 1917. 23 апр. (6 мая).
[48] Утро России. 1917. 19 окт.
[49] Там же. 1917. 25 апр.
[50] Новое время. 1917. 13(26) июня.
[51] Там же. 1917. 12(25) сент.
[52] Речь. 1917. 31 мая; Новое время. 1917. 10(23) сент.
[53] Новое время. 1917. 20 мая (2 июня), 10(23) сент.
[54] Там же. 1917. 28 апр. (11 мая).
[55] Там же. 1917. 20 мая.
[56] Цит. по: Речь. 1917. 31 мая.
[57] Утро России. 1917. 17 нояб.
[58] Там же. 1917. 23 апр.
[59] Там же. 1917. 17 нояб.
[60] Там же. 1917. 5 мая.

ВИЛЬСОНОВСКОЕ ПОНЯТИЕ "ЛИБЕРАЛЬНОЙ" ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ В ИМПЕРСКОЙ ГЕРМАНИИ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ллойд К. Гарднер
(США)

"Этот вселенский кошмар породил идеи, которые овладевают душами людей", – писал преданный в 1919 г. вильсонизму Уолтер Липпман. Старая борьба великих держав, утверждал он, переросла в потрясающую "мировую революцию". Сейчас все забыли о понятиях "стратегические границы", "колонии" и о многих других. "Они были вехами в войне дипломатов, – продолжал известный публицист. – Сегодня вмешательство Америки в войну и революция в России изменили видение будущего. Поскольку развиваются демократии, система ценностей претерпевает изменения"[1].

Захваченные эмоциональной волной вильсоновского крестового похода под лозунгом "Обеспечим стабильный демократический мир", уверовавшие в исключительность миссии американской нации, интеллектуалы США полностью поддержали участие страны в войне. Для них Февральская революция в России, как считал Липпман, "изменившая систему ценностей", не ограничивалась событиями в России и решением президента Вильсона объявить войну, а заключалась еще и в новом осознании самих себя. Подлинная суть липпмановских слов в следующем: Соединенные Штаты должны были вступить в войну не для того, чтобы стать частью окружающего их мира, а чтобы этот мир

© Ллойд К. Гарднер

не смог воспрепятствовать осуществлению роли, предопределенной для Америки. 25 лет спустя во время другой войны во имя "обеспечения стабильного демократического мира" Уолтер Липпман куда более скептически оценивал то, чего могла добиться либеральная демократия. А когда началась "холодная война", он предупреждал против предложенной Джорджем Кеннаном концепции "сдерживания" как непрактичной или даже опасной установки для проведения национальной политики. Как он полагал, "сдерживание" поднимало идеологию выше всех иных соображений в соперничестве между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Следствием реализации постулата Кеннана, по его мнению, стала бы постоянная борьба за подавление любой новой идеи, где бы она ни возникала[2]. "Нашей целью, – писал Липпман, – не должна быть организация идеологического крестового похода". Не следует делать джефферсоновских демократов из крестьян Восточной Европы, племенных вождей, феодальных лордов, падишахов или военных диктаторов Ближнего Востока и Азии. Надо просто не допустить возникновения войны и восстановить независимость европейских стран, убрав с их территорий армии, включая и американскую[3].

Восстанавливая в памяти картины Парижской мирной конференции, Липпман продолжил старую борьбу с вильсоновским универсализмом. Однако его трактовка доктрины "сдерживания" представляла собой откровенное преувеличение предложений Кеннана. Последний не пришел в ужас от понимания Липпманом политики "сдерживания", являвшего собой обратное тому, что он хотел выразить. Вместе с тем, он не мог не встретиться с большими трудностями при объяснении своей позиции, обнаруживая в ней элемент той дилеммы, с которой Вильсон столкнулся в Париже.

В неотправленном письме Липпману, проект которого лечившийся от язвы желудка Кеннан составлял в госпитале, автор статьи "X" в "Форин Афферс" предложил иное толкование своих взглядов. Кеннан объяснял: он не имел в виду, что русские готовились вторгнуться в какую-либо страну и что "сдерживание" означало размещение войск по периметру советских границ. Но он допускал, что совершил ошибку, не прокомментировав то место в знаменитой статье "X" об источниках советского поведения, где говорилось о том, что необходимо противодействовать русским неизменной контрсилой "в каждом случае там, где они демонстрируют признаки посягательства на интересы свободного мира". То, что он имел в виду, совпадало с мнением Липпмана о задачах Америки в "холодной войне": защита Соединенного Королевства, долины Рейна и Японии[4]. Однако, как могла обнаружить себя существующая угроза? Кеннан не считал, что она исходит от возможного вторжения Красной Армии в страны Западной Европы. Он объяснял, что Советы предпочитали делать эту работу политическими методами, руками своих приспешников в этих странах. Угроза насилия официально будет иметь характер внутренний, а не международный. «Политика "сдерживания" связана с усилиями побудить другие народы сопротивляться подобному насилию и защитить внутреннюю целостность их страны»[5], – писал Кеннан.

Иными словами, следовало различать предполагаемый универсализм доктрины Трумэна, который (с этим Кеннан соглашался) был особенно опасной разновидностью вильсоновского универсализма, и конкретный план Маршалла, нацеленный на экономическое и политическое возрождение Западной Европы. Однако было ли возможно на практике сохранить это различие? Существует масса доказательств, что интерпретировавшие статью Кеннана американские лидеры, какие бы ограничения (или, если быть более точным, мысленные оговорки) он не выдвигал в связи с понятием "сдерживания", истолковывали ее в вильсоновском духе. И действительно, что может быть более вильсоновским по духу, чем последний параграф статьи "X" в "Форин Афферс"? Вот что там говорилось: "Вдумчивый обозреватель русско-американских отношений не найдет причины сетовать на вызов Кремля американскому обществу. Он скорее испытает чувство определенной признательности Провидению, которое, столкнув американский народ с этим бескомпромиссным вызовом, поставило целиком всю безопасность нации в зависимость от ее способности к сплочению и принятию на себя ответственности морального и политического лидерства, бремя которого история явно собирается возложить на американцев".

Сравним это утверждение Кеннана с вильсоновскими высказываниями в лекции, обращенной к учителям в 1918 г. "Под вашим руководством, – говорил Вильсон, – дети должны прийти к пониманию того, что существуют высшая логика событий и Божие Провидение в том, что Соединенные Штаты и Германия, первые как наиболее последовательный защитник новой веры человечества, а вторая как наиболее последовательный представитель старой автократии, могут править миром, и под вашим руководством дети должны осознать суровую необходимость и величайшую привилегию, которая предоставлена Соединенным Штатам – быть главным толкователем для мира тех демократических принципов, которые, как мы верим, составляют единственную силу, способную покончить с несправедливостями и принести мир и счастье человечеству"[6].

Стоит привести высказывание весьма авторитетного и не менее известного эксперта Генри Киссинджера о том, что такое либеральное видение Вудро Вильсоном исторической миссии Соединенных Штатов в действительности предвосхищало политику "сдерживания", а вовсе не было ее антитезой. Киссинджер пишет: «Представление об Америке как благодетельном мировом полицейском... предугадывало политику "сдерживания", которая будет разработана после второй мировой войны... Государственные деятели, даже военачальники концентрируются на мире, в котором они живут; для пророков же реальный мир – тот, который они хотят создать»[7].

Здесь стоит отметить, что влияние наследия Вильсона всегда было очень заметным в Соединенных Штатах, поэтому не играет никакой роли, какой язык использовал Кеннан, когда пытался указать американской дипломатии новые цели. Вот почему его взгляды стали рассматриваться У. Липпманом и другими более поздними "реалистами" как вариации знакомой темы. И в самом деле не существует никакой

иной традиции в американской дипломатии. Киссинджер сожалеет, что ситуация такова. Он полагает, что понимание Теодором Рузвельтом "признанных принципов управления государством" и баланса силы в международной системе более адекватно реалиям. Мы еще выскажемся по этому вопросу ниже. В данном случае достаточно будет лишь отметить, что политика Вильсона предшествовала интервенционистской политике "сдерживания", проводимой после второй мировой войны[8].

Но сейчас давайте заглянем на ланч, устроенный в Белом доме президентом Вильсоном, который вернулся домой после Парижской мирной конференции для выполнения своих конституционных обязанностей – подписания или наложения вето на законы, принятые Конгрессом. В этот день, 28 февраля 1919 г., его гостями были члены Национального комитета демократов. Отвечая на обвинения в том, что договор о создании Лиги наций, был не более чем подачкой идеалистически настроенным американцам с тем, чтобы они не присматривались слишком внимательно к тому, что на самом деле творят союзники (делят военную добычу), Вильсон заявил, что, наоборот, первоочередной целью миротворцев было создание барьера из новых государств "на пути, по которому могут развиваться германские амбиции". Статья X Версальского договора, продолжал он, является "стальным каркасом", необходимым для обеспечения прочности всей конструкции. Позднее во время обсуждений в сенате перед процедурой ратификации Вильсон настаивал, что договор об образовании Лиги наций и мирный договор составляют одно целое.

"Германия, – говорил Вильсон, – должна быть окружена кольцом демократий. В таком климате реакция, внутри или вне Германии, не может возникнуть. А как тогда быть с обвинениями в том, что Лига наций – это возрожденный Священный союз? Люди, которые сидели со мной за столом во время переговоров о мире, имеют огромное уважение к праву народов на революцию". Лига, продолжал Вильсон, не дает гарантий ни одному государству в случае, если "что-то произойдет внутри него...". Если это так, то как будет поддерживаться демократический климат внутри или вне Германии? Вильсон был готов к такому вопросу: "Я понимаю наш Билль о Правах, – говорил он, – очень буквально, в том смысле, что любой народ имеет право на любое правительство, которое ему нравится... Иногда народ имеет весьма буйное правительство, но нас это не должно касаться. И я нахожу, что это может быть применимо даже в отношении России"[9].

Это был не совсем правдивый ответ. Впрочем, невозможно было дать на поставленный вопрос хороший ответ вообще. Союзники, включая Соединенные Штаты, уже оказывали помощь и моральную поддержку антиправительственным силам внутри России в попытке свергнуть советский режим. На Вильсона оказывалось интенсивное давление с тем, чтобы он действовал более активно в этом направлении, особенно по мере того, как "кордон" из государств Восточной Европы оказывался под угрозой вовлечения в водоворот революционного беспорядка. Вильсон не послал армию в Венгрию или Румынию, опасаясь, что его военные союзники, Англия и Франция,

преследуют совершенно иные цели. В целом же политику Вильсона от политики других интервенционистов отличали не разногласия по вопросу, стоит или не стоит свергать правительство Ленина, а спор между "старой" дипломатией сфер влияния и "новой" дипломатией современного либерализма.

Вильсон не желал видеть старую Российскую империю разделенной на британскую, французскую и японскую сферы влияния. Он предпочитал видеть Россию либеральной, но нерасчлененной. Приветствуя Февральскую революцию, действительно сделавшую свержение царя оправданием американского участия в войне, ставшей битвой между демократией и автократией, Вильсон ощущал свою особую ответственность за судьбу России, и как только империя, созданная царями, распалась на части, американские политики оказались в любопытной ситуации. Например, когда новый Литовский национальный совет обратился с просьбой о дипломатическом признании независимости балтийских государств, государственный секретарь Роберт Лансинг ответил отказом. "Как вы знаете, – писал Лансинг председателю Совета, – правительство Соединенных Штатов традиционно относится с симпатией к национальным устремлениям зависимых народов. С другой стороны, было бы неблагоразумно и несправедливо причинять вред процессу создания правового конституционного правительства в России, принципу целостности России в целом"[10].

Во время Великой войны американское общественное мнение формировалось не просто благодаря противостоянию Вильсона кайзеру или Вильсона Ленину. Оно складывалось главным образом под воздействием осознанной озабоченности по поводу угрозы американским демократическим институтам, их уникальным достижениям. Как многие государственные деятели, достигшие зрелости в последние годы XIX столетия, Вильсон полностью разделял общее мнение о французской революции как о Великом Ужасе. С 1899 г. Вильсон проявляет острый интерес к проблеме защиты американской демократии от врагов джефферсоновского либерализма. В своей речи в этом году будущий президент высказался о том, что означает для американцев Великий Ужас. "Для нас это юбилейный год инаугурации Вашингтона, – говорил он, – но для Европы – это юбилейный год французской революции. Сто лет назад мы приобрели, а Европа потеряла самоконтроль и самообладание. Но с тех пор в наши ряды постоянно вливаются новые активные участники нашей национальной жизни, я говорю о тех людях, которым хотелось бы изменить внутреннюю политику их страны революционным путем; к нашей собственной уравновешенной крови мы позволили добавить беспокойную кровь неспокойного старого мира".

Вильсон соединял в своем сознании две вещи, причем еще задолго до того, как орудийный залп в августе 1914 г. возвестил о конце эпохи, предшествующей современному миру. Во-первых, что европейские революции не были похожи на инфекционные болезни, заносимые "агентами" в другие страны, и, во-вторых, что империализм только ухудшил положение, действуя в качестве стимула для возникновения

войн и углубления классового сознания. Возможно, наиболее цитируемым комментарием Вудро Вильсона относительно ситуации в Западном полушарии в конце имперской эры было утверждение о том, что нет людей неспособных к самоуправлению, если ими правильно руководить. Его желанием было избежать создания того, что позже будет названо "Третьим миром", обеспечивая именно такое руководство. По его мнению, лидеры старого мира напрасно старались воспрепятствовать опасности революции со времен Бастилии и после, принимая решение об интервенции и проводя имперскую политику. Вильсоновская интерпретация империализма была близка к интерпретации английского ученого Джона А. Гобсона, убежденного, что современный империализм является в действительности продуктом капитализма, хотя быть ему или не быть зависело от политиков. Вот почему для Вильсона Великая война была не только борьбой со стремлением кайзера Вильгельма к мировому господству, но, как считал Вильсон, также и поворотным пунктом в истории, когда, как и в 1800 г., американские либералы утверждали, что их нация и мир балансируют на грани между "свободой и деспотизмом".

Пережитое Вильсоном в связи с Мексиканской революцией, до и во время войны, и, в частности, роль, которую при этом сыграли такие прогрессивные журналисты и интеллектуалы, как Джон Рид и Линкольн Стеффенс в освещении борьбы мексиканцев за свои права против метрополии, еще более убедили его в том, что граница между внутренней и внешней политикой стерлась. А большевистская революция поставила Вильсона в еще более сложное положение. Как отмечал историк Арно Майер, Ленин для защиты революции использовал немарксистский лозунг "самоопределения". Вот это самое обращение большевиков к народам мира с призывом подняться на борьбу со своими правителями напрочь отняло у Вильсона всякую надежду решить проблемы за столом переговоров. Его "Четырнадцать пунктов" были своего рода ответом на действия большевиков. Общая же тональность той речи, произнесенной в 1918 г., с содержавшимися в ней конкретными рекомендациями весьма отличалась от произнесенной годом ранее речи "Мир без победителей", так поразившей воображение американских либералов и радикалов еще до вступления их страны в войну.

После обнародования "Четырнадцати пунктов" самоопределение превращалось в апофеоз добродетелей союзников или нечто весьма близкое к этому. Однако большой пропагандистский эффект от этого шага не снял тревоги. Несколькими месяцами позже, в беседе с представителем британских спецслужб сэром Уильямом Уайсманом, Вильсон заговорил о своих опасениях по поводу будущего. "Он ожидает, – сделал Уайсман запись в своем дневнике, – что после войны возникнет серьезная опасность со стороны анархических сил, которым дали волю. Низшие классы, которым не хватает дисциплины и самоконтроля, будут склонны к эксцессам"[11].

В этом высказывании содержалось оправдание президента за возложение им ответственности на Германию и за противодействие

революционным силам в Центральной и Восточной Европе. В Германию пришла революция, и это озаботило Вильсона и его кабинет больше, чем всё остальное[12]. Об этом писал военный министр Ньютон Бейкер в своем послании Вильсону за несколько дней до перемирия в Европе. Бейкер запрашивал президента, не выступит ли он с обращением, в котором выражалась бы надежда, что народы более уже не существующей Австро-Венгерской империи "разумно" отнесутся к происходящим в эти революционные дни процессам и воздержатся от актов насилия. В противном случае, полагал Бейкер, репутация, обеспечивающая им доступ в мировое сообщество, с самого начала оказалась бы испорчена беспорядками, которые могли бы сразу посеять сомнения в их способности к самоуправлению в глазах тех наций, цивилизованные порядки которых только и сделали возможной для народов Австро-Венгрии эту эпоху свободы. "В этих странах, – писал Бейкер, – огромные людские массы могут настолько не понимать нас, что в конечном итоге окажутся не в состоянии оценить все преимущества, полученные благодаря тому, что мы убрали их королей"[13].

Когда Вильсон отправился после перемирия в Лондон, он сказал королю, что более не считает возможным немедленное допущение Германии в Лигу. У него были на то, по крайней мере, две причины.

1) Он полагал, что вновь созданное немецкое правительство не заслуживает доверия, особенно с учетом революционной заразы, распространившейся с Востока; 2) он пришел к мнению о необходимости проводить дифференцированную оценку воюющих держав – речь шла о статье, договора, касавшейся ответственности за развязывание войны. Последнее, как представляется, на деле было скорее продиктовано стремлением заручиться поддержкой на будущее, чем реальным восприятием прошлого. Это также вытекало из заявленного Вильсоном тезиса о том, что русская революция была похищена немецкими заговорщиками.

Испытывая горечь из-за исхода мирных переговоров в Париже и поражения в сенате по вопросу о Лиге наций, Вильсон писал в заключение своего послания "Дорога, уводящая от революции": "Мир становился опасным для демократии (накануне войны. – *Л.Г.*). Но теперь нет более никаких оснований для страха, что какой-нибудь безумный замысел, подобный тому, который пытались осуществить наглые и невежественные Гогенцоллерны и их советчики, может взять верх над демократией. Но демократия все еще бессильна защитить мир от иррациональной революции. Это настоятельная и неотложная задача, с которой столкнулась демократия, задача спасения цивилизации. От нее нельзя уклониться, иначе все, что мы создали до сегодняшнего дня, разрушится и погребет нас под своими обломками. И США как оплот демократии, должны предпринять все надлежащее"[14].

С окончанием "холодной войны" научный интерес к эпохе и личности Вильсона возрос, особенно к его размышлениям, изложенным в прощальном послании. В них присутствует совершенно осознанный поиск полезных уроков, извлекаемых из прошлого, уроков, важных для поколения, воспитанного в духе русско-американского соперничества. И

хотя сейчас дискуссии ведутся вокруг таких терминов, как "фактор однополярности" и "новый мировой порядок", остается открытым, однако, вопрос: когда и каким путем можно вмешиваться во внутренние дела других наций в целях защиты демократии. Существуют разные точки зрения. Аналитик Рэнд корпорейшн Бенджамин Шварц объясняет: "Если Соединенные Штаты должны играть лидирующую роль, то они обязаны и заплатить за это. Во все возрастающем хаосе в мире это должна быть очень высокая цена. Поэтому нам следует быть более избирательными"[15]. Между тем в действительности, как показали Вьетнам и Афганистан, всякое сдерживание, по крайней мере вне Европы, больше не в состоянии осуществлять контроль.

[1] Цит. по: *Gardner L.* A Covenant With Power: America and World Order from Wilson to Reagan. N.Y., 1984. P. 17.
[2] *Lippman W.* The Cold War: A Study in U.S. Foreign Policy. N.Y., 1947.
[3] *Lippman W.* Op. cit. (1972 ed). P. 36.
[4] *Kennan G.* Memoirs: 1925–1950. Boston, 1967. P. 359.
[5] Ibid. P. 362.
[6] The Papers of Woodrow Wilson / Arthur S. Link et al., eds. Princeton (New Jersey), 1985. Vol. 48. P. 455–456. "A Message to Teachers" (June 28, 1918).
[7] *Kissinger H.* Diplomacy. N.Y., 1994. P. 47.
[8] См.: *Knock T.* To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New Order. N.Y., 1992.
[9] *Gardner L.* Op. cit. P. 25.
[10] Цит. по: *Gardner L.* Safe for Democracy: The Anglo-American Response to Revolution, 1913–1923. N.Y., 1984. P. 268–269.
[11] The Papers of Arthur Balfour. London. Add. 4947. "Notes on Interview, etc." April 1, 1918.
[12] Образцовой в освещении проблемы является книга: *Schwabe K.* Wilson and the German Revolution. Chapel Hill (North Caroline). 1986.
[13] Wilson Collection. Princeton University. Princeton (New Jersey). Baker to Wilson. November 2, 1918.
[14] *Gardner L.* Safe for Democracy. P. 346.
[15] San Jose Mercury. 1993. Dec.; New York Times. 1994. Mar. 25.

IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И ВОЙНА

НА РУИНАХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ИМПЕРИЙ

В.Н. Виноградов

Проблема образования национальных государств в Восточной Европе хорошо изучена отечественной историографией с точки зрения разработки фактического материала, хотя на его интерпретации лежит печать гипертрофизации роли Октябрьской революции в этом процессе[1]. Основной вывод бесспорен: движущей силой эпохальных изменений явились народные массы; вершители судеб мира, собравшиеся в Париже в 1919 г., вынуждены были считаться с тем, что свершилось, споры о границах разыгрывались жаркие, но основы их определения были уже заложены. Рухнули многовековые монархии Габсбургов, Романовых и Османов.

А всего за пять лет до этих судьбоносных свершений ничто, казалось, не предвещало столь мрачного исхода для древних и могущественных империй. Мощный экономический рывок России на рубеже двух веков выявил огромные потенции этой страны и возможность гармонического взаимосочетания составлявших ее частей. Динамичное развитие Польши в какой-то степени даже притупило остроту национальных противоречий. Постепенно, без громких деклараций ушел из политической жизни лозунг польской независимости: съезд самой массовой, национальной партии высказался в 1897 г. в пользу восстания, и понятно, с какой целью; в 1903 г. этот же орган, "не отказываясь от своего политического идеала, восстановления Польши, в данный исторический момент считает нужным стремиться к завоеванию для нее возможно бо́льшей самостоятельности в пределах России". В следующем году "идеал" вообще не фигурировал в резолюции. Внесенный партийной фракцией ("коло") во II Государственную думу проект автономии Польши гласил: "Царство Польское, составляя нераздельную часть Российского государства, управляется во внутренних своих делах особыми установлениями на основании особого законодательства". Но "дела православной церкви, иностранные, армия, флот, монетное дело, законодательство таможенное, акцизное, почтовое, железнодорожное, касающееся товарных знаков и государственные займы и обязательства" и, что характерно, "законодательство о бунте против центральной власти и государственной измене" относились к общеимперским. Как отмечает А. Зубов, "в начале 1900-х годов с не меньшей энергией

© В.Н. Виноградов

отказываются от идеи полной независимости и переходят на позиции областного самоуправления или, в крайнем случае, автономии с собственными законодательными учреждениями" литовские, немецкие, латвийские, эстонские, украинские, армянские, грузинские партии[2].

Сходные явления отмечались в другом многонациональном государстве Европы – Австро-Венгрии. Двуединая монархия предоставляла миру богатый ассортимент раздоров и столкновений на национальной почве. И все же в хоре недовольных не раздавалось голосов, требовавших отделения.

Традиционно самым зрелым из национальных движений являлось чешское. На чешских землях проживало 10 млн человек. Страна достигла высокого уровня индустриального развития, здесь было сосредоточено более половины крупных и средних предприятий монархии, здесь находилось ее промышленное сердце. Питательный почвой для хозяйственного процветания чешских земель служил общеавстрийский рынок. Это сознавали все. Прочное врастание в имперский и, шире, в общеевропейский хозяйственный механизм имело, конечно, политические выходы. Не меньшее воздействие на умы оказывали сложившаяся международная обстановка, мощный рынок Германии, планы создания "Срединной Европы" с господством в ней немецкого капитала, прусской военщины и кайзеровской бюрократии – все это способствовало тому, что условия во владениях Франца Иосифа стали представляться тепличными. Основные чешские политические силы мотивировали свой курс на сохранение Австро-Венгрии стремлением обеспечить национальную самостоятельность. Возникла концепция "сильной и справедливой империи" как "надежного убежища" от германской экспансии[3] и, как вершина стремлений, преобразования дуалистической монархии в триалистическую. Отсюда – и заигрывание с наследником престола эрцгерцогом Францем Фердинандом, которого ошибочно считали сторонником федерализма, хотя на самом деле он хотел противопоставить славян "излишне самостоятельным" мадьярам при усилении центральной венской власти.

Хорватам преобразования рисовались в ином свете: они полагали, что принцип дуализма закономерно распространить и на Венгерское королевство, и в отсутствии логики их не упрекнешь. В самом деле, почему им, составлявшим значительную часть населения земель короны св. Иштвана, основавшим в средние века свое Хорватское королевство, подвизаться на вторых политических ролях?

Румыны вынашивали еще одну модель преобразований Габсбургской монархии. Преобладая по численности среди жителей Трансильвании, они решительно не понимали, почему не входят здесь в число признаваемых историческими (а стало быть, и полноправными) наций, коими являлись трансильванские венгры и немцы. В 1905 г. Аурел Попович опубликовал нашумевшую книгу "Соединенные штаты Великой Австрии", сам заголовок которой обнаруживал концепцию автора и его единомышленников[4] – превращение монархии в федерацию национальных государств, включая румынское. Требования, выдвигаемые национальной партией в разные эпохи, варьировались, но неизменным в

них оставалось полное равноправие румынского населения, что автоматически превратило бы лидеров в правящую элиту Трансильвании. Заявления об отделении, о выходе из состава Австро-Венгрии не прозвучало, и тут, напротив, по мысли А. Поповича, Румынскому королевству надлежало вступить в федерацию под скипетром Габсбургов.

На теле Монархии существовала лишь одна "горячая", готовая взорваться точка – Босния и Герцеговина. В 1875 г. в этой, тогда турецкой, провинции вспыхнуло освободительное восстание. А через три года Берлинский конгресс принес ее в жертву империалистической договоренности держав, дав санкцию на оккупацию австро-венгерскими войсками. Новое владычество утверждалось здесь на штыках, преодолевая ожесточенное сопротивление жителей, мечтавших об объединении с Сербией. В 1908 г. Вена решила превратить условное владение в абсолютное, формально аннексировав Боснию и Герцеговину и включив ее в состав Австрии. Возмущенные славяне с этим не согласились. Именно в Сараеве, боснийской столице, произошло убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, совершенное террористической организацией "Млада Босна" и послужившее поводом для развязывания первой мировой...

Но все же не бурлящий боснийский котел определял общую ситуацию в многонациональной монархии. Ничто перед войной не предвещало того, что державы Габсбургов и Романовых априори были обречены на распад, хотя очагов национальной напряженности существовало немало и опасность развала нельзя было исключать, но как тенденцию, а не как закономерность.

Какие же факторы военной поры способствовали перерастанию возможности в действительность? Прежде всего, на наш взгляд, надо сказать, что идеологическая и социально-политическая почва для восприятия перехода в новое состояние имелась заранее в виде образа национального государства. Сербское и Хорватское королевства, Речь Посполитая, Чехия, Молдавия, Валахия в одном случае, Армения, Грузия, Речь Посполитая, Крымское ханство – в другом прочно сохранялись в исторической памяти народа – не в виде пассивно-созерцательного или сентиментально-умилительного воспоминания, а именно в памяти активной и зовущей к действию. Не было нужды конструировать национальный идеал, он продолжал жить и будоражить умы. Получили распространение теории "чехословакизма" и "югославизма", которые в известной мере сглаживали различия между чехами и словаками, между сербами, хорватами и словенцами, хотя этническая, языковая и культурная близость между ними несомненна. В памятной записке (1915 г.), составленной от имени созданного в Лондоне Югославянского комитета, объединившего эмигрантов из Австро-Венгрии, говорилось: "Югославянские народы, которые история знает под именем сербов, хорватов и словенцев, суть один и тот же народ, соединяющий в себе все условия для того, чтобы возникло независимое национальное государство..."[5]

Курс на независимость государств, подвластных австрийской и венгерской короне, обрисовался уже в 1915–1916 гг. вместе с убеж-

дением, что корона эта не переживет старца Франца Иосифа; ошибка произошла, но совсем не существенная: его преемник, император Карл, царствовал всего два года. Тогда размышления о судьбах монархии возникали даже в умах ее руководителей. Опытный и проницательный дипломат граф Оттокар Чернин еще летом 1916 г. направил "наверх" записку, в которой предупреждал, что продление войны "с математической точностью" приведет к разгрому Австро-Венгрии. Начались поиски примирения, заранее обреченные на провал, ибо Вена проявляла готовность идти на широкие уступки за счет Берлина, но отнюдь не за собственный[6].

Нужно сказать, что участники Антанты вовсе не были свирепыми врагами Дунайской монархии как таковой. Габсбургская держава в их глазах являлась необходимым компонентом европейского равновесия. Глава Форин оффис Артур Бальфур свидетельствовал (декабрь 1916 г.), что он лично "желал бы сохранения двуединой монархии, лишенной, правда, значительной части ее славянских, итальянских и румынских земель, но продолжающей в основном состоять из Австрии и Венгрии"[7]. Однако не считаться с напором национального движения Антанта не могла, отсюда – и пессимистическая констатация в конце приведенного высказывания. В несколько аллегорической форме ее выразил глава французского правительства Жорж Клемансо, заметив: "Мы оставляем на императоре (Карле. – *В.В.*) одни штаны, и больше ничего"[8]. Но вскоре и штаны свалились...

У Соединенных Штатов вообще не было никаких причин для ссоры с Австро-Венгрией, отсутствовал и повод для разрыва, коим, в случае с Германией, послужила объявленная последней беспощадная подводная война, которую президент В. Вильсон в послании Конгрессу от 2 апреля 1917 г. расценил как войну "против всех народов"[9]. Австрийские субмарины по морям не рыскали и нейтральных "купцов" на дно не отправляли. Австрия, отмечал государственный секретарь Роберт Лансинг, больше своих союзников стремится к миру. Президент хочет избежать разрыва с ней и полагает, что "широкая автономия" станет "достаточной гарантией мира и стабильности в этой части Европы"[10]. Лишь в декабре 1917 г., чтобы поддержать общий фронт с союзниками, США объявили войну Австро-Венгрии, как орудию в руках Германии.

В знаменитых "Четырнадцати пунктах" президента В. Вильсона (январь 1918 г.) статьи, касавшиеся Австро-Венгрии, носили отпечаток неопределенности: предоставление ее народам автономии, освобождение оккупированных Центральными державами на Балканах территорий, обеспечение Сербии выхода к морю. Это можно было трактовать как курс на федерализацию обновленной, а не распавшейся державы. Именно к такой интерпретации склонялся сам президент. Формулировки "пунктов", замечает в своих воспоминания Роберт Лансинг, "не подталкивали некоторые национальности к независимости, а создавали впечатление, что им имеет смысл стать автономными в составе империи"[11].

В отношении Центральной и Юго-Восточной Европы программа президента явно отстала от жизни. В пламени войны сгорели планы

преобразования державы Габсбургов, и тон в переосмыслении национальных задач задали чехи. Война похоронила идею триализма – мечтать об усовершенствовании расползавшейся махины представлялось нецелесообразным, если не просто безнадежным. Не выдержала испытания временем и ориентация на Россию, предложенная К. Крамаржем. На первый план вышла группировка Т.Г. Масарика и Э. Бенеша, выступившая с лозунгом "Долой Австро-Венгрию!", с планом образования Чехословацкой республики при опоре на западные страны. Покинувшему родину Т. Масарику удалось добиться большого успеха уже в 1916 г.: руководимый им Национальный комитет был признан Антантой правительством не существовавшего еще де-факто государства[12].

Поражения на фронтах, умноженные на твердолобое упрямство венгерского премьер-министра Иштвана Тисы, качнули маятник хорватских требований в сторону объединения с Сербским королевством. Однако на конференции на острове Корфу (лето 1917 г.) обнаружилось расхождение между великосербским вариантом, отстаиваемым Н. Пашичем, и планом хорвато-словенской эмиграции, представленным А. Трумбичем и предусматривавшим добровольное и равноправное объединение южнославянских земель. Сторонам удалось достигнуть компромисса и принять решение об образовании Королевства сербов, хорватов и словенцев в форме "конституционной, демократической и парламентарной монархии"[13]. Однако великосербские замашки омрачали существование государства на протяжении всех межвоенных лет.

Сложную эволюцию претерпели руководители Национальной партии румын Трансильвании. Они далеко не сразу и не единодушно высказались за объединение с Румынским королевством. В партии произошел раскол: священник Василе Лукач и поэт Октавиан Гога переехали в Бухарест и активно включились в кампанию за вступление Румынии в войну на стороне Антанты, что и произошло в августе 1916 г. Иначе повели себя другие лидеры – те самые, что в будущем стояли у кормила "Великой Румынии". Они какое-то время продолжали лелеять планы преобразования Австро-Венгрии с предоставлением румынам, как нации, подобающей позиции в государстве.

Так, А. Вайда-Воевод в апреле 1915 г. в беседе с представителем немецкого командования живописал широкими мазками процветание "Срединной Европы": «Я обращаю взоры к будущему, когда осуществится величественная программа, выраженная в лозунге "Берлин–Багдад!". Прочное, солидное объединение Австро-Венгрии, дунайских и балканских государств и Турции под эгидой Германии, превращение его в бастион Европы против экспансии России на юг... Эта цель недостижима без того, чтобы победоносная Германия не добилась укрепления Австро-Венгерской монархии путем справедливого урегулирования национального вопроса...» В планах этого человека, занимавшего в межвоенной Румынии пост премьер-министра, выступала по-своему стройная картина иерархического раздела сфер влияния: гегемония кайзеровской Германии в Европе и на Ближнем Востоке, преобразование Австро-Венгрии с тем, чтобы румынская буржуазия стала ведущей экономической и политической силой в Трансильвании и

Банате. Ради этого, говорил Вайда-Воевод, "от 200 до 300 тысяч румын австро-венгерской армии храбро и преданно сражаются под знаменами Габсбургов, и мы, их политические руководители, с самого начала войны высказывались за присоединение Румынии к Центральным державам". Не забыл Вайда-Воевод и "старое королевство": ему отводилась в системе германо-австрийского господства роль арбитра в балканских делах. "В интересах Германии, – полагал он, – чтобы Румыния сохраняла ведущую роль среди балканских государств с немецкой, а не итальянской помощью"[14].

Но постепенно идея отделения от Венгрии и присоединения к Румынии набирала силу, чему способствовали постоянные поражения габсбургской армии на фронтах, особенно во время знаменитого Брусиловского прорыва летом–осенью 1916 г., когда казалось, что двуединая монархия вот-вот рухнет. Редактор газеты "Ромынул" В. Голдиш и некоторые другие лидеры партии отказались дать присягу на верность режиму, за что поплатились интернированием в особых лагерях[15]. Это была своеобразная линия на "ненасильственное несотрудничество с властями".

Позиция румынской буржуазии Трансильвании определялась трезвым политическим расчетом. На развалинах разгромленной Австро-Венгрии тот же Вайда-Воевод, ранее ратовавший за ее усовершенствование, выступая 18 октября 1918 г. от имени партии, потребовал для румын Венгрии права на самоопределение, вспомнив и вековой гнет, и национальное неравноправие, использовав при этом совсем иную систему аргументов, нежели за три года до того[16]. Итог – объединение Трансильвании и Румынии.

Мы разделяем точку зрения, высказанную Т.М. Исламовым на конференции "Австро-Венгрия. Исторический опыт многонационального государства" (Москва, июнь 1993 г., с участием российских, американских и австрийских исследователей): "Несмотря на сохранение остатков феодально-абсолютистских институтов, монархия преуспела в создании современных капиталистических отношений, современной транспортной системы – железнодорожной и пароходной. Она сократила различия между отдельными районами и землями, уменьшила пропасть между центрами экономического роста и отсталыми областями". Но и тут следует важнейшее замечание: "Аусглайх (т.е. превращение в дуалистическое государство. – *В.В.*) решил наиважнейшую проблему империи, венгерскую, но потерпел неудачу, не сумев удовлетворить требования невенгерского и ненемецкого населения о подобном же урегулировании для него". Исламов высказал мысль, что аусглайх явился препятствием для дальнейшего реформирования имперской структуры, ибо нужно было преодолевать сопротивление не только венской бюрократии, но и сильной правящей элиты суверенного Венгерского королевства, поддержанной в данном случае общественным мнением мадьяр: "Дуалистическая структура империи сделала невозможной дальнейшую реорганизацию монархии в направлении союза или содружества национальных государств. Дуализм являлся непреодолимым препятствием на пути национального самоопределения"[17].

И все же можно сказать, что в условиях обычного, "мирного" развития далеко не гармоничное, но все же реально существовавшее сожительство народов в составе двух многонациональных держав, Австро-Венгерской и Российской, продолжилось бы в обозримом будущем. Тенденция к их распаду – а она существовала – не скоро вызрела бы до превращения ее в действительность. Вспомним, что "больной человек Европы", османская Турция, коей прочили гибель еще в начале XIX в., худо-бедно, но простояла еще сто лет.

Первая мировая война под корень подрубила основы этого сосуществования. Хозяйственная разруха, обострение до степени почти невыносимой лишений, невосполнимые потери на фронтах – все это породило совершенно новую социально-психологическую обстановку. Время компромиссов и долголетних поисков выхода из сложившейся ситуации миновало. Кровь и голод – малоподходящая почва для терпеливого взвешивания плюсов и минусов той или иной модели государственно-политического бытия. В одночасье были преданы забвению преимущества, предоставляемые обширным экономическим пространством, емким внутренним рынком, хозяйственным срастанием отдельных областей, навыками управления, обеспечивавшими совместное проживание народов, хотя и не бесконфликтное, но и до уровня гражданской войны не обострявшееся. Воссоздание национальной государственности стало представляться исключительно в розовом, без теней свете.

Процесс национального возрождения приобрел взрывчатый характер, тенденция к распаду империй Романовых и Габсбургов в считанные месяцы обернулась действительностью. "1917 год обнаружил колоссальный этнический антагонизм, стремление к национальной независимости у поляков и финнов, у литовцев и украинцев, у азербайджанцев и татар Крыма", – пишет А. Зотов[18]. Лишь полякам, прибалтам и финнам удалось проявить себя в полной мере на этом поприще. У всех других эксперимент в самом начале пресекла военная машина большевиков, ведомых железной волей Ленина и опиравшихся на сочувствовавшую им часть населения.

Иным путем пошли правопреемники монархии Габсбургов. Она рассыпалась под действием центробежных сил, и не существовало гончара, способного склеить все заново. В конце 1917 г. в массы, измученные, изголодавшиеся и взбудораженные, был брошен лозунг мировой пролетарской революции. На наш взгляд, альтернативой курсу на возрождение или округление национальных государств он не стал. Национальная буржуазия и интеллектуальные круги, возглавлявшие процесс, противопоставили соблазнам социализма широкую программу реформ, ориентацию на построение демократического общества. Это в полной мере относится к потенциальным победителям.

Иная ситуация сложилась в странах, скатившихся в пропасть поражения с неизбежными в ходе падения потерями, в первую очередь территориальными. Нужда, голод, смерть родных и близких порождали отчаяние в умах и настроения глубокой безнадежности. Национальные чувства были попраны, будущее представлялось беспросветным. Вина за катастрофу возлагалась на правителей. И многим представлялось,

что лишь революционный вихрь развеет нависшие над родиной тучи. Не случайно поэтому установление советской власти, и притом мирным путем, произошло в Венгрии, и именно в связи с урезанием ее границ. Несмотря на жесткий тоталитарный режим и коммунистические "излишества", проявившиеся в попрании интересов мелких и средних собственников и в применении целого набора репрессивных средств, республика держалась четыре месяца с лишним в условиях блокады. Венгерский вопрос стал головной болью заседавших в Париже миротворцев, которым никак не удавалось набрать достаточно сил для подавления коммунистического гнезда в центре Европы. Понадобилось прибегнуть к услугам Румынии и Чехословакии, чтобы покончить с этим "заразным очагом". С другой стороны, на помощь Бела Куну "со товарищи" рвались красные войска, хотя с точки зрения азбучных истин стратегии планы прорыва в условиях деникинского наступления с юга и польского с запада являлись чистейшей утопией.

В прочих же точках Центральной и Юго-Восточной Европы возрождение государственности (Польша, Чехословакия, Албания) или собирание земель вокруг исторически сохранившегося ядра (Сербия, Румыния) происходило без сколько-нибудь заметных поправок на воздействие лозунга мировой пролетарской революции. Национальная идея в социально окрашенном варианте, при формировании значительно продвинутого в демократическом направлении экономического и политического строя, доминировала. Чрезвычайно боевитое и воодушевленное Октябрьской революцией коммунистическое движение массового развития не получило (исключение составляла Болгария, жестоко ущемленная в своих национальных интересах) и, как это показывает румынский пример, надежды на светлое будущее связывало с экспортом революции: сошлемся на "Доклад-обращение" к российской революции, в котором румынские социалисты с безмятежным оптимизмом писали: "Мы взываем к вам, граждане революционной России!" Раньше армии французской революции "принесли народам Европы идеи свободы, равенства и братства... Теперь наступила очередь русских революционных войск принести народам, с которыми они приходят в соприкосновение, в частности несчастному румынскому народу, те великие идеи, что начертаны на красных знаменах"[19].

Революционеры взывали к своему народу: "Пришло время вам защитить ваши собственные интересы, интересы страны, интересы сотен тысяч голодных и рабов, а не интересы клики, господствующей над нами и ввергшей страну в пропасть"[20]. "Клика", однако, у власти осталась и сумела приспособиться к смене обстановки.

Несомненно, что в основе процесса перекройки карты лежало исторически закономерное и оправданное стремление к национальному возрождению, ступенями которого явилось воссоздание государственности и объединение этнически однородного населения.

Но тут же встает вопрос: почему все-таки в наши дни размежевались (слава Богу, мирным путем!) Чехия и Словакия? Почему Европа и весь мир стали свидетелями кровавой разборки в Югославии, теперь уже бывшей?

Очевидно, потому, что в кристально чистом виде процесс возрождения невозможен, так как наличествовало немало факторов, причем отнюдь не случайных и отнюдь не привходящих, его замутнявших.

Национальная идея безупречно хороша в теории, но вместе с претворением ее в жизнь начинаются перекосы. Веками народы жили не в четко обрисованном ареале, без вкрапления в него "чужаков", а перемешанно, нередко – чересполосно: представители одного этноса оказывались посреди исторической территории другого и в отрыве от мест расселения основной массы единоплеменников; что же касается порубежья... Здесь все перемешалось, и провести линию безупречно чистого по этническому признаку разграничения оказывалось просто невозможно, даже теоретически. А практика вносила свои коррективы. Всяк определял свои территориальные притязания по максималистской мерке, оперируя при этом не только, а часто и не столько данными демографии и статистики, а углубляясь в дебри "исторического права", ссылаясь на то, что некогда земли, на которые предъявляются права, входили либо в сферу расселения "своего" народа, либо даже в его государственное образование, и интерпретируя при этом источники исключительно к своей выгоде.

Опыт показал, что широкая общественность вовсе не обладает каким-то врожденным иммунитетом против шовинизма и внутренним чувством взвешенности и справедливости (как то раньше утверждалось в отечественной историографии). Экстремистские планы всех без исключения национальных лидеров не только не наталкивались на осуждение, но, напротив, встречали поддержку.

Вступила в силу и политическая конъюнктура. Отъединиться от Австро-Венгрии, да поскорее, значило одним прыжком удалиться от побежденных со всеми их тяжелыми потерями и оказаться в лагере победителей. Рельефнее всего плюсы от такого перехода видны на примере хорватских земель. На Парижскую мирную конференцию прибыла объединенная сербско-черногорско-хорватско-словенская делегация, представлявшая только что родившееся югославянское государство. Более всех заинтересованные в территориальном разграничении с ним итальянцы (по их соглашению 1915 г. с Англией, Францией и Россией к Италии отходили самые лакомые куски Далматинского побережья) наотрез отказались признать право хорвата и словенца на участие в совещании в составе делегации страны-победительницы. А подоплекой затянувшегося якобы юридического спора являлся вопрос о государственной принадлежности порта Риеки (Фиуме) и его окрестностей. Италия настаивала на передаче ей и того и другого. Конечно, получить желаемое было бы гораздо легче, будь Хорватия в лагере проигравших, а тут приходилось иметь дело с представителями страны, являвшейся правопреемницей Сербии, неколебимого члена Антанты, стойкого борца на ее стороне "до последнего звонка". На стороне югославян оказалась столь влиятельная фигура, как президент Вудро Вильсон. Итальянцы настаивали, протестовали, наконец, хлопнули дверью и картинно удалились с конференции – но никакого результата. В конце концов они вернулись тихо и без каких-либо театральных

эффектов. Мирный договор зафиксировал разграничение в Далмации, хотя и не вполне справедливое с точки зрения югославян, но все же приемлемое[21]. Сравним это с процессом переговоров с побежденной Болгарией, если их можно назвать таковыми. С ее представителями даже не стали разговаривать, им продиктовали условия[22]. То же самое произошло с Венгрией – за ней числился, вдобавок к поражению, тяжкий грех советского эксперимента[23].

Соседи перессорились, можно сказать, не отходя от стола конференции. Правда, верховные жрецы в лице президента В. Вильсона, английского премьер-министра Д. Ллойд Джорджа и главы французского правительства Ж. Клемансо "подрезали" румынские требования, отодвинув на восток запрашиваемую границу с Венгрией; "обидели" крайних итальянских экспансионистов; но поддались на уговоры греческого златоуста Э. Венизелоса признать греческий характер населения города Измир (Смирна) в Малой Азии. Результат – авантюра, приведшая к войне с Турцией и поставившая Грецию на грань национальной катастрофы.

Итоги всякого мирного урегулирования должны пройти испытание временем на прочность. Лишь история может вынести окончательный приговор насчет их обоснованности. Вывод о жизнеспособности Польского государства сомнению не подлежит. Многие десятилетия таковым представлялась Чехословакия. Возглавившему ее многоопытному Томашу Масарику принадлежат мудрые слова: "Меньшие государства лишь относительно самостоятельны"[24]. Над ними следовало бы задуматься многим нынешним политикам, вообразившим, что достаточно провозгласить суверенитет – и молочные реки потекут в кисельных берегах. Чехословакия органически вошла в европейское сообщество, ее хозяйство стало составной частью экономики континента на правах ее высокоразвитого участника. Правда, Словакия продолжала отставать в своем развитии от чешских земель, что явилось причиной недовольства. И все же многое сближало тогда два народа и способствовало живучести формулы чехословакизма. Союз со словаками укреплял позиции чехов относительно многочисленного, компактно проживавшего и влиятельного меньшинства – судетских немцев. Словаки же устали от тысячелетнего венгерского господства и в обретении общей с чехами родины видели избавление от него[25].

Семена раздора далеко не сразу, но дали всходы. По мнению словаков, их "малая родина" пребывала в объединенном государстве на подчиненных ролях. Неравенство в развитии экономики преодолеть не удалось. Чешские земли гармонично вписались в народнохозяйственную сферу послевоенной Европы, сюда стекались капиталы, словацкий регион остался на положении сравнительно отсталого. В 1918 г. Словакия не была готова к восприятию всех форм государственной жизни, в частности из-за отсутствия достаточного административного аппарата. Туда хлынули чиновники, железнодорожный персонал, учителя и даже полицейские из Чехии. Сперва это явление воспринималось спокойно, как дружеская помощь, потом, по мере подготовки собственных кадров, стало раздражать. Развитию бациллы отчуждения способствовало упорное нежелание многих чехов признавать существование особого словацкого языка и культуры.

Огонек центробежных тенденций, мерцавший в межвоенный период, не был задут при коммунистическом режиме, несмотря на многочисленные и конституционно закрепленные положения о равноправии. Словаки продолжали считать себя ущемленными если не в правах, то в реальной жизни. В то же время под крышей объединенного государства Словакия окрепла экономически, вырастила собственные научные, культурные и хозяйственные кадры и оказалась подготовленной к восприятию всех функций, налагаемых государственным суверенитетом. И как итог – полюбовный развод, к счастью не отягченный тяжкими, а тем более вооруженными конфликтами, хотя многие по обе стороны возникшей границы задаются вопросом: а не было ли допущено при сем вторжения людских страстей и привходящих обстоятельств?

Совсем иначе сложились дела с Югославией.

Казалось, многие факторы оправдывали возникновение и существование этого государственного образования: этническое родство народов, единый язык у сербов, хорватов, черногорцев и мусульман (при различии алфавитов). Но отсутствовала общность исторического развития, столь важная для сплочения народов и рождения у них сходного менталитета. Сербы пять столетий проживали в составе Османской империи, хорваты и словенцы – в Габсбургской. Одни развивались в балканском ареале, тесно связанном судьбами с Россией, другие – в центральноевропейском, находившемся в орбите германского влияния. Одни воспитывались на духовной почве православия, другие – католицизма, третьи – ислама. Различия в их мировоззрении современники отмечали полтора столетия назад; сошлемся на К. Маркса и Ф. Энгельса, писавших: «...серб, болгарин, боснийский "райа", крестьянин-славянин из Македонии и Фракии питают большую национальную симпатию к русским и имеют с ними больше точек духовного соприкосновения, больше средств духовного общения, чем с южными славянами-католиками, говорящими с ними на одном языке»[26].

Гармонии интересов не сложилось ни при короле Александре Карагеоргиевиче – межвоенная Югославия по сути являлась Великой Сербией, ни при тоталитарном режиме броз-титовского образца. Экономически более развитые, духовно и культурно обособленные, Хорватия и Словения не восприняли тезис о выравнивании экономического уровня всех входящих в федерацию республик, неохотно платили взносы на подтягивание отстающих и не хотели смириться с командным тоном Белграда. В результате – их выход из объединенного государства. Словении с ее этнически более или менее однородным населением удалось проделать эту операцию мирным путем, а Хорватии с крупным сербским анклавом в Краине – в крови и пожарищах.

Особый и еще более трудный для решения казус возник в Боснии и Боснии и Герцеговине. Здесь славянский этнос разбит даже не на две, а на три группы: сербы, хорваты и мусульмане (т.е. славяне, еще в средние века воспринявшие ислам и поколениями воспитывавшиеся в его традициях). Попытка добиться их сожительства в едином Босний-

ско-Герцеговинском государстве натолкнулась на сопротивление, и иллюзорно было бы ожидать чего-либо иного. Ислам, быть может, даже в бо́льшей степени, нежели христианство, определяет весь стиль жизни его приверженцев, формирует их мировоззрение, становится частью их менталитета. Та система ценностей, которая именуется европейской, по сути своей является христианской. На почве христианства взошли представления о правовом государстве, демократии, парламентаризме. Глава мусульманской общины Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович еще в 1971 г. сочинил для своих единоверцев "Исламскую декларацию", в которой отмежевался от всего того, что связано для современного европейца и американца с самим понятием модернизации общества: "...то, что означало прогресс и конституционность для Запада, представляет искусственный процесс для исламского мира, который не может привести здесь к конструктивным изменениям. Деклерикализация и национализм не играли здесь позитивной роли и были на практике фикцией. Будучи иностранными по своему происхождению и сути, они были отражением широко распространенной духовной бесплодности..." И далее: "Немусульманские меньшинства в мусульманском государстве пользуются свободой исповедания и государственной протекцией при условии соблюдения лояльности к режиму"[27]. Что последнее может быть истолковано в угоду толкователю – сомнению не подлежит. А ведь сербов в Боснии и Герцеговине 1,7 млн и хорватов 0,8 млн на 1,9 млн мусульман! Для первых двух речь идет не просто о сложности совместного проживания в многонациональной стране, а о помещении их в совершенно чуждую им среду с порядками, которые с полным уважением к ним можно назвать мусульманско-азиатскими. За кровавой разборкой в Боснии и Герцеговине с неправедными делами и жестокостями, совершаемыми всеми тремя их участниками, следует видеть эту трагедию и не искать, кто прав и кто виноват, ибо виноваты все, и не пытаться навязывать решение извне, потому что и сербы и хорваты хотят жить самостоятельно, и сломить их волю вряд ли кому удастся. Вызывает поэтому сомнение прочность навязанного боснийским сербам Дейтонского соглашения.

Нельзя не отметить вторжение внешнего фактора в югославские дела: Германия и США с быстротой почти беспрецедентной в истории дипломатии признали образование новых государств, "позабыв" на время положение Хельсинкской хартии 1975 г. о незыблемости существующих в Европе границ, пренебрегли отсутствием согласия центрального правительства на осуществление раздела государства, что также предусматривается нормами международного права. Возникает и такое соображение: ведь Германия столь активно способствовала суверенизации именно земель, традиционно входивших в сферу немецкого экономического, политического и культурного влияния. Налицо явное и успешное возрождение, в мягком варианте, курса "Дранг нах зюдостен" (что влечет за собой и такие положительные явления, как приобщение к передовой мировой технологии, благодетельные контакты с великой немецкой наукой и культурой, и, в перспективе, приоткроет двери, ведущие к западному рынку).

США и Европейское сообщество силовыми методами погасили очаг военного конфликта в Боснии. Но прочно ли и надолго? С чувством горестного недоумения приходится констатировать незавидную роль отечественной дипломатии на первом этапе кризиса, ее лояльное следование в фарватере США, в том числе и в вопросе о жестких экономических санкциях против Сербии и Черногории, хотя уж кому-кому, а нашим соотечественникам следовало бы знать, что сильные, гордые и смелые народы этих стран не удастся поставить на колени никакими репрессиями. Итог для сербо-черногорской федерации налицо: ее экономика тяжело пострадала, инфляционные процессы продвинулись вперед, ощущался недостаток в самом необходимом, в том числе в лекарствах. Непоколебимой осталась лишь военная мощь государства, ради подрыва которой вроде бы и налагалось эмбарго.

Но ведь звучали предупреждающие голоса! Приведем здесь лишь один из них: группа видных историков во главе с патриархом нашей культуры академиком Д.С. Лихачевым опубликовала протест, в котором говорилось: «Население несправедливо репрессированных "мировым сообществом" республик обрекается на новые испытания, вплоть до вымирания. А западная печать, главным образом немецкая и австрийская, представляет сербов, следуя образцам 1814 и 1941–1945 гг., варварами и вандалами».

«Мы убеждены, что выхода из югославского кризиса нельзя достигнуть на путях односторонних и несбалансированных санкций, а, напротив, он реален на путях честного посредничества мирового сообщества, поиска компромиссных решений между участниками конфликта, отказа от "этнических чисток" и соблюдения прав человека»[28], – писали российские ученые.

На теле Сербии имеется еще одна болевая точка. Это – Косово, область ныне волею судеб населенная по преимуществу албанцами, алчущими государственного созидания и в конечном счете объединения с Албанией. Но в уме и сердце каждого серба это – Старая Сербия, край, где в средние века бился пульс сербской жизни и где в 1386 г. Сербия пала на Косовом поле.

После первой мировой войны за пределами новых венгерских границ оказались миллионы мадьяр. Никогда они не выражали на то своего согласия, и вопрос об их обустройстве в новых государственных образованиях, к числу которых ныне наряду с Румынией относятся Словакия и Украина, заслуживает внимания.

Такова панорама Восточной Европы в наши дни. Многонациональные империи рухнули здесь в одночасье и под ликующие клики. Преимущества возникших на их развалинах государств воспринимались как само собой разумеющиеся. Казалось, путь к процветанию открыт. Но пока что процветания нет, спокойствие не раз нарушалось. Экономический урон от разрыва веками сложившихся, устойчивых и органически существовавших связей несомненен и громаден. Сейчас лучшие умы бьются над вопросом: как и в какой мере их восстановить? Внутренние конфликты на национальной почве, и еще больше в порубежье, тревожат Европу, конца-края им не видно, они грозят

перерасти в столетнюю войну. И так будет, пока не родится убеждение, что все это – дорога в никуда, что без восстановления в той или иной форме экономического, политического и культурного сотрудничества Восточной Европе из трясины несогласия, перерастающего временами в "горячие" конфликты, не выбраться. И закрадывается мысль: а нужно ли было так крушить все до основания? А не целесообразнее ли было вместо этого пойти путем преобразования многонациональных держав (тогда, когда это диктуется общим интересом) то ли в конфедеративные образования, то ли в содружества с полным равноправием и государственной суверенностью членов при ограниченных и четко определенных правах центра, но с "прозрачностью" границ, с сохранением единого культурного пространства и обширной зоной экономического общения.

Болгарский ученый академик Н. Тодоров задает вопрос: как избежать "ливанизации" Балкан? Европейское сообщество и Соединенные Штаты, по его мнению, своими действиями в отношении Боснии и Герцеговины "выдали карт-бланш на перераспределение территории Балканского полуострова по религиозному признаку". "Можно ли допустить, чтобы эта часть Европы, где зародилась европейская цивилизация, вернулась к средневековым религиозным войнам?" – вопрошает он[29].

Пишущий эти строки имел уже возможность высказаться по животрепещущей теме – как предотвратить превращение Балкан сызнова в "пороховой погреб" Европы. Представляется, что выход – в коренном изменении социальной психологии, менталитета народов, в признании приоритета человеческой личности, ее права на свободное национальное и культурное развитие без навязывания неродного языка, ущемления гражданских, политических и экономических прав по признаку оседлости, без деления народов на "коренные" и "сопроживающие"[30]. И тогда исчезнет чувство ущербности, попрания человеческого достоинства, падут стены отчужденности и уйдет почва из-под ног любителей нагонять отравленные облака национальной вражды.

[1] См., например: Октябрь и зарубежные славянские страны. Минск, 1988; Великий Октябрь и народы Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1987.
[2] *Зубов А.* Третий русский национализм // Знамя. 1993. № 1. С. 155–156.
[3] Краткая история Чехословакии. М., 1988. С. 261.
[4] Desavirşirea unificarii statului national Român. Buc., 1968. P. 100.
[5] *Чуканов М.Ю.* Первая мировая война и распад многонационального государства Венгрии. Дис. ... канд. ист. наук (ИСБ РАН, 1993). С. 135.
[6] *Чернин О.* В дни мировой войны. М.; Пг., 1923. С. 171.
[7] *Ллойд Джордж Д.* Военные мемуары. М., 1934. Т. 27 С. 531.
[8] *Bailey Th.A.* W. Wilson and the Lost Peace. N.Y., 1945. P. 256.
[9] Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1917. Wash. (D.C.), 1931. P. 196.
[10] Ibid. P. 40.
[11] War Memoirs of Robert Lansing. Indianopolis. N.Y., 1936. P. 261.
[12] См.: *Саввантова М.Д.* Чешский вопрос в русском общественном мнении в период первой мировой войны. Дис. ... канд. ист. наук (МГУ, 1993).

[13] La desagreation de la monarchie Austro-Hongroise. Buc., 1965. P. 105; *Чуканов М.Ю.* Указ. соч. С. 148.
[14] 1918 la români. Buc., 1983. Vol. I. N 156. P. 588–594.
[15] La desagreation... P. 165.
[16] 1918 la români. Buc., 1983. Vol. 1, 2. P. 1164–1165.
[17] *Islamov T.M.* The Dual Monarchy and Its Place in Europe and in History (manuscript).
[18] Знамя. 1993. № 1. С. 156.
[19] Вопросы истории. 1967. № 12. С. 76–77.
[20] Social-Democraţia (Bucureşti). 1918. 12(25) VII.
[21] *Albrecht-Carrie R.* Italy at the Paris Peace Conference. N.Y., 1938.
[22] Conditions of Peace with Bulgaria. P.. 1919.
[23] *Deac T.* Hungary at the Paris Peace Conference. N.Y., 1942.
[24] *Саввантова М.Д.* Указ. соч. С. 40.
[25] *Задорожнюк Э.Г., Харциева Г.Ю.* Алгоритм распада // Очаги тревоги в Восточной Европе. М., 1994.
[26] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 9, С. 9.
[27] Югославия в огне. М., 1992. С. 25, 27.
[28] Защитите новую Югославию! // Правда. 1992. 2 дек.
[29] Новая и новейшая история. 1993. № 3. С. 78.
[30] Там же. № 4. С. 12.

РАСПАД АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ МОНАРХИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Т.М. Исламов

С крушением советской державы на Европейском континенте завершилась многовековая эра полиэтничных империй, во многом определявших ход и характер исторического процесса в этой части света. Дольше всех продержалась российско-романовская империя, преобразованная Лениным и Сталиным в совстскую и распространившая свое влияние почти на весь ареал Средней, Восточной и Юго-Восточной Европы. Исторический спор о двух формах государственной организации – многонациональной и(или) этнонациональной – завершился, по всей видимости, в пользу национального государства. Однако успех добровольной интеграции нового типа в Западной Европе и однозначное стремление всех стран ареала, за исключением Российской Федерации, примкнуть к интеграционному процессу свидетельствуют об исторической реальности тенденции к отказу от части не только экономического, но и политического суверенитета национального государства в пользу наднациональной (или транснациональной) государственной организации. Возможно ли в обозримом будущем торжество интеграционных процессов в бывшем пространстве СССР, зависит в

© Т.М. Исламов

первую очередь от характера и направления политических, экономических и идеологическо-психологических (т.е. преодоление вековых имперских навыков и амбиций) преобразований в России, доминирующей силе ареала.

Итак, исторический и историографический спор вокруг дилеммы – империя, многонациональное государство или национальное государство – на рубеже XX–XXI вв. приобретает новый смысл и значение. И в этом плане далеко не академический интерес представляет изучение исторического опыта последних многонациональных империй Европы – Российской (советской), Османской и Австро-Венгерской. При этом ориентированность историка на анализ истоков национально-освободительных движений и предыстории национальных государств может и должна сочетаться с внимательным отношением к интеграционным элементам в становлении и развитии полиэтнических образований, в частности и в особенности монархии Габсбургов и империи Романовых. Складывающаяся в последнем десятилетии XX в. политико-идеологическая ситуация в нашей стране наконец-то благоприятствует беспристрастному подходу к прошлому империи Габсбургов и ее отношениям с Россией. В советской, как и в дореволюционной русской, историографии в изображении соседней империи, населенной славянскими народами, доминировало сугубо критическое начало, с ярко выраженным сочувствием к угнетенным славянам, и прежде всего к православным подданным династии Габсбургов. Необходимо при этом учитывать то обстоятельство, что историки наши смотрели на эту державу глазами национальных лидеров славянских народов Австро-Венгрии, а впоследствии в основу советских подходов и оценок Монархии легли сконструированные марксистской историографией в ряде социалистических стран Восточной Европы концепции. Молодые историографические школы стран-наследниц Австро-Венгрии, сотворенные по советской модели под идейным руководством советских "учителей", едва став на ноги, стали учить своих наставников в области истории империи Габсбургов, с которой Московская Русь поддерживала регулярные дипломатические отношения еще с начала XVI в. при императоре Фридрихе III, а в XVII–XVIII вв. обе державы связывали преимущественно союзнические узы в совместной временами борьбе с Османской империей. Примерно с середины XIX в. их пути разошлись уже на почве раздела "имущества" османов, в схватке за преобладание на Балканах, которая и привела в конце концов к первой, по существу и последней, между ними войне 1914–1918 гг. Длительное сотрудничество двух держав как-то выпало из поля зрения исторической науки. И не в последнюю очередь усердием и стараниями наших друзей-коллег из некоторых соцстран, тех, что возникли на развалинах Австро-Венгрии. Справедливости ради отметим: знание источников и владение фактическим материалом позволяли им прививать своим бывшим менторам собственные пристрастия и оценки.

Подобное своеобразное сотрудничество привело к тому, что уже к 50-м годам в Советском Союзе перестало практически существовать целостное изучение Монархии как фактора европейской истории, как

ее субъекта, будучи подменено фрагментами истории отдельных ее народов, даже в тех случаях, когда оные, находясь в составе Австрии или королевства Венгрии, были лишены возможности проявить себя в качестве самостоятельной политической силы. Словаки и словенцы – типичный тому пример. Под углом зрения истории народов, не имевших собственной политической истории в узком смысле, создавалась новая марксистско-ленинская концепция истории Дунайской империи. И слава Богу, что этому сизифову труду не суждено было увенчаться полным успехом.

Таким образом, к концу второй мировой войны и на капиталистическом Западе, и на социалистическом Востоке в изображении Монархии доминировал черный цвет. Марксистское и немарксистское направления в исторической литературе, несмотря на глубокую идеологическую пропасть, их разделявшую в данном вопросе, как ни парадоксально, принципиальных расхождений по сути дела не знали, если не принимать, конечно, во внимание квазиинтернационалистическую фразеологию и псевдонаучную словесную шелуху насчет борьбы классов как движущей силы общественного прогресса. Такое положение сохранялось до самого конца 40-х годов, до тех пор, пока проблемами прошлого Средней Европы всерьез не заинтересовались некоторые ученые из США, страны наименее ангажированной в делах региона по сравнению с Францией, скажем, или с Россией, царской и не царской. Отчасти по этой причине они были менее восприимчивы к свойственным их европейским коллегам вековым предрассудкам и предвзятости. Им первым пришлось взламывать стену недоброжелательства и непонимания, воздвигнутую вокруг империи Габсбургов начиная с того времени, как она имела несчастье оказаться во враждебном Антанте лагере.

Преодоление сложившейся в историографии стран Антанты антиавстрийской и антивенгерской традиции связано с публикацией в США в начале 50-х годов работ американца Артура Мея и австро-американцев Ханса Кона и Роберта А. Канна, к которым несколько позднее присоединились Иво Ледерер, супруги Барбара и Чарлз Елавич, ряд других историков Северной Америки и Западной Европы[1]. Вслед за ними в Соединенных Штатах выросло целое поколение одаренных исследователей, лишенных партийно-национальных предубеждений, что чрезвычайно важно; именно благодаря трудам этой плеяды ученых обозначился переход американской аустрохунгаристики от очерковости и компилятивности к оригинальным, основанным на знании всей совокупности первоисточников исследованиям по истории Монархии.

Ограниченный объем статьи, к величайшему огорчению, лишает меня возможности и удовольствия дать историографический анализ этих работ. Остается назвать лишь несколько имен, не желая ни в коей мере умалить заслуги других, не менее достойных. Так, существенный вклад в разработку экономической и социальной истории внесли Джон Комлош, Ричард Рудольф, Дэвид Гуд; социальных, культурных и этнокультурных проблем – Гэри Б. Коэн и незабвенный наш коллега недавно скончавшийся Уильям МэкКэгг, большой эрудит и душевный

человек; внешней политики и международных отношений – Соломон Вэнк и ряд не названных здесь за неимением места авторов[2]. Внесла свою лепту ищущая, преданная науке, любознательная – и в подавляющем большинстве молодая – часть историков социалистических стран, прежде всего венгерских и чешских, а также югославских, польских и отчасти даже московских. Благодаря начавшейся разрядке в отношениях Восток–Запад оказалось возможным провести в середине 60-х годов в Будапеште, Братиславе и Блумингтоне (США) ряд очень важных, чрезвычайно полезных и далеко идущих по последствиям встреч ученых по проблемам Австро-Венгрии. Они положили конец продолжительной изоляции друг от друга историков, занимавшихся одним и тем же делом, но разделенных политико-идеологическими барьерами, открыли путь к регулярному и нормальному научному сотрудничеству, к установлению человеческих отношений между людьми, которые, давно зная друг друга по книгам и статьям, не имели возможности встречаться лично, дискутировать с оппонентом не анонимно, а лицом к лицу.

Все это было абсолютно несовместимо с конфронтацией, навязанной исторической науке сверху "борьбой против враждебной идеологии". Начался поворот к научной добросовестности и объективности в изучении истории Монархии и в странах "реального социализма".

За два последующих десятилетия дружными усилиями специалистов удалось существенно изменить сложившийся в историографии и публицистике негативный образ империи Габсбургов. Дело, однако, не ограничилось выправлением явных перекосов и устранением антантофильских, неославистских, антигабсбургских, мадьяро- и юдофобских и прочих предвзятостей. В определенной связи с ускорением в Западной Европе интеграционных процессов в исторической литературе появились некоторые признаки идеализации империи Габсбургов. Крен в сторону переоценки ее исторической роли в известной мере был неизбежным побочным продуктом, издержкой процесса преодоления прежней однобокости. Предпринимались попытки изобразить Монархию в качестве модели наднациональной организации полиэтничного исторического пространства, причем поиски образца в прошлом как бы перекликались с движением западноевропейского общего рынка к наднациональной политической интеграции. С другой стороны, эти искания отвечали потребности противопоставления Монархии многонациональным государствам советско-коммунистического типа – Советскому Союзу, Югославии, Чехословакии. Эта тенденция к идеализации империи Габсбургов была несколько позже подкреплена и усилена возрождением в странах Средней Европы и даже кое-где на Балканах, переживших оккупацию, познавших все прелести разных тоталитарных режимов, культа "старой доброй Монархии". В свете исторического опыта последних семи десятилетий после своего крушения она смотрелась не так уж плохо.

В этой связи не могу удержаться от искушения ознакомить русского читателя с мнением на этот счет давнего моего знакомого талантливого чешского исследователя Иржи Коржалки. Чешские

историки, констатирует он, «решительно отвергли одно из ключевых положений традиционной национальной историографии, объявлявшей мультиэтничную Габсбургскую монархию "тюрьмой народов"». Новая же концепция, утверждает он, – это нечто диаметрально противоположное старому тезису. Эта концепция сводится к следующему: "После провала попытки построить в Австрийской империи гомогенное общество под немецкой гегемонией (идея потерпела крушение на полях сражений 1859 и 1866 гг.) Австрийское государство предоставило недоминантным этническим группам лучшие условия для всестороннего подъема, чем где-либо в Европе. Чешское общество могло в максимальной мере воспользоваться экономическими, социополитическими и культурными возможностями мультиэтничного государства, без того, чтобы взять на себя ответственность за это государство. Эффективная (система. – *Т.И.*) муниципального и регионального самоуправления была в состоянии защитить партикулярные интересы чешского общества и его элит. Более того, оно стало обществом с почти полной, законченной структурой и с современной системой политических партий, которая просуществовала без больших изменений до осени 1938 г., до подавления парламентарного режима в Чехословацкой Республике"[3].

Новые веяния затронули даже французскую историографию, никогда не отличавшуюся особой симпатией к династии Габсбургов и их державе. Свежий тому пример – недавно опубликованная монография известного исследователя Жан-Поля Бледа "Франц Иосиф", в которой автор приходит к заключению, что Средняя Европа никогда не имела бóльшей политической свободы, стабильного и правового режима, чем при Франце Иосифе, т.е. с 1848 по 1916 г. – ни до, ни после![4] Почти дословно с этим суждением совпадает мнение англичанина Алана Скида, автора монографии "Упадок и падение Габсбургской империи 1815–1918". В канун первой мировой войны, утверждает он, Монархия была "более стабильна и процветающа, чем в любой другой период своей истории". По Бледу, даже национальный вопрос находился в стадии "затухания", что мне лично представляется несколько оптимистической оценкой, если иметь в виду хотя бы[5] два факта: резкое обострение югославянского вопроса в самой Австро-Венгрии в 1906–1914 гг. и продолжавшееся с 1905–1906 гг. нарастание внутренней скрытой напряженности во взаимоотношениях между Австрией и Венгрией, выражаясь модным нынче термином, между самими "субъектами" дуалистического сообщества.

В работах, опубликованных в 60–70-х годах и в последующие десятилетия, отчетливо проявилось имманентное историографии как таковой, как отрасли знания свойство привносить в анализ исследуемого события, процесса, давно ставшего достоянием истории, современный исторический опыт и рассматривать его сквозь призму пережитого последующими поколениями.

Новый импульс актуализации австро-венгерской проблематики дал неожиданно быстрый, оглушительный, сенсационный крах последних в Европе полиэтничных образований – СССР, Югославии и Чехосло-

вакии. И не только потому, что в каждом из них в той или иной мере присутствовала частица ушедшей в небытие еще в начале века Монархии. Последняя стала привлекать внимание уже как феномен многонационального государства, поскольку происшедшие события поставили под вопрос целесообразность, оправданность и право на существование подобного образования вообще.

Не случайно, что даже в средствах массовой информации постсоветской России то и дело стали появляться ссылки на Австро-Венгрию, к сожалению чаще всего некомпетентных, далеких от знания предмета публицистов и политиков, как на удачный либо неудачный исторический образец, смотря по вкусам и политическим симпатиям, многонациональной империи. В России, как и в других ведущих странах мировой науки, с новой силой развернулся стародавний спор вокруг парадигмы национальное государство – многонациональная империя, благо богатейший и поистине уникальный исторический опыт Монархии дает более чем достаточно пищи для размышлений на подобные темы. Позиции здесь четко обозначены, может быть, более однозначно, чем по многим другим вопросам истории Австро-Венгрии.

Есть немало поклонников полиэтничной организации общества, в особенности густо- и чересполосно населенных территорий с исторически сложившейся устойчивой традицией совместного проживания и толерантного сосуществования разноликих и разнотипных этносов. Есть и много противников подобной государственной организации, решительно и категорически отстаивающих идею "национального", точнее, мононационального государства как идеального, как наиболее приспособленного для прогресса общества и процветания нации. Любителей формулы "одна нация – одно государство" привлекает в ней ложное предположение о том, что моноэтничное государство исключает якобы межнациональные распри. Опасное заблуждение, ибо упускается из виду, что в таких случаях национальные конфликты вовсе не исчезают, а искусственно выносятся за пределы той или иной страны, превращаясь в межгосударственные. Кроме того, оно способно порождать либо поощрять агрессивные стремления к пересмотру существующих границ, а в своих крайних и уродливых проявлениях – и так называемым этническим чисткам, которые в 30–40-х годах осуществлялись Сталиным и Гитлером, а в наше время "успешно" проводятся в Боснии и Абхазии.

Что же касается дилеммы – национальное государство или многонациональная империя, то и в советской литературе не существовало на этот счет единого мнения и отношение к этому вопросу характеризовалось известной двойственностью. Теоретически марксизм-ленинизм в принципе отдавал предпочтение крупным полиэтничным образованиям, считая их наиболее соответствующими интересам интернационального по своей природе рабочего класса как с точки зрения реализации его политико-идеологических задач, так и с точки зрения оптимальной организации производства и управления народным хозяйством. Но постулат этот практически признавался верным лишь в применении к Советскому Союзу. Во всех же остальных случаях на

первый план выдвигалось право наций на самоопределение с непременной приставкой "вплоть до отделения". Тот, кто имел неосторожность не провозглашать этот лозунг применительно к Австро-Венгрии, попадал в разряд махровых реформистов и всеми презираемых австромарксистов.

Для нас, в прошлом советских историков, были недостаточно хороши и "принципиальны" те из национальных движений монархии и их лидеров, которые не ставили своей конечной целью доведение национально-освободительного движения "до конца", т.е. до завоевания полного государственного суверенитета, а добивались "лишь" самоопределения и национального равноправия, но без "отделения". На вооружение было взято известное и постоянно цитировавшееся изречение Ленина о том, что национальное государство – норма, а многонациональное – исключение, что-то вроде исторического анахронизма[6]. Но обратим внимание на то, что Ленин (кстати, вслед за Каутским – тогда еще ортодоксальным марксистом, а не "ренегатом Карлом Каутским", как его позднее неизменно величал, т.е. апострофировал, тот же Ленин) утверждал, что "для всего цивилизованного мира типичным и нормальным" является национальное государство, подчеркивая, что пестрое в национальном отношении государство есть явление "недоразвитое" и "отсталое". Не касаясь сейчас вопроса об истинности или ложности данного тезиса, отметим лишь, что его авторы имели в виду "капиталистический мир", для свержения которого требовалось сделать любое национально-освободительное движение "резервом" грядущей пролетарской революции. Реализация советской исторической наукой этих теоретических положений открыла дорогу абсолютизации национальной идеи, а неизбежным следствием подобной абсолютизации должна была стать фетишизация национальной государственности применительно к Австро-Венгрии и Османской империи, разумеется, а не к империи Романовых и СССР.

События 80–90-х годов добавили к стародавним дебатам о Монархии – старым, как сама Монархия, – новые штрихи и элементы; последние были столь значительны, что дали основание нашему североамериканскому другу С. Вэнку, одному из лучших знатоков средневековой истории, говорить даже о "новом повороте" в изучении Австро-Венгрии. "Монархия Габсбургов, длительное время считавшаяся анахронизмом в эру национальных государств, – пишет он, – ныне противопоставляется сегодняшней атомизированной Центральной Европе в качестве модели супранациональной организации, из которой могут быть извлечены позитивные уроки"[7]. В этом автор, правда, сомневается и даже явно иронизирует по поводу того, что из исторического опыта империи Габсбургов можно извлечь какие-то полезные уроки сейчас. В данном случае важнее не сомнения сами по себе и скептицизм автора, ибо не сложно выстроить ряд аргументов pro и contra, а позиция, ими выражаемая.

Сравнение и анализ новейшей зарубежной литературы по Австро-Венгрии невольно наводят на мысль о появлении новой историографической тенденции, о новом повороте в оценке ключевых проблем

истории Монархии на завершающем этапе ее существования. О том, означает ли это очередной поворот, можно судить по некоторым публикациям последних лет. О некоторых, самых значительных из них, и пойдет речь ниже.

Наиболее отчетливо и как бы нарочито заостренно вопрос о критической переоценке исторического опыта Дунайской империи поставлен в работах вышеупомянутого С. Вэнка. На них и представляется целесообразным остановиться в первую очередь, поскольку из всех современных исследователей именно наш американский друг вполне сознательно задался целью опровергнуть аргументы "в пользу позитивного имиджа Габсбургской Монархии"[8]. Мотивы достаточно резкого выступления Вэнка вполне очевидны, они достойны уважения и понимания. Его тревожит перспектива возможного искажения исторической действительности вследствие чрезмерного или одностороннего выпячивания позитивных аспектов в ущерб негативным. Вполне законное опасение для западной, отчасти чешской и венгерской, историографии, но не для российской и советской, да и постсоветской, никогда этим недостатком не страдавшей.

В подобной ситуации предпринимается целенаправленная попытка устранить одну крайность, но при этом всегда существует опасность впасть в другую крайность. Этого, к сожалению, не удалось избежать, как мы увидим ниже, и Вэнку, несмотря на всю его очевидную преданность исторической истине. Он ведет полемику против аргументации, содержащейся в монографиях и статьях профессора Колумбийского университета (Нью-Йорк) Иштвана Деака, а также уже упоминавшихся Б. Елавич, А. Скида и Фр. Бриджа, по четырем-пяти основным проблемам австро-венгерской истории. Внутренне связанные между собой, в совокупности они позволяют синтезировать достижения и провалы Монархии и в конечном счете несколько приближают нас к пониманию смысла ее существования.

1) Ставится под сомнение тезис о **стабильности** империи, о том, что в конце XIX – начале XX в. она была одной из **процветающих** держав континента. Насчет культурного процветания все или почти все исследователи единодушны в признании весьма значительных достижений как в сфере высокой, элитарной культуры, так и в области народного образования, с чем, судя по всему, согласен и Вэнк. В то же время не совсем ясна его позиция в оценке уровня экономического развития Монархии. А ведь нормально развивающаяся экономика, с устойчивыми показателями ежегодного прироста валового национального продукта, есть едва ли не главный критерий не только стабильности того или иного государства, но и его жизнеспособности. Между тем именно этот важный аспект австро-венгерской историографии не занимает должного места в системе аргументации Вэнка. Он ограничивается лишь констатацией **относительной экономической отсталости** Австро-Венгрии в канун первой мировой войны. Но простого признания указанного важного тезиса недостаточно, ибо, во-первых, его можно по-разному истолковать, во-вторых, в человеческом мозгу и памяти

легче запечатляется понятие "отсталость", чем определение "относительная", а в-третьих, без соответствующих разъяснений и комментариев непонятна сама эта относительность, остается без ответа вопрос – относительно чего, относительно к чему? Не относительно к Балканам, разумеется, и даже к России, сделавшей на рубеже двух веков мощный рывок к вершинам капиталистической индустриализации. Темпы промышленного развития и в более отсталой части империи, в Венгрии, как показали исследования Дъёрдя Ранки, Ивана Т. Беренда, Ласло Катуша и других компетентных историков-экономистов, были более высокими, чем в России и даже в Австрии: соответственно 3,0% в Венгрии и 2,5% в австрийской половине Монархии[9].

В индустриализации, в экономическом росте вообще в абсолютном выражении даже наиболее отсталые регионы империи, как, например, Босния и Герцеговина, превосходили соседние национально независимые, суверенные балканские государства. Факт признается нейтральными исследователями, только не советскими. Так, историк из Эдинбурга (Великобритания) категорически утверждает, что Босния "экономически развивалась более успешно, чем Сербия и Болгария", подчеркивая, что «эффект габсбургской "цивилизаторской миссии" был серьезно недооценен историками»[10]. Австро-Венгрия была отсталой в центральноевропейских измерениях, точно так же империя в целом отставала экономически по западноевропейским стандартам, т.е. в сравнении с Францией, Бельгией, Германией и некоторыми другими странами. Сегодня это признается как неоспоримый факт всеми ведущими специалистами, а надо сказать, что именно в области экономической истории достигнуты наиболее важные результаты в изучении австро-венгерской проблематики за последние два-три десятилетия. Вопрос заключается в том, как совершенно справедливо замечает Дэвид Гуд вслед за Ричардом Рудольфом, увеличивалась ли эта относительная экономическая отсталость, или же, наоборот, разрыв между Монархией и высокоразвитым Западом сокращался[11].

Бесспорного и однозначного ответа на этот вопрос наука пока не дала. Однако исследования названных выше авторов и других научных авторитетов и выводы, из них вытекающие, подтверждают: за последние более чем четыре десятилетия своего существования, в 1870–1914 гг., Австро-Венгрия добилась **значительных успехов в преодолении своей относительной экономической отсталости**, о чем свидетельствует анализ сопоставимых данных темпов роста: среднегодовой подушный социальный продукт (в долларах США по курсу 1960 г.) составлял в денежном выражении 1,45 в Австро-Венгрии, 1,51 в Германии, 1,06 во Франции, 1,0 в Великобритании, 0,81 в Италии, 0,62 в России. Отсюда следует, что по темпам роста Австро-Венгрия опережала целую группу высокоразвитых стран континента, исключая Германию, но уступала Дании (2,19) и Швеции (2,39)[12]. Тем не менее нельзя не признать, по нашему мнению, успехом исторического масштаба и значения практическую ликвидацию разрыва в темпах роста с Францией, составлявшего еще до 70-х годов XIX в. довольно

значительную величину. Иначе обстояло дело с Германией, самой динамично развивавшейся тогда страной континента. Покойный Александр Гершенкрон, один из виднейших современных теоретиков экономической истории, хорошо знавший австро-венгерскую проблематику и часто к ней обращавшийся, высказал предположение, что экономическое отставание Монархии от Германии скорее увеличивалось, нежели сокращалось, поскольку, полагал ученый, ее экономическое развитие не отвечало "великому вызову индустриализации", рост был замедленным, коммуникационная сеть недостаточно развитой[13].

Все сказанное – истинная правда. Но все это относится к двум последним десятилетиям прошлого века. В анализе не учтены результаты завершающего этапа экономического цикла (первые два десятилетия XX в.), а главное, экономические показатели сравниваются с рекордными достижениями индустриально-финансового гиганта Европы, а не с Россией, которая была бы счастлива, имей она сегодня такую же инфраструктуру, какой обладала "отсталая" Австро-Венгрия на рубеже двух веков. Слаба была, по мнению упомянутого автора, связь между странами и землями, входившими в состав империи. Конечно, она не была и не могла быть в силу исторически сложившейся ее структуры, в особенности после своего превращения в дуалистическое образование, такой, как в Германии или во Франции.

Нельзя в то же время пренебрегать тем фактом, что, несмотря на сложность взаимоотношений двух государств Монархии – Австрии и Венгрии – и громоздкость механизма регулирования возникавших экономических проблем, наличие единой таможенной территории и периодически возобновлявшиеся между ними экономические соглашения обеспечивали вполне нормальное функционирование народного хозяйства империи в целом и отдельных ее частей. Фридрих Херц, не меньший авторитет в области экономической истории, чем Гершенкрон, например, решительно и категорически подчеркивает "подавляющее преимущество экономической общности" Монархии, которое перевешивало все другие ее недостатки[14].

Преимуществами этой общности и выгодами наличия общей австро-венгерской таможенной территории пользовались, как доказывают исследования венгерских и чешских историков, не одни только так называемые господствующие нации, а в той или иной мере также периферийные аграрные зоны[15]. Сочинители парижских мирных договоров, пишет в подтверждение этой мысли американский автор Стюарт Хью, "забыли о том, что Австро-Венгерская монархия, несмотря на все ее ошибки, превратила бассейн Дуная в единое экономическое целое, забыли о том, что ей надо было найти какую-нибудь замену, раз она должна была исчезнуть"[16].

Общность таможни явилась тем гениальным инструментом, который позволил привести к единому знаменателю противоречивые устремления австро-чешской промышленности и сельскохозяйственного производства Венгрии, гармонизировать основные экономические интересы обеих половин Монархии и выразить их в единой общеимперской

экономической политике, как вовне, так и внутри, не ущемляя при этом сколько-нибудь существенно внутреннюю экономическую свободу каждого из двух государств дуалистической империи без политического диктата и экономического давления. Венгерская промышленность, подчеркивает Джон Комлош, даже "извлекла, вероятно, еще больше выгод от свободного доступа к австрийскому рынку, чем сельское хозяйство", получившее гарантированный, надежно защищенный высокими импортными пошлинами от иностранной конкуренции рынок[17]. Еще более важное значение имело то обстоятельство, что для промышленности Венгрии австрийская половина империи служила неисчерпаемым по сути источником займов, кредитов, капиталов и квалифицированной рабочей силы.

Короче говоря, несмотря на отставание от передового Запада, в первую очередь от Германии, – и относительное и абсолютное, оно измерялось по меньшей мере одним десятилетием, как считает Д. Гуд, – народное хозяйство империи развивалось по восходящей линии, надежно функционировал экономический механизм, обеспечивая тем самым ее стабильность, устойчивость и жизнеспособность. И это отнюдь не "сангвинистическая картина", о которой пишет С. Вэнк в связи с излишне позитивными, по его мнению, оценками "габсбургского экономического роста"[18].

2) Вторая позиция оппонента связана с национальным вопросом в Австро-Венгерской Монархии и его значением в дезинтеграционных процессах. В принципе он согласен с тем, что партии и лидеры наций, исключая отдельные радикальные группы, в своей политической стратегии исходили из перспективы длительного существования Монархии, основывая на этой презумпции свою практическую деятельность. Более того, они были скорее озабочены улучшением позиции своей этнической группы в общем государстве, чем завоеванием автономии, не говоря уже о национальном суверенитете или сепаратизме. Контраргументы Вэнка: наличие сильной Германии, заинтересованной в сохранении статус-кво в дуалистической Монархии, готовность императора и его советников подавить военной силой любую попытку изменения имперской структуры. Ни одно из этих гипотетических, в сущности, положений ученого не дает прямого и исчерпывающего ответа на поставленные им же самим вопросы. Тем не менее, ссылаясь на них, он делает вывод о нереалистичности исполнения национальных аспираций в Монархии до 1914 г., утверждая, что расчет национальных движений и их лидеров на сохранение империи может быть рассмотрен скорее как их "адаптация к политическим и дипломатическим реалиям, чем как принятие империи как таковой"[19].

Таким образом, отсутствие в программах национальных движений радикальных установок и целей Вэнк склонен рассматривать как тактический ход. Странное умозаключение. Любому специалисту хорошо известно, что сохранение Монархии при наличии двух сильных соседей на ее западных и восточных рубежах – Германской и Российской империй – было для подавляющего большинства населявших ее народов, и прежде всего чехов, венгров, словаков, поляков, словен-

цев, вопросом жизни и смерти, вопросом национального существования. Для чехов это было альфой и омегой их национальной политики. Об этом говорил неоднократно даже сам В.И. Ленин, не испытывавший особенно горячих чувств к монархиям. Не совсем верно и предположение о неизбежном вооруженном ответе дуалистической структуры на любой вызов. По правде сказать, за дуализм упорно, последовательно, упрямо цеплялся лишь один человек – австрийский император и венгерский король в одном лице – Франц Иосиф.

Пример Венгрии, действительно испытавшей в 1905–1906 гг. угрозу военной интервенции, говорит об обратном[20]. Партия независимости, крупнейшая политическая сила страны, неизменно и открыто выступала против дуализма, за первоначальную унию, за самостоятельную армию и таможню. Венгерская политика была ориентирована на максимальное сокращение сферы деятельности и компетенции общих австро-венгерских министерств – военного и иностранных дел. Но не более того. Хотя в радикальных антиавстрийских лозунгах националистов, денно и нощно клявшихся именем легендарного Кошута, недостатка не было. Зато склонности к компромиссу с династией и Австрией у этих политиков было вполне достаточно. Именно поэтому до вмешательства армии в политику дело не дошло ни тогда, ни позднее. Изменения соотношения сил в австро-венгерском двойственном альянсе не менее настойчиво добивались и влиятельные круги в Вене, в особенности престолонаследник эрцгерцог Франц Фердинанд и его окружение. Наиболее далеко идущий план радикального преобразования дуалистической империи в триалистическую был разработан в 1906–1907 гг. амбициозным министром иностранных дел Австро-Венгрии графом Алоизом Лекса Эренталем, выдающимся австрийским дипломатом. Суть плана заключалась в создании в рамках империи, в противовес Венгрии, третьего югославянского блока вокруг Хорватии–Славонии, входившей в состав венгерского королевства[21]. Ради его осуществления Эренталь был готов отобрать у Австрии Далмацию и отдать ее Венгрии, формально, по историческому праву ей принадлежавшую. Таким путем предполагалось убить одним ударом двух зайцев: создать противовес Венгрии, приструнить ее, опираясь на возросший вес Триединого королевства (Хорватия–Славония–Далмация), и решить югославянскую проблему в рамках Монархии, ослабить притягательную для югославян Австрии и Венгрии силу Сербии, вбить клин между сербами и хорватами, превратив их из союзников в соперников.

Противоречия между Австрией и Венгрией в первые десятилетия века были достаточно остры, но не настолько, чтобы поставить под удар существование самой империи. Она была нужна обеим сторонам. Венгрию, в сущности, не устраивала лишь форма дуализма, точнее – распределение доли власти и ответственности в дуалистическом механизме. В целом же борьба между двумя половинами империи шла за гегемонию в двуединой монархии. В отличие от всех прочих национальных движений народов империи сепаратистские тенденции проявились уже в предвоенные годы – и особенно отчетливо в ходе и

после Балканских войн – в югославянских землях. Отсюда та нервозность, с которой в Вене и Будапеште воспринимались любые действия Сербии и Черногории, направленные на разжигание антивенгерских и антиавстрийских настроений. Другим очагом ирредентизма были населенные итальянцами южные провинции Австрии. Однако угроза, исходившая отсюда, была в предвоенные годы не так масштабна и опасна для самого существования монархии, как югославянская. Она была и не столь явной, поскольку Италия все еще ходила в союзниках Австро-Венгрии и вплоть до 1915 г. не было ясно, к какой из воюющих коалиций она присоединится – к блоку Центральных держав или к Антанте. Политическая элита австрийских немцев (за исключением немногочисленной и незначительной группы пангерманистов), мадьяр и других народов, не имевших за рубежами империи Габсбургов этнически родственных государств, добивалась решения своих проблем без разрушения империи, в которой она видела гаранта сохранения своей национальности, а элита чехов – и экономического процветания. Геополитическая ситуация в регионе Средней Европы и вокруг него – страх одних народов Австро-Венгрии перед Германией, других перед Россией, кипение балканских страстей по соседству – все это служило дополнительным аргументом в пользу монархии. В первые десятилетия XX в. стало очевидно, что реорганизация ее на федеративных началах и есть единственно возможный путь ее сохранения в качестве "общего дома". Но против федерализации не только монархии в целом, но даже и австрийской половины империи решительно возражала не одна Венгрия. Не менее серьезным противником радикальных структуральных изменений выступал сам престарелый император Франц Иосиф, наделенный огромными, полуабсолютистскими полномочиями, без согласия и одобрения которого не решался ни один серьезный вопрос внутренней и внешней политики. "Умудренный" опытом революций, венгерской и австрийской 1848–1849 гг. и российской 1905 г., он решительно и твердо пресекал любые попытки изменения дуалистических основ, с какой бы стороны они ни исходили, в равной мере как с венгерской, так и с австрийской, включая собственного нелюбимого племянника Франца Фердинанда. Но также очевидно, что и трижды реорганизованная на началах федерализма и широчайшей демократии среднеевропейская империя имела весьма сомнительные шансы устоять перед натиском могущественных внешних сил, принявших к концу первой мировой войны роковое решение об ее уничтожении.

[1] *May A.J.* The Habsburg Monarchy, 1867–1914. Cambridge (Mass.). 1951; *Kann R.A.* The Multinational Empire: Nationalism and National Reform in the Habsburg Monarchy, 1848–1918. Vol. 1–2; N.Y., 1950; *Idem.* The Habsburg Empire: A Study in Integration and Disintegration. N.Y., 1957; *Kohn H.* Pan-Slavism. South Bend, 1953; *Lederer I.J.* Yugoslavia at the Paris Peace Conference: A Study in the Frontiermaking. New Haven, 1963; *Mamatey V., Jelavich B.* The Habsburg Empire in European Affairs, 1804–1918. Chicago, 1969; *Jelavich Ch. and B.* The Establishment of the Balkan States, 1804–1920. Washington, 1977; *Macartney C.A.* The Habsburg Empire, 1917–1918. L., 1968; *Tapié Victor L.* The Rise and Fall of the Habsburg Monarchy. N.Y., 1971; *Taylor A.G.P.* The Habsburg Monarchy, 1809–1918. L., 1948.

[2] *Komlos J.* The Habsburg Empire as a Customs Union: Economic Development in Austria–Hungary in the Nineteenth Century. Princeton, 1983; *Rudolf R.* Banking and Industrialisation in Austria–Hungary. Cambridge, 1976; *Wank S.* Foreign Policy and the Nationality Problem in Austria–Hungary, 1867–1914 // Austrian History Yearbook. 1967. Vol. 3. Pt. 3.

[3] *Koralka J.* Czechoslovakia (Historiography of the Countries of Eastern Europe) // The American Historical Review. 1992. Vol. 97. N 4. P. 1039.

[4] *Bled J.-P.* Franz Joseph. Oxford, 1992.

[5] *Sked A.* The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815–1918. L.; N.I., 1989. P. 263–265.

[6] В.И. Ленин о национальном и национально-колониальном вопросе. М., 1956. С. 175–176.

[7] Цит. по: Central European History. 1993. Vol. 26. N 1. P. 123. Из рецензии С. Вэнка на монографию А. Скида.

[8] *Wank S.* The Nationalities Question in the Habsburg Monarchy: Reflections on the Historical Record // Working Paper 93–3. Minnesota, 1993.

[9] *Berend I.T., Ránki G.* A magyar gazdaság száz éve. Budapest, 1972; *Berend I.T., Ránki G.* The Economic Development in East–Central Europe in the 19th and 20th Centuries. N.Y.; L., 1974; *Katus L.* Economic Growth in Hungary during the Age of Dualism 1867–1913. Quantitative Analysis // Social and Economic Researches on the History of East-Central Europe // Ed. by Pamlényi E. Budapest, 1970.

[10] *Palairet M.* The Habsburg Industrial Achievement in Bosnia–Herzegovina, 1878–1914 // Austrian History Yearbook. 1993. Vol. XXIV. P. 136.

[11] *Good D.F.* Der wirtschaftliche Aufstieg des Habsburgerreiches, 1750–1914. Wien–Köln–Graz, 1986. S. 208; *Richard R.* Austrian Industrialisation. A Case Study in Leisurely Economic Growth // Socialismus, Geschichte und Wirtschaft. Festschrift für Eduard März. Wien, 1973. S. 261–262.

[12] *Good D.F.* Op. cit. S. 209; *Kausel A.* Österreichs Volkseinkommen 1830 bis 1913 // Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Österreich. 1829–1979. Östereichisches Statistisches Zentralamt. Hft. 550. Wien, 1979. S. 710–720.

[13] *Gerschenkron A.* An Economic Spurt that Failed. Princeton. N.Y., 1977. P. 54.

[14] *Hertz F.* The Economic Problem of the Danubian States. L., 1947. P. 51.

[15] По мнению Дэвида Гуда, австро-венгерское Соглашение 1867 г. создало "политические предпосылки для того, чтобы распространить подъем (экономический. – *Т.И.*) на менее развитые восточные части империи" (см.: *Good D.F.* Op. cit.). См. также чрезвычайно насыщенную интересным фактическим материалом работу канадского ученого Эдди Скотта, известного специалиста в области аграрной истории Средней Европы: *Scott E.* Economic Policy and Economic Development in Austria–Hungary, 1867–1913 // The Cambridge Economic History of Europe. L., 1987. Vol. 8.

[16] *Stewart H.H.* Contemporary Europe: A History. N.Y., 1961. P. 119. Цит. по: *Good D.F.* Op. cit. P. 17.

[17] *Komlos J.* Die Habsburgermonarchie als Zollunion, Die Wirtschaftsentwicklung Österreich–Ungarns im 19. Jahrhundert. Wien, 1986. S. 139–140.

[18] *Wank S.* The Nationalities Question... P. 3.

[19] Ibid.

[20] О планах военной интервенции в Венгрии во время политического кризиса 1905–1906 гг. подробнее см.: *Исламов Т.М.* Политическая борьба в Венгрии в начале XX в. М., 1959. С. 163–173.

[21] См.: *Исламов Т.М.* Политическая борьба в Венгрии накануне первой мировой войны. 1906–1914. М., 1972. С. 180–184.

РАЗРАБОТКА КАДЕТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В.В. Шелохаев

Настоящая статья является логическим продолжением исследований автора в области изучения либеральной концепции национального вопроса в России 1905–1914 гг.[1] Первая мировая война стала следующим принципиально важным этапом в разработке кадетскими идеологами и политиками серии проектов национально-территориального устройства Российской империи. Один из таких проектов – "Проект закона об устройстве Царства Польского" – уже освещался в исторической литературе[2]. Тем не менее проблема как целое продолжает оставаться еще слабо разработанной. В статье ставится задача восполнить существующий в историографии пробел.

Прежде всего следует обратить внимание на совокупность факторов, оказывавших то или иное влияние на подходы кадетских лидеров к разработке национального вопроса именно в экстремальных условиях первой мировой войны. В первые же военные месяцы национальные проблемы в полиэтничной стране приобрели особую остроту. Об этом, в частности, свидетельствовал один из ведущих кадетских теоретиков по национальному вопросу Ф.Ф. Кокошкин: "Из всех вопросов нашей внутренней жизни, выдвинувшихся в непосредственной связи с войной, первое место принадлежит бесспорно национальному вопросу"[3].

Во-первых, военные действия велись на территориях (Польша, Галиция, Прибалтика, районы черты еврейской оседлости) с многонациональным составом населения. Причем обострению национального вопроса на этих территориях способствовала весьма недальновидная и с элементами откровенно выраженного великодержавия политика царизма. Во-вторых, война с логической неизбежностью поставила вопрос о необходимости единения всех национальностей. "Идущие в бой инородцы, – писал Кокошкин, – должны знать, что они идут на защиту общего отечества, которое для них не чужой, а свой дом, в котором есть место для свободной жизни и развития их народности. Население окраин, угрожаемых неприятельским нашествием, должно чувствовать себя живой неразрывной частью государственного организма, связанной с его центром своими насущными жизненными интересами"[4]. В-третьих, кадеты прекрасно понимали, что национальная политика царизма способствовала усилению сепаратистских тенденций, что, естественно, затрудняло их задачу удержать под своим идейно-политическим влиянием представителей национальных отрядов либеральной оппозиции. В-четвертых, они должны были учитывать активизацию националистических настроений не только в национальных районах страны, но и в эмиграции. Известно, что еще в 1912 г. в

© В.В. Шелохаев

Париже был создан Союз национальностей, которому в конце 1916 г. удалось провести в Лозанне съезд представителей народностей России[5]. И наконец, кадеты вынуждены были принимать в расчет международную обстановку, позиции воюющих стран, пытавшихся использовать в своих интересах обострение национального вопроса в России.

Однако определяющее влияние на разработку кадетами национального вопроса в 1914–1917 гг. оказала внутриполитическая ситуация в стране. С первых дней войны кадеты, отказавшись от оппозиционной борьбы с правительством, подчеркивали необходимость "сохранить нашу страну единой и нераздельной и удержать за ней то положение в ряду мировых держав, которое оспаривается у нас врагами"[6]. Делая акцент на унитарном характере государственного устройства России, кадетские идеологи и политики в 1914–1917 гг. еще с большей силой стали подчеркивать свое неприятие лозунга политического самоопределения народов вплоть до отделения. Выступая за решение национального вопроса исключительно в рамках "единой и неделимой России", они самым категорическим образом отвергали и идею федеративного устройства государства, весьма ограниченно толковали возможность предоставления некоторым, "созревшим для этого", народностям автономии, отстаивали необходимость сохранения во что бы то ни стало господствующего государственного языка.

Политика "единения" с правительством, усиление в либеральной среде идей великодержавной государственности не могли не сказаться на политике кадетов в национальном вопросе. Так, думская кадетская фракция отказалась поддержать своими подписями законопроект об отмене всех национальных ограничений, составленный фракциями социал-демократов и трудовиков IV Думы в январе 1915 г. В своих думских выступлениях по национальному вопросу кадеты предпочитали ограничиваться программой Прогрессивного блока. Суть же этой программы сводилась к следующим четырем пунктам: 1) разрешение русско-польского вопроса, а именно: отмена ограничений в правах поляков на всей территории России, незамедлительная разработка и внесение в законодательные учреждения законопроекта об автономии Царства Польского и одновременный пересмотр узаконений о польском землевладении; 2) вступление на путь отмены ограничений в правах евреев, в частности дальнейшие шаги к отмене черты оседлости, облегчение доступа в учебные заведения, отмена стеснений в выборе профессии, восстановление еврейской печати; 3) примирительная политика в финляндском вопросе, в частности перемены в составе администрации и Сената и прекращение преследований должностных лиц; 4) восстановление малорусской печати; немедленный пересмотр дел жителей Галиции, содержащихся под стражей и ссыльных, и освобождение тех из них, которые подверглись преследованиям невинно[7].

Вместе с тем следует также отметить, что собственно партийная деятельность кадетов по национальному вопросу в 1914–1917 гг. была гораздо шире и продуктивнее, чем думская. При ЦК действовали комиссии по еврейскому вопросу (председатель М.М. Винавер), украинскому (А.А. Корнилов, В.И. Вернадский), польскому (П.Н. Милюков,

Ф.Ф. Кокошкин, А.А. Корнилов, Д.Д. Протопопов), армянскому (П.Н. Милюков, М.С. Аджемов, А.К. Дживелегов, М.И. Пападжанов), литовскому (П.С. Монас, М.М. Винавер, Ф.Ф. Кокошкин, П.Н. Милюков, Н.П. Василенко, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, М.М. Ичас, Д.Д. Гримм, Н.А. Гредескул). Национальный вопрос неоднократно дебатировался на пленарных и очередных заседениях ЦК, партийных конференциях, на VI съезде кадетской партии, состоявшемся в феврале 1916 г. Иными словами, в распоряжении исследователей имеется достаточная информация, позволяющая в полном объеме охарактеризовать позиции кадетов по национальному вопросу в годы первой мировой войны.

Из всех вышеназванных национальных проблем, по которым были созданы специальные комиссии, наиболее слабо разработанными оказались еврейский и украинский вопросы. Выступать с инициативой их постановки в Думе кадетские лидеры считали нецелесообразным: что касается первого, то из-за роста антисемитизма и шпиономании, искусственно раздувавшихся черносотенной пропагандой, а второго – в связи с событиями в Галиции и позицией правительства и националистов в отношении западных украинцев. Более того, кадеты, приложившие столько усилий для создания "своего детища" – Прогрессивного блока, не хотели в постановке еврейского и украинского вопросов выходить за его программные рамки.

В ходе обсуждения еврейского и украинского вопросов на заседаниях ЦК 5 и 9 октября 1914 г. были приняты следующие решения. Кадеты категорически отказались участвовать в проведении анкеты по еврейскому вопросу совместно с левыми партиями. При этом обвинили евреев в том, что якобы они пытаются оказать воздействие на поляков. Кадетами было заявлено, что "пусть евреи выбирают, с кем им идти"[8]. Таким образом, кадетские лидеры продемонстрировали свое нежелание публично обсуждать еврейский вопрос. Подобная тактика замалчивания, как правильно заметила Н.Г. Думова, осуществлялась с согласия принадлежавших к кадетской верхушке М.М. Винавера и Г.Б. Слиозберга, претендовавших на роль политических лидеров российского еврейства[9].

Что же касается украинского вопроса, поднятого на заседании ЦК 9 октября 1914 г., то его рассмотрение решили вообще отложить. Дело в том, что кадетское руководство хотело избежать острых разногласий среди членов ЦК партии. Правые кадеты (и прежде всего П.Б. Струве) категорически отрицали существование особого украинского вопроса. Позиция Струве, поддерживаемая октябристами и прогрессистами, вызывала раздражение и досаду не только у представителей Киевского комитета кадетской партии, но и среди многих членов ЦК. Даже А.В. Тыркова, которая во многом разделяла позицию Струве, вынуждена была оценить статьи последнего по украинскому вопросу как "несомненно вредные", которые могут "только вызвать досаду"[10]. Из-за разногласий с большинством ЦК 8 июня 1915 г. П.Б. Струве вышел из его состава. Тем не менее кадетское руководство предпочитало хранить молчание по украинскому вопросу. В связи с оценкой этой

позиции определенный интерес вызывает письмо С.В. Петлюры, направленное 22 июля 1915 г. П.Н. Милюкову. Критикуя лидера кадетской партии за то, что он в своих думских речах ничего не говорит об украинском вопросе, Петлюра писал: "Ваше молчание произвело на нас удручающее впечатление и, в частности, поставило руководимый мной журнал ("Украинская жизнь". – *В.Ш.*) в очень тяжелое положение... Не выступив в защиту попранных прав целого народа, умолчав о вопиющих фактах запрещения говорить на родном языке и общаться при помощи него сознательному в национальном отношении обществу, Вы как бы санкционировали создавшееся положение вещей... Видимо, сытые в национальном отношении русские, хотя бы они теоретически и отстаивали права угнетенных народностей, в трудную для этих народностей минуту не хотят им помочь и не хотят облегчить положение голодного, обобранного и униженного национально народа"[11]. К сожалению, нам не удалось обнаружить в личном фонде Милюкова черновика ответа на разгневанное письмо Петлюры. Видимо, его вообще не последовало, ибо лидеру кадетской партии нечего было ответить.

Три остальных вопроса (польский, армянский и литовский), помимо собственно национального, в годы войны приняли еще и международный характер. 14 августа 1914 г. было опубликовано обращение главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича к полякам, содержащее обещания свободы вероисповедания, сохранения языка и дарования Польше самоуправления под скипетром русского царя. В октябре–ноябре 1914 г. состоялось несколько заседаний ЦК кадетской партии, на которых наряду с еврейским, украинским и армянским внимание было уделено и польскому вопросу. 5 октября 1914 г. Милюков проинформировал членов ЦК о своем участии в совещаниях с поляками и евреями, где обсуждался вопрос о возможности образования из Польши "нейтрального политического тела". Затем он подчеркнул, что так как в обращении главнокомандующего "предуказано для объединенной Польши быть под скипетром царя", то и кадеты могут разрабатывать вопрос об ее автономии исключительно в пределах России[12]. На заседании была избрана и уже упомянутая выше комиссия по польскому вопросу.

На заседании ЦК 2 ноября 1914 г. предстояло заслушать подробнейшие доклады А.А. Корнилова, П.Н. Милюкова, Ф.Ф. Кокошкина по различным аспектам польской проблемы. Характерно, что первые два выступления (соответственно "Об исторических судьбах Польши со времен первых разделов" и "Об этнографических границах современной Польши в пределах России, Австрии и Германии") по преимуществу носили сугубо исторический характер. Основной же докладчик Ф.Ф. Кокошкин (он должен был выступить на тему "О государственном устройстве Польши") на заседание прибыть не смог. Но основные положения доклада он сформулировал в присланном в ЦК письме, подтверждая, что продолжает оставаться в польском вопросе на тех же позициях, которые он защищал в 1905 г. Напомним, что суть этих позиций сводилась к следующим положениям: Польша должна быть

выделена в особую автономную единицу с сеймом, избранным на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, при непременном условии сохранения государственного единства империи. Из компетенции сейма исключались: бюджет, внешняя политика, железные дороги, почта, телеграф и телефон. Что же касается законов, издаваемых сеймом, то они подлежали утверждению царем. В роли посредника между царем и сеймом выступал статс-секретарь, ответственный перед сеймом. Во главе управления в Польше находился наместник, назначаемый царем. "Я, – писал в своем письме Кокошкин, – стою на той же точке зрения и теперь, хотя полагаю, что сфера местного законодательства могла бы быть теперь, при объединении всех частей этнографической Польши, раздвинута гораздо шире, чем то представлялось возможным в 1905 г."[13] Подводя итоги обсуждения польского вопроса на этом заседании, Милюков заметил, что еще не настало время говорить о расширении сферы местного законодательства, как это предлагал Кокошкин. Пока, по его мнению, при разработке польского вопроса "необходимо стоять на почве воззвания главнокомандующего к полякам" и не выходить за пределы "польской автономии 1905 г."[14].

7 декабря 1914 г. польский вопрос вновь стал предметом обсуждения на заседании ЦК кадетов. В своем выступлении Милюков сосредоточил внимание присутствовавших на разъяснении различных точек зрения на польский вопрос, которые циркулируют в русском обществе. Причем амплитуда этих мнений колеблется от полной политической независимости Польши до признания достаточности предоставления ей прав местного самоуправления. Сам Милюков высказался категорически против предоставления Польше политической независимости. "Сейчас, – заявил он, – независимая Польша в силу тех или иных обстоятельств могла бы занять враждебную позицию по отношению к России, и надо пока ее придержать"[15]. Соглашаясь с мнением о возможности предоставить Польше автономию в этнографических границах, Милюков подчеркнул, что это решение должно быть обязательно проведено "через российские законодательные учреждения, через органы российского народного представительства"[16]. Иной же путь предоставления Польше автономии (например, согласно статье 87 или тем более в ходе революционного переворота) лидер кадетов считал вообще неприемлемым. "Все подобные экстраординарные способы решения вопроса, – заявил он, – действительно находились бы вне пределов партийной программы к.-д."[17]

Предоставление автономии Польше исключительно законодательным порядком позволило бы, по его мнению, с одной стороны, разработать перечень вопросов, ограничивающих права сейма, а с другой – вывести польских представителей из Государственной думы, избежав тем самым возможности их "вредного влияния на чисто русские дела"[18]. Прекрасно понимая, что сами поляки будут стремиться к полной политической независимости, Милюков считал, что кадеты могут признать максимально возможным, во-первых, лишь предоставление более широких законодательных прав сейму, во-вторых, назна-

чение отдельных министров для Польши, что уже практиковалось в первой четверти XIX в.[19]

Последовательным и бескомпромиссным противником политической независимости Польши выступал П.Б. Струве. "Выделение Польши как независимого государства, – заявил он, – имело бы громадные и вредные последствия"[20]. И только один из участников этого обсуждения, А.А. Корнилов, допускал, что, "может быть, полная независимость Польши для русских интересов лучше, чем оставление польского представительства в Думе"[21]. Дискуссия и на этом заседании не привела к каким-либо определенным результатам. Члены ЦК кадетской партии с нетерпением ждали завершения работы над "проектом закона об устройстве Царства Польского", который, не очень-то торопясь, подготавливал Ф.Ф. Кокошкин.

Обсуждению представленного им проекта было посвящено несколько заседаний ЦК (18 и 19 апреля, 3 и 8 мая); значительная часть времени ушла на это и на общепартийной конференции, состоявшейся 6–8 июня 1915 г. Основное содержание проекта Ф.Ф. Кокошкина сводилось к следующему. Царство Польское должно было и впредь составлять "нераздельную часть государства Российского" и, следовательно, подлежало "действию общегосударственных законов и установлений". Согласно проекту, Польша в этнографических границах выделялась в особую автономную единицу с законодательным однопалатным сеймом, избранным на основе всеобщего избирательного права. К компетенции сейма были отнесены такие вопросы, как установление и отмена налогов, податей и повинностей (за исключением государственных монополий, таможенных пошлин и акционерных обществ), рассмотрение и утверждение бюджета и др. Посреднические функции между сеймом и царем предстояло осуществлять особому статс-секретарю, который назначался монархом. Во главе управления Польши должен был находиться наместник, назначаемый и увольняемый царем. Наместнику передавались вопросы назначения и увольнения министров, а за монархом оставались права роспуска сейма и утверждения всех принимаемых им законов. Проект Ф.Ф. Кокошкина предусматривал также отмену вероисповедальных ограничений, вводил употребление "местных языков" как в делопроизводстве, так и в преподавании. Однако официальным языком сношений между польскими общегосударственными учреждениями, а также ответов на обращения русских подданных оставался исключительно русский язык[22].

После обсуждения проекта Кокошкина в партийных инстанциях было решено передать его в думскую кадетскую фракцию, а также попытаться опубликовать в печати[23]. Но тут-то как раз перед кадетским руководством и возникли непреодолимые для них трудности. Суть дела состояла в том, что в это время в завершающую фазу вступил процесс создания думского Прогрессивного блока. Партнеры кадетов по блоку (октябристы, националисты) оказались противниками "всяких автономий". Поэтому они могли расценить кадетский проект об автономии Польши как своего рода революционную меру, якобы

направленную на развал "единой и неделимой" Российской империи. Вынужденные учитывать эти обстоятельства, кадетские лидеры не очень-то стремились публично афишировать проект Ф.Ф. Кокошкина.

Вместе с тем они, естественно, не могли игнорировать и позицию некоторых членов собственного ЦК. Выступая на заседании ЦК 31 марта 1916 г., А.Р. Ледницкий выразил свое несогласие с проектом Кокошкина и вполне определенно высказался за предоставление Польше полной политической независимости. "Для поляков же, – говорил он, – точка зрения автономии создаст прямо критическое положение, она ставит их против России"[24]. Ледницкий предупредил, что в случае опубликования проекта Кокошкина в печати "его личное положение как поляка было бы безвыходным и он принужден был бы уйти из партии". В свою очередь кн. Д.И. Шаховской, стремясь как-то разрядить ситуацию, заявил: "Если демократия в России возобладает, надо думать, что демократическая Россия выскажется за самостоятельность Польши; но это еще вопрос будущего, относительно которого партия не может брать на себя никаких обязательств"[25]. На сей раз более осторожно высказался и А.А. Корнилов. Он считал, что следует заявить о признании желательности восстановления Польши в этнографических границах, но что же касается предоставления ей полной самостоятельности, то это "может быть и нежелательно"[26].

Подводя итоги дискуссии 31 марта 1916 г., Милюков решил поставить все точки над "i", подчеркнув, что для него "вопрос совершенно ясен в том смысле, что в деле освобождения Польши нельзя идти дальше предоставления ей самой широкой автономии. Он считает это жизненным вопросом для России, и принадлежность к партии для него менее важна, чем соблюдение жизненных интересов России"[27]. Однако, несмотря на подобного рода категоричность, Милюков нашел "мудрый", с его точки зрения, политический ход. Хотя проект Кокошкина, отметил он, "подвергся обсуждению и окончательному редактированию в ЦК, но считается он как бы исходящим от группы лиц, а не от всей партии к.-д. Такую постановку дела принял ЦК умышленно, и так надо и впредь трактовать это дело"[28]. Подобный финал – яркая примета либерального политиканства.

Военные поражения России на фронтах, ослабление ее международного престижа, появление разного рода проектов о внесении существенных корректив в политическую карту Европы, разрабатывавшихся в странах как австро-германского блока, так и Антанты, заставляли кадетов вновь и вновь возвращаться к польскому вопросу. В мае 1916 г. на заседании Московского отдела ЦК был заслушан доклад кн. П.Д. Долгорукого о Польше. Считая польский вопрос "скорее тактическим, чем программным", докладчик подчеркнул, что его решения самым непосредственным образом связаны с тем или иным исходом войны. Далее он наметил три возможных варианта ее завершения: 1) условия мира будут продиктованы державами австро-германского блока; 2) Россия вместе со своими союзниками продиктует условия мира Центральным державам; 3) война кончится вничью, и победителей вообще не будет.

При осуществлении первого варианта кадетская партия будет совсем не в состоянии "повлиять на решение польского вопроса". Во втором же случае все три части Польши должны быть соединены в самостоятельное государство, имеющее выход к Балтийскому морю. Учитывая такую возможность, ЦК кадетов должен заранее разработать и внести от имени России на рассмотрение международного мирного конгресса специальный акт о восстановлении независимости Польши в ее этнографических границах. "Выработать условия польского учредительного собрания, – отмечал П.Д. Долгоруков, – должна международная конференция, которая утверждает орган для контроля за правильностью выборов в это собрание. Учредительное собрание устанавливает образ правления Польши". И наконец, при отсутствии победителей в войне возможен лишь status quo ante bellum и Россия в состоянии будет иметь влияние только в той части Польши, которая входила в ее состав до этого. Ратуя на словах за предоставление Польше широкой автономии, Долгоруков вместе с тем с особой силой подчеркнул, что к желанию поляков "восстановить самостоятельное польское государство, хотя в пределах русской Польши, следует отнестись отрицательно"[29].

В еще более обнаженном виде позиция кадетов по польскому вопросу проявилась на заседании Московского отдела ЦК 8 ноября 1916 г. После обсуждения доклада Ф.Ф. Кокошкина, посвященного этому вопросу, были приняты специальные тезисы, суть которых заключалась в следующем. Во-первых, в них подчеркивалось, что выступление партии с признанием независимости или вообще с какими-либо проектами устройства Польши несвоевременно, ибо нельзя "забывать, что независимость Польши означает известное ослабление военного могущества России" и что поэтому никто не даст "нам права от имени России соглашаться на такое умаление ее силы". Во-вторых, признание независимости Польши "навлечет на партию нападки справа и со стороны правительства" и в связи с этим позиция партии будет ослаблена, а "мы сильны сейчас именно тем, что стоим на почве охраны интересов государства". В-третьих, так как польский вопрос уже приобрел в настоящее время международный характер, то для его решения потребуется соответствующий международный акт. В-четвертых, каким бы ни оказалось в будущем устройство Польши, "во всяком случае мы не можем себе представить ее иначе, как соединенной известной связью с Россией"[30]. В этом итоговом документе, принятом за два с небольшим месяца до Февральской революции, с предельной откровенностью была изложена окончательная позиция кадетской партии по польскому вопросу.

2 и 16 ноября 1914 г. на заседаниях ЦК были заслушаны и обсуждены два сообщения Милюкова по армянскому вопросу. Отметив, что армяне, проживающие в шести вилайетах Турции, ждут от наместника на Кавказе воззвания, подобного тому, с каким обратился главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич к полякам, Милюков изложил три возможные комбинации решения армянского вопроса.

Во-первых, среди определенной части армянской интеллигенции циркулирует мысль о вероятности создания после войны политически независимого "Великого Армянского государства", в состав которого войдут как русские, так и турецкие территории. Во-вторых, более широкое распространение получила идея об образовании в тех же вилайетах автономной Армении под формальным протекторатом Турции. И наконец, третья комбинация заключается в аннексии турецкой части Армении Россией. Возможная реализация этих комбинаций, продолжал он, имеет трудности международного характера, ибо в этом регионе сталкиваются интересы многих стран. Однако более политически реальным решением для России явилась бы аннексия Армении, ибо, считал Милюков, "нам надо иметь армян вместе, иначе они будут игралищем и орудием против нас, как и поляки до сих пор. Конечно, при объединении армян надо было бы позаботиться, чтобы это не было объединением на русском бесправии"[31]. Более того, продолжал он, "если Армения будет конституироваться в своих этнографических границах, со стороны Европы не будет возражений против аннексии ее Россией"[32]. Две другие комбинации решения армянского вопроса Милюков считал невыгодными для России.

Позиция Милюкова была поддержана большинством участников заседания. Так, В.И. Вернадский категорически выступил против единого политически независимого армянского государства, считая, что его создание на побережье Черного моря было бы "для русских интересов совсем нежелательно"[33]. Что же касается автономии Армении под протекторатом Турции, то это тоже "грозило бы неприятностями при международных осложнениях". В лице автономной Армении, подчеркнул Вернадский, "Россия скорее будет иметь врага, чем друга"[34]. С его точки зрения, самым оптимальным решением являлась бы аннексия Армении, которая "связала бы армянскую интеллигенцию с русскими интересами и в общем больше гарантировала бы интересы демократии"[35]. Такой же точки зрения придерживался патриарх русского либерализма И.И. Петрункевич. "В автономной Армении под суверенитетом Турции, – говорил он, – Россия имела бы беспокойного соседа, постоянно стремящегося присоединить к себе армян из соседних областей; это был бы постоянный нарыв под боком, тем более что и европейские державы, несомненно, постараются свои интересы проводить в автономной Армении. Поэтому и в торговом и в военном отношении выгоднее была бы аннексия Армении к России с некоторой полосой Черного моря, как моря русского"[36]. Позицию кадетского руководства в армянском вопросе разделяли видные либеральные представители армянской интеллигенции – М.С. Аджемов, А.К. Дживилегов, М.И. Пападжанов и др.

В 1916 г. комиссия при ЦК по литовскому вопросу обсудила проект П.С. Монаса об автономном устройстве Литвы. Этот проект, состоявший из шести разделов и 36 статей, строился на тех же исходных принципах, что и проект закона об устройстве Польши Ф.Ф. Кокошкина. Согласно проекту Монаса, Литва в этнографических границах

выделялась в особую автономную единицу и составляла "нераздельную часть Российского государства". На нее распространялись "общие гарантии гражданской и политической свободы, установленные общегосударственными законами", которые в случае необходимости могли быть расширены местным литовским законодательством "в сообразии с местными условиями края". В своих внутренних делах Литва должна была управляться особыми установлениями, опирающимися на специальное законодательство.

Литовский однопалатный сейм избирался на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Принятые сеймом законопроекты подлежали утверждению царем. Причем из компетенции сейма исключался весьма значительный круг вопросов: внешняя политика, бюджет, средства коммуникации общероссийского характера, армия и флот, дела православной церкви, уголовное законодательство. По существу, в сферс его компетенции оставались лишь местные налоги, подати, пошлины, сборы и повинности, а также смета и роспись доходов и расходов казны Литвы. В проекте отмечалось, что литовское население имеет право отбывать воинскую повинность в сухопутных войсках, расположенных в Литве. На литовском языке должно было вестись и делопроизводство в законодательных, судебных, административных, а также казенных учебных заведениях.

Верховная власть назначала из числа граждан Литвы статс-секретаря и наместника. Первый выступал в роли посредника между царем и сеймом и представлял на одобрение царя законопроекты, принятые сеймом. Второй возглавлял особое управление в Литве. Высшим судебным учреждением Литвы должен был стать Сенат[37].

После Февральской революции позиции кадетов по национальному вопросу, по существу, остались неизменными. Он был подвергнут обстоятельному обсуждению на VIII съезде кадетской партии (май 1917 г.), на котором был заслушан доклад Ф.Ф. Кокошкина "Об автономии и правах национальностей" и внесены изменения в соответствующие разделы партийной программы. На IX съезде кадетской партии (июль 1917 г.) национальный вопрос затрагивался в докладе Б.Э. *Нольде и в специальной резолюции.*

Подчеркнув свою приверженность принципу сохранения единой и неделимой России, оба докладчика и большинство делегатов партийных съездов высказались как против предоставления народностям права политического самоопределения, так и против национально-территориальной автономии. На данном историческом отрезке в условиях политической дестабилизации и усиления конфронтации в сфере национальных отношений разделение страны по национально-территориальному принципу, на чем настаивали представители отдельных национальностей, с логической неизбежностью привело бы "к полному разрушению государственного единства России и к установлению не федерации (союзного государства), а конфедерации (союза государств)"[38]. Наиболее оптимальным решением национального вопроса в рамках полиэтничного государства, по мнению кадетских теоретиков и

политиков, должно было стать предоставление народностям не территориальной, а культурно-национальной автономии.

Наряду с этим кадеты считали вполне назревшим распространение местного самоуправления на всю территорию России. Губернским областным земствам предоставлялись автономные права, включая издание местных законов, в сфере хозяйственной, культурной и культурно-национальной жизни. Однако при этом местное законодательство не должно было противоречить общегосударственному законодательству. Общегосударственные органы власти в случае необходимости могли применять право "veto" по отношению к местному законодательству.

Губернские и областные органы местного самоуправления могли вступать между собой "в срочные и бессрочные" соглашения для совместного осуществления общих задач и образовывать для этой цели "временные или постоянные союзы". Изменения территориальных границ губерний и областей, а также их разделение и слияние могли быть осуществлены "по инициативе и с согласия надлежащих местных представительных собраний и в соответствии с жеданиями местного населения", но только в порядке общегосударственного законодательства. Что же касается урегулирования взаимоотношений России с Польшей и Финляндией, то эти вопросы, по мнению кадетов, должны быть решены Учредительным собранием.

Большое внимание в докладах и резолюциях партийных съездов было уделено проблемам языка. Кадеты особо подчеркивали, что русский язык должен не только сохранить статус общегосударственного, но и оставаться языком межнационального общения. В местных государственных и общественных учреждениях, содержащихся за счет государства или органов самоуправления, устанавливалось право употребления местных языков соответственно национальному составу населения. При этом должны быть в порядке общегосударственного законодательства обеспечены права русского языка и языков национальных меньшинств. Населению каждой местности предоставлялось право получения начального, а по возможности среднего и *высшего образования на родном языке.*

Разработанный в конкретных условиях начала XX в. либеральный вариант решения национального вопроса являлся, на мой взгляд, наиболее оптимальным, ибо создавал условия и предпосылки для сохранения единства исторически сложившегося полиэтничного Российского государства. При наличии конституционного закрепления гражданских и политических прав личности этот вариант гарантировал ее права и в сфере культурно-национальных отношений. Либеральный вариант был рассчитан на компромисс и взаимопонимание между различными национальностями, представляя собой реальный шанс избежать насильственного решения национального вопроса, а следовательно, и распада Российской империи.

[1] *Шелохаев В.В.* Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905–1907 гг. М., 1983; *Он же.* Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии. 1907–1914 гг. М., 1991.

[2] *Топорович В.* Отношение политических партий России к польскому вопросу во время первой мировой войны и Февральской революции // СССР и Польша. Интернациональные связи – история и современность. М., 1977. Т. I. С. 287–308; *Думова И.Г.* Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988. С. 24–28.

[3] Русские ведомости. 1915. 1 янв.

[4] Цит. по: *Думова Н.Г.* Указ. соч. С. 25.

[5] *Милюков П.Н.* Россия на переломе. Париж, 1927. Т. 1. С. 215–216.

[6] *Милюков П.* Тактика фракции народной свободы во время войны. Пг., 1916. С. 5.

[7] См.: Там же. С. 33.

[8] ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 32. Л. 24.

[9] См.: *Думова Н.Г.* Указ. соч. С. 27.

[10] ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 32. Л. 27.

[11] Там же. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1108. Л. 1–1 об.

[12] Там же. Ф. 523. Оп. 1. Д. 32. Л. 19 об.

[13] Там же. Л. 44.

[14] Там же.

[15] Там же. Л. 103 об.

[16] Там же. Л. 96 об.–97.

[17] Там же. Л. 97.

[18] Там же.

[19] См.: Там же. Л. 103 об.

[20] Там же. Л. 96–96 об.

[21] Там же. Л. 98.

[22] Красный архив. 1932. Т. 50/51. С. 45–46.

[23] ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 32. Л. 155 об.

[24] Там же. Оп. 3. Д. 9. Л. 60 об.

[25] Там же. Л. 61.

[26] Там же.

[27] Там же. Л. 62.

[28] Там же. Д. 5. Л. 60.

[29] Российская государственная библиотека (РГБ) Рукописный отдел (РО). Ф. 225. П. 5. Д. 18. Л. 1–1 об.

[30] РО РГБ. Ф. 225. П. 5. Д. 20 а. б. Л. 5 об.

[31] ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 32. Л. 50 об.

[32] Там же. Л. 66.

[33] Там же. Л. 67.

[34] Там же. Л. 67 об.

[35] Там же.

[36] Там же. Л. 68 об.

[37] Там же. Д. 21.

[38] Вестник партии народной свободы. 1917. № 2. С. 8.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЭТНИЧНОСТЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ ВУЛКАНА

З.С. Чертина

XX век подходит к своему завершению. Сегодня мы являемся свидетелями того, как национализм, подобно вулкану, разрушил крупные многонациональные государства – СССР, Югославию и Чехословакию и привел к созданию новых государственных образований, вызвав одновременно новую вспышку межэтнических противоречий и конфликтов.

Национальный фактор был одним из главных в общественной жизни многих стран и в начале XX в. Происходил рост национального самосознания народов и национальных движений, возникали центробежные силы, увлекающие национальные движения на путь отсоединения и сепаратизма. Это касалось прежде всего государств полиэтнических по своему характеру, в частности Австро-Венгрии, Российской, Османской и Британской империй. Однако и государства, чей политический строй сложился на принципах демократического народовластия и правового эгалитаризма, испытывали обострение этнических противоречий и конфликтов. В связи с этим особый интерес представляет вопрос о межэтнических отношениях в США в начале XX столетия, в частности в годы первой мировой войны.

В 1914–1918 гг. в США, одном из крупных полиэтнических государств мира, чувствительность этнического фактора многократно усилилась. Это и понятно, ибо в период общественных катаклизмов национальный вопрос в целом оживает и динамизируется, а США, как известно, представляли собой страну иммигрантов. Иммигрантские этнические группы проявляли по традиции лояльность к странам, которые являлись их исторической родиной, что расценивалось тогда властями США само по себе как определенная угроза. По словам американского исследователя, "первая мировая война дала нам почувствовать, что многорасовый характер общества является угрозой его безопасности"[1]. Именно по этой причине уже с началом войны в Европе дебаты в стране о национализме и американской идентичности стали увязываться с подготовкой к военной мобилизации и с вопросами политической лояльности. Американский автор Р. Боурне назвал эту реакцию "тонко замаскированной паникой, именуемой патриотизмом"[2]. В той же связи авторитетный американский историк О. Хэндлин констатировал: "В годы войны (речь идет о 1914–1918 гг. – *З.Ч.*), когда каждый гражданин должен был доказывать свою преданность 100-процентному американизму, было опасно говорить о своем национальном происхождении"[3]. Разжигалась враждебность ко всему иностранному, ко всем лицам, родившимся за границей, было брошено обвинение в сохранении двойной национальности и потенциальной нелояльности[4]. Создавалась атмосфера недоверия и вражды между этническими

© З.С. Чертина

группами и диаспорами[5]. Воинствующий национализм проявлялся в шумном и назойливом ура-патриотизме различных организаций (о них пойдет речь ниже). В обществе стала проявляться тенденция к усилению расовой и этнической нетерпимости. Массовому сознанию навязывались представления и взгляды, утверждавшие принципы превосходства англосаксонского происхождения над любым другим. Реальные или мнимые различия психологического или историко-культурного плана преднамеренно превращались в невидимые препятствия, разделявшие этнические общности в стране.

На государственную политику США в сфере межэтнических и межрасовых отношений оказал влияние и внешний фактор – Февральская и Октябрьская революции в России, образование новых национальных государств, а также подъем национально-освободительного движения как в Азии, так и в Европе, в частности в Ирландии, где после дублинского восстания в 1916 г. массовое движение за политическую независимость приобретало невиданный рост, развертывалась национально-освободительная война. Учитывая эти явления, американское правительство взяло курс на сплочение нации во избежание усиления этносепаратистских тенденций. Это предполагало принудительную американизацию и натурализацию иммигрантов, обеспечение политического и идейного конформизма этнических меньшинств[6]. Движение "американизации", начавшееся с 90-х годов XIX в., приобрело особенно широкие масштабы в годы первой мировой войны. В книге "Иммиграция, американская мозаика" американский исследователь этнопроцесса М. Краус писал: "Кампания за американизацию всех иммигрантов, начавшаяся за два десятилетия до 1914 г., стала набирать темпы во время войны"[7].

Что означает понятие "американизация"? В американской литературе существуют различные определения. Так, Кливлендский комитет по американизации в 1914 г. раскрыл его следующим образом: "Американизация означает ассимиляцию той или иной этнической общности в американскую жизнь... Основным принципом американизации является изучение языка нашей страны... Американизация – это процесс, с помощью которого многие народы в Америке становятся одной нацией, объединенной языком, работой, домашними узами и гражданством..."[8] Некоторые современные ученые определяют американизацию как "организацию целенаправленных усилий по проведению национальной унификации"[9]. При всех различиях в определениях, подчеркивал Г. Хилл еще в 1919 г., "главное ударение делалось на овладении английским языком, принятии американского гражданства, а также на усвоении американских привычек, стандартов и образа жизни, или, другими словами, американизация определяется как процесс, в котором чужестранец приобретает наш язык, гражданство, привычки и идеалы"[10]. Таким образом, американизация задумывалась как однолинейный процесс – расчет строился на том, чтобы иммигрант как можно быстрее воспринял ценности, нормы и обычаи англосаксонского большинства, что предполагало в конечном счете отказ от родного языка, забвение обычаев, традиций, происхождения[11].

Основным механизмом в проведении политики американизации должна была стать школа. В городах с большим числом иммигрантов стали открываться вечерние школы для обучения английскому языку. Школа выступала не только одним из важных национальных учреждений, но и главным инструментом "избавления" от дуализма этнического самосознания, овладения общенациональным языком, обретения общенационального сознания и адаптации прибывавшего населения к новому образу жизни.

Наряду с образовательными институтами различные религиозные, политические, патриотические организации были мобилизованы с целью ускорить американизацию иммигрантов и этнических меньшинств. Добиться 100-процентной американизации – такую задачу поставили перед собой ее сторонники в годы первой мировой войны. "Путем угроз и риторики, – отмечал видный американский историк Д. Хайем, – сторонники 100-процентной американизации открыли фронтальное наступление на иностранное влияние в американской жизни. Они атаковали иммигрантов в целях скорейшего обращения их в американцев, освоения ими английского языка, безусловного благоговения перед существующими американскими институтами. Они домогались от них полного отказа от лояльности старому свету, обычаев и воспоминаний..."[12] В 1915 г. в процесс американизации включились Бюро образования и Бюро натурализации, а также Национальный комитет по американизации (НАК). Директором последнего была назначена известная своими националистическими взглядами Френсис А. Келлор, под чьим руководством комитет взял курс на 100-процентную американизацию иммигрантов. В своей книге, опубликованной в 1916 г. под заголовком "Строгая Америка", Келлор писала, что военная подготовка, промышленная модернизация и американизация жизненно необходимы для страны[13].

Кроме организации курсов по изучению английского языка и гражданства, НАК занимался распределением иммигрантов по различным отраслям промышленности. В целом же деятельность его была направлена на реализацию следующих задач:

объяснение американских идеалов, традиций, стандартов и институтов гражданам иностранного происхождения;

овладение ими общим английским языком;

универсализация ценностной ориентации всех этнических групп США в целях объединения их под одним флагом;

борьба с деятельностью и планами антиамериканской пропаганды и подавление призывов к мятежу;

овладение иммигрантами американскими стандартами жизни, включая привыкание к американской кухне и метод ухода за детьми;

воспитание национальной гордости и любви к Америке, желания иметь дом, поддерживать американские институты и законы[14].

В 1917 г. активную деятельность в области американизации стал проводить созданный администрацией президента В. Вильсона Комитет общественной информации, орган, влиявший на формирование общественного мнения в националистическом и ура-патриотическом духе, в

духе неприязни и нетерпимости к иностранцам[15]. Об этом писал ведущий американский социолог М. Гордон: "В годы войны (1914–1918 гг. – З.Ч.) 100-процентный американизм стал криком времени, и сразу же федеральные органы в лице Бюро образования, Бюро натурализации, Комитета общественной информации, власти штатов, дополнительно к этому муниципальные власти и множество частных организаций объединили свои усилия, чтобы принудить иммигрантов изучать английский язык, получить натурализационные документы, покупать облигации военного займа, забыть свое происхождение и отдаться целиком потоку патриотической истерии"[16].

Горячо симпатизировал и содействовал движению американизации экс-президент Т. Рузвельт. Категорично возражая против "дефисного американизма"[17], он заявлял, что иммигранты и их потомки должны отказаться от своего прошлого и быть лояльными по отношению к Соединенным Штатам[18]. Именно ему принадлежат слова: "В этой стране не может быть американизации 50 на 50. Только 100-процентный американизм"[19]. Так, выступая в 1913 г. перед членами националистической организации "Рыцари Колумба", Т. Рузвельт говорил, что долг патриота требует забыть все остальные лояльности – классовую и этническую во имя одной – лояльности к самой Америке. Он продолжал: "Единственный человек, который может стать хорошим американцем, это тот человек, который является американцем, и никто более"[20]. Само выражение "100-процентный американизм" появилось в годы первой мировой войны, на его насаждении особо настаивал Американский легион, внесший в преамбулу своей конституции следующее обязательство: "Поощрять и увековечивать 100-процентный американизм"[21].

На необходимости американизации населения настаивал и президент В. Вильсон. Готовясь к вступлению в войну, он и его администрация считали важным иметь "единую нацию", прочный тыл, который бы поддерживал внешнеполитический курс Америки и не причинял особых беспокойств на внутреннем фронте. По мнению Вильсона, принадлежность к этническим группам несовместима была со статусом "полноценного американца". "Америка не состоит из групп, – говорил президент. – Человек, который думает о себе как о принадлежащем к какой-то определенной национальной группе в Америке, еще не стал американцем"[22]. Вильсон утверждал, что, если иммигранты в течение пяти лет проживания в США не смогут выучить английский язык, они должны подвергнуться депортации. Эти люди считались подозрительными, представлялись как угроза американскому либерализму и самой идее величия Америки[23]. Под подозрением в неблагонадежности оказывались и те иммигранты, которые поддерживали связи со своей исторической родиной, стремились сохранить ее культуру и выступали за нейтралитет США в войне.

Примечателен в этом отношении пример американских немцев. Известно, что до первой мировой войны немцы имели высокий статус в американском обществе. Это была довольно процветающая этническая группа, и многое из ее культуры заимствовалось другими: немецкий язык преподавался в американских школах, на нем издавалась разно-

образная печатная продукция. Так, для 3,5 млн немецких читателей существовало 49 ежемесячных изданий, 443 еженедельных и 70 ежедневных. Достаточно сказать, что уже в середине XIX столетия в Америке на немецком языке печаталось 27 газет (выходили они в 15 городах) и более 200 других периодических изданий[24].

Только один штат Цинциннати имел 4 немецкие газеты[25]. Однако культурное развитие немецкой этнической группы натолкнулось на серьезные препятствия в годы войны. Правда, тому были серьезные причины. В 1914 г. немецкие газеты в США большей частью встали на сторону Германии, включившись в активную агитацию против вступления США в войну на стороне Антанты. Реакция последовала незамедлительно. В стране началась кампания не только против Германии, но и против всего немецкого. В 1917 г. с вступлением США в войну она еще более усилилась. Во многих школах перестали преподавать немецкий язык. Для сравнения: если в начале первой мировой войны треть миллиона американских детей изучали немецкий язык, то к 1922 г. их число сократилось до 14 тыс.[26] Запрещалось пользоваться им на собраниях и даже на улицах, немецкие книги исчезали с полок библиотек, переименовывались улицы, носившие немецкие названия, запрещалась немецкая музыка. Даже свадебные марши Мендельсона и Вагнера оказались под запретом. Закрывались немецкие газеты и организации, последние иногда меняли вывески. Так, например, немецко-американские банки стали именоваться "североамериканскими банками", Немецкая страховая компания в г. Нью-Йорке получила название "Страховая компания по опеке жизни" и т.д.[27] Американские немцы стали мишенью для всевозможных выпадов, они оказались в группе неблагонадежных[28]. Характеризуя положение этой этнической группы в годы первой мировой войны, историк Ф. Любке писал, что вступление Соединенных Штатов в войну в 1917 г. радикально изменило положение немцев. Для большинства иммигрантов-немцев этничность стала источником социального дискомфорта и увольнения с работы. Как группа американские немцы испытывали серьезные разочарования, они были подавлены и деморализованы[29].

Во время войны такая же участь постигла и американских ирландцев, и выходцев из некоторых других стран Европы[30]. Сокращалось издание прессы на национальных языках, прекращали деятельность некоторые этнические организации. Многим иммигрантам отказывали в организации этнических школ, например японцам, несмотря на то что в годы войны США и Япония оставались союзниками. Хотя американское правительство не потворствовало дискриминации японцев, она тем не менее имела место[31]. В 1914 г. в штате Аризона вступил в силу закон, по которому 80% всех нанимаемых на предприятия лиц должны были быть гражданами США. В годы войны подобных законов становилось все больше. Их смысл заключался в том, чтобы не допустить иммигрантов, не получивших гражданства США, к широкому кругу профессий. Сама процедура натурализации была довольно сложной и длительной и оставалась лишь перспективой, более или менее отдаленной[32].

Дискриминацию испытывали на себе не только иммигранты, но и черные американцы, несмотря на то что они в массе своей оказались той группой населения, которая проявила почти полную лояльность к вступлению США в войну и готова была принимать участие в боевых действиях[33]. Расистские настроения в стране разжигали многочисленные ультрареакционные организации во главе с Ку-клукс-кланом. Война привела к возрождению этой организации, объявившей своими врагами афро-американцев, католиков и евреев. В ее рядах в годы войны насчитывалось 5 млн человек[34]. По мнению американских ученых, возрождение Ку-клукс-клана было связано с подъемом новой сильной волны американского национализма и ксенофобии, возникших в результате разочарования многих американцев, вызванного вступлением в войну, и явилось ответом "угрозе", исходившей от недавно прибывших сюда иммигрантов[35]. Расисты считали, что афро-американцы и иммигранты представляют "иной вид расового материала", и отрицали возможность их американизации вообще[36]. Между тем значительная часть общества искренне верила в то, что американизация – единственный путь создания "объединенной нации", "объединенного народа"[37].

Если одни сторонники американизации настаивали на проведении соответствующей образовательной политики, то другие считали, что военная служба – это тот путь, который необходим, чтобы ликвидировать двойную национальность среди итальянцев, славян и других неассимилированных иностранцев[38]. Иммигрантов призывали в армию, но весьма ограниченно. Поток желающих превышал набор, так как участие в военных действиях давало право обретения американского гражданства, в обычных условиях остававшегося отдаленной перспективой. Что же касается черных, то правительство в угоду расистам тормозило их военное обучение, не допускало к участию в военных операциях, так как это означало бы молчаливое признание их равноправными гражданами[39].

Неотъемлемой частью программы американизации в годы войны, свидетельствуют американские историки, стало введение жестких ограничительных мер в сфере иммиграционной политики[40]. Отметим, что иммиграция из Европы в США вплоть до середины XIX в. не подвергалась почти никакому регулированию со стороны государства (исключение составляли выходцы из Азии). Она не только не ограничивалась, но и всемерно поощрялась. В конце XIX в. произошло изменение этнического состава иммиграции. На смену "старой" иммиграции из Западной и Северной Европы – Англии, Ирландии, Шотландии, Франции, Германии, Бельгии, Скандинавских стран – пришла "новая" – из южно- и восточноевропейских стран, прежде всего из Италии, Австро-Венгрии, Турции, Греции и России. Представители этой "новой" волны иммиграции по сравнению со "старой" обладали меньшим уровнем образования, квалификации и в силу этих обстоятельств, а также учитывая языковые трудности, сложнее преодолевали процесс адаптации к новым условиям. В стране они были объявлены представителями "низшей расы". На бытовом уровне начались мощная

кампания против определенных иммигрантских групп и их третирование.

С началом войны свободная иммиграция в США закончилась. За период 1914–1918 гг. иммиграция сократилась почти в 10 раз[41]. В 1918 г. в США прибыл только 1 млн иммигрантов, это была самая низкая цифра за предшествующее столетие[42]. Снижение притока иммигрантов объяснялось как военными действиями, затруднявшими иммиграцию, так и изменениями в иммиграционной политике. Принятые конгрессом в 1917 г. и в последующие годы законы положили конец эпохе "открытых дверей"[43]. Произошла эволюция иммиграционной политики – от относительно свободного допуска всех работоспособных к строгому регулированию их количественного и качественного (национального, политического, профессионального) состава[44]. По мнению американских специалистов, закон 1917 г. означал даже особый поворот в иммиграционной политике[45]. Несмотря на вето президента Вильсона, закон был одобрен конгрессом и вступил в силу. В соответствии с ним все неграмотные иммигранты старше 16 лет должны были возвращаться на родину. Права на иммиграционный въезд в США и натурализацию были лишены граждане из запретной зоны – так называемого "азиатско-тихоокеанского треугольника". Установлены были некоторые другие ограничения[46]. Депортации подвергались в течение года иностранцы, нелегально приехавшие в страну или живущие за счет благотворительности.

Следующую оценку пресловутому "тесту грамотности" дал О. Хэндлин: "Спонсоры этого решения, – писал он, – были заинтересованы не в отборе наиболее интеллектуальных людей. Этот тест был скорее средством создать барьер для иммигрантов из Южной и Восточной Европы, не исключая иммигрантов из северных и западных частей континента... Подобная дифференциация была желательна потому, что она соответствовала расистским интересам рестрикционистов"[47]. Предубежденность и предрассудки нашли свое отражение и в "научных" теориях, в острых общественных дискуссиях. Как пишет исследователь из университета штата Аризона, специалист в области расовых и этнических отношений С. Либерзон, "расовые идеи получили официальную правительственную поддержку"[48]. Так, в целях "научного" обоснования причин ограничения притока "новых" иммигрантов конгресс США обратился к докладу генетика, эксперта ряда правительственных комиссий по вопросам иммиграции Г. Лауфлина, в котором последний подводил итоги изучения биологических аспектов иммиграции. В докладе прямо утверждалось, что "новые" иммигранты принадлежат к низшему генотипу, что "существовали естественные, врожденные, наследственные умственные и моральные различия"[49]. Лауфлин утверждал: "В этой стране мы, вдохновленные идеей демократии и равенства всех народов, упустили из виду фактор крови и врожденные умственные и моральные различия. Ни один человек, занимающийся разведением особых растений или племенных животных, не сможет отрицать этот фактор"[50].

Весьма популярной в то время была работа под названием "Старый

мир в новом" известного американского социолога Е. Росса, в которой автор представил новых иммигрантов людьми второго сорта, по своему поведению и менталитету недостойными быть принятыми в американское общество. Он рьяно отстаивал тезис о врожденной неполноценности народов, представители которых сформировали "новую" иммиграцию[51]. Подобные идеи были высказаны и в книге влиятельного юриста М. Гранта "Конец великой расы", изданной в 1916 г., в которой он заявлял, что прибытие людей из Южной и Восточной Европы представляет собой "враждебное нашествие", что оно якобы разрушает "нордическую расу" и что для того, чтобы сохранить Америку чистой, "необходимо исключить неполноценные расы из американского общества". К этой категории он относил поляков, итальянцев, китайцев, черных и др.

Симптоматична в этой связи характеристика "новой" иммиграции, которую мы находим в работе президента В. Вильсона "История американского народа". В ней он назвал представителей "новой" иммиграции людьми, не обладающими ни квалификацией, энергией, инициативой, ни достаточными умственными способностями[52]. Общественному мнению навязывались представления о неполноценности иммигрантов и врожденном превосходстве белых англосаксов. Идею превосходства англосаксонской расы отстаивали такие националистические организации, как уже упоминавшаяся выше Ку-клукс-клан, контролировавшая жизнь многих штатов Юга, "Дочери американской революции", "Общество колониальных дам", "Сыны американской революции" и др. Нетерпимость обнаружилась как в социальном законодательстве, так и в экономической дискриминации[53]. Белый расизм проявлялся каждодневно и повсеместно, порой в самых жестоких актах насилия.

Националистические настроения, распространявшиеся в годы войны с особой быстротой, не угасли после ее окончания. Наоборот, после войны страна испытала новую вспышку нетерпимости к иностранцам. По данным американских источников, только за один 1920 г. было выслано 2800 иммигрантов[54]. Им вменялись в вину не только действия против устоев государства, но и умножение экономических трудностей. Прокатившаяся в то время волна репрессий и попрания демократических свобод и прав, пожалуй, не имела себе равных в истории США. Американские историки не без оснований назвали то время периодом "великой красной паники" и "национальной истерии". "Неприязненное отношение к иностранцам, – писал М. Краус, – не окончилось с окончанием войны. Оно усилилось со страхом в отношении большевизма и трудовых споров... В ходе распространения красной паники в 1919 г. тысячи иммигрантов были арестованы, объявлены нежелательными лицами и высланы. Пресса на иностранных языках была запрещена, образование осуществлялось в соответствии с установкой на 100-процентный американизм"[55].

Наряду с распространением неприязни и подозрительности к иммигрантам возникали крупные полувоенизированные организации патриотов, активно насаждавшие систему контроля за "нежелательными" гражданами. В их числе быстро выдвинулся образованный в марте 1919 г. Американский легион. Он с первых дней своего существования занялся борьбой против "подрывных" элементов, "нежелательных иностранцев". Процветало после войны и реакционное движение так называемого фундаментализма, распространяемое среди религиозного населения аграрных штатов Среднего Запада и на Юге[56]. Активизировалась Национальная лига безопасности, призывавшая к депортации радикалов и иммигрантов[57]. По мнению американских ученых, "послевоенные годы фактически знаменовали собой апогей американизации. К тому времени (она. – *З.Ч.*) выросла в одно из самых больших социальных и политических движений в американской истории"[58]. Движение подогревало в обществе настроения страха, недоверия и нетерпимости. Оно порой, правда, приводило к прямо противоположным результатам[59]. В иммигрантской среде возникали националистические и шовинистические движения, хотя было и содействие политике американизации со стороны лидеров правых финских и греческих организаций, Японско-американской гражданской лиги, а также некоторых других этнических организаций[60]. В целом же иммигранты не скрывали своего отрицательного отношения к попыткам принудительной ассимиляции.

На страницах иммигрантской печати активно велась критика политики амсриканизации. Среди итальянцев и других этнических групп сам термин "американизм" получил негативнос звучание. Иммигрантская интеллигенция в большинстве своем отвергала культурную монотонность, насаждавшуюся в результате американизации, ибо основывалась на концепции, что Соединенные Штаты – это англосаксонская страна, и ничто более. Так, общественный деятель норвежец по происхождению Оле Э. Ролвааге, неоднократно выступавший с лекциями перед иммигрантской аудиторией, подчеркивал: «Я – американсц, но в то же время я – норвежец. Я не вижу, как эти два факта могут быть несовместимы. "Я – американец" означает, что мой долг – быть верным Америке. Но с другой стороны, я очень заинтересован в сохранении своей собственной этнической группы, в ее достижениях, как физических, так и интеллектуальных. Я никогда не сомневался, что нам следует овладеть английским языком в первую очередь. Тем не менее я искренне верю, что нам, норвежцам, следует уметь читать и говорить по-норвежски...»[61]

Протест политике американизации выражали не только иммигранты. В стране были силы, выступавшие за признание иммигрантского населения как одного из органичных элементов, составляющих американскую нацию, и увидевшие в проводимой кампании угрозу человеческим правам и демократическим завоеваниям страны. Они отвергали не только обвинения в стремлении к сохранению "дефисного американизма", но и движение в целом, придав особую значимость идеям либерализма, интернационализма и толерантности, подчеркивая, что происхождение людей не является чем-то незначительным, им нельзя пренебрегать, что оно составляет культурную ценность и в той или иной степени должно быть сохранено в Америке. Противники этого

движения были и в американском академическом мире. В 1915 г. журнал "Нейшн" опубликовал две статьи Г. Каллена под общим названием "Демократия против плавильного котла", в которых автор писал, что различные этнические группы в США имеют право на сохранение собственного языка, религии, общественных институтов и своей исконной культуры. Он представил Америку как находящееся в процессе становления федеративное государство, не только как союз географических и административных единиц, но и как содружество национальных культур. В культурном плюрализме ученый видел идеалы американской политической и социальной жизни, а любые попытки навязать англосаксонский унитаризм и конформизм расценивал как разрушение этих идеалов. Можно привести ряд высказываний других ученых в пользу сохранения этнического, культурного разнообразия в американском обществе. Так, в 1916 г. на страницах известного журнала "Атлантик Мансли" Р. Боурне нарисовал свое видение "транснациональной Америки" – нового типа нацию, в которой различные этнические группы сохраняют свою идентичность и культуру, соединяясь в своего рода новую федерацию в миниатюре. "Попытки слить иммигрантов провалились, – отмечал он. – Это показали мировая война и ее отзвуки здесь (в США. – *З.Ч.*) в националистической активности различных групп"[62]. По сути своей это были попытки выдвижения демократической альтернативы принудительной ассимиляции.

После первой мировой войны движение американизации в целом пошло на убыль[63]. В результате миллионы иностранцев были натурализованы и постепенно ассимилированы в американской культуре. Однако далеко не все иммигранты смогли стать "100-процентными американцами". Везде в США, особенно в больших городах, как и раньше, сохранялись этнические сообщества, которые не прекращали своей специфической деятельности[64]. По словам авторитетного специалиста в области межэтнических отношений в США Р. Альбы, "за фасадом американизации этнические субкультуры продолжали спокойно жить, сохраняя ценности, связанные с домом, семьей и общностью"[65]. Отстаивали свою культурную самобытность и немцы, используя язык, церковь, школу, прессу[66], протестуя тем самым против ассимиляции. Успехи в сохранении сильной этнической общности имели шведы и норвежцы, поддерживая часто в сельских округах свой микромир[67], а также другие национальные группы. В городских центрах северо-востока страны ирландцы, обособившись от англосаксонских соседей как в социальном, так и в культурном плане, развивали отличительное групповое сознание и придерживались собственного образа жизни[68]. Американские индейцы в резервациях продолжали сохранять сильную приверженность родовой культурной и групповой идентичности, несмотря на политику насильственной ассимиляции – раздел общинных земель, чересполосное поселение с американскими фермами, приобщение к христианской религии и школьное обучение исключительно на английском языке. Спустя десять лет после мировой войны Институт правительственных исследований в докладе "Проблемы индейской

администрации" констатировал "печальный провал ассимиляционистской политики"[69]. Индейцы не интегрировались в американское общество, их культура не трансформировалась в культуру белых[70]. Были сделаны только самые начальные шаги в усвоении ими европейского образа жизни. Что же касается черных, то они еще долго оставались отделенными расовыми барьерами от белой Америки и образовали свою сеть организаций и институтов – свой "собственный социальный мир"[71].

Анализируя причины неудачи кампании американизации в первые два десятилетия XX в., американские ученые указывали на то, что нельзя "переплавлять" индивидуумы, если они этого не хотят, и что само движение за американизацию спутало средства и цели, ошибочно полагая, что проблему можно решить с помощью административных мер и школьных учебников[72]. Оно проигнорировало тот факт, что главное для человека "не то, что он знает, а то, что он чувствует"[73].

Итак, первая мировая война оказала огромное воздействие на климат межэтнических и межрасовых отношений в США. Она привела к усилению расистских настроений и националистических представлений о превосходстве англосаксонской расы, о "неполноценности" (в скрытой, а иногда и открытой форме) других народов и их культур. Она также показала всю иллюзорность надежд на принудительную ассимиляцию этнических групп и меньшинств. Вместо здоровой тенденции этнической интеграции в обществе усилилась противоположная тенденция – подозрения, нетерпимости и этнического обособления. Стало совершенно очевидно, что путь формирования единой нации, который был избран в военные годы, неприемлем в перспективе. После первой мировой войны курс был изменен. Сказался опыт европейских стран, в том числе и отрицательный, который продемонстрировала Англия в борьбе с ирландским национализмом, а также, конечно же, лозунги социалистического движения, пример России. Развитие американской нации пошло по иному пути, отличному от того, на который ее толкали поборники американизации. В этом смысле эксперимент с межэтническими отношениями, который проводился в США в годы войны, можно рассматривать как важный симптом будущих процессов.

[1] *Louis L.* The Philosophy of Our Migration Law // Law and Contemporary Problems. 1956. Vol. XXI. N 2. P. 374.

[2] *Vaughan L.* Cosmopolitanism, Ethnicity and American Identity: Randolph Bourne's "Trans-National America" // Journal of American Studies. 1991. Vol. 25. N 3. P. 488.

[3] *Handlin O.* The Uprooted. The Epic Story of the Great Migrations that Made the American People. Boston, 1952. P. 290.

[4] Immigration as a Factor in American History / Ed. by O. Handlin. Inglewood Cliffs (N.J.), 1959. P. 189.

[5] *Fyle A.* Understanding the First World War. Illusions and Realities. N.Y. etc., 1988. P. 237.

[6] Как отмечается некоторыми авторами, в американской историографии проблема "американизации" остается все еще одним из наименее изученных явлений в истории Соединенных Штатов (см.: *McClymer J.* Gender and the American Way of Life: Women in the Americanization Movement // Journal of American Ethnic History. 1991. Vol. 10. N 3. P. 3).

[7] *Kraus M.* Immigration, the American Mosaic. From Pilgrims to Modern Refugees. Huntington (N.Y.), 1979. P. 91.

[8] *Hill H.* The Americanization Movement // The American Journal of Sociology. 1919. Vol. XXIV. N 6. P. 629.
[9] *Postiglion G.* Ethnicity and American Social Theory. Toward Cultural Pluralism. N.Y.; L., 1983. P. 82.
[10] *Hill H.* Op. cit. P. 629.
[11] *Mann A.* The One and the Many. Reflection on the American Identity. Chicago; L., 1979. P. 13.
[12] *Higham J.* Strangers in the Land. New Brunswick (New Jersy), 1955. P. 247.
[13] Цит. по: Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. Cambr. (Mass.), 1980. P. 40.
[14] *Hill H.* Op. cit. P. 629.
[15] *Parkes H.* The United States of America. A History. N.Y., 1954. P. 577.
[16] *Gordon M.* Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National Origins. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1964. P. 100.
[17] Написание своей национальности через дефис, т.е. с указанием своей коренной национальности и американской.
[18] Цит. по: *Mann A.* Op. cit. P. 112.
[19] Цит. по: Immigration and the United States / Ed. by P. Tyler. N.Y., 1956. P. 63.
[20] Цит. по: *Vaughan L.* Op. cit. P. 448.
[21] Immigration and the United States. P. 60.
[22] Цит. по: *Handlin O.* The American People in the Twentieth Century. Cambr. (Mass.), 1954. P. 121.
[23] *Vaughan L.* Op. cit. P. 448.
[24] *Sowell Th.* Ethnic America. A History. N.Y., 1981. P. 58.
[25] Ibid.
[26] *Burke Fr.* Bilingualism / Biculturalism in American Education: An Adventure in Woderland // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1981. March. Vol. 454. P. 168.
[27] *Kraus M.* Op. cit. P. 91.
[28] Ethnic Leadership in America / Ed. by J. Higham. Baltimore; L., 1979. P. 65–66.
[29] Ibid. P. 66.
[30] См.: *Богина Ш.А.* Иммигрантское население современных США // Национальные процессы в США. М., 1973. С. 336.
[31] См.: *Арская Л.П.* Судьба этнических японцев // США: экономика, политика, идеология. 1990. № 10. С. 28.
[32] См.: *Шлепаков А.Н.* Иммиграция и американский рабочий класс в эпоху империализма. М., 1966. С. 151.
[33] См.: *Иванов Р.Ф.* Черные пасынки Америки. М., 1978. С. 115 и др.
[34] *Kennedy J.* A Nation of Immigrants. N.Y., 1964. P. 71.
[35] *Wolkovich-Valkavicius W.* The Ku Klux Klan in the Nashoba Valley // Historical Journal of Massachusetts. 1990. Vol. XVIII. N 1. P. 61.
[36] Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. P. 46.
[37] *Rose P.* They and We. Racial and Ethnic Relations in the United States. N.Y., 1966. P. 52.
[38] *Vaughan L.* Op. cit. P. 450.
[39] См.: Черные американцы в истории США. 1917–1985. М., 1986. Т. 2. С. 9.
[40] Immigration as a Factor in American History. P. 190.
[41] Historical Statistics of the United States. Colonial Times to 1970. Wash., 1975. Pt. 1. P. 105.
[42] An Immigrant Nation: United States Regulation of Immigration, 1978–1991. U.S. Department of Justice. Immigration and Naturalization Service. 1991. June 18. P. 10.
[43] Общую политику страны в решении проблем иммиграции, натурализации и депортации определяет конгресс. Значительными полномочиями наделен и президент (см.: *Николайчик В.М.* Правовые основы иммиграционной политики США // США: экономика, политика, идеология. 1990. № 9. С. 52).
[44] См.: *Шлепаков А.Н.* Расово-национальные основы иммиграционной политики США в 20–60-х годах XX в. // Национальные процессы в США. С. 312.

[45] *Zeigel R.* Ellis Island and the American Immigration Experience // US Today. 1992. September. P. 29.
[46] An Immigrant Nation. P. 9–10.
[47] *Handlin O.* The Uprooted. P. 290.
[48] *Lieberson S.* A Piece of the Pie. Blacks and White Immigrants since 1880. Berkley; Los Angeles; L., 1980. P. 25.
[49] Цит. по: *Handlin O.* Race and Nationality in American Life. Boston; Toronto, 1957. P. 132.
[50] Ibid.
[51] *Ross E.* The Old World in the New. N.Y., 1914. P. 282–296.
[52] Цит. по: *Krickus R.* Pursuing the American Dream. White Ethnics and the New Populism. N.Y., 1976. P. 174.
[53] Native and Strangers. Ethnic Groups and the Building of America / Ed. by L. Dinnerstein, R. Nichols, D. Reimers. N.Y., 1979. P. 220.
[54] *Morgan D.* The Foreign Born in the United States. N.Y., 1936. P. 63.
[55] *Kraus M.* Op. cit. P. 91.
[56] См.: *Лан В.И.* США: от первой до второй мировой войны. М., 1976. С. 116–117.
[57] Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. P. 10.
[58] *Journal of American Ethnic History. 1991. Spring. Vol. 10. N 3. P. 3.*
[59] *Berry B.* Race and Ethnic Relations. Boston, 1951. P. 249.
[60] *Sowell Th.* Op. cit. P. 171.
[61] Цит. по: *Adamic L.* A Nation of Nations. N.Y.; L., 1954. P. 263.
[62] *Bourne R.* Trans-National America. The Atlantic Monthly. 1916. July. Vol. 118. P. 95.
[63] *Gordon M.* Assimilation in America: Theory and Reality // Essays on American Social History / Ed. J. Lankford, D. Reimers. New York; Chicago etc., 1970. P. 356.
[64] См.: *Евтух В.Б.* Концепции этносоциального развития США и Канады. Типология, традиции, эволюция. Киев, 1991. С. 34.
[65] *Alba R.* The Twilight of Ethnicity Among American Catholics of European Ancestry // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1981. March. Vol. 454. P. 93.
[66] *Hawgood J.* The Tragedy of German America. N.Y., 1940. P. 39.
[67] *Glazer N.* Ethnic Groups in America: From National Culture to Ideology // Freedom and Control in Modern Society / Ed. by M. Berger, Th. Abel and Ch. Page. N.Y., 1954. P. 163–164.
[68] *Handlin O.* Boston's Immigrants. Cambr. (Mass.), 1959. P. 176.
[69] *Rose P.* Op. cit. P. 23.
[70] *Boxberger D.L.* Individualism or Tribalism?.. The "Dialectic" of Indian Policy // The American Indian Quarterly. 1991. Vol. XV. N 1. P. 29.
[71] *Gordon M.* Assimilation in American Life. P. 113.
[72] *Fairchild H.* The Melting Pot Mistake. Boston, 1925. P. 176.
[73] Ibid.

ЮГОСЛАВЯНСКАЯ ПРОГРАММА СЕРБСКОГО КОРОЛЕВСТВА В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ (август 1914 – октябрь 1915)

А.Л. Шемякин

1 декабря 1993 г. исполнилось ровно 75 лет с того далекого зимнего дня 1918 г., когда в Белграде сербский королевич Александр Карагеоргиевич торжественно провозгласил создание "Первой Югославии" – Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, в рамках которого объединились независимые Сербия и Черногория, а также югославянские области бывшей Австро-Венгрии. Юбилей этот ныне прошел практически незамеченным. Оно и понятно, ведь "единого отечества" более не существует; на его обломках возникли новые независимые государства, отношения между которыми и внутри которых (Босния и Герцеговина, Хорватия, отчасти Союзная Республика Югославия и Македония) лишь подтверждают расхожее мнение о Балканах, как о "пороховой бочке" Европы.

В условиях нынешнего "пира" дезинтеграционных идей обращение к событиям первой мировой войны, которые и привели к образованию объединенного югославянского государства, к планам и концепциям политических представителей народов, в его состав вошедших, вряд ли может показаться проявлением лишь чисто академического интереса, ибо, как справедливо отмечал Ю.А. Писарев, необходимо "попытаться ответить на вопрос: существовали ли уже тогда причины для нынешнего конфликта, или, напротив, то, что происходит сегодня, является порождением сепаратизма отдельных частей Югославии, а в 1918 г. были заложены основы для существования жизнеспособного и правового государства"[1]. Вопрос, как видим, предельно актуален и современен. Ответить на него без качественно новых, свободных от идеологической заданности монографических исследований вряд ли возможно. И в первую очередь, как представляется, объектами пристального и беспристрастного анализа должны стать югославянская идея и югославянское движение, подлинная история которых, по словам профессора Белградского университета Джордже Станковича, "несмотря на 75 лет существования Югославии, все еще не написана"[2].

Отдавая себе отчет в том, что всестороннее изучение этой глобальной темы под силу только целому коллективу специалистов, автор в данной статье обратил внимание лишь на один из аспектов указанной проблемы, а именно – попытался проследить подлинное отношение к юнионистской идее сербского королевского правительства и его премьера Николы Пашича в первый период мировой войны; показать, как и под влиянием чего оно менялось, и что еще, кроме демонстраций югославянского единства и уверений в приверженности

© А.Л. Шемякин

курсу на создание единого вместе с хорватами и словенцами государства, лежало в основе интеграционных заявлений руководства Сербии – мы имеем в виду прежде всего его геополитические, дипломатические и военные мотивы и резоны.

Последнее представляется особенно важным, если учесть, что в исследуемый период, т.е. с начала военных действий в августе 1914 г. и до поражения Сербии в октябре 1915 г., между враждебными коалициями великих держав развернулась настоящая дипломатическая война за потенциальных балканских союзников, и обещания территориальных приращений, гарантий и компенсаций сыпались на кандидатов в таковые с обеих сторон как из рога изобилия. Подобные "торги" с соседями (нередко за спиной Сербии и за счет ее интересов) не могли не оказывать влияния на позицию Королевства. По точной оценке сербского историка Николы Поповича, "в тот период (1914 – октябрь 1915 г. – *А.Ш.*) о сербском или югославянском вопросе рассуждали и размышляли в контексте борьбы за новых союзников"[3].

* * *

Национальная программа Сербского королевства накануне первой мировой войны включала в себя два основных компонента. Во-первых, ставилась задача решения сербского национального вопроса в том виде, как его понимало руководство страны. Опираясь на традиции знаменитого "Начертания" Илии Гарашанина (1844 г.)[4], сербские политики считали главной своей целью освобождение всех территорий, населенных сербами и находившихся под властью Турции и Австро-Венгрии. В первую очередь речь шла о Старой Сербии (нынешние Косово и Метохия), части Македонии и Боснии и Герцеговине. Это направление национальной политики (воплощение "заветной мысли сербской") имело для правительства Сербии приоритетный характер.

Второй компонент сербской национальной программы был окрашен в югославянские тона. Поворотным пунктом ее эволюции в сторону югославизма стали Балканские войны (1912–1913)[5]. Санкционированное Бухарестским мирным договором (август 1913 г.) присоединение к Королевству Вардарской Македонии и Старой Сербии означало частичное решение сербского национального вопроса (южного его "фланга"), что не могло не повлиять на состояние умов в стране. Именно в этот момент претерпевает определенные изменения национальная программа сербской народной радикальной партии – самой крупной и влиятельной национальной политической организации, почти бессменно в течение 1903–1918 гг. находившейся у власти в Сербии (ее лидер Н. Пашич в эти годы одновременно занимал пост премьер-министра). Акценты в ней смещаются с юга на север, начинают явственно звучать и "интегралистские" мотивы.

Иллюстрацией тому могут служить острые дебаты, развернувшиеся на заседании парламентского клуба депутатов-радикалов 27 июня 1913 г. На этом памятном заседании обсуждались два варианта развития отношений с Софией по поводу занятой сербскими войсками

Вардарской Македонии (сербская армия во время 1-й Балканской войны освободила обширные территории в Македонии, часть которых согласно сербско-болгарскому договору от 13 марта 1912 г. должна была отойти к Болгарии). Руководство партии – премьер Пашич, министр финансов Лаза Пачу, Стоян Протич – предложили передать спорный вопрос о территориях на арбитраж Николая II, высказав готовность подчиниться решению августейшего арбитра. При этом никакими твердыми гарантиями в положительном для Сербии исходе они, естественно, не располагали. Значительная часть депутатов – членов радикальной фракции – смотрела на ситуацию иными глазами. Они отказывались даже слышать о каких-либо переговорах, выступая за немедленную аннексию всех занятых сербскими войсками земель, невзирая на опасность вооруженного столкновения с Болгарией и полагаясь исключительно на военную силу.

В разгар дискуссии слово взял Л. Пачу. Он назвал глубоким заблуждением мнение иных коллег о том, что с присоединением Старой Сербии и Вардарской Македонии Королевство полностью выполнило свою национальную задачу. Именно теперь, по мнению оратора, перед Сербией встает новая глобальная задача национального объединения с братьями – югославянами Австро-Венгрии[6]. Впечатление от речи министра финансов было велико. По словам участника заседания профессора Лазара Марковича, "национальный горизонт Сербского королевства вмиг расширился, и взоры всех присутствовавших обратились к Адриатике, Воеводине, Хорватии, Словении"[7]. В итоге клуб радикальных депутатов огромным большинством голосов поддержал предложение правительства о передаче спорных вопросов на арбитраж Петербурга, что было равносильно одобрению его Народной скупщиной (парламентом Сербии), где радикалы имели большинство. К этому лишь добавим, что до выполнения этого решения дело, однако, не дошло, ибо два дня спустя болгарская армия приступила к боевым действиям против недавних союзников – сербов и греков – у местечка Брегальница. Так началась 2-я Балканская (Межсоюзническая) война, в ходе которой Болгария потерпела сокрушительное поражение.

Говоря о новых мотивах, зазвучавших в национальной программе правящей радикальной партии примерно с 1913 г., должно заметить, что в сербском общественном мнении югославянская идея начинает пользоваться популярностью уже после "майской революции" 1903 г., когда австрофильскую династию Обреновичей сменили на сербском престоле русофилы Карагеоргиевичи. Особый отклик идея югославянского единства, согласно которой сербы, хорваты и словенцы объявлялись "тремя племенами одного народа", нашла в среде учащейся молодежи и интеллектуалов, главным рупором которых стал журнал "Српски Книжевни Гласник", редактировавшийся известным литературным критиком и общественным деятелем Йованом Скерличем. Скерлич и его единомышленники, полагая главным критерием любой нации наличие единого языка, рассматривали все населенные югославянами территории на Балканах (невзирая на разделяющие их государственные границы) единым национально-языковым пространством, где

обитал единый же "трехименный народ"[8]. Эта языковая теория нации вела свое начало еще от Досифея Обрадовича – известного сербского просветителя конца XVIII – начала XIX века.

Однако, несмотря на немалую популярность югославянской идеи в "образованных слоях" сербского общества, в партийно-политических кругах страны она довольно долго не встречала особых симпатий. Программные документы политических партий пестрели заклинаниями о необходимости решения "прадедовской задачи сербского освобождения и объединения". Лишь в программе независимой радикальной партии (образованной группой независимых, или младорадикалов, которые вышли в 1901 г. из сербской радикальной партии, отколовшись от сторонников Н. Пашича – старорадикалов), принятой в 1905 г., упоминалось о важности "поддерживать дух югославянского единства"[9]. Военные успехи Сербии и ее территориальные приобретения в 1912–1913 гг., как уже говорилось, во многом изменили атмосферу в стране. Теперь и ее политический истеблишмент, а не только общественные круги, стали задумываться о судьбе "братьев с того берега Савы, Дрины и Дуная".

Вместе с тем, и это важно подчеркнуть особо, не стоит абсолютизировать и переоценивать значение подобного "поворота" сербских политиков. Югославянский аспект сербской национальной программы в условиях существования Австро-Венгрии носил идеалистический характер, не имея "ничего общего с конкретной государственной политикой"[10]. Накануне мировой войны в белградских коридорах власти о нем не было принято говорить вслух. Приоритет отдавался более насущным и жизненным задачам. В новых же, сложившихся после Балканских войн, условиях в разряд таковых выдвигались задачи освоения и обустройства вновь присоединенных областей. А это требовало времени. «В наших интересах, – говорил Н. Пашич после заключения Бухарестского мира, – чтобы Австро-Венгрия просуществовала еще лет 25–30, дабы мы могли так "переварить" наши новые территории на юге, что вопрос об их принадлежности уже никогда и никем не мог бы быть поставлен заново»[11].

Кроме того, немалое значение для руководства Сербии имели и отношения с соседней Черногорией. Поделив между собою освобожденную от турок территорию Новипазарского Санджака (ныне Рашка), два независимых сербских королевства наконец-то соприкоснулись своими границами. В начале 1914 г. между ними, втайне от Австро-Венгрии и при одобрении России, начались переговоры о более тесном сотрудничестве в военной, дипломатической, финансовой и иных областях. О том, насколько более важными были для Пашича накануне первой мировой войны переговоры о реальном сближении Сербии и Черногории по сравнению с довольно абстрактными лозунгами югославянского единства, свидетельствует и российский посланник в Белграде Н.Г. Гартвиг. Донося 7 апреля 1914 г. в МИД о начавшемся диалоге, дипломат подчеркивал, что «Пашич находил желательным оставить ныне в стороне все заботы о "неосвобожденных еще сербских братьях и целом югославянстве", а подумать о мероприятиях, которые

на деле скрепили бы узы единокровных народов (сербов и черногорцев, – *А.Ш.*)»[12].

Итак, очевидно, что даже в условиях определенного югославянского идейного "крена" Н. Пашич – этот, по выражению Л.Д. Троцкого, "некоронованный король Сербии" – продолжал в своей реальной политике считать приоритетным решение насущных внутрисербских, назовем это так, задач. Югославянская же перспектива лежала для него далеко за сербским горизонтом. И вряд ли вообще предполагал этот немолодой уже человек (в год начала войны ему исполнилось 69 лет), что он и другие политики – его современники окажутся не только свидетелями, но и действенными участниками югославянского объединения. Саму возможность реализации этой идеи Пашич, казалось, добровольно "отдавал" в руки будущих генераций. Но история распорядилась по-иному...

С началом первой мировой войны югославянский вопрос был открыто поставлен сербским правительством, что нашло отражение в знаменитой Нишской декларации, принятой Народной скупщиной 7 декабря 1914 г. В документе торжественно провозглашалось: "С непоколебимой уверенностью в решимость всего сербского народа до конца отстаивать свое Отечество и свободу, королевское правительство в настоящий судьбоносный момент считает своей главнейшей и единственной задачей – способствовать успешному завершению этого великого вооруженного противостояния, которое с самого начала стало одновременно и борьбой за освобождение и объединение всех наших неосвобожденных братьев сербов, хорватов и словенцев"[13].

По мнению ряда историков, Нишская декларация явилась логическим следствием тех интеграционных тенденций, которые проявились в политической жизни Сербии еще в предвоенные годы, а также адекватным отражением настроений самого Н. Пашича и руководства радикальной партии[14]. Несомненно, в этих утверждениях имеется известная доля истины, однако для более глубокого понимания сути югославянской программы сербского руководства в годы первой мировой войны есть смысл обратиться к иным, а не только чисто идеологическим, мотивам ее обнародования, а также реконструировать тот военно-политический и дипломатический "расклад сил" в Европе и на Балканах в первый год противостояния, на фоне которого и велась разработка программы.

Уже 5 августа 1914 г., т.е. буквально через несколько дней после "трансформации" локального австро-сербского конфликта в европейскую войну, министр иностранных дел России С.Д. Сазонов посоветовал Пашичу пожертвовать известными территориями в сербской Македонии (восточной ее частью до реки Вардар) в пользу Болгарии для обеспечения хотя бы благожелательного нейтралитета последней в начавшейся войне[15]. По словам поверенного в делах России в Сербии В.Н. Штрандтмана, Пашич соглашался на некоторую коррекцию сербско-болгарской границы, полагая возможным провести ее "по ближайшему к Вардару с восточной стороны водоразделу..."[16]. Мало того, из разговора с ним российский дипломат вынес впечатление, что

"в случае получения Сербией Боснии и выхода к Адриатике она в своих уступках (Болгарии. – *А.Ш.*) пойдет дальше"[17].

Дипломатическое давление союзников и требования территориальных уступок "соседке" заставили сербских политиков всерьез задуматься о собственных контрпретензиях. 29 августа заместитель Пашича по министерству иностранных дел Йован Йованович подчеркнул настоятельную необходимость разработки целостной югославянской программы "в связи с вопросом о компенсации Болгарии"[18]. Когда же 30 августа в адрес сербского правительства последовал уже совместный англо-русско-французский демарш аналогичного содержания (уступки Болгарии в Македонии с обещаниями компенсаций в другом месте), Пашич в ответ на него заявил, что "Сербия была бы расположена уступить часть своей территории после победоносной войны держав Тройственного согласия, когда они диктовали бы условия мира и дали бы возможность Сербии получить сербо-хорватские территории вместе с прилегающим побережьем"[19]. Налицо, как видим, известная подвижка в сторону увеличения территориальных требований (по сравнению с претензиями только на Боснию и Герцеговину), но это еще и не всеюгославянская программа.

Итак, можно заключить, что поначалу сербское правительство в принципе было готово "обменять" часть Македонии на территориальные приращения на севере – в Боснии и Герцеговине и Хорватии, но обязательно с гарантированным и широким выходом на Адриатическое побережье. С точки зрения геополитики, здесь все ясно и логично. Сербия – одна из всех стран Балканского полуострова не имела свободного выхода к морю, что делало ее положение крайне уязвимым – изо всех сил "держалась" за долину реки Вардар, представлявшую собой единственный удобный выход к эгейскому порту Салоники. В условиях же активизации попыток дипломатии стран Антанты привлечь нейтральную Болгарию к участию в войне на своей стороне и обещаний ей обширных компенсаций в Македонии, что сопровождалось усилением давления на Сербию, в Нише (в 1914–1915 гг. здесь была "временная" столица Королевства) выдвигали свои контртребования – обеспечить протяженный и гарантированный выход к Адриатическому морю. Разница между болгарскими и сербскими "аппетитами" заключалась в том, что для удовлетворения Болгарии требовалось "лишь" согласие Сербии, для сатисфакции же последней – окончательная победа держав Антанты в войне, ибо Сербия претендовала уже на австро-венгерские территории – Боснию и Герцеговину, Хорватию, Далмацию. Потому-то и соглашались сербы на этот геополитический "обмен" только после победоносной войны, хотя союзники и настаивали на немедленном согласии Ниша на передачу вожделенных македонских территорий Софии.

Интересны объемы компенсационных притязаний Сербии в первый месяц войны – они неопределенны, весьма противоречивы и неполны (то Босния, то сербско-хорватские территории Австро-Венгрии, но и то и другое с побережьем – это главное; о Словении упоминаний пока нет вообще). Оно и понятно, ведь объединительная югославянская

программа только разрабатывается – для ее подготовки и научной аргументации правительство привлекло крупнейших сербских специалистов в области этнографии, лингвистики, истории: Йована Цвиича, Александра Белича, Йована Радонича, Слободана Йовановича и др.[20]

А тем временем представители Антанты вели активные переговоры с другим кандидатом в союзники – Италией, правительство которой в качестве "цены" за возможное военное содействие Лондону, Парижу и Петрограду потребовало присоединения к ней не только итальянских областей Австро-Венгрии (Южного Тироля), но и обширных, населенных в основном южными славянами, территорий на восточном побережье Адриатики – Триеста, Истрии, Хорватского приморья, Далмации с островами. Кроме того, итальянские политики уже в сентябре 1914 г. выдвинули идею автономии или независимости Хорватии[21], что создало бы, по их мнению, идеальные условия для единоличного господства Рима в своем "mare internum". По словам итальянской печати, "лучше иметь в качестве соседей два маленьких государства (речь идет о Сербии и Хорватии. – *А.Ш.*), чем одно, которое включает оба маленьких. При наличии преимущественно антиславянской Албании, с одной стороны, и католической, антисербской Хорватии – с другой, мы установили бы выгодное равновесие в Восточной Адриатике..."[22].

Слухи о переговорах Италии с Антантой, а также идея Рима о "независимости" Хорватии с вхождением в состав последней большинства югославянских земель Австро-Венгрии, вызвали у сербского руководства немалое беспокойство. Потому-то и поторапливал 4 октября все тот же заместитель Пашича по иностранным делам Й. Йованович маститых ученых с выработкой научно обоснованной программы югославянских притязаний Сербии, ибо, по его словам, "в некоторых дипломатических кругах, с подачи Италии, уже начинают говорить об автономной Хорватии, в состав которой вошли бы собственно хорватские земли, Словения и часть Далмации, а может быть, и какая-то часть Боснии..."[23]. В тех условиях программа должна была стать серьезным контраргументом сербского правительства в его дипломатической борьбе в столицах союзных государств в связи с притязаниями Италии.

3 октября 1914 г. сербская королевская миссия в Петрограде представила в российский МИД памятную записку – телеграмму Пашича от 28 сентября того же года. "Хотя еще не наступило время обсуждать вопрос о том, какому государству какая часть территории должна принадлежать после окончательной победы над неприятелем, – писал премьер сербскому посланнику в Петрограде Мирославу Спалайковичу, – все-таки считаю нужным заблаговременно обратить ваше внимание на наши претензии, дабы вы могли руководствоваться ими для себя лично в разговорах в дипломатических кругах о претензиях других государств (прежде всего Италии и отчасти Румынии. – *А.Ш.*). Теперь я это делаю вкратце, а позже я вам пришлю более подробные инструкции с историческими данными о сербо-хорватских землях, на

которые претендуем. Если война окончится так, как мы предполагаем, и Австро-Венгрия будет окончательно побеждена, то..." И далее Пашич рисует границы государства, в состав которого должны войти Воеводина, Славония, Хорватия, Далмация и Словения, т.е. все югославянские земли Дунайской монархии, кроме Триеста и Истрии, которую "можно было бы поделить с Италией, если бы последняя немедленно выступила против Австро-Венгрии"[24]. Итак, перед нами программа югославянского объединения (правда, пока еще как бы "для служебного пользования"), абсолютно идентичная той, что будет официально обнародована два месяца спустя в Нишской декларации.

Вместе с тем следует заметить, что Пашич отнюдь не был столь наивным политиком, чтобы поверить, будто сформулировав программу югославянского объединения, Сербия тем самым прочно обезопасила себя от итальянских претензий на Восточно-Адриатическое побережье. Он понимал, что Италия для государств Тройственного согласия являлась фактором стратегическим, а потому отдавал себе отчет в том, что, желая "купить" военное содействие Рима для усиления своих позиций против Австро-Венгрии, Лондон, Париж и Петроград вполне могли пойти навстречу его геополитическим притязаниям. Допуская такую возможность, сербский премьер подготовил "запасной вариант". В случае, если бы державы Антанты поддержали предложение Италии о создании буферного "независимого" хорватского государства, он потребовал бы включить в состав Сербии Боснию и Герцеговину, Далмацию, а также Срем, Славонию и Лику (т.е. часть Воеводины и населенные в основном сербами области Хорватии)[25]. Как видим, выход к морю был бы обеспечен Сербии и в этом случае...

Здесь остановимся и зададимся вполне резонным вопросом – что же произошло за те два с лишним месяца, с сентября по декабрь 1914 г., т.е. с момента выработки сербским правительством программы югославянского объединения до ее официального обнародования в Нише.

Ноябрь 1914 г. был отмечен для Сербии резким ухудшением ситуации как на военном, так и на дипломатическом фронтах. Австро-венгерская армия под командованием генерала Оскара Потиорека перешла в середине месяца в наступление на сербском фронте и заставила сербов отступить. Началась Колубарская битва (17 ноября – 15 декабря) – крупнейшее сражение на Балканах в годы мировой войны. Военное положение Сербии из-за огромного дефицита боеприпасов становилось критическим – нечем было отвечать на шквал артиллерийского огня противника. Сербы оставили Валево, Обреновац; к концу месяца пал Белград. Параллельно союзная дипломатия усиливала давление на Пашича, склоняя его пойти-таки на территориальные уступки Софии и заручиться ее помощью. Сербское правительство отказалось вознаградить "изменницу славянской солидарности Болгарию в тот момент, когда Сербия истекает кровью в борьбе за победу славянского дела"[26]. О критичности момента свидетельствовал и тот факт, что начальник главного штаба сербской армии воевода Радомир Путник предложил кабинету подумать о возможности заключения сепаратного мира с Веной (если только это "предложение" не оказалось

искуснейшей интригой многоопытного Пашича с целью оказания теперь уже контрдавления на союзников). Как бы то ни было, союзники "встрепенулись" – боеприпасы через Грецию и ту же Вардарскую долину стали поступать в Сербию. Медленно до того отступавшие сербские войска, реорганизованные и снабженные всем необходимым, вдруг "на противоходе" перешли в контрнаступление и прорвали вражеский фронт. Успешное контрнаступление сербов, начавшееся 3 декабря, завершилось 15 декабря освобождением Белграда. Второе с начала войны австро-венгерское вторжение в Сербию было отбито.

И вот в разгар самых жестоких боев с неприятелем, 7 декабря, сербский парламент принял декларацию о необходимости освобождения и объединения всех сербов, хорватов и словенцев. Одного этого обстоятельства, как представляется, достаточно для утверждения, что характер принятого решения не мог не зависеть от военно-политической конъюнктуры. Не секрет ведь, что в противоборстве с Австро-Венгрией сербский премьер всерьез рассчитывал на югославян Монархии как на своих потенциальных союзников, национальное движение которых неминуемо привело бы к ее внутреннему ослаблению. По свидетельству очевидца, декларация о военных целях Сербии приобрела общеюгославянскую "упаковку" лишь после того, как Пашича убедили в том, что "это поможет Сербии в войне, так как вызовет выступление югославянских и иных славянских народов Австро-Венгрии"[27]. По оценке сербского историка Савы Скоко, югославянская программа сербского правительства, содержавшаяся в Нишской декларации, – это "прежде всего мина для разрушения Австро-Венгерской монархии, заложенная в то время, когда никто в мире еще и не помышлял о возможности ее распада"[28].

Кстати говоря, подобная трактовка знаменитого документа особой популярностью в сербской исторической литературе не пользовалась. Уже упоминалось, что Нишская декларация рассматривалась многими авторами как логическое политическое воплощение тех югославянских тенденций, "которые еще до войны проявились в политической жизни Сербии, и в частности – в верхах правящей радикальной партии"[29]. С этим, однако, несколько не вяжется тот известный факт, что в первоначальном проекте декларации отсутствовало всякое упоминание о "словенском племени" – оно было внесено в документ буквально в самый последний момент, после вмешательства известного словенского ученого и поборника югославянского единства Нико Жупанича и его разговора с Пашичем...

Итак, подведем итог. К концу 1914 г. объединительная югославянская программа сербского правительства была сформулирована. Нишская декларация, несмотря на все явные и тайные мотивы ее принятия, стала "краеугольным камнем" официальной юнионистской политики Сербии военного времени. Однако сразу же следует подчеркнуть одну ее особенность чисто утилитарного характера. Политика эта, по крайней мере в первый год войны, в немалой степени являлась во-первых, средством "защиты" сербского правительства от давления союзников в условиях "торговли" последних с Болгарией – чем больших

уступок требовала Антанта в пользу болгар в Македонии, тем дальше на северо-запад, "к заветному морю", простирались контрпретензии сербов; во-вторых, геополитическим "противовесом" Сербии панадриатическим устремлениям Италии, закрывающим ей выход на побережье; и в-третьих, ее военно-пропагандистским инструментом в условиях открытого противоборства с Дунайской монархией.

* * *

Тем временем наступал 1915 год, а с ним вступление в войну Италии, Болгарии и крушение Сербии; год, показавший всю тщетность надежд на скорое окончание войны и лишь разогнавший обороты гигантской европейской мясорубки. Однако начало его застало сербов в обманчивом ожидании близкого мира. Блестящая декабрьская победа, одержанная ими в Колубарской битве, в совокупности с военными успехами союзников на других фронтах, давала, как казалось в Нише, основания надеяться на скорое окончание кровопролития.

В ожидании близкого мира Сербия по-прежнему была готова уступить требованиям союзников в смысле удовлетворения болгарских притязаний в Македонии в обмен на гарантию будущего решения проблемы югославянских территорий Австро-Венгрии в благоприятном для себя духе. Британский историк и общественный деятель, поборник "югославянского дела" Джордж Тревельян писал 15 января 1915 г. на родину из Софии о своем (совместно с Генри Уикхем-Стидом) пребывании в Нише и контактах с сербским руководством: "Вообще, мы можем сказать на основании многочисленных переговоров с сербами, начиная от наследника престола до менее высокопоставленных лиц, что, чем больше заходит речь об экспансии в сторону Адриатического побережья и образования Югославии, тем более готовы сербы уступить Македонию – и последнее лишь по дружественному настоянию великих держав, являющихся ее союзниками"[30].

А ситуация в Европе, между тем, менялась, и Сербию ожидал отнюдь не скорый мир, а тяжелейшие испытания.

К февралю 1915 г. военные приготовления Италии продвинулись настолько, что начальник Генерального штаба генерал Луиджи Кадорна мог заверить правительство, что к середине апреля итальянская армия будет достаточно подготовленной для участия в войне. То, в свою очередь, сочло момент благоприятным для непосредственного обращения к государствам – членам Тройственного согласия с предложением своего военного содействия, тем более, что русские победы в Карпатах, казалось, предвещали окончательный разгром австро-венгерской армии, а приготовления союзников к форсированию Дарданелл зашли уже достаточно далеко. Опасаясь, что Антанта сама, без помощи Италии, покончит и с Турцией, и с Австро-Венгрией, в Риме решили не терять времени и "впрячься" в ее военную колесницу.

В союзных столицах (в Петрограде, правда, в меньшей степени, чем в Лондоне и Париже) благосклонно встретили предложение Рима о военном сотрудничестве, и переговоры об условиях вступления Италии

в войну начались. 9 марта посол Италии в Лондоне маркиз Империали вручил сэру Эдуарду Грею меморандум с итальянскими требованиями. В части, нас касающейся, документ предусматривал передачу Италии почти всей Далмации до реки Нарента (Неретва) и островов к северу и западу от нее. Вопрос о будущей принадлежности адриатического побережья Хорватии и Герцеговины Италия требовала передать после войны "на решение Европы". При соблюдении этих условий в Риме соглашались не возражать против раздела Северной и Южной Албании (из Центральной с портом Дуррес предполагалось создать "независимое" мусульманское государство, а порт Валону с прилегающей территорией – просто аннексировать) между Сербией, Грецией и Черногорией, причем все потенциальное сербско-черногорское побережье подлежало бы демилитаризации[31].

Что означали эти притязания Италии для Сербии и югославян Австро-Венгрии? Ответ на этот вопрос содержится в ответном меморандуме союзных правительств от 20 марта, в котором они советовали Риму пересмотреть объем своих притязаний на восточное побережье Адриатического моря, ибо "требование Италии о присоединении к ней Далмации, сопровождаемое предложением нейтрализовать значительную часть восточного адриатического побережья, и притязания на острова... оставляют Сербии весьма ограниченные возможности для выхода к морю, и запирают южнославянские провинции, которые имели основания рассчитывать, что эта война облегчит им осуществление их законных стремлений к расширению и развитию, чего они до сих пор были лишены"[32]. Как видим, удовлетворение итальянских требований поставило бы под серьезное сомнение саму возможность Сербии вырваться из геополитической "мышеловки".

Вокруг требований Италии по вопросу о Далмации развернулась дипломатическая борьба. Западные державы, особенно Англия, полагавшие, что вступление в войну нового союзника с Апеннин станет ее поворотным пунктом, сняли все свои возражения, высказанные в меморандуме от 20 марта, и начали оказывать на С.Д. Сазонова, твердо поначалу стоявшего на защите интересов югославян в регионе, сильнейшее давление с целью добиться согласия России на условия Италии. Тем более, что 11 марта последовала нота союзников об отсутствии у них принципиальных возражений относительно заявления Николая II о том, что Константинополь и проливы должны принадлежать России. В ответ на это в Лондоне и Париже ожидали встречных шагов Петрограда, и прежде всего достижения соглашения с Римом. Сазонов, который, по словам современника, "был буквально ослеплен константинопольским вопросом и считал адриатический второстепенным для России"[33], под давлением союзников начал отступать. В конечном итоге, российское правительство было вынуждено пойти навстречу интересам Италии, оговорив, правда, при этом некоторые уступки в пользу Сербии. Сам Сазонов писал впоследствии: "Мне стоило большого усилия над собой, чтобы ради выгод итальянского союза пожертвовать интересами сербского народа..."[34]. Окончательное соглашение союзников с Италией об условиях и сроках вступления

последней в войну на стороне Антанты было закреплено в Лондонском четырехстороннем договоре, подписанном 26 апреля 1915 г. Договор предусматривал присоединение к Италии, кроме итальянских областей Австро-Венгрии, также Истрии и Далмации. Сербии гарантировался только выход к морю (узкий, крайне неудобный и демилитаризованный) и была обещана Босния и Герцеговина. Хорватию предполагалось объявить независимой как от Австро-Венгрии, так и от Сербии.

В Нише слухи о территориальных претензиях Италии, выдвинутых на переговорах с Антантой, вызвали резко негативную реакцию. По словам российского посланника в Сербии князя Г.Н. Трубецкого, престолонаследник Александр Карагеоргиевич в разговоре с ним "поделился серьезной заботой, которую внушают ему и сербскому правительству притязания Италии на часть далматинского побережья". Он возложил "все надежды на Россию", полагая, что "она не дозволит сделку, которая передала бы власть над значительным славянским населением из рук Австрии Италии и сделала бы неизбежной новую войну в ближайшем будущем"[35]. Но перед Россией, вернее перед глазами ее сановников, уже маячили миражи Святой Софии, и в этих условиях надеяться на решительное противодействие Петрограда союзникам в адриатическом вопросе было достаточно наивным. Но отнюдь не это было для сербов самым страшным. Оно заключалось в том, что союзники и в начавшемся году продолжали оказывать на Сербию давление, вынуждая ее пойти-таки на уступки Болгарии в Македонии. Мало того, давление это постоянно усиливалось, поскольку страны Антанты поставили своей целью во что бы то ни стало втянуть Софию в войну на своей стороне.

Сербия, таким образом, оказалась как бы между двух огней. С одной стороны, союзники требовали от нее немедленной передачи Македонии болгарам, причем с Вардарской долиной – этой единственной, как уже говорилось, удобной артерией, связывавшей страну с морем. А с другой – соглашаясь на большинство требований Италии, в отношении Ниша они ограничивались туманными обещаниями "обширных территорий и выхода на Адриатическое море"[36]. В такой ситуации позиция сербского правительства не могла не измениться. Пашич в разговоре с Трубецким заявил, что "многие в Сербии предпочтут сохранить старое, чем приобрести новое"[37]. Югославянская программа в новых условиях, как видим, начинала "трещать".

Князь Трубецкой с тревогой сообщал в Петроград об ужесточении позиции Ниша по отношению к возможным уступкам Болгарии, подчеркивая, что "теперь едва ли можно будет добиться от сербов таких уступок болгарам как прежде, и что какое-либо слишком решительное (требование. – *А.Ш.*) держав имело бы, вероятно, результатом только смену кабинетов, но не согласие"[38]. Российский посланник был прав – в воздухе действительно запахло правительственным кризисом. 4 мая престолонаследник доверительно сообщил ему, что "Пашич высказал желание при таких условиях покинуть власть". Что касается самих условий, то королевич не стал скрывать их от своего собеседника. Заметив, что он вполне разделяет единодушное "чувство оскорблен-

ного самолюбия по поводу того, что союзники не считаются с сербами", Александр Карагеоргиевич заявил, что Сербия "не заслужила такого отношения своей лояльностью, ибо со всеми нейтральными (странами. – *А.Ш.*), которые до сих пор одинаково, если не более, помогали нашим врагам, чем нам, разговаривают и позволяют торговаться за счет Сербии, и только с последней не считают нужным церемониться"[39]. Что ж, как представляется, в горьких словах молодого сербского принца содержалась немалая доля истины, ведь Сербия уже сделала свой выбор, подняв памятным летом 1914 г. брошенную Веной перчатку, и достойно подтвердила его, дважды (в августе и декабре 1914 г.) послав "в нокдаун" сильнейшего на порядок противника. С ее же соседями (в первую очередь, с Болгарией и Румынией) союзники только вели "торговлю". И разменной монетой в ней были сербская Македония для Болгарии и заселенный в значительной части сербами Банат для Румынии. Об Италии в данном контексте упоминать не стоит, о ней речь уже шла.

Тем не менее союзники не ослабляли давления – слишком велик был соблазн втянуть в войну Болгарию. По мнению официального Петрограда, "выступление Болгарии при настоящих условиях важнее вероятного ухода Пашича и возможного временного возбуждения в Сербии"[40]. Вскоре последовал очередной совместный демарш теперь уже четырех стран Антанты с требованием уступить Македонию. Пашич наотрез отказался приступить к подготовке общественного мнения своей страны с целью получить согласие на такой шаг, полагая требование союзников "неприемлемым". "Сербию распинают, в самую критическую минуту ее ампутируют"[41], – заявил он поверенному в делах России Штрандтману. И, как представляется, сербский премьер имел право на столь эмоциональное и "неполитичное" заявление, ибо какое еще у него могло сложиться впечатление, если "уступка, требуемая в пользу Болгарии вполне определенна, тогда как от Сербии дружественные державы скрывают содержание соглашения с Италией (по требованию последней. – *А.Ш.*) и не посвящают ее в переговоры с Румынией"[42].

Логичность и внутреннюю правоту непреклонной позиции Пашича признавали и некоторые высокопоставленные политики Антанты. Дэвид Ллойд Джордж, например, писал еще в феврале 1915 г. Э. Грею: "Я полагаю, что позиция сербского премьер-министра... останется неизменной. Я сомневаюсь, чтобы он мог согласиться отдать значительную часть сербской территории заранее, не получив взамен ничего определенного. Это произвело бы такое расхолаживающее впечатление на сербскую армию, что парализовало бы ее действия. Сербская армия так блестяще сражалась, что это было бы для нее несчастьем"[43]. Прав оказался будущий премьер-министр Великобритании – позиция сербского лидера так и осталась неизменной.

Когда 3 августа союзники представили Пашичу новую, Бог весть какую по счету, ноту аналогичного содержания с некоторыми, правда, нюансами, тот заявил Трубецкому, что теперь "Сербии остается бороться из последних сил не только с Австрией, но и с собственными

союзниками за защиту родной земли и кровных интересов". Выразив свою благодарность России за то, что "она все сделала, что могла", сербский премьер был тверд в главном – "требовать от нас невозможного она не может". Когда Трубецкой "обратил внимание Пашича на опасность, добиваясь всего (а речь шла о нежелании держав дать какие-либо заверения в отношении Хорватии, умолчании о словенских землях, а также о нейтрализации и того куцего участка побережья, который "выделялся" Сербии. – *А.Ш.*), ничего не получить, и на то, что сербам предстоит сделать выбор между Македонией и южным славянством", тот ответил: "Мы выбираем Македонию"[44].

В официальном ответе он, естественно, не мог пользоваться столь прямолинейным стилем. Выраженный в иной форме сербский демарш, однако, мало что менял по существу – Сербия соглашалась с уступкой Македонии при условии "формального обещания союзных держав о том, что Хорватия с городом Риекой (Фиуме) (важнейший порт на Адриатике. – *А.Ш.*) будут объединены с Сербией, что словенские земли будут освобождены и получат право на свободное самоопределение, и что к Сербии будет присоединена западная часть Баната, совершенно необходимая для обороны столицы и долины Моравы (о том, что последнее требование являлось для сербов жизненно важным, говорит тот факт, что Белград и пограничный австро-венгерский городок Земун разделяла лишь река Сава. – *А.Ш.*)". Уступка Македонии предполагалась, "как только Сербия вступит во владение обещанными ей территориями, а равно теми, которые упомянуты выше"[45].

Подобное "согласие" не могло, естественно, удовлетворить союзников, желавших получить от Сербии все и немедленно. Сербы же стояли на своем твердо, готовые скорее "с честью погибнуть, чем идти на самоубийство"[46]. Ситуация складывалась тупиковая, и она не замедлила разразиться грозой. В октябре 1915 г., после начала третьего и последнего, теперь уже совместного австро-германского вторжения в Сербию, предводительствуемого немецким фельдмаршалом Августом фон Маккензеном, Болгария вступила в войну на стороне Центральных держав и немедленно напала на Сербию. Это было жестоким поражением союзной дипломатии...

Тяжелейшее отступление сербской армии, которое народ прозвал "Сербской Голгофой", завершилось в январе 1916 г. на албанском побережье, откуда ее остатки вместе с тысячами беженцев были эвакуированы на греческий остров Корфу, ставший отныне резиденцией сербского правительства[47].

* * *

Подведем итоги.

Во-первых, как мы старались показать, программа югославянского объединения, в общих чертах разработанная сербским правительством уже в сентябре 1914 г. и впервые официально апробированная 7 декабря в Нишской декларации, носила, по крайней мере в рассматриваемый период, более геополитический, чем идеологический характер.

Она была тесно связана с "македонским вопросом". До тех пор пока у сербского руководства теплилась надежда на то, что при определении дальнейшей судьбы югославянских территорий Австро-Венгрии (и прежде всего побережья) союзники учтут интересы Сербии, оно было готово пойти навстречу настойчивым просьбам из Лондона, Парижа и Петрограда и уступить часть Вардарской Македонии Болгарии. Но как только римский кабинет выдвинул претензии практически на все Восточно-Адриатическое побережье и, что самое главное, Антанта в Лондонском договоре пошла ему навстречу, сербское правительство резко изменило ориентацию и дезавуировало свои прежние обещания. "Мы выбираем Македонию!" – стало лозунгом его новой линии, которой оно придерживалось вплоть до трагических дней октября 1915 г. Югославянская программа на время потеряла для него свою актуальность. Мотивы столь резкого поворота от готовности территориального "обмена" к ставке на сохранение статус-кво лежали опять-таки в сфере геополитики. Как писал Пашич сербским дипломатическим представителям за границей в июне 1915 г., соглашение о передаче Македонии в настоящий момент означало бы, что "для нас был бы закрыт путь в Салоники... и в этих условиях любое болгаро-итальянское соглашение легко могло бы лишить нас свободного выхода к морю и контакта с другими народами"[48].

И во-вторых, именно бескомпромиссность Италии в геополитических притязаниях, ее стремление добиться максимального их удовлетворения породили столь же бескомпромиссную позицию сербского руководства в отстаивании "своей" Македонии. "Чем больше Адриатическое море будет подпадать под Италию, тем сильнее сербы будут дорожить своей связью с Салониками"[49], – пророчески писал Г.Н. Трубецкой еще в декабре 1914 г. Политика "священного эгоизма (sacro egoismo)", провозглашенная итальянским премьером Антонио Саландрой, явилась, таким образом, одной из причин провала всех попыток союзной дипломатии привлечь Болгарию к участию в войне на стороне Антанты. О том, что это было именно так, свидетельствует тот же Трубецкой. "С своей стороны, убежден, – доносил он Сазонову, – что удовлетворение притязаний Италии на Далматинское побережье... не отвечало бы жертвам и задачам нынешней войны. Если же нам удалось бы ограничить компенсации Италии до Полы (Пулы – порта на полуострове Истрия. – *А.Ш.*) и соответственно расширить приобретения Сербии, то, несомненно, мы могли бы поставить ценой этого требование земельных уступок Болгарии"[50]. И это требование, как представляется, в конечном итоге было бы выполнено...

[1] *Писарев Ю.А.* Создание югославского государства в 1918 г.: уроки истории // Новая и новейшая история. 1992. № 1. С. 25.
[2] *Станковић Ђ.* Изазов нове историје. Београд, 1994. Књ. 2. С. 269–270.
[3] *Поповић Н.* Србија и Русија. 1914–1918. Београд, 1977. С. 309.

[4] О "Начертании" см.: *Никифоров К.В.* Сербия в середине XIX века. Начало деятельности по собиранию сербских земель. М., 1995.
[5] *Јанковић Д.* Нишка декларација (Настајање програма југословенског уједињења у Србији 1914 г.) // Историја XX века. Зборник радова. Београд, 1969. Књ. X. С. 105.
[6] *Марковић Л.* Југословенска држава и хрватско питање. Загреб, 1935. С. 9.
[7] Там же.
[8] *Екмечић М.* Стварање Југославије. Београд, 1989. Књ. 2. С. 670.
[9] *Крестић В., Љушић Р.* Програми и статути српских политичких странака до 1918 године. Београд, 1991. С. 322.
[10] *Марковић Л.* Указ. соч. С. 3.
[11] *Никола П.* Пашић (10.12.1926 – 10.12.1936). Београд, 1937. С. 247.
[12] Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и Временного правительств. 1878–1917 (далее – МОЭИ). Сер. III. М.; Л., 1933. Т. 2. С. 220 (Н.Г. Гартвиг – С.Д. Сазонову).
[13] *Шишић Ф.* Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Загреб, 1920. С. 10.
[14] *Јанковић Д.* Указ. соч. С. 105; *Казимировић В.* Никола Пашић и његово доба. 1845–1926. Београд, 1990. Књ. 2. С. 307, и т.д.
[15] *Нотович Ф.И.* Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны. М.; Л., 1947. Т. 1. С. 207.
[16] МОЭИ. Сер. III. М.; Л., 1935. Т. 6. Ч. 1. С. 18 (В.Н. Штрандтман – С.Д. Сазонову, 6 августа 1914 г.).
[17] Там же. С. 19.
[18] Цит. по: *Митровић А.* Србија у првом светском рату. Београд, 1984. С. 142.
[19] МОЭИ. Сер. III. Т. 6. Ч. 1. С. 198 (Г.Н. Трубецкой – С.Д. Сазонову, 1 сентября 1914 г.).
[20] *Трговчевић Љ.* Научници Србије и стварање Југословенске државе. 1914–1918. Београд, 1986. С. 30.
[21] *Шепић Д.* Италија, савезници и југословенско питање. 1914–1918. Загреб, 1970. С. 22–23.
[22] Цит. по: *Готлиб В.В.* Тайная дипломатия во время первой мировой войны. М., 1960. С. 462.
[23] Цит. по: *Митровић А.* Указ. соч. С. 142.
[24] МОЭИ. Сер. III. Т. 6. Ч. 1. С. 356–357.
[25] *Шепић Д.* Указ. соч. С. 93, 100.
[26] МОЭИ. Сер. III. М.; Л., 1935. Т. 6. Ч. 2. Документ 496 (Из личного послания престолонаследника Александра Карагеоргиевича Николаю II от 10 ноября 1914 г.).
[27] *Милојевић П.* О људима и чудима. Београд, 1982. С. 42.
[28] Србија 1918. године и стварање Југословенске државе. Научни скуп. Београд, 1989. С. 428.
[29] *Јанковић Д.* Указ. соч. С. 105.
[30] Цит. по: *Ллойд Джордж Д.* Военные мемуары. Т. 1–2. М., 1934. С. 280.
[31] *Нотович Ф.И.* Указ. соч. С. 439.
[32] Там же. С. 447–448.
[33] *Михайловский Г.Н.* Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914–1920. М., 1993. Кн. I. С. 99.
[34] *Сазонов С.Д.* Воспоминания. М., 1991. С. 325.
[35] МОЭИ. Сер. III. М.; Л., 1935. Т. 7. Ч. 2. С. 64 (Г.Н. Трубецкой – С.Д. Сазонову, 31 марта 1915 г.).
[36] Там же. М.; Л., 1935. Т. 8. Ч. 1. С. 14 (С.Д. Сазонов – В.Н. Штрандтману, 26 мая 1915 г.).

[37] Там же. Т. 7. Ч. 2. С. 296 (Г.Н. Трубецкой – С.Д. Сазонову, 29 апреля 1915 г.).
[38] Там же.
[39] Там же. С. 346. (Г.Н. Трубецкой – С.Д. Сазонову, 4 мая 1915 г.).
[40] Там же. Т. 8. Ч. 1. С. 57. (В.Н. Штрандтман – С.Д. Сазонову, 30 мая 1915 г.). Сазонов вполне согласился с этим мнением Штрандтмана (Там же. С. 58).
[41] Там же. С. 48 (В.Н. Штрандтман – С.Д. Сазонову, 29 мая 1915 г.).
[42] Там же. С. 126 (В.Н. Штрандтман – С.Д. Сазонову, 10 июня 1915 г.).
[43] *Ллойд Джордж Д.* Указ. соч. С. 287.
[44] МОЭИ. Сер. III. М.-Л., 1935. Т. 8. Ч. 2. С. 87 (Г.Н. Трубецкой – С.Д. Сазонову, 16 августа 1915 г.).
[45] Там же. С. 191 (Г.Н. Трубецкой – С.Д. Сазонову, 1 сентября 1915 г.).
[46] Там же. Т. 8. Ч. 1. С. 555. (В.Н. Штрандтман – С.Д. Сазонову, 4 августа 1915 г.).
[47] Обо всех перипетиях "Сербской Голгофы" см.: *Писарев Ю.А.* Сербия на Голгофе и политика великих держав. 1916 г. М., 1993.
[48] Центр хранения историко-документальных коллекций (Москва). Ф. 1385. Оп. 1. Д. 92. Л. 397 об. – 398 (Н. Пашић – М. Веснићу, 7 јун 1915 г.).
[49] Архив внешней политики Российской империи. Ф. Политархив (1914 г.). Д. 532. Л. 484.
[50] МОЭИ. Сер. III. Т. 7. Ч. 2. С. 65 (Г.Н. Трубецкой – С.Д. Сазонову, 31 марта 1915 г.).

ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ИДЕЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА И РУССКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

О.В. Соколовская

К началу XX в. идейной силой, объединявшей всех греков, был без сомнения эллинизм, получивший свое законченное идеологическое обоснование в так называемой Мегали идеа, т.е. Великой греческой идее. Она была сформулирована вскоре после создания греческого королевства и призывала всех греков, независимо от их места проживания, объединить усилия в строительстве великого греческого государства наподобие Византийской империи. Мегали идеа стала для греческой нации тем цементирующим материалом, на котором вплоть до начала первой мировой войны прочно держалась вся внутренняя и внешняя политика страны. Эллинизм так же, как и иудаизм, пережил века, несмотря на тяжкую судьбу греков, подвергавшихся гонениям и разбросанных по всему свету. Вполне естественно, что маленькое, но жизнеспособное государство, заключенное в слишком узкие для него рамки, проявляло стремление к расширению, которое являлось необходимым условием его дальнейшего самостоятельного развития. Мегалистская идеология почти безраздельно господствовала в Греции и вся бурная политическая борьба так или иначе была связана с

© О.В. Соколовская

обсуждением путей осуществления Мегали идеа. В 70-х годах XIX столетия существовала идея мирного врастания эллинизма в создание великой Греции в рамках Османской империи, которая была особенно популярна в фанариотской среде Константинополя*, где обсуждались даже планы образования дуалистической монархии наподобие Австро-Венгерской[1]. Однако политика Османской империи не оставляла никаких надежд на мирное решение вопроса. С конца XIX в., особенно после возникновения других самостоятельных балканских государств, началась, как писал российский посланник в Афинах Е.П. Демидов, "упорная, кровавая – крестом, школой и оружием – борьба национальностей, в которой протекло все царствование султана Абдул-Хамида"[2]. Соприкосновение интересов Греции с балканскими соседями, вынашивавшими планы создания Великой Сербии, Великой Болгарии, вело к изменению идеологических акцентов и ужесточению соперничества[3].

В России с беспокойством наблюдали за активностью Греции, все более откровенно "преследующей исключительно своекорыстные политические цели в ущерб истинной пользы церкви, за стремлением превратить Представителей Восточных Православных Церквей в орудие политических происков... к достижению одних лишь целей эллинизма". Беспокоило, что Константинопольская церковь, "подчиняясь внушениям, получаемым из Афин... пользуется своим духовным авторитетом лишь как орудием борьбы с православными учреждениями и населениями Востока, не желающими подчиняться эллинизации и отстаивающими свои национальные права" и свою национальную самобытность[4]. Несмотря на исторические традиции, единство веры, родственные связи между царским домом и эллинской королевской семьей, постоянную поддержку России, благодаря которой в 1829 г. было создано королевство и спасено от полного поражения в греко-турецкой войне в 1897 г., доброжелательство в решении Критской проблемы, щедрую помощь критянам и пр., в Греции все более росло раздражение против Российской империи из-за ее покровительства славянским народам Балкан и усилий по поддержанию мира на Востоке.

В 1901 г. российский посланник в Афинах барон Розен, получивший впоследствии от своих коллег-дипломатов еще один титул – "дипломатическая Кассандра", писал, что "эллинизм представляет силу, с которой необходимо считаться". Он видел значительно дальше, чем его петербургские руководители, даже такой талантливый, как министр иностранных дел В.Н. Ламздорф.

Барон Розен настойчиво призывал отказаться от охранительной политики России в отношении владений султана, еще раз провозглашенной в австро-русском соглашении в 1897 г., прекрасно видя, что вопрос о разделе Турции все равно будет поставлен на очередь, что стремление греков "естественное и потому законное, и в конце концов

* Фанариоты – представители влиятельных греческих семей, живших в стамбульском квартале Фанар, занимавшие высокие посты в турецком государственном аппарате.

неудержимое". Он предлагал лишь направить его в менее опасную для России сторону. "Стараясь же создавать преграды для этого стремления со всех сторон, – заключал он, – мы лишь укрепили бы в умах греков уже ныне составившееся убеждение, что единственный их враг – Россия". Русский дипломат призывал подумать о будущем, когда роли славянских государств и Греции в отношении России могут и поменяться, и эллинизм перестанет быть враждебен ей, как это было при Екатерине Великой и в годы греческой революции 1821–1829 гг. «Да и наша политика на Ближнем Востоке не является тем стройным, на столетия вперед определенным планом действий, – писал Розен в очередной записке в Министерство на Певческом мосту, – каким любит его себе представлять наше общественное мнение, когда речь идет о наших "исторических задачах" и о нашей "традиционной политике"»[5].

Уже в 1902 г. забил тревогу российский посол в Константинополе И.А. Зиновьев: "... Настоящее положение дел на Балканском полуострове в высшей степени серьезно и требует от нас бдительности... Революционные комитеты... домогаются не улучшения положения христиан в Турции, а автономии Македонии... Всякая новая попытка комитетов вызвать беспорядки повлечет за собой новый взрыв мусульманского фанатизма..."[6]. Начались длительные переговоры с западными державами об условиях проекта реформ в Македонских провинциях Турции. Ламздорф инструктировал Зиновьева: "Нет сомнения, что почин в каких бы то ни было предложениях по вопросам, касающимся Балканского полуострова, должен исходить исключительно от России"[7]. Быстрые успехи германизма на Балканском полуострове заставили российских дипломатов всерьез задуматься о неизбежности распада Османского колосса. Так, Н.В. Чарыков, российский посланник в Белграде, понимавший, подобно барону Розену, необходимость ломки российской политики на Балканах, сообщал: "Германское правительство старается, в согласии с Австро-Венгрией, пользоваться слабостью Турции и подчинением ее германскому влиянию, чтобы отнять у России первенствующую роль в деле преобразований в Македонских вилайетах и придать реформам неблагоприятное для местных славян направление"[8]. Мнение Чарыкова полностью разделял посланник России в Софии Бахметев, который соглашался, что "турецкая администрация" сделалась угрозой для мира, и вслед за Нелидовым, посланником в Париже, замечал, "что, каковы бы ни были замыслы мелких балканских государств, это брожение в Турции происходит непосредственно от крайне неудовлетворительного положения христиан и что устранить это брожение возможно только изменением основных условий существования этих стран, а это может быть достигнуто "только помимо турецкой администрации..."[9].

В Российском МИД все более прислушивались к голосу посланника России в Белграде Н. Чарыкова, полагавшего, "что разрешение македонского вопроса находится в тесной связи с разрешением более общего вопроса о будущем Оттоманской империи". По мнению Н. Чарыкова, "имеются основания полагать, что державы более и более склоняются к разрешению этого последнего вопроса в том направлении, которое вместе с тем является... и наиболее соответствующим интересам России, а именно – к разделу Европейской Турции между балканскими государствами, при условии поддержания между ними возможного политического равновесия". Обеспечение стратегических и экономических интересов великих держав на Балканах, считал он, могло бы быть при этом достигнуто путем заключения особого предварительного соглашения между ними[10].

Распределение территорий Европейской Турции между балканскими государствами, по словам Чарыкова, возможно на нижеследующих основаниях: "Сербы могли бы получить давно желаемый ими выход к морю по линии Белград–Ниш–Ристовац–Ускюб–Салоники, заняв расположенные по указанной линии части турецкой территории. К Болгарии отошли бы вся нынешняя турецкая территория к югу и востоку от границы Княжества, как она имелась в виду Сан-Стефанским договором, а также и Халкидонский полуостров, причем Афонский монастырь был бы подчинен непосредственно Константинопольской администрации. Греция получила бы южную часть Македонии между вновь установленной болгарской границей и Янинским вилайетом. Из последнего вместе со Скутарийским вилайетом могло бы быть образовано отдельное Албанское государство, о создании которого упоминается в недавнем Австро-итальянском соглашении. С распределением таким образом между балканскими государствами территорий Европейской Турции могло бы окончательно состояться присоединение к Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины. Таковой исход вряд ли встретил бы возражения со стороны Сербии в случае получения ею вышеуказанных земельных приращений и выхода к морю"[11].

Революционное движение в Македонии тем временем нарастало, множилось число воюющих между собой отрядов, особенно болгарских и греческих. Руководители эллинского движения в Македонии во главе с духовенством обращались к Вселенскому патриарху с требованием "безотлагательно доставить более могущественное оружие для успешной борьбы с двумя нашими врагами: славянами и румынами". "Иначе, – писал 13 мая 1904 г. Битольский греческий митрополит Вселенскому патриарху, – все здесь безвозвратно погибнет для нас"[12]. Особенно испугала греков самостоятельная позиция куцо-влахов, которые до сих пор считались верными их союзниками. Еще громче зазвучали голоса, призывавшие к борьбе против славянства в Македонии.

Русский посланник в Константинополе Зиновьев крайне болезненно реагировал на подобную славянофобию, усматривая в ней прежде всего ущемление интересов России, оскорбление ее неотъемлемого права быть покровительницей славянства и поборницей православия. Он считал своим долгом говорить об этом открыто.

Греки не пытались оправдываться, более того, на одной из конференций Лиги для защиты прав эллинизма в Афинах говорилось о "неразрывных узах, связывавших Греческую церковь с эллинизмом". Греческой называлась в докладах Вселенская церковь. Профессор из Сорбонны Г. Диль доказывал восторженным слушателям, что

Вселенский патриарх есть истинный глава греческой национальности и высший носитель народной греческой идеи, и что по своей деятельности Константинопольская церковь является "более греческой, более национальною, чем клерикальною", так как "всю свою энергию, все существование она посвятила служению народной идее и, быть может, об эллинизме заботилась более, чем о самой религии"[13].

Не меньшую тревогу вызывала в России деятельность болгарских революционных комитетов в Македонии, и требования прекратить помощь им со стороны Княжества сыпались на правительство Болгарии одно за другим. В свою очередь греческая пропаганда поднимала шум о том, что Россия оказывает поддержку болгарским и сербским революционным силам, что не соответствовало действительности.

В Македонии было создано и успешно действовало российское Гражданское агентство, следившее за правильностью проведения реформ и за истинным положением вещей во всех македонских провинциях. В инструкциях для русских офицеров, служивших в Македонии, постоянно подчеркивалась необходимость "выказывать желание их покровительствовать всем христианам одинаково, без различия вероисповедания", и ни в коем случае не давать повода грекам уличить их в предпочтении в покровительстве болгарам (экзархистам) перед греками (патриархистами)[14].

Российское правительство не раз обращалось к Греции и к славянским народам, осуждая всякие попытки к насильственному изменению существующего на Балканском полуострове порядка вещей, напоминало, что они все обязаны России своей свободой и самостоятельностью и грозило им "утратой нравственной и материальной поддержки". Обращалось внимание также на тот факт, что "всякое несогласие в среде православных элементов создает благоприятную почву для развития иноверной пропаганды, принявшей уже ...значительные размеры"[15].

Восстание Военной лиги в Греции в 1909–1910 гг. и приход к власти одного из наиболее мудрых государственных деятелей периода новой истории страны, Э. Венизелоса, во многом изменили политику Греции на Балканах вообще и в македонском вопросе в частности. Венизелосу удалось прежде всего ослабить вражду между Вселенской патриархией и Болгарским экзархатом и в целом греко-болгарскую напряженность, что имело громадное политическое значение. Русские дипломаты с удовлетворением писали: "Не подлежит сомнению ...что примирение это изменило бы коренным образом взаимное отношение национальных сил на Балканском полуострове вообще и, в частности, в Македонии, на пользу интересам православия и России"[16]. К началу XX в. никаких иллюзий в отношении мирного пути освобождения собратьев из-под турецкого гнета, особенно после событий в Македонии, ни у кого не оставалось. Сокрушительное поражение Греции в греко-турецкой войне 1897 г. заставило греков трезво оценить свой военный потенциал и приступить к реорганизации не только армии и флота, но и всей государственной и экономической жизни, которая и была проведена под руководством премьер-министра Венизелоса. В согласии с Георгом I он

сумел в кратчайший срок вывести страну из глубокого духовного и политического кризиса и объединить практически все слои греческого общества в борьбе за идеалы эллинизма[17].

Занятость великих держав сколачиванием новых военно-политических блоков и раскол Европы способствовали тому, что балканские государства ощутили возможность большей свободы политических маневров и превращения в субъект международных отношений. Внезапно обрушившаяся война Италии с Турцией в 1911 г. послужила как бы толчком, выведшим из состояния неустойчивого равновесия целый ряд элементов внутренней и внешней жизни Османской империи. На Балканах это движение выразилось в оживлении и ускорении процесса сближения между различными христианскими национальностями империи на почве защиты своих церковно-политических и экономических интересов "на случай нападения со стороны Турции или ее распада". Турция посчитала виновником движения Россию, однако пообещала открыть Дарданеллы, которые были закрыты на время военных действий, из-за чего страдала русская экспортная торговля и экономика Юга России, а русская казна не досчиталась огромных сумм[18]. После многих сомнений Россия взяла на себя почин поддержки балканских государств в защите их законных прав перед Турцией, давая одновременно назойливые советы благоразумия и терпения балканским руководителям, готовым к вооруженной борьбе, убеждая, что Россия, «хлопоча о "Балканском союзе", имела в виду мирную солидарность балканских государств»[19]. Огромным сдерживающим фактором для России всегда было то, что любые военные действия в проливах грозили ей огромными убытками, так как на иностранных, а в основном на греческих судах уходило из портов Черного и Азовского морей три четверти вывоза русского хлеба – основной статьи ее экспорта. Призывы России к европейским великим державам приложить усилия, чтобы положить конец войне из-за Триполитании прежде, чем разгорится пожар на Балканах, не дали результата. Вернувшись домой из турне по европейским столицам, министр иностранных дел России С.Д. Сазонов писал: "Все действия Англии ныне подчинены одной главной заботе: не направлять на себя неудовольствия мусульманского мира, ввиду необходимости для обеспечения своего владычества в Индии опираться там на магометанскую часть населения. Отсюда ее кажущееся равнодушие к судьбе подвластных Турции христиан..."[20] Россия посчитала невозможным поддержать предложение Англии прибегнуть к силе против христиан Крита, среди которых усилились антитурецкие настроения, и установить блокаду, чтобы прекратить сношения острова с Грецией, и предложила "предоставить остров его собственной судьбе"[21], что решило судьбу Крита в пользу Греции.

Начавшийся в октябре 1913 г. "турецко-балканский поединок" был назван российским посланником в Афинах Е.П. Демидовым "каким-то несовременным крестовым походом против неверных". Он воздавал должное "удивительному чувству солидарности и патриотизма", проявленному греками в этой войне. Со всех концов земного шара в Афины ежедневно прибывало множество греков-добровольцев, "покинувших

свои занятия и заработок для защиты отечества". "С убежденным всеобщим подъемом несомненно придется Европе считаться и было бы ...крупною ошибкою игнорировать его нравственную силу или умалять его значение", – писал посланник в Пстербург. Он призывал руководство России воспользоваться создавшимися совершенно новыми условиями на Балканах и направить их в выгодном направлении[22]. Россия оказала многостороннюю помощь воюющим балканским государствам, в том числе грекам. Но самой большой поддержкой была дипломатическая: согласие на передачу Греции многочисленных островов, в том числе Лемноса, Имброса, Тенедоса и Самофракии[23]. Поощряя Россию к оказанию помощи, Венизелос в беседе с российским посланником не раз говорил о будущем тесном единении Греции с великой православной Россией, от чего, по его словам, "зависело и все будущее развитие разрастающейся Греции", высказывал убеждение, что "Россия по необходимости должна обладать ключом от своего дома – Константинополем и через проливы подать руку своей младшей сестре – Греции"[24]. Его беспокоило то, что болгары получат вскоре широкий доступ к открытому морю, а Турция обладает всем Малоазиатским побережьем. Поэтому он призывал как можно скорее приступить к осуществлению этой российско-греческой задачи. "Установившиеся с Грецией новые доверчивые отношения не вызывают сомнения в том, что, чем больше достанется ей побережья, тем для нас выгоднее, не говоря уже о нежелательности... нареканий со стороны" не освобожденного "греческого населения", – говорил Демидов[25].

Греческие деятели теперь заявляли, "что политика, вдохновленная Православием, под высшим покровительством России, должна явиться заметным стремлением всякого здравомыслящего грека". После заключения мира задача греческого правительства, по словам министра иностранных дел Греции Коромиласа, будет состоять в том, чтобы не затруднять деятельность России, которой опять пришлось бы поневоле колебаться в ее содействии тому или другому балканскому государству. "Отныне все они должны пользоваться равными симпатиями России, причем ей легко будет в скором времени выяснить, кто настоящие ее друзья", – утверждал министр. Чрезмерное усиление Болгарии, по его мнению, не могло отвечать ничьим интересам, в том числе России, которая всегда заботилась об установлении прочного балканского равновесия[26].

По мере успешного хода войны аппетиты греков, как сообщал посланник и показывала пресса, постепенно разыгрывались, и многие депутаты уже стали обвинять Венизелоса в недостатке патриотизма. На это Е.П. Демидов остроумно замечал: "Человека, поднесшего грекам луну, обвиняют в том, что он не поднес им и солнца, что, впрочем, еще не исключено"[27]. Это было пророческое замечание! Болгарские требования в Восточной Македонии и укрепление ее военной мощи вызывали у Венизелоса серьезное беспокойство. Более всего он опасался "задержек в миротворческой деятельности Европы"[28]. Поскольку Англия и Франция всячески уклонялись от участия в арбитраже, он просил дипломатов России и Германии взять на себя эту

роль. Обсуждая условия Лондонского мирного договора, Демидов писал в Петербург:"... Греческие притязания не столь чрезмерны, а даже весьма, – ради идеи Венизелоса о дальнейшем сохранении союза, – умеренные, ибо завоевание занятой ими ныне доли полуострова они начали уже с давних пор и потратили на нее огромное количество духовных, культурных и материальных средств, не говоря о бесчисленном множестве человеческих жизней". К его донесению прилагалась карта, где были обозначены многочисленные греческие школы и церкви в этих районах[29]. Лондонским договором от 30 мая 1913 г. завершилась 1-я Балканская война, а уже через несколько месяцев стремление Болгарии обеспечить себе более благоприятное стратегическое положение толкнуло ее на военные действия в Македонии, разрушив тем самым Балканский союз. Малочисленные греческие отряды в Пангеоне, Негрите, Гевгели и других районах греческой части Македонии, подвергшихся болгарскому нападению, оказались не в силах оказать им сопротивление и отступили к окрестностям Салоник, оставив в руках болгар почти все земли, которые по недавнему взаимному соглашению составляли бесспорную зону греческой оккупации. Сербы также оказались застигнутыми врасплох[30]. Болгария надеялась заполучить почти всю Македонию и район Салоник. Неповоротливая дипломатическая служба России пыталась уговорить болгар и греков разрешить спорные вопросы мирным путем, но кроме раздражения ничего ни в Софии, ни в Афинах не добилась, а тем временем греческие войска ринулись в бой и провели первое победоносное сражение при Килкисе, положившее начало успешному вытеснению ими болгар с территории Македонии. В декларации греческого правительства говорилось: "Мы поставлены ныне перед необходимостью принять военный вызов, который состоялся без всякого предварительного объявления: но мы имеем твердую веру в святость борьбы, в ее справедливость и неизбежность, ибо мы боремся не для того, чтобы завоевывать чужие территории, а для сохранения того, что нам принадлежит"[31]. Даже русофильски настроенная греческая вдовствующая королева эллинов Ольга, урожденная вел. кн. Ольга Константиновна Романова, писала в личном послании сразу после 2-ой Балканской войны: "Ни жадности, ни шовинизма не было с греческой стороны, а самозащита и защита соплеменников, освобождение их от ига, несравненно худшего турецкого"[32].

Обсуждение условий Бухарестского мирного договора 1913 г. поставило перед Россией задачу пересмотра всей ее прежней балканской политики, и она с ней не сумела справиться. Поддержка вслед за Австрией притязаний Болгарии на Кавалу практически навсегда лишила русско-греческие отношения той взаимной теплоты и искренности, какими они отличались в годы Греческой революции и в период 1-й Балканской войны. Желая оставаться покровительницей православия на Востоке, она не доглядела за "рыцарскими" выступлениями императора Вильгельма в пользу Греции, которые усилили германофильское влияние афинского двора и "преувеличенного греческого шовиниста" – Коромиласа, "который несомненно восстановил бы против

Греции общественное мнение Европы, не будь сильного сдерживающего элемента в лице г-на Венизелоса"[33]. Бухарестский мир стал для греков их триумфом, который они, "опьяненные льстивыми приемами могущественной монархии (германской. – *О.С.*) и ловким, дешевым заступничеством ее", готовы были приписать одной Германии. Получив богатые земли Южной Македонии, включая "лучший европейский порт на Эгейском море" – Салоники, часть Западной Фракии с Кавалой, Драмой, Серре, Южным Эпиром с г. Янина и большинство островов в Эгейском море, а затем и Крит, Греция увеличила свою территорию и население почти в два раза. Восторженная встреча короля Константина в Афинах в день подписания Бухарестского мира превратилась в национальный праздник. По всему пути следования его кортежа не смолкало "зито" восторженной толпы. На главных площадях были расставлены захваченные у турок и болгар пушки, и весь город был разукрашен триумфальными арками, на которых выделялись названия завоеванных областей. На здании парламента красовался византийский орел. Демидов писал далее об истерическом восторге, которым был окружен в этот день король: «Толпа раненых, выписанных из госпиталей, поджидала его на всех перекрестках и ринулась за автомобилем, чуть не поднимая его на руках, и кричала" Бери нас, веди нас куда хочешь, мы твои"»[34].

Однако уже вскоре после подписания мира, как писал Е.П. Демидов, "аппетиты греков... сильно разыгрались. И самые крупные приобретения им покажутся недостаточными". Сбывалось его же пророчество о том, что скоро им понадобится не только луна, но и солнце. Даже мудрый умеренный Венизелос в разговоре с друзьями, состоявшемся после подписания мира, воскликнул: "А теперь обратим наши взоры на Восток!", о чем немедленно стало известно журналистам. Русскую дипломатию не могло не беспокоить также, что в статьях, появившихся сразу после Бухарестского триумфа в наиболее шовинистических изданиях и перепечатанных вскоре многими более умеренными газетами, высказывалась надежда, – как сообщал поверенный в делах в Афинах в МИД России, что греко-германские отношения не ограничатся одними родственными узами, что «Греция под покровительством Германии найдет защиту против общей опасности "распространения славянства"»[35]. Демидов, стараясь нейтрализовать умелую подпольную деятельность "Германии по проникновению в Грецию", убеждал греков, что Россия руководствовалась в своей политике лишь желанием обезопасить ее от новых осложнений в будущем. В личных беседах с греческими руководителями он утверждал, "что едва ли в интересах Греции лишиться поддержки России, столь упорно и бескорыстно ее оберегавшей в продолжение всего балканского кризиса и могущественное влияние коей может еще оказать Греции, при разрешении многочисленных вопросов, остающихся еще открытыми, неоценимые услуги"[36]. "Бесспорно одно, – доносил, однако, Е.П. Демидов в Петербург, – что непоправимые и преступные ошибки Болгарии создали нам положение, где волей-неволей приходится открыто препятствовать чрезмерному развитию эллинизма, успешно распространявшегося как масляное пятно по всему побережью Эгейского моря и тем самым восстанавливать против нас, во вред новым прекрасным взаимоотношениям, Грецию, легко усматривающую в нашем действии стремление во что бы то ни стало, Through thick and thin, поддержать утерянные войной притязания Болгарии"[37]. Накануне мировой войны, дыхание которой с каждым днем ощущалось все более и более, в стране активизировались английская и французская дипломатия.

Уже к началу 2-й Балканской войны стало очевидным, что влияние Франции и Англии в греческих делах значительно возрастает, и, несмотря на то, что Венизелос, успешно лавируя между двумя европейскими военно-политическими блоками, вел переговоры о румыно-греко-турецком альянсе под эгидой Германии, его проантантовские симпатии были очевидны. В декабре 1913 г. в Грецию пришли французская и английская эскадры. "В приеме, оказанном Грецией морякам Англии и Франции, – сообщил российский посланник Е.П. Демидов, – отражалось упование на их поддержку в вопросах, исход коих зависит от дипломатической тяжбы по их поводу между обеими группировками великих держав"[38]. Связующим звеном между Грецией и Антантой была, без сомнения, Англия. В ходе месячного турне по европейским столицам, предпринятого Венизелосом в самом начале 1914 г., во время которого он собирался выяснить "путем личных свиданий с государственными деятелями подлинное отношение держав к интересам Греции"[39], им было сделано 21 января предложение заключить англо-греческий союз с целью сохранения статус-кво в Средиземноморье. Англия сочла предложение несвоевременным, но, вынашивая идею превращения греческого флота во вспомогательную силу британского военно-морского присутствия в Средиземноморье[40], прислала в Грецию миссию во главе с адмиралом Марком Керром[41]. В Петербурге Венизелосу был оказан весьма радушный прием, но также было сделано все, чтобы избежать возможности заключения какой-либо военно-морской конвенции[42]. По мнению министра иностранных дел России С.Д. Сазонова, "заключение с Грецией каких-либо обязательств, связывающих Россию, повлекло бы несомненно за собою принятие нами на себя гарантии новых территориальных приобретений Греции". Это могло, по его мнению, лишь вызвать усиление авантюристической политики Болгарии. Тем не менее и Венизелоса, и сопровождавших его в поездке помощников, Какламаноса и Антонаки, наградили русскими орденами. Со своей стороны Венизелос, будучи в Петербурге, внушал российским политическим деятелям мысль о том, что Греция стремится прежде всего к тому, чтобы удержать уже приобретенное и что "Греция считала бы себя вполне удовлетворенной, если бы к моменту окончания великого мирового конфликта ее теперешние владения остались бы нетронутыми"[43]. Он настаивал на необходимости "установления наилучших отношений с балканскими государствами для многолетней мирной внутренней работы и для политического и экономического развития завоеванных областей". Венизелос заверял, что греческое правительство готово поступиться своими вожделениями в Южной Албании взамен получения занятых

Грецией островов. Греческий премьер посетил за время турне Рим, Париж, Лондон, Берлин, Вену, Петербург, Бухарест и Белград и, произведя почти везде впечатление человека здравого ума, умеренных взглядов, получил во всех столицах устные гарантии неприкосновенности условий Бухарестского мира и даже выторговал некоторое улучшение его в пользу Греции.

Российское правительство тем не менее высказало серьезную озабоченность по поводу проводимой Грецией политики эллинизации славянского населения во вновь приобретенных областях, "проникнутой духом шовинизма", и просило избегать "всякого противопоставления славянства эллинизму"[44]. Если в вопросах албано-греческого разграничения и греко-турецких споров об островах Эгейского моря первую скрипку играли западные державы, то российская дипломатия сосредоточила свое внимание на миротворческой роли в восстановлении греко-болгарских отношений, которые представлялись ей не менее важным фактором сохранения мира на Балканах. Венизелос также считал их возобновление необходимым.

Территориальные разграничения между Грецией и Болгарией проходили в исключительно тяжелых условиях. Нередко дело доходило до кровавых столкновений. Политика Греции в новых областях, факты "об ужасающих гонениях и истязаниях, коим подвергались греческие мирные жители со стороны болгарских четников и регулярных войск с офицерами во главе"[45] делали эту миссию чрезвычайно важной и трудной одновременно. Греко-болгарские отношения, как писал С. Урусов, "были проникнуты столь нескрываемой ненавистью, что трудно было себе представить, как возобновятся нормальные дипломатические отношения"[46]. Вплоть до начала первой мировой войны Россия боролась за урегулирование греко-болгарских отношений, выдвигая различные планы обмена военнопленными, политического и экономического сотрудничества.

Резкое обострение греко-турецких отношений весной 1914 г. и возможность возникновения войны между ними создавали в очередной раз угрозу безопасности юга России и ее хлебного вывоза через Черноморские порты, который на 60% обслуживался греческими торговыми судами. Непрочность общего политического положения в Европе, неустойчивая ситуация на Балканах и возможность в недалеком будущем окончательного распада Османской империи заставляли Россию хлопотать об обеспечении своих прав и интересов в Малой Азии, и прежде всего выдвигался пресловутый вопрос о проливах. Во всеподданнейшем докладе российскому императору Николаю II Сазонов писал еще в декабре 1913 г., что Россия "не может допустить разрешения вопроса вопреки своим интересам", что проливы в руках сильного государства – это значит полное подчинение экономического развития всего юга России этому государству. Кто "завладеет проливами, получит в свои руки не только ключи морей Черного и Средиземного", писал министр, но "будет иметь ключи для поступательного движения в Малую Азию и гегемонии на Балканах". Слабость военной и морской силы на Черном море диктовала России необходимость

делать все возможное, чтобы оттянуть неизбежную развязку. Поэтому министр иностранных дел обращался к Николаю II с призывом не только готовиться к возможным операциям в проливах, но активнее участвовать в балканских делах, так как "предоставленные сами себе балканские государства неизбежно обречены на междоусобия, которые могут быть предотвращены только присутствием России как руководящей активной силы". Он призывал царя подумать обо всех этих условиях не отвлеченно как то водилось, и без увлечения миссией России, но позаботиться о ее завтрашнем дне, активизировать подготовку к неизбежной войне, "дабы не оправдать столь часто делаемого упрека в том, будто русский государственный корабль плывет по ветру и относится течением без твердого руля, направляющего его путь"[47]. Слабые попытки русской дипломатии вернуть свой былой авторитет на Балканах не были подкреплены ее четкой политической линией и военной мощью. Начавшаяся мировая война, названная Великой и стоившая России невероятных усилий, политические события внутри страны и многие другие факторы отодвинули греческие вопросы на второй план и даже великогреческие мечтания не могли вызвать серьезного беспокойства у российского правительства, которое уступило пальму первенства в греческих делах своим союзникам по Антанте.

[1] *Jelavich Ch. and B.* The Establishment of the Balkan National States, 1804–1920. Wash., 1977.

[2] Архив внешней политики Российской империи (далее АВПРИ). Ф. Политархив. 1913. Оп. 482. Д. 332. Л. 32.

[3] См. статью: *Никитина Т.В., Соколовская О.В.* Социально-политический кризис и "Великий бросок" в Греции в 1909–1912 гг. // Балканские исследования. М., 1993. Вып. 12. Реформы и революции на Балканах; *Dakin D.* The Diplomacy of the Great Powers and the Balkan States 1908–1914 // Balkan Studies. (1962). 3. N 2.

[4] АВПРИ. Ф. Политархив. 1901. Оп. 482. Д. 3532. Л. 122–124; Ф. Миссия в Афинах. 1903. Оп. 507. Д. 1342. Л. 6 об.

[5] Там же. Ф. Политархив. 1901. Оп. 482. Д. 3532. Л. 46, 46 об., 65–67.

[6] Там же. 1902. Оп. 482. Д. 2629. Л. 21 об.

[7] Там же.

[8] Там же. 1903. Оп. 482. Д. 2633. Л. 38.

[9] Там же. 1902. Оп. 482. Д. 2629. Л. 269.

[10] Там же. 1903. Оп. 482. Д. 2633. Л. 37.

[11] Там же. Л. 37 об.

[12] Там же. Ф. Гражданское агентство в Македонии. 1904–1909. Оп. 631. Д. 14. Л. 27.

[13] Там же. Ф. Политархив 1907–1908. Оп. 482. Д. 3549. Л. 12.

[14] Там же. Ф. Гражданское агентство в Македонии. Оп. 631. Д. 41. Л. 191–191 об.

[15] Правительственный вестник. 1902. 31 нояб. № 260.

[16] АВПРИ. Ф. Политархив. 1910. Оп. 482. Д. 3551. Л. 78 об., 79.

[17] Там же. 1910–1911. Оп. 482. Д. 3552. Л. 7, 7 об.

[18] Там же. Л. 9 об.

[19] Международные отношения в эпоху империализма. М., 1939. Сер. III. Т. 20. Ч. 11. Док. 683. Л. 209.

[20] Там же. Док. 1034. Л. 463.
[21] Там же. Док. 1020. Л. 447.
[22] АВПРИ. Ф. Политархив. 1912. Оп. 482. Д. 330. Л. 215.
[23] Там же. Л. 296.
[24] Там же. 1913. Оп. 482. Д. 332. Л. 52 об.
[25] Там же. Л. 160 об.
[26] Там же. Л. 161.
[27] Там же. Л. 58 об.
[28] Там же. Л. 277 об.
[29] Там же. Л. 32.
[30] Там же. Л. 301 об.
[31] Там же. Л. 303 об.
[32] Государственный архив Российской федерации. Ф. 686. Оп. 1. Д. 62. Л. 53.
[33] АВПРИ. Ф. Политархив. 1913. Оп. 482. Д. 332. Л. 308 об.
[34] Там же. Л. 395 об. – 396.
[35] Там же. Л. 59 об., 380–381.
[36] Там же. Л. 334 об., 339 об.
[37] Там же. Л. 330 об., 403.
[38] Там же. Л. 403 об.
[39] Там же. Л. 473 об.
[40] Там же. Д. 1774. Л. 74, 80.
[41] *Leon G.B.* Greece and the Central Powers, 1913–1914. The Origins of the National Schism // Sudost–Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Sudosteuropas begrundet von Fritz Valjavec. Munchen, Band XXXIX, 1980. P. 121.
[42] АВПРИ. Ф. Секретный архив. Оп. 467. Д. 772/781. Л. 2–3.
[43] Там же. Ф. Канцелярия. 1913–1914. Оп. 470. Д. 3818 б. Л. 186.
[44] Там же. 1914. Оп. 470. Д. 26. Л. 5–5 об.
[45] Там же. Л. 7 об., 9.
[46] Там же. Ф. Политархив. 1913. Оп. 482. Д. 332. Л. 444 об.
[47] Там же. 1914. Оп. 482. Д. 134. Л. 73–78.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И КОЛОНИАЛЬНЫЙ МИР: РЕТРОСПЕКТИВА С УЧЕТОМ ЭТНОФАКТОРА

А.М. Пегушев

Исследователи разных историографических школ и направлений едины в том, что одной из важных причин первой мировой войны было колониальное соперничество между капиталистическими державами. В отечественной же историографии недавнего прошлого причины этой войны напрямую выводились из известной ленинской концепции империализма, его тезиса о борьбе за передел мира между "старыми" и "новыми" колониальными державами[1], за расширение сфер влияния,

© А.М. Пегушев

за подчинение так называемых полуколоний – Турции, Ирана, Китая. За этим тезисом – как ни относиться к ленинской концепции империализма в целом – стояли исторические реалии.

Действительно, колониальные противоречия и борьба за передел мира во многом предопределили развитие глобального военного конфликта. Его предвестником были русско-японская и англо-бурская войны, марокканские кризисы, другие проявления колониального соперничества в разных частях мира (на Балканах, вокруг Багдадской железной дороги, в Китае, в бассейнах Индийского и Тихого океанов, в Африке и т.д.). И все же колониальный мир как таковой оказался на периферии всемирной трагедии 1914–1918 гг., ее эпицентр пришелся на Европу.

Ход первой мировой войны в колониальном мире, в частности в Африке и на Востоке, достаточно подробно описан, в том числе и в отечественной литературе[2]. Здесь боевые действия велись в гораздо менее значительных, по сравнению с Европой, масштабах и в основном на территории германских колониальных владений в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. Самые серьезные столкновения в Африке между враждующими сторонами происходили на территории Германской Восточной Африки. Несмотря на британскую блокаду с моря, сделавшую невозможной поставку подкреплений, оружия и боеприпасов из Германии, немецкие власти сумели в короткий срок создать на территории своей колонии сеть лагерей по обучению рекрутов и большое количество мелких предприятий, работавших на нужды колониальных войск. В общей сложности в военные годы в колониальные войска были призваны свыше 15 тыс. африканцев[3]. Руководимые энергичным генералом Леттов-Форбеком, они вплоть до ноября 1918 г. успешно противостояли численно превосходящим силам англичан[4].

Более заметным было непосредственное участие колониальных войск в боевых действиях в Европе и на Ближнем Востоке. Здесь воевали весьма значительные соединения, состоявшие из мобилизованных и завербованных солдат из Африки, стран Востока, а также из "белых" британских доминионов Канады и Австралии. В частности, на последнем этапе войны в рядах французской армии насчитывалось свыше 500 тыс. солдат (африканцев, арабов и др.) из Французской Западной Африки, Мадагаскара, Алжира, Туниса; часть из них вошла в состав французских оккупационных корпусов в Рейнской области и в России. Британские колониальные войска (из Африки, Индии, Бирмы) воевали в Европе и на Ближнем Востоке, белые контингенты из Канады, Австралии и Южной Африки – в Европе. Кроме того, многие сотни тысяч жителей колоний (британских, французских, германских) были мобилизованы в так называемые вспомогательные части (носильщики, трудовые и "верблюжьи" корпуса, рабочие на строительстве дорог и т.д.). Только в Египте таких мобилизованных насчитывалось до 1,5 млн. человек[5]. Часть африканских и цветных рабочих использовалась на строительных и портовых работах во Франции и других европейских странах.

Первая мировая война оказала многоплановое воздействие на коло-

ниальный мир, стала важным, хотя еще не всегда в полной мере и корректно оцениваемым фактором его последующего развития. Колониальный мир конца XIX – начала XX в. не был одномерным, колониальные владения заметно различались по форме правления (например, доминионы, протектораты и коронные колонии в Британской империи), уровню социально-экономического и общественно-политического развития, этнонациональному составу населения. Эти различия в известной мере предопределили степень вовлеченности каждого колониального владения в войну, характер и глубину перемен, происходивших под ее воздействием в разных частях мира.

В этой связи возникают вопросы, касающиеся теоретических аспектов рассматриваемой темы. Напомним, что вплоть до недавнего времени отечественные исследования по первой мировой войне и по истории колониального мира в предвоенные, военные и послевоенные годы базировались на формационной теории и регламентировались ее производной – пятичленной всемирно-исторической периодизацией. Война рассматривалась в жесткой "связке" с Октябрьской революцией, которая, в свою очередь, определялась как рубеж между двумя историческими эпохами. Сегодня Октябрьская революция в таком качестве не упоминается, но последовавший за ней более чем семидесятилетний период отечественной истории еще не получил адекватного научного определения. Необходимо, очевидно, внести коррективы и в оценку первой мировой войны и Октябрьской революции как рубежных событий XX в., ведь даже с точки зрения формационной теории неясно, между какими историческими эпохами эти события были рубежом.

Нуждается также в уточнении и вопрос о роли первой мировой войны в истории бывших колониальных стран Востока и Африки, месте войны в региональных и страновых периодизациях Востока и Африки. Недавно распространенные оценки развития колониального мира после Октября и первой мировой войны, в которых фигурировали такие положения, как общий кризис капитализма и его колониальной системы, прорыв мирового империализма в 1917 г. и т.д., сложились в русле формационного подхода. Вряд ли можно считать эти события эпохальным водоразделом в истории всех колониальных, так называемых полуколониальных и зависимых стран. Сказанное не противоречит очевидному факту глубокого и многопланового воздействия первой мировой войны на общественно-политическое и экономическое развитие колониального мира, особенно на те его регионы, которые в разной форме оказались наиболее затронутыми войной.

Какое место занимает первая мировая война в периодизации истории бывшего колониального мира? Обратимся к африканской истории. Проецирование на ее живую ткань периодизации, основанной на формационной модели (даже в ее модифицированном варианте), невозможно. Понятия "новая и новейшая история", привычные для отечественных исследователей, к африканской истории, строго говоря, трудно применимы. Среди существующих ныне зарубежных и отечественных вариантов периодизации истории Африки распространено ее условное деление на доколониальную, колониальную и постколониальную эпохи.

В таком варианте первая мировая война рассматривается лишь как один из внутренних рубежей колониальной эпохи, как время окончательного колониального раздела континента. В многотомной "Всеобщей истории Африки" (издание ЮНЕСКО), авторы которой руководствуются так называемым цивилизационным подходом к истории и используют различные системы периодизации, первая мировая война как раз и названа таким рубежом в историческом периоде 1880–1935 гг. Его внешние границы – 80-е годы XIX в. – обозначают начало колониального раздела Африки, а 1935 г. – начало итало-эфиопской войны, завершившейся колониальным подчинением независимой Эфиопии[6].

Некоторые африканские исследователи отвергают и такое деление истории Африки как европоцентристское, выдвигая на передний план роль внутренних факторов, которые, на их взгляд, всегда определяли "движение" африканской истории. В такой интерпретации колониализм был лишь ее эпизодом[7], а первая мировая война имела для судеб Африки меньшее значение, чем многие доколониальные внутренние войны. Подобная точка зрения является реакцией на европоцентристский подход к истории Африки, в течение десятилетий действительно преобладавший в зарубежной африканистике.

В отечественной историографии в последние годы заметен интерес к теме "Колониальный мир и первая мировая война", включая такой ее аспект, как место войны в истории колониального мира[8]. Достойную внимания попытку исследовать эту тему в контексте всемирной истории на основе новой, отличающейся от традиционной марксистской, периодизации всемирного исторического процесса предпринял, в частности, известный отечественный ученый И.М. Дьяконов[9]. Разделив историю человечества на восемь главных фаз (первобытная, первобытно-общинная, ранняя древность, имперская древность, средневековье, абсолютистское постсредневековье, капиталистическая и посткапиталистическая), И.М. Дьяконов определил мировые войны XX века как "неизбежный исход естественного развития капиталистического производства седьмой (т.е. капиталистической. – *А.П.*) фазы"[10]. Следуя этой логике, наиболее ощутимое воздействие первая мировая война должна была оказать на страны, находившиеся на ранних стадиях развития (или становления) капиталистического производства и в разных формах наиболее вовлеченные в войну. Прежде всего к числу таких стран следовало бы отнести бывшие владения распавшейся Османской империи, включая Египет, а также Индию, белые британские доминионы, страны Магриба. Факт глубокого влияния первой мировой войны на историческое развитие колониального мира – об этом уже говорилось – подтверждается многими отечественными и зарубежными исследованиями по Востоку и Африке, однако характер и последствия этого воздействия оцениваются по-разному. Механизм вовлечения колониальных и зависимых стран в мировое капиталистическое хозяйство в межвоенный период изучен[11]. В отдельных частях колониального мира этот процесс начался еще в первой половине XIX – начале XX в. Он был заметен в таких "старых" колониях, как Индия, Индонезия, в африканских поселенческих колониях, а также в некоторых странах Западной

Африки. Здесь можно лишь констатировать, что общей тенденцией в развитии колониального мира после первой мировой войны было ускорение экономического роста, постепенное превращение международных экономических факторов в факторы их внутренней жизни.

В оценке роли и экономических последствий колониального синтеза как для колоний, так и метрополий существуют расхождения. Однако сам факт "исторической готовности" ряда стран колониального мира занять видное место на международной экономической арене еще в конце XIX – начале XX в. достаточно очевиден. В этом плане характерен пример Индии. По мнению отечественных и зарубежных исследователей, Индия могла бы "войти в число ведущих промышленных держав мира" еще накануне первой мировой войны при условии соответствующей экономической поддержки со стороны метрополии[12]. Война дала сильный импульс развитию национального индийского производства; уже к ее концу национальные индийские капиталовложения превысили британские[13]. И хотя в межвоенный период Англия, несмотря на стратегические интересы Британской империи, содействовала лишь "пассивной индустриализации" индийского экономического общества, все же предпосылки для развития современной экономики в этой стране были созданы. В годы второй мировой войны позиции индийского национального капитала еще более укрепились и ко времени провозглашения независимости (1947 г.) он заметно преобладал над иностранным на внутреннем рынке промышленных товаров[14].

Еще в военные годы начался быстрый экономический рост в ряде африканских стран (Южная Африка, Южная и Северная Родезия, Золотой Берег, Бельгийское Конго, Мадагаскар, Египет, Алжир, Тунис), связанный с расширением добычи рудных ископаемых, других видов минерального сырья и увеличением их экспорта (или реэкспорта) в метрополии, а также с заметным расширением и интенсификацией сельскохозяйственного производства на экспорт (Французская Западная и Экваториальная Африка, Северная Африка, Мадагаскар, практически все британские владения).

В межвоенный период высокие темпы экономического развития во многих африканских странах сохранялись, тогда же начались глубинные общественные перемены. Это было время складывания так называемых африканских колониальных обществ – понятие, введенное в научный оборот отечественными африканистами в 60–70-е годы, – характеризовавшихся многоукладностью в экономике, своеобразным синтезом современных и традиционных общественно-экономических структур. Колониальные общества развивались как сложные общественные организмы, в рамках которых разрушалась локальная обособленность традиционных структур, начиналось их объединение на основе посреднической торговли и деятельности иностранного капитала, роста миграций, распространения низших форм капиталистической организации труда. Одновременно формировался новый всеохватывающий колониальный административно-государственный аппарат, в африканскую культуру внедрялись колониальные стандарты и стереотипы. Иными словами, это была не стагнация, не попятный, а поступательный, хотя

и сложный, противоречивый процесс: с одной стороны, после первой мировой войны ускорился стихийный рост товарно-денежных и капиталистических отношений "снизу", а с другой – регламентирующее принудительное воздействие колониальных режимов "сверху"[15].

Не менее важен вопрос о влиянии войны на общественно-политическое развитие колониального мира. Еще сравнительно недавно он решался в отечественной историографии в духе тезиса о "революционизирующем влиянии Октябрьской революции на многомиллионные массы населения колоний и зависимых стран"[16]. В действительности воздействие Октября на Восток и Африку проявлялось в относительно узкой идейно-политической сфере (возникновение небольших, как правило, маловлиятельных коммунистических и левоэкстремистских организаций, связи с Коминтерном, Профинтерном и т.д.).

Серьезные общественно-политические перемены на Востоке и в Африке в межвоенный период были, скорее, связаны не с влиянием Октября, а с социально-психологическими и политическими последствиями войны. Речь идет прежде всего о сдвигах в массовом сознании (опыт военнослужащих, побывавших в Европе, изменение представлений о белом человеке и т.д.), которые психологически готовили почву для политического пробуждения колониального мира. Война стала катализатором антиколониальных и националистических выступлений во многих его частях – в странах Магриба, Египте, Индии, в бывших владениях Турции, африканских колониях.

Для подавляющего большинства коренного населения колониального мира первая мировая война была чужой, войной белых с белыми. В этом плане показательно отношение к войне населения бывших немецких владений в Африке. Многие желали поражения "своим" колониальным властям, рассчитывая, очевидно, на улучшение участи в случае смены флага. Так было, в частности, в Того, где большая часть африканского населения приветствовала вошедшие в страну в августе 1914 г. британские и французские войска[17]. Лояльно по отношению к властям вела себя относительно небольшая прослойка небелой (африканцы, индийцы и метисы) элиты. В Южной Африке в первые месяцы войны политические организации небелого населения – Африканская политическая организация и Африканский национальный конгресс – сетовали по поводу того, что власти не дают коренным жителям возможности проявить себя в войне. В общей сложности на военную службу, преимущественно во вспомогательные части были рекрутированы 84 тыс. африканцев[18].

В Германской Юго-Западной Африке небольшая прослойка населения – так называемые бастарды, или рехоботеры, родившиеся в результате смешения буров с женщинами-нама, отказались воевать против войск Южно-Африканского Союза (ЮАС) и были разоружены германскими властями[19].

Совершенно очевидно, что первая мировая война дала жителям колоний новый опыт общения с европейцами, изменила их представления о белом человеке. "Колонизаторы, – писал известный мальгашский исследователь и политический деятель Раймонд Рабемананджара, –

наблюдаемые в своем "туземном состоянии" утратили в глазах колонизируемых ореол победителей и суверенов"[20]. Другой известный историк, кениец Б. Огот, обращает внимание на значение "коллективного опыта, приобретенного африканцами во время войны 1914–1918 гг.". Хотя непосредственно в боевых действиях участвовали немногие, десятки тысяч человек были рекрутированы в качестве носильщиков во вспомогательные части (только в Кении около 150 тыс. человек). В результате приобретенного военного опыта "африканцы все более начали осознавать себя самостоятельной расовой общностью; они обнаружили слабости и разобщенность белых людей и, что более важно, поняли важность организованного сопротивления"[21]. Огот называет имена известных политических деятелей межвоенного периода, участвовавших в первой мировой войне.

Неоднозначным было отношение к войне и белого населения доминионов, особенно там, где его национальный состав был неоднородным. В этом плане характерно положение, сложившееся в военные годы в Канаде и Южной Африке.

В Канаде – британском доминионе с англоязычным (60%) и франкоязычным (40%) населением – с началом военных действий возникла острейшая внутриполитическая проблема, связанная с введением принудительной воинской повинности – так называемой конскрипции. В зарубежной, прежде всего канадской, а также в отечественной историографии, военно-политическое значение конскрипции оценивается по-разному[22]. Отмечается, в частности, что введение воинской повинности с целью использования канадских военнослужащих за пределами страны не привело к ожидаемым результатам. В общей сложности в армию были призваны около 550 тыс. человек, из которых около 229 тыс. были англичанами и около 286 тыс. считались "уроженцами Канады"[23]. К ноябрю 1918 г. канадский экспедиционный корпус насчитывал около 100 тыс. человек, однако непосредственно в боевых действиях во Франции участвовали только 24 тыс. человек. В то же время война и введение конскрипции привели к обострению внутриполитических противоречий на национальной основе. Франкоязычная канадская провинция Квебек выступила против участия страны в войне и против конскрипции. Число франкоязычных канадцев, оказавшихся в армии и непосредственно в экспедиционном корпусе, было небольшим. "Квебекский кризис 1914–1918 гг." стал еще одним проявлением накапливающихся внутриполитических противоречий в Канаде.

В Южной Африке также исторически сложились две европейские общины – английская и африканерская (бурская), находившиеся в постоянной конфронтации, достигшей своего пика во время англо-бурской войны 1899–1902 гг. Война вызвала взрыв патриотических чувств среди тех, кто считал своей родиной Великобританию. Напротив, африканеры, которые по численности значительно превосходили англичан, связывали с войной, как заявил бурский генерал Д. Герцег, надежды на избавление от британского господства[24]. Возглавляемая Герцегом националистическая партия (она возникла накануне войны) объявила военную экспедицию в Германскую Юго-Западную Африку "грабительской"[25]. Антибританские и прогерманские настроения среди буров уже в первые месяцы войны накалились, в октябре 1914 г. страна оказалась на грани тотальной гражданской войны.

Однако разногласия в руководстве бурской общины, несогласованность действий ее лидеров привели к тому, что начавшееся вооруженное восстание буров было относительно легко подавлено и в январе 1915 г. прекратили сопротивление их последние вооруженные отряды[26].

Социально-психологические последствия войны, связанные с участием в ней колониального мира, отозвались и в метрополиях, особенно в побежденной Германии. Именно в этой стране еще в конце XIX в. в силу ряда конкретно-исторических и социально-психологических причин получили распространение так называемый арийский расизм и шовинизм. Сильным импульсом для роста расистских и шовинистских настроений и здесь стали труды первого крупного теоретика расизма французского социолога и писателя графа Ж.А. де Гобино[27]. Развиваемые им идеи о превосходстве "арийской" расы превратились в настоящий религиозный культ[28], во Фрейбурге и в других городах Германии появились "общества Гобино". Перед первой мировой войной по приказу Вильгельма II было даже начато составление расовой карты Германии с целью выявления "истинных арийских элементов"[29], однако в силу абсурдности этого замысла (в некоторых районах и областях не было обнаружено ни одного человека "арийского типа") он так и не был осуществлен.

В годы первой мировой войны "арийский расизм" стал важным идеологическим и политическим фактором, орудием массовой пропаганды, однако вплоть до поражения Германии он был направлен не только и не столько против "черных" и "желтых", считавшихся представителями низших рас, сколько против европейских соперников Германии, прежде всего Франции, родины Гобино. Очевидно, сказывалось то обстоятельство, что колониальные войска Германии в Африке, где также велись боевые действия, состояли в основном из африканцев; открыто проповедовать идею о превосходстве белой расы над черной и желтой в такой обстановке вряд ли решились бы самые фанатичные расисты.

Унижение Версаля и последующая оккупация Рейнской области и Рура с участием сенегальских стрелков, "наложенные" на развал экономики страны и катастрофическую девальвацию марки, создали в Германии новую социально-психологическую ситуацию. Именно в это время резко возрастает популярность идей и творений тех, кто впоследствии стали "духовными отцами" фашистского государства – Жозефа де Гобино, композитора Рихарда Вагнера и особенно английского философа Хьюстона Чемберлена, автора "Основ девятнадцатого века", названных при его жизни "Евангелием нацистского движения"[30]. Взлет шовинизма и расизма в послеверсальской Германии отозвался за ее пределами. Развернутая в стране в начале 20-х годов негрофобская кампания ("черная чума" и "черный террор" на Рейне, "мученическая доля германской женщины в оккупированных районах", "вторжение"

черных солдат в дом Гёте во Франкфурте и т.д.) была подхвачена американской и английской, включая некоторые социал-демократические издания, прессой[31].

Впоследствии в книге "Майн кампф", написанной под прямым впечатлением Версаля и оккупации Рейнской области, негрофобия Гитлера теснейшим образом переплелась с его франкофобией. Как утверждал будущий "фюрер" из-за быстрой "негрификации" Франции, возникла реальная угроза самому существованию белой расы в Европе. Между Рейном и Конго, пророчествовал Гитлер, в перспективе может возникнуть огромное "европейско-мулатское государство", прибежище "низшей расы". Появление "Майн кампф" во французском переводе сделало известными взгляды фашистов в заморских владениях Франции, и в частности – в Африке. "Естественной реакцией африканского общественного мнения на эти бредовые рассуждения... – пишет А.Б. Летнев, – были гнев, возмущение, стремление дать отпор"[32].

Справедливости ради отметим, что откровенно расистские взгляды Гитлера разделяли далеко не все в Германии. Среди бывшей немецкой колониальной элиты (чиновники, военные, плантаторы), не менее, чем Гитлер, стремившейся к колониальному реваншу, было немало сторонников более гибкого отношения к африканцам[33]. И тем не менее после прихода Гитлера к власти "арийский расизм" фактически стал официальной идеологией. В Германии начались жесточайшие гонения на "неарийцев" из колоний (высылка из страны, лишение работы, запрещение смешанных браков под угрозой стерилизации и т.д.). Ответная реакция в колониальном мире также была однозначной. Но она случилась позднее, когда расистская политика Германии уже стала реальностью.

Интересно другое: в "Майн кампф" Гитлер подчеркивал, что "жизненные интересы" Германии устремлены прежде всего на Восток, в Россию, а не в бывшие (или будущие) немецкие колонии в Африке и Азии. Впоследствии, накануне краха фашистского режима, Гитлер неоднократно возвращался к этой теме в своих так называемых беседах и "Завещании"[34]. В какой мере он был искренен, когда говорил об отсутствии у Германии колониальных интересов на Востоке и в Африке? Люди, близко знавшие Гитлера, и многие исследователи фашизма утверждают, что он действительно был одержим идеей завоевания "жизненного пространства" для Германии на Востоке, прежде всего – в России, считая при этом, что попытки Гогенцоллернов создать колониальную империю в Африке «за счет разных камерунов (так в тексте "Майн кампф"! – *А.П.*)... были ошибочными»[35]. Если же говорить не о взглядах Гитлера, а о колониальном аспекте внешней политики Германии в целом после Версаля и особенно – накануне и во время второй мировой войны, то представляется очевидным, что стремление воссоздать германскую колониальную империю (как минимум – в прежних границах) было одной из составляющих стратегии реванша. На этот счет имеются документальные подтверждения, включая, прежде всего, военные планы гитлеровского командования в Африке и на Востоке и сам ход боевых действий в Африке[36].

Другой аспект темы – роль мандатной системы, необходимость коррекции еще недавно распространенной в отечественной историографии трактовки ее учреждения как замаскированного установления колониального господства держав-победительниц над бывшими владениями держав, проигравших войну[37]. История Версаля 1919 г., обнажившая мотивы, намерения, цели держав-победительниц, достаточно известна. Но борьба за германское "колониальное наследство" после войны не была простой, это была борьба не только соперничавших между собой держав и представлявших их правительств, но и внутренних сил в каждом из этих государств, борьба политических, финансовых и экономических группировок. Мы же коснемся только "внутриколониального" аспекта мандата.

Роль мандатной системы была изначально двойственной. В ней как бы соединились "империалистические", как их называли, и гуманитарные, гуманистические цели. С одной стороны, вряд ли стоит идеализировать цели и намерения участников Парижской мирной конференции 1919 г. ЮАС и Франция попросту требовали аннексировать германские колонии и присоединить их к владениям держав-победительниц. Мандат действительно предоставлял возможности, близкие к безраздельному колониальному господству. И вместе с тем передача под мандат Англии и Франции владений Турции на Востоке не решила, а еще более осложнила существовавшие в этом регионе проблемы (еврейско-арабский конфликт, курдский вопрос и т.д.).

В то же время статус подмандатной территории в Африке давал ее жителям определенные преимущества перед населением собственно колоний. Контроль со стороны Лиги Наций и впоследствии ООН в известной мере предопределил относительно спокойный, не чреватый серьезными потрясениями путь к независимости большинства подмандатных территорий в Африке (за исключением бывшей Германской Юго-Западной Африки, ныне Намибии). Кровавые этнополитические конфликты в некоторых бывших подмандатных территориях, в частности в Руанде, связаны, скорее, с доколониальным прошлым и постколониальным настоящим, но не с периодом мандата.

1 "Империалистическая война... есть война за привилегии великодержавных наций, за передел колоний между ними, за господство над другими нациями" (*Ленин В.И.* ПСС. Т. 27. С. 248 и след.). Этот тезис развивается и в других известных работах В.И. Ленина.

Конечно же, колониальные противоречия были важной, но не единственной причиной первой мировой войны. Предстоит еще дать им серьезную оценку в контексте геополитического фактора, недостаточно разработанного как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Историки так называемого послевоенного пацифистского направления (Э. Морель, С. Фей и др.) вообще сбрасывали их со счетов и искали причины войны в разрушающем воздействии тайной дипломатии, "системе тайных союзов" и их влиянии на международную политику. И сегодня существуют схожие точки зрения. Вместе с тем ряд современных исследователей полагает, что колониальный вопрос в годы, предшествующие первой мировой войне, и в ходе ее послужил детонатором процессов революционного характера во всемирном масштабе (см.: *Тихвинский С.Л.* Путь Китая к объединению и независимости. 1898–1949. М., 1996).

[2] Назовем, прежде всего, книги из издаваемой Институтом Африки РАН с 1981 г. серии "История стран Африки" (работы по истории Танзании, Того, Намибии и др.), в которых уделяется достаточное внимание боевым действиям на территории Африки в годы первой мировой войны.

[3] *Овчинников В.Е.* История Танзании в новое и новейшее время. М., 1986. С. 104.

[4] Подробнее об этом см.: *Леттов-Форбек О.* Мои воспоминания о Восточной Африке. М., 1927.

Немецкий опыт организации колониальных войск с учетом социально-психологических особенностей поведения солдат, рекрутировавшихся из разных племен, их действия в боевой обстановке, произвели большое впечатление на британские колониальные власти, получившие в 1919 г. мандат над Германской Восточной Африкой. В 1920 г. отдел военно-морской разведки Британского адмиралтейства выпустил специальный "Справочник по Германской Восточной Африке", в котором был обобщен опыт ведения доколониальных и колониальных войн в этой стране (См.: The Handbook of German East Africa. Compiled by the Geographical Section of the Naval Intelligence Division, Naval Staff. Reprint. N.Y., 1969).

[5] *Шпирт А.Ю.* Африка во второй мировой войне. М., 1959. С. 7.

[6] Подготовка всеобщей истории Африки. ЮНЕСКО. Том VII. Африка под иностранным господством, 1880–1935 гг. Париж, б.г.

[7] См., например: *Ajayi, J.F. Ade.* The Continuity of African Institutions under Colonialism // Emerging Themes of African History. Nairobi, 1974.

[8] Эта тема рассматривалась, в частности, в нескольких выступлениях на "круглых столах", посвященных истории первой мировой войны, в Институте всеобщей истории РАН (1993, 1994), и на международной конференции "Первая мировая война и XX век" (Москва, май 1994 г.).

[9] *Дьяконов И.М.* Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. М., 1994.

[10] Там же. С. 266–267.

[11] Отечественная и зарубежная историография по этой теме обширна, ее анализ не входит в нашу задачу. Отметим, однако, что на отечественные исследования по истории Востока и Африки после первой мировой войны оказали существенное влияние концепции многоукладности, зависимого развития и колониального синтеза, получившие широкое распространение в советской исторической и экономической (прежде всего востоковедческой) литературе в 70–80-е годы. (См., в частности: Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перспективы. М., 1974; Зарубежный Восток и современность. Основные закономерности и специфика развития освободившихся стран. М., 1974. Т. I–II; Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М., 1984; *Левковский А.И.* Третий мир в современном мире. М., 1979; *Растянников В.Г.* Аграрная эволюция в многоукладном обществе: Опыт независимой Индии. М., 1973; *Симония Н.А.* Страны Востока: пути развития. М., 1975.)

[12] См.: *Рейснер Л.И.* Два пути капиталистической трансформации общества: национально-суверенный и колониально-зависимый // Эволюция восточных обществ... С. 192–193; Л.И. Рейснер ссылается также на западных исследователей (Х. Лэм, Р. Лидман, Р. Домрез). (См.: Economic Growth: Brazil, India, Japan. Durham, 1955; Tropical Development 1880–1913. Studies in Economic Progress. L., 1970.)

[13] *Симония Н.А.* Указ. соч. С. 223.

[14] См.: *Широков Г.К.* Индустриализация Индии. М., 1971. С. 53.

[15] История Нигерии в новое и новейшее время. М., 1981. С. 144; Об африканских колониальных обществах в межвоенный период см. также: История Ганы в новое и новейшее время. М., 1985; История Кении в новое и новейшее время. М., 1985.

[16] Этот тезис является одним из основных в многочисленных публикациях 50–80-х годов по темам "Октябрь и Восток", "Октябрь и Африка", "Национально-освободительное движение в странах Востока и Африки".

[17] См.: *Sebald P.* Togo 1884–1914. B., 1988. S. 585–606.

[18] *Давидсон А.Б.* Южная Африка. Становление сил протеста. М., 1972. С. 290.

[19] *Дрекслер Х.* Юго-Западная Африка под германским колониальным господством. М., 1987. С. 221.

[20] *Рабеманандзара Р.В.* Мадагаскар. История мальгашской нации. М., 1956. С. 133.

[21] *Ogot B.A.* Kenya under the British, 1895 to 1963 // Zamani. A Survey of East African History / Ed. by B.A. Ogot and J.A. Kiern. Nairobi, 1968. P. 266–268.

[22] См.: *Поздеева Л.В.* Канада в годы первой и второй мировых войн // Проблемы историографии Канады. М., 1981.

[23] *Armstrong E.* The Crisis of Quebec, 1914–1918. 2nd ed. Toronto, 1974. P. 248.

[24] *Давидсон А.Б.* Указ. соч. С. 291.

[25] Там же. С. 295.

[26] Там же. С. 296–301.

[27] *Gobineau J.A.* Essai sur l'énégalité des races humaines. P., 1853–1855. Vol. I–IV.

[28] *Комас Х.* Расовые мифы // Расовая проблема и общество. Сб. пер. с франц. М., 1957. С. 242.

[29] Там же. С. 243.

[30] Подробнее о расовых и других корнях нацизма см.: *Ширер У.* Взлет и падение третьего рейха / Пер. с англ. М., 1991. Т. I. С. 126–142.

[31] См.: *Летнев А.Б.* Общественная мысль в Западной Африке. 1918–1939. М., 1983. С. 125–128.

[32] Там же. С. 126–127.

[33] *Овчинников В.Е.* История Танзании... С. 123.

[34] Текст "Завещания Гитлера" в русском переводе и комментарии к нему см.: Вопр. истории. 1965. № 9, 10.

[35] *Ширер У.* Указ. соч. Т. I. С. 111.

[36] Этот вопрос достаточно широко освещен в литературе о второй мировой войне. В планы Гитлера в Африке, в частности, входило создание на базе бывших владений Германии (Камерун, Того, Танганьика, Руанда, Бурунди, Юго-Западная Африка), Бельгийского Конго, а также Французской Экваториальной Африки, Нигерии, Северной Нигерии и Кении обширной колониальной империи. Южно-Африканский союз должен был стать профашистским зависимым государством, а Мадагаскар – местом депортации евреев.

[37] Истоки этой трактовки восходят, очевидно, к докладу В.И. Ленина на 2-м Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока в ноябре 1919 г., в котором он определил суть мандатной системы как раздачу мандатов на расхищение и грабеж. Долгое время считалось, что устав Лиги наций, созданной на Парижской конференции 1919 г., оставался "мертвой буквой".

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(Лига нерусских народов России)

Б.И. Греков

Общеизвестно, что население многих стран мира представляет собой сложный симбиоз различных рас и национальностей. Сосуществование в рамках одного государства множества национальностей наряду с неблагоприятным сочетанием факторов внутриполитического и экономического характера приводит, как правило, к усилению

© Б.И. Греков

внутреннего конфликтного потенциала страны, к увеличению социально-политической напряженности. В условиях военного конфликта социально-политическая напряженность в обществе может еще более нарастать. Усиливается и ее важная составляющая – межнациональные конфликты. Нередко внешние силы используют последнее обстоятельство для достижения своих военных, политических и экономических задач. Проблеме использования внешними силами внутренних межнациональных конфликтов для решения своих целей уделялось значительное внимание в мировой и отечественной историографии, в частности в недавно изданном труде, посвященном изучению межрасовых и межнациональных отношений в Европе и Америке XIX–XX вв.[1] Эта книга создавалась по материалам "круглых столов" 1991–1993 гг. и является квалифицированным и развернутым ответом на многочисленные вопросы, вставшие перед отечественными историками и правоведами в связи с распадом СССР. Проблема влияния внешних факторов на рост социально-политической напряженности анализируется в указанной работе на примере Австро-Венгрии. Однако, к сожалению, воздействие этого фактора на развитие межнациональных противоречий в России в начале XX в. до настоящего времени в отечественной историографии недостаточно полно освещено. В значительной мере данный пробел заполняется статьей В.С. Дякина[2].

В начале 1990-х годов автором настоящей статьи был издан ряд работ[3], посвященных проблеме математического моделирования социально-политической напряженности в России начала XX в. и в Пакистане после второй мировой войны. Однако, к сожалению, следует констатировать, что и в этих работах дан неполный анализ воздействия внешнеполитических факторов на возникновение и рост внутренней социально-политической напряженности, хотя и подчеркивалась связь между ростом социально-политической напряженности и межнациональными конфликтами.

Позволим себе коротко остановиться на содержании одной из упомянутых статей. Проводился кластерный анализ, т.е. группировка (или типология), европейских губерний Российской империи по уровню социально-политической напряженности в них. Расчеты осуществлялись на основании двадцати различных факторов экономического и политического характера. Оказалось, что прибалтийские губернии образовали особый тип (кластер) социально-политической напряженности, южные губернии составили свой кластер, западные губернии – свой, кавказские – свой и т.д. Была получена как бы географическая карта уровня социально-политической напряженности в европейских губерниях России. Исследование проводилось в основном, на данных переписи 1897 г. и других материалах российской статистики конца XIX – начала XX в. Когда же при расчетах учитывались показатели, характеризующие уровень межнациональной конфликтности, то эти кластеры еще более удалялись от других кластеров, объединявших губернии европейской России.

В процессе изучения внешнеполитических целей Германии по

отношению к России в годы первой мировой войны (в хронологическом плане первая мировая война отстоит от изучавшегося в упомянутой статье периода примерно на 15 лет) оказалось, что немецкие политики как будто бы имели под рукой теоретически рассчитанную карту социально-политической напряженности в Российской империи. Именно различия в региональных уровнях социально-политической напряженности в России облегчали Берлину создание планов расчленения Российской империи, используя ее внутренние национальные и социальные противоречия. В частности, еще в 1914 г. на Вильгельмштрассе был создан план революционизирования, осуществлявшийся с 1915 по 1917 г. Особое внимание в германской внешней политике было уделено тем регионам Российской империи, где отмечалась повышенная социально-политическая напряженность. Это совпадение заставило нас более внимательно отнестись к изучению германской политики революционизирования. Оказалось, что она имела под собой в значительной степени объективную основу и при определенных условиях была реализована.

В самом деле, проблема влияния внешних сил на социально-политическую напряженность вообще и в частности в России в годы первой мировой войны, где германская политика оказала мощное воздействие на рост социально-политической напряженности и рост межнациональных конфликтов, заслуживает глубокого анализа[4]. Именно тогда в истории нашего Отечества ярко проявились те центробежные тенденции, которые сегодня получили политическое и юридическое оформление.

Обсуждение обозначенной темы тем более актуально, что западную историческую науку распад СССР не застал врасплох. Там давно и плодотворно изучается данный комплекс вопросов. Многочисленные работы американских и английских, германских и финских историков посвящены этой теме[5]. На Западе имеется также немало документальных публикаций, а также обширная публицистика периода первой мировой войны (германская, французская, английская) по интересующему нас кругу вопросов.

Настоящая статья основывается на материалах немецких архивов, главным образом на документах германского посольства в Швейцарии[6].

Чем же объяснить слабую изученность рассматриваемой проблемы в отечественной историографии? Во-первых, в советский период считалось, что национальный вопрос в СССР решен окончательно и бесповоротно, так как якобы возникла новая историческая общность – советский народ. Во-вторых, вопрос о революционизировании России внешними силами в годы первой мировой войны был тесно связан с запретной темой деятельности В.И. Ленина в унисон с политикой Берлина, а также с полузапретной темой политической активности русской эмиграции в годы войны в нейтральных странах – Швейцарии, Швеции и Дании. После возвращения российской эмиграции в Россию и прихода к власти большевиков объективное изучение данной проблемы стало по меньшей мере рискованным.

Хотелось бы подчеркнуть, что автор настоящей статьи далек от

мысли приписывать причины краха Российской империи исключительно воздействию внешних сил. Основными пружинами распада были, как хорошо известно, несовершенства внутриполитической и экономической жизни России, которые широко изучались в отечественной историографии. Центробежные силы наряду с центростремительными объективно сосуществовали в многонациональном Российском государстве и до и во время войны. Однако именно в годы войны, в период ослабления России, соблазн использовать в своих эгоистических интересах центробежные тенденции, иными словами, желание применить в качестве метода военного и политического давления естественное стремление некоторых народов, населявших Российскую империю, к национальной автономии особенно усилились в Центральных державах.

У германских политиков встречались в годы первой мировой войны и другие точки зрения: высказывались опасения необратимого ухудшения русско-германских отношений, в частности в экономической области; говорилось о важности России как рынка сбыта для германской промышленности и в связи с этим о необходимости политической стабильности в ней; существовало мнение о приоритете российско-германских контактов перед отношениями Германии с малыми восточноевропейскими странами. Эта тема заслуживает внимательного изучения, поскольку и сегодня данная точка зрения присутствует в германском обществе[7]. Одним из наиболее известных германских политиков, придерживавшихся подобных воззрений, был Вальтер Ратенау, подписавший уже после войны, в 1922 г., Рапалльский договор с Советской Россией. Однако в годы первой мировой войны носители идей примирения с Россией остались в меньшинстве. Воспреобладала другая тенденция.

Не претендуя на полное освещение указанного круга вопросов, автор настоящей статьи кратко излагает историю возникновения в германских верхах идеи "революционизирования" России и стимулирования в ней межнациональных конфликтов, т.е. противоречий по вертикали (противопоставление низов верхам) и по горизонтали (межнациональные конфликты); в статье идет также речь о способах претворения этих идей в жизнь, в частности о создании Лиги нерусских народов России (Liga der Fremdvölker Russlands).

В сентябре 1914 г. канцлером Бетманом-Гольвегом была сформулирована программа военных целей. Главная задача Германии заключалась в создании "Срединной Европы", т.е. объединения многих европейских государств под эгидой Германии. План "Срединной Европы" предполагал наличие общих вооруженных сил, единой банковской системы и общего таможенного союза. В соответствии с ним Россию следовало по возможности оттеснить от немецкой границы и уничтожить ее господство над нерусскими народами[8]. Этот план был более либеральным по характеру, чем, например, программа Пангерманского союза, требовавшая прямых территориальных аннексий. В отношении России Пангерманский союз не делал существенных различий между ее регионами и настаивал на следующем: лицо России должно быть силой обращено на Восток, она должна вернуться к допетровским границам[9].

Уже в первые дни войны тщательно разрабатывается программа революционизирования. Она была направлена против России и Англии. Важной фигурой в разработке этих планов стал заместитель госсекретаря Циммерман. Он играл весьма существенную роль в МИД в первые месяцы войны, поскольку сам канцлер и госсекретарь Ягов находились в это время преимущественно в Главной ставке. Циммерман пользовался бóльшим расположением кайзера, чем Ягов или Бетман-Гольвег, он имел свободный доступ к кайзеру и чаще, чем его начальники, бывал у Вильгельма. Последний разделял мнение Циммермана о необходимости революционизирования Англии и России, используя межнациональные противоречия, существовавшие в двух империях. Уже 3 августа 1914 г. Артур Циммерман телеграфировал в Константинополь о необходимости революционизирования Кавказа, который был именно тем регионом, где смыкались антианглийские и антироссийские интересы Германии, поскольку через Турцию и Кавказ лежал путь в Багдад[10].

Однако и сам госсекретарь Ягов активно участвовал в разработке проекта революционизирования. В послании германскому послу в Вене Ягов 11 августа 1914 г. так формулировал цели германской политики: "Революционизирование не только Польши, но и Украины представляется нам весьма важным, поскольку: во-первых, это средство борьбы против России; во-вторых, это способ ослабить давление русского колосса на Европу и удалить Россию как можно далее на Восток; в-третьих, это возможность для Румынии получить впоследствии Бессарабию, что осуществимо лишь при условии возникновения промежуточного государства между Румынией и Россией"[11].

Следующим по значению создателем проекта революционизирования после кайзера, Циммермана и Ягова был Рудольф Надольный, начальник политического отдела Генерального штаба. Подписанные им документы часто встречаются в архивном фонде Лиги нерусских народов России. Для подготовки плана революционизирования исламского мира 2 августа 1914 г. в МИД Германии был специально приглашен барон Оппенгейм. Активное участие в детальной разработке проекта революционизирования принимал целый ряд послов Германии в союзных и нейтральных странах. Так, барон Вангенгейм – посол в Константинополе – внес существенный вклад в проект революционизирования России. Он организовал сотрудничество с российским эмигрантом Парвусом-Гельфандом, который в марте 1915 г. представил подробную памятную записку о необходимости революционизировать Россию и об органичной связи социальных конфликтов с национальными противоречиями. Особое внимание в записке уделялось Украине, для революционизирования которой предлагалось сочетать аграрные беспорядки с требованиями автономии. Выводы Парвуса были следующими: российская демократия может достичь своих целей только при условии уничтожения царизма и раздела России на маленькие государства. Германия в свою очередь не достигнет целей, если не удастся разжечь в России революцию... Интересы германского правительства и российских революционеров идентичны[12]. В 1915–1916 гг.

Парвус для целей революционизирования получил сначала 2 млн марок, а затем 20 млн рублей. На эти деньги он создал в Копенгагене соответствующую организацию с задачами применительно к России.

Уже в августе 1914 г. на немецкие деньги в Вене был организован Союз независимой Украины, включавший ряд украинских иммигрантов. Однако действия этого Союза входили в противоречие с интересами Австро-Венгрии, не желавшей возникновения ориентированного на Германию украинского государства, так как значительная часть территории Украины входила тогда, как известно, в состав Австро-Венгрии. Поэтому масштаб деятельности Союза был ограничен. В определенной мере он подготовил почву для создания несколько позже в нейтральной Швейцарии Лиги нерусских народов России. Существование такой организации в Швейцарии не вызывало противоречий между Германией и Австро-Венгрией, а также снимало с Лиги подозрения со стороны Антанты в отношении поддержки ее Германией.

Существенную роль в разработке идеи революционизирования и впоследствии в создании Лиги сыграл посол Германии в Ватикане Диего фон Берген. Ему принадлежит замысел использования радикальных русских социалистов в осуществлении революционизирования России. Разработкой подобной политики для Кавказа занимался самостоятельно другой сотрудник МИД – Везендонк. Он вместе с уполномоченным свободным сотрудником МИД бароном Экскюль сыграл важную роль в создании Лиги. Огромное практическое значение для реализации программы революционизирования имела деятельность трех германских послов: в Берне – это барон фон Ромберг, в Стокгольме – барон фон Люциус, в Копенгагене – граф Брокдорф-Ранцау. Именно их посольствам удалось создать в нейтральных странах хорошо функционирующую инфраструктуру революционизирования, направленную против Англии и России, практически преуспевшую, однако, лишь в последней.

Пожалуй, следует отдельно упомянуть и о том, что программа революционизирования включала и особый режим содержания российских военнопленных в немецких лагерях. Они были изолированы от финнов, украинцев, прибалтов, поляков, грузин и мусульман в целях облегчения ведения пропаганды сепаратизма. Политика по отношению к военнопленным соответствовала программе военных целей Германии применительно к России в целом, которую можно считать комплексной, предусматривавшей отделение от Российской империи Финляндии, Царства Польского, Прибалтики, Украины, Кавказа и интеграцию их в той или иной форме в германскую "Срединную Европу". Эта программа подразумевала наряду с чисто военными методами достижения цели также стимулирование национальных и социальных противоречий.

В стадию практического осуществления программа революционизирования России вступила только в 1915 г. – после краха плана Шлиффена, битвы на Марне, по мере осознания немецкими политиками невозможности победы над Англией, Францией и Россией одновременно. Именно в это время в Германии возникает идея сепаратного

мира с Россией. Существует мнение, что адмирал Тирпиц, будучи непоколебимым противником Британии, уговорил начальника генерального штаба Фалькенхайна начать сепаратные переговоры с Россией о мире. Бетман-Гольвег вынужден был под давлением неблагоприятных для Германии военных реальностей частично согласиться с планом Тирпица–Фалькенхайна. Германские условия мира Западу можно продиктовать только при восстановлении status quo с Россией – таковой была точка зрения канцлера в конце 1914 г. Вильгельм был также склонен согласиться с ней. Программа революционизирования России замораживалась.

Однако этот поворот в политике Берлина не устраивал многих. 27 ноября 1915 г. один из отцов идеи революционизирования, Циммерман, написал докладную записку на имя канцлера, направленную против планов Тирпица–Фалькенхайна. Он отрицал возможность сепаратного мира с Россией, мотивируя свою точку зрения опасностью для Германии остаться без союзников. К его мнению прислушались. Затяжная война на два фронта становилась для Германии реальностью.

С зимы 1914/15 г. происходит концентрация всех сил германской армии на Востоке. Параллельно с немецким наступлением на Восточном фронте из Берлина российскому правительству делались различные предложения о сепаратном мире в надежде развязать себе руки на Западе. Однако в ноябре 1915 г. в Берлине стало ясно, что царь в ближайшее время на сепаратный мир не пойдет. В этой ситуации снова активизировалась политика революционизирования, одним из важных шагов на пути реализации которой было создание в марте 1916 г. Лиги нерусских народов России, функционировавшей главным образом в Швейцарии, но имевшей филиалы в Швеции и США.

Деятельность Лиги неплохо документирована источниками. В основном это документы, родившиеся в стенах германского посольства в Берне, а затем отправленные Ромбергом в Берлин. Они содержат обширные информативные материалы, собранные сотрудниками этого посольства в годы первой мировой войны. Как известно, Швейцария была нейтральной страной и широко использовалась противоборствующими сторонами для ведения пропагандистской войны и получения информации. Именно там антироссийская пропаганда могла быть легче замечена прессой Антанты. Впрочем, не только Швейцария, но и нейтральная Швеция играла в планах Германии по отношению к России большую роль. Используя заинтересованность Швеции в Финляндии, Эстонии, Аландских островах, Германия не оставляла надежды на вступление Швеции в войну на стороне Центральных держав.

Ведя пропаганду в пользу национальных меньшинств в России, Германия надеялась возбудить антироссийские настроения и в Америке. Берлин любыми путями стремился не допустить возможности союза между США и Антантой. Наконец, стимулирование центробежных тенденций в России, естественно, ослабляло ее в военном отношении.

Наиболее известные политики, чьи имена связаны с деятельностью Лиги, в основном уже встречались нам в ходе разработки планов

революционизирования. Это Ромберг – посол Германии в Швейцарии, поддерживаемый государственным секретарем Яговым и его заместителем Циммерманом (Ромберг известен также как один из инициаторов поездки Ленина и других российских эмигрантов из Швейцарии через Германию и Швецию в Россию, для чего было выделено несколько железнодорожных составов весной 1917 г., а не несколько вагонов, как принято считать); Люциус – посол Германии в Швеции; барон Ропп – прибалтийский немец, непосредственный организатор Лиги: Степанковский – журналист, украинец; Донцов – журналист и историк, украинец; Кескюла – профессиональный революционер, эстонец; Габри – журналист, литовец. Участвовали в работе Лиги и представители мусульманства. Президентом Лиги был поляк Лемницкий. Однако президентство его носило во многом формальный характер, реальным главой являлся барон Ропп.

Одним из важных теоретических положений, составляющих основу деятельности Лиги, было право наций на самоопределение. В этом ее программа оказалась сходной с большевистской. Имели место и отдельные контакты членов Лиги с ленинцами, что объясняется не только их непосредственным соседством в Швейцарии, но и частичным совпадением политических интересов, направленных на развал Российской империи. В архиве в актах Лиги хранятся некоторые работы В.И. Ленина, изданные в Швейцарии. В литературе о Лиге упоминаются также связи Ленина с Кескюлой, который якобы передавал Ленину германские деньги. Правда, прямых документальных подтверждений этого обстоятельства нам найти не удалось. Что же касается Лиги, то она являлась формально самостоятельной и нейтральной организацией, что было с германской точки зрения весьма существенно для усиления пропагандистского влияния ее на Америку и Антанту, однако существовала целиком на германские деньги, чему имеются многочисленные документальные подтверждения. Так, например, Кескюле еще в 1914 г. было передано 10 тыс. марок. Степанковский и Донцов получали регулярную зарплату в Швейцарии от Ромберга, о чем имеются соответствующие расписки, через Лигу оплачивалась работа многих журналистов стран Антанты, публиковавших выгодные для Германии материалы о России. Наиболее известным из них был британский журналист, путешественник и секретный агент Герберт Уайт, с 1911 г. издатель газеты "Стандарт", а позже военный корреспондент "Дейли Мэйл", "Нью Йорк Уорлд", представитель "Юнайтед Пресс оф Америка". Уайт много работал и на Балканах. Именно ему удалось в 1917 г. перевербовать в пользу Британии Степанковского, но об этом несколько позже.

Основные вехи деятельности Лиги следующие: в период с осени 1914 по весну 1916 г. под эгидой Германии создавались различные бюро и комитеты, объединявшие российских эмигрантов по национальному признаку. Существовали многочисленные финские, польские, украинские, прибалтийские и грузинские организации, которые выступали за отделение от России. Весной 1915 г., после написания Парвусом-Гельфандом упомянутой выше записки, на Вильгельмштрассе в Берлине впервые возникла идея объединения разрозненных сил эмигрантов. Важной фигурой, способствовавшей образованию Лиги, был эстонский революционер Александр Кескюла, который, впрочем, в 1917 г. переориентировался на Антанту. Еще осенью 1914 г. он вступил в контакт с Ромбергом. Именно Кескюла рекомендовал ему обратить внимание на радикальное крыло русской эмиграции во главе с Лениным. В мае 1915 г. он получил германский паспорт. Связи Кескюлы распространялись и на Ленина, с которым он поддерживал контакты через Артура Зейфельда, также эстонца, более близкого к Ленину, чем Кескюла. Именно через Зейфельда, как считают некоторые исследователи, Кескюла стал переводить деньги для организации Ленина[13]. Зейфельд жил с 1913 г. в Цюрихе и был ректором русской народной школы. С 1915 г. он примкнул к Ленину. Кескюла наладил связи и с украинским движением в эмиграции. Он сыграл определенную роль в знакомстве Ромберга с его деятелями. Летом 1915 г. последний познакомился с украинцем Владимиром Степанковским, который еще до войны в Лондоне пропагадировал идею украинской независимости. Вскоре он начал издавать в Швейцарии журнал "Украина", финансируемый германским МИД. С точки зрения Ромберга, важным было то обстоятельство, что Степанковский имел обширные связи в странах Антанты и мог использовать эти каналы для получения информации и ведения пропаганды в нужном для Германии ключе. С сентября 1915 г. он стал получать сжемесячную зарплату 3000 швейцарских франков.

Степанковский познакомил Ромберга с литовцем Габри, который с 1915 г. проживал в Париже и также обладал связями в странах Антанты. В 1914 г. Габри совершил поездку по США, где выступал с лекциями по литовскому вопросу. В Швейцарии он начал издавать журнал "Литва", финансируемый Ромбергом. Именно Ромберг, Степанковский и Габри выступили с инициативой создания Лиги. Важную роль в этом деле сыграл и балтийский немец барон фон дер Ропп, который организовал движение "Прочь от России", включив в него многих представителей эмиграции, проживавших в Берлине. Активным сотрудником Лиги стал также украинец Дмитро Донцов, организовавший в 1914 г. в Вене со своими единомышленниками Союз за освобождение Украины. Этот известный идеолог независимости Украины и тесного союза ее с Германией впоследствии (1922–1932 гг.) стал редактором "Литературно-наукового вестника", а в 1933–1939 гг. – редактором "Вестника".

Название организации Лига нерусских народов России было выбрано не случайно: оно должно было звучать нейтрально и не вызывать раздражения в странах Антанты. Первая заметная международная акция Лиги – это воззвание к американскому президенту Вудро Вильсону. Дело заключалось в том, что в апреле 1916 г. германо-американские отношения переживали кризис после того, как немцами был потоплен американский пассажирский пароход "Сассекс". Открытое послание Лиги имело целью в косвенной форме оправдать действия Германии, представив национальную политику России в неприглядном

свете. 9 мая оно было опубликовано и вызвало интерес Вильсона, обратившего внимание на проблему малых национальностей в России. Однако данная проблема получила резонанс после этого воззвания не только в США, но и в странах Антанты, особенно в Англии, где пришли к выводу о целесообразности поддерживать малые народы России против ее центрального правительства, лишив Германию монополии в данном вопросе. Косвенные подтверждения поддержки Англией процесса революционизирования России нередко встречаются в документах Лиги начиная с 1916 г. Однако и раньше, еще в 1914–1915 гг., как свидетельствуют, например, работы В.Г. Трухановского[14], существовали серьезные противоречия между Англией и Россией по целому ряду вопросов, а главное, в понимании военных целей: Англия не желала усиления влияния России на Балканах, противодействовала ее стремлению укрепить позиции в районе проливов. Особенно усилилась антироссийская позиция Британии, а в некоторой степени и Франции, с лета 1917 г., когда союзники убедились в неспособности России продолжать войну. Об этом свидетельствуют, в частности, донесения Степанковского и Ромберга из Швейцарии в Берлин, из которых следует, что в июне 1917 г. Франция была готова в обмен на помощь японских солдат в Европе отдать Японии всю Восточную Сибирь[15]. В косвенной форме и Англия поддержала процесс радикального революционизирования России, когда в апреле 1917 г. английские офицеры, дежурившие на северной российской границе[16], положительно решили вопрос о проезде Ленина из нейтральной Швеции в Финляндию, входившую в состав Российской империи. В фонде Лиги имеется доклад Ромберга для МИД Германии, датированный 28 июня 1917 г., который мы процитируем частично:

"Из многочисленных бесед, которые в последнее время вел Степанковский с журналистами Антанты, такими, как Уайт и Сватковский, он сделал вывод, что ни англичане, ни французы не считаются более с Россией. Они делают, правда, слабые попытки удержать Россию на плаву, но все их политические планы не связаны с Россией. Они ориентируются на Америку и Японию. Существует проект отправки японских войск во Францию. За это Японии обещают территорию Сибири до озера Байкал"[17]. В этом документе упоминается популярный русский корреспондент "Нового времени" Сватковский, один из авторов идеи неославизма. Сватковский не получал денег из Берлина, как может показаться из процитированного. Будучи российским агентом, он стремился регулярно иметь информацию от Степанковского, который, в свою очередь, хотел для этих же целей использовать Сватковского. Однако по мере ухудшения положения в России Сватковский стал постепенно ориентироваться на Германию, его отношения со Степанковским принимали все более доверительный характер. Пикантность ситуации заключалась в том, что Степанковский из-за неудач Германии решил переориентироваться на Англию, в частности укрепляя свои взаимоотношения с Уайтом.

В июле 1917 г. Степанковский переехал из Швейцарии в Стокгольм, а оттуда устремился на Украину, как он объяснял немцам, для

изучения обстановки на месте[18]. На самом деле в этот момент Степанковский уже получал деньги из Лондона. На это обстоятельство обратили внимание сначала австрийцы, которые посоветовали немцам внимательнее отнестись к деятельности Степанковского, так как, по австрийским данным, англичане начали поддерживать процесс революционизирования России. На вопрос немцев о желательности контактов Лиги с англичанами Степанковский ответил положительно, сказав, что Англия будет обязательно поддерживать борьбу нерусских национальностей в России, поскольку эта борьба ослабляет последнюю. Степанковскому не суждено было в 1917 г. попасть из Швеции на Украину. В Петрограде он был арестован и заключен в Кресты, где познакомился с Троцким. Последнее обстоятельство его спасло. После Октября он был освобожден и уехал в ноябре прямо в Лондон, где встречался с Ллойд Джорджем и другими видными английскими политическими деятелями, обсуждая разные аспекты украинского вопроса. В январе 1918 г. он вернулся в Швейцарию, но не поддерживал контакты с Лигой, а в 1919 г. уехал на Украину, где уже не принимал активного участия в политической жизни.

Одним из важнейших и успешных мероприятий, проведенных Лигой, явилось проведение в июне 1916 г. в Лозанне конференции малых национальностей Европы. Главной целью ее организаторов было показать, что политика по национальному вопросу в Германии гораздо более гуманна, чем в странах Антанты, и в особенности в России. По некоторым данным, на этой конференции присутствовало в различные дни от 40 до 400 человек, представителей практически всех малых народов Европы.

Интересным аспектом деятельности Лиги был ее контакт с П.Н. Милюковым, который, совершая поездку по Франции, нанес визит и в Швейцарию в июне 1916 г. Милюков здесь вел переговоры с представителями Лиги, однако договориться ни о чем не смог. Он организовал в Лозанне информационное агентство во главе с Владимиром Викторовым-Топоровым, корреспондентом своей газеты "Речь". Степанковский немедленно познакомился с Топоровым, затем свел последнего со Сватковским. Впоследствии Степанковский получал массу полезной информации от Топорова через Сватковского, передавая ее далее Ромбергу.

По мере затягивания войны и продвижения германских войск на восток в работе Лиги наметились осложнения. Так, после занятия немцами Литвы в 1915 г. литовская антироссийская оппозиция заняла в основном антигерманскую позицию, которая уже в 1916 г. стала с очевидностью проявляться[19]. Аналогичные процессы шли на других оккупированных Германией территориях.

Имели место и скандалы внутри самой Лиги, на одном из которых стоит остановиться подробнее. В мае 1917 г. произошла размолвка между Донцовым и Степанковским на финансовой почве. Ромберг и Ропп считали, что финансирование швейцарского бюро должно идти исключительно через Степанковского, в то время как другой сотрудник германского МИД, Экскюль, считал Донцова гораздо более бе-

режливым распорядителем денег. В результате конфликта победили Ромберг и Степанковский. Однако вскоре после этой победы, как уже отмечалось, Степанковский уехал через Стокгольм в Россию. Несколько обиженный Донцов стал часто отлучаться в Вену, оставляя свою жену в Швейцарии. Не стоило бы об этом столь подробно рассказывать, если бы не одно обстоятельство. В отсутствие Донцова германские агенты внимательно следили за его женой, надеясь получить представление о реальных настроениях ее мужа и параллельно выявляя не относящиеся непосредственно к нему факты. Так, один из агентов, следивших за женой Донцова, передал Ромбергу сообщение, в котором упоминается Ленин. По словам жены Донцова, Ленин допустил большую конспиративную ошибку: он будто бы взял в поезде, возвращаясь в Россию, крупную сумму денег из рук любовницы Карла Радека. Имя последней не упоминается, однако сообщается, что деньги она получила от немцев. Якобы этот факт стал достоянием общественности и получился скандал[20].

История организации и функционирования Лиги нерусских народов России, возникавшие вокруг нее интриги заставляют более внимательно отнестись к изучению центробежных и центростремительных тенденций, имевших место тогда в Российской империи. Объективно существуя, эти тенденции часто находились под влиянием внешних факторов, что основательно деформировало реальное соотношение сил между ними, дополнительно усиливало центробежные тенденции. Внешние факторы оказывали влияние также на размах социальных конфликтов в стране, повышая и без того значительную внутреннюю социально-политическую напряженность.

[1] Межрасовые и межнациональные отношения в Европе и Америке XIX–XX вв. / Отв. ред. Р.Ф. Иванов. М., 1996.

[2] *Дякин В.С.* Национальный вопрос в России накануне первой мировой войны // Вопр. истории. 1997. № 1.

[3] *Grekov B., Shatsillo K.* A Quantitative Approach to Socio–Political Tension in Russia 1895–1913 // Historical Social Research (Cologne). 1990. N 2; *Grekov B., Solodovnik S.* Comparative Studies of Internal Socio-Political Conflicts. A Case Study of Russia (1895–1914) and Pakistan (1950–1987) // Ibid. 1991. N 2; *Греков Б., Солодовник С.* Динамика социально-политической напряженности в Пакистане в 1950–1987 гг.: (Опыт количественного анализа) // Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений / Под ред. И.Г. Тюлина. М., 1991; *Греков Б.И., Шацилло К.Ф., Шелохаев В.В.* Эволюция политической структуры в России в 1885–1913 гг. // История СССР. 1988. № 5; *Grekov B.* Comparative Studies of Internal Socio–Political Conflicts // Recent Doctoral Research in Economic History. Leuven, 1992.

[4] "Дранг нах Остен" и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 1871–1918 гг. / Отв. ред. В.К. Волков. М., 1977; *Пипия Г.В.* Политика Германии в Закавказье в 1918 г. Тбилиси, 1971.

[5] *Zeman Z., Scharlau W.* The Merchant of Revolution. The Life of Aleksander Helphand (Parvus). L., 1965; *Zetterberg Z.* Liga der Fremdfolker Russlands. 1916–1918. Helsinki, 1978; *Senn F.F.* The Russian Revolution in Switzerland. 1914–1917. Wisconsin, 1971; *Солженицын А.* Ленин в Цюрихе. Paris, 1975; *Fischer F.* Griff nach der Weltmacht. Düsseldorf, 1961; *Bihl W.* Die Kaukasus–Politik der Mittelmächte. Wien, 1975. Teil 1.

[6] Politisches Archiv des Auswärtigen Amts in Bonn (далее – AA Bonn). Bestand Bern. Stepankowski.

[7] *Grekov B.* "Russland ist unser kunftiges Absatzgebiet". Walther Rathenau und Russland zwischen 1914 und 1922 // Walther Rathenau 1867–1922. Die Extreme beruhren sich. N.Y.; B., 1995.

[8] Deutsches Zentral Archiv (DZA). Potsdam. Reichskanzler. Grosses Hauptquartier, 21, N 2476 Bethmann–Hollweg an Delbrück. 09.09.1914.

[9] *Class H.* Zum deutschen Kriegsziel. München, 1917.

[10] *Apunen O.* Finnland in der Politik des Kaiserlichen Deutschland. 1914–1915. Helsinki, 1968. S. 10.

[11] *Fischer F.* Op. cit. S. 151.

[12] *Zeman Z.* Germany and the Revolution in Russia. L., 1958.

[13] *Senn F.F.* Op. cit.

[14] *Трухановский В.Г.* Уинстон Черчилль. М., 1968.

[15] AA. Bonn. Bern 811. L246400.

[16] *Zeman Z.* Op. cit.

[17] AA. Bonn. Bern 811. L246399.

[18] AA. Bonn. Bern 813. L246710.

[19] AA. Bonn. Bern 812. L216551.

[20] AA. Bonn. Bern 813. L246725.

V. ВОЙНА, ЧЕЛОВЕК И СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ

РАБОЧИЕ РОССИИ И ВОЙНА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ

Ю.И. Кирьянов

В последние годы немало говорилось о "несовершенстве схем", по которым воссоздавалась история рабочего движения в нашей стране, в том числе в период Великой войны. Но это не означает отрицания вклада, внесенного отечественными историками в разработку данной темы и касающегося, прежде всего, характеристики масштабов стачечного движения, деятельности большевистских партийных организаций, выпуска ими листовок и т.д.[1] Но, как правило, прежние исследования в большей или меньшей степени несли на себе груз односторонних, однобоких и в конечном счете ущербных построений, что приводило к искаженному изображению рабочего и всего общественного движения в стране. В самой общей форме можно сказать, что одним из основополагающих подходов доперестроечной исторической литературы к освещению событий досоветского прошлого являлось выявление в них предпосылок социалистической революции. Подобный подход естественным образом был сопряжен со сглаживанием трудностей развития рабочего класса, уходом от освещения "незрелых", неорганизованных, стихийных форм борьбы и, наоборот, с акцентированием внимания на политических, революционных формах социального протеста рабочих. Это в свою очередь побуждало историков к искусственной политизации рабочего движения, отнесению к разряду революционных выступлений, которые таковыми не являлись, к игнорированию или сугубо негативному освещению деятельности в рабочей среде партийных организаций всех политических направлений, кроме большевистского. В конечном счете все это имело следствием приукрашивание рабочего движения, искажение соотношения различных форм пролетарской борьбы, ее характера и направленности, места и роли рабочего класса в жизни общества.

Рассмотрим вышеупомянутые аспекты этой большой и, безусловно, важной темы в хронологических рамках периода первой мировой войны (до февральско-мартовских событий 1917 г.).

© Ю.И. Кирьянов

Формы борьбы и социального протеста

В советской историографии внимание исследователей фокусировалось прежде всего, если не исключительно, на стачках и демонстрациях. При этом немало обычных стачек на экономической почве "подтягивалось" до уровня политических и антивоенных (демонстрационное движение по условиям военного времени было слабым). С другой стороны, такие формы социального протеста рабочих (или членов их семей), как продовольственные выступления, заканчивавшиеся погромами магазинов и складов, выступления мобилизованных рабочих сходного характера, террористические акты, поджоги промышленных объектов и т.п., если и упоминались в литературе, то лишь скороговоркой. Вследствие такого подхода образовался как бы двойной перекос в сторону организованности и политической направленности движения.

Между тем не укладывающиеся в традиционную схему рабочего движения акции, например уличные выступления на почве дороговизны, занимали свое особое место в рабочем движении. Их было в условиях военного времени не так-то много: в июле–декабре 1914 г. – 3, в 1915 г. – 15, в 1916 г. – 53, в январе–феврале 1917 г. – 7, т.е. гораздо меньше, чем стачек. Но значимость их определялась не числом, а размахом и воздействием на население и солдат тыловых гарнизонов, которые вызывались для подавления таких выступлений. Достаточно сказать, что некоторые из них охватывали тысячи людей, продолжались по два–три дня, а ущерб от них нередко определялся десятками и сотнями тысяч и даже миллионами рублей. Места подобных выступлений объявлялись "на особом положении" со всеми вытекающими отсюда последствиями[2]. Именно в связи с этими выступлениями (а не в ходе стачек и демонстраций) известно наибольшее число случаев (их было семь) неповиновения солдат, вызывавшихся для их подавления, приказам командиров и представителей властей, а также братания солдат с "бунтующим" населением (обычно же упоминался лишь один случай отказа солдат стрелять в рабочих – так поступили солдаты 181-го полка в Петрограде в октябре 1916 г.). Вместе с тем нелишне отметить, что в 5 из 17 телефонных депеш, поступивших 23–24 февраля 1917 г. в Петроградское охранное отделение (т.е. в первые дни начавшейся революции), сообщалось, что в городе рабочие некоторых фабрик и заводов, наряду с прекращением работ и проведением митингов и демонстраций, участвуют в разгромах магазинов, лавок, складов[3].

Февральская революция, проходившая под лозунгами "Хлеба! Мира! Свободы!" являлась глубоко народным движением, в котором приняли участие и "сознательные", и "середняки", и низшие слои рабочих; и в силу этого она не могла не представлять собой переплетения самых различных форм борьбы и социального протеста – экономических и политических стачек, уличных собраний и митингов, демонстраций, разгромов продовольственных магазинов и лавок, стычек с полицией и т.п.

После начала войны с Германией среди рабочих усилились настроения протеста против "внутреннего немца", против "немецкого засилья". Они охватили довольно широкие слои рабочих Центрального района, Юга и даже Петрограда. Причин и поводов для этого было более чем достаточно: придирчивое отношение к рабочим и проявления непатриотичности со стороны представителей фабрично-заводской администрации из числа немцев или австрийцев, продовольственные затруднения, отступление русских войск весной и летом 1915 г. и т.п.

Уже в конце 1914–1915 г. фабричная инспекция и полиция неоднократно фиксировали стачки рабочих, выдвигавших единственное требование – удалить с предприятий представителей администрации немецкой и австрийской национальности. Они не носили экономического характера, но не укладывались и в рамки понятия "классово-политических стачек", к которым их нередко причисляла фабричная инспекция.

Антинемецкие настроения выражались не только в форме указанных выше стачек, но подчас и в форме погромов магазинов и предприятий, принадлежавших лицам немецкой национальности. Первые такие выступления отмечались уже в октябре 1914 г.: это были погромы магазинов австро-германских подданных в Москве (за что 19 человек были подвергнуты аресту сроком на три месяца и четыре – на один месяц)[4].

Особой остроты антинемецкие настроения в рабочей среде достигли в мае–июне 1915 г. На конец мая пришелся и немецкий погром в Москве. Даже если принять во внимание известную "организацию" (инспирирование) московского погрома местными властями (это делалось сторонниками "партии продолжения войны" – вел. кн. Николаем Николаевичем через главноначальствующего г. Москвы кн. Ф.Ф. Юсупова-старшего, в свою очередь пользовавшегося услугами градоначальника Адрианова), то данный инцидент не приобрел бы такого размаха и остроты, не будь определенного "настроя" населения и рабочих. Выступление началось с прекращения работ рабочими нескольких предприятий, добивавшимися удаления администраторов-немцев.

Стачки нередко сопровождались манифестациями и шествиями. На начальном этапе некоторые из них стали заканчиваться погромами магазинов и даже квартир немецких и австрийских подданных, напоминавшими еврейские погромы первых лет XX в. в Кишиневе, Гомеле и других местах.

Чтобы составить более точное представление о направленности, ходе, формах и масштабах событий, воспользуемся "Донесением" московского градоначальника от 10 июля 1915 г. В нем отмечалось: "На почве раздражения применяемым германцами и австрийцами способом ведения войны, а также в связи с возникшими на Прохоровской мануфактуре острожелудочными заболеваниями, которые народная молва приписывала отравлению немцами питьевой воды, возникли серьезные беспорядки". В числе первых было столкновение женщин, получавших в одном из комитетов заказы на швейные работы, с

заведующей, принятой за немку. 26 мая на фабрике Гюбнер рабочие, прекратив работу, потребовали удаления с фабрики всех лиц германского происхождения.

27 мая манифестации охватили большую часть московских окраин, и к вечеру этого дня толпа, насчитывавшая от 8 до 10 тыс. человек, ворвалась во двор, а затем и в контору фабрики Циндель, где убила управляющего фабрикой, пытавшегося оказать ей сопротивление. Та же толпа произвела беспорядки на фабрике Шрадера и других предприятиях, причем были убиты еще четыре человека и избито несколько чинов полиции.

28 мая забастовали все рабочие Москвы и в центральных частях города начался погром немецких магазинов, постепенно охвативший почти весь город. В упомянутом выше "Донесении" говорилось: "Во многих случаях ограбленные помещения поджигались. Разбитие водочной фабрики Шустера и винных погребов еще более ожесточило толпу, которая начала уже врываться в частные квартиры, разыскивая немцев и уничтожая их имущество. Поджоги, грабежи, буйство продолжались всю ночь с 28 на 29 мая и только утром этого дня погром был прекращен совместными усилиями полиции и войск, с применением оружия, так как в некоторых местах толпа проявила попытки строить баррикады"[5]. В ходе столкновения пострадало несколько полицейских, а со стороны участников погрома убиты 6 и ранен 31 человек.

28 мая в Москве не работали, по-видимому, от 100 до 200 тыс. рабочих. Это были стачечники, и активные, и пассивные, которые не могли работать вследствие разгрома их предприятия или "из боязни". В манифестациях и погромах, естественно, участвовало меньшее число рабочих, причем часто это были женщины и подростки.

В ходе погрома пострадали 457 германских и австрийских предприятий и 207 квартир и домов, 113 германских и австрийских подданных (а вместе с ними и 489 русских подданных с иностранными фамилиями, и подданных других государств, и 90 русских с русскими фамилиями)[6]. 28 мая было отмечено 150 пожаров. Ущерб, нанесенный погромом, оценивался примерно в 50–70 млн рублей[7]. (Для сравнения можно отметить, что во время наиболее крупных "продовольственных погромов" в 1915–1916 гг. ущерб оценивался примерно в 1–2 млн рублей).

30 мая антинемецкие выступления в Москве после вмешательства полиции и солдат прекратились. Высшая и местная администрация были напуганы тем "перехлестом", который получился в ходе этого выступления, инспирированого самими же московскими властями. Подобного рода выступлений не наблюдалось более нигде, хотя в ряде мест антинемецкие настроения среди рабочих были достаточно сильными.

«Враждебного правительству характера действия толпы, – как отмечала охранка, – не имели, сцены разрушения нередко сопровождались пением гимна и "Спаси, Господи", а отдельные попытки связать в глазах толпы немецкое засилье с действиями правительства, делавшиеся некоторыми представителями революционных партий, остались безуспешными»[8].

В печати иногда проскальзывали указания на то, что подстрекателями "московских беспорядков" являлись якобы правые организации. Но заявления и высказывания деятелей правого толка сводились к порицанию любых массовых выступлений в условиях военного времени. С другой стороны, некоторые выступления рабочих в Москве в конце мая подчас пытались представить как протесты против антинемецкого погрома. Г.Г. Касаров указывал девять таких выступлений, в которых приняло участие 1,5 тыс. рабочих[9]. Однако проверка отсылок к архивным источникам показала, что все эти (и многие другие) выступления были связаны с всплеском антинемецких настроений. Революционные организации от них, как правило, открещивались.

Подобного рода выступления, как и сугубо патриотические стачки и манифестации по поводу взятия русскими войсками Перемышля в марте 1915 г., вступления в войну на стороне России Румынии в августе 1916 г., посещения того или иного предприятия царем и т.д., безусловно, должны учитываться при изучении истории рабочего движения. Именно такой подход дает возможность понять и объяснить ход его развития, события Февральской революции. Рабочее движение в действительности было более многообразным по своим формам, более многоликим, чем оно представлялось в советской историографии.

Характер выступлений рабочих

При определении их характера, и прежде всего это касается стачек, прежняя литература особенно грешила разного рода передержками. Использовались самые различные "зацепки", чтобы обычное выступление посчитать политическим.

Весьма показательна в этом отношении характеристика реакции рабочих на начало войны в многотомной "Истории КПСС". В ней читаем: «В день объявления войны, 19 июля, прекратили работу 27 тысяч человек на 21 предприятии Петербурга. Рабочие выходили на улицу и организовывали многолюдные антивоенные демонстрации под красными знаменами... Демонстранты нападали на полицию, требовали роспуска по домам запасных, кричали "Долой войну!", пели "Марсельезу". Протест против начавшейся бойни прокатился по всем крупнейшим центрам страны. Первые несколько дней войны не работало ни одно более или менее крупное предприятие Риги, в различных районах города происходили митинги и демонстрации. В июле–августе выступления рабочих, а также запасных и крестьян отмечены в Москве, Твери, на Украине (Екатеринослав, Луганск, Макеевка, Бахмут, станция Ясиноватая, некоторые уезды Киевской, Волынской и Подольской губерний), в Белоруссии (Мозырский, Игуменский, Пинский и Сипненский уезды), на юге России (Парамоновский, Софиевский, Веровский, Варваропольский, Александровск-Грушевский рудники), в Азербайджане (Баку, включая Балахано-Сабунчинский нефтеносный район, Гянджа, Евлах, Доллар, Тауз, Акстафа), в Царицыне, Людинове (Калужская губерния), на Урале и в Сибири. В большинстве случаев это были волнения мобилизованных, отправляемых в действующую армию. Почти все они проходили неорганизованно. Но даже стихийные бунты, погромы помещичьих имений, лавок, складов и т.д. были инстинктивным протестом против войны и ее виновников»[10]. Этот текст почти дословно воспроизводился во многих работах, в том числе и в вышедших в 80-е годы[11]. Следует заметить, что определенные основания для подобного рода заключений имелись. В некоторых официальных документах, например, в отчете Петербургского градоначальника, отмечалось: "...19 июля, в связи с призывом запасных по мобилизации войск, возникла забастовка на 21 предприятии с общим числом рабочих до 27 000 человек. Означенная забастовка так же, как и предыдущие, сопровождалась демонстративными выступлениями рабочих..."[12]

Воспроизведенный нами документ интерпретировался большинством авторов как указание на антивоенную стачку 19 июля 1914 г. 27 тыс. рабочих 21 предприятия столицы. Между тем для подобной интерпретации цитируемого документа нет оснований. Эти "стачки" представляли собой невыход рабочих на предприятия в первые дни после объявления мобилизации и были связаны с призывом в армию или проводами в армию близких и товарищей и не носили антивоенного характера. Они не сопровождались предъявлением каких-либо требований, что является характерным признаком стачки как формы социального протеста. Возможно, имели место попытки использовать возникшую ситуацию для организации антивоенных стачек, но самих стачек провести не удалось. Были отмечены лишь три кратковременные уличные демонстрации антивоенного характера.

Не являлись антивоенными, как их квалифицировали многие авторы, и имевшие место во время июльской мобилизации крупные выступления запасных, отправляемых в действующую армию, как правило, заканчивавшиеся столкновениями с полицией. Такие выступления прошли в Донбассе, в горнозаводских поселках Урала, в ряде мест Белоруссии. Это были выступления мобилизованных, пытавшихся перед отправкой в части громить винные склады[13]. Как доносил начальник Донского областного жандармского управления, 19 июля 1914 г. около 17 часов "толпа запасных нижних чинов вместе с рабочими" макеевских заводов подошла к поселковому полицейскому правлению и "предъявила требование к бывшему в то время в управлении полицией приставу Макеевского горного района Ломовцеву сделать распоряжение об открытии казенных винных лавок". Получив отказ, толпа "угрожала разгромом лавок". В связи с этим был вызван взвод казаков, который применил огнестрельное оружие, что повлекло за собой человеческие жертвы: 10 человек были убиты и 15 ранены. Донесение заканчивалось следующим заключением: "Сведениями, собранными самым тщательным образом – при помощи всех агентурных источников – констатируется полное отсутствие политической подкладки во всем происшедшем, что подтверждается также отсутствием каких бы то ни было демонстрационных выступлений со стороны рабочих на похоронах убитых. Рабочие, как заводские, так и рудничные, отнеслись к свершившемуся отрицательно. Ход работ нигде до настоящего времени не нарушался. Всё – без сомнения – только пьяное дело"[14].

С момента объявления первой мобилизации 16–17 июля и до конца 1914 г. в России не было ни одной антивоенной стачки. Лишь в Петрограде предпринимались попытки организовать 19 июля три антивоенные демонстрации. Что касается политических стачек, то они прошли по поводу ареста и суда над депутатами-большевиками IV Государственной Думы (ноябрь 1914 г. и февраль 1915 г.), годовщины "Кровавого воскресенья" (9 января), Ленского расстрела (4 апреля) и 1 мая 1915 г. Но это были стачки довольно немногочисленных групп рабочих всего лишь нескольких предприятий Петрограда, Москвы и некоторых губернских городов.

Стремление "выправить" картину, придать ей радужные краски, можно наблюдать в литературе прошлых лет и в большевистской нелегальной печати военного периода и при освещении первомайских выступлений. Так, по официальным данным, в Петрограде в первомайских стачках 1915 г. приняло участие 859 рабочих 10–15 предприятий[15]. Между тем, согласно опубликованной информации в газете "Социал-демократ" (№ 48), в них участвовало 35 тыс. рабочих. Эта цифра затем широко использовалась в работах советских исследователей[16].

Аналогичный "перехлест" можно отметить и в освещении Первомая в Москве, причем в данном случае делалась ссылка на официальный документ охранки – "Список фабрик и заводов, прекративших работы по случаю 1 мая 1915 г.", – в котором констатировалось, что в этот день в Москве бастовало 19 тыс. рабочих на 74 предприятиях. Эти данные также нередко встречались в литературе[17]. Однако охранка, приводя их, сочла нужным сделать пояснение, на которое уже никто из исследователей не обращал внимания. В документе говорилось: «Сегодня (1 мая 1915 г.) бастовало (в) Москве 19 тысяч рабочих (на) 74 предприятиях, причем во многих предприятиях работы кончались после обеда, по соглашению с хозяевами, по издавна установившейся традиции, вне связи (с) Первым мая. При выходе с завода "Динамо" рабочие пытались запеть "Марсельезу", но пение было немедленно прекращено нарядом полиции. Никаких демонстраций (в) городе не было...»[18]. Если допустить, что количество участников первомайской стачки в Москве не превышало все же числа аналогичных стачечников в столице, то вошедшая в литературу цифра в 19 раз превышала действительную (а в Петрограде – в 35 раз).

Численность участников первомайских стачек в 1916 г. в литературе также завышена. В "Сводке телефонных сообщений полицейских надзирателей в Московское охранное отделение за 2 мая", опубликованной в сборнике "Первое мая в царской России", указывалось 13 предприятий, не работавших в этот день и, как можно полагать, причисляемых составителями сборника к первомайским[19]. Именно таким образом воспринимал этот текст А.И. Уткин, когда писал: "Наиболее значительным было выступление московского пролетариата. В Москве бастовало 9 907 рабочих на 13 предприятиях"[20]. Но в данном случае необходимо принять во внимание, что Первомай в этом году приходился на воскресенье, когда большинство предприятий не работало. В документах имеется подтверждение принадлежности лишь 3-х стачек (из 13) к первомайским: в депо Брянских железнодорожных мастерских (1 мая 35 стачечников из 200 рабочих), в кошелечной мастерской Гвоздева (2 мая, 30 из 30) и в портновской мастерской Логинова (2 мая, 29 из 29). Относительно всех остальных случаев в официальном документе говорится, что рабочие выдвигали экономические требования, а сами стачки не носили демонстративного характера, подчас продолжаясь до 4 и 5 мая. Таким образом, фактически в первомайских стачках в Москве участвовало не 9907 рабочих на 13 предприятиях, а всего 94 рабочих на 3 предприятиях.

Нельзя отнести к числу первомайских и стачку 1-го орудийного и 4-го снарядного цехов Пермских пушечных заводов, как это отмечено в сборнике "Первое мая в царской России" и в другой литературе[21]. Безосновательно причислять к первомайским стачки на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Уфимской губ., во Владивостоке (на экономической почве!), на табачной фабрике общества "Комета" в Тифлисе, на некоторых предприятиях в Витебске и Орше[22].

Некоторые же авторы, идя от схемы, а не от конкретного материала, в своем стремлении "политизировать" рабочее движение доходили просто до курьезных заключений. Так, Л.С. Юдина, исследовавшая рабочее движение на Урале, писала: "В мае (1916 г.) произошла 51 забастовка, в которых участвовало 21 тыс. человек. Только 1 мая бастовали 13 заводов... рабочие Пермского пушечного завода (Мотовилиха), рабочие Оренбурга, Перми, Миньярского, Невьянского, Верх-Исетского, Верхне-Туринского, Полазинского заводов, железнодорожных мастерских Екатеринбурга"[23]. В действительности же ни одного первомайского выступления в 1916 г. на Урале не было. Составленная еще в 1925 г. на основании донесений местных губернских жандармских управлений "Сводка" "происшествий" 1 мая 1916 г. подтверждает правильность сделанного нами утверждения[24].

В литературе о первой мировой войне нередки случаи зачисления в разряд политических тех стачек, в ходе которых отдельные группы рабочих, занятые на особо тяжелых участках, выдвигали требование 8-часового рабочего дня. Можно насчитать примерно два десятка выступлений, когда такое требование выдвигалось. Но оно не было классовым, обращенным ко всем предпринимателям, к правительству, его следует квалифицировать как профессионально-цеховое, связанное с крайне тяжелыми условиями труда в данном производстве, цехе.

Представляется неправомерным относить требования 8-часового рабочего дня на предприятиях с тяжелыми условиями труда к политическим, как это делалось в работах Л.В. Бардаговой, М.В. Церцвадзе, Л.С. Юдиной и др.[25]

Деятельность партийных организаций

И в освещении данного сюжета в советской литературе можно было наблюдать, даже с чисто формальной точки зрения, как бы двойной перекос: доскональное, с привлечением явно завышенных данных, освещение деятельности большевиков и игнорирование или представ-

ление в сугубо негативном плане действия партийных организаций и групп иных политических направлений – меньшивиков, бундовцев, украинских социал-демократов, эсеров, анархистов и др.

Рассмотрим прежде всего вопрос о численности большевиков накануне Февральской революции 1917 г. (по приблизительным подсчетам В.И. Ленина, накануне войны она составляла примерно 30–50 тыс. человек)[26]. По интересующему нас вопросу в "Истории КПСС" сказано: к началу 1917 г. партия насчитывала в своих рядах примерно 24 тыс. человек (по расчетам С.Г. Струмилина, основанным на данных партийной переписи 1922 г.); наиболее крупными (согласно документам местных организаций) были петроградская парторганизация – около 2 тыс. членов, московская – около 600, уральские – 500, екатеринославская – около 400, нижегородская – свыше 300, ростово-нахичеванская – 170, тверская – 120–150, иваново-вознесенская – 150–200, харьковская – 200, самарская – около 150, киевская – 200, макеевская – 180–200 членов[27]. Цифры С.Г. Струмилина в несколько раз превышают суммарный показатель численности крупнейших местных организаций (около 24 тыс. и несколько более 4 тыс. членов). Следует заметить, что данные о местных организациях более точно отражают истинное положение, поскольку были заимствованы из партийных документов или партийной печати непосредственно 1916 или начала 1917 г., из выступлений представителей с мест на Апрельской конференции РСДРП(б) в 1917 г. Это дает основание считать, что даже с учетом отсутствия сведений о некоторых местных организациях показатель С.Г. Струмилина (24 тыс.) является завышенным по крайней мере в два-три раза[28].

Как вспоминал в 1925 г. один из участников рабочего и социал-демократического движения в столице, "нельзя закрывать глаза на то, что во время войны некоторое, и довольно значительное, количество рабочих отошло от большевистской партии"[29]. О сокращении численности партийных организаций социал-демократов, а также социалистов-революционеров, бундовцев говорилось в перлюстрированном полицией письме из Петрограда от 28 октября 1916 г., что было, видимо, характерно вплоть до осени этого года[30].

Конечно, и 12 тыс., и 24 тыс. человек – небольшие показатели даже для трехмиллионной армии промышленных рабочих. Но все же минимальная цифра может внести больше ясности в соотношение партийных сил, которое сложилось после февральских событий. При этом нетрудно допустить, что и накануне Февральской революции в ряде мест меньшевистские, эсеровские и другие легально действовавшие партийные организации – их представители работали в больничных кассах, профсоюзах, кооперативах, рабочих группах при Военно-промышленных комитетах (ВПК) и т.п. – могли численно превосходить большевистские, действовавшие в подполье и подвергавшиеся постоянным преследованиям.

Что же касается освещения деятельности партийных организаций в связи с массовым рабочим движением, то они сводилось примерно к следующему. Во главе массовых выступлений как политического, так и

экономического характера с начала войны и до конца 1916 г. были большевики. Меньшевистские и эсеровские организации, долгое время вообще отрицательно относившиеся к массовым выступлениям (в них участвовали лишь отдельные их представители), сколько-нибудь существенной роли в массовом движении не играли.

Не отрицая наличия рационального зерна в этой схеме, следует все же внести в нее и существенные коррективы. Они сводятся к следующему. До лета 1915 г., а в некоторых случаях и позднее, местные большевистские организации весьма сдержанно относились к предложениям некоторых своих же членов призвать рабочих к выступлениям, опасаясь, что те не поймут такого призыва и организация будет дискредитирована. Как доносил петроградский градоначальник, "индифферентизм большинства рабочих по отношению к арестованным и подлежавшим суду депутатам (большевикам IV Гос[ударственной] думы) и критическое отношение рабочих к листкам и воззваниям, призывающим к выступлению в день суда (10 февраля 1915 г.), заставили инициаторов затеи отказаться от задуманных эффектных выступлений ввиду отсутствия каких бы то ни было надежд на успех и во избежание дискредитации авторитетности обслуживаемого ими партийного подполья. Рассмотрение дела над бывшими членами Гос[ударственной] думы, продолжавшееся в течение четырех дней, и вынесенный судом обвинительный приговор, опубликованный во всех газетах, почти не произвел на рабочих никакого впечатления"[31]. Лишь 1 мая 1915 г. произошло некоторое оживление массовых политических выступлений, которые оставались еще малочисленными и разрозненными, что объяснялось, согласно "Докладу" Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице, уже несколько иными причинами – "слабостью местной руководящей социал-демократической группы, не имевшей достаточного количества деловых связей на местных фабриках и заводах и систематически дезорганизовывавшейся арестами наиболее серьезных и активных деятелей, с одной стороны, и боязнью репрессий военного времени – с другой..."[32]

Второе, что следует отметить, – это участие по крайней мере некоторых меньшевистских, эсеровских организаций, анархистов-синдикалистов, украинских социал-демократов и т.п. в подготовке массовых выступлений в годовщину Кровавого воскресенья, в день 1 мая и др., а также в подготовке некоторых стачек солидарности и стачек протеста, особенно начиная с 1916 г.

Лишь в последние годы деятельность названных партий получила достаточно широкое и всестороннее освещение в научной литературе, что привело и к пересмотру господствовавших ранее штампов[33]. Это выразилось в переоценке деятельности и центральных органов, и местных организаций этих партий, в частности в 1915 – феврале 1917 г. Изменение общих оценок позволило представить участие меньшевиков, эсеров и т.п. в политических акциях непосредственно в стране, материал о которых отчасти был известен и ранее. В организации стачек в Петрограде в феврале–марте 1916 г. принимали участие большевики и эсеры: действовал межпартийный стачечный

комитет представителей различных заводов и фабрик[34]. Большевики и эсеры призывали рабочих к выступлениям в связи с 1 мая 1916 г.[35] Большевики и эсеры активно участвовали в стачке рабочих Сормовского завода в 1916 г.[36] В ноябре 1916 г. анархисты-синдикалисты вели агитацию на ряде предприятий Москвы за проведение стачки в знак протеста против войны и в поддержку Государственной думы. Во второй половине 1916 – начале 1917 г., по полицейским данным, в рабочей среде активно действовали Бакинская и Красноярская эсеровские группы[37]. В условиях обострения политической напряженности призыв к стачкам и уличным выступлениям в годовщину "Кровавого воскресенья" – 9 января 1917 г. прозвучал в листовках не только большевиков, но и эсеров, меньшевистской "рабочей группы" Центрального военно-промышленного комитета (ЦВПК) (чего в 1916 г. она не делала), анархистов[38].

Косвенно о деятельности в среде рабочих представителей партийных организаций различных политических направлений могут свидетельствовать и данные московской охранки о партийной принадлежности арестованных в 1915 г. (анархистов-коммунистов – один, эсеров – 29, социал-демократов – 210) и "специализации" сотрудников охранки в декабре 1916 г.: из 52 сотрудников по РСДРП работало 18 человек, по общественному движению и кадетской партии – 11, по партии социалистов-революционеров – четыре, по анархистам – три и по "латышскому движению" – один человек[39].

Особый вопрос – это выступления в поддержку Государственной думы (в связи с временным прекращением ее деятельности или возобновлением ее работы) и их освещение в литературе. Первый всплеск таких стачек произошел 3–7 сентября 1915 г. Поводом явился временный перерыв в работе Думы. Тогда в акциях протеста участвовало около 100 тыс. рабочих примерно 170 предприятий в Петрограде (65 тыс.), Москве (30 тыс.) и Нахичевани. Это была первая крупная волна политических стачек. Для сравнения отметим, что в связи с арестом депутатов-большевиков в ноябре 1914 г. в Петрограде бастовала 1 тыс. рабочих (на 1 предприятии), в Харькове – 72 человека (в 4 типографиях). В связи с судом над депутатами в феврале 1915 г. в Петрограде бастовали 236 рабочих на 6 предприятиях и в Москве 2018 рабочих тоже на 6 предприятиях, 1 мая 1915 г. бастовали 21,4 тыс. рабочих на 120 предприятиях 16 городов страны. Приведенные данные свидетельствуют о том разительном сдвиге, который произошел в массовом политическом движении с февраля по сентябрь 1915 г., и это отметила нелегальная печать. Вот как характеризовались события в Москве в связи с роспуском Думы в одной из корреспонденций в "Социал-демократе": "Август. Головокружительное отступление армии, измены на фронте усиливают недовольство и волнение в массах... С роспуском Думы (3 сентября 1915 г.) движение входит окончательно в политическое русло. Забастовка, возникшая стихийно, была поддержана организацией и рассматривалась как протест против общей политики правительства, как один из этапов борьбы, а не как поддержка Думы. Бастуют все более крупные

металлические заводы. Собрания и шествия на многих фабриках... брожение среди железнодорожников... сдвиг, в сравнении с маем, громадный"[40].

Вторая волна выступлений в поддержку Думы началась в ноябре 1916 г., когда вновь была прервана ее работа. Тогда по этому поводу бастовало 16,9 тыс. рабочих 23 предприятий Москвы. В декабре 1916 – январе 1917 г. в Петрограде протест против отсрочки возобновления деятельности Думы (наряду с выдвижением некоторых других требований) выразили 54 тыс. стачечников 12 предприятий. В Москве часть забастовщиков в годовщину "Кровавого воскресенья" также выдвигала требование скорейшего возобновления работы Думы (рабочие 11 из 46 предприятий, охваченных забастовкой). Это требование прозвучало в Москве и во время уличного выступления рабочих 12–13 января 1917 г. (на 12 января первоначально намечалось открытие сессии Государственной думы, перенесенное затем на 14 февраля).

При этом следует заметить, что если в проведении массовых акций, связанных с годовщиной "Кровавого воскресенья" и неудовлетворительным продовольственным снабжением рабочих, активность проявляли большевики, то об организации выступлений рабочих в поддержку Думы "беспокоились" прежде всего меньшевики и анархисты-синдикалисты. Достаточно сказать, что в Москве в ноябре 1916 г. были распространены именно прокламации последних (в большевистских же документах, прокламациях Дума нередко называлась "реакционной").

Особо в этом плане следует рассмотреть события в Петрограде, приуроченные к открытию 14 февраля 1917 г. сессии Государственной думы. Меньшевики столицы, зная заранее о дате открытия сессии, призвали рабочих покинуть в этот день (вторник) свои предприятия, выйти на улицу и направиться к Таврическому дворцу, где заседала Дума, побуждая ее прогрессивную часть объявить себя Временным правительством. Большевики, стремясь помешать этой акции и перехватить у меньшевиков инициативу, призвали рабочих выйти на улицу в годовщину суда над большевистскими депутатами IV Думы 10 февраля 1917 г. Но тогда прекратили работу лишь 400 рабочих 3 предприятий Петрограда. Неудача была расценена большевиками столицы как тактический просчет, ибо 10 февраля приходилось на пятницу Масляной недели. Последовал новый призыв большевиков – выйти на улицу в понедельник 13 февраля и продолжать выступление 14 февраля, не организовывая, однако, шествия к Таврическому дворцу. Но и на этот раз произошла осечка: забастовали лишь 1,8 тыс. рабочих двух предприятий в Петрограде и 2 тыс. московских рабочих тоже на двух предприятиях.

Совсем иная картина наблюдалась 14 февраля 1917 г., когда на улицу вышли, по полицейским данным, 84 тыс. рабочих 52 предприятий столицы[41]. На следующий день по этому же поводу бастовало 25 тыс. рабочих 20 предприятий. Едва ли есть основания сомневаться в том, что основная роль в организации этого выступления принадлежала меньшевикам из рабочих групп ЦВПК и Петроградского областного

ВПК (показательно, что многие из членов этих групп были арестованы в конце января за подготовку массового выступления 14 февраля). Приведенные данные свидетельствуют о весьма широком распространении в среде рабочих в начале 1917 г. настроений "революционного оборончества".

В заключение можно отметить, что наметились определенные сдвиги и в освещении деятельности организаций правых партий в рабочей среде[42]. После долгого перерыва появились публикации документов, а также исследования, затрагивающие эту тему и показывающие углубление – в условиях экономического и политического кризиса в стране – кризиса самих этих партий и их местных организаций, столь разительно проявившегося в критические для монархии и самодержавия февральско-мартовские дни 1917 г., когда – в отличие от 1905–1906 гг. – не последовало ни одного массового уличного выступления правых в защиту режима и династии.

* * *

Таким образом, можно констатировать, что несмотря на определенные достижения советской исторической литературы о рабочем движении в России в период первой мировой войны и Февральско-мартовской революции 1917 г., освещение многих аспектов этой важной темы нуждается в пересмотре, корректировке. Однако, как показывают издания последних лет по этой тематике (достаточно редкие), практически в этом отношении мало что делается и по-прежнему "на поверхности" вольно или невольно оказываются старые, однобокие схемы и трактовки многих вопросов, хотя эти схемы и трактовки принадлежат далеко не лучшим этапам в развитии отечественной историографии.

[1] См.: *Кирьянов Ю.И.* Стачечное движение в России в 1914 – феврале 1917 года (По материалам официальных источников и "хроник" выступлений рабочих) // История СССР. 1990. № 5. С. 121–134; *Касимов А.С.* Хроника рабочего движения в Центрально-Черноземном районе (1895 – февраль 1917 г.). Пенза, 1993. 196 с.; *Мейерович М.Г.* Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г.: Хроника. Ярославль, 1995. 120 с.; *Зиновьев В.П., Попелкова Л.В.* Стачечное рабочее движение на Дальнем Востоке России: Хроника. 1905–1916 гг. // Материалы и хроника общественного движения в Сибири в 1895–1917 гг. Томск, 1995. Вып. 2. С. 131–164; *Касаров Г.Г.* Московские рабочие в годы первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917). М., 1996; *Юдина Л.С.* Стачечное движение на Урале в нюне 1907 – октябре 1917 г.: Хроника. М., 1997.

[2] См.: *Кирьянов Ю.И.* Массовые выступления на почве дороговизны в России (1914 – февраль 1916 г.) // Отеч. история. 1993. № 3. С. 13–16.

[3] См.: *Г.[орев] Б.* Февральская революция и охранное отделение // Былое (Пг.) 1918. Январь. № 1(29). С. 162–167.

[4] Голос (Париж). 1914. 12 нояб. № 52.

[5] Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 102. 4 д-во. 1915 г. Д. 108. Ч. 42. Л. 8–8 об. Уличные беспорядки и выступления рабочих в России (по документам ДП. 1914 – февраля 1917) // Ист. архив. 1995. № 5–6. С. 76; об участии рабочих в антинемецком погроме в Москве см.: *Меницкий И.* Революционное движение военных годов. М., 1925. Т. 1. С. 421–424; *Кирьянов Ю.И.* "Майские беспорядки" 1915 г. в Москве // Вопр. истории. 1994. № 12. С. 137–150.

[6] См.: Вестник Европы. Пг. 1915. № 7 (июль). С. 386. См. также: ГАРФ. Ф. Р–546. Оп. 1. Д. 1, 2 (Отдел по финансовым вопросам. По поводу Брестского мира).

[7] См.: *Кирьянов Ю.И.* "Майские беспорядки"... С. 144–145.

[8] ГАРФ. Ф. 102. 4 д-во. 1915 г. Д. 108. Ч. 42. Л. 8–9.

[9] Стачки в России. 1914 – февраль 1917 г.: Хроника / Сост. Г.Г. Касаров. М., 1989. Ч. 1. С. 140; *Касаров Г.Г.* Московские рабочие... С. 127.

[10] История КПСС. М., 1966. Т. II. 486–487.

[11] Рабочий класс России. 1907 – февраль 1917. М., 1982. С. 291; *Попов Н.Н.* Выступления рабочих и крестьян на Урале во время июльской мобилизации 1914 г. // Рабочие Урала в период капитализма (1861–1917). Свердловск. 1985. С. 115, 121, 126; см. также: *Касаров Г.Г.* Московские рабочие... С. 95–96, 99.

[12] ГАРФ, Ф. 102. 4 д-во. 1914 г. Д. 108. Ч. 61. лит. А. Л. 25–26; см. также: Рабочее движение в Петрограде в 1912–1917 гг.: Док. и мат. Л.. 1958. С. 247–248.

[13] ГАРФ Ф. 102. 4 д-во. 1914 г. Д. 138. Ч. 18. Л. 5–8 (Луганск); Л. 11 (ст. Ясиноватая); Л. 12 (Бахмут); Рабочее движение на Украине в период первой мировой империалистической войны: Сб. докл. Киев, 1966. С. 12–16 (Луганск).

[14] ГАРФ Ф. 102. 4 д-во. 1914 г. Д. 138. Ч. 45. Л. 20; Рабочее движение на Украине... С. 11, 12; Уличные беспорядки и выступления рабочих в России (По документам ДП. 1914 – февраль 1917 г.) // Ист. архив. 1995. № 4. С. 93–96.

[15] ГАРФ. Ф. 102. 4 д-во. 1915 г. Д. 108. Ч. 61. лит. А.Л. 7–7 об.; Д. 120. Л. 13; Стачечное движение рабочих России. М., 1986. Ч. 1. С. 186; Рабочее движение в Петрограде в 1912–1917 гг. С. 301.

[16] См.: *Шестаков С.В.* Большевики во главе рабочего движения в России в годы первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.). М., 1961. С. 48; *Уткин А.И.* Ленинская партия во главе революционной борьбы рабочего класса России (июль 1907 – февраль 1917 г.). М., 1985. С. 78.

[17] См.: *Касаров Г.Г.* Стачечное движение в Москве в годы первой мировой войны (19 июля 1914 г. – 25 февраля 1917 г.) // Вести. МГУ. Сер. "История". 1970. № 6. С. 32–33; Стачки в России. 1914 – февраль 1917 г. С. 96–109.

[18] ГАРФ. Ф. 63. 1915 г. Д. 1325. Л. 263; Ф. 102.00.1915 г. Д. 130. Л. 4. См. подробнее: *Кирьянов Ю.И.* 1-е мая в России в 1915–1916 гг. // Буржуазия и рабочие России во второй половине XIX – начале XX века: Материалы зональной межвузовской конференции ЦПР России (Иваново. 8–10 июня 1993 г.). Иваново, 1994. С. 80–84.

[19] См.: Первое мая в царской России. М., 1939. С. 280.

[20] *Уткин А.И.* Указ. соч. С. 86.

[21] Первое мая в царской России. С. 328; *Уткин А.И.* Указ. соч. С. 86.

[22] *Ромас А.А.* Рабочее движение на Дальнем Востоке во время первой мировой войны // Материалы 2-й Дальневосточной межвузовской научной конференции, посвященной 50-летию Советской власти (Хабаровский гос. пед. ин-т). Хабаровск. 1967. С. 38; Первое мая в царской России. С. 323; *Уткин А.И.* Указ. соч. С. 86; Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии. Минск, 1962. Ч. 1. С. 214; *Савицкий Э.М.* Революционное движение в Белоруссии. Минск, 1981. С. 90.

[23] *Юдина Л.С.* Рабочее движение на Урале в годы первой мировой империалистической войны (1914 – февраль 1917 г.) // Рабочий класс Урала в период капитализма (1861–1917). Свердловск, 1988. С. 102–103.

[24] См.: Рабочее движение в годы войны. М., 1925. С. 292–295.

[25] *Церцвадзе М.В.* Революционное движение в Грузии в 1914–1917 гг. М., 1957. Ч. I. С. 222; *Юдина Л.С.* Рабочее движение на Урале... С. 95, 97, 103.

[26] См.: *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 24. С. 34; История КПСС. М., 1966. Т. II. С. 411.

[27] История КПСС. Т. II. С. 652–653.

[28] См.: Актуальные вопросы исследования дооктябрьского периода. Круглый стол // Вопр. истории КПСС. 1990. № 9. С. 40–43.

[29] См.: *Арский Р.* От Февраля к Октябрю. Л., 1925. С. 68–69.

[30] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265 (Перлюстрация). 1916 г. Д. 1058. Л. 861.

[31] ГАРФ. Ф. 102. 4 д-во. 1915 г. Д. 108. Ч. 61. Лит. А.Л. 2.

[32] ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 90. Т. 17. Ч. 32. Л. 5.

[33] Здесь, в первую очередь, следует назвать публикацию документов "Меньшевики в 1917 году" (Т. I. От января до июльских событий. М., 1994). Это издание открывается тремя "Вводными очерками" – Л. Хеймсона "Меньшевизм и большевизм (1903–1917): Формирование менталитетов и политической культуры", В. Миллера "Меньшевистская партия в 1917 г.: Фрагменты истории в оценках российского исследователя" и З. Галили "От группы кружков до зенита политического влияния: Документы меньшевистской партии первых шести месяцев революционного 1917 г." Кроме того, см.: Меньшевики: Док. и мат. 1903–1917 гг./Сост. и автор вводной статьи "Меньшевизм как идейно-политический феномен" С.В. Тютюкин. М., 1996; *Тютюкин С.В., Шелохаев В.В.* Марксисты и русская революция. М., 1996.

[34] *Быстрянский В.* В начале пути (Из документов) // Красная летопись. М.; Пг., 1923. № 7. С. 209.

[35] Листовки петербургских большевиков. Л., 1939. Т. II. С. 215–216; Бюллетень, издаваемый объединенными группами ПСР. Женева. 1916. Июнь. № 1. С. 21.

[36] *Юрьев А.И.* Деятельность социалистов-революционеров среди рабочих в Центральном промышленном районе в мае 1916 – мае 1917 г. // Буржуазия и рабочие России... С. 86–88.

[37] См.: ГАРФ. Ф. 102.00. 1916 г. Д. 9. Ч. 6. Лит. Г.Л. 1–27; 1917 г. Д. 341. Ч. 7. Л. 1–2, 7–11; 1917 г. Д. 344. Л. 1–7 (Баку); Д. 5. Ч. 25. Лит. Б. (Красноярск); Уличные беспорядки. С. 89.

[38] Рабочее движение в годы войны. С. 314, 316–318, 320; Большевики в годы империалистической войны. 1914 – февраль 1917: Сб. док. М., 1939. С. 161, 164–165, 166, 167; Рабочее движение в Петрограде. 1912–1917. Л., 1958. С. 521; ГАРФ. Ф. 124. Оп. 33. 1917 г. Д. 26. Л. 1; Уличные беспорядки и выступления рабочих в России (по документам ДП. 1914 – февраль 1917 г.) // Ист. архив. 1995. № 5–6. С. 94.

[39] *Членов С.Б.* Московская охранка и ее секретные сотрудники по данным Комиссии по обеспечению нового строя. М., 1919. С. 11, 18.

[40] Социал-демократ. 1915. 21 дек. № 40.

[41] Рабочее движение в Петрограде. С. 541, 608.

[42] См.: *Кирьянов Ю.И.* Правые партии в России накануне и в февральско-мартовские дни 1917 г.: Причины кризиса и краха // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: От новых источников к новому осмыслению. М., 1997. С. 79–94.

"...УЖАСНО ДУМАТЬ, ЧТО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО"

(Война глазами вдовствующей императрицы Марии Федоровны)

Ю.В. Кудрина

В течение долгого времени имя предпоследней русской императрицы Марии Федоровны Романовой, урожденной датской принцессы Дагмар, было поистине предано забвению. Лишь в последние годы в результате открытого допуска к архивам исследователи смогли систематически заняться изучением редчайших документов Романовского фонда. Среди них огромную ценность представляет Личный архив фонда императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III и

© Ю.В. Кудрина

матери Николая II, которая была одной из самых примечательных фигур Российского императорского дома. Граф С.Ю. Витте выделял два главных качества Марии Федоровны – ум и дипломатические способности. По словам Феликса Юсупова, обаяние ее удивительной личности оказывало магическое воздействие на всех, кто ее окружал. В период царствования Александра II и Александра III, а позже и Николая II она была активным авторитетным главой огромной организации, известной как Отдел институтов императрицы Марии и Общества Красного Креста. Мария Федоровна вела большую попечительскую и благотворительную деятельность. Она попечительствовала Российскому обществу Красного Креста, Женскому патриотическому обществу, Обществу спасения на водах, Обществу покровительства животным и др. Мария Федоровна являлась почетным членом ряда благотворительных обществ, в том числе Мариинского благотворительного общества при Московской Мариинской больнице для бедных. 30 ноября 1902 г. она была избрана почетным членом Казанского университета.

В ведомстве учреждений Марии Федоровны находились воспитательные дома, приюты, женские учебные заведения.

Архивное наследство предпоследней русской императрицы не исчерпывается фондами российских архивов. Значительная и наиболее интересная часть материалов, связанных с последним периодом ее жизни в Дании (1919–1928), хранится в Архиве Датского королевского дома в Государственном архиве Дании. Там находится большое количество писем Марии Федоровны родителям – королю Кристиану IX и королеве Луизе, а также сестрам и братьям. Автор настоящей статьи была удостоена чести получить от королевы Дании Маргрете II разрешение работать с документами Архива Датского королевского дома. В ходе знакомства с материалами Государственного архива Дании и Архива МИД были обнаружены также ранее не известные ни датскому, ни тем более российскому читателю документы, свидетельствующие о попытках членов датской королевской семьи после Февральской революции в России оказать помощь своим российским родственникам и организовать их отъезд в Данию. Обо всем этом рассказывается в статье.

* * *

Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. По воспоминаниям князя Феликса Юсупова, оказавшегося в те дни вместе с ней и женой Ириной в Копенгагене, множество поездов было предоставлено в распоряжение русских, не имевших возможности вернуться на Родину[1]. При попытке возвращения в Россию через Германию Мария Федоровна подверглась в Берлине грубым издевательствам и вынуждена была вернуться в Копенгаген[2]. Когда она уже через Швецию и Финляндию возвращалась в Россию, финны, которые были особенно расположены к вдовствующей императрице, на станциях

приветствовали ее овациями. Тысячи людей пели в ее честь национальные гимны[3]. Императрица искренне любила Финляндию и всегда "страстно отстаивала ее", по словам государственного секретаря А.А. Половцева, "от натиска русской бюрократии"[4].

После возвращения домой Мария Федоровна некоторое время жила в Елагине, откуда писала своим родственникам письма, полные боли и страдания. 7 сентября 1914 г. вел. кн. Николаю Михайловичу: "Труднее и тяжелее жить здесь, так далеко от всего, когда всем сердцем и душой хотелось бы быть там. Такая тоска и такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать и узнавать результаты. Ужасно думать, что это только начало..."[5]

Ее давняя антинемецкая настроенность выливалась в открытый негодующий протест "против варваров", которые, как она надеялась, "в конце концов будут наказаны". "Это такие чудовища, внушающие ужас и отвращение, каким нет подобных в истории, – писала она в том же письме. – Японцы поступали с ранеными совершенно иначе, поджентльменски, тогда как немцы хуже диких зверей. Надеюсь ни одного из них не видеть всю мою жизнь. В течение пятидесяти лет я ненавидела пруссаков, но теперь питаю к ним непримиримую ненависть..."[6] 12 октября 1914 г. в очередном письме Николаю Михайловичу она вновь возвращается к этой теме: "Живем в постоянном беспокойстве, скрепя сердце и читая в газетах о зверствах варваров и дикарей, германцев, какие подлецы! Надеюсь никогда в жизни не видеть ни одного, особенно Вильгельма, этого одержимого дьяволом"[7].

С начала 1915 г. вдовствующая императрица переезжает в Киев, где активно занимается попечительской деятельностью по линии Российского Красного Креста, во главе которого она стояла с 1880 г.[8] Она регулярно посещала госпитали и лазареты, всегда находя теплые слова для раненых солдат. Особое внимание уделяла инвалидам, слепым и калекам. При ее содействии организуются специальные курсы и школы, где раненые после окончания лечения могли овладеть каким-либо ремеслом[9]. Особенно часто Мария Федоровна посещала Главный госпиталь Киева, попечительскую работу по которому вела ее дочь Ольга Александровна[10]. Два гофмаршала находились в ее распоряжении и поддерживали ее в госпитальной работе: обер-гофмейстер Г.Д. Шервашидзе и гофмейстер В.А. Долгоруков. Административной работой по Красному Кресту занимался принц А.П. Ольденбургский. Он же заботился о снабжении госпиталей инструментами и аппаратурой.

Вдовствующая императрица поддерживала Датский Красный Крест (ДКК) и его деятельность в России. В годы войны многие датские офицеры, врачи и другие лица работали в России в качестве добровольцев. Особое отделение Б. при ДКК решало целый комплекс вопросов, в частности осуществляло инспекцию лагерей военнопленных на всей территории Российской империи, оказывало посредничество в доставке корреспонденции, раздаче продуктов питания и лекарств[11]. Один из руководителей ДКК в Петрограде, подполковник

В.О.И. Филипсен, часто обращался к Марии Федоровне в Киеве с прошениями о поддержке[12]. В свою очередь, ДКК активно занимался судьбой русских военнопленных в Дании. При его штаб-квартире в 1916 г. была создана специальная комиссия под председательством брата Марии Федоровны – принца Вальдемара. Вдовствующая императрица оказывала всяческое содействие ДКК и активно занималась судьбой военнопленных, уроженцев Шлезвига, находившихся на территории России[13]. О радушном и доброжелательном отношении датчан к военнопленным из России постоянно сообщали русские дипломаты[14].

Занятая делами Красного Креста, Мария Федоровна не утрачивала интереса к событиям в политической и военной жизни страны. Она пыталась активно влиять на них.

Во время конфликта, разразившегося между царем и министрами в 1915 г., когда после падения Варшавы Николай II решил стать во главе армии, Мария Федоровна в саду Елагинского дворца в Петрограде около двух часов уговаривала его отказаться от своего решения. Как вспоминала фрейлина ее Величества А.А. Вырубова, "государь передавал, что разговор с матерью был еще тяжелее, чем с министрами, и что они расстались, не поняв друг друга"[15].

Находясь в Киеве, Мария Федоровна регулярно вела дневниковые записи и обширную переписку со своими родственниками, и прежде всего с сыном – императором. В один из октябрьских дней 1916 г. царь вместе с наследником приехали в Киев. Это были последний визит Николая II в материнский дом и последнее свидание Марии Федоровны с внуком.

Тимофей Ксенофонтович Ящик – лейб-казак, находившийся при Марии Федоровне все последние годы ее жизни в России, а затем в Дании, – позже вспоминал, что при прощании с сыном и внуком императрица выглядела подавленной, но пыталась скрыть это и быть общительной и даже веселой. "Разговор, – отмечал Т.К. Ящик, – который состоялся в тот вечер между ней и царем, был чрезвычайно серьезным"[16]. Сам Николай II оставил в дневниках следующую запись об этом визите: "28 октября. Пятница. В $10^1/_2$ прибыли в Киев. Дорогая Мама́ встретила на станции. С Алексеем поехал в Софийский собор и затем во дворец. Посидел с Мама́. Завтракали втроем. Произвел юнкеров 5-й Киевской школы в прапорщики на дворе. Поехали с Мама́ к Ольге в ее лазарет. Она поправляется после горловой болезни. После чая у Мама́ вернулись в поезд. В $8^1/_4$ обедал с Мама́ и оставался с ней до $11^1/_2$ ч."[17]

С глубоким возмущением отнеслась Мария Федоровна к предложению Германии о заключении мира. 3 декабря 1916 г. она писала царю в Ставку: "Мы все находимся под впечатлением немецких предложений (о мире. – *Ю.К.*). Все время одно и то же, он (Вильгельм. – *Ю.К.*) стремится стать в позу миротворца и возложить всю ответственность на нас, если они (предложения о мире. – *Ю.К.*) не будут приняты. Я очень надеюсь, что никто не попадется на эту уловку и мы, и наши союзники сохраним твердость и единство и отвергнем эту

предложенную руку... Как я тебе телеграфировала, Дания уже год тому назад предлагала переправить туда больных военнопленных, чтобы они были накормлены и чтобы сохранить им жизнь... Эта акция не будет стоить ничего. Датчане подготовили ее за свой счет..."[18]

Почти ежедневно писала Мария Федоровна и своей сестре Александре, английской королеве, и та отвечала ей тем же. В одном из последних писем из Лондона, которое получила вдовствующая императрица в январе 1917 г., королева Англии замечала: "Время летит страшно, но мы еще только в середине этой ужасной войны. Когда же наступит долгожданный конец! Может быть, после того, как мы основательно уничтожим этих ненавистных германцев! Господь должен простить эти мысли. Мы человечнее – они же настоящие варвары, в наихудшем виде, лишенные человеческих чувств и сострадания..."[19] Александра хорошо знала об антигерманских настроениях вдовствующей императрицы. Но не один только военный противник вызывал мучительные раздумья Марии Федоровны. Окружение царя также составляло предмет ее неменьшей тревоги.

Неоднократно в своих письмах сыну Мария Федоровна умоляла его расстаться с Распутиным, указывая на нравственную низость последнего, а также запретить царице вмешиваться в государственные дела[20]. Император не скрывал этих советов матери от жены, и отношения царственных особ становились все более натянутыми. Нередко дело доходило и до прямых ссор и стычек. По свидетельству французского посла в России Мориса Палеолога, вел. кн. Мария Павловна*, ссылаясь на свои встречи и беседы с Марией Федоровной, рассказывала ему, что, как только Мария Федоровна принималась "увещевать сына, она сразу раздражалась. Она ему иногда говорила как раз то, что ему не следовало бы говорить... Она его оскорбляет, она его унижает. Тогда он становится на дыбы. Он напоминает матери, что он император. И оба расстаются поссорившимися"[21].

В придворных кругах, близких к Александре Федоровне, о чем свидетельствуют воспоминания фрейлины императрицы А.А. Вырубовой, вдовствующую императрицу часто называли "Гневной"[22]. Действительно, многое из того, что творилось в высших сферах императорского двора, вызывало ее гнев и негодование. По воспоминаниям Е.А. Святополк-Мирской, императрица-мать неоднократно жаловалась на то, что "для нее ужасно действительно видеть, что сын все губит, понимать это и быть не в состоянии ничего сделать"[23].

Современники отмечали, что Мария Федоровна близко к сердцу принимала историю с Распутиным. Во время ее беседы с председателем Совета министров В.Н. Коковцовым, состоявшейся после того, как вопрос о принятии карательных мер против печати (в связи с откликами в прессе на слухи о Распутине) стал широко обсуждаться в Думе, Мария Федоровна "горько плакала", обещала поговорить с государем и

* Мария Павловна-старшая (до принятия православия – принцесса Макленбург-Шверинская) (1854–1920) – супруга вел. кн. Владимира Александровича (с 1874), президент Академии художеств.

закончила беседу такими словами: "...несчастная моя невестка не понимает, что она губит и династию и себя. Она искренне верит в святость какого-то проходимца, и все мы бессильны отвратить несчастье"[24].

После убийства Распутина Мария Федоровна просила сына не возбуждать следствия против убийц этого гения зла. В ответной телеграмме Николай II заверил мать, что никакого следствия производиться не будет и дело об убийстве будет передано "воле Божьей"[25].

Между тем развитие событий в Петрограде к началу 1917 г. вызывало открытое беспокойство всех членов императорской семьи. Вел. кн. Николай Михайлович[2*] в письме Николаю II в ноябре 1916 г. пытался раскрыть ему глаза на происходящее. "Я долго колебался, – писал он, – открыть всю истину, но после того, как твоя матушка и твои обе сестры меня убедили это сделать, я решился"[26]. Однако вскоре Николаю Михайловичу было предложено покинуть столицу. 11 января 1917 г. он писал Николаю II: " Ввиду того что мне неизвестны причины моей высылки из столицы и совесть моя чиста как хрусталь, то позволю себе обратить твое внимание на создавшуюся обстановку"[27]. Она (эта обстановка) и в самом деле была критической, хотя, как некоторые считали, поправимой с помощью Марии Федоровны. 14 февраля 1917 г. Феликс Юсупов писал вел. кн. Николаю Михайловичу: "Как не хотят понять, что если не сделают то, что нужно свыше, то это будет сделано снизу, сколько прольется невинной крови..." Он предлагал, "если еще не поздно", принять решительные меры: воспользовавшись отъездом императора в Ставку, с помощью императрицы Марии Федоровны "с людьми, которые ей могут помочь и поддержать, отправиться в Петербург и вместе с Алексеевым[3*] и Гурко[4*] арестовать Протопопова[5*] и Щегловитова[6*]... отправить в Ливадию Александру Федоровну и Анну Вырубову". "Только такая мера", по мнению Ф. Юсупова, могла, возможно, "еще спасти" положение[28].

Императрица-мать, также безмерно обеспокоенная развитием событий, 17 февраля писала Николаю II в Ставку: "Так много случилось с тех пор, что мы не виделись, но мои мысли тебя не покидают, и я понимаю, что эти последние месяцы были очень тяжелыми для тебя. Это меня страшно мучает и беспокоит. Ты знаешь, как ты мне дорог и

2* Вел. кн. Николай Михайлович (1859–1919) – старший сын вел. кн. Михаила Николаевича, председатель Русского Географического и Русского Исторического обществ, доктор философии Берлинского ун-та, доктор русской истории Московского ун-та, автор работ по истории России и международных отношений конца XVIII – начала XIX в.

3* Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – генерал, начальник штаба Юго-Западного фронта (1914–1915), командующий Северо-Западным фронтом (1915). Верховный главнокомандующий (1917).

4* Гурко Василий Иосифович (1864–?) – генерал-лейтенант, командующий 5-й армией и и.о. начальника штаба Верховного главнокомандующего (1914–1916).

5* Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) – депутат III и IV Думы, товарищ председателя IV Думы, последний царский министр внутренних дел в 1916–1917 гг.

6* Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918) – министр юстиции (1906–1916), председатель Государственного совета (1917).

как мне тяжело, что не могу тебе помочь. Я только могу молиться за тебя и просить Бога подкрепить тебя и подвигнуть на то, чтобы ты мог сделать все, что в твоей власти, для блага нашей дорогой России... ...Так как мы теперь говеем и стараемся очистить наши души, надо покопаться в себе и простить всем и самим просить прощения у тех, которых мы чем-либо обидели. Я уверена, что ты сам чувствуешь, что твой резкий ответ семейству (т.е. членам царской фамилии, великим князьям. – *Ю.К.*) глубоко их оскорбил, так как ты совершенно незаслуженно бросил в их адрес ужасные обвинения. Надеюсь всем сердцем, что ты облегчишь участь Дмитрия, не пустив его в Персию, где климат летом столь отвратителен, что ему с его слабым здоровьем просто не выдержать..."[29]

Известие о том, что Николай II 2 марта 1917 г. подписал отречение от престола, по словам вел. кн. Ольги Александровны (сестры царя), "поразило нас как гром среди ясного неба". "Мы все были парализованы. Моя мать была вне себя, – вспоминала она позднее, – и я всю ночь провела у нее. На следующий день она поехала в Могилев, а я возвратилась назад к моей работе в госпитале"[30]. В Ставке, куда Мария Федоровна прибыла вместе со своим зятем – вел. кн. Александром Михайловичем, она в последний раз встретилась с сыном. В чудом сохранившейся памятной книжке за 1917 г. (начатой 1 января и оконченной 24 апреля 1917 г.) ею сделаны краткие записи о пребывании в Могилеве и последних встречах и беседах с сыном, передающие атмосферу вокруг него[31].

3/16 марта 1917 г.: "...Сандро (Александр Михайлович. – *Ю.К.*) пришел в $9^1/_4$ и сообщил ужасные подробности об отречении Ники. Все безнадежно плохо... Сандро предложил поехать к нему, и я сразу согласилась..."

4/17 марта 1917 г.: "...в 12 часов прибыли в Ставку в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции... Горестное свидание! Он открыл мне свое кровоточащее сердце, оба плакали...

Бедный Ники рассказал обо всех трагических событиях, случившихся за два дня. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять все с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию; затем – чтобы спасти страну – предложил образовать новое правительство и... отречься от престола в пользу своего сына (невероятно!). Но Ники, естественно, не мог расстаться со своим сыном и передал трон Мише! Все генералы телеграфировали ему и советовали то же самое, и он... подписал манифест. Ники был неслыханно спокоен и величествен в этом ужасно унизительном положении..."

5/18 марта: "...была в церкви, где встретилась с моим Ники, молилась сначала за Россию, затем за него, за меня, за всю семью... в 11 часов служба окончилась.

К завтраку приехал Александр[7*] и просил меня, чтобы Ники усхал.

[7*] Принц Ольденбургский Александр Петрович – генерал от инфантерии, отец первого мужа Ольги Александровны.

Я спросила куда, за границу?!. То же самое советовал Фредерикс[8*]. Ники сказал мне, что ему тоже советуют уехать как можно скорее, но он думает, что нужно дождаться ответа из Петербурга: безопасно ли там. Возможно, ответ придет завтра. Он был невероятно спокоен..."

6/19 марта: "...позор перед союзниками. Мы не только не оказываем влияния на ход войны, но и все потеряли..."

7/20 марта: "...написала письмо Alix[9*], получила наконец и от нее три старые телеграммы... Завтракала с Ники. Снег идет постоянно... Ники принял военных агентов, а я в 3 часа отправилась к себе. Все безнадежно плохо!..

Приехал Александр, чтобы убедить Ники ехать сразу дальше. Легко сказать, со всеми больными детьми!

Все ужасно! Да поможет Бог! Ники приехал в середине дня с Лейхтенбергским[10*] . Я передала ему, что Александр и Вильямс[11*] советуют ему не задерживаться в Царском Селе. Прибыл Нилов[12*] и сказал, что Ники может завтра ехать..."

8/21 марта: "...один из самых горестных дней моей жизни, когда я рассталась с моим любимым Ники!

...Ники пришел после 12-ти проститься со Штабом и остальными. Завтракали у меня в поезде: Борис[13*] и мои. Был и командир полка Георгиевских кавалеров. Бесподобный человек, произвел на меня прекрасное впечатление. Ники прощался с ним и Георгиевскими кавалерами. Сидели до 5 часов, пока он не ушел. Ужасное прощанье! Да поможет ему Бог! Смертельно устала от всего. Нилов не получил разрешения ехать с Ники. Все очень грустно! Бóльшая часть свиты остается в Могилеве. С Ники поедут только: Лейхтенбергский, В. Долгоруков[14*], Кира[15*], проф. Федоров[16*]".

9/22 марта: "...ничего не слышно от Ники..."

10/23 марта: "...прибыли в Киев в 1 час дня. Все изменилось, на станции никого, только на перроне люди в гражданском. Ни одного флага над дворцом...

Наконец получила телеграмму от моего Ники. Он прибыл в Царское Село. Говорят, что он не получил разрешения видеть свою собственную семью... Ужасные негодяи!.."[32]

По возвращении в Киев Мария Федоровна, по воспоминаниям ее дочери Ольги Александровны, была неузнаваема. "Я никогда не видела мать в таком состоянии. Сначала она молча сидела, затем начинала

[8*] Фредерикс Владимир Борисович – барон, граф, министр императорского двора.

[9*] Английская королева Александра – сестра Марии Федоровны.

[10*] Лейхтенбергский Александр Георгиевич – флигель-адъютант.

[11*] Вильямс Джон – английский военный агент в Ставке.

[12*] Нилов Константин Дмитриевич – адмирал, флаг-капитан е.и.в.

[13*] Вел. кн. Борис Владимирович.

[14*] Долгоруков Василий Александрович – генерал-майор в должности гофмейстера.

[15*] Нарышкин Кирилл Анатольевич – генерал-майор, начальник военно-походной канцелярии е.и.в.

[16*] Федоров Сергей Петрович – профессор Военно-медицинской академии, почетный лейб-хирург.

ходить туда-сюда, и я видела, что она больше выведена из себя, нежели несчастна. Казалось, она не понимала, что случилось, но винила во всем Alix (Александру Федоровну, жену Николая II. – *Ю.К.*)"[33].

Несмотря на уговоры ближайших родственников, Мария Федоровна не хотела покидать Киев и переезжать в Крым, мотивируя свой отказ тем, что желает быть ближе к своему сыну Ники. Она продолжала посещать госпиталь к большому беспокойству окружающих[34]. Только после того как в один из дней, когда, подъехав к зданию госпиталя, она увидела закрытыми госпитальные ворота, а главный врач, ссылаясь на мнение медперсонала, прямо заявил, что ее присутствие является нежелательным, вдовствующая императрица дала свое согласие на отъезд из Киева[35]. К этому времени Киевский городской Совет издал приказ о необходимости всем членам бывшей императорской семьи покинуть город. Оставаться в городе становилось все опаснее.

В мае 1917 г. Мария Федоровна с дочерьми Ксенией и Ольгой и их мужьями вел. кн. Александром Михайловичем и полковником Н.А. Куликовским переехали в Крым. Здесь вдовствующая императрица находилась в течение двух с половиной лет, до апреля 1919 г. Сначала в Ай-Тодоре, затем в Дюльбере и Харакасе[17*]. Пребывание в Крыму стало для нее практически домашним арестом, полным постоянных лишений и унижений. "...Мы фактически арестованы, – писала ее дочь Ксения в июньские дни 1917 г. вел. кн. Николаю Михайловичу, – и находимся в руках Комитета, которому правительство нас так мило подарило. За что и зачем – никому не известно... Последние дни нам совершенно запрещено выходить из Ай-Тодора только из-за того, что ходят какие-то послы от контрреволюции, а мы-то при чем?.. Если нам тяжело, и часто все это невтерпеж, то каково же бедной Мама́! Перед ней просто стыдно, и что ужасно – это то, что ничем и никак ей не помочь! Видишь и сознаешь ее страдание и бессилен ее утешить, предпринять что-либо. Это ужасное наказание... Можешь себе представить, что эти уроды до сих пор держат Мама́ письма и только вернули ей небольшую часть ее вещей. И если бы ты только видел, как невыносимо больно и горько, что творится на фронтах. Это такой позор, который никогда не смоешь, что бы ни случилось!"[36]

В российских архивах сохранилось письмо, написанное Марией Федоровной брату Вальдемару в мае 1917 г., которое отразило то душевное состояние, в котором находилась бывшая императрица в те роковые для России, для нее и всей императорской семьи дни. "Как только не разорвется сердце, – писала она, – от такого количества горя и отчаяния. Только Господь Бог помогает вынести эти несчастья, которые поразили нас с быстротой молнии". Мария Федоровна тяжело переживала, что не имела никакой связи с остальными членами своей семьи, постоянно возвращаясь к мысли о сыне "бедняге Ники, на долю которого", по ее словам, "выпали такие испытания"[37]. Николай II, как

[17*] Ай-Тодор – имение вел. кн. Александра Михайловича, Дюльбер – вел. кн. Николая Николаевича.

свидетельствуют его дневниковые записи, также остро переживал отсутствие связи с матерью. В день своего рождения, 6 мая 1917 г., он записал: "Мне минуло 49, недалеко и до полсотни. Мысли особенно стремились к дорогой Мама́. Тяжело не быть в состоянии даже переписываться. Ничего не знаю о ней, кроме глупых и противных статей в газетах". 9 июня 1917 г. он писал: "Ровно три месяца, что я приехал из Могилева и что мы сидим как заключенные. Тяжело быть без известий от дорогой Мама́, а в остальном мне безразлично..."[38]

Мария Федоровна между тем оказалась более склонной к рефлексии, серьезному допросу прошлого. Возвращаясь к событиям января–марта 1917 г., вдовствующая императрица писала своему брату: «Можно ли было предвидеть такую ужасную катастрофу! Как, оказывается, сильно были возбуждены умы! Как долго играли с огнем!.. Одна ошибка следовала за другой, почти каждую неделю смена министерства, и наконец это ужасное назначение Протопопова[18*], который оказался настоящим подлецом и предателем, хотя пытался выдать себя за прекрасного и преданного друга... Чтобы оправдать себя, он говорил: "Как мне надо было себя вести с этими двумя сумасшедшими..." ...Какой низкий человек; он все время лгал, что все хорошо и что она (Александра Федоровна. – *Ю.К.*) умнее, чем даже Екатерина Вторая! Как чувствует она себя сейчас, несчастная!..»[39]

Несмотря на то что Мария Федоровна отвергла мысль об отъезде из России ("...Аснер пишет, что я как будто просила о разрешении уехать, я и не думаю делать это..."[40]), она надеялась на встречу со своими дорогими близкими: "...мои мысли горестны, – писала она брату, – я чувствую постоянное уныние и неописуемые страдания, но я часто вижу перед собой ваши дорогие лица и надеюсь, что я услышу и ваши голоса. Кто бы мог подумать три года назад, когда мы расставались в Frihaven (порт в Копенгагене. – *Ю.К.*), что война продлится так долго и что страна поведет себя так позорно. Я никогда не могла представить себе, что нас вышвырнут и что придется жить в своей собственной стране как беженцам"[41]. Домыслы зарубежной прессы возмущали ее. Так, с негодованием она писала, что "одна из стокгольмских газет сообщала, что судьба бросила ее якобы на сторону революции". "Я была крайне возмущена, – писала она, – прочитав это сообщение... надеюсь, что никто из вас не поверил этому, только сумасшедший может написать обо мне что-либо подобное..."[42]

Вместе с Марией Федоровной в Крыму находились некоторые члены бывшей императорской семьи и люди, близкие к ним: вел. кн. Александр Михайлович с семьей, бывший Верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич, князь Феликс Юсупов с женой Ириной (внучкой императрицы), графиня Менгден, С.Д. Евреинова,

[18*] А.Д. Протопопов был самым доверенным лицом царской семьи. По словам министра иностранных дел первого состава Временного правительства П.Н. Милюкова, Протопопов сыграл "роль могильщика царского режима". В феврале 1917 г. он предпринял попытку вооруженного подавления революции (см.: *Милюков П.Н.* Воспоминания. Т. II. С. 199).

Н.Ф. Фогель, князья Г.Д. Шервашидзе и С. Долгорукий и др.[43] В феврале 1918 г. Наркоматом имуществ РСФСР было принято постановление об упразднении канцелярии Марии Федоровны[44]. В апреле 1918 г. Ялтинский Совет постановил расстрелять Романовых, между тем как Севастопольский Совет не хотел их казнить без суда и, по крайней мере, без приказа лично от Ленина. Тогда в Ялту приезжала следственная комиссия. По указанию Петроградского Совета были произведены обыски, в частности личного имущества Марии Федоровны, были изъяты ее дневниковые записи и письма сына из Тобольска. Матросы забрали также и Библию, которую она привезла в Россию из Дании, не тронув по счастливой случайности семейную шкатулку с драгоценностями[45]. Когда императрице предложили подписать показания: "бывшая императрица России", она написала: "вдова императора Александра III"[46].

Почему Мария Федоровна не покинула Россию сразу после революции? Как ее решение остаться повлияло на судьбу ее детей? Не привело ли оно к роковому исходу для многих членов императорской семьи, и в первую очередь для ее сына и его близких? Ее поведение, скорее всего, определялось стремлением не оставлять сына и нежеланием создать о себе впечатление правительницы, бросившей страну в роковые для нее дни. Тогда она задавала себе только один вопрос: "Что же в конце концов произойдет с нашим несчастным, бедным Ники, который сидит со своей семьей запертым в собственном доме? Так тяжело постоянно думать о его несчастной и горестной судьбе. Можно совсем заболеть. Все более чем ужасно, и ты можешь представить, как это день и ночь мучает и терзает меня. О нем ничего не слышно..."[47]

Находившиеся рядом с Марией Федоровной родственники и близкие ей люди удивлялись тому, с каким мужеством держалась она в те трудные для ее семьи дни. Князь Г.Д. Шервашидзе в письме вел. кн. Николаю Михайловичу отмечал: "Ее Величество приводит нас в восторг тем достоинством, с которым себя держит. Ни одной жалобы на стеснительное, не снившееся ей положение, в каком она пребывает, спокойное и приветливое выражение, одним словом, такая, какою всегда была... Такое ее поведение немало подымает и наше расположение духа и помогает нам легче переносить тягости заключения и царящее уныние"[48].

В сентябре–октябре 1917 г. Мария Федоровна перенесла тяжелое простудное заболевание, которое надолго приковало ее к постели. Близкие всячески поддерживали ее и помогали преодолеть болезнь. Утешением для бывшей императрицы было общение с внуками[49], особенно с маленьким Тихоном – первым сыном Ольги Александровны, родившимся в Крыму.

23 февраля 1918 г. ее дочь вел. кн. Ольга Александровна писала в Тобольск своей племяннице Марии Николаевне (дочери бывшего российского императора): "Тихон совсем не гуляет. Очень редко, когда тихо, выносим, и он сперва очень радуется и рассматривает все вокруг, но очень быстро его шляпа оказывается на одном боку или над самими глазами и он делается сонным. Жаль, что нет колясочки; на руках

таскать его по горам утомительно, да и ему не очень удобно. Давно обещали дать нам колясочку маленькой Ирины (у них две), но, вероятно, со всеми неприятностями и волнениями просто забыли, а мне стыдно напомнить... Дождемся тепла, и тогда спрошу опять; с трудом получаем свои деньги из банка. Дают не более трехсот в месяц – это при ужасной здешней дороговизне – не хватает. Итак, на этой неделе пришлось продать две пары сапог Ник.Ал.[19*] Смешно? Не правда ли? К счастью, добрая милая Наталия Ивановна Орж.[20*] прислала нам своего масла и окорока (нам и Бабушке), и мы блаженствуем... Посылка после 2-х месяцев приехала благополучно"[50].

Как свидетельствовал лейб-казак Тимофей Ксенофонтович Яцик, Мария Федоровна "изредка получала от сына короткие письма или почтовые открытки. Императрица была им очень рада, хотя, естественно, они не могли много рассказать о том, что действительно происходило в Тобольске, где находилась императорская семья"[51]. В российских архивах сохранилось одно из писем, написанных Марией Федоровной Николаю II в те осенние месяцы 1917 г. "Дорогой мой, милый Ники! – писала мать сыну в Тобольск 21 ноября. – Только что получила твое дорогое письмо от 27 октября, которое меня страшно обрадовало Не нахожу слов тебе достаточно это выразить и от души благодарю тебя, милый. Ты знаешь, что мои мысли и молитвы никогда тебя не покидают – день и ночь о вас думаю, и иногда так тяжело, что, кажется, нельзя больше терпеть, но Бог милостив... Слава Богу, что вы все здоровы... и все вместе. Вот уже год прошел, что ты и милый Алексей были у меня в Киеве. Кто мог тогда думать, что ожидает и что ты должен пережить! Просто не верится. Я только живу воспоминаниями и переживаю прошлое и стараюсь забыть, если возможно, страшное.

Твое дорогое первое письмо от 19 сентября я получила и извиняюсь, что до сих пор не могла ответить, но Ксения тебе объяснила...

Я ужасно сожалею, что тебя не пускают гулять... знаю, как это тебе и детям необходимо. Просто непостижимая жестокость. Я наконец совсем поправилась после длинной болезни и могу снова быть на воздухе после 2 месяцев...

Живем мы очень тихо и скромно. Мой новый внук Тихон нам всем приносит огромное счастье. Он растет и толстеет с каждым днем и такой прелестный... Отрадно видеть, как Ольга счастлива и наслаждается своим Baby, которого она так долго ждала... Она и Ксения каждое утро бывают у меня... Мы всегда голодны. Продукты так трудно достать, особенно белого хлеба и масла нам очень недостает, но иногда добрые люди нам помогают...

Я была очень обрадована милыми письмами Алексея и моих внуков, которые мне пишут. Я их всех благодарю и крепко целую. Мы всегда говорим о вас и думаем. Грустно быть в разлуке. Так тяжело не видеться, не говорить..."[52]

19* Николай Александрович Куликовский – второй муж Ольги Александровны.

20* Н.И. Оржевская – попечительница Житомирской общины милосердия.

Датский королевский дом и правительство Дании с осени 1917 г. предпринимали попытки по спасению жизни Марии Федоровны и ее ближайшего окружения. В шифрованной телеграмме от 10 сентября 1917 г. в адрес датского посольства в Петрограде говорилось, что правительство Дании дало свое согласие на приезд в страну вдовствующей императрицы, также указывалось на необходимость выяснения его возможной даты и подготовки этой акции в условиях строгой секретности, "дабы не скомпрометировать высоких лиц государства"[53].

Аналогичные попытки по спасению жизни членов дома Романовых предпринимались испанской королевской семьей. В октябре 1917 г. король Альфонс XIII и испанское правительство пытались добиться взаимопонимания в Лондоне в целях подписания соответствующего соглашения с Временным правительством для организации выезда царя и его семьи через Финляндию и Швецию. С этой целью испанский король лично обращался к королю Англии Георгу V, племяннику Марии Федоровны, а также к королевским особам Швеции и Норвегии[21*]. Однако его обращение успеха не имело[54].

Между тем шифрованные телеграммы датского посланника в Петрограде Харальда Скавениуса весной 1918 г. с информацией о положении членов императорской семьи шли в Копенгаген одна за другой. 12 марта посол сообщал, что жизнь членов императорской семьи, находящихся в Крыму "под надзором матросских и солдатских банд", в опасности. "Вдовствующая императрица, ее две дочери и зятья, – писал он, – находятся в ужасающих условиях без денег, испытывая большие лишения... Великий князь Михаил арестован и переведен в одиночку в Пермь. Обращение плохое... Его жизнь в опасности. По последним сообщениям из Тобольска, караульная служба настроена очень враждебно. Никто не может сказать, какая судьба ждет императора, императрицу и их детей"[55]. 3 апреля Скавениус вновь писал о полном безденежье и недостатке продуктов питания в Крыму. Согласно его донесению, датское посольство в Петрограде предпринимало попытки по переправке через границу в Данию сына арестованного в Перми вел. кн. Михаила Александровича, скрывавшегося с гувернанткой в посольстве. Скавениус сообщал также, что "из Тобольска приходят плохие новости. Условия становятся все хуже. Безденежье полное"[56].

В начале мая 1918 г. в результате оккупации Крыма германскими войсками вдовствующая императрица перешла под "немецкий контроль"[57]. Во время встречи с немецким офицером она заявила о своем желании покинуть Россию и вернуться в Данию[58]. Однако 15 мая 1918 г. датский посол в Берлине граф Мольтке сообщил в Копенгаген, что немецкая сторона считает нежелательным выезд Марии Федоровны из России. Он также писал, что российский посол в Берлине Адольф Иоффе от имени советского правительства потребовал, чтобы все без

[21*] Принцесса Мод (1869–1938) – дочь Эдуарда VII и Александры, английской королевы, сестры Марии Федоровны, – была замужем за принцем Карлом Датским, с 1905 г. королем Норвегии под именем Хокона VII.

исключения члены царской семьи остались в стране во имя спасения их жизней[59].

Вскоре после этого Харальд Скавениус по собственной инициативе предпринял еще несколько шагов по облегчению положения родственников царя. После тщетных попыток получить аудиенцию у Ленина он направил представителя Красного Креста датского врача Карла Кребса к Марии Федоровне в Крым, чтобы помочь ей с продуктами питания[60]. Кребс, хорошо владевший русским языком, в годы войны объездил всю Россию, распределяя продукты и доставляя вакцину в лагеря для военнопленных. Накануне отъезда в Крым Кребс посетил Л. Троцкого, чтобы получить у него разрешение на сопровождение императрицы в случае ее отъезда из России, а также на транспортировку продовольствия. По воспоминаниям Кребса, весь первый день он напрасно прождал приема у Троцкого. На следующий день его приняли. "Мария Федоровна является для нас старой реакционной дамой, и судьба ее для нас безразлична", – заявил Л. Троцкий[61]. "Но для нас она остается датской принцессой, и этот факт означает многое в отношениях Дании к России", – ответил ему К. Кребс. Троцкий захлопнул дверь перед Кребсом со словами: "Мария Федоровна должна подать ходатайство о паспорте на тех же основаниях, как и любое другое лицо"[62].

Попытки Датского королевского дома по спасению жизни членов царской семьи активизировались весной–летом 1918 г. 16 апреля король Кристиан X и принц Вальдемар в телеграмме в посольство Дании в Петрограде настаивали на скорейшей организации отъезда из Крыма Марии Федоровны и других членов дома Романовых. Путь через Россию рассматривался ими как опасный. Рекомендовался маршрут пароходом из Ялты в Констанцу. Для подготовки отъезда королевская семья выделила 60 тыс. рублей[63]. Кристиан X обращался также к германскому императору Вильгельму II с просьбой "сделать что-либо для столь близких ему лиц". Однако кайзер отклонил просьбу короля, мотивируя это тем, что его посредничество "лишь ухудшит ситуацию".

В июле 1918 г. датское правительство получило из Петрограда сообщение Харальда Скавениуса об убийстве императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и их детей[64]. Ни правительство, ни Королевский дом не сделали по этому поводу никаких официальных заявлений[65]. Министр иностранных дел Дании Эрик Скавениус, дядя датского посланника в Петрограде Харальда Скавениуса, придерживался мнения, что события в России являются "внутренним делом русских"[66]. Однако в память царской семьи в Копенгагене в Русской церкви на Бредгаде была отслужена скорбная панихида, на которой присутствовали члены королевской семьи и дипломаты, аккредитованные в датской столице. Это трагическое известие заставило монархические фамилии в Европе активизироваться. В июле 1918 г. испанский король Альфонс XIII в шифрованной телеграмме на имя датского посольства в Петрограде заявил, что он готов принять в Испании членов царской семьи: вдовствующую императрицу Марию Федоровну и Александру Федоровну с наследником[67]. Испанская сторона просила "найти способ

сообщить об ответных предложениях для скорейшего решения вопроса". В телеграмме, поступившей 9 августа 1918 г. от испанского посла в Норвегии Агуэроса в адрес министра иностранных дел Дании Эрика Скавениуса, говорилось, что король Испании провел переговоры как в России, так и за ее пределами с целью "доставить в Испанию императрицу Марию Федоровну и Александру Федоровну с детьми и что его королевское высочество надеется, что это удастся"[68]. Усилия европейских монархов в конечном итоге увенчались успехом. Английский король Георг V, племянник вдовствующей императрицы, по настоянию своей матери, прислал за ней в Крым военный корабль "Мальборо"[69].

11 апреля 1919 г. Мария Федоровна покинула Россию. Ей было тогда 72 года, и она прожила на русской земле около 52 лет. Ближайшим родственникам стоило большого труда убедить ее в необходимости отъезда. Императрица "проявляла твердость характера, что было ей свойственно в трудные минуты жизни", и долгое время "наотрез отказывалась уезжать из России"[70]. Вместе с ней были ее дочь Ксения с мужем и детьми и другие близкие родственники[71].

Тяжело переживавшая весть о гибели царской семьи, вдовствующая императрица долгое время продолжала верить, что сын ее Николай II и его семья "чудодейственным способом" спасены[72]. Она запретила близким ей людям заказывать панихиды по членам царской семьи. Как писал в своих воспоминаниях вел. кн. Александр Михайлович, находившийся в те годы рядом с Марией Федоровной, "вдовствующая императрица так никогда и не поверила советскому официальному сообщению, которое описывало сожжение тел царя и его семьи. Она умерла в надежде все еще получить известие о чудесном спасении Ники и его семьи"[73].

[1] *Юсупов Ф., кн.* Перед изгнанием: Книга воспоминаний. 1887–1919. М., 1991. С. 135.

[2] «Когда поезд Императрицы пришел из Копенгагена в Берлин, – пишет в своих воспоминаниях Н.А. Епанчин, – то на станции толпа отнеслась к Государыне крайне враждебно, с криками "alte affe" ("старая обезьяна"), с ругательствами. Немцы не позволили Императрице следовать далее в Россию...» (*Епанчин Н.А.* На службе трех императоров. М., 1996. С. 395 и др.).

[3] См. воспоминания финского посла К.Г. Идмана о встрече с Марией Федоровной в Копенгагене в Видере осенью 1919 г.: *Malmstrøm S.R.* Dagmar. Princesse of Danmark. Kajserinde of Rusland. Kbhvn, 1939. S. 228–229; *Clausen H.C.* Kajserinde Dagmar, Princesse of Danmark, Storfyrstinde of Finland, Finlands og sønderjydernes trofaste ven. Kbhvn. 1991.

[4] См.: Дневник А.А. Половцева. 1901. Февраль // Красный архив. 1923. Т. 3. С. 145.

[5] Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 670. Архив вел. кн. Николая Михайловича. Оп. 1. Д. 191. Л. 54а–55 (пер. с фр.).

[6] ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 191. Л. 54а–55. Мария Федоровна – вел. кн. Николаю Михайловичу. Елагин, 7 сент. 1914 г. (пер. с фр.).

[7] Там же. Л. 56–58. Мария Федоровна – вел. кн. Николаю Михайловичу. Елагин, 12 окт. 1914 г.

[8] В 1915 г. в ведении Российского общества Красного Креста находились: 71 крупный госпиталь, 118 подвижных и этапных лазаретов, 58 передовых отрядов, 11 санитарных поездов, 185 питательных пунктов, действовавших в прифронтовых зонах, 22 дезинфекционных и 5 хирургических отрядов, 34 санитарных транспортных средства и других полевых учреждений. Крупнейшими госпитальными центрами были Киев и Тифлис (Тбилиси), как наиболее близкие к районам Западного и Кавказского фронтов.

[9] *Jaschik T.K.* En livkosaks erindringer. Kbhvn. 1968. S. 66.

[10] *Александр Михайлович, вел. кн.* Книга воспоминаний. М., 1991. С. 215.

[11] *Gerald H.* Davis National Red Cross Societies and Prisoners of War in Russia, 1914–18 // Journal of Contemporary History. 1993. Vol. 28. S. 31–52; *Brun A.H.* Blandt Krigsfanger i Turkestan. Kbhvn. 1930; *Jensen B.* Danmark og det russiske spørgsmål 1917–1924. Århus, 1979. S. 166.

[12] *Енсен Б.* Миссия Датского Красного Креста в России 1918–1919 // Отечественная история. 1997. № 1. С. 27–41.

[13] ГАРФ. Ф. 642. Архив Имп. Марии Федоровны. Оп. 1. Д. 2758. Л. 13, 13 об., 16, 16 об., 19, 37, 37 об., 38, 38 об. Harald Scavenius – Maria Feodorovna, den 29/16. Mart 1915; den 18/5. August 1915; den 29/12. December 1915; den 26/13. September 1916; den 19/6. Juni 1916.

[14] См.: Архив внешней политики Российской Империи. 1915 г. Ф. Канцелярия. МИД. Оп. 470. Д. 30. Секретная телеграмма посланника в Копенгагене Буксгевдена на имя Нератова от 23 мая/5 июня 1915 г. № 68. Л. 27; 1916 г. Д. 24. Секретная телеграмма Буксгевдена на имя управляющего отделом. О военнопленных, от 9/22 авг. 1916 г., № 234. Л. 116.

[15] *Николай II.* Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. С. 517–518.

[16] *Jaschik T.K.* Op. cit. S. 67.

[17] Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 585–609.

[18] ГАРФ. Ф. 601. Архив Имп. Николая II. Оп. 1. Д. 1297. Л. 125.

[19] Там же. Ф. 642. Оп. 1. Alex – Dagmar. Marlboro house. Den 26. Januar 1917 (пер. с дат.).

[20] *Юсупов Ф., кн.* Указ. соч. С. 215.

[21] *Палеолог М.* Россия накануне революции. М., 1991. С. 257–258.

[22] Дневник и воспоминания Анны Вырубовой. М., 1990. С. 150.

[23] Дневник Е.А. Святополк-Мирской за 1904–1905 // Исторические записки. 1965. № 77. С. 278–279.

[24] См.: *Милюков П.Н.* Воспоминания. 1859–1917. М., 1990. Т. II. С. 87.

[25] *Медведев С.И.* Николай II и его двор. М., 1917. С. 10.

[26] ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 128. Л. 151.

[27] Там же. Л. 205. Вел. кн. Николай Михайлович – Николаю II. Грушевка, 11 января 1917 г.

[28] ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 178. Л. 1–3 об.

[29] Там же. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1297. Л. 129. Мария Федоровна – Николаю II. Киев, 17 февраля 1917 г. (на рус. и фр. яз.). Основными заговорщиками, решившимися на убийство Г. Распутина, были Ф.Ф. Юсупов, вел. кн. Дмитрий Павлович, В.М. Пуришкевич, в заговоре также принимали участие поручик С.М. Сухотин и военный врач С.С. Лазаверт (Дневники императора Николая II. С. 692).

[30] *Vorres J.* Den sidste storfyrstinde. Kbhvn, 1994. S. 118–121.

[31] Во время обыска в Крыму у Марии Федоровны были конфискованы три дневника и письма Николая и его семьи. См.: ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1297. Л. 131–135.

[32] Там же. Ф. 642. Оп. 1. Д. 42. Памятная книжка имп. Марии Федоровны 1917 г. (пер. с дат.). 3–8 марта Л. 32–40; см. также: Дневник Николая Романова. 1917 // Красный архив. 1927. Т. 20.

[33] *Vorres J.* Op. cit. S. 120–121.

[34] *Александр Михайлович, вел. кн.* Указ. соч. С. 218; *Юсупов Ф., кн.* Указ. соч. С. 190.

[35] *Vorres J.* Op. cit. S. 121; *Jaschik T.K.* Op. cit.

[36] ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 173. Л. 18–25 об. Вел. кн. Ксения Александровна – вел. кн. Николаю Михайловичу. 21–23 июня 1917 г.

[37] Там же. Ф. 642. Оп. 17 Д. 615. Мария Федоровна – Вальдемару, принцу датскому. Ай-Тодор, 4 мая 1917 г. (пер. с дат.).

[38] Дневник Николая Романова. 9 июня 1917 г. // Красный архив. 1927. Т. 21. С. 86; Николай II вел дневники с чрезвычайной аккуратностью на протяжении 36 лет (с 1882 по 1918 г.). Его последняя запись была сделана 30 июня 1918 г. (за 17 дней до расстрела императорской семьи).

[39] ГАРФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 615. Мария Федоровна – Вальдемару. 4 мая 1917 г.

[40] Там же.

[41] Там же.

[42] Там же. Л. 17.

[43] Там же. Ф. 670. Оп. 1. Д. 431. Л. 15–18 об.

[44] Там же. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3336. Л. 2. Февр.–март 1918.

[45] Во время встречи с датским врачом К. Кребсом Мария Федоровна жаловалась ему, что большевики забрали ее дневники и были очень грубы во время обысков (Rigsarkivet. København. Carl Krebs – Til Udenrigsministeriet. Rapport. – Dansk Røde Kors's Arkiv. nr. 10. 001A. Pk. nr. 13. S. 1–9).

[46] *Юсупов Ф., кн.* Указ. соч. С. 193.

[47] ГАРФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 615. Л. 4.

[48] Там же. Ф. 670. Оп. 1. Д. 431. Л. 15–18. Кн. Г.Д. Шервашидзе – вел. кн. Николаю Михайловичу. Ай-Тодор, 20 ноября 1917 г.

[49] *Jaschik T.K.* Op. cit. S. 70–72.

[50] ГАРФ. Ф. 685. Оп. 1. Д. 42. Л. 85–86.

[51] *Jaschik T.K.* Op. cit. S. 70–72.

[52] ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1297. Л. 131. Мария Федоровна – Николаю II. Ай-Тодор, 21 ноября 1917 г. (на рус. яз.).

[53] Udenrigsministeriet's arkiv, København. I. P. 11. Enkekejserinde Dagmar. Pakke I Indtil, den 31/12. 1919. Scavenius – Kgl. Dansk Gesandtskab i Petrograd. Chiffertelegram, den 10. September 1917.

[54] Real. Academia de la Historia Archivo MAE (p. 32, p. 36), Politica leg. 2449; log. 2649.

[55] UM's arkiv. I. P. 11. Chiffertelegram, den 12/3. 1918 af Scavenius. Kgl. Dansk Gesandtskab Petrograd.

[56] UM's arkiv / UM's Bil. 4 apr. 1918. I. P. 11. Chiffertelegram, den 3/4. 1918. Scavenius 338. Kgl. Dansk Gesandskab. Petrograd.

[57] Об этом сообщал в своей телеграмме в Копенгаген датский посол в Германии граф Мольтке: C. Moltke. – UM. Berlin, Den 15. Maj 1918. No. XC I. Tysk og russisk Regerings stilling til Kejserlig russisk Familiens forbliven i Rusland – UM. Bil. 18. Maj 1918. – I. P. 11.

[58] UM's arkiv. I. P. 11. C. Moltke – UM. Berlin. Den 15. Maj 1918. N. XC. I. Tysk og russisk Regerings stilling til Kejserlig russisk Familiens forbliven i Rusland.

[59] Ibid.

[60] *Krebs C.* En dansker i Mongoliet. Kbhvn, 1937. S. 39–40.

[61] *Havgaard H.* Den danske læge og enke zarinden // Politiken. 1987. N 2, den 7. febr.

[62] Dansk Røde Kors Arkiv nr. 10.001 A: Pk. nr. 13. S. 1–9. Carl Krebs – Till Udenrigsministeriet Rapport.

[63] UM arkiv. Légation. Danmark. Petrograd. Den 16. april 1918. UM's Telegram 371. Chifferen.

[64] UM arkiv, 2. I. 17. Harald Scavenius – UM. 27.7.1918.

[65] *Jensen B.* Bolsjevismen som international problem // Danmark og Rusland i 500 år. Kbhvn, 1993. S. 336.

[66] Ibid.

[67] В первых официальных сообщениях большевиков говорилось, что императрица и наследник живы и находятся недалеко от Пскова (см.: Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. Свердловск, 1991. С. 154; *Авдонин А.* Тайна старой Коптяковской дороги. Об истории поисков останков императорской семьи // Источник. Документы русской истории. Прилож. к журн. "Родина". 1994. № 5(12). С. 60–76; см. также: *Алексеев В.* Гибель царской семьи. Мифы и реальность. Екатеринбург, 1993.

[68] UM arkiv. I. P. 11. Til Herr Udenrigsminister Erik Scavenius. Den russiske Kejserfamilies overførsel til Spanien. Telegram. Fortrolig., Christiania. Den 9. August 1918.

[69] *Storfyrstinde Olga.* Udg af Ballerup Historiske Forening. Ballerup, 1994.

[70] *Юсупов Ф., кн.* Указ. соч. С. 206.

[71] *Волков А.А.* Около царской семьи. М., 1993. С. 164; см.: *Malmstrøm S.R.* Op. cit. S. 222–226.

[72] *Волков А.А.* Указ. соч. С. 164; см.: *Malmstrøm S.R.* Op. cit. S. 222–226.

[73] *Александр Михайлович, вел. кн.* Указ. соч. С. 264.

ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА В ОБЩЕСТВЕННОЙ БОРЬБЕ НА УРАЛЕ. 1914–1918

О.С. Поршнева

Вступление России в первую мировую войну было встречено на Урале патриотическим подъемом. Духовенство, интеллигенция, служащие, предпринимательские круги, крестьянство, значительная часть рабочих откликнулись на ее объявление патриотическими манифестациями. Молебны о даровании победы и грандиозные манифестации прошли в Екатеринбурге, Вятке, Уфе, Перми, Верхотурье, Шадринске, Ирбите, сотнях других городов, заводских поселков, сел и деревень. Они сопровождались сбором пожертвований на нужды войны, которая рассматривалась большинством населения как справедливая, оборонительная. Активно действовали в патриотическом духе церковь и местные отделения правомонархических партий. Так, в Вятке народно-монархическая партия распространяла патриотические листки, написанные епископом Никандром, а в воинских частях вел работу блок "Самодержавие и православие", распространялась монархическая газета "Северное слово". С июля 1914 г. с запасными нижними чинами велись религиозно-патриотические беседы, а отправляющимся на фронт выдавались специальные "Молитвенники для воинов"[1]. Во всех четырех губерниях Урала в связи с объявлением войны наблюдались всплеск антигерманских настроений и проявления враждебности по отношению к лицам немецкого происхождения (рецидивы этого явления имели место и в последующие годы)[2].

В то время как монархисты безоговорочно поддерживали самодержавие, демократически настроенная буржуазия и интеллигенция надеялись на осуществление внутренних политических и социальных реформ в результате победоносного завершения войны в союзе с западными демократами. Кадеты и околокадетские круги на Урале были убеждены в необходимости войны до победы и во имя ее призывали к внутреннему миру и единению всех сил нации. Лидер уральских кадетов Л.А. Кроль писал: "Если широкая народная масса не понимает необходимости в ее собственных интересах довести войну до

© О.С. Поршнева

победного конца, то это надо сделать, не считаясь с ее волей"[3]. В информационном сообщении газеты "Зауральский край" о VI съезде кадетской партии говорилось: "Нельзя допустить, чтобы Россия, не осуществив своих национальных задач, вышла из состязаний урезанной, униженной и порабощенной. Нельзя допустить, чтобы Европа согнулась под ярмом прусского милитаризма, чтобы была обесчещена, подавлена великая европейская демократия... Дело отпора врагу неразрывно связано с делом нашего внутреннего устройства"[4].

Рабочие и крестьяне Урала отнеслись к начавшейся войне как к неизбежному злу, понимая необходимость отражения иностранной агрессии. "На все воля Божья" – вот типичные рассуждения солдат-крестьян Вятской губернии, как отмечал корреспондент "Вятской речи", получивший возможность ознакомиться с письмами солдат с фронта[5]. В телеграмме Уфимского губернатора в МВД от 2 августа 1914 г. отмечалось: "Эта война намного популярнее войны с Японией, она вызвала патриотический подъем, в котором растворились и исчезли не только революционные идеи, но даже партийные настроения; однако беспорядки все-таки имеются..."[6]. Оренбургский губернатор сообщал, что во время мобилизации "преступность упала до нуля, настроение было бодрое, пьяных нигде не было, отмечалось только два случая разграбления винных лавок"[7]. Пермский губернатор 27 июля 1914 г. сообщил: "С объявлением войны среди населения заметен большой подъем патриотизма, но это ничуть не значит, что рабочие массы сразу переродились и что в случае каких-либо неудач на театре военных действий они снова не будут реагировать на это открытыми выступлениями в виде забастовок или каких-либо беспорядков"[8].

Диссонансом патриотическому подъему по Уралу в июле–августе 1914 г. стала мощная волна беспорядков среди мобилизованных запасных нижних чинов из рабочих и крестьян. Их общее число превысило 50, а число участников – десятки тысяч. Наибольшее распространение волнения мобилизованных получили в Пермской губ., Екатеринбургском, Верхотурском, Осинском, Пермском и Соликамском уездах (43 выступления, или 84%). Основная форма их выступлений – погромы винных лавок, которые сопровождались стычками с полицией, заводской и местной администрацией. Наряду с требованием открытия казенных винных лавок (в условиях "сухого закона") в некоторых случаях на Лысьвенском, Надеждинском и других заводах выдвигались экономические требования вместе с политическими лозунгами. Во время волнений на Лысьвенском заводе рабочий Майер заявил: "Знайте, что мы умрем здесь, а не на войне, пусть родные знают наши могилы", а запасные – рабочие Варов и Голышев говорили: "Завтра полицию всю убьем за то, что во время бывшей забастовки рабочих мяли лошадьми"[9].

В целом на Урале в первой половине 1914 г. произошло свыше 70 стачек, в которых принимало участие 56,8 тыс. человек, а по горнозаводскому округу число забастовок возросло в 4,5 раза[10]. Причинами недовольства было то, что мобилизация проводилась в разгар летних полевых работ, сборные пункты были неподготовлены, а татар и

башкир заставляли там питаться из общего котла в период мусульманского поста. Таким образом, налицо был стихийный протест части мобилизованных против ожидаемого ухудшения положения их семей, тех бедствий и опасностей, которые несла с собой война. Не случайно в целом ряде выступлений успокоение наступило только после выдачи семьям призванных в армию пособий и обещаний властей организовать уборку полей за счет земств[11].

Недоверие к правительству и нежелание воевать, проявившиеся в отдельных случаях среди крестьян, были обусловлены нерешенностью земельного вопроса. В селе Мартыновском Тамакульской волости крестьянин В. Турыгин во время молебна о даровании победы во всеуслышание заявил: "Зачем нам, ребята, идти на войну и кровь проливать, опять нас правительство хочет обмануть. Не стоит кровь проливать за толстопузых помещиков. Пока нам земли не дадут, не надо идти воевать, а то теперь даже грибовать в казенном лесу нельзя"[12]. Аналогичные мысли высказывал крестьянин Камышловского уезда С. Бабинов: "Ребята, не уходите на войну, это новый обман правительства. Зачем кровь проливать, когда нашу землю нам не отдают"[13]. В письме Совета съездов горнопромышленников Урала от 29 июля 1914 г. пермскому губернатору просьба обеспечить порядок на местных заводах мотивировалась особой неблагонадежностью уральских рабочих: "... В отличие от других местностей империи на Урале именно чрезвычайные политические события вызвали и новые требования и новые крайне печальные эксцессы"[14]. Волнения мобилизованных в регионе подавлялись с помощью военной силы. Гремели выстрелы. 122 человека были убиты и ранены[15].

Осознанный протест против войны, неприятие ее целей характеризовали позиции уральских социал-демократов (большевиков и меньшевиков) и социалистов-революционеров. По своему социальному положению это были радикальная интеллигенция, служащие, рабочие. Еще до появления ленинского манифеста "Война и российская социал-демократия" уральская группа РСДРП выпустила в свет прокламацию "Правда о войне" (август 1914 г.), в которой война объявлялась несправедливой, захватнической, чуждой народным интересам и содержался призыв объявить "войну войне"[16]. «До лозунга о неизбежности превращения войны империалистической в войну гражданскую мы не додумались, – вспоминает член уральской группы РСДРП Н. Брюханов, – но лозунги "Война войне", "Война правительству" у нас были»[17]. Большевикам в период мобилизации удалось организовать единичные антивоенные акции, в которых принимали участие и тесно связанные с ними рабочие, но они не оказали сколько-нибудь заметного влияния на рабочую среду[18].

Однако в рядах уральской социал-демократии, как и в целом по стране, не было единства. Практически в каждой объединенной организации произошел раскол. Одни стояли на последовательной большевистской платформе, другие поддерживали решения Лондонской конференции социалистов стран Антанты (1915 г.), объявивших борьбу с милитаристской Германией священным делом демократии всех стран.

Применительно к России это означало поддержку дела обороны страны как необходимого условия будущих демократических преобразований. Для революционных социал-демократов Урала было характерно убеждение в возможности выхода из войны путем созыва международной социалистической конференции с целью давления на правительства своих стран и заключения "через их голову" всеобщего демократического мира без аннексий и контрибуций. Оборонцы преобладали в Вятке, Перми, сильным было их влияние в уфимской, оренбургской и других организациях РСДРП. Большевики на областном совещании в сентябре 1915 г. в Екатеринбурге обязали членов своих организаций "всеми способами разоблачать оборончество меньшевиков и центристов, бороться за свержение царизма путем всенародного восстания"[19].

Четкого размежевания на правых, центристов и левых среди уральских эсеров не было. На фоне абсолютного преобладания оборонцев своим интернационализмом и неприятием войны выделялись уфимские эсеры И.З. Штейнберг и А.И. Бриллиантов, екатеринбургские – В. Хотимский и М. Успенский. Так, И.З. Штейнберг полагал, что необходим революционный выход из войны, так как ее затягивание лишь ослабит революцию. «Или русская революция "съест" войну, или война "съест" русскую революцию», – говорил он на заседании Уфимской городской думы в августе 1917 г.[20]

Упования на совместные усилия международной демократии в деле прекращения войны в той или иной степени были характерны для всех эсеров, однако их правое крыло поддержало ее, провозгласив классовый мир во имя победы европейской демократии. Центристы отрицали идею классового мира, соединяя лозунг защиты Отечества с призывами к революционной борьбе с правительством. Они считали, что ни победа, ни поражение России в войне не принесут желанной свободы русскому народу. Левые выступали за скорейший выход из империалистической войны. Четко выраженную оборонческую позицию занимало большинство екатеринбургской организации эсеров и часть уфимской организации во главе с В.П. Гиневским и А.Л. Шеломенцевым. За "войну до победного конца" выступали и пермские эсеры во главе с С.И. Бондаревым[21]. Образцом центристских установок была позиция вятских эсеров, заявленная ими в листовке "О войне. Листок для солдат и трудящихся", отпечатанный в дни начала военных действий. Наряду с осуждением войны как "империалистической, захватнической" в ней было утверждение, что "если война будет несчастлива, России грозит гибель". Листовка призывала подниматься "не только на защиту Родины, но и на завоевание своих прав". "Призванные правительством на борьбу с внешним врагом, объединяйтесь и на борьбу за свою свободу против произвола безответственного перед своим народом и Думой правительства", – говорилось в листовке[22].

Новые тенденции в эволюции общественных взглядов на проблемы войны и мира появились в 1915 г. Главными факторами в изменении настроений российской общественности стали поражения на фронте весной–летом 1915 г. и выявившаяся в связи с этим неспособность

царского правительства обеспечить победоносный исход войны, а также начало продовольственных затруднений и хозяйственного кризиса. Буржуазно-кадетские круги переходят в оппозицию к правительству и создают свои органы по руководству обороной страны. На Урале областной военно-промышленной комитет (ВПК) во главе с кадетом П.В. Ивановым был создан в Екатеринбурге 30 июня 1915 г.[23] Мотивы "патриотической тревоги", критики правительства постоянно звучали начиная с этого времени и вплоть до февраля 1917 г. в деятельности уральских кадетов – видных предпринимателей и общественных деятелей Л.А. Кроля, П.Н. Иванова, Н.Ф. Магницкого, Н.П. Выховского, П.Ф. Корапачинского, П. Толстого и др., работавших в военно-промышленных комитетах, земствах, уральских отделениях Земгора, благотворительных обществах.

С лета 1915 г. отмечается рост стихийного недовольства малоимущего населения городов, прежде всего женщин-солдаток, перебоями в снабжении и дороговизной основных продуктов питания и предметов первой необходимости. Начались продовольственные волнения: в 1915 г. в Пермской губ. их было 19, в 1916 г. в Пермской и Уфимской губ. – 37. Социальной базой этих движений были не только солдатки, но и люмпенизированные слои городского населения. Наиболее заметными стали массовые беспорядки в Челябинске в ноябре 1915 г., в Нижнем Тагиле в декабре 1915 г., в Оренбурге в мае 1916 г., а также в Камышлове, Каменске, Сылве и других местах[24]. Везде они сопровождались погромами лавок, магазинов, столкновениями с полицией и войсками. В ряде случаев (в Челябинске, Оренбурге) войска отказывались стрелять в толпу женщин-солдаток.

Говоря об общественных настроениях в 1915–первой половине 1916 г., нельзя преувеличивать степень осознанности протеста против тяжелых последствий войны и его влияния на отношение к самой войне. Необходимость защиты Отечества от внешнего врага и победоносного исхода войны по-прежнему не вызывала никаких сомнений у большинства населения. В регулярных отчетах начальников губернских жандармских управлений о настроениях населения в связи с войной за 1915–1916 гг. отмечается высокий патриотизм земцев и интеллигенции, живой интерес и желание победы над врагом со стороны крестьян и лишь когда речь идет о рабочих, говорится о "почти безразличном" отношении и "апатии" по сравнению с первым годом войны. В отчете Вятского жандармского управления в МВД отмечалось, что в конце 1915 г. у крестьянства появилось желание скорейшего заключения мира в связи с нехваткой рабочих рук и надвигающимися весенне-полевыми работами, однако это вполне естественное стремление не предполагало поддержку ими мира "любой ценой". Речь шла только о мире "почетном" на основе победы над врагом[25]. В жандармских сводках приводятся отдельные критические антиправительственные высказывания рабочих, крестьян, солдат, однако подчеркивается, что в большинстве своем население осознает необходимость достижения победы[26]. Настроения "пораженчества" на Урале распространения не получили.

Следующим важным этапом в эволюции общественных настроений в России стала осень 1916 – зима 1917 г. Главным фактором их изменения стало обострение кризиса "верхов". После серии военных поражений конца 1916 г. стало ясно, что Россия в ее нынешнем состоянии уже не в силах выиграть войну. Падение престижа власти в глазах народа подорвало и веру значительной части населения в справедливость целей войны. Одновременно назревал кризис продовольственного снабжения городов, поставивший крупные промышленные центры к началу 1917 г. на грань голода. Даже такой последовательный сторонник войны до победного конца, как П.Н. Милюков, отмечал в конце 1916 г. факт "несомненной усталости общества и готовности его пойти на любые условия мира"[27].

На Урале в 1916 г. наблюдался рост рабочего движения на почве экономических требований, однако у него, несомненно, была и политическая подоплека. В документах Департамента полиции МВД за май 1916 г. содержится утверждение о связи забастовочного движения на Урале с появлением агитаторов и прокламаций, "внушающих рабочим мысли о необходимости прекращения войны"[28]. Сущность психологического перелома, который произошел у большинства населения Урала, состояла в повороте от стремления к победе к стремлению к миру. В обращении рабочей группы при Уральском областном ВПК к общему собранию членов комитета 3 января 1917 г. говорилось: "Существует мнение, что мира хотят те, кто не понимает, чего требуют интересы России. Какой России – России народной, России имущей или России официальной? О чем заботятся те, кто требует продолжения войны?... Ошибка, будто мира хочет небольшая часть общества, мир нужен всему народу. Спросите всех, спросите каждого – ответ один... Господа говорят о Галиции, говорят об Армении. Народу они не нужны. Наш Константинополь – это русский парламент, созданный путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосования"[29]. В донесениях агента полиции о настроениях рабочих Сарапульского, Елагинского, Малмыжского уездов Вятской губ. сообщалось: "Среди рабочих напряженная атмосфера, внимательно следят за тем, что делается в столицах. Официальным сообщением и газетам не верят. Чаще и чаще раздаются голоса о мире, который, как думают рабочие, наступит скоро и мог бы наступить еще скорее, только бы столицы и рабочие тамошних заводов потребовали этого и устроили политическую забастовку"[30].В проходивших на Урале в мае 1916 г. выборах в рабочие группы при ВПК приняли участие только 35% рабочих. Сорвалась и кампания по проведению подписки на военный заем.

В 1916 г. продовольственные волнения стали возникать и среди крестьянского населения Урала. Они проходили в форме столкновения крестьян и солдаток с представителями местной администрации во время изъятия хлеба из хлебозапасных магазинов для нужд армии и городского населения. Отказ сдавать хлеб по твердым ценам крестьяне мотивировали тем, что он, по их мнению, пойдет не на фронт, а скрывающимся на заводах от мобилизации, либо будет присвоен земским начальством и помещиками с целью перепродажи[31].

Свержение самодержавия и курс Временного правительства на демократические преобразования вызвали широкую волну народной поддержки. Доминантой настроений большинства народа по отношению к войне стало революционное оборончество, стремление к справедливому демократическому миру без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов. Обращение Петроградского Совета "К народам всего мира", принятое 14 марта 1917 г., нашло широкий отклик и поддержку на Урале. В нем провозглашалась необходимость защиты революционного Отечества от внешнего врага, с одной стороны, и отказ от империалистических, захватнических целей войны – с другой[32]. Такую позицию в вопросе о войне и мире занимали уральские Советы, возглавлявшиеся до осени 1917 г. меньшевиками и эсерами и выражавшие настроения рабочих, крестьян, солдат и демократической интеллигенции. Первый областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Урала, проходивший в Перми 8–13 мая 1917 г., поддержал резолюцию Всероссийского совещания Советов (март–апрель 1917 г.) о войне, выдержанную в духе революционного оборончества. Помимо этого, на съезде была принята специальная резолюция против братания на фронте, к которому призывали большевики[33].

В Советах крестьянских депутатов, где преобладали эсеры, весной–летом 1917 г. также царили оборонческие настроения. Резолюцию с поддержкой наступления на фронте приняли вятский губернский крестьянский съезд[34], крестьянский съезд зауральских уездов, красноуфимский, чердынский, кунгурский съезды крестьянских депутатов. Первый свободный крестьянский съезд Уфимской губ. (июнь 1917 г.) поддержал оборонческую резолюцию 1-го Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, хотя в целом был настроен против войны. Левый эсер И.З. Штейнберг в своем выступлении охарактеризовал войну как империалистическую и подчеркнул: "Война должна быть прекращена не сепаратным миром и не бронированным кулаком, а организацией борьбы против войны внутри, организацией сил демократии до победы революции во всей Европе". До этого же момента, по его мнению, надо быть сильным и стоять с оружием в руках. Против ведения войны до победного конца выступил на съезде и социал-демократ А.И. Свидерский, заявивший, что ее нужно прекратить усилиями "демократии всего мира". Мнения делегатов съезда по вопросу о способе окончания войны разделились: сепаратный мир, продолжение войны до победы, всеобщий демократический мир[35].

Резолюция "О войне" в духе революционного оборончества была принята и на пермском губернском крестьянском съезде (май 1917 г.). В ней, в частности, говорилось: "Основной долг революционной России – активная защита страны, не останавливаясь ни перед какими жертвами, и принятие мер по повышению боевого духа армии, как оборонительного, так и наступательного"[36]. Иную позицию занял съезд крестьян Екатеринбургского уезда, состоявшийся в конце марта 1917 г., который по докладу большевика Л.С. Сосновского принял резолюцию о необходимости прекращения империалистической войны и

заключения всеобщего демократического мира путем "давления на Временное правительство"[37].

На областной конференции РСДРП в апреле 1917 г. была сформулирована позиция уральских социал-демократов в вопросе о войне и мире. В отличие от петроградских меньшевиков и эсеров, уральские социал-демократы поддержали тезис о сохранении империалистического характера войны со стороны России вплоть до перехода власти в руки пролетариата и революционной демократии. Единственно правильным способом прекращения войны участники конференции объявили "превращение русской революции в международную". Обращение Петросовета "Ко всем народам мира" – лишь первый шаг на этом пути, отмечалось в резолюции конференции. Платформа уральских социал-демократов не была, однако, ленинской. В ней присутствовали тезисы о необходимости давления на Временное правительство в целях корректировки его линии, а также о сохранении порядка и дисциплины в армии[38].

В марте–мае 1917 г. по всему Уралу проходили митинги в поддержку оборонческой линии Временного правительства. О готовности вести войну до победы заявили солдаты пермского, оренбургского, вятского, троицкого и других местных гарнизонов. Проводы маршевых рот на фронт повсеместно сопровождались патриотическими манифестациями. В марте – начале апреля 1917 г. в регионе фактически приостановилось забастовочное движение[39].

Нота министра иностранных дел П.Н. Милюкова и апрельский кризис Временного правительства вызвали на Урале ряд антивоенных акций, инициированных большевиками. 25 апреля 1917 г. антивоенный митинг прошел в Екатеринбурге, а 18 июня в некоторых уральских городах прошли демонстрации протеста против начала наступления на фронте[40]. В отдельных воинских частях екатеринбургского, уфимского, вятского и других гарнизонов Урала в апреле–июне на митингах и собраниях солдат были приняты большевистские резолюции о войне[41]. Однако большинство солдат уральских тыловых гарнизонов до августа 1917 г. занимало оборонческие позиции и доверяло лидерам Советов, призывавших их к защите Отечества. 25 июня в Перми патриотически настроенными солдатами была разогнана антивоенная демонстрация. Июньское наступление было одобрено солдатами оренбургского гарнизона, военной секцией Уфимского и Оренбургского Советов, митингом солдат и рабочих в Вятке[42].

Реакция уральской интеллигенции на апрельский кризис Временного правительства свидетельствовала о солидарности значительной ее части с мнением Милюкова о необходимости соблюдения Россией союзнических обязательств и полного разгрома Германии в целях получения политико-экономических выгод от войны. Были среди интеллигенции и те, кто занимал позицию революционного оборончества. Так, Уфимский губернский и оренбургский окружной съезды учителей и уфимский фельдшерский съезд поддержали лозунг обороны впредь до заключения всеобщего демократического мира[43]. В ответ на апрельские события в Петрограде плехановская группа "Единство" выступила

с обращением "Сеятели раскола", перепечатанным некоторыми уральскими газетами. В нем, в частности, говорилось: "Проповедь Ленина ведет Россию к анархии и готовит ей неминуемое поражение... Нам не надо завоеваний, но мы не должны дать немцам подчинить себе Россию"[44].

В июле 1917 г. на Урале отмечалось оживление патриотических настроений в связи с объявлением большевиков агентами немецкого влияния из-за известных событий 3–4 июля в Петрограде. В Оренбурге, по воспоминаниям одного из местных большевиков Ф. Могилы, в мае–июне 1917 г. слово "большевик" стало пугалом для обывателей. «В июльские дни 1917 г. на общем собрании рабочих Каргинских мастерских делал доклад т. Кобозев и впервые бросил лозунг товарища Ленина "Власть Советам!". Доклад большинство собрания освистало. Рабочие были настроены к докладчику крайне враждебно, называя Ленина провокатором, подкупленным на немецкое золото»[45]. "Большевику в это время трудно было показаться на улицах города, не рискуя быть растерзанным воинственно настроенной обывательской толпой", – вспоминали большевики Вятки[46].

К осени 1917 г. усталость от войны и действие целого комплекса политических, экономических и социально-психологических факторов привели к радикализации широких масс населения и отказу их от идей революционного оборончества. Ярким проявлением этой тенденции стало изменение позиции Советов в вопросе о войне и мире. Второй уральский областной съезд Советов, проходивший 17–21 августа в Екатеринбурге, в резолюции "О войне и борьбе за мир" призвал "превратить империалистическую войну во всемирную гражданскую войну против империалистов всех стран", добиваясь немедленного заключения демократического мира[47]. Требования прекращения войны и заключения всеобщего демократического мира были выдвинуты на митингах рабочих железнодорожных мастерских станции Екатеринбург, Атигского, Билимбаевского, Кушвинского заводов, станций Чусовская, Нижний Тагил и др.[48] Лозунг "Долой войну!" фигурировал во время забастовок на Урале осенью 1917 г., когда рабочее движение вновь приобрело массовый характер. Только 1 сентября 1917 г. в политической забастовке участвовали 110 тыс. человек[49].

Октябрьское восстание в Петрограде поставило на повестку дня задачу скорейшего выхода России из войны. Идея заключения всеобщего демократического мира народами воюющих стран через головы их правительств оказалась утопией. Большевистские Советы и профсоюзы, значительная часть рабочих и крестьян Урала поддержали Брестский мир. Буржуазно-предпринимательские круги, духовенство, интеллигенция, служащие, напротив, выступили против "позорного грабительского мира". Интересную трактовку причин поражения России и заключения сепаратного мира с Германией с позиций правомонархических сил дал епископ уфимской епархии Андрей. Вина, полагал он, лежала на русской интеллигенции, которая десятилетиями третировала патриотизм и идею нации, подрывала уважение к офицерству и бездумно преклонялась перед солдатами[50]. Когда же с началом мировой

войны большинство интеллигенции осознало идею Родины, то, по мнению епископа, было уже поздно. "Мы, интеллигенты, только говорили, а они претворили в дело... Убивают генералов и офицеров, бегут с фронта, смеются над той воинской доблестью, которую мы, интеллигенция, презирали в течение десятков лет, но которую теперь не презираем"[51]. Торгово-промышленные и кадетские круги Урала в своих печатных органах в конце 1917 и январе–марте 1918 г. регулярно выступали против сепаратного мира, обрекающего, как они считали, Россию на гибель по вине социалистов и их безответственной демагогической политики, приведшей к развалу тыла и фронта[52].

Меньшевики и эсеры Урала (за исключением левых эсеров Вятки) как один выступили против заключения Брестского мира, расценивая его как обман и предательство большевиками дела международной социал-демократии и освобождения собственного народа. "Вместо мира они бросили революционную Россию безоружной к ногам Вильгельма и мирового капитализма", – говорилось в обращении меньшевиков и эсеров – членов Вятского Совета рабочих и солдатских депутатов "Ко всем рабочим Вятки и Вятской губернии"[53]. В нем также указывалось на неизбежность возникновения новой войны с бывшими союзниками России как следствие сепаратного мира[54].

Не приняли условий Брестского мира "левые коммунисты" Урала и значительное число местных организаций большевиков[55], некоторые рабочие коллективы, например рабочие и служащие Балашевского и Надеждинского заводов, предприятие "Пермолес", профсоюз грузчиков Камского бассейна г. Перми, Саткинского завода Уфимской губ. А в Златоусте в марте 1918 г. под руководством эсеров прошла забастовка рабочих, направленная против политики большевиков в вопросе о мире, подавленная Военно-революционным комитетом города[56].

В конце 1917 – начале 1918 г. уральские солдаты настойчиво, порой ультимативно, требовали демобилизации, а в уфимском гарнизоне на этой почве возникли волнения[57]. Развал старой армии стал одним из факторов, определивших неизбежность заключения Брестского мирного договора.

Однако верх брала иная тенденция.

[1] Центр документации новейшей истории Кировской области (далее – ЦДНИКО). Ф. 45. Оп. 1. Д. 14, 19.
[2] ЦДНИКО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 88. Л. 9: Государственный архив Пермской области (далее – ГАПО). Ф. 65. Оп. 1. Д. 321. Л. 12; Д. 322. Л. 6; Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 102. 4-е д-во. Оп. 124. 1915 г. Д. 50. Ч. 2. Л. 20; Д. 81. Ч. 2. Л. 6; Д. 108. Ч. 15. Л. 7, 11.
[3] *Думова Н.Г.* Кончилось ваше время... М., 1990. С. 81.
[4] Зауральский край. 1916. 2 марта.
[5] Вятская речь. 1915. 28 янв.
[6] ГАРФ. Ф. 102. 4-е д-во. Оп. 123. 1914 г. Д. 138. Ч. 81. Л. 13.
[7] Там же. Ч. 47. Л. 2.
[8] Там же. Д. 50. Ч. 2. Л. 93.
[9] ГАПО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 315. Л. 96–100; ГАРФ. Ф. 102. 4-е д-во. Оп. 123. 1914 г. Д. 138. Ч. 50. Л. 29.

[10] Из истории Урала. Сб. док. и мат. Свердловск, 1971. С. 300.
[11] ГАРФ. Ф. 102. 4-е д-во. Оп. 123. 1914 г. Д. 138. Ч. 50. Л. 3, 29.
[12] ГАПО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 611. Л. 1.
[13] Там же. Д. 647. Л. 1.
[14] Там же. Ф. 65. Оп. 1. Д. 313. Л. 41–42.
[15] *Попов Н.Н.* Выступления рабочих и крестьян на Урале во время июльской мобилизации 1917 г. // Рабочие Урала в период капитализма (1861–1917 гг.). Сб. научных трудов Уральского гос. университета. Свердловск, 1985. С. 120.
[16] Центральный государственный архив общественных организаций Республики Башкортостан (далее – ЦГАООРБ). Ф. 1832. Оп. 1. Д. 95. Л. 5.
[17] Там же. Оп. 3. Д. 128. Л. 8.
[18] *Коковихин М.Н.* Миньярское подполье. Челябинск, 1957. С. 146; *Ильин А.С.* Златоустовцы. Ростов-на-Дону, 1967. С. 101.
[19] Большевики в годы империалистической войны. 1914 – февраль 1917 г. Сб. док. местных большевистских организаций. М., 1939. С. 77–78.
[20] Вперед. 1917. 27 авг.
[21] *Капцугович И.* История политической гибели эсеров на Урале. Пермь, 1975. С. 85–86, 90–92.
[22] ЦДНИКО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 60. Л. 15.
[23] Зауральский край. 1915. 2 июня.
[24] Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 1720. Оп. 7. Д. 231. Л. 2–25; ГАРФ. Ф. 102. 4-е д-во. Оп. 124. 1915 г. Д. 47. Ч. 3. Л. 1, 9; ГАПО. Ф. 65. Оп. 3. Д. 148. Л. 294, 300, 301.
[25] ЦДНИКО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 88. Л. 14.
[26] ГАРФ. Ф. 102. 4-е д-во. Оп. 124. 1915 г. Д. 108. Т. 2. Ч. 15, 47, 50, 81; Оп. 125. 1916 г. Д. 50. Ч. 9.
[27] *Думова Н.Г.* Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988. С. 15.
[28] Рабочий класс Урала в годы войны и революций. В док. и матер. Свердловск. 1927. Т. I. С. 24.
[29] Там же. С. 346–349.
[30] ГАПО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1689. Л. 26–27.
[31] ГАРФ. Ф. 102. 4-е д-во. Оп. 125. 1916 г. Д. 15. Ч. 2; Ч. 3. Л. 8; Д. 50. Ч. 3. Л. 23, 19.
[32] Известия Петроградского Совета. 1917. 15 марта.
[33] *Дробышев Г.А.* Борьба в Советах Урала по вопросам войны и мира // Положение и борьба трудящихся Урала. XVIII – начало XX в. Свердловск, 1987. С. 141.
[34] ЦДНИКО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 118. Л. 1–5.
[35] Вперед. 1917. 7, 8 июня.
[36] Центр документации общественных организаций Свердловского областного управления архивами (далее – ЦДООСОУА). Ф. 41. Оп. 1. Д. 69. Л. 20.
[37] История Урала в период капитализма. М., 1990. С. 370.
[38] ЦДООСОУА. Ф. 41. Оп. 1. Д. 58. Л. 87–89, 92–95.
[39] История Урала в период капитализма. С. 373.
[40] Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции. Сб. док. и матер. Свердловск, 1957. С. 84–97.
[41] Уральская правда. 1917. 17 июня; Вятская речь. 1917. 25 июня; Вперед. 1917. 23 июня.
[42] Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции. С. 94–96; Зауральский край. 1917. 27 апреля.
[43] Вперед. 1917. 14, 16 мая.
[44] Вятская речь. 1917. 25 апр. и др.
[45] Пролетарская революция в г. Оренбурге 1917 г. к 10-летию Октябрьской революции // Воспоминания участников на вечерах истпарта. Вып. 1. Изд. истпартотдела губкома ВКП(б). Оренбург, 1927. С. 24.

[46] ЦДНИКО. Ф. 450. Оп. 1. Д. 106. Л. 40.
[47] ЦДООСОУА. Ф. 41. Оп. 1. Д. 59. Л. 87–89.
[48] Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции. С. 93, 123, 154, 173, 178, 182, 192.
[49] Там же. С. 156.
[50] ЦГАООРБ. Ф. 1832. Оп. 2. Д. 56. Л. 5.
[51] Там же.
[52] Уфимский торгово-промышленный вестник. 1918. 23 янв., 16 и 23 фев., 8 и 21 марта; Вятская мысль. 1917. 5 и 15 нояб., 16 дек. и др.
[53] ЦДНИКО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 138. Л. 22.
[54] Там же.
[55] Очерки истории коммунистических организаций Урала. Свердловск, 1971. Т. I. С. 332.
[56] Уральский рабочий. 1918. 19, 24, 27 марта.
[57] РГВИА. Ф. 1720. Оп. 12. Д. 106. Л. 24; Вперед. 1917. 28 нояб.

ОБЩИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

А.И. Степанов

В отечественной историографии советского периода проблемы исчисления суммарных демографических потерь населения России в годы глобальных военно-политических конфликтов – первой (1914–1918) и второй (1939–1945) мировых войн, а также так называемой "холодной войны" (1947–1991) – в силу известных политико-идеологических ограничений обычно представляли собой анализ данных официальной статистики о безвозвратных боевых потерях (т.е. количестве убитых и умерших от ран военнослужащих) и сведений о жертвах карательной политики нацистской Германии и ее союзников на временнооккупированной территории СССР. Косвенные же потери (жертвы карательной политики советского режима, различных антисоветских правительств периода гражданской войны, "зеленого" и националистического террора, голода и эпидемических заболеваний и т.д.) обычно оставались на периферии научного интереса, игнорировались или значительно преуменьшались, что, в конечном итоге, привело не только к серьезным искажениям исторической правды, но и к существенным деформациям массового исторического сознания. Если спросить рядового россиянина, во что обошлось России ее участие в мировых военных конфликтах, то четкого и ясного ответа мы не получим. Не найдем мы его ни в учебниках по истории, ни в научной и справочной литературе, хотя у наших западных коллег потери их государств давно подсчитаны с высокой степенью точности и надежности, а имена практически всех участников войн, погибших в боях, увековечены в различных мемориалах, книгах памяти и т.д.

© А.И. Степанов

Взять такой расхожий пример, как динамика официальных данных о потерях населения СССР во второй мировой войне: семь млн человек – при Сталине, 20 млн – при Хрущеве–Черненко, 27 млн – при Горбачеве, 30–46 млн – в некоторых последних изданиях[1]. Аналогичная ситуация наблюдается и при подсчете боевых потерь в годы первой мировой войны: здесь цифры колеблются от 0,5 млн до 4 млн человек[2].

Но в действительности все эти данные отражают только небольшую часть реальных демографических потерь и служили в качестве научно-статистического прикрытия для различных политико-идеологических концепций, значительно преуменьшая огромный демографический урон, понесенный народами России в ходе мировых войн.

К решению рассматриваемого вопроса необходимо подходить конкретно-исторически, а не абстрактно-идеологически. Прежде всего следует определить хронологические и территориальные границы исследования и методы решения поставленной проблемы. Хронологические рамки: 1 августа 1914 г. – дата объявления Германией войны России и 11 ноября 1918 г. – дата фактического прекращения первой мировой войны. Следует сразу оговориться, что хотя формально Советская Россия вышла из войны 3 марта 1918 г. в результате заключения сепаратного мирного Брест-Литовского договора, но фактически она находилась в состоянии войны, поскольку подвергалась дальнейшей агрессии со стороны Германии и ее союзников. Так, в апреле 1918 г. немецкие войска захватили Крым, в мае – Грузию, в сентябре турецкие войска – Баку. А на захваченной территории общей площадью свыше 1 млн кв. км, где проживало 65–67 млн человек, был установлен жестокий оккупационный режим, который обеспечивала оккупационная германо-австро-турецкая армия численностью в 0,8–1,5 млн человек[3], хотя именно этого количества войск весной–летом 1918 г. не хватило германскому командованию для разгрома англо-франко-американских армий в ходе трех провалившихся наступательных операций на Западном фронте[4]. Таким образом, наличие огромной оккупационной армии на Востоке Европы в немалой степени способствовало поражению Германии на Западном фронте. По меткому выражению Ю. Фельштинского, это был "мир, которого не было"[5]. Территориальные рамки нашего исследования – границы Российской империи на середину 1914 г. и фактические границы РСФСР на 11 ноября 1918 г.

Чтобы определить реальные масштабы демографических потерь, необходимо построить и сравнить имитационно-прогностическую модель (демографическое развитие населения Российской империи на 11 ноября 1918 г. без учета фактора войны) с отражательно-измерительной моделью населения России в фактических границах, составленной на базе критического осмысления достижений предыдущих исследователей по исторической демографии. В ходе сравнения этих двух моделей получим наиболее вероятный вариант решения поставленной исследовательской задачи.

Построение имитационно-прогностической модели численности населения Российской империи в границах 1914 г. особых трудностей не

вызывает. Достаточно численность населения на 1 января 1914 г. умножить на известный коэффициент естественного роста, рассчитанный по регрессивной шкале, поскольку при переходе от аграрного, традиционного общества, к городскому, индустриальному этот коэффициет имеет тенденцию к понижению, а затем вычесть отрицательное сальдо от превышения эмиграции над иммиграцией в России за соответствующие годы. Согласно официальным данным Центрального статистического комитета (ЦСК) МВД России, общая численность населения на 1 января 1914 г. составляла 178 905,5 тыс. человек[6]. Кроме того, в автономных частях Российской империи проживало: в Финляндии – 3277,1 тыс., в Хивинском ханстве, Бухарском эмирате и Урянхайском крае – около 3 млн человек[7]. Всего – около 185,2 млн человек. К 11 ноября 1918 г., если бы не было войны и природных катастроф, в России проживало бы 195,2 млн человек.

Следует отметить, что в советской историографии официальные данные ЦСК считались преувеличенными, хотя вплоть до 1916 г. они не подвергались серьезной научной критике. Известно, что в России первая и вторая всеобщие переписи населения, соответствующие научным стандартам того времени, проводились в 1897 и 1926 гг. В промежутке между 1897 г. и 1918 г. население России исчислялось по текущему учету ЦСК, когда учитывались изменения за счет естественного движения и фиксированных внешних миграционных потоков. В 1916 г. А.А. Чупров в своем письме академику В.И. Вернадскому высказал сомнения в точности расчетов ЦСК, которые, по его мнению, на 5–10 млн человек завышали реальное число жителей России[8]. После обобщения данных переписей 28 августа 1920 г. и 15 марта 1923 г., которые в строгом научном смысле таковыми не являлись, наличное население России в соответствующих границах оказалось на 10–20 млн человек меньше ожидаемого. Среди советских демографов развернулась дискуссия по этому вопросу и в итоге было решено данные ЦСК считать завышенными за счет двойного учета сезонной маятниковой миграции полукрестьян-полурабочих. Были разработаны и различные поправочные коэффициенты (С. Прокоповича, В. Михайловского, А. Лосицкого, В. Зайцева, Е. Волкова, Б. Гухмана). После этого соответствующие изменения были внесены в данные за 1913 г. и последующие годы, которые и вошли в научный оборот[9].

В российской эмигрантской и зарубежной историографии (работы И. Курганова, Э. Тэри, Л. Бразоля, С. Максудова (Бабёнышева), М. Бернштама и др.)[10] за основу брались данные ЦСК без советского поправочного коэффициента, которому отводилась роль ширмы для сокрытия огромных демографических потерь в годы Гражданской войны. С учетом предвоенного коэффициента естественного роста населения России указанными выше авторами производились исчисления предполагаемого роста численности российского населения, которые, с учетом территориальных изменений, сопоставлялись с данными официальной советской статистики. В итоге образовался разрыв в 60–165 млн человек. Этот недобор предполагаемого населения минус потери в годы второй мировой войны объявлялся результатом боль-

шевистского террора и геноцида. Относительно периода гражданской войны советские историки исчисляли прямые потери населения в 8–13 млн человек, общие потери в 21–25 млн человек, а их зарубежные коллеги называли цифры, которые были в 2–3 раза больше[11].

Чтобы выяснить действительные размеры демографических потерь, необходимо их классифицировать по основным видам и выявить реальную численность населения России перед первой мировой войной. Эти процессы необходимо рассматривать в общем контексте развития демографической ситуации в Европе в целом и особенно в сравнении с ведущими державами: Германией, Францией, Великобританией и Австро-Венгрией.

Какова же была реальная численность населения в границах бывшей Российской империи на момент окончания первой мировой войны? Официальных данных у нас нет, а по имеющимся экспертным оценкам, на неоккупированной территории России проживало от 98 до 114 млн человек[12]. По моим подсчетам, можно говорить о 111 млн человек (без учета мобилизованных, беженцев, выселенцев, пленных и т.д.). Если учесть маятниковый и хаотичный характер миграционных потоков и то, что около 3 млн солдат все еще находились в плену, то население неоккупированной части России к концу 1918 г. составляло около 110 млн человек. На оккупированной же территории проживало около 67 млн человек, из которых 17 млн были потеряны к октябрю 1917 г. и 50 млн – в результате заключения "похабного" Брестского мира и последующей агрессии германо-австро-турецкого блока.

Таким образом, население России к концу первой мировой войны вместо ожидаемых 195,2 млн человек, сократилось до 110 млн человек, т.е. уменьшилось на 85,2 млн или на 43,5%. Из каких видов демографических потерь складывалась эта цифра? 67 млн приходится на территориально-демографические потери, около 10 млн – на косвенные потери (уменьшение рождаемости и увеличение смертности в результате негативного влияния войны). Цифра косвенных потерь достаточно условна, но она находится в общем контексте развития демографической ситуации, характерной для Франции, Германии, Великобритании и Австро-Венгрии, где численность населения осталась на предвоенном уровне (без учета территориальных изменений). По данным Троицкого, потери населения России от уменьшения рождаемости составили 8,3 млн человек, а от увеличения смертности – 2,25 млн человек[13]. По мнению Л.И. Лубны-Герцык, косвенные потери за период с 1914 по 1917 г. составили 6,5 млн человек[14], но с учетом нарастающей тенденции роста косвенных потерь за 1918 г. эта цифра значительно увеличится. В то же время следует учесть, что около 20 млн мужчин производящего возраста (20–43 лет) были оторваны от семей: 1,4 млн человек составляли кадровую армию, 13,68 млн были мобилизованы в действующую армию, 2,6 млн – на внутреннюю службу и 2,7 млн человек – на тыловые работы по обслуживанию действующей армии[15]. Жизненный уровень населения значительно снизился по сравнению с 1913 г., поскольку бо́льшая часть национального дохода пошла на военные нужды. В стране началась широкомасштабная гражданская

война, осложненная иностранной интервенцией и сопровождаемая национально-территориальным расколом и ростом социально-политической нестабильности. Все эти и многие другие факторы способствовали росту косвенных демографических потерь. Поэтому наиболее вероятной является цифра в 10 млн человек, что соответствует недобору при снижении естественного движения населения с предвоенной отметки до нуля. Аналогичные процессы происходили и в Германии, Австро-Венгрии, Великобритании и Франции, где численность населения в соответствующих границах за 1913–1921 гг. осталась неизменной, а в побежденных странах даже несколько снизилась[16]. Вполне вероятно, что в будущем российские демографы установят иные, более точные цифры косвенных демографических потерь. На мой взгляд, 10 млн человек – это минимальная цифра, поскольку в России социально-экономическая ситуация была гораздо хуже, чем в побежденных Германии и Австро-Венгрии, а около 3 млн солдат продолжали находиться в плену. Процесс их возвращения растянулся до 1922 г.

Наибольшую трудность представляет определение безвозвратных потерь населения, или прямых демографических потерь, вызванных непосредственным влиянием первой мировой войны. К сожалению, объем статьи не позволяет подробно описать методику расчета с конкретным указанием источников и определением степени их репрезентативности. Если собрать и систематизировать все наиболее доступные сведения из открытых источников, то в конечном итоге получим следующий ряд данных:

Таблица 1[17]

Безвозвратные потери населения России в 1914–1918 годах

Виды потерь	Значения:		
	минимальные	средние	максимальные
Боевые потери:	657 110	728 895	775 000
– убитых в бою	626 440	664 800	
– умерших от ран при частях	17 174	18 300	
– умерших от отравляющих газов	6 300	38 599	
– умерших скоропостижно	7 196	7 196	
Санитарные потери:	430 000	1 278 700	
– умерших больных в госпиталях	130 000	155 700	
– умерших раненых в госпиталях	300 000	1 123 000	
ВСЕГО: военно-санитарные потери:	1 087 110	2 007 595	2 053 700
Прочие военные потери:	620 100	1 320 500	
– пропали без вести	200 000	797 300	
– умерли в плену	181 900	285 000	
– не вернулись из плена	238 200	238 200	
ВСЕГО: ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ:	1 707 210	3 328 095	3 374 200
Убитых гражданских лиц в бою	317 600	316 600	
ИТОГО: ВОЕННО-ГРАЖДАНСКИЕ ПОТЕРИ:	2 024 810	3 645 695	3 691 800
Санитарно-карательные потери:	685 910	801 910	
– умерли от эпидемий	385 910	500 710	
– жертвы террора	100 000	100 000	
– эмиграция	200 000	200 000	
Итого: безвозвратные потери:	2 710 750	4 447 405	

Таблица 2*

Суммарные демографические потери населения России в 1914–1918 годах (в млн человек)

Основные виды демографических потерь:	1 янв. 1914 г.	11 нояб. 1918 г.
Ожидаемое население России (без войны) ·	185,2	195,2
Реальное население России (в фактических границах)	185,2	110,0[2*,3*]
Общее количество демографических потерь:	–	85,2
– территориальные потери	–	67,0
– косвенные потери	–	10,0
– прямые безвозвратные потери	–	4,5
в том числе: военные	–	3,3
гражданские	–	1,2
– прямые возвратные потери (пленные)	–	3,0
– иные безвозвратные потери (жертвы гражданской войны)	–	0,7

Примечания: * Погрешность исчисления = ± 4,0–10,0%.

2* Без учета внутренних мигрантов (беженцев, выселенцев, оптантов, иностранных пленных и пр., чье общее количество колеблется от 5,0 до 7,0 млн человек).

3* Территория России в фактических границах означает территорию бывшей Российской империи без зоны германо-австро-турецкой оккупации.

К сожалению, большинство данных относится к 1914–1917 гг., но и они имеют довольно широкий разброс показателей, а часто противоречат друг другу. Например, согласно ежемесячным официальным данным Ставки, во всей действующей армии за июнь–июль 1917 г. было убито в бою 3965 военнослужащих[18], хотя только на одном Юго-Западном фронте с 18 июня по 6 июля погибло 6905 солдат и офицеров[19]. Еще больший разрыв наблюдается в данных о численности умерших от ран в госпиталях – 300 000 и 1 123 000 человек, пропавших без вести – 200 000 и 797 300 человек и т.д. Возможно, "игра" в статистику началась еще во время войны в целях дезинформации противника, а может быть, мы имеем дело со старой традицией лукавой отечественной статистики, отражающей взгляды "власть предержащих". Наиболее достоверными являются цифры из средней колонки табл. 1, составленные преимущественно на основании данных Е.З. Волкова и В.И. Бинштока. На то, что русская армия потеряла убитыми свыше 3 млн человек указывали еще в 20-е годы генерал К.В. Сахаров, М.Я. Нахимсон (Спектатор)[20], а также иностранные авторы[21].

К безвозвратным потерям необходимо прибавить 317,6 тыс. убитых и умерших от ран среди гражданского населения, пострадавшего в ходе боевых действий в 1914–1915 гг. К сожалению, данные за 1916–1918 гг. в литературе отсутствуют. Около 0,5 млн человек погибли от массовых эпидемических заболеваний в 1914–1918 гг. Но и эти данные охватывают только 50 губерний Европейской России. Данные о терроре и эмиграции также являются минимально-расчетными, хотя в литературе имеются многочисленные примеры гибели военных и гражданских лиц в

Таблица 3[22]

Военные потери ведущих держав в первой мировой войне (1914–1918) (млн человек)

Государства	Вооруженные силы*	Военные потери				
		Всего	в %	безвозврат.[2*]	плен.[3*]	иные[4*]
Россия[5*]	17,6	11,4	60,6	3,3	3,6	3,8
Франция	8,2	4,7	57,3	1,4	0,5	2,8
Британская империя	9,5	3,0	31,5	0,7	0,3	2,0
Италия	5,6	1,8	31,3	0,5	0,5	0,8
США	3,9	0,3	7,6	0,08	0,04	0,18
Германия	13,3	7,5	56,3	2,0	1,0	4,5
Австро-Венгрия	9,0	5,3	58,8	1,5	1,8	2,0

Примечания: * погрешность исчисления = ± 2,0–10,0%.

* Включая флот, гарнизоны внутренних округов, вспомогательные военизированные службы и структуры.

2* Убитых в бою, умерших от ран, пропавших без вести, умерших в плену и не вернувшихся из плена.

3* Вернувшихся из плена после войны.

4* Демобилизованных из армии во время войны, в том числе по ранению, вернувшихся из плена во время войны, инвалидов, дезертиров.

5* Данные на конец 1917 г.

ходе германо-австро-турецкой оккупации, жертв революционного и контрреволюционного террора, начиная с Февральской революции в Петрограде, кровавых эксцессов в Кронштадте, Свеаборге, и, кончая массовым "красным" террором, объявленным постановлением СНК РСФСР 5 сентября 1918 г. В 1918 г. в России началась широкомасштабная гражданская война, сопровождаемая открытыми боевыми действиями, массовым террором с обеих воюющих сторон, голодом в городах, пандемией "испанки", резким усилением эмиграции. По ориентировочным данным, в силу этих причин погибло около 0,7 млн человек.

Особый интерес представляет анализ военных потерь русской армии в сравнении с аналогичными показателями вооруженных сил других участвовавших в войне держав.

Как видно из табл. 3, к осени 1917 г. вооруженные силы России потеряли свыше 60,0% личного состава, т.е. больше, чем побежденные через год Германия и Австро-Венгрия, причем был практически выбит весь кадровый состав (1,4 млн человек) и военнообязанные 1 и 2 очереди (5,6 млн человек), из которых складывались основная ударная сила российской армии. Поэтому в 1917 г. армия потеряла свою боеспособность и практически распалась в конце 1917 – начале 1918 г. Это объясняется целым рядом объективных обстоятельств.

Во-первых, крайне невыгодным положением России в Антанте, когда одна российская армия впервые в мировой истории в течение 3,5 лет удерживала фронт от Балтики до Черного моря протяженностью 1 934 км (не считая 1,1 тыс. км Кавказского фронта) против совокупной боевой мощи Германской, Оттоманской империй и Австро-Венгерской монархии. В то же время на Западном фронте (от Ла-Манша до Швейцарии, 630 км) против одной германской армии были сосредоточены объединенные вооруженные силы Франции и Британской империи, которые с 1917 г. были укреплены американской армией.

Во-вторых, значительным социально-экономическим разрывом между индустриально развитыми Германией, Великобританией, Францией и аграрно-индустриальной Россией, что выражалось в крайне низком уровне материально-технического обеспечения русской армии современными видами вооружения и боеприпасов. Недостаток новейшего вооружения ("снарядный", "патронный", "винтовочный" голод) и низкий образовательно-культурный уровень и практическое отсутствие у 60,6% новобранцев необходимой военной подготовки приводили к огромным людским потерям в русской армии.

В-третьих, "мудрой" политикой западных союзников России по Антанте, которые вели войну "до последнего русского солдата", используя восточный театр военных действий в качестве противовеса германскому наступлению на Западном фронте и неоднократно вынуждая высшее военно-политическое руководство России преждевременно бросать в бой неподготовленные войска в нарушение заранее согласованных стратегических планов. Разгадка "чуда на Марне" и многих других побед Антанты на Западном фронте лежит на дне Мазурских и иных болот.

В конечном итоге вооруженные силы России в 1914–1917 гг. сыграли роль "парового катка" для перемалывания значительной части совокупной военной мощи Германии, Австро-Венгрии и Турции, а русскую армию использовали в качестве того пресловутого мавра, который, сделав свое дело, должен был уйти в историческое небытие.

Результаты первой мировой войны хорошо известны: военно-политическая победа США, Британской империи, Франции, Италии и Японии над Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией, а в России – широкомасштабная гражданская война, национально-территориальный раскол и иностранная военная интервенция. Россия из огня первой мировой войны попала в полымя гражданской войны и иностранной интервенции.

Первая мировая война 1914–1918 гг. по своим территориально-демографическим и социально-историческим последствиям явилась для народов России первой в целой серии последующих демографических катастроф.

Около 20 млн человек были мобилизованы на войну и оборонные работы, в том числе 17,6 млн – в вооруженные силы. Из них только 1,4 млн человек составляли кадровую армию, а 5,6 млн прошли до 1914 г. действительную службу в армии и в запасе, а остальные 10,6 млн человек – это солдаты старших возрастов, необученная допризывная молодежь, "белобилетники" и т.д. Основная часть кадрированной армии (7 млн человек), составлявшая цвет нации и опору монархического режима, либо погибла в ходе маневренной войны 1914 г., либо

попала в плен в период катастрофы 1915 г., либо была выбита в ходе тяжелых оборонительно-наступательных боев 1916 г. Около 3,3 млн человек были убиты в бою, умерли от ран и болезней, пропали без вести, были задушены при газовых атаках, расстреляны в плену за отказ от работы. Свыше 3 млн солдат попали в плен (особенно много их было в 1915 г., когда действующая армия испытывала наиболее острый "ружейный", "снарядный" и "патронный" голод). Около 2 млн человек были демобилизованы по инвалидности или направлены на оборонные предприятия в качестве солдат-рабочих. В ходе боев была практически выбита половина кадрового офицерского корпуса (25 тыс. из 49 тыс.). Пришедшие им на смену 10,6 млн наспех мобилизованных, наскоро обученных, плохо вооруженных и не желающих воевать солдат и офицеров качественно изменили состав действующей армии в 1916–1917 гг., превратив ее из опоры российской монархической государственности в "пороховую бочку" революции. Не случайно именно солдатское восстание запасных частей петроградского гарнизона обеспечило победу Февральской революции в 1917 г., а большевики в ходе вооруженного восстания 25–26 октября (по ст.ст.) 1917 г. победили благодаря поддержке революционных солдат, матросов и военнообученных красногвардейцев и рабочей милиции из солдат-рабочих.

Около 20 млн мужчин (свыше 10,8 населения России) прошли через кровавые бои, грязные окопы и солдатские казармы первой мировой войны; 67 млн человек (36,1%) оказались на оккупированной территории, 5–7 млн (3–4%) мирных жителей были насильственно выселены из прифронтовой полосы или эвакуированы на восток. Из них около 0,5 млн евреев были выселены из прифронтовой полосы по надуманному подозрению в пособничестве германскому шпионажу[23]. Если вспомнить серию немецких погромов в 1914–1915 гг., жестокое подавление восстания 1916 г. в Туркестане и т.д., то станет очевидно, что первая мировая война стимулировала взрыв расово-этнических и национально-религиозных конфликтов в последующий период Гражданской войны. В целом около половины жителей Российской империи в той или иной степени стали жертвами войны.

Война привела к значительной дегуманизации межличностных, национально-религиозных, сословно-классовых, идейно-политических отношений в российском обществе, к доминированию "окопно-фронтовой" массовой психологии с ее культом военной силы как универсального средства решения любых вопросов. Все это объективно ускорило процессы перерастания межгосударственной войны во внутреннюю, гражданскую.

К сожалению, ввиду отсутствия персонального учета жертв первой мировой войны нам приходится пока довольствоваться расчетными данными. В будущем, когда проблемы исчисления демографических потерь в мировых войнах будут иметь чисто академический интерес, а арсеналы исторической демографии пополнятся более совершенными методами сбора и обработки данных, демографы, вероятно, получат более точные результаты.

Первая мировая война сорвала процессы мирной эволюции отсталой, аграрно-индустриальной России в высокоразвитое индустриальное общество и постепенной трансформации умеренно авторитарного консервативно-монархического царского режима в либерально-демократический строй с гражданско-правовыми институтами. Война вместо ожидаемой быстрой победы принесла народам России огромные материальные и человеческие жертвы, ввергнув страну в пучину революции и отбросив ее в своем развитии на десятки лет назад.

[1] *Соколов Б.* Цена победы. М., 1991. С. 11–15; *Кваша А.Я., Поляков Л.Е.* Военная демография // Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 48.

[2] *Урланис Б.Ц.* Война и народонаселение Европы. М., 1960. С. 147; *Поляков Ю.А.* Советская страна после окончания гражданской войны: территория и население. М., 1986. С. 98–101.

[3] *Павлович Мих. (М. Вельтман).* Брестский мир и условия экономического возрождения России. М., 1918. С. 24; *Маслов С.Л.* Наше народное хозяйство и грабительский мир. М., 1918. С. 1.

[4] *Де-Лазари А.* Мировая империалистическая война 1914–1918 гг. Пояснения к атласу схем. М., 1934. С. 118–126.

[5] *Фельштинский Ю.* Крушение мировой революции. Брестский мир. М., 1991. С. 315–342.

[6] Ежегодник Министерства финансов за 1915 г. Пг., 1917. С. 2–3.

[7] *Поляков Ю.А.* Указ. соч. С. 94.

[8] Отчеты о деятельности комиссии по изучению естественных производительных сил России, состоящей при Императорской Академии наук. Пг., 1916. Вып. 2. С. 30–31.

[9] См. подробно: *Вайнштейн А.М.* Народное богатство и народохозяйственное накопление предреволюционной России. М., 1960. С. 451–453.

[10] *Бразоль Б.Л.* Царствование императора Николая II 1894–1917 гг. в цифрах и фактах. М., 1991. С. 4; *Дикий А.* Русско-еврейский диалог. Нью-Йорк, 1970. С. 288; *Курганов И.* Три цифры // Аргументы и факты. 1990. № 13; *Бернштам М.* Стороны в Гражданской войне 1917–1922 гг. М., 1992. С. 68–70; *Максудов С.* Потери населения СССР. Бенсон, 1989. С. 145, 185–187; *Тэри Э.* Россия в 1914 г. Экономический обзор. Париж, 1986. С. 5–6, 14 и др.

[11] *Поляков Ю.А.* Цена Гражданской... Какова она? // Независимая газета. 1992. 12 марта (8–13 млн чел.); *Кожинов В.* Поосторожнее с цифрами // Литературная Россия. 1990. 3 авг. (15 млн чел.); *Шелестов Д.К.* Историческая демография. М., 1987. С. 168 (20 млн чел. за 1914–1920 гг.): *Тополянский В.* Цена Гражданской // Независимая газета. 1991. 27 авг. (38 млн чел.); *Лебедев С.* Жертвы страны уходящего века // Вечерняя Москва. 1991. 8 авг. (25 млн чел.); Один из палачей России // Вече (Новгород). 1992. № 11 (40 млн чел.); *Денисенко М.Б., Шелестов Д.К.* Потери населения // Народонаселение. Энциклопедический словарь. С. 344 (21–25 млн чел. за 1914–1920 гг.) и др.

[12] Ежегодник Министерства финансов за 1915–1916 гг. Пг., 1915–1917. С. 94; *Фельштинский Ю.* Указ. соч. С. 24; *Маслов С.Д.* Указ. соч. С. 1.

[13] Россия в мировой войне 1914–1918 гг. (в цифрах). М., 1925. С. 91.

[14] *Лубны-Герцык Л.И.* Движение населения на территории СССР за время мировой войны и революции. М., 1926. С. 22.

[15] *Волков Е.З.* Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет. М.; Л., 1930. С. 75.

[16] См. подробнее: *Новосельский С.Н.* Влияние войны на естественное движение населения // Труды комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914–1920 гг. Пг., 1923. Вып. I. С. 97; Труды ЦСУ. Т. IX. Вып. I. Сборник статистических сведений о современном экономическом положении важнейших иностранных государств. М., 1922. С. 7.

[17] Россия в мировой войне 1914–1918 гг. (в цифрах). С. 32, 38, 98–100; *Волков Е.З.* Указ. соч. С. 59, 60, 68, 75, 187; *Биншток В.И.* Военные потери России в войне 1914–1918 гг. // Труды комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914–1920 гг. Вып. I. С. 149; *Головин Н.И.* Военные усилия России в мировой войне. Париж, 1939. Т. I. С. 119, 172, 151, 156, 157, 205; *Керсновский А.А.* История русской армии. В 4-х тт. Т. 4. 1915–1917 гг. М., 1994. С. 164–169; *Де-Лазари А.* Указ. соч. С. 136; Мировая война в цифрах. М., 1934. С. 22; Малая Советская Энциклопедия. В 10-ти тт. М., 1930. Т. 5. С. 264.

[18] Россия в мировой войне 1914–1918 гг. (в цифрах). С. 30.

[19] Там же. С. 32.

[20] *Власов Ю.П.* Огненный крест. М., 1991. Ч. I. С. 728; *Нахимсон М.Я.* (*Спектатор*). Мировое хозяйство до и после войны. М., 1926. Т. 27 С. 60–62 (3,232 млн убитых).

[21] *Стефан Д.* Русские фашисты. Трагедия и фарс в эмиграции. 1925–1944. М., 1992. С. 23.

[22] См.: *Де-Лазари А.* Указ. соч. С. 22–23 (Подсчет автора настоящей статьи).

[23] *Членов М.А.* Евреи // Народы России. Энциклопедия. М., 1994. С. 156.

ВОЙНА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ВО ФРАНЦИИ

А.В. Ревякин

Вопрос, который мы хотели бы затронуть в настоящей статье, малоизученным не назовешь. Скорее даже наоборот: любого исследователя, чей интерес вызвала бы эта тема, приятно поразит обилие научных трудов, посвященных тем или иным аспектам истории французской интеллигенции во время первой мировой войны. Причем если советскую историографию прошлых лет интересовало преимущественно ее левое, в особенности революционное, крыло, примкнувшее в дальнейшем к коммунистическому движению[1], то французские историки старались охватить вниманием более широкий спектр политических мнений в интеллектуальной среде[2]. Из совокупности существующих работ убедительно явствует, что война потрясла сознание французской интеллигенции, определив на многие годы и десятилетия вперед направления ее политических, идейных и нравственных исканий[3].

Причиной тому в первую очередь был неслыханно жестокий и кровавый характер мировой войны. Правда, французы ее ждали и готовились к ней. И несмотря на то что почти полвека (после заключения в 1871 г. Франкфуртского мирного договора и вплоть до рокового августа 1914 г.) отношения между Францией и Германией носили мирный характер, а прозрачные, чисто формальные границы между обеими странами не служили препятствием для их тесного экономического и культурного сотрудничества, два или три поколения французов, сменившиеся за это время, жили в атмосфере предчувствия если не неизбежного, то, по крайней мере, в высшей степени вероятного вооруженного столкновения с немцами[4].

© А.В. Ревякин

Интеллигенция внесла значительный вклад в то, что можно назвать моральной подготовкой Франции к войне. Учителя начальной и средней школы, составлявшей предмет особой гордости и заботы Третьей республики, весьма рьяно выполняли "государственный заказ" по патриотическому воспитанию детей и молодежи[5]. Впечатляющих масштабов достигла и националистическая пропаганда, охватывавшая огромную аудиторию взрослых граждан[6]. Всевозможные националистические движения (так называемые лиги) насчитывали в своих рядах в общей сложности сотни тысяч членов[7]. Вождями же их нередко являлись известные журналисты и писатели, как, например, Поль Дерулед, Морис Баррес[8] и Шарль Моррас[9]. В школе, на политических собраниях, в прессе французам постоянно напоминали о поражении их родины в войне 1870–1871 гг. и об аннексии Германией Эльзаса и Лотарингии. В итоге получилось так, что, хотя речь шла о событиях довольно отдаленного (по меркам быстротечного XIX в.) времени, многие французы и в начале XX в. воспринимали их не как "дела минувших дней", лично их не затрагивающие, но переживали их как *собственное* поражение, как *свой* позор.

Болезненно отзывались в душах людей и события международной политики конца XIX – начала XX в. Французское общественное мнение, формируемое прежде всего представителями интеллектуальной элиты страны, с исключительной подозрительностью относилось к внешней политике Германии, а международное положение в целом оценивало в свете противоречий с соседним государством. Поэтому большую тревогу у французов вызывали международные конфликты и кризисы, возникавшие в связи с территориальными и колониальными противоречиями держав и оцениваемые как свидетельство агрессивности Германии, ее враждебных происков против Франции. Что и говорить, подобные подозрения были более чем небеспочвенными. Но они мешали в достаточной мере оценить сложный и противоречивый характер международных отношений в Европе той поры, а также отдать должное законным, не выходящим за рамки международного права интересам других держав, как партнеров и союзников, так и соперников.

У французов, бесспорно, были основания считать, что Германия обошлась с их страной несправедливо. Интеллигенция, чуткая к вопросам этики, переживала это особенно болезненно. Она в своем большинстве и приняла войну в качестве возможного, хотя и не самого чистого способа восстановления попранной справедливости. Это решение далось ей тем легче, что война рисовалась в воображении многих французов (причем не только людей гражданских, но и высокопоставленных военных) как серия решающих сражений с немцами на границе, перерастающих в победный марш на восток французской армии-освободительницы.

Суровая действительность похоронила эти иллюзии. Победы над Германией не удалось добиться не только до наступления зимних холодов 1914 г., но и в дальнейшем. Неиссякаемый, казалось, оптимизм французов заметно поубавился уже на втором-третьем году войны. Даже зимой 1917/18 г., по самым оптимистическим прогнозам прави-

тельства, выходило, что она не может закончиться победой союзников раньше 1919 г., и то при условии активной помощи странам Антанты со стороны США, вступивших в войну в апреле 1917 г. Между тем потери Франции превосходили все разумные пределы. Это производило гнетущее впечатление на людей и побуждало многих задуматься: что важнее в конечном счете – человеческая жизнь или победа и не лишается ли последняя смысла, если плата за нее столь высока?

У французской интеллигенции было моральное право задавать эти вопросы. Дань кровью во время войны заплатили все социальные слои, но пропорционально наибольшие потери понесла именно интеллигенция. На бóльшую часть ее представителей, как правило, не распространялись льготы по освобождению от фронтовой службы работников жизненно важных отраслей экономики – инженеров, техников, квалифицированных рабочих, отчасти даже крестьян – призванных в армию, но отправленных с фронта обратно в тыл или вообще оставленных на своих рабочих местах. А чувство долга перед Отечеством не позволяло весьма многим интеллигентам уклоняться от призыва или же отсиживаться в безопасном тылу. Они, не дожидаясь призыва, в первые же недели войны ушли добровольцами на фронт. В списках павших мы находим имена известных писателей Шарля Пеги, Эрнеста Псишари, Алена Фурнье, Луи Перго, ученых, журналистов.

Но высокая цена, которую пришлось заплатить за победу, лишь отчасти объясняет потрясение, пережитое французской интеллигенцией под впечатлением войны. Его причиной было еще и сознание собственной ответственности за трагедию. Речь, конечно же, шла об ответственности не в юридическом или политическом смысле слова. Хотя и ее нельзя было сбрасывать со счета, потому что с установлением Третьей республики началось широкое "хождение во власть" профессионалов интеллектуального труда, которым в годы цензовой Июльской монархии (их тогда называли "талантами") или авторитарной Второй империи доступ в высшие властные сферы был практически закрыт. Интеллигенция осознавала прежде всего свою моральную ответственность за случившееся.

Нам не понять, почему во время войны интеллигенцию мучили угрызения совести, не учитывая той роли, которую она играла в общественной жизни. Еще задолго до начала первой мировой она превратилась во влиятельнейшую элиту, перед авторитетом которой склонялись едва ли не все классы общества. Слово "intellectuel", обозначающее человека умственного труда, приобрело в конце XIX – начале XX в. значение, близкое русскому слову "интеллигент". Интеллектуалами – когда с уважением, а когда и с неприязнью – стали называть людей, отличающихся не просто характером своей трудовой деятельности и даже не только широтой духовных запросов и интересов, но и ярко выраженной нравственной позицией. Именно с ней сопоставляли свои взгляды и поступки миллионы людей в разных слоях общества. Нередко слово авторитетного писателя, ученого или журналиста имело огромный общественный резонанс. Вспомним хотя бы знаменитое "Я обвиняю" Эмиля Золя, давшее толчок мощному дви-

жению сторонников пересмотра сфабрикованного военным трибуналом приговора по делу капитана Дрейфуса. И сама интеллигенция понимала силу своего слова, что рождало в ней чувство повышенной ответственности перед людьми, которые облекли ее своим доверием, перед народом вообще.

Таким образом, во время войны подверглась испытанию прежде всего способность интеллигенции давать согражданам надежные нравственные ориентиры, подсказывать им оправданный выбор в критических ситуациях. Фактически под вопросом оказался высокий общественный статус интеллигенции, достигнутый ею в минувшие десятилетия. Более того, возникла угроза важнейшему, в глазах интеллигенции, завоеванию культуры – признанию людьми превосходства разума над силой, высоких духовных ценностей над низменными инстинктами и сиюминутными потребностями.

Но хотя чувство личной и корпоративной ответственности за случившееся в равной мере испытывали достаточно многочисленные представители французской интеллигенции, в понимании своего долга они расходились между собой подчас весьма далеко. Здесь мы сталкиваемся с такой яркой особенностью французской интеллигенции, прямо связанной с ее общественным статусом и сознанием важности собственной миссии, как высокая степень ее политизации. Явление в истории, конечно же, не новое и часто повторяющееся, но во Франции оно приобрело специфические черты, обусловленные опытом этой страны в предыдущие годы и десятилетия, начиная по меньшей мере с революции конца XVIII в.

Именно под влиянием этой революции произошло размежевание политических сил на два противоположных лагеря, по традиции называемых левым и правым. С тех пор, какие бы политические потрясения Франция ни переживала, неизменно воспроизводилось и противостояние этих двух лагерей – в форме ли борьбы республиканцев и монархистов, конституционалистов и сторонников королевского самовластья или либералов и консерваторов. Устойчивость такой дихотомии объясняется тем, что левые и правые расходились во взглядах не только по конкретным вопросам управления страной, но и относительно образа правления и общественного строя в целом. Во Франции правящая партия почти всегда защищала существующий строй и образ правления, тогда как оппозиционная стремилась их изменить. За последние два столетия Франция примерила и отвергла полтора десятка конституций. Это резко контрастирует со стабильностью конституционного строя, например, Великобритании или США и свидетельствует о глубоких идеологических корнях противостояния политических сил во Франции.

В начале XX в. левые во Франции были носителями традиционных либерально-демократических ценностей, таких, как политическая свобода, гражданское равноправие, общественный прогресс, республиканский образ правления, парламентаризм, светскость. Некогда почетное место в этом перечне занимал и патриотизм в духе "якобинцев 1793 г.", руководивших войной революционной Франции против контрреволю-

ционной Европы. Однако в последней трети XIX в. его место в мировоззрении французских левых занял пацифизм – идея мира и сотрудничества между народами. А патриотическая идея была подхвачена правыми, но уже как идея не политического, а этнического превосходства Франции над другими странами, в особенности над Германией, т.е. как национализм. Причем парадокс истории заключается в том, что со времени революции XVIII в. именно правые регулярно навлекали на себя обвинения в "антипатриотизме", как партия эмигрантов–пособников иностранных интервентов. Национализм и тесно связанная с ним идея реванша за поражение в войне 1870–1871 гг. дополнили в конце XIX в. систему традиционных консервативно-авторитарных ценностей французских правых, приверженных сословной иерархии, монархическому образу правления, корпоративному общественному строю, армии, религии и церкви.

Интеллигенция в полной мере отдала дань этим раздорам. Как и все французское общество, в начале XX в. она была глубоко расколота по политико-идеологическому признаку. Этому способствовала непрерывная череда конфликтов, сотрясавших Францию в течение ряда лет в связи с "делом Дрейфуса", победой на парламентских выборах 1902 г. левых партий и проведением в жизнь закона 1905 г. об отделении церкви от государства. Даже накануне войны, когда обнаружились признаки ослабления накала борьбы, справа и слева находилось немало охотников подогревать политические страсти.

Но когда война началась, интеллигенция подчинилась "патриотической дисциплине", отложила на время свои споры и постаралась с честью выполнить гражданский долг. Это далось без особых нравственных усилий не только представителям правого крыла, которые, подобно своим идейным наставникам Барресу и Моррасу, воспринимали войну как некое очистительное жертвоприношение, способное духовно и политически "возродить" Францию, пришедшую в "упадок" за десятилетия парламентаризма и демократии. Но даже представители левого крыла интеллигенции не усмотрели большого противоречия между своим пацифистским идеалом и необходимостью обороняться от агрессии со стороны реакционной, империалистической Германии. Идея "войны за то, чтобы раз и навсегда покончить с войнами", в какой-то степени примиряла их с суровой действительностью.

Лишь по мере затягивания войны, когда с нее спали последние романтические покровы, наступило прозрение, за которым последовали мучительные попытки разобраться, кто виноват в том, что война обернулась трагедией, и что делать дальше (сакраментальные вопросы, мучившие и русскую интеллигенцию). Эти вопросы задавали себе даже люди правых убеждений, которых, как, например, Барреса, нельзя было заподозрить в симпатиях к пацифизму. Тем более не могли уклониться от них представители левой интеллигенции. К тому же они с тревогой и негодованием наблюдали за тем, как под шумок войны в государстве усиливается крен к авторитаризму, в обществе бушуют националистические страсти, а всеми делами в стране – от экономики до цензуры – заправляют военные.

Многие видные представители интеллектуальной элиты Франции не дожидались конца войны, чтобы обнародовать свой ответ на эти вопросы. Их высказывания, а еще больше – поступки обнаруживают все тот же глубокий политико-идеологический раскол интеллигенции на два лагеря, который существовал и до войны. Это, разумеется, не значит, что между двумя крайними позициями отсутствовали всякие промежуточные звенья. Наоборот, обстановка военного времени – с ограничениями свободы печати, с назойливым полицейским контролем, который ощущал на себе всякий сколько-нибудь заметный общественный деятель, литератор или журналист, с самоцензурой, которую налагали на себя многие из них, дабы не поколебать неосторожным словом прочности тыла и фронта перед лицом противника, угрожающего Парижу, – как раз не способствовала выражению крайних взглядов, особенно если они во многом расходились с текущей политикой правительства (касалось это не только левых, но и правых).

Историки Ж.-Ж. Бекер и Ж. Колен предприняли попытку классифицировать взгляды, которых придерживались французские писатели по отношению к первой мировой войне, прямо в ходе самой этой войны. Они выделили среди них пять групп, заметно различающихся своими позициями и психологическими реакциями. К первой группе они отнесли, кроме упомянутых нами выше Барреса и Морраса, таких писателей, как Анри Лавдан. Пьер Лоти, Поль Бурже, Леон Доде (сын известного классика французской литературы) и некоторых других. Они, по словам Бекера и Колен, "возглавляли направление, отличительными чертами которого были ярый национализм в политике и бьющий через край оптимизм в изображении войны, оправдываемый необходимостью поддерживать моральный дух французских солдат". Именно эта группа писателей чаще других обвинялась в сознательном "промывании мозгов"[10].

К ней непосредственно примыкала вторая группа писателей, в которую Бекер и Колен включают Рене Бенжамена, Люси Деларю-Мардю, Фернана Грега и Франсуа Порше. Она также занималась "промыванием мозгов", но делала это не столь откровенно, как первая. Во всяком случае, не относилась к этому как к исполнению гражданского долга[11].

Третья группа состояла из писателей-фронтовиков, таких, как Жорж Дюамель, Ролан Доржелес, Андре Моруа и др. Они также не ставили явных политических целей и стремились лишь рассказать правду о войне. Но эта правда была столь неприглядна, что хотели они того или нет, а их произведения воспринимались публикой как обличение войны, ее жестокостей и абсурда[12]. То, что в их сочинениях лишь подразумевалось или читалось между строк, открыто высказывали другие авторы, которых Бекер и Колен зачисляют в четвертую, самую, по их мнению, малочисленную группу французских писателей. Она состояла из противников войны и национализма, более или менее открыто выражавших пацифистские и интернационалистские взгляды. Ее самыми авторитетными представителями были Ромен Роллан и Анри Барбюс[13].

Вместе с тем весьма представительной оказалась группа писателей, которые по разным причинам не сочли возможным занять четко выраженную позицию в споре о войне, пока она не закончилась. Среди них Бекер и Колен упоминают Марселя Пруста, Андре Жида, Алэна (Эмиля Шартье), Анатоля Франса. Некоторые из них искренне ненавидели войну, но считали своим долгом разделить с народом все выпавшие на его долю тяготы и несчастья. В возрасте 46 лет простым солдатом ушел на фронт писатель и философ Алэн и лишь по окончании войны позволил себе в печати ее осудить. Другие занимали еще более двусмысленную позицию, как, например, Анатоль Франс, который в начале войны публично ее поддерживал, а в конце втихомолку критиковал[14].

Как мы видим, в мнениях и поведении писателей по отношению к ведущейся войне существовал большой разброс. Думается, разногласия не были меньшими и в масштабах всей французской интеллигенции, хотя между ее отдельными профессиональными группами и могли наблюдаться определенные различия. Было бы интересно сравнить, например, как переживали войну научно-техническая и гуманитарная интеллигенция, университетские ученые и школьные учителя. Полезно уточнить также, чем отличалось отношение к войне образованных классов и массы остального населения и, наконец, какие идеологические, духовные, психологические ресурсы позволили французам выстоять в этой беспримерной четырехлетней бойне.

Мы же сосредоточим внимание в настоящей статье на деятельности той группы французской интеллигенции, которая в разгар войны открыто выступила с проповедью пацифизма и интернационализма. В основе нашего выбора лежит несколько мотивов. Нам представляется важной проблема взаимоотношений личности и государства, которое в годы первой мировой войны подчинило своему контролю едва ли не все общество. Пацифисты и интернационалисты открыто бросили вызов такому государству, подвергнув критике непререкаемую догму его политики – лозунг "войны до победного конца". Что побудило их вступить в схватку с Левиафаном? Ведь, как мы убедились, немало их более благоразумных сограждан, ненавидевших войну не меньше их самих, все же предпочли уклониться от схватки. Небезынтересной показалась нам и задача разобраться в логике этого противостояния, этой неравной борьбы загнанных, преследуемых одиночек с могущественным (если не сказать *тотальным*) государством. Наконец, в пользу этого выбора склонило нас и то, что мы обнаружили ранее неизвестные архивные документы, проливающие свет на деятельность пацифистски настроенной интеллигенции Франции в годы мировой войны.

В центре нашего внимания – фигура писателя Ромена Роллана[15], который сыграл видную роль в пацифистском движении французской и в целом европейской интеллигенции. Не будучи борцом по натуре и не имея склонности к прямому политическому действию, он в годы войны не шествовал впереди антивоенных манифестаций, не заседал в президиумах многолюдных собраний, вообще не пытался снискать

симпатии толпы. Годы войны Роллан провел в нейтральной Швейцарии, где круг его общения ограничивался представителями свободомыслящей и антивоенно настроенной интеллигенции со всей Европы и из-за ее пределов. Этот круг может кому-то показаться однообразным, но узким его назвать никак нельзя. В "Дневнике военных лет"[16], в котором отражена жизнь писателя в Швейцарии день за днем, упоминаются имена сотен и сотен лиц, с которыми Роллан либо встречался лично, либо обменивался письмами. В этом повседневном общении и заключалась прежде всего общественная деятельность писателя. Вместе с тем огромный резонанс имела его публицистика, в которой он разрушал всевозможные табу, введенные правительствами и принятые общественным мнением воюющих стран, на обсуждение острых вопросов войны и мира, моральной ответственности и долга интеллигенции перед народами своих стран.

Одна из таких публикаций, статья "Над схваткой" в газете "Журналь де Женев" (в номере от 15 сентября 1914 г.), разошедшаяся по всему миру в перепечатках и переводах, сделала Роллана предметом обожания пацифистов всех стран и нападок французских националистов. Автор утверждал в ней: "Между народами Запада не было ни малейших оснований для войны... Наши народы не желали ничего, кроме мира и свободы". Хотя виновником войны он объявлял "империализм" Германии, Австро-Венгрии и России, при этом он делал многозначительную оговорку: "Врага нужно искать не снаружи, а внутри наших границ, он – среди нас... У каждого народа в той или иной мере есть свой империализм... который, как спрут, обескровливает Европу". Статья Роллана была обращена прежде всего к интеллектуальной "элите европейских стран", к "художникам и писателям, проповедникам и мыслителям без различия партий". Он призывал их приложить усилия к созданию "высшего морального трибунала", который бы "не оставил без внимания ни одного нарушения прав людей, кто бы в том ни был повинен"[17].

Однако эта и другие статьи, с которыми выступил Роллан осенью 1914 г., не получили, по его мнению, должного отклика. По мере затягивания войны общественное мнение воюющих и нейтральных стран как будто смирилось с ней как с неизбежностью. Повсеместно официальная правда о войне, а по разумению Роллана – полуправда или даже откровенная ложь, вытеснила свободную и беспристрастную информацию. Общественная жизнь замерла. Широко распространились конформистские настроения, подогреваемые националистической пропагандой и страхом перед "законами военного времени". К своему ужасу, Роллан обнаружил, что разнузданный национализм охватил даже нейтральную Швейцарию: мирные франко-швейцарцы оказались еще большими французскими националистами, чем сами французы[18]. На Роллана посыпались упреки в забвении интересов родины. В июле 1915 г. вышла из печати брошюра Анри Масси "Ромен Роллан против Франции", в которой писатель обвинялся не более и не менее как в "моральном дезертирстве"[19].

Все это, вместе взятое, заставило Роллана на время замолчать.

Его молчание продолжалось приблизительно с середины 1915 г. по ноябрь 1916 г. Это было время, когда, по словам Рене Шеваля, исследователя творчества Роллана военных лет, он был занят "поисками самого себя". "В течение первого года войны, – пишет Шеваль, – он еще мог надеяться, что интеллектуальная элита помешает разрастанию войны, что конфликт еще можно будет удержать в каких-то рамках благодаря ее сдерживающему влиянию"[20]. Однако эти надежды оказались иллюзиями, и на третьем году войны Роллан приходит к выводу, что только "народы Европы сами смогут прекратить эту войну"[21].

Поворот в мировоззрении Роллана обозначили две статьи, вышедшие из печати в ноябре 1916 г., – "Вверх по извилистой дороге" и "Убиваемым народам". Для понимания происшедших в нем перемен особенно важна вторая. В ней писатель по-новому ставил вопрос об ответственности за войну. Во всем, по его мнению, виноваты богатство, деньги, в особенности же люди, которые, желая того или нет, наживаются на несчастье ближних. Они, по словам Роллана, воплощают "антиобщественный эгоизм" и настолько всемогущи, что "интеллектуалы, пресса, политики, даже главы государств... являются орудиями в их руках либо служат им ширмой"[22]. А народы настолько глупы и невежественны, что верят лжи, которой в их глазах пытаются оправдать войну. "Народы, – пишет Роллан, – всегда остаются в дураках или мучениках, расплачиваясь за ошибки других..."[23] Он обращается к народам всего мира с призывом: "Объединяйтесь!" Это нужно не только для того, чтобы сломать барьеры, возведенные между ними в корыстных и эгоистических интересах власть имущих. "Если вы этого не сделаете, – подчеркивает Роллан, – если эта война не приведет к *социальному обновлению* всех стран, то прощай, Европа, властительница дум, светоч человечества! Ты окончательно сбилась с пути и бредешь на кладбище. Там твое место. Спи спокойно! И пусть другие возьмут на себя бремя руководства миром!"[24]

Эти слова отражают глубину потрясения, которое пережил Роллан под влиянием войны. "Он уже не такой, каким был раньше, – замечает Р. Шеваль, – не интеллектуал, который оценивает историю, руководствуясь собственной шкалой моральных ценностей, и для которого единственным мерилом всего сущего является личность. Он становится другим человеком, который хочет быть не только зрителем, но и участником происходящей трагедии, жаждет служения народу и который воспринимает мир уже не только в его моральном, но и прежде всего в социальном измерении"[25].

В свете этих перемен в мировоззрении Роллана становится понятным его постепенное сближение с весьма пестрой группой социалистов-интернационалистов разных стран, нашедших во время войны пристанище в Швейцарии, а также горячая поддержка революции 1917 г. в России, как Февральского, так и Октябрьского ее периода. Чтобы читатель мог оценить всю глубину духовной драмы, которую пережил писатель, отметим, что в русской революции он усмотрел если не оправдание, то, во всяком случае, некий трансцендентный смысл

мировой войны. 24 июля 1917 г. он, размышляя о значении затеянной русским командованием наступательной операции на Восточном фронте, записал в "Дневнике": "Если русские повсдут войну против империализма и капитализма как Германии, так и Запада (включая заокеанскую державу), то она будет социально оправданна [elle prend une légitimité sociale] и в любом случае позволит русской революции укрепиться внутри страны под прикрытием союзников, которые не посмеют вмешаться в ее ход". Но, видимо устыдившись собственного цинизма, Роллан тут же добавил: "Разумеется, эта война – равно как и любая другая – остается все так же противна христианским, толстовским и общегуманистическим идеалам. Однако с точки зрения социального развития война впервые за три года подала хоть робкую, но реальную надежду на прогресс человечества"[26].

Обстоятельства жизни и деятельности Роллана в Швейцарии до сих пор еще недостаточно прояснены в научной литературе. Историки *судят о них в основном по дневниковым записям самого писателя, его* перепискс, воспоминаниям хорошо знавших его лиц. Между тем существуют еще и документы государственных учреждений Франции, проявлявших к нему во время войны пристальное внимание, прежде всего гражданской и военной контрразведок (Сюрте женераль и 2-е Бюро Генерального штаба армии). В их архивах отложился обширный материал, посвященный Роллану, его общественной деятельности, связанным с ним лицам и пр. Нам удалось ознакомиться с частью этих материалов, которые и легли в основу настоящей статьи. Они проливают свет на обстоятельства той важной перемены, которая произошла в воззрениях писателя в 1915–1916 гг.

Контрразведывательные досье, в которых, между прочим, сохранилось немало оригинальных документов Роллана, его родственников и знакомых (копии, нередко оригиналы перехваченных писем, телеграмм), характеризуют прежде всего взаимоотношения между французским государством и пацифистским сообществом, сложившимся вокруг Роллана во время первой мировой войны. Они свидетельствуют, что его общественная деятельность вызывала нешуточную тревогу со стороны соответствующих служб, которые пытались взять под контроль многочисленные связи писателя, проявляя при этом немалое рвение.

Сам Роллан не раз жаловался во время войны на трудности, чинимые властями его переписке. В одном из писем своей сестре Мадлен Роллан, жившей в Париже, датированном 12 декабря 1915 г., которое было вскрыто и скопировано службой почтового контроля, он сообщал: "Вот уже около двух месяцев, как вся моя личная переписка с Америкой не только запаздывает, но и вообще пропадает, изымается. Обеспокоенный молчанием моей подруги[27], я ей послал недели две тому назад телеграмму с оплаченным ответом. Эта телеграмма также была изъята; только вторая депеша достигла адресата и позволила мне узнать, что в течение двух месяцев она писала мне каждую неделю, хотя я так от нее ничего и не получил". Не без сарказма Роллан добавлял: "Я нахожу эти методы не только отвратительными, но и

глупыми, поскольку речь идет о сугубо дружеской переписке, не затрагивающей политики. Можно подумать, что некие мелкие чиновники из почтовой цензуры вместо того, чтобы исполнять свой долг, развлекаются чтением и коллекционированием личной корреспонденции"[28].

Мотивы, по которым цензура чинила препятствия переписке Роллана с Еленой де Кэй, мы узнаем из ноты, направленной ответственным чиновником Военной комиссии почтового контроля в Лионе военному министерству. Этот документ красноречиво свидетельствует о той неприязни, с которой к вольнодумствующему писателю относились в официальных сферах. "С самого начала работы комиссии, – говорится в документе, – через наши руки прошло большое число писем, адресованных Ромену Роллану или написанных им самим. Хотя большей частью эти письма не представляют особого интереса, мы тем не менее считали целесообразным их задержать или препроводить в СЦР[29]. К тому же вот уже в течение некоторого времени Ромен Роллан ведет себя так, будто ему окончательно вскружила голову шумиха, поднятая вокруг его имени в связи с присуждением ему Нобелевской премии[30]... Поэтому, взвесив все, мы сочли своим долгом прекратить всю его переписку... Из его личных писем явствует, что Ромен Роллан считает себя избранником судьбы и очень нуждается в рекламе... Лучшей мерой против него были бы забвение и безразличие. Поэтому, если нам позволено высказать пожелание, мы советовали бы ввести цензурный запрет на упоминание в печати даже имени Ромена Роллана"[31].

Бесцеремонное вмешательство военных цензоров в его переписку заставляло Роллана прибегать к разным уловкам, чтобы обмануть их бдительность. Но профессиональным контрразведчикам ничего не стоило разгадать ухищрения мало искушенного в конспирации писателя. 6 июля 1916 г. начальник Военной комиссии почтового контроля города Понтарлье, что близ швейцарской границы, подполковник Венсан докладывал военному министру, что, по его данным, приезжающие к Роллану из Франции гости доставляют письма, которые отправители не рискуют доверить почте, а возвращаясь домой, увозят запрещенные цензурой печатные материалы[32].

Одно из писем Роллану, перехваченных почтовым контролем, дало повод к проведению тайной полицейской операции против опального писателя и связанных с ним лиц. Эта операция интересна не только тем, что в результате ее удалось установить связи Роллана с некоторыми пацифистски настроенными интеллектуалами и узнать нечто существенное об их деятельности. Она, кроме того, позволяет в истинном масштабе представить драму противостояния инакомыслящего писателя, единственным оружием которого являлось свободное слово, и всесильного государства.

Письмо, о котором идет речь, датировано 6 декабря 1915 г. Начинается оно достаточно безобидно – словами благодарности "дорогому метру" за экземпляр сборника статей Роллана "Над схваткой" с дарственной надписью автора. Но далее следовал пассаж, который,

по-видимому, и привлек особое внимание цензора. "Я – солдат-авиатор, писал отправитель. – Настроения в моем полку, я ответственно это говорю, не слишком воинственные. Мне кажется, что армия гораздо более рассудительна, чем это обычно допускают... Тем лучше! Добавьте к этому усталость..." В конце стояла вполне разборчивая подпись: "Ж.-М. Ренетур" – и постскриптум: "В конверт вложено письмо, которое вам просил передать г. Жорж Лами"[33].

Второе письмо, бóльшую часть которого занимала просьба к Роллану выяснить судьбу одного французского солдата-военнопленного[34], также содержало настораживающее упоминание о некоем "проекте", посланном Роллану месяцем ранее с верным человеком. Лами писал, что до сих пор не получил от него ответа, может быть, по причине "строгости цензуры"[35].

Этих неосторожных высказываний оказалось достаточно, чтобы по следу обоих корреспондентов Роллана были брошены силы военного ведомства и гражданской полиции. Поиски заняли некоторое время. Затруднения вызвало то, что солдат по имени Ренстур не значился в списках авиационных частей. Единственной "зацепкой" в руках дознавателей являлся Жорж Лами, найти которого не составило труда, ибо он указал в письме Роллану свой обратный адрес: город Бюзансе, департамент Эндр.

Комиссар мобильной полиции Блондель, которому было поручено навести в Бюзансе справки о корреспондентах Роллана, установил, что Лами, молодой человек 1895 года рождения, освобожденный от призыва в армию, действительно проживает в этом городе и исполняет обязанности заместителя мэра. Выяснилось также, что он находится под "подозрением" у местных блюстителей порядка "по причине своих очень передовых воззрений", хотя ни в чем предосудительном замечен не был, в частности "не проявлял своих антивоенных настроений". Комиссару Блонделю, пользуясь простодушием Лами, удалось обманным путем выведать у него все, что тому было известно о "Ренетуре". «Удостоверившись, – отмечал он в своем рапорте начальству, – что "Ренетур" неизвестен в Бюзансе и что только Жорж Лами может сообщить мне его адрес, я добился того, что был ему представлен, и в ходе разговора с ним сумел выяснить следующее. Лами знает Ренетура только по его литературному псевдониму. Они встречались в Париже еще до войны и с тех пор состоят в переписке. Ренетур в настоящее время служит в армии и учится на военного летчика в департаменте Кот д'Ор». Лами также сообщил своему любознательному собеседнику парижский адрес, на который посылает свои письма Ренетуру. Изложив результаты своего расследования, комиссар Блондель, как добросовестный служака, предложил "установить наблюдение за перепиской" Лами[36].

После того как комиссар Блондель столь блестяще справился с заданием, установить личность "Ренетура" не представляло большого труда. Расследование, проведенное в Париже инспектором мобильной полиции Педепьесом, уже спустя неделю позволило установить, что под этим псевдонимом скрывается не кто иной, как журналист

Пьер Турнер, 1896 года рождения, проживающий в собственном доме по адресу, указанному Лами. В последнее время Турнер сотрудничал в левореспубликанской газете "Бонне руж", где опубликовал, в частности, статью в защиту Р. Роллана. Свои публикации он подписывал псевдонимом "Ренетур", являющимся всего лишь анаграммой его настоящего имени (Tournaire – Renaitour). Однако отношение Турнера к военной службе и авиации в Париже выяснить не удалось[37].

Спустя несколько дней все точки над i поставил наконец батальонный комиссар Фужру, руководивший обучением военных летчиков в Дижоне (департамент Кот д'Ор). В своем докладе по запросу полиции он подтвердил, что среди курсантов 1-й авиационной группы действительно числится Пьер Турнер. Но он отличается "хорошим поведением и ничего подозрительного в его поступках командиры никогда не усматривали". Тем не менее Фужру отдал приказ, чтобы за "высказываниями и связями" Турнера было установлено "негласное наблюдение". "Если появятся хоть какие-то сомнения в его боевом духе или обнаружатся подозрительные поступки, – обещал он в заключение своего доклада, – я немедленно об этом сообщу"[38].

Мы нашли косвенное подтверждение тому, что над головой Турнера–Ренетура определенно сгустились тучи. Это – заявление, которое направил начальнику военной контрразведки полковнику Губе некий Гиацинт Луазон[39]. Будучи одним из злейших противников Роллана, этот парижский литератор не смог оставить без внимания робкие попытки молодого и малоизвестного журналиста взять под защиту опального писателя-эмигранта. Между ним и Турнером завязалась газетная полемика, которую, как отмечается в одном из архивных документов, прервал лишь уход последнего в армию в ноябре 1915 г.[40] Заявление Луазона – бесспорное свидетельство тому, на каком высоком уровне решалась весной 1916 г. судьба молодого курсанта-авиатора.

Можно предположить, что участь Турнера была бы печальна, попадись он под горячую руку контрразведчикам или агентам службы безопасности всего лишь год спустя, весной и летом 1917 г., когда против пацифистов и "пораженцев" во Франции была развернута настоящая кампания травли и судебных преследований. Однако весной 1916 г. власти еще относились к ним с высокой мерой терпимости, стремясь к сохранению внутреннего мира и спокойствия под лозунгом "священного единения", т.е. национальной солидарности французов перед лицом внешнего врага. Поэтому Турнера оставили в покое, хотя и продолжали скрытно за ним наблюдать. Так, нами обнаружена справка полиции о его деятельности, датированная 13 января 1921 г. Если ей верить, то ни в чем предосудительном с точки зрения властей Турнер не был замечен, но тем не менее все эти годы находился, что называется, "под колпаком"[41].

Впрочем, избежать неприятностей Турнеру, вероятно, помогло и заступничество человека, которого в особых симпатиях к нему трудно было бы заподозрить. Упомянутый выше Луазон в своем заявлении начальнику контрразведки просил его проявить снисходительность к

провинившемуся солдату. "Я не сомневаюсь, – писал он о Турнере, – что если военные власти сочтут возможным потребовать от него, *как солдата*, принятия на себя определенных обязательств, то он их без колебания даст. Что касается меня, я готов гарантировать его честность"[42].

Что побудило Луазона выступить в защиту своего идейного противника, каковым без сомнения являлся Турнер? В упомянутом заявлении он сам объясняет мотивы своего поступка, а кроме того, сообщает некоторые сведения о Турнере, которые, как нам кажется, хорошо иллюстрируют духовную раздвоенность пацифистски настроенной левой интеллигенции Франции в годы войны.

Прежде всего Луазона подкупило то, что во время полемики, которая возникла между ним и Турнером по поводу автора брошюры "Над схваткой", его молодой оппонент вел себя "лояльно и благородно". А самое главное – в завершение дискуссии он, по оценке Луазона, "в великодушном порыве" совершил нечто, прямо противоположное вслух отстаиваемым взглядам. "В 19 лет, еще до призыва на военную службу молодежи его возраста, он сам бросился "в схватку", чтобы защищать родину", т.е. ушел в армию добровольцем. Причем, чтобы добиться зачисления в авиацию, Турнеру пришлось преодолеть серьезные трудности. Два его прошения, поданные на имя министра, были отклонены. Как оказалось, причиной отказов были опубликованные им в прессе статьи в защиту Роллана. Удалось выяснить даже, что префектура полиции завела на него по этому поводу специальное дело.

В заключение, обращаясь к начальнику контрразведки Губе, Луазон писал: «Не кажется ли Вам, господин полковник, что те спорные мнения, которые выражал г. Турнер, будучи гражданским лицом, нельзя ставить в упрек солдату-добровольцу? Этот молодой девятнадцатилетний человек... покоряет искренностью и честностью своей личности и своих слов. Высшей честью для него было бы подвергнуть свою жизнь опасности, а в случае необходимости – и отдать ее за дело Республики. Это – самый благородный и самый смелый вывод из инкриминируемых ему статей. И возможно, Вы согласитесь со мной, что "священное единение" должно применяться и к этому молодому солдату»[43].

Возымело ли действие эмоциональное обращение Луазона, вес которому придавала его должность офицера-переводчика при министерстве иностранных дел, к полковнику Губе, пообещал ли Турнер по настоянию военных властей воздерживаться от проявления антивоенных убеждений, – мы можем только догадываться. Во всяком случае, судя по документам полиции, активную политическую деятельность Турнер возобновил лишь в 1920 г., когда вступил в группу революционно настроенных писателей "Кларте" и принял участие в митинге против военной интервенции в России[44].

В то время как Турнер старался честно и добросовестно выполнить свой воинский долг, Жорж Лами с головой окунулся в политическую

деятельность. Поскольку служба безопасности не спускала с него глаз, мы более или менее о ней осведомлены. Из полицейской справки, датированной 11 сентября 1917 г., мы узнаем, что в апреле 1916 г. он перебрался из Бюзансе в Париж, где сблизился с анархистами (в связях с которыми подозревался и ранее) и приобрел среди них репутацию "непримиримого". Опустим скандальные подробности личной жизни Лами, к которым полиция проявляла специфический интерес. Но вот что не может не привлечь наше внимание, так это сообщение о попытке Лами создать осенью 1916 г. некую "пацифистскую лигу" под названием "Гуманный союз" (Union humaine), в который якобы согласились вступить такие видные деятели левого крыла социалистической партии Франции, как "кинтальцы" Александр Блан, Пьер Бризон и Раффен-Дюжанс, а также Жан Лонге[45].

Здесь мы должны напомнить читателю, что приведенные выше сведения и документы почерпнуты нами из надзорного дела Ромена Роллана, которое вела французская полиция во время первой мировой войны. Судьбы трех главных героев нашего исследования на какое-то мгновение истории оказались переплетены между собой, и взаимоотношения между ними выразили, на наш взгляд, некоторые существенные стороны такой своеобразной формы самоорганизации общественной жизни, как пацифистское сообщество эпохи Великой войны.

Кульминацией во взаимоотношениях этих трех лиц явилось письмо, которое Лами отправил Роллану 27 июня 1916 г. из Парижа в Швейцарию. В нем от имени автора, а также голландского пацифиста Гана Рейнера и уже известного нам Турнера (упоминаемого в письме не иначе как Ренетур) излагался план широкого антивоенного объединения интеллектуалов Европы, о попытке осуществить который осенью 1916 г. мы уже знаем из вышеупомянутой полицейской справки. Отметим сразу: это письмо было перехвачено полицией. В досье, документы которого легли в основу нашего исследования, имеется не только его машинописная копия[46], но и рукописный оригинал[47], который так и не дошел до адресата. Мы не знаем, было ли отправлено это письмо обычной почтой, или его пытались переправить с оказией. Но, памятуя о том, с каким простодушием Лами откровенничал с переодетым полицейским в феврале 1916 г., мы бы не удивились, если бы он на самом деле доверил столь важное послание почте. Не вызывает у нас доверия и упоминание в письме Турнера (по уже известным читателю причинам). По всей видимости, автор это сделал для большей убедительности своих предложений, поскольку именно Турнер помог ему завязать переписку с Ролланом.

О том, что такая переписка существовала в первой половине 1916 г., свидетельствуют первые фразы письма Лами. "Ваше письмо, – обращается он к Роллану, – дошло до меня за два дня; это я задержался с ответом. Предварительно мне нужно было закончить несколько дел". Что это были за дела? Оказывается, встречи и беседы с Ганом Рейнером, Жоржем Пиошем и Жаном Лонге. И далее Лами переходит прямо к сути вопроса: «Из этих и нескольких других встреч я вынес впечатление, что, обратившись не только к писателям, но ко всем

интеллектуалам вообще – ученым, музыкантам, художникам, скульпторам, подвижникам, мы добьемся *огромного* успеха".

Попутно выясняется и то, какими идеями делился Лами с Ролланом в предыдущих письмах. "Очевидно, – продолжал он, – поскольку Ган Рейнер, Ренетур и я раньше обращались к Вам с просьбой поддержать наш проект объединения лишь одних писателей, то мы и впредь будем поступать в соответствии с Вашими пожеланиями и ограничим наши планы первоначальными рамками, если так Вам больше нравится".

Склоняясь перед авторитетом Роллана, Лами все же пытается убедить его в целесообразности открыть двери намечаемого объединения хотя бы перед людьми из мира политики. Они, по его словам, "заслуживают внимания даже независимо от своих интеллектуальных достоинств, которые они демонстрируют на поприще журналистики". Такие депутаты, как Раффен-Дюжанс, Бризон и Блан, могут оказать, как подчеркивает Лами, "практическую" помощь (впрочем, не уточняя, что он имеет в виду). По его словам, "из надежного источника" ему известно, что если обратиться к ним за поддержкой, то "успех будет гарантирован".

Далее Лами весьма оптимистично отзывается о возможности привлечь в ряды объединения интеллектуалов и политиков из Великобритании, Голландии, Италии. Что касается Франции, то он уверенно сообщает Роллану, что здесь "нас будет больше, чем Вы даже думаете, и мы обеспечим себе такую рекламу, какую захотим".

Признавая,что его идеи могут показаться Роллану несколько "туманными", Лами пытается "по мере возможности их уточнить". Приведем дословно ту часть его письма, которая, как будто цитата из какого-то другого неназванного документа, выделена кавычками. Итак, Лами с своими друзьями ставит следующую задачу: "Создать объединение, которое ни при каких обстоятельствах не будет призывать к действию; следовательно, против такого объединения *они* (очевидно, власти. – *А.Р.*) окажутся бессильными, даже если бы *им* очень захотелось применить силу. Такое объединение одним только фактом своего существования покажет, что не все интеллектуалы одинаковы, что часть из них никогда не разделяла некоторых идей, хотя и молчаливо их допускала, не решаясь выступить с их публичным опровержением. Кроме того, это объединение предоставит полную свободу личной инициативе, отвергая в то же время коллективную ответственность за те или иные поступки своих членов. В конечном счете оно поставит перед собой ясную цель, но эта цель будет лишь подразумеваться, хотя и может быть четко выражена одним *словом*, и вы догадываетесь, каким". Конечно, добавим мы от себя, это слово – мир.

Лами благодарит Роллана за поддержку проекта такой организации, но в то же время выражает сожаление о том, что Роллан не позволил назвать ее своим именем. Как бы возражая писателю, Лами находит не вполне удачным предложение назвать организацию именем Жореса или Толстого (которое, по-видимому, от Роллана и исходило). По его мнению, имя Жореса "отпугнуло бы сторонников непротивления злу

насилием", тогда как имя Толстого могло бы оттолкнуть сторонников "легитимной обороны". Чем разжигать ненужные споры, считает Лами, лучше уж предпочесть тому или иному громкому имени простую "формулу".

В заключение Лами пишет, что если Роллан его одобрит, то он готов уже через месяц "заняться практическим осуществлением нашего проекта", успех которого ему кажется обеспеченным, "по крайней мере во Франции".

Мы уже знаем ту емкую "формулу", на основе которой Лами попытался осенью 1916 г. сплотить французских и европейских интеллектуалов – противников кровопролития, – "Гуманный", т.е. ставящий превыше всего человеческую жизнь и достоинство, союз. Знаем мы также, что из затеи Лами и его друзей ничего не вышло. Так стоило ли уделять столько внимания его письму, которое, как мы отмечали выше, по всей видимости, так и не дошло до адресата?

На наш взгляд, это стоило сделать хотя бы потому, что письмо Лами – важнейшее документальное свидетельство об одной из первых в ходе войны попыток объединения антивоенно настроенной интеллигенции Франции. Оно ярко отражает трудности как политического (опасность преследований со стороны властей), так и интеллектуального (чрезвычайный "разброд и шатания" в умах людей) характера, с которыми сталкивались энтузиасты наподобие Лами или самого Роллана. Эти трудности во многом объясняют то, почему в продолжение всей войны во Франции антивоенная оппозиция, даже в социалистической партии, была организационно оформлена слабо. Можно представить, как нелегко было договориться между собой последовательным пацифистам в духе толстовского "непротивления злу" и сторонникам "легитимной обороны".

Вместе с тем письмо Лами косвенно свидетельствует и о перемене, происшедшей в воззрениях самого Роллана с начала войны. Действительно, проект общественного объединения, выдвинутый Лами, выдержан вполне в духе ранних идей писателя, относящихся ко времени написания им статьи "Над схваткой". Как мы показали выше, тогда он мечтал о совместном выступлении против войны интеллектуалов разных стран, надеясь, что они одним своим авторитетом смогут ее остановить. Проект Лами также предусматривал объединение интеллектуалов разных стран, хотя и с участием небольшого числа публичных политиков. Он также отвергал "действие", т.е. политическую борьбу против войны, ограничивая задачи организации "неучастием", демонстративным отказом от ее активной поддержки.

Тем не менее, когда Лами, как явствует из его письма, обратился к Роллану с просьбой назвать новую организацию его именем, тот ответил отказом. Нам это представляется весьма симптоматичным. Летом 1916 г. Лами и его друзья все еще судили о Роллане как об авторе "Над схваткой". Они и не заметили – военная цензура, да и затянувшееся "молчание" самого Роллана тому явно не способствовали, – что в нем произошла перемена. За почтительным тоном письма Лами угадывается удивление, если не раздражение тем, что писатель не принял столь щедрый дар и отказался стать во главе движения.

Достаточно сопоставить по срокам отмеченную в полицейском рапорте неудачную попытку Лами создать "Гуманный союз" и появление в печати статей Роллана "Вверх по извилистой дороге" и "Убиваемым народам" – осень 1916 г., – чтобы увидеть, что это звенья одной цепи событий. Невольно напрашивается вывод, что неудача Лами сыграла немаловажную роль в том, что Роллан пересмотрел свою прежнюю точку зрения о войне и мерах борьбы с ней.

Письмо Лами дает некоторую пищу и для размышлений о причинах разочарования, постигшего Роллана на исходе второго года войны. Он долго ждал, когда же его призыв к представителям интеллектуальной элиты возвысить свой голос против войны будет наконец услышан. И вот представьте, он получает конкретное предложение создать международный антивоенный союз интеллектуалов. Письма, которые ему шлют Ренетур, Лами и другие его почитатели, подписавшиеся под этим предложением, дышат искренностью. Но кто эти корреспонденты Роллана – известные ли писатели, ученые, словом – "властители дум", к которым прежде всего он и обращал свой призыв осенью 1914 г.? Нет, это – молодежь, начинающие литераторы, которым едва исполнилось 20 лет, словом, люди без имени и без того высокого авторитета, который только и дает широкая известность и на который Роллан делал ставку. Поэтому он и не мог серьезно отнестись к их обещаниям скорого и полного успеха, подозревая их в самообольщении, свойственном молодости.

Как нам представляется, одной из важных причин разочарования Роллана в методах морального сопротивления войне было как раз то, что пацифистское сообщество, сложившееся во Франции в 1916 г., хотя и не испытывало недостатка в молодых и энергичных людях, было достаточно бедно интеллектуальными силами. Может быть, наиболее "интеллигентская" по составу пацифистская организация того времени – Общество документальных и критических исследований о войне, уютно устроившееся под крылом Лиги защиты прав человека и гражданина, насчитывало всего лишь около пяти-шести десятков членов[48]. А самое главное – оно ничем себя публично не проявляло и широкая общественность просто не знала о его существовании. Положение стало заметно меняться лишь к концу 1916 г., когда был опубликован роман "Огонь", в одночасье сделавший знаменитым его автора – А. Барбюса, который и занял вакантное место вождя интеллектуальной оппозиции войне в самой Франции.

В совокупности же изученные нами документы показывают, что радикализация воззрений Роллана произошла во многом под влиянием внешних причин, прежде всего – суровых полицейских ограничений, наложенных в военные годы на движение свободной мысли и свободного слова. Убедившись в том, что его призыв к благоразумию и совести власть имущих все больше напоминает вопль вопиющего в пустыне, что государственный произвол и насилие не знают границ,

Роллан как к "последнему доводу" в защиту высоких гуманистических ценностей и идеалов обратился к самим народам.

Мы не беремся судить, был ли он прав, принимая подобное решение. Заметим лишь, что его последующий путь был тернист. Впрочем, Роллан разделил его с другими представителями левой интеллигенции Европы, своими современниками, среди которых такие, как Генрих Манн или Максим Горький. Но мы предлагаем читателю задуматься о том, *какой*, собственно говоря, *выбор* предоставила история тогда, в первой половине XX в., левым интеллигентам, дважды на протяжении их жизни – в годы первой мировой войны, а затем чуть позже, в условиях возникновения и господства "разномастных" тоталитаризмов, – пережившим крушение веры в торжество демократических и интернационалистских идеалов.

[1] *Волк С.С.* Первые отклики прогрессивной общественности мира на события Великого Октября (ноябрь 1917–февраль 1918 г.) // Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. М.; Л., 1957; *Вульфсон Б.Л.* Антимилитаристское движение во Франции накануне первой мировой войны // Новая и новейшая история. 1964. № 4. С. 106–115; *Козлов Н.А.* Анатоль Франс и революционная Россия: (По материалам общественно-публицистической деятельности А. Франса) // Ученые записки Арзамасского пед. ин-та. 1957. Вып. 1. С. 177–208; *Наркирьер Ф.* Французская революционная литература. М., 1965; *Старосельская-Никитина О.А.* Общественная и политическая деятельность Поля Ланжевена (1917–1940) // Французский ежегодник. 1958. М., 1959; *Табагуа И.М.* Поддержка прогрессивными силами Франции Советской России (1917–1924). Тбилиси, 1961 (на груз. яз., резюме на рус. яз.), и др.

[2] *Baumont M.* Maurice Barrès et les morts de guerre de 1914–1918 // L'Information historique. 1969. Jan.-fev.; *Charlot J. et M.* Un rassemblement d'intellectuels: la Ligue des Droits de l'Homme // Revue Française de Science Politique, 1959, Juin; *Fabre R.* Un groupe d'étudiants protestants en 1914–1918 // Le Mouvement social. 1983. N 122; *Ory P., Sirinelli J.-F.* Les intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours. P., 1986; *Quoniani Th.* Péguy ou Les chemins de la grâce. P., 1987; Les sociétés européennes et la guerre de 1914–1918. Actes du colloque à Nanterre et à Amiens du 8 au 11 décembre 1988. P., 1990, etc.

[3] *Ory P., Sirinelli J.-F.* Op. cit.; *Sirinelli J.-F.* Génération intellectuelle. Khâneux et Normaliens dans l'entre-deux-guerres. P., 1988.

[4] *Contamine H.* La Revacnhe (1871–1914). P., 1957; *Digeon C.* La crise allemande de la pensée française. P., 1959.

[5] *Ozouf M.* L'Ecole, l'Eglise et la République (1871–1914). P., 1963; *Ozouf J. et M.* Le thème du patriotisme dans les manuels scolaires // Le Mouvement social. 1964. Oct.–dec.

[6] *Girardet R.* La nationalisme français. Anthologie 1871–1914. P., 1966.

[7] *Winock M.* Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France. P., 1972; *Rioux J.-P.* Nationalisme et conservatisme. La Ligue de la Patrie française (1899–1904). P., 1977; *Weber E.* L'Action française. P., 1985, etc.

[8] *Sternhell Z.* Maurice Barrès et la nationalisme français. P., 1972.

[9] *Наринский М.М.* Шарль Моррас и "Аксьон франсэз" до первой мировой войны // Французский ежегодник. 1976. М., 1978. С. 123–138.

[10] *Colin G., Becker J.-J.* Les écrivains, la guerre et l'opinion publique // Relation internationales. 1980. N 24. P. 428.

[11] Ibid. P. 430.

[12] Ibid. P. 431.

[13] Ibid. P. 432.

[14] Ibid. P. 436–438.

[15] *Петрова Е.А.* На пути к философии Октября. Р. Роллан и социалистическое движение 90-х–начала 900-х годов // Зарубежные писатели и Октябрь: Ст., матер. и сообщ. Саратов, 1967; *Мотылева Т.* Ромен Роллан. М., 1969; *Cheval R.* Romain Rolland, l'Allemagne et la guerre. P., 1967; *Starr W.Th.* Romain Rolland. One agains all. A Biography. The Hague–Paris, 1971; *Fischer D.J.* Romain Rolland and the Politics of Intellectual Engagement. Berkeley, 1988, etc.

[16] *Rolland R.* Journal des années de guerre (1914–1919). P., 1952. В отделе рукописей Российской государственной библиотеки имеются фотокопии с машинописного оригинала военных дневников Роллана, в свое время переданные им туда на хранение.

[17] *Rolland R.* Au dessues de la mêlée. P., 1915. P. 32–36.

[18] *Becker J.-J.* Romain Rolland, la Suisse et la France pendant la première guerre mondiale // Aspects des rapports entre la France et al Suisse de 1843 à 1939. Actes du Colloque de Neuchâtel. Metz, 1982. P. 116–117.

[19] *Massi H.* Romain Rolland contre la France. P., 1915. P. 9.

[20] *Cheval R.* Op. cit. P. 503.

[21] Ibid. P. 582–583.

[22] *Rolland R.* Textes politiques, sociaux et philosophiques choisis. P. 1970. P. 155–156.

[23] Ibid. P. 158.

[24] Ibid. P. 159.

[25] *Cheval R.* Op. cit. P. 610.

[26] *Rolland R.* Journal... P. 1260.

[27] Весьма вероятно, что в письме Роллана речь идет о Елене де Кэй из Нью-Йорка.

[28] Центр хранения историко-документальных коллекций (далее – ЦХИДК). Ф. 7. Оп. 2. Д. 339. Л. 183.

[29] СЦР – Секция централизации разведданных, один из отделов 2-го Бюро Генерального штаба армии, образованный в начале 1915 г.

[30] Р. Роллан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1915 г.

[31] ЦХИДК. Ф. 7. Оп. 2. Д. 339. Л. 188–189.

[32] Там же. Л. 131.

[33] Там же. Л. 57–57 об.

[34] Роллан во время первой мировой войны принимал активное участие в деятельности Международного Красного Креста по оказанию помощи военнопленным.

[35] ЦХИДК. Ф. 7. Оп. 2. Ф. 339 Л. 58–58об.

[36] Там же. Л. 63–63об. Рапорт Блонделя датирован 18 января 1916 г.

[37] Там же. Л. 61–61об. Рапорт Педепьеса датирован 25 января 1916 г.

[38] Там же. Л. 60–60 об. Рапорт Фужру ошибочно датирован 8 февраля 1915 г. (должно быть: 1916 г.).

[39] Там же. Л. 73–74.

[40] Там же. Л. 47.

[41] Там же. Л. 47–48.

[42] Там же. Л. 74.

[43] Там же. Л. 73–74.

[44] Там же. Л. 47–48.

[45] Там же. Л. 208–209. Три социалиста – члены палаты депутатов Национального собрания, принявшие участие в Международной социалистической конференции в Киптале (Швейцария) 20–24 апреля 1916 г.

[46] Там же. Л. 132–136.

[47] Там же. Л. 144–145об.

[48] Роллан пристально следил за деятельностью этого общества, что нашло отражение в его "Дневнике". Заседания общества посещала его сестра Мадлен, сообщавшая писателю о своих впечатлениях. В полицейском досье имеются копии писем Мадлен Роллан брату от 22 и 24 января 1916 г., в которых она сообщает о первом собрании общества (ЦХИДК. Ф. 7. Оп. 2. Д. 339. Л. 165, 171). Нужно ли говорить, что его деятельность привлекла и самое пристальное внимание полиции. В архивах Франции среди ее документов мы обнаружили весьма подробные стенограммы заседаний Общества документальных и критических исследований о войне за период 1916–1918 гг., в частности в Архиве префектуры полиции (Archives de la Préfecture de Police, картон B^A 1558) и в национальном архиве (Archives Nationales, картон F^7 13074).

НЕМЕЦКИЙ МЕНТАЛИТЕТ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН

Райнер Бендик

(Германия)

Ментальности – это совокупность взглядов и представлений людей, которые находят выражение в их мыслях и поступках. Они воплощаются в определенных моделях восприятия, надежд, суждений и поведения. Ученые, исследующие историю ментальностей, пытаются определить роль человека как существа мыслящего, чувствующего, обладающего определенными потребностями и желаниями в историческом процессе. Наука изучает варианты поведения, поступков и т.п. людей в каждый данный конкретный момент[1].

С учетом вышесказанного автор настоящей статьи делает попытку проанализировать, какие специфически немецкие модели ожиданий и поведения могут рассматриваться как причины двух мировых войн и как объясняется само возникновение такого рода ментальности в немецком обществе.

Ментальности по своей природе субъективны. Для того, чтобы получить репрезентативные данные, необходимо изучить источники, формирующие модели восприятия и суждений, доминирующие в том или ином обществе. Одним из таких источников являются школьные учебники и атласы по истории. Они знакомят молодое поколение с ценностями и нормами жизни старших, с их пониманием истории и надеждами на будущее. Школьные учебники призваны передавать историческое знание молодым и одновременно давать интерпретацию исторической самооценки и формировать представление о мире в целом, характерное для данного общества. Таким образом, школьные учебники и атласы могут рассматриваться как своего рода "национальные автобиографии"[2].

Предлагаемая статья посвящена немецким школьным учебникам по истории и историческим атласам, изданным в период с 1900 по 1945 г. Их изучение поможет понять то влияние, которое первая мировая война оказала на немецкую интерпретацию истории. Основная проблема, которую предстоит разрешить, – была ли война уже теоретически обоснована до 1914 г. или события войны и ее последствия сформировали новый взгляд на историю и на будущее страны. Возникает ряд вопросов: под каким углом зрения до 1914 г. рассматривались соседние страны, ставшие позднее врагами? Явилась ли первая мировая война подтверждением прежних исторических представлений или ее современники были вынуждены их пересмотреть? Как поражение в войне и Версальский мирный договор интерпретировались в 20–30-е годы? Какая существует связь между тем, как трактовалась история во

© Райнер Бендик

времена Веймарской республики и Третьего рейха? Не делала ли сама трактовка немцами истории первой мировой войны возможным развязывание второй мировой войны?

До 1914 г. в немецких учебниках внешнеполитическое положение рисовалось в мирных тонах. И лишь изредка в учебниках можно встретить угрожающие сценарии развития событий, которые в политических дискуссиях стали доминировать после отставки канцлера Бюлова. В наиболее распространенном немецком учебнике по истории "Lehrbuch der Geschichte für höhere Schulen" ("Учебник истории для старших классов школ") Фридриха Нойбауэра не содержалось утверждения, что Германия находится в окружении враждебных государств, вплоть до издания, увидевшего свет весной 1914 г.[3] Впрочем, позиция Нойбауэра была исключением. В других же учебниках особо подчеркивались "достижения Кайзера на благо мира", утверждалось, что "в качестве надежного защитника мира" он немало преуспел в суровой борьбе с внешней опасностью. В книге для чтения Мартенса провозглашалось, что благодаря сдержанности немецкой политики не только целое поколение живет без войны в Европе, но также ослаблены напряженность и разногласия между отдельными государствами (особенно между Германией и Францией)[4]. Распространенный упрек в адрес школьных учебников – они отстают от жизни – не может служить объяснением того, почему в них не нашла отражение охватившая общество истерия по поводу враждебного окружения. Хотя общепризнанно, что требуется около десяти лет, чтобы последние научные изыскания заняли свое место в школьных учебниках[5], все же и самые свежие события находили в них свое отражение. Учебники стали одним из компонентов всей системы интерпретации истории, господствовавшей в обществе. Школьная программа 1901 г. ставила перед прусской школой задачу в первую очередь на уроках истории "наглядно показывать тот вклад, который внес царствующий дом в улучшение жизни общества"[6].

Исходя из этого в школьных учебниках акцент делался на внутриполитическом развитии; при этом превозносилась государственная социальная политика и осуждались цели, которые выдвигали социал-демократы. К тому же критическая оценка внешнеполитической ситуации могла бы посеять сомнения в правильности политического курса, определяемого императором, поскольку она была не в состоянии отвести воображаемую угрозу и достигнуть желаемых результатов. Главной оказывалась не задача передачи конкретных знаний, а прославление монарха. Однако надо отметить, что в ходе общественной дискуссии выявились различные взгляды. Это нашло свое отражение и в публикациях Пангерманской лиги ("Alldeutshe Verband"). Ее журнал "Die deutsche Erde" ("Немецкая почва") опубликовал этнографические карты, в которых указывалось на угрозу, исходящую от национальных меньшинств Германской империи, прежде всего это касалось поляков в прусских восточных провинциях. С другой стороны, немецкое меньшинство по ту сторону границ автоматически рассматривалось как аванпост немецкой экспансии. Имея в виду такую возможную перспективу, на этнографических картах особо были обозначены территории,

куда "естественным образом" могла устремиться экспансионистская политика Германии. Журнал пояснял, что "во все известные нам периоды истории" Россия была "местом поселения немцев"[7]. Проживание немецкого меньшинства на Балтийском побережье, распространение немецкого языка в письменной и устной речи через Балтику и Скандинавию втягивало весь Балтийский регион в "сферу немецкой культуры", в которой немцы с их идеей "более высокой культуры" демонстрировали свое превосходство над славянами[8].

До 1914 г. школьные учебники истории и атласы содержали лишь легкий намек на такого рода взгляды. В "Putzgers Historischer Schulatlas" ("Путцгеровский исторический школьный атлас") была опубликована этнографическая карта Центральной и Восточной Европы, на которой были указаны национальные меньшинства, а восточнопрусская провинция Позен и Восточная Пруссия обозначались как польские территории. Однако никаких сопровождающих карту комментариев не было. Данный пример свидетельствует о том, что страхи и притязания "пангерманцев" не являлись в то время доминирующими, и не они определяли общий характер убеждений, разделяемых немецким обществом. До 1914 г. государственные власти не испытывали желания прививать подобные взгляды молодежи.

Преподавание истории во время первой мировой войны многократно критиковалось и в конечном итоге подверглось фундаментальному пересмотру. Специальные педагогические издания выражали согласие, что школьные учебники не соответствуют современным политическим условиям. "Теперь, когда Мировая война развязана, это должно быть изменено... Недостаточно просто описывать события войны, но гораздо важнее изучить ее причины и оценить ее последствия"[9], – утверждал "Blätter für höheres Schulwesen" ("Бюллетень для средней школы").

Следовательно, прежние методологические и дидактические подходы больше не отвечали потребностям времени. Необходимая в условиях войны мобилизация сделала невозможным (с точки зрения ряда педагогов) и далее видеть свою первоочередную задачу в прославлении верховной власти. Напротив, теперь ученики должны были стараться уяснить себе, почему вчерашние соперники превратились во врагов, и за что воюет Германия. Для этой цели был по-новому сгруппирован весь учебный материал, была изменена и основополагающая ориентация уроков истории.

Эти новые требования были учтены прусским учебным планом, утвержденным в сентябре 1915 г. Согласно ему, будущее изучение истории в итоге должно было начинаться не с античности, а с прусско-немецкой истории, к традиционному хронологически построенному учебному курсу возвращение предусматривалось не ранее, чем через два года.

Периодические издания, посвященные общеобразовательным проблемам, в целом приветствовали новый учебный план. Единственным, кто подверг критике реформу 1915 г., был журнал, издаваемый Ассоциацией учителей истории. Перекомпоновка учебного материала за счет истории средних веков и античности представлялась, по его

мнению, опасной для немецкого уровня образования. Однако в ходе войны журнал изменил свой взгляд на это. В 1918 г. он присоединился к общему хору, выразив опасения, что школьные программы, начинающиеся с изучения периода античности, могут воспитать подрастающее поколение в чрезмерно "космополитическом" духе. Теперь журнал заявлял, что рассказы о храбрости и патриотизме немецких солдат, обладающих моральным превосходством над противником, действительно могли бы занять место античной истории[10].

Постепенный пересмотр ранее высказываемых взглядов свидетельствовал о том, что после четырех лет войны немыслимо было преподавать историю, опираясь на довоенные представления, ибо война доказывала ложность ценностей и взглядов мирного времени. Соответственно они не могли вновь обрести свою значимость и после перемирия. Депутаты Прусского ландтага по сути согласились с происходившей девальвацией ценности мира. Не только ораторы от консервативной или национально-либеральной партий хотели, чтобы уроки войны определяли общую направленность преподавания в школе. Представители католической партии Центра также заявили: "Образовательные ценности и методика преподавания истории военного времени должны быть использованы на благо всех наших школ и в условиях мира. Указ министра образования... по преподаванию истории в школе – это шаг в данном направлении"[11].

Прусский ландтаг утвердил таким образом позицию, которой придерживались откровенно националистически настроенные авторы. Война приветствовалась как "наставница" или "очистительный огонь", а мир осуждался как время упадка. В августе 1914 г. немецкий народ преодолел все свои социальные и религиозные разногласия и выступил единым фронтом против врага. Заново возникшее единение людей рассматривалось как выражение нового образа мышления и как мощный аргумент в пользу авторитарного государства. Лозунг "Идеи 1914 г." они противопоставили демократическому лозунгу "Идеи 1789 г.". Для некоторых авторов мировая война была, таким образом, возможностью восстановить Германскую империю на действительно национальных основах: "Германия должна быть установлена на все времена. Более того, настоящая, подлинная Германия – вот что должно быть создано в первую очередь"[12]. Либералы и даже социал-демократы тоже разделяли такую оценку значения войны для страны. В мае 1915 г. Гертруда Боймер, ставшая позднее членом ландтага от Демократической партии, заявила при единодушной поддержке конференции Союза женщин-учителей, что "нормы для будущего должны быть определены сейчас так, чтобы они ни на один день не становились ниже, чем тот дух, который сейчас, во время величайшего напряжения всех сил, охватил наш народ". Предметом ее особой озабоченности было "построить будущее, достойное нашего великого настоящего и обеспечить устойчивое влияние нынешнего великого народного подъема на любое культурное начинание"[13]. По мнению Конрада Хениша, докладчика по вопросам образования от Социал-демократической партии в Прусском ландтаге, война выявила несоответствие старых взглядов современ-

ности. Он выразил надежду, что "в будущем идеи 1914 г." станут доминирующими в немецком обществе в гораздо большей степени, "чем идеалы 1789 г. и 1848 г."[14].

В целом аргументы, приведенные выше, разделялись всеми писавшими по данному вопросу; в той мере, в которой девальвировался мир, они идеализировали войну как судьбоносное событие истории. Совершенно определенно звучало требование, чтобы мерками военного времени оценивался и наступающий мир.

Теперь авторы школьных учебников принялись за переписывание всей истории, предшествующей 1914 г., трактуя ее в качестве прелюдии последующего военного периода. Мировая война рассматривалась как результат "политики окружения", осуществляемой Англией, Францией и Россией. "Глубоко укоренившееся стремление к реваншу" со стороны французов, "пагубная склонность" русских к "завоеваниям" и "расчетливая мелочность" англичан объединились для того, чтобы уничтожить Германскую империю[15]. Таковы были, по их мнению, причины возникновения мирового вооруженного столкновения.

Тем не менее министр образования Пруссии несколько раз налагал запрет на новую трактовку истории, что являлось выражением того недоверия, которое испытывало кайзеровско-авторитарное государство к любой инициативе, проявляемой ее гражданами. Даже новая редакция учебников Фридриха Нойбауэра не была допущена к публикации. Для того чтобы убедить министра образования в необходимости переписать историю, предшествующую 1914 г., Нойбауэр приводил следующий аргумент: "Существующее издание (моего учебника), используемое ныне, более не соответствует тому новому взгляду на период до 1914 г., который сформировался с началом мировой войны"[16]. Несмотря на это, министр отказался снять запрет на пересмотр учебников истории. Он стремился сохранить тот взгляд на историю, который уже был продиктован государством. Его усилия, однако, остались втуне. Появилось огромное количество новых или исправленных учебников.

Стремление министерства образования контролировать учебники не смогло реализоваться из-за той жгучей общественной потребности в учебниках, объясняющих войну, которая существовала тогда в Германии. Такая "самомобилизация" показывает, что война порождает войну. Это не было чем-то навязанным сверху, а явилось ответом на ожидания общества и вызывалось необходимостью объяснить войну. Совершенно очевидно, что этого нельзя было сделать, основываясь на довоенных подходах. В этом смысле пересмотр и новое издание учебников являлись свидетельством того, что люди поняли необходимость переосмыслить прошлое. Они полагали, что война пролила "новый свет" (Нойбауэр) на последние двадцать лет истории и, как они убедились, опровергла их представления и оценки довоенного времени. Отныне мобилизация 1914 г. представлялась людям долгожданным моментом единения и морального возрождения немецкого народа, а мир терял свою самоценность, и его место занимали ценности и стереотипы поведения военного времени. В той мере, в какой усилия представить историю по-новому обозначили глубокий переворот во взглядах немцев

на историю, девальвация мира и почтительное отношение к войне свидетельствовали также о глубоком разрыве в самооценке самого немецкого народа. И то, и другое позволяло констатировать факт изменений в сознании, которые произошли в Германии во время первой мировой войны.

Примером такого изменения служит позиция, выраженная в журналс Ассоциации учителей истории, касающаяся целей, провозглашенных Пангерманской лигой. В 1915 г. в нем решительно отрицалась возможность возвращения в обозримом будущем аннексированных территорий в Бельгии и северной Франции. При этом делалась ссылка на бисмарковские принципы. Ученики должны были учиться "не строить свои суждения на ослепляющем великолепии чрезмерных фантазий"[17]. В 1917 г. ни о чем подобном не могло быть и речи. То же самое издание категорически заявляло: «Мирный договор должен "обеспечить Германии территории, необходимые ей для защиты своих позиций как мировой державы", поскольку немецкие континентальные владения оказались в прошлом явно недостаточными»[18].

Прежде всего это касалось Восточной Европы, которая теперь рассматривалась в виде исконно немецкой "культурной территории", и делалась попытка представить расширение сферы немецкого влияния на Востоке с помощью картографии. С этой целью "Petermanns Mitteilungen" ("Сообщения Петермана") опубликовали в 1917 г. карту с включением в нее указаний на лингвистические, правовые и культурно-исторические обстоятельства: немецкий язык служил языком образования и торговли, немецкие муниципальные законы и нормы деятельности гильдий стали "основой для всего дальнейшего развития Восточной Европы на столетия", и даже распространение типа немецких домов обозначило "границу между западной и восточной культурой"[19]. Несколько линий, проведенных от Санкт-Петербурга до Черного моря, должны были служить подтверждением данного тезиса. Таким образом, предлагалось и оправдывалось проведение границы, которую спустя несколько месяцев Центральные державы навязали России в Брест-Литовске.

После 1918 г. немецкие школьные учебники придерживались тех объяснений причин и событий войны, которые возникли в ее ходе. Республиканские авторы восприняли как само собой разумеющийся факт, что они должны быть утверждены. Среди них Франц Шнабель, который заявил: "Английская политика (окружения) не была бы возможной без реваншизма и панславизма, но для того, чтобы война началась, необходимо было слияние этих трех потоков в один. Причины мировой войны уходят корнями в договоры 1904 г. и 1907 г."[20].

Если рассматривать Версальский мирный договор с Германией под тем углом зрения, что державы Антанты планировали и готовили войну как разрушительную, то этот договор предстает продолжением войны против Германии и подтверждением немецкого анализа ее причин. Арнольд Рейман в "Geschichtswerk" ("Книге по истории") утверждал, что целью Версальского договора было "сокрушить Германию экономически и морально"[21]. По словам Франца Шнабеля, он "ввергал всю

нацию в ярмо вины и рабства". Французский "победный мир", считал он, отрицал "идеи примирения народов, равно как и всего человечества, идеи справедливости и внутренней свободы наций"[22].

Такая трактовка договора делала насущно необходимым его пересмотр как в интересах Германии, так и в интересах справедливости. Карты и назидательные иллюстрации в учебниках выражали это требование. В одном школьном атласе опубликованы были три карты, озаглавленные "Окружение Германской империи до и после мировой войны"[23]. Они призваны были подтвердить, что после франко-русского пакта Германия оказалась в окружении враждебных государств. В комментарии категорически утверждалось, что "даже сегодня (1929 г.) наше Отечество находится под двойным, если не большим гнетом", оно окончательно стало "военно-политическим" заложником. С мрачным предчувствием комментарий заканчивался вопросом: "Как удастся Германии в будущем выпутаться из этого угрожающего удушением вражеского альянса?"[24].

Если довоенные учебники характеризовали внешнеполитическое положение Германской империи как безопасное, то теперь оно было пересмотрено в духе угрожающего сценария развития событий, остающегося в силе и в послевоенное время. Это изменение в оценках делает очевидным тот факт, что немцы не хотели смириться с результатами войны. Карты внушали ученикам мысль о беззащитности Германии перед внешней угрозой и о необходимости изменения этой ситуации. Авторы школьных учебников Веймарской Германии приложили немалые дидактические усилия для укоренения этой идеи. Карта Европы, озаглавленная "военный лагерь вокруг Германии"[25], демонстрировала послевоенную систему союзов и указывала предполагаемую силу армий европейских соседей, создавая, таким образом, впечатление окруженности Германии несметными полчищами. На другой иллюстрации европейские страны были обозначены в виде солдат в военной форме своих стран[26]. Размер фигур соответствовал численности армий, и они были сгруппированы по блокам времен мировой войны – Антанта против Центральных держав. Смысл этой картинки был абсолютно ясным: Германии по-прежнему угрожает "вражеское окружение".

Немецкий взгляд на историю, сложившийся на основе опыта мировой войны, находил свое убедительное в глазах немецкого народа подтверждение в связи с условиями Версальского мирного договора. Это, в свою очередь, привело к требованию изменить статус-кво в Европе. Географические, исторические, этнографические карты стали важной частью пропаганды ревизионизма. В 1920 г. "Monatsschrift für höheres Schulwesen" ("Ежемесячное периодическое издание для средней школы") требовал, чтобы ученики, глядя на карту, понимали, что "наши границы не могут оставаться в том виде, в каком кое-кто хотел бы их видеть... таким же образом они (ученики. – *Р.Б.*) обязаны учиться понимать, что искусственно созданные Польша и Литва и т.д. ...являются противоестественными образованиями, обреченными на исчезновение"[27]. В октябре того же года министр образования Пруссии

постановил, что в только что представленных ему на утверждение новых атласах "немецкие территории, отобранные у нас по Версальскому договору, должны быть показаны как принадлежащие Германии до сих пор"[28]. Новая прусская программа 1925 г. продолжала эту линию. Что касается преподавания истории, то в нем содержалось требование, чтобы "у учеников возникли сочувствие к немецкому населению на отторгнутых территориях за рубежом, а также и к судьбе немецкой Австрии"[29]. Периодические издания по географии заявляли, что "истерзанные восточные границы должны быть в той или иной степени залатаны", в них подчеркивалось, что "Локарнского договора для Востока не будет!"[30].

Довоенные этнографические карты были теперь перерисованы: до 1928 г. "Völkerkarte des mittleren Europa" ("Карта народов Центральной Европы") из "Putzgers historische Schul-Atlas" ("Школьный исторический атлас Путцгера") соответствовала довоенным картам: Западная Пруссия и Познань были выкрашены в зеленый цвет Польши. В издании 1929 г. эти территории были заштрихованы красным "немецким" цветом[31], в 1931 г. красные полосы стали длиннее[32], в 1934 г. бóльшая часть Западной Пруссии была закрашена в красный цвет[33]. В издании 1938 г. остались лишь небольшие островки зеленого цвета – в Познани и Восточной Пруссии[34]. Несмотря на то, что эти территории принадлежали польскому государству уже свыше десяти лет и ранее всегда обозначались как территории, заселенные поляками, традиционная карта была изменена в угоду политическим амбициям. Такое "редактирование" карт началось в период стабильности Веймарской республики, еще за четыре года до того, как власть перешла в руки национал-социалистов.

В это же время в школьных атласах появились карты, широко распространявшиеся печатными изданиями пангерманцев во время мировой войны. В "Teubners Geschichtsatlas" ("Исторический атлас Тойбнера") 1930 г. на карте "Мировая война" была показана линия фронта и особенно тот рубеж, до которого продвинулись немецкие войска на Востоке, и тут же за ней следовала карта "Немецкое население и территории культурного влияния в Центральной и Восточной Европе"[35]. Вся площадь бывшей Габсбургской монархии была покрыта двойной красной штриховкой как "территории, находившиеся под властью Германии в течение сотен лет. Чешская часть Чехословакии была обозначена как "Область немецкой культуры". Польша, Прибалтика, Румыния и Россия вплоть до линии от Ладожского озера до устья Днепра были заштрихованы красным как территория распространения германского праязыка на Восток". Эта линия в той или иной степени соотносилась с наибольшим продвижением немецких войск, показанным на карте мира ранее. Таким образом, эта вызывающе красная штриховка должна была означать, что в 1918 г. немецкая армия достигла на Востоке границ естественного немецкого влияния в Европе. "Sydow–Wagners methodischer Schulatlas" ("Мстодологический школьный атлас Зюдова–Вагнера") воспроизвел эту же самую карту в 1931 г., добавив к ней восточную границу распространения германского

законодательства и типа жилых построек[36]. Эта карта полностью совпала с теми, с помощью которых пангерманцы в 1917 г. старались оправдать немецкую экспансию на Восток. В историческом атласе, опубликованном Бернардом Кумштеллером в 1938 г., та же карта была помещена под заголовком "Немецкое население и территории его культурного влияния в Центральной Европе"[37]. Дидактические рекомендации требовали специально подчеркивать несовпадение границ рейха и населения, заставлять учеников сравнивать границы по Брест-Литовскому договору и этнографической карте "Volksbodenkarte" ("Земля народов")[38]. То, что в период до 1933 г. только рекомендовалось, позднее перешло в разряд неукоснительных требований. Очевидно, что цели, которые национал-социалисты закладывали в школьные уроки, не были чем-то новым. Напротив, они позаимствовали военные устремления у пангерманцев, которые были отражены в школьных атласах на протяжении всей Веймарской республики.

Политика экспансии, осуществляемая национал-социалистами, – аншлюс Австрии, разгром Чехословакии и даже "кампании" против Польши и Франции, как и война против Советского Союза, воплотила в жизнь те требования, которые были изложены в школьных учебниках 1920-х годов. Помимо всего прочего, оправдание первой мировой войны породило настроения, прославляющие войну как таковую. В этом смысле, однако, школьные учебники времен Веймарской Германии совершенно очевидно отличаются от учебников Третьего рейха. В то время как учебники до 1933 г., когда писали о войне, делали упор на ее ужасах, учебники после 1933 г. трактовали их в социал-дарвинистском духе – как оздоровляющий процесс селекции. В новых учебниках констатировалось, что при современных методах военных действий, особенно таких, как операции под Верденом и на Сомме, "слабый" человек был уничтожен и родился "новый человек". "Требования, предъявляемые современной войной к физическим, но кроме того и к моральным качествам бойцов, были сверхчеловеческими; обычный человек не мог достичь такого уровня. Он должен был стать другим, более великим. Он должен был превзойти самого себя и стать героем. Пройдя через горнило войны, человек стал другим, оно закалило его как сталь, дало ему непоколебимое спокойствие и холодное превосходство перед адским огнем оружия"[39], – так превозносился в них немец, прошедший войну.

Товарищество, справедливое благородство и искреннее национальное единение возникли именно во время этой войны. "Здесь выкованы люди, которые однажды построят новую Германию"[40], – заявил Бернард Кумштеллер, имея в виду битву на Сомме. Солдаты на фронте, по его мнению, были первыми национал-социалистами, стремившимися создать новую империю. "Когда солдат на фронте говорил о Германии, он имел в виду не ту Германию, которую он оставил позади, но Германию еще не созданную, которая лишь брезжила – такую, как Третий рейх"[41], – утверждалось в учебнике. Обращаясь к опыту современной войны, школьные учебники национал-социалистического толка объявляли довоенные правила анахронизмом: "Старая империя

буржуазии закончила свое существование... На смену ей пришла новая империя солдат, сражающихся на фронте, империя, которая знает лишь риск и жертву, готовность умереть и верность, кровное братство и преданность. Только она единственная и являлась настоящей Германией"[42].

Несмотря на весь свой радикализм, подобные взгляды не были чем-то новым. Они вобрали в себя ожидания времен первой мировой войны. Надежды на "новую национальную основу Германской империи" и общее весьма уважительное отношение к войне, принятое в то время, просто были еще более радикализированы национал-социалистами. Они рассматривали первую мировую войну как час рождения нового движения. Война больше не представлялась каким-то страшным исключением во взаимоотношениях между государствами, через которое нужно было пройти, она рассматривалась как исцеляющий процесс, который сметает всякое упадничество. В этом смысле освоение опыта первой мировой войны сыграло исключительно важную роль в подготовке национал-социалистов к их собственной войне – второй мировой. В разгар этой новой войны значение и смысл предыдущей все еще подчеркивались и превозносились. В ноябре 1943 г., согласно требованиям школьной программы, первая мировая война должна была трактоваться как "прорыв к новому национальному и социальному порядку" и "дух солдат на фронте – как начало внутренней трансформации"[43].

Первая мировая война ознаменовала собой глубокий разрыв в истории немецкого народа. С нее начались изменения в сознании, которые выразились во всеобщей девальвации ценности мира и в особо уважительном отношении к войне как таковой. Условия Версальского мирного договора укрепили среди населения убеждение в правильности взглядов, которые укоренились в годы войны. Требования пересмотра договора обозначили возврат к экспансионистским устремлениям времен войны, сохраняя и даже взвинчивая их в мирное время. При таких обстоятельствах субъективное освоение опыта первой мировой войны не привело к отрицанию войны. Наоборот, национал- социалисты создали ее идеализированный облик в виде процесса отбора, который несет в себе спасение, и как катализатора вызревания национал-социалистических ценностей, призванных восторжествовать над послевоенными порядками. Таким образом, для немцев дорога ко второй мировой войне была той стезей, по которой они шли начиная с первой мировой. Это способствовало распространению ожиданий и моделей поведения, так и не изжитых полностью вплоть до окончательного разгрома германского рейха в 1945 г.

[1] *Raulff U.* Mentalitäten-Geschichte // Mentalitäten-Geschichte. Zur historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse. Berlin, 1987. S. 7–17.

[2] *Jacobmeyer W.* Mentalitätsgeschichtliche Strukturen im Lautherbild deutscher Schulgeschichtsbücher, 1860–1942. Internationale Schulbuchforschung. 1984. N 6. S. 5–16; Konditionierung von Geschichtsbewußtsein: Schulgeschichtsbücher als nationale Autobiographien // Gruppendynamik. 1992. N 23. S. 375–388.

[3] *Neubauer F.* Lehrbuch der Geschichte für höhere Lehranstalten. 5. Teil: Vom westfälischen Frieden bis auf unsere Zeit. Halle, 1914. Aufl. 18. S. 194–195.

[4] *Martens W.* Lehrbuch der Geschichte für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. 3. Teil: Lehrstoff der Oberprima. Hannover, 1909. Aufl. 4. S. 254.

[5] См.: *Hinrichs E.* Zur wissenschaftlichen Angemessenheit von Schulbuchtexten // Schulbücher auf dem Prüfstand. Perspektiven der Schulbuchforschung und Schulbuchbeurteilung in Europa. Frankfurt a. M., 1992. S. 97–105.

[6] Neue Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen in Preußen // Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung. 1901. S. 518.

[7] *Hasse E.* Die Deutschen in Rußland // Deutsche Erde. 1905. N 4. S. 205.

[8] *Rörrenberg C.* Die Ostsee als germanisches Meer // Deutsche Erde. 1902. N 1. S. 97–99 (см.: Sonderkarte 4).

[9] *Lüdtke F.* Die Lage des Geschichtsunterrichts in Prima vor und nach dem Kriege // Blätter für höheres Schulwesen. 1915. N 32. (6 Jan.). S. 3.

[10] *Kende O.* Zwei Anregungen für den ersten Geschichtsunterricht auf höheren Schulen // Vergangenheit und Gegenwart. 1918. N 8. S. 23, 26.

[11] Stenographische Berichte. Haus der Abgeordneten. 25. Sitzung 14. März 1916. S. 1683.

[12] Stadtpfarrer Lamb. Der Einfluß des Krieges auf die Jugend. Mannheim, 1916 S. 5.

[13] *Bäumer G.* Die Lehren des Weltkrieges für die deutsche Pädagogik. Leipzig, 1915. S. 1, 4.

[14] *Haenisch K.* Die deutsche Sozialdemokratie in und nach dem Krieg. Berlin, 1916. S. 160.

[15] *Neubauer.* Lehrbuch der Geschichte. Berlin, 1916. Aufl. 18. S. 220.

[16] Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Berlin). Rep. 76 VI. Sect. 1. z-Nr. 72. Bd. VII. S. 338.

[17] *Paulus E.* Der zukünftige Frieden und die Schule // Vergangenheit und Gegenwart. 1915. N 5. S. 117.

[18] *Schober G.* Der Weltkrieg im Lichte preußischer Geschichte // Vergangeheit und Gegenwart. 1917. N 7. S. 224.

[19] *Kaind R.F.* Die Grenze zwischen west- und osteuropäischer Kultur // Petermanns Mitteilungen. 1917. N 63. S. 6–9.

[20] *Schnabel F.* Grundriß der Geschichte für die Oberstufe höherer Lehranstalten. Teil IV: Neuste Zeit (bis 1919). Leipzig; B., 1925. Aufl. 4. S. 151.

[21] *Reimann A.* Geschichtswerk für höhere Schulen. II. Teil. Heft III: Kurt Gerstenberg, die Neuzeit von 1648 bis zur Gegenwart. München, 1926. Aufl. 4. S. 244.

[22] *Schnabel F.* Grundriß der Geschichte. S. 173, 176. 179–180.

[23] Geopolitischer Typen-Atlas. Zur Einführung in die Grundbegriffe der Geopolitik / Ed. G. Schmidt. Gotha. 1929. N 23.

[24] Ibid.

[25] *Henche A.* Geschichte in Tatsachen. Heft 4. Von der Französischen Revolution bis zue Gegenwart. Breslau, 1925. Aufl. 2 S. 80.

[26] *Reimann A.* Op. cit. S. 148.

[27] Ibid. S. 29.

[28] Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Berlin). Rep. 76 VI. Sect. 1. z-Nr. 32. Bd XI; P. 379.

[29] Richtlinien für die Lehrpläne der höheren Schulen Preußens. Beilage zum: Zentralblatt für die gesamte Unterichtsverwaltung. 1925. N 67. (Heft 8). S. 16.

[30] *Lukas G.* Geopolitische Fragen im Geographieunterricht // Geographischer Anzeiger. 1928. N 29. S. 187.

[31] Putzgers historischer Schul-Atlas. 1929. Aufl. 49. S. 114–115.

[32] Ibid. 1931. Aufl. 50. S. 104–105.

[33] Ibid. 1934. Aufl. 51. S. 104–105.

[34] Ibid. 1938. Aufl. 55. S. 104–105.

[35] Teubners Geschichtsatlas // Ed. E. Böyycher. Leipzig; Berlin (Teubner), 1930. S. 22, 24.

[36] Sydow-Wagners methodischer Schul-Atlas. Gotha, 1931. Aufl. 19. map. N 12.

[37] *Kumsteller B.* Werden und Wachsen. Ein Geschichsatlas auf völkischer Grundlage. Braunschweig, 1938. S. 38.

[38] Ibid. S. 56.

[39] *Hohmann–Schiefer:* Lehrbuch der Geschichte für höhere Schulen. Oberstufe 3. Band. Deutsche Geschichte vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart. Frankfurt a. M., 1937. Aufl. 10. S. 12–13.

[40] Geschichtsbuch für die deutsche Jugend. Klasse 5 / Ed. B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider. Leipzig, 1939. S. 104.

[41] Geschichtsbuch für die deutsche Jugend. Achter Teil für die 8. Klasse / Eds. B. Kumsteller, U. Haacke, B. Schneider. R. Jacoby, G. Ottner. Leipzig. 1938. S. 164.

[42] Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen. Ausgabe für Oberschulen end Gymnasien. Klasse 8. Der Weg zum Großdeutschen / Ed. D. Klagges. Frankfurt a. M., 1914. S. 173–174.

[43] Lehrplan für die Oberstufe der Oberschulen für Jugend und der Gymnasien // Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Amtsblatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der Unterrichtsverwaltungen der anderen Länder. 1943. Nov. 10. S. 360.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И ПОЛИТИКА: МИССИЯ ДАТСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. 1918–1919

Бент Енсен

(Дания)

Эдвард Карр в своей классической "Истории Советской России", касаясь вопроса об отношениях большевистской Москвы с окружающим миром, пишет, что в начале 1919 г. она была полностью лишена возможности нормальных контактов с другими странами. В течение долгого времени единственным иностранным официальным представителем там был руководитель миссии Датского Красного Креста (ДКК), который защищал интересы скандинавских, а также других западноевропейских государств и США. Мир был разделен на два враждебных лагеря, между которыми шла необъявленная война[1]. Английский историк здесь несколько неточен. В тот период полуофициальные представители других стран находились не только в новой российской столице, но и в Петрограде.

Странно, но вопрос о пребывании датской миссии Красного Креста "в лагере противника" до сих пор не привлек внимания. Почему и сколь долго миссия находилась в Советской России, что она делала, каковы были ее связи с революционной властью, как смотрели на ее деятельность в Москве, когда, почему и при каких обстоятельствах она покинула страну, имела ли эта деятельность какие-либо краткосрочные или долговременные последствия? На эти и некоторые другие вопросы призвана ответить настоящая статья, которая представляет собой лишь начальный этап изучения этой темы. Исследование основано главным образом на неопубликованных материалах датских, российских и британских архивов.

© Бент Енсен

Интересен тот факт, что Дания дольше всех сохраняла дипломатические связи с большевиками. Ее посол Харальд Скавсниус покинул Россию только в декабре 1918 г., а большевистская дипломатическая миссия выехала из Копенгагена лишь в феврале 1919 г. В России оставались различные датские представительства, среди которых была миссия Красного Креста с отделениями в Москве и Петрограде, покинувшая страну только в июне 1919 г. Благодаря особым отношениям между Датским Красным Крестом и советскими властями дипломатические связи между Москвой и западным миром вновь завязались в Копенгагене, когда в ноябре 1919 г. туда прибыл М.М. Литвинов. Он находился в Дании вплоть до сентября 1920 г. как единственный дипломатический представитель советской власти на Западе в период гражданской войны и блокады. Вопрос о миссии Литвинова в Дании еще не исследован с той основательностью, которой он заслуживает[2].

На протяжении всей мировой войны ДКК играл в России значительную роль[3]. Его патроном был брат вдовствующей императрицы Марии Федоровны, принц Вальдемар. Мария Федоровна покровительствовала Российскому Красному Кресту, всячески поддерживала и Датский Красный Крест, и его деятельность в России. Бывший руководитель Датского бюро Красного Креста в Петрограде ротмистр (позже подполковник) В.О.И. Филипсен часто навещал Марию Федоровну в Киеве с прошениями о поддержке. Многие датские офицеры, врачи и другие лица работали в России с военнопленными в качестве добровольцев. Руководитель датского Института вакцины врач Торвальд Мадсен участвовал в проведении вакцинаций против тифа в лагерях для военнопленных в Туркестане и на Кавказе. После вступления США в войну на стороне Антанты Дания стала "покровительницей" Австро-Венгрии и взяла на себя ответственность за всех австрийских военнопленных в России. Датское посольство в Петрограде в сотрудничестве с ДКК создало особое "Отделение Б", чтобы решать целый комплекс вопросов о пленных, в частности: их поиск, инспекция лагерей по всей территории Российской империи, и в том числе в Туркестане[4], посредничество в корреспонденции военнопленных, раздача им продуктов питания и лекарств.

Международный Красный Крест (МКК) в Женеве призвал национальные общества Красного Креста как неполитические и нейтральные институты к сотрудничеству под лозунгом "Милосердие в войне и мире". Ведя огромную благотворительную работу, многие представители Красного Креста действовали в соответствии со своими политическими взглядами, а также с национальными интересами своих стран. Датское правительство также рассматривало ДКК как собственный политический инструмент. Большевистский режим пытался использовать институты Красного Креста для защиты своего плацдарма в контролируемой им части России, а также для поддержки идеи мировой революции.

Представитель советского правительства в Скандинавии В.В. Воровский уже в январе 1918 г. писал Ленину, что большевики должны "держать курс на социальную революцию и, естественно, не в России,

а на Западе. В случае, если пролетарская диктатура не победит в Западной Европе, все социалистические мероприятия Совета Народных Комиссаров не удастся провести в жизнь в силу ограниченности собственного фундамента"[5].

Пока посольство Дании находилось в Петрограде, а Датское генеральное консульство в Москве, миссия ДКК в России соперничала с этими дипломатическими представительствами[6]. Это отчетливо видно из высказываний некоторых ее руководителей, а также высших должностных лиц посольства Дании и ее генерального консульства.

В своих отчетах в Центральное бюро ДКК и МИД в Копенгагене сотрудники Красного Креста передавали множество чисто политических сообщений о жизни в большевистской России, представлявших интерес не только для датских властей, но и для других иностранных государств, которые в это время боролись с Советами. Так, например, руководитель Московского бюро Камилло Мартини в июле 1918 г. написал интересный доклад о восстании Чехословацкого корпуса, охарактеризовав его как контрреволюционное движение, поддерживаемое друзьями царя – кадетами и меньшевиками[7]. Датский Красный Крест также посылал много информации правительствам других государств.

Помимо работы с военнопленными датская миссия ориентировалась на то, чтобы облегчить условия жизни как иностранным, так и российским политзаключенным, в том числе обеспечить их продуктами питания. В помещении Русской торговой компании (датская фирма в Москве) был создан специальный продовольственный склад. В Петрограде ДКК представляла жена датского посла Анна София Скавениус, которая по указанию врачей обеспечивала продуктами питания детей и голодающих[8]. В Киеве также было организовано его отделение, остававшееся связующей нитью с Российским Красным Крестом после разрыва отношений между Россией и Украиной.

После начала необъявленной войны между большевиками и внешним миром ДКК, как уже говорилось, много работал в лагерях военнопленных и способствовал обмену пленными и политическими заключенными. Красный Крест также доставлял пакеты с продуктами 40 престарелым дамам-смольнянкам, оказавшимся без средств к существованию. Еженедельные пайки были, к сожалению, весьма скудными.

В Петрограде ДКК ежедневно кормил около 250 детей. 200 политзаключенным еженедельно доставляли в тюрьмы продовольствие и помимо этого раздавали его еще 180 неполитическим заключенным[9].

В гуманитарной работе не делалось политических различий: помощь оказывалась и голодающим детям, и большевикам, арестованным в гетмановской Украине, и русским военнопленным, возвращавшимся домой из Германии и Австро-Венгрии (1918–1919 гг.). Большевики взамен разрешили бюро ДКК работать с политическими заключенными в Советской России.

Датский Красный Крест, по утверждению Мартини, был единственным, сумевшим организовать помощь сотням тысяч русских военнопленных, которые ринулись в Россию после крушения Германии и

Австро-Венгрии: Красный Крест спас тогда тысячи жизней. В возвращении русских солдат на родину не было никакой политической подоплеки, и они абсолютно не знали, что собой представляет большевизм. Именно поэтому, считал Мартини, "большевики чувствовали к нам безграничное доверие"[10].

Российский Красный Крест был распущен большевиками в феврале 1918 г., но довольно скоро они вынуждены были воссоздать его отчасти потому, что хотели воспрепятствовать конфискации Германией национализированной собственности Российского Красного Креста. Вновь созданный Красный Крест стал, однако, пробольшевистским. В его руководстве состоял, например, М.М. Литвинов[11]. Новый Российский Красный Крест (РКК) был признан Комитетом Международного Красного Креста в октябре 1921 г. с оговоркой, что МКК оставлял за собой право поддерживать связь с бывшим Российским Красным Крестом.

В Дании представители РКК действовали и после Октябрьского переворота. Оба его отделения были соперничающими организациями. Незадолго до того, как в декабре 1918 г. большевистская миссия была выслана из Дании, туда удалось прибыть в качестве представителей Российского Красного Креста Жану Беро и Сергею Гарину. Оба они были выдворены из Дании в марте 1919 г. В качестве представителя большевистского Красного Креста в Данию вернулся только Бухгольц. Здесь он работал с русскими военнопленными, которые рассматривались исключительно как объект для вербовки на фронты гражданской войны[12].

Врач Камилло Мартини принял руководство миссией Красного Креста в России 22 апреля 1918 г., сменив на этом посту Эдварда Сальтофта. К этому времени большевистское правительство только что переехало из Петрограда в более безопасную Москву. Посольства в Петрограде тогда, согласно Мартини, потеряли прямой контакт с советским правительством и имели связи лишь с "петроградской чернью". В городе среди бела дня происходили стычки между вооруженными бандами и милиционерами. Мартини хотел поэтому, чтобы миссия Красного Креста была переведена в Москву. Красный Крест не мог быть нахлебником при посольстве, которое к тому же систематически третировало его миссию. Как раз в это время в Москве было учреждено Датское генеральное консульство под руководством ротмистра Кр.Ф. Гакстхаузена. Мартини проявил характер и вопреки желанию генерального консула в июне 1918 г. перебрался в Москву[13].

Посол Х. Скавениус между тем считал, что Красный Крест уже утратил свое значение (правда, от этого мнения он позже отказался). Предшественник Мартини, Сальтофт, также полагал, что миссию ДКК следует упразднить, так как исчез всякий смысл ее деятельности. После Брест-Литовского мира Германия сама взяла на себя работу с немецкими военнопленными, а Австро-Венгрия также оказалась в состоянии заменить датскую миссию. Многие военнопленные теперь могли отправляться домой.

Однако Мартини смотрел на этот вопрос иначе. Будучи весьма амбициозным и в политических вопросах, в январе 1919 г. он

следующим образом писал о своих намерениях в 1918 г.: "Я хотел добиться того, чтобы со временем Датский Красный Крест от работы с военнопленными перешел к посреднической деятельности. Одновременно с этим я хотел также укрепить позицию Дании (и особенно Красного Креста) в России, чтобы позже (после падения большевистского режима) использовать эту позицию для усиления датского влияния при решении самых разных внутренних российских проблем, что со временем принесло бы почести Дании и Датскому Красному Кресту"[14]. Представитель ДКК видел перед собой в России три главные задачи: 1) чисто гуманитарная; 2) посредническая политическая деятельность среди политических партий (к примеру, для достижения всеобщей амнистии); 3) оказание поддержки новой реформаторской деятельности (после падения большевизма) в создании различного рода институтов (например, школ гигиены, показательных агроферм "для демонстрации достижений датского сельского хозяйства"), а также для решения других задач в том же направлении[15]. Работа по оказанию помощи и поддержки должна была проводиться только после падения большевиков. В том, что это произойдет, у Мартини не было ни малейшего сомнения. По пункту второму – политическая деятельность – практически ничего не было сделано; позже Мартини был обвинен в том, что он сам действовал в пользу большевиков. Пункт первый – повседневная гуманитарная деятельность – оказался самым важным.

Летом 1918 г. Мартини представлялось, что РКК мог стать не только институтом, в силах которого было спасти страну от голода, но и единственной стабильной международной организацией в России, где, как он писал, "все политики – короли на один день". Большевистскую организацию помощи военнопленным "Центроплен" ("союз личных друзей правительства"), по его мнению, необходимо было распустить, но она могла пасть и сама "вместе с правительством"[16]. Мартини недооценивал властолюбие большевиков и уж совсем не мог себе представить, что РКК сам большевизируется и станет инструментом режима. 12 июня он оптимистически сообщал в Копенгаген, что РКК становится сильным частным институтом и что следующим его шагом должна быть ликвидация государственного "Центроплена", а также воссоздание Российского Красного Креста под руководством МКК, что должно было спасти его от развала при грядущей смене режима. Одновременно с этим МКК должен был распределить работу в России между различными обществами Красного Креста. Мартини считал, что большевики относятся к этой идее весьма благосклонно. "Центроплен" де проводил работу с военнопленными так плохо, что тех из них, кто возвратился из Германии, вместо получения необходимой помощи "подвергались большевистскому оболваниванию".

Итак, хотя Мартини хотел усиления РКК и активно участвовал в создании в Москве постоянного представительства МКК как контактного органа, связи с советскими властями, он ревностно следил за тем, чтобы ДКК не уступил завоеванные в России позиции одноименным обществам из других стран[17]. Позже Мартини особо подчеркивал, что он пытался использовать ситуацию таким образом, чтобы поставить

всюду, где только возможно, своих соотечественников. Когда, писал он в январе 1919 г., в Париже начала работу мирная конференция, "мы играли в ней главную роль и использовали Международный Красный Крест для решения сомнительных задач, имея для этого хорошие шансы".

Отношение представителя ДКК в России к сотрудничеству с МКК, таким образом, было двойственным. С одной стороны, Мартини уверял, что всегда выступал за международный статус Красного Креста, подчеркивая опасность того, что национальные комитеты Красного Креста работали вразнобой, с другой – считал, что ДКК в России никогда не было выгодно вступать в тесные контакты с другими одноименными организациями, поскольку, как он писал, "теперь мы являемся здесь, практически говоря, единственной и сильной организацией Красного Креста. Пока мы будем одни, мы будем достойны большой чести"[18].

Одновременно Мартини намеревался заняться реализацией обширного комплекса торговых соглашений между Данией и РСФСР, но был остановлен генеральным консульством в Москве, которое само стремилось контролировать эти вопросы. Он также вынашивал идею организации широкого экспорта продовольствия из Дании в Россию; занимала его и проблема русских военнопленных в Германии. Взамен Россия должна была поставлять сырье, крайне необходимое для датской экономики. Мартини рассчитывал даже на то, что ДКК может в будущем получить в этой стране концессию для добычи нефти[19].

Характеризуя Совнарком как руководство, которое "принципиально не согласуется ни с какими другими правительствами и ни с какими до сих пор действующими нормами права", Мартини был убежден в том, что советская власть – это преходящее явление. Тем не менее до весны 1919 г. в своей критике большевиков он был довольно умерен. Мартини льстил его статус в Москве, дававший возможность поддерживать тесные контакты с аппаратом власти. В конце 1918 – начале 1919 г. последние иностранные посольства и генконсульства были отозваны из страны. ДКК, как подчеркивал Мартини, остался единственным учреждением, которое защищало интересы иностранцев и русских политических заключенных.

Мартини не поддерживал слухи о массовых политических расправах с иностранцами в Советской России и считал, что только при окончательном крахе большевизма, если "вышедшая из-под контроля толпа начнет грабежи и погромы", можно ожидать всего[20]. Он зачастую не без оснований критиковал беспочвенные сообщения датской прессы о ситуации в большевистской России. В феврале 1919 г. Мартини сообщал в министерство иностранных дел Дании, что публикуемые датскими газетами слухи о том, что большевики оставили Петроград и что Ленин свергнут Троцким, являются ложными.Он рекомендовал журналистам приехать в Россию и воочию ознакомиться с обстановкой в стране. Революционное правительство готово было показать все – и хорошее, и плохое (к примеру, и новые кооперативы, и тюрьмы)[21]. Но сам Мартини был плохо информирован о том, что происходило в московских верхах. Так, летом 1918 г. он просил присылать

ему датскую прессу, так как "русские газеты становились все более и более неосведомленными"[22]. Впрочем, вплоть до февраля 1919 г. миссия получала из американского генерального консульства в Москве переводы на английский язык статей, резолюций и декретов, публикуемых в "Известиях"[23].

Инициатива Мартини большого восторга не вызвала. Когда британский посол в Копенгагене лорд Кильмарнок, прочитавший меморандум Мартини в местной газете, обратился в МИД, министр иностранных дел Эрик Скавениус заявил, что удивлен поступком последнего, и проинструктировал датского посла в Хельсинки, чтобы тот дал Мартини понять нежелательность подобных заявлений в печати. Э. Скавениус считал, что руководитель миссии ДКК в России действовал под давлением большевиков[24]. Однако это было не совсем так. В марте 1919 г. секретарь Мартини Хермуд Ларсен-Ланнунг выступил с резкой критикой большевиков. Он был уверен в том, что советская власть долго не продержится и что якобы сам Ленин понимал, что в ближайшем будущем его ожидает фиаско. По мнению Ларсена-Ланнунга, заграница следует "изолировать зачумленных", поразив прежде всего жизненный нерв большевизма – пропаганду. Он отмечал недовольство масс "бесхозяйственностью большевиков". По его словам, Ленин – "фантазер", Троцкий – "преступник", и они должны понести наказание "за свои фантазии и злодеяния"[25].

Тот факт, что советское правительство после разрыва с другими иностранными институтами продолжало оказывать Датскому Красному Кресту всяческое внимание, по мнению Мартини, никоим образом не объясняется тем, что он питал симпатии к большевизму. Советское руководство, подчеркивал Мартини, прекрасно знало, что сотрудники миссии "на всех наших совместных встречах всегда протестовали против тирании меньшинства и постоянно заявляли, что все политические заключенные в известной степени являются невиновными, так как они боролись вместе с большинством русского народа". Готовность Советов вести переговоры объяснялась просто – Красный Крест в своей гуманитарной работе не делал различия между политическими сторонами[26]. Но надо заметить, ни в одном из источников нет свидетельств о вышеупомянутом протесте. Он означал бы участие ДКК в политической борьбе в России.

В декабре 1918 г. датское посольство после сильного дипломатического давления стран Антанты было отозвано из России; правительство Дании начало высылку из страны советских представителей и приняло участие в международных акциях по изоляции большевизма и борьбе с ним. Разрыв дипломатических отношений был сложным и затяжным процессом отчасти потому, что большевистские правители делали все возможное, чтобы сохранить хоть какие-то связи с Данией, а тем самым и с Западом. Кроме того, обе стороны стремились сохранить морскую торговлю[27].

В начале декабря Литвинов через Швецию направился в Данию с дипломатической миссией, но без всяких объяснений был снят шведской полицией с поезда в Мальмё. На следующий день Стокгольм лишил

Воровского дипломатических прав и попросил его покинуть страну. Литвинов опасался, что шведское правительство решит задержать его в качестве заложника, но надеялся, что Дания не разорвет дипломатических связей с Москвой, и он сможет продолжить свою поездку. Однако вместе с другими советскими представителями он был выслан из Швеции. 7 декабря он обратился к руководителю советской дипломатической миссии в Копенгагене Якову Сурицу с просьбой дать оценку ситуации в Дании и, в частности, сообщить, открыто ли вновь сообщение между портами Эсбьерг и Харидж (Англия)[28]. В тот же день Воровский заявил, что теперь Дания – единственная страна, не разорвавшая дипломатических отношений с Москвой, но никто не знает, как будет действовать ее правительство в дальнейшем[29].

9 декабря датский МИД сообщил Воровскому в Стокгольм, что советская миссия во главе с Сурицем должна будет покинуть Данию. Однако некоторое время Сурица держали там как заложника, ожидая возвращения из России персонала датского посольства. И только 7 февраля 1919 г., спустя несколько недель после того, как этот персонал во главе с послом 20 декабря прибыл в Копенгаген, миссия Сурица (12 человек) в сопровождении ряда российских гражданских лиц покинула Данию и через Швецию возвратилась в Советскую Россию[30]. Тем временем Литвинов вел переговоры в Стокгольме с американским представителем Вильямом Баклером, главной темой которых была большевистская пропаганда за границей[31].

В декабре 1918 г. посольство и генеральное консульство Дании выехали на родину. При отъезде из России датский посол Харальд Скавениус завуалировал разрыв дипотношений, оставив штампы и печати в здании посольства, и проинструктировал остававшийся там персонал о необходимости как можно дольше скрывать случившееся. Сам он представил ситуацию как отъезд в отпуск[32].

Воровский обвинил датских дипломатов, находившихся в Советской России, в том, что они обманули советское правительство, чтобы вывезти из страны как можно больше ценностей[33], но Г.В. Чичерин смотрел на это дело иначе: "Пока датчане находились в своем посольстве в Петрограде, факт разрыва отношений между двумя странами практически отсутствовал"[34]. Даже после того, как Воровский сообщил, что датское правительство официально известило его о разрыве, Чичерин отреагировал на это следующим образом: "Мы вообще не намерены разрывать отношения с Данией". Даже в новом году он ставил под сомнение факт разрыва отношений. Воровский был возмущен позицией Чичерина и обратился по этому вопросу напрямую к Ленину[35].

Желание Москвы сохранить остатки дипломатических контактов с западной страной особенно наглядно проявилось в продолжении деятельности телеграфиста Хенрика Эйгтведа, работавшего в посольстве Дании в Петрограде. Эйгтвед, выступавший в роли секретаря посольства, выписывал паспорта и поддерживал связь с Чичериным, в частности содействовал отправке телеграмм советского правительства за границу и обмену интернированных французов на русских во Франции. Используя оставленные ему бланки, штемпеля и факсимиле, он

создавал перед Наркоминделом впечатление, что посольство продолжало работать под руководством секретаря при временном отсутствии посла[36]. Эйгтведа в это время посетил представитель НКИД Григорий Шкловский, который предложил посольству свою помощь. Если у Эйгтведа возникнут проблемы с ЧК, сказал Шкловский, ему следует обратиться в Наркомат иностранных дел. Вероятно, целью этого визита было узнать, как на самом деле обстояли дела с датским посольством. Шкловский попросил Эйгтведа передать через посольство некоторые телеграммы советского правительства правительству США[37].

В это время Х. Скавениус на Парижской конференции публично призывал западные власти сокрушить большевизм военной силой[38]. Шкловский сообщил Эйгтведу, что Литвинов и Воровский были вне себя по поводу заявлений датчанина и хотели потребовать осмотра багажа дипкурьера посольства, чтобы воспрепятствовать переходу им финской границы. Эйгтведу удалось получить обратно невскрытой дипломатическую почту, которая содержала секретные документы. Опасения Мартини по поводу того, что обращения посла к странам Антанты могут иметь непредсказуемые последствия, были лишены оснований[39]. Большевики считали выгодным для себя, чтобы оставшийся персонал датского посольства и миссии ДКК продолжал свою деятельность в Советской России. Именно в это время НКИД обратился в посольство Дании в Петрограде с просьбой о переводе 5 млн рублей на финансирование миссии Советского Красного Креста во Франции[40].

Советское правительство было настолько заинтересовано в том, чтобы сохранить контакты с датскими учреждениями, что канцелярист посольства Освальд Лаурсен в начале февраля 1919 г. в своем отчете в Копенгаген писал: "...казалось, будто находящиеся у власти не хотят понимать значения последствий разрыва дипломатических отношений"[41]. Более того, 15 февраля "Известия" цитировали заявление Скавениуса о том, что дипломатические связи не прерваны и что он поехал в Данию лишь в месячный отпуск.

Во время беседы Мартини с заместителем наркома по иностранным делам Львом Караханом в феврале 1919 г. эта заинтересованность советских властей проявилась вновь. Когда первый мимоходом заметил, что датское правительство все-таки прервало дипломатические отношения, Карахан ответил,что НКИД ежедневно ведет переговоры с датским посольством в Петрограде по этому вопросу. Мартини заявил, что в декабре 1918 г. разрыв стал "абсолютным фактом" и Красный Крест поэтому должен взять на себя прямую гуманитарную защиту датских и иностранных граждан, но не должен заниматься политическими вопросами. Карахан же просил Мартини сообщить правительству Дании, что советское правительство хотело бы, чтобы миссия ДКК взяла на себя также и политическое представительство. Мартини обещал быть связующим звеном между советским и датским представительствами, заметив, что не хотел бы выступать в роли политического дилетанта[42].

Вскоре, однако, Мартини стал посылать так много политических отчетов датскому правительству, что МИД был вынужден напомнить ему, что его сообщения следует направлять в адрес Центрального бюро Красного Креста, а не в Министерство иностранных дел[43].

На рубеже 1918–1919 гг. датское правительство смотрело на пребывание миссии Красного Креста в большевистской России прагматически, руководствуясь политическими соображениями. Министр иностранных дел Э. Скавениус хотел отозвать миссию на том основании, что политической целесообразности в ее пребывании в России, по его мнению, более не существует.

Однако это произошло не сразу. Посол Х. Скавениус советовал не спешить с отъездом миссии. Советы также стремились продлить ее пребывание в России[44]. Мартини считал, что для ликвидации Московского бюро Красного Креста потребуется два-три месяца, к тому же оставалось еще много работы и в Петрограде, и в Москве. В феврале врач Фольмер Хансен из Петроградской миссии провел прием 1500 русских из Франции, которые были обменены на 243 иностранца (французов, англичан, итальянцев, швейцарцев и сербов)[45]. В Москве в это время представители различных советских учреждений в спешном порядке пытались перевести миллионные суммы за границу. По мнению Мартини, эти деньги предназначались для финансирования большевистской пропаганды. Он опасался, что в случае его отказа помочь в переводе денег "большевики" обратятся в посольское "Отделение Б" в Петрограде, которое находилось в руках австрийских большевизированных солдат во главе с неким капитаном Юриком. Последний выписывал и визировал паспорта большевистским агентам и курьерам, используя бланки и штемпеля посольства. В конце февраля 1919 г. Мартини еще не удалось выполнить инструкции своего МИД об "изъятии и отправке в Копенгаген этих канцлярских принадлежностей"[46]. (Когда представитель Большой северной телеграфной компании летом 1921 г. получил возможность осмотреть здание датского посольства в Петрограде, он увидел там полный хаос: разбитую мебель, взорванные несгораемые шкафы, груды бумаги, куски штукатурки, рухнувшие потолки, испорченные паркетные полы и т.п.[47])

* * *

Вскоре Мартини изменил свое мнение о большевистском режиме. В апреле 1919 г. в одном из своих отчетов он писал с явной тревогой: «Тайная полиция большевиков готовит теперь "последнюю большую расправу с иностранцами"». Согласно Мартини, захват Одессы (после эвакуации французских войск) сделал ультракрасных ("военная партия") самонадеянными и укрепил их позиции в правительстве. Они не хотели теперь просить Европу о мире, а жслали ее запугать, чтобы та выпрашивала пощаду. Финляндия могла оказаться первой их жертвой. Мартини стремился склонить умеренных среди народных комиссаров к миру. Он хотел убедить их в том, что Антанта готова к мирным переговорам.

Если же Совнарком не смягчится, необходимо поставить вопрос о прекращении поставок продовольствия: не следует подавать нищему, когда он угрожает. (Он, вероятно, имел в виду намечавшуюся миссию Нансена.) "Помогать надо только униженной, а не высокомерной России", – писал Мартини. В случае, если Россия нападет на Финляндию, Антанте следует помочь ей нанести удар по Советам. Мартини просил информировать финское правительство о содержании его отчета, а также проинформировать МИД в Копенгагене об "этих важных изменениях в русской политике"[48]. В действительности ничего не указывало на то, что в это время шла речь о громадных изменениях в большевистской политике. Как мы увидим позже, Мартини не был хорошо информирован о политической ситуации в Советской России. Однако он находил весьма целесообразным, чтобы датская миссия в тот момент оставалась в Москве. Все иностранцы должны были выехать и находиться в безопасности до того, как начнется "красный период". В конце апреля 1919 г. Мартини был уполномочен МИД Дании вывезти миссию Красного Креста из России, когда это, по его мнению, будет абсолютно необходимо[49].

В отчете, написанном четыре месяца спустя, Мартини отмечал, что одной из причин акций против иностранцев в Советской России было возбужденное общественное мнение, причем ЧК пыталась направить его против буржуазии, но, "так как возбуждение толпы в России всегда начинается с погромов, направленных против иностранцев и евреев, а большая часть большевистских комиссаров были евреями, поток возмущения направляется против иностранцев"[50].

Если в первом квартале 1919 г. деятельность миссии была сравнительно легкой и не сталкивалась с особыми трудностями, так как у руля находилось "сильное правительство", то в апреле, по мнению Мартини, ситуация изменилась – на власть стала претендовать "ультракрасная партия" во главе с ЧК.

В мае царила уже явная анархия, положение иностранцев становилось тревожным. Два секретаря миссии ДКК в Москве сообщали в одном из последних отчетов "об омерзительном террористическом режиме большевиков"[51]. Сотрудники Красного Креста считали теперь, что миссию необходимо срочно отозвать, ибо при нынешних условиях работать было просто невозможно. Пребывание любой иностранной организации в Советской России было сопряжено с большим риском, так как оно давало властям повод для проведения массовых арестов. Членам миссии угрожала смертельная опасность[52].

2 июня 1919 г. помещения всех иностранных консульств и посольств, а также представительств Датского Красного Креста в Москве и Петрограде были заняты ЧК. Персонал был арестован, иностранные граждане, входившие в его состав, были отправлены в специальные концлагеря под Москвой, а женщины – служащие миссии – на принудительные работы. Цель операции состояла в том, чтобы обнаружить в иностранных представительствах компрометирующие их материалы. В помещениях контор и архивов произвели обыск, однако все бумаги, которые могли бы показаться большевикам подозри-

тельными, были заранее уничтожены. Согласно Мартини, многие советские учреждения в этот страшный период оказывали ДКК весомую поддержку. Наркоминдел пытался помочь миссии и просил ее не покидать страну. Президент РКК Вениамин Свердлов обещал обговорить вопросы, касающиеся дел миссии, с Лениным и Чичериным[53].

Во время обыска 2 июня не было найдено ничего, что, по словам Литвинова, могло бы вызвать подозрение властей в причастности Мартини к контрреволюционной деятельности. Поэтому Литвинов от имени НКИД просил Дзержинского немедленно отменить арест Мартини и остальных членов миссии. Одновременно Литвинов написал Зиновьеву и Сталину, что НКИД считает необходимым согласиться с просьбой миссии Красного Креста о выезде в Данию. Через пару дней Литвинов обратился также с просьбой в ЧК в Москву разрешить Хансену из миссии Красного Креста в Петрограде посетить иностранцев, содержавшихся в концлагерях[54].

Мартини считал, что главная причина налета на иностранные представительства летом 1919 г. была связана с фактом возвращения Литвинова из Лондона в Петроград. По мнению Мартини, Литвинов был крайне ненадежной личностью, ярым ксенофобом. Вместе с ЧК при поддержке Сурица и Гарина, вопреки воле Карахана и Чичерина он якобы организовал акцию против Датского Красного Креста. Но подобная политика по отношению к иностранцам могла повредить дипломатической карьере Литвинова, а он хотел стать послом России в Европе, и потому вскоре изменил свою тактику и стал энергично требовать, чтобы арестованные иностранные граждане были освобождены. Другие сотрудники датской миссии тоже негативно высказывались о Литвинове.

Но, по-видимому, эти оценки были далеки от истины. Литвинов находился в Петрограде с ноября 1918 г., и ничто не указывало на то, что он организовал действия ЧК против ДКК в Москве.

Другой причиной налета, по предположениям Мартини, могли быть подозрения властей о том, что миссия занималась антисоветской разведывательной деятельностью, финансовым мошенничеством, сокрытием товаров на складах. В начале июля в датском генеральном консульстве в Москве были обнаружены запасы оружия и боеприпасов, но миссия Красного Креста в этой связи дала объяснения советским властям, что никто из ее сотрудников не может нести ответственность за то, что, мягко говоря, "наивный датский консул Гакстхаузен оставил после себя"[55].

Литвинов от имени НКИД объявил тогда, что комиссариат не хочет иметь дело с представителями стран, чьи правительства не поддерживают нормальных отношений с властью России. Поэтому он не хотел признавать миссию Красного Креста или другие датские институты в России, так как датское правительство разорвало отношения с Советской Россией. Датскому капитану А.Х. Бруну – представителю военнопленных – не разрешено было пересечь советскую границу. При этом Литвинов ссылался на то, что бывший датский посол Скавениус

предоставил союзникам сведения о военной ситуации в Петрограде и призвал к наступлению на него[56].

В ответ на протест Мартини против обысков в помещении миссии Литвинов заявил, что советское правительство только в том случае признает неприкосновенность официальных представителей иностранных государств, если советские представители за границей получат такие же привилегии. Несмотря на многочисленные случаи нарушения прав последних, наркомат до сих пор всячески поддерживал миссию ДКК в России. Но после высылки из Дании представителя РКК Беро и грубого поведения датской полиции, а также принимая во внимание то обстоятельство, что ДКК не протестовал против этого, а предпочел сотрудничать с представителями колчаковского Красного Креста в Дании, НКИД вынужден пересмотреть свое отношение к миссии. Наркомату из многих источников стало также известно, что деятельность Датской миссии в России выходит далеко за рамки ее компетенции. Располагает он и свидетельствами о ее контрреволюционной и антисоветской деятельности. В связи с этим НКИД не может противиться требованиям военных властей о проведении обысков в помещении миссии. Литвинов известил также миссию о решении советского правительства, согласно которому она может впредь представлять интересы иностранных граждан в России только при условии, что Советы будут иметь своего представителя за границей[57]. К посланию Литвинова было приложено сообщение одного русского военнопленного об агитации, проводимой среди военнопленных, возвращавшихся в Россию, представителями ДКК. Деятельность датской миссии действительно выходила за рамки компетенции Красного Креста. Но Литвинов, однако, запамятовал, что НКИД (и лично Карахан) сам просил датчан об этом. К тому моменту, когда присутствие датской миссии Красного Креста в России было объявлено советским правительством нежелательным, правительство Дании и ее Красный Крест давным-давно решили отозвать миссию сами. Прощальный залп Литвинова может поэтому рассматриваться как явное обращение к датскому правительству разрешить открытие какого-либо советского представительства в Дании.

При отъезде миссии из Москвы со стороны НКИД ей была оказана помощь, проявлена необычайная предупредительность; всем датчанам выдали гарантии безопасности на их долгом пути домой. Сопровождавший группу охранник столь ревностно относился к своим обязанностям, что даже убил человека, невежливо обошедшегося с датчанами. Через Белоруссию и Польшу в августе 1919 г. миссия наконец прибыла домой[58]. Есть свидетельства об участии Сталина в этой операции, которая была довольно сложной, так как миссии приходилось переезжать из одной воюющей страны в другую через недемаркированные границы[59].

Вместе с миссией уехало 40 репатриантов. Мартини не удалось забрать всех датчан, находившихся в России и желавших ее покинуть. Для выезда необходимо было разрешение как НКИД, так и ЧК и военных властей. Его получили лишь лица, непосредственно связанные с миссией Красного Креста. Канцелярист О. Лаурсен, который был рос-

сийским гражданином, но имел датский паспорт, смог добиться разрешения на выезд в Данию вместе с миссией только благодаря ходатайству Шкловского[60].

* * *

Миссия Красного Креста в России была официально упразднена 10 июля 1919 г. В стране оставалось еще несколько сотен датчан, которые оказались в очень трудном положении. Арестованные нуждались в лекарствах и продуктах питания, а также в содействии их освобождению. Поэтому Мартини оставил бывшему сотруднику Красного Креста Хенрику Эйгтведу 150 тыс. рублей на соответствующие расходы на ближайшие полгода. (Британскому послу в Дании Мартини сообщил, что он оставил полмиллиона рублей у британского пастора Норта и у Эйгтведа. Эта сумма была рассчитана на один месяц оказания гуманитарной помощи нуждающимся[61].) Сам Мартини вез из России более миллиона рублей, принадлежавших датчанам и иностранцам. Он отметил в своем отчете в бельгийское Министерство иностранных дел, что он надеется на сотрудничество между Эйгтведом и московскими властями, как только "умеренные элементы" в советском правительстве снова возьмут верх[62]. Между тем из послания Литвинова в миссию Красного Креста от 10 июля явствовало, что советские власти не хотели признавать оставшийся персонал миссии как ее "действительных членов"[63].

В сентябре 1919 г. Эйгтвед был арестован, а денежная касса конфискована. После своего освобождения в ноябре он был вынужден сделать заем у частных лиц, которые тем самым спасали свои капиталы от инфляции и конфискации. Датская фирма "Русская торговая компания" и торговец-оптовик Отто Сандгрен одолжили Эйгтведу по 600 тыс. думских рублей. Только в марте 1920 г. по соглашению между ДКК и Литвиновым Эйгтведу вернули его кассу. По тому же копенгагенскому соглашению ДКК получил, несмотря на блокаду, разрешение посылать Эйгтведу 1000 кг продовольствия для датчан в России[64].

Во время пребывания в тюрьме Эйгтвед заболел цингой и чуть не потерял все зубы. Потом он жил у английского священника в Москве до осени 1920 г. в сравнительно нормальных условиях, пока его не обстреляли через окно. При этом никто не пострадал – ни он сам, ни его секретарь, ни медсестра фон Пален. Отношения Эйгтведа с московскими властями, как уже говорилось, были хорошими, и особенно – с Наркоматом иностранных дел. У него был даже мандат для приема всех иностранцев, независимо от их национальности. Он занимался также и обеспечением транспортными средствами тех датчан, которые съезжались в Москву со всей России и долгое время не имели связи с Данией[65].

В Киеве осенью 1919 г. также действовала миссия Датского Красного Креста под руководством врача Брёнделя, которая в сентябре из-за произвола властей должна была перебраться в Ростов, где Брёндель умер от тифа[66].

* * *

После своего возвращения на родину в августе 1919 г. Мартини неоднократно публично высказывался о большевистском режиме. Он также конфиденциально информировал правительство Дании и власти других государств о своей оценке политической ситуации в Советской России. Его точка зрения на соотношение сил в большевистском руководстве, как уже говорилось, была довольно неадекватной. В начале августа он заявил одной датской газете, что Ленин уже в течение трех месяцев практически отстранен от руководства страной и что Якоб Петерс – зампред ЧК, председатель Ревтрибунала и комендант Петрограда взял власть в свои руки. Согласно Мартини, Петерс и другие его единомышленники готовили окончательную расправу с иностранцами в Москве[67].

Сразу после приезда Мартини в Данию его посетил британский посол, чтобы узнать мнение по ряду вопросов, интересовавших английское правительство. По поводу арестов иностранцев в России Мартини сказал, что в этом вопросе главную роль играли внутриполитические соображения. Петерс и Дзержинский ("экстремальная красная партия") якобы возымели перевес над Лениным, который вместе с Троцким представлял умеренное крыло партии. Ленин-де хотел переговоров с союзниками, но когда он не получил в этом поддержки среди своего окружения (в то время Красная Армия успешно наступала), его влияние ослабло. Следующим шагом в нынешней волне репрессий должны были стать аресты русских, имевших связь с иностранцами. Согласно Мартини, кампания террора встретила сильное сопротивление, и влияние Ленина вновь усилилось. С британскими солдатами, взятыми в плен, обращались хорошо, так как большевики надеялись их распропагандировать[68].

Мартини постоянно критиковал все аспекты большевистской власти. Однако во время выступления в студенческом объединении в Копенгагене он выразил свои симпатии к московским властям и защищал их политику в отношении иностранцев. Сообщалось, что он также призывал освободиться от предрассудков по отношению к большевикам и восстановить отношения между Советской Россией и скандинавскими странами[69]. Во время другого его доклада в Копенгагене возмущенные граждане покинули зал, в то время как коммунисты аплодировали. Согласно тезисам доклада, Мартини критиковал односторонние высказывания прессы против большевизма, но вместе с тем заявлял, что желает большевикам поражения[70].

Газета "Hufvudstadsbladet" в Хельсинки в сентябре–октябре развернула кампанию против Мартини и Датского Красного Креста за их отношение к финнам в Советской России. Врач Ф. Хансен из бюро Красного Креста в Петрограде отзывался в финском МИД о деятельности Красного Креста и лично Мартини весьма пренебрежительно[71]. Газета "Ekstrabladet" в Копенгагене также осуждала Красный Крест за его пробольшевистскую настроенность. Добавим к этому еще ряд заявлений, сделанных профессором Харальдом Хёфдингом о больше-

вистских симпатиях Мартини. Бывший сотрудник МИД Хеннинг Хергель, возглавлявший пресс-бюро одной из антибольшевистских организаций, считал, что деятельность ДКК в Советской России может нанести вред престижу Дании. Он сообщал, что Мартини в Москве женился на одной еврейке, семья которой имела тесные связи с большевиками и должна была получить денежное вознаграждение за помощь при отъезде из России ряда датчан и других иностранцев после возвращения миссии Красного Креста в Данию[72]. Британский посол в Копенгагене также сообщал, что отношение Мартини к большевикам значительно улучшилось после того, как он женился на г-же Сифф, сестре датского консула в Одессе, который должен был заняться продажей виз большевистским агитаторам, чему помешал его арест, когда союзники взяли этот город[73].

Комитет Международного Красного Креста в Женеве писал профессору Хёфдингу, что Мартини снабдил делегатов непризнанного Российского Красного Креста рекомендациями для поездки в Польшу и Венгрию с чисто политической миссией[74]. МИД через финского посла стало известно, что Ф. Хансен критиковал Мартини за то, что он принимал у себя русских евреев, среди которых был большевик по имени Сифф. Также сообщалось, что Мартини оказывал гостеприимство польским еврейкам и руководил миссией Красного Креста как чисто большевистским предприятием, занимаясь к тому же валютными операциями[75].

Британский министр иностранных дел лорд Керзон был так взволнован сообщениями о политических симпатиях Мартини и слухами о постановке им вопроса о восстановлении связей скандинавских стран с Советами, что просил посла в Копенгагене подтвердить достоверность этой информации: "Можно ли считать Мартини пробольшевиком?" Посол Кильмарнок имел частную беседу с министром иностранных дел Э. Скавениусом, который обещал обо всем расспросить Мартини по его возвращении из Финляндии, а сам считал, что пресловутый доклад был тенденциозно реферирован. Министр согласился и на перекрестный допрос Мартини с целью выяснить, действительно ли он привез по фальшивым паспортам из России пять "нежелательных лиц"? Скавениус полагал, что Мартини был вынужден в известной степени идти навстречу большевикам, чтобы облегчить деятельность Датского Красного Креста. Сам Скавениус, однако, не верил, что Мартини мог быть большевиком[76].

МИД Дании вынужден был пойти в контрнаступление. 15 октября 1919 г. датское радио передало точный текст официального коммюнике финского министерства иностранных дел, в котором последнее сожалело о нападках на Датский Красный Крест в финской прессе. Одновременно с этим по датскому радио была зачитана передовая статья газеты "Renaissance" (Копенгаген) о бескорыстной деятельности ДКК в России[77]. МИД телеграфировал Мартини в Финляндию о британском запросе и просил его прокомментировать. 25 октября Скавениус направил Кильмарноку два заявления Мартини относительно обвинений в его адрес.

В первом из них от 21 октября 1919 г. говорилось: "В ответ на телеграмму Министерства иностранных дел от 16.10.1919 г. я заявляю, что не оправдывал позицию советского правительства в отношении представителей иностранных государств и не высказывался по поводу возможностей восстановления отношений между Скандинавскими странами и советским правительством".

Второе заявление Мартини касалось многочисленных слухов и нападок на него со стороны прессы; оно было оформлено в виде заявления для печати. Для работы Красного Креста было важно, писал Мартини, чтобы он не вел никакой политической пропаганды ни в пользу красных, ни в пользу белых. И хотя он осуждает террор большевиков, но считает, что "борьба прессы против большевизма не должна вестись таким образом, чтобы печать переполнялась лишь сообщениями о большевистском терроре. Необходимо объективно показать экономическую ситуацию в России, показать и социал-демократам всего мира, что большевизм не имеет ничего общего с демократией и, особенно, с социал-демократией и представляет собой лишь небольшую деспотическую клику, а также переход собственности в другие руки".

Министр иностранных дел Э. Скавениус мог добавить, что заявление Мартини было представлено бывшему послу Дании в России Х. Скавениусу, который подтвердил его справедливость[78]. Это неудивительно, так как характеристика большевиков, данная Мартини, и оценка их позиции совпадали с точкой зрения бывшего посла. Поддержка им Мартини была важна, так как Х. Скавениус был активным антибольшевиком. 14 октября 1919 г. в Министерство иностранных дел им было передано заявление, подписаннос сотрудником Русской торговой компании Е. Сённихсеном, содержащее ряд серьезных обвинений Датского Красного Креста в связи с его деятельностью в Советской России. Сённихсен оставался в Петрограде после отъезда посольства Дании и участвовал в кампании дезинформации, призванной скрыть разрыв дипломатических отношений, инициатором которого был датский посол.

Сённихсен исходил из того, что особое отношение большевиков к миссии Красного Креста и Мартини объяснялось желанием Советов иметь "открытое окно в Европу". Деятельность миссии Красного Креста была пародией на дипломатию, и большевики щадили датскую собственность только потому, что могли использовать миссию в своих целях. Сённихсен утверждал, что Карахан с помощью Мартини отправил из Советской России 5 тыс. долл. США и что Свердлов и еще двое ведущих большевиков переслали подобные суммы своим женам в Швейцарию. Отношение Мартини к большевикам характеризовалось тем, что он и Свердлов от имени Международного Красного Креста протестовали в "Известиях" против действий Польши в отношении большевистских пропагандистов, действовавших под эгидой РКК. Вообще говоря, Мартини весьма легкомысленно раздавал свои подписи и обещал Литвинову содействовать тому, чтобы большевики могли открыть представительства своего Красного Креста за рубежом. И все-таки Сённихсен соглашался с тем, что ДКК выполнил боль-

шую работу по оказанию помощи иностранцам в большевистских тюрьмах[79].

22 октября Мартини направил свой ответ в МИД. Он оспаривал утверждение, что Карахан когда-либо с его помощью посылал за границу 5000 долларов. Но он признавал, что согласился быть посредником в передаче денег от Карахана, Мануильского и Шкловского их женам в Швейцарию. Министерство иностранных дел было об этом информировано. Вместе с тем он отказал Литвинову в его просьбе направить 500 долларов русским в Лондон и никогда не обещал последнему создать сеть представительств РКК за границей. Действительно, он вместе со Свердловым, но от своего имени протестовал по поводу обращения Польши с членами Российского Красного Креста. По вопросу валютных операций миссии Красного Креста Мартини сообщил, что он, чтобы спасти денежные средства датчан и других лиц в России, действительно посылал деньги за границу с курьером, но всегда с одобрения МИДа. Так поступало, между прочим, и датское посольство. Он отрицал, что ДКК в России когда-либо отправлял большевистскую почту, телеграфные или радиотелеграфные сообщения большевиков, за исключением обмена корреспонденцией между советским правительством, датским министерством иностранных дел и Центральным бюро ДКК[80].

Он мог бы добавить, что Датский Красный Крест доставлял также письма Юденичу, находившемуся в Хельсинки, от его представителя в Дании[81]. Сённихсен был прав в том, что большевики хотели иметь в лице ДКК открытый канал для связи с окружающим миром.

Одновременно с налетом ЧК на миссию Датского Красного Креста в Москве и ее высылкой в центре внимания советских властей оказались и представители ДКК, работавшие на финско-русской границе. В мае 1919 г. Филипсен вел переговоры с Г. Шкловским об обмене русских и финских военнопленных[82]. В июне Сальтофт заменил Филипсена как представителя ДКК на переговорах, касавшихся теперь и "обмена английских, французских и финских граждан, задержанных в Советской России". Москва поставила условие о проведении переговоров в нейтральной стране с участием представителей государств, непосредственно участвовавших в войне: Советской России, Великобритании и Франции[83].

Основанием для этого послужило то, что представители Датского Красного Креста проводили "контрреволюционную пропаганду среди русских военнопленных в Финляндии" (аналогичное обвинение Литвинов предъявил Мартини в Москве). Советское правительство не хотело более доверять Красному Кресту защиту русских интересов и осуществление контроля за обменом военнопленными. Обвинение в контрреволюционной пропаганде, кажется, сводилось к тому, что представители Красного Креста рассказывали русским военнопленным о дороговизне в Советской России[84].

Действительная причина была между тем политическая. Советское правительство хотело прямых переговоров, чтобы поднять вопрос о признании революционного режима в Москве. У Филипсена сложилось впечатление, что этот режим любой ценой стремился к прямым контактам, в первую очередь с британским правительством для того, чтобы обсуждать с ним темы, которые не имели отношения к вопросу о судьбе военнопленных[85]. Сами по себе прямые переговоры могли рассматриваться как косвенная форма признания большевистской власти. Западные державы, однако, в них не были заинтересованы. Шансы большевиков на выживание по-прежнему рассматривались как минимальные. Великобритания и Франция даже не хотели вести переговоры с РКК, который в тот момент не был признан МКК. Британское правительство все же было готово на перенесение переговоров об обмене военнопленными и интернированными лицами в нейтральную страну. Представитель Британского Красного Креста в Дании неофициально запрашивал Копенгаген по этому вопросу. Англичане имели в виду переговоры, при которых ДКК от имени британского правительства и при участии его представителя в качестве советника мог бы участвовать в переговорах с представителем РКК или советского правительства. По мнению Лондона, подходящим местом для них была бы Дания, чей Красный Крест активно работал в Советской России[86].

Франция и Великобритания были заинтересованы в контактах с Советской Россией из-за интернирования их граждан большевиками. В сентябре 1919 г. Датский Красный Крест через Министерство иностранных дел получил запрос из Парижа о том, готов ли он возобновить свою работу в России. Центральное бюро ДКК ответило, что его представитель все еще находится в Москве, но что оно не имеет связей ни с ним, ни с советским правительством. Возобновление работы в России зависит от предстоящей встречи британских и советских представителей, где и ДКК получит возможность вести переговоры с официальными лицами Кремля[87].

После долгих проволочек был наконец достигнут прогресс – в значительной степени вопреки желанию как датского, так и советского правительства – в обсуждении вопроса об обмене военнопленными. В Копенгаген прибыл Литвинов. Его британским партнером был член парламента от лейбористской партии О'Грэди. На переговорах Литвинов встретился также с Мартини[88]. Весной 1920 г. Мартини снова приехал в Россию, чтобы организовать распределение продовольствия среди иностранных граждан[89].

* * *

Вопрос о миссии Литвинова в Дании в 1919–1920 гг., которая означала прорыв советской дипломатии на Запад, выходит за рамки темы исследования и заслуживает особого рассмотрения. Следует также продолжить изучение роли Датского Красного Креста в большевистской России 1918–1919 гг. на основе большего числа российских источников.

Многие члены миссии ДКК в России по возвращении в Данию создали там антибольшевистскую организацию – Международную русскую лигу. В нее вошли В.О.И. Филипсен, Ф. Хансен, посол Дании в Петрограде Х. Скавениус, ее генеральный консул в Москве К.Ф. Гакстхаузен. То, что они пережили в Советской России, привело

их к убеждению, что режим в Москве настолько опасен, что с ним просто необходимо бороться, при этом оказывая российскому населению всестороннюю гуманитарную помощь, в том числе и по восстановлению народного хозяйства[90].

В настоящем исследовании предпринята попытка выявить характер и объем контактов между Датским Красным Крестом и советским правительством, показать политическую роль миссии Красного Креста в Москве в период, когда большевики почти не имели связей с внешним миром. Кроме того, подтверждается, что в датских архивах находятся ценные материалы, касающиеся российской истории времени первой мировой и гражданской войн. Датская мемуарная литература, освещающая этот период, также обширна. Сотрудничество датских и российских историков может оказаться взаимополезным при изучении весьма важного этапа новейшей истории обеих стран.

[1] *Carr E.H.* A History of Soviet Russia. Vol. III: The Bolshevik Revolution 1917–1923. Harmondsworth, 1966. P. 122.

[2] Подробного освещения вопроса о миссии Литвинова нет и в следующих работах: *Шейнис З.С.* Максим Максимович Литвинов. М., 1989; *Philips H.D.* Between the Revolution and the West. A Political Biography of Maksim M. Litvinov. Boulder, Colo., 1929. Более подробно об этой миссии см.: *Jensen B.* Danmark og det russiske spørgsmål. 1917–1924. Århus, 1979; *Idem.* Småstat i klemme. Danmark som ufrivilligt værtsland for en bolsjevikkisk verdensgesandt I Festskrift til Tage Kaarsted. Om Danmarks historie 1900–1920. København, 1988. S. 129–145; *Idem.* Kleinstaat in der Klemme // Jahrbucher für Geschichte Osteuropas. 1990. Vol. 38. P. 228–243.

[3] *Blüdnikov B.* Krigsfanger – et billeddrama om krigsfanger i Danmark under I. Verdenskrig. København. 1988; *Davis G.H.* National Red Cross Societies and Prisoners of War in Russia, 1914–1918 // Journal of Contemporary History. 1993. Vol. 28. P. 31–52.

[4] *Brun A.H.* Blandt Krigsfanger i Turkestan. København, 1930.

[5] Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (далее – РЦХИДНИ). Ф. 5. Оп. 1. Д. 2165: Воровский – Ленину. 20 января 1918 г.

[6] См.: Blüdnikow B. Op. cit. Passim: *Kaptajn N.C.M.* Fuglede. Tjenstlige Rejser og Ophold i Rusland–Sibirien, Estland, Finland og Letland 1918, 1919 og 1920 [Рукопись].

[7] Dansk Røde Kors (DRK) Moskva-kontoret. Diverse rapporter 1918–1920.

[8] *Scavenius A.S.* Diplomatfrue ved Zarhoffet. København, 1960.

[9] Udenriksministeriet's Arkiv (UM). 6 U 59 A.

[10] DRK. Moskva-kontoret. Korrespondance med forskellige regeringer. 1919–1920. "Belgien". Rapport til Belgiens UM 3.9.1919.

[11] UM. 6 U 295. Gesandtskabet i Bern til UM. 21.10.1921.

[12] *Jensen B.* Danmark og det russiske spørgsmål 1917–1924. Århus. 1979. S. 166.

[13] UM. 6 U 59A. Martinys rapport 3.1.1919. Martiny til DRK 25.4.1918; 27.5.1918; НКИД предложил Мартини частный дом, владельцы которого подлежали выселению. Однако Мартини нашел другой дом. Martiny til DRK 3.6.1918.

[14] UM. 6 U 59 a. Martinys rapport tilsendt Udenrigsministeriet – 3.1.1919.

[15] Ibid.

[16] Ibid. Martiny til DRK. 3.6.1918.

[17] DRK. Moskva-kontoret. Diverse rapporter 1918–1920. Martiny til DRKs Centralbureau. 12.6.1918.

[18] UM. 6 U 59 A. Martinys rapport til Udenrigsministeriet. 3.1.1919.

[19] Ibid. Martinys rapport til DRK 12.6.1918.

[20] Ibid. Martinys rapport til Udenrigsministeriet 3.1.1919.

[21] Ibid. Radiotelegram til UM 22.2.1919; DRK Moskva-kontoret. Diverse rapporter 1918–1920.

[22] DRK. Moskva-kontoret. Diverse rapporter 1918–1920; Martiny til DRKs Centralbureau 5.7.1918.

[23] Ibid. Moskva-kontoret 1918–1919.

[24] Foreign Office (FO) 371/3958; Kilmarnock til FO 8.3.1919.

[25] UM. 6 U 59 A. Hermod Larsens rapport til DRK 2.3.1919. В книге "Min Russiske ungdom" ("Моя русская молодость". København, 1979) Ланнунг полностью умалчивает о своем критическом взгляде на большевиков.

[26] DRK. Moskva-kontoret. Korrespondance med forskellige regeringer 1919–1920. "Belgien". Rapport til Belgiens UM. 3.9.1919.

[27] Vorovskij til Tjtjerin, offentliggjort i Hufvudstadsbladet. 7.12.1918.

[28] Архив внешней политики Российской Федерации (далее – АВПРФ). Ф. 085. Оп. 1. Д. 27. № 020. "Переписка Литвинова с Суриц 1918". Литвинов – Сурицу. 7 декабря 1918 г.

[29] Svenska Dagbladet. den 8. decemb. 1918.

[30] *Jensen B.* Op. cit. S. 164–166, 175.

[31] Северная коммуна [Пг]. 1919. 5 февр. На заседании Петроградского Совета в феврале 1919 г. после возвращения в Россию Литвинов сообщил, что важнейшим требованием союзнических правительств был отказ революционной России от пропаганды в этих государствах. Но, как заявил Литвинов, "мы никогда не откажемся от своего права думать, говорить и писать как нам это нравится". Во всей Западной Европе росло революционное движение, и поэтому было необходимо продержаться до тех пор, пока придет помощь от западноевропейских товарищей. На том же заседании Воровский оценил поведение датского правительства в связи с разрывом отношений "как вежливое и внимательное". Вся серьезность ситуации заключалась, однако, в том, что инициаторами этого разрыва были Великобритания и Франция, ставившие перед собой цель изолировать Советскую Россию от всего культурного мира, окружить ее "китайской стеной", а также создать контрреволюционные базы в приграничных странах, таких, как Финляндия, где в то время находились генералы Трепов и Юденич. Советская Россия теперь опиралась на собственные силы, а также на поддержку "еще не проснувшегося европейского пролетариата".

[32] *Jensen B.* Op. cit. S. 116–119.

[33] Отчет Воровского Чичерину, опубликованный в "Hufvudstadsbladet" от 7.12.1918; Северная коммуна. 5 февр. 1919; Vorovskij til UM 27 и 29 янв. 1919.

[34] *Выгодский С.Ю.* У истоков советской дипломатии. М., 1965. С. 42.

[35] Там же. С. 43–44.

[36] См. телеграмму Чичерина поверенному в делах Нордлингу: Документы внешней политики СССР (далее – ДВП СССР). М., 1968. Т. II. С. 18, 27–28, 32; UM. Gesandtskabet i Petrograd (GAP) 39. "Laursen". Laursen til Andersen 6.1.1919 и Eigtveds rapport 6.3.1919.

[37] UM. 3 F 249. Eigtveds rapport. 6.3.1919.

[38] *Jensen B.* Op. cit. S. 218.

[39] UM. 6 U 59 A. Martinys erklæring af 8.1.1919 til DRK's Centralbureau.

[40] Ibid. 3 F 249. Eigtveds rapport 6.3.1919.

[41] Ibid. GAP 39 "Laursen" Laursen til UM. 8.2.1919.

[42] DRK. Moskva-kontoret. Diverse rapporter 1918–1920. Udat. rapport fra Martiny til UM.

[43] UM. 6 U 59 A. UM til Gesandtskabet i Helsingfors med besked til Philipsen 8.4.1919.

[44] О заинтересованности большевиков в сохранении миссии ДКК в качестве канала связи с западным миром см. также: *Krebs C.* En dansker i Mongoliet. København, 1937. S. 45. Кребс был военным врачом на службе в ДКК.

[45] UM. 6 U 59 A. Folmer Hansen til DRKs CB 12.2.1919; DRK – missionen til det danske generalkonsulat: Moskva 13.2.1919.

[46] Ibid. Martiny til Gesandskabet i Helsingfors 26.2.1919.

[47] Hjerl Hansens arkiv. Fr. Kixt til Store Nordiske 12.8.1921.

[48] UM. 133 D4, Martiny til Danske Legation Helsingfors 17.4.1919.

[49] UM. 6 U 59 A. Philipsen til UM 30.4.1919 med citat af Martinys rapport 21.4.1919; UM til Gesandtskabet i Helsingfors 30.4.1919.

[50] DRK. Moskva-kontoret. Korrespondance med forskellige Regeringer 1919–1920. Belgien. Rapport til Belgiens UM. 3.9.1919.

[51] UM. GAP. 10. "Bolsjevikkernes indtrængen i Gesandtskabet". UM til Harald Scavenius 30.10.1919 med bilag.

[52] Ibid. 6 U 59 A. DRK til ИМ. 25.9.1919.

[53] DRK Moskva-kontoret. Korrespondance med forskellige Regeringer 1919–1920. Martinys fortrolige rapport til UM. 21.8.1919.
[54] АВПРФ. Ф. 085. Оп. 2. Д. 42. № 847. НКИД – Дзержинскому. 5 июня 1919 г.; Литвинов – Зиновьеву и Сталину. 5 июня 1919 г.; Литвинов – ЧК. 11 июня 1919 г.
[55] DRK Moskva-kontoret. Martinys rapport til UM. 21.8.1919; UM GAP 10. "Bolsjevikkernes indtrængen i Gesandtskabet". Fabricius Dahls og Olsens rapport, bilagt UM til Harald Scavenius. 30.10.1919.
[56] АВПРФ. Ф. 085. Оп. 2. Д. 42. № 847. Литвинов в ДКК. 30 и 31 мая 1919 г.
[57] Там же. Литвинов – Мартини. ДКК в Москве. 7 июня 1919 г.
[58] DRK Moskva-kontoren. Martinys fortrolige rapport til UM. 21.8.1919.
[59] АВП РФ. Ф. 085. Оп. 2. Д. 42. № 847. Копия телеграммы НКИД в Совет Обороны в Минск от 18 июля 1919 г.: "Сталин запрашивал о причине задержания".
[60] UM, Gap. 10. "Bolsjevikkernes indtrængen i Gesandskabet". UM til Harald Scavenius 30.10.1919.
[61] FO, 211/508 Kilmarnock til FO. 13.8.1919.
[62] DRK. Moskva-kontoret. Korrespondance med forskellige regeringer. 1919–1920. "Belgien". Rapport 3.9.1919.
[63] ДВП СССР. Т. II. № 134. С. 205–206.
[64] UM, 6 U 268. Martiny til UM. 23.7.1920; 6 U 59 A Specifikation over undførte pengebeløb 21.8.1919. Justitministeriet til UM. 13.1.1920; 2.3.1921.
[65] Ibid. 6 U 59 A. Alfred Schønebeck til DRK's Centralbureau 16.9.1920 (kopi).
[66] Ibid. 6 U 138. DRK til UM 25.7.1921.
[67] См. *Енсен Б.* Миссия Датского Красного Креста в России. 1918–1919 гг. // Отечественная история. 1997. № 1.
[68] FO, 211/508. Kilmarnock to FO 13.8.1919.
[69] Hufvudstadsbladet, 1918. Den. 3. Oktob. (см. тезисы статьи из "Renaissance" от 20.9.1919).
[70] Folkets Dagblad Politiken, 1919. den 11. Oktob.
[71] Hufvudstadsbladet, 1919. den 2–8. Oktob.; Um. 6 U 249 Gesandtskabet i Helsingfors til UM. 3.10.1919.
[72] UM. 6 U 59 A. UMP' referat 11.10.1919, sign. Gerfalk og med påtern. "Sønnichsen".
[73] FO, 211/508, Kilmarnock til FO 15.10.1919.
[74] UM, 6. U 59 A. IRKK til Høffding 13.9.1919 (kopi); Høffding til den Jnternationale Røde Kors Komite (Комитет МКК). 29.9.1919. Названные делегаты РКК были убиты в Польше, когда они уже возвращались в Россию. См.: *Carr E.H.* Op. cit. Bd. 3. P. 121–122.
[75] UM, 6. U 59 A. Notat af 15.10.1919; udat. brev. fra. Kaptajn C.V. Nyholm til UM.
[76] FO. 211/508. Curson til Kilmarnock 14.10.191; Kilmarnock til FO 15.10.1919.
[77] UM, 6 U 59 A. Notat 15.10.1919.
[78] FO, 211/508. Erik Scavenius til Kilmarnock. 25.10.1919.
[79] UM. 6 U 59 A. Erklæring om DRK i Rusland, sign. E. Sønnichsen.
[80] Ibid. Martiny til UM. 23.10.1919.
[81] Hoover Institution Judenitj Archiv. File 59. Письмо датировано 14 февраля 1919 г.
[82] UM, 6 U 59 A. Philipsens rapport 20.5.1919; Philipsens arkiv. Philipsens private redegørelse for forhandlingerne.
[83] Ibid. 224 A. Philipsen til UM. 16.6.1919. Приложение содержит отчет Сальтофта и телеграммы советского правительства в адрес ДКК от 8 июня 1919 г.
[84] ДВП СССР. Т. II. № 125. С. 191; DRK Moskva-kontoret, Korrespondance med forskellige regeringer 1919–1920. Martiny til UM. 21.8.1919.
[85] UM. 6 U 59 A. Philipsen til UM. 17.6.1919.
[86] Ibid. 224 A. DRK til UM. 16.6.1919; UM 30.7.1919. 6 U 59 A. Philipsen til UM 17.6.1919.
[87] Ibid. 59 A. DRK til UM. 25.9.1919.
[88] *Jensen B.* Op. cit. S. 280.
[89] UM. 3 L 40 A. DRK's Centralbureau til UM 28.2.1920. UM til DRK 3.3.1920.
[90] *Jensen B.* Købmænd og kommissærer. København. 1979. S. 113.

VI. МИЛИТАРИЗМ, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И РАЗВЕДКА

ГОНКА МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЙ КАК ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Д.В. Лихарев

Важнейшим аспектом милитаризации европейского общества, а также США и Японии накануне первой мировой войны стала гонка морских вооружений и сопутствовавшая ей идеология маринизма. Многие историки справедливо называют конец XIX–начало XX в. "эпохой нового маринизма". Действительно, это был период зарождения и господства теорий морской мощи американца А.Т. Мэхэна и англичанина Ф. Коломба, влияние которых вышло далеко за рамки адмиралтейств и морских штабов. В те времена власти Лондона и Вашингтона, Берлина и Петербурга, Рима и Токио, Парижа и Вены непоколебимо верили, что без большого военного флота нет благополучия и процветания нации, нет эффективной внешней политики, нет статуса великой державы. В калькуляциях мирового баланса сил военные флоты занимали самое почетное место, а количество дредноутов у потенциальных противников и их тактико-технические данные подсчитывались в "прекрасную эпоху" не менее тщательно, чем ядерные боеголовки во время "холодной войны". "Эпоха нового маринизма" породила не только своих теоретиков, но и "практиков", воплощавших их теории в жизнь, готовивших на протяжении почти двух десятилетий армады своих империй к схватке за мировое господство, – Джона Фишера в Англии и Альфреда фон Тирпица в Германии. Уникальная ситуация дала в руки этих адмиралов-политиков немалую власть. Пожалуй, ни один из флотоводцев в истории, ни до, ни после этих двух, не имел подобных возможностей так влиять на политику своего государства.

Данный феномен нуждается во всестороннем анализе по нескольким причинам. Гонка морских вооружений, в которых состязались Англия и Германия в начале XX в., превратилась в один из главных узлов противоречий, который наряду с франко-германскими и русско-германскими противоречиями привел в конечном итоге к глобальному конфликту. Военно-морские противоречия между Великобританией, США и Японией наложили отпечаток на всю систему международных отношений первого послевоенного десятилетия. Морская мощь не создается в один день, она требует многолетних усилий, выработки

© Д.В. Лихарев

долговременных судостроительных программ и регулярного целенаправленного финансирования. В ходе этого процесса в наиболее концентрированном виде и проявились основные признаки милитаризации общества. И, наконец, имеется еще одно обстоятельство, обусловливающее актуальность обращения к данной проблеме. В отличие от государств континентальной Европы с их давними милитаристскими традициями, морские вооружения и идеология маринизма сыграли уникальную роль в милитаризации общества англосаксонских держав в условиях развитых демократических и парламентских традиций и отсутствия всеобщей воинской повинности.

В середине 90-х годов XIX в. военно-морское ведомство Великобритании располагало уже мощной пропагандистской машиной для воздействия на общественное мнение и законодательную власть. И ее усилия дали свои плоды. На протяжении 80–90-х годов одна за другой принимались дорогостоящие морские программы, предусматривавшие строительство целых серий мощных однотипных броненосцев. Именно в этот период была сформулирована доктрина "двухдержавного стандарта", гласившая, что Англия должна иметь флот сильнее, чем объединенные флоты двух других крупнейших морских держав (в те времена России и Франции), и надолго определившая морскую политику Великобритании[1].

26 июня 1897 г. англичане пышно праздновали бриллиантовый юбилей царствования королевы Виктории. По этому случаю на рейд Спитхэда прибыло 165 военных кораблей. В их числе были 21 эскадренный броненосец 1-го класса и 25 броненосных крейсеров[2]. Эскадры, вытянувшиеся в кильватерные колонны на десятки километров, являли взору внушительное зрелище. «Наш флот, – с гордостью вещала "Таймс", – без сомнения, представляет собой самую неодолимую силу, какая когда-либо создавалась, и любая комбинация флотов других держав не сможет с ней тягаться. Одновременно он является наиболее мощным и универсальным орудием, какое когда-либо видел мир"[3].

Эта могучая сила в свою очередь покоилась на самой разветвленной морской торговле и самой стабильной финансовой системе, поскольку Великобритания продолжала оставаться богатейшей страной в мире. Будучи обширной колониальной империей, Англия контролировала важнейшие стратегические пункты и имела военно-морские базы по всему свету. "Пять стратегических ключей, на которые замыкается земной шар, – чеканил адмирал Фишер, – Дувр, Гибралтар, мыс Доброй Надежды, Александрия и Сингапур – все в английских руках"[4]!

Однако благодушие и успокоенность 60–70-х годов больше уже не возвращалось в британское Адмиралтейство. Хотя гонка морских вооружений только набирала обороты, Англии уже приходилось из года в год пребывать в постоянном напряжении и прилагать титанические усилия для удержания "трезубца Нептуна" в своих руках. Тем временем на верфях Японии, Германии и США лихорадочно сооружались могучие эскадры, которые через несколько лет будут брошены на чашу весов мирового равновесия, и никто не мог наверняка

утверждать, в чью пользу она склонится. Именно эти три державы в ближайшие три десятилетия готовились бросить вызов "владычице морей".

Развитие монополистического капитализма в Германии привело к решительному отходу германского правительства от позиции Бисмарка по колониальному вопросу, который в последние годы жизни говорил, что дружба с Англией для него дороже всей Африки. В "либеральную эру" Вильгельма к государственному рулю Германии приходят новые люди. "Император Вильгельм II, еще будучи кронпринцем, чертил схемы кораблей и, не имея прямого отношения к Адмиралтейству, завел себе специального судостроителя, который помогал ему в любимом занятии"[5]. Примерно с 1894 г. колониальные захваты стали одной из главных целей внешней политики Германии. Вступив на пост имперского канцлера, Б. Бюлов продолжил этот курс. Однако заморская экспансия была чревата для Германии, расположенной в центре Европы и имевшей "наследственного врага" в лице Франции, многими опасностями. Колониальные приобретения Германии имели в то время скромные размеры, но даже если бы немцам удалось добиться их существенного расширения, владение ими в конечном счете зависело от доброй или злой воли британского соперника, который господствовал на морях. И дело было не только в колониях. Английский флот в любой момент мог блокировать германское побережье, отрезав все пути для внешней торговли, что парализовало бы германскую промышленность, нуждающуюся в импортном сырье и рынках сбыта. Новый курс неотвратимо толкал Германию к конфликту с крупнейшей морской державой, а значит и к новой стратегии в области морских вооружений.

Среди инициаторов противоборства с Англией выделялся адмирал Альфред фон Тирпиц, к концу 80-х годов уже хорошо известный не только в правительственных кругах и на флоте, но и среди крупных промышленников – сторонников колониальной экспансии. Концепции Тирпица, бессменно занимавшего пост морского министра с 1897 по 1916 г., оказали глубокое воздействие на весь курс внешней политики кайзеровского рейха начала XX в.

Руководитель морской политики всегда должен был считаться с необходимостью для Германии содержать огромную сухопутную армию. Он прекрасно понимал, что его страна не сможет ассигновать на военный флот такие же средства, как Великобритания, имевшая лишь небольшую профессиональную армию и являвшаяся самой мощной в мире державой в финансовом отношении. Исходя из этих обстоятельств, Тирпиц разработал свою знаменитую "теорию риска". Немецкий адмирал полагал, что если Германии удастся создать мощное сбалансированное соединение эскадренных броненосцев в Северном море, они составят серьезную угрозу Англии, особенно в условиях разбросанности соединений британского флота по отдаленным морским театрам. И тогда Великобритания не рискнет начать войну против Германии, поскольку даже в случае победы ее морская мощь окажется настолько подорванной, что ситуацией поспешит воспользоваться

какая-либо третья держава. С другой стороны, обладание первоклассным военным флотом должно было, по мнению Тирпица, превратить Германию в ценного союзника для всякого, кто рискнет поколебать могущество "владычицы морей".

Созидание морской мощи потребовало от Тирпица разносторонней деятельности и прежде всего моральной подготовки нации к строительству "большого флота". По его инициативе к участию в популяризации флота привлекались издатели и журналисты. Появился военно-морской журнал; школьники за сочинения на военно-морские темы получали награды; премировались художники и писатели, посвятившие свое творчество военно-морскому делу. Количество членов Военно-морской лиги Германии к 1901 г. достигло 600 тыс. человек, превзойдя численность аналогичной английской организации в 40 раз. А пока шла кропотливая подготовка общественного мнения, казенные верфи из "простых жестяных мастерских" превращались в отлично оборудованные крупные предприятия, обучались рабочие, велись исследования по непотопляемости и бронированию кораблей, по совершенствованию морской артиллерии.

К концу 90-х годов Англия обладала 38 эскадренными броненосцами 1-го класса и 34 броненосными крейсерами, а Германия соответственно только семью и двумя. Однако всего через год после вступления Тирпица на должность морского министра была принята первая из так называемых "новелл" – законов о строительстве флота. Предусматривалось, что всего через 5 лет Германия будет иметь 19 эскадренных броненосцев и 10 броненосных крейсеров, не считая кораблей других классов. Но и после выполнения программы 1898 г. будущему германскому флоту едва ли хватило бы сил бороться с Англией. Поэтому спустя всего два года последовал второй закон, продливший программу до 1920 г., когда основу германской морской мощи должны были составить уже 38 эскадренных броненосцев и 20 броненосных крейсеров[6].

Первыми кораблями, строившимися во исполнение "новелл" Тирпица, стали 5 броненосцев типа "Виттельсбах". Едва первый корабль из этой пятерки покинул стапель в Вильгельмсгафене, как последовала закладка 5 броненосцев типа "Брауншвейг". Германские конструкторы проявили изрядную долю консерватизма, проектируя свои броненосцы: каждая серия являлась логическим продолжением предыдущей. Ничего похожего на французский "флот образцов" или британские метания от мощных "Маджестиков" к слабозащищенным "Канопусам". Еще на тысячу тонн тяжелее, на пол-узла быстрее, на дюйм больше калибр... И если о конструктивных достоинствах немецких броненосцев можно было поспорить, то бесспорными оставались темпы, с которыми империя наращивала свои морские силы. Ни одна страна мира ни до, ни после не демонстрировала таких темпов прироста военного флота. Едва "Брауншвейги" оставили стапели и перешли к стадии достройки на плаву, как последовала закладка следующей пятерки ("Дойчланд", "Ганновер", "Поммерн", "Плезиен", "Шлезвиг-Гольштейн"). В результате всех этих усилий основу мощи германского военного флота к

1906 г. составили четыре пятерки броненосцев, близких по тактико-техническим данным и весьма похожих даже по внешнему виду. Столь однородными линейными силами не обладала ни одна держава в мире.

Однако каковы бы ни были стратегические достоинства "теории риска" Тирпица, у нее было одно весьма существенное слабое место. Адмирал и его сподвижники наивно полагали, что все эти приготовления не привлекут особого внимания. Однако могли ли колоссальные усилия Германии по созданию военного флота остаться незамеченными англичанами, и могла ли Великобритания оставаться пассивным созерцателем перед лицом растущей угрозы?

Поначалу германские морские программы 1898 и 1900 гг. не вызвали особой тревоги в британском Адмиралтействе. Однако к 1902 г. благодушия почти не осталось. Морской министр лорд Уильям Селборн и правительственный кабинет, изучив имеющуюся в их распоряжении информацию, пришли к выводу, что германские морские программы, не в пример русским и французским, выполняются быстро и пунктуально, и нацелены скорее всего против Англии[7]. В течение последующих двух лет тревога в Англии по поводу растущей германской морской мощи продолжала увеличиваться. Произносились многочисленные речи, писались статьи и памфлеты, предупреждавшие о грядущем "германском вызове". Известный военно-морской обозреватель Арчибальд Хэрд, ставший позднее редактором авторитетного "Брассей'з Нэйвал Эньюал", начал с этого времени специализироваться на "германском вопросе", не уставая напоминать своим читателям, что "Германия обещает стать самым серьезным нашим соперником на морях"[8].

21 октября 1904 г. адмирал Дж.А. Фишер вошел в британское Адмиралтейство в качестве руководителя морской политики Империи и именно им были предприняты первые шаги, направленные на то, чтобы встретить германскую угрозу во всеоружии. Одной из первых реформ, осуществленных Фишером на посту первого морского лорда, стала концентрация основных сил британского флота в водах метрополии. До этого на протяжении многих лет новейшие броненосцы английского флота были сосредоточены в Средиземном море. Теперь их число на этом театре сократилось с 12 до 8. К 1905 г. все пять современных броненосцев, составлявших главную ударную силу английской эскадры в водах Китая, были отозваны в Англию и из них сформировано отдельное соединение[9]. Количество эскадренных миноносцев и броненосных крейсеров, базировавшихся в гаванях метрополии, изменилось следующим образом: 1902 г. – 19; 1903 г. – 20; 1907 г. – 64[10]. Таким образом, к 1907 г. $^3/_4$ от общего числа всех тяжелых кораблей Великобритании были сосредоточены именно против Германии.

Военно-морское ведомство Англии умело использовало растущие антигерманские настроения. Один из влиятельных политиков эдвардианской Англии, виконт Реджинальд Эшер, неизменно покровительствовавший Фишеру, настоятельно рекомендовал последнему использовать нагнетаемые страхи перед возможным германским вторжением в борьбе за увеличение военно-морского бюджета: "Страх перед вторжением – это Божья мельница, которая намелет вам целый флот

дредноутов и поддержит в английском народе дух воинственности"[11]. По давней многолетней традиции британский военный флот справедливо рассматривался как "великий Немой". Еще недавно журналист уходил совершенно счастливым, если после двухчасового сидения в коридорах Адмиралтейства ему удавалось взять интервью у какого-нибудь капитана 3-го ранга. В "эру Фишера" все переменилось в корне. Первый морской лорд под свою ответственность лично снабжал журналистскую братию из дружественной прессы "боеприпасами" (выражение Фишера) для поддержки своей политики. Дж.А. Спендер дал яркое описание того, как адмирал "лелеял" прессу: "Он ублажал обеими руками каждого из нас по очереди и мы воздавали сторицей такой рекламой его самого и его идей, какую никогда ни один военный моряк не получал от прессы, и наверное не получит"[12].

Реклама "идей" Фишера самым пагубным образом сказалась на англо-германских отношениях. Первый морской лорд как минимум дважды, в конце 1904 и в начале 1908 г., обращался к Эдуарду VII с предложением напасть без объявления войны с целью уничтожения на германский флот, пока его мощь не достигла критических для Британии размеров. Всякий раз это предложение отвергалось, хотя во втором случае план адмирала не показался Эдуарду VII "таким уж безумным". Несмотря на неофициальный характер этих разговоров, Фишер не считал нужным скрывать свои взгляды. Многие высокопоставленные лица в Германии, включая самого кайзера, верили в реальность его планов. Такие убеждения в официальном Берлине поддерживались английской прессой, в которой время от времени появлялись статьи, изобиловавшие намеками и полунамеками на воинственные намерения первого морского лорда. Кем-то брошенный клич "Фишер наступает!" вызвал настоящую панику в Киле в январе 1907 г., где в течение двух дней родители не пускали детей в школу, ожидая с минуты на минуту появления на горизонте английского флота[13].

Новый виток гонки морских вооружений был связан с "Дредноутом" – линейным кораблем принципиально нового типа, появление которого наряду с подводной лодкой, ознаменовало "вторую революцию" в развитии военно-морского искусства. Сама идея создания линейного корабля, вооруженного как можно большим количеством тяжелых орудий единого калибра, впервые была высказана итальянским военным инженером Витторио Куниберти. Его статья "Идеальный линейный корабль для британского флота" появилась в 1903 г. в военно-морском ежегоднике Ф. Т. Джейна[14]. События русско-японской войны полностью подтвердили правильность идей итальянца, но первыми воплотили их в жизнь именно англичане. "Дредноут" был построен в беспрецедентно короткий срок. Его киль заложили 2 октября 1905 г., а 3 октября 1906 г. корабль отправился на ходовые испытания и в декабре вступил в состав флота. Обычно в те времена на строительство линейного корабля затрачивалось не менее трех лет.

Применение многочисленных технических новинок позволило англичанам в водоизмещение 17 900 т "втиснуть" силовую установку мощ-

ностью 23 000 л.с., сообщавшую кораблю скорость 21 узел, и разместить на нем десять 305 мм орудий в 5 башнях![15] Если учесть, что эскадренные броненосцы предшествующих типов при водоизмещении 13–16 тыс. т несли только четыре 305 мм орудия и развивали скорость 18 узлов, то ясно, что на "Дредноуте" при незначительном увеличении водоизмещения было достигнуто увеличение артиллерийской мощи в 2,5 раза. "Дредноут" был оснащен принципиально новой системой централизованного управления артиллерийским огнем. Он стал также первым крупным кораблем, на котором в качестве главной силовой установки была использована паровая турбина. Преимущество в скорости позволяло "Дредноуту" занимать выгодную для него артиллерийскую позицию и навязывать свою инициативу в сражении.

Появление линейных кораблей дредноутного типа повлекло за собой массу проблем технического и военно-стратегического характера. Дредноуты свели к нулю не только значение прежних эскадренных броненосцев, но и броненосных крейсеров. Необходимость разработки новых крейсеров, которые бы соответствовали линейным кораблям дредноутного типа, была осознана с самого начала. Это привело к появлению нового класса тяжелых кораблей – линейных крейсеров.

После того как появился первый дредноут, в Европе в течение 12 месяцев не было заложено ни одного линейного корабля, так как его внезапное появление опрокинуло все планы иностранных адмиралтейств и обесценило все броненосцы додредноутного типа. Фишер ликовал: "Тирпиц подготовил секретную бумагу, в которой говорится, что английский флот в 4 раза сильнее германского! И мы собираемся поддерживать британский флот на этом уровне. У нас 10 дредноутов, готовых и строящихся, и ни одного германского не заложено до марта"![16] Однако радость первого морского лорда была преждевременной. Не успели еще отчаянно торопившиеся англичане достроить "Дредноут", как в июне 1906 г. на верфи в Вильгельмсгафене был заложен "Нассау" – головной корабль первой серии германских дредноутов. Сообразно новой ситуации в закон о морском строительстве 1900 г. вносились поправки. Впредь все новые линейные корабли будут только дредноутного типа. Под термином "большие крейсеры", фигурировавшем в программе 1900 г., отныне следовало понимать линейные крейсеры. Это означало, что выполнение программы к 1920 г. даст Германии вместо 33 эскадренных броненосцев и 20 броненосных крейсеров, как предусматривалось ранее, 58 дредноутов и линейных крейсеров[17].

Как только все эти факты стали известны в Англии, в стране разразился политический кризис, получивший название "морской паники" 1909 г. До появления "Дредноута" Англия обладала подавляющим превосходством своего линейного флота. Теперь гонка морских вооружений начиналась с новой точки отсчета, в результате чего Германия получила дополнительные преимущества. Ведь средние темпы строительства линейного корабля на германских верфях были такими же, как на английских. Теперь отставание германского флота станет исчисляться не на десятилетия, как до 1905 г., а в лучшем

случае на годы. Получалось так, будто Англия добровольно пожертвовала своим господством на морях. Таким образом, кризис ударил и по создателю "Дредноута". 25 января 1910 г. Фишер, получив пэрство и титул барона, вынужден был уйти в отставку.

Самые мощные британские дредноуты первой мировой войны, вооруженные 381 мм (15-дюймовыми) орудиями, были созданы уже при У. Черчилле, занявшем пост морского министра в октябре 1911 г. "Я немедленно решил пойти на порядок выше, – вспоминал впоследствии Черчилль. – Во время регаты я намекнул на это лорду Фишеру и он с жаром принялся доказывать: "Не менее чем 15 дюймов для линкоров и линейных крейсеров новой серии"[18]. Так родилась идея создания знаменитого "быстроходного дивизиона" линейных кораблей типа "Куин Элизабет", закладка которых предусматривалась программой 1913 г. Эти корабли имели выдающиеся по тем временам тактико-технические данные. При водоизмещении 27 500 т и основательном бронировании они имели необычайно высокую для таких больших кораблей скорость хода – 25 узлов. Их главная артиллерия состояла из восьми 381 мм орудий, размещенных в четырех двухорудийных башнях[19]. Ни один дредноут того времени не имел такого мощного вооружения. Их орудия были способны поражать цель своими 800 кг снарядами на расстоянии до 30 км.

Эти линкоры успешно прошли две мировые войны, прослужив в составе британского флота более 30 лет. От Черчилля потребовались незаурядные смелость и настойчивость, чтобы убедить правительство в необходимости такой дорогостоящей программы. Морской министр взял на себя ответственность отдать распоряжение о закладке корпусов линкоров до того, как новое 381 мм орудие прошло необходимые испытания. Если бы они оказались неудачными, вся дорогостоящая программа потерпела бы полный провал. По словам самого Черчилля, он "обливался кровавым потом" при одной мысли об этом. Однако риск оправдал себя. Благодаря смелости Черчилля эти корабли начали вступать в строй уже в 1915 г. А участие "быстроходного дивизиона" в Ютландском сражении существенно повлияло на его исход[20].

В отличие от Черчилля, его немецкий коллега Тирпиц решил не рисковать, и строительство аналогичных германских дредноутов началось только после тщательного испытания 381 мм орудий. Германский "Байерн" получился на 2 350 т тяжелее и имел бортовую броню на несколько дюймов толще. Если бы "Байерны" появились в Ютландском сражении, они, по выражению американского военно-морского теоретика Ф. Персиваля, "просто стерли бы эскадру Битти с лица земли"[21]. Но из-за нерасторопности германского статс-секретаря по морским делам они вошли в состав флота только к 1917 г.

Первую мировую войну флоты Англии и Германии начали при следующем соотношении сил: по эскадренным броненосцам додредноутного типа Великобритания обладала подавляющим превосходством – примерно 2,2:1 (55 против 25). В отношении дредноутов и линейных крейсеров картина выглядела несколько иной. Англичане располагали 25 дредноутами и 10 линейными крейсерами; немцы соответственно – 17 и 6. Таким образом, соотношение сил по новейшим тяжелым кораблям составляло 3:2. К середине 1916 г., когда наступил момент решающей пробы сил линейных флотов, ситуация стала более благоприятной для Великобритании: 39 английских дредноутов и линейных крейсеров против 23 германских (5:3).

На протяжении всей войны Великобритания сохраняла подавляющее превосходство по легким боевым кораблям. Хотя в начале войны даже 114 легких крейсеров оказалось не вполне достаточно для обеспечения всех морских коммуникаций. На завершающем этапе войны ощущалась острая нехватка эсминцев и эскортных кораблей, столь необходимых для сопровождения конвоев и борьбы с германскими подводными лодками.

В предвоенные годы в кают-компаниях германских дредноутов морские офицеры частенько поднимали тост за "Дер Таг" – за "Тот День", когда в решающем сражении сойдутся флоты Германии и Великобритании. "Дер Таг" наступил 31 мая 1916 г., когда армады двух империй наконец рискнули помериться силами. Ютландскому бою, ставшему одним из величайших морских сражений в истории человечества, посвящены десятки специальных исследований, и эта тема до сих пор не исчерпана. Обе стороны располагали колоссальными средствами. Под командованием английских адмиралов Дж.Р. Джеллико и Д. Битти в общей сложности насчитывалось 28 дредноутов, 9 линейных крейсеров, 8 броненосных крейсеров, 26 легких крейсеров, 78 лидеров и эсминцев, 1 минный заградитель и 1 гидроавиатранспорт. Всего 151 боевая единица. Германский флотоводец Р. Шеер располагал 16 дредноутами, 5 линейными крейсерами, 6 броненосцами додредноутного типа, 11 легкими крейсерами и 61 эсминцем (99 единиц)[22].

Сражение началось во второй половине дня и продолжалось до наступления темноты. Джеллико не решился на ночной бой, к которому германский флот был гораздо лучше подготовлен, и прервал контакт, намереваясь с рассветом продолжить сражение между главными силами. Однако корабли Шеера в полной темноте оторвались от противника и ушли на свои базы.

Победа "по очкам" осталась за германским флотом. Немцы потопили в 3 раза больше новейших кораблей и перебили в 3 раза больше английских моряков, чем потеряли сами. Обе стороны были склонны преувеличивать потери противника и извлечь из результатов политические дивиденды, едва только военные флоты возвратились на свои стоянки. Первое официальное сообщение британского правительства носило весьма сдержанный характер, а перечень тяжелых потерь в людях и кораблях поверг в уныние общественное мнение и вызвал раздражение военных моряков, считавших, что они сделали все от них зависящее.

В Германии, напротив, громогласно объявили о крупной победе на морях и постарались получить при этом максимальный пропагандистский эффект. Но военно-морское ведомство и пропаганда кайзеровского рейха могли сколько угодно играть цифрами, положение дел от этого не менялось. Корабли Шеера вышли в море в надежде

встретить часть британского флота и уничтожить ее, но не смогли выполнить поставленной задачи. При встрече с Гранд Флитом они вынуждены были поспешно возвратиться назад, едва избежав разгрома. Поле сражения осталось за Джеллико. Морская блокада Германии продолжалась и была такой же непроницаемой, как и прежде. Германский флот в лице его командования до конца войны так и не осмелился помериться силами во второй раз со своим грозным противником. "Выиграв" Ютландский бой, германский флот лишился инициативы на морях.

21 ноября 1918 г. германские адмиралы вывели главные силы флота в открытое море, но лишь для того, чтобы сдать свои корабли англичанам. В полдень того же дня девять дредноутов, пять линейных крейсеров, семь легких крейсеров и 49 эсминцев – цвет германского флота – бросили якорь на рейде Инкейт в Скапа-Флоу, который стал местом их пленения. В декабре к ним присоединились дредноут "Кениг" и легкий крейсер "Дрезден"[23]. Семь месяцев, пока в Париже союзники решали проблемы послевоенного переустройства Европы, немецкие моряки безвыходно провели на своих кораблях. Им было запрещено сходить на берег и даже посещать другие корабли.

Утром 21 июня 1919 г., в день подписания Версальского мирного договора с Германией, германские экипажи решили, воспользовавшись отсутствием охранявшей их английской эскадры, затопить свои корабли, чтобы они не достались союзникам. Через несколько часов все было кончено. 400 тыс. т металла и механизмов стоимостью 70 млн ф.ст. были похоронены на дне самой глубоководной базы в мире и вместе с ними все германские амбиции и претензии на "мировую политику". Таков был финальный акт драматической борьбы Германии за господство на море, длившейся четыре с половиной года и двадцать лет подготовки к ней.

Но проблемы англичан с капитуляцией их главного противника на морях не закончились. Рост военного флота США в начале XX в. был даже более впечатляющим, чем прогресс германской морской мощи. В 1890 г. в составе американских военно-морских сил еще не было ни одного океанского эскадренного броненосца. Спустя 15 лет США уже располагали 24 такими кораблями, как в составе флота, так и строящимися, т.е. больше чем имелось у Германии. К 1907 г. суммарный тоннаж военного флота США впервые превысил этот показатель в германском флоте и "Джейн'з Файтинг Шипс" тоже в первый раз безоговорочно отвел ему второе место в мире[24].

Автор далек от намерения утверждать вслед за некоторыми американскими историками, будто морская стратегия США конца XIX–начала XX в., в отличие от "теории риска" фон Тирпица, не была столь амбициозной и не имела столь явно выраженной антианглийской направленности. Характер американского "вызова" был практически идентичен германскому. Начнем с того, что для Тирпица и всех германских ультрамаринистов настольными книгами были труды А.Т. Мэхэна, и именно его идеи лежали в основе американской морской политики на рубеже XIX–XX вв.

Морская же стратегия США, так же, как и Германии, поначалу была нацелена на ликвидацию английского превосходства. Подобно немцам, американцы стремились принудить Великобританию к компромиссам, создав такой флот, столкновение с которым могло бы стать для англичан слишком рискованным. Стратегическим идеям Мэхэна и Тирпица было свойственно поразительное сходство. В начале XX в. американцы также считали, что им нет нужды создавать флот, "такой же большой, как английский". Великобритания, считал Мэхэн, имевшая слишком "обширные мировые обязанности", в случае военного конфликта все равно была бы не в состоянии сосредоточить против США все силы своего огромного флота. По подсчетам Мэхэна, для успешной морской войны против побережья США англичанам пришлось бы держать в Западном полушарии не менее 30 линейных кораблей. "Но как долго, – вопрошал американский адмирал, – сможет Англия обходиться без этого количества, не утратив своих позиций в Европе?"[25] В Америке понимали, что угроза со стороны Англии ослабевала, ее место занимала другая – со стороны Германии и Японии.

В ходе первой мировой войны блокада Англии странами Тройственного союза задела интересы американского капитала, стремившегося к получению самых больших выгод путем торговли со всеми воюющими странами. Таким образом, идея создания "флота, не уступающего никакому другому", впервые возникшая вследствие англо-американского соперничества по вопросу о "свободе морей", обрела новую направленность – антигерманскую. К 1916 г. США, убедившись в невозможности смягчения блокады Англии, приступают к выполнению новой морской программы, рассчитанной на трехлетний срок. Этот проект, вотированный Конгрессом в июне 1916 г., предусматривал строительство 10 линейных кораблей, 6 линейных крейсеров, 10 легких крейсеров, 50 эсминцев, 67 подводных лодок и 14 вспомогательных судов. Всего 156 боевых единиц, из которых 16 – крупнейшие линейные корабли[26]. В Америке не скрывали, что эта программа носит одновременно проанглийский и антигерманский характер.

Когда в апреле 1917 г. США вступили в войну на стороне Антанты, строительство тяжелых кораблей было приостановлено. К тому времени уже "не германский линкор, а германская подводная лодка предоставляла главную угрозу победе союзников"[27]. Все силы американской судостроительной промышленности были брошены на сооружение эсминцев, тральщиков и эскортных кораблей, которые оказались необходимы в первую очередь для борьбы с немецкими подводными лодками и сопровождения союзных конвоев. Роль американских тяжелых кораблей оказалась совсем иной. "Американская эскадра линейных кораблей, – писал американский исследователь Дэвис, – направленная в Северное море, явилась скорее символом сотрудничества на морях, нежели защитой от очередной вылазки германского флота"[28].

Однако по окончании войны выполнение программы 1916 г. было возобновлено в полном объеме. В случае ее завершения к 1921 г. в составе флота США насчитывалось бы 35 линкоров и линейных

крейсеров новейших конструкций со сроком службы не более 10 лет. Они имели бы качественное превосходство над 42 английскими дредноутами, из которых 13 уже полностью устарели, а подавляющее большинство было построено без учета опыта Ютландского сражения[29]. Этот "аргумент" Вудро Вильсон (среди других) намеревался использовать на предстоящей Парижской конференции, чтобы принудить Англию принять его проект Лиги наций и "Четырнадцать пунктов" в качестве основы послевоенного переустройства Европы.

Дополнительным "раздражителем" для военно-морского департамента США стали усилия Японии по наращиванию своей морской мощи. После победы в русско-японской войне 1904–1905 гг. Страна Восходящего солнца превратилась в сильнейшую морскую державу в западной части Тихого океана. В 1913 г. для японского флота начали строиться четыре линейных крейсера типа "Конго" ("Конго", "Харуна", "Хией", "Кирисима"), вооруженные восемью 356 мм орудиями каждый и по своим тактико-техническим данным превосходившие аналогичные английские корабли типа "Лайон". В 1916–1918 гг. к ним присоединилась четверка супердредноутов типа "Ямасиро" ("Фусо", "Ямасиро", "Исе", "Хиуга"), каждый из которых был вооружен двенадцатью 356 мм орудиями. Японские линкоры "Нагато" и "Мутоу" (1920 г.) стали первыми в мире дредноутами, вооруженными 406 мм орудиями.

В 1920/21 финансовом году Япония приступила к выполнению новой морской программы (знаменитая программа 8:8). Английский военно-морской атташе в Токио контр-адмирал Р. Лей докладывал, что завершение этой программы в 1927–1928 гг. даст японскому флоту 8 новых линкоров, 8 линейных крейсеров, 22 легких крейсера, 77 эсминцев и 80 подводных лодок[30]. Японские тяжелые корабли, предусмотренные программой 1920 г. – линкоры типа "Тоса" (водоизмещение – 39 000 т, 10 – 406 мм орудий) и линейные крейсеры типа "Акаги" (водоизмещение – 43 000 т, 8 – 406 мм орудий) – ни в чем не уступали сильнейшим линкорам, строившимся в США.

Таким образом, победа над Германией не сделала английское господство на морях безраздельным. Разгром германского флота в первой мировой войне создал новый баланс сил и новую формулу распределения морской мощи в мире. Впервые в своей истории Великобритания столкнулась с соперниками, флоты которых были сосредоточены за пределами европейских вод. На протяжении трех предшествующих столетий Англии для сохранения позиций ведущей морской державы было достаточно концентрировать свои флоты в европейских водах, последовательно побеждая всех своих соперников в борьбе за господство на море – Испанию, Голландию, Францию и, наконец, Германию. Теперь державы, бросившие ей вызов, были отделены от "владычицы морей" тысячами миль океанских просторов.

Геополитическое и стратегическое положение новых потенциальных противников ставило перед англичанами задачи совершенно другого масштаба и характера. В первые послевоенные годы в британском Адмиралтействе шла интенсивная работа над выработкой

новых направлений морской политики, над тем, что противопоставить "вызову" океанских держав. Со времени появления "Дредноута" изменились не только стратегические условия, но и сами морские вооружения. За какие-нибудь 10 лет мощь тяжелых артиллерийских кораблей возросла неизмеримо. Соотвстственно увеличились и денежные затраты. Если стоимость "Дредноута" составила 1 700 000 ф.ст., то строительство и полная экипировка крупнейшего английского линейного крейсера "Худ", заложенного в 1916 г., стоили 12 000 000 ф.ст.[31]

Если бы гонка морских вооружений в области линейных флотов продолжалась, соревнование пошло бы по пути укрепления размеров и увеличения мощи линкоров. В 1921 г. известный английский военно-морской теоретик Джордж Тэрстон сделал сообщение в Адмиралтействе о перспективах развития военных флотов. Тэрстон указал, что если Великобритания желает сохранить свое лидерство как морская держава, она должна быть готова в ближайшие годы приступить к строительству сверхдредноутов со следующими тактико-техническими данными: водоизмещение – 57 000 т, максимальная скорость хода – 33,5 узла, длина корпуса – 280 м, ширина – 34 м, осадка – 10 м, вооружение: 8 – 460 мм (18-дюймовых) орудий[32]. Стоимость такого монстра как минимум в два раза превысила бы стоимость самого дорогого из существовавших линкоров. Такие расходы были уже явно не по силам для истощенной войной экономики Великобритании.

С другой стороны, Англия вышла из войны с самым могучим военным флотом, отлично сбалансированным и укомплектованным экипажами, имевшими огромный боевой опыт. Великобритания располагала крупнейшим в мире торговым флотом и сетью прекрасно оборудованных военно-морских баз в разных частях света. В этой ситуации крайне желательным было сохранить статус-кво и избежать изнурительной гонки морских вооружений в состязании прежде всего с Соединенными Штатами.

К 1920 г. в Адмиралтействе окончательно пришли к выводу, что Англии будет достаточно иметь паритет с США по линкорам и линейным крейсерам, чтобы сохранить свои позиции на морях незыблемыми. К январю 1921 г. был подготовлен план морской войны против Соединенных Штатов, разработанный выдающимся военно-морским теоретиком Гербертом Ричмондом. Заключение автора стратегической разработки гласило: "Таким образом, я считаю, что соединение тяжелых кораблей, которыми мы в настоящее время располагаем, при умелом и стратегически грамотном использовании позволит не только обеспечить эффективную защиту наших позиций, но и перенести войну на территорию противника"[33]. Бывший командующий флотом в водах метрополии в 1914–1916 гг. адмирал Дж.Р. Джеллико считал, что для ведения успешной морской войны против Америки Англии будет достаточно иметь флот в размере 70% от флота США[34].

Поскольку США и тем более Япония вовсе не больше Великобритании были готовы взвалить на себя бремя расходов и риск гонки вооружений, компромисс стал возможен. Он и был достигнут на Вашингтонской конференции 1921–1922 гг., одним из главных итогов

которой стал "Договор пяти держав" по ограничению морских вооружений.

Как известно, статья IV "Договора пяти держав" зафиксировала суммарный тоннаж линейных флотов государств-участников соглашения на следующем уровне: Великобритания и США – по 525 000 т., Япония – 315 000 т, Франция и Италия – по 175 000 т, что означало соотношение 5:5:3:1,75:1,75[35]. Поскольку срок службы линейного корабля определили в 20 лет, постепенная замена самых старых линкоров должна была начаться в 1931 г. и завершиться к 1941 г. Статья V ограничила предельное водоизмещение линкора 35 000 т, а предельный калибр его главной артиллерии – 406 мм[36]. Был также ограничен ряд параметров авианосцев и крейсеров.

Следует признать, что вашингтонские договоренности привели к существенному сокращению расходов на военно-морское строительство, а также к сокращению сил линейных флотов ведущих морских держав. "Договор пяти держав" определял минимальный приемлемый уровень военных флотов. Главным его итогом стала разрядка напряженности в англо-американских отношениях и смягчение ситуации в западной части Тихого океана, где военные корабли Англии и США чаще всего входили в соприкосновение.

В таком виде сделка устраивала Лондон. Хотя Англия официально признала право США на паритет в морских вооружениях, ее флот еще в течение долгого времени продолжал сохранять определенный качественный перевес над американским по линкорам и линейным крейсерам и решающее превосходство по легким боевым кораблям и морской авиации. Таким образом, Англия продолжала оставаться сильнейшей морской державой, вполне способной отстоять свои позиции. В связи с вышеизложенным вашингтонский договор по ограничению морских вооружений следует рассматривать не как поражение "владычицы морей", а скорее как ее последнюю победу в первой мировой войне.

Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. подвела определенную черту в борьбе за господство на море в первой четверти XX в. Она зафиксировала тот баланс сил на морях, который начал складываться между 1890 и 1906 гг. С превращением США и Японии в ведущие морские державы морская мощь "регионализировалась", и каждая из океанских держав обрела доминирующие позиции в прилегающих морях. На смену одному центру морской мощи пришли три.

Первая четверть XX в. занимает в военно-морской истории особое место. На протяжении этого сравнительно короткого периода Англии был брошен вызов на морях со стороны двух могущественных держав – Германии и Соединенных Штатов. Почему в первом случае столкновение вылилось в гонку вооружений, а затем – в войну, а во втором случае был найден взаимоприемлемый компромисс?

Знаменитая "теория риска" фон Тирпица стала одним из величайших стратегических просчетов XX в. С точки зрения чистой морской стратегии она носила как будто бы сугубо оборонительный характер. Так, Тирпиц считал, что в случае войны Англия сразу же начнет

плотную блокаду германского побережья, а немецкий флот, защищаясь, нанесет тяжелые потери британскому флоту в районе Гельголанда, где будет определенно иметь все преимущества. Но с политической точки зрения "теория риска" характеризовалась агрессивностью. Именно Германия, а не Великобритания, выступила в качестве державы-ревизиониста. Фактически Вильгельм II, Бюлов, Тирпиц и др. готовились не защищать существующие германские торговые пути и колониальные владения. Напротив, германский океанский флот в их руках должен был стать орудием, с помощью которого они в наступательной войне на морях собирались опрокинуть существующий порядок вещей и изменить его в пользу Германии.

Однако ответные действия Англии стали разворачиваться не так, как предполагал Тирпиц. По его прогнозам, Англия не смогла бы соревноваться в гонке морских вооружений с Германией, одновременно поддерживая господствующие позиции на других потенциальных морских театрах, и в конечном итоге должна была пойти на уступки. Великобритании действительно пришлось идти на уступки, но не перед Германией. Заключенный в 1902 г. англо-японский союз, первоначально имевший антирусскую направленность, после 1905 г. избавил англичан от необходимости держать тяжелые корабли в водах Китая. Затем Великобритания наладила отношения с Францией и Россией, в результате чего франко-русский союз трансформировался в Антанту. Итогом этой политики стало окружение Германии кольцом враждебных государств, первая мировая война и, в конечном итоге, ее разгром и уничтожение германского флота.

В основе столь бескомпромиссной реакции Англии на "германский вызов", на наш взгляд, лежали три обстоятельства. Во-первых, геостратегическое положение двух держав. Германия, расположенная в непосредственной близости от Англии, создала не просто "большой флот", а второй в мире флот, уступавший только английскому и угрожавший непосредственно морским рубежам метрополии. Более того, Германия своей военной мощью грозила опрокинуть баланс сил на Европейском континенте, что составляло дополнительную опасность для Великобритании.

Вторым обстоятельством, осложнившим достижение компромисса, было ожесточенное торговое и экономическое соперничество на европейских и колониальных рынках. Дымные громады индустриальных гигантов Германии, грохот ее портов, ее неудержимая промышленная и торговая экспансия вселяли все большую тревогу в сердца англичан. По выражению лорда Альфреда Нортклиффа, совершившего незадолго до войны путешествие по Германии, "каждая новая заводская труба – это орудийный ствол, нацеленный на Англию"[37].

В-третьих, существовало идеологическое или политико-культурное противоречие. Англия на рубеже веков являлась либеральной парламентской демократией, основанной на разделении властей, избирательном праве и свободной прессе. Противостоявший ей кайзеровский рейх представлял собой бюрократическое авторитарное государство, удивительный феномен современной индустриальной дер-

жавы, в которой политическая власть принадлежала полуфеодальной прослойке юнкеров, практически утратившей свои экономические позиции. Британская пресса предвоенных лет свидетельствует о полном неприятии англичанами германской политической системы, немецкой философии, прусского милитаризма, безвластия рейхстага и недемократического избирательного права.

В противоположность "германскому вызову" политика Англии в отношении другого ее соперника на морях – США, постепенно становилась менее жесткой. Тому было много причин. Во-первых, желание адекватно отреагировать на военно-морские амбиции США означало готовность взвалить на экономику Великобритании колоссальные расходы. Для этого потребовалось бы создание первоклассных военно-морских баз в Западном полушарии – в Карибском бассейне, например, на тихоокеанском и атлантическом побережье Канады, – и содержание в этих водах военного флота, как минимум эквивалентного американскому. Целесообразность таких затрат едва ли была оправдана. США отделены от Англии огромным водным пространством, и их военный флот в том виде, в каком он существовал в первой четверти XX в., не мог представлять непосредственной угрозы Великобритании.

С другой стороны, в данной ситуации англичанам было психологически не так трудно отказаться от принципа превосходства своего флота. США и Англия – страны, связанные общностью языка, исторических судеб. В известном смысле можно говорить о существовании с конца XIX в. "особых отношений" между двумя англосаксонскими державами. Вполне естественно, что многие англичане не считали, что от США могла исходить реальная угроза для их страны и в силу уже одного этого склонялись к паритету военных флотов с заокеанской республикой.

Морское соперничество великих держав в первой четверти XX в., помимо прочего, породило один любопытный феномен. Если проследить эволюцию линейного корабля той эпохи, то нельзя не отметить такой факт: по мере увеличения размеров, мощности турбин, толщины брони и калибра орудий линкор начал превращаться из средства ведения войны в инструмент политики. Иметь дредноуты считалось престижным, многие страны стремились к этому – примерно так, как сейчас некоторые стремятся получить ядерное и ракетное оружие.

Это произошло потому, что дредноут превратился в своеобразную визитную карточку промышленной мощи и финансовых возможностей государства. Тирпиц писал в своих мемуарах: «Чтобы продемонстрировать на практике, какое значение имело появление в заморских странах наших новейших крупных кораблей, я убедил кайзера послать летом 1913 г. два корабля типа "Кайзер" в Южную Америку. Мирная культурная миссия наших кораблей дала такие блестящие результаты, что более частые визиты нашего линейного флота в будущем становились неизбежными. Поскольку современный линейный корабль является маленькой промышленной выставкой, я имел основания ожидать, что этим путем удастся создать новые деловые связи для наших промышленных сословий»[38].

Однако попасть в "линкорный клуб" удалось далеко не всем желающим. Одновременно линейный корабль стал играть роль той "недостижимой планки", до которой имели возможность "дотянуться" лишь немногие страны. Именно в силу указанного обстоятельства, когда в 1924 г. ряд министров лейбористского кабинета выступили с предложением сократить максимальное водоизмещение линкора с 35 000 т до 25 000 т, первый морской лорд Дэвид Битти занял непреклонную позицию: "Интересы Империи требуют, чтобы предел водоизмещения не был сокращен до указаных размеров по следующим причинам: а) это ослабит противовоздушную и подводную защиту корабля; б) снижение лимита до таких низких пределов приведет к тому, что третьеразрядные морские державы смогут позволить себе строить такие корабли"[39].

Таким образом, в "эпоху нового маринизма", начало которой связано с подготовкой к первой мировой войне, военные флоты выступали, помимо всего прочего, своеобразным показателем экономических и финансовых возможностей "великих держав", их роли и места в системе международных отношений.

[1] *Ерофеев Н.А.* Английская колониальная политика и закон о флоте 1889 г. // Проблемы британской истории. 1972. М., 1973. С. 169.
[2] *Kennedy P.M.* The Rise and Fall of British Naval Mastery. L., 1976. P. 205.
[3] The Times. 1897. June 26.
[4] *Kennedy P.M.* Op. cit. P. 205–206.
[5] *Тирпиц А., фон.* Воспоминания. М., 1957. С. 85.
[6] *Kennedy P.M.* Maritime Strategiprobleme der deutsch-anglischen Flottenriwalitat // Marine und Marinepolitik im Kaiserlichen Deutschland. 1871–1914. Düsseldorf, 1972. S. 180–181.
[7] *Williamson S.R.* Politics of Grand Strategy. Britain and France Prepare for War. 1904–1914. Cambridge (Mass.), 1969. P. 17.
[8] *Hurd A.* The Kaiser's Fleet // The Nineteenth Century & After. 1902, July. Vol. LII. N 305. P. 34.
[9] Naval and Military Record. 1905. June 22.
[10] *Hurd A.* The British Fleet and the Balance of Sea Power // The Nineteenth Century & After. 1907. March. Vol. LXI. N 361. P. 384.
[11] *Esher R.* Journals and Letters of Reginald Viscount Esher / Ed. by O. Esher and V.M. Brett. Vol. 1–4. L., 1934–1938. Vol. 2. L., 1935. P. 249. Эшер – Фишеру. 1. X. 1907.
[12] *Spender J.A.* Life, Journalism and Politics. Vol. 1–2. L., 1927. Vol. 2. P. 67.
[13] *Marder A.J.* From Dreadnought to Scapa Flow. The Royal Navy in the Fisher Era. 1905–1919. Vol. 1–5. L., 1961–1970. Vol. 1. 1961. P. 113–114.
[14] *Cuniberti V.* The Ideal Battleship for the British Fleet // All the World's Fighting Ships. 1903. P. 407–409.
[15] *Vercoe G.A.* Britain's Fighting Fleets. L., 1935. P. 30.
[16] *Fisher J.A.* Fear God and Dread Nought. Correspondence of Admiral of the Fleet Lord Fisher of Kilverstone // Ed. by A.J. Marder. Vol. 1–3. L., 1952. Фишер – Эдуарду VII. 4.X.1907.
[17] *Marder A.J.* From Dreadnought... Vol. 1. P. 135–136.
[18] *Churshill W.S.* The World Crisis. 1911–1918. Vol. 1–4. L., 1923–1928. Vol. 1. 1923. P. 122.
[19] *Vercoe G.A.* Op. cit. P. 41.
[20] *Percival F.C.* Fisher and His Warships // United States Naval Institute Proceedings. 1939 August. Vol. LXV. N 438. P. 1105.
[21] *Percival F.G.* Tirpitz's Technique // United States Naval Institute Proceedings. 1939. September. Vol. LXV. N 439. P. 1252–1253.

[22] *Marder A.J.* From Dreadnought... Vol. 2. P. 437.
[23] *Лихарев Д.В.* Адмирал Дэвид Битти // Геополитика и безопасность. 1996. № 4. С. 126.
[24] *Rocks S.R.* Risk Theory Reconsidered: American Success and German Failure in the Coercion of Britain. 1890–1914 // Journal of Strategic Studies. 1988. September. Vol. XI. N 3. P. 344–345.
[25] *Mahan A.T.* Letters and Papers of Alfred Thayer Mahan / Ed. by R. Seager and D.D. Maguire. Vol. 1–3. Annapolis, 1975. Vol. 3. P. 546.
[26] Annual Report of the Navy Department for the Fiscal Year 1916. Washington, 1917. P. 7–11.
[27] *Davis G.T.* Navy Second to None., 1940. P. 235.
[28] Ibid.
[29] *Marder A.J.* From Dreadnought... Vol. 5. P. 238.
[30] Documents on British Foreign Policy. 1919–1939 / Ed. by E.L. Woodward & R. Butler. 1 Ser. Vol. 5. L., 1956. P. 1037–1038. Р. Лей – Р. Олотону. 15.III 1920.
[31] *Kerr M.* The Navy in My Time. L., 1933. P. 242.
[32] *Chaput R.A.* Disarmament in British Foreign Policy. L., 1935. P. 116.
[33] British Naval Documents. 1204–1960 / Ed. by J.B. Huttendorf. R.J.B. Knight, N.A.M. Rodger, G. Till. L., 1933. Vol. 131. P. 772.
[34] The Jellicoe Papers / Ed. by A. Temple-Patterson. Vol. 1–2. L., 1966–1968. Vol. 2. 1968. P. 299.
[35] Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и Тихоокеанским и Дальневосточным вопросам. 1921–1922. М., 1924. С. 47.
[36] Там же.
[37] *Rock S.R.* Op. cit. P. 351.
[38] *Тирпиц А., фон.* Указ. соч. С. 180.
[39] The Beatty Papers. 1902–1927. Selections from the Private and Official Correspondence of Admiral of the Fleet Earl Beatty / Ed. by B. Ranft. Vol. 1–2. L., 1989 – 1993. Vol. 2. 1993. N 148. P. 276.

КОРНИ КРИЗИСА ВООРУЖЕНИЙ РУССКОЙ АРМИИ В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

К.Ф. Шацилло

Война 1914–1918 гг. сыграла важнейшую роль в истории мировой цивилизации. Даже куда более кровопролитная вторая мировая война в Европе имела меньшие геополитические последствия, чем первая, в итоге которой рухнули четыре империи и возникло более десятка новых государств. Естественно, что самые тяжелые испытания выпали на долю проигравших стран, среди которых оказалась и царская Россия, первоначально входившая в победивший антантовский блок, но вышедшая из него в результате событий 1917 г. Попытки, предпринимающиеся ныне (в основном публицистами), представить дело так, что русская армия не проиграла войну, поскольку до 1917 г. уступила только Польшу и часть Прибалтики и, в отличие от 1941–1942 гг., не допустила немцев до коренных великорусских губерний, выглядят по меньшей мере наивными и противоречат фактам. В самом деле, и

© К.Ф. Шацилло

Польша, и вся Прибалтика входили в состав империи, и оккупация их немцами воспринималась всеми однозначно как военное поражение. Кроме того, в значительной мере именно в результате военных поражений царизма авторитет самодержавия пал настолько низко, что в феврале 1917 г. потребовалось всего несколько дней, чтобы сокрушить трехсотлетнюю монархию Романовых, что иначе, как крахом и поражением, не назовешь.

Вопрос о том, почему же Россия проиграла войну, возник сразу же после ее окончания и вызвал массу разноречивых мнений. Обвиняли и либералов с интеллигенцией, которые неразумно "раскачивали" государственный корабль вместо того, чтобы стабилизировать обстановку в стране. Обвиняли и революционеров, с нетерпением ожидавших революцию, работавших во имя ее победы и "оседлавших" ее после февраля 1917 г. Говорили, что они сознательно развалили армию "Приказом № 1", а потом расплатились за немецкие субсидии позорным Брестским миром. Но подобные "объяснения" ничего не объясняют, ибо тоже противоречат общеизвестным, но в свое время замалчивавшимся фактам: начало войны вызвало подлинный всплеск патриотизма, еще раз доказав, что все войны популярны в день их объявления. Не надо забывать, что почти вся пресса в начале войны называла ее Второй Отечественной войной, а некоторые песни, ставшие общенародными в первые дни Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., были созданы и распевались еще в августе 1914 г. Однако в конце 1916 г. и департамент полиции, и специально созданная правительственная комиссия, проверявшая состояние дел в государстве, и даже великие князья дружно предупреждали Николая II о том, что страна находится накануне социальных катаклизмов, которые могут разразиться в любой момент.

Более близким к истине было традиционное объяснение советских историков, сводившееся к напоминанию об общей социально-экономической слабости России, народное хозяйство которой не выдержало напряжения войны и начало разваливаться еще до ее окончания. Но это объяснение тоже не учитывает одного факта: ведь Россия воевала со своими противниками не одна, а входила в союзнический блок, экономические возможности которого были куда более значительны, чем у Германии, Австро-Венгрии и Турции. Нельзя объяснить военные поражения 1914–1915 гг. и недостаточной профессиональной подготовкой русской армии, которая в 1916 г. наступлением войск Юго-Западного фронта показала свою боевую мощь.

В настоящей статье нам хотелось бы привлечь внимание к кризису вооружений 1914–1915 гг., о котором начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Янушкевич сказал так: "Ведь ни одна наука не научила еще этому методу ведения войны: без патронов, без винтовок, без пушек"[1]. Правда, со временем острота кризиса вооружения была преодолена и армия получила многое из того, в чем нуждалась в 1914–1915 гг. Но еще никто из исследователей не задавался вопросом: а как мог возникнуть этот кризис в стране, которая намного опередила остальные государства по расходам на армию

в предвоенные годы? В историографии при объяснении причин этого кризиса дальше указания на общую экономическую слабость России никто не шел, не задумывался над тем, а не было ли просчетов в самой организации и строительстве вооруженных сил России накануне мировой войны и разумно ли было, будучи первыми в мире по расходам на сухопутную армию, выйти на второе место по затратам на флот, пропустив вперед только "владычицу морей" – Великобританию? Исследуем в этом плане на основе архивных документов исторические факты, чтобы проанализировать, во что обошлось самодержавию увлечение идеей маринизма.

Прежде всего отметим, что, в отличие от других крупных империалистических держав, царская Россия была единственной страной, которая в первом десятилетии XX в. вела войну с Японией, жестоко потрепавшую сухопутные силы России и оставившую ее без флота. Надо отметить и то, что и армия России, и ее флот готовились к более позднему началу мировой войны и в мирное время смогли использовать всего только около трети средств, отпущенных на развитие вооруженных сил[2].

Результаты поражения царизма на Дальнем Востоке были весьма чувствительны. Россия, по существу, лишилась военно-морских сил. Балтийский и Тихоокеанский флоты практически перестали существовать[3], а использовать Черноморский флот не представлялось возможным, так как проход военных кораблей через Проливы был запрещен согласно международным договорам. Угроза столице империи, Петербургу, еще больше возрастала из-за полного развала береговой обороны. Специальное обследование ее начальником Генерального штаба совместно с главным инспектором инженерных войск дало более чем печальные результаты. "Вся оборона берегов представляется вполне карточной и, конечно, не представляет никакой серьезной обороны... Кронштадт и Петербург де-факто совсем не защищены", – таков был краткий итог обследования[4].

В январе 1908 г. Морской генеральный штаб (МГШ) доложил морскому министру, что ранее им совместно с Главным управлением генерального штаба (ГУГШ) были разработаны на случай войны планы, которые предусматривают минимально необходимые меры, "исполнение коих теперь, в случае объявления войны, надо признать невыполнимыми, а положение Балтийского флота – критическим"[5]. В апреле того же года состоялось совместное совещание морского и сухопутного Генеральных штабов с целью определить меры по предотвращению угрозы Петербургу от неприятельского десанта. "Вся работа нашего Балтийского флота сводится, – отмечалось на этом совещании, – лишь к некоторой и притом весьма незначительной задержке наступления противника в восточной части Финского залива (путем постановки минного заграждения. – *К.Ш.*). Но при этом представителями Морского министерства заявлено, что в современном своем виде Балтийский флот совершенно не в состоянии выполнить и этой, более чем скромной задачи"[6]. Уточнялось, что нет запасов угля, на кораблях некомплект (до 65–75%) офицеров и специалистов, а главное – из необходимых

6000 мин есть всего лишь 1500. Таким образом, с моря Петербург можно было взять буквально голыми руками.

Не в лучшем состоянии была и сухопутная армия. Русско-японская война "съела" почти все мобилизационные и неприкосновенные запасы, обнаружила ряд существенных промахов в боевой подготовке и организации войск. "Наша боевая готовность на западных фронтах настолько пострадала, что вернее будет сказать, что эта готовность совершенно отсутствует", – признавался летом 1905 г. военный министр В.В. Сахаров[7]. Ему вторил и председатель Совета государственной обороны вел. кн. Николай Николаевич: русская пехота нуждается в немедленном и коренном переустройстве, "вся кавалерия требует полной реорганизации", "пулеметов у нас мало, и они далеки от совершенства", "тяжелая армейская артиллерия должна быть создана заново", "снаряжение наше несовершенно, опыт войны это доказал; безотлагательно все должно быть исправлено. Обозная часть требует полной реорганизации и создания новых оснований своего развития"[8]. Еще немало подобных признаний можно было бы привести из одного только этого доклада.

Характеризуя состояние армии, помощник военного министра генерал А.А. Поливанов, отвечавший по долгу службы за ее материальное обеспечение и поэтому хорошо изучивший этот вопрос, в 1912 г. признавал: "Армия была лишена тогда многого для нее необходимого, причем необеспеченность ее проистекала не только от расхода, неизбежного на каждой войне, но и оттого, что она находилась в состоянии отсталости по снабжению ее средствами, созданными военной техникой. Тогда, в 1908 г., не хватало почти половины комплекта обмундирования и снаряжения, потребных для выхода в поле армии военного состава, не хватало винтовок, патронов, снарядов, обозов, шанцевого инструмента, госпитальных запасов; почти совсем не было некоторых средств борьбы, на необходимость которых указывал как опыт войны, так и пример соседних государств: не было гаубиц, пулеметов, горной артиллерии, полевой, тяжелой артиллерии, искровых телеграфов, автомобилей, т.е. таких средств, которые в настоящее время признаются необходимым элементом сильной армии, скажу коротко: в 1908 г. наша армия была небоеспособной"[9].

К этому нужно добавить, что уже в 1905–1907 гг. впервые за многовековую историю России вооруженные силы стали выходить из-под контроля правительства. В условиях начавшейся в стране революции, при резком падении престижа царизма, при все более и более возраставшей экономической, прежде всего финансовой, зависимости России от развитых стран, при обострении империалистической борьбы между всеми капиталистическими государствами накануне первой мировой войны вопрос о состоянии ворженных сил становился для самодержавия поистине гамлетовским вопросом "Быть или не быть?", ибо, как понимали многие, второго Мукдена и второй Цусимы царизму уже не пережить.

К концу 1906 г. Военное министерство закончило анализ состояния армии и подсчет средств, необходимых для удовлетворения самых

неотложных ее нужд. Полученные цифры ошеломили военного министра А.Ф. Редигера. Министерству только единовременно требовалось 2 133 610 тыс. рублей золотом. На реорганизацию артиллерии нужно было истратить 896 млн рублей, на инженерное дело – 582 млн рублей. На 144 450 тыс. рублей должны были возрасти ежегодные расходы Военного министерства (из них более 42 млн рублей по Главному артиллерийскому управлению). "Размер исчисленной таким образом суммы, – с горечью был вынужден признать Редигер, – исключает всякую возможность рассчитывать на ее ассигнование, невзирая на то, что мероприятия, кои могли бы быть за счет этой громадной суммы созданы, стоят не на пути дальнейшего развития наших вооруженных сил, а лишь на пути их благоустройства и снабжения необходимым в уровень с современными требованиями военного дела". Признавая невозможность выделения государством такой суммы, министр потребовал от управлений сократить свои претензии, чтобы было "сделано выделение мероприятий, почитаемых неотложными и подлежащих осуществлению в ближайшие годы". Но и по этой программе-минимум единовременно требовалось 425 млн рублей, не считая увеличения ежегодного бюджета на 76 млн рублей[10].

Через два месяца, в марте 1907 г. Морское министерство также представило царю свои планы[11]. Николаю II предлагались на выбор, в зависимости от состояния финансовых средств, четыре варианта судостроительной программы, которыми предусматривалось создание от одной до четырех полных боевых эскадр. Для выполнения этих программ требовалось от 870 млн до 5 млрд рублей.

Таким образом, совокупные претензии обоих министерств колебались от 7 133 млн до 1 295 млн рублей единовременных расходов, т.е. приблизительно от половины до трех годовых бюджетов России 1908 г. И это без учета того, что резко должны были возрасти также ежегодные расходы по обычному бюджету[12]. Между тем финансовое положение царизма было отчаянным. Рассматривая смету на 1907 г., Совет министров откровенно признал, что "финансовое состояние Русского государства грозит самыми тяжелыми осложнениями, и в случае продолжения переживаемого нашим отечеством поистине смутного времени может не хватить средств даже на совершенно неотложные потребности"[13]. 9 апреля 1907 г. состоялось заседание Совета государственной обороны (СГО). По повелению царя оно должно было рассмотреть и, как желал того Николай II[14], утвердить минимальную программу строительного флота, с которого царь предполагал начать восстановление вооруженных сил.

Однако СГО проявил строптивость и не пожелал считаться с ясно выраженной волей царя. "Необходимейших средств для подъема боеспособности армии нельзя добиться, – жаловался начальник Главного штаба* генерал А.Е. Эверт, – а в то же время трёбуют около

* В рассматриваемый период в России, кроме Главного управления Генштаба, занимавшегося, главным образом, разработкой планов ведения войны и подчинявшегося непосредственно царю, существовал Главный штаб, подчиненный военному министру.

миллиарда на морские средства"[15]. Его поддержал и военный министр. "Подобные затраты на флот для государства непосильны, – заявил Редигер, – тем более что сухопутная армия нуждается в проведении таких мероприятий, без которых не может жить и не может считаться боеспособной"[16]. Итог выступлений подвел председатель СГО вел. кн. Николай Николаевич, заявивший, что надо создать единую программу развития вооруженных сил, в которой средства между армией и флотом распределить в соответствии с важностью их для обороны государства. Весь СГО (за исключением моряков) проголосовал за предложения своего председателя.

Однако Николай II, в свою очередь, не стал считаться с решением одного из высших государственных учреждений Российской империи, созданного специально для "объединения деятельности высшего военного и морского управления и согласования ее с деятельностью других правительственных учреждений"[17]. Он не утвердил журнал СГО[18] и в обход последнего приказал созвать специальное морское совещание, чтобы "под личным своим председательством выяснить безотлагательно ряд вопросов, решение которых дает возможность установить главные основания программы кораблестроения, вполне отвечающей задачам государственной обороны, и позволит немедленно приступить к постройке первой серии новых судов"[19]. Специально подобранный состав этого морского совещания (в него были приглашены лишь два сухопутных генерала) должен был дать ответы на 27 поставленных царем вопросов.

Моряки подошли к вопросу о развитии вооруженных сил страны с узковедомственных позиций и решительно высказались за немедленное ассигнование средств на строительство флота, предлагая и впредь "не устанавливать процентного соотношения морского бюджета к военному"[20]. По окончании работы этого совещания царь утвердил 9 июня 1907 г. программу[21], разрешив морскому министру вносить в смету ведомства в течение четырех лет по 31 млн рублей. Только через год, 21 мая 1908 г., Военное министерство, получив предварительно разрешение Совета министров, обратилось в Государственную думу с просьбой "об отпуске средств на расходы, необходимые на пополнение запасов и материальной части и на постройку для них помещения"[22]. Для расходов на эти цели в течение восьми лет (1908–1915) ведомство просило немногим более 293 млн рублей. Но и эту более чем скромную сумму Дума не утвердила полностью. Лишь на 1908 г. ассигнования не были урезаны, а на последующие годы утвердили те кредиты, которые требовали заключения контрактов на два и более года. Всего по закону от 3 июня 1908 г. Военное министерство израсходовало немногим более 92 млн рублей[23] (из них 53 млн для расходов в 1908 г.).

Таким образом, уже с первых шагов по восстановлению вооруженных сил приоритет был отдан флоту. Программу его развития не только утвердили на год раньше аналогичной программы сухопутного ведомства, но и в абсолютных цифрах она была немногим меньше (124 млн рублей предполагалось израсходовать на строительство флота

в течение четырех лет). Как будет указано ниже, соотношение новых ассигнований на флот и армию чем дальше, тем больше менялось не в пользу последней.

В чем же была причина того, что царь и его ближайшее окружение, не считаясь с мнением СГО и руководителей Военного министерства о катастрофическом состоянии армии, решили в первую очередь обзавестись сильным линейным флотом? Ответ на этот вопрос заключается в том, что с обладанием современными линейными кораблями Николай II и большинство его министров связывали не только великодержавный престиж России, но и далеко идущие планы усиления голоса России в "европейском концерте".

Начало XX в. было временем ожесточенного англо-германского морского соперничества, принявшего крайне острые формы после 1905 г., когда в Англии появился новый тип линейного корабля – дредноут. Он обладал сильной броней, имел в 2–3 раза больше, чем старые корабли, орудий главного калибра, на него впервые были поставлены новые двигатели (турбины), резко увеличивавшие скорость хода. Новый тип линейного корабля был настолько сильнее старых броненосцев, что свел их боевую ценность к нулю. Все линейные корабли стали теперь делиться на додредноуты и дредноуты, причем сила флотов определялась только числом последних[24]. Царизму показалось, что история дала ему редкую возможность извлечь выгоду из морского соперничества Англии и Германии и, создав небольшой, но дееспособный современный флот, оказаться в завидном положении третьего радующегося, к союзу с которым будут стремиться обе соперничающие страны. "Создав себе в нужный срок военный флот достаточной силы, – считал один из основателей МГШ А.П. Щеглов, – Россия сразу достигнет того, что союза с нею будут искать самые сильные державы мира, и от России самой будет зависеть использовать эти предложения для достижения тех или других политических выгод, необходимых ей для своего упрочнения... Истратить несколько сот миллионов рублей для того, чтобы создать себе в ближайшем будущем такое положение, стоит: они окупятся очень быстро многими и многими политическими последствиями"[25]. Мнение руководителей Морского министерства (оно, кроме приведенной выше цитаты, может быть подтверждено еще целым рядом подобных) полностью разделял и министр иностранных дел А.П. Извольский. "В настоящую минуту мы говорим о войне с Германией, – заявил он на одном из заседаний СГО в 1907 г., – но это не единственная комбинация; быть может, в будущем политическая обстановка изменится, и нынешние наши отношения к Германии еще более укрепятся и выльются в союз с нею. Обладая броненосцами, которые полезны и для обороны, и для наступления, мы через несколько лет, когда эти броненосцы будут готовы и когда общая политическая обстановка и группировка государств, быть может, изменятся, приобретем большую ценность как союзник"[26]. В этом заблуждении царизм охотно поддерживали как руководители Германии, считавшие для себя выгодным развитие небольшого русского флота в ущерб ее большой сухопутной армии, так и некоторые руководители

Англии, вообще-то всегда ревниво следившей за ростом любого флота. "Нельзя закрыть глаза на то, – заявил Извольскому летом 1908 г. в Ревеле высокопоставленный чиновник Форин оффис Чарльз Гардинг, – что если Германия будет продолжать тем же напряженным темпом увеличивать свои морские вооружения, через 7 или 8 лет в Европе может возникнуть весьма тревожное и натянутое положение; тогда арбитром положения будет, несомненно, Россия, и вот почему в интересах равновесия мира мы самым искренним образом желаем видеть Русское государство как можно более сильным на суше и на море"[27].

Позже, с 1910 г., в связи с развитием турецкого флота, резко изменившим не в пользу России соотношение военно-морских сил в районе Балканского полуострова, появилась необходимость спешного усиления и Черноморского флота, что способствовало бы, помимо укрепления обороноспособности южного побережья империи, сохранению и традиционной ориентации царизма на Проливы. Царь решительно поддерживал моряков и дипломатов, действовавших в контакте с премьер-министром Столыпиным[28], и не желал слушать руководителей Военного министерства, требовавших уделять больше внимания реорганизации и развитию армии. "Ничего сделать нельзя, – с грустью признавался начальник штаба Петербургского военного округа генерал Бринкен. – Государь, всегда такой добрый и мягкий, при всякой попытке кого бы то ни было сказать что-нибудь против флота, буквально свирепеет, хлопает кулаком по столу и не желает ничего слушать. То же было и с великим князем (Николаем Николаевичем, председателем СГО, выступавшим против строительства флота. – *К.Ш.*). Это просто какой-то гипноз, и морское начальство делает благодаря этому, что хочет"[29].

Выше говорилось уже, сколь плачевным было состояние армии. В структуре ее царила полнейшая неразбериха. Под одним и тем же названием скрывались совершенно неоднородные подразделения, части и соединения. Роты были 11 различных составов – от 50 до 150 рядов (от 100 до 300 солдат). Полки были следующих типов: пехотные, стрелковые, гвардейские, резервные, крепостные, отдельные, причем в одних полках было по два батальона, в других – по четыре, а число рот в батальонах тоже было неодинаковым. В округах размеры однотипных частей также разнились: четырехбатальонные полки на Дальнем Востоке были сильнее таких же полков в Европейской России; двухбатальонные полки в Финляндии качественно отличались от двухбатальонных полков в Закавказье, и т.д.

"Организация других родов войск, – признавал Главный штаб, – не менее, если не более, сложная, чем организация пехоты. В артиллерии существуют бригады из 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 батарей, отдельные артиллерийские дивизионы из 2 и 3 батарей и отдельные батареи. Саперные батальоны содержатся в составе 3, 4, 5 и 6 рот"[30]. Необходимость реорганизации армии была совершенно очевидна. Для выработки плана этой работы СГО в конце 1907 г. создал специальную комиссию под председательством генерала Газенкампфа. Вскоре в комиссию поступила предложенная начальником Генерального штаба Ф.Ф. Палицыным "Программа реформ и развития вооруженных сил

России". Суть ее вкратце сводилась к следующему: предлагалось перейти в пехоте "исключительно к полевому типу в виде единообразных трехбатальонных полков с содержимыми в них сверх штата кадрами резервных войск, формируемых только при мобилизации"[31]. Весьма радикально реорганизовывались и другие рода войск. В итоге при некотором сокращении армии в мирное время организация ее, насыщенность специальными родами войск и боевая подготовка их должны были существенно возрасти.

Но "Программа" Палицына и Алексеева имела один серьезный недостаток – она требовала значительных расходов и именно поэтому "при современном положении нашей армии в тех условиях, которые ограничивают ее развитие и совершенствование" была, по убеждению Главного штаба, неосуществима[32]. Поэтому он предложил свой план реорганизации, названный им "О преобразовании нашей армии". Главный штаб был солидарен с Генеральным штабом в оценке состояния армии и необходимости ее немедленного преобразования, но считал, "что выполнение задач улучшения боевых качеств армии может быть достигнуто постепенным усовершенствованием существующей организации"[33] без радикальной перестройки, которую предложили Палицын и Алексеев, и без значительных расходов.

В марте 1908 г. СГО в присутствии премьера, министров иностранных дел и финансов рассматривал результаты работы комиссии Газенкампфа и доклад Главного штаба. Принятые СГО решения почти не отличались от предложений начальника Генерального штаба генерала Эверта[34].

Но полумерами улучшить организацию армии было нельзя, и в конце 1908 г. военный министр вновь приказал заняться изучением необходимых в армии преобразований. Разрешить этот вопрос было поручено мобилизационному комитету под руководством нового начальника Главного штаба генерал-лейтенанта А.З. Мышлаевского. Выработанная им программа реорганизации армии[35] была по существу возвратом к предложению Палицына и Алексеева. Отличие состояло в одном: перед началом работы мобилизационный комитет получил два категорических приказания царя: во-первых, не увеличивать "личных тягот населения по отбыванию воинской повинности"; во-вторых, никоим образом "не выходить из пределов постоянных расходов, ассигнуемых в распоряжение Военного министерства"[36].

Извещая Совет министров о поставленных царем условиях и о главных направлениях предстоящей реорганизации армии: 1) передислокации части войск из западных губерний в восточные; 2) изменении в связи с этим инженерной подготовки будущего театра военных действий; 3) переформировании некоторых западных частей, военный министр Сухомлинов отмечал насущную потребность усиления специальных родов войск, прежде всего артиллерии. Но, признавал министр, "доведение их до современной нормы потребует дополнительных расходов и притом не только единовременных, но и постоянных, почему это мероприятие приходится отложить до наступления улучшения в финансовом положении страны"[37].

В результате осуществления этих мер русская армия приобрела значительно более стройную организацию. Однако бессмысленное требование царя ни в коем случае не увеличивать ежегодного бюджета не позволило осуществить реорганизацию армии до конца.

Так, упразднились резервная и крепостная пехота, все местные команды, однако в документе военного министерства признавалось, что "несмотря на крайнюю желательность достигнуть полного однообразия и простоты организации путем установления типа только четырехбатальонного полка и меньшего числа категорий рот по составу рядов, выполнить это в настоящее время нельзя по недостатку денежных средств"[38]. В результате разнобой в типах рот хотя и уменьшался (с 11 до 7), но все же был весьма значительным (число рядов в разных ротах колебалось от 48 до 100, т.е. от 96 до 200 солдат). Недостаток средств не дал возможности предусмотреть комплектование всех полковых команд не из личного состава рот, в результате чего фактически многие роты содержались в еще меньшем размере, чем предписывалось новой организацией.

Несколько улучшалась организация артиллерии, но и здесь роковым образом сказывалась необходимость экономии. Всего 12 млн рублей (менее трети стоимости одного линейного корабля!) нужно было для того, чтобы от громоздких трудноуправляемых 8-орудийных батарей перейти к более подвижным 6-орудийным. "Не только не располагая означенной суммой – говорилось в процитированном выше документе, – но и связанный категорическим указанием о совершенной невозможности увеличения ныне производящихся расходов на содержание армии, мобилизационный комитет вынужден был отказаться от разработанного проекта преобразования полевой артиллерии, который действительно внес бы значительные улучшения в организацию этого рода войск"[39]. Та же причина делала невозможным хотя бы небольшое увеличение числа орудий в пехотных дивизиях.

Несмотря на явную необходимость этого, отмечал мобилизационный комитет, "в настоящее время... усиление полевой артиллерии до желательных норм представляется невозможным"[40].

Требование царя оказалось выполненным. Вся реорганизация армии была проведена в рамках прежних ассигнований, дав даже экономию в 3 067 рублей в год![41]. С 1 июля 1910 г. русская армия переходила на новую организацию[42].

Однако армия нуждалась не только в реорганизации, но и перевооружении. Вопрос о чрезвычайных ассигнованиях на это возник в связи с новыми требованиями Морского министерства. 15 февраля 1909 г. морской министр С.А. Воеводский обратился к царю с просьбой разрешить "вновь пересмотреть план развития морских сил государства и составить новую программу на ближайшее десятилетие"[43]. Воеводский просил разрешения после выработки программы внести ее непосредственно в Совет министров для согласования "с финансовыми средствами государства, с потребностями Военного министерства и с направлением внешней политики России"[44].

Царь согласился с Воеводским, но обсудить программу повелел не в

Совете министров, а на Особом совещании под председательством Столыпина в составе министров морского, военного, финансов, иностранных дел и начальников Генерального и Главного штабов. Дорого обошлась СГО его строптивость. Он совершенно устранился от своей главной задачи – согласования деятельности Военного и Морского министерств – и становился ненужным, что и определило его ликвидацию в ближайшие же дни[45].

3 августа 1909 г. состоялось первое заседание Особого совещания. Открывая его, Столыпин заявил, что нет никакого сомнения в том, что для России боевой активный флот совершенно необходим. Ограничиться созданием одного минного или подводного флота Россия не может[46]. Однако против этого тотчас же выступили представители Военного министерства. "Немедленное развитие морских сил империи кажется делом трудно осуществимым", – считал Сухомлинов. Еще решительнее был начальник Генерального штаба. "История России учит нас тому, – заявил Мышлаевский, – что флот играет вспомогательную роль по отношению к сухопутной армии". А теперешнее положение дел, по его мнению, исходит как будто из противного – "военное ведомство, принимая во внимание затруднительное положение финансов, сжимается в своих требованиях", отказываясь иной раз от проведения самых необходимых реформ, а "Морское ведомство, наоборот, представляет свои требования в цифрах широких, выходящих за пределы существующего бюджета"[47].

Особое совещание заседало пять месяцев[48]. Результаты его работы были доложены правительству 25 февраля 1910 г. В течение ближайших 10 лет новые ассигнования на армию и флот предполагалось делить почти поровну: 715 млн рублей на армию (из них почти половину – 373 млн – на крепости, 114 млн на строительство стратегических шоссе и только 81 млн рублей на тяжелую артиллерию) и 698 млн рублей на флот (из них 614 млн на Балтийский, в том числе 478,8 млн рублей на новое судостроение)[49]. Одновременно Совет министров решил вопрос об источниках для покрытия этих расходов. Предполагалось ввести новые косвенные налоги и, в частности, увеличить цену на водку, что должно было дать ежегодно 65–70 млн рублей. Через месяц правительство вошло со своей программой в Государственную думу, так как введение новых налогов, без чего выполнить разработанные планы было нельзя, являлось по законам Российской империи прерогативой Думы[50]. Как видим, по сравнению с 1908 г. Военное министерство потребовало и в принципе получило согласие на расходование вдвое большей суммы[51]. На флот же теперь отпустили сумму в 5,5 раза большую (вместо 124 млн рублей – 698 млн) и почти равную ассигнованиям на армию. Подобное распределение никак не соответствовало состоянию армии, ее значению в системе вооруженных сил России и вызвало энергичные протесты генералитета. Уже в мае 1910 г. с протестом против увлечения маринизмом выступил генерал Куропаткин[52]. В сентябре он написал и разослал членам правительства подробную "Записку по вопросу об ассигновании Военному и Морскому министерствам кредитов на неотложные нужды"[53]. В ней он утверждал, что если "будут отпускаться на флот суммы, не соответствующие важности для обороны государства морской силы, то эти отпуски неизбежно отразятся на ослаблении сухопутной армии, составляющей главную силу России". Требуя, чтобы на флот выделялось не более трети новых ассигнований, Куропаткин критиковал и Военное министерство за увлечение развитием крепостей и стратегических шоссе. Основная часть средств, отпущенных на армию, должна была, по его мнению, использоваться на развитие артиллерии, авиации, организацию автомобильного дела и увеличение оснащенности армии инженерным имуществом.

Внесенная в Думу программа так и не была рассмотрена ею, ибо планы введения некоторых новых налогов вызывали неодобрение имущих классов. "Слава Богу, – заявил в Думе А.И. Гучков, – наше финансовое положение улучшилось и упрочилось без проведения этой программы... Ближайшая задача – создание морской мощи, создание флота – не потребует приведения в движение этих экстренных мер"[54].

Причину радости Гучкова раскрыл в одном из выступлений его соратник по партии октябристов Н.В. Савич[55]. Черносотенно-октябристское большинство Думы не было удовлетворено представленным правительством законопроектом, ибо наряду с косвенными налогами, которые должны были дать львиную долю новых поступлений, предусматривался "подоходный налог, налог на наследство, построенный чисто на социалистических началах (!)"[56] и в какой-то степени ущемлявший имущие классы.

Распределение средств почти поровну между армией и флотом вряд ли было целесообразным. Однако в ближайшее же время согласованные планы были нарушены Морским министерством. Уже с лета 1909 г. оно получало сведения из самых различных источников о намерении турецкого правительства усилить свой флот новыми линейными кораблями. Угроза появления в Черном море турецких дредноутов заставляла царизм предпринимать ответные меры. 26 июля 1910 г. морской министр обратился со специальным докладом к Николаю II. В нем он предложил заложить на Черном море не предусмотренные ранее три линейных корабля новейшего типа и немедленно начать строительство девяти эсминцев и шести подводных лодок, закладка которых первоначально была отнесена Морским министерством на более поздние сроки[57]. Царь в тот же день одобрил представленную программу. После обсуждения ее в Совете министров правительство потребовало и получило от Государственной думы около 151 млн рублей на развитие Черноморского флота[58], причем главный расход – строительство трех линкоров общей стоимостью около 100 млн рублей – не был предусмотрен согласованным с Военным министерством в 1909–1910 гг. планом.

Вскоре Морское министерство вновь резко увеличило свои требования. Получив разрешение от царя на пересмотр десятилетней программы[59], Морской Главный штаб в начале апреля 1911 г. представил Николаю II "Закон об императорском российском флоте". Он предусматривал создание в течение 22 лет только на Балтике двух боевых и

одной резервной эскадры (каждая в составе 8 линейных кораблей, 4 линейных и 8 легких крейсеров, 36 эсминцев и 12 подводных лодок). На Черном море планировалось иметь флот, по мощи своей превосходящий в 1,5 раза силы государств, расположенных на побережье Черного моря. Полное осуществление этого закона требовало от государства более 2 млрд рублей[60].

Первые пять лет из 22-х, планировавшихся на увеличение морских сил до размеров, предусмотренных "Законом о флоте", были выделены в особый период, для которого Морским министерством предлагалась специальная "Программа усиленного судостроения Балтийского флота на 1911–1915 гг." По этой программе в течение 5 лет хотели построить на Балтике 4 линейных и 4 легких крейсера, 36 эсминцев и 12 подводных лодок, т.е. столько же, сколько годом раньше собирались построить за 10 лет. Стоимость этой программы определялась более чем в полмиллиарда рублей[61]. От представленных документов царь пришел в восторг. "Отлично исполненная работа, – заявил он начальнику МГШ, – видно, что стоят на твердой почве; расхвалите их (офицеров МГШ. – *К.Ш.*) от меня"[62].

В июне 1912 г. "Программа усиленного судостроения Балтийского флота" была одобрена Думой, которая исключила кредиты на портостроительство, отчего расходы по программе сократились до 421 млн рублей[63]. Одобренный царем "Закон о флоте" по специальному решению Совета министров решено было внести в Думу не ранее конца 1914 г., когда осуществление его первой части – "Программы усиленного судостроения Балтийского флота" – продвинется значительно вперед и это даст право Морскому министерству ставить вопрос о продолжении успешно начатого дела[64]. Наконец, уже в самый канун войны, 24 июня 1914 г., на строительство линейного корабля, двух легких крейсеров, восьми эсминцев и шести подводных лодок на Черном море Дума соглашалась ассигновать еще 110 млн рублей[65].

В общей сложности накануне войны Морскому министерству удалось добиться ассигнования на развитие флота около 800 млн рублей золотом. Немногим больше – 880 млн рублей – было решено ассигновать в 1908–1913 гг. на армию[66]. В самый канун войны, летом 1914 г., стала законом "Большая программа по усилению состава армии". По ней планировалось произвести в 1914–1917 гг. единовременных расходов на 433,2 млн рублей и увеличить на 139,8 млн рублей ежегодные ассигнования на армию[67]. Однако "Большая программа" безнадежно запоздала и не могла уже оказать никакого влияния на подготовку армии к начавшейся вскоре мировой войне.

Как видим, Морское министерство все время опережало Военное в разработке своих планов. Поддерживаемое царем и правительством, оно раньше последнего и в неурезанном виде проводило свои программы. В результате, если формально средства между этими ведомствами делились почти поровну[68], то фактически распределение их было еще более невыгодным для Военного министерства. Правда, весь бюджет Военного министерства в 1913 г. (581 009 921 рублей) более чем в 2 раза превосходил бюджет Морского (244 846 500 рублей). Но с

ассигнованием новых средств дело обстояло иначе. За пять предвоенных лет (1909–1913) суммарный прирост бюджета Военного министерства составил 195,17 млн рублей, а Морского – в 1,5 раза больше, т.е. 285,64 млн рублей[69]. А ведь именно новые ассигнования шли на развитие вооруженных сил, именно они определяли размеры и темп подготовки их к войне.

Авантюрой была надежда, создав сильный флот, добиться в "европейском концерте" независимого и даже решающего положения. Ради этого шли на все: до предела урезали расходы на самые необходимые культурные нужды[70], замедляли и сокращали крайне необходимое перевооружение армии. За пять предвоенных лет (1909–1913) чрезвычайные кредиты на пополнение запасов и усовершенствование обороны были сокращены: на артиллерию – на 67 млн рублей, на инженерное имущество и авиацию – на 15,3 млн рублей, на ручное оружие и винтовочные патроны – на 16,4 млн рублей[71]. Средств на реорганизацию и развитие казенных заводов, производивших сухопутное вооружение, отпускалось тоже очень мало, в то время как на развитие заводов Морского министерства в течение этих же пяти лет была ассигнована довольно значительная сумма[72]. Вскоре после начала мировой войны разразился жестокий кризис вооружения. В армии не хватало всего: орудий и снарядов, пулеметов и патронов, взрывчатых веществ и пороха. Но никто не ощущал нужды в четырех построенных линкорах и нехватки самых мощных в мире линейных крейсеров, которые ржавели недостроенными на протяжении всей войны.

Конечно же, не диспропорция в развитии вооруженных сил России породила кризис вооружения. Причина его коренилась глубже – в социально-экономической отсталости страны, тормозившей ее подготовку к войне. Однако перераспределение средств в пользу Военного министерства и развитие производства сухопутного вооружения позволило бы значительно смягчить остроту этого кризиса. В зависимости от этого и ход мировой войны, и ее результаты могли бы быть иными со всеми вытекающими отсюда ближними и дальними историческими последствиями.

[1] *Поливанов А.А.* Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника: 1907–1916 гг. Б., 1924. С. 183.

[2] См.: *Шацилло К.Ф.* Развитие вооруженных сил России накануне первой мировой войны (военные и военно-морские программы царского правительства в 1906–1914 гг.): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 1968. С. 58–59; См. также: *Петров М.А.* Подготовка России к мировой войне на море. М., 1925.

[3] В ходе русско-японской войны было потоплено или взято в плен 15 эскадренных броненосцев, 2 броненосца береговой обороны, 11 крейсеров (из них 5 – первого ранга), 5 морских канонерских лодок, 2 минных крейсера, 22 миноносца, 4 военных транспорта, 8 портовых судов. Общая стоимость этих кораблей составляла 230 млн рублей золотом, а вместе с артиллерийским и минным вооружением, хранившимся в Порт-Артуре и тоже доставшимся японцам, прямые материальные потери флота составили 255 888 951 рублей (См.: Российский архив военно-морского флота (далее – РАВМФ). Ф. 403. Оп. 1. Д. 1721. Л. 2–4).

[4] Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 2000. Оп. 1. Д. 149. Л. 4.

[5] РАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 4182. Л. 24.
[6] РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 149. Л. 4.
[7] Там же. Д. 77. Л. 35.
[8] Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 555. Оп. 1. Д. 246. Л. 2–3.
[9] Выступление Поливанова на закрытом заседании Государственной думы 13 апреля 1912 г. Цит. по кн.: *Сидоров А.Л.* Финансовое положение России в годы первой мировой войны. М., 1973. С. 54.
[10] РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 82. Л. 252.
[11] См.: *Петров М.А.* Указ. соч. С. 116–119.
[12] См.: *Сидоров А.Л.* Из истории подготовки царизма к первой мировой войне // Исторический архив. 1962. № 2. С. 126.
[13] РАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3317. Л. 4.
[14] "Дай Бог нам выполнить в точности малую судостроительную программу", – написал 2 апреля царь на докладе морского министра, приказав рассмотреть его в СГО (РАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1372. Л. 71).
[15] РГВИА. Ф. 2000 (с). Оп. 1. Д. 26. Л. 139.
[16] Там же. Л. 44.
[17] Положение о Совете государственной обороны. СПб., 1906. С. 1.
[18] Только 18 августа 1907 г., утвердив вопреки решению СГО малую судостроительную программу, царь написал на журнале 9 апреля (!): "Читал" (РГВИА. Ф. 20000. Оп. 1. Д. 148. Л. 13).
[19] РАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1271. Л. 49. Письмо морского министра высшим чинам своего ведомства и некоторым сухопутным генералам с приглашением принять участие в совещании 12 мая 1907 г.
[20] Там же. Д. 1372. Л. 97–133. Отпечатанные на ротапринте вопросы царя и ответы на них участников совещания. Само совещание состоялось 12, 18, 21, 24 и 31 мая 1907 г. на квартире морского министра И.М. Динова (Там же. Д. 127. Л. 133–143, 148–160, 168–173, 178–194, 201–224).
[21] См.: *Петров М.А.* Указ. соч. С. 121.
[22] РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 74537. Л. 1.
[23] См.: *Сидоров А.Л.* Финансовое положение России в годы первой мировой войны. С. 60.
[24] Поэтому потеря почти всего флота под Цусимой не огорчала руководителей Морского министерства. "Если б все наши броненосцы не погибли, а остались в наших руках, – считали офицеры Морского Главного штаба, – то все равно... флот пришлось бы создавать вновь. Мы потеряли именно то, что уже не пригодно для современного боя, как показал опыт минувшей войны, мы потеряли то, что уже более не нужно" (см.: Работы офицеров МГШ. Т. 3. Объяснительная записка к малой судостроительной программе. С. 11).
[25] РАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 20. Л. 26.
[26] РГВИА. Ф. 830. Оп. 1. Д. 81. Л. 1–27.
[27] Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. Канцелярия. 1908 г. Д. 43. Л. 91.
[28] См. собственноручную записку П.А. Столыпина о необходимости для России как великой державы иметь сильный линейный флот (ГАРФ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 104. Л. 1–16).
[29] ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 474. Л. 135. Показания в Чрезвычайной следственной комиссии генерал-лейтенанта Данилова. Он рассказывал о том, как неудачно пытался бороться с бессилием флота, используя окружение царя, в том числе вел. кн. Николая Николаевича.
[30] РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 202. Л. 1.
[31] Там же. Д. 196. Л. 217. Автором программы, кроме Ф.Ф. Палицына, был и генерал М.В. Алексеев.
[32] РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 195. Л. 2.
[33] Там же. Л. 39.
[34] Там же. Д. 202. Л. 6. Перечисление 11 пунктов решения СГО.
[35] Осуществленная в 1910 г. при военном министре Сухомлинове, эта реорганизация в военно-исторической литературе без достаточных на то оснований связывается с его именем (см. например: *Энгельгардт Б.А.* Потонувший мир // Российская государственная библиотека. Рукописный отдел. С. 358–360). Сухомлинов лишь осуществил то, что задолго до него в принципе было намечено еще первым начальником Генерального штаба ген. Палицыным и ген. Алексеевым.

[36] РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2257. Л. 9.
[37] Там же. Л. 18.
[38] Там же. Д. 202. Л. 8.
[39] Там же. Л. 27.
[40] Там же.
[41] Там же. Л. 65.
[42] Там же. Д. 2258.
[43] РАВМФ. Ф. 418. Оп. 5. Д. 392. Л. 17.
[44] Там же.
[45] РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 73558. Л. 1–2.
[46] РАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1372. Л. 22.
[47] Там же. Л. 23–25.
[48] Последнее, четвертое, заседание его состоялось 2 января 1910 г. (РАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1372. Л. 45–47).
[49] *Сидоров А.Л.* Из истории подготовки царизма к первой мировой войне. С. 132.
[50] Там же. С. 142–151.
[51] Тогда правительство согласилось ассигновать на армию в течение восьми лет 293 млн рублей, а теперь – 715 млн рублей, но уже на 10 лет (Там же. С. 154).
[52] ГАРФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 932. Л. 2–4.
[53] РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 203. Л. 1–8; РГИА. Ф. 1276. Оп. 7. Д. 112. Л. 1–9.
[54] РГИА. Ф. 1278. Оп. 4. Д. 634. Л. 94.
[55] Там же.
[56] Там же. Оп. 5. Д. 37. Л. 5а.
[57] РАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 483. Л. 7–8.
[58] Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. СПб., 1911. Сес. IV. Ч. 3. Заседание № 104 1 мая 1911 г. В конце 1911 г. в связи с увеличением стоимости строительства линейных кораблей расходы по этой программе возросли до 162 млн рублей (РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 444. Л. 374).
[59] РАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 176. Л. 502.
[60] РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 444. Л. 329. На крупные корабли планировалось потратить 1404 млн рублей, на легкие крейсеры – 354 млн, на эсминцы – 262,5 млн, на подводные лодки – 90 млн, на оборудование баз и вспомогательные суда – 82 млн рублей.
[61] Там же. Л. 260.
[62] *Петров М.А.* Указ. соч. С. 141.
[63] РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 444. Л. 251–257.
[64] Там же.
[65] *Петров М.А.* Указ. соч. С. 174.
[66] *Сидоров А.Л.* Финансовое положение России в годы первой мировой войны. С. 81.
[67] РГВИА. Ф. 829. Оп. 17 Д. 3. Л. 405–409. "Большая программа" включала в себя принятую незадолго до нее "Малую программу", предусматривавшую главным образом развитие артиллерии. Подробнее об этом см.: *Шацилло К.Ф.* Развитие вооруженных сил России накануне первой мировой войны. С. 414–443.
[68] Без учета "Большой программы по усилению состава армии", ставшей законом за несколько дней до начала войны.
[69] Подсчитано по: Объяснительная записка к отчету Государственного контролера за 1913 г. СПб., 1914. С. 37.
[70] За пять лет (с 1908 до 1912 г.) расходы России на так называемые производительные нужды выросли всего на 155 млн рублей, а только на одно военно-морское строительство – на 250 млн рублей. На все высшие учебные заведения страны в 1907 г. было ассигновано 6,7 млн, а в 1912 г. – 7,6 млн рублей. Стоимость одного только линейного крейсера в пять раз превышала эту сумму (Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. СПб., 1912. Сес. V. Ч. 2. Стб. 3358–3359).
[71] *Сидоров А.Л.* Финансовое положение России в годы первой мировой войны. С. 81.
[72] Подробнее об этом см.: *Шацилло К.Ф.* Государство и монополии в военной промышленности России (конец XIX в. – 1914 г.). М., 1992.

УРОКИ ПРИБАЛТИЙСКОЙ ДРАМЫ

В.А. Золотарев

Один из крупнейших международных конфликтов XX в. – первая мировая война – продолжает и сегодня, спустя восемь десятилетий, привлекать внимание военных специалистов и ученых как в России, так и во многих зарубежных странах. И это объяснимо: ведь никогда дотоле человечество не знало ни таких масштабов вооруженной борьбы, ни таких колоссальных людских потерь, ни таких поистине революционных, социально-политических и морально-психологических последствий войны. Интерес к истории первой мировой войны не только не ослабевает, но, наоборот, неуклонно возрастает, о чем свидетельствует неиссякающий поток разного рода публикаций и исследований.

В настоящей статье мы остановимся лишь на некоторых вопросах, связанных с самым ранним периодом войны, в частности с особенностями военных действий на русско-германском фронте осенью 1914 г. Им посвящена обширная отечественная и зарубежная литература. Из западных публикаций необходимо назвать труд генерала Гренера "Завещание Шлиффена", воспоминания адмирала Тирпица, генералов Людендорфа, Гинденбурга, Фалькенгайна, Гофмана, Першинга и др.[1] Кое-что об этом сюжете со своих нацистских позиций поведал и такой одиозный автор, как Гитлер, в книге "Майн кампф".

Указанная проблема в отечественной историографии также занимает значительное место. Так, после окончания гражданской войны специально созданная в СССР Военно-историческая комиссия подготовила несколько очерков под общим названием "Стратегический очерк войны 1914–1918 гг.". Хотелось бы упомянуть не утратившую свое значение, серьезную монографию А.М. Зайончковского "Мировая война 1914–1918 гг.", выдержавшую три издания; военно-исторический очерк "Первая мировая война 1914–1918 гг.", написанный Д.В. Вержховским и В.Ф. Ляховым, а также подготовленный сотрудниками Института военной истории в 70-е годы двухтомник "История первой мировой войны"[2] под общей редакцией И.И. Ростунова.

Внимание специалистов, несомненно, привлекают также публикации документов из архивов Российской империи и Временного правительства, увидевшие свет в 20- годы. В конце 30-х годов Генеральный штаб РККА издал несколько сборников документов по истории наиболее крупных операций на русском фронте – Восточно-Прусский, Варшавско-Ивангородской, Лодзинской, Горлицкой (1915 г.) и о наступлении Юго-Западного фронта в 1916 г.[3] И все-таки собственно военно-стратегические аспекты войны оказались наименее освещенными.

Одни операции (например, Брусиловский прорыв 1916 г.) проанализированы основательно, другие же важные события тех лет еще не стали объектом углубленного исследования или попросту "забыты". К их числу, как нам представляется, необходимо отнести события, происходившие в Прибалтике в первые месяцы войны. Между тем сегодня мы располагаем важными документами, проливающими новый свет на трагедию, постигшую 1-ю и 2-ю русские полевые армии в так называемый "маневренный период" первой мировой войны.

Русско-германский фронт в августе 1914 г. Скупые статистические данные повествуют о следующем. С севера на юг линия фронта простиралась от Балтийского моря до румынской границы на 1400 км. Военные действия русских войск в 1914 г. велись в соответствии с господствовавшими в России взглядами на характер возможной войны и способы ее ведения в Европе. Суть их такова: – войска начинают наступление и быстро переносят военные действия на территорию главных противников – Австро-Венгрии и Германии (любопытно, что такие же взгляды исповедовало советское руководство в преддверии второй мировой войны с той разницей, что "могучий удар" по противнику должен был последовать после кратковременного периода отражения нападения врага);

– цель войны Россия достигнет в короткие сроки (три–четыре месяца);

– главные усилия русской армии будут сосредоточены на юго-западном направлении (против более слабой Австро-Венгрии). Вторым важнейшим стратегическим направлением является наступление на Берлин (благо, что русские в Семилетней войне хорошо освоили ту дорогу);

– поскольку Германия в 1914 г. будет зажата в тисках между двух фронтов (на западе франко-английскими и бельгийскими войсками, на востоке – русскими), она, как полагали в Петербурге, не сможет долго сопротивляться и тем более предпринять крупное контрнаступление.

Количественное превосходство в силах и средствах на северном крыле русского фронта было за Россией. Однако, хотя она давно готовилась к войне, русские войска не смогли начать наступление сразу же после объявления Германией войны, поскольку войска сосредоточивались медленно из-за недостатка железных и шоссейных дорог и почти полного отсутствия (в отличие от Центральных держав) автомобильного транспорта.

Первыми начали наступление войска Северо-Западного фронта, которые провели Восточно-Прусскую операцию с 17 августа по 14 сентября. (Даты здесь и далее даны по новому стилю.) В период с 18 августа по 21 сентября войска Юго-Западного фронта провели Галицийскую наступательную операцию. В последующем (с 28 сентября по 8 ноября) Юго-Западный фронт провел Варшавско-Ивангородскую операцию. Это общеизвестно. Менее известно о стиле стратегического мышления, или, как ссйчас принято говорить, военном менталитете высшего командования русской армии в тот период. Имеющиеся в нашем распоряжении документы позволяют судить об этом на примере боевых действий Северо-Западного фронта.

© В.А. Золотарев

17 августа 1914 г. 1-я полевая армия перешла государственную границу на фронте шириной 70 км и вторглась на территорию Восточной Пруссии. Главные силы противников вступили в непосредственное соприкосновение 20 августа в районах Гумбинен и Гольдан. Перешедшая в наступление 2-я полевая армия создавала угрозу окружения всех сил 8-й германской армии. Немецкие войска стали отходить на левый берег Вислы.

В сложившихся благоприятных условиях войска Северо-Западного фронта способны были нанести решающее поражение 8-й германской армии. Однако, как справедливо отмечается в трудах отечественных военных историков, командующий 1-й армией генерал П.К. Ренненкампф не организовал преследование отступающих германских войск в целях их полного разгрома, а начал медленное продвижение к Кенигсбергу. Это позволило германскому командованию перегруппировать свои силы и затем нанести сильный удар по левому флангу 2-й русской армии, расположенной по соседству с 1-й. К 26 августа против 9 дивизий 2-й армии готовы были выступить до 13 пехотных дивизий. Оперативное положение 2-й армии резко ухудшилось: два ее передовых корпуса оказались в полуокружении. В сложившейся обстановке командующий 2-й армией генерал А.В. Самсонов приказал этим корпусам отходить в направлении на Хожеле, однако было уже поздно. Корпуса попали в окружение и понесли огромные потери: лишь небольшие остатки их сумели вырваться из окружения. Генерал Самсонов потерял связь с войсками и не мог руководить их действиями.

Нанеся поражение 2-й армии, 8-я германская армия сосредоточила затем свои усилия против 1-й русской армии. 6 сентября немецкие войска предприняли наступление в обход ее левого фланга. Русские стали отступать и потеряли не только захваченную территорию, но и около 80 тыс. солдат и офицеров. В период с 18 по 21 сентября остатки 1-й армии отошли за Неман, а 2-я армия – на р. Нарев.

Так закончилась первая операция Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии. Исследователи не раз анализировали причины этих неудач. При этом выявились ошибки русского фронтового и армейского командования, неудовлетворительное управление войсками, отсутствие взаимодействия между двумя армиями, плохо организованная разведка. Это было тяжелое поражение, которое, несомненно, оказало негативное влияние на общий ход военных действий в 1914 г. Но не менее важно подчеркнуть и связь поражения войск русского Северо-Западного фронта с действиями союзных войск на Западе, с "чудом на Марне", когда успешно начавшие наступление немецкие армии были остановлены англо-французскими войсками. В свое время "чудо" обычно объясняли ошибками отдельных немецких генералов, недостатком резервов и т.п. Но нам сегодня гораздо лучше видны глубинные причины происшедшего. Это было лишь одно из проявлений глубокого общего кризиса военного дела и военного искусства, неспособности организовать и вести боевые действия по-новому в войне мирового масштаба. Достаточно было русской армии перейти в наступление на Восточную Пруссию, как все расчеты германского командования на

быструю победу над Францией были перечеркнуты. Пришлось принимать срочные меры: два армейских корпуса и кавалерийская дивизия были сняты с Западного фронта и брошены в Восточную Пруссию для укрепления 8-й армии. Фактически русская армия в решающий момент спасла от поражения союзников по Антанте.

Возвращаясь к причинам поражения 1-й и 2-й русских армий, необходимо сказать, что накопленные ныне военной историографией и военным источниковедением факты позволяют существенно углубить наше понимание истоков поражения русских армий в Прибалтике осенью 1914 г. Известно, что накануне войны в России немало внимания уделялось военному планированию, а документы и свидетельства участников тех событий показывают, что в августе 1914 г. в высших военно-политических кругах России и в войсках господствовало мнение о неизбежности быстрой победы в войне. Победная эйфория еще более была подогрета успешным началом наступления войск Северо-Западного и Юго-Западного фронтов. Шок случился позже, когда просчеты высшего российского руководства и бездарность командования оперативными объединениями русской армии привели к полному краху первоначальных военных планов.

Первопричиной поражения русских войск явилась недооценка командованием Северо-Западного фронта противника и совершенно неадекватное представление о его намерениях в быстро изменяющейся оперативной обстановке, непонимание того нового, что вносила мировая война в военное искусство. В частности, это подтверждается рядом документов комиссии по рассмотрению обстоятельств "дела Ренненкампфа", созданной по приказу Главнокомандующего фронта генерала Н.В. Рузского. Общие выводы комиссии заключались в следующем:

«Командующий 1-й армией генерал-адъютант Ренненкампф немедленно же при вступлении в должность 13 октября получил точно и определенно формулированную задачу Главнокомандующего (приказ 13 октября № 36 и директива 15 октября № 4388), которая до самого конца операции и отчисления от должности по существу оставалась неизменно той же самой: "Обеспечивать фланг и тыл армий, действующих на левом берегу Вислы"*. Несмотря на эту определенность и своевременность поставленной задачи у генерал-адъютанта Ренненкампфа за все время операции, как то видно из его приказов и действий войск, не было выработано ясного и определенного собственного плана операции 1-й армии во исполнение директивы Главнокомандующего. Это касается в одинаковой степени всех периодов операции как под Полоцком, так и под Ловичем и Брезинами. Вследствие этого все

* Здесь и далее приведены выдержки из "Всеподданейшего доклада генерал-адъютанта Баранова по Высочайше возложенной командировке в действующую армию для расследования действий бывшего командующего 1-й армией генерал-адъютанта Ренненкампфа" и "Всеподданейшего доклада генерал-адъютанта Пантелеева по Высочайше возложенной командировке в действующую армию для расследования деятельности старших войсковых начальников и командного состава 2-й армии за время боевых операций в Восточной Пруссии в августе 1914 г."(Мы посчитали возможным максимально придерживаться текстов документов, которые находятся в личном архиве автора статьи.)

действия войск носили совершенно непланосообразный, случайный характер. Отсутствие плана операций повлекло за собой отсутствие целесообразной группировки сил перед операцией до начала наступления немцев и ничем непоправимую потерю времени в подготовке маневренности по обоим берегам Вислы...

Задачи корпусам в большинстве случаев совсем не ставились. Им указывалось механическое исполнение передвижений без постановки задачи предстоящего каждому корпусу маневра. Это лишало командиров корпусов возможности сознательно стремиться к достижению общей цели маневра. Объединение командования группами корпусов, направляемых к общей цели, систематически отсутствовало, а непосредственное управление самим генерал-адъютантом Ренненкампфом маневрированием корпусов на поле сражения было невозможно вследствие того, что штаб армии был обыкновенно слишком далеко от поля сражения, иногда до 100 верст.

В решительные моменты операций под Полоцком, под Ловичем и Брезинами генерал-адъютант Ренненкампф уезжал в тыл, не оставляя заместителей и предоставляя командирам корпусов разбираться самим при весьма трудной обстановке, создававшейся отсутствием определенных ясных задач.

Механизм управления армией из-за ненормального отношения к своему собственному штабу оказался не налаженным. Работа штаба была слишком нервная. Приказы выходили не соображенными с обстановкой. Пренебрежительное отношение к необходимым подготовительным работам штаба, как, например, сводкам имеющихся данных о неприятеле и соседних наших войсках, особенно гибельно сказались на продиктованном лично генерал-адъютантом Ренненкампфом, без помощи штаба, приказе 9 ноября вечером в Гловно. Этим приказом колоннам группы корпусов левого фланга 1-й армии было дано неверное направление, которое в связи с неправильным отрешением от должности генерал-лейтенанта Слюсаренко погубило всю Брезинскую операцию.

Отношение генерал-адъютанта Ренненкампфа к командирам корпусов и другим генералам было некорректное, иногда оскорбительное. Такое отношение в связи с угрозами отчислений, с одной стороны, и неопределенностью и неясностью собственных его приказаний – с другой, не могло не действовать угнетающим образом на предприимчивость и бодрость духа его ближайших помощников и сотрудников, что, в свою очередь, не могло не отозваться пагубным образом на успехе боевой работы. Это был действительно, как выражается генерал-адъютант Рузский, непрерывный "кошмар".

Отношение к войскам было какое-то странное. Если и признать верным то, как утверждают некоторые свидетели, что он умел говорить с солдатами и подойти к ним, то, с другой стороны, бросается в глаза полное неуважение к солдатскому отдыху. Войска 1-й армии, а в особенности V и VI сибирские корпуса, были буквально замотаны, а потому не могли, конечно, дать того боевого упорства, которое дают войска, незамотанные и с умением втянутые в боевую работу».

В заключении комиссии указывалось на чрезвычайно сложное положение, в котором оказались русские войска. К ночи 3 ноября 1-я армия была с большими потерями отброшена превосходящими силами противника к Висле, едва удержав свой правый фланг впереди Плоцкой переправы, а 2-я армия оттеснена на юг в район Озорков–Ласк. В результате между правым флангом 2-й армии и левым флангом 1-й армии образовался разрыв в 40 верст.

Немецкие войска продолжали настойчиво теснить соединения 2-й русской армии. Положение могло изменить коренным образом наступление войск 1-й русской армии. В материалах комиссии отмечалось, что исходное стратегическое положение 1-й армии позволяло ей перейти в наступление. Поэтому решительный переход в наступление с целью разбить германскую армию явился совершенно естественным. На долю 1-й армии, вследствие проведенного неприятелем обхода правого фланга 2-й армии на Брезины, выпадала решающая роль в предстоящей наступательной операции. Но командующий 7 ноября потребовал вести энергичное и настойчивое наступление в ранее указанных направлениях с целью достигнуть линии Полоцк–Гостынин–Кутна–Пионтек–Стрыков.

Таким образом, проявилось прежнее стремление достигнуть одновременно две несовместимые цели – не оторваться от плацдармов на Висле и воссоединиться на фронте шириной 100 верст до фланга 2-й армии. Ходом последующих событий была подтверждена несостоятельность подобных расчетов. Хотя на отдельных участках войска 1-й армии имели некоторый успех, общая задача армии так и не была решена.

Положение 2-й и 1-й армий становилось все тяжелее. Начальник штаба фронта генерал В.А. Орановский довел приказание Главнокомандующего Северо-Западного фронта генерал-адъютанта Рузского Ренненкампфу о том, чтобы тот немедленно принял командование над группой корпусов генералов Чурина и Васильева, добился движения вперед и нанес немцам удар, невзирая на потери (как видим, и здесь история повторяется: так же действовали и в годы Великой Отечественной войны). 10 ноября Ренненкампф отдал боевой приказ по армии, в котором армейский и сводный корпуса нацеливались на линию Згерж–Лодзь–Рзгов, находящуюся глубоко в середине русских войск. Между тем было в точности известно уже с 7 ноября, где именно находился неприятель, и можно было взять на него верное направление. И теперь, когда настал последний момент, чтобы разрубить завязавшейся у Брезин узел, когда от выбора правильного направления главного удара войск зависел успех всей операции, войскам давалось неверное направление, что и привело к неудаче всей операции.

А немцы тем временем пошли на Брезины и обрушились всей силой на левый фланг русских войск. Находившиеся по соседству колонны пехоты генералов Зубковского и Тернавского и четыре кавалерийские дивизии на выручку к ним не подошли. Объединяющей их действия команды общего начальника не было.

Членами комиссии был сделан вполне обоснованный вывод о том,

что просчеты Ренненкампфа были налицо. Что касается подчиненных Ренненкампфу пехотных и кавалерийских генералов, комиссия пришла к следующему заключению: при большой собственной инициативе, а в особенности, если бы им было ясно поставлены задачи, они могли, а следовательно, должны были выручить своего командующего армией и спасти положение.

Для нас вывод звучит так: 11 ноября узел Брезинской операции был распутан. Но ни та, ни другая сторона не получила преимуществ. И русские, и немцы восстановили свои сообщения. Немцы не смогли захватить обойденную ими с фланга и тыла 2-ю армию, а войска 1-й армии не сумели захватить совершенно окруженный уже отряд немцев в 2,5 корпуса.

Возвращаясь к исходному стратегическому положению войск 1-й армии, представители комиссии отметили (и с этим можно согласиться): для слабо обученных войск была поставлена вполне выполнимая задача – оборонительная. Однако вместо этого командующий 1-й армией непрерывно и хаотично чередовал наступление, отступление и оборону. Таким образом, последняя возможность одержать победу была опять упущена.

Изученные документы и анализ обстановки с современных позиций позволяют прийти к следующим выводам:

1) Особенности военных действий на северном крыле русско-германского фронта в начале первой мировой войны были присущи также военным действиям и на других участках русско-германских фронтов. Эти особенности были обусловлены многими факторами экономического, научно-технического и собственно военно-стратегического характера.

2) Военные планы Германии и России строились в расчете на достижение поставленных целей в кратчайшие сроки. Эти расчеты не оправдались. Вместо завершения войны в течение трех-четырех месяцев действия на русском фронте затянулись, не принеся воюющим сторонам сколько-нибудь значительных успехов. В то же время потери в людях и технике были огромны. Стороны вынуждены были отказаться от ведения стратегического наступления и перейти к позиционной стратегической обороне.

3) В первые месяцы войны ("маневренный период") при ведении как наступательных, так и оборонительных операций чаще всего обнаруживалось отсутствие поддержания необходимого взаимодействия между полевыми армиями. Основное оперативное объединение – фронт, впервые созданное накануне войны, не сумело обеспечить, решить главную проблему воплощения единого замысла фронтовой операции. Не было должного взаимодействия и между фронтами, они оставались на протяжении всей войны слишком автономными и вносили в действия войск много путаницы, неразберихи и несогласованности в решениях.

4) В сражениях первых месяцев войны наглядно проявились возросшие возможности артиллерии, особенно гаубичной и тяжелой. Однако чаще всего в бою отсутствовало тесное взаимодействие между артиллерийскими частями и пехотой.

5) В 1914 г. уже довольно широко применялась и новая боевая техника, в частности, авиация (в основном для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня). Выявилось большое значение автомобильного транспорта. Возросло значение средств связи, инженерных войск.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на неудачи первых недель войны в первой мировой войне, русский фронт во многих отношениях сыграл определяющую роль. Он оттянул на себя основные силы австро-германской армии. Если в августе на русском фронте находилось всего 14 германских и 28 австрийских дивизий, то к концу 1914 г. их общее число почти удвоилось, что позволило союзникам по Антанте осуществить свои тактические замыслы.

В условиях, когда масштабы операций резко увеличились, а управление войсками значительно усложнилось, особо важное значение в достижении успеха имели согласованные действия главнокомандующего фронтом и его штаба с командующими армиями. Всесторонняя своевременная оценка противника и на ее основе принятие адекватного решения, решительность в его осуществлении, разумное сочетание единоначалия с предоставлением подчиненным инициативы – вот те главные качества, которые стали определяющими для полководца в начале нынешнего столетия и остаются незыблемыми и сегодня.

И последнее. Провал Восточно-Прусской операции был обусловлен издержками военной теории, характерной для всей первой мировой войны и всех ее участников. Это был крах исходных представлений о войне, проявившийся у немцев в "плане Шлиффена", у французов – в "плане № 17", у русских – в расчетах на обязательную скорую победу. Следствием этого стали события на Марне, в Восточной Пруссии, Галиции. Ни один из стратегических расчетов воюющих держав не оправдался. Вся европейская военная философия рухнула за считанные недели. Все были вынуждены искать что-то другое. Никто не оказался готов к тяжелой позиционной войне. Обе стороны несли чудовищные потери. Уже одно это было невиданным военным потрясением, неожиданной для всех моральной и политической катастрофой.

[1] *Гренер Ф.* Завещание Шлиффена: (Оперативные исследования по истории мировой войны) / Пер. с нем. М., 1937; *Тирпиц А.* Из воспоминаний / Пер. с нем. М.; Л., 1925; *Людендорф Э.* Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. / Пер. с нем. Т. 1–2. М., 1923–1924; *Гинденбург П.* Воспоминания / Пер. с нем. Пг., 1922; *Фалькенгайн Э.* Верховное командование 1914–1916 гг. в его важнейших решениях / Пер. с нем. М., 1923; *Гофман М.* Война упущенных возможностей / Пер. с нем. М.; Л., 1925; *Pershing J.* My Experiences in the World War. Vol. 1–2. N.Y., 1931.

[2] Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 1–7. М., 1920–1923; *Зайончковский А.М.* Мировая война 1914–1918 гг. 3-е изд. Т. 1–3. М., 1938, 1939; *Вержховский Д.В., Ляхов В.Ф.* Первая мировая война 1914–1918 гг.: Военно-исторический очерк. М., 1964; История первой мировой войны 1914–1918. Т. 1–2 / Под ред. И.И. Ростунова. М., 1975.

[3] Восточно-Прусская операция: Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914–1917 гг.). М., 1935; Варшавско-Ивангородская операция: Сб. док. М., 1938; Лодзинская операция: Сб. док. М., 1941; Наступление Юго-Западного фронта в мае–июне 1916 года: Сб. док. М., 1940.

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ

А.В. Шишов

Пламя первой мировой войны перекинулось из Европы на Ближний Восток в первые же месяцы после ее начала. Вступление в войну Турции на стороне стран Центрального блока повлекло за собой образование на Ближневосточном театре военных действий сразу нескольких фронтов: Кавказского, Месопотамского, Палестино-Сирийского. Как показал ход войны, наиболее масштабные и активные боевые действия развернулись на русско-турецком Кавказском фронте.

Военные действия со стороны Турции начались внезапно, без объявления войны противной стороне. 29 октября 1914 г. турецкие и германские корабли под командованием немецкого адмирала Сушона приступили к набеговой операции против черноморских портов России. Германские крейсера "Гебен" и "Бреслау" бомбардировали с дальней дистанции главную базу русского Черноморского флота Севастополь, портовые города Феодосию и Новороссийск. В одесской гавани турецкие миноносцы беспрепятственно потопили русскую канонерскую лодку "Донец"[1].

В ответ на такие открыто враждебные действия сопредельного государства Россия объявила войну Турции. В ночь на 2 ноября русские войска передовыми отрядами на ряде направлений перешли государственную границу. Корпуса и отдельные отряды Кавказской армии пришли в наступательное движение.

В тот же день значительные силы заранее отмобилизованных турецких войск перешли в наступление в направлении Карса и вторглись в Батумскую область, рассчитывая здесь на вооруженную поддержку аджарцев-мусульман[2]. Одновременно турки начали быстрый захват части иранского Азербайджана, чтобы оттуда выйти во фланг русской армии.

Только 12 ноября Турция официально объявила "Джихад" (Священную войну) Великобритании, Франции и Российской империи. По подсчетам русского Генерального штаба, Турция в случае войны могла выставить в соединениях и частях первой очереди 750 тыс. человек. Всего неприятель мог поставить под ружье 1300 тыс. человек. К началу военных действий численность султанской армии достигала примерно 780 тыс. человек[3].

В 1914 г. отмобилизованные турецкие войска организационно были сведены в пять полевых армий: 1-я, 2-я (переброшенная затем на Кавказ) и 5-я защищали столицу Стамбул, Проливы и Черноморское побережье Малой Азии. 4-я армия обороняла Палестину и Сирию с юга от британских войск. В Западной Армении для действий против России на горном театре военных операций была развернута сильная по составу 3-я армия. В Месопотамии действовала 6-я армия.

© А.В. Шишов

Верховным главнокомандующим вооруженными силами Турции номинально считался султан Мехмед V. Фактически же вооруженными силами страны руководил министр обороны Энвер-паша. Начальником Генерального штаба был полковник (впоследствии генерал) Бронзарт фон Шеллендорф. Многочисленные германские специалисты обучали турецкую армию и флот, разрабатывали планы военных операций, являлись советниками высших военных чинов.

Командовал 3-й турецкой армией Гасан Изет-паша, опытный военачальник. Армия состояла из трех пехотных корпусов (9-го, 10-го и 11-го), одной кавалерийской и четырех или пяти конных курдских дивизий, пограничных и жандармских частей. Всего противник к началу войны имел на русском Кавказском фронте 100 пехотных батальонов, 165 эскадронов кавалерии и конных курдских сотен, 244 орудия[4].

При развертывании 3-й армии основные ее силы были заблаговременно сосредоточены в районе Эрзурума, главной тыловой базы турок. Для усиления 3-й армии из Месопотамии подтягивалась пехотная дивизия, входившая в состав расположенного там 13-го пехотного корпуса, действовавшего против англичан. Высшее турецкое командование ставило перед своей отмобилизованной 3-й армией следующую стратегическую задачу: наступая в направлении Карса, разбить русскую армию под Сарыкамышем и первоначально захватить города Ардаган и Батум. Тем самым турецкая армия получала оперативный простор для своих последующих операций в Закавказье. Если же состоится решительное наступление русских войск (султанское командование предусматривало и такой вариант), то 3-й армии ставилась задача не допустить глубокого проникновения противника на территорию Турции. В таком случае русскую Кавказскую армию следовало решительно контратаковать. И в конечной операции окружить ее главные силы восточнее Эрзурума и нанести им полное поражение в приграничье.

Русская Кавказская армия к началу боевых действий имела в своем составе 1-й Кавказский, 2-й Туркестанский корпус, 66-ю пехотную дивизию, две казачьи дивизии, две бригады и другие части. Общая численность кавказских войск составляла 153 пехотных батальона, 175 конных сотен, 12 саперных рот, 350 полевых орудий и 5 батальонов крепостной артиллерии. Всего – свыше 170 тыс. человек[5]. Номинально командовал армией царский наместник на Кавказе престарелый граф И.И. Воронцов-Дашков. Начальником армейского штаба был генерал Н.Н. Юденич, фактически командовавший Кавказской армией и впоследствии Кавказским фронтом.

Генеральный штаб Российской императорской армии ставил перед Кавказской армией следующие задачи: не допустить появления турецких войск в Закавказье, а при необходимости главное внимание обратить на оборону важнейшего здесь промышленного центра – Баку и транспортных артерий, ведущих на Северный Кавказ: железной дороги Баку–Владикавказ и Военно-Грузинской шоссейной дороги Тифлис–Владикавказ. Такие задачи Кавказская армия получила на случай самого неблагоприятного исхода военного столкновения с

Турцией. Для выполнения задач, поставленных на начальный период войны, русским войскам надлежало войти в Западную (Горную) Армению, разбить передовые группировки противника и после этого вести активную оборону на занятых приграничных рубежах. Исходя из этого, фронт Кавказской армии первоначально простирался от Черного моря до озера Урмия на линии в 720 км.

В сравнительном отношении план турецкого командования на начальный период войны (в основе которого лежали разработки германских советников) предусматривал более глубокие операции на Кавказском театре военных действий. В Стамбуле правильно (как показал ход войны) рассчитали, что Россия, вступив в войну против Германии и Австро-Венгрии, не сможет бросить на Кавказский фронт сколько-нибудь значительные подкрепления. Для верховного командования России – сперва Генерального штаба, а затем Ставки Верховного главнокомандующего – Кавказский фронт в сложившейся военно-политической ситуации, естественно, не мог являться приоритетным. Поэтому Генеральный штаб решил ограничиться на Кавказе ведением активной обороны, которая на горном театре военных действий не могла потребовать больших затрат.

Действия противоборствующих сторон с первых же дней войны приняли самый решительный характер. И русское военное командование, и турецкое стремились захватить в свои руки стратегическую инициативу, которая могла в дальнейшем предопределить ход войны на Кавказе. Уже в начале ноября начались ожесточенные встречные сражения на главном – эрзурумском направлении. Овладение Эрзурумом позволяло русским войскам нанести удар в направлении Анатолии – центральной части Турции, где было довольно много дорог и можно было использовать крупные силы пехоты и кавалерии. В ходе Кипрейской операции наступающие от Эрзурума турецкие войска крупными силами атаковали в густом тумане русский авангард. Первые дни бои шли с переменным успехом, но в итоге русские нанесли противнику тяжелое поражение. В ходе общего наступления кавказских войск, начавшегося 21 ноября (здесь и далее даты даются по старому стилю), главные силы 3-й турецкой армии оказались отброшенными назад, на исходные позиции.

Наступившие в горах холода и снегопады заставили русское командование приостановить наступательные действия и перейти на время к обороне на занятых рубежах. К тому же туркам удалось скрытно высадить у Хопа десант силой в два полка пехоты и несколько оттеснить русский Приморский отряд к Батуми[6]. Таким образом, при дальнейшем наступлении главных сил Кавказской армии в направлении на Эрзурум возникла угроза появления открытого для противника правого фланга. Приостановка в целом успешного русского наступления подсказала неприятельскому командованию идею окружения главных сил Кавказской армии. Однако расчеты турок не оправдались, хотя задуманная операция готовилась тщательно, с привлечением основных сил 3-й турецкой армии.

В разыгравшейся Сарыкамышской операции 9–25 декабря 1914 г.

русская армия сильным, хорошо организованным контрударом разгромила наступавшую 3-ю турецкую армию, к тому времени заметно пополненную резервами. В ходе операции она оказалась фактически уничтоженной. К 23 января 1915 г. в списочном составе армии оставалось всего 12400 человек. Противник потерял 90 тыс. человек, в том числе 30 тыс. замерзшими в горах вокруг Сарыкамыша. Трофеями победителей стали более 60 орудий. В разгромленной неприятельской армии обнаружилось много дезертиров[7].

Потери русских войск составили боолее 20 тыс. человек убитыми, ранеными и больными (так называемые санитарные потери). Особенно значительными и трудно восполнимыми были потери в офицерском составе. У русских оказалось 6 тыс. обмороженных[8].

Сарыкамышская операция показательна умением русского командования, прежде всего штаба Кавказской армии, наращивать силы в угрожаемом районе. К моменту выхода турецких войск к Сарыкамышу (конечной железнодорожной станции и тыловой базе русских войск) в нем находилось всего две дружины государственного ополчения, железнодорожный эксплуатационный батальон, несколько взводов регулярных войск и два легких орудия. С началом боев русское командование, видя серьезность опасности флангового, через горы, обходного маневра неприятеля, сумело к исходу четвертых суток боев сосредоточить под Сарыкамышем более 22 батальонов пехоты, 8 казачьих сотен при 78 пулеметах и 34 орудиях[9]. Причем, почти все эти силы были взяты с передовой, чего противник установить не смог.

План турецкого командования окружить и уничтожить под Сарыкамышем главные силы русской Кавказской армии полностью провалился и обернулся для противника сокрушительным по своим последствиям поражением. Более того, в дальнейшем турецкому командованию так и не удалось укомплектовать личным составом свою 3-ю армию до прежней численности, хотя такие усилия предпринимались на протяжении всего последующего хода войны.

Победа русского оружия в Сарыкамышской операции имела важное значение для всего Ближневосточного театра военных действий. Высшее военное командование Турции вынуждено было в спешном порядке перебрость к Сарыкамышу часть войск из Месопотамии и Сирии. Тем самым заметно облегчалось положение сражавшихся там английских войск. Британское командование получило возможность ускорить проведение давно задуманной Дарданелльской операции, закончившейся для союзников России неудачей.

Полный разгром 3-й турецкой армии был достигнут во многом благодаря тщательному планированию встречного сражения и умелому оперативному руководству войсками в ходе самой операции. Особо хочется отметить способность командования Кавказской армии идти на разумный риск при снятии частей с передовой, оголяя при этом свой фронт. Планирование боевых действий под Сарыкамышем велось под непосредственным руководством начальника штаба Кавказской армии генерала Н.Н. Юденича. Тем самым он заявил о себе как о видном полководце первой мировой войны.

Посол Франции в России М. Палеолог 6 января 1915 г. записал в своем дневнике: "Русские нанесли поражение туркам вблизи Сарыкамыша, по дороге из Карса в Эрзурум. Этот успех тем более похвален, что наступление наших союзников началось в гористой стране, такой же возвышенной, как Альпы, изрезанной пропастями и перевалами. Там ужасный холод, постоянные снежные бури. К тому же – никаких дорог и весь край опустошен. Кавказская армия русских совершает там каждый день изумительные подвиги"[10].

За зиму противник подтянул к линии фронта свежие силы. Новым командующим 3-й армией стал генерал Махмуд Кемаль-паша. Кавказская же армия, пополнявшаяся в основном за счет Туркестанского военного округа, лишилась одного общевойскового корпуса и одной пехотной дивизии, переброшенных по решению Ставки на Восточный фронт. К началу военной кампании 1915 г. русские войска оказались строго лимитированными в отношении снарядов и патронов. Запас винтовочных патронов на армейских складах составлял по 50 штук на один ствол. Впрочем, и у противника были серьезные проблемы с обеспечением войск огнестрельными припасами.

В Алашкертской операции 26 июня – 21 июля 1915 г. турецкое командование попыталось взять реванш за сокрушительное поражение под Сарыкамышем. Оно заблаговременно сосредоточило на своем правом фланге сильную наступательную группировку в более чем 80 батальонов пехоты, не считая конницы, активизировав диверсионные действия в ближнем тылу русских войск. Русское командование, используя данные армейской разведки, своевременно перебросило на угрожаемый участок, западнее озера Ван, бо́льшую часть 4-го Кавказского корпуса. Эти войска противник и попытался отрезать от главных сил и в конечном итоге уничтожить. Алашкертская операция, характеризовавшаяся широким маневром войск обеих сторон в условиях горной местности, завершилась срывом планов неприятельского командования. В первоначальной стадии боевых действий русские войска под натиском превосходящих сил турок вынуждены были перейти к подвижной обороне. Тем самым противник лишался возможности завершать охватывающие действия. Но и русским не удалось окружить врага в районе Кара-Килис – Алашкерт.

Результатом Алашкертской операции стало упрочение позиционного положения русских войск в районе озер Ван и Урмия. Была оказана помощь восставшему во вражеском тылу армянскому населению. Фронт Кавказской армии сократился на 300 км, что благоприятно сказалось на последовавших затем фронтовых операциях и на снабжении войск, находившихся на передовой.

Чтобы вытеснить турок из азербайджанских провинций Персии и оказать союзническую помощь англичанам, сражавшимся на юге Ирака, русское командование (при полной поддержке нового наместника на Кавказе вел. кн. Николая Николаевича-младшего) провело Хамаданскую операцию 17 октября – 3 декабря 1915 г. Операция осуществлялась силами экспедиционного кавалерийского корпуса генерала Н.Н. Баратова. В состав корпуса входили 3 пехотных

батальона, 39 сотен кубанских и терских казаков, 5 артиллерийских батарей (20 орудий)[11]. Экспедиционный корпус численностью около 8 тыс. человек был переброшен из Баку по Каспийскому морю в персидский порт Энзели и оттуда двумя походными колоннами двинулся в направлении городов Хамадан и Кум. Там и были разгромлены германо-турецкие отряды.

Отказ британского командования на Ближнем Востоке от совместных с русскими действий в направлении Багдада привел к поражению союзников. 22 ноября турецкая группировка войск "Ирак" нанесла сильный контрудар по англичанам и заставила их отступить к Кут-Эль-Амара. В апреле следующего, 1916 г., британские войска во главе с генералом Таусендом там капитулировали.

1916 год на Кавказском фронте стал годом решающих побед русского оружия. В ходе четырех последовательно проведенных наступательных операций – Эрзурумской, Трапезундской, Эрзинджанской и Огнотской войскам Турции были нанесены новые крупные поражения, хотя на Кавказском фронте к тому времени действовали уже две неприятельские армии – 3-я и 2-я. Последняя оказалась здесь после провала Дарданелльской операции союзников и переброски их войск на Салоникский фронт. Это высвободило значительные военные силы Турции, сконцентрированные на Галлиполийском полуострове: удар по Стамбулу с юга не состоялся.

Первая операция – Эрзурумская – проводилась в зимних условиях. Поэтому командование приняло все меры для обеспечения войск теплой одеждой. Каждый боец получил короткий полушубок, стеганые на вате шаровары, теплые портянки и пару валенок, папаху с отворачивающимся назатыльником, варежки и шинель. По опыту боев в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. были заготовлены маскировочные белые коленкоровые халаты и чехлы на шапки. Выдавались защитные очки, чтобы яркое солнце не слепило глаза. Поскольку наступать предстояло в безлесной местности, каждый солдат нес с собой два полена дров[12].

В Эрзурумской операции (28 декабря – 3 февраля 1916 г.) внезапность сосредоточенного удара русских войск была достигнута за счет мер оперативной маскировки и дезинформации турок. Велась активная разведка с воздуха. В армии было развернуто 17 метеорологических станций. При штабе фронта создали радиогруппу оперативной связи. Работали узкоколейки конной и паровой тяги, снегоочистительные команды на дорогах. Для осуществления задуманного плана русское командование создало ударную армейскую группу в составе 24 батальонов пехоты, 14 конных сотен при 68 орудиях[13]. Этой группе ставилась задача прорвать фронт 3-й турецкой армии в направлении на Эрзурум. Главные силы этой армии прикрывали Эрзурумскую крепость и оборонялись на 100-километровом приграничном, горном, хорошо укрепленном рубеже. Фланги его упирались в труднодоступные зимой хребты, надежно обеспечивавшие эрзурумскую позицию от обходов.

Кавказская армия имела в своем составе 118 батальонов пехоты, 23 дружины государственного ополчения, 104,5 эскадрона и сотни конницы, 338 орудий, 10 самолетов и 150 грузовых автомобилей[14]. Все

эти силы и средства были расположены на огромном по ширине и глубине фронте. 3-я турецкая армия насчитывала в своих рядах 121,5 пехотных батальона, 78 кавалерийских эскадронов и курдские части (племенные конные ополчения) – всего 80 226 человек. Она имела 56 195 штыков при 150 орудиях и 77 пулеметах[15].

При штурме крепости Эрзурум 3-я турецкая армия вновь утратила свою боеспособность, потеряв в ходе сражения более половины личного состава и почти всю артиллерию. 3 февраля русские войска ворвались в саму крепость. Здесь было захвачено около 300 орудий, пленено 137 офицеров и до 8 тыс. солдат противника. Конечный успех глубокой наступательной Эрзурумской операции был достигнут благодаря правильному выбору направления главного удара, самоотверженности войск и надежной материальной подготовке. Последнее потребовало огромных усилий и средств доставки из-за растянутости фронтовых коммуникаций в зимних горных условиях. За Эрзурумскую операцию командующий Кавказской армии был удостоен Военного ордена Святого великомученика и победоносца Георгия II степени – высокой полководческой награды Российской империи. Так был оценен личный вклад в одержанную победу генерала Н.Н. Юденича.

Крепость Эрзурум являлась единственным укрепленным районом в Малой Азии. С овладением им перед русской Кавказской армией приоткрывались ворота через Эрзинджан в Анатолию – центральную часть собственно Турции. Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М.В. Алексеев отмечал: "Этот успех приобрел на Ближневосточном театре особую значимость на фоне неудач в ходе Дарданелльской операции и наступления англичан в Месопотамии"[16]. Утрата Турцией Эрзурумской крепости и понесенные в ходе сражения большие потери потребовали переброски туда новых подкреплений, что значительно облегчило положение англичан, которые сражались у Суэцкого канала и в Южном Ираке.

После Эрзурумской операции, в которой русские войска потеряли всего 10 процентов личного состава, содружество стран Антанты получило новое развитие. 4 марта 1916 г. было заключено англо-франко-русское соглашение о "целях войны России в Малой Азии". Россия получала район Константинополя (Стамбула). Проливную зону и северную часть Турецкой Армении, исключая город Сивас. Одновременно она признавала право Великобритании занять своими войсками нейтральную центральную часть Персии. Державы Антанты лишили Турцию "Святых мест" – Палестины[17].

Спустя месяц после начала Эрзурумской операции русские войска приступили к новой наступательной операции – Трапезундской. Вперед пошел приморский фланг Кавказского фронта. Операция проводилась с 23 января по 5 апреля 1916 г. Трапезундская операция примечательна тем, что здесь наступательные действия сухопутных войск велись в тесном взаимодействии с Черноморским флотом, оказавшим Приморскому отряду Кавказского фронта всемерную поддержку. От Черноморского флота в Трапезундской операции участвовали значительные силы. Помимо малых кораблей Батумской военно-морской базы, в

огневой поддержке десантных сил с моря участвовали линейный корабль, 2 эсминца, 2 миноносца и несколько канонерских лодок[18]. В ходе Трапезундской операции с черноморских кораблей был высажен десант в Ризе и Хамуркане силами двух Кубанских пластунских бригад (18 тыс. человек, 12 орудий). Благодаря десанту численность Приморского отряда возросла до 32,5 тыс. чел. при 38 орудиях[19]. В итоге турецкий гарнизон бежал из Трапезунда без боя.

Попытки султанского командования силами значительно пополненной 3-й армии и свежей 2-й армии восстановить положение в ходе Эрзинджанской наступательной операции русских (17 мая – 12 июля) успеха не имели. Командование Кавказской армии сумело упредить неприятеля, стремившегося вернуть себе Эрзурум. Русские войска несколькими контрударами нанесли туркам поражение, умело проведя маневр 2-м Туркестанским корпусом.

С наступлением зимних холодов воюющие стороны до весны перешли к ведению позиционной обороны. Несмотря на постройку в течение лета на главных направлениях узкоколейных и конножелезных дорог, снабжение русских войск становилось все более затруднительным. К этому добавилось и отсутствие топлива в обширных безлесных районах, занятых Кавказской армией.

Итоги кампании 1916 г. на Кавказском фронте превзошли все ожидания русского командования и союзников России в войне. Поставив перед собой первоначально цель ослабить 3-ю турецкую армию, русские войска в ходе ряда следовавших одна за другой наступательных операций трижды ее разгромили. При этом потери турецких войск в личном составе оказались настолько серьезными, что неприятельское командование вынуждено было сводить некоторые корпуса в дивизии, а дивизии – в полки, да и то не полного состава.

По сути дела всего за полгода активных боевых действий на крайне сложном горном театре войны, почти не имевшем удобных путей сообщений, русская армия продвинулась в глубь территории Турции на 250 км. При этом удалось овладеть целым рядом стратегически важных пунктов – крепостью Эрзурум, черноморским портом Трапезунд и городом Эрзинджан, откуда открывались прямые пути в Анатолию. Более того, появились неплохие перспективы для дальнейшего продвижения вперед, прежде всего на Сивас и дальше на Анкару.

Сильные удары русских войск в 1916 г. отвлекли на Кавказский фронт значительные турецкие резервы, что заметно облегчало положение союзников России на Ближневосточном театре военных действий. К началу 1917 г. против русского Кавказского фронта действовали до 29 турецких пехотных дивизий, т.е. 54% всех сухопутных войск Турции[20]. По числу солдат и офицеров 2-я и 3-я турецкие армии превосходили 1-ю, 4-ю, 5-ю и 6-ю вместе взятые, которые сражались против союзников России. На Кавказском фронте турецкое командование израсходовало до 33% подготовленных пополнений, ослабив тем самым другие фронты[21]. Бо́льшая часть курдских племенных воинских формирований также находилась здесь.

Русская Кавказская армия, в ходе первой мировой войны развер-

нутая в полнокровный фронт, полностью выполнила поставленную перед ней Ставкой Верховного главнокомандующего задачу – обеспечить безопасность российского Закавказья от вторжения турецких войск. Боевые операции – как наступательные, так и оборонительные – велись на огромном фронте. Его протяженность к концу 1916 г. превышала 1000 км (с учетом полосы расположения русского экспедиционного корпуса генерала Н.Н. Баратова в Персии). При этом во всех встречных сражениях и наступательных операциях турецким армиям неизменно наносились крупные поражения.

Примечателен такой факт. Из четырех русских полководцев первой мировой войны (генерал от артиллерии Н.И. Иванов, генерал от кавалерии вел. кн. Николай Николаевич-младший, генерал от инфантерии Н.В. Рузский, генерал от инфантерии Н.Н. Юденич), награжденных орденом Святого Георгия II степени, один – Н.Н. Юденич воевал на Кавказском фронте. В высочайшем приказе о его награждении говорилось:" ...В воздаяние отличного выполнения, при исключительной обстановке, блестящей боевой операции, завершившейся взятием штурмом Деве-Бойнской позиции и крепости Эрзурума 2 февраля 1916 года"[22].

В самом начале 1917 г. по просьбе англичан войска левого фланга Кавказского фронта оказали давление на фланг и тыл 6-й турецкой армии. Русские войска 2 февраля перешли в наступление на Багдадском и Пенджвинском направлениях. В итоге операции 1-й Кавказский корпус вышел к границам Месопотамии (Ирака), а 7-й Кавказский корпус – к Пенджвину. Английские войска, действовавшие на юге Ирака, умело использовали поддержку со стороны русских и в конце февраля заняли Багдад.

В целом же в 1917 г. на Кавказском фронте стояло позиционное затишье. Противник оказался лишенным возможности вести наступательные действия даже на ограниченных участках фронта, а русская армия на четвертый год войны тоже не могла наступать в глубь Турции из-за немалых потерь в личном составе и трудностей с подвозом продовольствия, фуража, дров и огневых припасов, а также большого падежа лошадей. К началу 1917 г. в частях Кавказского фронта выбыло из строя свыше 100 тыс. человек, хотя благодаря санитарным мероприятиям и удавалось вернуть большинство больных тифом и цингой в строй. Никакие пополнения (а в условиях первой мировой войны для Кавказа они не были и не могли быть значительными) не восполняли такую огромную убыль в людях[23].

Кавказский фронт находился в состоянии стабилизированного покоя до 12 февраля 1918 г. В тот день турецкое командование нарушило ранее заключенное перемирие и развернуло крупное наступление с целью захвата Закавказья и персидского Южного Азербайджана. Дело в том, что заключение советским правительством сепаратного Брестского мирного договора и поспешная ликвидация старой русской армии привели к развалу всех фронтов и армий. Такая же участь постигла и войска Кавказского фронта. К тому же распропагандированные воинские части переставали быть боевыми единицами.

Последствия подобных действий советского правительства не заставили себя долго ждать. Незамедлительно последовало вторжение войск Германии и Австро-Венгрии в Европейскую часть России. А турецких и германских войск – в Грузию, Армению и Азербайджан. Вооруженного сопротивления им почти не оказывалось, по крайней мере – должного.

Все позиции, завоеванные ценой больших людских потерь русской Кавказской армией и Кавказским фронтом в начальный период первой мировой войны, оказались утраченными в 1918 г. за считанные недели. В довершение ко всему войска ставших независимыми государств Азербайджана и Грузии устроили так называемую Шамхорскую резню, напав в районе железнодорожной станции Шамхор на эшелоны демобилизованных русских войск.

Русский Кавказский фронт в истории первой мировой войны дал поучительные образцы встречных сражений и наступательных операций армии старой России, проведенных в условиях горного театра военных действий в том числе и зимой. Хорошо спланированные и подготовленные армейские и фронтовые операции, особенно в военной кампании 1916 г., позволили неоднократно наносить полное поражение турецким армиям и далеко продвинуться на территорию противника. Тем самым оказывалась существенная и своевременная помощь союзным английским войскам на Ближневосточном театре военных действий. Россия выполняла союзнические обязательства перед другими членами Антанты.

История боевых действий на Кавказском фронте обогатила военное искусство Российского Отечества как в области тактики, так и стратегии, вызвала к жизни немало дискуссионных проблем в военном знании. Осмысление и разрешение их остается одной из задач современной военно-исторической науки.

[1] *Лиддел Гарт Б.* Правда о войне 1914–1918 гг. М., 1935. С. 122–123.
[2] *Корсун Н.Г.* Первая мировая война на Кавказском фронте. Оперативно-стратегический очерк. М., 1946. С. 5.
[3] История первой мировой войны. 1914–1918: В 2-х т. М., 1975. Т. I. С. 388.
[4] *Корсун Н.Г.* Указ. соч. С. 392.
[5] *Масловский Е.В.* Мировая война на Кавказском фронте. 1914–1917 гг. Стратегический очерк. Париж, 1933. С. 434.
[6] История первой мировой войны. 1914–1918. Т. I. С. 394.
[7] *Масловский Е.В.* Указ. соч. С. 123, 133.
[8] Там же. С. 126.
[9] *Корсун Н.Г.* Сарыкамышская операция на Кавказском фронте мировой войны в 1914–1915 годах. М., 1941. С. 83.
[10] *Палеолог М.* Царская Россия во время мировой войны. М., 1991. С. 8.
[11] *Корсун Н.Г.* Алашкертская и Хамаданская операции на Кавказском фронте мировой войны в 1915 г. М., 1940. С. 171.
[12] Первая мировая война в жизнеописаниях военачальников. М., 1994. С. 229.
[13] История первой мировой войны. 1914–1918. Т. II. С. 222.
[14] *Корсун Н.Г.* Первая мировая война на Кавказском фронте. С. 51.
[15] *Корсун Н.Г.* Эрзурумская операция на Кавказском фронте мировой войны в 1915–1916 гг. М., 1938. С. 27, 29.
[16] *Зайончковский А.М.* Мировая война 1914–1918 гг. М., 1938. Т. II. С. 35.

[17] Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2417. Оп. 6. Д. 17. Л. 224.
[18] Первая мировая война в жизнеописаниях военачальников. С. 237.
[19] *Корсун Н.Г.* Первая мировая война на Кавказском фронте. С. 58.
[20] Там же. С. 77.
[21] История первой мировой войны. Т. II. С. 228.
[22] Кавалеры императорского военного ордена Святого великомученика и победоносца Георгия I и II степеней (1769–1916). Рига, 1993. С. 316.
[23] *Корсун Н.Г.* Первая мировая война на Кавказском фронте. С. 79.

ЛЕТНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ 1917 ГОДА В ПЛАНАХ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

А.П. Жилин

Кардинальные изменения, происшедшие в последние годы в социально-экономической и политической жизни нашей страны, требуют переосмысления, казалось бы, уже устоявшихся оценок и взглядов на многие проблемы отечественной истории, особенно в ее судьбоносные периоды. К таким проблемам безусловно относится история первой мировой войны. Исторически сложилось так, что революционные потрясения в России и события первой мировой войны, прежде всего военные операции на Восточном фронте в 1917 г., оказались тесно переплетены. Их взаимовлияние и взаимосвязь у большинства исследователей не вызывает сомнений. Наступление русской армии летом 1917 г., став одновременно одним из переломных этапов в развитии русской революции, в немалой степени негативно повлияло на весь дальнейший ход событий в России. И если военно-стратегические сюжеты, связанные с планированием и осуществлением наступления, изучены достаточно подробно, то его политическая сторона (ради чего в первую очередь и предпринималась эта военная операция), отражена, на наш взгляд, еще не совсем полно.

Отечественная историография в оценке политических целей наступления ограничивалась в основном следующим утверждением: наступательная операция русской армии летом 1917 г., предпринятая Временным правительством, должна была укрепить власть буржуазии в стране, а также удовлетворить требования союзников об активизации военных действий на Восточном фронте. Однако организаторы наступления – Временное правительство, Верховное командование, политические партии – предусматривали вместе с ним достижение также собственных и притом далеко не одинаковых целей. В настоящей статье предпринята попытка на основе архивных материалов более детально рассмотреть политические цели и планы генералитета, связанные с активизацией военных действий на русско-германском фронте летом 1917 г.

© А.П. Жилин

Подготовка наступления на русском фронте продолжалась более полугода. Впервые вопрос о необходимости его проведения рассматривался еще в ноябре 1916 г. на межсоюзнической конференции стран Антанты в Шантильи. Конференция приняла решение об осуществлении союзническими армиями совместных согласованных операций в 1917 г. Представители Верховного командования стран Антанты, разрабатывая общий стратегический план, "стремились придать кампании 1917 года решающий характер"[1]. Военные итоги 1916 г. давали основания для такого оптимистического заявления. Успешное наступление русского Юго-Западного фронта летом 1916 г., вошедшее в историю первой мировой войны как "Брусиловский прорыв", а также боевые действия армий западных союзников на р. Сомме привели к тому, что стратегическая инициатива перешла в руки Антанты.

Один из видных специалистов по истории первой мировой войны А.М. Зайончковский охарактеризовал 1916 г. как время более заметного истощения сил Центральных держав по сравнению с Антантой, что предрешало исход войны в пользу последней. А.М. Зайончковский писал: "В общем 1916 г. был годом перелома, подорвавшим в корне военную мощь Центральных держав и, наоборот, доведшим силы Антанты до кульминационного развития. Это был год, определивший победу Антанты в будущем"[2]. В предстоящей кампании 1917 г. важная роль отводилась активным действиям русской армии, которая должна была приковать к своему фронту значительные силы противника и тем самым содействовать наступательным операциям союзников на Западе. По мнению участников конференции, именно туда перемещался центр военных событий в 1917 г.[3]

Русская Ставка, руководствуясь поставленными в Шантильи задачами, разработала на основе предложений главнокомандующих фронтами доклад о будущем наступлении на Восточном фронте. 24 января 1917 г. Николай II, являвшийся тогда Верховным главнокомандующим русской армией, утвердил этот доклад[4]. Главный удар намечалось нанести силами Юго-Западного фронта в направлении на Львов. Остальным фронтам предписывалось осуществление вспомогательных ударов. Время перехода русских войск в наступление было установлено на очередной конференции союзников, состоявшейся в январе–феврале 1917 г. в Петрограде. Несмотря на разногласия участников по этому вопросу, конференция приняла решение развернуть наступление на всех фронтах между 1 апреля и 1 мая, причем последняя дата признавалась предельной всеми союзниками[5].

Следует отметить, что вплоть до февраля 1917 г. царское правительство и Ставка руководствовались желанием окончить войну путем разгрома противника. На Петроградской межсоюзнической конференции члены военной комиссии вполне определенно заявили, что кампания 1917 г. должна создать такое положение, при котором решающий успех союзников был бы вне всякого сомнения[6]. Так, главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал А.А. Брусилов в письме от 23 января 1917 г. на имя начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала М.В. Алексеева утверж-

дал: "Кампанию нужно выиграть во что бы то ни стало"[7]. Оценивая стратегическую значимость предстоящего наступления, Брусилов полагал, что оно призвано решить участь всей кампании 1917 г. и существенно повлиять на исход войны в целом[8]. На важность активных действий на русско-германском фронте указывали и другие военачальники. Главнокомандующий Западным фронтом генерал В.И. Гурко в шифрованной телеграмме в Ставку от 23 марта 1917 г. следующим образом выразил свое мнение: "Полагаю, что как бы ни были мы бедны средствами, все же лучше и выгоднее наступать даже без полной уверенности в успехе, чем уступить инициативу в руки противника"[9].

Следует отметить, что уже в начале весны 1917 г. Верховное командование русской армии было вынуждено поменять приоритеты при определении целей наступления, поставив на первое место политические мотивы. Тот же генерал Гурко в цитированной выше телеграмме высказался со всей убежденностью: "Мы обязаны оказать союзникам активную помощь и только в этом случае мы можем требовать от них выполнения взятых на себя ими обязательств. Если же они увидят нашу неспособность к активным действиям, если они придут к сознанию, что наше государственное расстройство сделало армию и страну небоеспособной, то они будут считать себя свободными от принятых по отношению к нам обязательств"[10]. Более того, прогнозируя дальнейшие отношения между державами Антанты в случае отказа от проведения наступления русской армии, Гурко пришел к выводу, что союзники, считая себя свободными от обязательств перед Россией, легко смогут заключить выгодный для них сепаратный мир с немцами, поскольку последние вполне могут быть удовлетворены за счет России как в Европе, так и на Ближнем Востоке[11].

Насколько перспектива заключения сепаратного мира весной 1917 г. соответствовала действительности, сказать трудно. Скорее всего высказывания союзников о подобном исходе войны следует расценивать как одно из средств их воздействия на Верховное командование русской армии для активизации подготовки наступления на Восточном фронте. Как свидетельствуют документы, правительства западных держав больше всего беспокоились о сохранении России как надежной союзницы в войне. Более того, членам западных делегаций на Петроградской конференции предполагалось дать инструкции, обязывающие их настаивать на создании "единого фронта союзников", причем под этим подразумевалось объединение всех материальных ресурсов Антанты[12]. Так, например, английское правительство, обсуждая состав делегации, стремилось к тому, чтобы она была как можно более авторитетной и могла убедить русских в необходимости единства и подлинного сотрудничества на востоке и западе. При этом союзники исходили из того, что единственный шанс на подлинный успех кампании 1917 г. заключается в полном и эффективном сотрудничестве с Россией[13].

Масштабы готовящегося наступления благодаря большому количеству перебежчиков и разведданным не являлись тайной для германского верховного командования. Генерал Людендорф, фактически

руководивший с августа 1916 г. действиями всех вооруженных сил Германии, в своих воспоминаниях констатировал: "У Антанты не являлось ни намека на отказ от мысли уничтожить нас"[14]. Оценивая возможные последствия наступления, он вынужден был признать, что план русского наступления был задуман широко. "Я отнюдь не являюсь сторонником бесполезных обсуждений, – подчеркивал германский генерал, – но я все же должен дать себе отчет в том, как сложилась бы обстановка, если бы русские в апреле или мае перешли в наступление и одержали хотя бы незначительные успехи. Мы оказались бы тогда, как осенью 1916 года, втянутыми в чрезвычайно тяжелую борьбу"[15].

Говоря о взаимоотношениях стран Антанты весной 1917 г., следует отметить, что западные союзники стремились любой ценой сохранить союз с Россией и заставить ее вести активные боевые действия, опасаясь, что появление пацифистских тенденций в ней после Февральской революции может стать гибельным для продолжения войны. Однако эти опасения западных союзников оказались напрасными. Временное правительство, пришедшее к власти в ходе Февральской революции, несмотря на определенные разногласия между некоторыми его членами о целях войны, декларировало тем не менее свою приверженность обязательствам, принятым в отношении союзников его предшественниками, а также твердое намерение продолжать войну до победного конца. Возобновление активных боевых действий на фронте должно было упрочить положение Временного правительства, усилить его влияние на международной арене, а главное – укрепить его власть власть и позиции в стране. Решение многих внутриполитических задач связывалось с проведением наступления. Именно в ходе его подготовки и осуществления Временное правительство намеревалось ликвидировать в стране двоевластие, советы, солдатские комитеты и расправиться с наиболее радикально настроенными политическими партиями. По признанию одного из комиссаров Временного правительства, В.Б. Станкевича, для достижения этих целей «лучшим выходом было бы в смысле внутренней политики, если бы наступление начал сам противник. Но он не наступал. Значит, надо было двинуться на него и ценою войны на фронте купить порядок в тылу и в армии. Во имя "мира всего мира" был дан лозунг: "Вперед на врага!"[16]» Осенью 1917 г. тогдашний министр иностранных дел М.И. Терещенко в своей телеграмме дипломатическим представителям за рубежом, обосновывая задним числом правильность принятого Временным правительством весной решения о проведении наступления, писал: "Было совершенно необходимо нарушить состояние фактического, установившегося на фронте после революции перемирия, опасного для военных расчетов союзников и губительного для морального состояния наших войск"[17].

Верховное командование русской армии тоже возлагало на это наступление определенные надежды. Свержение царизма, установившееся в стране двоевластие, нежелание солдат воевать за чуждые им интересы, участившиеся случаи неповиновения командирам – все это заставляло генералитет использовать подготовку наступления в целях сохранения в армии старых порядков, восстановления пошатнувшегося

авторитета офицерства, изоляции фронта от революционных событий в стране. Генерал А.И. Деникин позже вспоминал: "решив вести войну, надо было сохранить армию, допустив известный консерватизм в ее жизни. Такой консерватизм служит залогом устойчивости армии и той власти, которая на нее опирается. Если нельзя избегнуть участия армии в исторических потрясениях, то нельзя и обращать ее в арену политической борьбы, создавая вместо служебного начала преторианцев или опричников, безразлично – царских, революционной демократии или партийных"[18]. Верховное командование видело в осуществлении наступления, особенно при его стратегическом успехе, возможность "оздоровления" армии. Но даже в том случае, если бы наступление оказалось неудачным, его организаторы рассчитывали свалить всю вину на советы, солдатские комитеты и, особенно, на партию большевиков. Обвинив их в разложении армии, можно было бы запретить их деятельность, а затем установить в стране военную диктатуру. При этом поражение русской армии в ходе наступления, по расчетам наиболее реакционно настроенных генералов, вызвало бы в стране и на фронте панику, недовольство, стихийное выступление народа, отрицательно относившегося к продолжению войны, что, в свою очередь, облегчило бы приход к власти военных[19].

Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал А.И. Деникин, сменивший М.В. Алексеева, отмечал, что русская армия, находясь в пассивном состоянии и будучи лишена импульса к боевой работе, несомненно и быстро "догнила" бы окончательно. "Наступление, сопровождаемое удачей, – подчеркивал генерал, – могло бы поднять и оздоровить настроение, если не взрывом патриотизма, то пьянящим, увлекающим чувством большой победы. Это чувство могло разрушить все интернациональные догмы, посеянные врагом на благодарной почве пораженческих настроений социалистических партий. Поражение открывало перед государством бездонную пропасть. Риск был неизбежен и оправдывался целью – спасение родины. Верховный главнокомандующий, я и генерал-квартирмейстер (Юзефович) совершенно единомышленно считали необходимым наступление"[20].

Действительно, генерал М.В. Алексеев, занимавший весной 1917 г. пост Верховного главнокомандующего, разделял подобную точку зрения. В своем письме на имя военного министра А.И. Гучкова от 28 апреля он писал: "Мы сделаем все от нас зависящее и для нас возможное, чтобы выполнить наступление, которое одно считаю спасительным для России и армии". Однако Алексеев добавлял, что "общее состояние солдатской массы может разбить нашу волю и искренние желания"[21].

Весной 1917 г., пожалуй, впервые за годы первой мировой войны, Верховное командование русской армии столкнулось с таким явлением, как массовые отказы солдат продолжать войну. Война становилась для них бессмысленным занятием, а ее затяжной характер способствовал надлому психики солдатских масс на фронте. Огромные потери, неудачные боевые операции, недостаток в вооружении и обмундировании привели к небывалому росту антивоенных выступлений в

армии. В Ставку поступали тревожные сообщения с фронта о многочисленных случаях выступлений солдат против продолжения войны, проявившихся в массовых братаниях с противников, в отказе выполнять приказы командиров и в дезертирстве. Так, по подсчетам царского генерала Н.Н. Головина, исследовавшего материальное и моральное состояние русской армии в годы первой мировой войны, число дезертиров из действующей армии с начала Февральской революции составило около 2 млн человек. Среднее ежемесячное число зарегистрированных дезертиров с началом революции увеличилось на 400%[22]. По определению Головина, этот повальный уход в тыл под самыми различными предлогами нельзя было назвать иначе, как стихийно начавшейся демобилизацией. Именно "отказ от войны" широких народных масс, и в первую очередь солдат на фронте и в тылу, наблюдавшийся вскоре же после Февраля 1917 г., стал основным процессом в ходе развития революции.

Стремление солдат к скорейшему окончанию войны находило свое выражение в разных формах. Они отказывались выполнять распоряжения о перегруппировке войск и производить инженерные работы, связанные с подготовкой плацдармов для наступления. Нередко были случаи физической расправы с офицерами. Анализируя сводки сведений о настроениях в солдатской массе, можно утверждать, что антивоенные настроения охватили всю армию. Так, в докладе депутатов Государственной думы А.М. Масленникова и П.М. Шмакова о результатах поездки в апреле 1917 г. на наименее революционизированный, по мнению Ставки, Юго-Западный фронт подчеркивалось, что моральное состояние войск ухудшилось по сравнению с первыми днями революции. Депутаты Думы отмечали целый ряд выступлений солдат против продолжения войны, против политики Временного правительства. Солдаты одной из частей пригрозили Временному правительству: если оно не пойдет рука об руку с Советом рабочих и солдатских депутатов, то его следует "удалить вон". Многие ораторы требовали немедленного обнародования тайных договоров с союзниками, с тем, чтобы убедиться, что солдаты не борются "за империалистические и капиталистические стремления наших союзников"[23]. Немалое беспокойство у депутатов вызвало укоренившееся в солдатской среде неправильное понимание мира без аннексий как отказа от всякой наступательной войны. Именно этим, по мнению депутатов, объяснялось недоверие солдат к власти, союзникам, их недоброжелательное отношение к офицерскому составу. Обобщая свои наблюдения о морально-боевых качествах солдат Юго-Западного фронта, депутаты Думы вынуждены были резюмировать: "Солдаты более не рвутся в бой..."[24]

Аналогичные настроения в солдатской массе преобладали и на других фронтах. На Западном фронте общее собрание полковых комитетов 169-й пехотной дивизии одобрило резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Наступление русской революционной армии в настоящее время, при существовании договоров, заключенных старым правительством с империалистическими правительствами союзников,

есть измена лозунгам, провозглашенным нашей революционной демократией, вместе с тем это шаг, могущий, при незаконченности организации армии и недостаточности ее демократизации, повлечь за собой переход власти в руки контрреволюционных сил, а потому в настоящее время наступления быть не может"[25].

Командование Западного фронта, оценивая настроения той дивизии, считало, что как боевая единица она больше не существует. Солдаты многих частей открыто заявляли, "что если Керенский (военный и морской министр. – *А.Ж.*) призывает к наступлению, то и ему верить не надо... Если же прикажут наступать, то они сначала перебьют всю буржуазию или заставят офицеров идти на проволоку впереди всех, и, когда их перебьют, то разойдутся по домам"[26]. Генерал Гурко, главнокомандующий армиями Западного фронта, в шифрованной телеграмме в Ставку от 30 апреля, давая общую характеристику вверенных ему войск, сообщал: "Нельзя закрывать глаза на те неблагоприятные обстоятельства, которые являются следствием нашего внутреннего положения и которые лишают нас значительной доли свободы действий и решений. Известная вам пропаганда оборонительной войны понята солдатами в прямом ее смысле, и теперь они решительно высказываются против всяких наступательных действий"[27].

Особенно широкий размах антивоенные выступления солдат приобрели на Северном фронте. Расположенный ближе других к центру политической и революционной борьбы – Петрограду, этот фронт находился под значительным влиянием партии большевиков. Почти в каждой сводке с фронта отмечалась усиленная деятельность агитаторов-большевиков, широкое распространение большевистских газет, воззваний, листовок. Генерал А.С. Лукомский, командовавший весной 1917 г. 1-м армейским корпусом, в своих мемуарах отмечал: "Близость Петрограда давала себя чувствовать. Вся выходящая в Петрограде пропагандная литература в виде всевозможных воззваний, листовок и прочее уже на следующий день по выходе была в частях войск моего корпуса"[28]. Вести борьбу с агитацией большевиков, направленной против наступления, по признанию Лукомского, было почти невозможно. Весной 1917 г. солдаты многих частей под влиянием большевистской литературы неоднократно выступали против продолжения войны и особенно активных наступательных действий, выражали свое недоверие Временному правительству. Настроения солдат характеризует протокол митинга 20-й дивизии, состоявшегося 28 мая. Солдаты единогласно постановили, что Временное правительство не является истинным выразителем воли демократической России, что вся власть до созыва Учредительного собрания должна перейти к Всероссийскому Совету солдатских, крестьянских и рабочих депутатов. Наступление, даже частичное, считалось ненужным и вредным для дела демократии. В то же время солдаты дивизии не отрицали необходимости вести стойкую и упорную оборону, заявив, что будут защищать Родину, но наступать не станут[29].

Лозунги большевиков находили поддержку у солдатских масс. Так, командование 1-й армии в донесении в штаб фронта сообщало, что

солдаты "наступать не хотят, начальникам не верят, выбранные комитеты полным авторитетом не пользуются, многие против войны вообще и против занятий по обучению, идеи Ленина распространены широко в солдатской массе"[30]. В связи с этим представляет интерес отчет комиссара 11-й армии И. Кириенко и его помощника А. Чекотило о моральном состоянии войск накануне наступления. Они прибыли в армию за 10 дней до начала боевых действий и стали свидетелями различных конфликтов, вызванных отказом отдельных частей исполнять приказы командования. Встречались случаи, когда солдаты намеревались бросить окопы, оставить в них оружие и разойтись по домам. Как подчеркивалось в отчете, сущность подавляющего большинства конфликтов заключалась в нежелании солдат вести активные операции, стремление выйти в резерв, отдохнуть. По мнению авторов отчета, идейной подкладки во всех конфликтах не было, а было только использование большевистской фразеологии для прикрытия самых неприглядных побуждений. В качестве примера приводилось несколько речей митинговых ораторов, где большевистские лозунги находили такое толкование, что "большевикам надо бы от них только открещиваться и отмежеваться самым решительным образом". В отчете подчеркивалось, что в результате действительные, идейные большевики отходили далеко на задний план, их место занимали и выступали под их флагом бывшие уголовники, полицейские, жандармы, провокаторы, немецкие агенты и разный сброд трусов, негодяев и предателей. «Нам, – писали комиссары, – приходилось выслушивать на митингах от этого сорта "большевиков" и проповедь немедленного прекращения войны, заключения какого угодно мира на каких угодно условиях. Нам приходилось слышать проповедь восстания не только против Временного правительства, но и против Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые "подкуплены буржуями". Безответственность и безнаказанность нарушителей дисциплины очень усиливали влияние подобных "большевиков", позволяя им утверждать и доказывать, что власть в России бессильна и поэтому можно делать все что угодно. Все речи, увещевания, уговоры не только не достигли цели, но, наоборот, создавали в толпе уверенность, что их "уговаривают", потому что ничего с ними не могут сделать»[31]. В заключение авторы отчета вынуждены были констатировать, что поддерживать дисциплину и порядок в армии одними лишь мерами нравственного воздействия невозможно.

Многочисленные факты "саботажа" войны со стороны солдатских масс вызывали у Верховного командования естественное беспокойство и опасения не только за успешный исход планируемого наступления, но и вообще за возможность дальнейшего активного участия России в войне. Генералы обоснованно связывали успех или провал наступления исключительно с нравственным "оздоровлением" войск. "Правительству крайне необходимо срочно вполне определенно и твердо сказать, – писал в первые же дни после Февральской революции в записке на имя главы правительства генерал М.В. Алексеев, занимавший в то время пост начальника штаба Верховного главнокоман-

дующего, – что армии никто не смеет касаться и что все распоряжения должны производиться через Верховного главнокомандующего. Нужно спасти войска от развала всеми силами, способами, ибо начало развала будет знаменовать конец борьбы с неприятелем"[32].

Неустойчивые настроения среди солдат значительно снижали боеспособность армии. Упомянутый выше генерал М.В. Алексеев, стоявший во главе вооруженных сил в период подготовки наступления, составляя текст доклада на Государственном совещании в Москве в августе 1917 г. писал: "В тяжелое время армия осталась без правосудия, преступления и преступники без наказания. Солдат почувствовал себя безнаказанным. Он не успел переродиться, нужно время, чтобы перевоспитать. Без этого же агитация нашла богатую почву. В глазах солдата начальник исчез. Остался буржуй, враг ему – солдату, враг потому, что он приверженец и ставленник старого режима, потому что война выгодна только ему, потому что он заставляет идти и ведет в бой, потому что он требует порядка, повиновения, службы, работы, труда. А всего этого можно избежать: есть благодетели – они и мир заключат, и войны не нужно, и землю даром дадут, и пользоваться этими благами можно не детям и внукам, а самому. И на все донесения высших начальников о развале армии Петроград или молчал, или речами перед солдатами отвечал, что русская революционная армия самая свободная в мире, что не будут подгонять ее в бой плетью и пулеметами, а пойдет она под влиянием слов и убеждений"[33].

Именно с антивоенными настроениями солдат едва ли не больше всего приходилось считаться в период подготовки войск к наступлению. Прежде всего это касалось определения даты его начала. Так, уже на состоявшемся 18 марта 1917 г. в Ставке совещании представителей центральных управлений военного министерства стало очевидно, что русская армия не сможет начать наступление в намеченный ранее срок – во второй половине апреля. Учитывая состояние армии, упадок дисциплины в войсках, расстройство транспорта и снабжения армии, участники совещания считали необходимым отказаться от наступательных операций до лета и перейти к обороне. Совещание констатировало, что "приводить ныне в исполнение намеченные весной активные операции недопустимо"[34]. Такого же мнения о необходимости переноса срока наступления придерживался и генерал Алексеев. В своем письме военному министру А.И. Гучкову от 12 марта он писал: "Мы приняли на этих конференциях (имеются в виду межсоюзнические конференции в Шантильи и в Петрограде. – *А.Ж.*) известные обязательства, и теперь дело сводится к тому, чтобы с меньшей потерей нашего достоинства перед союзниками или отсрочить принятые обязательства, или совсем уклониться от исполнения их... Сила обстоятельств приводит нас к выводу, что в ближайшие 4 месяца наши армии должны были бы сидеть покойно, не предпринимая решительной, широкого масштаба операции"[35].

Участники проходившего в Ставке 1 мая 1917 г. совещания представителей Верховного командования, признавая необходимость осуществления наступления на фронте во что бы то ни стало, тем не

менее пришли к выводу, что в настоящее время армия не готова сколько-нибудь успешно вести наступательные операции. При этом главнокомандующие фронтов исходили не только из неудовлетворительного морального состояния войск, но также из недостаточной подготовленности армии в материальном отношении. По их мнению, провести наступление в лучшем случае можно было бы лишь в июне 1917 г.[36]

Верховное командование, соглашаясь с Временным правительством в необходимости скорейшего осуществления наступления на фронте, в то же время расходилось с ним относительно методов подготовки солдатских масс к этой акции. Фактически подготовка к наступлению как со стороны Временного правительства, так и со стороны генералитета вылилась в борьбу за установление или сохранение своего влияния на армию. Сознание солдат "бомбардировалось" демагогическими заявлениями Временного правительства о необходимости защиты власти революционной демократии, войне до победного конца, об оборонительном и революционном характере войны. Показательно, что в многочисленных обращениях и воззваниях Временного правительства к армии в период подготовки наступления были полностью исключены понятия Родина, Россия, Отечество. Как отмечал в своем дневнике генерал М.В. Алексеев, он ни разу не слышал и не читал, чтобы в выступлениях представителей правительства, обращенных к солдатам, говорилось о Родине, о долге перед Россией. С их языка не сходили "революция", ее защита, ответственность "наиболее свободной в мире" армии перед революционной демократией[37].

По мнению генералов, приказ за приказом, исходившие от Временного правительства, отнимали власть у офицеров, дискредитировали их, уничтожали те устои, на которых всегда покоилась во всем мире способность армии к борьбе. Одними же речами, как полагали военачальники, создать "новую железную" дисциплину было невозможно. Особую, резко негативную реакцию Верховного командования вызывала деятельность Временного правительства, направленная на реформирование и реорганизацию армии. Многие представители Верховного командования были убеждены в том, что именно политика правительства способствовала подрыву дисциплины и расшатыванию самих устоев армии. Такая оценка деятельности Временного правительства давалась рядом военачальников, а также офицеров, очевидцев событий того времени. В частности, генерал А.И. Деникин, вскрывая причины разложения армии, на совещании в Ставке 16 июля отмечал: "Я слышал, что большевизм разрушил армию. Я это отвергаю. Большевизм – это черви в гнойной ране армии. Разрушили армию другие, проводившие разрушавшее армию военное законодательство последнего времени"[38].

Главнокомандующий Северным фронтом генерал А.М. Драгомиров, говоря о виновниках разлада между офицерами и солдатами, откровенно заявлял, что сложившееся положение в армии во многом обязано мерам правительства[39]. Участник первой мировой войны, казачий офицер А. Гордеев в своей книге, написанной в эмиграции,

также пришел к выводу, что Временное правительство лишь разрушало страну и армию[40].

Большинство представителей Верховного командования искренне полагало, что все нововведения в армии должны делаться исключительно военным начальством. Они считали недопустимым введение новых форм устройства армии и воспитания солдат в условиях упорнейшей войны. Стремясь сохранить армейскую дисциплину, укрепить пошатнувшуюся после Февральской революции власть офицеров и не допустить распространения революционного влияния на армию, военачальники пришли к выводу, что если и необходимо устранить некоторые отжившие формы организации вооруженных сил, то делать это надо исподволь, осторожно, а главное – отнюдь не называя все то "завоеванием революции". Генералы отрицательно восприняли опубликование Временным правительством ряда законодательных актов, касавшихся переустройства армии. К таким актам, например, относился изданный 5 марта приказ военного министра А.И. Гучкова, уравнивавший солдат в правах с гражданским населением. Солдатам разрешалось участвовать в различных политических и общественных организациях[41].

Взрыв негодования у командного состава вызвала опубликованная 11 мая военным министром коалиционного Временного правительства А.Ф. Керенским "Декларация прав военнослужащих"[42]. Частично этот документ повторял положения приказа Гучкова от 5 марта. В декларацию были включены и новые пункты, разрешавшие, в частности, военнослужащим во внеслужебное время "свободно и открыто высказывать свои политические, религиозные, социальные и прочие взгляды". Отменялись все наказания, оскорбительные для чести и достоинства военнослужащего. В то же время в боевой обстановке военачальник имел право принимать все меры вплоть до применения вооруженной силы по отношению к тем, кто не выполнял его приказы. Воспрещалось также выбирать командиров. Декларация была важным звеном в цепи мероприятий Временного правительства по подготовке армии к наступлению.

Однако приверженцы старой дисциплины, требовавшей от солдат безоговорочного повиновения, не могли смириться с введением в армии новых порядков. Отношение Верховного командования к декларации особенно ярко проявилось на совещании в Ставке 1 мая. Проект декларации заранее был разослан всем главнокомандующим фронтами. Генералы были единодушны в его оценке. "Этот акт, – говорил главнокомандующий западным фронтом генерал В.И. Гурко, – развалит ячейки, те кирпичи, из которых создано здание армии. Кто понимает положение, не должен под этим приказом приложить руку... Поэтому оставаться на своем посту, если бы мне пришлось опубликовать этот приказ, я не могу. Все понимают, что без армии нельзя существовать. Так пускай они ее разрушают, чтобы их заклеймило потомство, а мы разрушать армию не должны"[43].

По свидетельству очевидцев событий, "Декларация прав" вызвала изумление не только среди командного состава, но и среди нижних

чинов, сохранивших еще сознание необходимости дисциплины и порядка в армии. С изданием декларации обнаружилась подлинная суть Временного правительства, которое не оправдало возлагавшихся на него надежд, и вместо того, чтобы вести страну к подъему и восстановлению порядка, способствовало окончательному разрушению армии и установлению бесправия в стране[44]. Авторитет Временного правительства в среде Верховного командования был серьезно подорван. Декларация, наряду с приказом № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, подчинявшим воинские части в их политических выступлениях Совету и своим выборным комитетам, явилась, по оценке большинства генералов, тем документом, который сыграл решающую роль в понижении боеспособности русской армии.

Ряд военачальников в знак протеста против появления этих документов заявили о своем уходе в отставку. Однако Временное правительство весной 1917 г. само провело смену значительной части высшего командного состава. Так, в марте – апреле из вооруженных сил было уволено 150 старших военачальников, в том числе 8 главнокомандующих фронтами и командующих армиями, 35 и 68 командиров корпусов и 75 из 240 начальников дивизий[45]. Обосновывая необходимость такого шага, А.И. Гучков, занимавший в то время пост *военного министра, отмечал: "Еще солдаты не разложились, а генералы* разложились"[46]. Его преемник А.Ф. Керенский высказывал свою версию правомерности "революционной" чистки в армии. В письме на имя главы правительства Г.Е. Львова в июне 1917 г. он писал: "Большие трудности представляет состояние командного состава. В большинстве он не сумел приспособиться к новым условиям, и демократизацию армии приняли как личную обиду, лишение всякой власти. Мне часто приходилось видеть, как боевые неудачи воспринимались с плохо скрываемым злорадством или ожесточением и нападками на новые порядки в армии". Новоявленный военный министр считал необходимым продолжение чистки командного состава, не считаясь с чинами[47]. Аналогичных взглядов придерживался и комиссар Временного правительства Б.В. Савинков. Выступая на совещании в *Ставке 16 июля, он заявил: "Русская армия – армия демократическая,* республиканская; высший же командный состав назначен еще старым правительством... Наш высший командный состав должен сознать, что он не всегда и не во всем соответствует духу времени, не всегда и не во всем идет навстречу законным требованиям солдат"[48]. Всего с марта по октябрь 1917 г. Временное правительство уволило в отставку более 400 генералов. За этот же период в генералы было произведено 302 полковника[49]. Таким образом, потери в армейском руководстве, вызванные чисткой командного состава, не удалось восполнить даже численно.

Показательно, как осуществлялся процесс определения политической благонадежности военачальников. Генерал-квартирмейстер Верховного главнокомандующего генерал А.С. Лукомский в своих мемуарах так описывал эту акцию: "Был составлен список всех старших начальствующих лиц, начиная от командующих армиями до

начальников дивизий включительно, и затем г. Гучков предложил нескольким генералам, которым он доверял, поставить против всех помещенных в списке отметки о годности и негодности"[50]. На недопустимость подобных массовых увольнений и перемещений в условиях войны указывали многие военачальники. Верховный главнокомандующий генерал А.А. Брусилов в секретной телеграмме правительству подчеркивал, что чистка командного персонала фактически уже произведена и что при дальнейшей его смене надо, "увольняя действительно не соответствующих современной обстановке, относиться все же к этой мере осторожно, ибо нельзя рассчитывать, чтобы молодые офицеры, как бы они способны ни были, будут хорошими начальниками крупных войсковых соединений"[51]. Генерал А.И. Деникин, оценивая перестановку в офицерском корпусе, вызванную увольнением "старого" командного состава, считал, что продвижение по службе получили "десятки, сотни людей случая, а не знания и энергии"[52]. Увольнение значительной части генералитета безусловно нанесло существенный удар по боеспособности русской армии в период подготовки и проведения самого летнего наступления.

Верховное командование в своей борьбе за армию вынуждено было учитывать тот факт, что бóльшая часть личного состава вооруженных сил с первых же дней Февральской революции шла за Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. Солдаты многих частей считали его единственным своим руководителем. И если правительство и генералитет не потеряли своего влияния на армию, то в первую очередь этим они были обязаны меньшевикам и эсерам, оказавшимся у руководства большинства Советов, а также фронтовых, армейских, полковых и ротных комитетов. Признавая на словах необходимость демократизации армии, лидеры этих партий, вступив на путь поддержки политики активного, наступательного ведения войны, объективно стремились сохранить основы прежней дисциплины в армии и восстановить пошатнувшуюся власть офицеров. Один из лидеров Петроградского Совета М.И. Скобелев на совещании главнокомандующих фронтами, членов Временного правительства и представителей исполкома Петросовета, проходившем 4 мая в Петрограде, заверил генералов, что Совет на ставит своей целью подорвать власть офицеров, не домогается выборности командного состава и не выступает против наступления. По его мнению, для того, чтобы двинуть армию в наступление, генералы должны совместно с меньшевиками и эсерами внушить солдатам мысль о том, что наступление на фронте приблизит окончание войны. Закрывая заседание, А.Ф. Керенский как представитель Временного правительства заверил главнокомандующих: "Наши цели и стремления – одни и те же"[53]. Генералам было предложено выехать на фронт и спокойно выполнять свои обязанности. 16 июня войска Юго-Западного фронта перешли в наступление. Но после некоторого тактического успеха оно захлебнулось. Искусственно созданный наступательный порыв солдатских масс сменился осознанием бессмысленности происходящего. Верховное командование и Временное правительство перешли к грубым и откровенным методам

политической борьбы. Наиболее революционизированные полки разоружались и расформировывались, для чего часто использовались артиллерия и конница. 9 июля главнокомандующим фронтами был разослан приказ о применении оружия за революционную агитацию. 10 июля последовал приказ о запрещении митингов и собраний в воинских частях. Вскоре был подписан приказ о введении смертной казни на фронте. Верховное командование, правительственные партии взяли курс на установление в стране открытой военной диктатуры.

[1] Российский государственный военно-исторический архив (далее РГВИА). Ф. 2003. Оп. 1. Д. 61. Л. 295.
[2] *Зайончковский А.М.* Мировая война 1914–1918 гг. М., 1938. Т. 2. С. 101.
[3] РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 63. Л. 86, 417.
[4] Там же. Л. 284.
[5] Красный архив. 1927. Т. I (20). С. 53. Подробнее о работе Петроградской конференции см.: *Емец В.А.* Петроградская конференция и Франция // Исторические записки. 1969. Т. 83; *Он же.* Очерки внешней политики России. 1914–1917. М., 1977.
[6] Красный архив. 1927. Т. I (20). С. 42.
[7] РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 63. Л. 330.
[8] Там же. Л. 329.
[9] Там же. Д. 65. Л. 59.
[10] Там же.
[11] Там же.
[12] *Ллойд Джордж Д.* Военные мемуары. М., 1935. Т. 3. С. 346.
[13] Там же. С. 348.
[14] *Людендорф Э.* Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. М., 1924. Т. 2. С. 25.
[15] Там же. С. 20–21.
[16] *Станкевич В.Б.* Воспоминания // Февральская революция. Мемуары. М.; Л., 1925. С. 425.
[17] Исторический архив. 1961. № 4. С. 94.
[18] *Деникин А.И.* Очерки русской смуты. М., 1991. Т. I. Вып. 2. С. 490–491.
[19] См.: *Верховский А.И.* На трудном перевале. М., 1959. С. 275.
[20] *Деникин А.И.* Указ. соч. С. 248.
[21] РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 530. Л. 26 об.
[22] *Головин Н.Н.* Военные усилия России в мировой войне. Париж, 1939. Т. 2. С. 191.
[23] Там же. С. 224.
[24] Там же. С. 226.
[25] РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 19. Л. 265.
[26] Революционное движение в русской армии в 1917 г. Сб. док. М., 1968. С. 127–128.
[27] РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 530. Л. 59.
[28] *Лукомский А.С.* Воспоминания. Берлин, 1922. Т. I. С. 153.
[29] РГВИА. Ф. 366. Оп. 2. Д. 167. Л. 61 об.
[30] *Журавлев Г.И.* Борьба солдатских масс против летнего наступления на фронте (июнь–июль 1917 г.) // Исторические записки. 1957. Т. 61. С. 11.
[31] РГВИА. Ф. 366. Оп. 2. Д. 167. Л. 60–61 об.
[32] Верховное командование в первые дни революции // Красный архив. 1924. № 5. С. 226.
[33] РГВИА. Ф. 55. Оп. 5. Д. 1. Л. 87.
[34] Разложение армии в 1917 г. М.; Л., 1925. С. 11.
[35] Там же. С. 28–29.
[36] Протокол совещания опубликован в кн.: *Зайончковский А.М.* Стратегический очерк войны 1914–1918. Ч. VII. Кампания 1917 г. М., 1923. С. 133–151.

[37] Из дневника генерала М.В. Алексеева. 12 июля 1917 г. // Русский Исторический архив. Сб. I. Прага, 1929. С. 26.
[38] *Зайончковский А.М.* Стратегический очерк... С. 157.
[39] Там же. С. 144.
[40] *Гордеев А.А.* История казаков. М., 1993. С. 118.
[41] Революционное движение в России после свержения самодержавия: Док. и матер. М., 1957. С. 424.
[42] Революционное движение в России в мае–июне 1917 г. Июньская демонстрация: Док. и матер. М., 1959. С. 237–239.
[43] *Зайончковский А.М.* Стратегический очерк... С. 142.
[44] *Гордеев А.А.* Указ. соч. С. 122.
[45] *Кавтарадзе А.Г.* Июньское наступление русской армии в 1917 г. // Военно-исторический журнал. 1967. № 5. С. 113.
[46] Александр Иванович Гучков рассказывает...: Воспоминания. М., 1993. С. 100–101.
[47] РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 106. Л. 73 об.
[48] *Зайончковский А.М.* Стратегический очерк... С. 166–167.
[49] Русский вестник. 1992. № 19.
[50] Воспоминания генерала А.С. Лукомского. Берлин, 1922. Т. I. С. 149.
[51] РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 106. Л. 74.
[52] *Деникин А.И.* Очерки русской смуты. С. 261.
[53] Там же. С. 315.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, ПРОБЛЕМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАЦИЙ И БОРЬБА ПРОТИВ БОЛЬШЕВИКОВ В ПРИБАЛТИКЕ. 1918–1920

Дэвид С. Фоглесонг

(США)

Чтобы уяснить эволюцию политики США по отношению к Прибалтийскому региону в 1918–1919 гг., важно проследить происхождение весьма двойственного подхода американских лидеров к вопросу о самоопределении. Во времена Вильсона (начиная с Гражданской войны в США и наиболее полного расцвета европейского империализма) народы были более тесно связаны между собой и объединены в более крупные образования. В этом контексте отделение казалось фактором, тормозящим прогресс, а распад великих наций увеличивал вероятность анархии. Как и многие люди своей эпохи, Вильсон рассматривал самоопределение как то качество, которое медленно развивается у здравомыслящих, достигающих зрелости людей, как привилегию, которая предоставляется научившимся вести себя разумно и ответственно народам[1].

В атмосфере усилившегося в годы мировой войны общественного движения за демократизацию международных отношений Вильсон

© Дэвид С. Фоглесонг

модифицировал свои взгляды, по-прежнему, впрочем, полагая, что "разрушение империй" было бы "детской игрой, в конечном счете более чем губительной". В 1917 г. он заявил, что в будущем "дело мира должно опираться... на права народов великих и малых, слабых и сильных, на их равные права на свободу, безопасность и самоуправление". Самоопределение для Вильсона было, как он утверждал уже в 1918 г., "не простой фразой". Поскольку пробудившиеся народы требовали уважения к себе, по его мнению, было необходимо, чтобы все четко определившиеся национальные устремления были удовлетворены наиболее полно – настолько, насколько это не порождало новые или не увековечивало старые раздоры и антагонизмы. Поскольку, однако, существовали многочисленные оговорки, Вильсон был исключительно осторожен в использовании принципа самоопределения. Он не считал его единственно верным, применимым для всех народов правом при определении ими своей судьбы[2].

В знаменитой речи "Четырнадцать пунктов" в январе 1918 г. Вильсон провозглашал принцип справедливого отношения ко всем национальностям, сильным или слабым, но одновременно обещал защитить целостность России (делая исключение для независимого польского государства, которое, как он заявлял, должно быть создано). Хотя выступление Вильсона можно расценить как двойственное по характеру, его ближайший советник по проблемам внешней политики полковник Эдвард Хауз отдавал себе отчет, что президент хотел бы помочь России выйти из гражданской войны, в значительной степени восстановив ее целостность. Как отметил Э. Хауз в 1918 г., он не был согласен с президентом в этом вопросе. Опасаясь, что воссозданная Россия под властью "сильной военной личности" станет "угрозой миру", Хауз хотел бы "видеть Сибирь независимой республикой, а Европейскую Россию поделенной на три части". В противовес этому Вильсон надеялся восстановить территориальную целостность и политическую независимость нового российского государства, которое от Тихого океана до Балтийского моря было бы открыто для американских товаров и инвестиций[3].

Однако к концу Великой войны Россия уже не представляла собой единого образования. Вот почему в октябре 1918 г. прогрессивные журналисты, выступавшие одновременно неформальными советниками Вильсона, Уолтер Липпман и Фрэнк Кобб попытались соотнести расплывчатые обещания президента с положением в Балтийских государствах и других районах бывшей Российской империи. В результате Липпман и Кобб рекомендовали признать и оказать помощь "временным правительствам", возникшим в различных регионах России. Вильсон не согласился с этими рекомендациями. Появление представителей "не осознавших свои интересы национальностей" на приближавшейся мирной конференции, телеграфировал он Хаузу, было "крайне нежелательным"[4].

Во время подготовки к конференции в Париже в ноябре 1918 г. Вильсон информировал госсекретаря Лансинга о возникших у него сомнениях: было ли целесообразным "предоставлять место за столом

мирной конференции... России с учетом по меньшей мере временного распада ее на пять частей". Это стало открытием для Лансинга, считавшего борьбу сражавшихся против большевиков во имя восстановления великой и неделимой России русских военачальников сродни военной кампании генералов Севера ради спасения Союза в 1860-х годах. В отличие от Хауза Лансинг не желал отказываться от идеи освобождения всего русского народа от большевизма и не искал решения вопроса в создании вокруг Советской России кольца малых независимых государств. Его предложения Вильсону сводились к тому, что "США должны настаивать на рассмотрении русских вопросов как части более широких, а не отдельно взятых проблем, проистекающих из того положения, которое на поверку может оказаться по большей части временной дезинтеграцией"[5].

Находясь на борту следовавшего во Францию корабля, окруженный идеалистически настроенными молодыми советниками, Вильсон, казалось, передумал и заявил, что его политику в отношении России следует скорректировать. Поскольку, отметил он, Россия "расколота на несколько различных государств", необходимо поступать в соответствии с принципом самоопределения, выяснив, "под чей суверенитет эти различные государства хотели бы перейти"[6].

Двойственность позиции Вильсона по вопросу о применении абстрактного принципа к конкретной ситуации создала основу для жарких дискуссий в Париже между советниками, на которых возлагалась обязанность разрабатывать рекомендации относительно России и прибалтийских государств. В конце января 1919 г. разведывательная группа Американской комиссии по заключению мирного договора подготовила проект рекомендаций. Согласно ему, "пограничные районы", не обладавшие "достаточными возможностями для создания сильных независимых государств, особенно балтийские провинции и Украину", следовало поощрять к объединению с Россией в том случае, "если это воссоединение может быть осуществлено в рамках федеративной или подлинно демократической России". С другой стороны, заявляли специалисты от разведки, если большевики удержатся у власти, "не остается иной альтернативы, кроме как признать независимость и определить границы" проживания нерусских национальностей. Признание независимости прибалтийских государств второй среди открывавшихся благоприятных возможностей не было принято другими американскими советниками, вплотную занятыми проблемами этого региона[7].

В феврале 1919 г. глава Русского отдела Американской комиссии по мирному урегулированию профессор Гарвардского университета Роберт Х. Лорд отправился в поездку по Польше, оставив другого историка из того же университета, Сэмуэля Элиота Морисона, ответственным за рекомендации по проблемам прибалтийских провинций России. Готовивший информацию для вильсоновской исследовательской группы по проблемам Финляндии в 1918 г., Морисон был одним из немногих американцев в Париже, обладавших обширными знаниями по проблемам Балтийского региона[8]. В конце февраля 1919 г., познакомившись с "хорошо обоснованным заявлением" эстонского поверенного в делах в Париже Каарела Р. Пуста в пользу признания и помощи Эстонии, Морисон предложил собственное решение русского вопроса. Как и другие молодые советники, шутливо именовавшие себя "Совстом", Морисон полагал, что власть большевиков весьма выносliва и с ней следует считаться. Стремясь к достижению стабильности в Балтийском регионе, Морисон с недоверием относился к "консервативным русским", у которых не хватало "здравого смысла пойти на уступки". Он выступал против военных планов борьбы с большевиками, как не имевших шансов на успех. Вот почему он предлагал, чтобы защита "балтийского барьера" сочеталась с переговорами с большевиками и прекращением поддержки лидеров белого движения, таких, как адмирал А.В. Колчак[9].

Морисону удалось добиться начала поставок продуктов питания в Эстонию и подготовить почву для последующего признания Финляндии. Однако он чувствовал себя уязвленным тем, что ведущие американские политики в Париже обошли вниманием его рекомендации более широкого порядка. Под воздействием сложившегося впечатления, что Вильсон и Хауз пустили дело на самотек, а также в ответ на просьбу Лансинга о рекомендациях группа молодых дипломатов и государственных служащих в начале марта 1919 г. создала неформальный комитет для изучения положения в России и подготовки заявления о политике. Члены группы быстро сошлись во мнении, что необходимо обеспечить народами Балтийского региона доставку питания и экономическую помощь и что желательно временно признать хотя бы Финляндию и Эстонию. Тем не менее среди членов комитета возникли весьма бурные разногласия по поводу того, как эти шаги скажутся на американских отношениях с Советской Россией. 24-летний выпускник Гарвардской школы права Адольф А. Бёрль, лейтенант американской армии, выступавший "экспертом" по русскому вопросу, так прокомментировал события: комитет раскололся между большевиками и буржуазией, идеалистически настроенными либералами и радикалами, с одной стороны, и старшими по чину лицами, более опытными дипломатами и состоятельными консерваторами – с другой. Члены группы разошлись во мнении, должна ли поддержка антибольшевистских правительств Прибалтики выражаться всего лишь в защите "малых наций", или в создании "санитарного кордона" против большевизма, или даже в военных действиях против большевистской России[10].

Хотя в дальнейшем, избрав дипломатическую карьеру, Бёрль будет презирать восхищавшихся Советским Союзом либералов, в 1919 г. он был одним из наиболее горячих сторонников улучшения отношений с большевистской Россией. По его утверждению, достижение понимания с Советской Республикой было бы исключительно важным для того, чтобы удерживать на дистанции друг от друга два великих "преступных государства, Россию и Германию". Помимо геополитических расчетов, Бёрль высказывал идею, что Ленин "искренне стремится к миру", а поиски общего языка с "несомненно искренней" в

своих намерениях русской революцией предпочтительнее союза с поддержанными английскими и французскими империалистами реакционными русскими[11].

К удивлению Бёрля и Морисона, к 15 марта 1919 г. даже более консервативно настроенные члены неформального комитета согласились дать рекомендацию о предоставлении экономической и продовольственной помощи не только Финляндии, Эстонии, но "и освобожденным районам Латвии и Литвы", а также гражданскому населению Советской России. Подобный совет со стороны антибольшевистски настроенных американцев объяснялся тем, что перемирие и предоставление продовольствия всем группам в России, как считали, "дадут возможность восстановить социальный порядок", а потому будут содействовать "разгрому большевизма", даже если советское правительство удержится у власти[12].

В последующие недели, добиваясь поддержки прибалтийских государств, Бёрль и Морисон оформляли свои предложения таким образом, чтобы они отвечали духу господствовавших среди членов американской делегации антибольшевистских настроений. Как информировал 30 марта Бёрль членов делегации, "Русский отдел полагает, что независимость Эстонии, Латвии и Литвы следует признать в принципе и их необходимо поддерживать до тех пор, пока они будут сражаться против большевизма". Вскоре Морисон прослышал о том, что члены американской делегации согласились с предложением о признании де-факто балтийских государств и о переговорах о перемирии с большевиками. Тем не менее президент Вильсон, все более возмущавшийся действиями большевиков и обеспокоенный усилением антибольшевистских настроений в Америке, отказался руководствоваться этими рекомендациями[13].

В конце марта – начале апреля 1919 г. с созданием советских республик в Венгрии и Баварии пламя большевизма, казалось, перекинулось и на Центральную Европу. Полагая, что более широкие поставки американской муки могут потушить или приглушить этот пожар, обеспокоенные развитием событий американцы выступили с "гуманитарным" предложением: используя как посредника норвежского исследователя Фритьофа Нансена, направить продовольствие в большевистскую Россию[14]. В то время как Буллит, советник американской делегации, и Хауз рассматривали предложения о перемирии с большевиками в качестве средства достижения "modus vivendi" с советским правительством[15], большинство американских должностных лиц были больше заинтересованы в поиске возможностей блокирования и подрыва режима большевиков. Например, глава Американской администрации помощи (АРА) Г.К. Гувер видел в жестком нормировании при распределении продуктов питания в Советской России один из методов изоляции и уничтожения большевистской заразы. Как он объявил в апрельском пресс-релизе, "только что появившиеся демократии в Сибири, на Кубани, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Ливонии... и все окружающие большевистскую Россию национальности должны получить передышку для обретения некоторой стабильности". По мере того как соседи Советской России стали бы усиливаться, поставщики продовольственной помощи могли бы устранять порождавший большевизм источник, с тем чтобы большевизм "умер возможно быстрее"[16].

В мае 1919 г. советское руководство отвергло предложение Гувера–Нансена, реализация которого, как оно полагало, требовала одностороннего прекращения боевых действий со стороны Красной Армии против белых[17]. Однако еще до получения отказа советской стороны план Гувера–Нансена встретил ожесточенное сопротивление лидеров русских антибольшевистских сил, французских политиков, а также консерваторов в Англии, которые не хотели слышать ни о какой помощи Советской России. К концу апреля союзники и подавляющее большинство американцев утратили всякий интерес к предложению о продовольственной помощи, поскольку сообщения о стремительном наступлении адмирала Колчака из Сибири на Москву позволяли предположить, что проблема существования большевизма в России будет вскоре решена военным путем[18].

Пока дипломаты в Париже спорили, обсуждая вопрос об условиях, которые сделали бы помощь Советской России возможной, американские официальные лица во Франции и странах Балтийского региона вели работу по доставке продуктов в освобожденные от большевистского контроля районы. В марте 1919 г. Американская комиссия по выработке условий мира отправила свою миссию в прибалтийские провинции. Возглавлял ее подполковник Уорвик Грин, сражавшийся на испано-американской войне, обожавший Теодора Рузвельта и с 1910 по 1915 г. служивший управляющим колониальной администрацией Манилы. Прибыв в не контролируемую большевиками Лиепаю (Либаву) в юго-западной части Латвии, Грин передал в Париж срочную просьбу о доставке продуктов питания и направлении администраторов по оказанию продовольственной помощи. Как сообщал Грин членам американской делегации на мирной конференции в апреле 1919 г., "очень важно, чтобы освобожденные от большевиков районы были обеспечены в достаточной мере продовольствием. В противном случае мы взращиваем зерна большевизма за линией фронта". Соглашаясь с рекомендациями Грина, члены делегации США предписали Гуверу осуществить поставки продовольствия "всем не занятым большевиками районам в Балтийском регионе, невзирая на политическую ориентацию контролировавших их сил". Гувер довел эти инструкции до представителя и добавил от себя о "единственном значимом критерии предоставления помощи", сформулировав его так: "...нам следует осуществлять ее в каждом районе, где возникает законное правительство..."[19] Однако это правило не было применено.

Некоторые американские официальные лица, как, например, госсекретарь Р. Лансинг, иногда заявляли, что "не выступают против всех социалистических движений или правительств как таковых, кроме тех случаев, когда они носят откровенно антидемократический характер и не представляют воли большинства народа". В действительности американские представители противодействовали социалистическим дви-

жениям в балтийских государствах даже в тех случаях, когда последние с уважением относились к демократическим порядкам и пользовались широкой общественной поддержкой. Более того, значительная популярность социалистических программ была одной из причин, серьезно беспокоивших официальных лиц США и заставлявших их вмешиваться в политическую борьбу на местах. Так, Грин был уверен, что временное центристское правительство в Либпае "не пользуется доверием народа Латвии" и "будет немедленно низвергнуто в случае всеобщих выборов". Однако, когда оно было свергнуто консерваторами в апреле 1919 г., он убеждал союзников настойчиво добиваться его восстановления, поскольку оно было лучшим из возможных барьеров на пути распространения большевизма в том регионе, где пробольшевистские настроения многих людей, по мнению Грина, становились опасным явлением. После же восстановления центристского правительства Грин объяснял одному из его лидеров, что, хотя "Америка не желает вмешиваться во внутренние дела Латвии... симпатии американцев – с народом Латвии в его стремлении к самоопределению и в его борьбе с разрушительной силой большевизма"[20]. По мере развития событий в 1919 г. Грин и другие американцы все более отдавали приоритет борьбе против большевизма, ставя ее выше уважения к самоопределению народов Прибалтики.

Поведение такого воспитанного и утонченного человека, как морской атташе Джон Гейд, приданный Прибалтийской миссии, еще в большей мере определялось страхом перед зверствами большевиков и желанием противодействовать "большевистской" политике. Однако он с пониманием относился к позиции своих антибольшевистски настроенных русских знакомых, с пренебрежением отзывавшихся о "детском стремлении" к независимости расположенных вдоль побережья Балтики "маленьких республик". Вместе с тем в мае 1919 г. Гейд заявил, что "Эстония безоговорочно заслуживает самых разных форм поддержки", поскольку она "вела мужественную и постоянную борьбу против большевиков". Обеспокоенный "постоянно усиливающимися радикальными настроениями" в эстонской политике, Гейд утверждал при этом, что американская помощь должна быть прекращена в случае, если эстонские лидеры попытаются воплотить в жизнь "коммунистические обязательства" провести земельную реформу или заключат мир с Советами. Дж. Грин и Г.К. Гувер с готовностью приняли такой вывод, заявив, что США должны прекратить любую помощь, включая продовольственную, если эстонцы или граждане других национальностей "станут растрачивать свои усилия на гражданскую войну" или не смогут "оказать существенную поддержку" сражающимся против большевиков русским[21].

Там, где антисоветские силы продолжали борьбу против большевизма, американские официальные лица демонстрировали желание помогать им, и не только продовольствием и медикаментами, но также оружием и операциями на море. 7 мая 1919 г. находившийся под впечатлением от событий в прибалтийских государствах американский офицер разведки, только что прибывший в Париж из стран Балтии,

вызвал сильное беспокойство Вэнса Маккормика (глава Управления по торговле оружием) и Г. Гувера (глава Американской администрации помощи). Он сообщил, что эстонцы и другие ведут "великую борьбу против большевиков", но, если американцы "не направят им немедленной помощи, они станут добычей большевиков". Маккормик решил немедленно повидаться с Вильсоном и обсудить проблему с ним, а Гувер представил меморандум "Большой четверке" о ситуации в Риге, откуда латвийское "большевистское правительство", частично ввиду неспособности "обеспечить город продовольствием", вынуждено было выводить войска. С учетом того что эта армия все еще занимала пригороды, а также угрозы "анархии" в городе Гувер предлагал обеспечить безопасность доставки продовольствия в только что освобожденную столицу Латвии с помощью военного флота союзников[22].

Двумя днями позднее Гувер вновь просил Вильсона "предпринять какие-либо более определенные действия в отношении... трех прибалтийских государств". Игнорируя тот факт, что латвийский Совет управлял большей частью Латвии уже в течение нескольких месяцев, Гувер категорически утверждал, что "население ни в одном из этих государств не поддерживает большевиков". "Во многих районах, – продолжал он, – они ведут настоящую борьбу, добиваясь установления своей независимости от тирании Москвы". Чтобы поддержать их борьбу, глава АРА рекомендовал два способа: "а) направить ограниченный контингент военно-морских сил в каждый из портов для защиты оказываемой помощи; б) предоставить военное снаряжение созданным правительствам, с тем чтобы они смогли поддерживать порядок и защищать свои границы"[23].

Слишком занятый иными проблемами, Вильсон переадресовал предложения Гувера в "Совет десяти". 13 мая учрежденный советом комитет, в состав которого входил Гувер, определился во мнении, что, поскольку вопрос об отправке войск союзников в Балтийский регион не ставится, единственной альтернативой является "организация таких сил из местных жителей и добровольцев со стороны". Как сообщал Гувер, комитет также решил, что снабжение и обучение этих сил "для защиты от большевиков и вывода германских войск с их территории" следует поддержать выделением кредита в 10 млн фунтов стерлингов и поставить под наблюдение Военной миссии союзников во главе с британским командованием[24].

После дальнейших настойчивых просьб со стороны Гувера Вильсон представил его предложения "Совету четырех", а затем направил Гуверу указания переговорить с британским адмиралом Джорджем Хоупом об осуществимости этой программы. Действуя решительно, Гувер увиделся с адмиралом и "просил, чтобы эсминцы были направлены немедленно". К концу мая Гувер достиг своих главных целей: в странах Балтии были размещены военные миссии союзников, за ними последовала отправка британских и американских эсминцев[25]. Для поддержки вооруженных формирований, отбрасывавших красные части от Балтики на север и восток, американские лидеры также разрешили продажу им оружия. 23 мая Лансинг и министры иностранных дел

союзных государств одобрили рекомендации Гувера об обеспечении прибалтийских стран как оружием и боевым снаряжением, так и продуктами питания и одеждой. Вильсон и премьер-министры союзных государств одобрили это решение после получения 24 мая краткого военного сообщения, что "эстонцы смогли существенно продвинуться вперед и, в случае помощи в виде выступления в Петрограде, могут даже надеяться захватить этот город"[26].

Успешное наступление эстонских национальных сил и русской Северо-западной армии потребовало безотлагательного решения вопроса о том, как накормить население Петрограда в случае его освобождения от большевиков. Предлагая свой вариант решения, Гувер заявил в конце мая, что поставки продуктов питания по линии АРА последуют за британскими минными тральщиками в порт, "если Петроград будет взят русской армией". Он также обещал "накормить всех людей там, где будет образовано и утвердится законное правительство..."[27] Однако в июне 1919 г. наступление на Петроград приостановилось, поскольку эстонским солдатам одновременно приходилось вести боевые действия против немцев и их сторонников в северной Латвии. Тем не менее Вильсон согласился с лидерами союзных государств в вопросе о необходимости продолжить поставки военного снаряжения в прибалтийские государства. 13 июня Вильсон официально согласился с Ллойд Джорджем и Клемансо в отношении того, "что местные национальные силы в балтийских провинциях следует поддерживать поставками снаряжения, оружия, боеприпасов, одежды и других товаров"[28].

К лету 1919 г., когда военное положение оставалось весьма неопределенным, а многие в Париже еще продолжали верить, что Колчак возьмет Москву, молодые американские советники стали вновь требовать признания прибалтийских националистических правительств. В конце мая Морисон обсуждал с Лансингом эстонский вопрос и по предложению последнего подготовил проект меморандума для Вильсона. В нем Морисон, проявив проницательность, предупреждал, что политика снабжения эстонского правительства продуктами питания и одновременно отсрочки решения вопроса о характере русско-эстонских отношений до создания центрального российского правительства может дать противоположный ожидаемому эффект. Она, как полагал Морисон, может заставить ведущих эстонских политиков вступить в переговоры с советским правительством в целях заключения мирного договора, признающего независимость Эстонии. Исходя из этого США и их союзники, как полагал Морисон, должны или потребовать от будущих правителей России дать гарантии автономии Эстонии в рамках будущей российской федерации, или признать независимость Эстонии и одновременно гарантировать права России, включая право на выход к Балтийскому морю, содействуя заключению русско-эстонского договора.

Хотя Морисону казалось, что ему удалось заручиться поддержкой Лансинга, его предложения расходились с обсуждавшимися в Париже принципами признания правительства Колчака. После напоминаний о

том, что американцам следует принять во внимание мнение антибольшевистской Русской политической конференции, участники которой горячо возражали против предоставления независимости прибалтийским государствам, Лансинг не считал ни одну из предложенных Морисоном альтернатив осуществимой. Хотя госсекретарь полагал, что следует "что-нибудь предпринять" для посредничества между Россией и Эстонией, он все же склонялся к продолжению "нынешней политики" отсрочки "окончательного определения статуса Эстонии до восстановления стабильного правительства в России"[29].

26 мая Вильсон и министры иностранных дел союзных государств завершили подготовку ноты Колчаку, ставившей вопрос о будущем его политики. Она включала предложение об обещании со стороны Колчака, что, если решение вопроса об отношениях между Россией и Эстонией, Латвией и Литвой "не будет быстро оформлено соглашением", Россия признает их как автономные образования до окончательного урегулирования этого вопроса посредством "консультаций и сотрудничества с Лигой Наций". Нота в той части, которая касалась прибалтийских проблем, глубоко возмутила находившихся в Париже антибольшевистски настроенных видных политиков России, таких, как посол в Вашингтоне Борис Бахметьев и министр иностранных дел Колчака Сергей Сазонов. Они, как считали американцы, и подготовили проект ответа от имени правительства адмирала Колчака. Хотя в этом проекте и содержалось желание обеспечить "автономию для различных национальностей", в нем весьма высокомерно заявлялось об отдельных соглашениях, которые будут устанавливать "пределы и условия существования этих автономных институтов". Только в случае возникновения осложнений соглашались они "прибегнуть к сотрудничеству и помощи посредников" Лиги Наций. Тем не менее Вильсон, более обеспокоенный перспективой восстановления монархии в России, чем отношением к национальностям, удовлетворился и этими гарантиями. К 12 июня он присоединился к союзникам, обещавшим Колчаку военную и экономическому помощь[30].

Бёрль и Морисон попытались отсрочить принятие этого решения. В своих докладах они указали, что силы "верховного правителя" отступают, что его успех будет сопровождаться массовым истреблением евреев и что победоносные белые силы попытаются вновь насильственным путем присоединить к России нерусские пограничные государства. Однако они не смогли убедить Вильсона и Лансинга не делать ставку на Колчака. Как отметил Морисон, его инициатива не была принята, «потому что каждый надеялся проснуться однажды утром и узнать, что Россия вновь стала "демократической". Тогда она будет укорять нас за то, что мы помогали расчленять ее». Расстроенный тем, что США будут проводить политику в русском вопросе, казавшуюся ему непрактичной и несправедливой, Морисон 15 июня ушел в отставку. Вскоре после этого было удовлетворено и прошение Бёрля об освобождении его от обязанностей[31] одного из многочисленных неформальных советников американской делегации в Париже.

В надежде сохранить "антибольшевистский фронт" на территории

Прибалтики, в июле генерал Таскер Блисс (глава американской делегации в Верховном Военном Совете союзников) попытался получить от русских лидеров дополнительные обещания, что они будут уважать автономию Эстонии, Латвии и Литвы. В ответ Бахметьев привлек внимание Блисса к заявлению Колчака, в котором, по его мнению, предусмотрено было "местное самоопределение" народов, населяющих Россию. Однако Бахметьев подчеркнул, что, как понимали это русские, "попытки властей США рассматривать (балтийские) провинции как часть России входят в противоречие с намерением тех же Соединенных Штатов на деле поощрять расчленение России"[32]. Американская политика действительно развивалась именно в этом направлении, хотя Вильсон ярко продемонстрировал двойственность своей позиции в июне. Он заявил лидерам ирландской общины в США в начале июня 1919 г., что "малые нации Кавказа (sic!) и других частей мира... заслуживают свободы", однако "конгресс США не может и не будет прибегать к оружию, чтобы даровать свободу подобного рода". По возвращении же из Парижа в Вашингтон в конце июня Вильсон передал вопрос о политике в отношении Прибалтийского региона в значительной степени в руки Лансинга и других советников госдепартамента. На заседаниях американской делегации на мирной конференции 30 июня и 2 июля Лансинг заявил, что США "выступают не за независимость" граничащих с Россией малых государств, а "за единую Россию, в которой различные регионы должны получить определенную степень автономии"[33].

Позиция многих представителей американских ведомств и служб в государствах Балтии совпадала с мнением Лансинга, который заявлял, что в силу экономических и стратегических причин Россия должна иметь доступ к портам Балтийского моря, посредством чего ее товары могли бы попадать в Атлантику и через нее в Америку. Более того, Гувер и многие сотрудники спецслужб США полагали, что народы "окраин были слишком малоопытны в вопросах самоуправления и слишком предрасположены к большевизму, чтобы позволить им управлять самими собой". "Ни один из этих народов не может укрепить тот вал, который был бы способен сдержать красную волну, – сообщал лейтенант Роберт Хейл. – Сами Эстония и Латвия были заражены большевистским ядом и слишком слабы внутренне, чтобы обрести какую-то силу для защиты от нападения извне"[34]. Все эти политические страхи и экономические расчеты способствовали тому, что американцы принимали решения о поддержке антибольшевистски настроенных русских даже тогда, когда их расчеты входили в явное противоречие с интересами прибалтийских националистов.

В то время как США занялись организацией экономической блокады Советской России, был предложен куда более эффективный план освобождения из-под власти большевиков старой столицы России. В феврале 1919 г. бывший русский генерал Карл Густав фон Маннергейм, приведший белые силы к победе в гражданской войне в Финляндии, предложил использовать свои войска для захвата Петрограда. Однако он требовал от союзников готовности "поддержать его и

обеспечить жителей города продовольствием". Маннергейм изъявил готовность "начать боевые действия немедленно" после получения одобрения союзников, если США дадут обещание быстро доставить запасы продовольствия в Финляндию, а западные страны пообещают ему территориальную компенсацию на Мурманском полуострове[35].

Американский вице-консул в Выборге Роберт Имбри был полон энтузиазма по поводу перспектив военной кампании против большевиков с финляндского плацдарма. Он информировал госдепартамент о том, что, согласно заявлению представителей русских антибольшевистских сил в Финляндии, им удалось создать армию в 10 тыс. человек в помощь белофиннам для захвата сначала Петрограда, затем Москвы и свержения власти большевиков[36]. Другие официальные лица США были более осторожны. Консул в Хельсинки даже осудил идею поощрения начала военных операций из Финляндии, назвав ее "вершиной глупости". Настроенный более сдержанно помощник госсекретаря Фрэнк Полк сообщал Имбри, что Вашингтон "не в состоянии предложить какую-либо поддержку или помощь", хотя и хотел бы продолжать получать информацию о развитии событий[37].

Весной 1919 г. генерал Н.Н. Юденич взял в свои руки дело организации русских антибольшевистских сил на финской территории. Достигнутое после длительных переговоров 19 июня соглашение между Маннергеймом и Юденичем, казалось, сделало возможным совместное наступление на Петроград[38]. Предвосхищая его захват, находившиеся в Финляндии и Эстонии сотрудники АРА подписали соглашение с Юденичем и другими русскими лидерами о предоставлении помощи в "те районы, которые будут очищены от большевиков". 7 июля Лансинг и другие руководители делегаций в Париже приняли решение информировать Маннергейма о том, что, хотя они не хотели бы оказывать "какое-либо давление на правительство Финляндии, у них нет возражений против начала его боевых операций с целью взятия Петрограда"[39].

К моменту отправки этого послания вероятность захвата Петрограда, однако, стала сомнительной. Адмирал Колчак отверг соглашение Юденича–Маннергейма, заявив, что только русское Учредительное собрание, которое соберется после свержения большевистского режима в Москве, может признать независимость Финляндии. Позднее, в июле, Маннергейм потерял пост президента Финляндии на выборах, продемонстрировавших усиление левоцентристских партий, выступавших против вмешательства в гражданскую войну в России[40].

Испытывая сомнения, стоит ли поддерживать весьма рискованное наступление против большевиков с территории Финляндии, вильсоновская администрация решила воспользоваться находившимися в Балтийском регионе немецкими солдатами. Хотя Вильсон и заявлял в январе 1918 г., что его программа мира требует "вывода германских войск со всей территории России", к тому моменту, когда Германия стала добиваться мира, Вильсон и Лансинг полагали, что большевизм нес в себе куда большую угрозу, чем германизм[41]. Как и другие официальные лица в союзных странах и США, они опасались, что вывод частей

германской армии из западных районов бывшей Российской империи позволит красной волне прокатиться по этим землям[42].

Среди дипломатов прибалтийских националистических правительств по вопросу о пребывании германских воинских подразделений на территории их стран не было единства. В Эстонии влиятельные политические группы нередко требовали их вывода, в то время как менее стабильные правительства в Латвии и Литве были скорее настроены сохранить германские войска для защиты их от наступления большевиков. В идеале балтийские националисты хотели бы замены немецких солдат союзническими, однако, поскольку это было невозможно, многие были обеспокоены мыслью о преждевременном уходе немцев. В последние дни 1918 г. латвийский националистический лидер Карлис Ульманис даже подписал соглашение с немецкими представителями, обещавшее латвийское гражданство тем добровольцам Frei Korps (Корпуса Свободы), которые будут сражаться против красных в Латвии[43].

Многие американские официальные лица опасались, что присутствие германских войск позволит усилить немецкое экономическое господство в Балтийском регионе. Их тревожило то обстоятельство, что германские солдаты защищали привилегии прибалтийских баронов и участвовали в интригах против местных правительств. Но, несмотря на эти опасения, куда больший страх перед большевизмом и ощутимая слабость прибалтийских националистических движений побудили американцев поддержать идею сохранения немецких частей в Латвии и Литве[44]. Обсуждавшаяся в Париже Вильсоном с лидерами союзников в мае 1919 г. статья 453 мирного договора оговаривала, что для гарантий устранения последствий Брест-Литовского мирного договора и "обеспечения мира и стабильной власти в балтийских провинциях и Литве" все находящиеся на этих территориях немецкие солдаты вернутся в Германию тогда, "когда это посчитают своевременным союзники и объединенные вооруженные силы"[45]. В соответствии с этой установкой наиболее активно немецкие войска использовались в Латвии. В марте 1919 г., когда советский режим установил свою власть в Риге и на большей части территории Латвии, официальные лица США одобрили введение и поддержку германских войск в Лиепае, на юго-западном побережье Рижского залива. В апреле глава американской миссии в странах Балтии рекомендовал союзной верхушке, чтобы германским силам в южной Латвии было позволено "морем доставлять для себя припасы... для поддержки сил, в настоящее время действующих против большевиков". Соответственно "Совет четырех" принял решение разрешить доставку припасов немцам, хотя и отказался одобрить переброску дополнительных боевых частей[46].

Вскоре американскому правительству пришлось столкнуться с "осложнениями", возникшими в связи с использованием немцами предоставленных им полномочий. После того как германские войска помогли балтийским аристократам 16 апреля свергнуть латвийское временное правительство в Лиепае, Лансинг и министры иностранных дел союзных держав рассмотрели вопрос о сокращении поставок

немцам. Отдавая себе отчет в том, что полное их прекращение сделает немцев неспособными "сдерживать большевиков", Совет министров иностранных дел согласился "продлить разрешение на поставку угля из Германии при условии, что он будет использоваться только для снабжения фронта, созданного сейчас против большевиков". В Латвии было временно "прекращено распределение продовольствия" в качестве демонстрации недовольства действиями немцев, которые вслед за этим позволили восстановить латвийское временное правительство. Поддержанный немцами мятеж побудил некоторых американских советников потребовать немедленного вывода германских войск. Однако находившиеся на месте событий американские представители подчеркивали, что это было бы неразумно, поскольку "немедленный уход германских войск, если они не будут заменены другими, отдаст страну на милость большевизму"[47].

В правительстве США надеялись, что рано или поздно германские силы будут заменены латвийской армией, но до поры до времени считали нужным и дальше использовать немцев. Менее чем две недели спустя после путча в Лиепае военные советники США предположили, что немцы вместе с прибалтами и русскими "могут начать наступление и взять Ригу, особенно если им будет оказана поддержка с моря". Сомнения американских официальных лиц относительно возможного использования германской военной помощи были незначительными в сравнении с той брезгливостью, которую испытывали при этой мысли некоторые из их партнеров среди союзников. На заседании Совета министров иностранных дел в мае Гувер перепутал Латвию и Литву, но совершенно точно определился в том вопросе, что "гуманитарная политика позволит немцам выполнить свою работу на суше в сотрудничестве с британским флотом, действующим на море". Когда же французский и британский министры иностранных дел выдвинули свои возражения, Лансинг ханжески обвинил британцев в нежелании "сотрудничать с немцами исключительно из страха лишиться ряда экономических преимуществ", а также в том, что "им придется нести полную ответственность в случае, если гуверовский план будет отвергнут". "Как ни парадоксально это может показаться, – констатировал Лансинг, – перемирие сделало союзные и объединенные правительства союзниками Германии в балтийских провинциях". Он закончил выражением уверенности, что "не существует опасности дурного поведения" со стороны Германии[48].

Ожидая отправки боевых кораблей в Ригу, пребывавший в нетерпении Г. Гувер высказывался в пользу дополнительных действий, способных предотвратить там "анархию, повальную резню и убийства". Около 20 мая Гувер направил телеграмму командующему Железной дивизией генералу Рудигеру фон дер Гольцу "с просьбой оккупировать Ригу", а затем отправил грузы с продовольствием, которые должны были прибыть в город вслед за немецкими солдатами[49]. 23 мая Совет министров иностранных дел дал молчаливое согласие на германскую оккупацию Риги. Министры иностранных дел, и среди них представлявший США Лансинг, сошлись во мнении, что "от немцев надо по-

требовать вывести свои войска из Латвии и Литвы, как только появится возможность заменить их организованными местными военными силами. Но им следует оставаться там, где они сейчас находятся, вплоть до дальнейших распоряжений"[50].

Три недели спустя, побуждаемый сообщениями о новых сложностях, возникших по ходу продвижения германских частей на северо-запад Эстонии, "Совет четырех" принял решение о необходимости приказать немцам немедленно убрать войска из южной Латвии и завершить их вывод с бывшей территории России "в возможно более короткие сроки". Чтобы покрыть издержки по выводу германских войск и дать отпор "угрозе прорыва большевизма на Балтику и в Скандинавию", военные лидеры США и союзных стран предлагали увеличить помощь националистическим силам Балтии. Вильсон согласился с Ллойд Джорджем и Клемансо, что поддержку следует оказать. Однако, поскольку эта помощь осуществлялась весьма медленно, американские военные предупреждали, что поспешный вывод германских войск создаст угрозу "внутренней безопасности" Балтийского региона, вызовет "новую большевистскую агрессию с территории России", а вслед за этим позволит большевизму "угрожать и Западной Европе"[51].

Летом 1919 г. участники конференции в Париже стали более решительно требовать вывода германских сил, но немецкое командование уклонялось от выполнения приказов. Вместо возвращения на территорию рейха многие солдаты Frei Korps вступали в "западную русскую армию", формально возглавлявшуюся русским полковником П.Р. Бермондтом-Аваловым, но организованную немецкими офицерами. Помощник госсекретаря Фрэнк Полк косвенно помогал этому "переливу" тем, что противодействовал требованию о выводе присоединявшихся к русским военным частям немцев. Другие американские официальные лица рассматривали вопрос о передаче оружия и боевого снаряжения, захваченного Германией в России в период войны, войскам под командованием Бермондта-Авалова[52].

В то время как британские военные деятели, подобно генералу сэру Хьюберту Гау, полагали, что германская угроза в Балтийском регионе "была куда более серьезнее, чем угроза большевизма", государственные деятели США придерживались противоположной точки зрения. Молодой Аллен Даллес, племянник Р. Лансинга и советник американской делегации в Париже, отражал настроения многих (включая самого Лансинга и других) американцев в октябре 1919 г., когда высказывал мысль, что проблема "установления законного правительства в России" должна быть решена до того, как американцы смогут начать работу над созданием "преграды на пути германского проникновения". Развивая эту идею, Даллес утверждал, что США следует "поддерживать все антибольшевистские силы – балтийские провинции, Колчака, Деникина, Юденича – до тех пор, пока с большевизмом не будет покончено, а затем постараться успешно противодействовать германскому проникновению". Хотя сам Вильсон демонстрировал большую сдержанность в вопросе использования германских сил,

Лансинг, Гувер и другие из его окружения более охотно относились к использованию германских войск против нового и, как им казалось, более опасного врага – большевизма[53].

Во второй половине 1919 г. внимание американских дипломатов, разведчиков и военных переключилось с защиты националистических правительств балтийских государств на поддержку наступления русской Северо-западной армии в целях захвата Петрограда. В июне глава американских советников в Прибалтике подполковник Грин вернулся в Париж из прибалтийских государств, с тем чтобы потребовать "активной и агрессивной кампании, нацеленной на разгром большевизма и переустройство России". Уважая "смелых и трудолюбивых" граждан Балтии, он с одинаковым негодованием относился как к вильсоновским, так и к ленинским догмам в области межнациональных отношений, которые, по его мнению, вовлекли балтийские народы в разборки друг с другом в то время, как им следовало сплотить усилия на установлении порядка и борьбе против большевизма. Предупреждая членов американской делегации в Париже, "что лето уходит", Грин рекомендовал "предпринять немедленные и энергичные шаги" для обеспечения антибольшевистских русских сил "кредитами, припасами и боевым снаряжением"[54].

Однако вильсоновская администрация не могла просто так передать оружие антибольшевистским силам. Как отметил Лансинг 25 июля, поскольку "военный министр не мог избавиться от лишних вооружений иначе, как посредством продажи, было необходимо координировать помощь Юденичу и правительству Колчака, принявшим на себя ответственность за русские долги перед Соединенными Штатами"[55]. Хотя результаты усилий по передаче материалов с американских складов во Франции русским силам в Балтийском регионе были незначительны (исключение составляли 55 трехтонных грузовиков для Северо-западной армии)[56], американские официальные лица посчитали более легким делом снабжать продовольствием антибольшевистские силы в обмен на долговые обязательства. Как сообщал генерал Блисс в Вашингтон в августе, АРА предоставила 22 200 т питания "гражданскому населению на территориях, находящихся в тылу армии Юденича, в обмен на ценные бумаги, предоставленные правительством Колчака"[57].

Гувер и его представители заявляли, что продукты питания всегда направлялись только гражданскому населению[58], однако в действительности значительная часть продуктов от АРА шла напрямую Северо-западной армии с их полного одобрения. 11 июня администраторы АРА решили предоставить полный объем продовольствия для русских частей, поскольку «казалось, что их "военная кампания" вселяла подлинную уверенность в возможность восстановления порядка и освобождения страны... из-под контроля большевиков». В конце июня официальные лица АРА согласились с просьбой представителей белых о том, чтобы продовольственная помощь направлялась непосредственно войскам Юденича, а не через эстонскую территорию. Удовлетворенный тем, что "поставки АРА были получены Северной армией", Гувер

телеграфировал своим людям: "Рад, что наши продукты питания помогают побеждать делу закона и порядка"[59].

В середине августа, закончив распределение всех подготовленных для прибалтийских государств припасов, АРА свернула операции. Однако американская помощь Северо-западной армии продолжалась. После представления Бахметьевым запроса Юденича о приоритетном обеспечении мукой "его войск, а не эстонского гражданского населения" Лансинг просил Гувера проинформировать его, "какие распоряжения, если таковые намечаются, могут быть сделаны в целях снабжения генерала Юденича, действия которого рассматриваются как имеющие большую значимость"[60]. 30 августа Гувер ответил, что в Таллинн прибывает пароход с 5 тыс. т муки для армии Юденича, который уже имеет "около 10 тыс. т муки и бобов на складах в Выборге и Нарве, *созданных для поставок хлеба его армии и гражданскому населению в* течение следующих двух или трех месяцев". Именно благодаря АРА Северо-западной армии тогда удалось избежать немедленного продовольственного кризиса. Однако, поскольку Гувер понимал, что у Юденича "вскоре кончится мясо", а АРА более "не имеет ни денег, ни припасов", он просил предпринять особые усилия. Твердо веря, что Юденич в ближайшее время может взять Петроград, Гувер утверждал, что "*совершенно нелогично поддерживать Колчака и не поддерживать* Юденича оружием и другими припасами"[61].

Хотя весной существовали сильные разногласия по проблемам русской политики, к концу 1919 г. ведущих американских государственных деятелей объединила общая линия, предусматривавшая ту степень поддержки сражавшихся с большевиками армий, которую допускали ограниченные ресурсы и внутриполитические условия в США. Как сказал помощник госсекретаря США Брекенридж Лонг послу Бахметеву 4 сентября, вильсоновская администрация хотела бы помочь "Юденичу или иному другому движению на территории бывшей Российской империи, которое имеет ярко выраженную антибольшевистскую направленность..."[62]. Во время агитационной кампании в сентябре 1919 г. в поддержку Лиги Наций, в ходе которой Вильсон пересек всю страну, он раз за разом обличал большевизм и выражал желание помочь людям "в этом великом несчастном российском царстве, лишенном формы, порядка и правительства". Чтобы помочь Северо-западной армии восстановить порядок, президент разрешил Транспортному управлению (Shipping Board) зафрахтовать корабли в целях перевозки оружия и снаряжения из британских и французских портов для сил Юденича[63].

Ободряемый британскими военными советниками, Юденич начал наступление на Петроград 28 сентября 1919 г., и в течение трех недель Северо-западная армия быстро продвигалась к старой столице[64]. Пробудившаяся надежда одержать победу над большевиками побудила американских официальных лиц более, чем когда бы то ни было, поддержать русских в их напряженных отношениях с эстонцами. Для того чтобы пояснить мотивы этих действий, вернемся несколько назад. В августе 1919 г. британские генералы, стремившиеся обеспечить военное сотрудничество с эстонцами, добились от Юденича подписания "предварительной декларации", предусматривавшей независимость Эстонии. *Бахметьев немедленно отверг соглашение, проинформировав* государственный департамент, что Юденич не имел полномочий предпринимать подобный шаг. Эстонцы, не удовлетворенные полученным под угрозой принуждения предварительным признанием, попытались получить от союзников в Париже признание де-юре. Когда союзники воспротивились этому, эстонцы приняли предложение советского правительства начать мирные переговоры. В ответ Бахметьев констатировал "крайнюю серьезность положения, сложившегося *в тылу* армии генерала Юденича" вследствие позиции Эстонии, и осуществил атаку на государственный департамент с целью "прекратить всякую материальную и моральную поддержку" эстонского правительства в том случае, если оно заключит мир с советскими властями[65].

В Вашингтоне прислушивались к советам Бахметьева. Лансинг отметил, что "был расположен согласиться с мнением посла" в том, что прибалтийские государства "не могут стать эффективным барьером на пути германского проникновения в Россию. Таким барьером является сама Россия, а потому наиболее разумной политикой будет защита целостности России, а не сепаратистских движений". 23 октября государственный департамент одобрил предложение Бахметьева об ультиматуме правительствам прибалтийских государств. Он убеждал британское правительство, которое "зашло наиболее далеко в поддержке балтийских сепаратистских движений", пригрозить им прекратить эту помощь с целью повлиять на их "линию поведения в отношении большевиков"[66].

Пока войска Юденича наступали, вильсоновские советники рассматривали вопрос о том, какие специальные усилия следует предпринять, чтобы обеспечить продовольствием и финансовой помощью антибольшевистские группы, включая запрос в конгресс о выделении России займа в 100 млн долларов. Но, поскольку Вильсон был прикован к постели после перенесенного им 2 октября инсульта, а многие конгрессмены – несговорчивы, чиновникам госдепартамента оставалось только сожалеть, что невозможными оказались любые эффективные *действия, которые позволили бы белым силам получить дополнительную* финансовую поддержку[67]. Всех американцев, причастных к российской драме, охватило чрезвычайное возбуждение в середине октября, когда в Вашингтон поступили не подтвердившиеся впоследствии сообщения, что белые войска взяли Петроград. Уверовав в "неизбежность освобождения Петрограда из-под большевистского контроля", некоторые из них спешно готовились направить в город оставленные в *Финляндии и Эстонии запасы продовольствия.*

Цель эта, однако, оказалась недостижимой. 15-тысячная Северо-западная армия значительно уступала насчитывавшим более 50 тыс. солдат красным войскам, спешно переброшенным с других фронтов, поскольку Юденич непосредственно угрожал Петрограду. Торопясь стать первым, кто вступит в бывшую столицу, один из генералов Юденича не выполнил приказа перерезать железную дорогу на Москву,

чем воспользовались прибывающие подкрепления красных. Проведенная британскими и эстонскими силами морская операция поддержки по захвату крепости Красная Горка закончилась неудачей после того, как некоторые корабли флота ее величества пришлось вернуть для предотвращения угрозы Риге, созданной отколовшимися от Бермондта-Авалова русскими и германскими частями. В дополнение к этим военным неудачам, положение усугубилось нежеланием Юденича поддержать проведение земельной реформы и демократические порядки, а некоторые командиры Северо-западной армии еще более оттолкнули гражданское население, начав погромы и белый террор в захваченных ими районах. Жесткость белых оттолкнула от них крестьян, рабочих и интеллигенцию. Джон Гейд, назначенный новым главой миссии США в Прибалтике (вместо Грина), в октябре 1919 г. пришел к заключению, что граждане прибалтийских государств и освобожденных районов России не получили "твердых гарантий на будущее... и, как следствие, *наступавшие армии столкнулись с недовольством в тылу*, в то время как их внимание и силы должны были быть сконцентрированы на фронте против врага" (т.е. большевиков)[68]. Все эти обстоятельства позволили красным выбить Северо-западную армию из пригородов Петрограда в конце октября, а в ноябре загнать ее на эстонскую территорию.

Разочарованные поражением Юденича, американцы зимой 1919/20 г. все же продолжали оказывать как гуманитарную, так и политическую поддержку остаткам Северо-западной армии. В конце ноября Гейд просил госдепартамент заверить солдат Юденича, что им будет оказана достаточная продовольственная помощь для того, чтобы они могли отбить попытки их разоружения со стороны эстонцев и продолжать сражаться против советского правительства[69]. Вполне разделявший намерения Гейда, Лансинг заявил 13 декабря финскому министру, что, несмотря на "бедственное положение Эстонии", Соединенные Штаты "лишены возможности" оказывать поддержку этой стране и что он "против расчленения России"[70]. Двумя днями позднее Лансинг информировал Гейда о том, что 30 тыс. т муки и других продуктов, "переданных во время наступления Юденича на Петроград", могут "распределяться *только* (выделено мной. – *Д.Ф.*) русским под нашим контролем и с нашего согласия". Лансинг указал, что "продовольственные склады должны по-прежнему использоваться" для "поддержки Юденича"[71]. Кроме обеспечения Северо-западной армии продольствием, медикаментами и одеждой, американские офицеры связались с эстонскими официальными лицами, чтобы организовать паспорта и транспортные средства для солдат Юденича. Благодарный за помощь, последний наградил медалями Гейда и других американских представителей в ознаменование их заслуг в "борьбе против врагов человечества – большевиков"[72].

* * *

Поскольку сопротивление конгресса и американской общественности воспрепятствовало прямой американской военной интервенции в Балтийском регионе, американское правительство попыталось поддержать антибольшевистские силы разнообразными полумерами. Некоторые из них дали осечку. Столкнувшись со множеством сложных проблем, американцы раз за разом подчиняли иные заботы главной цели – нанести поражение (или по возможности отбросить) большевизму. Хотя их беспокоила возможность британского торгового господства на Балтике, они сотрудничали с английским правительством и призывали на помощь королевский флот. Проявляя искреннюю обеспокоенность страданиями мирных граждан, американцы в распределении продовольствия и одежды нередко отдавали приоритет снабжению наступавших против большевиков войск. Несмотря на страх перед гегемонистскими устремлениями немцев, американцы одобрили оккупацию их военными *силами Литвы и Латвии, с тем чтобы удержать их или вырвать эти* страны из рук большевиков. Молчаливое поощрение германского присутствия косвенно содействовало срыву антибольшевистских кампаний во время германо-эстонского конфликта в июне 1919 г. и наступления русско-германских частей на Ригу в октябре. Хотя Вильсон и многие из его советников боялись восстановления монархии в России, они забывали о своих страхах, когда организовывали помощь возглавлявшимся бывшими офицерами царской армии антибольшевистским силам. В свою очередь, поддержка белых и симпатии их стремлению возродить великую Россию встречали враждебное отношение балтийских националистических правительств, помощь которых была необходима для захвата Петрограда.

Борьба против большевизма и надежды на восстановление единой демократической России перевешивали все остальные соображения. Здесь таится объяснение того, что в целом американская политика в отношении Балтийского региона была отмечена весьма значительными колебаниями и противоречивостью. Молодые американские советники, такие, как Адольф Бёрль, особенно в первой половине 1919 г., со всей страстностью приняли принцип самоопределения для балтийских государств. Однако даже Бёрль стал со временем больше симпатизировать антибольшевистски настроенным русским, которые отвергли этот принцип[73]. Лансинг и подполковник Грин, сохраняя уверенность, что судьбы народов Прибалтики будут определять граничащие с ними великие державы, также концентрировали усилия прежде всего на поддержке русских военных лидеров, которые, как они надеялись, смогут свергнуть большевистскую тиранию. Все сохраняли надежду, что победившие антибольшевистские силы прислушаются к совету американцев и предоставят народам Балтии широкую автономию в рамках российской федерации. С момента большевистской революции и в течение всего 1919 г. президент Вильсон колебался, какой курс ему избрать, смутно надеясь, что в будущем Лига наций сможет выступить посредником в нахождении золотой середины между прибалтийским самоопределением и территориальной целостностью России.

* * *

В августе 1920 г. сменивший Лансинга новый государственный секретарь Б. Колби на последнем году пребывания президента Вильсона у власти выступил с открытым заявлением, предпринимая попытку более четко определить и кодифицировать политику США. Нота Колби, появление которой было ускорено продвижением Красной Армии к Варшаве, в ходе советско-польского конфликта выражала неутраченную веру Вильсона, что русский народ рано или поздно поднимется против большевистской "тирании". Предвидя создание постсоветского государства, нота вместе с тем твердо высказывалась в пользу "единой России" в границах 1914 г., исключая Финляндию, Польшу и Армению. Для Колби, Вильсона и правого социалиста Джона Спарго (основного автора декларации) это был способ противопоставить свою точку зрения апелляции большевистского режима к русскому национализму и таким образом вдохновить русский народ на борьбу за демократию в собственной стране[74].

В то время как историки всегда считали одобрение нотой Колби принципа территориальной целостности России выражением глубоко принципиальной (и одновременно нереалистичной) позиции, было бы более интересно рассмотреть это заявление в контексте истории психологической борьбы против большевизма от Вудро Вильсона до Рональда Рейгана. Хотя нота Колби недвусмысленно включала в себя идею почти полного восстановления территории Российской империи, она по существу являла собой только начальный этап сопротивления, в ходе которого соображения самоопределения и территориальной целостности были подчинены борьбе против большевизма и являлись второстепенными по отношению к ней.

Приоритет антибольшевизма стал особенно очевиден в начале периода "холодной войны". Хотя после завершения второй мировой войны официально Соединенные Штаты поддержали требование прибалтийских государств о самоопределении, но, как и во времена Вильсона, ведущие политики США имели немало сомнений и оговорок относительно применения принципа самоопределения по отношению к нерусским национальностям. Так, например, в 1948 г. Джордж Кеннан, занимавший тогда пост главы Отдела планирования государственного департамента, доказывал в представленном на один из семинаров докладе, что, хотя США должны содействовать "возрождению национальной жизни прибалтийских народов", им не следует напрямую связывать себя с борьбой за обеспечение независимости любого из национальных меньшинств. Даже в случае войны между США и СССР, говорил Кеннан, позиция его страны по вопросу о независимости Прибалтики должна "зависеть от природы русского правительства, которое будет управлять регионом" в конце войны. Он утверждал, что не "следует заставлять прибалтийские государства оставаться под контролем коммунистического или иного другого экстремистского режима", но если постсоветское российское правительство будет либеральным и терпимым, то для прибалтийских государств, считал

Кеннан, было бы предпочтительным получить автономию в составе Российской Федерации[75].

Противоречия между поддержкой лозунга самоопределения и отстаиванием принципа единой России были особенно ярко выражены в работе ряда пропагандистских организаций, которые Д. Кеннан и многие ветераны вильсоновской эры (такие, как Де Витт Пул, Адольф Бёрль и Аллен Даллес) создали в период между 1948 и 1951 гг., – Национального комитета за свободную Европу, "Радио Свободная Европа", Американского комитета за освобождение народов России и "Радио Свобода". Американцы, работавшие для объединения эмигрантов русских и нерусских национальностей в единый антибольшевистский фронт, попытались преодолеть конфликт за счет выдвижения третьего принципа: "непредопределение". Как заявил в 1952 г. президент Американского комитета за освобождение адмирал Алан Кирк, комитет "концентрирует свои усилия на достижении главной цели, каковой является освобождение от коммунистического ига"[76]. Он придерживался того мнения, что вопросы организации постсоветского государственного устройства не могут быть определены до тех пор, пока русский и другие народы не будут освобождены от коммунизма.

Когда стратегия, рассчитанная на примирение устремлений русских и нерусских групп, потерпела неудачу, американцы установили более жесткий контроль над "Радио Свобода" и стали склоняться к поддержке выходцев из России. Например, в декабре 1953 г. Роберт Келли, европейский представитель Американского комитета за освобождение, сообщил, что глава Лиги борьбы за свободу народа А.Ф. Керенский "был очень обрадован" беседой с помощником госсекретаря Уолтером Беделлом Смитом, "который уверял его, что политика американского правительства не сводится к поддержке сепаратистов". Керенский также заявил Келли, что советник президента Эйзенхауэра по проблемам психологической войны К.Д. Джэксон "назвал... украинских сепаратистов слишком надоедливыми и уверял его, что американское правительство не будет поддерживать подобные группы"[77].

Как и Керенский, Келли был в течение многих лет вовлечен в борьбу против большевиков. Прежде чем стать в 20-х годах главой Отдела стран Восточной Европы государственного департамента, он служил американским военным атташе в Финляндии и прибалтийских государствах в период гражданской войны в России. Как можно предположить из разговора между Келли и Керенским, преемственность в американской внешней политике со времен Вильсона до периода "холодной войны" отчасти проистекала из того факта, что для многих людей эти фазы были этапами одной длительной антибольшевистской кампании.

[1] См. замечания В. Вильсона по проблемам Филиппин и Пуэрто-Рико в 1900–1906 гг. в документальной публикации: The Papers of Woodrow Wilson (далее – PWW) / Ed. Arthur S. Link. Vols 1–69. Princeton, 1966–1993. Vol. 11. P. 374, 440, 532, 573 etc.

[2] Проект ответа папе, приложенный к письму: Wilson to House, August 23 1917 // PWW. Vol. 44. P. 33–35; The Public Papers of Woodrow Wilson; War and Peace // Ed. P.S. Baker

and W.G. Dodd, Vols 1–2. N.Y., 1927. Vol. 1. P. 177–184 (Выступление Вильсона 11 февраля 1918 г.).

[3] Sterling Library. Yale University. House Papers. House Diary. 1918. Sept. 19, Oct. 28.

[4] Fourteen Points Address. 1918. January 8 // PWW. Princeton, 1984. Vol. 45. P. 537; Lippmann-Cobb Memorandum, enclosed in House to Wilson. October 29, 1918; Wilson to House. October 30, 1918 // PWW. Vol. 51. P. 498–499.

[5] Wilson to Lansing. November 20, 1918; Lansing to Wilson. November 26. 1918 // Papers Relating to the Foreign Relations of the United States (далее – FRUS). The Paris Peace Conference (далее – PPC). 1919, Vol. 1–13. Wash. (D.C.), 1932–1947. Vol. 1. P. 268–271; Library of Congress (далее – LC). Box 3. Lansing Papers. Lansing to Wilson. December 10, 1917; Pusey Library. Harvard University. Morison Papers. S.E. Morison. May 31, 1921.

[6] Diary of Dr. Grayson. December 8, 1918 // PWW. Vol. 53. P. 338.

[7] Sterling Library, Yale University. Box 9, Folder 246. Auchincloss Papers. Набросок предварительного доклада и рекомендаций, подготовленный в соответствии с инструкциями для президента и полномочных представителей Разведывательным отделом 21 января 1919 г.

[8] Harvard University Archives (далее – HUA). S.E. Morison Diary. Note for January 9, 1919; F.D. Roosevelt. Library (далее – RL). Hyde Park. New York. Box 2. Berle Papers. A.A. Berle to Dad. February 17, 1919.

[9] HUA. Morison Diary. Entries for February 9, 18, 19, March 1, 1919; Notes for February 9, 12, 20, March 10, 1919.

[10] Ibid. February 28, March 1, 5, 12, 1919; RL. Box 1. Berle Papers. Berle) Memorandum on the Informal Russian Comittee, March 1919.

[11] RL. Berle Papers. Box 1. Personal Memorandum. March 15, 1919; Berle to Herter, February 17, March 28, 1919.

[12] HUA. Morison Diary, March 13 and 15, 1919; RL. Berle Papers. Box 1. Memorandum, March 28, 1919.

[13] RL. Berle Papers. Box. 1. Russian Section to Herter (for the Commissioners). March 30, 1919; HUA. Morison Diary. March 31 and April 3, 1919; Wilson to Lansing, April 1, 1919 // PWW. Vol. 56. P. 512–513.

[14] April 19, 1919 letter to Nansen, in Nansen to Lenin, April 17, 1919 // PWW. Vol. 57. P. 438–439; Wilson to Hoover, April 23. 1919 // Ibid. Vol. 58. P. 41–42.

[15] Sterling Library. House Papers. House Diary. April 5, 1919.

[16] Hoover to Wilson, March 28, 1919 // PWW. Vol. 56. P. 375–378; Hoover statement of 21 April, 1919 // Ibid. Vol. 58. P. 42; Hoover Institution Archives (далее – HIA). Stanford. Box 19. Folder 6. American Relief Administration Papers. Russian Operations "Hoover Press Statement". April 19, 1919.

[17] Chicherin to Nansen, related by Nansen to Hoover. May, 14, 1919 // PPC. Vol. X. P. 743–747; Notes of Meeting of the Council of Four. May 20, 1919 // PWW. Vol. 59. P. 301.

[18] LC. Lansing Papers. Lansing Desk Diary. April 19, 1919; Gilbert Close, Memorandum for the President. April 17, 1919 // PWW. Vol. 57. P. 440; *Thompson J.M.* Bolshevism and the Versailles Peace. Princeton, 1967. P. 250.

[19] Letters of Warwick Greene 1915–1928 / Richard W. Hale, ed. Boston, 1931. P. XIII–XVI, 120, 146.

[20] Lansing to Wilson. November 26, 1918 // PPC. Vol. I. P. 270–271; Greene to Commission to Negotiate Peace. April 13 and 22, 1919; Greene to Mr. Andreas Needra. May 1, 1919 // Ibid. Vol. XII. P. 139–141, 144–147, 182–183.

[21] *Gade J.A.* All My Born Days. N.Y., 1942. P. 118–121, 151.

[22] HIA. Vance McCormick Diary. May 7, 1919; The Memoires of Herbert Hoover: Years of Adventure. N.Y., 1951. P. 373.

[23] Hoover to Wilson. May 9, 1919 // Two Peacemakers at Paris: The Hoover–Wilson Post-Armistice Letters 1918–1920. College Station, Texas, 1978. P. 149–151.

[24] *Hoover H.* The Ordeal of Woodrow Wilson. N.Y., 1958. P. 129.

[25] Wilson to Hoover. May 21, 1919 // PWW. Vol. 59. P. 347.

[26] Crowell to Secretary of State, April 30, 1919 // FRUS 1919.

[27] HIA. ARA Papers. Box 19. Folder 6. ARA Papers. ARA Russian Operations. Hoover annoucement. May 1919.

[28] Mantoux's Notes of a Meeting of the Council of Four. June 13, 1919 // PWW. Vol. 60. P. 500.

[29] Morison to Lansing. May 26, 1919 // PWW. Vol. 59. P. 547–549; PPC. VI. P. 667.

[30] Kolchak to Clemenceau, June 4, 1919 // PWW. Vol. 60. P. 143; Wilson comments on Kolchak reply. June 11, 1919 // Ibid. P. 419.

[31] RL. Berle Papers. Box 1. Berle to Bliss, for the President. June 7, 1919; Morison to the President. June 10, 1919; Morison to Grew. June 15, 1919 // PPC. Vol. XI. P. 591.

[32] Bliss to Bakhmeteff. July 4, 1919; Bakhmeteff to Bliss. July 8, 1919 // FRUS. 1919. Russia. P. 683–687.

[33] Grayson Diary, June 11, 1919 // PWW. Vol. 60. P. 387.

[34] Lt. Robert Hale, "Report of the Mission to Finland, Esthonia, Latvia and Lithuania on the Situation in the Baltic Provinces". Paris. July 23, 1919 // Senate Documents, 66th Congress, First Session. Wash., 1919. Vol. 15. P. 6, 8. Doc. N 105.

[35] Minutes of a Meeting of the Council of Ten. February 15, 1919 // PPC. Vol. IV. P. 10–11.

[36] Imbrie to Acting Secretary of State. March 2, 1919 // FRUS. 1919. Russia. P. 670.

[37] Consul at Helsingfors to Acting Secretary of State. March 6, 1919; Polk to Imbrie. March 8, 1919 // FRUS, 1919, Russia. P. 671, 673.

[38] *Smith C.J. Jr.* Finland and the Russian Revolution. 1917–1922. Athens, 1958. P. 134–152.

[39] HIA. Hoover Papers. Box 326. Hoover to American Consul at Helsingfors. July 2, 1919.

[40] *Smith C.J.* Op. cit. P. 154–158; FRUS. 1919. Russia. P. 707.

[41] The Cabinet Diaries of Josephus Daniels / Ed. E. Cronon. Lincoln, 1963. P. 432–343; LC. Lansing Papers. "Memorandum on Absolutism and Bolshevism". October 26, 1918.

[42] Fouteen Points Address // PWW. Vol. 45. P. 537.

[43] PPC. Vol. II. P. 467–468, 480–481, 485.

[44] Notes of Meeting of the Council of Four. March 29, 1919 // PWW. Vol. 58. P. 413.

[45] Wilson discussion with Clemenceau and Lloyd George on May 3, 1919 // Ibid. Vol. 58. P. 390–403.

[46] LC. Box 265. Bliss Papers. Minutes of the Commissioners, March 3, 1919.

[47] Green message of April 20, 1919 // PPC. Vol. XII. P. 141–144.

[48] Colonel O.N. Solbert to General Bliss. April 28, 1919 // PPC. Vol. XII. P. 150–153.

[49] Warwich Greene report. June 3, 1919 // FRUS. 1919. Russia. P. 679–680.

[50] Notes of a Meeting of Foreign Ministers. 23rd May // PPC. Vol. IV. P. 748–762.

[51] Greene to Grew. June 28, 1919 // FRUS. 1919. Russia. P. 683–683.

[52] Wilson discussion with Lloyd George. June 12, 1919 // PWW. Vol. 60. P. 475.

[53] Notes of Meeting of the Heads of Delegations. September 18, 1919 // PPC. Vol. VIII. P. 254–258; Mudd Library. Princeton University. Allen W. Dalles Papers. Box. 6. A.W. Dulles Memorandum for Mr. Dresel. October 22, 1919.

[54] Greene to Grew. June 30 and July 5, 1919 // PPC. Vol. XII. P. 207–121, 213–215.

[55] Lansing to Imbrie. July 25, 1919 // FRUS, 1919. Russia. P. 692–693.

[56] Bakhmeteff to Lansing. August 4, 1919 // FRUS. 1919. Russia. P. 696–698.

[57] HIA. Yudenich Collection. Box 18. Special Agreement between ARA and Provisional Government of Russia. July 16, 1919.

[58] Imbrie to Secretary of State. August 13, 1919 // FRUS. 1919. Russia. P. 698–699, 701.

[59] HIA. Folder 119. Yudenich Collection. Box 18. Anonymous memorandum, July 1919.

[60] Lansing to Hoover. August 25, 1919 // FRUS. 1919. Russia. P. 705.

[61] Hoover to Lansing. August 30, 1919 // Ibid. P. 707.

[62] LC. Breckinridge Long Diary, September 4, 1919.

[63] Wilson address. September 9, 1919 // PWW. Vol. 63. P. 134.

[64] *Mawdsley E.* The Russian Civil War. Boston, 1987. P. 199.

[65] Russian Embassy to Department of State, September 18, 1919 // FRUS. 1919. Russia. P. 710.

[66] Secretary of State to Commission to Negotiate Peace. October 15. 1919 // Ibid. P. 723–724.

[67] Polk to Secretary of State, September 29, 1919; Phillips to Polk. October 2, 1919 // Ibid. P. 714, 721.

[68] NA. RG 84. File 800, Vol. 6. American Mission, Riga. Gade to Secretary of State. November 15, 1919.

[69] Ibid. Gade to Secretary of State. December 18, 1919.

[70] Ibid. File 820. Vol. 6. Gade to Secretary of State. November 27, 1919.

[71] Lansing to Gade. December 15. 1919 // FRUS. 1919. Russia. P. 748–749.

[72] HIA. Yudenich Collection. Box 8. Folder 8. Gade to Col. Krusenstiern. January 4, 1920; Yudenich to Gade. 26 November 1919.

[73] RL. Berle Papers. Box 2. Berle to Dad. May 25, 1919; *Schwarz J.A.* Liberal: Adolph A. Berle and the Vision of an American Era. N.Y., 1987. P. 147–187; RL. Berle Papers. Box 2. Draft of "The Reminiscences of Adolph A. Berle. Jr.", P. 58. Columbia Oral History Interview. 1969.
[74] Colby to Avezzana. August 10, 1920 // FRUS. 1920. Vol. 3. P. 463–468.
[75] *Kennan G.* United States Objectives with Respect to Russia, PPS/38, August 18, 1948 // The State Department Policy Planning Staff Papers / Ed. Anna K. Nelson. N.Y., 1983. Vol. 2. P. 373–374, 380–381.
[76] HIA. Sig Mickelson Papers. Box 13. A. Kirk. Press-release of June 23, 1952.
[77] Georgetown University. Kelley Papers. Box 5. Kelley R. to the President of the ACL. December 15, 1953.

VII. В АССОЦИАЦИИ ИСТОРИКОВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ*

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Б.П. Уткин

Военная история России богата событиями, которые оставили неизгладимый след в военно-историческом сознании народа и вписаны золотыми страницами в науку, в многовековой опыт преодоления исторических катастроф при отражении иностранной агрессии. Одной из таких страниц является наступательная операция Юго-Западного фронта (ЮЗФ) в 1916 г. Речь идет о единственном сражении первой мировой войны, которое современниками и потомками названо по имени главнокомандующего армиями ЮЗФ генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова, по чьей инициативе и под чьим блистательным руководством оно было подготовлено и проведено. Это – знаменитый Брусиловский прорыв. В западные энциклопедии и многочисленные научные труды оно вошло как "Brussilow angritte", "The Brusilov offensive", "Offensive de Brussilov".

80-летие Брусиловского прорыва вызывает большой интерес общественности к личности А.А. Брусилова, к истории возникновения замысла, методам подготовки, осуществления и результатам этой уникальной в своем успехе операции первой мировой войны. Такой интерес тем более актуален, что в советской историографии опыт первой мировой войны освещен крайне недостаточно, а многие ее военачальники до сих пор остаются безвестными.

А.А. Брусилов был назначен на пост главнокомандующего (ГК) армиями ЮЗФ 16(29) марта 1916 г. В то время это фронтовое объединение представляло внушительную силу. В него входили четыре армии (7-я, 8-я, 9-я и 11-я), части фронтового комплекта (артиллерия, кавалерия, авиация, инженерные войска, резервы). Главнокомандующему подчинялись также Киевский и Одесский военные округа (они располагались на территории 12 провинций). Всего группировка фронта насчитывала более 40 пехотных (пд) и 15 кавалерийских (кд) дивизий, 1770 орудий (в том числе 168 тяжелых); общая численность войск Юго-Западного фронта превышала 1 млн человек. Полоса фронта простиралась на 550 км, тыловой границей фронта являлась р. Днепр.

---

* В разделе публикуются дискуссионные материалы, обсужденные на конференциях и заседаниях Ассоциации в 1993–1997 гг.

© Б.П. Уткин

Выбор ГК ЮЗФ А.А. Брусилова императором и Ставкой Верховного командования имел под собой глубокие основания: генерал по праву считался в русской армии одним из наиболее заслуженных военачальников, чей опыт, личностные качества и результаты деятельности находились в гармоничном единстве и открывали перспективы достижения новых успехов в ведении боевых операций. У него за плечами был 46-летний опыт военной службы, в котором счастливо сочетались участие в боевых действиях, руководство подразделениями, высшими учебными заведениями, командование соединениями и объединениями. Он был отмечен всеми высшими наградами российского государства. С начала первой мировой войны Брусилов командовал войсками 8-й армии (8А). На посту командующего в ходе сражений начального периода войны, а затем в Галицийской битве (1914 г.), в кампании 1915 г. раскрылись талант и лучшие качества Брусилова-полководца: оригинальность мышления, смелость суждений, выводов и решений, самостоятельность и ответственность в руководстве крупным оперативным объединением, неудовлетворенность достигнутым, активность и инициатива. Пожалуй, самым большим открытием Брусилова-полководца, сделанным в ходе мучительных раздумий в период двадцати двух месяцев войны и окончательно определившимся к весне 1916 г., был вывод, а точнее, убеждение в том, что войну надо вести по-другому, что многие главнокомандующие фронтами, а также высшие чины Ставки не способны по разным причинам переломить ход событий. Он отчетливо видел явные пороки военного и государственного управления страной сверху донизу.

* * *

1916 год – кульминация первой мировой войны: противоборствующие стороны мобилизовали практически все свои людские и материальные ресурсы. Армии понесли колоссальные потери. Между тем ни одна из сторон не добилась сколько-нибудь серьезных успехов, которые хотя бы в какой-то степени открывали перспективы успешного (в свою пользу) окончания войны. С точки зрения оперативного искусства начало 1916 г. напоминало исходное положение враждующих армий перед началом войны. В военной истории сложившееся положение принято называть позиционным тупиком. Противостоящие армии создали сплошной фронт глубокоэшелонированной обороны. Наличие многочисленной артиллерии, большие плотности обороняющихся войск делали оборону труднопреодолимой. Отсутствие открытых флангов, уязвимых стыков обрекали попытки прорыва и тем более маневра на неудачу. Чрезвычайно ощутимые потери в ходе попыток прорыва также являлись доказательством того, что оперативное искусство и тактика не соответствовали реальным условиям войны. Но война продолжалась. И Антанта (Англия, Франция, Россия и другие страны), и государства Германского блока (Австро-Венгрия, Италия, Болгария, Румыния, Турция и др.) были полны решимости вести войну до победного конца. Выдвигались планы, шел поиск вариантов боевых

действий. Однако всем было ясно одно: любое наступление с решительными целями надо начинать с прорыва оборонительных позиций, искать выход из позиционного тупика. Но найти такой выход даже и в 1916 г. не удалось никому (Верден, Сомма, неудачи Западного фронта – 4А, Юго-Западного фронта – 7А). Тупик в пределах ЮЗФ преодолел А.А. Брусилов.

Наступательная операция ЮЗФ (4 июня–10 августа 1916 г.) – составная часть боевых действий русской армии и ее союзников по Антанте, а также отражение сложившихся стратегических взглядов, принятых сторонами решений и соотношения сил и средств в 1916 г. Антанта (в том числе и Россия) признала необходимым вести согласованное по времени и задачам наступление против Германии. Превосходство было на стороне Антанты: на Западноевропейском фронте 139 дивизиям англо-французов противостояли 105 германских дивизий. На Восточноевропейском фронте 128 русских дивизий действовали против 87 австро-германских. Германское командование приняло решение перейти к обороне на Восточном фронте, а на Западном – наступлением вывести Францию из войны.

Стратегический план ведения боевых действий русской армией был обсужден в Ставке 1–2 апреля 1916 г. Исходя из общих и согласованных с союзниками задач, было решено войскам Западного (ЗФ; ГК – А.Е. Эверт) и Северного (СФ; ГК – А.Н. Куропаткин) фронтов подготовиться к середине мая и вести наступательные операции. Главный удар (в направлении Вильно) должен был наносить Западный фронт. По замыслу Ставки, ЮЗФ отводилась пассивная вспомогательная роль, ему ставилась задача вести оборонительные бои и сковывать противника. Объяснение было простое: ЮЗФ не способен наступать, он ослаблен неудачами 1915 г. и для его усиления Ставка не имеет ни сил, ни средств, ни времени. Все наличные резервы были отданы ЗФ и СФ. Видно, что в основе замысла лежал количественный подход к возможностям войск.

Но только ли количественными показателями нужно было определить роль каждого фронта, в том числе и ЮЗФ? Именно этот вопрос поставил А.А. Брусилов сначала перед императором при назначении на должность, а затем на совещании в Ставке. Он выступал после докладов М.В. Алексеева, А.Е. Эверта и А.Н. Куропаткина. Целиком согласившись с решением о задачах ЗФ (главное направление) и СФ, Брусилов со всей убежденностью, решительностью и верой в успех настаивал на изменении задачи ЮЗФ. Он знал, что идет против всех: неспособность ЮЗФ наступать защищали начальник штаба Ставки М.В. Алексеев (до 1915 г. – начальник штаба ЮЗФ), бывший командующий ЮЗФ Н.И. Иванов, даже Куропаткин, и тот отговаривал Брусилова. Впрочем, Эверт и Куропаткин не верили в успех и своих фронтов. Брусилову удалось добиться пересмотра решения Ставки – ЮЗФ было разрешено наступать, правда, с частными, пассивными задачами и рассчитывая только на собственные силы. Но и это была определенная победа над рутиной и недоверием к ЮЗФ. В военной истории немного найдется примеров, когда бы военачальник с таким

упорством, волей, настойчивостью и доводами разума добивался усложнения собственной задачи, ставил на карту свой авторитет, свое благополучие, боролся за престиж вверенных ему войск. Думается, этим во многом обусловлен давний вопрос: что двигало Брусиловым, каковы мотивы его деятельности?

Успешное решение задачи ЮЗФ в операции было изначально связано не с количественным превосходством над противником в силах и средствах (т.е. не с традиционным подходом), а с другими категориями оперативного (в целом – военного) искусства: массированием сил и средств на избранных направлениях, достижением внезапности (обманом противника, оперативной маскировкой, мерами оперативного обеспечения, применением ранее неизвестных приемов и способов вооруженной борьбы), искусным маневром силами и средствами. Совершенно ясно, что судьба операции в большей степени зависела от ее инициатора, организатора, исполнителя. Брусилов понимал это, более того, он был убежден, что неудача исключается, ставка делалась только на победу, на успех.

Наступление ЮЗФ началось, как и было установлено, 4 июля 1916 г. и продолжалось 70 суток. Замысел главнокомандующего, тщательная подготовка войск, твердое и непрерывное управление армиями, эффективное использование возможностей собственного фронта обеспечили успех боевых действий. Фронт противника был прорван на всю глубину, продвижение составило от 80 до 15 км. Наибольшего успеха добились фланговые 9-я и 8-я армии. Противник понес большие потери: более миллиона убитых и раненых, 400 тыс. пленных; русские войска захватили 581 орудие, 1800 пулеметов, 450 бомбометов. Безвозвратные потери ЮЗФ в живой силе – около 0,5 млн человек.

Фронтовая операция по своим результатам приобрела черты стратегической значимости. Наступление потрясло Австро-Венгрию, лишило ее войска возможности вести активные действия до конца войны; Румыния была выведена из союза с Германией, вступила в войну на стороне Антанты. Брусиловский прорыв заставил австрийские войска приостановить наступление на итальянском фронте и тем, по сути дела, спас итальянскую армию от разгрома. Существенно облегчилось положение английских и французских войск, когда немцы ослабили удары под Верденом и на Сомме: с Западноевропейского и Итальянского театров военных действий против Брусилова было переброшено 30 пд и 3 кд.

Операция ЮЗФ стала крупным достижением русского военного искусства: она открыла новую форму прорыва позиционного фронта, наиболее успешного для того времени. Она положила начало перелому в ходе войны в пользу Антанты. Перспективы окончания войны, достижения победы получили реальную основу, прервали застой, дали импульс успеху других операций, кампаний. С определенными оговорками можно утверждать, что развитие успеха ЮЗФ другими русскими фронтами, всеми фронтами Антанты могло создать условия для окончания войны против Германии и ее союзников уже в 1916 г. К глубокому сожалению, этого не произошло.

Перед исследователями давно стоит вопрос, почему Брусилова, ЮЗФ оставили один на один с противником, свободно маневрирующим резервами на всем Восточном фронте: под Ковель шли корпуса не только с Итальянского, но даже с Северного фронта. Почему ЗФ (Эверт) вместо начала июня перешел в наступление месяц (!) спустя и обнажил правый фланг ЮЗФ (8А), заставил Брусилова непрерывно опасаться контрудара немцев в стык 8А и 3А, лишил его возможности маневрировать кавалерийскими корпусами, которые вынуждены были действовать на фланге 8-й армии? Ставка оказалась верна своему слову: за 70 суток наступления ЮЗФ получил в виде подкреплений... один корпус и один дивизион тяжелой артиллерии. Переподчинение 3А и Особой армии Брусилову было осуществлено с опозданием. Вскоре это объединение вновь передали в ЗФ с той же задачей – наступать на Ковель.

Отсутствие согласованности на уровне Антанты и внутри России не дало возможности Брусилову развернуть успех и вынудило его после того, как противник уравнял силы за счет переброски подкреплений, прекратить наступление и перейти к обороне. Взяли верх ограниченность мышления, консерватизм, зависть к чужим успехам и другие пороки членов Ставки и высшего командования. Ставка оказалась бессильной заставить тех, на кого возлагалась главная задача, выполнить принятые решения. В этих условиях говорить о переносе усилий с Западного фронта на Юго-Западный не имеет смысла: Ставка не была способна на такие стратегические решения. Чужие ошибки, чужие провалы не могут заслонить в истории светлого имени выдающегося полководца, преуменьшить его заслуги и величайшее значение подвига вверенных ему солдат.

80 лет прошло со времени Брусиловского прорыва. 17 марта 1996 г. исполнилось 70 лет со дня кончины Брусилова. И как это бывает нередко в судьбах выдающихся людей, историки до сих пор продолжают спор вокруг имени А.А. Брусилова. Рассматриваются различные черты и аспекты его личности и деятельности. Все же главным остается вопрос: что двигало Брусиловым, каковы подлинные мотивы его деятельности? Одни историки утверждают: честолюбие, тщеславие, карьеризм. Другие подчеркивают свойства натуры полководца, его резко отрицательное отношение ко многим военачальникам, особенно вышестоящим. Третьи указывают на влияние обстоятельств войны, стремление к самоутверждению. Четвертые... Четвертые вообще склонны не признавать таланта Брусилова, равно как и его выдающихся успехов, а все написанное о нем считают мифом... Трудно отвергать доводы критиков – у каждого свой источник и своя цель. В то же время было бы несправедливо ограничиться в ответе на вопрос, что двигало Брусиловым, только выше приведенными суждениями.

Главное, по нашему мнению, заключается в том, что мы имеем дело с военачальником нового качественного уровня: как и другие выдающиеся полководцы, он достигал высоких успехов за счет органического единства ума, таланта, воли и нравственной основы решений и мотивов работы. Он перерос свое время – глубже других

постигал сложившуюся на фронте обстановку, с наибольшей полнотой и реальностью оценивал возможности подчиненных. Он дальше и глубже других видел, обладал даром предвидения. Думается, феномен Брусилова, его неукротимой жизнедеятельности, стремления переломить ход войны объясняется еще одним качеством – его чувством долга перед Отечеством, при этом он имел сугубо свое понимание (измерение) этого долга на высоком посту. И эта позиция не была кратковременным порывом, проявлением инициативы, рвением по службе. Собственное понимание высшего смысла долга было постоянным качеством Брусилова, которое в последующем проявилось и в период двух революций (Февральской и Октябрьской) 1917 г.

Всем своим опытом служения Отечеству, своей прирожденной мудростью и высокой нравственностью, патриотизмом, внутренним интуитивным ожиданием перемен к лучшему для своего народа Брусилов был подготовлен к восприятию изменения государственного строя, власти. Он не нуждался в совете, на чьей стороне сражаться: без колебаний пошел на службу в Красную Армию и отдал все свои силы, знания, опыт ее становлению, ее укреплению.

В день похорон на гроб Брусилова Реввоенсовет СССР возложил венок с надписью: "Честному представителю старшего поколения, отдавшему свой боевой опыт на службу СССР и Красной Армии". Брусилов в исторической памяти нашего народа стал и ныне остается одним из тех, кто служил и служит связующим звеном в сменяющихся поколениях российских военачальников, истинных защитников Отечества, умножающих традиции и славу Вооруженных Сил России.

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ КАК ОБЪЕКТ МИФОЛОГИИ

С.Г. Нелипович

Брусиловский прорыв 1916 г. занимает важное место в истории первой мировой войны. Его масштабы и драматизм не менее потрясли мир, чем ставший символом стратегии истощения Верден. Тем не менее сегодня в России об этой крупной операции русской армии знают гораздо меньше, чем 60 лет назад.

В настоящее время вновь возродился и не собирается умирать миф о Брусиловском прорыве, порожденный официальной пропагандой и военной цензурой еще в годы войны, подвергнутый серьезной критике в 20-е годы, несмотря на противодействие А.А. Брусилова, опровергнутый в 30-е годы и воссозданный позднее в условиях Великой Отечественной войны. В послевоенные годы серьезные исследователи первой мировой войны (А.А. Строков, И.И. Ростунов) не смогли

© С.Г. Нелипович

преодолеть "мифологическую" тенденцию, их оценки Брусиловского наступления противоречивы, ибо факты опровергают идеологические построения. Почему есть повод говорить о мифологизации Брусиловского прорыва, в чем заключается миф и каковы возражения против его положений?

Сам А.А. Брусилов в мемуарах, а следом за ним советские военные историки 40–70-х годах создали следующие основные догмы истории наступления Юго-Западного фронта:

идея наступления принадлежала лично Брусилову, и он лично настоял на его проведении;

наступление имело громадный успех – противник потерял 2 млн человек, перебросил с других театров военных действий 2,2 млн солдат и офицеров, благодаря чему были остановлены операции у Вердена (Франция) и Тренто (Италия);

прорыв удался только благодаря изобретенному лично Брусиловым методу – наступлению всеми армиями сразу, с тактическими задачами для каждой, с тем чтобы противник не догадался, где наносится главный удар (модифицирован в "теорию дробящих ударов" после 1941 г.);

наступление остановилось из-за численного превосходства противника, отсутствия у Брусилова резервов, бездарности М.В. Алексеева и командующего 8-й армией А.М. Каледина, "измены" А.Е. Эверта.

Обращение и к историческим трудам 20–30-х годов (как советских, так и зарубежных авторов), и к документам Российского государственного военно-исторического архива позволяет опровергнуть вышеизложенное. Вот главные доводы.

1) Идея отвлекающего удара на Луцк высказана 1 апреля 1916 г. на совещании в Ставке начальником штаба Верховного главнокомандующего М.В. Алексеевым и лишь доработана Брусиловым в тактическом и оперативном плане[1].

2) Прорыв у Луцка и на Днестре действительно потряс австро-венгерскую армию. Однако уже к июлю 1916 г. она оправилась от поражения и с помощью германских войск смогла не только отразить дальнейшие атаки, но и разгромить Румынию. Согласно опубликованным архивным данным, противник потерял, включая больных, на русском фронте до конца года чуть более 1 млн человек. Было переброшено против войск Брусилова 35 дивизий (в том числе с запада 8 сильно потрепанных и из Италии 6; из них 4 увезены обратно), т.е. меньше, чем потребовалось перебросить против румын (41).

3) Именно из-за выступления Румынии было остановлено германское наступление под Верденом; операция же против Италии заглохла еще до начала Брусиловского прорыва.

4) Метод "широкого наступления" – не изобретение Брусилова. Его применяли все стороны в кампании 1914 г., а в 1915 г. – русские войска Н.И. Иванова в Карпатах и наши противники в Галиции, на Волыни, в Польше, Прибалтике и Сербии. При укрепленном фронте успех мог быть достигнут только огромным численным превосходством или в условиях деморализации противника. Иначе лобовой штурм приводил к

неоправданным огромным потерям. Противник уже в июне разгадал направление главного удара и затем отразил его с помощью мобильных резервов на узловых участках фронта.

5) Брусилов напрасно винил в своих просчетах других. Каледин был его выдвиженцем и действовал успешно до тех пор, пока сам Брусилов не стал вмешиваться в каждую мелочь в управлении армией, потерявшей в результате операции свыше 300 тыс. человек[2].

Несправедливы и обвинения в бездействии А.Е. Эверта: его Западный фронт начал наступление, которое противник отразил. Алексеев после неудачи Западного фронта переносит главный удар в полосу Брусилова. На Юго-Западный фронт посылается до полумиллиона солдат с других фронтов и более 600 тыс. маршевого пополнения. В то же время, только по приблизительным подсчетам по ведомостям Ставки, Юго-Западный фронт Брусилова потерял с 22 мая (4 июня) по 14(27) октября 1916 г. 1,65 млн человек[3].

Именно это обстоятельство и решило судьбу наступления: русские войска благодаря "методе Брусилова" захлебнулись собственной кровью. Брусилов не выполнил ни одной задачи: враг не был разгромлен, его потери были меньше, чем у русских, успех для атак Западного фронта также не был подготовлен этой грандиозной отвлекающей операцией. Ковель, который притягивал все внимание Брусилова, как Селена лунатика, так и не был взят, несмотря на чудовищные потери трех армий, тщетно его штурмовавших. Не случайно многие авторы связывали разложение русской армии с крахом надежд на развитие успеха в результате наступления Брусилова.

Следует заметить, что миф может существовать только при небрежении к источникам. Ныне вновь стоит задача расширения источниковой базы исследований о первой мировой войне и, конечно, о Брусиловском прорыве. Речь идет в первую очередь об архивных источниках, прочно забытых с 40-х годов. Освоение новых документов позволит лучше и глубже осмыслить великую драму 1914–1918 гг.

[1] Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. М., 1920. Ч. 5. С. 27, 28; *Ветошников Л.В.* Брусиловский прорыв. М., 1940. С. 24.

[2] Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1304. Л. 277; Ф. 2134. Оп. 2. Д. 308. Л. 43–280.

[3] Подсчитано по: Там же. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 613. Л. 7–308; Д. 614. Л. 1–277; Д. 615. Л. 3–209; Оп. 2. Д. 426. Л. 218–280.

КРУПНЫЙ ВОЕННЫЙ ИСТОРИК В.Ф. НОВИЦКИЙ

А.Г. Кавтарадзе

Среди военных историков первой трети текущего века видное место принадлежит Василию Федоровичу Новицкому.

Новицкий родился 18 марта 1869 г.[1] в Радоме (бывш. Царство Польское) в семье офицера. Окончил Полоцкий кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище (1890 г.), откуда был выпущен подпоручиком в Варшавскую крепостную артиллерию.

В 1895 г. Новицкий успешно окончил Академию Генерального штаба, награжден малой серебряной медалью, и имя его, единственного в выпуске этого года, было занесено на мраморную доску Академии. 25 мая причислен к Генштабу (ГШ) и назначен на службу в Петербургский военный округ, где в течение двух лет занимал должность старшего адъютанта штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии с переводом в ГШ. В 1898 г. командирован за границу "с ученой целью в Британскую Индию сроком на восемь месяцев".

В 1899 г. Новицкий назначен командиром роты в Туркестанский стрелковый батальон[2], а в следующем году, будучи штаб-офицером при управлении Западно-Сибирской казачьей бригады, принял участие в походе в Китай. В 1901–1904 гг. – служба в Главном штабе, а с октября 1904 г. он переведен в Маньчжурию в качестве штаб-офицера для особых поручений при командующем 2-й Маньчжурской армией; участвовал во многих боях, в том числе у деревни Сандепу (12–15 января 1905 г.) и за боевые отличия награжден золотым оружием с надписью "За храбрость".

В конце 1905 г. группа офицеров основала в Петербурге первый в России частный военно-общественный печатный орган – ежедневную газету "Военный голос"[3] – с задачей выявления причин неудач русских войск на маньчжурских полях, критического анализа существующих порядков в государстве и военном ведомстве с целью проведения в армии необходимых преобразований для восстановления утраченной сю в результате минувшей войны боевой мощи.

5 сентября 1906 г. газета "Военный голос" была закрыта. Но Новицкому, который являлся душой газеты, членом редакции и самым активным ее сотрудником, не довелось быть свидетелем расправы властей с газетой: с июня 1906 г. он находился в экспедиции в Монголии.

В 1910 г. группа бывших сотрудников упомянутой газеты приступила к работе над военной энциклопедией[4], одним из инициаторов издания и главных редакторов которой был Новицкий. Написанная на высоком научном уровне, прекрасно иллюстрированная и снабженная картами, планами и схемами, энциклопедия оказалась уникальной, не имевшей аналогов ни в одной стране, и сохранила свое научное значение до настоящего времени[5].

© А.Г. Кавтарадзе

Прогрессивные взгляды и резкие обличительные статьи Новицкого уже давно вызывали неудовольствие правительственных кругов и руководства военного ведомства; 24 января 1911 г. он был назначен командиром 120-го пехотного Серпуховского полка, расположенного в городе Минске. Однако надежды на то, что служба в провинции и оторванность от столицы не позволят Новицкому продолжать свою научную и литературную деятельность, не оправдались: несмотря на службу в строю, он уже в мае 1912 г. опубликовал капитальный труд[6], представленный затем в качестве диссертации на соискание звания профессора по кафедре военной истории Императорской Николаевской военной академии (так с августа 1909 г. называлась Николаевская академия ГШ). Конференция Академии признала автора достойным занятия искомой им кафедры[7], но два года его не утверждали в звании экстраординарного профессора[8], что исключало его перевод из строя в Академию.

Объявление войны застало Новицкого в прежней должности командира полка, но уже в августе 1914 г., с производством в генерал-майоры, он был назначен командиром бригады 30-й пехотной дивизии, в которую входил его полк. Вверенная ему бригада совершила поход в Восточную Пруссию в составе 1-й армии; в должности генерал-квартирмейстера[9] штаба этой армии он проявил себя как выдающийся офицер в Праснышском сражении 7 февраля – 17 марта 1915 г.; назначенный командиром 5-й стрелковой бригады, затем – начальником 73-й пехотной дивизии, участвовал в многочисленных боях и операциях 1915–1916 гг. на Северном и Западном фронтах.

Самодержавие и все, что на него опиралось, капитулировало с первых же дней Февральской революции 1917 г. Значительная часть офицерства, в том числе генералитета русской армии, к перемене государственного строя России отнеслось сочувственно.

20 марта 1917 г. Новицкий был назначен "на время войны" помощником военного министра А.И. Гучкова[10], с 5 мая находился в распоряжении сменившего его А.Ф. Керенского, а 17 июля 1917 г. принял должность командира 2-го Сибирского армейского корпуса (12-я армия, Северный фронт). Об авторитете, которым Новицкий пользовался в армии, свидетельствует выдвижение его кандидатуры на должность начальника Николаевской воснной академии[11].

Не поддержанная широкими общественными кругами внешняя (усталость от войны) и внутренняя (развал и анархия в тылу) политика Временного правительства и его неудачные попытки демократических реформ в армии привели к ее разложению и позорному провалу так называемого "наступления Керенского" 16–30 июня 1917 г. Однако и в этих сложных условиях корпус Новицкого в боях под Ригой (19–24 августа) и при отходе 12-й армии на Венденские позиции проявил бблышую стойкость, чем другие соединения. В дни корниловского мятежа Новицкий принял сторону Временного правительства и в телеграмме от личного состава корпуса пожелал ему "полного успеха в междоусобной борьбе"[12].

При новой, советской, власти Новицкий не оставил службу. 14 ноября 1917 г. он назначен командующим 12-й армией, а 24 ноября – главнокомандующим армиями Северного фронта и флотом Балтийского моря. 16 декабря, в связи с установлением на фронте коллегиального командования, переведен на должность экстраординарного профессора Николаевской военной академии. При эвакуации последней в Екатеринбург в марте 1918 г. Новицкий остался в Петрограде секретарем Центрального педагогического музея[13], который находился в ведении Народного комиссара просвещения А.В. Луначарского. 13 ноября 1918 г. он был вызван в Москву и назначен заместителем, а с июля 1919 г. – руководителем военного отдела Высшей военной инспекции[14] (до ее расформирования в октябре 1919 г.). В декабре 1919 г. Новицкий получил назначение по совместительству во вновь формирующуюся академию Генерального штаба РККА[15], где ему было поручено создать и возглавить кафедру военной истории и подготовить курс лекций по "Истории всемирной войны". С февраля 1925 г. Новицкий занимал должность Главного руководителя цикла истории войн и военного искусства, в 1926 г. ему было присвоено звание "Профессор РККА", а в 1928 г. – почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР".

Василий Федорович Новицкий умер в ночь с 14 на 15 января 1929 г. в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище.

Первые труды военного историка В.Ф. Новицкого были посвящены состоянию англо-индийской армии[16], итогам трех поездок по северному склону Кавказского хребта[17] и путешествию из России в Индию[18] и обратно в Фергану[19].

В 1903 г. он совершил экспедицию в район малоисследованного хребта Петра Великого (горная Бухара, западнее Памира)[20], что позволило ему подробно изучить Афганский театр военных действий[21]. Кроме того, уже принимая участие в военных действиях против Японии, Новицкий летом 1905 г. трижды приезжал в Восточную Монголию, граничащую с Мукденской и Гиринской провинциями Маньчжурии[22], а в 1906 г. вновь с пятимесячной экспедицией оказался в Монголии с целью изучения пограничного района[23].

В опубликованном в 1909 г. капитальном труде[24] Новицкий подверг глубокому анализу наиболее существенные недостатки в военном ведомстве, препятствующие проведению коренных реформ в армии для улучшения состояния государственной обороны в России. В разделе "Генеральный штаб" автор дал всестороннюю характеристику "мозга армии" и всего корпуса офицеров ГШ и выразил полное согласие с возвращением ГШ в состав Военного министерства и упразднением Совета государственной обороны[25]. По его мнению, Академия Генерального штаба, "а в лице ее и весь наш Генеральный штаб, не выполняют одного из важнейших своих назначений: идейного руководительства всей той совокупностью понятий и знаний, которая образует современное военное дело. Стоя лицом к лицу с противником, который ясностью и определенностью своих намерений напоминает нам хищника, подстерегающего свою жертву, мы должны позаботиться о том, чтобы знать: – к чему же нам следует стремиться с той минуты,

когда пробьет час роковой борьбы с этим противником?"[26]. В разделе "Пережитки Военного министерства" Новицкий указывал на некоторые "отжившие учреждения военного ведомства, которые... бесполезно усложняют деятельность нашего, и без того сложного, органа высшего военного управления"[27]. Одним из наиболее устаревших учреждений в составе Военного министерства, по мнению автора, было обширное казачье ведомство "с главным управлением казачьих войск во главе"[28]. Между тем управление казачьими войсками, вследствие особенности их устройства, как поселенных войск, утверждал Новицкий, обнимает такую обширную область вопросов, "не имеющих никакого отношения к военному делу, как то: земельных, торгово-промышленных и гражданско-правовых, что главное управление казачьих войск, ведающее ими, является учреждением значительно более гражданским, чем военным"[29]. Ни опыт мирного времени, ни боевой опыт русско-японской войны не обнаружили в казачьих войсках таких достоинств, из-за которых стоило бы сохранять в государственном строе столь устаревшую систему, какой стало к началу столетия казачество.

Кроме того, по мнению Новицкого, из военного ведомства следовало изъять гражданское или так называемое военно-народное управление среднеазиатских владений России, ибо начальник Главного штаба и чины его азиатского отдела были не в состоянии решать сложные земельные, финансовые и гражданско-правовые вопросы управления Средней Азией. Он предлагал также вывести из Военного министерства военно-медицинское ведомство, так как "медицина представляет собой искусство врачевания человеческого организма, независимо от того, во что одет последний – в гражданское ли платье или в военный мундир"[30]. Подготовка врачей должна осуществляться, рассуждал автор, в министерстве, ведающем учебными заведениями, а военное ведомство должно получать от него уже обученных врачей и приспособлять затем их к потребностям войск и военно-учебных заведений. Теми же соображениями вызывался и вывод Военно-медицинской академии из Военного министерства. И наконец, Новицкий считал необходимым удалить из Главного штаба корпус топографов и военно-топографическое управление Генерального штаба, ибо топографическая съемка империи является делом общегосударственным и не должна составлять обязанность только военного ведомства.

В заключение очерка Новицкий писал, что он остановился лишь на управлениях и учреждениях, которые, по его мнению, "наиболее бесполезные для Военного министерства". Но автор не считал, что все из перечисленного подлежало "совершенному упразднению", многие ведомства и учреждения следовало бы передать в гражданские министерства, что безусловно упростило бы деятельность высшего военного управления и позволило соответствующим начальникам сосредоточить свое внимание на вопросах, "имеющих непосредственное и жизненное значение для современного военного дела"[31].

В четвертом разделе, посвященном численности армии, Новицкий выступил против "культа числа", не признавая "бредни о вооруженных

народах в образе армий"[32]. Основываясь на историческом опыте, что "все важнейшие задачи войн разрешались всегда армиями сравнительно небольшими, подвижными, удобоуправляемыми", автор проводил мысль о том, что в XX в. на европейских театрах войны "больше чем когда-либо" приобретает значение наличие "небольшой, хорошо организованной, подвижной вооруженной силы"[33]. В этой связи вполне закономерен его вопрос: "Почему мы должны думать, что в случае столкновения России с Германией или Австро-Венгрией... армии должны быть непременно миллионными, а продолжительность войны будет измеряться годами?"[34]

Однако вспыхнувшая вскоре война, получившая через четверть века наименование "первой мировой", продолжалась четыре года и потребовала участия миллионных армий. Таким образом, Новицкому, как, впрочем, и подавляющему большинству военных в странах Антанты и Центрального Союза, было суждено убедиться лично в полной несостоятельности своих прогнозов.

Что же касается армии мирного времени, то, исходя из трудностей военного ведомства в получении дополнительных кредитов, автор предлагал сократить ее в среднем на 300 тыс. человек, доведя ее численность до 1 млн (700 тыс. человек в Европейской России, 200 тыс. – на Дальнем Востоке и до 50 тыс. – в Туркестане и на Кавказе), обратив высвободившиеся средства на "улучшение материального благосостояния прочих войск"[35]. Автор рекомендовал также упразднить резервные и уменьшить крепостные войска, ввести систему так называемых "скрытых кадров" для развертывания в военное время второочередных войск и т.д.

В разделе "Ложные принципы дислокации" Новицкий, принимая во внимание быстроту мобилизации потенциальных противников России, высказывался за изменение дислокации русской армии, оттянув часть сил с западной границы в глубь империи с целью наибольшей готовности при мобилизации и достижения более сжатых сроков стратегического развертывания с началом войны, в зависимости от сложившейся обстановки, на любом из операционных направлений – на Запад, к румынской границе или на Кавказ. "Основная задача государственной обороны, – писал автор, – должна заключаться вовсе не в том, чтобы подготовляться к отражению ударов противника, на одном или нескольких фронтах, а в том, чтобы, имея в государстве сильную армию, правильно организованную, хорошо обученную и воспитанную в духе наступательных принципов, ставить себе оперативные (добавим, и стратегические. – *А.К.*) задачи, не дожидаясь неприятеля за оборонительными линиями и крепостями"[36].

Много интересных мыслей содержалось в разделе "Офицерский состав"[37], в котором автор касался в том числе "одной из злейших моральных язв"[38] армейского быта – грубого, хамского отношения к подчиненным начальствующих лиц и ратовал за внедрение во взаимоотношения в армии культуры и уважения к личности офицера и солдата.

Наконец, в последнем разделе, озаглавленном "Недочеты органи-

зации", Новицкий отмечал, что две последние кампании русской армии (турецкая 1877–1878 гг. и японская 1904–1905 гг.) являются блестящими образцами "глубокого отвращения к организации"[39] и что, в сущности говоря, в России "нет армии, как государственного учреждения, объединенного общим духом и общей доктриной, армии, как организма, отдельные органы которого жили и работали бы в полном согласии между собою"[40]. При этом автор предлагал рекомендации с целью устранения недостатков в организации как общевойсковых соединений, так и отдельных родов войск (превращение дивизий "в вполне самостоятельные тактические организмы" путем присоединения к ним артиллерии, кавалерии и инженерных войск; подчинение "решительно во всех отношениях" артиллерии начальникам пехотных и кавалерийских дивизий и т.д.).

Автор заканчивал свой труд словами: "Годы идут, жизнь властно выдвигает вопросы, один важнее другого, а мы все продолжаем топтаться на месте, ленивые и малодушные, опасаясь затронуть подгнившие части нашей военной системы, в надежде, что все как-нибудь образуется само собой с течением времени..."[41].

Отметим, что многие из вопросов, затронутых в книге, еще до выхода ее в свет широко обсуждались в комитетах, комиссиях, военной печати и т.д., но это ни в коей мере не умаляет заслуги Новицкого, талантливо обобщившего и глубоко проанализировавшего наиболее существенные недостатки, имевшие место в русской армии, сумевшего выдвинуть конструктивные предложения для их устранения, ряд которых впоследствии, в ходе проведения реформ в 1910–1912 гг., были претворены в жизнь.

Как подчеркивалось выше, не со всеми высказываниями и рекомендациями автора можно согласиться, но, вместе с тем, ему нельзя отказать в большом гражданском мужестве и, как писал один из многочисленных рецензентов, "в оригинальности, прямоте и решительности суждений"[42]. При этом заметим, что официальный орган военного министерства по поводу этой "крамольной" книги хранил гробовое молчание.

Разработку проблем истории первой мировой войны Новицкий, как уже упоминалось, начал при его назначении в Николаевскую военную академию в декабре 1917 г., а затем продолжил в Казани, куда Академия была эвакуирована, и во вновь учрежденной Академии ГШ РККА. В 1920 г. лекции Новицкого о кампании на Западном фронте в августе–ноябре 1914 г. были изданы отдельной книгой[43], которая на протяжении двух лет была в Академии единственным учебником по истории первой мировой войны. Во второй половине 20-х годов вышло в свет второе издание[44], а третье, вызванное, видимо, подготовкой фашистской Германии к войне, – в конце 30-х годов[45].

Как писал автор во введении ко второму изданию (М., 1926. Т. I), к изучению именно начального этапа первой мировой войны побудило его то обстоятельство, что этот период обладал "по своему характеру, задачам и результатам достаточной самостоятельностью" и позволял "не только уяснить себе основные черты современной системы ведения

войны, но и выявить на их фоне многие частные особенности и приемы военного искусства нашей эпохи".

В связи с обсуждением в печати отношений, установившихся между Великобританией и Советской Россией с 1921 г., и попытками англичан возложить на последнюю значительную долю ответственности за потери и убытки, понесенные Англией в первой мировой войне, Новицкий опубликовал статью "Военное положение России и Англии в мировой войне 1914–1918 гг."[46], в которой убедительно обосновывал полную несостоятельность всех домогательств бывшего союзника на получение с России каких-либо компенсаций и вознаграждений.

Однако подобные претензии (кстати сказать, дожившие до наших дней) Англии и Франции за якобы недостаточную помощь со стороны России во время войны и предательство ввиду заключения Брестского мира с державами Центрального союза вызвали необходимость издания специального сборника "Кто должник?". Как говорилось в предисловии, он был подготовлен с целью "дать ответ на те многочисленные и разнообразные претензии политиков и дельцов буржуазной Европы, которые предъявляются Советской России на основании договоров, заключенных царским правительством"[47]. Авторами статей выступили крупные военные историки и видные военачальники первой мировой войны[48].

Среди авторов был и Новицкий, опубликовавший блестящую статью под названием "Краткий очерк оперативных услуг, оказанных Россией бывшим союзникам (Англии, Франции, Италии и Соединенным штатам Америки. – *А.К.*) в Мировой войне 1914–1918 гг.".

Прежде всего, автор подверг глубокому анализу проблему сравнительного участия в войне России и ее союзников, для большего удобства разделив ее на несколько частных вопросов, являвшихся наиболее характерными для участия в войне стран Антанты. У Новицкого возникло четыре таких вопроса: по отношению к Антанте – соответствовала ли военная подготовка наших союзников характеру тех политических задач, которые они ставили себе в этой борьбе, и использовали ли они с началом войны все или бóльшую часть имеющихся у них средств для достижения решающего превосходства над противником и скорейшего достижения конечной цели войны?; по отношению к России – имело ли участие русских вооруженных сил в военных операциях, особенно первого, наиболее тяжелого для союзников, периода войны, серьезное значение для общего положения на театре войны и каковы были неблагоприятные для союзников последствия выхода России из коалиции?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, В.Ф. Новицкий подробно рассмотрел военную подготовку к войне указанных стран, оперативное использование их вооруженных сил во время войны и аргументированно доказывал, что только Россией был осуществлен в полной мере принцип крайнего напряжения сил как в начале, так и в ходе всей войны, и в качестве примера указывал, что к лету 1917 г. Россия имела на всех фронтах 10,5 млн человек, тогда как союзники – всего 7253 тыс. Даже после заключения Брестского мира и выхода России из

войны русский фронт по-прежнему оттягивал на себя значительные силы Центрального союза, что позволило странам Антанты в 1918 г. добиться победы на Западном фронте.

[1] Все даты (до 1 февраля 1917 г.) – по старому стилю.

[2] Для исполнения цензового командования, положенного всем офицерам, окончившим Николаевскую академию Генерального штаба и переведенным в Генеральный штаб.

[3] Редакционный коллектив, насчитывавший около 100 человек (члены редакции, сотрудники и корреспондеты), состоял в основном из офицеров, в том числе и находившихся в отставке или запасе.

[4] Энциклопедия печаталась в типографии И.Д. Сытина в Москве.

[5] В связи с началом первой мировой войны и уходом большинства авторов и сотрудников на фронт, ее издание в 1915 г. прекратилось – в свет вышло 18 томов из 24 запланированных (последняя статья – "Порт-Артур").

[6] От Шахе к Мукдену (от наступления к обороне). Критико-историческое исследование зимнего периода маньчжурской кампании 1904–1905 гг. СПб., 1912. Ранее Новицким были опубликованы: Сандепу: Стратегический очерк наступления 2-й Маньчжурской армии в январе 1905 г. СПб., 1906; Февральские дни под Мукденом. СПб., 1907.

[7] Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1385. Л. 58. Официальные оппоненты оценили труд Новицкого как незаурядный. "отмеченный чертами крупного дарования", в котором дан глубокий и поучительный анализ, позволяющий выяснить причины неудач русской армии "не только под Сандепу, но и в Маньчжурии вообще" (Известия Императорской Николаевской военной академии. 1912. № 31. С. 1071, 1079).

[8] Утверждение Новицкого по кафедре военной истории состоялось только в мае 1914 г.

[9] Начальник оперативного отдела; на этой должности Новицкий находился с 7 октября 1914 г. по 25 марта 1915 г.

[10] РГВИА. Ф. 2403. Оп. 2. Д. 243. Л. 44; 31 марта 1917 г. Новицкий был произведен в генерал-лейтенанты.

[11] В мае 1917 г. по инициативе военного министра А.Ф. Керенского среди офицеров ГШ было проведено голосование с целью избрания начальника Академии.

[12] РГВИА. Ф. 2279. Оп. 1. Д. 586. Л. 273.

[13] Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 10. Оп. 2. Д. 555. Л. 38. Музей располагался на Марсовом поле в бывшем дворце принца П.А. Ольденбургского.

[14] РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 552-б. Л. 149.

[15] Николаевская военная академия, находившаяся в августе 1918 г. в Казани, за исключением небольшой части слушателей, принятых в академию уже при советской власти, перешла на сторону белых.

[16] *Новицкий В.Ф.* Военные очерки Индии. СПб., 1899 (2-е изд. СПб., 1901).

[17] *Новицкий В.Ф.* В горах Кавказа. СПб., 1903.

[18] *Новицкий В.Ф.* По странам полуденным (Путевые очерки Египта, Цейлона и Индии). СПб., 1908.

[19] *Новицкий В.Ф.* Из Индии в Фергану: Описание путешествия, совершенного в 1898 году из Пенджаба через Кашмир, Ладак, Каракорамское нагорье, Раскем и Кашгарию в Русский Туркестан. СПб., 1903.

[20] *Новицкий В.Ф.* Поездка в хребет Петра Великого в 1903 году. СПб., 1904.

[21] *Новицкий В.Ф.* Военно-географический очерк Афганского театра военных действий с подробным обзором операционных путей, ведущих через Афганистан. СПб., 1910.

[22] *Новицкий В.Ф.* По Восточной Монголии. СПб., 1907.

[23] *Новицкий В.Ф.* Путешествие по Монголии в пределах Тушету-хановского и Цецен-хановского аймакамов Халхи, Шилин-гольского чигулгана и земель Чахаров Внутренней Монголии, совершенное в 1906 году В.Ф. Новицким и М.О. Круковским. СПб., 1911.

[24] *Новицкий В.Ф.* На пути к усовершенствованию государственной обороны. СПб., 1909.

[25] В июне 1905 г. ГШ был выделен из Военного министерства в самостоятельный орган с непосредственным подчинением императору Николаю II, что, наряду с учреждением Совета государственной обороны, привело к многоголовому управлению военным ведомством.

[26] *Новицкий В.Ф.* На пути к усовершенствованию... С. 33.

[27] Там же. С. 34.

[28] Там же. С. 36.

[29] Там же. С. 37.

[30] Там же. С. 41.

[31] Там же. С. 46.

[32] Он имел в виду взгляды автора книги барона Кольмара фон дер Гольца "Вооруженный народ", переведенной на русский язык в 1886 г.

[33] Численность армий в русско-японской войне автор считал нехарактерной, ибо эта война "носила характер колониальной войны и велась на территории третьей державы" (*Новицкий В.Ф.* На пути к усовершенствованию... С. 56).

[34] Там же. С. 57.

[35] В России содержание одного солдата в год составляло 387 рублей, а, например, в Германии – 708 рублей.

[36] *Новицкий В.Ф.* На пути к усовершенствованию... С. 96, 97.

[37] В частности, комплектование офицерского корпуса, порядок прохождения службы офицерским составом, улучшение его материального положения, повышение уровня военных знаний, отмена всех привилегий гвардии и уравнивание ее в служебном положении с армией, статус военных училищ (он предполагался таким же, как в юнкерских) и т.д.

[38] *Новицкий В.Ф.* На пути к усовершенствованию... С. 138.

[39] Там же. С. 145.

[40] Там же. С. 147.

[41] Там же. С. 172.

[42] Исторический вестник. 1909. Т. 116. С. 716 (Рецензия Л.Н.).

[43] *Новицкий В.Ф.* Боевые действия в Бельгии и Франции осенью 1914 г.: (От начала военных действий до установления позиционной войны). М., 1920.

[44] *Новицкий В.Ф.* Мировая война. 1914–1918 гг. Кампания 1914 г. в Бельгии и Франции. Т. 1. От начала войны до расположения сторон на Марне. М., 1926; Т. 2. От завязки сражения на р. Марне до установления позиционной войны. М., 1928.

[45] *Новицкий В.Ф.* Указ. соч. 3-е изд. М., 1938. Т. 1,2.

[46] Военная мысль и революция. 1922. № 3. С. 126–139.

[47] "Кто должник?": Сборник документированных статей по вопросу об отношениях между Россией, Францией и другими державами Антанты до войны 1914 г., во время войны и в период интервенции. М., 1926. С. 5.

[48] В их числе были А.К. Андерс, А.Х. Базаревский, М.Д. Бонч-Бруевич, А.М. Зайончковский, Н.Е. Какурин, Ф.В. Костяев, С.Г. Лукирский, Я.А. Слащов, А.Е. Снесарев и др.

КАРЛ КАУТСКИЙ О ВЛИЯНИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

(По поводу неопубликованной работы)

И.А. Кукушкина

Карл Каутский – один из ведущих деятелей германской и международной социал-демократии, крупнейший социал-демократический теоретик, философ и историк – не обойден вниманием исследователей. Начиная с 1924 г.[1] не было и нет недостатка в работах, посвященных Каутскому[2], с каких бы позиций не освещалась его деятельность. В последние же годы, в связи с необходимостью переосмысления таких ключевых понятий современности, как "реформа", "революция", "демократия", интерес к трудам К. Каутского значительно возрос[3].

Но есть работа Каутского, которой практически "не касалась рука" исследователя. Это рукопись "Изменения в рабочем движении после мировой войны", написанная не ранее 1936 г. и находящаяся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории в виде машинописного текста с поправками автора от руки[4]. Каутский, видимо, не довел свою работу до публикации: помешали болезнь и смерть. В тексте отсутствует сплошная нумерация страниц, имеется много вставок, некоторые вопросы до конца не проработаны[5]. Однако авторская позиция по основным рассматриваемым им проблемам прослеживается достаточно четко.

В тематическом плане работа Каутского перекликается с его книгой "Социалисты и война", опубликованной в Праге в 1937 г.[6], а в хронологическом – служит ее продолжением. Автор дает краткую характеристику изменений в обществе и в рабочем движении, вызванных первой мировой войной, и пытается ответить на вопрос, в какой мере эти изменения должны были повлиять на теоретические воззрения и практическую политику социал-демократии.

Насколько прав был Каутский в своих суждениях? Удалось ли ему предвидеть дальнейшее направление исторического развития и грядущие перемены в стратегии и тактике социал-демократического движения? Более чем полвека, отделяющие нас от того времени, когда Каутский написал указанную работу, дают возможность в определенной степени ответить на эти вопросы.

* * *

К проблеме влияния первой мировой войны на ход развития человеческого общества Каутский обращался неоднократно. В первые месяцы после начала военных действий он опубликовал ряд работ в теоретическом журнале немецкой социал-демократии "Die Neue Zeit".

© И.А. Кукушкина

"Уже сейчас можно с полной уверенностью предсказать: после этой войны мир будет выглядеть совершенно иначе, чем сегодня", – писал он 8 августа 1914 г.[7] Каутский предсказал превращение США в ведущую державу после мировой войны, усиление кризисных тенденций в экономике европейских государств, подъем антиимпериалистической борьбы в колониях и зависимых странах, поражение царизма в России[8].

Менее четкими и определенными были его высказывания по вопросу о влиянии войны на рабочее движение и социал-демократию. Каутский не мог не видеть, что позиция, занятая Правлением СДПГ и социал-демократической фракцией в рейхстаге[9], разделяется далеко не всеми в партии и может привести к расколу, но боялся в этом признаться даже самому себе. "Мы партия самокритики, но во время военного положения она должна умолкнуть"[10], – писал он в "Die Neue Zeit". Больше, чем возможных репрессий со стороны кайзеровского правительства, Каутский опасался "внутреннего разлада" в партии, который он считал "более роковым", чем не всегда верную политику партийного руководства. При этом ошибочную позицию (голосование за военные кредиты) Каутский назвал вполне совместимой с социал-демократическими принципами и идеалами[11].

«Начало войны означает не банкротство, а подтверждение наших теоретических воззрений..., – писал он в статье "Интернационализм и война." – Нам не в чем раскаиваться, нечего пересматривать. Мы решительно укрепились в своих взглядах, которые защищали до войны[12]. Каутский не мог отрицать того, что война расколола социалистов "на различные лагеря"[13], но полагал, что после войны II Интернационал снова возродится, как только исчезнет повод для раскола[14].

Дальнейшие события показали, что Каутский во многом выдавал желаемое за действительное и делал это сознательно. Принимая участие во многих акциях оппозиции внутри СДПГ[15], он, тем не менее, до самого последнего момента выступал за сохранение единства партии. В 1917 г. Каутский вынужден был признать, что "мировая война усилила и углубила существующие внутри партии противоречия" и что существование единой социал-демократической партии в Германии невозможно из-за антидемократической позиции руководства СДПГ[16]. В апреле 1917 г. на съезде оппозиции в Готе, когда была создана Независимая социал-демократическая партия Германии (НСДПГ), Каутский вошел в новую партию и даже написал ее первый программный документ[17]. "Сегодня есть только одна (подчеркнуто Каутским. – *И.К.*) действительно социал-демократическая партия в Германии, – писал он, анализируя итоги Вюрцбургского съезда (1917 г.) СДПГ. – Это Независимая социал-демократическая партия. Именно в ее рамках должно происходить практическое объединение социал-демократии"[18]. Позднее Каутский вновь стал утверждать, что с окончанием войны все противоречия внутри социал-демократии преодолены. В статье "Мое отношение к НСДПГ" (1922 г.) он, в частности, писал: "От большинства партии (СДПГ. – *И.К.*) нас отделяла лишь позиция по отношению к войне, которая должна была

быть преодолена после ее окончания"[19]. Вряд ли Каутский всерьез разделял подобную точку зрения, ведь в 1917–1919 гг. он доказывал прямо противоположное![20] Скорее, это было лишь данью политическому моменту и отражало стремление к объединению всех социал-демократов.

Теоретическую основу такого объединения Каутский попытался изложить в работе "Пролетарская революция и ее программа" (1922 г.). По его мнению, война и последовавшие за ней революции в Германии, Австрии и России (которые, в свою очередь, являлись результатом поражения этих стран в войне) создали совершенно новую ситуацию. "Мы мгновенно оказались на пороге перехода к социализму, – писал он. – При этом, правда, одно обстоятельство проявляется особенно сильно... факторы, тормозящие нормальный ход процесса. Они сегодня исключительно сильны, т.к. проблемы перехода к социализму сегодня усложняются проблемами преодоления последствий войны, которая с ног на голову поставила все экономические законы"[21]. Тем не менее, утверждает Каутский, новая конституция[22], несмотря на все ее недостатки, "дает социалистическому пролетариату достаточно возможностей завоевать политическую власть мирным путем"[23].

Каутский словно "забывает" целый период в истории Германии, когда у власти, пусть формально, находилось социал-демократическое правительство – Совет народных уполномоченных, а сам он являлся комиссаром (Beigeordnete) в министерстве иностранных дел и председателем комиссии по социализации. Тогда, в 1919 г., Каутский считал, что немецкий пролетариат уже завоевал политическую власть и предлагал провести целый ряд мер переходного характера для построения социалистической экономики и создания новой, демократической системы государственного управления. Среди предлагаемых Каутским мер были: контроль над государственными чиновниками со стороны рабочих Советов; замена существовавшей государственной бюрократической системы новыми, демократически избранными, органами управления как в центре, так и на местах; перевод экономики на мирные рельсы; подготовка предприятий к социализации[24].

Каутский писал о нескольких способах проведения экономических реформ, которые, по его мнению, не будут препятствовать росту производства и, с другой стороны, позволят преобразовать управление производством на демократических принципах. Предприятия государственной формы собственности, по Каутскому, должны управляться не государственной бюрократией, а специальной коллегией, в которой государство должна представлять лишь одна треть членов. По одной трети должно принадлежать работникам предприятий и потребителям производимой продукции[25]. Переходным этапом к социалистическому предприятию, считал Каутский, мог бы стать "синдикат", т.е. принудительное объединение ряда предприятий частной формы собственности. Руководство такого синдиката должно состоять из одинакового количества представителей собственника – предпринимателя, рабочих Советов на предприятии, организованных потребителей и государства как выразителя общих интересов. На отдельных предприятиях, входящих в состав "синдиката", в качестве контрольных органов предполагалось создание рабочих Советов[26].

Почему эта программа не была осуществлена в 1919 г., если для этого, как тогда утверждал сам Каутский, имелась самая главная предпосылка – власть в руках социал-демократии?

В 1922 г. ответа на этот вопрос Каутский не дал, правда, попрежнему продолжал считать, что осуществление предложенных им преобразований – дело не столь далекого будущего[27]. Каутский подтвердил свою приверженность идее демократизации предприятий как неотъемлемой составной части процесса социализации – перевода предприятий в общественную собственность[28] – и предложил дальнейшее развитие этой идеи.

В работе "Пролетарская революция и ее программа" Каутский рассматривает две основные формы демократически управляемого социалистического предприятия: производственное товарищество (Produktivgenossenschaft) и "гильдейскую систему" (Gildensozialismus). В первом случае рабочие предприятия сами определяют направление его деятельности, устанавливают распорядок работ, выбирают руководство, свободно распоряжаясь при этом средствами производства и всей производственной продукцией. "Здесь мы находим самую совершенную производственную демократию", – пишет Каутский[29]. Во втором случае предприятие организует и руководит им профсоюз. Как бы ни были многообразны формы, методы, сроки и темпы социализации, наиболее "неблагоприятным фактором" Каутский называет государственную бюрократию[30]. Социализация пройдет тем успешнее, считает он, чем меньше будет вмешательства со стороны государственной бюрократии и чем активнее и целенаправленнее будет самостоятельная деятельность различных общественных слоев, прежде всего – трудовых масс[31].

После войны Каутский пересмотрел свою точку зрения на возможность образования коалиционного правительства, куда входили бы представители социал-демократии. "Весь предыдущий опыт социалистического министериализма свидетельствует против него," – писал он еще в 1917 г. Ход его рассуждения был следующим: экономическое положение пролетариата в буржуазном обществе определяет оппозиционное отношение социал-демократии к правительству, пока это общество существует. Нет ни одной буржуазной партии, которая не была бы отделена от пролетариата глубокой пропастью. Взаимодействие социал-демократии с буржуазными партиями неизбежно, но социалистический министр как постоянный член буржуазного правительства с точки зрения классовой борьбы является абсурдом. "Абсолютная, а не только формальная самостоятельность пролетариата, является альфой и омегой его политики. Война ни в малейшей степени не отменяет эту необходимость"[32], – таков вывод Каутского. Так думал он в 1917 г.

В 1922 г. позиция Каутского изменилась. «Мы встречаемся в начальной стадии пролетарской революции с состоянием равновесия классов, – писал он в работе "Пролетарская революция и ее

программа". – Это состояние наступает тогда, когда пролетариат еще не в силах завоевать политическую власть целиком, но уже достаточно силен, чтобы помешать любой из буржуазных партий удержаться у власти вопреки воле рабочего класса»[33]. В этот период, по Каутскому, вопрос должен стоять так: коалиционное правительство или буржуазное правительство при лояльном отношении к нему пролетариата. В последнем случае, однако, пролетариат лишается всякой возможности контроля за деятельностью правительства и всякого влияния на него[34]. Поэтому Каутский поддерживает первый вариант. По его *мнению, "чисто буржуазная власть в демократическом* государстве отделена от чисто пролетарской власти периодом времени, в течение которого совершается превращение первой во вторую. Этому соответствует и переходный политический период, в течение которого правительство, как правило, будет иметь форму коалиционного правительства"[35].

Каутский ничего не сообщает о причинах изменения своих взглядов. Можно лишь предположить, что определенное влияние на него оказали события начала 1920 г., когда перед рабочим классом Германии встала необходимость защиты достигнутых демократических завоеваний. Видимо, тогда им и был написан проект воззвания к немецким рабочим "Сомкните ряды!" Считая, что чисто социалистическое правительство в рассматриваемый период невозможно, а выход социал-демократов из правительства вообще нежелателен (так как борьба с милитаризмом в этом случае была бы полностью доверена буржуазным партиям), Каутский не выдвигал тогда никаких возражений против создания правительства широкой коалиции. Задачу такого кабинета он видел в осуществлении разоружения контрреволюции, защите республиканских завоеваний и проведении новых выборов[36].

В отличие от своих товарищей по партии[37], Каутский не написал обобщающей работы по истории революции 1918–1919 гг. в Германии. Отказался он дать и анализ политики социал-демократии в революции, ограничившись лишь отдельными критическими замечаниями в адрес НСДПГ[38]. Причины такого "безучастного" отношения Каутского к данной проблематике еще предстоит выяснить историкам. Мы же отметим, что именно в работе "Изменения в рабочем движении после мировой войны" (т.е. только во второй половине 30-х годов) Каутский впервые попытался дать реальную оценку того, что же произошло в Германии после 1918 г. Он впервые нашел в себе силы признать, что первая мировая война поставила перед рабочим классом Германии (а также других стран, где до войны существовали монархии) настолько грандиозные задачи, что социал-демократия оказалась не в состоянии их разрешить[39].

"Мировая война и ее последствия означают как значительное, так и насильственное изменение хода цивилизации последних двух столетий, – писал Каутский. – ... Быстро и неудержимо развивалось рабочее движение во всех странах современной цивилизации, а в наиболее развитых странах оно уже стояло на пороге завоевания государственной власти...". Война привела к падению ряда монархических

режимов Восточной Европы и к приходу к власти в этих странах социалистических правительств. Но, как с горечью отметил Каутский, на смену свободе вскоре почти повсеместно здесь пришел деспотизм[40]. Каутский не видит никакой вины социал-демократии в том, что ее победная поступь оказалась прерванной. Отсутствует даже малейший намек на совершенные просчеты или ошибки. Во всем виноваты обстоятельства, созданные войной. Именно в них Каутский обнаруживает причины поражения социал-демократии, ее ухода с авансцены событий. "Несчастье социал-демократов после 1918 года состояло в том, – утверждал он, – что они находились у власти в то время, когда свирепствовал удушающий спад производства, что сделало невозможным немедленное осуществление широкой социализации. Но когда нужда уменьшилась и тем самым были созданы экономические предпосылки социализации, перестали существовать предпосылки политические: политическая власть социал-демократии"[41].

Можно понять Каутского, практически всю свою жизнь посвятившего социал-демократии, – на склоне лет (в это время ему было 82 года) трудно признавать какие-либо ошибки. Однако историкам вряд ли можно согласиться с тем, что действия социал-демократов в 1918–1919 гг. были оптимальными.

По мнению Каутского, одна из причин "неспособности"[42] социал-демократии выполнить вставшие перед ней после войны задачи заключалась в недостаточной зрелости пролетариата, проявлением чего стал раскол в его рядах[43]. На наш взгляд, в этом высказывании причина поменялась местом со следствием. Руководство СДПГ ориентировалось не на объединение всех социалистов, а на взаимодействие с либерально-демократическими партиями[44]. Именно это оттолкнуло от СДПГ значительную часть стремившихся к проведению более глубоких демократических и социальных реформ социал-демократов. В то время как НСДПГ, хотя и не всегда последовательно, выступала за осуществление широких реформ общественного и государственного строя в Германии[45], руководство СДПГ стремилось к установлению "спокойствия и порядка".

С самого начала лидеры СДПГ отказались от контроля за действиями Верховного командования германской армии, оставили в неприкосновенности старый бюрократический аппарат и постепенно отстранили независимцев – членов социал-демократического правительства – от решения наиболее важных государственных дел[46]. Не остановились правые социал-демократы и перед применением вооруженной силы против революционно настроенных рабочих. Нельзя не согласиться поэтому с точкой зрения немецкого публициста Себастиана Хаффнера, который, пусть несколько эмоционально, пишет: "Германская революция 1918 г. была социал-демократической революцией, которая была разгромлена социал-демократическими вождями – факт почти беспрецедентный в мировой истории"[47].

Интересно сравнить высказывания представителей двух поколений германской социал-демократии – Каутского и Эрнста Толлера[48], который был моложе своего старшего товарища по партии на 39 лет.

Неодинаковыми были их пути в большую политику и вклад в историю немецкого рабочего движения. Оба они, однако, во многом одинаково оценивали влияние первой мировой войны на рабочее движение в Германии. Так, в качестве одного из важнейших последствий войны они назвали приобщение к политике широких народных масс, но их выводы оказались разными. «Война и ее последствия, – писал Каутский в своих "Изменениях", – привели в движение значительные слои пролетариев, которые были до сих пор индифферентными, а также множество представителей мелкой буржуазии и интеллигенции... не имевших знаний и опыта»[49]. По его мнению, "элементы такого рода" неспособны самостоятельно мыслить, они в конечном итоге требуют не свободы, не демократии, а "сильной руки" и диктатура рассматривается ими как "спасительное благо"[50].

Тесная связь между последствиями первой мировой войны для Германии и установлением фашистской диктатуры, несомненно, верно установлена Каутским. Не вызывает возражений и проведенный им анализ социал-экономических изменений в обществе, ускоренных войной[51]. Справедливо отмечается, что деморализация и дезорганизация рабочего класса, а также социальная апатия и усталость масс способствовали установлению фашистской диктатуры в Германии[52]. Но этот процесс носит у Каутского фатальный характер, независимый от политических действий социал-демократии.

"Тот, кто хочет понять 1933 г., должен знать события 1918 и 1919 годов в Германии", – утверждал и Э. Толлер[53]. Однако вся его книга "Юность в Германии", в отличие от рассматриваемой работы Каутского, пронизана тревогой по поводу трагического несоответствия между ожиданиями молодого поколения социалистов, начавших свою политическую деятельность в последние годы войны, и политикой руководства СДПГ, оказавшегося неспособным предложить социал-демократической и рабочей молодежи выход из сложившейся к концу войны ситуации[54]. Как непосредственный очевидец и участник тех событий Э. Толлер писал: "Немецкая революция была встречена невежественным народом и руководящим слоем бюрократических обывателей... Правые социалисты и руководство профсоюзов было тесно связано с силами монархии и капитализма, чьи грехи стали их грехами... Им не хватало доверия к учению, которое они провозглашали, доверия к народу, который им доверял"[55].

Снимая всякую ответственность с социал-демократии за поражение революции в Германии, Каутский в то же время не мог не заметить той силы, которая стала препятствием на пути проведения демократических реформ, и посвятил этому один из разделов своей неопубликованной работы.

"Революции после мировой войны снова повысили значение парламентов, но только временно..., – писал Каутский. – Вскоре они оказались еще более беспомощными, чем прежде". Парламентам и социал-демократии приписывалась ответственность за тяжелое экономическое положение, парламент упрекали в отсутствии выдающихся свершений[56]. Однако, согласно Каутскому, ничего сверх того, что было

сделано, и не могло быть осуществлено, так как социал-демократия составляла меньшинство в парламенте. "Таким образом дело дошло до паралича и дискредитации парламента, значение же государственной бюрократии необычайно возросло"[57], – подчеркивал он.

Как и в более ранних своих работах[58], Каутский справедливло отмечает, что руководство экономикой со стороны государственной бюрократии не означает торжества социализма, потому что бюрократия предназначена для управления, а не для созидательного развития[59]. Количественный рост бюрократии и расширение ее функций, по его мнению, подготавливают почву для диктатуры, хотя и приводят к ней лишь при определенных условиях[60]. Однако везде бюрократия тормозит развитие личности, а рост ее власти прерывает процесс демократизации общества[61].

Поэтому, как полагал Каутский, социал-демократы должны стремиться к установлению контроля над бюрократией, в котором приняли бы участие широкие слои населения. Контроль должен осуществляться через парламенты, свободную прессу, партии, профсоюзы, а также производственными Советами на предприятиях. Власти бюрократии, по его мнению, следует противопоставить децентрализацию власти, развитие самоуправления на местах[62].

Каутский выступает против идеи переходного периода пролетарской диктатуры (от фашизма к социализму), распространившейся в этот период в некоторых кругах социал-демократии, имея в виду, что при осуществлении любой диктатуры лишенные гражданских прав могут отказаться капитулировать[63]. Тогда никакая диктатура не обойдется без репрессии по отношению к населению. Кроме того, диктатура требует создания особого государственного аппарата, постоянной надежной армии, многочисленной политической полиции. Рано или поздно, пишет Каутский, этот аппарат будет направлен против самого рабочего класса, против его лучших представителей[64]. Поскольку стремление к всевластию предполагает нетерпимость ко всем инакомыслящим, то "убежденные демократы всегда будут преследоваться диктаторами", кем бы ни были эти последние[65].

Каутский не отождествляет фашистскую диктатуру в Германии и политический строй в Советском Союзе, но не приемлет ни то, ни другое. В разделе "Успехи диктатур"[66] он пишет: "...в России проведена полная экспроприация капиталистов. Однако ничего нет ошибочнее, чем допущение, что тем самым там победил социализм"[67]. Экспроприация ни в коей мере не означает уничтожения эксплуатации, а является лишь уменьшением числа капиталистов, сосредоточением всей собственности в одних руках – руках государства. К освобождению рабочих этот процесс ведет лишь тогда, когда "капиталистическая собственность на средства производства преобразуется в общественную собственность общества, выступающего в форме демократически организованных товариществ, общин, государств". Собственность государства на средства производства в Советской России Каутский, таким образом, не считает социалистической. Диктатура в России, по его мнению, препятствует экономическому росту и

тормозит культурное развитие рабочих, делая их неспособными к построению социализма[68].

Каутский полагает, что диктатуры – как фашистская, так и коммунистическая – не обладают значительным экономическим потенциалом и не могут продержаться достаточно долго. Диктатура в Германии, несмотря на то, что аппарат ее власти очень силен[69], первой окажется экономически несостоятельной[70]. Он выступает против попыток свержения диктаторского режима путем создания тайных организаций и осуществления ими государственного переворота. Преодолеть диктатуры, убежден Каутский, сможет только широкое народное движение. При этом он не исключает, что диктатура Гитлера может пасть и в результате войны – это, по его мнению, произойдет обязательно, если Гитлер и его сообщники эту войну развяжут[71]. Однако такое развитие событий Каутский считает нежелательным, полагая, что создание социалистических производственных отношений при этом отодвинется на долгие годы.

Скорее всего, предполагает он, диктатуры уйдут с политической арены в результате экономического и политического банкротства, а также благодаря развитию широкого оппозиционного движения в массах. Задача социал-демократии – уже сейчас готовить к этому пролетариат[72], поддерживая любой наступательный порыв народа, и, когда дело дойдет до "пробы сил", режим Гитлера рухнет и социал-демократия вступит "во владение его наследством"[73].

Много внимания Каутский уделяет взаимодействию социал-демократии с другими партиями, в том числе – коммунистическими. Однако к идее единого фронта пролетариата он относится настороженно. По его мнению, в единый фронт "можно объединить только тех, кто стремится, хотя бы в течение определенного времени, идти по одному пути к одной цели"[74]. Создание же единого фронта между Социалистическим рабочим интернационалом и Коминтерном наталкивалось на непреодолимое препятствие – диктатуру в России[75], а также на диктаторскую политику компартии по отношению к социал-демократии.

Каутский не без основания отмечает, что прежняя тактика коммунистов на выборах была направлена на ослабление социал-демократических партий, и это объективно способствовало усилению реакционных сил[76], и это всегда должны иметь в виду социал-демократы. "Но было бы тяжелой ошибкой, – пишет он далее, – рассматривать в этом свете всех коммунистов ...Среди них, несомненно, есть немалое число самоотверженных энтузиастов"[77]. Именно с ними возможно сотрудничество.

В заключительной части рукописи Каутский намечает целый комплекс мер, которые, необходимо осуществить после падения диктатуры. "Не установление переходного периода диктатуры, – убеждает он, – а создание свободных массовых организаций должно быть первым результатом предстоящих перемен"[78]. Задачу этих массовых организаций он видит не только в защите интересов рабочих, но и в завоевании государственной власти.

Приход к власти социал-демократии, по Каутскому, после низвержения диктатуры в результате подъема массового народного движения должен осуществляться демократическим путем. Прежде всего, считает он, необходимо уменьшить ущерб, нанесенный диктатурой: завоевать большинство населения на свою сторону, привлечь его к созидательной работе по созданию нового, демократического общества, а также удовлетворить потребности большей части жителей страны[79]. В результате доминирующие позиции в законодательном собрании и в государственном аппарате должны завоевать демократические силы, а в наиболее благоприятном случае правительство может стать чисто социал-демократическим. "Мы должны стремиться не к диктатуре пролетариата, а к завоеванию политической власти нашей партией, социал-демократической, для проведения в жизнь нашей программы,"[80] – таков основной вывод Каутского и пафос заключительного раздела его рукописи.

Первейшей задачей новой государственной власти, по Каутскому, должно стать преобразование государственного аппарата в соответствии с требованиями демократии. При этом реорганизации должен подлежать весь чиновничий аппарат, а также суды, полиция, армия. "То, что это в достаточной мере не произошло после 1918 г., сыграло несомненно роковую роль", – пишет Каутский[81].

Демократией Каутский называет форму государства, которая предоставляет наибольшую возможность для свободного и самостоятельного развития граждан. На высшем государственном уровне такой формой, по его мнению, является парламентская демократия, в небольших общинах возможно и непосредственное участие жителей в управлении[82]. При этом парламент может выполнить свою задачу в качестве представителя и выразителя интересов избирателей только тогда, когда он назначает, контролирует и в необходимых случаях смещает правительство[83]. Избиратели, в свою очередь, должны иметь возможность постоянно следить за деятельностью парламента[84], а также контролировать работу чиновников, высшие посты которых также должны быть выборными[85]. Местные общины и предприятия должны получить права самоуправления.

"Одновременно социал-демократия... перешагивает тесные рамки классовой партии", – пишет Каутский[86]. Перед ней встают новые задачи, на ее сторону переходят широкие круги из непролетарских слоев, социал-демократия постепенно становится выразительницей интересов всего общества. Осуществляя постепенную социализацию отдельных отраслей промышленности, социал-демократы должны создать благоприятные возможности и для развития частного сектора экономики, а также обеспечить экономическую и правовую стабильность[87]. "Энергичное осуществление этой программы... должно привлечь на сторону социал-демократии большинство населения, когда закончится период диктатуры", – таков вывод Каутского[88].

Конечно, Каутский был прав далеко не во всем. Многое оценивал с субъективных позиций, недостаточно критично подходил к оценке деятельности социал-демократии. Ряд факторов, например возросшее

значение экологии (что нашло свое отражение в новой программе современной СДПГ), он в те годы и не мог предвидеть.

В 1916 г. в письме к своему товарищу по партии Гуго Гаазе он писал: "Вы можете мне ответить, что я смотрю исключительно в будущее и слишком мало ... принимаю во внимание настоящее как основу политического действия. Я же должен бросить Вам упрек, что Вы – и это относится также к Правлению партии и руководству профсоюзов – ... будущего совсем не видите"[89]. Эти слова достаточно точно характеризуют Каутского как политика. Нередко он верно предсказывал то, что произойдет через несколько десятилетий[90], но не мог найти адекватного ответа на вопросы, возникающие в ходе текущей деятельности.

Долгое время в исторической и политологической литературе деятельность Каутского оценивалась, по преимуществу, негативно. Для коммунистов он был ренегатом, для социал-демократов – марксистом-догматиком. Лишь в последние годы наблюдается ренессанс его идей. Вновь актуальными становятся его теоретические разработки о неразрывной связи демократии и социализма, его идеи хозяйственной демократии и самоуправления входят в программные документы СДПГ[91]. История все больше подтверждает правоту Каутского. Историки и политологи все чаще будут обращаться к изучению его работ. Книга "Изменения в рабочем движении после мировой войны" должна занять среди них достойное место.

[1] В 1924 г. Каутскому исполнилось 70 лет. К этой дате несколько видных представителей международной социал-демократии опубликовали свои статьи – см. сборники: Der lebendige Marxismus. Festgabe zum 70. Geburtstag von Karl Kautsky. Jena, 1924; Karl Kautsky der Denker und Kämpfer: Festgabe zu seinem 70. Geburtstag. Wien, 1924; вышла в свет также автобиографическая статья самого Каутского – см. сб.: Die Volkswirtschaftslehre der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Leipzig, 1924.

[2] Библиографию работ о К. Каутском см. подробнее: *Брайович С.М.* Карл Каутский – эволюция его воззрений. М., 1982. С. 220–226; *Hünlich R.* Karl Kautsky und der Marxismus der II. Internationale. Marburg, 1981; *Ratz U.* Perspektiven über Karl Kautsky // Neue Politische Literatur. 1988. H. 1.

[3] См., например: *Петренко Е.* Карл Каутский: Очерк социалистических воззрений. М.; 1991; *Кретинин С.В.* Карл Каутский: опыт переосмысления (1854–1938 гг.) // Новая и новейшая история. 1995. № 1, 2: *Rossum L. van Schelz T., Gielkens J.* Marx' vergessener Meisterschüller: Karl Kautsky. Prag 1854 – Amsterdam 1938. Amsterdam; Bremen, 1988; Marxismus und Demokratie. Karl Kautskys Bedeutung in der sozialistischen Arbeiterbewegung. Fr.a.M.; N.Y., 1992; *Ratz U.* Op. cit. В то же время достаточно полный биографический труд о Каутском отсутствует. Как пишет западногерманский исследователь У. Ратц, причина этого заключается не столько "в кажущейся непривлекательности личности" крупнейшего теоретика II Интернационала, сколько в том, что период его деятельности, охватывающий время от издания Бисмарком "исключительного закона" против социалистов до первых лет нацистского господства, исследовать не под силу *одному историку* (*Ratz U. Op. cit. S. 7 f.*).

[4] Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (далее – РЦХИДНИ). Ф. 213. Оп. 1. Д. 17.

[5] Так, в § 2а "Раскол в рядах социалистов" имеется значительная лакуна: видимо, было пропущено десять страниц (с 9-й по 19-ю). Неизвестно, были ли они вообще написаны.

[6] *Kautsky K.* Sozialisten und Krieg. Ein Beitrag zur Ideengeschichte des Sozialismus von der Hussiten bis zum Völkerbund. Prag, 1937.

[7] Die Neue Zeit (далее – NZ). Stuttgart, 32. Jg. (1913–1914). 2. Bd. S. 844.

[8] *Kautsky K.* Der Krieg // NZ. 32. Jg. (1913–1914). 2.Bd.; *Idem.* Wirkungen des Krieges // Ibid.; *Idem.* Die Sozialdemokratie im Kriege // Ibid. 33. Jg. (1914–1915), 1. Bd.

[9] 4 августа 1914 г. фракция СДПГ в рейхстаге проголосовала за выделение военных кредитов правительству.

[10] *Kautsky K.* Der Krieg. S. 846.

[11] См.: РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 272. Впоследствии Каутский неоднократно возвращался к вопросу о голосовании 4 августа, пытаясь объяснить и понять точку зрения как сторонников, так и противников одобрения военных кредитов. "...Мировая история спрашивает не о намерениях (здесь и далее подчеркнуто Каутским. – *И.К.*), которые определяют политические действия, а о результатах этих действий. Но если мы хотим дать оценку личности политика, мы должны принять во внимание его намерения", – писал он в статье "Мотивы голосования 4 августа". Результаты же голосования и его оценка не только в Германии, но и в мире оказались вполне предсказуемыми. "Внутри Германии и за ее пределами вотирование кредитов рассматривалось как разрыв с прежней политикой, даже с основными принципами партии", – признавал Каутский. См. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam (далее – IISG Amsterdam). Kautsky Nachlaβ A 64A.

[12] NZ. 33. Jg. (1914–1915). 1. Bd. S. 225 f.

[13] Ibid. S. 248 ff.

[14] Ibid. S. 243; *Kautsky K.* Die Vorbereitung des Friedens // NZ. 32. Jg. (1913–1914). 2. Bd. S. 882.

[15] Каутский являлся одним из авторов манифеста "Веление времени", опубликованного 19 июня 1915 г. в "Leipziger Volkszeitung". На страницах "Die Neue Zeit" он фактически призывал оппозицию голосовать против военных кредитов. См.: *Kautsky K.* Meinungsäuβerung und Parteidisziplin // NZ. 34. Jg. (1915–1916). 1. Bd. S. 168. Конференция оппозиции, проходившая 7 января 1917 г., приняла "Манифест мира", написанный Каутским.

[16] *IISG Amsterdam. Kautsky Nachlaβ. A 69.*

[17] См.: *Prager E.* Geschichte der USPD. B., 1922.

[18] IISG Amsterdam. Kautsky Nachlaβ. A 69.

[19] Der Sozialist. 1922. S. 304.

[20] В статье "Слово к социал-демократам Германии" Каутский, в частности, писал, что руководство СДПГ провозгласило гражданский мир с кайзеровским правительством и отказалось от всякой самостоятельной политики (см.: IISG Amsterdam. Kautsky Nachlaβ. A 69).

[21] *Kautsky K.* Die proletarische Revolution und ihr Program. B., 1922. S. 66.

[22] Речь идет о Веймарской конституции 1919 г.

[23] *Kautsky K.* Die proletarische Revolution... S. 84.

[24] *Kautsky K.* Richtlinien für ein sozialistisches Aktionsprogramm. B., o.J. (1919); *Idem.* Das Weitertreiben der Revolution. 8., o.J. (1919).

[25] *Kautsky K.* Richtlinien... S. 7.

[26] Ibid. S. 5.

[27] *Kautsky K.* Die proletarische Revolution... S. 65 f.

[28] Ibid. S. 230.

[29] Ibid. S. 237.

[30] Ibid. S. 204.

[31] Ibid. S. 234.

[32] IISG Amsterdam. Kautsky Nachlaβ. A 73.

[33] *Kautsky K.* Die proletarische Revolution... S. 100.

[34] Ibid. S. 105 f.

[35] Ibid. S. 106.

[36] IISG Amsterdam. Kautsky Nachlaβ. A 89.

[37] См., например, работы бывших членов НСДПГ: *Bernstein E.* Die deutsche Revolution, ihr Ursrung, ihr Verlauf und ihr Werk. B., 1921.

[38] *Kautsky K.* Mein Verhältnis zur Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei // Der Sozialist.

[38] *Kautsky K.* Mein Verhältnis zur Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei // Der Sozialist. 1922.
[39] РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 10.
[40] Там же. Л. 3–4.
[41] РЦХИДНИ, Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 10.
[42] Слово взято в кавычки Каутским.
[43] РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 10.
[44] Как отмечает западногерманский исследователь Х. Потхофф, общая платформа СДПГ, партии Центра и Прогрессивной партии была заложена уже в так называемой "мирной резолюции" рейхстага от 19 июля 1917 г., а созданный представителями этих партий "межфракционный комитет" стал прообразом будущей Веймарской коалиции (см.: *Miller S., Potthoff H.* Kleine Geschichte der SPD. Darstellung und Dokumentation. 1848–1983. Bonn, 1988. S. 80).
[45] Основные направления преобразований, предлагавшихся различными представителями НСДПГ, изложены в уже упоминавшихся работах Каутского "Тезисы к социалистической программе действий" и "Углубление революции" (1919 г.), а также в Программном документе Чрезвычайного съезда НСДПГ (март 1919 г.).
[46] См. подробнее воспоминания секретаря правительства: *Oehme W.* Damals in der Reichskanzlei. B., 1958.
[47] *Хаффнер С.* Революция в Германии 1918/19. Как это было в действительности? М., 1983. С. 78. Первое издание книги опубликовано под названием "Преданная революция" (*Haffner S.* Die verratene Revolution. Bern; München; Wien, 1969).
[48] Э. Толлер (1893–1939) – немецкий поэт, писатель, публицист. В 1918 г. вступил в НСДПГ. Активный участник революции 1918–1919 гг. в Баварии, один из руководителей Баварской Советской республики.
[49] РХЦИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 53.
[50] Там же.
[51] Каутский отмечает такие изменения в экономике в обществе, как ускорившееся пополнение рабочего класса деклассированными элементами, рост пролетаризации средних слоев населения, и т.д.
[52] РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 56. 65.
[53] *Toller E.* Eine Jugend in Deutschland. Hamburg, 1990. S. 7.
[54] Ibid. S. 79–80, 84, 94, 125–126.
[55] Ibid. S. 81.
[56] РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 137.
[57] Там же. Л. 138.
[58] См., например: *Kautsky K.* Die proletarische Revolution...; *Idem.* Die Diktatur des Proletariats. Wien, 1918.
[59] РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 139.
[60] Там же. Л. 138. Каутский считает, что такие условия после мировой войны сложились в Германии, Австрии, Италии, а также в России.
[61] РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. С. 142.
[62] Там же. С. 140–141.
[63] Там же. С. 152.
[64] Там же. С. 154.
[65] Там же. С. 156.
[66] Вариант этой главы в рукописном виде хранится также в архиве Института социальной истории в Амстердаме.
[67] РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 62.
[68] IISG Amsterdam. Kautsky Nachlaβ. A 217.
[69] РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 168.
[70] Там же. Л. 76, 168.
[71] Там же. Л. 172.
[72] Там же. Л. 65. Каутский, однако, не раскрывает, в чем должна заключаться эта подготовка.

[73] Там же. Л. 91.
[74] Там же. Л. 103.
[75] Там же. Л. 92.
[76] Там же. Л. 99.
[77] Там же. Л. 101.
[78] Там же. Л. 170.
[79] Там же. Л. 174.
[80] Там же. Л. 175.
[81] Там же. Л. 174.
[82] Там же. Л. 111.
[83] Там же. Л. 112. Ранее, в работе "Новые программы" Каутский предлагал упразднить или ограничить власть президента (см.: Neue Programme. Wien, 1933).
[84] РЦХИДНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 17. Л. 113.
[85] Там же.
[86] Там же. Л. 176.
[87] Там же. Л. 179.
[88] Там же. Л. 181.
[89] IISG Amsterdam. Kautsky Nachlaβ. D XII.
[90] Каутский предсказал наступление эпохи ультраимпериализма, первую мировую войну, неудачу большевистского эксперимента в России, крах гитлеризма.
[91] Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Beschlossen vom Programmparteitag in Berlin 1989 // Programmatische Dokumente der Deutschen Sozialdemokratie. 3. Aufl. B., 1990. S. 373, 404–406, 428–430.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ ТРОФЕЙНЫХ КОМИССИЙ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914–1918 ГОДОВ

(По материалам Российского государственного военно-исторического архива)

А.А. Васильев

Россия в отличие от других стран–участниц первой мировой войны до сих пор не имеет сколько-нибудь достойного (в мраморе и граните) памятника, посвященного грандиозным по масштабу и трагическим последствиям событиям 1914–1918 гг., нет также и фундаментальных исторических работ, подробно повествующих о действиях российских вооруженных сил в этом глобальном конфликте. Между тем источниковая база для написания "официальной" истории участия России в Великой войне и создания соответствующих музеев и мемориалов существует (мы имеем в виду материалы, сохранившиеся в различных архивах и музейных запасниках).

Основной массив документальных источников о войне 1914–1918 гг. – о победах и поражениях русской армии, ее организации и составе, трофеях, потерях и т.п. – находится в фондах Российского

© А.А. Васильев

государственного военно-исторического архива (РГВИА). В числе прочих здесь хранятся материалы комиссий, занимавшихся в годы войны систематизацией и описанием трофеев русской армии, а также сбором сведений о военнослужащих, отмеченных за свои боевые подвиги в 1914–1917 гг. георгиевскими наградами. Эти документы, переданные в архив из его бывшего Ленинградского филиала, составляют фонд № 16180 ("Комиссия по организации народного военно-исторического музея войны 1914–1918 гг."), включающий в себя 622 дела (ед. хр.). Бóльшая часть дел (521) относится к "Комиссии по описанию боевых трофеев Русского воинства и старых знамен", учрежденной в 1911 г. при Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества, к "Комиссии для сбора, переписи и хранения трофеев настоящей войны и увековечения ее в памяти потомства", созданной в июне 1916 г., и к трофейной комиссии, которая в июне 1917 г. объединила к себе обе предыдущие, приняв при этом почти без изменения название второй из них (только последнее слово "потомство" было заменено на "народ"). Прочие документы фонда (101 дело), составляющие его 2-ю опись, касаются непосредственно "Комиссии по организации Народного военно-исторического музея войны 1914–1918 гг.", учрежденной приказом Реввоенсовета от 24 декабря 1918 г. (путем преобразования ранее существовавшей трофейной комиссии) и упраздненной постановлением Малого Совнаркома от 30 мая 1919 г.

История создания и деятельности комиссий, ставших фондообразователями вышеупомянутого фонда РГВИА, весьма примечательна. В начале 1911 г. капитан-лейтенант 1-го Балтийского флотского экипажа П.И. Белавенец (большой знаток геральдики, с 1902 г. занимавшийся по поручению Николая II историческим исследованием "о государственном царском и императорском штандарте-флаге"), находясь в командировке в Стокгольме, осмотрел имевшуюся там коллекцию трофейных русских знамен и обнаружил, что некоторые из них почти утратили свой первоначальный рисунок, были и такие, которые окончательно разрушились от времени и небрежного хранения. Однако изображения этих знамен и других боевых трофеев Швеции сохранились на рисунках, выполненных в начале XVIII в. шведом О. Гофманом. Белавенец счел такой пример важным для России и по возвращении на родину обратился с предложением о составлении полного описания всех трофеев русского оружия (с рисунками) к военному министру В.А. Сухомлинову, одобрившему его. 28 февраля 1911 г. временно исполнявший обязанности командующего императорской Главной квартирой генерал-адъютант, генерал от кавалерии А.П. Струков в докладе Николаю II предлагал учредить при Военно-походной канцелярии Е.И.В. специальную "Комиссию по описанию боевых трофеев Русского воинства и старых знамен"[1]. Высочайшее утверждение этой комиссии последовало 5 марта 1911 г., и вскоре она уже приступила к работе. Председателем ее стал делопроизводитель Военно-походной канцелярии гвардии полковник В.К. Шенк, а двумя членами – капитан-лейтенант (с 6 декабря 1911 г. – капитан 2-го ранга) П.И. Белавенец и штабс-капитан (с 16 февраля 1912 г. – капитан) 1-й

конно-артиллерийской батареи С.А. Толузаков. Кроме них комиссия могла иметь в своем составе прикомандированных сотрудников (делопроизводителя, художников, писарей, фотографов и др.), при этом полный штат комиссии не был установлен, и впоследствии его утверждение постоянно откладывалось. Комиссия разместилась в Санкт-Петербурге, в доме № 17 по улице Захарьевской. В декабре 1912 г. В.К. Шенка на должности ее председателя сменил полковник С.И. Петин, а в следующем году к комиссии был прикомандирован капитан лейб-гвардии саперного батальона Г.С. Габаев, получивший к тому времени известность как специалист по истории русской армии и, в частности, ее обмундирования и знамен.

В ходе длившейся несколько лет сложной и кропотливой работы по выявлению неприятельских знамен и других трофеев, захваченных русскими войсками в прошлых войнах (начиная с XIV в.), трофейная комиссия сумела отыскать и описать многие из них, прежде всего те, которые находились в различных церквах и музеях во всех концах Российской империи. Так все эти знамена, бунчуки, пушки и т.п. были спасены от уничтожения и сохранены для потомков. Кроме того, в результате архивных исследований удалось установить названия войсковых частей и имена героев, благодаря беззаветному мужеству которых России достались столь многочисленные трофеи. Всего комиссией Шенка (затем Петина) было зарисовано свыше 2 тыс. знамен (а с деталями – 12 тыс. акварелей) и составлено 59 тыс. карточек архива[2].

Начавшаяся летом 1914 г. мировая война заставила "Комиссию по описанию боевых трофеев Русского воинства и старых знамен" расширить свои функции. Сорганизовавшись в три специальных отдела – литературный, художественный и фотографический, она занялась описанием, срисовыванием и фотографированием выдающихся эпизодов боевого и военно-бытового характера. Первоначально вся работа комиссии осуществлялась в Петрограде, где происходило описание трофейных германских, австро-венгерских и турецких знамен и значков, захваченных русскими войсками в 1914 и 1915 гг. Эти и другие трофеи доставлялись в комиссию с фронта, а обстоятельства их захвата приходилось выяснять путем переписки или опроса тех участников событий, которых удавалось вызвать в столицу. Кроме взятых трофеев комиссию интересовала также судьба российских знамен, как бывших вместе со своими частями на фронте, так и оставленных в тылу или переданных второочередным полкам. Чтобы упорядочить сбор подобной информации, председатель комиссии генерал-майор (с 2 сентября 1915 г.) С.И. Петин 9, 12 и 15 декабря 1915 г. направил командирам всех полков и отдельных батальонов российской армии типовые письма-запросы, в которых, в частности, просил сообщать в комиссию, были ли взяты частью какие-либо неприятельские трофеи (знамена, орудия, пулеметы, минометы, летательные аппараты и т.д.), какие именно, сколько, когда, кем и при каких обстоятельствах; какие особо выдающиеся подвиги, заслуживающие быть отмеченными в истории современной войны, совершены частью (вкратце – когда, кем и что именно), а также кто из "нижних чинов" части (звание, имя и

фамилия) награжден тремя и четырьмя георгиевскими крестами. При этом С.И. Петин извещал командиров частей, что все присланные ими сведения "по рассмотрении в комиссии будут собраны и выпущены по окончании войны в печать"[3]. Уже в 1916 г. трофейная комиссия начала получать от войсковых частей ответы на эти вопросы, включавшие описания боев и отдельных подвигов, списки георгиевских кавалеров, ведомости захваченных трофеев и т.п.

В июле 1915 г. новым членом трофейной комиссии (вместо С.А. Толузакова, переведенного еще в августе 1914 г. в распоряжение командующего войсками Виленского военного округа) был назначен штабс-капитан лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка М.В. Колобов, признанный после полученного им на фронте ранения негодным к строевой службе. Желая улучшить работу комиссии, этот офицер 11 декабря 1915 г. в письме к генерал-майору Петину предложил направить часть сотрудников из Петрограда в Ставку верховного главнокомандующего, располагавшую самыми точными данными о всех взятых русскими войсками трофеях. Он резонно отмечал, что из Ставки гораздо удобнее выезжать на фронт, чтобы описывать трофеи и узнавать подробности об их захвате прямо на месте, от самих участников или очевидцев событий[4]. Встретив со стороны председателя комиссии полное понимание, штабс-капитан Колобов был командирован в Ставку, где находился с 31 декабря 1915 г. по 10 января 1916 г. Представленная им записка о задачах "Комиссии по описанию боевых трофеев Русского воинства" получила положительную оценку, и 6 февраля 1916 г. Николаем II был одобрен доклад на эту тему, представленный командующим императорской Главной квартирой генерал-адъютантом, генералом от кавалерии графом В.Б. Фредериксом.

С февраля 1916 г. до лета 1917 г. трофейная комиссия четырежды направляла экспедиции в действующую армию. Многие из художников и литераторов, занимавшихся сбором материалов по описанию трофеев, подвигов частей и отдельных военнослужащих с художественным их изображением, за работу на передовых позициях под неприятельским обстрелом удостоились награждения георгиевскими медалями.

Создание еще одной трофейной комиссии, отчасти дублирующей работу комиссии С.И. Петина, состоялось уже в самый разгар войны. Еще в январе 1916 г. по указанию Николая II в Петрограде состоялось совещание для выработки соображений о сборе, регистрации и хранении трофеев текущей войны. Проходившее под руководством председателя императорского Военно-исторического общества генерал-адъютанта, генерала от кавалерии Д.А. Скалона (при участии герцога Г.Н. Лейхтенбергского и генерала от инфантерии В.Г. Глазова), это совещание предложило сосредоточить все дело переписи и сбора трофеев в руках одного ответственного лица или особого высочайше утвержденного комитета. Одновременно предполагалось командировать подходящих лиц из числа офицеров и членов Императорских обществ Военно-исторического и Ревнителей истории на склады, находившиеся во внутренних губерниях России и в районе театра войны, чтобы выявить хранящуюся там военную добычу, пригодную

для музея, и составить подробную опись этого трофейного имущества. Для последующего создания музея трофеев Великой войны планировалось немедленно перевезти все знамена, штандарты и особо ценные единичные предметы в Артиллерийский музей в Петрограде или в Оружейную палату в Москве. 14 марта 1916 г. предложения этого совещания, изложенные во всеподданнейшей записке военного министра А.А. Поливанова, были направлены императору[5]. Рассмотрев их, Николай II 22 марта повелел возложить дело по сбору, регистрации и хранению трофеев непосредственно на генерала Скалона, а все забранные у неприятеля знамена, штандарты и другие особо ценные трофеи передать на хранение в Государеву Ратную палату в г. Царское Село[6].

С сентября 1916 г. по март 1917 г. комиссией были предприняты три поездки в действующую армию: первая – на Кавказский фронт и в Персию (по маршруту: Тифлис, Тебриз, Урмийский район, Батум, вновь занятое Черноморское побережье Турции до Трапезунда, и обратно); вторая – на Северный (с посещением мест последних боев в районе Риги) и третья – на Юго-Западный фронт. Кроме того, члены комиссии проинспектировали на предмет выявления военных трофеев тыловые склады Киева, Белой Церкви, Полтавы, Брянска, Смоленска, Умани и Москвы. Результатом деятельности этой комиссии было поступление в хранилище многих ценных трофеев, в том числе хорошо сохранившихся образцов вооружения, обмундирования и снаряжения неприятельских армий.

После Февральской революции 1917 г. Комиссия для сбора, хранения и переписи трофеев была переименована в комитет, а в апреле Главное управление Генерального штаба приняло решение о слиянии этого комитета с трофейной комиссией при Военно-походной канцелярии. 17 апреля 1917 г. председатель Комитета для сбора, переписи и хранения трофеев генерал-майор В.И. Белолипский обратился к комиссару над бывшим Министерством двора и уделов Ф.А. Головину с памятной запиской, в которой просил передать в Комитет художественный материал и походное имущество, оставшиеся от Военно-художественного отряда императорской Главной квартиры, работавшего на фронте в 1915–1916 гг., а 14 мая направил соответствующий рапорт военному министру, в котором, кроме того, просил о передаче комитету "всех общественных историко-трофейных предметов из бывшей Ратной палаты"[7]. Приказами по военному ведомству № 341 от 6 июня и № 362 от 19 июня 1917 г. комитет Белолипского и трофейная комиссия, состоящая при бывшей Военно-походной канцелярии (под председательством генерал-майора Петина) были соединены вместе и подчинены "временно исправляющему должность" начальника Кабинета военного министра полковнику С.Н. Самарину. 23 июня 1917 г. последний приказал "для упорядочения дела и организации его на новых началах" к 1 июля организовать единую "Комиссию для сбора, переписи и хранения трофеев настоящей войны и увековечения ее в памяти народа", руководствуясь штатами, установленными в приказе по военному ведомству № 329 от 22 июня 1916 г. "Временно исправляющим должность" председателя Комиссии был назначен М.В. Ко-

лобов*, тогда уже дослужившийся до звания гвардии полковника[2*]. Для усиления личного состава комиссии в прикомандировании к ней были оставлены сверх штата 40 солдат-специалистов (художников, литераторов, фотографов и техников). Объединенная комиссия заняла помещение в отведенной ей квартире в доме № 90 по улице Фонтанка, а все собранные материалы остались в ранее отведенных ей хранилищах (при этом наиболее ценные и негромоздкие из них было предписано хранить в архиве Кабинета военного министра в доме № 19 по улице Захарьевской). В составе Комиссии (согласно приказу по военному ведомству от 16 апреля 1917 г.) был образован комиссионный комитет (дань "революционной эпохе")[8].

Комиссия гвардии полковника Колобова в июле и августе 1917 г. окончательно получила в свое распоряжение не только материалы, собранные двумя прежними трофейными комиссиями, и работы бывшего Военно-художественного отряда при Главной квартире, но и все трофеи, находившиеся в Ратной палате (в Царском Селе), а также те, которые в 1916 г. были предоставлены плавучей Георгиевской выставке. Основной задачей комиссии Колобов считал подготовку экспозиции будущего "Центрального государственного музея войны". Кроме того, продолжалась подготовка к изданию новых георгиевских грамот и печатной серии "Герои и трофеи Великой народной войны". Комиссия также планировала издать новую серию брошюр под названием "Полки и герои 18 июня[3*] и таблицы-памятки по убитым героям (наподобие "патентов на смерть", тогда издаваемых во Франции). В связи с намеченным расширением деятельности вверенной ему комиссии М.В. Колобов дважды (18 июля и 22 сентября 1917 г.) обращался в вышестоящие военные инстанции с предложением утвердить новое положение и временный штат комиссии (в составе 9 отделов[4*] и 73 человек), однако так и не дождался этого утверждения.

После Октябрьской революции 1917 г. комиссия Колобова без всякого приказа или официального документа была фактически изъята из ведения военного ведомства, и Комиссариат народного просвещения в лице комиссара имущества Республики Киммель предложил комиссии ликвидироваться, подготовив все для сдачи к 1 июня 1918 г. В конце мая пришлось вывезти имущество комиссии из Ратной палаты в Петроград, но в это время председатель М.В. Колобов, спешно командированный в Москву, добился прикрепления комиссии вновь к военному ведомству[9]. 18 июня 1918 г. приказом Народного комиссариата по военным делам № 463 (за подписью Л.Д. Троцкого и

* Генерал-майор Петин ввиду расстройства здоровья и тяжелого положения в семье еще 30 мая 1917 г. подал прошение об увольнении от службы. 5 июля он сдал дела гвардии полковнику Колобову.

2* М.В. Колобов был произведен в капитаны 28 января 1917 г., а весной того же года, 19 апреля, получил звание полковника.

3* Имеется в виду наступление русских войск, начатое 18 июня 1917 г.

4* Военно-художественного, литературно-документального, военно-фотографического, артиллерийского, интендантского, военно-технического, военно-санитарного, кинематографического и хранилища.

К.А. Мехоношина) Комиссия для сбора, переписи и хранения трофеев последней войны была передана в ведение Всероссийского Главного штаба[10]. Первоначально она подчинялась оперативному управлению этого штаба, а затем военно-историческому отделу организационного управления. 15 октября коллегия служащих Комиссии исключила М.В. Колобова из ее состава, выбрав председателем Н.Н. Дерошефора[5*]. 24 декабря 1918 г. приказом Реввоенсовета № 443 на основе прежней трофейной комиссии была учреждена Комиссия по организации и устройству Народного военно-исторического музея войны 1914–1918 гг. и утвержден ее штат. Организационно в комиссию входили четыре отдела: литературно-документальный[6*] (заведующий отделом, заведующий архивом и сборщик-историограф), художественно-фотографический (заведующий, художник и фотограф), артиллерийско-технический (заведующий, сборщик артиллерийского отделения, сборщик технического отделения) и интендантско-санитарный (заведующий, сборщик интендантского отделения и сборщик технического отделения). Кроме того, имелась мастерская в составе ее начальника, слесаря, столяра, портного и шорника (он же сапожник). Управление комиссии состояло из председателя, заведующего хранилищем (он же помощник и заместитель председателя), секретаря (он же казначей), переписчика, двух сторожей и рассыльного. Таким образом, всего в комиссии насчитывалось 24 человека[11].

26 декабря 1918 г. служащие были допущены к исполнению своих должностей. Председателем комиссии при этом стал Н.Н. Дерошефор, заведующим хранилищем – Г.С. Оганов, секретарем – Г.И. Московский, начальником матерской К.Н. Дерошефор (брат председателя), а заведующими отделами – М.И. Андреев (литературно-документальный), М.Н. Панин (художественно-фотографический) и И.И. Имшенецкий (интендантско-санитарный). Позже в состав комиссии вошел знаменный отдел, положение и штат которого (7 человек) были утверждены отдельно приказами Реввоенсовета от 8 марта и 1 апреля 1919 г. (этим отделом заведовал П.И. Белавенец, который еще в июне 1917 г. за злоупотребления по службе был отстранен от должности члена трофейной комиссии при Военно-походной канцелярии). Главной целью комиссии являлась организация грандиозного Народного военно-исторического музея войны 1914–1918 гг., однако долго поработать ей не пришлось. 30 мая 1919 г. Малый Совнарком постановил упразднить комиссию в полном составе (вместе со знаменным отделом) и все без

5* Прапорщик граф Н.Н. Дерошефор, служивший до 1915 г. минским тюремным инспектором, с февраля 1916 г. состоял в трофейной комиссии при Военно-походной канцелярии прикомандированным членом и с 10 июня 1917 г. исполнял обязанности начальника литературно-документального отдела (18 августа 1917 г. он был утвержден в этой должности, но уже в составе Комиссии Колобова). М.В. Колобов был исключен из Комиссии как не возвратившийся из отпуска (он еще в сентябре 1918 г. уехал к своей жене и двум малолетним детям, проживавшим на Дону, в станице Усть-Медведицкой).

6* В тексте приказа, по орфографии того времени, этот отдел назывался литературно-документным.

исключения материалы и отделения ее передать в Народный комиссариат просвещения[7*12]. Надеясь еще спасти комиссию, коллегия ее сотрудников направила во Всероссийский Главный штаб (председателю военно-исторического отдела С.Н. Каменскому) докладную записку и проект нового положения о комиссии с тем, чтобы затем внести их на рассмотрение Большого Совнаркома. Однако эта попытка не увенчалась успехом, и 20 июня 1919 г. последовал приказ Всероссийского Главного штаба № 199, объявлявший об упразднении комиссии[13].

В августе 1919 г. состоялась сдача всех имевшихся в распоряжении комиссии материалов и средств в Наркомпрос[8*]. В числе прочего имущества, переданного из литературно-документального отдела Комиссии, находились работы, выполненные сотрудниками (главным образом, оставшиеся от прежней комиссии Петина). Это были: 1) жизнеописания и описания боевых действий участников войны (георгиевских кавалеров), в том числе 1561 обработанных, подготовленных к печати (10 т.) и около 500 необработанных (1 т.); 2) иллюстрации боевых эпизодов, в том числе 993 законченных (3 т.), и 373 эскиза (2 т.); 3) рисунки-портреты (40 шт.) участников войны (1 т.); 4) около 400 фотографий участников войны (2 т.); 5) листки-памятки с фотографиями и жизнеописаниями участников войны, в том числе 40 напечатанных, 82 подготовленных к печати и одна папка отпечатанных, но не прошедших корректуру; 6) описания боевых действий отдельных войсковых частей (две папки); 7) оттиски разных рисунков и фотографий (одна папка) и 8) составленные в 1916 г. трофейной комиссией брошюры из серии "Герои и трофеи Великой народной войны" (4 вып. в количестве около 5000 экз.). Имущество художественно-фотографического отдела комиссии состояло из картин (масло), рисунков, эскизов, портретов, набросков в карандаше и угле, пастелей и гравюр, а также этюдов с натуры, сделанных художниками на позициях (всего 830 шт., из которых 130 было выполнено на Северо-Западном фронте, 290 – на Западном и Юго-Западном фронтах и 220 – на Кавказском фронте), а остальные представляли собой портреты участников войны 1914–1918 гг., зарисованные на местах солдатами-художниками, прикомандированными к комиссии (190 шт.). Кроме того, в этом отделе хранились произведения живописи, находившиеся в Ратной палате (4 картины маслом, 2 этюда и 151 портрет георгиевских кавалеров), около 30 гипсовых масок, снятых с участников войны скульптором С.Р. Надольским, и около 100 клише с рисунков и портретов, служащих иллюстрациями к георгиевским листкам-памяткам (их оригиналы находились в литературно-документальном отделе). В фотографическом отделении того же отдела имелось около 3 тыс. негативов, снятых на позициях (из которых до 400 было проверсно по фронтам) и около 3 тыс. отпечатков с них[14].

Вместе с предметами вооружения, снаряжения и обмундирования, а также вещами и рисунками, хранящимися в знаменном отделе комиссии, все эти материалы вполне могли составить фонды Народного Военно-исторического музея войны 1914–1918 гг. (к сожалению, так и не созданного). Имущество комиссии позже частично перевезли в Москву (в Государственный Исторический музей), что-то оказалось в ведении так называемого Военно-историко-бытового музея, просуществовавшего с 1927 по 1937 г., после чего его экспонаты (в том числе сотни рисунков из собрания трофейной комиссии) влились в фонды Артиллерийского музея[9*]. Документальные материалы, в том числе переписка за 1914–1917 гг. трофейных комиссий Петина, Скалона и Колобова с командирами войсковых частей, списки георгиевских кавалеров и описания трофеев и подвигов, большей частью отложились в Ленинградском филиале Центрального государственного военно-исторического архива СССР, переведенном в Москву в 1955–1958 гг., и составляют в настоящее время фонд № 16180 РГВИА. В этом фонде содержится также служебная переписка трофейных комиссий периода 1911–1919 гг., материалы по личному составу последних, а также документы с перечислением и описанием русских трофеев и героев более ранних войн.

[1] РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2.
[2] Там же. Д. 242. Л. 4.
[3] Там же. Д. 62. Л. 86–89.
[4] Там же. Л. 91–92.
[5] Там же. Д. 104. Л. 3–4 об.
[6] Там же. Л. 1.
[7] Там же. Д. 216. Л. 8, 9.
[8] Там же. Л. 13 и об.
[9] Там же. Д. 242. Л. 5–12; Д. 243. Л. 10–11, 12, 13, 15–9 об.
[10] Там же. Д. 242. Л. 22.
[11] Там же. Оп. 2. Д. 4. Л. 19–23.
[12] Там же. Д. 80. Л. 2.
[13] Там же. Л. 1 об.
[14] Там же. Д. 100. Л. 1, 2.

[7*] По-видимому, на это решение повлияла статья некоего А. Буцевича, напечатанная в "Известиях Наркомвоен" и содержавшая несправедливую оценку характера и деятельности комиссии. В этой статье, опубликованной 9 мая 1919 г., автор обрушился с критикой на саму идею увековечения подвигов русской армии в войне 1914–1918 гг. «Авантюра с "героями" и "всероссийским воинством" должна быть скорее ликвидирована, – писал он. – Подобным явлениям не должно быть места в советской России» (РГВИА. Ф. 16180. Оп. 2. Д. 51. Л. 13).

[8*] Имущество и почти все сотрудники комиссии перешли в ведение Военной секции Музейного отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Фактически комиссия продолжала существовать до ноября 1919 г.

[9*] Эти рисунки и портреты, выполненные в 1915–1917 гг. художниками Военно-художественного отряда при императорской Главной квартире и сотрудниками трофейной комиссии Петина, перечислены в "Каталоге рисунков Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи", изданном в Ленинграде в 1972 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И XX ВЕК"

Ю.В. Кудрина

Международная научная конференция, состоявшаяся в Москве 24–26 мая 1994 г., посвящалась 80-летию начала первой мировой войны. Это был представительный форум историков России и других членов Содружества Независимых Государств, Европы, а также США. На конференции присутствовали 28 ученых из Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Австрии, Бельгии, Швеции, Югославии, Македонии, США и 35 их коллег из России и других стран СНГ. Инициаторами и непосредственными организаторами конференции явились Ассоциация историков первой мировой войны, Отделение истории РАН и ряд гуманитарных институтов Российской АН – Институт всеобщей истории (ИВИ), Институт российской истории (ИРИ), Институт славяноведения и балканистики (ИСБ), а также Научный совет РАН по истории революций в России, Институт военной истории Министерства обороны РФ, Французский культурный центр в Москве.

Зарубежные участники представляли 23 научных центра Европы и США. Среди них: Лондонский университет, Университет в Лидсе (Англия), Университет в Бремене (ФРГ), Университет Париж-10 (Нантер), Руанский университет, Пикардийский университет "Жюль Верн", Французский исторический центр в Париже, университеты в Генуе и Триесте, Комиссия по истории международных отношений при Международном комитете исторических наук в Милане, Стокгольмский и Упсальский университеты, Военный архив Бельгии, Институт по изучению Юго-Восточной Европы в Вене, Университет штата Нью-Джерси ("Рутгерс"), Оклендский университет и Государственный университет в Сан-Хосе в США, Национальный архив США, Общество военных историков США, Ассоциация по изучению первой мировой войны (США), Институт национальной истории Македонии, Институт современной истории (Югославия), Сербская академия наук, Университет в Белграде, Исторический институт Черногории.

Со стороны России и других стран СНГ в конференции участвовали члены Ассоциации историков первой мировой войны, Научного совета РАН по истории революций в России, сотрудники вышеназванных академических институтов, Института военной истории МО, Военно-исторического архива (РГВИА), Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), Санкт-Петербургского, Самарского и Уссурийского университетов, Государственного Исторического музея и Музея Революции.

Пленарные заседания конференции проходили в помещении Президиума Российской академии наук (Ленинский пр-т, 32а), секционные – в помещении Музея Революции (Тверская ул, 21). Работало пять секций: "Россия и война", "Нейтралы и колонии в войне", "Балканский узел", "Человек и тотальная война", "Вооруженные силы и разведка воюющих стран в годы войны".

На конференции были развернуты выставки документов, относящихся к первой мировой войне, из фондов Государственного Исторического музея, Музея Революции, из личных коллекций: российской – канд. воен. наук А.Г. Кавтарадзе и зарубежной – "Уроженцы Триеста на Восточном фронте в годы первой мировой войны" профессоров М. Росси и С. Ранке (Италия), а также показан сериал документальных фильмов периода первой мировой войны из Российского Государственного архива кинофотодокументов (г. Красногорск).

При открытии конференции с приветственными словами к участникам обратились: вице-президент РАН академик В.Н. Кудрявцев, академик П.В. Волобуев, члены-корреспонденты РАН – директор ИВИ РАН проф. А.О. Чубарьян и директор ИРИ РАН проф. А.Н. Сахаров, проф. С. Романо (Италия).

На первом пленарном заседании 24 мая участники конференции заслушали десять докладов: пять на утреннем заседании по теме "Новая история Великой войны: смена парадигм" и пять на вечернем по теме "Международные отношения и перегруппировка мировых сил".

С докладом "Традиции и новаторство" выступил докт. ист. наук, проф. В.Л. Мальков. Он обратил главное внимание на связь и соотношение традиционализма и новаторства в процессе исторических исследований. Докладчик отметил, что для советской историографии было характерно стремление замкнуть анализ на хронологически локальном аспекте проблемы – генезисе, периоде самой войны и ее непосредственных итогах. В то же время многие исследователи на Западе, используя преимущества сравнительно-исторического метода, уже давно пришли к пониманию войны как "переходного периода" в истории цивилизации, связанного с тектоническими сдвигами в самом широком универсальном значении этого понятия. Многие историки резонно считают, что человечество, вступив в годы первой мировой войны в новое историческое измерение, не прошло еще до конца этот цикл. Для дальнейшего развития мировой исторической науки, подчеркнул В.Л. Мальков, необходим живой диалог научных школ[1*]. Анализ различных аспектов войны содержал доклад "Последняя война старой России" докт. ист. наук, проф. Н.Н. Яковлева. Он, в частности, отметил, что Россия была втянута в войну вопреки ее жизненным интересам, связанным с решением "запущенных социальных проблем". Однако к войне ее подтолкнуло положение великой державы, желание оказать поддержку Сербии, защитить собственную территорию и выполнение обязательств перед союзниками. Война, по мнению докладчика, разразилась в то время, когда русская армия находилась в процессе реорганизации, которая должна была завершиться к 1917 г. Несмотря на это, русская армия нанесла германским и австрийским войскам ряд сокрушительных ударов. По мнению Н.Н. Яковлева, операции русских в Восточной Прус-

© Ю.В. Кудрина

[1*] Полный текст доклада В.Л. Малькова опубликован, см.: Знание – сила. 1995. № 11.

сии внесли расстройство в немецкие планы и обеспечили стабильность Западного фронта. Особенно значительным было Брусиловское наступление в мае–июне 1916 г. В заключение докладчик затронул проблему масонства в России, которое сыграло, по его мнению, определенную роль в февральских (1917 г.) и последующих событиях в стране.

На заседании был зачитан доклад проф. Б. Виджеции (Италия) "Происхождение первой мировой войны в плоскости проблемы короткого и длительного периодов". Докладчик очертил контуры сложной и актуальной историографической проблемы, суть которой заключается в том, что традиционно часть историков, объясняя происхождение мировой войны, отдавали предпочтение анализу политических событий июня–июля 1914 г. ("короткого исторического времени"), другая часть – анализу глубинных тенденций социального и экономического развития Европы в конце XIX – начале XX в. ("длительного исторического времени"). Оба подхода в определенной мере дополняют друг друга, хотя лишь в последние годы предпринимаются попытки преодолеть это противостояние и показать, как в истории первой мировой войны проявилась связь и зависимость между "коротким" и "длительным" временем истории.

Проф. М. Ферро (Франция) в докладе "Великая война в кино, 1919–1985 гг." охарактеризовал некоторые стереотипы изображения первой мировой войны в кинематографе: переход от свойственного первым послевоенным годам показа оглупленного противника, с исключительно негативными качествами и, наоборот, изображения "своих" в преимущественно благоприятном свете, без серьезных изъянов к более аналитическому и сбалансированному изображению войны во всей ее противоречивости в более поздних лентах. Проф. И. Гайс (ФРГ) в докладе "Новый взгляд на историю первой мировой войны" показал ее предысторию и последствия. Президент американской Ассоциации изучения первой мировой войны проф. Ф. Кэрролл (США) в выступлении "Первая мировая война и XX век" остановился на общих тенденциях в развитии мировой политики и социально-политической эволюции отдельных стран и регионов.

Большой интерес вызвали доклады, заслушанные на вечернем заседании. Докт. ист. наук, проф. К.Б. Виноградов в докладе "Расстановка политических сил накануне войны" проанализировал позиции держав в противостоянии двух блоков накануне войны. По его мнению, создание двух группировок явилось закономерным итогом противоречий империалистической эпохи. Внутри каждого блока существовали серьезнейшие трения. Каждая держава пыталась занять командные позиции, использовать потенциал союзников в собственных целях, стремясь в то же время углубить расхождения, имевшиеся между партнерами и государствами соперничавшего блока. В докладе "Европа и псевдонациональные государства" проф. С. Романо (Италия) высказал мнение, что созданные в соответствии с Версальской системой договоров национальные государства на самом деле являлись «маленькими многонациональными империями, где "основное племя" навязывало свою волю ряду меньших "племен"». К числу таких стран проф. Романо относит Польшу, Чехословакию, Югославию, Румынию.

В выступлении канд. ист. наук А.И. Степанова о причинах первой мировой войны в рамках цивилизационно-формационного подхода была предпринята попытка нового, комплексного, теоретического осмысления объективной составляющей генезиса начальной фазы глобального военно-политического конфликта XX в. (1914–1992 гг. – период двух мировых войн и "холодной войны") как борьбы ведущих типов цивилизаций за выживание, развитие и доминирование в период глобального перехода от традиционной, аграрно-индустриальной стадии развития к современной, индустриально-информационной формации.

Проф. Л. Гарднер (США) в докладе "Концепция либеральной политики Вильсона" предложил свою оригинальную трактовку внешнеполитических взглядов Вудро Вильсона как осмысления выдающимся политиком глобальных процессов, связанных с вступлением человечества в новую полосу войн и революций. Совместный доклад докт. ист. наук В.И. Бовыкина и докт. ист. наук И.А. Дьяконовой был посвящен роли экономических факторов в происхождении первой мировой войны. Докладчики полагают, что их изучение не обнаружило достаточно явного и прямого воздействия экономических интересов великих держав на международные отношения в Европе в конце XIX – начале XX в., хотя в последние годы в работах некоторых молодых историков вновь ставится та же задача. В докладе докт. ист. наук В.Н. Виноградова "На руинах многонациональных империй" рассматривались последствия их распада: габсбургская монархия оказалась неспособной осуществить равноправие всех населявших ее народов, поднять их статус до уровня немцев и мадьяр, что в немалой степени объяснялось непримиримой позицией венгерских правящих кругов, а недостаточная политическая культура делала массы добычей политиков и политиканов разных оттенков, натравливавших народы друг на друга.

Выступивший в дискуссии канд. ист. наук В.К. Шацилло остановился на проблеме германо-американских отношений от начала первой мировой войны до вступления в нее США в апреле 1917 г. Он подчеркнул, что недальновидная политика Германии по отношению к США, переоценка военных и политических возможностей своей страны лидерами рейха в конечном итоге привели к вступлению самой мощной в экономическом отношении державы мира в войну на стороне Антанты.

Интенсивно работала секция "Россия и война", представившая 11 докладов и сообщений, два из которых сделали американские ученые. В докладе докт. ист. наук В.С. Васюкова "Внешняя политика России в годы войны как историографическая проблема" были обозначены вопросы, недостаточно изученные в отечественной историографии первой мировой войны. Докладчик подчеркнул необходимость переосмысления историографической традиции по всем узловым аспектам этой большой и многогранной проблемы. Особое внимание он обратил на существующую тенденцию к принижению роли России в антигерманской коалиции, изображению ее в качестве младшего партнера,

а подчас и "прислужницы" западных держав, терявшей в ходе ведения войны самостоятельность в области внешней политики. В некоторых зарубежных работах, по мнению докладчика, роль Восточного фронта изображается как целиком вспомогательная, тем самым принижается вклад русской армии в сокрушение военной мощи Центральных держав. В.С. Васюков указывал также на многие другие спорные и нерешенные вопросы, и в частности на отношение различных политических партий к курсу "на войну до победного конца", к лозунгам "защиты отечества" и "поражения своего правительства".

Докт. ист. наук, проф. С.В. Тютюкин посвятил свой доклад проблеме влияния войны на революционный процесс в России. Он показал, что в 1914–1917 гг. царизм упустил последний шанс консолидировать российское общество на базе патриотизма. Россия не выдержала перегрузок военного времени и оказалась в огне революции потому, что социальные противоречия и конфликты между властью и обществом оказались в конечном итоге сильнее национального единства перед лицом внешнего врага.

Канд. ист. наук Б.И. Греков в докладе "Германский либеральный политик д-р Вальтер Ратенау и его политика в отношении России в 1914–1918 гг." проанализировал вопрос о месте, которое занимала Россия в планах германских либералов.

Канд. ист. наук В.И. Миллер в докладе "Ленин, Троцкий и Брест" уделил внимание факторам, определявшим позицию советской делегации во время переговоров о мире в Брест-Литовске. Он отметил, что долгое время, основываясь на мемуарах Л.Д. Троцкого, историки считали, что лозунг "ни мира, ни войны" большевистские лидеры не разделяли. Между тем, в начале 1918 г. в Швейцарии была опубликована статья В.И. Ленина "Ответы Максу Фернау", в которой намечались альтернативные подходы к развитию событий. В зависимости от этого развития Ленин и определял внешнеполитическую линию большевистского правительства.

"Россия, народ и имперство" – тема доклада канд. ист. наук В.П. Булдакова. Автор рассмотрел социально-психологические причины кризиса имперства, превращавшего солдат, в основном бывших крестьян, считавшихся опорой самодержавия, "в массу агрессивных маргиналов", и показал, что разложение солдат было связано с развращающим поведением тех, кто в их глазах обладал более высоким статусом, – офицеров и казаков, с пьянством и погромами мирного (в основном еврейского) населения. Этот фактор, по мнению В.П. Булдакова, и военное поражение оказали значительное воздействие на ход революционного кризиса в России.

Канд. ист. наук А.Л. Шемякин в докладе "Война и поражение российского меньшевизма" рассмотрел вопрос о кризисе российского меньшевизма в годы первой мировой войны. Он отметил, что Февральская революция в России свершилась в разгар мировой войны, и именно это сыграло роковую роль в ее судьбе. Партия меньшевиков, оказавшаяся вместе с социалистами-революционерами во главе революционного процесса и ставшая "партией ведущей идеологии" февраль-

ского режима, не смогла добиться окончания войны (совместными усилиями с западной социал-демократией) или, по крайней мере, почетного выхода из нее России. Борьба за окончание войны мыслилась меньшевиками как широкая международная кампания в целях достижения всеобщего мира. Большие надежды в связи с этим возлагались на проведение Международной социалистической конференции в Стокгольме. Разброд в партии меньшевиков, их отношение к войне, доктринерство и страх восстановить против себя "патриотически" настроенных либералов дали серьезный шанс большевикам во главе с Лениным. После провала попыток умеренных социалистов покончить с войной большевикам удалось представить себя главными носителями идеи мира.

Существенные замечания о развитии революционной ситуации в России в период первой мировой войны высказал американский историк проф. Л. Хеймсон. Сравнительному анализу позиций В.И. Ленина и В. Вильсона по вопросу о достижении мира в годы первой мировой войны посвятил свой доклад "Ленин, Вильсон и короткий век" проф. Ч. Бёрдик (США). Он, в частности, отметил, что первая мировая война подвела итог развитию человечества в период начавшегося со времени Французской революции "длинного века". Насилие, разрушение, кризис культуры, экономический материализм периода войны требовали нового осмысления исторической реальности. Ленин и Вильсон выступили со своими идеями переустройства мира. Различные объективные обстоятельства, ошибки, отсутствие достойных преемников не позволили им реализовать свои идеи. Следствием стали послевоенный хаос и выросшая из него вторая мировая война.

"Американская политика глазами русских" – так назвал свое выступление канд. ист. наук С.В. Листиков. Он остановился на анализе либеральной печати России и ее оценке внешней политики США в конце 1916 – начале 1917 г., дипломатии Вильсона и его идей о создании механизма решения международных проблем, обсуждении в российских газетах и журналах вопроса о неизбежности присоединения США к антигерманской коалиции, а также перспектив русско-американских отношений в условиях надвигавшегося в России революционного кризиса. Большое внимание докладчик уделил изучению российскими либералами политической модели США, опыта их экономического развития и решения ими социальных проблем.

В секции был также представлен доклад канд. ист. наук В.А. Емеца "Первая мировая война глазами современников и потомков", в котором была предпринята попытка на примере России рассмотреть эволюцию осмысления российскими и советскими учеными и политиками первой мировой войны 1914–1918 гг. В выступлении был затронут вопрос и о ее восприятии массовым сознанием на протяжении многих десятилетий.

Первая мировая война рассматривалась участниками дискуссии, развернувшейся в секции, как решающий рубеж в истории России, поставивший ее перед выбором пути и моделей исторического развития. В ходе обсуждения наиболее оживленно дискутировались

вопросы о причинах и характере войны, об ответственности за ее развязывание, об уровне готовности России к войне. Специальному рассмотрению были подвергнуты расчет Ленина на мировую революцию и, в тесной связи с этим, пораженческая позиция большевиков в годы первой мировой войны.

В секции "Нейтралы и колонии в войне" (ею руководили докт. ист. наук Г.Л. Бондаревский, канд. ист. наук Ю.В. Кудрина, проф. А.С. Кан) было заслушано девять докладов. В выступлении "Роль колониальных противоречий в происхождении первой мировой войны" докт. ист. наук Б.М. Туполев отметил, что колониальное соперничество – одно из важнейших проявлений межимпериалистических противоречий, вызвавших возникновение войны. Проводившиеся накануне войны переговоры по колониальным вопросам привели к достижению соглашений по Африке и Ближнему Востоку. С ними связывалось стремление германского правительства добиться нейтралитета Англии, но вследствие остроты англо-германского антагонизма оно оказалось нереализованным. Анализируя тесную взаимосвязь политики первостепенности развития флотов в системе национальной безопасности и колониальной политики и отсутствие каких-либо компромиссов по проблеме гонки морских вооружений, Б.М. Туполев констатировал, что достигнутые соглашения носили конъюнктурный характер и явились отражением стремления правящих кругов Англии и Германии продемонстрировать свое "миролюбие" с позиции силы. В течение всей войны правительства стран, входящих в оба блока, продолжали уделять огромное внимание колониальной проблематике.

Проблеме Ближнего Востока как наиболее острого узла международного соперничества в канун войны посвятил свой доклад "Роль Ближнего Востока в возникновении первой мировой войны" докт. ист. наук Г.Л. Бондаревский. Он подчеркнул, что Ближний Восток всегда рассматривался правительствами великих держав не только как рынок сбыта и источник сырья, но и как важнейший плацдарм на подступах к Кавказу, Африке, Индийскому океану. Докт. ист. наук А.М. Пегушев в своем выступлении говорил об общих тенденциях в развитии колониального мира в период войны, подчеркнув, что первая мировая война способствовала его ускоренному экономическому росту.

Доклады докт. ист. наук Н.Д. Смирновой "Итальянский нейтралитет: традиция или тактический ход?" и докт. ист. наук С.П. Пожарской "Испанский нейтралитет: причины и следствия" касались проблем становления и развития политики нейтралитета этих стран до и во время первой мировой войны. Оба докладчика специально остановились на вопросе о том, какое влияние эта политика оказала на дальнейшее развитие Италии и Испании.

Следующие четыре доклада в секции "Нейтралы и колонии в войне": докт. Г. Оселиуса (Швеция), канд. ист. наук Ю.В. Кудриной, докт. ист. наук Р.П. Гришиной, проф. А.С. Кана (Швеция) – были посвящены вопросам внешней и внутренней политики, проблемам рабочего движения стран Скандинавского региона. В докладе "Зарождение скандинавской модели общественного развития" (на примере Дании) Ю.В. Кудрина уделила большое внимание проблемам реформизма, истокам становления скандинавской модели общественного развития, совмещающей два начала – капиталистического способа производства и социально ориентированной системы распределения, осуществляемой при непосредственном участии государства. По ее мнению, в нейтральной Дании политика "гражданского мира" заложила основы политики "общественного консенсуса". Это означало, что общество, где продолжали существовать острые социальные противоречия и классовая борьба, пришло к широкому согласию относительно того, что противоречия и конфликты должны преодолеваться в рамках утвердившихся общественно-политических структур, т.е. конституционным путем, с помощью компромиссов.

Проф. А.С. Кан в докладе "Скандинавские левые представители Советской России и Коминтерна в 1919–1920 гг." на новом архивном материале показал вклад левых социалистов Скандинавских стран в развитие международного революционного движения. Он отметил, что солидарность шведских и норвежских левых социалистов с большевиками носила как моральный, так и практический характер. Ц. Хёглунд (Швеция) и Т. Нерман (Норвегия) входили в восьмерку циммервальдской левой, руководимой Лениным. Обе партии летом 1919 г. вошли в состав Коминтерна. Ни шведское, ни норвежское руководство левых партий не делало секрета из факта получения финансовой помощи от большевиков, "хотя они этим и не хвастали". Докт. Г. Оселиус в докладе "Угроза. Образ России в шведской военной мысли. 1880–1914", основываясь на материалах шведских архивов, проанализировал отношение шведского Генерального штаба с конца XIX в. до начала первой мировой войны к так называемой русской угрозе.

Готовившаяся весной–осенью 1917 г. Стокгольмская конференция социалистов-реформистов, как отметила в своем докладе "Стокгольмская социалистическая мирная конференция 1917 – полигон идей нового времени" докт. ист. наук Р.П. Гришина, предполагала принятие программы переустройства будущей мирной Европы на основе демократии и права. Главная мысль подготовленных документов: место системы насилия должны занять согласие и право. При некоторой иллюзорности и внутренней противоречивости социалистических предложений о демократическом мире предложенные идеи оказались общезначимыми для всего XX в. Идеи социалистов-реформистов и перестройка мышления либеральных политиков стали началом мобилизации внутренних резервов капитализма, его способности к саморазвитию.

В секции "Балканский узел" – руководили заседанием докт. ист. наук В.Н. Виноградов, докт. ист. наук Т.М. Исламов, проф. С. Живанов (СРЮ), проф. Й. Бойович (СРЮ) – было зачитано 12 докладов. В ходе дискуссии были затронуты судьбы почти всех народов Центральной и Юго-Восточной Европы в годы войны, высказывались различные точки зрения о соотношении событий той эпохи и динамики современных процессов на Балканах, о перспективах развития межнациональных и межгосударственных отношений в этом регионе. В центре внимания находился вопрос о роли многонациональных государств,

прежде всего Австро-Венгрии, в истории, смысле их существования, их исторической миссии и значении в общеевропейском процессе. Т.М. Исламов в докладе "Крах Австро-Венгрии и судьбы Срединной Европы" высказал убеждение, что, несмотря на все свои недостатки, габсбургская монархия обеспечивала условия для мирного сосуществования, экономического процветания и культурного развития населявших ее народов. Он высказал также точку зрения об отсутствии непримиримых противоречий между Австро-Венгрией и Россией на Балканах, о нерациональном характере их соперничества. По его мнению, появившиеся или окрепшие после первой мировой войны национальные государства являли собой картину гораздо большей остроты и конфликтности в национальном вопросе, нежели Австро-Венгрия.

Проф. С. Живанов (СРЮ) в докладе "Сербия: виновник войны или жертва?" высказал мысль, что предпосылки для мирного и плодотворного сосуществования балканских народов возникают по мере изживания романтических иллюзий насчет безбрежных благ, будто бы приносимых образованием национальной государственности. Разновременность же оформления и развития государственности у балканских народов приводила к тому, что те из них, кто раньше преуспел в этом процессе, стремились выступить гегемоном по отношению к другим.

Проф. А. Траяновский (Македония) в докладе "Македония в международных отношениях на Балканах 1914–1918 гг." говорил о нерешенности македонского вопроса в годы первой мировой войны. Проф. Дж. Вавро (США) в докладе "Австро-сербская война 1914 г. и Балканы сегодня" показал, что посеянные австрийской политикой в Боснии и Герцеговине семена раздора сказываются до сих пор.

Выступление докт. ист. наук В.И. Шеремета было посвящено вопросу поиска сепаратного мира со стороны младотурецкого правительства. Поиски эти не выходили за рамки зондажа и успехом не увенчались, ибо Антанта стремилась к разгрому блока Центральных держав. Развивая эту тему и вводя в научный оборот новые архивные документы, Г.Д. Шкундин в докладе "Болгария в военных и политических планах держав Антанты в годы первой мировой войны" высказал мысль, что сепаратный мир Антанты с Болгарией в 1916–1918 гг. был невозможен, несмотря на усилия русской дипломатии, и в частности П.Н. Милюкова.

В докладе канд. ист. наук О.В. Соколовской "Великая греческая идея (Мегали идеа) в начале XX века и русская дипломатия" рассматривалась позиция российской дипломатии в отношении греческой национальной великой идеи – Мегали идеа – в 1900–1914 гг. Начало XX в., подчеркнула выступавшая, было отмечено значительным ростом национализма в балканских странах, сопровождавшим последний этап становления независимых национальных государств. Российская дипломатия, признав процесс дальнейшей интеграции греческой нации неизбежным, а эллинизм – силой, с которой необходимо считаться, видела единственную возможность сохранить относительное спокойствие на Балканах в том, чтобы направить это движение в мирное русло.

Последствия первой мировой войны, как полагали выступавшие, до сих пор являются частью современной ситуации на Балканах, и ее опыт должен учитываться при улаживании современных конфликтов, в работе по созданию на Балканах атмосферы для благоприятного экономического политического и культурного сотрудничества населяющих их народов. Проблема федерализации и конфедеративных отношений не отошла в область истории – таково мнение участников обсуждения.

В секции "Человек и тотальная война" – председательствовали на заседаниях докт. ист. наук К.Ф. Шацилло, канд. ист. наук А.В. Ревякин, проф. Ж.Ж. Бекер (Франция), проф. К.Р. Гривс (Англия) – было заслушано семь докладов. В докладе проф. К.Р. Гривса "Организация трудовых ресурсов в годы первой мировой войны и вопрос о тотальной войне" подчеркивалось своеобразие Великобритании, ее отличие от стран континента, так как она длительное время избегала принудительных способов мобилизации рабочей силы для нужд военной экономики. А.В. Ревякин в докладе "Война и интеллигенция во Франции" охарактеризовал драму левой интеллигенции Франции в годы войны, связанную с невозможностью до конца примирить пацифистские и интернационалистские убеждения с войной, которая велась под реваншистскими и патриотическими лозунгами. Значительная часть докладов – проф. М. Росси (Италия) "Итальянские военнопленные австрийской армии 1914–1920", канд. ист. наук Е.Ю. Сергеева "Русские военнопленные на австро-итальянском фронте в 1915–1917 гг.", докт. ист. наук С.А. Виноградова "Русские военнопленные в югославянских землях Австро-Венгрии, в Сербии и Черногории, 1914–1918 гг." – посвящалась положению военнопленных во время войны. В докладе И. Гверрини и М. Плувиано "Организация свободного времени солдат в Италии во время войны" итальянские историки, проанализировав организацию досуга солдат итальянской армии, пришли к выводу, что накопленный за время войны опыт в этой области использовался в дальнейшем фашистским режимом. В докладе проф. У. Хенигана (США) "Контузии и их последствия в годы войны" были представлены результаты исследований контузий, вызванных разрывами снарядов, последствия которых зачастую оказывались тяжелее для здоровья, чем пулевые или осколочные ранения.

В секции "Вооруженные силы и разведка воюющих стран в годы войны" – руководители докт. ист. наук К.Ф. Шацилло, канд. воен. наук А.Г. Кавтарадзе, проф. Н. Попович (СРЮ), проф. И. Хейгелир (Бельгия) – было заслушано 11 докладов. К.Ф. Шацилло в докладе "Корни кризиса вооружения русской армии в начале первой мировой войны" отметил, что Россия в начале XX в. испытывала финансовые трудности, поэтому особо важное значение имело правильное распределение средств, включая и финансирование нужд армии и флота. Диспропорция в распределении средств, по мнению докладчика, наносила ущерб обороноспособности страны и негативно сказывалась на ее экономике. В выступлении проф. Н. Поповича "Противоречия между военными целями держав Антанты и Сербии" подчеркивалось, что

Сербия вступила в войну, не имея никакой договоренности с союзниками. Ее дипломатия в период войны настойчиво добивалась главной цели – создания единой Югославии. После Февральской революции в России, вступления США в войну и выхода из нее России Антанта под влиянием США молчаливо приняла военную программу Сербии. Военно-политические планы стран Антанты на Восточном фронте летом 1917 г. рассмотрел в своем выступлении канд. ист. наук А.П. Жилин. Он отметил, что руководители стран Антанты тогда во многом связывали достижение своих целей с наступлением русской армии на Восточном фронте. Основываясь на документальных материалах РГВИА, докладчик показал, что западные союзники стремились любой ценой сохранить союз с Россией и Восточный фронт, опасаясь, что рост антивоенных настроений в обществе и армии после Февральской революции может стать гибельным для западных демократий. Канд. воен. наук А.Г. Кавтарадзе остановился на вкладе России и ее вооруженных сил в победу стран Антанты в первую мировую войну. Ценой гибели армии генерала А.В. Самсонова в Восточной Прибалтике, подчеркнул выступавший, в самом начале войны Россия спасла Францию. В 1915 г. она приняла на себя основные удары войск Центрального союза, что позволило ее союзникам подготовить свою промышленность и армию к кампании 1916 г. В том году наступление Юго-Западного фронта оказало существенную поддержку Италии и облегчило положение Франции в первых тяжелых боях под Верденом. В 1917 г., несмотря на сложную обстановку в стране, русский фронт приковал к себе значительные силы Центрального союза, облегчив союзникам борьбу на Западном фронте.

В докладе докт. ист. наук В.А. Золотарева "Уроки прибалтийской драмы (первая и вторая русские армии)" на новых архивных документах были проанализированы причины поражения русских войск на Северо-Западном фронте в начале военных действий и дана оценка того негативного влияния, которое оно оказало на последующий ход военных действий. Выступивший с докладом "Кавказский фронт в годы первой мировой войны" канд. ист. наук А.В. Шишов показал, как в ходе четырех операций, которые были обеспечены правильным выбором направления, самоотверженностью русских войск и надежной материальной подготовкой, русская Кавказская армия выполнила поставленную перед ней задачу – предотвратить вторжение турецких войск в Закавказье. Тем самым на огромном фронте была оказана большая помощь союзным английским войскам, действовавшим на Ближневосточном театре военных действий.

В докладе проф. Д. Фоглесонга (США) "Новая дипломатия и скрытая интервенция: американские разведывательные службы и русские революции" на материалах архивов США была ярко показана связь американской дипломатии с деятельностью западных спецслужб в революционной России в 1917–1918 гг. Фоглесонг пришел к нетрадиционным выводам в отношении функций "новой дипломатии" в XX в., включая пропагандистский и идеологический аспекты ее деятельности.

На вечернем заседании секции было заслушано пять докладов.

Т. Неннингер (США) "Генерал Першинг и американский экспедиционный корпус в Европе (1917–1918)" и И. Хейгелир "Бельгийский экспедиционный корпус в России (1915–1917 гг.)" на основе новых архивных документов рассматривали деятельность экспедиционных корпусов в годы первой мировой войны. Доклад канд. ист. наук В.А. Авдеева "Война в русской зарубежной литературе" был посвящен историографической оценке наследия военной эмиграции (А.И. Деникина, А.С. Лукомского, Н.Н. Головина, Ю.Н. Данилова, В.М. Пронина, И.Ф. Патронова, Р.К. Дрейлинга). В докладе докт. ист. наук Л.С. Яковлева "Разведка Четверного союза и контрразведка России в первой мировой войне" на основе новых архивных документов РГВИА рассматривались цели и задачи русской контрразведки во время мирового вооруженного противостояния. Выступившая с сообщением "Первая мировая война и Бельгия" канд. ист. наук А.С. Намазова сделала сообщение о некоторых бельгийских фондах, содержащих интересные материалы по истории Бельгии периода первой мировой войны и находящихся в настоящее время в Центре хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК) в Москве.

На заключительном пленарном заседании, посвященном проблеме "Война и общество", было заслушано шесть докладов. Академик П.В. Волобуев проанализировал влияние первой мировой войны на исторические судьбы России. По мнению докладчика, война оказала решающее воздействие на все последующее развитие России. Она явилась событием не только глобального, но и эпохального масштаба. Именно этим событием, подчеркнул выступавший, следовало бы датировать начало нашего века. Для России же война была таким явлением, которое предопределило ее историческую судьбу в XX в. Участие в первой мировой войне не отвечало национальным интересам России, но к 1914 г. страна прочно интегрировалась в сложившуюся в Европе систему союзов. Будучи членом Антанты, в силу логики блоковой политики и собственных империалистических интересов она оказалась вовлеченной в войну. По мнению докладчика, первая мировая война положила отсчет качественно новому периоду в отечественной истории – завершению буржуазно-демократического цикла революции – и дала начало новому циклу потрясений, включая глубокую социальную революцию социалистического типа.

В докладе докт. ист. наук З.П. Яхимович "Первая мировая война: путь к тоталитаризму или демократии?" были поставлены некоторые дискуссионные и методологические проблемы изучения первой мировой войны не только как крупномасштабного военного конфликта, но и как острейшего цивилизационного кризиса, во многом определившего облик XX столетия. Война дала мощный импульс тоталитарным методам решения геополитических, экономических, социальных и иных проблем. Немалую роль в этом сыграло гигантское по своим масштабам применение насилия как такового. Вместе с тем война поставила сложные задачи перед демократией вследствие включения в политику широких масс, переживавших свой трагический опыт и в метаниях ищущих путь к идеальному миру и обществу. По мнению докладчика, существует

потребность комплексного политологического, социологического, историософского анализа этого исторического феномена.

Проф. П. Лиддл (Великобритания), создатель известной документальной коллекции по истории первой мировой войны при библиотеке Университета в г. Лидсе, в докладе "Реакция британцев на события первой мировой войны" отметил, что в Англии после войны широкие слои населения испытывали сложный комплекс настроений: чувство вины за слишком суровый характер Версальского договора, который возлагал всю ответственность за войну на Германию; разочарование в связи с отсутствием какого-либо ощутимого улучшения условий жизни; непреходящее состояние шока от военных затрат; искреннюю, порой наивную веру в то, что подобной войны больше не будет. Эти настроения заставляли критически относиться к уровню политического управления страной в предвоенные годы, а также к компетентности военного руководства Великобритании в 1914–1918 гг.

С докладом "Великая война и возрождение консервативной партии в Великобритании" выступил проф. Дж. Тёрнер (Великобритания). Он остановился на освещении острой политической борьбы в Англии в годы войны, в ходе которой упомянутая партия смогла восстановить и укрепить свои позиции. Именно первая мировая война, по мнению докладчика, позволила консерваторам занять доминирующее положение в политической жизни страны, длившееся с 1918 до 1940 г.

Основная мысль доклада проф. Ж.-Ж. Бекера (Франция) "Национальные чувства французов в период войны 1914–1918 гг." заключалась в том, что война позволила осуществить во Франции идею полного национального единства народа в целях обороны отечества, отсутствовавшую в стране со времени революции XVIII в.

Проф. С. Одуэн-Рузо (Франция) посвятил свой доклад "Культура войны и французская ментальность" одному из новейших направлений в изучении первой мировой войны – "культурной" истории войны, т.е. того, что думали и как вели себя современники и участники войны. Необходимость этого направления, по мысли докладчика, заключается в том, что прежняя историография замалчивала многие важные аспекты войны, бесчеловечность способов ее ведения, которые оборачивались огромными физическими, нравственными и психическими потерями для человечества.

Конференция вызвала значительный интерес научной общественности. Она показала, что во всем мире историки уделяют большое внимание всестороннему изучению исторического места и значения первой мировой войны, оказавшей огромное влияние на экономическое и политическое развитие стран Европы и Америки и вызвавшей глубокие изменения в цивилизационном развитии человечества[2*].

[2*] Тезисы докладов участников конференции были изданы отдельным изданием на англ. языке (см.: WWI and the XX Century. Acts of the International Conference of Historians. Moscow, 24–26 May, 1994. M., 1995.)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абдул Хамид II 397
Аварна Дж. 162
Аветян А. 55
Авдеев В. 677
Аджемов М. 357, 363
Адлер В. 277, 288
Адрианов А. 434
Александр II 447
Александр III 169, 446, 447, 456
Александр Карагеоргиевич, принц-регент Сербии 337, 380, 392
Александр, принц Лейхтенбергский 453
Александр, принц Ольденбургский 448, 452, 453
Александр Михайлович, вел. кн. 452, 454, 455, 460
Александра, вдовствующая королева Англии 450, 453, 455, 458
Александра Федоровна, императрица 177, 178, 450, 451, 454, 455, 459, 460
Алданов М. 49, 50
Алексеев М. 133, 168, 169, 171, 451, 562, 568, 569, 584, 589, 592, 595–597, 629, 633, 634
Алексей Николаевич, престолонаследник 449, 457
Аллен В. 300, 303
Альба Р. 376
Альберт I 176
Альбертини Л. 56, 81, 82, 158
Альфонс XIII 458, 459
Андерс А. 643
Андреев М. 663
Андрей, епископ уфимский 471
Асквит Г. 88, 89, 177
Астафьев И. 55

Бабинов С. 465
Базаревский А. 643
Баклер В. 522
Бальфур А. 125, 330
Баранов П. 573
Баратов Н. 582, 586
Барбюс А. 489, 501
Барк П. 144, 147
Баррес М. 485, 488, 489
Барту Л. 204, 205
Бауэр О. 38, 282
Бауэр Х. 186
Бахман Г. 190, 191
Бахметев Ю. 141, 146, 156, 398
Бахметьев Б. 148, 305, 306, 611, 612, 618, 619
Бебель А. 272
Бейкер Н. 325
Бекер Ж.-Ж. 489, 490, 675, 678
Белавенец П. 658, 663
Белич А. 386
Белолипецкий В. 661
Бендик Р. 11
Бенеш Э. 331
Бенкендорф А. 29, 135–138
Берген Д. фон 424
Бергсон А. 229
Беренд И. 349
Бермонт-Авалов П. 616, 620
Бернсторф И. 188, 190–193, 196–198
Бернхарди Ф. фон 51, 52
Бернштейн Э. 251–254, 260, 261, 264, 265, 267–269
Берти Ф. 177, 230, 231
Беру Ж. 518, 527
Бертольд Л. фон 50, 123
Бёрдик Ч. 671
Бёрль А. 605, 606, 611, 621, 623
Бестужев И. 55
Бетман-Гольвег Т. 52, 53, 88, 109, 111–116, 119, 123, 124, 129, 138, 187–189, 191, 197, 198, 422, 423, 425
Бингшток В. 479
Бисмарк О. фон 49, 53, 117, 539, 654
Битти Д. 544, 545, 553
Блан А. 498, 499

* Составители Шкундин Г.Д., Копылов Н.А.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение (**В.Л. Мальков**) 5

I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛО

Происхождение первой мировой войны (Материалы "круглого стола", 28–29 сентября 1993 года) (**П.В. Волобуев, В.Л. Мальков, З.П. Яхимович, В.П. Булдаков, В.С. Васюков, В.Н. Виноградов, Я.С. Драбкин, В.А. Емец, Т.М. Исламов, Б.М. Туполев, Л.Г. Истягин, В.И. Миллер, А.М. Пегушев, А.В. Ревякин, Ю.В. Кудрина, Э. Урибес Санчес**) 12

Причины первой мировой войны как проблема соотношения "короткого" и "длительного" периодов 78
Брунелло Виджецци (Италия)

Россия и происхождение Великой войны 92
А.В. Игнатьев

"Срединная Европа" в экспансионистских планах германского империализма накануне и во время первой мировой войны 106
Б.М. Туполев

II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ОТ ПЕРЕДЕЛА МИРА К НОВОМУ МИРОПОРЯДКУ

Кризисная дипломатия 122
К.Б. Виноградов

Несостоявшееся сближение: США и Россия в 1914–1917 годах 140
Б.Д. Козенко

Итальянский нейтралитет: политический принцип или тактический маневр 158
Н.Д. Смирнова

Болгарская дилемма в дипломатической стратегии Антанты (октябрь 1915 года) 166
Г.Д. Шкундин

"Чудо-оружие" и борьба за моря в годы первой мировой войны 183
В.К. Шацилло

Версаль и его уроки. Российский взгляд 202
В.Л. Мальков

Версаль и Ялта: провокация или предупреждение? Американский взгляд 211
Уоррен Ф. Кимболл (США)

III. ТОТАЛИТАРИЗМ ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ

1914–1918 годы: у истоков тоталитаризма и "массовой демократии" 221
З.П. Яхимович

Первая мировая война и революционный процесс в России (Роль национально-патриотического фактора) 236
С.В. Тютюкин

Война, революция и новая картина мира в идеологии германской социал-демократии 250
Л.Н. Бровко

Август 1914 года и социалисты Адриатического побережья 274
Марина Росси (Италия)

Влияние первой мировой войны на формирование правого радикализма в Великобритании 290
А.Ю. Прокопов

Конец самодержавия и проблема выбора пути (Русская пресса 1917 года об американском опыте) 304
С.В. Листиков

Вильсоновское понятие "либеральной" политики в контексте событий в имперской Германии и революционной России в годы первой мировой войны 319
Ллойд К. Гарднер (США)

IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И ВОЙНА

На руинах многонациональных империй 327
В.Н. Виноградов

Распад Австро-Венгерской монархии и его последствия в политической эволюции Среднеевропейского региона 341
Т.М. Исламов

Разработка кадетами национального вопроса в годы первой мировой войны 355
В.В. Шелохаев

Первая мировая война и этничность: пробуждение вулкана 367
З.С. Чертина

Югославянская программа Сербского королевства в первый период войны (август 1914 – октябрь 1915) 380
А.Л. Шемякин

Великая греческая идея в начале XX века и русская дипломатия 396
О.В. Соколовская

Первая мировая война и колониальный мир: ретроспектива с учетом этнофактора 408
А.М. Пегушев

Национальный аспект внешней политики Германии в годы первой мировой войны (Лига нерусских народов России) 419
Б.И. Греков

V. ВОЙНА, ЧЕЛОВЕК И СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ

Рабочие России и война: новые подходы к анализу проблемы 432
Ю.И. Кирьянов

"...Ужасно думать, что это только начало" (Война глазами вдовствующей императрицы Марии Федоровны) 446
Ю.В. Кудрина

Проблемы войны и мира в общественной борьбе на Урале. 1914–1918 463
О.С. Поршнева

Общие демографические потери населения России в период первой мировой войны 474
А.И. Степанов

Война и интеллигенция во Франции 484
А.В. Ревякин

Немецкий менталитет и происхождение двух мировых войн 504
Райнер Бендик (Германия)

Гуманитарная помощь и политика: миссия Датского Красного Креста в Советской России. 1918–1919 515
Бент Енсен (Дания)

VI. МИЛИТАРИЗМ, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И РАЗВЕДКА

Гонка морских вооружений как причина и следствие Великой войны 537
Д.В. Лихарев

Корни кризиса вооружений русской армии в начале первой мировой войны 554
К.Ф. Шацилло

Уроки прибалтийской драмы 570
В.А. Золотарев

Кавказский фронт 578
А.В. Шишов

Летнее наступление русской армии 1917 года в планах Верховного командования 588
А.П. Жилин

Соединенные Штаты, проблема самоопределения наций и борьба против большевиков в Прибалтике. 1918–1920 602
Дэвид С. Фоглесонг (США)

VII. В АССОЦИАЦИИ ИСТОРИКОВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Брусиловский прорыв 627
Б.П. Уткин

Брусиловский прорыв как объект мифологии 632
С.Г. Нелипович

Крупный военный историк В.Ф. Новицкий 635
А.Г. Кавтарадзе

Карл Каутский о влиянии первой мировой войны на рабочее движение (По поводу неопубликованной работы) 644
И.А. Кукушкина

Деятельность русских трофейных комиссий в период первой мировой войны 1914–1918 годов (По материалам Российского государственного военно-исторического архива) 657
А.А. Васильев

Международная научная конференция "Первая мировая война и XX век" 666
Ю.В. Кудрина

Указатель имен 679